АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ИНСТИТУТ ЛИТЕРАТУРЫ (ПУШКИНСКИЙ ДОМ)

ХРАНИТЬ НАСЛЕДСТВО – ВОВСЕ НЕ ЗНАЧИТ
ЕЩЕ ОГРАНИЧИВАТЬСЯ НАСЛЕДСТВОМ
ЛЕНИН

ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДСТВО

37-38

Л. Н. ТОЛСТОЙ
II

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР
1 · 9 · МОСКВА · 3 · 9

III. НЕИЗДАННАЯ ПУБЛИЦИСТИКА

СТАТЬИ ТОЛСТОГО ОБ ИСКУССТВЕ

Публикация Б. Энгельгардта

Когда в конце 70-х годов Толстой «рассчитывался сам с собой» и со всем миром окружающей культуры, он заодно «рассчитался» и с искусством. «Я увидал,— вспоминал он позднее,— что в том деле, которое я делал, не было ничего высокого и нет никакой разницы от того, что девки без порток пляшут и обнимаются в балете, и что вся эта теория искусства, которой я служил, есть большой, огромный соблазн, т. е. обман, скрывающий от людей благо и вводящий их во зло».

Однако, если с другими такими же «обманами культуры» — государством, правом, наукой, техническим прогрессом и т. д.— Толстой свел свои счеты окончательно, т. е. никогда не испытывал сомнений и колебаний в своем отрицательном к ним отношении, то с искусством дело обстояло иначе. Искусство было слишком большой частью самого Толстого, чтобы он мог его отвергнуть решительно и целиком. И не только потому, что художественное творчество непреодолимо влекло его к себе, но и потому, что ему, художнику, искусство было дано изнутри, в своей имманентной сущности. Он не мог не ощущать его, быть может, не вполне понятной, но бесспорной ценности. Толстой мог осудить себя, как грешного и негодного художника, мог попытаться запретить себе «писание художественного», но он не мог отречься от искусства в целом: для него слишком ясна была «таинственная важность этого предмета». И потому, как только он «остыл немного» после своего душевного перелома, он тотчас понял, что его огульное отрицание искусства было несправедливо и что он, «осердясь на блох, и шубу в печь». «Я убедился,— говорит он,— что в этой материально бесполезной деятельности так называемого искусства не все есть служение похоти, а что есть и полезное, хотя и не материально, т. е. добро. Я убедился, что я был справедлив относительно себя, но несправедлив вообще, потому что я знаю, что многое доброе я получил от этой материально бесполезной деятельности».

Но из такой постановки вопроса вытекала новая проблема: отделить в том, что называется искусством, добрые семена от плевел и указать, каким требованиям должно удовлетворять истинное искусство. Сделать это было, очевидно, необходимо, ибо «если бы поставлена была такая дилемма: совсем никакого искусства или насыщение всем тем, что называется искусством, т. е. всеми соблазнами похоти,— разумеется, лучше никакого». Первоначально Толстой, повидимому, не представлял себе всей трудности поставленной задачи. Ему казалось, что все сводится к тому, чтобы произвести пересмотр искусства с точки зрения тех новых этических норм, которые он для себя выработал. В итоге такого пересмотра должен был выделиться ряд вполне доброкачественных художественных произведений. Взяв эти произведения за образцы, можно было в дальнейшем установить, каким требованиям должно вообще удовлетворять любое произведение искусства.

По этому пути и идет первая из публикуемых здесь статей. Она задумана в виде письма к редактору-издателю «Художественного Журнала», Н. А. Александрову, и датируется довольно точно 1882 г. Толстой начинает свою статью с критики самой распространенной теории искусства. Такой теорией, по его мнению, является кантовско-шопенгауэровское учение об искусстве, «как чистой, субъективно незаинтересованной, «сверхполезной» деятельности человеческого духа». Толстой указывает, что на практике

эта теория сводится к признаку «материальной бесполезности» искусства: «Всякая деятельность, не приносящая материальной пользы, но почему-нибудь нравящаяся людям, называется искусством». Таким образом, «один внешний признак материальной бесполезности искусства сделался его определением. Пляшут девки с голыми ногами — бесполезно, но есть охотники смотреть — искусство. Много звуков набрать и щекотать ими слух — искусство. Написать голых женщин или рощу — искусство. Подобрать рифмы и описать, как блудят господа,— искусство». «Люди похотливы, им хочется щекотать свои нервы и хочется при этом считать, что они делают важное, хорошее дело,— готова эстетика, теория искусства».

Любопытно отметить, что Толстой нисколько не стремится входить в подробный анализ шопенгауэровской теории искусства по существу. Ему важна не сама теория, как таковая, а лишь то, к чему она, по его мнению, свелась на практике. А на практике всякая материально бесполезная деятельность называется искусством, и «нет такой мерзости, которая не подошла бы под это высокое название». Таким образом, вполне очевидно, что этот чисто «отрицательный признак — отсутствие материальной пользы» нуждается в дополнении и ограничении положительным критерием. Такой критерий и пытается ввести Толстой. «Люди,— говорит он,— не удовлетворяются одним удовлетворением своих матерьяльных потребностей, а всегда имели разумные потребности, ведшие к исканию блага разумного, а потому не личного вообще. Из этого стремления разума вытекала всегда людская деятельность, имеющая целью общее благо. Такая деятельность, очевидно, не удовлетворяла матерьяльным личным требованиям, была матерьяльно бесполезна, но эта бесполезная матерьяльно деятельность имеет право быть только тогда, когда духовно полезна, т. е. стремится и влечет людей к благу. И эту только деятельность я называю изящным искусством. Вести же людей к благу можно только одним путем: любить благо, и потому деятельность эта состоит в том, чтобы показать пример любви к тому, что добро, и отвращения к тому, что зло. Чтобы сделать это, нужно во 1) знать, что хорошо, что дурно; 2) любить то, что хорошо, и ненавидеть то, что дурно; 3) уметь высказать эту любовь хорошо».

Здесь Толстой впервые дает свое определение искусства: духовно полезная и материально бесполезная деятельность, причем критерием духовной полезности является добро. В этом определении не трудно найти отголоски хорошо знакомого Толстому шопенгауэровского учения о прекрасном, дополненного принципами толстовской этики. Посмотрим же, каково значение этой формулы и с точки зрения спецификации искусства и с точки зрения оценки отдельных художественных произведений.

Сам Толстой указывает, что при таком определении искусства под него «подходит все то, что учит людей быть лучшими, т. е. религия, философия, многие теоретические науки, история и, наконец, художественные произведения, как таковые». Вполне очевидно, что это определение слишком широко и что в нем отсутствуют специфические признаки искусства. Здесь дано родовое понятие искусства, а видовое еще впереди.

Но еще сложнее обстоит дело с оценкой конкретных художественных произведений на основе этой формулы. Представим себе огромную массу произведений материально бесполезной деятельности человека: сюда войдут и балет, и Пушкин, и изображения голых женщин, и мадонны Рафаэля, и Руссо, и порнографические вирши. Приложим к ним определение Толстого,— все они тотчас же разобьются на две группы: произведений, оказывающих доброе влияние на человека, и произведений, оказывающих злое влияние. Выражаясь тривиально: произведений нравственных и произведений безнравственных. Но ведь и всякий скажет, что только нравственное произведение хорошо, а безнравственное плохо. Иное дело, каков будет этот нравственный критерий, но принципиально это не меняет дела.

Толстому же нужно доказать другое. Ему нужно доказать, что безнравственное художественное произведение уже не художественное произведение, т. е., что этический принцип имманентно присущ искусству, что его отсутствие уничтожает самую специфику художественности. Но сделать это на основе данной формулы он не может, так как именно специфические признаки художественности в ней отсутствуют. Определение слишком широко, и благодаря этому разбор «злого» произведения искусства

ограничивается критикой его с моральной точки зрения и не в силах вскрыть его специфически антихудожественную природу, лишающую его права называться творением искусства. А такая критика, как бы сильна и сокрушительна она ни была, не могла удовлетворить Толстого, как художника. Чтобы после своего перерождения попрежнему легко и свободно отдаваться художественному творчеству, Толстой должен был обладать уверенностью, что этому творчеству имманентно присущ элемент этического «делания», т. е. что этический принцип заложен в самой природе искусства, а не навязывается ему извне. Речь шла уже не о том, чтобы подчинить искусство этическому принципу, но о том, чтобы выявить этот принцип в самом художественном произведении, как его организующее начало. Задача была чрезвычайно трудная, и на том пути, по которому пошло исследование Толстого, разрешить ее было невозможно.

Повидимому, и сам Толстой понял это. Он оборвал писание статьи и надолго оставил эту тему. А когда лет через семь снова вернулся к ней, то подошел к ее разработке уже с иными предпосылками и методологическими приемами.

За эти годы Толстой неоднократно касался вопросов искусства, но лишь попутно, в произведениях общего характера. Особенно интересны относящиеся сюда страницы «Так что же нам делать?», где рассеяно много мыслей, вошедших позднее в основной трактат «Что такое искусство?». Однако, только в начале 1889 г. он снова вплотную подошел к этим темам. Поводом к этому послужила просьба В. А. Гольцева изложить вкратце свои взгляды на искусство. Толстой продиктовал ему свои тезисы, но не удовлетворился этим, а тут же развил их в небольшую статью (см. № 2 нашей публикации), которую отправил в «Русское Богатство». Однако, этой статье не суждено было увидеть свет. Получив корректуры, Толстой, по своему обычаю, перечеркал их, а затем отложил в сторону и сызнова принялся за писание. В итоге получилась новая статья под очень сложным заглавием: «О том, что есть и что не есть искусство, и о том, когда искусство есть дело важное и когда оно есть дело пустое» (см. № 3 нашей публикации).

По своему содержанию статья эта дополняет письмо к Гольцеву (№ 2), в значительной мере являясь развитием выраженных там мыслей. Как показывает уже само заглавие, Толстой строго ограничивает здесь вопрос об определении сущности искусства от вопросов художественной критики. А в соответствии с этим он вполне последовательно различает акт создания произведения искусства от акта его восприятия и хочет в своем исследовании попытаться подойти к определению искусства путем выяснения сущности процесса художественного творчества. Это придает данной статье совершенно исключительный интерес, так как нет никакого сомнения, что Толстой строит теорию художественного творчества на основе личного опыта.

Указав на односторонность трех основных теорий искусства: «тенденциозной», «искусства для искусства» и «реалистической» (копирование действительности), основной грех которых заключается в том, что все они превращают искусство в ремесло, давая возможность без всякой внутренней необходимости производить предметы так называемого искусства («как всякое ремесленное дело»), Толстой противопоставляет им свою собственную концепцию. «...необходимо прежде всего,— говорит он, — из художественной деятельности выделить обыкновенно смешиваемую с нею деятельность передачи тех впечатлений и пониманий, которые получены от предшествующих поколений». «Передача того, что известно предшествовавшим поколениям, есть в художественной области... деятельность учения и учительства. Произведение же нового есть творчество,— сама художественная (и научная) деятельность». Сущность этой деятельности в том, что она «смутно представляющиеся мысль и чувство доводит до такой ясности, что мысль усваивается другими людьми, а чувство также сообщается другим людям». А это достигается только тем, что человек самому себе проясняет смутно зародившуюся в нем мысль до совершенной ясности и прозрачности, ибо когда «сам человек уже не сомневается в существовании того, что он видит, понимает и чувствует, так и другие тотчас же видят, понимают и чувствуют то самое, что и он» (разрядка моя. — *Б. Э.*).

Таким образом, сущность творчества — в раскрытии, уяснении, назывании и выражении того совершенно нового, что смутно ощущается человеком. Этот акт раскрытия и прояснения имеет прежде всего субъективную значимость. Человек должен сделать новое ясным и бесспорным прежде всего для самого себя, но творческой его деятельность становится только тогда, когда эта ясность и бесспорность нового для него самого достигают такой силы и внутренней убедительности, что становятся обязательными и для других, т. е. когда субъективная значимость его внутреннего опыта становится значимостью объективной. Благодаря этому всякое произведение творчества, в том числе и художественное, «расширяет кругозор людей, заставляя их видеть то, чего они не видели прежде».

Это определение одинаково относится как к научному, так и к художественному творчеству. Толстой предусматривает это и ставит вопрос о взаимоотношении науки и искусства,— вопрос, который надолго займет его внимание. Здесь он разрешает его так: «В области науки,— говорит он,— доведение предмета предполагаемого до ясности и несомненности совершается тем, что справедливость предположения доказывается. Доказательство же есть только одно: исполняющееся предсказание... Произведение научного творчества есть всякое новое знание, доведенное до такой ясности доказательства, что последствия приложения этого знания могут быть безошибочно предсказаны».

«Художественное творчество по происхождению своему то же самое, но различие его и научного в том, что научное произведение тогда окончено, когда оно доведено до возможного предсказания, художественное же тогда, когда оно доведено до той ясности, что сообщается людям, вызывает в них то же чувство, которое испытывает... художник. Оно заразительно» (разрядка моя.—*Б. Э.*).

«Новое, прежде невидимое, неощущаемое, непонимаемое людьми, напряжением чувства доведенное до такой степени ясности, что становится доступно всем людям,— и есть произведение искусства» (разрядка моя. — *Б. Э.*). Итак, художественное творчество есть объективация совершенно новых содержаний внутреннего опыта путем доведения их до полной ясности и несомненности для самого художника, путем огромного напряжения чувства и воли художника.

Но, оговаривается Толстой, далеко не всякое новое подлежит такой объективации. «Произведение искусства всегда будет заключать в себе нечто новое, но раскрытие чего-либо нового не всегда будет произведением искусства». Новое, раскрываемое в подлинном произведении искусства, должно быть общезначимо, полноценно, «важно для всех», а важно для всех «приносящее благо человечеству». Таким образом, подлинное произведение искусства обладает тремя основными признаками:

1) Оно содержит в себе нечто совершенно новое, и притом новое важное для всех.

2) Это новое должно быть доведено до полной ясности, понятности и убедительности. Этот момент ясности и раскрытости нового, достигаемый прежде всего через напряжение чувства, и есть то, что называется художественной формой, определяющей специфический (эстетический) тон произведения искусства. Иными словами, эстетическое переживание есть переживание того «духовного напряжения», которое затрачено художником на превращение смутного и еле уловимого нового в объективно-значимое содержание опыта. А в то же время это переживание и есть акт постижения и освоения художественного произведения воспринимающим. Так пережитое оно уже «доказано» и «оправдано». С этой формулой любопытно сравнить более позднюю запись Толстого в дневнике: «Поправлял комедию... Странное дело эта забота о совершенстве формы. Не даром она. Но не даром тогда, когда содержание доброе. Напиши Гоголь свою комедию грубо, слабо, ее бы не читала и одна миллионная тех, которые ее читали теперь. Надо заострить художественное произведение, чтобы оно проникло. Заострить и значит сделать его совершенным художественно — тогда оно пройдет через равнодушие и повторением возьмет свое» (запись от 21 января 1890 г.).

Легко заметить, что «заострение» художественного произведения, чтобы оно «проникло», и доведение нового и смутного до предельной ясности путем напряжения чувства — одно и то же. Художественная форма есть то, что делает смутное новое ясным

и бесспорным для каждого. Итак, абсолютно новое содержание и предельное напряжение чувства, при котором это содержание становится ясным и проникающим, составляют две первые основные предпосылки художественного творчества.

3) Побуждением автора к работе над своим произведением должна быть непреодолимая внутренняя потребность, а не какие-либо внешние мотивы.

Опираясь на эти предпосылки, Толстой дает и критику ходовых определений искусства, и классификацию основных типов художественных произведений и самого художественного творчества,— намечает дальнейший путь развития искусства.

Л. Н. ТОЛСТОЙ

Скульптура И. Я. Гинцбурга. Бронза, 1891 г.
Толстовский музей, Москва

Перед нами вполне законченная схема, представляющая совершенно исключительный интерес. Она интересна и важна прежде всего потому, что с особой силой и отчетливостью суммирует и обобщает собственный творческий опыт Толстого. Нет никаких сомнений, что описание процесса художественного творчества, как доведения до предельной ясности и убедительности того смутного и еле уловимого, что зарождается в глубине души художника, выражает личный опыт Толстого. Подтверждение этому можно найти в целом ряде его высказываний по поводу «Войны и мира», «Анны Карениной» и т. д., и т. д.

То же самое можно сказать и о требовании ясности, простоты и доступности формы. Это требование диктовалось Толстому не какими-нибудь внешними соображе-

ниями, но непосредственным переживанием процесса творчества, как внутреннего прояснения смутно-нового посредством величайшего напряжения чувства художника,— прояснения до того предела, когда субъективно значимое содержание сознания становится значимым объективно, т. е. объектом. Предъявляя такое требование к искусству, он предъявлял его прежде всего к самому себе. Можно сказать, что вся его мучительная работа над бесконечными «поправками» своих произведений определялась именно этим стремлением к абсолютной ясности. Излишне говорить о том, что и тезис об абсолютной «искренности», т. е. непреодолимом внутреннем влечении к творчеству, как необходимом условии его подлинности, имел прежде всего субъективное значение.

Но, и помимо своего значения для понимания личного творческого опыта Толстого, статья представляет немалый объективный интерес. В своих утверждениях о переходе субъективно значимого у высшего предела внутренней достоверности в объективно значимое, в учении о форме, как о моменте этого перехода, под действием напряженного творческого чувства художника,— как о «заострении» до полной общезначимости субъективного опыта,— в остром противопоставлении «художественного» узко «эстетическому»,— Толстой предваряет многие утверждения позднейшей эстетики и высказывает ряд плодотворных мыслей.

Во всяком случае, здесь перед нами в зародышевом виде целая система взглядов на искусство. Казалось бы, Толстому остается только развивать ее основные положения. Но на самом деле происходит нечто совсем иное: набросав, повидимому, сразу эту статью, Толстой начинает ее править и правит до тех пор, пока она не рассыпается на куски. Тогда он бросает ее и пытается подойти к настойчиво занимавшей его проблеме уже с иных точек зрения. «Дневники 1889 и 1890 гг.» дают чрезвычайно яркую картину этих мучительных исканий и попыток. Я позволю себе привести ряд выдержек из них:

«20 сего марта 1889 г. Сел за поправку об искусстве и сидел три часа, перемарал все и не знаю, стоит ли работы. Кажется, нет.

30 марта. Целый вечер поправлял статейку об искусстве, очень не понравилась мне при чтении Урусову. И не послал» (речь идет о статье для «Русского Богатства», № 2).

После некоторого перерыва Толстой снова возвращается к искусству и начинает новую статью (см. № 3 нашей публикации). 12 апреля он записывает: «Уяснил себе, что conditio sine qua non н о в о е, а условия — достоинство содержания, красота и задушевность».

«13 апреля. Опять бился над статьей об искусстве. Хотя и не запутался, но и не кончил.

14 апреля. Писал об искусстве. Совсем запутался, даже досадно. Надо оставить.

20 апреля. Пытался писать об искусстве и убедился, что даром трачу время. Надо оставить, тем более что и Оболенский пишет, что будет ждать. Не пишется оттого, что не ясно. Когда будет ясно, напишу сразу. Я себя обманываю, что будто ясно. Я как будто в шутку писал, а не для дела.

27 апреля. Об искусстве ясно на словах, а не выписывается. Надо, кажется, отложить.

10 мая. Начал писать об искусстве, не пошло. Пошел в лес с записной книжкой. Пробовал выразить тезисами — не мог ясно формулировать.

15 мая. Писал об искусстве. В с е в з а к о л д о в а н н о м к р у г у в е р ч у с ь.

16 мая. О п я т ь к р у ж у с ь в к о л е е и с к у с с т в а. Д о л ж н о б ы т ь с л и ш к о м в а ж н ы й, т а и н с т в е н н ы й э т о т п р е д м е т» (разрядка моя.—*Б. Э.*)

Число этих выписок можно удвоить и утроить. Начиная с 1889 г. по 1897 г., они проходят непрерывной нитью сквозь все дневники. Иногда Толстому кажется, что он «овладел истиной», но эти редкие минуты уверенности в себе тотчас же сменяются новыми сомнениями и колебаниями.

В чем же дело? Откуда все эти затруднения и путаница? Мы уже видели, что, говоря о «новом», которое должно быть налицо в каждом произведении искусства, Толстой характеризует его не только, как «смутное», едва «уловимое» и «ощутимое», но и прибавляет еще: оно д о л ж н о б ы т ь в а ж н ы м д л я в с е х, т. е. служить

общему благу, которое Толстым мыслилось в религиозно-этических категориях. Но совершенно ясно, что это еле уловимое и ощутимое, смутное новое может изначально иметь предикат такой важности только в том случае, если художественное творчество само по себе есть форма этического «делания». Однако, из тех основных формулировок, которые дает Толстой, этого не вытекает. В той стройной и последовательной концепции, которую он набрасывает, только один момент внутренне, органически не связан с целым: это предикат «важного». О нем говорится, что он должен принадлежать «новому», но необходимость этого не вытекает органически из основных предпосылок, а навязывается теории извне религиозно-этическими взглядами Толстого.

20 мая того же года Толстой заносит в свой дневник: «Да, искусство, чтобы быть уважаемым, должно производить доброе. А чтобы производить доброе, надо иметь мироощущение, веру. Доброе есть признак истинного искусства. Признаки искусства вообще: новое, ясное, искреннее, доброе». Эта запись ясно обнаруживает, что́ не удовлетворяло Толстого в его схеме. Здесь опять-таки дано родовое определение искусства, благодаря чему конкретная оценка явлений искусства снова приводила к двойственности, к разделению искусства на «искусство вообще» и «искусство доброе». А надо было доказать, что «искусство вообще» и есть «доброе искусство», что другого искусства нет, что, как записывает Толстой в дневнике 23 марта 1894 г., в искусстве внутреннее стремление (художника) совпадает «с сознанием исполнения дела божия».

«В древности у греков,— продолжает он записывать в дневник 1889 г. (24 июня),— был один идеал красоты. Христианство же, выставив идеал добра, устранило, сдвинуло этот идеал и сделало из него условие добра. Истина? Я чувствую, что в сопоставлении, замене одного из этих идеалов другим вся история эстетики, но как-то не могу обдумать». Немного позднее (8 августа), в связи с чтением Платона, Толстой замечает: «Чувствую, что чего-то недостает в моих мыслях об искусстве и что я найду недостающее».

Под знаком поисков этого «недостающего» и проходит вся работа Толстого над теорией искусства, включая сюда и трактат 1897 г. В этих поисках Толстой идет различными путями, не раз меняя исходные точки зрения, пытаясь опереться на различные теории, нередко противореча самому себе, бросая и начиная сызнова, запутываясь и приходя в отчаяние. Дневниковые заметки: «неясно», «запутался», «мало подвинулся», «плохо», «не то» непрерывно сопровождают эти поиски, обнаруживая глубокую растерянность и постоянные колебания Толстого. Минутами он готов чуть ли не вовсе отказаться от предпринятой работы, минутами приходит в такое уныние, что готов видеть в своих неудачах чуть ли не наказание за свои грехи.

Иногда — и, быть может, не без некоторого основания — он думает, что вся беда в том, что он пишет «отрицательное, злое», т. е. слишком поглощен обличением и критикой современного искусства, и это мешает ему построить положительную теорию. Положение осложняется еще тем, что после статьи «О том, что есть искусство» вопрос об искусстве надолго связывается у него с вопросом о науке. Толстой убежден, что и то и другое возникают из одного источника и потому должны рассматриваться вместе. Это еще более затрудняет отчетливую постановку проблем.

Так, во власти ставших для него привычными обличительных, критических настроений, вечно готовый, «осердясь на блох, и шубу в печь», по его крылатому слову, но в то же время ясно, всем своим существом ощущая «добро» искусства, непреодолимое влечение к художественному творчеству, он снова и снова принимается за разрешение задачи, вся трудность которой стала ему ясна только после двух неудачных опытов,— за имманентно-этическое обоснование «искусства вообще» в духе своей религиозно-философской системы.

При этом он сразу же резко изменяет точку зрения, которая развита в статьях 1889 г. Там художественное творчество противопоставлялось передаче накопленного опыта и знаний, учительству, как создание по непреодолимой внутренней потребности художника чего-то абсолютно нового; здесь, напротив, «передача» становится определяющим моментом художественной деятельности.

23 января 1890 г. Толстой заносит в свой дневник: «Поговорил с Чертковым очень хорошо об искусстве... Об искусстве то, что все, что мы имеем духовно, есть последствие передачи, но из всей массы передаваемого выделяется то, что мы называем наукой и искусством. Что это? Это не то, что нельзя не знать, что само собой передается — искусство ходить, говорить, одеваться и т. п., и это не то, что можно не знать, специальное дело — кузнечное, сапожное, а то, что должно знать каждому человеку».

В соответствии с этой основной точкой зрения и строится ближайшая статья — первая из носящих название «Наука и искусство» (№ 4 нашей публикации).

«Все, что знает каждый из нас, начиная от знания счета и названия предметов... до самых сложных сведений,— есть не что иное, как *накопление знаний*, передававшихся от поколений к поколениям науками и искусствами,— есть деятельность наук и искусств».

«Науки передают то, что узнают люди, путем доказательств, рассуждений; искусства передают это же возбуждением в другом того же чувства, которое испытывает передающий». Постановка вопроса совсем иная, чем в предшествующей статье: создание нового уже не обязательно для искусства, оно может передавать и накопленный опыт. Содержание искусства то же, что и науки; отличие только в способе передачи— путем заражения чувствами, испытываемыми художником.

Но передаваемых знаний так много, продолжает Толстой, они так разнообразны по своим целям и важности, так недоступны все разом одному человеку, что людям надо было прежде всего «выделить из всех многообразных знаний те, которые важнее всего для человечества вообще и для каждого человека в отдельности». Вот эти-то «особенно нужные и важные знания» и составляют то, что может называться наукой и искусством.

Мы видим, что Толстой меняет не только основные предпосылки, но и самый метод исследования. Он отказывается от построения теории искусства и, думая облегчить себе задачу, пытается итти описательно-историческим путем. В самом деле: если наука и искусство—не что иное, как некоторая совокупность накопленных и передаваемых знаний, выделенных из общей массы этих знаний только благодаря их важности, то совершенно очевидно, что все дело в том, чтобы установить, во-первых, что̀ человечество когда-то называло важным, во-вторых, что̀ называет таковым теперь и, в третьих, что̀ должно называться важным. Этим самым и будет дан ответ на вопрос: чем были искусство и наука, что они есть и чем должны быть? «То, что считалось наукой и искусством в древности и в средних веках,— пишет Толстой,— для нас уже не имеет значения наук и искусств. Нельзя нам и теперь довольствоваться тем, что то, что мы в настоящее время считаем наукой и искусством, и есть самая настоящая наука и настоящее искусство». Слова искусство и наука становятся условным названием для того, что из передаваемых знаний и чувств считается самым важным. Такая постановка вопроса открывает широкое поле для критики того, что современность подводит под имя искусства и науки; она предоставляет возможность установить признаки истинного искусства, указав, что̀ именно должно быть самым важным. Но она снова не дает имманентно-этического обоснования искусства, и искусство снова двоится, делится на «*искусство вообще*» и «*настоящее искусство*»,— изменилось только название: передаваемое знание вообще и особо важное знание. И, подойдя к определению того, что современность называет искусством, Толстой, указав на невозможность дать такое определение, ввиду бесчисленного множества разных и противоречивых мнений на этот счет, обрывает свою статью.

Однако, в конце того же 1890 г. или в начале следующего он снова возвращается к этой работе и набрасывает второй вариант статьи о «Науке и искусстве» (см. № 5 нашей публикации).

Основной ход мыслей здесь тот же, что в предыдущей статье, но построение несколько иное. Толстой начинает с «номера газеты»: взяв номер «Русских Ведомостей», он выписывает из объявлений все, что относится к наукам и искусствам, желая показать, во-первых, какую роль играют они в жизни каждого дня, а во-вторых, как разнообразно, разноречиво и подчас нелепо все, что подводится под эту рубрику. Это

поучительное обозрение уже само по себе ставит вопрос о необходимости строгого определения границ подлинных науки и искусства. А если принять во внимание все огромное количество труда, затрачиваемого на подготовку к занятию искусствами и науками, на производство предметов, нужных для создания, хранения, слушания и пр. научных и художественных произведений, труда, который тяжким бременем ложится на плечи и без того обремененных и беспощадно эксплоатируемых крестьян и рабочих; если учесть, что науки и искусства сами себя уже давно скомпрометировали в глазах мыслящих людей враждебностью друг к другу различных школ, направлений и теорий,— враждебностью, доходящей до полного взаимного отрицания («я убежден, — пишет несколько позднее Толстой,— что если допустить всех знатоков науки и искусства уничтожать все те произведения науки и искусства, которые они считают ложными, то не останется ни одного произведения, ни науки, ни искусства»),— словом, если попристальнее вглядеться во все то, что делается в области науки и искусства, то «естественно заключить, что если нельзя ограничить круг наук и искусств тем, что действительно нужно людям, а науки и искусства должны развиваться в теперешнем виде, то уж лучше, чтобы их совсем не было», чем «если бы они поддерживались такими жертвами, какими они поддерживаются теперь, и были бы такие же, как они теперь.

Естественно думать и сказать так, но это было бы несправедливо». Ибо «все, что знает и понимает каждый из нас... есть не что иное, как накопление знаний и чувств, передававшихся от поколений к поколениям и дошедших до нас, есть последствие деятельности наук и искусств.

Все, чем отличается жизнь человеческая от жизни животных, есть результат передачи знания и понимания, т. е. науки и искусства. Не будь наук и искусств, не было бы человека и человеческой жизни».

«И потому, как бы люди ни злоупотребляли в нашей жизни важным значением наук и искусств, делая пустые и даже вредные дела, нельзя отвергать наук и искусств, составляющих всю силу и значение человеческой жизни».

Необходимо только ясно и точно определить, во-первых, в чем состоит научная и художественная деятельность; во-вторых, всякая ли научная и художественная деятельность составляет важное и нужное для людей дело; в-третьих, какая именно научная и художественная деятельность важна и нужна для людей.

Перед нами снова чрезвычайно широкое определение искусства; при этом Толстой делает еще один шаг по пути облегчения своей задачи: он заранее допускает, что художественная деятельность, оставаясь неизменной по своим специфическим признакам, может быть как «важной», так и «неважной», т. е. заранее как бы признает этическую нейтральность искусства. Искусство, оставаясь искусством, может быть «важным» и может быть «неважным». Необходимо только точно определить, при каких предпосылках оно будет важным и истинным, установить основные критерии и предпосылки его оценки. Впрочем, иначе он и не мог поставить вопроса: совершенно ясно, что если искусство—только передача накопленного опыта при помощи заражения воспринимающего чувствами художника, то можно «передать» все, что угодно, и «заразить» всем, чем угодно. Следовательно, все дело заключалось в том, чтобы определить, что̀ и как должно передаваться, чтобы искусство стало «важным делом». Но, несмотря на такую облегченную постановку вопроса, а вернее благодаря ей, дело не пошло на лад. После нескольких неудачных попыток Толстой снова оборвал статью на этих основных вопросах, в момент перехода от критики и обличения к построению положительной теории.

В дневнике 1891 г. есть целый ряд заметок, относящихся к работе над этим вариантом статьи о «Науке и искусстве»:

«4 января. Вечером начал было писать об искусстве... но не запутался, а слишком глубоко запахал. Попробую еще.

6 января. Писал об искусстве. Остановился. Сил мало.

15 января. Много думал об искусстве. В мыслях подвинулось, но не на бумаге.

16 января. Два раза брался за науку и искусство и все перемарал, вновь написал и опять перемарал и не могу сказать, чтобы подвинулся.

17 февраля. Вчера писал о науке и искусстве. Мало подвинулся, но все ясно.

24 февраля. Бросил писать о науке и искусстве и вернулся к непротивлению злу».

26 марта он пишет Страхову: «Мою статью о науке и искусстве я опять отложил — она меня отвлекала от другого более по моему мнению важного дела» («Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым», СПБ, 1914, стр. 414). Но о том, как переживал Толстой это менее важное дело, говорят еще две горькие записи дневника этого года:

«16 мая. К художественному. Я не то, что ем или пью, а я занимаюсь искусством, играю на фортепиано, рисую, пишу, читаю, учусь, а тут приходят бедные, оборванные, погорелые, вдовы, сироты, и нельзя в их присутствии продолжать — совестно. Что их нелегкая носит, держались бы своего места — не мешали.

Такое явление среди еды, lawn-tennis и занятий искусством и наукой доказывает больше всяких рассуждений.

17 ноября. Все науки, искусства, все просвещение хорошо,— только бы для приобретения плодов его не нужно было задавить, не дать жить, лишить блага, огорчить ни одного человека. А оно, все наше просвещение, построено на трупах задавленных людей».

Вполне очевидно, что при таком переживании искусства как в плане личного художественного творчества, так и в его социальном разрезе то или иное разрешение вопроса о нем является насущным и неотложным делом. Однако, на этот раз Толстой действительно надолго отложил свою статью об искусстве. Зиму 1891/92 г. и весь 1892 г. он поглощен, с одной стороны, организацией помощи голодающим, а с другой— писанием книги «Царство божие внутри вас», которая все разрасталась и разрасталась и целыми месяцами держала его в величайшем напряжении мысли и чувства. Правда, и в это время он не забрасывает окончательно своего замысла: в его дневнике попадаются изредка заметки об искусстве и науке, есть упоминания об этой теме и в письмах к Н. Н. Страхову и Н. Я. Гроту, у которых он просит точных определений науки и искусства и библиографических справок. Возможно даже, что он принимался и за самую статью, но все это занимало его только на короткое время,— все его внимание и интерес были почти целиком направлены в другую сторону.

Только весной 1893 г., закончив, наконец, после многих поправок и переделок «Царство божие», Толстой вспоминает об искусстве. 20 мая он пишет Черткову: «Я давно не испытывал того чувства свободы мысли, которое испытываю теперь, отослав последнюю главу... Пересматриваю начало и примериваюсь к тому или другому делу и истинно не знаю, какое нужнее, угоднее богу... Подумываю и о науке и искусстве. Обещал еще предисловие к Мопассану и Амиэлю. И то и другое может иметь свою пользу... Да 4 начала повестей, которые тоже манят к себе».

«Обрадованный этими словами, Чертков,— пишет А. К. Черткова,— поспешил собрать весь материал, имевшийся у него в архиве, и выслал Толстому в сопровождении следующего письма:

«Я послал вам мою компиляцию об искусстве и науке [В. Г. Чертков составлял «Свод мыслей Толстого об искусстве»] в неоконченном виде для того, чтобы постараться заручиться вашей санкцией, о чем прошу вас насколько можно убедительнее. Мне кажется, что в настоящее время нет надобности вам ни одного слова прибавлять к этой книге. Пусть лучше переварят эту первую порцию, а там дальше видно будет по тому впечатлению и отголоску в литературе, который она вызовет... Главное, чтобы вы не начали вновь писать об искусстве, а позволили бы *сначала* ознакомить читателя с этой книгою в ее теперешнем виде, которая, как я имел уже случай убедиться, производит самое благоприятное и сильное впечатление на людей с разнообразными миросозерцаниями» (письмо В. Г. Черткова от 29 мая 1893 г.).

Повидимому, В. Г. Чертков опасался, что, принявшись за писание статьи об искусстве и науке, Толстой снова «запутается» в переработках и отложит публикацию крайне важных для понимания «толстовства» высказываний об искусстве на неопределенное время. Опасения эти, как мы увидим ниже, целиком подтвердились.

Однако, несмотря на все просьбы Черткова, Толстой не согласился на публикацию «Свода». «Боюсь,— пишет он в ответ на письмо Черткова,— что не буду

в состоянии исполнить ваше желание. Сколько помню, там много неверного и неясного. Употреблю все старанья, потому что очень хочется сделать то, чего вы хотите».

«Много думал и думаю об искусстве (и науке. Это трудно, не должно разделять) и потому особенно боюсь, что не удовлетворюсь тем, что вы присылаете» (письмо от 4 июня 1893 г.).

И действительно, просмотрев присланную Чертковым рукопись, Толстой остался недоволен и решил начать все сызнова. 5 июня 1893 г. он заносит в дневник: «Начинал послесловие [к «Царству божию»], потом статью о науке и искусстве». В записи от 21 июня читаем: «Все время развлекался мыслями между статьей Об искусстве, Послесловием и этой статьей» [«Неделание»]. Но уже 1 июля он пишет Черткову: «Писать ни за что не взялся. В статье об искусстве написал и запутался». Тем не менее, он не отказывается от продолжения работы, о чем свидетельствует письмо к Н. Я. Гроту с просьбой сообщить «определение искусства такое, которое определяло бы его как по отношению к производящему его, так и воспринимающему его». Во всяком случае, как летом, так и осенью 1893 г. Толстой несколько раз возвращается к статье об искусстве и науке, создавая тот вариант ее, который мы публикуем под № 6.

Ход мыслей в этой статье почти такой же, как и в предыдущей, однако, в построении ее снова находим существенные отличия. Прежде всего обращает на себя внимание ее субъективный тон. Толстой иронизирует над теми, кто считает его врагом науки и искусства, хотя он и посвятил им всю жизнь, — считает только потому, что он отрицательно относится к современному направлению и тенденциям научной и художественной деятельности. Оговорившись довольно решительно на этот счет, Толстой продолжает: «Представим себе человека, совершенно свободного от всяких предвзятых идей и пристрастий, наблюдающего в нашем обществе... проявление наук и искусств. Что бы представилось ему?» И далее Толстой в ярких и сильных красках рисует картину современной художественной и научной жизни, как она представляется его умственному взору. Вполне очевидно, что здесь царит полный хаос: доброе и злое, серьезное и легкомысленное, возвышенное и развращающее, полезное и вредное перемешалось в какую-то бесформенную и безобразную кашу. Вполне очевидно, что «надо разобраться» в этом и провести резкую черту между важным и неважным, между вредным и полезным в науке и искусстве. Современные определения науки и искусства не дают нам достаточного критерия для этого. С одной стороны, они слишком общи и неопределенны, а с другой — слишком сбивчивы и противоречивы. «Если признать наукой и искусством все то, что признают наукой и искусством знатоки науки и искусства, то в область науки и искусства войдет все то, что только может занимать праздных людей и может потешать их». «Если допустить всех знатоков науки и искусства уничтожать все те произведения науки и искусства, которые они считают ложными, то я убежден, что не останется ни одного произведения ни науки, ни искусства». «Таково неправильное положение науки и искусства в наше неправильное время и в нашем кругу, но не таково оно было в древности и не таково оно теперь в сознании больших масс народа».

«По древнему взгляду все то, что служит к определению и уяснению отношения человека к бесконечному и вследствие того к установлению отношений между собою,— все это из дел, не приносящих прямой матерьяльной пользы, имеет огромную важность. Все остальные из таких дел — пустяки. Таковое деление, существующее теперь в большинстве восточных стран (Китай, Индия), существовало всегда (Египет, Греция, вся Европа — до конца прошлого столетия)». Однако, у образованного меньшинства эти твердые и ясные критерии постепенно утратили всякое значение, и наука и искусство вырвались из поставленных им рамок и «ушли», как «уходят» из бутылки кислые щи. «Хорошо ли это, дурно, пусть решает каждый по своему взгляду на жизнь, — замечает Толстой, — но это так. Не хорошо тут только то, что эти кислые щи вырвались из бутылки, разлились повсюду, смешались с пылью и всякими остатками обеда». Дело дошло до того, что, строго говоря, под имя искусства и науки подводится все, «что занимает и забавляет людей». «Другого серьезного определения нет».

Однако, остаться при таком определении невозможно. «Дело-то очень важное. Ошибка-то ведет за собой страшные последствия». Надо во что бы то ни стало «разобраться». А если нельзя найти ясных и отчетливых признаков «годности и негодности науки и искусства», то «лучше уж бросить эти занятия».

«Где та черта, которая отделяет ту науку и искусство, которые нужны и важны и заслуживают уважения, от тех, которые не нужны, не важны, не заслуживают уважения и часто заслуживают презрения, как произведения прямо развращающие? В чем состоит сущность истинной науки и искусства?» — в сотый раз спрашивает себя Толстой и снова не дает ответа. Статья снова обрывается как раз в ту минуту, когда от обличения и критики приходится перейти к построению положительной теории.

На этот раз Толстой отказывается от этой темы надолго. Не то, чтобы он перестал интересоваться вопросами искусства. Для него это, конечно, было совершенно невозможно, поскольку его все время тянуло на «художественное», а следовательно, и призрак «пустого и недостойного» занятия вечно преследовал его. Он только временно отказался от мысли привести свои взгляды в стройную, положительную систему. Но он продолжает интересоваться вопросами эстетики, перечитывает ряд книг, советуется со своими друзьями, и в его дневниках мы находим ряд записей на темы искусства. Записи эти чрезвычайно разнообразны; иные из них движутся в том круге мыслей, который намечен предшествующими статьями, иные касаются частных, конкретных вопросов, иные же звучат как-то неожиданно, уводят в сторону от привычных мыслей Толстого. Приведем некоторые из них:

«1893 г. 8 июля. Форма романа не только не вечна, но она проходит. Совестно писать неправду, что было чего не было. Если хочешь что сказать, скажи прямо.

5 октября. Радости прежней жизни вспоминаются в этой как поэтическое чувство. Поэтическое чувство — память и много пережитого в прежней жизни. Быть может в прежней жизни я был атом, сложившийся в теле и стремившийся к соединению, и в этом была вся жизнь».

И тут же прибавляет: «Главное бедствие очень культурных людей, как Амиэль, это их балласт разностороннего и особенно эстетического образования».

«22 декабря. Неясность определения искусств, музыки, например, происходит от того, что мы хотим приписать им значение, соответственное тому несвойственному им высокому положению, в которое мы их поставили. Значение их: 1) помощь для передачи своих чувств и мыслей... 2) безвредное и даже полезное, в сравнении со всеми другими, следовательно полезнейшее из всех других удовольствие.

1894 г. 23 марта. Красотой мы называем теперь только то, что нравится нам. Для греков же это было нечто таинственное, божественное, только что открывавшееся.

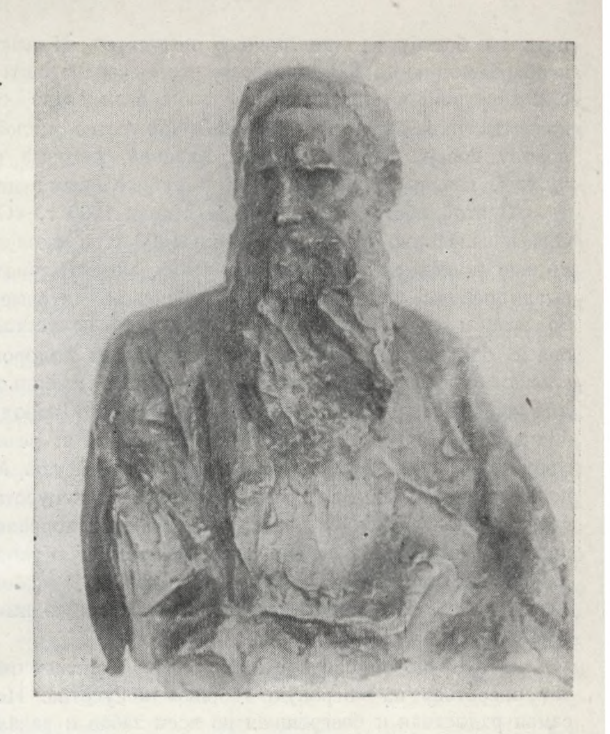
Художественное произведение есть то, которое заражает людей, приводит их всех к одному настроению. Нет равного по силе воздействия и по подчинению всех людей одному и тому же направлению, как дело жизни и под конец целая жизнь человеческая. Если бы только люди понимали все значение и всю силу этого художественного произведения своей жизни.

25 июля. Говорят, искусство естественно, птица поет. На то она и птица. А человек — человек имеет высшие требования. Да и если он поет, как птица, то он прекрасно делает, но если он собирает сотни музыкантов, изуродованных людей, в своих консерваториях, которые в белых галстуках играют непонятную симфонию, то он не может уже отговариваться птицей; он тратит разум, данный ему для высших целей, на подражание — и неудачное — птице.

1895 г. 26 февраля. Радость жизни без соблазна есть предмет искусства.

7 декабря. Искусство как началось с игры, так и продолжает быть игрушкой и преступной игрушкой взрослых. Это же подтвердила музыка, которой много слышал. Воздействия никакого. Напротив, отвлекает, если приписывать то неподобающее значение, которое приписывается. Реализм, кроме того, ослабляет смысл.

1896 г. 27 февраля. ...Есть искусство, как верно определяют его, происшедшее от игры, от потребности всякого существа играть... Это одно искусство — искусство и играть и придумывать новые игры — исполнять старое и сочинять. Это дело хорошее, полезное и ценное, потому что увеличивает радости человека. Но понятно, что



Л. Н. ТОЛСТОЙ
Скульптура П. П. Трубецкого, 1900 г.
Толстовский музей, Москва

заниматься игрою можно только тогда, когда сыт... И пока все члены общества не сыты, не может быть настоящего искусства. А будет искусство пресыщенных — уродливое, и искусство голодных — грубое, жалкое, как оно и есть...

Но есть еще другое искусство, которое вызывает в людях лучшие и высшие чувства. Сейчас написал это, то, что я говорил не раз, и думаю, что это неправда: искусство только одно, и состоит в том, чтобы увеличивать радости безгрешные, общие, доступные всем — благо человека...

Искусство есть одно из проявлений духовной жизни человека и потому, как если животное живо, оно дышит, выделяет продукты дыхания, так если человечество живо, оно проявляет деятельность искусства. И потому в каждый данный момент оно должно быть современное — искусство нашего времени. Только надо знать, где оно (не в декадентах музыки, поэзии, романа). Но искать его надо не в прошедшем, а в настоящем. Люди, желающие себя показать знатоками искусства и для этого восхваляющие прошедшее искусство — классическое и бранящие современное — этим только показывают, что они не чутки к искусству».

Можно было бы значительно увеличить число выписок из дневника за эти годы. Но и приведенных достаточно, чтобы показать, что напряженный интерес Толстого к проблемам искусства не падал ни на минуту. Напротив, он непрерывно возрастал и к 1896—1897 гг. достиг чрезвычайной силы. Дело в том, что у Толстого появились новые и острые мотивы к выступлению по вопросам искусства, и притом мотивы чисто внутреннего и, если можно так выразиться, профессионально-художественного порядка. К середине 90-х годов до России докатилась волна так называемого модернизма в искусстве. Декадентство и символизм в литературе, импрессионизм в живописи, вагнерианство в музыке стали злобой художественного дня, причем навстречу волне, шедшей с Запада, зарождались и ярко проявлялись и самостоятельные русские течения «нового искусства». Толстому эти течения были совершенно чужды и непонятны. Метерлинк, Малларме, Манэ и Ван-Гог не вызывали у него, как у художника, ничего, кроме глубокого раздражения, и их произведения ощущались им, как «кривляние и гримасы». Толстой был задет именно, как художник, в своих чисто художественных вкусах, и это было лишним и весьма побудительным импульсом к тому, чтобы высту-

пить на борьбу за «подлинное» искусство. И выступить ему было уже совершенно необходимо: не только для того, чтобы свести свои старые «мировоззренческие» счеты с искусством, но и для того, чтобы в качестве самого авторитетного, величайшего представителя известной школы в искусстве, целой эпохи искусства, высказаться по поводу новых художественных влияний, которые были ему, как художнику, вполне чужды, казались враждебными и губительными для дела самого художества.

В этой обстановке возникла статья 1896 г. «О том, что называется искусством». Она писалась во второй половине 1896 г. и окончена 10 ноября. Судя по тому, что до нас дошел ее сплошной автограф, можно думать, что Толстой писал ее, не прерывая работы для поправок и переделок, которые вносились уже после окончания. Во всяком случае, это первая работа об искусстве, доведенная до конца. Написана она с большим подъемом, с полемическим задором и увлечением и, звуча местами словно памфлет, дает изумительно яркую и сильную картину «барского» искусства для избранных, оторванного и недоступного народу. Социальное значение искусства подчеркнуто здесь с исключительной силой и резкостью. Но исходная точка зрения здесь уже иная, нежели в предыдущих статьях. Мы видели, что Толстой в первой попытке сформулировать свои взгляды на искусство стремился использовать теорию «бесполезности» искусства, внеся в нее свои поправки (письмо к Александрову); в следующем наброске он строит свою оригинальную теорию (гольцевские тезисы), а в дальнейшем опирается на принцип «заражения», особой формы передачи. Но все время он пытается обосновать исключительно высокую имманентно-этическую природу искусства и художественного творчества.

В этой новой своей статье Толстой словно отказывается от этого задания и хочет опереться на «игровую теорию» искусства. Искусство — игра, отдых, забава, но самая радостная и безгрешная из всех забав и развлечений. В этом его огромное положительное значение, но искать в нем чего-либо большего не только безуспешно, но и прямо вредно, так как это значит придавать искусству не свойственное ему высокое значение. Ходячее определение искусства таково: существует триада высших ценностей — добро, истина и красота. Служение добру — это добродетель, служение истине — это наука, служение красоте — искусство. Все члены этой триады равноценны, и, таким образом, служение им одинаково достойно и заслуживает высшей похвалы. Искусство и науки оказываются поставленными рядом с добром. В этом и есть главный источник зла. Прикрываясь ходячим «словечком» красота, и художник и «избранные ценители искусства» могут оправдывать все, что им угодно,— свое высокомерие, свою заносчивость, пренебрежение к «толпе», свою этическую беспринципность и равнодушие к добру и злу, свою извращенность и развращенность. И вот на эту преувеличенную оценку прекрасного и обрушивается Толстой. Он категорически отрицает «красоту», как некую высокую самостоятельную ценность. Он готов поступиться и высокой этической оценкой искусства для того, чтобы ниспровергнуть с пьедестала этот кумир и решительнее поразить своих врагов. Он правильно подметил слабое место новых течений в искусстве: их напряженный эстетизм, переходящий нередко в беспринципную эстетность. Именно сюда Толстой и направляет свои удары.

Никакой красоты, как высшей ценности, для нас, с нашим развитым этическим сознанием, не существует и не должно существовать. Быть может, у древних греков и был культ красоты, как чего-то высшего, «божественного», но это уже давно пережито, и невозможно пытаться воскресить то, что жило и умерло две тысячи лет назад. Для нас — и это подтверждается самым происхождением искусства, как оно выясняется за последнее время,— для нас искусство — отнюдь не высокое служение чему-то мистически высокому, а просто игра, забава, самое безгрешное и лучшее развлечение, отдых — «радость без соблазна». «Искусство есть забава... удовольствие этой забавы состоит в том, что человек, не делая усилий (не живя), не перенося всех жизненных последствий чувств, испытывает самые разнообразные чувства, заражаясь ими непосредственно от художника, живет и испытывает радость жизни без труда ее». «Искусство дает человеку отдых, подобный тому, который дает человеку сон. И как без сна не мог бы жить человек, так и без искусства невозможна была бы жизнь человека». В этом подлинное и важное значение искусства. Называя его забавой, мы

нисколько не унижаем его. Толстой несколько раз возвращается к этой теме, и невольно создается такое впечатление, что он хочет убедить прежде всего самого себя, что в его словах не содержится никакого умаления искусства. Ведь, дать людям «радость без соблазна», осмысленный и безгрешный отдых — великое дело.

Но если искусство — забава и отдых, то оно, естественно, вырастает на почве труда и должно принадлежать тем, кто работает и борется за жизнь. Искусство бездельников и тунеядцев не может быть полноценным. Более того, в их руках оно непременно искажается: из могучего орудия отдыха от трудовой, напряженной жизни оно превращается в средство щекотать нервы и всячески эпатировать пресыщенных всеми благами, равнодушных ко всему людей. Искусство извращается и развращается. Оно становится уделом немногих избранных баловней жизни, замыкается в самом себе и, теряя свою внутреннюю биологическую и социальную необходимость, становится гримасой и кривлянием. Таково, прежде всего, буржуазно-модернистское искусство наших дней.

Это искусство лишено внутренней силы; оно утонченно и изысканно, но в самом дурном смысле этого слова, ибо эта «утонченность» достигается за счет ясности, простоты и убедительности, теряя которые искусство неизбежно утрачивает и свою творческую силу и напряженность. Правда, служители этого искусства в своем высокомерии, эгоизме и полном пренебрежении к трудовому человечеству заявляют нам, что их искусство недоступно нам потому, что мы еще не доросли до него, что оно — искусство будущего. Но это не только недобросовестно, но принципиально ложно. Искусство необходимо людям, как сон и воздух, оно, настоящее искусство, должно существовать сейчас, сию минуту, а иначе оно не искусство. Нет никакого искусства будущего, и нельзя целиком воскресить искусство прошлого, ибо искусство для человечества всегда в настоящем, удовлетворяя его потребность в художественной забаве, такой же органической, как потребность в воздухе, пище и сне. И, ссылаясь на будущее, жрецы нового искусства тем самым подписывают приговор и этому искусству и самим себе.

Но, давая Толстому опорный пункт для критики модернизма, тезис об искусстве, как художественной игре, открывает перед ним возможность построения и некоторой положительной схемы.

«Искусство есть забава, дающая отдохновение трудящимся людям, т. е. людям, находящимся в нормальных — свойственных всегда всему человечеству — условиях. И потому художник должен иметь в виду всегда всю массу трудящихся людей, т. е. все человечество за малыми исключениями, а не некоторых праздных людей». Иначе говоря, искусство должно быть прежде всего народным и общечеловечным. А для этого «оно должно быть понятно наибольшему числу людей. Чем большее число людей может быть заражено искусством, тем оно выше и тем оно больше искусство. Для того же, чтобы оно действовало на наибольшее число людей, нужно два условия:

Первое и главное, чтобы оно выражало не чувства людей, стоящих в исключительных условиях, а, напротив, такие чувства, которые свойственны всем людям...

Другое условие — это ясность и простота — то самое, что достигается с наименьшим трудом и что делает произведение наиболее доступным наибольшему числу людей».

Теперь мы видим, в чем дело. С одной стороны, ополчаясь против модернистов, Толстой отлично понимал, что здесь никакими этическими обличениями ничего не поделаешь. С другой же стороны, новые течения в искусстве оскорбляли и задевали его именно, как писателя, и ему хотелось выступить против них уже не столько в качестве проповедника новой этики, сколько в качестве художника. И, поступаясь высоким этическим значением искусства, провозглашая искусство особой художественной забавой, он приобретал возможность напасть на модернизм прежде всего, как на художественное направление. А в то же время новая точка зрения чрезвычайно расширяла имманентную социальную базу искусства и позволяла Толстому провозгласить народность и общечеловечность внутренне необходимыми признаками подлинного искусства. Казалось бы, что этим можно было удовлетвориться, тем более, что схема таила в себе известные возможности для дальнейшего развития в желательном для

Толстого (этическом) направлении. Само понятие «общечеловеческих» чувств (указание на это имеется в статье) включало в себя огромную этическую проблему. Но, тем не менее, Толстой, окончив статью и внеся в нее ряд поправок, подписывает под ней: «Все скверно».

Можно было бы подумать, что эта пометка относится к исполнению, а не к существу работы. Однако, такое предположение не оправдывается фактами, так как Толстой в дальнейшем отказывается именно от принципиальных установок своей статьи.

Еще 6 ноября он записывает в дневнике: «Третий день продолжаю писать об искусстве. Кажется, хорошо».

«Высшее совершенство искусства — это его космополитизм. А у нас теперь, напротив, оно все больше и больше обособляется хоть не по народам, то по сословиям». «Утонченность искусства и сила его всегда обратно пропорциональны».

Все эти мысли находят яркое и сильное выражение в статье.

Но уже 12 ноября, т. е. через два дня после окончания статьи, в дневнике читаем: «Писал статью об искусстве. Нынче немного изложение веры. Слабость мысли и грустно. Надо учиться быть довольным глупостью...

16 ноября. Не переставая, думаю об искусстве и об искушениях или соблазнах, затемняющих ум, и вижу, что к их разряду принадлежит искусство, но не знаю, как разъяснить. Очень, очень это занимает меня. Засыпаю и просыпаюсь с этой мыслью и до сих пор не пришел к решению...

17 ноября. Все не выяснилось вполне значение искусства. Ясно, и могу написать и доказать, но не кратко и не просто. До этого не могу довести... Забава хороша, если забава не развратная, чистая и из-за забавы не страдают люди. Сейчас думаю: эстетика есть выражение этики, т. е. по-русски — искусство выражает те чувства, которые испытывает художник. Но если чувства хорошие, высокие, то и искусство будет хорошим, высоким и наоборот. Если художник нравственный человек, то и искусство его будет нравственно и наоборот. (Ничего не вышло).

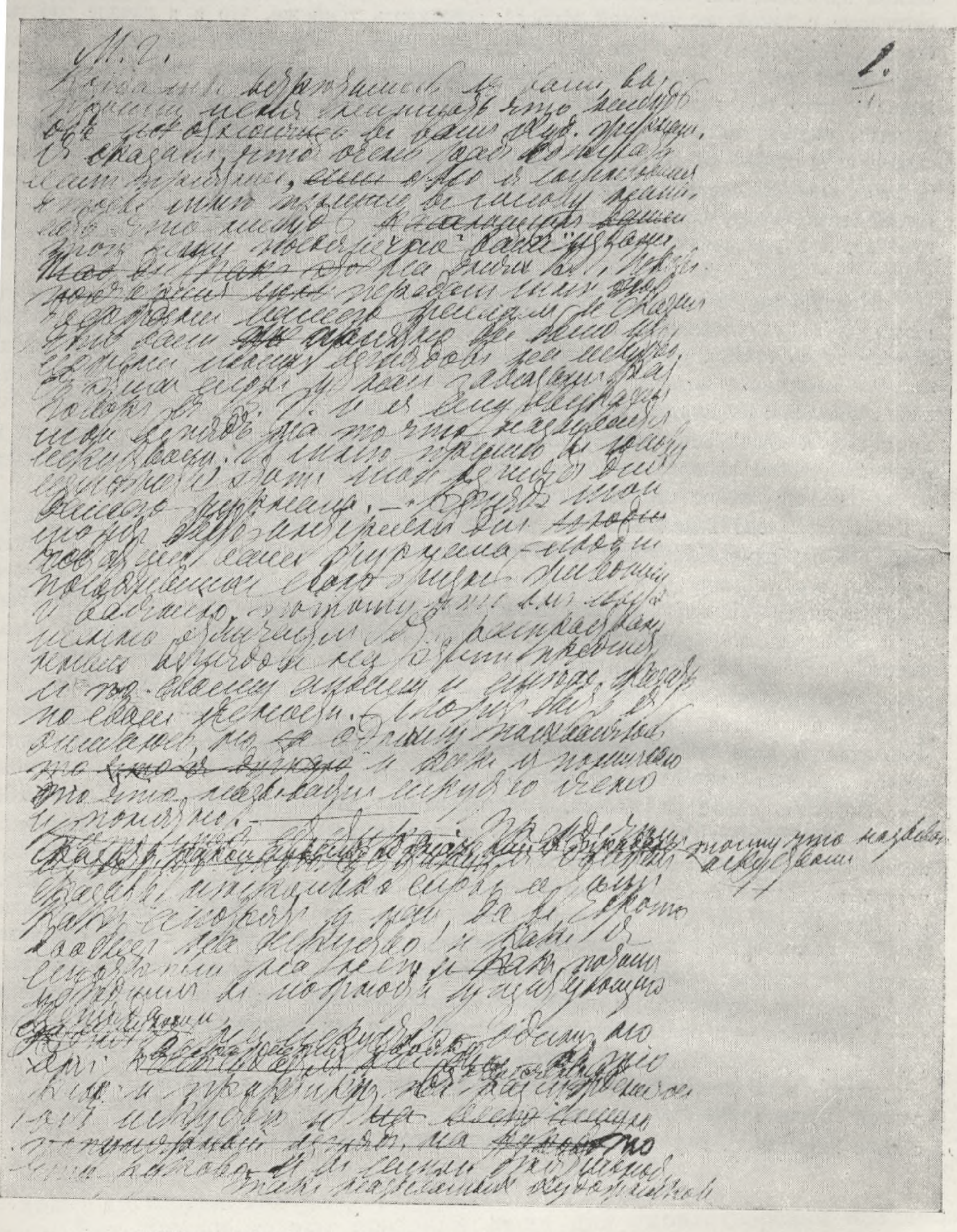
22 ноября. Запутался в статье об искусстве и не подвинулся вперед...

25 ноября. Пытаюсь писать об искусстве — не идет...

12 декабря. Много читаю об искусстве. Уясняется. Даже не сажусь писать».

Совершенно ясно, что̀ именно не удовлетворяло Толстого в его статье: он не мог помириться с определением искусства, как художественной забавы. Его внутренний художественный опыт подсказывал ему, что этого слишком мало и что произведение искусства во всех своих аспектах — этическом, познавательном и эстетическом — нечто гораздо большее, чем игрушка, что это предмет «таинственный и важный». А в то же время, какое бы высокое значение ни придавал он «отдыху» людей, но успокоиться на мысли, что все его художественное творчество служит только «для развлечения», он не мог. К тому же, такая установка явно противоречила внутренним тенденциям его собственных «народных рассказов». Сказать, что они написаны с целью дать «безгрешную забаву» простым людям, значило солгать самому себе. И Толстой, «отложив» в сторону и эту статью, опять принимается за поиски путей к такому обоснованию искусства, которое могло бы вполне удовлетворить его и как художника и как религиозно-этического мыслителя.

В 1882 г. Толстой сделал первую попытку формулировать взгляды на искусство, и теперь, через пятнадцать лет, он стоял перед тою же задачей, обогащенный новыми знаниями по этому предмету, но ничуть не подвинувшийся в главном: имманентном этическом обосновании искусства. Он лучше многих других понимал огромное социальное значение искусства и широко и прямо ставил эту проблему; как художнику, ему был открыт внутренний творческий опыт, но он смотрел на все, и внутри и вне себя, сквозь призму своей этической системы и вне ее не мыслил ни одного решения. И любопытно, что и теперь, через пятнадцать лет, он «кружится все в той же колее»: «Если художник нравственный человек, то и искусство его будет нравственно и наоборот. (Ничего не вышло)». Вполне понятно, что из этого ничего не выходило. Речь шла здесь не о нравственности или безнравственности самого художника, но об эти-



ПЕРВАЯ СТРАНИЦА ПИСЬМА Л. Н. ТОЛСТОГО К ИЗДАТЕЛЮ «ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЖУРНАЛА» Н. А. АЛЕКСАНДРОВУ

Толстовский музей, Москва

ческом принципе, как имманентном организующем начале искусства, и все трудности, связанные с такой постановкой вопроса, оставались теми же, что и в начале работы. Однако, Толстой не мог более медлить: новый поворот в развитии искусства, глубоко задевавший его, как художника, властно побуждал его высказаться. Весь 1897 год проходит у него под знаком работы над искусством. Он пишет и, главное, решается, наконец, опубликовать обширный трактат «Что такое искусство?», представляющий скорее свод накопившихся у него мыслей и знаний об искусстве, нежели последовательно развитую систему. Остался ли он удовлетворенным хотя бы этим произведением? Повидимому, нет. Он не раз отзывается о нем, как слабом по целому ряду пунктов, и в дальнейшем нередко — и в дневниках и печатно — возвращается к этой теме.

Повидимому, в «таинственном и важном» деле искусства было что-то такое, что никак не могло уложиться в этическую систему Толстого. По крайней мере, публикуемые здесь статьи, растянувшиеся слишком на пятнадцать лет, рисуют нам яркую картину внутренней борьбы, сомнений, колебаний, даже некоторой растерянности художника-мыслителя; он жадно ищет новых определений и точек зрения, пробует их приладить к своим этическим убеждениям, отбрасывает в сторону, возвращается к прежним, иногда надолго оставляет, «откладывает» работу, потом снова принимается за нее, подчас словно против своей воли.

Толстой ясно видел всю внутреннюю ложь разлагающегося буржуазного искусства, его глубокую беспринципность и лицемерие, его рабскую зависимость от рынка и моды, его условность и надуманность. И «беспощадно-резкая» критика Толстого «била в лицо» (Ленин) представителям этого искусства, разоблачая подлинную сущность модернизма — художественного течения, выражавшего вкусы «праздного меньшинства паразитов». Великий писатель прямо и категорически заявлял, что «современному искусству все меньше и меньше интересны требования рабочей толпы, все делается и пишется для сверхчеловеков, для высшего, утонченного типа праздного человека». В этой смелой и разрушительной критике буржуазного искусства заключается огромное положительное значение выступлений Толстого по вопросам эстетики.

Но, само собой разумеется, Толстой не мог удовлетвориться одной критикой. Толстой непременно должен был дать и положительную теорию искусства. Ведь, недаром он «посвятил всю свою жизнь наукам и искусству»; художественное творчество непреодолимо влекло его к себе, противиться этому влечению было свыше его сил. И ему во что бы то ни стало нужно было найти этическое оправдание своей художественной деятельности, а этого можно было достичь, только обосновав этическую природу художественного творчества вообще. Но именно то, что вызывало такую острую, мучительную потребность в оправдании искусства — художественный гений Толстого, — и осложняло положение. Он, кто так решительно, сурово и непоколебимо отверг целый ряд ценностей культурной жизни человечества, — он нашел в искусстве такую ценность, которая была дана ему не извне, а изнутри, в своей внутренней жизни и значении. И справиться с ней было уже не так легко: искусство словно вырывалось и убегало из-под власти его этической системы.

Статьи публикуются по рукописям, хранящимся в Толстовском музее. Две из них (№ 1 и № 2) были напечатаны А. К. Чертковой в третьем выпуске «Толстой и о Толстом», стр. 3—35. Статьи №№ 3—6 печатаются по правленным Толстым копиям В. Г. Черткова, М. Л. Толстой, Е. И. Попова, А. И. Аполлова и других; статья № 7 — по автографу Толстого; свод заметок под № 8 — по авторизованной копии В. Г. Черткова.

При публикации статей выдержан принцип первых редакций. Сделано это на том основании, что, начиная править переписанные работы, Толстой перечеркивал и «исправлял» всю статью, а затем бросал ее, как неудовлетворительную. Поэтому «последних редакций» для этих произведений, как оставленных в середине работы, нет. Таким образом, предлагаемые статьи представляют первоначальные наброски.

1

[ПИСЬМО К ИЗДАТЕЛЮ «ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЖУРНАЛА» Н. А. АЛЕКСАНДРОВУ]

[1882 г.]

М[илостивый] г[осударь!]

Когда мы встретились с вами, вы просили меня написать что-нибудь в ваш Художественный журнал. Я сказал, что очень рад сделать вам приятное, но сомневаюсь, чтобы мне пришло в голову написать что-нибудь, касающееся того, чему посвящено ваше издание.

На-днях Василий Григорьевич Перов передал мне подтверждение вашего желания и сказал, что вам приятно бы было изложение именно моих взглядов на искусство. С этих слов у нас завязался разговор с Василием Григорьевичем, и я ему высказал мой взгляд на то, что называется искусством.

И мне пришло в голову изложить этот мой взгляд для вашего журнала. Взгляд мой может быть интересен для читателей вашего журнала — людей, посвятивших свою жизнь живописи и ваянию, потому что он совершенно отличается от распространенных взглядов на этот предмет и по своему смыслу и — смею сказать — и по своей ценности. Может быть, я ошибаюсь, но одним похваляюсь — как я понимаю то, что называется искусство, ясно и понятно.

Прежде чем сказать, какой смысл и значение я придаю тому, что называю искусством, я должен сказать несколько слов о том, как смотрят у нас, да и в Европе вообще, на искусство, и как я смотрел на него, и как потом убедился в ложности существующего взгляда.

Существующий взгляд на искусство один, но он выражается двояко — в теории и практике, в отвлеченных рассуждениях об искусстве и в самой деятельности так называемых художников.

В теории искусство есть проявление одной из сторон сущности человеческого духа — проявление красоты (троица состоит из истины, добра и красоты). Искусство есть выражение конечного в бесконечном и т. д. и т. д. — весь этот сумбур, на который стоит завести хорошего говоруна, и он будет говорить до вечера. Все это очень высоко и прекрасно, но очень туманно, и потому выходит, что искусство есть все то, что потешает людей. И, к сожалению, выходит то, что никак нельзя отделить от искусства, по этому определению, балета, кулинарного и парикмахерского искусства. Выходит, что это определение — очень хорошие слова, но определять оно ничего не определяет, и что если эстетик отделяет Гомера от Габорио и Венеру Милосскую от восковой голой куклы, то он отделяет их не по своей теории, а совершенно произвольно. Выходит, что по этому определению искусство захватывает в свою область все то, что матерьяльно бесполезно, но удовлетворяет людской похоти. Так выходит по теории. По практике — выходит то же самое.

Все, что ни делают праздные люди для удовлетворения праздной похоти людей, все это безразлично называется искусством. Написать явление Христа народу — искусство, и написать голых девок — тоже искусство. Написать Илиаду и Нана — тоже искусство. Написать образ — искусство, и играть трепака — искусство, и клауны — искусство, и верхом ездить — искусство, и котлеты сделать, и волосы завивать, и платья шить — все искусство. И совершенно прав цирульник, называя себя художником. И ни один мудрец-немец, эстетик не покажет мне черту разделения между Рафаэлем и тициановской голой женщиной и похабным стереоскопом.

В теории что-то очень возвышенное, но туманное называется искусством, по определению их. В практике все, что матерьяльно бесполезно, и все то, что потешает людей, все это называется искусством.—И в этой бездне бесполезных явлений, удовлетворяющих людские похоти, люди, смотря по своим вкусам, разбираются самым произвольным образом. Также и художники. И выходит, что встречаешь и в беседах и в печати людей умных, образованных, к[оторые] диаметрально противоположно судят об явлениях так называемого искусства.

А. говорит — это верх искусства. *Б.* говорит — это даже и не искусство, и наоборот. Спросите, почему, и начинаются разговоры, к[оторых] не понимает тот, кто слушает, и еще меньше понимает тот, кто говорит.

Таково, по моим наблюдениям, отношение людей нашего времени к искусству. De facto, всякая деятельность, не приносящая матерьяльной пользы, но почему-нибудь нравящаяся людям, называется искусством. Так что вышло, что один внешний признак матерьяльной бесполезности искусства сделался его определением.

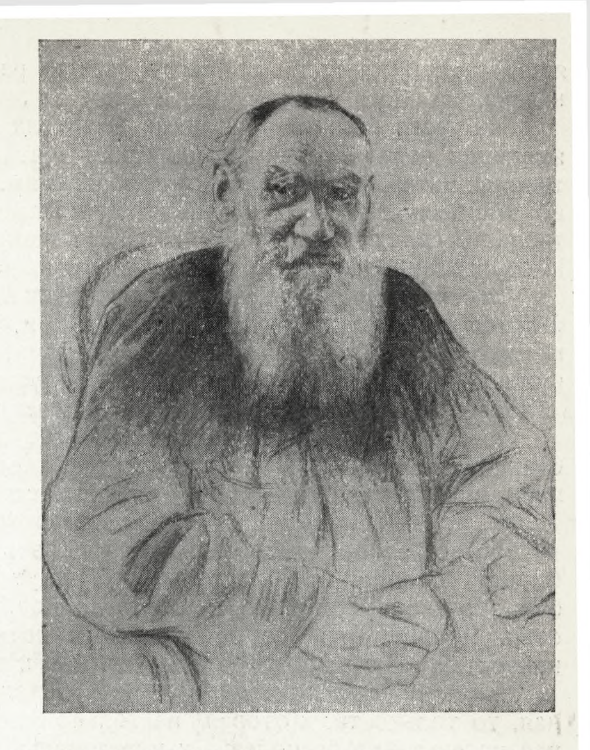
Пляшут девки с голыми ногами — бесполезно, но есть охотники смотреть — искусство. Много звуков набрать и щекотать ими слух — искусство. Написать голых женщин или рощу — искусство. Подобрать рифмы и описать, как блудят господа, — искусство.

Положение в теории искусства точно такое же, как и в других отраслях человеческой деятельности.

Люди дурны и любят свои пороки. И является ложная умственная деятельность, имеющая целью оправдать любимые людьми пороки. Люди мстительны, жадны, любостяжательны, исключительны — и является юриспруденция, которая возводит в теорию мстительность — уголовное право, любостяжательность — гражд[анское] право, подлое государств[енное] право, исключительность — международное право. Люди немилосердны и жестоки, они хотят каждый забрать побольше и не отдавать другому и хотят, чтобы, наслаждаясь избытком, когда рядом мрут от голода, чтобы совесть их была покойна — это политическая экономия. Люди похотливы, им хочется щекотать свои нервы и хочется при этом считать, что они делают важное, хорошее дело, — готова эстетика, теория искусства. Красота, идеал, бесконечное в конечном.

И вот, в тумане этой теории, оправдывающей похоть людскую, я жил и, как говорится высоким слогом, служил искусству 30 лет. И это служение, должен сказать, очень веселое. Я делал то, что делают все т[ак] наз[ываемые] художники: я выучился бесполезному мастерству, но такому, к[оторым] мог щекотать похоть людскую, и писал книжки о том, что мне взбредет в голову, но только так подделывал их, чтобы щекотать похоть людскую и чтоб мне за это платили деньги. И мне платили деньги и говорили еще, что я делаю очень важное дело, и я был очень доволен. — Но лет 8 тому назад я вернулся к той простой истине, к[оторую] знает всякий человек, рождаясь на свет, что жизнь есть благо не одно личное, а благо общее, и на этом знании поверял свою жизнь. И, рассчитываясь сам с собой, я увидал, что в том деле, к[оторое] я делал, не было ничего высокого и нет никакой разницы от того, что девки без порток пляшут и обнимаются в балете, и что вся эта теория искусства, к[оторой] я служил, есть большой, огромный соблазн, т. е. обман, скрывающий от людей благо и вводящий их во зло.

Но я, осердясь на блох, и шубу в печь, т. е. я решил, что все т[ак] н[азываемое] искусство есть огромное зло,— зло, возведенное в систему. Потом, когда я остыл немного, я убедился, что я был не совсем справедлив, что в этой матерьяльно бесполезной деятельности т[ак] наз[ываемого] искусства не все есть служение похоти, а что есть и полезное, хотя и не матерьяльно, т. е. добро. Я убедился, что я был справедлив относи-



Л. Н. ТОЛСТОЙ
Рисунок О. Браза, 1906 г.
Толстовский музей, Москва

тельно себя, но несправедлив вообще, потому что я знаю, что многое доброе я получил от этой матерьяльно бесполезной деятельности.

Но, как ни важно то, что я получил от т[ак] наз[ываемого] искусства, все-таки, если бы сейчас мне пришлось опять выбирать между искусством, как оно понимается, и отсутствием его, я выбрал бы последнее для себя и для всякого человека, к[оторому] я желаю добра. Если бы поставлена была такая дилемма: совсем никакого искусства или насыщение всем тем, что наз[ывается] искусством, т. е. всеми соблазнами похоти, — разумеется, лучше никакого.

Итак, я пришел к тому, что в том море соблазнов похоти, кот[орыми] мы окружены и к[оторым] мы поклоняемся, как чему-то возвышенному, под именем изящного искусства, среди моря гнойной мерзости есть добро.

Что добро в искусстве? И как провести черту не туманную, а строго определенную между развратом и добром в этой деятельности? Но надо помнить, что дело это не шуточное, что если не удастся провести черту твердую, дать признаки несомненные, то лучше и не касаться этого ужаса. Тут путь спасения узенький и страшный, потому что с обеих сторон чудовища, к[оторые] поглотят нас. И столько уже людей погибло и погибают. И мы знаем, как они погибают. Нам уже нельзя говорить того, что говаривали эстетики: «Всякое наслаждение искусством возвышает вашу душу, поэтому идите смотреть Сарру Бернар и слушать Сарасати. Прямой пользы это не принесет, но это возвысит вашу душу». Нам нельзя говорить этого, потому что мы знаем, что если Рубини и Бернар возвысят нашу душу, то и балетмейстер и повар анг[лийского] клуба тоже возвысят нашу душу, и мы знаем, что значит такое возвышение. Это значит, похоть и зло.

По моему теперешнему понятию, никакого особенного проявления духа челов[еческого] в искусстве нет и никогда не было. А есть то простое явление, что люди живут не одной плотью, но и чем-то не плотским, — это не плотское есть начало разума. Из этого явления вытекает то, что люди не удовлетворяются одним удовлетворением своих матерь-

яльных потребностей, а всегда имели разумные потребности, ведшие к исканию блага разумного, а потому не личного вообще.

Из этого стремления разума вытекала всегда людская деятельность, имеющая целью общее благо. Такая деятельность, очевидно, не удовлетворяла матерьяльным личным требованиям, была матерьяльно бесполезна, но эта бесполезная матерьяльно деятельность имеет право быть только тогда, когда духовно полезна, т. е. стремится и влечет людей к благу. И эту только деятельность я называю изящным искусством.

Вести же людей к благу можно только одним путем: любить благо, и потому деятельность эта состоит в том, чтобы показать пример любви к тому, что добро, и отвращения к тому, что зло. Чтобы сделать это, нужно, во 1) знать, что хорошо, что дурно; 2) любить то, что хорошо, и ненавидеть то, что дурно; 3) уметь высказать эту любовь хорошо.

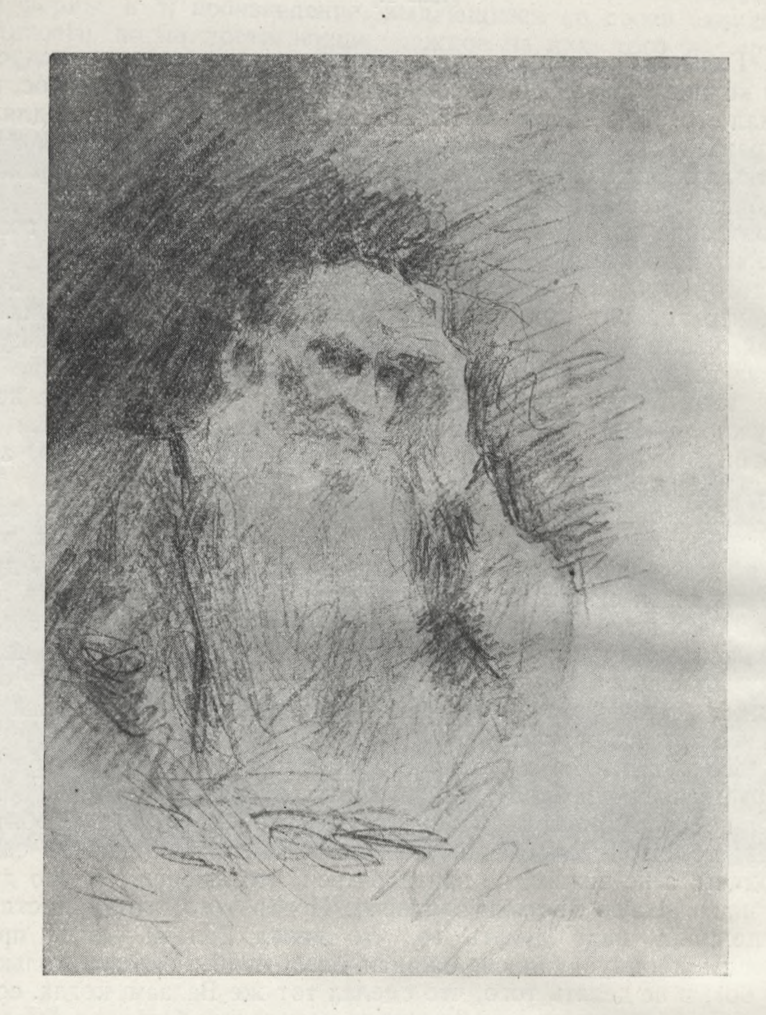
А странно, комическое дело, — этот отрицательный признак, отсутствие матерьяльной пользы, принят по теории искусства почти определением искусства. Бесполезно — это искусство. Пляшут с голыми ногами девки, это — искусство. Гримасничают актеры и несут околесную, это — искусство; слова подбирают в рифму, это — искусство; описывают, как блудят господа, это — искусство. Пишут во весь рост толстых голых баб, это — искусство. Розан, закат солнца, рощу пишут, все это — искусство. Правда, что это бесполезно и потому подходит к определению искусства, но с этим-то определением я и не согласен.

Если есть достойная уважения деятельность людская не матерьяльная, то только та, к[оторая] не только матерьяльно бесполезна, но которая матерьяльно бесполезна и имеет целью общее благо, вот эту деятельность я называю деятельностью хорошей. И хотя объем ее, по моему определению, и больше прежнего искусства, но зато ясно все то, что входит и что не входит в нее. Исследование допотопных животн[ых] и млечного пути и т. п. не входит, балеты, оперы, соната, розаны, голые женщины не входят, но все то, что учит людей быть лучшими, все то входит. И в числе этого огромного количества предметов истори[и], философи[и], религии имеет место и пословица, и повесть, и былина, и картина, имеющая целью сделать людей лучше. И это-то определение, т. е. повести, картины, музыка, если такая есть, имеющие целью сделать людей лучше, это — то, что я называю искусством.

Но кроме рассуждений о том, что есть мое тело и когда является в нем душа, я знаю свою жизнь еще с другой стороны; и знаю так твердо и несомненно, что никакие рассуждения не могут уничтожить этого моего сознания жизни. Не знаю, где кончается и начинается мое тело, не знаю, с какого времени началась моя душа, и как она отходит и опять приходит к телу, но знаю несомненно одно: знаю, что во мне есть жизнь моя, особенная от всего другого, знаю, что я — живая личность, и знаю это не по рассуждениям, а потому что чувствую радости и горести, страдания и наслаждения, потому что всегда не только ощущаю свою личную жизнь, как наслаждение или страдание, как благо или зло, но и всегда стремлюсь к тому, чтобы иметь благо и избавиться от зла. Жизнь свою я, без всяких рассуждений и независимо и несмотря на рассуждения, я знаю как стремление моей личности к благу и избавление себя от зла. Жизнь моя, это — то, что я делаю в моем теле для достижения блага и избавления себя от зла, говорит себе человек, и это определение жизни кажется уже несомненным. Но стоит только поверить разумом в это представление о жизни для того, чтобы и оно оказалось столь же несостоятельным, как и первые.

Жизнь моя есть стремление мое к моему благу и к избавлению себя от зла. Достижение этого блага и избавление себя от зла и составляет жизнь. Какого же я достигал и достигаю блага и как избавился и избав-

ляюсь от зла?—спрашивает себя человек. И как бы он ни был молод, как бы ни был слабоумен, он не может не видеть того, что ни он, ни окружающие его не достигли никакого блага в этой жизни и не только не избавились от зол и главного зла для личности — смерти, но, напротив, с каждым шагом жизни вперед, с каждым движением, дыханием приближаются к величайшему злу, к страданиям, болезням, старости и смерти.



Л. Н. ТОЛСТОЙ

Рисунок карандашом П. П. Трубецкого, 1899 г.

Толстовский музей, Москва

Как бы молод и слабоумен ни был человек, он, и не слыхав рассуждений о том прежде живших его людей, сам не может не видеть, что все его наслаждения не наполняли его жизнь, не оставались в нем, а тотчас же проваливались, как через прорванный мешок, и оставляли его личность такою же пустою, какою она была прежде, только еще более требовательной, как еще более разорванный мешок. Наслаждения были мгновенные; после каждого наслаждения оставалась только большая пустота и большее требование новых наслаждений, к[оторых] нельзя б[ыло] получать.

Наслаждения и радости только обма...

2

ОБ ИСКУССТВЕ

[1889 г.]

В. А. Гольцев, составляя свою лекцию о прекрасном в искусстве, обратился ко мне с просьбой высказать свой взгляд на тот вопрос, который занимал его. Я на словах высказал ему то, каким образом я для себя когда-то разрешил вопрос о том, как провести ту черту, которая отделила бы ложное искусство от настоящего. Желая точнее выразиться, я таким образом записал это:

Произведение искусства хорошо или дурно от того, что говорит, как говорит и насколько от души говорит художник.

Для того, чтобы произведение искусства было совершенно, нужно, чтобы то, что говорит художник, было совершенно ново и важно для всех людей, чтобы выражено оно было вполне красиво, и чтобы художник говорил из внутренней потребности и, потому, говорил вполне правдиво. Для того, чтобы то, что говорит художник, было вполне ново и важно, нужно, чтобы художник был нравственно просвещенный человек, а потому не жил бы исключительно эгоистичной жизнью, а был участником общей жизни — человечества.

Для того, чтобы то, что говорит художник, было выражено вполне хорошо, нужно, чтобы художник овладел своим мастерством так, чтобы, работая, так же мало думал о правилах этого мастерства, как мало думает человек о правилах механики, когда ходит. А чтобы достигнуть этого, художник никогда не должен оглядываться на свою работу, любоваться ею, не должен ставить мастерство своей целью, как не должен человек идущий думать о своей походке и любоваться ею, а только думать о том, чего он хочет достигнуть через свое искусство, точно так же, как путешественник о том направлении, по которому ему следует итти.

Для того же, чтобы художник выражал внутреннюю потребность души и потому говорил бы от всей души то, что он говорит, он должен, во-первых, не заниматься многими пустяками, мешающими любить по настоящему то, что свойственно любить, а во-вторых, любить самому, своим сердцем, а не чужим, не притворяться, что любишь то, что другие признают или считают достойным любви. И для того, чтобы достигнуть этого, художнику надо делать то, что делал Валаам, когда пришли к нему послы и он уединился, ожидая бога, чтобы сказать только то, что велит бог; и не делать того, что сделал тот же Валаам, когда, соблазнившись дарами, пошел к царю, противно повелению бога, что было ясно даже ослице, на которой он ехал, но не видно было ему, когда корысть и тщеславие ослепили его.

Из того, до какой степени достигает произведение искусства совершенства в каждом из этих трех родов, вытекает различие достоинств одних произведений от других.

Могут быть произведения 1) значительные, прекрасные и мало задушевные и правдивые; могут быть 2) значительные, мало красивые и мало задушевные и правдивые, могут быть 3) мало значительные, прекрасные и задушевные и правдивые и так далее во всех сочетаниях и перемещениях.

Все такие произведения имеют свои достоинства, но не могут быть признаны совершенными художественными произведениями. Совершенным художественным произведением искусства будет только то, в котором содержание будет значительно и ново, и выражение его вполне пре-

красно, и отношение к предмету художника вполне задушевно и потому вполне правдиво.

Такие произведения всегда были и будут редки. Все же остальные произведения, несовершенные, сами собой разделяются по основным условиям искусства на три главные рода: 1) произведения, выдающиеся по значительности своего содержания, 2) произведения, выдающиеся по красоте формы, и 3) произведения, выдающиеся по своей задушевности и правдивости, но не достигающие, каждое из них, того же совершенства в двух других отношениях.

Л. Н. ТОЛСТОЙ и И. Е. РЕПИН

Фотография 1908 г.

Частное собрание, Москва

Все три рода эти составляют приближение к совершенному искусству и неизбежны там, где есть искусство. У молодых художников часто преобладает задушевность при ничтожности содержания и более или менее красивой форме, у старых, наоборот; у трудолюбивых профессиональных художников преобладает красота формы и часто отсутствует содержание и задушевность.

По этим трем сторонам искусства и разделяются три главные ложные теории искусства, по которым произведения, не соединяющие в себе всех трех условий и потому стоящие на границах искусства, признаются не только за произведения, но и за образцы искусства.

Одна из этих теорий признает, что достоинство художественного произведения зависит преимущественно от содержания, хотя бы произведение и не имело в себе красоты формы и задушевности. Это так называемая теория тенденциозная.

Другая признает, что достоинство произведения зависит от красоты формы, хотя бы произведение и было ничтожно и отношение к нему художника лишено было задушевности; это теория искусства для искусства. Третья признает, что все дело в задушевности, в правдивости, что, как бы ни ничтожно было содержание и несовершенна форма, только бы художник любил то, что он выражает, произведение будет художественно. Эта теория называется теорией реализма.

И вот, на основании этих ложных теорий, художественные произведения не являются, как в старину, одно, два по каждой отрасли в промежуток времени одного поколения, а каждый год в каждой столице (там, где много праздных людей) являются сотни тысяч произведений так называемого искусства по всем его отраслям.

В наше время человек, желающий заниматься искусством, не ждет того, чтобы в душе его возникло то важное, новое содержание, которое бы он истинно полюбил, а полюбя, облек бы в соответственную содержанию форму, а или, по 1-й теории, берет ходячее в данное время и хвалимое умными, по его понятию, людьми содержание и облекает его, как умеет, в художественные формы, или, по 2-й теории, избирает тот предмет, на котором он более всего может выказать свое техническое мастерство, и с старанием и терпением производит то, что он считает произведением искусства. Или еще, по 3-й теории, получив приятное впечатление, берет то, что ему понравилось, предметом произведения, воображая, что это будет художественное произведение потому, что ему это понравилось. И вот является бесчисленное количество так называемых художественных произведений, которые могут быть использованы, как всякая ремесленная работа, без малейшей остановки; ходячие модные мысли всегда есть в обществе, всегда с терпением можно научиться всякому мастерству и всегда всякому что-нибудь да нравится.

И из этого-то и вышло то странное положение нашего времени, в котором весь наш мир загроможден произведениями, претендующими быть произведениями искусства, но отличающимися от ремесленных только тем, что они не только ни на что не нужны, но часто прямо вредны.

Из этого вышло то необыкновенное явление, явно показывающее путаницу понятий об искусстве, что нет такого так называемого художественного произведения, о котором бы в одно и то же время не было двух прямо противоположных мнений, исходящих от людей одинаково образованных и авторитетных.

Из этого же вышло и то удивительное явление, что большинство людей, предаваясь самым глупым, бесполезным и часто безнравственным занятиям, т. е. производя и читая книги, производя и глядя картины, производя и слушая музыкальные и театральные пьесы и концерты, совершенно искренно уверены, что они делают нечто очень умное, полезное и возвышенное.

Люди нашего времени как будто сказали себе: произведения искусства хороши и полезны, надо, стало быть, сделать, чтобы их было побольше. Действительно, очень хорошо бы было, если бы их было больше, но горе в том, что можно делать по заказу только те произведения, которые вследствие отсутствия в них всех трех условий искусства, вследствие отсутствия, разъединения этих условий, понижены до ремесла. Настоящее же художественное произведение, включающее все три условия, нельзя делать по заказу, нельзя потому, что состояние души художника, из которого вытекает произведение искусства, есть высшее проявление знания, откровение тайн жизни.

Если же такое состояние есть высшее знание, то и не может быть другого знания, которое могло бы руководить художником для усвоения себе этого высшего знания.

3

О ТОМ, ЧТО ЕСТЬ И ЧТО НЕ ЕСТЬ ИСКУССТВО, И О ТОМ, КОГДА ИСКУССТВО ДЕЛО ВАЖНОЕ И КОГДА ОНО ЕСТЬ ДЕЛО ПУСТОЕ

[1889—1890 гг.]

В жизни нашей есть много деятельностей ничтожных и даже вредных, которые или пользуются несвойственным таким деятельностям уважением людей, или терпятся людьми только потому, что эти деятельности считаются занятиями искусством; искусство же считается делом важным. Срисовывание цветочков, лошадок и пейзажей, плохое разучивание музыкальных пьес так, как оно производится в большинстве наших так называемых образованных семьях, и писание плохих повестей и стихов, которых сотни появляются в газетах и журналах, очевидно, не составляют занятий искусством. Изображение неприличных, возбуждающих чувственность, порнографических картин, сочинение таких же песен и повестей, если бы даже эти картины, песни и повести и имели художественные достоинства, не есть дело доброе и достойное уважения.

И потому я думаю, что было бы полезно отделить из всего этого, что производится среди нас и называется занятием науками и искусством, во-первых, то, что действительно есть наука и искусство, от того, что не имеет права называться этим именем; а во-вторых, уж из того, что действительно есть искусство, выделить важное и хорошее искусство от ничтожного и дурного.

Вопрос о том, как и где провести черту, отделяющую искусство от неискусства и доброе и важное в науке и искусстве от пустого и злого,— есть вопрос огромной житейской важности.

Большое количество грехов или ошибок в нашей жизни происходит оттого, что называется искусством то, что не есть искусство, мы приписываем несвойственное уважение тому, что не только не заслуживает его, но достойно осуждения и презрения. Не говоря об огромном труде людском на приготовление предметов, нужных для произведений науки и искусства: академий, университетов, лабораторий, музеев, студий, красок, полотен, мраморов, музыкальных инструментов, театров с их декорациями и машинами, — жизни человеческие прямо уродуются односторонними трудами для приготовления деятелей так наз[ываемых] науки, искусства. Сотни тысяч, если не миллионы, детей принуждаются к односторонней, мучительной для них работе упражнения в так называемых науках и искусствах танцев, музыки. Не говоря о детях образованных классов, платящих мучениями уродств дань наукам, искусствам, дети, посвященные профессиям балетной и музыкальной, прямо уродуются во имя того искусства, которому они посвящаются. Если можно заставить детей 7, 8 лет учить грамматики, играть по нескольку часов на инструментах, а потом в продолжение десяти, пятнадцати лет по 7, 8 часов в сутки, если можно из любопытства резать не только кроликов и собак, но людей во имя науки, если можно девочек отдавать в школы балета и потом заставлять их делать антраша на первых месяцах беременности, и все это во имя искусства, то надо непременно определить прежде всего, что такое истинные наука и искусство, чтобы под видом науки и искусства не производилось бы подобие его; а потом уже — доказать, что науки и искусства суть дело важное для людей.

Где же та черта, которая отделяет важное, нужное, драгоценное для людей от пустых и безнравственных занятий, ремесленных произведений и даже предметов безнравственных? В чем сущность и значение истинной науки и искусства?

Теория одна, — та, которую противники ее называют «тенденциозной», — говорит, что сущность истинного искусства состоит в значительности для людей того предмета, который оно изображает; — что для того, чтобы искусство было истинным, нужно, чтобы содержание его было нечто важное, нужное людям, доброе, нравственное, поучительное.

По этой теории выходит, что художник, т. е. человек, владеющий известным мастерством, взяв наиважнейшую тему, занимающую в данное время общество, может, облекши ее в художественную форму, произвести истинное произведение искусства. По этой теории религиозные, нравственные, общественные, политические истины, облеченные в художественную форму, суть произведения искусства.

Другая теория, — та, которая сама себя называет «эстетической», или «искусство для искусства», — говорит, что сущность истинного искусства — в красоте формы; что для того, чтобы искусство было истинным, нужно, чтобы то, что оно изображает, было красиво.

По этой теории выходит, что художнику для произведения искусства нужно владеть техникой своего искусства и избрать такой предмет, который в наибольшей степени производит приятное впечатление, и — что, поэтому, красивый ландшафт, цветы, плоды, нагота, балеты — будут произведения искусства.

Третья теория,— та, которая называется «реалистическою»,— говорит, что сущность искусства состоит в правдивом, реальном изображении действительности; — что для того, чтобы искусство было искренним, нужно, чтобы оно изображало действительную жизнь, как она есть.

По этой теории выходит, что произведением искусства будет все, что художник видит и слышит,— все, что художник сумел поймать в свой изображающий аппарат, независимо от значительности содержания и красоты формы.

Таковы теории. И на основании каждой из этих теорий появляются так называемые художественные произведения, удовлетворяющие то одной, то другой, то третьей теории. Но, не говоря уже о том, что каждая из этих теорий отрицает одна другую, теории эти сами по себе не удовлетворяют, ни одна из них, главному требованию определения той черты, которая отделяет искусство от ремесленного, ничтожного и даже вредного произведения. По каждой из этих теорий произведения могут быть производимы, не переставая, как всякое ремесленное дело, — могут быть ничтожны и вредны.

По первой теории значительные содержания, религиозные, нравственные, общественные, политические, можно всегда находить готовыми и поэтому — постоянно производить так называемые художественные произведения. Кроме того можно излагать эти содержания так неясно и так неискренно, что произведение с самым высоким содержанием окажется ничтожным и даже вредным, когда высокое содержание оскверняется неправдивым выражением.

Точно так же по второй теории всякий человек,— научившийся технике в какой-нибудь отрасли искусства, — может всегда, не переставая, производить нечто красивое и приятное, и красивое и приятное это может быть ничтожно и вредно.

По третьей теории точно так же всякий, желающий быть художником, может, не переставая, производить предметы так называемого искусства, потому что всегда всякого что-нибудь да интересует. Если же автора интересует ничтожное и дурное, то и произведение будет ничтожно и дурно.

Главное же то, что по всем трем теориям предметы так называемого искусства можно производить, не переставая, как всякое ремесленное

дело. Так оно действительно и производится. Так что эти три царствующие несогласные теории не только не служат определением той черты, которая отделяет искусство от неискусства, но, напротив, — более всего служат расширению области искусства и внесению в нее всего ничтожного и вредного.

Где же та черта, которая отделяет науки и искусства, которые нужны и важны и заслуживают уважения, от тех, которые не нужны, не важны, не заслуживают уважения и часто заслуживают презрения, как произведения, прямо развращающие? В чем состоит сущность истинных науки и искусства?

Для того, чтобы ясно ответить на этот вопрос, необходимо прежде всего из художественной деятельности выделить обыкновенно смешиваемую с нею деятельность передачи тех впечатлений и пониманий, которые получены от предшествующих поколений,— выделить эту деятельность от приобретения новых впечатлений и пониманий, — тех самых, которые потом передаются от поколения к поколениям.

Передача того, что известно предшествовавшим поколениям, есть в художественной области (точно так же, как и в научной),— деятельность учения и учительства. Произведение же нового есть творчество,— сама художественная (и научная) деятельность.

Деятельность передачи знания, учительства не имеет самостоятельного значения и вполне зависит от того, в чем люди полагают значение творчества,— что они прежде всего считают нужным передавать от поколения к поколениям. И потому определение того, что есть творчество, определит и то, что передается. Кроме того, деятельности учительской обыкновенно и не приписывается художественного (или научного) значения: значение деятельности художественной (как и научной) приписывается собственно творчеству, т. е. художественным (и научным) произведениям *.

Что же такое художественное (и научное) творчество?

Художественное (как и научное) творчество есть такая духовная деятельность, которая смутно представляющиеся мысль и чувство доводит до такой ясности, что мысль усваивается другими людьми, а чувство также сообщается другим людям.

Процесс творчества, доступный каждому человеку и потому известный каждому по внутреннему опыту, совершается так: человек предполагает или смутно чувствует нечто для себя совершенно новое,— такое, о чем он никогда ни от кого не слышал. Это нечто новое поражает его,

---

* Самое обыкновенное и распространенное между людьми определение искусства есть то, что искусство есть некоторая человеческая деятельность, не имеющая целью матерьяльную пользу, но доставляющая людям наслаждение; при этом прибавляют обыкновенно: облагораживающее и возвышающее душу наслаждение.

Определение это соответствует понятию большинства людей об искусстве; но оно не точно и не совсем ясно, а допускает большую произвольность толкования.

Неясно оно тем, что соединяет в одно понятие искусство, как деятельность человека, производящего предметы искусства, и чувство воспринимающего его; а допускает оно произвольность толкований потому, что не определяет, в чем именно состоит облагораживающее или возвышающее душу наслаждение; так что одно лицо может утверждать, что получает такое наслаждение от такого произведения, от которого другой не получает никакого.

И потому для того, чтобы определить искусство, надо определить особенность этой деятельности и ее происхождение в душе того, кто производит, и особенность воздействия этой деятельности на душу людей, воспринимающих ее. Деятельность эта отличается от всякой другой деятельности, ремесленной, торговой, даже научной (хотя и имеет с этой последней большое сродство) тем, что деятельность эта не вызывается никакой нуждой матерьяльной, а доставляет как производителю, так и воспринимателю его особенного рода, так называемое, художественное наслаждение. Чтобы объяснить себе эту особенность, надо понять, что побуждает людей к этой деятельности — как происходит художественное произведение.

и он указывает другим в простой беседе то, что он видит, и, к удивлению своему, замечает, что то, что так ясно видимо ему, совершенно невидимо другим. Другие люди не видят, не чувствуют того, что он передает им. Эта особенность, несогласие, разъединение с другими сначала беспокоит его, и, поверяя себя, человек старается новым людям с новых сторон передать то, что он видит, чувствует или понимает; но люди опять-таки не понимают того, что он передает им, или понимают не так, как он это понимает и чувствует. И человека начинает тревожить мысль о том, он ли предполагает и смутно чувствует то, чего нет, или другие не видят и не чувствуют того, что действительно есть? И, чтобы разрешить это сомнение, человек напрягает все свои силы на то, чтобы самому для себя уяснить это нечто так, чтобы в действительности существования того, что он видит, не могло уже быть ни для него самого, ни для других ни малейшего сомнения. И как только это уяснение доведено до конца, и сам человек уже не сомневается в существовании того, что он видит, понимает и чувствует, так и другие тотчас же видят, понимают и чувствуют то самое, что и он. И вот это-то стремление сделать для себя самого и для других ясным и несомненным то, что представляется другим и самому себе смутным и неясным,— и есть тот источник, из которого является произведение духовной деятельности человека вообще, или такое, какое мы называем художественным произведением, которое расширяет кругозор людей, заставляя их видеть то, чего они не видели прежде *.

В этом состоит деятельность п р о и з в о д я щ е г о предметы искусства, и с этой деятельностью связано и чувство в о с п р и н и м а ю щ е г о его. Чувство это имеет свой источник в подражательности, или скорее — в свойстве заражаемости и некотором гипнотизме — в том, что духовное напряжение художника для уяснения себе того, что составляет предмет его сомнений, передается через художественное произведение воспринимающему его. Художественное произведение тогда окончено, когда оно доведено до той ясности, что сообщается людям, вызывает в них то же чувство, которое испытывает при творчестве художник.

Новое, прежде невидимое, неощущаемое, непонимаемое людьми, напряжением чувства доведенное до такой степени ясности, что становится доступно всем людям,— и есть произведение искусства.

Удовлетворение напряженного чувства художника, достигшего своей цели, составляет наслаждение для художника. Ощущение того же напряжения чувства и удовлетворение его, подчинение этому чувству, подражание ему, заражение им, как зевотой, переживание в краткие минуты всего того, что пережил художник, творя свое произведение,— и есть то наслаждение, которое получается воспринимающим произведение искусства.

Такова, по моему мнению, особенность, отличающая искусство от всякой другой деятельности.

По этому определению, все, что передает людям нечто новое, добытое напряжением чувства и мысли художника, есть произведение искусства. Но для того, чтобы эта духовная деятельность имела то значение, которое ему придают люди, необходимо, чтобы оно п р и н о с и л о б л а г о людям, потому что очевидно, что новому злу, новому соблазну, ввергающему в зло людей, не может быть придано значения, придаваемого искусству, как чему-то, приносящему благо человечеству. Значение

* Разделение произведений духовной деятельности человеческой на произведения научные, философские, богословские, проповеднические, художественные и еще другие суть деления, делаемые людьми для удобства наблюдения, но деления эти не существуют в действительности, точно так же, как деления Волги на Тверскую, Нижегородскую, Симбирскую, Саратовскую не будут деления реки Волги, а будут только знаки для удобства нашего понимания.

и достоинство искусства состоит в расширении кругозора людей, в увеличении духовного богатства, капитала человечества.

И потому, хотя произведение искусства всегда будет заключать в себе нечто новое, но раскрытие чего-либо нового не всегда будет произведением искусства. Для того, чтобы произведение было произведением искусства, нужно:

1) чтобы то новое, что составляет содержание произведения, было бы важно для людей;

2) чтобы выражено было это содержание так ясно, чтобы люди могли понять его;

и 3) чтобы побуждением к работе автора над своим произведением было внутренняя потребность, а не внешние побуждения.

И потому не будет произведением искусства всякое такое, в котором не раскрывается ничего нового; но не будет таковым такое, которое имеет содержанием нечто совершенно ничтожное и потому не важное для людей, как бы понятно оно ни было выражено, и хотя бы автор работал над своим предметом из искреннего внутреннего побуждения;— ни то, которое выражено так, что оно непонятно людям, как бы важно ни было для всех людей его содержание, и как бы искренно ни было отношение к нему автора;— ни то, которое работано автором не для внутренней потребности, а для внешних целей, как бы важно ни было содержание, и как бы понятно ни было выражено.

Произведением искусства будет такое, которое раскрывает нечто новое и вместе с тем в известной степени удовлетворяет трем условиям: содержания, формы и искренности.

И вот тут является затруднение: как определить ту низшую степень содержания, красоты и искренности, при которой произведение может быть произведением искусства?

Произведением искусства будет только то, которое, во-первых, своим содержанием имеет нечто доселе неизвестное, но нужное людям; которое, во-вторых, открывает это так понятно, что становится доступным людям; и которое, в-третьих, выражает потребность разъяснения внутреннего сомнения самого автора.

Произведение, в котором присутствуют хотя бы и в малой степени все три условия, будет произведением искусства. Произведение, в котором отсутствует хотя одно из них, не есть произведение искусства.

Но, скажут на это, каждое произведение содержит что-нибудь нужное людям, всякое можно понять отчасти, и во всяком произведении автор относится с известной долей искренности. Где предел нужности содержания, понятности выражения и искренности отношения? Ответ на этот вопрос даст нам ясное представление другого высшего предела, того, до которого может достигнуть искусство: противоположное высшему пределу и представляет тот н и з ш и й предел, отделяющий из области искусства все то, что не может быть причислено к искусству. Высший предел содержания есть такое, которое нужно всегда всем людям. То же, что всегда нужно всем людям, это доброе или нравственное *.

* Полстолетия тому назад к словам: «важное», «доброе», «нравственное» не нужно было объяснения; в наше же время из десяти образованных людей девять при этих словах с победоносным видом спрашивают: а что такое важное, доброе или нравственное? предполагая, что слова эти выражают нечто условное, не подлежащее определению. И потому я должен ответить на предполагаемый вопрос:

Важное, доброе или нравственное есть то, что соединяет людей не насилием, а любовью, — что служит указанием на радость единения людей между собой; злое и безнравственное есть то, что разъединяет их; — что указывает людям на страдание, происходящее от разъединения.

Важно то, что заставляет людей понимать и любить то, чего они прежде не понимали и не любили.

Низшим пределом содержания, следовательно, будет такое, которое не нужно людям и содержание недоброе и безнравственное. Высший предел выражения будет такое, которое понятно всегда всем людям. То же, что всегда понятно всем людям, это то, что не имеет в себе ничего темного, лишнего, неопределенного, а то, что ясно, кратко и определенно, то, что называется прекрасным. Низший предел выражения, следовательно, будет такое выражение, которое темно, растянуто и неопределенно, т. е. безобразно. Высший предел по отношению художника к своему предмету будет такое, которое возбуждает в душе всех людей впечатление действительности того, что изображается,— действительности не того, что бывает, а того, что происходило в душе художника. Впечатление же действительности производит только правда, и потому высшее отношение автора к предмету есть истинное. Низший предел, следовательно, будет такой, в котором отношение автора к предмету не действительно и потому ложное.— Все произведения искусства находятся между этими двумя пределами.

Совершенным произведением искусства будет такое, в котором содержание важно и значительно для всех людей и потому нравственно;— выражение вполне ясно, понятно всем людям и потому красиво; и — отношение автора вполне искренно, задушевно и потому правдиво. Несовершенным, но все-таки произведением искусства, будет такое, в котором проявляются все три условия, хотя бы и в неравной степени. Не будет произведением искусства только такое, в котором или содержание совершенно ничтожно и не нужно людям, или выражение совершенно непонятно, или отношение автора к произведению совершенно неискренно.

По той степени совершенства, которой достигает произведение в том или другом, или третьем отношении, и различаются в своих достоинствах все истинные произведения искусства. Иногда преобладает одно, иногда другое, иногда третье.

Все же остальные несовершенные произведения сами собой разделяются по трем основным условиям искусства на три главные рода: 1) произведения, выдающиеся по значительности своего содержания, 2) произведения, выдающиеся по красоте формы, и 3) произведения, выдающиеся по своей задушевности. Все эти три рода составляют приближение к совершенному искусству и неизбежны там, где есть искусство.

Так, у молодых художников большей частью преобладает задушевность, при ничтожности содержания и более или менее красивой форме. У старых художников, наоборот, часто значительность содержания преобладает над красотою формы и задушевностью. У трудолюбивых художников преобладает над содержанием и задушевностью красота формы.

Все произведения искусства могут быть оцениваемы по преобладанию в них того, другого или третьего достоинства, и все могут быть подразделены на: 1) содержательные, прекрасные, но мало задушевные; 2) содержательные, мало красивые и мало задушевные; 3) мало содержательные, прекрасные и задушевные... и т. д. во всех возможных сочетаниях и перемещениях. Все произведения искусства, да и вообще духовной деятельности человека могут быть оцениваемы только на основании этих трех основных условий; и — так и оценивались и оцениваются людьми.

Различие в оценке происходило и происходит от высоты требований, в данное время и известными людьми предъявляемых искусству по отношению каждого из трех условий.

Так, например, в древности требования содержательности были гораздо выше и требования ясности и правдивости — гораздо ниже, чем они стали впоследствии и особенно в наше время; требования красоты

стали больше в средние века, но зато понизились требования содержательности и искренности; а в наше время стали гораздо большими требования искренности и правдивости, но зато понизилось требование красоты, в особенности содержания.

Оценка произведения искусства всегда правильна, когда принимает во внимание все три условия, и всегда неправильна, когда произведение оценивается не на основании всех трех условий, а только одного или двух из них.

А между тем такая-то оценка произведения искусства на основании одного из трех условий есть особенно распространенное в наше время заблуждение, понижающее общий уровень требований от искусства до того, что есть только подобие его, и путающее понятие и критиков, и публики, и художников о том, что есть истинное искусство, и где предел его,— та черта, которая отделяет его от ремесленного и потешного произведения.

Путаница эта происходит оттого, что люди, лишенные способности понимать истинное искусство, судят о произведениях искусства с одной стороны, видят в них (смотря по своему характеру и воспитанию) одну, другую или третью только сторону и воображают, представляют себе, что в этой-то видимой им стороне и в значении искусства на основании этой одной стороны, этого одного условия искусства — определяется все искусство. Одни видят только значительность содержания, другие — красоту формы, третьи — задушевность и потому правдивость; и смотря по тому, что видят, определяют и свойство самого искусства, составляют свои теории и, восхваляя, поощряют тех людей, которые, не понимая так же, как их судьи, того, в чем состоят произведения искусства, пекут их, как блины, и заливают наш мир грязными потоками всяких глупостей и гадостей, называемых предметами искусства. Таково большинство людей, и, как представители большинства, таковы составители тех упомянутых эстетических теорий, удовлетворяющих понятиям и требованиям этого большинства.

Все эти теории основаны на непонимании всего значения искусства и — разъединении трех основных условий истинного искусства. И потому эти три ложные теории распределяются по числу трех главных условий искусства, разъединенных между собой.

Первая теория, так называемого «тенденциозного» искусства, признает произведением искусства такое произведение, которое имеет предметом, хотя бы и не новое, но важное для всех людей нравственное содержание, независимо от красоты и задушевности.

Вторая,— «искусства для искусства», признает произведением искусства только такое, которое имеет красоту формы, независимо от новизны и важности содержания и задушевности.

Третья теория,— «реалистическая»,— признает произведением искусства только такое, в котором автор задушевно относится к своему предмету и потому правдиво. Эта теория признает, что, как бы ничтожно и даже гадко ни было содержание, при более или менее красивой форме, произведение будет хорошо, когда автор задушевно и потому правдиво относится к тому, что изображает.

Все эти теории забывают одно главное,— что ни значительность, ни красота, ни правдивость не составляют условий произведения искусства,— что основное условие произведения искусства есть сознание художником чего-то нового и важного.

И потому для настоящего художника, как всегда было, так и будет нужно, чтобы он мог видеть нечто совсем новое и важное. Для того, чтобы художник мог видеть новое, ему нужно смотреть и думать,— не заниматься в жизни пустяками, которые мешают внимательно вгляды-

ваться и вдумываться в явления жизни. Для того же, чтобы то новое, что он видит, было важно для людей, он должен быть нравственно-просвещенный человек,— должен жить не эгоистической жизнью, а принимать участие в общей жизни человечества.

Как скоро же он видит это новое и важное, уже он найдет ту форму, которой выразит это, и будет та задушевность, которая составляет необходимое условие художественного произведения. Нужно, чтобы он мог выразить художественное содержание так, чтобы все поняли его. Для этого нужно так овладеть своим мастерством, чтобы, работая, так же мало думать о правилах этого мастерства, как мало думает ходящий человек о правилах механики. А для того, чтобы достигнуть этого, художник не должен оглядываться на свою работу, ни любоваться ею, не должен ставить мастерство своей целью, как не должен человек идущий думать о своей походке и любоваться ею,— а должен только заботиться о ясном, понятном всем выражении своего предмета.

Наконец, для того, чтобы работать над своим предметом не для внешних целей, а для того, чтобы удовлетворять внутреннему требованию,— нужно художнику стать выше корыстных и тщеславных целей. Ему нужно любить самому, своим сердцем, а не чужим, не притворяться, что любит то, что другие признают или считают достойным любви.

И для того, чтобы достигнуть всего этого, художнику надо делать то, что делал Валаам, когда к нему пришли послы, и он уединился, ожидая бога, чтобы сказать только то, что велит бог; и — не надо делать того, что сделал тот же Валаам, когда, соблазнившись дарами, поехал к царю, противно повелению бога, что было ясно даже ослице, на которой он ехал, но не видно было ему, когда корысть и тщеславие ослепили его.

В наше же время ничего этого не нужно. Человеку, желающему заниматься искусством, не нужно ждать того, чтобы в душе его возникло то важное, новое содержание, которое бы он истинно полюбил, а полюбя,— облек бы в соответственную содержанию форму. В наше время человек, желающий заниматься искусством, или берет ходячее в данное время и хвалимое умными, по его понятию, людьми содержание и облекает его, как умеет, в то, что называется художественностью формы; или избирает тот предмет, на котором он более всего может выказать техническое мастерство, и со старанием и терпением производит то, что он считает произведением искусства; или, получив случайное известное впечатление, берет то, что произвело это впечатление, предметом произведения, потому что на него оно случайно произвело впечатление.

И вот является бесчисленное множество так называемых художественных произведений, которые могут быть исполняемы, как всякая ремесленная работа, без малейшей остановки; ходячие, модные мысли всегда есть в обществе, всегда с терпением можно научиться всякому мастерству, и всегда всякому что-нибудь да кажется интересным. Разъединив условия, которые должны быть соединены в истинном искусстве, люди наделали столько произведений ложного искусства, что и публика, и критики, и сами мнимые художники потеряли совершенно всякое, какое бы то ни было, определение того, что они сами считают искусством.

Люди нашего времени как будто сказали себе: «Произведения искусства хороши и полезны; надо, стало быть, сделать так, чтобы их было побольше».

Действительно, очень хорошо было бы, если бы их было больше; но горе в том, что можно делать по заказу только те произведения, которые, вследствие отсутствия в них необходимых условий искусства, понижены до ремесла.

Настоящее же художественное произведение нельзя делать по заказу, потому что истинное произведение искусства есть откровение нового познания жизни, которое по непостижимым для нас законам совершается в душе художника и своим выражением освещает тот путь, по которому идет человечество.

[Позднейшая вставка после слов: «то, чего они не видели прежде» (см. стр. 32)].

Л. Н. ТОЛСТОЙ

Расцвеченный рисунок Л. О. Пастернака с надписью П. Д. Эттингеру

Частное собрание, Москва

В области науки (я продолжаю говорить про науку в самом широком смысле, в смысле всего, что знают люди) доведение предмета предполагаемого до ясности и несомненности совершается тем, что справедливость предположения доказывается. Доказательство же есть только одно: исполняющееся предсказание. Человек науки, о чем бы он ни говорил — о ходе светил небесных, о посеве пшеницы, о законах электричества, о способе шитья шубы, о правилах грамматики еврейского языка, он может доказать свои положения только предсказанием, которое может быть проверено. Луна ходит вокруг земли, доказательство того, что

если мы будем смотреть на луну такого-то числа, то увидим то-то; пшеницу надо сеять так-то и будет то-то, и доказательство — посев в поле или в горшках; такая-то флексия в языке означает то-то — доказательство, что всякий раз, придав такой-то конец слову, мы получим ясный и связный смысл. Произведение научного творчества есть всякое новое знание, доведенное до такой ясности доказательства, что последствия приложения этого знания могут быть безошибочно предсказаны. И потому свойства научного произведения суть: 1) новизна мысли; 2) ясность ее изложения; 3) несомненность ее, подтверждаемая проверенным предсказанием.

Художественное творчество по происхождению своему то же самое, но различие его и научного в том, что научное произведение тогда окончено, когда оно доведено до возможного предсказания, художественное же тогда, когда оно доведено до той ясности, что сообщается людям, вызывает в них то же чувство, которое испытывает при творчестве художник. Оно заразительно.

4

<НАУКА И ИСКУССТВО>

[1890 г.]

Рассказывали, что в начале нынешнего века в дремучих лесах Германии был найден дикий человек. Рассказывали, что этот человек, которого назвали Каспар Гаузер, был совершенно подобен животному, оброс шерстью, не говорил, но рычал, боялся людей. Рассказывали, что человека этого поймали и стали приручать, и — что с большим трудом под конец воспитали его, и он стал подобен другим малообразованным людям, стал человеком.

Справедлива или нет эта история о Каспаре Гаузере, это все равно. Если не был Каспар Гаузер, то было и есть много таких заброшенных и озверевших существ, изображение которых представил нам Диккенс в своем Джо, — диком мальчике среди Лондона. Важно то, что на этих примерах мы можем с поразительной ясностью видеть, чему в нашем духовном образовании мы обязаны себе, чему — людям, жившим прежде нас, накопившим богатство знаний, и — людям ближайшим и современным нам, которые передали нам эти знания.

Все знания наши, не только знания, но — привычки, чувства, способы выражения, все, что отличает нас от Каспара Гаузера и составляет наше духовное, нравственное, человеческое существо, такое, которое мы в сознании своем не можем отделить от себя, — есть результат приобретения и передачи знания прежде жившими и современными людьми. Каспар Гаузер был бы одинаково диким и тогда, когда все люди были бы такие же дикие, как он, и тогда, когда бы эти образованные люди не хотели бы или не умели передать ему свое образование. Все, что составляет наше человеческое существо, все, начиная от искусства разводить огонь и признания преимущества семьи перед половой распущенностью, до электричества и сознания идеала христианской добродетели, — все наше человеческое богатство есть произведение накопленных духовных трудов всех наших предков, переданных нам ближайшим к нам и современным поколением.

Если бы люди не приобретали в своей жизни новых знаний, то нечего бы было и передавать, и знаний бы не было. Если же бы люди

не могли передавать своего знания и современникам и потомкам, то знание не могло бы увеличиться. Не будь у людей способности приобретать и передавать духовное богатство, они оставались бы вечно на той самой низшей ступени, какую мы только можем себе представить. Знания же человечества постоянно растут и увеличиваются именно потому, что и то, и другое — увеличение знаний и передача их — постоянно совершается *.

Способность передачи своих умений, знаний, привычек, обычаев, взглядов, своих душевных состояний, всего своего духовного существа, составляет то свойство человеческой природы, вследствие которого человек не переставая движется вперед и достигает той кажущейся нам необыкновенной степени развития, которую он достиг теперь в сравнении с состоянием человека в каменный период, и вместе с тем — неизбежно должен достигнуть еще такого состояния, к которому теперешнее будет относиться так же, как к теперешнему относится состояние каменного периода.

Способность передачи своего духовного состояния есть самая драгоценная человеческая способность. Способность эта, столь необходимая людям, свойственна им до такой степени, что всегда сопутствует приобретению человеком всякого знания. Всякий человек, познавший что-либо от других людей или дошедший до нового знания своим трудом, всегда стремится передать это знание другим,— либо затем, чтобы проверить на понимании других справедливость своего знания, либо затем, чтобы иметь понимающего сотрудника в своей работе, либо затем, чтобы получить вознаграждение за свое обучение, либо из бескорыстного желания передать людям новое полезное им знание. Так или иначе все знания людские от простейших до сложнейших всегда передаются от людей к людям. И только в самых редких случаях, относящихся как 1 к миллиону, бывает то, что знания, бывшие у людей, утрачиваются.

Знаний, передаваемых от людей к людям, если не бесчисленное, то огромное количество, — знаний и по содержанию, и по способу передачи самых разнообразных. Передаются знания об именах, отвлеченных отношениях, предметах, о том, как добывать потребности, украшения жизни, о том, как веселиться, молиться, играть, — передаются все эти знания или способом рассуждения, или способом показывания, вызывания подражания. И потому передача эта всех возможных знаний всегда и безостановочно совершалась и совершается. Передача знаний самых важных, как знание языка, и самых ничтожных, как знание покроя одежд, совершается бессознательно; и люди, зная, что эта передача всегда совершается, не заботятся о ней и не приписывают ей значения и важности. Знаний этих, от знания, как сделать горшок, соткать полотно, до знания того, когда и отчего затмение солнца и луны,— так много, что далеко не все люди могут приобрести все знания. Но, смотря по способностям и условиям, в которых находятся люди, одни приобретают одни, другие — другие знания.

Что такое науки и искусства в самом широком и общем своем значении?

Это передача одних людей другим того, что узнают люди. Науки передают то, что узнают люди, путем доказательств, рассуждений; искусства передают это же возбуждением в другом того же чувства, которое испытывает передающий.

И то, и другое необходимо для человечества, потому что, если бы

---

* Накопление это совершается, не как нечто механическое, мертвое, не как бы крупинка, которая прибавляется к крупинке, но как нечто органическое, живое, — как растет дерево или животное.

не было наук и искусств, люди жили бы, как животные, ничем не отличаясь от них.

Все, что знает каждый из нас, начиная от знания счета и названия предметов, от умения выражать интонациями голоса различные оттенки чувств и понимать их, до самых сложных сведений,— есть не что иное, как накопление знаний, передававшихся от поколений к поколениям науками и искусствами,— есть деятельность наук и искусств.

Все, чем отличается жизнь человеческая от жизни животных, есть результат передачи знания; знание же передается науками и искусствами. Не будь наук и искусств, не было бы человека и человеческой жизни.

Все, чем мы живем, все, что нас радует, все, чем мы гордимся, все, от железной дороги, оперы, знания небесной механики и доброй жизни людей,— все это есть не что иное, как последствия этих деятельностей.

Железная дорога есть не что иное, как переданные от поколения к поколениям знания, приобретенные различными людьми, того, как копать, как варить, калить, обделывать железо в полосы, гайки, винты, листы и т. п.; и опера есть не что иное, как переданное от поколения к поколению понимание известных чувств, выражаемых различными словами, картинами, звуками.

Небесная механика есть накопление знаний и открытий в области движения светил, добрая жизнь людей есть последствие накопления выводов, наблюдений и откровений в области взаимных отношений людей.

Если бы люди не узнавали нового, лучшего и не передавали друг другу того, что они узнают, не было бы людей, а были бы животные, постоянно остающиеся на одной ступени развития.

Науки и искусства — это то, что двигает людей вперед и дает им возможность бесконечного развития.

Каждый отдельный человек, как бы он ни был силен умом, может приобрести только очень малое количество знаний, и если бы знания не передавались, то люди всегда бы оставались на одной и той же ступени. Если кто из людей и приобрел знания сам, т. е. увеличил запас знаний человечества, то доля эта самая крошечная, и отношение к тому, что ему передано,— как 1 к миллиону (хочется сказать, как 1 к бесконечности). Благодаря же способности передачи, люди могут усвоять знания всех предшествовавших поколений, прибавить к ним еще свои открытия. Доля каждого есть бесконечно малая, есть диференциал, но из бесчисленного количества этих диференциалов слагается возможность бесконечного распространения человеческого знания.

Все знания всегда передаются от одних людей другим, таково свойство людей.

Каждый человек стремится познать то, что может и что свойственно его природе, и, познав, стремится передать это другим, передачей этой достигая различных целей: и поверки справедливости своих знаний, и приобретения сотрудников по избранному занятию, и удовлетворения своего самолюбия, и др.

Но знаний так много, начиная от знания, как добывать огонь и делать одежду, до знания свойств небесных тел, и того, как исполнять симфонию; и знания эти так разнообразны по своим целям и важности, и так недоступны все одному человеку, что для того, чтобы наилучшим образом устроить передачу, людям надо было прежде всего выделить из всех многообразных знаний те, которые важнее всего для человечества вообще и для каждого человека в отдельности. Людям необходимо было для этого выделить из всех многообразных знаний те, которые важнее всего для человечества вообще и для каждого человека в отдельности. Людям необходимо было для этого выделить из всех знаний

наиважнейшие для всего человечества и для каждого человека в отдельности, и устроить передачу этих знаний так, чтобы они несомненно передавались всем или наибольшему числу людей. Человечеству необходимо было, продолжая бессознательно передавать многообразные знания, из которых слагается его умственное богатство, сознать некоторые из этих знаний и сознательно передавать их от поколений к поколениям, приписывая этой передаче и людям, посвящающим себя ей, особенное значение и важность.

Так всегда было и есть, и эти-то особенно нужные и важные знания и составляют то, что одно может и должно быть выделено из всех

Л. Н. ТОЛСТОЙ
Скульптура А. С. Голубкиной. Бронза, 1927 г.
Толстовский музей, Москва

остальных знаний, и что может поэтому называться исключительно наукой, как библия (книга) — библией.

Что же значат те особенные знания, которые выделяются из всех других и передача которых называется особо наукой и искусством?

Я вот сижу в комнате и пишу: в руке у меня перо стальное, под пером бумага, пишу я чернилами, и пишу на столе, стол покрыт сукном, на столе книги и пресспапье, изображающий орла. Перо, бумага, чернила, сукно, стол суть результаты переданных от людей к людям знаний; составляют ли эти знания — делать перья стальные, сукна, бумагу, стол — деятельность науки и искусства? Нет. По понятиям, приписываемым всеми науке и искусству, знания эти не составляют предметов

науки и искусства, но книга (книга эта — биография исторического лица) и изображение из меди орла, распустившего крылья, которые суть тоже последствия передачи знаний, составляют ли предмет науки и искусства? По существующим понятиям о науке и искусстве — да. Биография есть предмет науки истории; орел есть предмет искусства ваяния.

Есть, стало быть, деятельности, передача знаний которых выделяется из всех других и разделяется между собой на две различные деятельности: науки и искусства.

Какие же это деятельности?

Определить эти деятельности и ответить, какие деятельности считаются научными и художественными, нет никакой возможности, потому что, как только начнешь определять по общему мнению, то сейчас же столкнешься с самыми разнообразными и часто противоречивыми определениями людей, одинаково компетентных, того, что должно и не должно считать научной и художественной деятельностью.

Тут же сталкиваешься именно с тою неясностью и неопределенностью понятий науки и искусства, которые существуют в наше время в нашем обществе.

В числе ясно определенных, всегда в одном смысле понимаемых понятий существуют в умственном обиходе ученых людей и такие, которые образовались как бы исторически через присоединение новых признаков к основным признакам понятия и таким образом до такой степени отклонившиеся от простого первоначального значения, что таким понятиям различными людьми приписываются различные значения; и несмотря на то, что при употреблении в рассуждениях этих понятий обыкновенно предполагается, что значение их всем известно, понятия эти со всеми приписываемыми им признаками совершенно ускользают от определения. Таких понятий очень много в области богословской и философской — понятие бог, дух, вера, благодать, воля и т. п., и таковы же очень важные в наше время два понятия: наука и искусство.

Для того, чтобы дать себе ясный отчет в том, какое основное значение имеют эти два понятия, и в какой степени соответствует тому основному значению то, которое придается в наше время большинством людей этим понятиям, необходимо, на время откинув все существующие толкования и суждения об этих предметах, постараться уяснить себе сначала, что такое эти два понятия, и что мы должны разумно подразумевать под ними.

Нельзя отрицать того, чтобы знание всех тонкостей схоластики не было наукой, и мастерство разрисовывать заголовки книг, или вышивать покровы — не было искусством; но очевидно, что совершенно неправильно приписывать этим предметам то исключительное или первенствующее значение, которым пользуются науки и искусства.

Нам кажется, что то, что мы теперь считаем и называем исключительно науками и искусствами, и есть, и всегда было, и должно быть особенной, выделяемой по своей важности из всех, других, деятельностью; и что иначе не может быть. Но, чтобы утверждать это, надо найти для этого основания.

Людям, первобытно религиозным, кажется несомненным, что то, что они считают религией, не есть их религия, а есть единственная религия.

Точно так же это казалось и средневековым людям относительно того, что ими считалось науками и искусствами. Но, как мы видим теперь, то, что ими считалось наукой и искусством, как предметами особенной важности, не было наукой и искусством, и не имело особенной важности, но было предметами ничтожными, иногда даже ложными.

Во все времена люди были твердо уверены в том, что то, что они считают наукой и искусством, и есть несомненные, единственные наука и искусство; но оказывалось, что уверенность эта почти всегда была неправильна. То, что считалось наукой и искусством в древности и в средних веках, для нас уже не имеет значения наук и искусств.

Нельзя нам и теперь довольствоваться тем, что то, что мы в настоящее время считаем наукой и искусством, и есть самая настоящая наука и настоящее искусство.

Наука нашего времени особенно гордится своей точностью, своим критицизмом,— тем, что она ничего не принимает на веру, а обосновывает все свои положения, подвергая их разносторонней критике. Вот эту-то самую особенность науки нашего времени я и желал бы приложить к самому существенному вопросу науки и искусства, именно к вопросу о том, на каком основании, почему из всей огромной области человеческого знания выделены известные знания, которые считаются в наше время исключительно наукой и искусством,— науками и искусствами в тесном смысле. Мне хочется задать вопрос: что есть наука, и что есть искусство истинные, и что подделка под них, подражание им. И это тем более необходимо в наше время, что огромное количество труда тратится на дела, так называемых, наук и искусств.

Что как большая часть этой страшной работы тратится не только непроизводительно, но еще вредно?

5

НАУКА И ИСКУССТВО

[1890 — 1891 гг.]

Науки и искусство составляют в наше время едва ли не самую уважаемую людскую деятельность, такую деятельность, которая по важности своей превосходит все другие, поощрение которой считается самым почтенным, противодействие которой самым постыдным делом и представители которой считаются наиболее достойными вознаграждения, почестей и уважения. Мнение о том, что деятельность наук и искусств есть высшая человеческая деятельность, и ученые и художники суть люди, стоящие во главе человечества, не раз прямо высказывалось, не встречая возражений. Оно и действительно так, и наблюдения над направлением стремлений людей нашего времени подтверждают такое мнение. Большинство людей стремится к образованию для того, чтобы занять место в рядах наиболее уважаемых деятелей общества — ученых и художников. Вознаграждение за труд художественный — 500 тысяч фран. за картину, 50 тысяч рублей за абонемент, 2 миллиона марок за секрет лимфы,— самое большое из всех вознаграждений за труд. Если ученые не получают таких громадных гонораров за свои труды, как художник,— некоторые из художников,— то труды их ровнее оплачиваются и дают всегда более, чем обеспеченное существование. Для богатого человека, желающего заслужить уважение общества,— лучшее средство есть не жертва на церкви, монастыри, как было прежде, не на филантропические учреждения, как было недавно, а на ученые и художественные учреждения — школы, институты, клиники, художественные заведения, галлереи, музеи...

Научная и художественная деятельность суть наиболее уважаемые в наше время деятельности и на эти деятельности тратится большое ко-

личество сил людей, как тех, которые прямо посвящают себя наукам или искусствам, так и еще больше тех, которые работают для приготовления предметов, нужных для занятий наукой и искусством.

Возьмите первую попавшуюся газету, служащую отражением жизни, и прочтите объявления. <Я беру газету, в которой у меня завернуты были тетради, и читаю. Русские Ведомости 1890 г. 15 декабря.— При магазине Детское Воспитание Леонтьевский пер. и Отделении магазина открыта>

	Русские Ведомости 15 дек. Суббота
Дело науки	Журнал гражданского и уголовного права выходит ежемесячно.
Дело науки и искусства	Политическая, общественная и литературная газета «День».
Тоже науки и искусства	В конторе Печковского открыта подписка на все русские и иностранные журналы.
Педагогическая наука	Открыта подписка на иллюстрированный журнал «Детское Чтение» в 1891 год... Альманах. Содержание Альманаха: стихотворения...
	Открыта подписка на 1891 г. «Кормчий» (Путеводитель). Духовно-Народный Иллюстрированный журнал...
Искусство, поэзия	Собрание сочинений А. И. Левитова.
Наука богословская	По выходе из печати в начале января 1891 г. «С церковного амвона» — желающие выписать... Еще подписчики получат 12 месяцев Жития святых...
Наука и искусства, поэзия и живопись	Открыта подписка. Большой, семейный, иллюстрированный журнал «Живописное Обозрение». В течение года выдается подписчикам 52 нумера.
	ТЕАТР КОРШ
Искусство декламации и музыка	Литературно-музыкальный вечер А. А. Эйхлер-Пименовой.
	ТЕАТР ПАРАДИЗ
Искусство драматическое	Г-жа Жюдик-Ниниш. В Воскресение...
Музыка	Императорское Русское Музыкальное Общество, Московское отделение 15-го декабря, в субботу... Четвертое Симфоническое Собрание...
Наука	17-го декабря 1890 г. имеет быть прочтена... профессором К. А. Тимирязевым лекция «Новейшие исследования о происхождении азота, растения и их отношение к земледелию»...
Наука	В суб. 15-го дек. в 7½ в. в помещ. Политехнического имеет быть публичное заседание Ученого отдела императорского Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии. Предметы заседания: 1) Доклад Янжула...

Наука	В субботу 15-го дек. в $7\frac{1}{2}$ ч. в. в помещении Политехн. музея имеет быть публичное заседание Ученого отдела О.Р.Т.З. 1) С. А. Владимиров...
Наука и искусство	«Русские Ведомости» (год 26) Условия подписки...
Наука	Публичная лекция В. А. Гольцева «об искусстве»...
Наука	Вышла и продается в книж. маг. «Опыт методики элементарного курса истории»...
Наука	Новое издание Павленкова «Дарвинизм».
Наука	«Пантеон Литературы».
Наука и искусство	Открыта подписка на трехмесячный историко-литературный журнал...
Наука и искусство	Открыта подписка на 1891 г. на журнал «Труд».
Наука	Вышел в свет 7-й выпуск «Настольный энциклопедический словарь».

Сочтите весь тот труд людей, производящих все эти предметы, и тех, которые производят нужные для этих предметов приспособления, и вы получите ужасающую цифру потраченного человеческого труда.

Перевертываю страницу. Передовая статья о необходимости распространения коммерческого образования. Говорится о приготовлении учителей коммерческих наук (следовательно дело науки).

Далее. Внутренние известия. Петербург. Заседание исторического общества (наука). — Далее Театр и музыка Шехеразада. Испанское каприччио. Ночь на Лысой горе, концерт d. moll и симфония f. moll. La Roussote Галеви. Жюдик (искусство).

Перевертываю еще страницу. Заметка по поводу предстоящего собрания общества любителей художеств. Дело идет об искусстве живописи.

В фельетоне — художественная критика. Тоже наука или искусство.

Еще объявления. Дамские трости. 210 книг новейших русских и иностранных писателей (искусство). Потом объявления девяти театров балетных — дело искусства.

Все это предметы, касающиеся науки и искусства или по крайней мере признаваемые таковыми теми, которые ими занимаются.

Присмотритесь просто к работам людей, живущих в большом городе, и вы увидите, что бо́льшая часть трудов этих людей посвящена занятиям науками и искусствами и приготовлением предметов, нужных для этого.

В каждом доме вы найдете несколько десятков учеников от городского училища до студентов, занимающихся исключительно науками. Реалисты, гимназисты, техники, гимназистки, студенты, академисты, занятые только наукой. Большей частью родители их живут только для них, и потому весь труд на содержание этих семей совершается для науки в самом общем смысле.

Сочтите потом труд, который был положен на постройки самих зданий, в которых производится обучение: университеты, гимназии, академии, училища, и труд, производимый на содержание этих заведений; потом труд на приготовление всех приспособлений, инструментов всякого рода, употребляемых в этих училищах, бумага, перья, карандаши, тет-

ради, и наконец миллионы книг, приготовленных к занятию десятка тысяч людей. Посмотрите потом на библиотеки, музеи, на типографии, занятые печатанием миллиона миллионов книг, никому не нужных, никем не читаемых и если читаемых, то тотчас забываемых и не оставляющих никакого следа в умах людей. Все это делается во имя науки. Всмотритесь потом в та́к называемые произведения искусства, или предметы, нужные для произведений искусства, или предметы, которые теми, которые их производят, считаются предметами искусства: храмы, дворцы, украшения домов, памятники суть произведения искусства архитектуры. Расписанные стены, картины в музеях и частных домах, картины, гравюры лито-цинко — и всевозможные — графии, иллюстрации в книгах, объявления даже с картинками — все это произведения искусства живописи. Бесчисленное количество инструментов, в особенности фортепьяно, звуки которого раздаются из каждого этажа; концерты, оперы, вечера с музыкой, ноты, консерватории — все это приспособления или произведения музыкального искусства. Миллионы книг, журналов, газет наполнены произведениями словесного искусства, чтения, декламации, театры с операми, комедиями, драмами, балетами, цирками — суть произведения сценического искусства, о котором даются отчеты в каждом номере газет.

Парикмахер, украшающий лица женщин, тоже называет свое дело искусством и себя — artiste en cheveux — не с меньшим основанием, чем хорист оперы или балета, тем более, что академик Renan в серьезной книге Marc Aurèle серьезно говорит, что украшение женщины нарядом есть искусство — le grand art.

Все это происходит во имя науки и искусства. И все это поглощает огромное количество труда не только для изготовления предметов, нужных для занятия науками и искусствами, но и для приготовления людей, способных производить их.

Тысячи и тысячи людей мужского и женского пола с детства учатся этим разным наукам, искусствам, в большей части случаев в ущерб телесному и духовному здоровью, как все признают теперь. Научные школы полны учениками, занятыми изучением таких предметов, про которые многие ученые люди говорят, что они совершенно бесполезны. Художественные школы всяких родов полны учениками, которые все свое детство и юность проводят в упражнениях: в искусстве ходить на канате или играть скоро на фортепьяно. Для произведения предметов наук и искусств и для обучения им тратятся человечеством огромные силы. Правильно ли это?

Стоит ли тратить миллионы на содержание театров с их развратными балетами и операми, когда у сельских жителей нет проселочных дорог? Стоит ли тратить миллионы на более чем сомнительной пользы музеи, когда у жителей того же города нет места, куда укрыть голову?

Стоит ли тратить миллионы и миллионы рабочих дней типографщиков на печатание всего того вздора, который не переставая читается во всех частях света, в большинстве случаев не просвещая, а одуряя людей, когда большинство людей так завалено работой, что должно посылать детей и женщин на фабрики. Утверждение о том, что театры, музеи и книга и газетопечатание, распространение науки и искусства сделают то, что будут и шоссе и будут у всех приюты, и не будут работать женщины и дети — неубедительно, во-1-х, потому, что нельзя найти логической связи между балетом и шоссе и музеем и домом для работы и, во-2-х, потому, что распространение театров и музеев и печатания, продолжающееся уже довольно долго, не помогает, а, напротив, все более и более мешает улучшению быта масс (не прямого, но относительного). И потому если иметь в виду те очевидные злоупотребления научным и

художественным знанием, которые так обыкновенны в нашей жизни, и все то зло, которое делается во имя и под влиянием этих двух деятельностей, то хочется ответить, что уважение, которым окружается деятельность научная и художественная, ложно и вредно, и что так как наука и искусство приносят больше вреда людям, чем пользы, то гораздо лучше было, если бы их совсем не было.

Так и отвечали и отвечают не один Руссо, а многие и многие наиболее чуткие к нравственным вопросам люди. До такой степени возмутительно видеть самоуверенное спокойствие профессора, изучающего экскременты микроскопического существа или химический состав звезды млечного пути, обоих верующих, что из их исследования что-то может

РИСУНКИ Л. Н. ТОЛСТОГО, 1888 г.
Толстовский музей, Москва

выйти, или фортепьяниста, дошедшего до быстроты стольких-то ударов в секунду, или клауна, перевертывающегося два раза в воздухе, — всех вполне уверенных, что деятельность их вполне законна и выкупает с излишком <те> труды людей, нужных для их, не только безбедного, но большей частью роскошного существования, что естественно думать, что лучше уж не было бы никакой науки и искусства, чем такой очевидный обман и ложь, до такой степени это возмутительно.

И так думать тем более естественно, что в наше время, благодаря распространению книгопечатания и гласности, науки и искусства сами себя давно уже компрометировали в глазах мыслящих людей, и авторитет их держится только по инерции и потому, что нет никакого другого. В самом деле, возьмите какую хотите деятельность, научную или художественную, и в суждениях о ней вы найдете ее отрицание. Великое

открытие научное нашего времени: теория эволюции Дарвина. Все другие науки шатки, потому что основываются на умозрении; здесь факты. И вот в науке фактов продолжается вот уже который год полемика между дарвинистами и антидарвинистами. Антидарвинисты — и это все компетентные ученые с научными дипломами, в подтверждение себе приводящие мнения знаменитостей ученых, — доказывают, что все учение Дарвина ошибка и что все разнообразие существ не могло произойти от одного. Дарвинисты, тоже ученые, и тоже приводя подтверждение знаменитостей, доказывают обратное. Обе стороны издеваются друг над другом, презирают, упрекают в невежестве и недобросовестности друг друга. И это взаимное отрицание друг друга повторяется и в отдельных вопросах и в целых науках. Нет ни одного положения в науках (кроме математических), которое бы не было отрицаемо учеными же. Отрицают не только положения, но целые науки. В том же университете читают лекции профессора философии, юриспруденции, политической экономии, богословия, и профессора естественники, физики все эти предметы огульно считают бесполезной и даже вредной болтовней. Богословы, философы того же мнения о преподавании естественных наук, считая методы их ложными. Но, мало того, та же наука сама нынче открывает 4-е состояние тел Крукса и завтра отрекается. И этого еще мало. Преподавание того, как Христос улетел на небо и сидит одесную отца, тоже преподается, как наука. Как наука выставляется и учение о духах, и люди приглашаются профессорами исследовать эти явления во имя науки.

То же и по отношению того, что называется искусством. Точно так же, как и в науке сами ученые трудятся для того, чтобы разбивать авторитеты науки, так же и художники взаимно разрушают все авторитеты искусства. Нет ни одного предмета искусства, который бы был признан всеми. Таким было долгое время древнее искусство Греции в Возрождение, но теперь уже давно наложены и на него руки. Те же предметы искусства для одних представляются верхом совершенства, для других предметами отвращения и не заслуживающими даже названия произведения искусства. И все эти суждения исходят от людей одинаково компетентных. Но кроме этого в искусстве есть еще свойство, подрывающее его значение. Это свойство есть его очевидная ничтожность или вредность. Простому неученому человеку не может быть вполне ясно про фагоцитов, что от знания нашего о том, что они есть или их нет, никакой разницы никому не будет. Простому человеку, запуганному страшными неслыханными словами, которых, чем пустее дело, тем больше обыкновенно напускают ученые, не всегда ясно, что рассуждения о фагоцитах и их экскрементах — ненужные пустяки, но в деле искусства это бывает совершенно очевидно. Не только очевидна бывает пустяковость произведений искусства, но и вредность их, которая в соединении с важностью, приписываемой этим предметам, ясно указывает на ложное значение, придаваемое им. Так это было, например, в то же время, как шла полемика о Дарвине в научной области, по отношению опер Вагнера. Страшные усилия, труды людей были потрачены, и все художники и критики художественные вникали и рассуждали, и толпа людей старых, почтенных по три дня сидели и слушали... что? Сказку, да глупую пошлую сказку, которую ни один ребенок не выслушает без скуки, потому что это даже не сказка, а какая-то бессмысленная каша из плохих сказок, сопровождаемая такой же кашей звуков. Тут прямо очевидна несоответственность приписываемой пустяковости содержания. В некоторых же предметах, так называемых искусств, как в картинах чувственных обнаженных женщин, в балетах, очевидна прямая вредность этих произведений, выставляемых чем-то хорошим, потому что составляет

произведение искусства. Так что человеку, который вглядится в ту заброшенную людьми бедность низших классов, которым недоступны науки и искусства, вглядится в самоуверенность людей, занятых науками и искусствами, не имеющими никакого приложения к жизни, и пользующихся за эти праздные занятия огромным, сравнительно с зарабатываемым низшими классами тяжелым трудом, обеспечением, — вглядится в ту нетвердость достоинств этих наук и искусств, отрицаемых самими служителями наук и искусств, и увидишь даже несомненный вред, приносимый людям этими деятельностями, то естественно заключить, что если нельзя ограничить круг наук и искусств тем, что действительно нужно людям, а науки и искусства должны развиваться в теперешнем виде, то уж лучше, чтобы их совсем не было. Так и заключают многие люди и не одни сторонники Руссо, люди образованные, но люди, самые главные ценители наук и искусств, те, для которых все и производится, и те,

Какъ только искусство перестаетъ быть искусствомъ всего народа и становится искусствомъ небольшого класса богатыхъ людей, оно перестаетъ быть дѣломъ нужнымъ и важнымъ, а становится пустой забавой.

Левъ Толстой.

9 Июля 1910.

АФОРИЗМ ТОЛСТОГО, НАПИСАННЫЙ ДЛЯ АРТИСТА П. Н. ОРЛЕНЕВА, 1910 г.
Литературный музей, Москва

которые на своих плечах несут всю тяжесть этого производства — именно большая масса народа. Спросите эту массу народа, нужны ли ему музеи, галлереи, университеты, консерватории, академии, и эта масса,— масса, а не некоторые, везде и всегда ответит, что нет, не нужны. И очевидно они не нужны ему, потому что они ими не пользуются, не могут пользоваться, занятые работами вне города, да и не желают пользоваться под условием тех тяжестей, которые они несут для поддержания их. Естественно думать и сказать, что лучше бы вовсе не было наук и искусств, чем если бы они поддерживались такими жертвами, какими они поддерживаются теперь, и были бы такие же, как они теперь.

Естественно думать и сказать так, но это было бы несправедливо.

Что такое науки и искусства в самом широком и общем своем значении? Это передача одних людей другим того, что узнают люди. Науки передают то, что узнают люди, путем доказательств, рассуждений; искусства передают это же возбуждением в другом того же чувства, которое испытывает передающий. И то и другое необходимо для челове-

чества потому, что сказать, что лучше, чтобы не было наук и искусств, все равно, что сказать, что лучше, чтобы не было человечества.

Все, что знает и понимает каждый из нас, начиная от знания счета и названия предметов и от уменья выражать и понимать интонациями голоса различные оттенки чувств до самых сложных знаний, есть не что иное, как накопление знаний и чувств, передававшихся от поколений к поколениям и дошедших до нас, есть последствие деятельности наук и искусств.

Все, чем отличается жизнь человеческая от жизни животных, есть результат передачи знания и понимания, т. е. науки и искусства. Не будь наук и искусств, не было бы человека и человеческой жизни.

Все, чем мы живем, все, что нас радует, все, чем мы гордимся, все от железной дороги, оперы, небесной механики и доброй жизни людей,— все это есть не что иное, как последствия этих деятельностей. Железная дорога есть не что иное, как переданные от поколения к поколениям знания того, как выкопать, варить, закалить, обделать железо в полосы, гайки, винты, листы и т. п.; опера есть не что иное, как переданное от поколения к поколению понимание известных чувств, выражаемых различными словами, картинами, звуками.

Небесная механика есть накопление знаний и открытий в области движения светил; добрая жизнь людей есть последствия накопления выводов, наблюдений и откровений в области взаимных отношений людей. Если бы люди не узнавали нового, лучшего и не передавали друг другу того, что они узнают, не было бы людей, а были бы животные, постоянно остающиеся на одной ступени развития. Науки и искусства это то, что двигает людей вперед и дает им возможность бесконечного развития.

И потому, как бы люди ни злоупотребляли в нашей жизни важным значением наук и искусств, делая пустые и даже вредные дела, нельзя отвергать наук и искусств, составляющих всю силу и значение человеческой жизни.

Если же под видом наук и искусств люди предаются пустой, ложной и вредной деятельности, необходимо ясно и точно определить: 1) в чем состоит научная и художественная деятельность и 2) всякая ли научная и художественная деятельность составляет важное и нужное для людей дело и если не всякая, то 3) какая именно научная и художественная деятельность важна и нужна для людей и потому достойна того уважения, которым пользуются в наше время деятельности этого имени.

6

О НАУКЕ И ИСКУССТВЕ

[1891—1893 гг.]

Если бы человек, любящий музыку и посвятивший занятию ею всю свою жизнь, и потому хотя немного понимающий в ней толк, сказал бы людям, производящим всякие безобразные звуки под видом музыки, что то, что они делают, нехорошо, то очень легко могло бы случиться, что люди эти, твердо уверенные в том, что то, что они делают,— музыка, объяснили бы себе неодобрительное суждение любителя музыки тем, что он враг ее, и тогда все доводы этого любителя музыки о том, почему не хорошо производить безобразные звуки, и о том, в чем состоит настоящая музыка, были бы бесполезны, потому что были бы приписаны тому, что он враг музыки.

Нечто подобное случилось и со мною по отношению науки и искусства. Любя науки и искусства, которым я посвятил всю свою жизнь, я

попытался указать на то, что не все те дела, которые совершаются в наше время под видом наук и искусств, суть хорошие и достойные уважения дела; и людьми, к которым преимущественно относились мои замечания, было решено, что я враг наук и искусств, и что потому на доводы мои не следует обращать внимания. А так как те самые люди, к которым относились мои замечания, и суть те самые, в руках которых находится и научное и художественное образование и которые поэтому руководят общественным мнением, то мнение о том, что я враг науки и искусства, сделалось общим, и все попытки мои уяснить мою мысль вызывают только негодующий отпор против воображаемого ими моего желания возврата людей к первобытному невежеству.

Как ни безнадежно это положение в наше время, когда обилие всяких появляющихся книг делает то, что почти никто не читает (не может успеть читать) самих сочинений авторов, т. е. того, как авторы выражают свои мысли, а все читают только критики, отчеты, обзоры, т. е. пересказы мыслей авторов с теми выдержками, которые соответствуют степени понимания и внимания пересказывающего, которому тоже большею частью нет времени прочесть всего сочинения, и потому большею частью заменяющего мысль, излагаемую автором, своею; — как ни трудно в наше время заставить людей, убежденных в том, что они находятся в полном обладании истиной и призваны только к поучению других, заставить признать, что они ошибаются,— я все-таки попытаюсь высказать сколько можно яснее мои мысли о науке и искусстве, предмете огромной важности, в особенности и в наше время, когда науки и искусства все более и более, вытесняя все другое, становятся единственным руководителем нашей жизни.

Людям, первобытно верующим в свою религию, кажется несомненным, что то, что они считают религией, не есть одна из многих, а есть единственная возможная и истинная религия. Точно так же и людям нашего времени, верящим в то, что заменяет для большинства людей религию, в культуру нашего времени, т. е. в истинность, важность и необходимость наук и искусств, которые ее составляют, кажется, что то, что они считают наукой и искусством, и суть единственные возможные науки и искусства. Наука нашего времени особенно гордится своей точностью, своим критицизмом, тем, что она ничего не принимает на веру, а обосновывает все свои положения, подвергая их разносторонней критике. Вот эту-то самую особенность науки нашего времени я и желал бы приложить к самому существенному вопросу науки и искусства, именно, к вопросу о том, есть ли то, что считается высшими наукой и искусством в наше время, действительно высшие наука и искусство. Мне хочется задать вопрос: что есть наука и что есть искусство истинные и важные и что случайные проявления любопытства и стремления к удовольствию людей, признаваемые некоторыми людьми важными только потому, что они выгодны им.

[Представим себе человека совершенно свободного от всяких предвзятых идей и пристрастий, наблюдающего в нашем обществе (я разумею все европейское и американское общество) проявление наук и искусств. Что бы представилось ему? Он увидал бы огромное количество университетов, академий, музеев, библиотек, академий художеств и консерваторий, драматических и балетных училищ, в которых люди обучаются и занимаются, приписывая величайшую важность тем предметам, которыми они занимаются,— самым разнообразным предметам, начиная от теологии и от науки о микроорганизмах до сочинения поэм и балетного искусства] *.

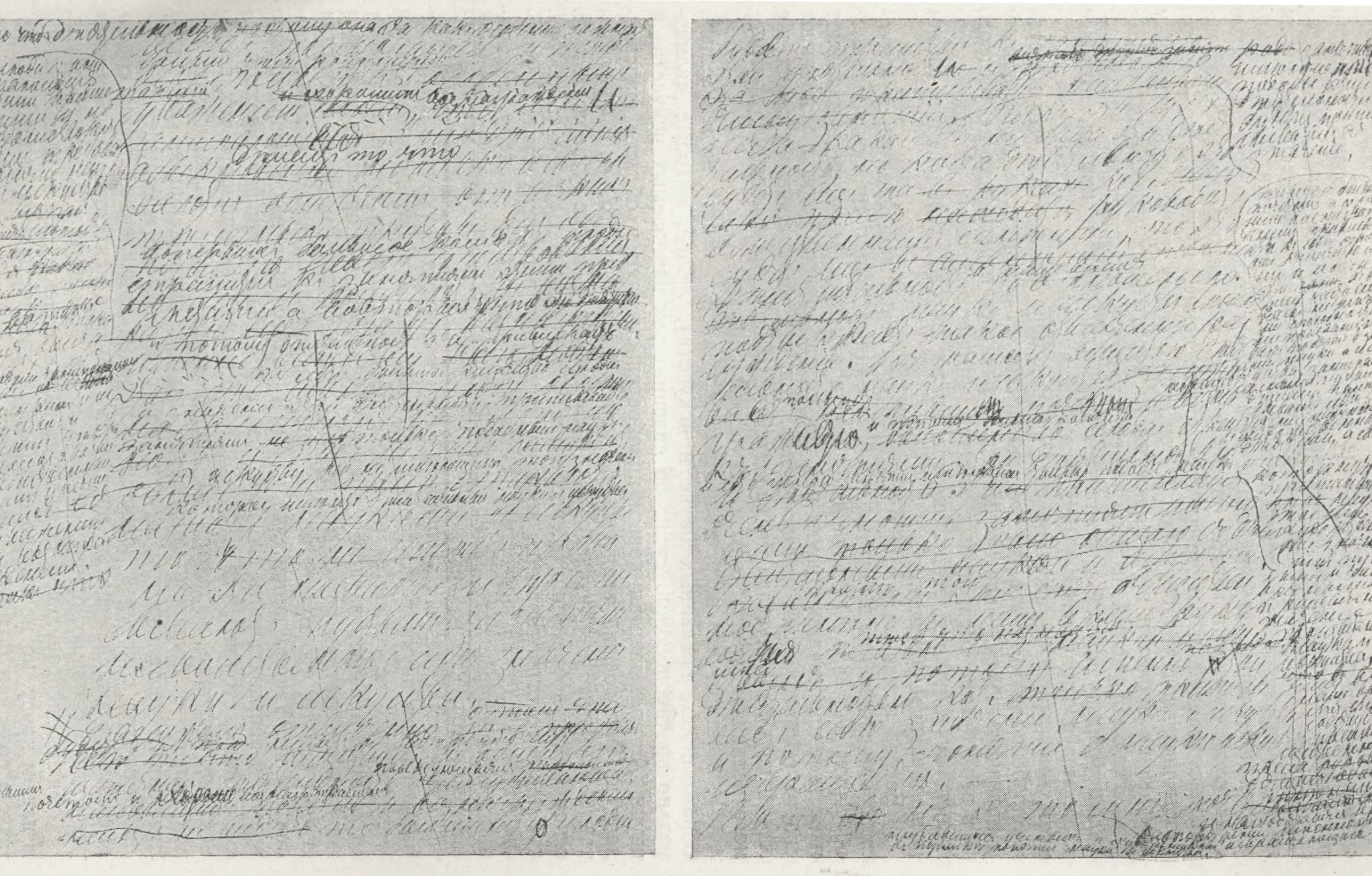
* В квадратные скобки взята вставка из неавторизованной копии, сделанной В. Г. Чертковым.

Наблюдатель увидал бы, что в каждом образованном семействе бо́льшая часть времени воспитывающихся членов обоих полов посвящена изучению литературы, греческой и латинской грамматики, живописи, танцев, музыки, которой особенно посвящается много времени, не говоря о профессиональных музыкантах, проводящих одну треть жизни в упражнении пальцев рук. Он увидал бы, что большая часть времени воспитывающихся поколений посвящена тому, что называется науками, и столь же большая часть времени людей взрослых — почти все их время, за исключением обязательного труда, проводится за писанием или чтением научных и литературных произведений, за слушанием или писанием, или игранием музыкальных пьес, за смотрением или писанием картин, за игранием спектаклей или посещением театров. Он услыхал бы во всех домах неперестающие раскаты гамм или пьес, увидал бы во всех домах нагнутые наперед картины в золотых рамах и шкафы, полные книг учебной и изящной литературы. Он увидал бы, [что] в десятках и сотнях низших и высших учебных заведениях идут не переставая преподавания наук детям и взрослым, что сотни людей от юности до глубокой старости посвящают свои жизни на исследования иногда письмен, иногда живых, иногда мертвых предметов. Он увидал бы, что во всех театрах каждый день идут представления драм, комедий, опер, балетов, во всех залах каждый день дают концерты разных первых (всегда в одно и то же время по два, по три находящихся в каждой столице) виртуозов. Кроме того, по мере появления этих различных предметов наук и искусства, во всех журналах, газетах он мог бы прочесть суждения о них, как о предметах первой важности. Он видел бы издания, посвященные каждой из отраслей этих дел, в каждой газете увидал бы отдел, трактующий о стихах, повестях, картинах, выставках, театрах, музыке. Увидал бы, что каждый день сообщаются публике в сотнях тысяч экземпляров подробные сведения о том, что вышли такие-то новые ученые сочинения, повести, стихи,— были такие-то спектакли, концерты, танцы. Он увидал бы, что если счесть хорошенько, то окажется не сотни и не тысячи, а сотни тысяч людей, миллионы искусных мастеров, всю свою жизнь занятых приготовлением всех этих предметов, относящихся до наук и искусств,— всех столяров, плотников, каменщиков, кровельщиков, наборщиков, фортепьянных и других мастеров, всех декораторов, осветителей и т. п., не считая необходимых для произведения всего этого полков лаборантов, хористов, скрипачей, стихотворцев, прямо губящих свои жизни на занятия этими делами.

Теоретически существует один сознательно или бессознательно tacitu consenso, признаваемый всеми взгляд на науки и искусства.

Он состоит в том, что наука есть проявление одной из сторон сущности человеческого духа — истины, а искусство есть проявление другой стороны — красоты. Троица состоит из истины, красоты и добра. Наука есть исследование законов изучаемых явлений. Искусство есть воплощение бесконечного в конечном, есть воплощение идеалов в образах и т. д. и т. д. Определения того и другого очень неясны, а главное широки, так что захватывают в свою область все, что люди делают для того, чтобы удовлетворить свое любопытство и доставить себе удовольствие.

По этому определению всякое знание чего бы то ни было систематизированное, как они говорят, будет наукой (как мне говорил один ученый, когда я спрашивал его, зачем изучать химический состав звезды, на что это может пригодиться), и всякое украшение жизни будет искусство, как и признает это Ренан в книге своей Марк Аврелий, говоря, что мастерство одевать женщин есть искусство — le grand art. Даже поваренное мастерство — украшение блюд, и завивание волос, и



СТРАНИЦЫ ЧЕРНОВОЙ РУКОПИСИ СТАТЬИ ОБ ИСКУССТВЕ

Толстовский музей, Москва

шитье платьев будет искусство. И будут совершенно правы повар и цирульник, называя себя художниками. Исследование того, сколько такой-то писатель употреблял известное выражение и какие пятна видны на такой-то звезде и на таком отростке такой-то букашки, будет наука, и всякая картина, изображающая лужу или голую женщину, и всякое соединение звуков, и всякое описание того, как целовались молодой человек с девицей, и всякое другое произведение, и не только — и то, чтобы доказать, что бог один и три, тоже будет наука, и под музыку прыгать на носках и вертеть ногами из коротеньких юбок будет искусство. Ни один ученый по этому определению не покажет мне черту разделения между наукой и считанием мух или букв в книгах, которые тоже могут пригодиться, или между искусством и мастерством портнихи, цирульника и даже повара, украшающего блюда. Все, что матерьяльно бесполезно, и все то, что удовлетворяет праздности, любопытству и потешает людей,— все это может называться наукой или искусством. И в этой бездне бесполезных занятий, удовлетворяющих людскому любопытству и похоти, люди, смотря по их вкусам, разбираются самым разнообразным образом.

Всегда в данное время находятся суждения людей науки и искусства, одинаково компетентных и образованных, прямо противоположные об одном и том же произведении науки и искусства: одни восхваляют известное произведение науки или искусства, другие бранят и исключают его из области науки или искусства, так что по суждениям самих же людей науки и искусства не найдется ни одного произведения, признанного истинным произведением искусства и науки.

И выходит, что встречаешь и в беседах и в печати людей умных, образованных, преданных науке и искусству, людей, которые диаметрально противоположно судят об явлениях так называемых искусства и науки. *А.* восхищается новым приобретением наук в области юриспруденции, философии, теологии. *Б.* утверждает, что то, что считается таким важным для ученого *А.*, есть чепуха. То же утверждает *А.* о научных приобретениях *Б.* в области естественных наук.— *А.* говорит, что такое-то стихотворение, картина, симфония верх искусства. *Б.* говорит: это даже и не искусство. И наоборот. Спросите — почему, и начинаются разговоры, которые не понимает тот, кто слушает, и еще меньше понимает тот, кто говорит.

Если допустить всех знатоков науки и искусства уничтожать все те произведения науки и искусства, которые они считают ложными, то я убежден, что не останется ни одного произведения ни науки, ни искусства. Если признать наукой и искусством все то, что признают наукой и искусством знатоки науки и искусства, то в область науки и искусства войдет все то, что только может занимать праздных людей и может потешать их. Таково положение науки и искусства в наше неправильное время, и неправильность его все больше и больше начинает чувствоваться, с одной стороны, все в большей и большей пустяшности тех произведений, которые выдаются за произведения науки и искусства, все в большем и большем количестве людей, посвящающих себя этим пустяшным деятельностям, и, с другой стороны, все в большей и большей тяжести, с которой ложится на рабочий подавленный народ содержание этих людей, занятых предметами науки и искусства и требующих ради этого сложных приспособлений и все большего и большего труда.

Таково неправильное положение науки и искусства в наше время и в нашем кругу, но не таково оно было в древности и не таково оно теперь в сознании больших масс народа.

Всегда во всей древности и теперь в больших массах народа: в Китае, Японии (до переворота), в Индии, у нас в России в народе, т. е. в

огромном большинстве людей существует совершенно другое и очень определенное мнение о той деятельности человеческой, которая не приносит прямой матерьяльной пользы, но всегда сопутствует жизни человечества.— По этому, назову его, древнему пониманию этой деятельности, во-первых, нет разделения между этими двумя деятельностями, называемыми у нас наукой и искусством, но есть зато очень определенная черта, отделяющая в этой матерьяльно бесполезной деятельности все важное, необходимое (считающееся даже более важным, чем все матерьяльное) от ничтожного и действительно бесполезного. Так что главная разница в этом древнем взгляде и новом в том, что при древнем — одни из этих матерьяльно бесполезных дел составляют дела огромной важности, остальные же не только пустяшные, но даже вредные. При новом же взгляде нет этой черты деления и все эти дела матерьяльно бесполезные почти одинаково важны. По древнему взгляду все то, что служит к определению и уяснению отношения человека к бесконечному и вследствие того к установлению отношений между собою, все это из дел, не приносящих прямой матерьяльной пользы, имеет огромную важность. Все остальные из таких дел — пустяки.

Таковое деление, существующее теперь в большинстве восточных стран (Китай, Индия), существовало всегда (Египет, Греция, вся Европа — до конца прошлого столетия).

Такой взгляд на науку и искусство у нас в России имеет огромное большинство народа. Правда, что большинство это необразованное; но оно имеет преимущество большинства и еще то, что деление его между важным и неважным очень ясно и определенно. По этому делению: Писание священное, жития святых, легенды, пословицы, поучения и жизни святых людей, иконы, службы, церковное пение — есть дело важное, изучение же звезд, козявок, романы, сказки, повести, стишки, песни — пустяки. Украшение статуями, картинами, музыкой домов, беседок — пустяки; песни, хороводы, игры светские на балалайке, фортепьяно, скрипках — пустяки. Так смотрит необразованное большинство людей на науки и искусства.

С образованным же меньшинством случилось совершенно обратное. Мы видим науки и искусства во всем, только не в религиозной деятельности. У нас богослужение как бы отдельно совершенно от науки и искусства. Из образованных людей никому в голову не приходит, что в церквах проявляются все стороны искусства и что только все эти стороны необходимы. Признается, что это, хотя и искусство, но что-то низшее. Только еще ученые архитекторы серьезно занимаются постройкой храмов, да и то весьма не охотно и не искренно. Новая поэзия не имеет никакого приложения к богослужению. Живопись также, музыка также. Драматическое искусство и вовсе не имеет приложения к богослужению. Образованные люди, большинство из образованных смотрит на искусство так, что оно не только не имеет ничего общего с богослужением, но даже враждебно ему. (Картины Ге, Христос Антокольского).

Наука и искусство нашего времени представляются деятельностью такою, которая была когда-то заключена в эти рамки богоугождения и вырвалась из них, как бутылка кислых щей, которая вся ушла и находится везде, только не в богослужении. Ни один художник, уважающий себя, не станет писать в наше время икон, кондаков и напевов на стихи церковные. Искусство образованных людей вне богослужения. Хорошо ли это, дурно, пусть решает каждый по своему взгляду на жизнь — но это так. Не хорошо тут только то, что эти кислые щи вырвались из бутылки, разлились повсюду, смешались с пылью и всякими остатками обеда, и что нельзя уж найти ни кислых щей, ни узнать, что кислые щи, что вонючая бурда.

Смешение этого вырвавшегося искусства со всякою похотью дошло до того, что почитаемый всею образованной Европой член французской академии наук Ренан в своей книге «Марк Аврелий» почти что без всякого повода, только, чтобы показать свое высокое понимание искусства, высказывает самым серьезным образом следующие мысли: «Чего ж еще? Только легкомысленные люди считают занятие тряпками пустяками, украшать женщину есть дело искусства и еще — «великого искусства»: «grand art». Ведь если так, то мы не лучше диких. Навесить на себя перья, скальпы и щеголять.

Все, чему мы учились, хоть 1800 лет от Христа,— все надо бросить, потому что это не сходится с теорией grand art. По теории Ренана (он только как enfant terrible во всей безобразной наготе сказал то, во что верят все) — и по этой теории: что весело, приятно, то и хорошо. И служить тому, что весело и приятно, т. е. похоти,— есть важнейшее дело человечества.

В сущности все, что занимает людей и забавляет их, есть предмет науки и искусства. Другого нет серьезного определения. Ведь, если бы люди, занимающиеся науками и искусствами, сами кормились и занимались науками и искусствами в часы досуга, никого не принуждая нести тяжести, необходимые для этих занятий, то все эти науки и искусства могли бы расширяться и распространяться, сколько хотите, и можно бы было исследовать химически состав млечного пути, лапки букашек и надеяться, что это на что-нибудь пригодится, или писать картинки голых дев и лесов и устраивать концерты и балеты, зная, что есть люди, которым это нравится. Но когда увидишь, что для исследования Коховских запятых, млечного пути и т. п. тратятся миллионы рабочих дней народа, задавленного работой неотложной для питания своих семей, и все исследования эти оказываются вздором; когда искусством называется балетное дело, и правительство, собирая деньги с нищих, тратит их на балет во имя искусства, когда тысячи людей губят свои души за занятием акробатства, называемым искусством, нельзя не задуматься и не пожелать найти ясно определения того, что следует называть наукой и искусством, такого, по которому не только можно бы было отделить не только пустое от важного, но вредное от невредного. Нельзя же спокойно смотреть на то, что под видом науки людей учат искусству убивать или тому, что закон человеческий есть закон борьбы за существование, что все пороки и добродетели происходят от здоровья тела, что страсти не происходят от нашего послабления им, а от неустранимого закона наследственности. Как нельзя спокойно смотреть на то, что совершается под видом искусства. Романы, все построенные на похоти — искусство, так же картины, музыка — искусство.

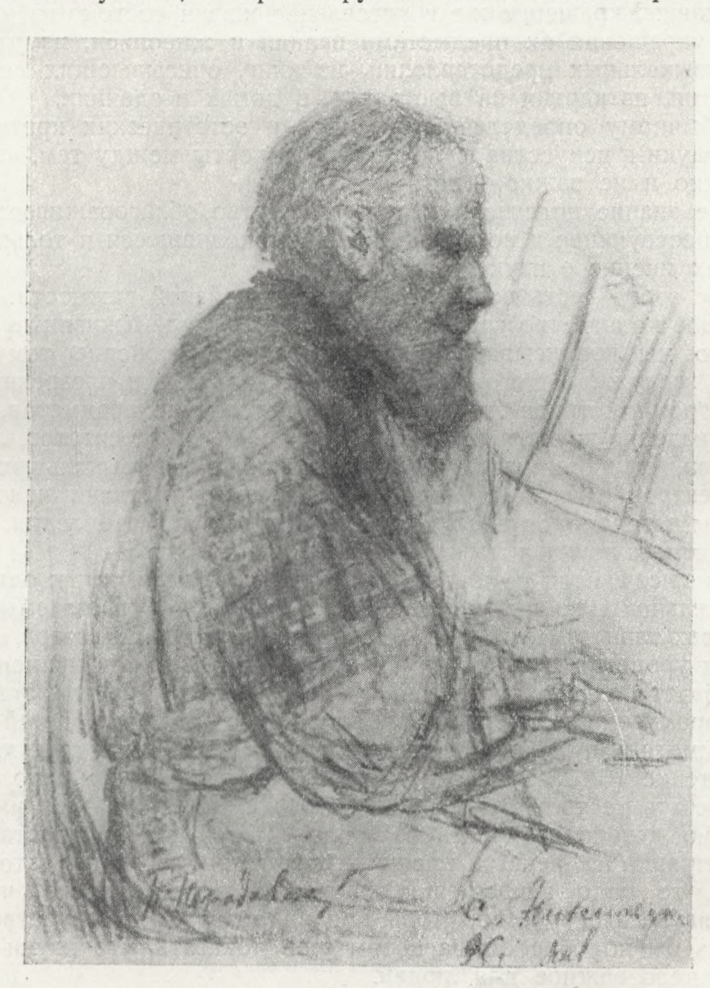
Что добро и что зло в том, что называется наукой и искусством? И как провести черту не туманную, а строго определенную между праздным, пустым, вредным и добрым в этой деятельности?

Нельзя уже нам довольствоваться туманными и многословными определениями науки и искусства, под которые подходит все, что хотите. «Всякое знание полезно, всякое искусство возвышает душу»... Нам нельзя говорить этого, потому что мы знаем и видим на опыте, что есть знания прямо вредные и искусства не возвышающие, а принижающие душу.

Надо как-нибудь разобраться. Отделаться фразами: «то, что возвышает душу — что не имеет ничего дурного, безнравственного — то искусство» — нельзя. Дело-то очень важное. Ошибка-то ведет за собой страшные последствия. Мы так легко говорим об этом только по близорукости или по нравственной тупости.

Посмотрите, идет барыня покупать голландского полотна на сто рублей. Она не отнесется легко к тому, как выбрать полотно, как сделать,

чтобы ей не подсунули коленкору или гнилого — такого, которое не выдержит одной стирки. Барыня не скажет: надо покупать такое, которое бы блестело, или такое, в котором не было бумаги и гнили; она дознается, какие верные признаки добротного полотна, и тогда пойдет. Барыня не пойдет на сто рублей покупать полотна, не зная, в чем его доброта. Хозяин не пойдет купить муки, не зная, как узнать муку от отрубей; а в искусстве, которое окружает нас со всех сторон и которое



Л. Н. ТОЛСТОЙ ЗА РОЯЛЕМ

Рисунок П. Нерадовского. Январь 1895 г.

Литературный музей, Москва

мы покупаем и даром берем и сами делаем, мы не знаем, какое хорошее, какое гнусное. Надо разобраться.

По существующим теориям мы не найдем признаков годности и негодности науки и искусства. А надо найти, потому что если нельзя, то лучше уж бросить эти занятия, так как лучше совсем не есть хлеба, чем есть хлеб с спорыньей, от которой наверное умрешь. Точно так же не лучше ли совсем не заниматься науками и искусствами, чем под видом наук и искусств воспитывать в себе дурное.

Есть же теперь то, что люди в числе своих дел очевидно нужных для их жизни, как-то — постройки жилищ, изготовления одежд, приоб-

ретения пищи,— занимаются еще тем, что не приносит никакой прямой матерьяльной пользы и потому с практической точки зрения кажется совершенно не нужным для их жизни.

К таким делам принадлежат: увеличение, приобретение всяких знаний и украшение и увеселение жизни. Знания приобретаются всякого рода — от знания законов движения светил, знания состава почвы и законов развития растений и жизни насекомых до знания законов человеческой жизни. Украшение же и увеселение жизни состоит из различных построек, украшения их предметами ваяния и живописи, из драматических и музыкальных представлений, из книг, описывающих воображаемые события, из картин на выставках, в домах и зданиях.

По обычному определению научных и эстетических критиков все это дело науки и искусства и определенной черты между тем, что в этих делах важно и не важно,— нет.

Всякое знание полезно и всякое искусство облагораживает. Таково теперь существующее и не очень давно установившееся и только в высших кругах мнение о науке и искусстве.

Вопрос этот — есть вопрос огромной житейской важности.

Большое количество грехов или ошибок в нашей жизни происходит оттого, что мы приписываем не свойственное уважение тому, что не только не заслуживает его, но достойно осуждения и презрения. Не говоря об огромном труде людском на приготовление предметов, нужных для произведения науки и искусства: академий, университетов, лабораторий, музеев, студий, красок, полотен, мраморов, музыкальных инструментов, театров с их декорациями и машинами,— жизни человеческие прямо уродуются односторонними трудами для приготовления деятелей так называемых науки и искусства.

Сотни тысяч, если не миллионы, детей принуждаются к односторонней мучительной для них работе упражнения в так называемых науках и искусствах танцев. Не говоря о детях образованных классов, платящих мучениями уродства дань наукам и искусствам, дети, посвященные профессиям балетной и музыкальной, прямо уродуются во имя того искусства, которому они посвящаются. Если можно заставить детей 7, 8 лет учить грамматику и играть по нескольку часов на инструментах, а потом в продолжение 10, 15 лет по 7, 8 часов в сутки; если можно из любопытства резать не только кроликов и собак, но людей — во имя науки; если можно девочек отдавать в школы балета и потом заставлять их делать антраша на первых месяцах беременности, и все это во имя искусства, то надо непременно определить прежде всего, что такое истинные наука и искусство, чтобы под видом науки и искусства не производилось бы подобие его, а потом уже доказать, что науки и искусства суть дело важное для людей.

Где же та черта, которая отделяет важное, нужное и драгоценное для людей от пустых и безнравственных занятий? В чем сущность и значение истинной науки и искусства?

Для того, чтобы ответить на этот вопрос, очевидно никак нельзя брать те определения, которые даются в наше время науке и искусству теми самыми людьми, которые признали ничтожные предметы важными, а надо рассмотреть это явление независимо от даваемых ему определений.

Для того, чтобы узнать, что человек (не как известный характер, воспитанный в известных условиях) считает дурным и хорошим вообще, надо спросить человека не то, что он считает *для себя* хорошим, а что он считает хорошим для человека, которого он истинно любит. И вот этот вопрос относительно науки и искусства я обращаю ко всем тем, которые любят кого-нибудь молодого.

Я говорю есть вот наука, которая обучает тому, что человек есть произведение механических сил и наследственности, что он поэтому неответственен в своих поступках, и другая наука, обучающая тому, что он искуплен рожденным от девы и улетевшим на небо в теле Христом,— желает ли он, чтобы любимое им существо усвоило эти науки?

Я говорю еще: есть вот искусство, grand art, умеющее делать женщинам волосы очень хорошо, так что женщины становятся соблазнительными, умеющее представлять балеты, живые картины, писать Пана, купальщиц, оперетки и т. п. Желаете ли вы, чтобы ваш сын воспитывался под влиянием этого искусства? И я знаю, что всякий, у кого есть любимое молодое существо и кто искренно представляет себе влияние этих наук и искусств на сына — всякий скажет: нет, нет и нет.

Л. Н. ТОЛСТОЙ и П. И. БИРЮКОВ

Шарж В. Э. Борисова-Мусатова. 7 марта 1895 г.

Третьяковская галлерея, Москва

Хорошо. Но если эти науки и искусства так страшны со всеми остальными науками и искусствами, то не устранить ли вашего сына совсем от всяких наук и искусств? и опять всякий, у кого есть любимое существо, вообразит себе отсутствие искусства и скажет решительно — нет.

Как же быть? Надо взять хорошее и оставить дурное. Что хорошее? что дурное? во всем том, что производится среди нас и называется занятием наукой и искусством?

Где та черта, которая отделяет ту науку и искусство, которые нужны и важны и заслуживают уважения, от тех, которые не нужны, не важны, не заслуживают уважения и часто заслуживают презрения, как произведения прямо развращающие?

В чем состоит сущность истинной науки и искусства?

7

О ТОМ, ЧТО НАЗЫВАЕТСЯ ИСКУССТВОМ

[1896 г.].

I

В нынешнем году мне в первый раз довелось слышать самое, как уверяют так называемые знатоки, лучшее произведение Вагнера. Исполнение, опять по мнению знатоков, было прекрасное. Несмотря на все мое желание досидеть до конца, чтобы иметь право судить, я не мог этого сделать не от скуки, а от ужасающей фальши всего произведения. То же, что испытывает музыкальное ухо при таком большом количестве фальшивых нот, при которых все-таки не теряется смысл произведения (если бы все сплошь были неверные звуки, не было бы фальши и не было страдания при слушании), то же испытывало и мое поэтическое чувство и я не мог выдержать этого страдания и ушел, не дослушав второго акта. Произведение это вот что такое: Из всех известных мне народных эпосов самый непоэтический, неинтересный и грубый — это Нибелунги. Эту-то непоэтическую и грубую поэму бездарный и претенциозный сочинитель Вагнер переделал по-своему для своих музыкальных целей и вложил в нее туманную немецкую и скучную квази-философскую закваску. Потом на всю эту искусственную историю п р и д у м а л, именно придумал, не музыку, а звуки, напоминающие музыку, и эту-то историю в драматической форме, выкрикивая неестественными звуками странные фразы, представляли наряженные люди.

Гете сказал: Man sieht die Absicht und wird verstimmt *. Здесь же не только видишь Absicht, намерение, но ничего другого не видишь. И видишь намерение постоянно неосуществленное. Как я вижу ясно, что чудовище, с которым борется там кто-то, не чудовище, а два несчастные, изогнутые человека, которые стараются ходить в ногу и не расходиться, так точно и в драме, а главное в том, что называется музыкой, я не вижу, не чувствую музыки, а чувствую и вижу о ш а л е в ш е г о от самомнения, музыкально внешне одаренного и поэтически бездарного немца, который хочет меня уверить, что та глупая сказка, которую он представляет, имеет глубокий смысл и трогательность. На это скажут: мое личное мнение, ни на чем не основанное, и личное мнение огромного большинства совершенно противоположно. На это я скажу, что мнение большинства, сколько я знаю, ни на чем не основано, кроме общих туманных фраз. Мое же мнение, как мне кажется, очень ясно обосновано, а именно вот на чем:

Всякое искусство имеет свою область и свое, отдельное от других искусств, содержание. Не говоря о том, в чем состоит сущность всякого искусства (о чем я буду говорить после), выскажу здесь нужные для моих доводов об искусстве те положения, с которыми полагаю, что люди, занимающиеся искусством, спорить не будут. Когда я смотрю на архитектурное произведение, то я ищу архитектурной красоты и если одна часть здания будет выстроена, а другая рядом с ним прекрасно написана красками, то мое чувство архитектурной красоты будет нарушено. После колонн я ждал портика, а тут вдруг изображение крыши или портика.

Всякое искусство имеет свои задачи, разрешаемые только им, этим одним искусством. Так, картина, изображающая пейзаж, может передать мне то, что она имеет сказать, только изображение воды, кустов, полей,

* Когда ясно намерение, то это убеждает.

дали, неба, а никакие стихи или музыка не передадут того, что имеет сказать мне живописец. Так и во всех искусствах и в особенности в музыке, самом задушевном, т. е. наиболее других завладевающем чувством людей искусстве. Музыка, если она музыка, имеет сказать нечто такое, что может быть выражено только музыкой. И это выражение музыкальной мысли, скорее содержание, имеет свои музыкальные законы, свое начало, середину, конец. Точно так же, как архитектурное, живописное, поэтическое произведение. И когда музыкант имеет нечто сказать своим искусством, то музыка и подчиняется этим условиям, как это всегда было и есть с древнейших времен и до сего времени.

Что же делает Вагнер?

Возьмите его партитуру без представления и слов и вы найдете набор звуков, не имеющих никакого музыкального содержания и поэзии, никакой внутренней связи. Перевертывайте все эти ноты и музыкальные фразы как хотите и не будет никакой разницы, так что музыкального произведения тут нет. И для того, чтоб придать какой-нибудь смысл этим звукам, надо слушать их одновременно с представлением. Слушая же их так, вы опять не получаете музыкального художественного впечатления, а слышите явно придуманную педантически с лейтмотивами, обозначающими появление каждого лица, попытку иллюстрации — (иллюстрация поэзии музыкой собственно невозможна, потому что музыка, будучи гораздо более захватывающим, чем поэзия и драма, искусством, не может иллюстрировать поэзию) — попытку иллюстрации посредством подобия музыки бездарной и претенциозной переделки скверной поэмы. Зигфрид Вагнера и все его этого рода произведения подобны вот чему. Представим себе, что какой-нибудь стихотворец, изломавши свой язык так, что он может на всякую тему, на всякую рифму, на всякие размеры написать стихи, которые будут похожи на стихи, имеющие смысл (такие стихи, каких два, три в каждом нашем журнале), представим себе, что такой стихотворец задастся мыслью иллюстрировать своими стихами какую-нибудь симфонию или сонату Бетховена или балладу Шопена. На бурные первые такты аллегро первой части этой сонаты этот стихотворец напишет даже не четыре, не два стиха, а один стих, соответствующий по его мнению этим первым тактам. Потом на следующие такты, более успокоенные, напишет тоже по его мнению соответствующие, без всякой внутренней связи с первым стихом и даже без рифмы и одинакового размера, и т. д. на всю сонату, симфонию или балладу. Такое произведение будет совершенно то же в поэтическом смысле, что Зигфрид Вагнера в музыкальном.

Таково по моему мнению значение того, что называют музыкой Вагнера.

И эта-то музыка обошла весь мир, дается везде, в постановке своей стоила, я думаю, миллионы во всех театрах Европы, и сотни, тысячи людей совершенно уверены, что, восхваляя эту антипоэтическую и музыкальную бессмыслицу, они доказывают свое утонченное образование и вкус. Что же это значит?

А значит то, что мы в деле искусства дошли до того тупика, дальше которого идти некуда, и из которого нет выхода. Признаком этого служат не одни произведения Вагнера. Я взял для примера музыку. Но то же происходит во всех искусствах, оставляя архитектуру и скульптуру, которые не движутся, в живописи, в поэзии, лирической, эпической (романы), в драме.

В живописи религиозная живопись и историческая, жанры, портреты надоели, да и нет в этом ничего не только превосходящего прежних, но даже равняющегося с ним.

И вот они прямо придумывают, стараются что-нибудь выдумать необыкновенное, притворяются наивными, верующими, не умеющими рисовать, чтобы подражать кому-то и что-то необыкновенное выражать символами.

Или изображают . . . .

. . . .

Или . . . .

Вышло как у нас пишут . . . богородицу с Христом, каких писали 1000 лет тому назад.

В этом одном движении живописцев бездна, все больше и больше; и то, что они пишут, все непонятнее и непонятнее и все бездарнее и бездарнее. Нет ни одного, который бы был несомненно силен, как были сильны и понятны все же даже недавние: Кнаус, Мессонье, Turner.

Но они, новые живописцы, нисколько не робеют и с непоколебимой уверенностью, свойством бездарности, продолжают открывать новые пути и восхваляют друг друга.

То же в поэзии, в лирической — нет Гете, Пушкина, Vict[or] Hugo, стихи в роде этих поэтов надоели и все пишут почти такие же. И вот новые поэты открывают новые пути, и дошли до того, что плоская бездарность Бодлера и Верлена считается поэтами, и по открытому ими пути кишат их продолжатели — Малларме и подобные ему, пишущие что-то по их мнению прекрасное, но никому непонятное. То же делают у нас в России какие-то непонятные люди.

Но хорошо бы, если бы это проявилось только в лирической поэзии; это такая малая отрасль любительского, но то же происходит и в драматической, эпической поэзии.

Диккенс, Теккерей, V. Hugo кончились. Подражателям их имя легион, но они всем надоели. Все одно и то же. И вот выдумано новое: это Ибсен, Киплинг, Гандер [?], Хаггард, Доде сын, Метерлинк и др.

И опять то же явление, искание необычного, нового и отсутствие понятного. И, как в живописи, количество пишущих растет в ужасающих размерах и в тех же размерах падает степень дарованья. Люди не видят даже, что то, что они делают, не имеет ни капли смысла, и продолжают восхвалять друг друга и все дальше и дальше уходить в сторону исключительности, искусственности и непонятности.

Ни в чем это не видно так, как в музыке. И ни в каком искусстве люди не ушли так далеко в искусственности, как в музыке. Я поэтому и начал с нее. Причина этому та, что другие искусства можно еще как-нибудь разъяснить, музыку же уж никак нельзя. Она прямо непосредственное дело. И потому, если картина бессмысленна или неправильна, всякий зритель судит о ней и объясняет ее недостатки. То же и с поэзией. Всякий может сказать, что это лицо, событие ненатурально или неверно выражено; только о музыке—почти то же и о лирических стихотворениях нельзя рассуждать, нельзя сказать, почему это хорошо или нехорошо.

От этого-то музыка (также и лирическая поэзия) — попав на ложный путь искусств нашего времени (о том, в чем ложность этого пути, будет сказано после) зашли в те страшные дебри бессмыслицы, в которых они теперь находятся.

Музыка есть искусство, действующее непосредственно на чувства, и потому казалось бы, что для того, чтобы быть искусством, она должна бы действовать на чувства. Кроме того она искусство преходящее. Произведение исполнено и кончено; вы не можете по произволу продолжить свое впечатление, как вы можете это сделать с картиной или с книгой.

РИСУНКИ Л. Н. ТОЛСТОГО, 1888 г.
Толстовский музей, Москва

И потому казалось бы, музыкальное произведение, чтобы быть искусством, обязано действовать на чувство. И что же? Большинство музыкальных произведений в подражании бессмысленным произведениям Бетховена суть набор звуков, имеющих интерес для изучивших фугу и контрапункт, но не вызывающий никакого чувства в обыкновенном слушателе; и музыканты нисколько не смущаются этим, а спокойно говорят, что это происходит оттого, что слушатель не понимает музыки.

Музыкант играет вам свое сочинение, которое, как и большинство сочинений новых музыкантов, непонятно, т. е. чуждо музыке.

Вы не безграмотный человек, а эстетически образованный, знаете и цените классиков музыки. Вы слушаете и сочинение вызывает в вас недоумение (особенно если музыкант веселого характера), не мистификация ли это? Не кидает ли он просто руками как попало, чтобы испытать вас, и вы говорите, что вам это не нравится. Нет, вы еще не понимаете, отвечает вам музыкант. Да когда же я пойму? Ведь уж кончено, сыграно. И почему же про стихотворения Малларме и драму Метерлинка я могу сказать, что эти стихотворения и драмы дурны, потому что бессмысленны, и никто мне не говорит, что я еще не понимаю, а в музыке мне говорят это? Произведение искусства должно тронуть меня, а чтобы тронуть меня, оно должно прежде всего быть понятно.

Tous les genres sont bons hors le genre ennuyeux *, говорит почти это самое. Прежде всего всякое — а особенно музыкальное произведение должно быть понятно. Произведение искусства ведь в сущности, я думаю, есть не что иное, как делание понятным того, что было непонятно. Впечатление, производимое понятным искусством, всегда такое, что по-

* Все жанры хороши, кроме скучного.

лучившему художественное впечатление кажется, что он давно это знал, но только не умел высказать так, как высказалось в художественном произведении. Это все равно, что мне предлагают есть солому или лимбургский сыр и объяснили бы то, что я не ем этого, тем, что у меня не развит еще вкус. Нет, я не ем солому, потому что она не вкусна, а лимбургский сыр, потому что он воняет. Если вы предлагаете мне пищу, то прежде всего сделайте, чтобы она была вкусна, мне и другим людям, находящимся в том же положении, как и я.

Да, отвечают на это, вы еще не принимаете эту пищу, потому, что вы не развиты и потому вы лишены этого удовольствия, мы же хотим доставить вам это высшее удовольствие, которое вы не знаете, а мы знаем. Кто это мы? И кто это вы? Вы — это миллионы и миллионы людей трудящихся мужчин и женщин, которые кормили, одевали, обстраивали, перевозили, охраняли вас, ту малую кучку людей, кучку паразитов, которая живет праздно трудом этих миллионов.

А кто же такие эти мы, находящиеся в обладании этой особенной красотой? Это те наши паразиты, проводящие свой век в обжорстве, праздности, пьянстве и разврате. Это крошечная кучка людей паразитов, пришедшая к сознанию того, что нет бога, нет смысла в жизни, что надо уничтожать себя, пока жив наслаждаться, чем можешь. И эта-то кучка научит всю массу тому, что такое настоящее искусство.

Не вернее ли предположить, что люди, оторвавшиеся от жизни, от истинной жизни труда, живущие паразитами, придумывали и придумывают себе средства сначала забавы, заполнения праздного времени, а потом забвения от сознания нелепости своей жизни, делают глупости, и глупости эти называют искусством,— тем более это нужно предположить, что те, которых они хотят учить искусству и на которых они смотрят как на рабочий скот, который должен кормить, одевать, обстраивать, т. е. нести их на себе как своих паразитов, знают очень хорошо, что такое искусство, и наслаждаются им. Знают, что такое поэзия всякого рода, рассказы, басни, сказки, легенды и романы, поэмы хорошие и понятные, знают, что такое песни и музыка хорошая и понятная. Знали, что такое картины хорошие и понятные. Они все это знали и любили. Знают красоту и поэзию природы, животных, знают такие поэтические красоты, которых вы не знаете.

Почему вы думаете,— должны сказать эти люди, что то, что вы себе устроили в маленьком вашем кружке паразитов, есть самое хорошее? Мы же находим, что оно скверно. Скверно оно потому, что оно большей частью развратно, исключительно, не всем доступно, и главное потому, что оно непонятно и становится понятно не потому, что человек поднялся до вас, а спустился до вас.— Вы в своей безумной гордости говорите, что вы находитесь в обладании какой-то особенной красоты и что надо много трудиться, чтобы достигнуть до вас и понять эту вашу красоту, а мы находим, что то, что вы называете красотой, есть только удовлетворение вашей извращенности, и мы потому не хотим и не можем учиться у вас. Если вам хорошо и нужно ваше искусство — пользуйтесь им; оно нам не нужно. И потому не говорите, что для нас.

Для того же, чтобы решить, кто прав, надо решить, что такое искусство, о котором могут существовать такие разнообразные противоположные друг другу мнения.

Возьмите какое хотите произведение какого хотите искусства, и я вам покажу высказанный компетентными критиками о каждом суждения диаметрально противоположные. То же еще в гораздо большей степени происходит относительно современных произведений: то же произведение, как музыка Вагнера, драмы Ибсена, романы Зола, картины... одними

считаются верхом совершенства, другими отвратительной мерзостью, не имеющей никакого права на название произведения искусства.

Что-нибудь не ясно и очень запутано в определении искусства, если могут существовать такие противоречия.

Могут быть различные мнения о достоинствах того или другого философского или научного произведения. Но никто не скажет, что астрономические, физические открытия, изложение его не есть произведение науки, или исследование о душе не есть философское произведение, но в произведениях искусства происходит полное отрицание. Вагнер — верх совершенства. Вагнер не музыкант; искусство Puvis de Chavannes верх совершенства. Puvis de Chavannes — не живопись. Малларме — прелесть, Малларме — не поэзия, а чепуха и т. д.

Ужас берет перед степенью безумия, совершаемого во имя того искусства одних исключительных, богатых, развращенных классов. Власть, деньги в руках этих классов, им нет никакого дела до того, что нужно вообще людям, им нужно возбуждение искусственное своему извращенному чувству; и возбуждение это нужно особенно сильное потому, что у них нет труда и им не нужно отдыха, а им нужно раздражение. И поставщики художественных произведений поставляют такое искусство. Посмотрите вечером в больших городах эти залы театров и концертов и того, что там дается. Не говорю о кафе-шантанах и балетах;— самые так называемые серьезные театры это все средства возбуждения усталых чувств, нечистая забава богачей. Послушайте эти концерты, в которых вы, воспитанный на музыке нашего круга, ничего не понимаете, но которые для человека из народа ничего не представляют, кроме болезненного шума. Пройдите эти выставки с голыми телами и изображениями ничего не говорящих сцен и портретов. Главное посмотрите эти томы новых, не имеющих никакого смысла стихов, выходящих беспрерывно. Их печатают, портят легкие и глаза наборщики, корректируют. Для человека из народа, если бы только он знал, что кроме того, что он видит и слышит, ничего нет там — это должно бы показаться огромным домом сумасшедших. Но как же могут сами художники продолжать делать эти глупости и как может та публика, которая смотрит, читает, слушает все это, переносить это?

А это вот почему.

II

Много есть разных ходячих определений искусства, трудно перечислить все их, но ни одно не ясно. Тот, кто не верит мне, пусть справится в статьях об искусстве, которых везде много. Есть определения Гегеля, Тэна, Шопенгауэра, Баумгартена и др. Определений много самых различных, но одно есть самое общепринятое, то, которое вам выскажет в тех или других выражениях почти всякий так называемый культурный человек. Это отчасти определение Гегеля; отчасти определение Баумгартена: задача искусства — красота. Служение добру — это добродетель, этому учит этика; служение истине — это наука — направление науки дает философия, служение красоте — это искусство. Habent sua fata libelli *, но еще более habent sua fata словечки. Скажется неосновательное, необдуманное, прямо ложное словечко, но такое, которое приходит в пору ученой толпе, и словечко подхватывается и с ним носятся и на основании его пишут книги, трактаты, и толпа верит этим словечкам, ни минуты не сомневаясь, что то, что выражено этим словечком, есть несомненно подтверждение всей мудрости человечества, истины. Таково словечко

* Книги имеют свою судьбу.

Мальтуса, что народонаселение увеличивается в геометрической, а средства пропитания в арифметической прогрессии, таково словечко о том, что мысль есть выделение мозга (secret), таково словечко, что происхождение видов имеет началом борьбу за существование. Таково словечко Баумгартена о выдуманной им троице: добра — нравственности, истины — науки и красоты — искусства. Очень это пришлось по умам — так это кажется ясно, просто, красиво, а главное дает то высокое значение, которое нужно придать науке и искусству, и все принимают это определение, не замечая того, что в этом определении нет ничего похожего на действительность и на правду.

Что первый член этой троицы — добро есть основа и цель высшей деятельности человека, это совершенно справедливо. Но и справедливо из всей троицы только это. Ни истина, ни красота не составляют ни основы, ни цели деятельности людской. Истина есть одно из необходимых условий добра: добро может быть совершено только при условии правдивости истины, но сама по себе истина не есть ни содержание, ни цель науки.

И это-то признание всеми этими людьми того, что в этом служении красоте — цель и содержание искусства, и заключается причина того особенного упадка искусства, до которого оно дошло в наше время.

Правда, всегда слышатся голоса, отрицающие искусство для искусства: т. е. служение красоте, и требующие социального содержания искусства; но голоса эти остаются без влияния на деятельность искусства, потому что они требуют невозможного для искусства.

Художник, если он художник, не может делать ничего другого, как только то, что передавать в искусстве свои чувства.

Они это и делают. Чувства их очень гадкие, низкие, но они передают их и заражают ими других; сделать же по программе свое искусство полезным в социальном отношении он со всем своим желанием никак не может: как только он начинает это делать, так он перестает быть художником. Смело же передают художники нашего времени свои чувства, не сомневаясь в том, что то, что делают — хорошо, потому что они исповедуют теорию красоты и выражения самочувствия называют служением красоте. Это глупое словечко Гегеля и Баумгартена о том, что красота есть нечто самостоятельное наравне с истиной и добром, пришлось как раз в пору художникам нашего времени, оторвавшимся от общения с массой народа.

Всякий художник, имеющий свойство заражать людей своими чувствами, естественно из всех тех чувств, которые он сам испытывает, избирает те чувства, которые наиболее общи всем или самому большому большинству людей; как художник, непосредственно общающийся с толпой, рассказчик, певец непременно изберет чувства наиболее доступные всем для того, чтобы самому получить наибольшее удовлетворение, так и каждый художник, посредственно через книгу, картину, драму, музыкальное сочинение общающийся с публикой, если только не имеет какой-нибудь ложной теории, в особенности теории о служении красоте, всегда изберет предмет наиболее общий всем людям. Но художники, как художник нашего времени, исповедующий баумгартеновскую троицу, сознавая себя служителями красоты, могут не заботиться об общности того чувства, которое они вызывают.

Если в кабаке, в котором сидел Верлен, был другой пьяный, восхищавшийся его стихами, ему было достаточно. Он служит красоте, и слушатель его, понимающий так же красоту, ценит это. Точно так же удовлетворен Вагнер, Малларме, Ибсен, Метерлинк и др. Художнику, исповедующему теорию служения красоте, достаточно знать, что он служит

красоте. Если даже никто не заражается его произведением, он верит, что это будет в будущем. Это искусство будущего, которого еще не понимают. Как только художник позволил себе сказать слово: меня не понимают, но поймут в будущем, — так он открыл дверь ко всякой бессмыслице, ко всякому безумию, как мы это и видим теперь.

Началось это, как я говорил уже, с музыки, с того самого искусства, которое непосредственно всегда действует на чувства и в котором, казалось бы нет возможности говорить о непонимании. Но между тем к музыке меньше всего может относиться слово: понимать, и от этого-то так это и установилось, что музыку надо понимать.— Но что же такое — понимать музыку? Очевидно слово — понимать — употреблено здесь, как метафора, в переносном смысле. Понимать или не понимать музыку — нельзя. И выражение это, очевидно, значит только то, что музыку можно усваивать, т. е. получать от нее то, что она дает, или не получать, так же, как при высказанной словесно мысли можно понимать или не понимать ее. Мысль можно растолковать словами. Музыку же нельзя толковать, и потому нельзя говорить в прямом смысле, что можно понимать музыку. Музыкой можно только заражаться или не заражаться.

Точно так же нельзя говорить о непонимании картины, стихов, драмы, поэм, романов.

Как только художник, да и всякий работник в духовной области позволит себе сказать: меня не понимают, не потому что я не понятен (т. е. плох), а потому что слушатели, читатели, зрители не доросли до меня,— так он с одной стороны освобождает себя от всяких истинных требований всякого искусства, а с другой стороны подписывает себе смертный приговор, подрывает в себе главный нерв искусства.

Все дело искусства состоит только в том, чтобы быть понятным, чтобы сделать непонятное понятным, или полупонятное — вполне понятным тем его особенным, непосредственным путем заражения чувством, которое составляет особенность деятельности искусства.

Все усилия художника должны быть направлены на то, чтобы быть понятным всем.

Так что движение вперед искусства и в каждом отдельном человеке и во всем человечестве направляется ко все бо́льшей и бо́льшей понятности всем, как это всегда было, есть и будет, а не к все большей непонятности, как это происходит в искусстве паразитов нашего времени.

Но что же такое искусство, если оно не есть осуществление идеи в красоте, как говорит Гегель?

Для того, чтобы ответить на этот вопрос, надо посмотреть на происхождение искусства, на то, откуда взялась та деятельность, которую мы называем искусством. И это самое сделано людьми, и нет никакого сомнения в том, как утверждают новые исследователи этого предмета, что зачатки искусства можно найти у животных и что зачатки эти есть игра, забава.

Главная отличительная черта искусства, которую признавали все эстетики, в том, что произведения искусства не имеют целью матерьяльную пользу. Не всякое бесполезное занятие есть искусство, но всякое искусство непременно бесполезно в матерьяльном смысле; так например, всякого рода игры — теннис, шахматы, вист бесполезны в матерьяльном смысле и составляют забаву, но они не искусство. Так что только известного рода бесполезная в матерьяльном смысле деятельность, имеющая целью забаву, составляет искусство. Какая же это деятельность?

Неужели искусство только забава, игра, увеселение? — невольно говорят люди, привыкшие приписывать искусству несвойственное ему по несчастному словечку Гегеля и Баумгартена значение наравне с познани-

ями истины и добродетелью. Привыкшие приписывать искусству такое значение, нам кажется, что мы принижаем его, видя его значение в одной забаве.— Но это несправедливо. Искусство не принизится оттого, что мы припишем ему действительно принадлежащее и свойственное ему значение. Точно так же, как мы не принизим буддийского папу, если перестанем считать его Далай-ламой, а признаем его человеком. Искусству приписывалось и приписывается какое-то неясное и превыспреннее значение, что оно как-то и почему-то должно возвышать душу человека (смотрел все картины). Но значение это только приписывалось искусству затем, чтобы поддерживать значение людей, избирающих звание художников, но никто серьезно не верил в это ложно приписываемое искусству значение, и есть люди (огромное большинство рабочего народа), которые считают и не без основания, не веря в то значение, которое ему приписывается, не видя другого, считают искусство прямо баловством богатых людей — с жира.

Если считать человека Далай-ламой или помазанником, или чем-то необыкновенным, то это может годиться для некоторых людей, но в большинстве это вызывает отпор, негодование и желание не признать за этим возвышающим себя так человеком даже и человеческого достоинства. Не лучше ли и прочнее признать человека тем, что он есть, и требовать к нему свойственного человеку места и уважения. То же и с искусством. Вместо того, чтобы приписывать ему какое-то мистическое значение возвышения души и осуществления идеала красоты и т. п., не лучше ли просто признать его тем, что оно есть в действительности, и придать ему то значение, которое ему свойственно, и значение это не маленькое.

Художественная забава? Но разве это так мало и ничтожно, чтобы презирать деятельность, имеющую целью художественную забаву? И всякая забава есть необходимое условие жизни. Человек сотворен так, что он должен не переставая жить, т. е. действовать. Он должен действовать и потому, что он животное, которое должно кормить, укрывать от непогоды, одевать себя и свою семью, и потому, что он в жизни, как лошадь на колесе — не может не действовать. Он питается и спит, а напитанное и выспанное тело требует движения. Движение нужно для того, чтобы питать и укрывать себя и одевать. И так круг этот труда и питанья не переставая совершается в человеке. Но совершение этого круга утомляет человека, и ему нужен отдых, нечто выходящее из этого круга. И вот таким отдыхом, выходящим из этого круга, и является деятельность забавы; и таких деятельностей две: игры и искусства. Игра это деятельность бесполезная, имеющая целью не труд полезный—питания, укрывания, одежды и др., а напротив — отдых от этих трудов, употребление избытка своих сил не для дела, а для проявления этих сил — ловкости, изобретательности, хитрости и т. п.

Искусство — это другого рода отдых от труда, достигаемый пассивным восприниманием через заражение чувств других людей.

В искусстве всегда есть два лица: один тот, кто производит художественное произведение, и тот, кто воспринимает: зритель, слушатель. Художник производит, а тот только воспринимает. И в этом одна из отличительных от всего другого черт искусства — то, что оно воспринимается только пассивно, что тот, кто пользуется забавой искусства, не должен ничего сам делать, он только смотрит и слушает и получает удовольствие, забавляется.— И именно тем, что он сам не делает усилия, а предоставляет художнику завладеть собой, и отличается художественная передача от всякой другой. Для того, чтобы понять научную теорию, чужую мысль, нужно делать усилия, в художественном же вос-

приятии ничего этого не нужно, нужно только не быть ничем занятым, даже при сильных художественных впечатлениях и этого не нужно. Музыка, пение, картины, несколько сильных слов рассказа, интонация захватывают зрителя, слушателя и отрывают его от того дела, которым он даже был занят.

Я вижу вырезушку на карнизе и испытываю то же самое чувство симметрии, интереса к рисунку, забавы, которое испытывал тот, кто задумал и их. То же самое я испытываю то самое чувство, которое испытывал тот, кто задумал и вырезал фигуру на корабле. То же самое происходит при слушании рассказа о разлуке с матерью, когда он повторяет ее речи. То же при звуках перезвона и трепака на доске, когда я слушаю их. То же чувство я испытываю при слушании венгерского чардаша, симфонии, при чтении Гомера, Диккенса, при созерцании Микель-Анджело, Парфенона и всякого какого бы то ни было художественного произведения. Забава и удовольствие получения художественного произведения состоит в том, что я познаю непосредственно, не через рассказ, а через непосредственное заражение то же чувство, которое испытывал художник и которое я без него не узнал бы.

То, что в драме, романе, лирическом стихотворении, картине, статуе есть доля передаваемых сведений, то эта доля пересказа не есть искусство, а есть матерьял или балласт искусства, самое же искусство — в передаче чувства. От этого происходит то, что очень часто есть очень подробно представленное на картине положение или очень подробно описанные события в романе, поэме, или очень много сочетаний звуков, но нет ни живописного, ни словесного, ни музыкального произведения искусства.

Так что искусство есть забава, которая получается тем, что человек сознательно подчиняется заражению того чувства, которое испытывал художник. Удовольствие этой забавы состоит в том, что человек, не делая усилий (не живя), не перенося всех жизненных последствий чувств, испытывает самые разнообразные чувства, заражаясь ими непосредственно от художника, живет и испытывает радость жизни без труда ее. Удовольствие состоит почти в том же, в чем состоит удовольствие сновидений, только в большей последовательности. А именно в том, что человек не испытывает всего того трения жизни, которое отравляет и угнетает наслаждения действительной жизни, а между тем получает все те волнения жизни, которые составляют ее сущность и прелесть, и получает их с тем большей силой, что никто не мешает им. Благодаря искусству человек без ноги или старик дрожащий испытывает наслаждение пляски, глядя на пляшущего художника-скомороха, человек, не выезжавший из своего северного дома, испытывает наслаждение южной природой, глядя на картину; человек слабый, кроткий испытывает наслаждение силы и власти, глядя на картину, читая или глядя на театре поэтическое произведение или слушая героическую музыку; человек холодный сердцем, никогда не жалевший, не любивший, испытывает наслаждение любви, жалости.

Игра — необходимое условие жизни детей, молодых или устраивающих праздник жизни людей, когда есть избыток физических сил, не направленных на матерьяльную деятельность; и искусство — необходимое условие жизни взрослых и старых людей, когда силы физические все направлены на труд или силы эти ослабели, как это бывает в болезнях и старости. И то и другое необходимо человеку для отдыха от того круга труда, сна и питания, в котором он вертится со дня своего рождения и до смерти, как и всякое животное. И потому с тех пор, как живет человек, у него всегда были и будут эти оба вида забавы — игры и

искусства, и искусство, не будучи мистическим служением красоте, как оно описывается эстетиками, все-таки остается необходимым условием жизни людской.

Правда, есть для человека еще другая высшая деятельность, выводящая его из животного круга питания, труда и отдыха — деятельность нравственная. Деятельность эта составляет высшее призвание человека, но то, что существует эта высшая деятельность, не мешает тому, чтобы искусство было важным и необходимым условием человеческой жизни.

Так вот что такое искусство. Искусство есть один из видов забавы, посредством которой человек, не действуя сам, а только отдаваясь получаемым впечатлениям, переживает различные человеческие чувства и этим способом отдыхает от труда жизни. Искусство дает человеку отдых подобно тому, который дает человеку сон. И как без сна не мог бы жить человек, так и без искусства невозможна бы была жизнь человека.

Но скажут на это: «Неужели искусство имеет только это значение? Искусство, мы знаем, вызывает в человеке самые высокие чувства, и потому нельзя ограничивать его значение одним отдыхом от труда». Замечание такое отчасти справедливо. Действительно, искусство может возбуждать в людях самые возвышенные чувства. Но то, что искусство может возбуждать самые возвышенные чувства, не доказывает того, чтобы в этом было назначение искусства. Слово, письмо, печать может передавать самые высокие понятия, но это не доказывает, чтобы в этом было назначение слова, письма, печати. Оно может передавать и сведения о том, как сохранять картофель или сводить бородавки. Сон, сновидения могут открывать нам самые возвышенные и глубокие мысли, как это испытывали многие, и могут представлять нам всякий вздор. Точно то же и с искусством.

Посредством искусства могут быть переданы самые возвышенные и добрые и самые низменные и дурные чувства. Так что то, что искусства, состоящие в пассивном воспринимании чувств других людей, есть забава, дающая отдых от труда — нисколько не исключает того, что через искусство могут быть переданы, самые возвышенные чувства, и то, что такие чувства могут быть переданы, не нарушает справедливости определения искусства, как забавы, дающей людям отдых от труда.

III

Итак, если искусство есть такая деятельность, посредством которой люди, поставленные в необходимость труда для добывания себе пищи, крова, одежды, вообще для поддержания жизни, получают необходимое при этом труде отдохновение, то очевидно, что чем больше дает искусство такого рода отдохновения и чем большему количеству людей, тем больше оно исполняет свое назначение.

Люди, трудящиеся для поддержания жизни, всегда есть и были и будут, потому что без них не будет жизни. Таких людей, трудящихся непосредственно для поддержания жизни, т. е. рабочих людей, по крайней мере в сто раз больше, чем людей, не трудящихся непосредственно для поддержания жизни, и кроме того люди, не трудящиеся непосредственно для поддержания жизни и вовсе не трудящиеся, не нуждаются и в отдыхе, так как им не от чего отдыхать, и потому искусство — для того, чтобы исполнять свое назначение, должно быть отдохновением для этого огромного большинства рабочих людей. Им оно только нужно, потому что они только работают и их много, почти все человечество — это они. — Таким должно быть искусство. И таково всегда было его назначение.

Всегда были и есть архитектурные украшения на крышах, окнах изб в России и вырезные скворешницы и вырезанные петушки на крышах и

воротах и вышивка узоров на полотенцах. Всегда во всяком доме передний угол увешан и залеплен живописными произведениями. Каждая девушка и женщина знают и поют десятки песен, ребята играют на гармониях, жилейках, балалайках. В каждой деревне водятся хороводы с драматическими представлениями, каждый работник знает, читал и слышал историю Иосифа Прекрасного, басни, сказки, легенды. Так это в России, так это во всем мире. Народу рабочему нужно искусство и искусство это у него есть, отчасти и то, которое [он] принимает из среды богатых классов [по] строгому выбору, принимая только то, что проявилось в искусстве богатых классов самого лучшего, т. е. самого простого и трогательного и, разумеется, понятного, потому что непонятное в искусстве, как я говорил выше, все равно что несъедобное в пище.

Так вот какое в действительности существует искусство среди людей. Но удивительное дело, в нашем мире это искусство не признается искусством, или если и признается, то считается, что это самое низшее искусство, эмбрионы искусства, которое, строго говоря, нельзя даже и признать искусством. Петушки на крышах и полотенца интересуют людей нашего мира только с исторической точки зрения; картоны, которыми залепляют углы, изготовляются не художниками, а самыми низкими по искусству ремесленниками, так же изготовляются и книги. Сказки, легенды представляют тоже только археографический интерес. Песни, гармоника считаются извращением музыки. Так что люди нашего круга считают, что

«ПАМЯТНИК Л. ТОЛСТОМУ ПО ПРОЕКТУ КРЕСТЬЯНИНА КРАСНОГОРСКОГО, ОДОБРЕННОМУ И. Е. РЕПИНЫМ»

Рисунок В. А. Серова

Толстовский музей, Москва

искусства в настоящем смысле в рабочем народе нет совсем, а что искусство есть только среди нас, в наших храмах, дворцах, выставках, памятниках, в наших символических и примитивистических и других картинах, в наших декадентских стихах и романах, в наших ибсеновских и метерлинковских драмах, в нашей вагнеровской и всей новой — понятной только посвященным — музыке.

Что же это значит? Неужели в самом деле все искусство находится среди тех, кому оно в сущности не нужно, так что искусство есть отдых от труда, а те, которые говорят, что они находятся в обладании искусством — первым условием своей деятельности ставят свое освобождение от действительного труда поддержания жизни.

Неужели в самом деле рабочий народ для того, чтобы иметь искусство, которое ему так нужно, как отдых, потому что он действительно трудится, должен дожидаться, пока до него дойдут декадентские стихи, романы, драмы и непонятная чепуха новых музыкантов? Но ведь если бы и дошли до него все эти воображаемые произведения искусства, что, впрочем, невозможно, потому что все стоят на высоте, а не сидят в яме, то и тогда искусство их не годится и должно быть брошено. Искусство — отдых от труда. Народ, люди народа, нынче, теперь живущие, трудятся и хотят, нуждаются в отдыхе, даваемом трудом. И вот художники говорят: наше искусство так высоко, что вам надо еще выучиться понимать его. — Да ведь мне жить надо, говорит народ. Ведь для вас может быть искусство игрушка, без которой вы можете обойтись, потому что вы не трудитесь, но мне нельзя без него быть и мне некогда дожидаться. Вы будете готовить такое искусство, которое будет годиться нашим внукам (это вы говорите, но оно может быть никуда не годится), а я-то чем же буду жить покамест? Так нашим поколениям и жить и устраиваться без искусства? Ведь это повторяется то же самое, что если бы люди взялись кормить других и заготовили бы надолго добытую пищу и в оправдание свое говорили бы: вы не выучились еще ее есть. Нам некогда учиться, нам есть надо. Нет, это что-нибудь не так, скажет человек из народа и будет искать действительного, нужного ему искусства и с презрением смотреть на то баловство, которым занимаются богатые классы под видом искусства.

Но может быть на это скажут: искусство идет вперед, оно популяризируется. Передовые художники открывают новые формы, те же, что были новыми прежде, переходят в народ. — Это говорят, стараясь оправдать себя, но это не справедливо. За тысячи лет произведения искусств высших классов, за редким исключением, остаются непонятными для народа, и непонятность вместо того, чтобы уменьшаться, все увеличивается и увеличивается. Все искусства усложняют технику, ищут нового, странного и все дальше и больше удаляются от общечеловеческого. Ницше есть в философии выразитель этого направления.

Современному искусству все меньше и меньше интересны требования рабочей толпы, все делается и пишется для сверхчеловеков, для высшего, утонченного типа праздного человека.

IV

Но если это так, то отчего же это сделалось? Как могло сделаться то, чтобы все лучшие, даровитейшие люди нашего времени так сбились с пути и стали бы писать, сочинять и представлять всякие безнравственные, глупые произведения? А сделалось это вот отчего.

Не входя в разбирательство вопроса о том, справедливо ли предположение многих ученых и философов нашего времени (Ренана в том числе) о том, что в будущем выработается тип человека с огромной головой и ненужными бессильными членами: un paquet de nerfs, и что вся матерьяльная работа будет делаться — по одним — машинами, по другим —

низшей породой людей, рабами, и что для этого сверхчеловека нужно особенно утонченное искусство — мы не можем никак обойти того соображения, что пока этого еще не сделалось, существует, за исключением небольшого % праздных людей, все работающее человечество и что для этого работающего человечества нужен, необходим тот особенный отдых, который дает искусство, и что поэтому те, которые служат искусству, для того, чтобы быть уверенными, что они производят искусство, дело нужное людям, должны удовлетворять требованиям этого всего рабочего человечества, а не делать то, что они делают теперь, производить такое искусство, которое понятно только маленькому количеству посвященных, такое искусство, для понимания которого надо учиться (а рабочему человеку некогда. В самом деле, каково положение усталого человека, которому говорят, что он не может после усталости отдыхать, а должен еще учиться, как отдыхать), и такое искусство, право на существование которого состоит в том, что оно будет искусством будущего, чему доказательств нет никаких, кроме уверения тех людей, которые занимаются производством этого искусства, что это непременно так будет.

Искусство для того, чтобы быть искусством и иметь право на существование, должно удовлетворять требованиям отдыха большинства рабочего человечества, а этого не только нет: рабочий человек не может понять ничего из того, что производят самые последние утонченные художники; а самые утонченные художники, чем они совершеннее и утонченнее, тем менее они заботятся о том, как будут восприняты массой народа их произведения. И оторвавшись так от дела, вынув плуг из борозды, они очень легко движутся по полю, воображая, что пашут, и делают все более и более чудные эволюции, воображая, что они производят искусство. Ибсены, Метерлинки, Малларме в драме, поэзии, ...в живописи, Вагнер и его последователи в музыке. Дело дошло до того, что представляются, печатаются, живописно воспроизводятся, играются и поются вещи совершенно бессмысленные, и загипнотизированная толпа, которая уверена, что если она не понимает, то она виновата, разинув рот, смотрит и слушает, стараясь найти смысл в том, в чем нет никакого.

Сделалось это я думаю вот почему.

С тех пор, как мы знаем жизнь людей, всегда были властвующие и подчиненные, богатые и бедные. Между теми и другими было всегда то отношение, — что выгоды, радости одних приобретались в ущерб блага других и наоборот. Но было одно, что всегда связывало и тех и других между собою — это религия, то отношение к богу, в котором сознавали себя и те и другие. Отношение это было одинаково, и в этом все чувствовали свое родство: все рождались, все любили, страдали и умирали — выходили откуда-то из одного начала и возвращались к нему и все чувствовали это. Так что основа чувства: сознание своего положения в мире была у всех людей одинаковая, и у богатых и досужих классов такая же, как и у бедных и трудящихся. Так это было у египтян, у индусов, у греков, которых мы всегда берем в пример в деле искусства; так это было в христианском церковном мире. И пока это было так и везде, где это было — было настоящее искусство, потому что искусство есть отдохновение от труда жизни посредством заражения воспринимающего отдыхающего тем чувством, которое испытывает художник. Пока основа чувств у всех людей была одна и та же и в особенности у богатых и досужих классов, у тех, которые преимущественно производят искусства, и чувства были одинаковые и могли заражать друг друга. Художники, живя той же основой чувств, религией, выражая свои особенные чувства в архитектуре, скульптуре, живописи, лирической поэме, драме, заражали теми же чувствами массы рабочего народа, и было настоящее искусство. Так это было и в нашем христианском мире, до самого последнего времени, и

почти все искусство — высшее, лучшее проявление искусства сосредоточивалось в выражении религиозных чувств и были всегда одинаково доступны, как властвующим и богатым, так подчиненным и бедным.

Таковы художественные произведения не только древней Греции, от Парфенона до Гомера, но и художественные произведения Индии, Египта, всех народов, которые мы знаем, и таковы же произведения — не скажу христианского, но церковного искусства — от готических храмов, живописи Джиота, Анджелико — до музыки Палестрино, поэмы Данта и Мильтона. Пока было общее религиозное миросозерцание высших и низших классов, искусство существовало. И так это было до Реформации и времен Возрождения. Но с этого времени начинается разлад между верованиями высших и низших классов, и с этого же времени начинается упадок истинного искусства. По инерции оно продолжается и позднее и дает еще великие произведения, но разлад уже начался и соответственно разладу происходит и упадок.

Высшие классы, все более и более подвергая критике церковные религиозные верования, все далее и далее удаляясь от верований народа и вместо верований, каких бы то ни было, объясняющих смысл жизни, довольствуются полным скептицизмом или идеалом древних греков, т. е. наслаждения, и соответственно этим взглядам на жизнь производят искусство: изображают наслаждения, совершенно отделяются от народа, довольствуясь одобрением и похвалами людей, находящихся в том же, как и они, положении, и искусство становится не тем, чем оно должно быть, всегда было, есть и будет: отдохновением от труда работающего человека, а забавой праздного меньшинства паразитов, питающихся соками народа.

Так вот отчего, по моему мнению, произошло то страшное не то что падение, а уничтожение или скорее извращение искусства среди нашего общества, что то, что совершается под видом искусства, не имеет на это название никакого права.

То же произошло и с наукой, о чем я говорил уже и постараюсь поговорить еще, если успею.

Произошло это оттого, что как только люди богатых классов потеряли религиозный смысл жизни, у них, не имеющих необходимости трудиться, остался один только смысл жизни: удовольствия, забава.

И люди из этого класса передавали свои чувства удовольствия и забавы в виде искусства: рыцарские романы, любовные истории, любовные картины, любовные песни, оперы. Но у наслаждения всякого рода имеется свойство приедаться. То, что нынче было наслаждением, завтра уже становится пресно и скучно. И потому для того, чтобы вызывать в слушателях и зрителях чувство наслаждения, надо описывать новые, и самые забирательные. Самые забирательные наслаждения—это любовные, и вот являются любовные романы, любовные картины, любовные песни, оперы. Но и простая обыкновенная любовь тоже приедается, надо изощрять прелесть изображения любовных чувств. И в этом направлении все изощрялось и изощрялось искусство и дошло до совершенства. Но и приелось, и стало нужно придумывать что-нибудь исключительное, новое, необыкновенное, для передачи которого нужны усложненные приемы искусства — декадентство, символизм, экспериментальный роман, и кончилось тем, что то, что делают те, которые считают себя художниками, есть очень трудное и сложное дело, но уже совершенно не нужное людям вообще. потому что не передает никаких чувств, общих всем людям, а передает только исключительные чувства извращенных паразитов, самого маленького меньшинства.

В самом деле, если искусство есть средство отдохновения посредством восприятия чувств других людей, то какое же может быть искусство тех людей, которые не трудятся и потому не нуждаются в отдохновении

и в основу своих чувств кладут одно желание наибольшего наслаждения для людей не трудящихся, а живущих трудом других людей?

Искусство таких людей не может быть ничем иным, как тем безумием, которое мы видим теперь на месте искусства. Очень может быть, что те стихи Малларме и драмы Метерлинка и музыка Вагнера и Штрауса и наших русских может вызывать в тех несчастных изуродованных людях, которые не имели ни малейшего понятия об труде истинной жизни человечества, воспитаны в развратных гимназиях, университетах, академиях, консерватории, те чувства, которые испытывали эти художники, но для массы трудящегося, живущего истинной жизнью народа, они не имеют никакого смысла. И не потому, как говорят эти изуродованные художники, что народ не доразвит до них, а потому, что то, что они производят, никому не нужно, кроме им самим — ненужным и вредным людям.

Л. Н. ТОЛСТОЙ НА ПАШНЕ
Рисунок И. Е. Репина
Третьяковская галлерея, Москва

Мы обыкновенно привыкли давно и естественно приписывать огромное значение матерьяльным, видимым, осязаемым событиям и почти никакого или очень мало духовным, невидимым. Мы приходим в ужас при известии о войне, о голоде, о землетрясении, но такое явление как то, что руководящие классы нашего общества все живут, не зная зачем и для чего и не имея никакой религии, кажется нам не важным; я говорю: не имея никакой религии, потому что то, что люди высшего общества, надев воскресные платья, идут в воскресенье с молитвенниками в церковь или читают библию и молитвы перед богом и причащаются и т. п. — не только не показывает того, чтобы люди имели религию, но, напротив, показывает, что, не имея никакой религии, не находят и нужным искать какую-нибудь. Говорю же я, что люди высшего класса, идущие по воскресеньям с молитвенниками в храмы, не имеют никакой религии потому, что все эти люди знают, что все то, что написано в их библии и что говорит им их священник — неправда: они знают, что мир не мог быть сотворен богом 6000 лет тому назад, что

не мог бог казнить людей за грех Адама, потому что не было и Адама, что не мог Христос улететь на небо и т. п. А ходят они в храмы только по той же самой причине, по которой они носят короткие или узкие рукава, только потому, что все это делают. Так нам кажется неважным то, что люди нашего круга, все руководящие классы не имеют никакой религии, а это явление гораздо важнее и гибельнее всяких матерьяльных действий: пожаров, землетрясений, войн.

То, что люди наших высших классов не имеют никакой религии, никакого объяснения смысла своей жизни, потому что сотворение богом мира и человека по своей фантазии и происхождение человека от эволюционного процесса не могут считаться объяснениями — есть источник всех бедствий людей. Все ложное течение жизни человеческой происходит от этого незнания. Ложное, развращающее положение искусства в нашем мире есть только одно из последствий такого незнания.

В самом деле, люди, руководящие другими, имеющие вследствие своего общественного положения, богатства возможность влиять на других, не имея никакой религии, вернулись к состоянию животного, ищущего только наслаждения, и это чувство стараются передавать в виде искусства другим людям и считают, что все другие люди должны быть доведены до их животного состояния. Это ужасно и было бы странно, если бы сама сущность вещей не ставила этому преграды. Преграда эта состоит в том, что искусство есть средство заражения своим чувством других людей, но заражаются люди тем легче и сильнее, чем чувство, которое воспроизводит художник, общее всем людям и, напротив, чем личнее это чувство, тем меньше оно действует.

Любовь духовная есть чувство самое общее и наиболее свойственное всем людям и потому оно всегда было и будет содержанием истинного искусства; любовь половая, семейная, хотя и не столь общая — есть девственники от природы, старики, дети, не знающие этой любви,— все-таки обща большинству людей и поэтому служила и служит предметом искусства; но извращенная любовь соединяет уже меньше людей и становится непонятной и недействующей на людей, как скоро она доходит до последней степени извращенности, как это совершается теперь в искусстве. Так что исключительность чувств, передаваемых новым искусством, уничтожает его действительность. Сознавая же свое бессилие в заражении людей своими исключительными, праздными, извращенными чувствами, эти люди усиливают внешние средства искусства — технику, полагая этим воздействовать на слушателя и зрителя. И действительно, техника стихотворная, реалистическая в описаниях, в драме, в живописи, особенно в музыке, где люди всю жизнь проводят в упражнении пальцев и оркестра, становятся равны батальонам, доведены до высшей степени совершенства. Но именно совершенство техники и сложность приемов особенно поражают контрастом, полным отсутствием того, что составляет основу искусства — чувства, передаваемого воспринимающему.

V

Не привожу примеров контрастов истинного и не истинного искусства из области архитектурного, живописного, скульптурного, вообще пластического искусства, но поэтические, драматические и самые резкие музыкальные контрасты так сами собой и напрашиваются под перо. Вас приглашают на литературный вечер и читают произведения Малларме и Метерлинка и т. п. Вы стараетесь подчиниться чувству автора, но сознаете невольно, что у автора не было никакого другого чувства, кроме желания придумать такие комбинации слов, которые бы тронули вас. И, делая усилие подчиниться, вы вникаете в подробности техники и раз-

бираете их. Чтение кончилось, начинаются суждения: каждый старается сказать что-нибудь свое, новое — спорят, отстаивая каждый мнение, которым он не дорожит и которое он выдумал для разговора.

Это одно произведение искусства и воспринимание его; а вот другое:

В деревне грамотный малый читает историю Иосифа Прекрасного, напряженное внимание; возгласы негодования против братьев, умиление и слезы при выдаче Веньямина и т. п.

Где истинное, где ложное произведение искусства?

Или самое яркое: играют новую симфонию нового композитора X. 3 000 человек слушают, ни один не заражается чувством автора, потому что у автора и не было его, когда он писал, а было сложное техническое построение голосов, которые переплетаются, сходятся и расходятся по всем правилам контрапункта. Изредка попадается что-то похожее на выражение чувства, но во 1-х это выражение не искренно, не свое, взято с чужого голоса, во 2-х оно чуть начинает выплывать из переплета звуков, тотчас же скрывается, не досказав того, что хотело и могло сказать, и опять идут один за другим эффекты грома и тишины, сочетания тактов и переплетения голосов.

Если вы принадлежите к непосвященным, вы робко скучаете, не зная, как надо отнестись к тому, что вы слушаете. Между тем капельмейстер одутловатый, жирный с отчаяния то взмахивает своей палочкой, то вытягивает ее, как будто от этого зависит спасение жизни людей, а вам кажется, что совершенно было бы все равно, если бы не только во-время или не во-время ударили трубы, но если бы и ноты они все брали бы другие.

Если же вы сами занимались музыкой, то вы можете следить с некоторым интересом за перипетиями голосов и придумывать, что вы скажете композитору или исполнителю, когда придется это делать.

Вообще всем мучительно скучно и все рады, когда все кончено.

Это художественное произведение и восприятие в нашем кругу.

А вот у кабака выпивший малый играет на гармонике «барыню» с выкрутасами, а другой молодой, сильный малый стоит прямо, выпучив грудь и сжав кулаки, и в такт плясовой чуть подпрыгивает, ударяя по доскам крыльца подборами. И вы останавливаетесь и не можете оторваться, и вам самим хочется сделать то же, что тот малый.

Какое настоящее искусство, какое ложное?

VI

Но нет худа без добра. Ничто так не уясняет значение и назначение искусства, как то ложное искусство маленького кружка паразитов нашего времени, которое бьется в тупике, из которого оно не может выбраться.

По тому безобразию и безумию, до которого дошло это ложное искусство нашего круга и времени, не только видно, чем не должно быть искусство, но видно и то, чем оно должно быть.

Теперешнее искусство говорит, что оно искусство будущего, что люди не доросли еще до понимания его. Но ведь это хорошо говорить, когда искусство есть нечто мистическое, осуществление идеи красоты и т. п. Но если мы признаем, чего нельзя не признать, что искусство есть забава, дающая отдохновение людям тем, что под влиянием искусства человек без усилий получает разнообразные состояния чувств, которыми он заражается, — то какой смысл имеют слова: вы не понимаете еще. — Да позвольте же, ведь я и вместе со мной сотни тысяч людей пришли или купили книгу для того, чтобы получить художественное наслаждение, забаву, отдых. Ваше дело художника состоит только

в том, чтобы давать эту забаву, отдых, и вы говорите, что вы даете его, но мы не получаем ничего, потому что мы не понимаем, а понимает его Ив. В., Г-н Шмит и Г-н Джонс. — Но почему же я должен верить, что только вы, с несколькими избранными, понимаете настоящее искусство, а я — дурак — должен еще учиться? Но во 1-х я не могу считать себя дураком вместе с миллионами мне подобных. Мы все понимаем известного рода искусство, т. е. на нас действует известного рода искусство, то самое, которое и вы признаете: на нас действует красота готического храма, картина, изображающая снятие с креста, и поэма Гомера, и народная песня, и венгерский чардаш, так что мы не глухи вообще к искусству, а только ваше на нас не действует. А во 2-х, и главное, то, что если искусство есть вызывание в людях тех же чувств, которые испытывал художник, и если ваше искусство не производит этого во мне, то я прямо решаю, что оно не искусство. Ведь если только допустить, что виноваты не вы, а я, то нет той нелепости (как это и происходит теперь и в поэзии и в музыке), которой нельзя бы было выдать за искусство будущего. Вы говорите, что доказательством тому, что то, что вы делаете, есть искусство будущего, служит то, что то, что несколько десятков лет тому назад казалось непонятным, как например последние произведения Бетховена, теперь слушается многими. Но это несправедливо. Последние произведения Бетховена, как были музыкальные бредни большого художника, интересные только для специалистов, так и остались бредом, не составляющим искусства и потому не вызывающим в слушателях нормальных, т. е. рабочих людях, никакого чувства. Если все больше и больше является слушателей бетховенских последних произведений, то только оттого, что все больше и больше люди развращаются и отстают от нормальной трудовой жизни. Точно так же все больше и больше набирается читателей второй части Фауста и Божественной комедии Данте.

Но до тех пор, пока будут здоровые, трудящиеся люди, до тех пор произведения Бетховена, вторая часть Фауста, Данте и все теперешние стихи, и картины, и музыка не вызовут в этом народе художественного чувства заражения.

Вы говорите, что вы служите красоте, что ваши произведения это воплощение идеи красоты и т. д. — Все это хорошо, когда довольствуешься неопределенными, неясными словами, но стоит только проанализировать то, что подразумевается под этими неясными словами, и видно будет, как слабо и пусто это объяснение. Вы служите красоте? Как вы ни старайтесь определять красоту, вы не уйдете от того определения, включающего все ваши: то, что красота есть то, что вам нравится изображение художника. Туша быка или теленка для мясоеда — красота, для вегетарианца отвращение. Изображение обнаженного тела — красота, для многих — отвращение и ужас. А в звуках? То, что для персианина есть шум и гром — для нас музыка и наоборот.

Так что приписывать красоту чему-либо есть только способ выразить свое пристрастие к предмету. И потому, когда вы, художники паразитного меньшинства, стараясь обосновать свои права на искусство, говорите, что вы служите красоте, вы только другими словами говорите, что вы изображаете, передаете то, что нравится вам и некоторым другим. А как только дело переведено на этот ясный язык, понятно, что никак нельзя называть истинным искусством то, что нравится некоторым. Как только дело свелось к этому, невольно спрашиваешь: кому нравится? И ответ тот, что нравится неработающему меньшинству. А как только это ясно, то понятно, что настоящее искусство не будет то, которое нравится исключительному меньшинству, а то, которое нравится, т. е. действует на трудящееся большинство.

Искусство есть забава, дающая отдохновение трудящимся людям, забава, состоящая в том, что человек, не делая усилий жизни, переживает различные душевные состояния, чувства, которыми его заражает искусство. — Искусство есть забава, дающая отдохновение трудящимся людям, т. е. людям, находящимся в нормальных — свойственных всегда всему человечеству — условиях. И потому художник должен иметь в виду всегда всю массу трудящихся людей, т. е. все человечество за малыми исключениями, а не некоторых праздных людей, составляющих исключение, и самые чувства которых могут быть совершенно другие, чем те, которые могут быть свойственны душе зрителя или слушателя, и средства для этого совершенно различны. Так например, в поэтическом или живописном искусстве, если он будет иметь в виду трудящихся людей, т. е. все человечество, то содержание его произведения будет одно, если же он будет иметь в виду исключительно меньшинство — оно будет совсем другое. В первом случае, если мы возьмем примеры из области живописи или поэзии, содержание его произведения будет описание страданий и радостей при борьбе с трудностями работы, описание чувства страдания и наслаждения при оценке произведения своего труда, описание и чувства страдания и наслаждения при утолении жажды, голода, сна, описание чувств, вызываемых опасностями и избавлением от них, чувства страдания и наслаждения от семейных горестей и радостей, от общения с животными, от разлуки с родиной и возвращением к ней. Описание чувств страдания и наслаждения от лишения богатства и приобретения его и т. п. — как это мы видим во всей народной поэзии, от истории Иосифа Прекрасного до Гомера, до тех редких произведений искусств нового времени, которые удовлетворяют требованиям.

Если же художник будет иметь в виду нетрудящееся меньшинство, то содержанием его художественных произведений будут различные многосложные описания различных чувств, испытываемых друг к другу людей, удалившихся от естественной жизни, из которых главное будет половая любовь во всех возможных видах, как оно и есть теперь, за малыми исключениями, во всех наших романах, поэмах, драмах, операх, музыкальных произведениях. Между тем, как предмет этот — половая любовь для большого большинства трудящегося народа представляется малоинтересным, а главное, освещается совершенно с другой стороны, рассматривается не как высшее наслаждение, а как бедственное наваждение. Так что описание любви, которое для меньшинства праздных людей представляется предметом искусства и заражает зрителя или слушателя, для большинства трудящегося народа представляется пакостью, возбуждающей только отвращение.

Итак, искусство для того, чтобы быть истинным и серьезным, нужным людям искусством, должно иметь в виду не исключительное праздных людей меньшинство, а всю трудящуюся массу народа. От этого зависит содержание искусства.

Для того же, чтобы по форме искусство удовлетворяло своему назначению, оно должно быть понятно наибольшему числу людей. Чем большее число людей может быть заражено искусством, тем оно выше и тем оно больше искусство.

Для того же, чтобы оно действовало на наибольшее число людей, нужно два условия:

Первое и главное, чтобы оно выражало не чувства людей, стоящих в исключительных условиях, а, напротив, такие чувства, которые свойственны всем людям. Чувства же, свойственные всем людям, суть самые высокие чувства. Чем выше чувство людей — любовь божеская — тем она общее всем людям и наоборот.

Другое условие это ясность и простота — то самое, что достигается наименьшим трудом и что делает произведение наиболее доступным наибольшему числу людей.

Так что совершенство искусства во 1-х во все большем и большем возвышении содержания, достижение того, которое доступно всем людям, и 2-е такая передача его, которая была бы свободна от всего лишнего, т. е. была бы как можно более ясна и проста.

Искусство будет искусством только тогда, когда оно вызывает заражение чувством зрителей, слушателей.

Будет же оно хорошо и высоко тогда, когда оно будет вызывать общие людям чувства и способом самым простым и коротким. Будет оно дурно, когда оно будет вызывать чувства исключительные и способом сложным, длинным и утонченным.

Чем больше будет приближаться искусство к первому — тем оно будет выше, чем ближе ко 2-му — тем хуже.

Все скверно.

Л. Толстой

10 ноября 1896. Я. П.

8

О НАУКЕ И ИСКУССТВЕ *

[1890 — 93 г.]

Науки и искусства составляют в наше время едва ли не самую уважаемую людскую деятельность, — такую деятельность, которая по важности своей превосходит все другие, поощрение которой считается самым почтенным, противодействие которой — самым постыдным делом, и представители которой считаются наиболее достойными вознаграждения, почестей и уважения. Мнение о том, что деятельность наук и искусств есть высшая человеческая деятельность и ученые и художники суть люди, стоящие во главе человечества, не раз прямо высказывалось, не встречая возражения. Оно и действительно так, и наблюдение над направлением стремлений людей нашего времени подтверждает такое мнение. Большинство людей стремится к образованию только для того, чтобы занять место в рядах наиболее уважаемых всеми деятелей общества — ученых и художников. Вознаграждение за труд художественный — 500 тысяч франков за картину, 50 тысяч рублей за абонемент (ангажировку), 2 миллиона марок за секрет лимфы — самое большое из всех вознаграждений за труд. (Если ученые не получают таких громадных гонораров за свои труды, как некоторые из художников, то труды их ровнее оплачиваются — и всегда дают более чем обеспеченное существование). Для богатого человека, желающего заслужить уважение общества, лучшее средство есть не жертва на церкви, монастыри, как было прежде, не на филантропические учреждения, как было недавно, а на ученые или художественные учреждения: школы, институты, клиники, художественные заведения, галлереи, музеи...

Научная и художественная деятельность суть наиболее уважаемые в наше время деятельности, и на эти деятельности тратится большое количество сил людей как тех, которые прямо посвящают себя наукам или искусствам, так и еще больше тех, которые работают для приготовления предметов, нужных для занятий науками и искусствами.

Представим себе человека, совершенно свободного от всяких пред-

---

* Свод отрывков, просмотренный и исправленный Толстым.

взятых идей и пристрастий, наблюдающего в нашем (я разумею все европейское и американское) обществе проявление наук и искусств. Что бы представилось ему? Он увидал бы огромное количество университетов, ученых академий, музеев, библиотек, академий художеств и консерваторий, драматических и балетных училищ, в которых люди обучаются и занимаются, приписывая величайшую важность тем предметам, которыми они занимаются, — самым разнообразным предметам, начиная от теологии и сочинения поэм до науки о микроорганизмах и балетного искусства. Наблюдающий беспристрастный человек не мог бы не заметить в числе всех этих наук и искусств некоторые знания, важность которых для человечества и потому знание которых представляется по меньшей мере сомнительным.

Но мало этого, наблюдающий человек неизбежно заметил бы среди наук и искусств такие, которые не только безразличны и бесполезны, но прямо дурны и вредны. Наблюдатель увидал бы науку о наследственности, уничтожающую понятие нравственности, увидал бы науку о боге, о гипнотизме, о спиритизме, о тактике и балистике и увидал бы, что есть науки, столь же уважаемые своими адептами, как и другие, но науки несомненно вредные. То же самое он увидал бы и в области искусства: он увидал бы, что есть искусство поэзии, служащее восхвалению прямо зла — герои войны, убийства, или похоти, — увидал бы такие же произведения пластического и музыкального искусства, увидал бы прямо развратный балет, признаваемый однако своими адептами искусством, столь нужным, что правительство тратит на поддержание его миллионы.

Деятельность научная и художественная всегда высоко ценилась людьми, но едва ли когда-нибудь она ценилась более высоко, чем в наше время. В наше время нет более почетной деятельности, как деятельность научная и художественная. Люди, поощряющие эту деятельность, пользуются всеобщим уважением, люди, препятствующие этой деятельности, — всеобщим презрением. Памятники, в особенности воздвигаемые последнее время, это все памятники ученых и художников, празднования юбилеев знаменитых людей, это все юбилеи ученых и художников. Как прежде жертвовали на церкви, монастыри, теперь богатые люди жертвуют на учебные и художественные учреждения, школы, институты, клиники, библиотеки, галлереи, музеи. Правительства и те чувствуют необходимость заискивать в деятелях наук и искусств.

Самая почетная деятельность в наше время есть деятельность наук и искусств и едва ли не лучше всех других вознаграждаемая. Если не всякий деятель науки и искусства может надеяться получить, как некоторые, миллионы за свои сочинения, за открытие лимфы, за картины, за песни и музыку (хотя многие и многие составляют себе огромные состояния), то все-таки всякий, самый скромный научный и художественный деятель может надеяться на такое обеспечение жизни, которое никогда не достается самому трудолюбивому ремесленнику или земледельцу. Смело можно сказать, что в наше время карьера ученого и художника, по тому уважению, которым пользуются эти деятельности, и по тому вознаграждению, которое они обещают, суть самые заманчивые и выгодные. И потому в наше время и в нашем мире огромное количество людей занимается предметами наук и искусств. Существует огромное количество деятельностей, которым людьми, занимающимися ими, при-

писывается значение наук и искусств. Так что область предметов, причисляющихся к наукам и искусствам, чрезвычайно расширена; и все большему и большему количеству занятий, имеющих хоть какое-нибудь подобие наук и искусств, приписывается значение наук и искусств людьми, занимающимися этими предметами.

В каждом образованном семействе большая часть времени воспитывающихся членов обоих полов посвящена изучению литературы, живописи, танцев, музыки, которой особенно посвящается много времени: не говоря о профессиональных музыкантах, проводящих одну треть жизни в упражнении пальцев рук, непрофессиональные дети, по расчету, который легко проверить, средним числом проводят два года из своих пятнадцати лет воспитания за фортепьянами. Большая часть времени воспитывающихся поколений посвящена тому, что называется искусством, и столь же большая часть времени людей взрослых, — почти все их время, за исключением обязательного труда, — проводится за писанием или чтением литературных произведений, за слушанием, или писанием, или игранием музыкальных пьес, за смотрением или писанием картин, за игранием спектаклей или посещением театров. Во всех домах, не переставая, слышатся раскаты гамм или пьес; во всех домах виднеются погнутые наперед картины в золотых рамах и шкафы, полные книг изящной литературы. Во всех театрах идут каждый день представления драм, комедий, опер, балетов. Во всех залах каждый день концерты разных первых (всегда в одно и то же время по два, по три находящихся в каждой столице) виртуозов. Кроме того, по мере появления этих различных предметов искусства, во всех журналах, газетах идут суждения о них, как о предметах первой важности. Есть издания, посвященные каждой из отраслей этих дел, и нет ни одной газеты, которая бы не имела отдела, трактующего об этом. Стихи, повести, картины, выставки, театры, музыка, все это разбирается в нескольких газетах зараз. Каждый день сообщаются публике в сотнях тысяч экземпляров подробные сведения о том, что вышли такие-то новые повести, стихи, — были такие-то спектакли, концерты, и — суждения о них. Если счесть хорошенько, то окажется не сотни и не тысячи, а сотни тысяч людей, искусных мастеров, всю свою жизнь занятых приготовлением всех этих предметов искусства, — всех наборщиков, фортепьянных и других мастеров, всех декораторов, осветителей, строителей зданий для искусства и т. п., не считая необходимых для проведения всего этого полков хористов, скрипачей, стихотворцев.

Искусство считается делом не шуточным, а очень важным всеми людьми, принимающими участие в занятиях им с тем большей охотой, чем больше, с одной стороны, выгоды получает от этого производитель искусства, с другой — чем более пользуется богатый человек его произведением. Но для людей, глядящих со стороны, дело представляется иначе. Людям со стороны представляется странным то, чтобы очень важным считалось то, что человек написал в стихах, как он любит ездить в санях по снегу, или то, что другой нарисовал, как купаются голые женщины, или третий написал семь вариаций на «здравствуй, милая, хорошая», а четвертый выучился ходить на носках и прыгать от земли на два аршина. Все это может быть иногда и некоторым людям приятно, как может быть приятно сделать и съесть хорошее кушанье, сделать и надеть новую обувь или платье и т. п. Но всякому, даже легкомысленному человеку очевидно, что важности в этих делах нет никакой, и что производителей их не стоит окружать особенным

уважением, и для произведения этих предметов не стоит мучать и губить жизни людей и тратить миллионы, как это делается для обучения искусствам. Но мало того, людям, глядящим со стороны, не только видна ничтожность большинства этих дел, но видна по отношению многих из них безнравственность. Людям, глядя со стороны, очевидно, что повести, романы, стихи, вызывающие сочувствие к пороку, — что картины, восхваляющие ложных героев или изображающие обнаженных женщин, — музыка, вызывающая чувственность, — балеты, оперетки и оперы, даже прямо служащие ей, — безнравственны *.

При теперешнем же своем определении и расширении своей области, искусство ни в каком случае не может быть уважаемо, потому что оно вредит людям.

Только для тех людей, которые участвуют в произведении или во внушении предметов того, что под именем искусства наполняет наш мир, может быть незаметно то безнравственное и развращающее влияние, которое имеет на людей, как на переходящих из низших слоев людей в высшие, так и, главное, на молодые поколения, это так называемое искусство. Для людей же, глядящих со стороны, для огромного большинства рабочих людей и для людей, истинно любящих искусство и посвятивших себя ему, это очевидно. Очевидно, что так или иначе надо остановить эту безумную оргию так называемого искусства, зло которого есть смешение сильнейшего орудия просвещения человечества с наживой, потачкой похоти и самой вредной грязью.

То, чтобы не было скверных писаний, картин, пьес музыкальных и театральных, — нельзя сделать. Всегда будут эти проявления слабости и разврата людского. Но можно и должно решить, какие из этих предметов хороши и занятие ими почтенно, и какие — дурны и занятие ими постыдно. Рядом висят две картины: золотые рамы, полотно, пейзажи, фигуры — обе написаны хорошо; одна есть произведение искусства, увеличивающее благо человечества, другая есть произведение обмана, лжи, нарушающей благо человечества.

То же и со всяким родом искусства.

Да, людям, не участвующим в произведении и пользовании тем, что называется искусством, не может не представиться вопрос о том, справедливы ли те два положения, на которых основано то значение, которое приписывается искусству. Во-первых, правда ли, что искусство есть дело важное? а во-вторых, если правда, что оно дело важное, то что именно может и должно называться искусством? И стоит только задать себе эти вопросы, чтобы тотчас же увидать, что если и есть действительно нечто важное в искусстве, то — далеко не все то, что признается искусством в нашем обществе, — что понятие об искусстве в нашем обществе до такой степени расширилось, что захватило и постоянно захватывает в свою область то, что не имеет никакого права называться искусством и пользоваться уважением, свойственным ему, — что перейдена и потому потеряна черта, отделяющая искусство не только от ремесленных произведений, но и от всякой деятельности, доставляющей

* В искусстве есть еще одно особенное свойство, подрывающее его значение и до известной степени отсутствующее в науке. Это свойство есть его очевидная ничтожность или вредность. Простому, неученому человеку не может быть вполне ясно про фагоцитов, что от знания нашего о том, что они есть или их нет, никому не будет никакой разницы. Простому человеку, запуганному страшными неслыханными словами, которые чем пустее дело, тем больше обыкновенно напускают ученые, не всегда ясно, что рассуждения о фагоцитах и их экскрементах — ненужные пустяки; но в деле искусства это бывает совершенно очевидно. Не только очевидна бывает пустяковость произведений искусства, но и вредность их. И эта очевидность пустячности и вредности в соединении с важностью, приписываемой этим предметам, ясно указывает на ложное значение, придаваемое им.

удовольствие, и что поэтому самое понятие об искусстве в нашем обществе утрачено как обществом, так и художниками и критиками *.

Да, потеряна черта, отделяющая то искусство, которое можно и должно уважать и поощрять, как нечто важное, нужное и доброе, от того искусства, которое можно и должно презирать, как нечто праздное и часто безнравственное и вредное. И всякому человеку, занимающемуся, как производитель или потребитель, каким-нибудь делом, могущим быть подведенным под вид искусства, выгодно и желательно признать это дело искусством и заслуживающим уважения, и дело подводится под вид искусства, и нет никаких оснований не признать за этим делом прав на искусство. А как только потеряна черта, потеряно и определение того, что есть искусство, — как только сделано было послабление в пользу чего-либо, не имеющего права на искусство, но признанного таковым, так тотчас же в область искусства ворвалось в приотворенную дверь всякое безобразие нашей жизни...

Я утверждаю, что значение, которое приписывается в наше время и в нашем обществе занятиям, называемым занятиями науками и искусствами, не имеет никакого разумного основания; значение, приписываемое этим занятиям, делает большой вред людям, во-первых, тем, что распложает новый класс дармоедов, считающих, что за те ничтожные, пустые, никому не нужные и не могущие быть нужными занятия они имеют полное право поглощать труды рабочего народа; во-вторых, тем, что это ложное придуманное значение науки и искусства без всякого точного определения того, в чем состоит признак науки и искусства, дает возможность людям под видом занятия науками и искусствами заниматься прямо вредными делами, как, например, так называемыми науками тактики и т. п. или искусством порнографическим и т. п.

* Понятие о том, что такое именно искусство, до такой степени расширено, что под искусство подводится уже все, что хотите. Парикмахер называет себя artiste en cheveux, Ренан серьезно говорит, что туалет женщины это le grand art. Если так, то портной, повар, не говоря уже о столяре и обойщике, с таким же правом должны быть признаны художниками, служащими искусству.

Но этого нет. Черта, которою общественное мнение отделяет искусство от ремесла, иногда захватывает балет, оперетку, но оставляет вне области искусства повара и портного. Почему? Если делать «па» обнаженными ногами есть искусство, то наряжать женщину и делать соуса или духи тоже искусство.

Очевидно, в нашем обществе мы склонны отдалять ту черту, которая отделяет искусство от ремесла, и захватывать в область искусства все то, что доставляет наслаждение.

IV. НЕИЗДАННЫЕ ДНЕВНИКИ

Дневники Толстого занимают особое место в его творчестве. Содержание их гораздо шире того, что обычно понимают под словом «дневник».

Кроме изложения внешних событий жизни, дневники Толстого содержат драгоценный материал для его писательской биографии, творческой истории произведений и эволюции миросозерцания писателя. В дневниках Толстой высказывал свои самые сокровенные мысли, которыми он не делился с окружающими. Мы находим здесь заметки о зарождении и развитии художественных замыслов, отклики на текущие события общественно-политической жизни, мысли по вопросам искусства, философии, педагогики, эстетики и пр.

Дневники Толстого охватывают огромный период его жизни — шестьдесят четыре года, с 1847 по 1910 г. Первая дневниковая запись была сделана Толстым в Казани 17 марта 1847 г., во время пребывания его в клинике. Он ведет дневник до 19 апреля, когда, оставив университет, уезжает к себе в Ясную Поляну. Здесь Толстой возобновляет дневник лишь через два месяца — 14 июня и продолжает его только три дня. Далее идет трехлетний перерыв. Следующая сохранившаяся дневниковая запись была сделана Толстым, также в Ясной Поляне, 14 июня 1850 г. Но и теперь дневник ведется только в течение пяти дней. 19 июня дневник прерывается и возобновляется лишь 8 декабря 1850 г. в Москве.

С переездом Толстого на Кавказ, 30 мая 1851 г., дневник ведется более интенсивно. Впоследствии (в письме к А. А. Толстой от 3 мая 1859 г.) Толстой писал, что на Кавказе он стал «думать так, как только раз в жизни люди имеют силу думать». Толстой ведет дневник, даже находясь в походах против горцев.

После переезда в действующую дунайскую армию Толстой в Бухаресте заводит себе новую тетрадь дневника; однако, после первой записи, сделанной 14 марта 1854 г., дневник возобновляется более чем через три месяца — 23 июня. В дунайской армии, затем в Севастополе и на позиции под Симферополем, несмотря на неприятельские пули и условия походной жизни, дневник продолжается, хотя и с некоторыми перерывами.

21 ноября 1855 г. Толстой, оставив навсегда военную службу, приезжает в Петербург и, поселившись у Тургенева, входит в кружок «Современника». К сожалению, в его дневнике за это время большой перерыв — с 21 ноября 1855 г. до 10 января 1856 г., что объясняется новой обстановкой, в которую он попал после опасностей военной жизни.

Таким образом, мы лишены возможности узнать от самого Толстого о его первых встречах с писателями «Современника».

Первое заграничное путешествие Толстого, продолжавшееся с 9 февраля по 27 июля 1857 г., записано в его дневнике довольно подробно. По возвращении в Россию дневник становится более скудным. Летом 1858 г., увлеченный хозяйством, Толстой не пишет дневника с 23 июня по 3 сентября. Дальнейшие записи, кончая 1862 г., немногочисленны и кратки. Толстой увлечен школьным делом. Во время второго заграничного путешествия (1860—1861) Толстого тяжело потрясла смерть любимого старшего брата, Николая Николаевича, и дневник был прерван на четыре месяца. Мы не имеем ни одной записи Толстого, сделанной в Италии, Англии, Бельгии, вследствие чего очень мало знаем о его встречах и разговорах с Герценом, Прудоном, Лелевелем, декабристом Волконским.

После женитьбы Толстого (1862) его дневник постепенно сходит на-нет. Привыкнув быть в дневнике откровенным, он опасается, что некоторые страницы могут быть неприятны жене, и вскоре прекращает дневник. За 1864 г. имеем только одну запись. 7 марта 1865 г. дневник ненадолго возобновляется; немногие записи этого днев-

ника, печатающиеся ниже, почти не связаны с внутренними переживаниями. Зато они отражают работу Толстого над «Войной и миром».

12 ноября 1865 г. дневник прерывается почти на пятнадцать лет. Возобновляется он в той же тетради лишь 17 апреля 1878 г. Теперь уже переживания и искания составляют его главное содержание. Но и этот дневник прекращается 3 июня.

За 1879 г. имеется лишь краткий дневник, содержащий преимущественно записи, касающиеся яснополянских крестьян. За 1880 г. и первые месяцы 1881 г. дневников не сохранилось, хотя возможно, что они велись. Мы имеем дневник лишь с 17 апреля по 5 октября 1881 г.; здесь в центре внимания стоит семейный разлад на почве расхождения с женой, не сочувствовавшей новым взглядам Толстого. Дневник возобновляется в той же тетради 22 декабря 1882 г.

В следующем (1883) году имеем лишь одну запись; равным образом, в нашем распоряжении нет и дневников за первые два месяца 1884 г., хотя можно почти с уверенностью сказать, что дневники за эти годы велись. Думаем, что эти дневники были уничтожены самим Толстым. Это подтверждает то обстоятельство, что его дневник за 1884 г. сохранился только случайно. Этот дневник, содержащий откровенные записи о семейном разладе, Толстой передал для уничтожения В. Г. Черткову; однако, последний не исполнил воли Толстого.

За 1885—1887 гг. имеется лишь небольшое количество записей, главным образом, мыслей отвлеченного характера. Дневник возобновляется 23 ноября 1888 г. словами: «На-днях была девушка с вопросом...». Это начало также заставляет предполагать, что существовал дневник, непосредственно предшествовавший этому.

С 23 ноября 1888 г. и до последнего месяца жизни Толстого мы имеем его дневники из года в год. За эти двадцать два года записи делались попрежнему нерегулярно. Так, периоду напряженной работы над «Воскресением» (1899) соответствует в дневниках перерыв более чем в четыре месяца.

Дневники второй половины 1910 г. посвящены преимущественно тяжелым семейным переживаниям Толстого. 30 июля этого года он заводит себе особый «дневник для одного себя», который никому не показывает и прячет в голенище сапога. Такой же «тайный» дневник Толстой вел короткое время в 1908 году. Последняя дневниковая запись сделана Толстым в Астапове 3 ноября 1910 г.— за четыре дня до смерти.

К дневникам Толстого примыкают его записные книжки. Содержание их очень разнообразно. Здесь встречаются деловые записи, заметки для памяти, записи к художественным произведениям и статьям, наблюдения над природой и людьми, выписки из книг, черновики писем, отдельных мест произведений и т. д. Сохранилось несколько записных книжек специального характера. Таковы записи картин природы (1879—1880), записи к роману «Декабристы» (1878), конспективные заметки о книге Шильдера «Александр I», которые Толстой делал в 1905 г., во время работы над повестью «Посмертные записки старца Федора Кузмича», и т. д. В записных книжках имеются записи обследования Толстым беднейших квартир в Проточном переулке в Москве во время переписи 1882 г., записи по организации помощи голодающим в 1891—1893 гг.

За последние десятилетия записные книжки Толстого содержали преимущественно записи мыслей отвлеченного характера. У него имелись обыкновенно две записные книжки одновременно: «дневная» и «спальная», или «ночная». Первая находилась у него в кармане блузы, вторая лежала на ночном столике; в нее Толстой заносил свои мысли рано утром, еще не вставая с постели, или ночью, просыпаясь. С «дневной» книжкой Толстой никогда не расставался, часто записывал в нее и на прогулке и даже верхом на лошади. Когда в книжках накоплялось много записей, Толстой переписывал их в дневник, причем из кратких заметок вырастали стройные афоризмы или обширные рассуждения.

В Юбилейном издании сочинений Толстого дневники и записные книжки займут тринадцать томов.

Ниже печатаются дневники и записные книжки Толстого, относящиеся к различным периодам: дневник 1865 г., содержащий записи к «Войне и миру», записная книжка 1879—1880 гг. с картинами яснополянской природы, дневники 1879 г. и памфлет, записанный в дневнике 1909 г.

ДНЕВНИК 1864—1865 гг.

Публикация А. Петровского

В период писания «Войны и мира» — с конца 1863 г. по декабрь 1869 г. — Толстой почти не вел дневников. Тем больший интерес представляют немногие сохранившиеся записи этого периода: это одна запись за 16 сентября 1864 г. и несколько записей с 7 марта по 10 апреля и с 19 сентября по 12 ноября 1865 г. Все они печатаются ниже. Затем дневники надолго прерываются—до конца 80-х годов. За ходом творческой работы Толстого в этот промежуток времени мы можем следить только по сохранившимся черновым рукописям и по переписке.

Рукопись печатаемых ниже дневниковых записей хранится в архиве Толстого во Всесоюзной библиотеке им. В. И. Ленина.

1864 год

16 сентября [*Ясная Поляна*]

Скоро год, как я не писал в эту книгу[1]. И год хороший. Отношения наши с Соней утвердились, упрочились. Мы любим, т. е. дороже друг для друга всех других людей на свете, и мы ясно смотрим друг на друга. Нет тайн и ни за что не совестно. Я начал с тех пор роман, написал листов 10 печ[атных] [2], но теперь нахожусь в периоде поправления и переделывания. — Мучительно. Педагогические интересы ушли далеко. Сын [3] очень мало близок мне. На-днях вспомнил начатый материнский дневник о Соне [4], и надо его дописать для детей.

К роману. 1) Любит мучать того, кого любит — все теребит.
2) Отец с сыном ненавидят друг друга. В глазах неловко [5].
3)

1865 год

1865 года марта 7-го [*Ясная Поляна*]

Здоровье ни то ни се. 3-й день держусь, не спуская и не натягивая слишком воли. Пишу, переделываю. Все ясно, но количество предстоящей работы ужасает. Хорошо определить будущую работу. Тогда, в виду предстоящих сильных вещей, не настаиваешь, и не переделываешь мелочей до бесконечности. Соня б[ыла] больна. Сережа очень болен, кашляет. Я его очень начинаю любить. Совсем новое чувство. Хозяйство хорошо.

9 марта

Оба дня писал, поправлял. Нынче не мог после чая. С Соней мы холодны что-то [6]. Я жду спокойно, что пройдет. Фауст Гете читал. Поэзия мысли и поэзия, имеющая предметом то, что не может выразить никакое другое искусство. А мы * перебиваем, отрывая от действительности живописью, психологией и т. д.

---

* Зачеркнуто: грешим.

11 марта

Был Дьяков [7], день пропал; но я ему б[ыл] рад. Нынче кончил 3-ю главу. Два раза писал [8]. Сережа [9] меня томит своей mauvaise humeur *. С Соней мы опять хорошо. Хозяйство хорошо.

17 марта

Был в Туле. На похоронах у Сережи [10]. Даже для печали человек должен иметь проложенные рельсы, по к[отор]ым итти — вой, панихида и т. д. Вчера увидал в снегу на непродавленном следу человека продавленный след собаки. Зачем у ней точка опоры мала? Чтоб она съела зайцев не всех, а ровно сколько нужно. Это премудрость бога; но это не премудрость, не ум. Это инстинкт божества. Этот инстинкт есть в нас. А ум наш есть способность отклоняться от инстинкта и соображать эти отклонения. С страшной ясностью, силой и наслаждением пришли мне эти мысли. Нынче б[ыл] у Пашковых [11]. Дети больны и Соня тоже [12]. Дня 4 не писал. Нынче писал. Раз рассерди[лся] на немца [13] и долго не мог простить. Читаю Mémoire Ragus'a [14]. Очень мне полезно.

19 марта

Я зачитался историей Наполеона и Александра. Сейчас меня облаком радости и сознания возможности сделать великую вещь охватила мысль написать психологическую историю романа Александра и Наполеона. Вся подлость, вся фраза, все безумие, все противоречие людей их окружавших и их самих. Наполеон как человек путается и готов отречься 18 брюмера перед собранием. De nos jours les peuples sont trop éclairés pour produire quelque chose de grand **. Алек[сандр] Мак[едонский] назыв[ал] себя сыном Юпитера, ему верили [15]. Вся Египетская экспедиция [16] — французское тщеславное злодейство. Ложь всех bulletins *** сознательная. Презбургский мир escamoté [17] ****. На Аркольском мосту упал в лужу, вместо знамя [18]. Пло[хой] ездок [19]. В Итальянской войне увозит картины, статуи. Любит ездить по полю битвы. Трупы и раненые — радость [20]. Брак с Жозефиной — успех в свете [21]. Три раза поправлял реляцию сраженья Риволи [22] — все лгал. Еще человек первое время и сильный своей односторонностью — потом нерешителен — чтоб было! а как? Вы простые люди, а я вижу в небесах мою звезду. — Он не интересен, а толпы, окружающие его и на к[отор]ые он действует. Сначала односторонность и beau jeu ***** в сравнении с Маратами и Бар[р]асами [23], потом ощупью — самонадеянность и счастье и потом сумасшествие — faire entrer dans son lit la fille des Césars [24] ******. Полное сумасшествие, расслабление и ничтожество на Св. Элене. Ложь и величие потому только, что велик объем, а мало стало поприще и стало ничтожество. И позорная смерть!

Александр, умный, милый, чувствительный, ищущий с высоты величия объема, ищущий высоты человеческой. Отрекающийся от престола и дающий одобрение, не мешающий убийству Павла (не может бы[ть]). Планы возрождения Европы. Аустерлиц [25], слезы, раненые. Нарышкина [26] изменяет. Сперанский, освобождение крестьян, Тильзит [27] — одурманение величием. Эрфурт [28]. Промежуток до 12 года не знаю. Величие человека колебания. Победа, торжество, величие, grandeur, пугающие его самого

---

* Дурным настроением.

** В наше время народы слишком просвещены, чтобы можно было создать что-нибудь великое.

*** Реляций.

**** Достигнут обманом.

***** Легкие условия деятельности.

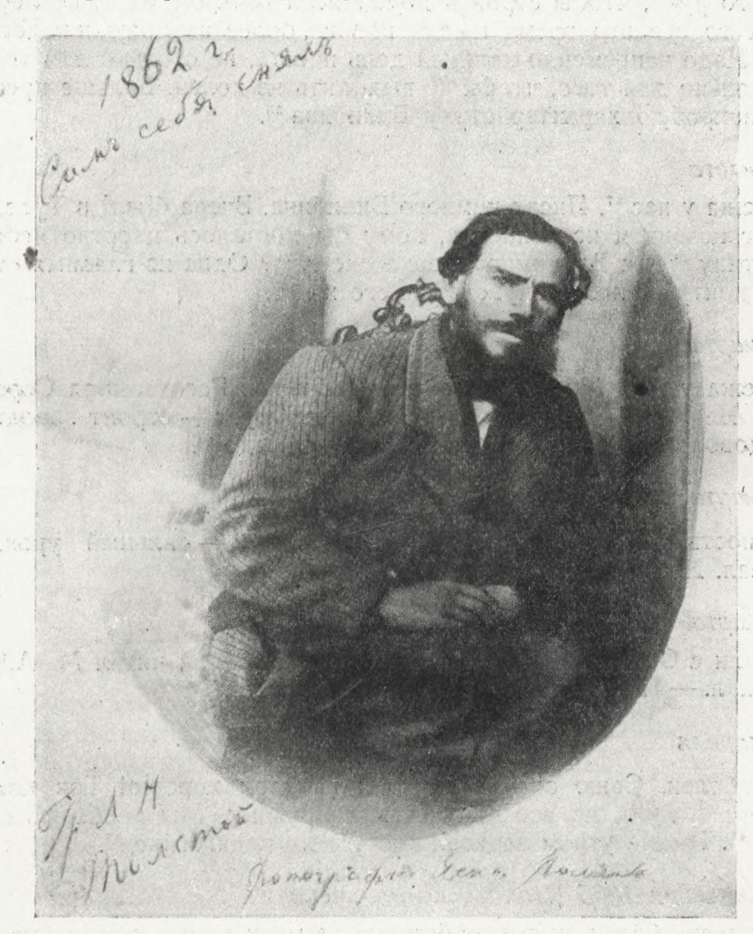
****** Разделить ложе с дочерью цезарей.

и отыскивания величия человека—души. Путаница во внешнем, а в душе ясность. А солдатская косточка — маневры, строгости. Путаница наружная, прояснение в душе. Смерть. Ежели убийство, то лучше всего.

Надо написать свой роман и работать для этого.

20 марта

Погода чудная. Здоров, ездил в Тулу верхом. Крупные мысли! План истории Напо[леона] и Алек[сандра] не ослабел. Поэма, героем к[оторо]й



Л. Н. ТОЛСТОЙ
Фотография 1862 г.
Толстовский музей, Москва

был] бы по праву человек, около к[отор]ого все группируется и герой — это человек. Читал Marmont'a [29], В. А. Перовского плен [30]. Даву — казнить [31]. Критика Маркова — плохо [32]. Дорожит мыслью и сердится. Сам-то ты что сделаешь? А силы, силы страшные! Языков [33] сказал, что объясняю речи — длинно — правда. Короче, короче.

21 марта

Погода чудная. Соня больна. Я досадую, что она слаба в боли. Сережа мучает меня болезнью. Хозяйство скотное веселит и хорошо. Ragus'a все читаю с отметками [34]. Вечером писал сцену моста — плохо [35].

22 [марта]

Мигрень, не писал.

23 марта 1865

Погода чудная. Соня больна. Сережа опять кашляет. Мы говорили, что поняли жизнь животного, когда догадались, что у него жернова зубы, чтоб он ел траву. Собака сказала бы: она поняла человека, догадавшись, что у него руки, чтобы строить дом. Писал вечером мало, но порядочно. Могу. А то все это время мысли нового, более важного, и недовольство старым. Надо непременно каждый день писать, не столько для успеха работы, сколько для того, чтобы не выходить из колеи. Больше пропускать. Завтра попробую характеристику Билибина [36].

24 марта

Сережа у нас [37]. Писал немного Билибина. Вчера б[ыл] в Туле. Если б были бог поэзии и искренности, кому бы досталось царство небесное — Константину [38] или Владимиру Черкасскому [39]? Одна из главных струн писанья — контраст поэзии чувствующего и нет.

25 марта

Сережа у нас. Мне нездоровится — желчь. Рассказывал Сереже Наполеона. Не писал. Читал Ragus'a. Тот же Фауст — строит заводы после битв и доволен. Поэзия старческого труда. Надо [40].

27 марта

Глупость печатанья о Сохранной Казне [41] — сильный урок. Чуть-чуть писал. Не в духе, но держусь. Снегу нет.

28 марта

Ездили с Ос[ипом] Н[аумовичем] [42] на пчельник, читал М. А.[43]. Сережа приехал. — Пишется плохо. Надо выпускать.

10 апреля

Был болен. Соню очень люблю и нам так хорошо! Три дня писал с большим трудом, но все подвигаюсь. Брюнн [44]. Мы решились ехать за границу [45]. Нынче утром записал кое-что по педагогике [46].

19 сентября 1865 [Никольско-Вяземское] [47]

Я не знаю, болен ли я и от болезни не могу думать правильно и работать, или я распустился так, что не могу работать. Ежели бы я мог правильно трудиться, как бы я мог быть счастлив. Целый день был дома, пытался работать — нейдет. Недоволен своей работой. И мрачные мысли не дают покоя. У меня мало — нет надежды. Как будто я не надеюсь на будущее. Предчувствие это или распущенность. Против распущенности употреблю все, что в моей власти. От Борисова получил [48] фетову лошадь. Соня крестила. Чудная, ясная, холодная погода.

20 сентября

Утро не мог писать. Спал дурно, гулял немного. Все то же лихорадочное состоянье. Читал Mérimée, Chronique de Charles IX. Странная его умственная связь с Пушкиным [49]. Очень умен и чуток, а таланта нет. Написал письмо Вл[адимиру] Ф[едоровичу] [50] и тетиньке [51]. Вечером обдумывал и немного переправлял. Под конец даже охотно.

21 сентября [*Черемошня*]

Поехали к Дьяковым[52]. И у Дьякова сложился именинный обед с соседями. А. Сухотин[53] приятен. К. Сухотина[54] плясала с бабами — дикое выразилось в ее взгляде. Я не могу себе объяснить ее иначе, как отсутствием рефлексии.

22 с[*ентября*]

Ездил на охоту. Здоровье все хуже и хуже. Погода сухая, ветреная, холодная. Протравил русака, приехал больной. Все Дьяковы милы.

23 с[*ентября*]

Лежал целый день. Ванна оживила. Читал Consuelo[55]. Что за превратная дичь с фразами науки, философии, искусства и морали. — Пирог с затхлым тестом и на гнилом масле с трюфелями, стерлядями и ананасами.

24 с[*ентября*]

Лучше. Читал свое. Их не занимает. Но мне показалось настолько недурно, что не стоит переделывать[56]. Nicolas надо придать любовь к жизни и страх смерти на мосту[57]. Андрею — воспоминания сражения в Брюнне[58].

25 с[*ентября*]

Праздник. Подносил водку Дьяков. Я читал, ездил на охоту—ничего не видал. Chopin до слез осчастливил меня. Таня[59] страшн[о].

26 с[*ентября. Ясная Поляна*]

Я стал делать гимнастику. Мне очень хорошо, вернулись с Соней домой. Мы так счастливы вдвоем, как верно счастливы 1 из мильона людей.

По случаю ученья милой Маши[60] думал много о своих педагогических началах. Я о б я з а н написать все, что знаю об этом деле[61].

27 с[*ентября*]

Вчера вечером хотелось писать, но только набрасывал. Нынче начал и бросил. Читал глупую Julia Kavanah[62] и ходил. Здоровье хорошо. Ходил с Дорой[63]. Мороз и ветер.

28 [*сентября*]

Ничего не писал. Утин в спине[64]. Ходил с гончими, ничего не видал. Сердился на Павла[65]. Глупая J[ulia] K[avanah] и вся.

29 сент[*ября*]

Здоровье нехорошо — утин. Написал Сереже и Дьяковым[66]. Целый день писал. Сраженье[67] — плохо. Нейдет — не то. Читал Трол[л]опа[68]. Коли бы не diffusnêss. Хорошо.

30 с[*ентября*]

Рано поехал на порошу, приятно, убил зайца. Написал А[ндрею] Е[встафьевичу][69]. Читал Трол[л]опа, хорошо. Есть поэзия романиста: 1) в интересе сочетания событий — Braddon[70], мои казаки будущие[71], 2) в картине нравов, построенных на историческом событии — Одиссея, Илиада, 1805 год[72], 3) в красоте и веселости положений — Пиквик — Отъезжее поле[73] и 4) в характерах людей — Гамлет — мои будущие. Апол[лон] Григ[орьев][74] — распущенность, Чичерин[75] — тупой ум, Сухотин[76] — ограниченность успеха, Ник[олинька][77] лень. И Ст[олыпин?][78], Лан[ской][79], Строг[анов][80] — честность тупоумия.

1 октября

Все делаю гимнастику, записываю дни и не пишу. Ездил на охоту— ничего.— Поэзия труда и успеха нигде и никем не тронута. Читаю Bertrams [81] — славно.

2 октября

Здоровье хорошо. Ездил напрасно на охоту. Писал. Но я отчаиваюсь в себе. Трол[л]оп убивает меня своим мастерством. Утешаюсь, что у него свое, а у меня свое. Знать свое — или, скорее, что не мое, вот главное искусство. Надо мне работать, как пьянист.

3 октября

Вчера и нынче поработал с напряжением, хотя бесплодно, и уже нынче у меня болит печень и мрачно на душе. Это меня отчаивает. Надо ограничивать свою volupté * читанья с мечтами. Эти силы употреблять на писанье, переменяя с физической работой. Опять ездил вокруг своих лесов и ничего. — Кончил Трол[л]опа. Условного слишком много.

4 окт[ября]

Ездил в Каменный и Трубиц[ынский] [82]. Осечка по лисице. Соня беременна. Сережа все понос. Здоровье не совсем. Не писал.

5 окт[ября]

Ездил к Дьяковым. Они хороши. Соня беспокоилась. Здоровье лучше. Писать хочется и мечт[аю].

6 окт[ября]

Встал нездоровый — столетний.—День прекрасный. Дьяков и Таня [83]. Сплетня о Ив[ане] Ив[ановиче] [84]. Объяснение с ним неловкое.

7 окт[ября]

Не поехали. Скучный день.

8 окт[ября, Покровское]

В дороге; Машинька очень мила и дети [85].

9 окт[ября]

У нее. Писал От[ъезжее] П[оле]. Выходит неожиданно.

10 окт[ября]

У нее. На охоте. Лисица. Барона? [86] Тупое, мелкое и добросовестно степенное самолюбие.

11 окт[ября]

Одни. Два зайца. Я не в духе.

12 окт[ября, Ясная Поляна]

Поехали и приехали в Ясную. Приятно, но смутный страх заботы.

13 окт[ября]. В Ясной

Утром натощак. Хозяйственные дрязги расстроили на весь день. Мысль ленивого, скучающего самоотвержения в драме.

---

* Наслаждение.

СТРАНИЦА ИЗ ДНЕВНИКА 1865 г.

Всесоюзная библиотека им. В. И. Ленина, Москва

14 октября

Здоров, но непреодолимо желчен. Немного поправил вечером. С Соней в холоде.

15 октября

Желчь, злился на охотника. Охота скверная. Две главы совсем обдумал. Брыков и Долохов не выходят [87]. Мало работаю. — С Соней вчера — объяснен[ие] ни к чему — она беременна.

16 окт[*ября*]

Убили 2-х беляков. Читал Гизо-Вит — доказательства религии [88] и написал первую статейку по мысли, данной мне Montaigne [89].

17 октября

До обеда на неудачной охоте. Писать не хотелось очень. A se battre les flancs * ни за что не хочу. Дол[охов]. Дол[охов] [90]. Видел на охоте местность и ясно.

18 октября

Хозяйство страшно дурно. Что делать? Ничего не писал. Убил 3-х зайцев.

19 окт[*ября*]

Соня ездила в Тулу. Я подóзрил 3-х. Сердился. Дурно. — Погода теплая, сырая. Чудо.

20 окт[*ября*]

Я истощаю силы охотой. Перечитывал, переправлял. Идет дело. Долох[ова] сцену набросал. С Соней оч[ень] друж[ны].

21 окт[*ября*]

То же, что вчера. К вечеру обдумывал Долох[ова]. Читал Дик[к]енса. Белла [91] — Таня.

29 октября

Был нездоров — желчь. Ужасно действует на жизнь это нездоровье. Все писал, но неохотно и безнадежно. Нынче первый день здоров. Ел очень мало. Неужели это только от объяденья? С нын[ешнего] дня попробую и запишу. Соня 2-й день отнимает [92].

30 октября

Воздержание и гигиена полные — гимнастика. Шума в ухе нет и легко, но отрыжка и дурной язык, особенно утром. Пи[сал?].

31 октября

Та же строгая гигиена, спал хорошо, не мочился, не слабило, язык все не чист и была головная боль. Ходил натощак и сердился. Исленьевы [93] приехали. Не писалось, но немного подвинулся. Погода ужасная — снег, мороз и ветер.

1 ноября

Та же строгая гигиена. Совершенно здоров, как бываю редко. Писал довольно много. Окончательно отделал Билиб[ина] [94] и доволен. Читаю Maistr'a [95]. Мысли о свободной отдаче власти.

---

* Лезть из кожи вон.

2 ноября

Гигиена та же. Ночью тяжесть дыханья и сухость рта и к утру нечистый язык. Днем очень здоров — хорошая selle вечером. Нынче ужинал умеренно. Дописал Билиб[ина]. Исл[еньевы] уехали. С наслажд[ением] перечит[ал] Казак[ов] и Я[сную] П[оляну][96].

3 ноября

Та же гигиена. Ужин произвел приятный сон, газы и слабый шум в ухе, но язык лучше. Весь день хорошо, обдумывал много, писал мало. С Соней что-то враждебно.

4 ноября

Та же строгая диэта, но ездил на охоту и простудился. От этого или от обмываний—язык хуже, шум в ухе.— Зубная боль. Ничего почти не писал.

5 ноября

Зубная боль. Та же диэта. По утрам язык. Писал по-новому—так, чтобы не переделывать. Думаю о комедии [97]. Вообще надо попробовать новое без переделок. Ужинал, кажется, напрасно.

6, 7 ноября

Вчера не записал. Был нездоров и оттого запустился. Болезнь, однако, похожа на простуду. Писал много, все неудачно. Но идет вперед. Чорт их дери, записки [98]. Жить так жить, а умирать стараться не надо.

8, 9 ноября

Слабее диэта вчера. Нынче опять строго. Здоровье, особенно головы, хорошо. Вчера избыток и сила мысли. Написал предшествующее сражению [99] и уясн[ил] все будущее. Нынче взял важное решение не печатать до окончания всего романа [100].

10, 11, 12 [ноября]

Пишу, здоровье хорошо и не наблюдаю. Кончаю 3-ю часть [101]. Многое уясняется хорошо. Убил в ½ часа 2-х зайцев.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Скоро год, как я не писал в эту книгу.— Предшествующая дневниковая запись 1863 г. помечена: «6 октября».

[2] Написал листов 10 печ[атных].— Толстой начал работу над «Войной и миром» осенью 1863 г. 29 ноября 1864 г. он передал в редакцию «Русского Вестника» первые тридцать восемь глав. Они были напечатаны в №№ 1 и 2 «Русского Вестника» за 1865 г. под заглавием «Тысяча восемьсот пятый год».

[3] Толстой Сергей Львович, родившийся 28 июня 1863 г.

[4] Начатый материнский дневник о Соне.— Повидимому, Толстой имеет здесь в виду продолжение записи в дневнике от 5 августа 1863 г., где он подробно описывает рождение своего первого сына.

[5] Любит мучать... В глазах неловко.— Обе записи относятся к характеристике старого князя Болконского для гл. XXV—XXVIII первой части первого тома «Войны и мира». Вторая находит объяснение в первоначальной концепции отношений между отцом и сыном Болконскими. В одном из ранних черновых вариантов читаем: «Сын князя, еще бывши 19 лет от роду, ослушался отца, выйдя из университета и поступив в гусары, и с тех пор князь сказал, что у него нет сына. Никто не смел упоминать про него» (Грузинский А. Е., Новые тексты из «Войны и мира», кн. I, М., изд. «Огонек», 1926, стр. 13). Эта черта не вошла в окончательный текст романа.

[6] С Соней мы холодны что-то.— См. записи в «Дневниках» С. А. Толстой за 6—10 марта 1865 г. (ч. I, М., 1928, стр. 85—87).

[7] Дьяков Дмитрий Алексеевич (1823—1891) — старинный, еще по Казани, приятель старших братьев Толстого, а потом и его самого. Некоторыми чертами своей

дружбы с Дьяковым Толстой воспользовался для характеристики отношений Николеньки Иртенева к Нехлюдову в «Отрочестве».

[8] Нынче кончил 3-ю главу. Два раза писал.— Гл. III второй части первого тома — отход пехотного полка после смотра Кутузовым в Браунау, беседа Кутузова с австрийским генералом и приезд Мака. В черновых рукописях сохранились оба варианта этой главы, о которых упоминает Толстой.

[9] Толстой Сергей Николаевич (1826—1904). Выйдя в 1856 г. в отставку с чином штабс-капитана, он жил в своем имении Пирогово, в 32 верстах от Ясной Поляны, и часто наезжал к брату.

[10] На похоронах у Сережи.— 15 марта у С. Н. Толстого умер его сын Николай (род. в 1863 г.).

[11] Нынче б[ыл] у Пашковых.— Вероятно, Толстой описался и надо читать «Пашковских»: в селе Кочаках, в трех верстах от Ясной Поляны, жил в эти годы священник Пашковский, преподававший в яснополянской школе.

[12] Дети больны и Соня тоже.— У Толстого было в это время двое детей: Сергей и Татьяна (род. 4 октября 1864 г.).

[13] Рассердился на немца.— Относится, вероятно, к немцу-садовнику, служившему в 60-х годах в Ясной Поляне. О нем упоминает С. А. Толстая в своей неопубликованной автобиографии «Моя жизнь», т. II, стр. 76.

[14] Читаю Mémoire Ragus'а.— Огюст-Фредерик-Луи Вьес де Мармон, герцог Рагузский (1774—1852), один из наполеоновских маршалов. В 1814 г. вместе с маршалом Мортье сдал Париж союзникам и своей двусмысленной позицией способствовал полному отречению Наполеона. Девять томов его воспоминаний («Mémoires du maréchal Marmont, duc de Raguse. De 1792 à 1832», Paris, 1856—1857) посвящены возвеличению его военной деятельности и самооправданию в тяготевшем над ним обвинении в измене Наполеону. Толстой много заимствовал из этих воспоминаний, и чтение их, несомненно, повлияло на его концепцию Наполеона. Из отдельных эпизодов, использованных в «Войне и мире», кроме приводимых ниже, упомянем еще эпизод перехода Мюратом и Ланном Таборского моста (т. I, ч. II, гл. XII), целиком перенесенный из «Воспоминаний герцога Рагузского».

[15] De nos jours... ему верили.— Слова Наполеона, сказанные морскому министру Декрэ на следующий день после коронации. Буквально: «Я пришел слишком поздно; люди слишком просвещены в настоящее время: нельзя больше сделать ничего великого». В пояснение этих слов Наполеон приводит дальше пример Александра Македонского, который, завоевав Азию, объявил себя сыном Юпитера, и, «кроме Аристотеля и нескольких афинских педантов, весь Восток ему поверил; а вздумай я теперь объявить себя сыном небесного отца, и нет такой рыночной торговки, которая не освистала бы меня» («Mémoires du duc de Raguse», v. II, p. 242—243).

[16] Египетская экспедиция была предпринята Директорией в 1798—1799 гг., чтобы нанести удар Англии, с которой Франция находилась в войне. Толстой читал о ней в «Воспоминаниях герцога Рагузского» (т. I, стр. 330—447; т. II, стр. 1—87).

[17] Презбургский мир escamoté.— Презбургский мир был заключен 26 декабря 1805 г. между Австрией и Францией, после Аустерлицкого сражения; им закончилась война, веденная Наполеоном против коалиции Австрии, Англии и России и присоединившейся позднее Пруссии. Говоря, что мир этот был достигнут обманным путем, Толстой намекает на то, что он был заключен за спиной России и Пруссии и трактовался, как «сепаратный» мир. Ср. разговоры о нем между Андреем Болконским и Билибиным в гл. X второй части первого тома «Войны и мира».

[18] На Аркольском мосту упал в лужу, вместо знамя.— Арколи — местечко в Веронской провинции, в Италии, под которым 15—17 ноября 1796 г. французы, под командой генерала Бонапарта, одержали победу над австрийцами. Бонапартистская легенда изображает это событие, как результат личного геройского подвига Наполеона, который в решительную минуту, когда его войска дрогнули при переправе через Аркольский мост, выхватил знамя и бросился вперед, увлекая за собой войска. Герцог Рагузский опровергает эту легенду. По его словам, Наполеон действительно схватил знамя, но переправу форсировать не удалось. Наполеон упал в ров и едва не утонул («Mémoires du duc de Raguse», v. I, p. 236—238). В одном из черновых вариантов гл. XIII—XIV второй части второго тома Толстой целиком приводит этот рассказ, влагая его в уста старого князя Болконского; при окончательной обработке он не включил его в текст.

[19] Плохой ездок.— Герцог Рагузский рассказывает, что «Наполеон любил сильные физические упражнения, часто ездил верхом, но был плохой ездок» (т. I, стр. 298). Толстой сохранил эту черту в «Войне и мире» (ср. т. II, ч. I, гл. XXI).

[20] Любит ездить... Трупы и раненые — радость. Ср. описание объезда Наполеоном поля сражения после Аустерлицкой битвы в гл. XIX третьей части первого тома «Войны и мира».

[21] Брак с Жозефиной — успех в свете.— Жозефина-Мария-Роза Таше де ла Пажери (1763—1814), креолка с острова Мартиники, вдова виконта Александра де Богарнэ, в 1796 г. вышла замуж за Наполеона, в то время еще только генерала Бонапарта. Наполеон рассматривал свой брак, как крупный шаг вперед на

пути к достижению признания в великосветском обществе («Mémoires du duc de Raguse», v. I, p. 94).

[22] Три раза поправлял реляцию сраженья Риволи.— Риволи — селенье в Веронской провинции, в Италии, под которым 14—15 января 1797 г. Бонапарт разбил австрийскую армию. Сведение о троекратном исправлении реляции записано Толстым на память, под впечатлением чтения «Воспоминаний герцога Рагузского», но отнесено ошибочно к сражению под Риволи, вместо Маренго.

Герцог Рагузский рассказывает, что первоначальный текст реляции о сражении под Маренго был более или менее верен, но через пять лет Наполеон продиктовал новый, в котором половина фактов была неверной, а через три года он снова отредактировал его, причем в последней редакции не осталось уже ничего верного (т. II, стр. 136).

[23] Баррас Жак-Поль-Франсуа (1755—1829)—деятель Французской революции. Будучи влиятельным членом Директории, он выдвинул молодого Бонапарта, который, однако, после захвата власти 18 брюмера удалил его от дел.

[24] Faire entrer dans son lit la fille des Césars.—Намек на брак Наполеона с Марией-Луизой, дочерью австрийского императора Франца I. Выражение выписано из «Воспоминаний герцога Рагузского» (т. I, стр. 95).

[25] Аустерлиц.— Аустерлицкое сражение описано в гл. XIV—XIX третьей части первого тома «Войны и мира».

[26] Нарышкина Марья Антоновна, урожд. княжна Четвертинская (1779—1854)— жена Д. Л. Нарышкина, любовница Александра I.

[27] Тильзит—город в Восточной Пруссии, где 13 июня 1807 г. произошло свидание между Александром I и Наполеоном, описанное в гл. XIX—XXI первой части второго тома. «Войны и мира».

[28] Эрфурт—город в Пруссии, где с 27 сентября по 14 октября 1808 г. происходило свидание между Александром I, Наполеоном и Фридрихом III Прусским. В «Войне и мире» только вскользь упоминается о нем.

[29] Читал Marmont'a—упомянутые выше «Воспоминания маршала Мармона, герцога Рагузского».

[30] В. А. Перовского плен.— Гр. Василий Алексеевич Перовский (1795 — 1857), сын графа Алексея Кирилловича Разумовского. В 1812 г. участвовал в Бородинском сражении и при отступлении русских войск в Москве был взят в плен и уведен во Францию, где оставался в очень тяжелых условиях до взятия союзниками Парижа в 1814 г. В № 3 «Русского Архива» за 1865 г. были напечатаны его воспоминания «Из записок графа Василия Алексеевича Перовского о 1812 г. Плен у французов». Кроме того, Толстой мог знать о В. А. Перовском от своей тетки, графини А. А. Толстой, близко знакомой с ним. Можно думать, что историей плена Перовского Толстой воспользовался при описании плена Пьера Безухова в «Войне и мире».

[31] Даву — казнить.— Луи-Николя Даву (1770—1824), маршал и доверенное лицо Наполеона. Толстой имеет здесь в виду только что прочитанный им отрывок из записок В. А. Перовского в «Русском Архиве», в котором автор рассказывал о своем взятии в плен и о допросе маршалом Даву. Приняв его за бежавшего из плена русского офицера, Даву, не слушая никаких возражений, приказал его немедленно расстрелять, но потом, убедившись в своей ошибке, отменил приказ. Эпизод этот использован при описании допроса Пьера Безухова (ср. т. IV, ч. I, гл. X «Войны и мира»).

[32] Критика Маркова — плохо.—Толстой имеет в виду статью Е. Л. Маркова «Народные типы в нашей литературе», посвященную разбору «Казаков» («Отечественные Записки», 1865, январь и февраль).

[33] Языков — вероятно, Михаил Александрович Языков (1811—1876), школьный товарищ И. И. Панаева, принимавший некоторое участие в делах «Современника». В 1865 г. он служил в Туле и наезжал в Ясную Поляну. См. о нем заметку Б. Л. Модзалевского в «Временнике Пушкинского Дома», СПБ., 1914, стр. 100—101.

[34] Ragus'a все читаю с отметками.— На полях книги «Воспоминания герцога Рагузского», сохранившейся в яснополянской библиотеке, отметок нет.

[35] Вечером писал сцену моста — плохо.— Сцена переправы через Энский мост в гл. VII второй части первого тома «Войны и мира».

[36] Завтра попробую характеристику Билибина.— См. «Война и мир», т. I, ч. II, гл. X.

[37] Сергей Николаевич Толстой, см. выше, прим. 9-е.

[38] Черкасский Константин Александрович, князь (1819—1853) — знакомый Толстого, один из представителей московской «золотой молодежи». В своем дневнике от 3 февраля 1854 г. Толстой упоминает о его смерти (см. т. XLVI, стр. 233 и 464).

[39] Черкасский Владимир Александрович, князь (1821—1878)—младший брат предыдущего, тульский помещик, общественный и государственный деятель, публицист славянофильского направления, один из главных участников крестьянской реформы 1861 г.

[40] Тот же Фауст... Надо.— Сравнение Наполеона с Фаустом, несмотря на пометку «надо», не нашло отражения в «Войне и мире».

[41] Глупость печатанья о Сохранной Казне.— Сохранная казна — государственное учреждение для выдачи ссуд под залог недвижимых имуществ. В московской Сохранной казне была заложена Ясная Поляна. С платежом процентов по этому залогу сериями у Толстого вышло недоразумение, по поводу которого он напечатал в «Московских Ведомостях» (1865, № 58, от 16 марта) «Письмо к издателям». Письмо это оканчивалось словами: «Всем известно, что в настоящее время не только в нашем околотке, но и во всей России помещики чуть не наполовину находятся под опекой один у другого за неплатеж процентов Сохранной Казне; всем известно, что на продающиеся за неплатеж имения не является покупателей. Вот и при каких обстоятельствах Сохранная Казна не затрудняется возвращать назад бывшую уже у нее на руках уплату долга от очевидно несостоятельного должника».

[42] Ездил с Ос[ипом] Н[аумовичем].— Осип Наумович Зябрев, яснополянский крестьянин, см. о нем ниже, стр. 113.

[43] Читал М. А.— Инициалы не поддаются достоверной расшифровке.

[44] Писал... Брюнн.—Толстой имеет в виду эпизод поездки Андрея Болконского курьером в Брюнн (см. т. I, ч. II, гл. XII).

[45] Мы решились ехать за границу.— Мысль о поездке за границу находится в связи с неудачным романом между Т. А. Берс и С. Н. Толстым. Т. А. очень тяжело переносила неопределенность своего положения, и Толстой надеялся рассеять ее сменой новых впечатлений. Поездка эта не состоялась.

[46] Записал кое-что по педагогике.— Эта запись неизвестна.

[47] После 10 апреля в записях дневника перерыв до 19 сентября. За этот период мы не располагаем никакими сведениями о работе Толстого над «Войной и миром», кроме упоминания в письме к А. А. Фету от 16 мая: «Я все пишу понемножку и доволен своей работой» (Фет А. А., Мои воспоминания, ч. II, М., 1890, стр. 68).

[48] От Борисова получил...— Иван Петрович Борисов (1832—1871), орловский помещик, сосед А. А. Фета, женатый на его сестре, Надежде Афанасьевне Шеншиной (1832—1869). Толстой познакомился с ним в конце 50-х годов у Фета.

[49] Читал Mérimée... связь с Пушкиным.— Из сборника стихотворений Мериме, написанных в стиле славянских народных песен («Cuzla». 1827), Пушкин перевел свои «Песни западных славян». «Chronique de Charles IX» — исторический роман Мериме из эпохи преследований гугенотов во Франции.

[50] Написал письмо Вл[адимиру] Ф[едоровичу] — Владимиру Федоровичу Терлецкому, управляющему Ясной Поляны; письмо это неизвестно.

[51] Ергольская Татьяна Александровна (1792—1874), двоюродная тетка Толстого. Упоминаемое письмо неизвестно.

[52] Поехали к Дьяковым.— Имение Дьяковых Черемошня находилось в 35 верстах от Никольского-Вяземского, где жил в то время Толстой. О Д. А. Дьякове см. прим. 7-е.

[53] А. Сухотин — Александр Михайлович Сухотин (1827—1905), помещик Новосильского уезда, Тульской губернии, мировой посредник первого призыва, товарищ Толстого по севастопольской обороне.

[54] К. Сухотина — Екатерина Федоровна Сухотина (1849—1895), племянница предыдущего. Т. А. Кузминская пишет о ней в своих воспоминаниях: «Это была очень оригинальная, милая и своеобразная девушка, лет 18—19. Она была единственная и очень балованная дочь. Она всегда, почти еще девочкой, ходила в русском костюме и проводила половину своей жизни в деревне. Молодые крестьянские девушки были ее друзьями. Она участвовала в их играх, пела на их свадьбах, плясала с ними русскую...» («Моя жизнь дома и в Ясной Поляне», ч. III, М., 1926, стр. 120).

[55] Читал Consuelo.— Роман Жорж Санд с запутанной и фантастической интригой.

[56] Читал свое... не стоит переделывать.— Т. А. Кузминская, гостившая в это время у Дьяковых, рассказывает, что Толстой прочел «место охоты с дядюшкой», т. е. гл. IV—VII четвертой части второго тома «Войны и мира», но память ей, несомненно, изменила в этом случае, так как эти главы были написаны не ранее ноября—декабря 1866 г., и Толстой читал, вероятно, главы VI—VIII второй части первого тома, о которых упоминает в следующей фразе.

[57] Nicolas надо придать любовь к жизни и страх смерти на мосту.—В сцене переправы через Энский мост (т. I, ч. II, гл. VIII); ср. абзац, начинающийся словами: «Николай Ростов отвернулся и, как будто отыскивая что-то, стал смотреть на дома, на воду Дуная, на небо, на солнце».

[58] Андрею—воспоминания сражения в Брюнне.—Ср. абзац, начинающийся словами: «Он закрыл глаза, но в то же мгновенье в ушах его затрещала канонада...» (т. I, ч. II, гл. X); в Брюнне перед засыпающим Андреем Болконским проносятся эпизоды сражения под Дюренштейном.

[59] Берс Татьяна Андреевна (1846—1925), сестра С. А. Толстой.

[60] Дьякова Мария Дмитриевна, дочь Д. А. Дьякова.

[61] По случаю ученья... что знаю об этом деле.— Ср. выше запись от 10 апреля, а также письмо к А. А. Фету от 16 мая 1865 г. (Фет А. А., Мои воспоминания, ч. II, М., 1890, стр. 68—69).

[62] Kavanah Julia—Кевне Джулия (1824—1877), английская писательница, автор многочисленных, забытых теперь, романов из великосветской жизни. Что именно читал Толстой—неизвестно.

[63] Дора—любимая охотничья собака Толстого, ирландский сеттер.

[64] Утин—местное народное выражение, означающее прострел (lumbago).

[65] Павел, кучер Толстого.

[66] Написал Сереже и Дьяковым.—Письмо к С. Н. Толстому сохранилось и печатается в т. LXI академического издания. Письмо к Дьяковым неизвестно.

[67] Писал. Сраженье—плохо.—Сражение под Шенграбеном (т. I, ч. II, гл. XVII—XXI).

[68] Читал Трол[л]опа.—Энтони Троллоп (1815—1882), английский романист. Как видно из дальнейшего, Толстой читал его роман «The Bertrams» (1859).

[69] Берс Андрей Евстафьевич (1808—1878), отец С. А. Толстой. Письмо к нему от 30 сентября неизвестно.

[70] Braddon—Мари-Елизабет Брэддон (1837—1915), английская романистка, писавшая в стиле приключенческих романов. Толстому могли быть известны следующие ее романы, вышедшие до момента записи: «Trails of the Serpent» (1860); «Lady Lisle» (1861); «Lady Audley's Secret» (1862); «Eleonor's Victory» (1863); «Aurora Floyd» (1863); «Sohn Marchmont's Legacy» (1864); «Henry Denbar» (1864). Т. А. Кузминская рассказывает о чтении Толстым вслух в русском переводе (1870) романа Брэддон «Аврора Флойд»: «Этот роман ему нравился, и он часто прерывал чтение восклицаниями: «Экие мастера писать эти англичане! Все эти мелкие подробности рисуют жизнь!» («Моя жизнь дома и в Ясной Поляне», ч. II, М., 1926, стр. 115). В. Шкловский отмечает даже совпадение некоторых фабульных положений в «Авроре Флойд» и «Войне и мире» («Материал и стиль в романе Льва Толстого «Война и мир», стр. 228—229).

[71] Мои казаки будущие.—Напечатав первую часть «Казаков», Толстой, как мы видим, не оставлял мысли о написании второй части, от которой, однако, сохранились только конспективные наброски.

[72] 1805 год—первоначальное название, под которым были напечатаны в «Русском Вестнике» первые главы «Войны и мира».

[73] Отъезжее поле—замысел большого бытового произведения, над которым Толстой работал, главным образом, в 1856—1857 гг. От него сохранилось только три незначительных отрывка, напечатанных в V. томе академического издания, стр. 214—219.

[74] Апол[лон] Григ[орьев]—Аполлон Александрович Григорьев (1822—1864), критик, поэт и переводчик. Толстой познакомился с ним в мае 1856 г. (см. т. XLVII, стр. 76 и 324).

[75] Чичерин Борис Николаевич (1828—1904) историк права, публицист и общественный деятель. Толстой познакомился с ним зимой 1856/57 г.

[76] Сухотин—вероятно, Сергей Михайлович Сухотин (1818—1886), тульский помещик, женатый на Марие Алексеевне Дьяковой (1839—1889), сестре Д. А. Дьякова. История его развода с женой (1868) дала Толстому некоторый материал для истории отношений супругов Карениных в «Анне Карениной»

[77] Ник[олинька]—граф Николай Николаевич Толстой (1823—1860), старший брат Толстого, служивший вместе с ним на Кавказе.

[78] Ст[олыпин].—Толстой познакомился и сблизился в 1854—1855 гг. в Севастополе с тремя Столыпиными: Аркадием Дмитриевичем, Алексеем Аркадьевичем, приятелем Лермонтова («Монго»), и Дмитрием Аркадьевичем, секундантом Лермонтова, впоследствии писавшим по социально-экономическим и философским вопросам. Толстой имеет в виду, вероятно, последнего.

[79] Лан[ской]—вероятно, граф Александр Сергеевич Ланской (1832—1869), сын министра внутренних дел, графа С. С. Ланского. Толстой познакомился с ним в 1856 г.

[80] Строг[анов]—граф Григорий Александрович Строганов (1824—1879), муж вел. кн. Марии Николаевны, с которым Толстой познакомился в 1856 г. и затем часто встречался во время своего заграничного путешествия в 1857 г.

[81] Bertrams—роман Троллопа, см. выше, прим. 68-е.

[82] Каменный и Трубиц[ынский]—леса в окрестностях Никольского-Вяземского..

[83] Дьяков и Таня.—Толстого беспокоила возможность романа между Д. А. Дьяковым и гостившей у него Т. А. Берс (см. Кузминская Т. А., «Моя жизнь дома и в Ясной Поляне», ч. III, М., 1926, стр. 121—122).

[84] Сплетня о Ив[ане] Ив[ановиче].—Иван Иванович Орлов, бывший учитель яснополянской школы, а затем управляющий в течение 25 лет имением Толстого Никольское-Вяземское.

[85] Машинька очень мила и дети.—Мария Николаевна Толстая (1830—1912), сестра Толстого; разойдясь с мужем, графом Валерианом Петровичем Толстым, она жила в это время с детьми в своем имении Покровское, в 80 верстах от Ясной Поляны.

[86] Барона. — Барон Александр Антонович Дельвиг (1818—1852), брат поэта, друга Пушкина, тульский помещик, сосед по имению Марии Николаевны Толстой, дружившей со всей его семьей.

[87] Брыков и Долохов не выходят. — Сцена из описания Шенграбенского сражения, сохранившаяся только в черновых набросках и не вошедшая в окончательный текст романа (см. в первом полутоме настоящего издания, стр. 299—304).

[88] Читал Гизо-Вит — доказательства религии. — Генриетта Витт (1829—1908), дочь историка Франсуа Гизо, французская писательница. Кроме большого количества книг для детей, она выпустила около этого времени несколько религиозных сочинений: «Petites méditations chrétiennes à l'usage du culte domestique» (1862), «Nouvelles petites méditations chrétiennes» (1864) и др. Какое из них читал Толстой — неизвестно.

[89] Написал первую статейку по мысли, данной мне Montaigne. — Мишель де Монтэнь (1533—1592), французский мыслитель, автор «Опытов», одной из любимых книг Толстого. Размышления о религии встречаются в этом сочинении неоднократно. Отрывок Толстого «О религии» напечатан впервые в т. VII академического издания, стр. 125—127.

[90] Дол[охов]. Дол[охов]. — Образ Долохова не сразу дался Толстому. В черновых рукописях можно проследить колебания между чертами Федора Толстого — Американца, увековеченного Грибоедовым («В Камчатку сослан был, вернулся алеутом»), и партизана А. С. Фигнера. В окончательном образе преобладают черты последнего. Записи от 15—20 октября относятся, повидимому, к черновым наброскам, рисующим Долохова в лагерных сценах перед Шенграбенским сражением (ср. т. I, ч. II, гл. XV).

[91] Читал Дик[к]енса. Белла — Таня. — Белла — героиня романа Диккенса «Наш общий друг». Толстой сравнивает ее с Т. А. Берс.

[92] Соня 2-й день отнимает. — Отнимает от груди дочь Татьяну.

[93] Исленьевы. — Александр Михайлович Исленьев (1794 — 1882), дед С. А. Толстой, приятель отца Толстого, крапивенский помещик. Был арестован по делу декабристов и сидел в Петропавловской крепости с 18 по 25 января 1826 г.

[94] Окончательно отделал Билиб[ина]. — См. примечание 36-ое.

[95] Читаю Maistr'a. — Граф Жозеф де Местр (1751—1821), французский эмигрант, католический писатель. Об использовании сочинений Ж. де Местра в «Войне и мире» см. Эйхенбаум Б., Лев Толстой, кн. II, стр. 308.

[96] Перечитал... Я[сную] П[оляну]. Педагогический журнал «Ясная Поляна», издававшийся Толстым в 1862 г.

[97] Думаю о комедии. — Об этом замысле мы ничего не знаем.

[98] Чорт их дери, записки. — По всей вероятности, это восклицание относится к надоевшим Толстому и недочитанным (т. VI разрезан не до конца) девятитомным «Воспоминаниям герцога Рагузского».

[99] Написал предшествующее сражению. — Гл. XV — XVI второй части первого тома (гл. XVI—XVII в «Русском Вестнике») — объезд Андреем Болконским позиций перед Шенграбенским сражением и лагерные сцены.

[100] Взял важное решение не печатать до окончания всего романа. — 14 ноября 1865 г. Толстой писал графине А. А. Толстой: «Романа моего написана только 3-я часть, к[оторую] я не буду печатать, пока не напишу еще 6 частей, и тогда — лет через пять — издам все отдельным сочинением» («Переписка Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой», СПБ, 1911, стр. 210). Намерение это не было выполнено. Вторая часть первого тома появилась в «Русском Вестнике», 1866, кн. II—IV, а печатание всего романа отдельным изданием Толстой начал в июне 1867 г., когда были закончены только первые два тома.

[101] Кончаю 3-ю часть. — Под «3-й частью» Толстой разумеет здесь вторую часть первого тома, очевидно, считая про себя уже напечатанное в «Русском Вестнике» в 1865 г. в № 1 «первой», а в № 2 — «второй частью», как замечает М. А. Цявловский в своей статье «Как писался и печатался роман «Война и мир» («Толстой и о Толстом», в. III, М., 1927, стр. 145).

ИЗ ДНЕВНИКОВ КОНЦА 70-х ГОДОВ

Публикация К. Шохор-Троцкого

1. ДНЕВНИКОВЫЕ ЗАПИСИ 1879 г.

Великий мастер художественного слова, Л. Н. Толстой проявлял исключительный интерес к народному творчеству. С. Л. Толстой указывает в своих воспоминаниях, что именно в 70-х годах Лев Николаевич больше, чем когда-либо, изучал русский язык и русскую народную литературу [1]. В конце 60-х годов, по свидетельству С. А. Толстой, «он стал читать русские сказки и былины. Навел его на это чтение замысел писать и составлять книги для детского чтения для четырех возрастов, начиная с азбуки. Сказки и былины приводили его в восторг» [2]. Вскоре у Толстого возникает мысль написать роман из крестьянской жизни. Характерно, что он думал и неоднократно говорил о необходимости изобразить образованного человека, вышедшего из крестьянской среды [3].

При составлении азбуки и книг для чтения перед Толстым (как в период педагогических занятий в 1861—1863 гг.) по-новому встал вопрос о языке. Великий мастер слова, создатель эпопеи «Война и мир», точно споткнулся, когда стал писать «Азбуку»,— ее нельзя было писать языком романа. Он поставил себе требование: «чтобы все было красиво, коротко, просто и, главное, ясно», и, по собственному его признанию, «работа над языком была ужасная» [4].

Когда работа Толстого над «Анной Карениной» приближалась к концу, у него возник новый творческий замысел. Толчком к его появлению послужили встречи (летом 1876 г.) с переселенцами и рассказы о широком переселенческом движении. Как он говорил, в задуманном им новом произведении он будет «любить мысль русского народа в смысле силы завладевающей», причем сила эта представлялась ему, как записала С. А. Толстая, «в виде постоянного переселения русских на новые места». В сочинении этом, по ее словам, «главная мысль будет народ и сила народа, проявляющаяся в земледелии исключительно» [5]. Замысел этот привлекал Толстого многие годы (см. Толстой, Полное собрание сочинений, Юбилейное издание, т. LIV, стр. 671—672). Перед писателем встал вопрос об изучении живой народной речи. Толстой считал тогда «свой язык русский далеко не хорошим и не полным» [6], и естественно, что у него постепенно стала созревать потребность обогащения своего лексикона. Это было нужно, разумеется, не только для «Переселенцев», но и для «Декабристов» и для романов из эпохи конца XVII — начала XIX вв., в которых, как это видно из сохранившихся набросков, народ и его жизнь должны были занимать значительное место. Над «Декабристами» и «Петром» он работал и в 1878 и в 1879 гг. Работа над романом «Сто лет» и над «Трудящимися и обремененными» также относится к этим годам. Недаром в феврале 1879 г. Толстой писал Страхову: «Все пухну замыслами» [7].

До этого времени Толстой изучал народный язык преимущественно по печатным источникам. Достаточно вспомнить, что еще в 1862 г. он писал: «Давно уже чтение сборника пословиц Снегирева составляет для меня одно из любимых — не занятий, а наслаждений» [8]. Теперь Толстой решил изучать живую речь непосредственно в народе. Особенно горячо взялся он за выполнение этого решения в 1879 г. К этому году относятся публикуемые ниже дневниковые записи и значительное количество записей народных слов и поговорок, внесенных в записную книжку, о которой имеется специальная заметка В. И. Срезневского [9].

Работе Толстого по изучению подлинного русского языка, во всей его чистоте и самобытности, как нельзя более содействовало местоположение Ясной Поляны. Неподалеку от нее проходит так называемое Киевское шоссе, бывшее в течение десятков лет магистралью, по которой тысячи экипажей, обозов и сотни тысяч пешеходов направлялись с севера России и из ее центра на юг или же, наоборот, с юга к северу. Толстой стал ходить на шоссе («на большую дорогу»), ради соприкосновения с шедшим по нему людом. Эти свои прогулки он позднее полушутя называл, как вспоминает С. Л. Толстой, «выездом в grand monde (в великосветское общество) или прогулкой по Невскому проспекту». С. Л. рассказывает: «В 60-х и 70-х годах по шоссе шло особенно много богомольцев и богомолок — в Киев, Соловки, Троицкую лавру, к Тихону Задонскому, в Оптину пустынь, в Старый Иерусалим и т. д. и обратно. Отец говорил, что немногими из них руководило благочестие, — люди ходили на богомолье по разным причинам: кому плохо жилось дома, кому хотелось повидать божий мир, кто шел потому, что паломничество уважалось и т. д.». Дальше С. Л. Толстой сообщает, что Лев Николаевич любил разговаривать с богомольцами, «идя по пути с ними или присев на край дороги» [10].

Как видно из печатаемых ниже дневниковых записей, Толстой за полтора месяца (март — апрель) 1879 г. встретил на шоссе странников-богомольцев и богомолок, шедших из одиннадцати разных губерний: из Вятской, Владимирской, Вологодской, Новгородской, Рязанской, Костромской, Нижегородской, Тамбовской, Симбирской, Оренбургской и Тульской. Этим отчасти объясняется необычное или же различное написание Толстым одного и того же слова: слушая чей-нибудь рассказ, он подмечал особенности говора собеседника и, записывая, указывал большей частью родину его. Художник обращал внимание и на внешность встреченных людей и на их возраст. Можно думать, что в марте — апреле 1879 г. Толстого особенно заинтересовали рассказ симбирских богомолок о 90-летней «Лукерьюшке» (записи 9 и 11 марта) и беседа со «старинушкой» 94 лет, который вспоминал об Аракчееве.

Кроме богомольцев, странников и случайных прохожих, Толстой встречал на шоссе и рабочих, в одиночку или большими партиями шедших на работу или возвращавшихся домой,— плотников, пильщиков, каменщиков, беседовал иногда с проезжими крестьянами, многие из которых знали его лично.

Из разговоров с встречавшимися людьми Толстой черпал знание быта рабочего народа, в живой непосредственной беседе с ними он умножал свои познания народного языка, различных областных и местных наречий (северного, поволжского, украинского и др.). От них же он узнал много поговорок, пословиц, легенд и других произведений народного творчества.

Материалы и наблюдения, собранные Толстым на его прогулках, включая и «открытия новых слов и оборотов», нашли отражение в художественных произведениях 80-х годов, в первую очередь в так называемых «народных рассказах».

Толстой почти всегда ходил на шоссе один и редко брал с собой кого-нибудь из гостей. Тем интереснее сделанное Н. Н. Страховым описание совершенной им совместно с Толстым прогулки. 23 сентября 1879 г. Страхов писал Н. Я. Данилевскому: «Однажды он [Толстой] повел меня с собой и показал, что он делает между прочим. Он выходит на шоссе (четверть версты от дома) и сейчас же находит на нем богомолок и богомольцев. С ними начинаются разговоры, и... он выслушивает удивительные рассказы. Верстах в двух есть небольшие поселки, и там есть два постоялых двора для богомольцев (содержатся не из выгоды, а для спасения души). Мы зашли в один из них. Человек восемь разного народа, старики, бабы, и делают что кому нужно: кто ужинает, кто богу молится, кто отдыхает. Кто-нибудь непременно говорит, рассказывает, толкует, и послушать очень любопытно. Толстого, кроме религиозности... занимает еще язык. Он стал удивительно чувствовать красоту народного языка и каждый день делает открытия новых слов и оборотов, каждый день все больше бранит наш литературный язык, называя его не русским, а испанским. Все это, я уверен, даст богатые плоды» [11].

Рассказы встреченных на Киевском шоссе странников и богомолок, их лако-

ничные характеристики занимают значительное место в печатающихся ниже записях. Здесь отразились и наблюдения Толстого, касающиеся жизни яснополянских крестьян, и рассказы 88-летнего Осипа Зябрева (мужа его кормилицы). К крестьянскому быту относятся записи, связанные с двукратным посещением волостного суда. Со слов работавших в толстовском лесу бочаров записан трудовой процесс изготовления бочки. Отмечены Толстым и четыре посещения Тулы. В Туле он слушал рассказы старого рабочего оружейного завода Касмаева и некоего Василькова о кулачных боях. Полна интереса запись наблюдений, сделанных в тульском «остроге»: в скупых словах дана целая галлерея арестантов. Любопытно упоминание о встрече в Москве с олонецким «былинщиком» Щеголёнком.

При чтении записей следует иметь в виду, что чужая речь толстовских собеседников часто переплетается с повествовательной речью самого Толстого. Чужие слова и фразы даются Толстым без всяких кавычек. В записях встречается не мало редких народных слов и словообразований, не попавших ни в один из словарей русского языка (в том числе и в словари Академии наук и Даля). Вследствие этого записи Толстого представляют большую ценность не только для исследователей творчества и языка Толстого, но и для всех, кто изучает русский язык. Записи носят «дневниковый» характер не только потому, что они снабжены определенными датами, но и потому, что, наряду с художественными зарисовками, они дают некоторые новые факты для биографии Толстого.

Записи хранятся в архиве В. Г. Черткова, которому были переданы Толстым, вместе с другими рукописями, еще в 80-х годах. Они сделаны в тетради обычного размера, из которой, повидимому, были изъяты, и занимают всего шесть страничек убористого толстовского почерка.

Записи велись с 9 марта по 30 апреля 1879 г. Возможно, что некоторые из них не датированы, а просто приписаны к предыдущей, датированной. Перерыв в записях (между 13 марта и 4 апреля) объясняется отчасти тем, что в середине марта Толстой отлучался из Ясной Поляны в Москву. Текст Толстого дается с соблюдением наиболее существенных особенностей его написания.

Диалектологические примечания к дневниковым записям народной речи составлены В. М. Поповым.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Толстой С. Л., Мой отец в семидесятых годах,— «Красная Новь», 1928, № 9, стр. 192.

[2] Толстая С. А., Мои записи разные для справок. Запись от 14 февраля 1870 г., см. «Дневники С. А. Толстой, 1860—1891», ред. С. Л. Толстого.

[3] Записи С. А. Толстой от 14 и 24 февраля и от 9 декабря 1870 г.,— вышеуказанное издание, стр. 30 и 32.

[4] Письмо к А. А. Толстой от 6—8 (?) апреля 1872 г. («Переписка Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой», СПБ, 1911, стр. 233). Позднее, в феврале — марте 1876 г., Толстой писал про рассказы, вошедшие в «Русские книги для чтения», и про «Азбуку: «...каждый из них [из рассказов] был переделываем по 10 раз и стоил мне бо̀льшего труда, чем какое бы ни было место из всех моих писаний. Еще больше труда мне стоила «Азбука» (см. юбилейный сборник «Лев Николаевич Толстой», М.—Л., 1928, стр. 59—60).

[5] Толстая С. А., Записки о словах, сказанных Л. Н. Толстым во время писанья, записи от 3 марта и 25 октября 1877 г.; «Дневники С. А. Толстой, 1860—1891», стр. 37 и 39.

[6] Там же, запись от 31 января 1881 г., стр. 42.

[7] «Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым», СПБ., 1914, стр. 212.

[8] Статья «Кому у кого учиться писать: крестьянским ребятам у нас или нам у крестьянских ребят», Юбилейное издание сочинений Толстого, т. VIII.

[9] Срезневский В. И., Язык и легенда в записях Л. Н. Толстого,— юбилейный сборник «Сергею Федоровичу Ольденбургу», Л., 1934, стр. 471—476.

[10] «Красная Новь», 1928, № 9, стр. 186.

[11] «Русский Вестник», 1901, кн. I, стр. 138. Слово «испанским» подчеркнуто Страховым.

[ДНЕВНИК 1879 ГОДА]

9 марта 1879

Утром был у Шинтякова[1]. Двор разгорожен, обвис сарай, без конца[2]. У него дочь и две девочки гости. Сын 8 лет обстриже[н] от вшей. Тепло, дымом пахнет. На столе ситник (сам пек) и <жавор[онок]> чувилька[3]. Хлебы еще в печке. На полке горшки. Образа сняты от дыма. Пришла Курносенкова высадить хлебы. (Бедные помогают друг другу, но не богатые)[4]. Вы́шник[5] — окно для дыма. У Ко́стюшки[6]. Убрана изба. Махотки[7] на полке вдоль левой стены. В чулане теленок. Под печкой—яма, картофель. Под ножкой стола топор. Жена прядет конопли на гребне, на прялке. Кудель — рогатина; на ней хлопки для дерюжек[8]. Овец нет. Кафтан один, в дырах. Две девочки — одна кривая на печке. «Хоть бы и эти померли. Всех одень, обуй»[9]. Шурин помогал, как был беднее; разбогател — перестал. Зовет его «Костю́ша».

На большой дороге[10], встретил двух симбирских богомолок. Одна мужняя жена, другая монашка. Собирает кусочки[11]. Идти в Киев ее благословила Лукерьюшка. Лук[ерьюшке] 90 лет. Она с 19 лет хо́дит босиком зиму и лето. <Духов> Грамоты не знает, а писанье[12] так знает по наслышке[13], что лучше духовных все расскажет. Ест в неделю раз просвиру. Спит на полу, камень в головах. В одно окошечко принимает милостыню, в другое отдает. Становой — сердитый был — приехал к ней. «Ты ежовую то шкуру скинь, в ней в царство небесное не войдешь». Другой человек стал, ездит к ней каждую неделю.— Два раза в Киев босая ходила.

11 марта

Был в роще. 4 пилят ламинцовские, 4 делают бочки. Живут вместе, а артель врозь[14]. Бочку делают так: Срезать дерево, вырезать вырезок по мере латков[15], распилить. Латки выстрогать по краям. <Загнуть.> В загнутый обруч с клепушком[16] вставить латки, прижать к клепушку, набить другой[17], <обстр.> по два с каждой стороны, срезать пилой, выстрогать по ребрам. Выскрести изнутри, вытесать топором. (Обруч в замок[18] загнуть, надломить концы). Вымерять циркулем, обвести шесть раз. Вырезать на дно доски, выстрогать им ребра по фуганку. Сложить, выкружить[19], стесать по кругу, где тешется, и выпилить, где поперек. Уторить[20]. Затесать края дна, отпустить обруч, вложить, нашить обруч (потом стучать).

На дороге богомолки 3. Михайловск[ого] уезда. У одной было 11 детей, остался один. Последнего заспала под Троицу. Свекор и муж не ругались, говорят: он сам умер. «Я иду помолиться за грехи. А может отец Иона скажет, что не заспала, а сам умер». Старичок 60 лет, ходил по богомольям, у Почаевской[21] был. Иона в Киев[е] сказал: «Иди домой, пожар горит[22], а тушить некому». Он вернулся, а сыновья кабак сняли. Он пожил 2 недели. Сын поехал за вином. Говорит другом[у:] ты мне кулешику[23] на молоке дай, а сам поезжай встреч[ать] брата. Что-то мое сердце чует. Сын пошел запрегать. Еще не запрег, бежит сноха. «Батюшка помирает». И помер[24].

Вечером прошел по деревне[25]. У Сергея Резунова[26] крик; остановился, прислушался. Сноха сидит, шьет. Отец за столом ругается с сыном. Сын на печи. Об еде что-то. Кашей с маслом тебя кормить. Ты курдюк наел, партки не стянешь. У меня <через> ползут[27]. Сноха смеется. Сын что-то ответил. Старик схватил палку или топор и сделал шаг к печи. Сноха завыла, вскочила: батюшка.

Портные переходят с своими ребятами.

Богомолка одна, говоря про то, что дома или нечего делать, или никогда работы не переделаешь, сказала: Моешь, чистишь, готовишь. Уж и

СТРАНИЦА ИЗ ДНЕВНИКА 1879 г.

Толстовский музей. Москва

рада, когда праздник придет. Не пришел бы праздник, все бы[28] работа нашлась.

Лукерьюшка[29] на Иордани[30] босая у проруби стоит. Всем воду подает. Вы замочитесь, а я босиком, подам, и подает ковшиком. Когда все уйдут, и она пойдет.

13 [марта]

Осип Наумыч[31] приходил три раза. В первый раз рассказ 1) о своем падении. До 60 лет не пил не только вина, чаю, не пил квасу,— попал в начальники, связался с кухаркой Васюткой; тут и жену бивал. Его дочь — моя молочная сестра Городенска[я] чудная[32]. Два раза уходила. Как была, так и пропала. Раз 4 недели. Где была? У троицы[33]. Чем кормилась? Две богомолочки шли, меня кормили. Другой раз ушла 2 месяца. Была в Киеве. Теперь все шепчет: О Господи!—Как кто придет, перекрестит и уйдет. Муж ее много бивал. Теперь зовет ее к себе в Сибирь. Там в подносчиках[34]. 2) Как дрался с снохой[35]. Бог пожаловал мне ее пальцы в рот в зубы (ему 80 лет). А то бы задушила: Одной рукой за причинное место, другой душит. Вышло дело из-за вощин[36]. Он дал ей нести, она хотела утаить. 3) Пулхерия Ивановна[37], рябая, большая, толстая помещица, с старостой в связи. Мужа ее задушили и сожгли. А она добрая была. 4) Как молотят зимой по ночам. Проснешься, уж слышишь по <заря> гумнам зыкают[38] цепы. Выходи. 5) Как сноху сватал. Слюбившись была с владимирцем. Привезли домой приданое. В сундуке одна прялка громыхает. 3 года всхрапывала[39], только уж как дети пошли, обрусела[40].

П р о х о ж и й. Оренбург[ского] уезда. 6-й месяц в дороге, был в Киеве. 35 р[ублей] истрес[41] Последние 5 копеек отдал. Куда? В Ярославль. Оттуда даром возят.

А р х и е р е й в Туле раскольничий[42]. Худой, постный, робкая добрая улыбка, смех, пелеринка, иконостат.

В о л о с т н о й с у д[43]. 1) Драка мальчишек, потом Домна вступилась. Мать мальчика за своего. Платки долой, в волоса. Мужик Абакум[44] рознял, мальчишку сунул[45].

2) Абакум с Гаврилой[46] за солому. Старая вражда. Бас Гаврилы веселый и молодецкий. <Шпиль>

3) Влас[47] 80 лет, горбатый, слепой, плюгавый, рыжий, длинные космы. Хлеба не дает. Плетень стал рубить. «Отцовскую работу рубить грех»[48]. В дележе была. «А ты меня ударил». Грех, батюшка! «Дай мне хлеба четверть[49]. Корми меня». Общее размягчение. Сын согласен. Так-то лучше.

4) Евдокимова дочь с свекровью. Поддевку не сшили. «Я за водой иду». Муж говорит: у меня много жен. Мне жаль. Какой палец ни укуси.

5) Драка возвращаясь со сходки. Бороду вырвали. Не на то ростил. Ты гонялся за всеми по деревни. Он тебе землей глаза засыпал. Оскорбление старика. Ты за копейку в церкви пернешь. Не наноси на меня[50] наносные слова. В о т т я ж к у ш е л[51] за ними. З а н и м и н а т я г и в а л[52].

Журнал Николая из Самары[53]. Драка, по закону Моисееву и Христову.

С т р а н н и к и два[54]. Один солдат вятской[55], был писарем, глаза стали слабы, идет богу молиться; другой тамбовской, молодой, седой, в фуражке из голеватки[56], но в оборванном платье и лаптях; был сын прикащика, сам жил в прикащиках, потом взял в аренду (700 р.)

с товарищем. Не заплати[ли] в срок, барин подал ко взысканью, раззорили, стал пить, упал, хотел руки на себя наложить, пошол богу молиться. Готов в работники.

4 апреля

Козак[57], странник, молодой вдовец, монашеский повисший нос[58], вдовец, жил два года на Вааламе[59], хорошо там, жизнь высокая. Неохотно говорит.

5 апреля

В Туле Касмаев[60]. Старик худой, тонкий, оружейник, глаза крутые закрывает. Рассказ о работе оружейников[61] и их бое. Повытки[62]. Цехи белорудный, приборный[63]. Ратмана[64]. Бургомистр. Батожьем[65] пороли. Голуби чистые. Принесть кошолку и, когда те уже улетѐли, выпускает, и тот виясь догоняет. Кулачный бой. Самого...[66] бил ладонью, в стене[67]. Поединки. Черта, крестятся, целуются. Под зябри[68]. На носки чуть наступить, тогда с ног долой. Степка Радимой, привозили на санях под рогожей, выйдет и пойдет. В шапке не бьют.

<Вечером> Васильков рассказывал, как на Иоанна Крестителя[69] в Алексине на ярманке[70] тульские с рукавицами, шляпами, серпуховские с ситцем, одоевские с грибами. Ну, цыгане! выходи на шляпников. И пошла пальба. Как татарин в Серп[ухове] убил[71], в Одоеве, в Орле убил, а в Туле Степка Радимый его убил. Сначала посмотрел его уловку, приметил и вышел и убил до смерти. Без шуму удары самые жестокие. Искусства много.— Кудрявцев слепой, разжиревший, седой, представительный, грубо иронический, денежный старик. Рассказ в лицах. Забыто[72]. Олонецкой губернии былинщик[73]. Пел былину Иван Грозного[74]. Рассказывал про царя и царицу[75]. Царю! звательный[76]. Рассказ про помещика, провалившегося на льду и молившемуся[77] последнему Миколе,

ДЕРЕВНЯ ЯСНАЯ ПОЛЯНА
Фотография 90-х годов
Толстовский музей, Москва.

а[78] огрухнут, огрухнут[79]. Молится сам[80] часа по два. <100> «3 лѝстовки»[81]. Записана его молитва[82].

Грубость. Оглоблей по брюху за косушку. Калдун, кушак вокруг себя: — бей, швырком[83], камнем или поленом — не попадешь. Пока проскачет версту туда и назад, 20 яиц с скорлупой съест. Съедают сальную свечку.

За голову трес — все позвонки отвертел. Драка, привел в избу, сбил с ног, ногами успетками[84]. Очнулся [—] что́ я сделал. Помиримтесь. Вот Экатеринка[85]. Не взяли. Судья оправдал.

7 апреля

На прогулке — богомолки — две костромски[х], 6 вологодских. Костромская широкорожая девка. Два раза была в Киеве, была в Соловках[86], «Я девка!» указывая на сумку, «и дом и дети[—] все тут».

Старушка вологодская. В островах (лесах)[87] барки рубят. Лес матёрый.

8 апреля

В Туле. В часовне раскольнич[ьей]. Темно золото — все. Подсвечники 4-угольные. Старики с ле́стовками. Поклоны после крестов в одно время. Голоса грубые, звонкие, скрипучие — отзываются Иоан[ном] Грозным.— В остроге[88]. Передача вещей посетителями. В халатах, белолицые,-рукие женщины[89]. Солдаты разбирают холсты — хлеб — яйца. Матери целуют детей. Муж не целует, не приветствует жену.— Одиночны[й] Федоров расчесан, зубы вострые видны, приятная улыбка, ловок, умен. От обществ[90]. Черненький, маленький, востроносый. Солдат бледный, нервный, трясутся скулы, злой ябедник. Красавец. Борода, волосы, неясные глаза. Слабый нравственно. Курощапов мужичок простой, длинноносый, рыженький.— Старик вор, волнистая седая борода — мудрец на вид.— Мальчики онанисты, учатся в остроге. Испорченный, с надвинутым лбом, 16 лет. Женоподобный, круглолицый, за голубей. С острой стриженой головой, ротик оником[91]. За платок. В крови вор. Парашник[92] длинноволос[ый], курчавый, скуластый, веселый.

Свечина рассказ. Про дворового[93]: пора костям со двора под крышу. Душа уже не моя, а богова стала.

17 апреля

Оренбургские два молодые казака. Ехали до Сызрана[94], оттуда пешие по угодникам до Киева; оттуда на Воскресенск, Троицк, Ярославль. Нижегородский читает русский псалтырь, на привале.

Из Суздальского уезда портной, лет 40, седой, честное прямое лицо, идет, на ходу читает акафист печерским чудотворцам. «Рублей 100 станет, обещался[95], один сын был, болел и помер. Время все равно пройдет».

20 апреля

С детьми ходил в Тулу. Старинушка[96] из Старой Рус[с]ы, 94 года, 4-й раз идет в Киев. Был старшиной поселенцем при Ракчееве[97]. Рассказ о Ракчееве. Царь[98] сказал: собаке собачья и смерть. Про казни[99]. Спервака[100] жутко. Так жутко, руки, ноги трясутся, а наглядишься, все равно как не человека мучают. «Известно за напрасно»[101]. Зять все молчит. А дочь бойкая.— Монах молодой, глупое лицо, впалый нос, курчавый, из духовн[ого] звания. Ходил в Оптину[102], ищет где лучше жить. Противу[103] московских обителей далеко, подали капусты с квасом, щи да кашу с маслом и встали разговевшись. У нас 5 перемен. С собой принесешь в обитель и жить хорошо, а то трудно тоже послушание.

21 апреля

Седенькой старичок, щеголек, вертит палочкой. Был садовник. Барин любил, чтоб чисто ходили. Мастеровому можно на себя тайно работать, а нашему брату негде взять. Ну а изхитрил[ся] таки. Насыпал 94 меры яблок. Мужик продал уже все и сробел, не умел ответить прикащику. Сознался. Меня барин позвал, поколотил. В одной роте служил[и]. Бывало проберут. Что Михайла — это титовка [104], смеется. Вернулся, пошел к барину. Не забыл ведь. Что, яблоки хороши? Однако дал 5 руб-

СТРАНИЦА ИЗ ДНЕВНИКА 1879 г.

Толстовский музей, Москва

лей. Жил, кормился в городе Ряз[анской] губернии, дом имел, сгорел, один как перст <хожу>. Пойду потружусь [105]. Где <добрые> и хорошо примут, а где и не говорить бы лучше. Помирушка [106] будешь что ли? Молодуха шепчет калека.

28 [апреля]

Бабы четыре идут, одна рассказыв[ала] житие Марины, называя ее Федорой [107]. О хлыстах в Веневском уезде [108] в Гремячеве [109]. Пещеры. Пляши, играй, распутничай — ничего, а чуть для бога, сейчас и вины нашли.

30 а[преля]

Волостной суд[110]. Никифор[111], радостно улыбаясь, состарились, все ближе, ближе к расчету[112]. Нельзя миновать. Бродягой назвал бродягу. Жалоба в «оскорблении» словом. «Отец умер, ты и вечную не кликнул»[113].

Жидкова[114] прибежала, испуганная, босая, избу не велят на старом месте становить, и нового не указывают.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] У Шинтякова. — Павел Федорович Шентяков, яснополянский крестьянин, когда-то лихой ямщик (возил Александра II), живал у Толстых кучером, работал шорником.

[2] Обвис сарай, без конца—сарай без двух углов, открытый, прогнувшийся.

[3] Чувилька — маленький жаворонок с хвостом кверху, выпеченный из теста. Чувильки пеклись к 9 марта.

[4] Курносенкова... (Бедные помогают друг другу, но не богатые).— Александра Петровна Курносенкова, жена яснополянского крестьянина Якова Петровича Курносенкова. Они были соседями Шентяковых и принадлежали к числу самых бедных и малосильных крестьян.

[5] Вышник — оконце, прорезанное около потолка в бревне, служившее в качестве дымохода. Ударение Толстого.

[6] У Ко́стюшки.— Константин Николаевич Зябрев (1846?—1896), яснополянский крестьянин. У него были прозвища: Константин белый, Константин блаженный, Константин крайний, Костюша-бедняк (встречаются в записях Толстого о нем). Внук Осипа Наумовича (см. ниже, прим. 31-е) и Авдотьи Никифоровны, кормилицы Толстого. Ученик Толстого (в начале 60-х годов). Толстой посвятил ему ряд ярких страниц в оставшихся незаконченными «Записках христианина» (не изданы). В эти «Записки» он включил написанную Зябревым по его просьбе автобиографию («Жизнь деревенского мужика — одинокого Костюши-бедняка»). Об отношении Толстого к Константину Зябреву и характеристику последнего см. в содержательных «Воспоминаниях о Л. Н. Толстом» крестьянина Ясной Поляны А. Т. Зябрева, напечатанных в «Ежемесячном Журнале», 1915, № 8, стр. 79—80.

[7] Махотки — глиняная посуда.

[8] Хлопки для дерюжек.— Хлопки — очески, охлопья, пакля пеньки и льна. Дерюжки — покрышки, одеяла из самого грубого холста.

[9] Кафтан... обуй.— Первый из известных намеков на рассказ «Чем люди живы» (ср. заглавие одной из ранних редакций этого рассказа — «Кафтан, сапоги и сироты»).

[10] На большой дороге (или большаке) — на Киевском шоссе (см. вступительную заметку).

[11] Собирает кусочки — т. е. побирается, просит милостыни «христа ради».

[12] Писанье.— Подразумевается «священное писание»: евангелие, библия.

[13] По наслышке.— В данном случае означает с голоса, т. е. с чужого чтения.

[14] Артель врозь — т. е. расчет получали отдельно от артели.

[15] По мере латков.— Лады, ладки (или латки) — бочарные дощечки, согнутые по длине бочки.

[16] С клепушком. — Клепушок — клепка малого размера.. В бочарном деле дощечки для сбора бочки, делаемой с обручами.

[17] Набить другой. — Набить клепушок — техническое выражение бочара.

[18] Замок.— В данном случае скрепа (архитектурно-плотничий термин).

[19] Выкружить — придать форму, требуемую для бочки.

[20] Уторить — нарезывать уторы (т. е. желобки), в которые вставляются и в которых держатся края дощатого днища бочки.

[21] У Почаевской — в мужском монастыре «Почаевская успенская лавра» (в м. Новый Почаев, Волынской губернии).

[22] Пожар горит — образный оборот. Мотив, развитый в рассказе «Упустишь огонь — не потушишь», дан здесь в предельно краткой лингвистической записи.

[23] Кулешику — уменьшительное от кулеш (областное слово): кашица, жидкая размазня.

[24] И помер.— Сцена смерти старика обнаруживает генетически общий сюжет с литературным развитием сцены в рассказе Толстого «Упустишь огонь—не потушишь».

[25] По деревне — Ясная Поляна.

[26] У Сергея Резунова... Отец... Сын.—Сергей Федорович Резунов, плотник, и его сын Семен Сергеевич (1847 ? — 1917), часто ссорившиеся. Сергей Резунов выведен Толстым в «Дневнике помещика» (см. Толстой, Полное собрание сочинений, Юбилейное издание, т. V, стр. 251—255 и др.) и в наброске «Все говорят: не делись,

не делись» (см т. VII, стр. 106—108). В записной книжке 1879—1880 гг., в списке художественных замыслов, записан и затем зачеркнут сюжет «Сын против отца», навеянный, вероятно, постояными распрями в семье Резуновых.

[27] Ползут.— В данном случае: сползают, сваливаются.

[28] Все бы — всегда бы.

[29] Лукерьюшка.— Повидимому, продолжение записи слышанного 9 марта рассказа симбирской богомолки.

[30] На Иордани — место на льду и прорубь для водоосвящения в праздник «крещенья господня» — 6 января.

[31] Осип Наумыч — Осип Наумович Зябрев (1791—1884), яснополянский крестьянин, бывший крепостной Волконских, а затем Толстых. В 50-х годах служил в имении Толстого бурмистром, а затем и управляющим имением. Будучи на Кавказе, Толстой писал ему письма (они не сохранились). В «Дневнике помещика» (1856) Толстой рассказывает, как позвал к себе «Осипа Наумова, мужа моей кормилицы, бывшего старосту, известного за колдуна, хозяина и пчеловода»; там же он дает его характеристику: «Осипу Наумову лет 60, но на вид не более 40. Он приземист, очень белокур, глаза всегда смеются. Он умен, речист и гордится тем, что знает солнечные часы и планы, что не мешает ему быть вполне народным как в жизни, речах, так и приемах» (см. Толстой, полное собрание сочинений, Юбилейное издание, т. V, стр. 249).

В записной книжке 1879—1880 гг., в списке художественных замыслов, записан сюжет «Осип Наумыч погибает от злости». Имя О. Н. Зябрева неоднократно встречается в дневниках Толстого разных лет и в семейной переписке (см. Кулешов М. П., Л. Н. Толстой по воспоминаниям крестьян, М., 1908, глава «Кормилица Л. Н. Толстого А. Н. Зябрева»).

[32] Моя молочная сестра Городенская чудна́я.— Толстой поддерживал отношения со своей кормилицей А. Н. Зябревой до конца ее жизни (она умерла в 1868 г.), а после смерти неизменно проявлял интерес и заботу к ее дочери Авдотье Осиповне, которая родилась, как и он, в 1828 г. и считалась его молочной сестрой. В записной книжке 1879—1880 гг., в списке художественных замыслов, записан сюжет «Авдотья сестра. Ее невестка».

[33] У троицы — в Троице-Сергиевской лавре, под Москвой (в Дмитровском уезде Московской губернии).

[34] Муж... в Сибирь. Там в подносчиках.— Муж молочной сестры Толстого, Е. С. Данилаев, будучи сослан, работал, очевидно, половым в питейном заведении.

[35] С снохой — с женою младшего (любимого) сына своего, Петра Осиповича.

[36] Из-за вощин — пустые пчелиные соты.

[37] Пулхерия Ивановна — характерное написание Толстого: в подобных случаях он, обычно, писал без мягкого знака, не в соответствии с произношением (например, валдшнеп, а не вальдшнеп). О помещице Пульхерии Ивановне и ее муже сведений не найдено.

[38] Зыкают — издают особый сильный звук при ударе.

[39] Всхрапывала — не покорялась, держалась независимо, протестовала (местное тульское).

[40] Обрусела — помягчала (иносказательно).

[41] Истрес.— В данном случае: издержал, промотал.

[42] Архиерей в Туле раскольничий — тульский старообрядческий архиерей Савватий.

[43] Волостной суд.— Толстой ездил в волостной суд в деревне Ясенки, верстах в шести от Ясной Поляны.

[44] Абакум — Абакум (Аввакум) Власов, ясноплянский крестьянин, старик. Его дети прозывались «Абашкиными».

[45] Сунул. — В данном случае: пихнул (впихнул промеж схватившихся баб).

[46] Абакум с Гаврилой.— Абакум Власов враждовал со своим односельчанином Гаврилой Ильичем Балхиным (1829—1885).

[47] Влас — вероятно, яснополянский крестьянин Влас Кириллович Власов (1802—1881).

[48] Отцовскую... грех.— Возможно, что это слова не отца, а волостного судьи.

[49] Хлеба четверть — восемь мер, примерно, восемь пудов.

[50] Не наноси на меня — не клевещи (тульский диалектизм). Наносное — клевета.

[51] В оттяжку шел — шел поодаль, то нагоняя, то отставая; замедлял ход, намеренно держась на некотором расстоянии.

[52] Натягивал.— В данном случае: поспевал за ними, старался догнать, но еще не догнал.

[53] Журнал Николая из Самары.— Николай Чирьев, крестьянин села Гавриловка, Бузулукского уезда, Самарской губернии. Недалеко от этого села находилось приобретенное в 70-х годах имение Толстых, и Л. Н. Толстой нередко бывал

в Гавриловке. Он интересовался местными сектантами (так называемыми молоканами), с некоторыми из которых поддерживал отношения.

В конце 70-х годов, вероятно, в связи с усилившимся интересом Толстого к народной жизни (к воззрениям, языку и быту крестьян), он поручил нескольким крестьянам написать автобиографии и регулярно вести дневники. Примечательно, что Толстой давал такого рода задания не только яснополянским крестьянам, но и крестьянам других губерний. Так, среди полученных тогда Толстым от многих крестьян рукописей имеются жизнеописание и дневник (1877—1879) крестьянина Новгородской губернии Е. И. Барьченкова и дневник самарского крестьянина Чирьева, названный в комментируемой нами записи «журналом Николая».

Рукопись Николая Чирьева (на 38 листах писчей бумаги) озаглавлена: «Описание работ, произведенных в течение дня Чирьева семейства, и разной пищи тоже каждого дня, и разных интересных слухов в селе Гавриловке». Дневник охватывает некоторые месяцы 1878, 1879 и 1880 гг. и содержит много сведений о крестьянских нуждах и ряд обращений к Толстому (в форме письма). Заказан он был Чирьеву летом 1878 г., когда Толстой приезжал в самарское имение; в Ясную Поляну пересылался по частям. В марте 1879 г. Толстой получил «журнал» Чирьева за период с 1 января по 10 марта 1879 г.

Детальное изучение дневников Чирьева и других крестьян позволит более точно установить цель Толстого при заказе им этих крестьянских литературных работ, а также степень использования их писателем. Толстой, повидимому, дорожил этими рукописями, так как берег их и держал в книжном шкафу в своем московском кабинете (в котором он работал зимами вплоть до весны 1901 г.). В настоящее время хранятся в Толстовском музее.

[54] Странники два.— Ср. рассказ Толстого «Два старика», написанный в 1885 г.

[55] Вятской.— Написание соответствует произношению, которое было привычно Толстому (тульский диалектизм).

[56] Из голеватки — из шелковой ткани (голи), хоть и дешевой, но имевшей нарядный вид.

[57] Козак.— Это написание (вместо обычного — казак) показывает большую осторожность, с которой Толстой обычно прислушивался к диалектическим особенностям речи.

[58] Повисший нос — повидимому, нос пьяницы.

[59] На Вааламе — в Валаамском мужском монастыре (на острове Валамо, в северной части Ладожского озера).

[60] Касмаев — повидимому, рабочий Тульского оружейного завода. Его рассказы о работе оружейников и о кулачных боях были нужны Толстому, вероятно, в связи с работой над романом из эпохи Петра, как известно, оставшимся незаконченным.

[61] О работе оружейников — т. е. рабочих старинного Тульского оружейного завода.

[62] Повытки — именительный падеж множественного числа от слова повыток, которое употреблялось в разных смыслах: доля, пай, тягло, подати, откуп. В данном случае, вероятно, употреблено в смысле пая, доли.

[63] Белорудный, приборный — цехи Тульского оружейного завода.

[64] Ратмана — именительный падеж множественного числа. Ратман — член управы, управления (в данном случае оружейного завода).

[65] Батожьем — батогами (батог — хлыст, кнут). Местное тульское слово.

[66] Самого...— Так в подлиннике. Повидимому, Толстой, записывая, не мог вспомнить названного ему имени или фамилии.

[67] В стене.— В кулачном бою — каждая половина бойцов. Бойцы стеной шли на другую стену.

[68] Под зябри — под нижнюю челюсть.

[69] На Иоанна Крестителя в Алексине.— В праздник усекновения главы Иоанна Предтечи, 29 августа, в Алексине (уездный город Тульской губернии) ежегодно устраивалась ярмарка.

[70] На ярманке.— Это написание Толстого отражает в данном случае фонетическую сторону речи.

[71] Убил.— Здесь: в смысле сильно ушибить. Дальше Толстым отмечено (как бы подчеркнуто): «убил до смерти».

[72] Забыто.— Это слово, как нам кажется, означает, что дальнейшее записано Толстым не тотчас по услышании, а по памяти, спустя некоторое время.

[73] Олонецкой губернии былинщик — Василий Петрович Щеголёнок (род. 1805, ум. после 1886?), крестьянин Олонецкой губернии. Известный сказитель былин, от которого Гильфердинг, Рыбников и другие собиратели русского фольклора записали около 3 000 стихов былевого эпоса. О нем см. «Былины. Исторические песни», ред. М. Н. Сперанского, изд. Сабашниковых (серия «Памятники мировой литературы»), М., 1919, т. II, стр. XXXIX—XLI, или «Русский биографический словарь», т. Ш—Ю, СПБ., 1912, стр. 26—27.

ДОМ ТОЛСТОГО В ЯСНОЙ ПОЛЯНЕ
Картина В. П. Батурина
Толстовский музей, Москва

Толстой познакомился с Щеголёнком, вероятно, в марте 1879 г. в Москве. Здесь он и слышал, повидимому, упоминаемые им дальше «былину» и рассказы олонецкого «былинщика». В том же году Щеголёнок, очень заинтересовавший Толстого, приехал по его приглашению в Ясную Поляну и прогостил в ней месяц или полтора.

Толстой узнал от него множество народных сказаний, из которых более двадцати тогда же записал, а сюжеты некоторых если и не записал, то запомнил на всю жизнь (записи печатаются в т. XLVIII Юбилейного издания сочинений Толстого). Шесть написанных Толстым произведений имеют источником легенды и рассказы Щеголёнка (1881 — «Чем люди живы», 1885 — «Два старика» и «Три старца», 1905 — «Корней Васильев» и «Молитва», 1907 — «Старик в церкви»). Кроме ряда легенд и притч, Толстой записал от него же много поговорок, пословиц, отдельных выражений и слов.

74 Пел былину Иван Грозного.— От В. П. Щеголёнка Гильфердингом записана былина «Иван Грозный и сын». Очень вероятно, что именно эту былевую песню Щеголёнок пел и при Толстом. Былина «Про царя Ивана», исполнявшаяся им, особенно понравилась и В. В. Стасову (см. «Лев Толстой и В. В. Стасов. Переписка», Л., 1929, стр. 43—44).

75 Рассказывал про царя и царицу.— Щеголёнок, вероятно, сказывал при Толстом одну из былин (или исторических песен) об Иване Грозном и его жене (быть может, о женитьбе Грозного на Марье Темрюковне или же о смерти царицы Анастасии Романовны).

76 Царю! звательный.— Толстой, отмечая здесь звательный падеж, обращает внимание на случай редкого архаизма.

77 Несогласованность падежей в подлиннике. Рассказ, о котором здесь упоминается, неизвестен.

78 *а* — значение этой буквы, подчеркнутой и обведенной Толстым чертою, неясно.

79 Огрухнут — отяжелеют.

80 Сам — вероятно, рассказывавший Толстому «былинщик» В. П. Щеголёнок.

81 3 ли́стовки.— Вероятно, было рассказано, что во время молитвы три раза он перебирал свои ли́стовки (или ле́стовки), т. е. кожаные старообрядческие чётки.

82 Записана его молитва.— Нам не удалось найти этой записи в бумагах Толстого.

[83] Швырком — тонким поленом, поленцем (именительный падеж — швырок). Местное слово швырок встречается именно в этом смысле в рассказах Толстого. Однако, в данном случае слово швырком может быть употреблено в более распространенном смысле, а именно: броском.

[84] Успетками — ударами пяткой, каблуком.

[85] Экатеринка.— Написание, вероятно, отражает произношение. «Екатеринкой» называли сторублевый кредитный билет.

[86] В Киеве, в Соловках.— Подразумевается: в Киево-Печерской лавре и в Соловецком монастыре.

[87] В островах (лесах)— густой, нетронутый строевой лес.

[88] В остроге — в тульской губернской тюрьме. Толстой неоднократно бывал в ней и впоследствии.

[89] Белолицые, - рукие женщины.— Подразумевается: белорукие.

[90] От обществ.— В то время по особому приговору сельского общества высылали иногда в Сибирь. Возможно, что и среди арестантов, которых видел и наблюдал Толстой, были такие высылаемые.

[91] Оником — т. е. похож формою на букву «о». Оник — уменьшительное от «он» — названия этой буквы русской азбуки.

[92] Парашник — уборщик параш в тюремных камерах.

[93] Свечина рассказ. Про дворового. — Федор Александрович Свечин (1844 — 1894), тульский помещик, знакомый Толстого. По воспоминаниям, отличный рассказчик. В 1879 г. напечатал рассказ из жизни вольноотпущенного дворового человека «Финоген Семенович. Быль» («Русская Речь», № 7). Как видно из комментируемой записи, Свечин еще раньше познакомил Толстого с содержанием своего рассказа. В конце этого рассказа приведены слова угасающего старика: «— На охоту?! — переспросил он снисходительно, ласково улыбаясь. — Нет, батюшка, времячко наше ушло... да быльем поросло; был конь, да уездился... и костям пора со двора... под крышу... да и душа то... чужая уж... не своя... господняя стала... об ней, грешной, надо подумать...».

[94] До Сызрана — до города Сызрани, Симбирской губернии. Толстой в то время по-старинному говорил (и писал): не Сызрань, а Сызран.

[95] Обещался — дал обет.

[96] Старинушка — эпика. Толстому, вероятно, понравилось это слово, когда он слушал старика-«былинщика». Впоследствии Толстой приводил, как «чудные», народные стихи: «Зачал старинушка покряхтывать...» (см. дневник от 23 января 1902 г.,— Толстой, Полное собрание сочинений, Юбилейное издание, т. LIV, стр. 119, 486).

[97] При Ракчееве — при Аракчееве. Толстой дает здесь произношение «старинушки».

[98] Царь — Николай I, ненавидевший Аракчеева.

[99] Про казни. — Вероятно, про наказание шпицрутенами, прогнание сквозь строй.

[100] Спервака — сначала. В данном случае: в первое время.

[101] Занапрасно — зря.

[102] В Оптину — в мужской монастырь «Введенская Оптина пустынь», близ города Козельска, Калужской губернии.

[103] Противу — диалектизм.

[104] Титовка — сорт яблок.

[105] Пойду потружусь.— Подразумевается: пойду на богомолье, потружусь, идучи богу молиться.

[106] Помирушка — нищая, ходящая по миру.

[107] Рассказывала житие Марины, называя ее Федорой. — Странница, вероятно, рассказывала Толстому житие православной святой Марины (она же Маргарита Антиохийская). Повидимому, рассказчица по ошибке называла ее другим именем, что Толстой заметил, так как он хорошо знал жития святых.

[108] О хлыстах в Веневском уезде Тульской губернии.— Хлысты — религиозная секта. В дальнейшей фразе («вины нашли») — намек на преследования сектантов со стороны церковной и светской властей.

[109] В Гремячеве.— Большое селение Гремячево (в старину город Гремячев), объединявшее ряд слобод.

[110] Волостной суд. — См. прим. 43-е.

[111] Никифор — вероятно, Никифор Резунов, яснополянский крестьянин, позднее ослепший. Был соседом Курносенковых.

[112] К расчету — к концу жизни.

[113] Вечную не кликнул — т. е. не устроил церковных проводов, не заказал отпеть «вечную память».

[114] Жидкова — вероятно, яснополянская крестьянка-вдова.

2. «МАЛЕНЬКИЕ ЗАПИСКИ 70-х ГОДОВ — КАРТИНЫ ПРИРОДЫ»

Весной 1879 г. Толстой завел отдельную книжечку для зарисовывания «картин природы». Другой подобной записной книжки Толстого мы не знаем. Продолжением ее является цикл аналогичных записей, внесенных в записную книжку в июне — сентябре 1880 г. (всего двадцать четыре записи). Случайные заметки о природе лишь изредка встречаются, вперемежку с другими записями, в различных записных книжках и дневниках Толстого.

Публикуемая записная книжка[1] была начата Толстым 12 апреля 1879 г. и интенсивно заполнялась до конца сентября. В дальнейшем он внес в нее две записи в октябре, две — в ноябре, одну — в декабре того же года, и, наконец, две записи сделал в 1880 г.— 5 января и 7 июня. Некоторые из интервалов между записями 1879 г. вызваны отлучками из Ясной Поляны (поездка к Фету и в Киев, поездка в Москву осенью).

Сергей Львович Толстой рассказывает в своих воспоминаниях: «Он [Толстой], как очень немногие, любил и чувствовал красоту лесов, полей, лугов, неба. Он, бывало, говорил:— Как у бога добра много! Природа бесконечно разнообразна; каждый день отличается от предыдущего, каждый год бывает неожиданная погода.

У него было зрение пейзажиста, хотя он считал, что пейзаж — низший род искусства. Например, он как-то сказал:— Как красива желтая рожь на фоне темного дубового леса; вот мотив для пейзажиста!

Иногда он говорил про цвет неба и облаков: — Какое освещение! Если бы художник написал такую картину, ему не поверили бы, сказали бы, что он эту окраску выдумал.

Придя с прогулки, он иногда приносил какой-нибудь редкий для наших мест цветок, какой-нибудь особенно большой колос, весной — красненький цветок орешника, осенью — необыкновенно окрашенный лист, причудливые серьги бересклета; сам любуется этим и показывает нам»[2].

Эта любовь к природе ярко отразилась в публикуемой ниже записной книжке. Толстой поставил себе целью записывать наблюдения над природой на протяжении почти круглого года. Вследствие этого он точно датировал дни и даже часы своих наблюдений (что делал очень редко). Почти все записи сделаны в Ясной Поляне и, следовательно, за малым исключением, дают картины природы Тульского края. Только наблюдения пяти дней (19—23 июля) относятся к Новгородской губернии, куда Толстой не надолго ездил к своей теще, Л. А. Берс. Однако, записная книжка, о которой идет речь, вероятно, не бралась с собой в поездки. Новгородские наблюдения записаны Толстым, повидимому, 25 июля, уже по возвращении домой. Короткое же пребывание его в середине июня в курском имении Фета и в Киеве вовсе не отразилось в книжечке.

Записная книжка представляет большой интерес, как сокровищница художественных перлов. Толстой день за днем наблюдал природу—весной, летом, осенью, затем — немного — зимой. В своих записях он проявляет исключительную зоркость, разнообразие и тонкость наблюдений. В поразительных по простоте и свежести словах каждой записи виден гений. Немногими, иногда одним-двумя, словами им создаются одна за другой замечательные по живописи картины. Поражают при этом обычно не присущий Толстому лаконизм, чрезвычайно компактный стиль. Наряду с этим, видна характерная толстовская небрежность, которая также пленяет нас прекрасным своеволием великого мастера.

Сам Лев Николаевич, повидимому, особенно дорожил помещаемыми ниже записями. Об этом свидетельствует тот редкий факт, что, много лет спустя, перечитав именно эту записную книжку, он сам похвалил их. 27 марта 1891 г. Толстой записал в своем дневнике: «Теперь скоро 3 часа. Я все читал свои маленькие записки 70-х годов — картины природы. Очень хорошо».

Эта впервые печатающаяся запись Толстого[3] позволила озаглавить нашу публикацию словами самого писателя.

Вопрос об использовании Толстым записей 1879 г. при работе над позднейшими его художественными произведениями может стать предметом специального исследо-

вания. Особого внимания заслуживает язык этих записей. Толстой пользуется такими словами родного языка, которые почти не встречаются в его сочинениях (например, «голубинка», «соловушко» и др.).

При воспроизведении записей сохраняются главные особенности написания Толстого. В некоторых случаях в написании того или иного слова он отражает привычное его слуху и усвоенное им самим старинное произношение (например, «сватьба», «скрыпят»). Бывает, что одно и то же слово он пишет по-разному.

Редакторские даты, издаваемые в прямых скобках, указывают день фактического написания Толстым его наблюдений (в случаях, когда он записывает за прошедшие дни).

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Хранится в рукописном отделении Всесоюзной библиотеки им. В. И. Ленина.

[2] Толстой С. Л., Мой отец в семидесятых годах (из воспоминаний),— «Красная Новь», 1928, № 9, стр. 189.

[3] Подлинник дневника, в котором находится приведенная запись от 27 марта 1891 г., хранится во Всесоюзной библиотеке им. В. И. Ленина.

[ЗАПИСНАЯ КНИЖКА 1879—1880 гг.]

12 апреля

Соловьи. Лягушки, головастики гудят. <В> Трава в лесу на 2 вершка, цветы <одуваньчик> медунички и желтые сплошные. Дождь с перемежкой целый день. Места[ми] тепло, местами холодно как летом.

За несколько дней кукушка перелетает, торопливо махая крыльями.— И щекочет.

20 апреля

Не распустились, [не] цветут, но высоко поднялись: свергибусы[1], полынки матовые[2], звезды одуванчика. Осенняя пахота заросла. На бугре полосы паханные и нет. Ходят рассевают. Оскраживает[3] посеян[н]ое— черная полоса, выворочены из земли желтобелые корни.— Трава ярко зелена, вода как стекло, подложенное синей бумагой.— Поле все черно, вспахано, между ним лощина ярко зеленая с болотцем — кормится лошадь. Вечером в лощинах пахнет сеном от вялой травы.

21 апреля

Холодно, пасмурно. Лягушки кричат, соловьи. Баранчики[4] показываются. Черемуха, смородина, береза — лист.

22 апреля

Холодно, ветрено. Трава поднимается. <Рожь> Земля усыхает. Рожь редеет. Лошади кормятся.

[26 апреля] 23, 24, 25, 26

Холодно, дожди.

27 ап[реля]

После дождей, вечер. Яркое низкое солнце. Дороги, пашни отливают лиловым — красное с синим. Высокие цветы заготовились подняться — ждут тепла распуститься.

28 ап[реля]

Без облачка небо. Трава с желтизной. <Ржи стали> Рожь-матушка стала отличаться — где вымочки[5], где нет.— Свергибус готов. Мужики в обед спят в борозде — прямо перепелка[6]. Хохолки на орешнике, <осине>.

1 мая

В лесу трава на четверть, дожди теплые и грозы. Глухая крапива зацвела. Кашка. На ясене красноватый лист.

Вечер — чисто вспаханный и выскороженный [7] огород, между яблонями.

2 мая

По липам как забрызгано — почка.

ЯСНАЯ ПОЛЯНА. ДОРОГА ОТ ВОРОТ К ДОМУ («ПРИШПЕКТ»)

Фотография

Толстовский музей, Москва

4 мая

Ветла цветет желто, как круто сваренный желток.— По парам желтая трава? сурепка * сплошь. В лесах горошек, по лугам анют[ины] гл[азки] и незабудки. Крапива поднялась — рукой зацепи[шь].

6 мая

Горленки. Липа распускается. Дуб обсыпан. Овсы взошли. — Как яйца вышли из краски — чья лучше.

---

* Вопросительный знак Толстого. Слово «сурепка» приписано позднее над словом «трава».

7 мая

Лошадь каряя, накалилась на солнце, ребра лоснятся*.

Корова в мягкую пушистую зеленую траву мягко раздувая ноздри окунает и щиплет.

[10 мая] 5, 6, 7, <8> мая

Ветер холодный.

8 [мая]

Душный после обеда, вечер опять свежий.

9 [мая]

Тепло, ясно, ветер. Твердеет зелень.

10 [мая]

Рано утром, 4 часа, на тусклом от росы лугу блестит темнея щавельник. В 7-м часу, на косом солнце. Капли на макушках трав блестят. А. Бабы [8]. Бисеру-то что на поднизки [9]. — Бери.

Рано встал — спать хочется. <ветер> Ясно, солнечно, ветер гонит солому, лошади худые, закалянившая порванная сбруя. Присохшая грязь на колесах.

10 мая, вечер

8 ч[асов]. В тени на зелени на лазоревых незабудках гуще лазорь.

11 мая

Распустились желтые цветы капусткой. Разлив незабудок. Чернопротоптана дорожка в глуши, как снегом, усыпана черемух[овым] листом.

[18 мая] 16, 17, 18 мая

Свежие ясные дни.

Утро, 7 часов. Из окна. Одна сторона сада в тени росе <чер> темная — насупротив светлая, роса сохнет, блестит. — Тут хорошо, там жарко будет.

Ночь, 11 часов. Месяц <в> перва[я] четверть. Темно. Звезды, просветы сквозь деревья. Соловьи и свистуны июньск[ие].

Выпалывают в лугах щавельник.
Рябина душистая цветет мелким цветом.
Сирень завострилась вверх цветами.

18 мая

Стала рожь седеть, колыхаться. Выколосилась.

19 мая

После жаркого дня, ясный вечер. Роса выступает на зелени в тени. Зелень яхонт лазоревая. Крапива сплошным откосом под застреху. Лопухи перенимают стежку. Фурчат, как шевельнешь. Сочная женщина тяжело несет подоемши сочное пенистое молоко.

21 мая

Пасмурной, паря [?]. К вечеру дождь, ливень. Потоки. Осклизаются босые ноги по грязи. С лопухов течет. На ране [10] после дождя по лугам, по лесам ровно голубинкой наведено.

[23 мая] 22, 23

Грозы по две днем. Ударило в двух местах. Стручки на акац[ии]. Мухи показались и липнут.

---

* Дальше зачеркнуты записи другого характера: <Белевск[ого] уезда, села Лучек. Тимофей Алексеев, женится на вдове (она в 3-м браке).>

24 м[ая]

Зашел дождик дробненьк[ий]. Еще не миновал, соловушк[о] уж высвистывает.

К крыше чердачек. После дождя одна сторона суха.

Иван да Марья сплошь покры[вает].

Грудной чай расцвел.

26 м[ая]

Одуванчики осыпались, жирные красные стебли. — Рожь побурела: усики вверху колоса пожелтели. Овес завострился.

ЯСНАЯ ПОЛЯНА. ПЕЙЗАЖ

Фотография

Толстовский музей, Москва

27 мая

Колосья ржи поднялись, вытянулись неровно. <Мелкие> незабудки зацвели мелко и сурепка зацвела. Волнуется крупным[и] волна[ми] рожь. Васильки.

[30 мая] 29, 30

Утренние морозы. Пары запаханы кое-где. Возят навоз, гречиха чуть выходит. Конопли скрыли землю. В овсах ворона спрячется. Полют овсы и рожь.

4 часа утра. Обозначилось место солнца. Еду лощиной, на западе вдруг пашня зарумянилась и посветлела. Выехал[о] солнце на круг над землей.

1 июня, вечер

Был холодный день. Дождь, гроза. Затихло, тучк[и] на небе, рожь буреет, щетки [11]. Овсы [—] желтизна, вершки в хлебах. Тмин.

[4 июня] 2, 3, 4 июня

Луга засерелись, ровно бисером унизаны пухом.

<Холода> ветер, сиверко [12].

4 [июня]

Ясно, ветер. Воздух колыбается. На солнце шины, палицы [13], как лучи, горят. <Ржи> По ржам, как копоть, чернизина [14]. В овсах желтизна. Кашка красней малины. Дворовый расковырен[ный] навозный дух. На коров зык [15]. Рожь зацветает.

5 июня

Шиповника кусты раскочные [16], распыхались цветом. Иван да Мар[ья] желтеет.

Полдень, не парит, жарит, на зуку [17] ни ветру.

<Под> Трепет крыльев жаворонка на подъеме.

6 [июня]

В хлебах лужок. Сплошная кашка. Пчела, шмели на перебой взятку берут. Полночь. Холодный туман. Дергачи, как пильщики добрые, в перебив.

6 июня

В лесу, зайчик темнобурый, две горлинки одна за другой с ели * на дубок пересела с <свирестом> треском крыльев. Хвосты белокрас[ные] распущены как махальцо [18].

7 июня

С горы виден луг. Половина скошена, светлая серебристая, не скошен[н]ая буреет. По липе зажелтелся цвет, готовится. Тихо, жарко.

Гречиха насела двойчатка [19], точно бабочка распустил[а] крылышк[и], сплошь на черную землю.

[9 июня] 8, 9 июня

Рожь пожелтела, ровно слиняла. Медовый дух и тухлый на зное солнечном. Ясно, жарко.

10 июня

Жарко, пыль. Грозовито. На листах пятна красные. Желтый цвет расцвел, похож на Иван-чай.

18 июня [20]

Овес вылистывается. Чуточку налило ржи. Повилика цветет. Солнце садится за лесом, выщербен полукруг.

22 [июня]

Лядвонец [21] ярко желтый и дятленик [22] красный. Садится солнце, отражается в болоте воде — смотреть нельзя.

23 [июня]

Розаны, рдеется середка, края бледны. Все на работе, все уехали, я один дома. 8 часов, тихо, ребята, старики; стрижи молодые летают станичками [23].

Поехал купаться. На краю леса полдел[ян]к[и] [24] выкошено, собрато с большую копну. От осинок тень.

Вечером везут сено.

[*25 июня*] 24, 25 июня

Ночи с ветром **, дождь. На утро ветер рывом дует. Овес треплется, как бешеный, как цыганка плечами. Меж дворов и овинов сплошная кра-

---

* Написано через ять.

** Первоначально было написано: В ночь. Затем исправлено: С ночи. И, наконец: Ночи с.

пивно-зеленая река конопель. Посередине плывет бабочка в аленьком платочке и низках [—] наплечиках[25]. Должно там дорожка. Пахнет зерном.

28 июня

Позвонок[26] засох. Везде народ сено убирает. — Иван да Марья в одну сторону нагнувши[сь]. Подмаренник пахнет медом. Пчела гудит вверху лип.

29 июня

Южный сильный ветер. Праздник[27] — нарядные ребята дома. Скотина тихо стоит наевшись на солнце. Вечером ливень.

Прошелся. Лист перевернулся низом вверх. Стога сена сильно пахнут.

30 июня

7 ч. утра. Ливень с вечера и ночью. По лесу покос на рядах. Мокрые теплые ряды духовито преют. Из-под горы, спина лошади и хвостом от мух, ноги и другая спина, а куда не смотришь и 2, 3, 4.

1 июля

Овес наливает[ся], поднялся, рожь бледна желта.

2 июля

После дождей, зелень блестит, яркое солнце, ветер, свежесть. В лесах покосы. Шалаши под сеном. Телеги вверх колесами. Вода — сталь, отражаются махалки[28].

3 июля

Гречиха разлилась молоком. Везде пушистые валы, помоченные ряды тростятся, вблизи гречихи алый * с белым стали белые бабочки на зеленой земле.

Липовый цвет в разгаре, малина, побеги красноватые на осине.

4 июля

Пчела летит на липу низко, споро. После дождя зашел в липняк, дурманит запах лип[ового] цвета.

5 июля

Овсы бледнеют зерном (васильки в них и чертополох с вишневым цветом). Льны зацветают. Пары заскорожены и после дождей чернее где двоены[29].

8 июля

В засеке за тетеревами[30]. Пчела стонет на липе. Осыпная малина спелая и орех.

10 июля

Яркой день. 10 утра. В ярких просветах леса с земли поднимается с тропинок[?] кры[льями?] на дубок птица.

11 июля

Жары несколько дней, кузнечики. Липовый цвет, малина. Льны изумрудно-зелены, белые гречи и янтарится рожь.

В припадочку пью[31] у Потапк[ина] болота в ключе. Не видать воды, только на днище кипит из дыры в орех <и кру> поднимает и кружит круженки земли, зерен, соломы.

Рожь зажинают. Овес запестрился желтым зерном.

12 июля

Дождичек теплый. Рожь красножелтая солома.

---

* Так в подлиннике.

12 июля

Выбирают замашки [32], рябинка [33] расцвела ярким желтым цветом. Лен зацвел.

15 июля

Дожди. Овес забелелся, лег, ласточки низко снуют. Малина осыпается, оголяя стебельки, рыжики.

17 июля

<Жар> Зной. Хлеб узревает. Зори свежие. Вода стынет. На осине красные побеги, куржавеются [34]. Малина рассыпуха. По 3,4 зерна круглые сочны[е]. Снизу на малине глядишь просвечивает, сквозит на солнце ягодка. Стебли чисты.

18 [*июля*]

Овес сохнет, кое-где на навозных кучах зелен. Рожь янтарная жесткая. Косят. Стена узеет от полоски. Мужик в зною махает крюк[ом] [35].

Солома желтей колос *. Волос забелелся. Хрустит рожь под крюком.

[*25? июля*] ** *19, 20, 21, 22, <23, 24>*

Новгородская губерния [36]. Фееверк от лодки на озере. Просвет белой луны в лесу.

23 [*июля*]

Темносинее, как синюжник [37], озеро в зелен[ых] берегах.

25 [*июля*]

Холодн[ый] ветер. Липовый цвет поблек, завострился и желтеет лист и трава: Пух на Иван-чае.

По дороге. Рожь колосья. Рябина, татарн[ик] [38] в цвету.

27 июля

Проезжаю вечером деревню, запах сгущенный сена из сарая, на гумне ворошек [39] покрытый. Телега у ворош[ка] покрыта веретями [40]. Готова ехать с новиной [41] на мельницу.

28 июля

Овсы на рядах. Косят ночью. Бабы стелют землей.

30 июля

Овес яркожелтый. Косят. Один мужик махается в лист овса. Косят болото. С горы Тит [42] косит раскорячивш[ись], как комар. Над болотом стон дикой пчелы.

31 июля

Дождь ливень, подстега [43] [1 не разобр.].

2 авг[*уста*]

Знойно, полдень. После дождя по овсянищу [44] ряды, между подряд[ьями?] зазеленелись. В болоте тихо, собака шуршит и торкает хвостом по листу.

Сеют рожь, запахивают, доваживают ржаные снопы.

3 авг[*уста*]

Сиверко. Пасмурно. Густо стоят светлые копны овсяные по темному овсянищу. Косят 2 мужика овес, ласточки вьются. У дворов куры в овсянице [45]. Стадо на паханном пару, кое-где в жнивах.— Заосенял[о] [46] (по овсянищу на межах полынь. По отаве [47] проезжана желтая дорога).

[*10? августа*] *4, 5, 6*

Холода, дожди, 5[-го] вышел вечер без дождя. На закате. Овсянище, как золото. Мужик одинокий поздно доваживает овес.

---

* В смысле: колосьев.

** Перед этой записью надпись: 1879 г.

7, 8, 9, 10

Жаркие дни. Гречиха бурая, нечистая. Овес возят, захватывая ночи. Голубок трещит крыльями, а потом вжигает [48]

11 августа

Жарко, мгла. Сеют, расчесывают бороной. Будем там — Снимай чтоль.

Багряный шар солнца, светлая середка. К низу сохи [49] и конопля. Пахнула у болота со стойла [50].

[*13 августа*] *12, 13 августа*

Ветер северо-западный ломит деревья. Ясно. На плотине ракиты клубами [51], вода мутная зеленая. После полдня ветер, нагоня[е]т дождь.

18 [*августа*] *14, 15, 16, 17, 18*

Жарко, ветрено. Лунно. Гречиха брусничная. Лен издали зеленова-

ЯСНАЯ ПОЛЯНА. ЛЮБИМАЯ СКАМЬЯ ТОЛСТОГО В ЕЛОЧКАХ

Фотография

Толстовский музей, Москва

тый, брусн[ичный] боком, бурый вблизи. Берут лен. Досевают рожь. Ранний посев выходит из краски, средний в краске, поздний только расчесан и хрест сделан против оговору [52]. Везде молотят, по ветру доносит — жужжит колос под цепами.

[*25 августа*] *19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ав*[*густа*]

Пусто в поле, гречу возят, лен берут. Как развеяны зелен[я] колышутся по ветру, где в краске. Ясно, сильны[й] холодн[ый] западн[ый] ветер.

28 [*августа*]

Орехи сошли, опенки, пахнет в лесу орехов[ым] листом. Зацветают слабо весенние цветы — все.

Ясно, тепло, солнце, ночью морозы, запад[ный] ветер. Рябина кирпичная. Вяз облетел.

[2 сентября] 29, 30, 31 [августа], 1 сент[ября], 2

Западный ветер, пыль, морок[53], тепло, сушь.

3 сент[ября]

На возу соха, мужик и девки. Карт[ошку] копать.

5 сент[ября]

Начались морозы. Так же ясно. Липа, клен красны. Молодая осина опала. Зелень отавы. Все цветы. Валдшнепы.

7 сентября

Холод. Одонья[54] ярко желтые в холодном ярком свете. Дерево в поле — черная тень. — Клен и липа обсыпались, желтые листья, рудожелтые с прозеленью, как постелю.

17 сентября

Все та же погода. Лист обсыпался. Зола.

21 сентября

Еще жарче, ветер в мокушах. Опалый лист кожаный, рудожелтый с прозеленью и песочный.

Мужики уж сработали на 15 р[ублей] вольной работы. Все обмолочено, <хрест[ы]> Сбиты жневья, свинороины.

26 сентября

Мокро, дождь. Лист на деревьях: осины, березы — желтее. Сучья и стволы серожелезные, дороги дикие с сизинкой[55]. Сватьбы.

27 сент[ября]

В зеленях межки, поросшие травой гребешками, как бобровая[56] ость.

13 окт[ября]

Тихо. Туман ходит и падает. Светло, лунно с золот[ым] отливом. Капли висят, сквозят на кончиках почек и спадают на мокрый грифельный лист. Это в лесу.

В поле мягко, тихо, слышно, туман ходит и носится полотнами.

14 окт[ября]

По дороге, воскресн[ый] базарный день, гремят, шлепают по грязи копыта, колеса, веселые, закулевш[ие][57] голоса. Гора в тумане — телега — другая.

Вечер. Луна высокая в тучках. Тихо. Туман в лощинах.

8 ноября

9 утра. Чернотроп[58], кое-где снег. Морозец. Туманчик поднимается, солнце проглядывает, пахнет дымом, далеко слышен благовест.

[13?] 3 ноября

Туман расходится. Пеленами. Как занавес поднимается — на зорю.

7 декабря

Мороз, вечер. Иду мимо строенья. Скрыпят шаги, отзывает в строеньи.

1880. 5 янв[аря]

Морозный туман. Белые мраморные ухабы извилистой дороги.

1880. 7 июня

На мокрой чистой грядке зеленые кривые линии огурцов, гороху и пр.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Свергибусы. — Правильнее: свербигузы — дикая редька.

[2] Полынки матовые — один из видов полыни.

[3] Оскараживает — боронит пашню (от употребительного в Тульской губернии слова «скородить»).

[4] Баранчики — растение primula officinalis.

[5] Вымочки — вымокшие места на озимях.

[6] Прямо перепелка. — Перепелки, как известно, держатся на земле — в траве, а затем, с середины лета, в полях.

[7] Выскороженный — взбороненный.

[8] А. Бабы. — «Буквой «А» Толстой, несомненно, зашифровал имя яснополянской крестьянки Аксиньи Базыкиной (1836—1919), с которой он был в близких отношениях в 1857—1860 гг. К ней относится ряд записей в его дневнике того времени. Отношения Толстого к А. Базыкиной нашли отражение в повести «Дьявол», написанной Толстым в 1889 г. и долго скрываемой им от жены. Даже в 1909 г., когда Софья Андреевна вперые прочла эту повесть, «поднялись старые дрожжи» (дневник Толстого от 13 мая 1909 г.). Все это делает понятным, почему Толстой всегда в своих записях зашифровывал имя Аксиньи Базыкиной. А. Базыкина выведена Толстым в «Тихоне и Маланье» под именем Маланьи и в «Поликушке» в лице Аксиньи (жены Илюшки Дутлова) (см. Толстой, Полное собрание сочинений, Юбилейное издание, т. VII, стр. 347, 352, 354).

[9] Поднизки — украшение из бисера (или жемчуга) на старинном женском головном уборе.

[10] На ране — ранним утром.

[11] Щетки — растение (сорняк), иначе называемое шафлор, а также желтяница

[12] Сиверко — холодная, сырая погода, северный или северо-восточный ветер.

[13] Шины, палицы — 1) железные колесные шины; 2) палица — по Далю полица — часть сохи, железная дощечка, приделанная повыше лемеха для отваливания, при пахоте, земли.

[14] Чернизина — что-то чернеющееся вдали.

[15] Зык — протяжный звук, гул; летняя пора, когда скотина бесится от оводов; также и самое состояние скота в это время. Говорится: коровий зык.

[16] Раскочные — вероятно, раскачивающиеся.

[17] Ни зуку. — Зук, т. е. звук (по Далю — рязанское, по Срезневскому — нижегородское).

[18] Махальцо — вероятно, веер.

[19] Двойчатка — плоды, сросшиеся вместе по-двое.

[20] 11 июня Толстой уехал из Ясной Поляны к Фету (в Воробьевку), а оттуда в Киев. Возвратился он из поездки, вероятно, 17 июня. Этим объясняется перерыв в записях между 10 и 18 июня.

[21] Лядвонец — по Далю: ле́двенец (растение лотус). Называется также овечья овсяница.

[22] Дятленик — клевер, кашка, дятельник.

[23] Станичками — небольшими стаями.

[24] Полделянки. — В Тульской губернии делянкой называли «полоску земли, при дележе поля в разных местах, для уравнения, по расстоянию и по качеству» (Даль).

[25] В низках [—] наплечиках. — 1) Низки (от слова низать, нанизывать) — бусы; 2) наплечик или наплечек — всякое украшение одежды на плечах.

[26] Позвонок — растение из сорняков (вероятно, погремок).

[27] Праздник 29 июня — так называемый «петров день», «петровки».

[28] Махалки — пушистая оконечность камышей.

[29] Двоены — дважды вспаханы (вдоль и поперек).

[30] В засеке за тетеревами. — Около Ясной Поляны находится лес, исстари называемой «Засекой». В «Засеку» Толстой ходил тогда на охоту.

[31] В припадочку пью. — Пить «в припадочку» — значит пить, припав прямо к воде, т. е. легши лицом на воду.

[32] Выбирают замашки — Выбирать замашки — значит выдергивать коноплю. Слово это встречается в «Анне Карениной».

[33] Рябинка — трава с желтыми цветочками (пижма, дикая рябина).

[34] Куржавеются — сморщиваются, делаются шершавыми и жесткими.

[35] Махает крюком. — Приделанный к косе деревянный крюк, предназначенный удерживать скошенную в один взмах траву.

[36] Новгородская губерния. — В эти дни Толстой побывал в имении «Утешенье», находившемся в Крестецком уезде, Новгородской губернии, близ станции Боровенка, Николаевской жел. дор.

[37] Синюжник. — Синюшником называется несколько растений: васильки, ржаная синюха, дикая рябина.

[38] Татарник — сорная трава, чаще называемая репейником или чертополохом. В 1896 г. куст татарника напомнил Толстому Хаджи Мурата и, таким образом, послужил толчком к созданию повести о Хаджи Мурате (см. «Дневник Л. Н. Толстого», т. I, изд. 1-е, М., 1916, стр. 40—41, запись 19 июля 1896 г.; см. также вступление к повести «Хаджи Мурат»).

[39] Ворошек — груда сгребенного вымолоченного зерна.

[40] Покрыта веретями. — Веретье — сотканный из оческов льна и конопли, сшитый в три-четыре полотнища толстый холст, служащий для подстилки в телегу под зерновой хлеб.

[41] С новиной — с первым сбором нового урожая.

[42] Тит — яснополянский крестьянин; вероятно, Тит Ермилович Зябрев, являющийся прототипом «дядьки по косьбе» Константина Левина, крестьянина Тита (см. «Анну Каренину», ч. III, гл. IV).

[43] Подстега — косой дождь.

[44] По овсянищу — по овсяному жниву (поле, с которого снят урожай овса).

[45] В овсянйце — в овсяной соломе.

[46] Заосеняло — стало похоже на осень.

[47] Отава.— В данном случае трава, выросшая после косьбы.

[48] Вжигает — вероятно, вжикает, т. е. производит особый звук вроде звяканья или лязга. В «Анне Карениной» встречается выражение «коса вжикала» (см. Толстой, Полное собрание сочинений, Юбилейное издание, т. XVIII, стр. 266).

[49] К низу сохи и конопля.— По-тульски сохи — шесты, подпорки, столбы (Даль).

[50] Со стойла.— В данном случае: с места ночлега красного зверя (охотничье выражение).

[51] Клубами — с шаровидной кроной дерева.

[52] Хрест сделан против оговору — т. е. против колдовского наговора.

[53] Морок — мгла, сухой туман.

[54] Одоня — круглые, не очень большие скирды хлеба (в снопах).

[55] Дороги дикие с сизинкой.— Дикий цвет — сероватый, пепельный, голубовато-серый.

[56] Как бобровая ость.— Ость — длинный, иглоподобный волос в мехах.

[57] Закулевшие — пьяные (от слова «закуликать», т. е. начать пить запоем).

[58] Чернотроп — т. е. дороги, как летом, несмотря на позднюю осень или начало зимы.

„ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ЛЮДЯХ И ИХ ЖИЗНИ“

ИЗ ДНЕВНИКА 28 ИЮЛЯ 1909 г.

Публикация Н. Гусева

В бессонную (вследствие семейных неприятностей) ночь с 28 на 29 июля 1909 г. Толстой набросал на листочках блокнота публикуемый ниже философский памфлет, который затем в переписанном виде вложил в свой дневник. 29 июля в дневнике записано: «Ночью написал в дневник представление о людях и их жизни».

Следует заметить, что памфлет, как род литературно-сатирических произведений, вообще был наименее свойственным Толстому литературным жанром.

Еще 7 июля 1852 г., живя на Кавказе, Толстой записывает в дневнике по поводу своего рассказа «Набег», который он тогда называл «Письмо с Кавказа»: «Надо торопиться скорее окончить сатиру моего письма с Кавказа, а то сатира не в моем характере». И затем, 3 декабря того же года, о том же рассказе: «Писал много. Кажется, будет хорошо. И без сатиры. Какое-то внутреннее чувство сильно говорит против сатиры. Мне даже неприятно описывать дурные свойства целого класса людей, не только личности» [1].

Эти признания молодого Толстого чрезвычайно характерны. Правда, элементы сатиры разбросаны в его художественных произведениях; Толстому принадлежит такая едкая сатира на жизнь высших классов, как комедия «Плоды просвещения»; но в общем сатира не занимает большого места в его творчестве. Памфлет был еще менее свойственен Толстому. На протяжении всей своей шестидесятилетней литературной деятельности он написал всего только три памфлета.

В 1879 г. Толстой пишет произведение, озаглавленное «Сказка» и оставшееся незаконченным. «Сказка» эта как будто бы навеяна «Путешествием Гулливера» Свифта. В ней рассказывается о том, как некто попал в страну «дюлей» («дюли» — перевернутое «люди»). «Сказка» обрывается на первой же странице, и только из наброска плана, тут же сделанного автором, можно судить о его замысле [2].

Далее, в 1885 г., Толстой пишет для своих семейных, для так называемого «Яснополянского почтового ящика», небольшой и не полностью сохранившийся памфлет под названием «Из апрельского нумера «Русской Старины» 2085 г.» [3]. Здесь он хочет показать, какой дикой и нелепой должна представляться людям через двести лет жизнь высших классов его времени.

Наконец, уже на склоне лет, в 1909 г., за год до смерти, Толстой пишет публикуемый нами философский памфлет. Повидимому, Толстой не считал его самостоятельным произведением и не дал ему специального названия. Памфлет проникнут мрачным, безнадежным взглядом на человеческую жизнь, который Толстой иногда высказывал в последние годы своей жизни.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Толстой Л. Н., Полное собрание сочинений, т. XVI, стр. 132 и 151.

[2] «Сказка» напечатана в «Сборнике Государственного Толстовского музея» (Гослитиздат, 1936) и затем — в XVII томе Юбилейного издания сочинений Толстого.

[3] См. в книге «Лев Толстой. Неизданные тексты», «Academia», 1933, стр. 29—30.

Есть на свете такие существа, которые живут все от произведений земли, но для того, чтобы им было как можно труднее кормиться, они землю всю разделили так, что пользоваться ею могут только те, кто не работает на ней, те же, кто работают, не могут пользоваться ею и страдают и мрут поколения за поколениями от невозможности кормиться с земли.

Кроме того, существа эти избирают по одному семейству или по нескольким из многих и отказываются от своей воли и разума ради рабского повиновения всему тому, что захотят делать над ними эти избранные. Избранные же бывают самые злые и глупые из всех. Но существа избравшие и покоряющиеся всячески восхваляют их.

Существа эти говорят на разных языках, непонятных друг другу. Но вместо того, чтобы стараться уничтожить эту причину недоразумений и раздоров, они еще разделяют сами себя, независимо от различия языка, еще на разные соединения, называемые государствами, из-за этих соединений убивают тысячи и тысячи себе подобных и разоряют друг друга. Для того, чтобы они могли удобнее разорять и убивать друга друга, существа эти надевают особенные, одинаковые, большей частью пестрые одежды, придумывают средства убивания друг друга и обучают повинующихся многих одному наилучшим способам убийства.

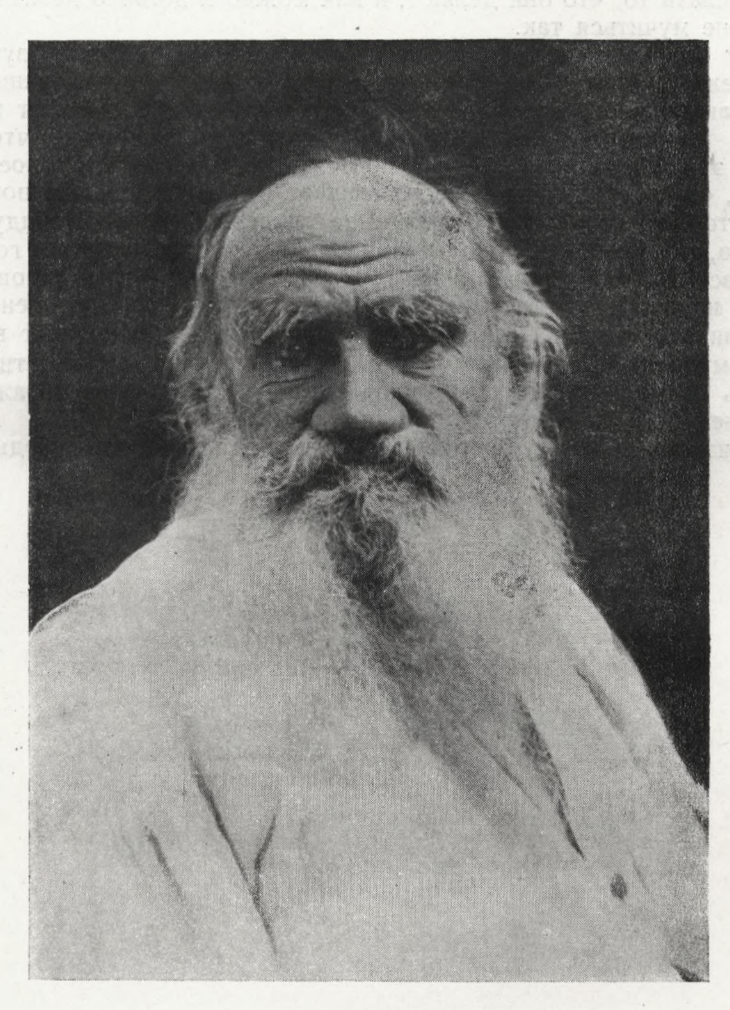
При этом существа эти для объяснения своей жизни, смысла и назначения ее, уверяют себя и друг друга, что есть такое же, как они, существо, но только одаренное теми свойствами, которые они желали бы иметь, могущее поэтому делать всякого рода глупости и гадости, и придумывают разные, самые не нужные никому средства, как угождать этому воображаемому существу, и тратят на это угождение огромные доли своих трудов, хотя трудов этих недостает большей частью для прокормления самих себя. Для того, чтобы эта выдумка не перестала обманывать детей, родители старательно обучают своих детей всем выдумкам об этом существе, называемом богом, о том, как он сотворил мир, как он сделался человеком, как потом дал есть людям свое тело и потом улетел на небо, которого они знают, что нет никакого, и тому подобное. И не только от своих детей требуют, чтобы они повторяли все это, но требуют того же от других людей и убивали и убивают за несогласие с этим сотни тысяч себе подобных.

Но мало того, что они все делают все эти гадости и глупости и страдают от них и знают, что страдают именно от этих гадостей и глупостей, они не только продолжают их делать, но избирают из себя людей, которые обязаны придумывать такие рассуждения, по которым бы выходило, что все эти глупости и гадости необходимо нужно делать, нельзя не делать. Все эти рассуждения, самые запутанные и никому не понятные, менее всего тем, кто их придумывают, называются у них наукой. И все эти оправдания гадостей и глупостей и разные ни на что не нужные умствования считаются самым важным делом, и этим умствованиям обучают всех детей, и все родители и сами юноши за великую честь почтут учиться этой науке.

Разводятся же эти существа таким грязным, отвратительным, уродливым поступком, что сами же стыдятся этого поступка и не только не совершают его при других, но всегда тайно. Притом последствие этого поступка — рождение новых таких же существ — не только мучительно для такого рода существ, из утробы которых выходят новые, беспомощные в начале своей жизни, существа, но и в высшей степени затруднительно для тех, кто производит их, и они тяготятся ими. Кроме того, непрестающее размножение этих существ угрожает бедствиями голода для всех, так как расплложение их идет быстрее, чем люди могут успеть приготовлять для всех пищу. Существа эти знают все это, говорят про это и, несмотря на это, не только совершают в ущерб своей

выгоде, здоровью, общим соображениям, всегда, когда только могут, этот отвратительный поступок, но еще и всячески возвеличивают его. Одни восхваляют его в несвязных, запутанных словах, называемых поэзией, другие не только восхваляют, но благословляют этот мерзкий поступок во имя того выдуманного существа, которое они называют богом.

Не буду говорить о тех миллионах глупостей и гадостей, которые делаются этими существами: как они отравляют себя ядом, считая это



Л. Н. ТОЛСТОЙ
Фотография 1907 г.
Частное собрание, Москва

удовольствием; как собираются в самые зараженные ими же самими места в огромном количестве в среде незанятых огромных пространств земли, строят в одной местности дома в 30 этажей; или, как не заботясь о том, как бы им всем лучше передвигаться, заботятся о том, чтобы только некоторые могли ездить, летать как можно скорее; или как набирают слова так, чтобы концы были одни и те же, и, составив вместе, как потом восхищаются этим набором слов, называя это поэзией; или как набирают другие слова без окончаний, но такие же глупые и непо-

нятные, называют их законами и из-за этих слов всячески мучают, запирают в тюрьмы и убивают по этим законам друга друга. Да всего не перечтешь.

Удивительнее же всего при этом то, что существа эти не только не образумливаются, не употребляют свой разум на то, чтобы понять, что глупо и дурно, а напротив, на то, чтобы оправдывать все свои глупости и гадости. И мало того, что не хотят сами видеть мучающих их глупостей и гадостей, не позволяют никому среди себя указывать на то, как не надо делать то, что они делают, и как можно и должно делать совсем другое и не мучиться так.

Стоит только появиться такому, пользующемуся своим разумом существу между ними, и все остальные приходят в гнев, негодование, ужас и где и как попало ругают, бьют такое существо и или вешают на виселице, или на кресте, или сжигают, или расстреливают. И что всего страннее, это то, что когда они повесят, убьют это разумное, среди безумных, существо, и оно уже не мешает им, они начинают понемногу забывать то, что говорило это разумное существо, начинают придумывать за него то, что будто бы оно говорило, но чего никогда не говорило, и, когда все то, что говорено этим разумным существом, основательно забыто и исковеркано, те самые существа, которые прежде ненавидели и замучили это, одно из многих, разумное существо, начинают возвеличивать замученного и убитого, даже иногда, думая сделать этим великую честь этому существу, признают его равным тому воображаемому злому и нелепому богу, которого они почитают.

Удивительные эти существа. Существа эти называются людьми.

V. НЕИЗДАННАЯ ПЕРЕПИСКА

Эпистолярное наследие Л. Н. Толстого поистине грандиозно. Сохранилось около восьми тысяч его писем к разным лицам. Отдельные корреспонденты Толстого получили от него по нескольку сот писем. Так, дочери Марии Львовне он написал 106 писем, А. А. Фету — 155, брату Сергею Николаевичу — 175, С. А. Толстой — около 700. Наибольшее количество писем Толстым написано В. Г. Черткову — 917.

Разумеется, сохранились далеко не все письма, написанные Толстым: многие письма, особенно раннего периода, до нас не дошли, хотя из различных дневников и мемуаров известно, что они существовали. Процент таких не дошедших до нас писем Толстого значителен. Так, за время с 1844 по 1855 г. на 111 сохранившихся писем приходится 136 несохранившихся; с 1856 по 1862 г. на 257 сохранившихся — 173 несохранившихся; с 1863 по 1872 г. на 421 сохранившееся — 132 несохранившихся и т. д. Только с 1899 г. в Ясной Поляне началось систематическое копирование корреспонденции.

Содержание писем Толстого исключительно по своему разнообразию, по широте охватываемых вопросов. Печатаемый ниже обширный раздел переписки составлен из писем Толстого и к Толстому, относящихся к различным периодам жизни писателя. Большая часть писем представляет большой общественный и литературный интерес. Другая часть этих впервые публикуемых материалов имеет более узкое, историко-литературное значение.

Письма молодого Толстого (1842—1849) к брату Николаю Николаевичу и к Т. А. Ергольской, написанные на французском языке, интересны, главным образом, в биографическом отношении. Несравненно большее значение имеет переписка Толстого с видными литераторами и журналистами — Фетом, Страховым, Катковым, В. Соловьевым и др.,— охватывающая широкий круг общественно-литературных вопросов и представленная письмами не только Толстого, но и его корреспондентов.

Если переписка с М. Н. Катковым (1858—1877) касается, главным образом, произведений Толстого, печатавшихся в журнале Каткова «Русский Вестник» («Казаки», «Анна Каренина» и др.), то переписка с А. А. Фетом (1863—1880) посвящена почти исключительно общим вопросам литературы и поэзии. Здесь интересны, в частности, суждения Фета о творчестве Толстого и его высказывания об «Анне Карениной». Фет посвятил роману Толстого специальную статью, которая печатается в качестве приложения к письмам.

Двадцать шесть писем Толстого (1870—1877) к его постоянному корреспонденту 70-х годов Н. Н. Страхову, а также переписка с В. Соловьевым (1875—1894) посвящены почти целиком литературным и философским вопросам. Они важны для характеристики философских и эстетических взглядов великого писателя. Письмо 1873 г. к В. К. Истомину показывает, с какой тщательностью Толстой собирал материал для своих произведений. Письмо того же года к П. Д. Голохвастову содержит некоторые суждения Толстого о литературе, и в том числе замечательные слова о необходимости для каждого прозаика изучать «Повести Белкина» Пушкина.

В переписке Толстого с сотрудником реакционного «Нового Времени» Бурениным (1887), вызванной нападками Буренина в печати на поэта Надсона, интересны суждения Толстого о необходимости чувства строгой ответственности, с которым писатель должен относиться к каждому своему слову. Переписка с П. М. Третьяковым (1880—1898) посвящена вопросам живописи вообще и, в частности, спорам о картинах Н. Н. Ге.

Переписка с Н. Е. Федосеевым (1897—1898), этим, по словам Ленина, «необыкновенно талантливым и необыкновенно преданным своему делу революционером», свя-

зана с тем участием, которое принимали и Толстой и Федосеев, находившийся в ссылке, в судьбе высланных в Якутскую область и преследуемых правительством духоборов.

Письма Толстого последнего десятилетия носят ярко выраженный политический характер. Таковы в большей своей части обширная переписка с «великим князем» Н. М. Романовым (1901—1908), переписка 1907 г. с журналистом А. А. Столыпиным (братом министра) по земельному вопросу, письмо 1908 г. к сотруднику «Нового Времени», политическому противнику Толстого, М. О. Меньшикову. С различными общественными вопросами связаны и переписка Толстого с вождем индусских националистов Ганди (1909—1910) и ряд его писем 1910 г. к неизвестным корреспондентам из народа, печатаемых в специальной подборке. Неизвестным корреспондентам Толстого посвящена и заключительная публикация раздела, где приведены образцы писем, в изобилии получавшихся в Ясной Поляне. Эти материалы представляют своеобразный интерес, как человеческие документы, обращенные к великому писателю; многие из них могут служить яркой иллюстрацией того гнета, под которым находились народные массы при господстве самодержавно-помещичьего строя.

Все эти публикации дают обширный материал для разработки наследия Толстого, они дополняют новыми штрихами его многогранный облик. В то же время они лишний раз подтверждают незыблемость ленинской характеристики великого русского писателя, которая лежит в основе нашей работы над изучением его наследия. В своих письмах Толстой нередко является, как «истеричный хлюпик», проповедник теории непротивления злу насилием. Но в тех же письмах перед нами встает могучая фигура непримиримого отрицателя самодержавно-помещичьей власти, бесстрашного обличителя церкви, государства, насильнического строя.

Толстой нередко переписывался с людьми, политические взгляды которых не имели ничего общего с его собственными взглядами. Среди корреспондентов Толстого были люди, принадлежавшие к высшим придворным кругам,— достаточно вспомнить «великого князя». Но замечательно, что в этих случаях Толстой всегда твердо определял свою позицию, всегда стремился подчеркнуть противоположность, даже враждебность своих взглядов. Толстой всегда оставался Толстым. Так, касаясь вступления на престол Николая II, он писал В. Соловьеву: «Различие наше заметно теперь еще в том, что вы, вероятно, ждете много от нового царствования, а я ничего...». В письмах к Н. М. Романову, одному из крупнейших собственников, он утверждал, что уничтожение частной собственности на землю столь же назрело, как в свое время уничтожение крепостного права. Тому же Романову Толстой без всякого стеснения заявлял, что министры и прочие высшие чиновники Николая II — «трупы» и «тем более трупы, чем выше они стоят на иерархической лестнице» (письмо от 25 апреля 1902 г.). Наконец, тяготясь своими отношениями с навязчивым «великим князем», Толстой однажды прямо и резко написал ему: «В наших отношениях есть что-то ненатуральное и не лучше ли нам прекратить их? Вы — великий князь, богач, близкий родственник государя; я — человек, отрицающий и осуждающий весь существующий порядок и власть и прямо заявляющий об этом. И что-то есть для меня в отношениях с вами неловкое от этого противоречия...».

В этих словах — перед нами весь Толстой, с его плебейской прямотой и силой обличителя, с его ненавистью к врагам трудового народа. Таким он рисуется и в своих письмах.

ПИСЬМА Л. Н. ТОЛСТОГО

ПИСЬМА ТОЛСТОГО Т. А. ЕРГОЛЬСКОЙ, Н. Н. ТОЛСТОМУ, А. И. СОБОЛЕВУ

Публикация Г. Волкова

Публикуемые ниже письма Толстого относятся к 1842, 1847 и 1849 гг. Адресат первого и третьего писем — Т. А. Ергольская, адресат второго — брат Толстого Н. Н. Толстой.

Татьяна Александровна Ергольская (1792 — 1874) — троюродная тетка Толстого, воспитательница Льва Николаевича, его братьев и сестры. Прожила почти всю жизнь и умерла в Ясной Поляне. Некоторые черты Т. А. Ергольской Толстой использовал в «Войне и мире» при создании образа Сони, воспитанницы Ростовых.

Из переписки Толстого с Т. А. Ергольской сохранилось более ста писем Толстого и около пятидесяти писем Ергольской. Часть этих писем, за исключением вновь найденных в рукописном отделении Всесоюзной библиотеки им. В. И. Ленина, опубликована в LIX томе Юбилейного издания сочинений Л. Н. Толстого. В этом же томе см. более подробные сведения о Т. А. Ергольской. Остальные письма будут опубликованы в LX и LXI томах названного издания.

Николай Николаевич Толстой (1823 — 1860) — старший брат Толстого. С 1839 по 1843 г. учился на математическом факультете Московского университета. Осенью 1843 г. перевелся на математический факультет Казанского университета, который окончил в следующем 1844 г. В декабре этого года поступил на военную службу и до 1853 г., а затем с 1855 по 1858 г. служил на Кавказе. Письма Толстого к Н. Н. Толстому см. в томе LIX Юбилейного издания.

Письма печатаются по автографам, хранящимся в рукописном отделении Всесоюзной библиотеки им. В. И. Ленина (кабинет Л. Н. Толстого).

1. Л. Н. ТОЛСТОЙ — Т. А. ЕРГОЛЬСКОЙ

[2 марта 1842 г.]

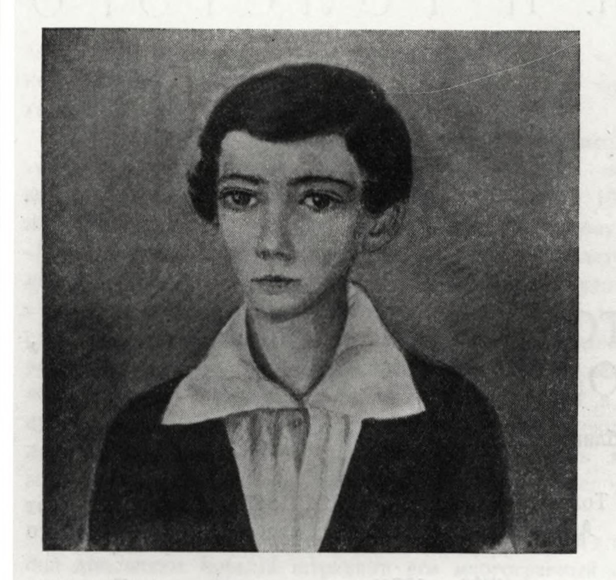
Chère tante!

Nous voilà de nouveau à Casan qui est dans un bien pitoyable état; tout ce qu'il y avait de beau en fait de bâtiments a brûlé; notre rue, qui n'est pas une des meilleures, est restée mais notre maison n'a pas moins été en danger car tout autour de nous a été dévasté par le feu [1]. Nous avons été pour lors à Panovo [2] d'où l'on voyait la nuit le feu et le jour la fumée.— Serge et Dmitri entrent le printemps prochain à l'université et maintenant ils travaillent beaucoup. — La fièvre n'a pas voulu me quitter tout à fait; elle m'est revenue encore deux fois mais à présent j'espère qu'elle craindra les pilules et toutes les autres drogues que j'ai avalées [3].

Je baise les mains à ma tante Lise [4], salue Pachinka [5], Терезия Антоновна [6] et Петичка [7].

Adieu, chère tante, croyez au respect et à l'amour que vous porte
Votre soumis neveu

L. Tolstoy



СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ В ДЕТСТВЕ

Акварель Юза, 1841 г.
Толстовский музей, Москва

Перевод:

Дорогая тетинька!

Вот мы и снова в Казани, которая в весьма жалком виде. Что касается зданий, огнем уничтожено все, что было красивого. Наша улица, которая не из лучших, уцелела; однакож, дом наш был в опасности, так как все вокруг нас стало жертвой огня [1]. В то время мы были в Панове [2], откуда был виден ночью огонь, а днем дым.

Сережа и Митенька поступают будущей весной в университет и теперь много работают.

Лихорадка не захотела со мной расстаться окончательно и еще два раза меня посетила. Надеюсь, однако, что теперь она испугается пилюлей и прочих лекарств, которых я наглотался [3].

Целую ручки тете Лизе [4], кланяюсь Пашеньке [5], Терезии Антоновне [6] и Петичке [7].

Прощайте, дорогая тетинька, прошу вас верить уважению и любви вашего покорного племянника

Л. Толстого

[1] Толстой прожил в Казани с осени 1841 по апрель 1847 г. В 1844 — 1847 гг. он состоял студентом Казанского университета. В то время в Казани были частые пожары, уничтожавшие целые улицы и кварталы. Пожары 1842 и 1848 гг. уничтожили почти весь город. Толстой со своими братьями несколько раз менял местожительство в Казани. В 1842 г. он жил в доме Киселевского, на углу Арского поля (ныне д. № 68).

[2] Паново — сельцо б. Астраханской вол., Лаишевского уезда, Казанской губ., в 29 верстах от Казани, имение тетки Толстого по отцу, П. И. Юшковой. Толстой, его братья и сестры во время учения в Казани бывали и подолгу живали в Панове. В «Воскресении» Толстой, вероятно, по названию имения Юшковых назвал Пановым имение Нехлюдова.

[3] В Казани в то время, вследствие недостаточно хорошей питьевой воды, часто появлялись разные эпидемии, в том числе и лихорадки.

[4] Толстая Елизавета Александровна, графиня, урожд. Ергольская (1790—1851), сестра Т. А. Ергольской.

[5] Пашенька — приемная дочь тетки Толстого гр. А. И. Остен-Сакен.

[6] Терезия Антоновна и встречающаяся в других письмах мадемуазель Морель — повидимому, одно лицо. Вероятно, это гувернантка сестры Толстого Марии Николаевны, после выхода последней замуж остававшаяся в Ясной Поляне.

[7] Петичка — вероятно, Петр Александрович Воейков (1828 — 1894), сын опекуна Толстого А. С. Воейкова. Он был сверстником Толстого и жил с родителями в имении Даниловка, Крапивенского уезда, Тульской губ.

2. Л. Н. ТОЛСТОЙ — Н. Н. ТОЛСТОМУ

[Середина мая 1847 г.]

Enfin je crois avoir tout à fait réussi à me défaire de mon habitude d'inactivité... La preuve en est la lettre que je t'écris. — Je suis à Ясное

avec toute notre famille[1] comme de raison, depuis à peu près deux semaines et ce n'est que dès demain cependant que je commencerai à mener une vie d'après mes règles... Ce — demain te fera rire, mais j'espère encore.— Il faut te dire que je m'occupe de ménage, et sérieusement, primo cela m'occupe et secundo cela m'amuse puisque j'invente différentes machines et améliorations.— Je ne sais, si je t'ai parlé des trois livres, que j'écris; l'un intitulé — Разное, l'autre — Что нужно для блага России и очерк русских нравов et le troisième — Примечания насчет хозяйства[2].

Eh bien, ces livres existent déjà et je voudrais bien que tu ayes aussi les 2 premiers. Mon Разное sera rempli de poésies, de philosophie et en général de choses qui ne sont pas jolies, mais qu'on a du plaisir à écrire; du second livre je t'ai parlé. Alors si tu avais fait cela, nous nous serions envoyé des pièces que ne [nous?] croirons dignes d'être payées un гривенника à la poste. Tu es peut-être étonné de m'entendre parler de poésie; j'ai essayé et cela m'a réussi pendant la route. Le voyage inspire[3]. Sais-tu que toutes les fois que je vois tante Toinette[4] je trouve de plus en plus des qualités excellentes en elle. Le seul défaut qu'on puisse lui donner c'est qu'elle est trop romanesque; mais c'est à cause de son excellent coeur et de son esprit qu'il fallait qu'elle tourna à quelque chose, faute d'autres occupations à trouver du romanesque partout. La vie que tu mènes, comme tu me l'as dépeinte, te va beaucoup et tu dois être content. Tu m'a écris deux lettres dans lesquelles tu me décris très ponctuellement ton genre de vie; mais ce n'est pas assez pour moi; il faut que tu me disc ce qui a occupé et ce qui occupe tes idées. Pour ce qui me regarde, je te dirai que je suis triste à cause de ce que je ne suis pas encore content de moi-même. Je pense que le spleen vient justement de cette position de l'âme.— Serge[5] a fait amener ses chevaux à Toula pour les faire courir. Il est toujours le même; il veut se faire accroire à lui-même que ses chevaux sont les meilleurs de tout l'univers.

Dmitri[6] est allé à Щербачевка proner les Petits Russiens. Marie[7] comme je l'ai remarqué, est devenue plus dégagée et plus aimable et même je pense qu'elle a une petite passion pour Дьяков[8]. Tu a fait moins de fautes d'orthographe dans tes deux lettres; dis moi si j'en ai fait beaucoup. Ma tante se fâche et dit qu'il faut aller souper et que je ne fais jamais rien à temps.

ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ В ДЕТСТВЕ

Акварель Юза, 1841 г.

Толстовский музей, Москва

Adieu, cette lettre sera bientôt suivie d'une autre; écris moi de plus longues lettres; j'ai éprouvé déjà le plaisir de lire des lettres d'un frère qu'on aime, mais toi — pas encore, il me semble. Cela viendra.

Léon Tolstoy

Перевод:

Наконец-то, кажется, мне удалось отделаться от своей привычки бездельничать... Доказательство этого — мое письмо к тебе. — Уже около двух недель я в Ясном, конечно, со всеми нашими[1], однако, я только с завтрашнего дня начну вести образ жизни согласный с моими правилами. Ты рассмеешься слову — завтра, а я все еще надеюсь... Нужно тебе сказать, что я занимаюсь, и серьезно, хозяйством, потому что, во-первых, это — занятие для меня, а во-вторых, это — развлечение, так как я придумываю разные машины и усовершенствования. — Не знаю, говорил ли я тебе о трех книгах, которые я пишу; одна под заглавием — Разное, другая — Что нужно для блага России и очерк русских нравов и третья — Примечания насчет хозяйства[2].

Так вот, эти книги уже существуют, и мне очень хотелось бы, чтобы первые две ты прочел. Разное будет содержать поэзию, философию и вообще вещи не особенно красивые, но о которых приятно писать. О второй книге я тебе говорил. Так ежели ты захотел бы, мы могли бы пересылать друг другу сочиненное, которое мы нашли бы достойным почтовой платы — гривенника. Ты, вероятно, удивишься тому, что я говорю о стихотворениях. Я попытался в дороге сочинять, и мне это удалось. Путешествие вдохновляет[3]. Знаешь, при каждой встрече с тетей Туанетою[4] я нахожу в ней все больше и больше высоких качеств. Единственный недостаток, который можно в ней признать, это чрезмерная романтичность. Происходит это от ее горячего сердца и от ума, которые нужно было бы куда-нибудь направить, и, за неимением этого, она всюду отыскивает романтизм.

Твой образ жизни, который ты мне описал, тебе очень подходит, и, вероятно, ты им доволен. Ты написал мне два письма, в которых описываешь подробно, как ты живешь, но меня это не удовлетворяет. Хочу, чтобы ты сказал мне, что занимало и теперь занимает твои мысли. Что же касается меня, скажу, что мне грустно, потому что я все еще недоволен собою. Думаю, что сплин происходит именно от этого душевного состояния.— Сережа[5] привел своих лошадей в Тулу, чтобы пустить их на бега. Он все тот же и хочет самого себя уверить, что его лошади лучшие во всем мире. Митенька[6] уехал в Щербачевку обращать малороссов. Машенька[7], по моему наблюдению, стала держаться более непринужденно и любезно и, мне даже кажется, слегка увлекается Дьяковым[8]. В твоих двух письмах стало меньше орфографических ошибок. Напиши мне, много ли их у меня.— Тетинька сердится, говорит, что пора итти ужинать и что я ничего не умею делать во-время.

Прощай; за этим письмом вскоре последует другое. Пиши мне подлиннее; я уже испытываю удовольствие от чтения писем брата, которого люблю. А ты, кажется, еще нет... Ну, это придет.

Лев Толстой

Письмо является одним из ранних писем Толстого и первым сохранившимся его письмом к брату Николаю Николаевичу. Судя по почерку и содержанию, время его написания нужно отнести к маю 1847 г. 14 апреля 1847 г. Толстой вышел из Казанского университета и 23 апреля выехал из Казани в Ясную Поляну, куда приехал 1 мая. Именно в это время Толстой решает жить по правилам, составление которых было начато им еще в Казани.

Со времени приезда в Ясную Поляну в журнал своих ежедневных занятий Толстой вносит рубрику занятий хозяйством, которая фигурирует в журнале с 1 мая по 7 июня.

В письме Толстой сообщает, что он «уже около двух недель в Ясном». Следовательно, письмо написано в середине мая.

[1] Вероятно, имеются в виду Т. А. Ергольская, братья и сестра Толстого.

[2] Книги, о которых пишет Толстой, здесь называются им впервые. Была ли закончена хотя бы одна из этих книг — неизвестно. Несмотря на категорическое утверждение автора, что «эти книги уже существуют», полагаем, что они существовали только в твердом намерении Толстого написать их, но написаны не были.

[3] Что сочинял Толстой в дороге — неизвестно.

[4] Т. А. Ергольскую Толстой, его братья и сестра звали «тетинька» или «тетя Туанет».

[5] Сергей Николаевич Толстой, окончив в мае 1847 г. Казанский университет, жил в доставшемся ему по разделу имении Пирогово, в тридцати пяти верстах от Ясной Поляны.

[6] Дмитрий Николаевич Толстой тоже в мае 1847 г. окончил Казанский университет. Вероятно, он вместе с братьями Сергеем и Львом приехал в Ясную Поляну.

[7] Сестра Толстого, Мария Николаевна Толстая (1830—1912), жила с братьями в Казани, где некоторое время училась в казанском Родионовском институте. Вместе с братьями она приехала в Ясную Поляну.

[8] Дьяков Дмитрий Алексеевич (1823 — 1891), тульский помещик, двоюродный племянник начальницы казанского Родионовского института Е. Д. Загоскиной. Был приятелем всех братьев Толстых. С Л. Толстым оставался в дружеских отношениях до последних лет своей жизни.

3. Л. Н. ТОЛСТОЙ — Т. А. ЕРГОЛЬСКОЙ

[Конец февраля — начало марта 1849 г., Петербург]

Pardon, mille pardons, chère tante, d'avoir été si lonqtemps sans vous écrire; je ne tâche pas de m'excuser auprès de vous, puisque je vous

БРАТЬЯ СЕРГЕЙ, НИКОЛАЙ, ДМИТРИЙ и ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧИ ТОЛСТЫЕ
Дагерротип, 1854 г.
Толстовский музей, Москва

avoue franchement, que je suis un vilain et puis parce que je sais que vous n'êtes pas capable d'être fâchée contre moi.

Je vous écris de Pétersbourg où je me trouve déjà près d'un mois.— Voilà comment cela s'est fait: vers la fin de Janvier deux de mes amis Fersen [1] et Озеров [2] partaient pour P-rg; j'avais de l'argent, je me mis en diligeance avec eux et je partis; arrivé à P-bourg, j'allais faire quelques visites, comme П. В. Толстой[3], Пушкин[4], Оболенский[5], Лаптев[6], je retrouvais quelques camarades d'enfance — Иславины [7], Милютины [8], графы Пушкины, tout cela des gens fort distingués et qui m'engagèrent beaucoup à rester ici; en effet le genre de vie de P-g me plait. Ici chacun a sa besogne, chacun travaille et s'occupe pour soi sans se déranger pour les autres; quoique cette vie soit sèche et egoïstique, mais néanmoins elle est indispensable pour nous autres jeunes gens sans expérience et sans savoir-faire; cette vie m'habituera à l'ordre, à l'activité, les deux indispensables

qualités pour la vie qui me manquent complètement,— en un mot au coté positif de la vie. Pour ce qui concerne mes plans, les voilà — je veux faire avant tout mon examen de candidat à l'Université de P-g et puis prendre du service ici ou autre part, les circonstances en décideront.— Pour ce qui regarde l'été, je fais comme vous, je ne veux pas faire de plans. Peut-être resterai-je ici, peut-être irai-je à Réval, peut-être à Toula. Si tout me réussit, il me sera facile de décider.

Ne vous étonnez pas, chère tante, je suis bien changé, je ne suis pas dans cette exaltation philosophique pour laquelle vous me grondiez si souvent à Ясное et je sens plus que jamais comme tous les conseils, que vous me donniez étaient justes sur tous les points. J'en parle souvent à Костинька Иславин qui a une adoration pour vous. Au nom du Ciel donnez moi de vos nouvelles et de tous les nôtres, y compris Nicolas[9], qui vous écrit sans doute. Je vous ai tellement perdu de vue que je crois même que bientôt j'oublierai les noms de mes tantes, frères et soeurs. Voilà mon adresse:

На углу Вознесенского проспекта и Малой Морской, в гостиницу Наполеона.

Qu'arrive-t-il à André?[10]. Il y a près de deux semaines que je lui ai écrit une lettre qui est de beaucoup d'intérêt pour moi; mais il ne daigne ni remplir mes ordres ni me répondre, quoique je lui aie expressément recommandé de m'écrire chaque poste.—Il a du être fort étonné de lire la proposition que je fais à Гаша[11] de venir me rejoindre à P-g. Je vs demande conseil à ce sujet; n'est ce pas une bonne idée de faire venir Гаша pour veiller à mon ménage? Si elle consent, elle n'a qu'à choisir si elle veut aller en malposte ou bien на своих.

Envoyez moi je vs prie le catalogue de ma bibliothèque et ordonnez à André d'envoyer à Moscou prendre le piano et la pendule et les ramener à Ясное.

Je baise vos mains et vous prie de me répondre.

C. Léon Tolstoy

Перевод:

Простите меня, простите, дорогая тетинька, что я так долго не писал вам. Я не пытаюсь перед вами оправдываться, а откровенно сознаюсь, что я негодный, да к тому же я знаю, что вы и не способны на меня сердиться.

Пишу вам из Петербурга, где я нахожусь уже около месяца. Вот как это произошло: приблизительно в конце января двое моих приятелей — Ферзен[1] и Озеров[2] ехали в Петербург. У меня были деньги, и я сел с ними в дилижанс и уехал. Приехав в Петербург, я сделал несколько визитов—П. В. Толстой[3], Пушкину[4], Оболенскому[5], Лаптевым[6].

Я встретился с несколькими друзьями детства — Иславиными[7], Милютиными[8], графами Пушкиными, — все это вполне порядочные люди, которые убеждают меня здесь остаться. И действительно, петербургский образ жизни мне нравится. Здесь у каждого свое дело, каждый работает и занят своими делами, не беспокоясь о других. Хотя подобная жизнь суха и эгоистична, тем не менее она необходима нам, молодым людям, неопытным и не умеющим браться за дело. Жизнь эта приучит меня к порядку и деятельности, двум необходимым качествам, которых мне решительно недостает, словом — к положительной стороне жизни.

Что касается моих планов, вот они: прежде всего хочу выдержать экзамен на кандидата в Петербургском университете; затем поступить на службу здесь или в ином месте, смотря, как укажут обстоятельства. Относительно лета, как и вы, строить планов не хочу. Может быть, останусь здесь, быть может, поеду в Ревель, быть может, в Тулу. Ежели мне удастся все, тогда и решить будет легко.

Не удивляйтесь всему этому, дорогая тетинька, во мне большая перемена; я не в том экзальтированном философском настроении, за которое вы меня так часто бранили в Ясном, и, более чем когда-либо, я сознаю справедливость ваших советов во всех отношениях. Часто я говорю об этом с Костинькой Иславиным, который вас обожает.

Умоляю, сообщите о себе и о всех наших, включая и Николеньку [9], который, наверное, вам пишет. Я так давно потерял вас из виду, что, кажется, скоро забуду, как зовут моих теток, братьев и сестер.

Вот мой адрес: На углу Вознесенского проспекта и Малой Морской, в гостиницу Наполеона.

Что приключилось с Андреем? [10]. Недели две тому назад я написал ему важное для меня письмо, а он не изволит ни отвечать мне, ни исполнять моих приказаний, несмотря на то, что я велел ему писать мне с каждой почтой, Вероятно, он очень удивился, что я предлагаю Гаше [11] приехать ко мне в Петербург. Прошу вашего совета на этот счет. Разве я не хорошо придумал выписать Гашу, чтобы она вела мое хозяйство? Ежели она согласится, пусть сама и решит, ехать ли мальпостом или на своих.

Пришлите мне, пожалуйста, каталог моей библиотеки и прикажите Андрею послать в Москву за фортепьяно и часами и доставить их в Ясное.

Целую ваши ручки и прошу ответа.

Гр. Лев Толстой

Письмо относится к наименее изученному петербургскому периоду жизни Толстого.

[1] Ферзен Герман Егорович, барон, знакомый Толстого. В 1850 — 1852 гг. служил в министерстве внутренних дел начальником хозяйственного департамента.

[2] Озеров Борис Семенович (1827 — 1859), московский знакомый Толстого, с которым он в то время находился в приятельских отношениях. Учился в училище правоведения, но курса не кончил, так как был исключен за дурное поведение.

[3] Толстая Прасковья Васильевна, графиня (1796 — 1879), жена брата деда Толстого по отцу. С ее дочерью, фрейлиной гр. Александрой Андреевной Толстой, Лев Николаевич позднее был в дружеских отношениях и деятельной переписке.

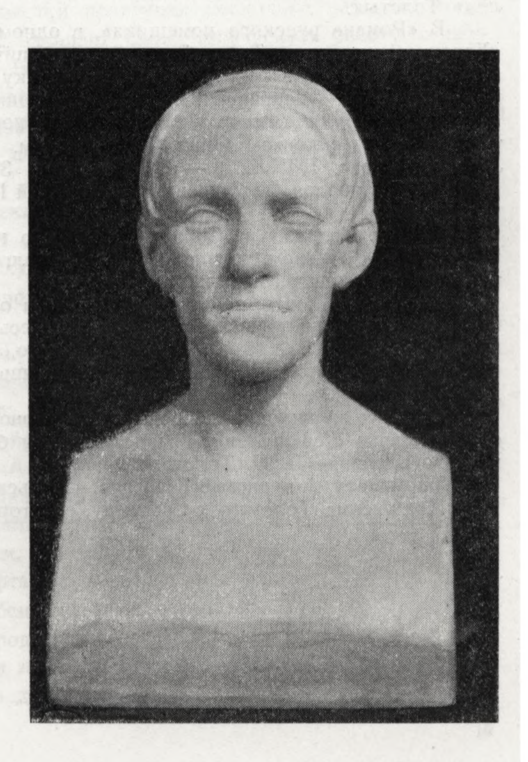
[4] Мусин-Пушкин Михаил Николаевич (1795 — 1862), знакомый Толстого еще по Казани, где в 1827 — 1845 гг. состоял попечителем Казанского учебного округа. С 1845 по 1856 г. был попечителем Петербургского учебного округа.

[5] Оболенский Дмитрий Александрович, князь (1822—1861), знакомый Толстого по Казани, где в 1844 г. служил губернским уголовных дел стряпчим. В 1844 — 1845 гг. был исполняющим должность председателя тульской палаты гражданского суда, а с 1845 по 1851 г. занимал эту должность в Петербурге.

[6] Лаптевы — троюродная тетка Толстого Софья Дмитриевна Лаптева, урожд. кн. Горчакова, и ее муж, полковник Дмитрий Андреевич Лаптев.

[7] Иславины — дети Александра Михайловича Исленьева, деда Софьи Андреевны Толстой по матери, бывшего приятелем отца Толстого.

[8] Вероятно, знакомый Толстого, Владимир Алексеевич Милютин (1821 — 1855), бывавший в доме Толстых во время их жизни в Москве. В 1849 г. Милютин был сту-



НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ

Бюст работы Гильома Гееф, мрамор 1861 г.

Толстовский музей, Москва

дентом последнего курса Петербургского университета, после окончания которого стал в нем адъюнкт-профессором.

[9] Старший брат Толстого, Николай Николаевич Толстой, после окончания в 1844 г. Казанского университета поступил на военную службу в артиллерию и в 1849 г. жил на Кавказе.

[10] Соболев Андрей Ильич, управляющий Ясной Поляны (письмо к нему Толстого см. ниже). Письмо, о котором упоминает Толстой, неизвестно.

[11] Гаша — Агафья Михайловна (1812—1896), бывш. горничная бабки Толстого, гр. Пелагеи Николаевны Толстой, жившая после ее смерти в Ясной Поляне. Изображена Толстым в ряде произведений: в «Дневнике помещика», в образе Гаши в «Детстве» и «Отрочестве» и в лице Агафьи Михайловны, няни Левина, в «Анне Карениной».

4. А. И. СОБОЛЕВУ

[26 мая 1849 г., Петербург]

Я получил от тебя два письма; но не в ответ на мои; удивляюсь. Неужели ты не получал моих писем? Ежели это в самом деле так, то спешу повторить тебе мои приказания.

400 р. с., которые вы зачислили по новому контракту с Копыловым, нужно зачислить по старому, а эти 400 прислать мне в самом скором времени.

Все деньги, которые можно собрать продажею хлеба или лошадей, тоже прошу прислать. Ежели деньги, о которых я говорю, уже подписаны по новом контракте, то занять у Копылова с процентами и выслать.

Пришли список мужиков и дворовых и черновую доверенность для графа Дмитрия Николаевича.

Граф Л. Толстой

Печатается по автографу, хранящемуся в рукописном отделении Всесоюзной библиотеки им. В. И. Ленина (кабинет Л. Н. Толстого).

Адресат — Андрей Ильич Соболев, управляющий Ясной Поляны, из крепостных. Он был управляющим еще при отце Толстого, который, по всей вероятности, отпустил его на волю, так как уже в 30-х годах он в официальных бумагах назывался «служителем» Толстых.

В «Романе русского помещика», в одном из черновых набросков, под заглавием «Характеры и лица», Толстой, описывая капитана Белоногова, говорит, что он «сильно Андрей Ильич», и затем дает характеристику Соболева: «Андрей Ильич — управляющий, его идеал — исправник, и он в достижении его дошел до того, что его принимают иногда за помещика, иногда за отставного поручика. Андрей Ильич у-у-умный человек: голова. Одно — пьет...» (см. т. IV Юбилейного издания сочинений Л. Н. Толстого, ГИХЛ, М.— Л., 1932, стр. 377—378).

А. И. Соболев был управляющим Ясной Поляны до 1852 г., когда за пьянство был уволен.

Письмо Толстого к Соболеву написано им незадолго до его отъезда из Петербурга, где он сильно прожился и наделал долгов. В письме к С. Н. Толстому от 13 февраля 1849 г. Толстой писал:

«Сделай милость, пошли за Андреем и объясни ему, что мне деньги как можно больше нужно, во-первых, чтобы жить здесь, во-вторых, чтобы расплатиться с долгами в Москве. Ежели хлеба недостаточно, чтобы мне в скором времени доставить сверх 250 и 500 р. сер., о которых я уже писал, еще 800 р. сер., так ради бога продай Савин лес...».

«Список мужиков и дворовых» и «черновая доверенность» нужны были Л. Толстому в связи с оформлением раздела между братьями Толстыми. Особенно труден был ввод во владение Л. Н. Толстого.

Упоминаемый в письме Копылов — тульский купец, с которым имел дела Толстой. Два письма Толстого к Соболеву, о которых упоминается в письме, неизвестны.

ПИСЬМО ТОЛСТОГО В. К. ИСТОМИНУ

Публикация Г. Волкова

Публикуемое ниже письмо Толстого является одним из немногих документов, связанных с его работой над собиранием материалов для романа из эпохи Петра I.

После окончания «Войны и мира» Толстой задумал написать новый исторический роман. В письме к А. А. Толстой от марта 1872 г. он писал по этому поводу: «...я начинаю новый, большой труд, в котором будет кое-что из того, что я говорил вам, но все другое, чего я никогда и не думал. Я теперь вообще чувствую себя отдохнувшим от прежнего труда и освободившимся совсем от влияния на самого себя своего сочинения и главное освобожденным от гордости, от похвал. Я берусь за работу с радостью, робостью и сомнениями, как и в первый раз».

Содержанием нового произведения, по замыслу Толстого, должна была служить, главным образом, жизнь народа. Об этом свидетельствует записная книжка Толстого от 4 апреля 1870 г., где изложено впечатление от чтения «Истории» Соловьева: «...читал о том, как грабили, правили, воевали, разоряли (только об этом и речь в истории), приходишь к вопросу: что грабили и разоряли? А от этого вопроса к другому: кто производил то, что разоряли? Кто и как кормил хлебом весь этот народ? Кто делал парчи, сукна, платья, камки, в которых щеголяли цари и бояре? Кто ловил чернобурых лисиц и соболей, которыми дарили послов, кто добывал золото и железо, кто выводил лошадей, быков, баранов, кто строил дома, дворцы, церкви, кто перевозил товары?».

К осуществлению своего замысла Толстой приступал несколько раз. Как и во время работы над «Войной и миром», он начинает свою творческую работу с изучения эпохи. Он читает «Историю Петра I» Устрялова, читает Соловьева, Забелина, Болотова, Котошихина и мн. др. Смотрит исторические портреты, картины, разыскивает новые исторические книги, архивные материалы и все еще не может приступить к работе. Вынашивание замысла романа было, по обыкновению, самым трудным периодом в творческой работе Толстого.

В письме к Н. Н. Страхову от 12 декабря 1872 г. Толстой пишет: «До сих пор не работаю. Обложился книгами о Петре I и его времени, читаю, отмечаю, порываюсь писать и не могу. Но что за эпоха для художника! На что ни взглянешь — все задача, загадка, разгадка которой только и возможна поэзией. Весь узел русской жизни сидит тут. Мне даже кажется, что ничего не выйдет из моих приготовлений. Слишком уж долго я примериваюсь и слишком волнуюсь».

С. А. Толстая в дневнике от 16 января 1873 г. отмечает, что Толстой «записывает в разные записные книжечки все, что может быть ему нужно для верного описания нравов, привычек, платья, жилья и всего, что касается обыденной жизни, особенно народа и жителей вне двора и царя. А в других местах записывает все, что приходит в голову касательно типов, движения, поэтических картин и проч. Эта работа мозаичная. Он вникает до таких подробностей, что вчера вернулся с охоты особенно рано и допытывался по разным материалам, не ошибка ли, что написано, будто высокие воротники носились при коротких кафтанах. Левочка предполагает, что они носились при длинных верхних платьях, особенно у простонародья». Там же 31 января 1873 г. помечено: «Чтение материалов продолжается. Типы один перед другим возникают перед ним. Написано около десяти начал, и он все недоволен. Вчера говорил: «Машина готова вся, теперь ее привести в действие».

Однако, роман о Петре остался ненаписанным. Толстой не мог до конца восстановить эпоху, быт, детали жизни тогдашних людей. Д. П. Маковицкий в своих «Яснополянских записках» приводит слова Толстого: «Я не мог читать «Камо грядеши»,— сказал он.— Это фальшь. Они этой фальши не чувствуют. Я хотел писать исторические романы; не мог восстановить исторической жизни, бросил...».

Описывая азовский поход Петра, Толстой испытывал затруднения вследствие незнания местности. Здесь он вспомнил о своем знакомом, В. К. Истомине, жившем в Новочеркасске, и обратился к нему за помощью. Ответил ли Истомин на публикуемое ниже письмо Толстого — неизвестно. В архиве Толстого его писем нет.

Владимир Константинович Истомин (1848—1914) был дружен с Александром и Петром Андреевичами Берсами, братьями Софьи Андреевны Толстой, и ее дядей Константином Александровичем Иславиным. Через них он познакомился с Толстым. Одно время Истомин сотрудничал в газетах и принимал участие в журнале «Детский Отдых». С 1870 по 1876 г. он жил в Новочеркасске и Таганроге, служа чиновником при атамане Донского войска.

Семь писем Толстого к Истомину находятся в рукописном отделении Толстовского музея в Москве.

Письмо Толстого печатается по автографу, принадлежащему Г. А. Волкову. Было опубликовано в «Литературной Газете» от 20 ноября 1935 г.

[12 января 1873 г.]

Очень и очень рад был получить от вас самих о вас известие, любезный Владимир Константинович. Я все-таки знал про вашу судьбу урывками. И рад очень тому, что вы принимаетесь за умственную (я не говорю литературную, потому что не люблю ни слово, ни дело) работу. Очень интересно мне будет следить за этой работой и потому, что я интересуюсь и вами и казаками больше чем когда-нибудь. Откровенно скажу вам только то, что газетная деятельность не та, которую бы я желал для вас.

С Урусовым[1] мы так же дружны и часто видимся, и я послал ему ваше письмо.

У меня к вам просьба. Вы живете недалеко от Азова. Может быть и сами бывали, а может быть знакомые ваши. Мне нужно вид — картину того места, где стояли войска и были военные действия при Петре. Мне нужно знать: какие берега Дона, Мертвого Донца, Кутерьмы там— где высоко, где низко. Есть ли горы, курганы? Есть ли кусты — челига или что-нибудь подобное? Какие травы? Есть ли кавыл? Есть ли камыш? Какая дичь? Да и вообще течение Дона от Хопра, какой общий характер имеет, какие берега? Может быть есть книги об этом специальные, то назовите.

Простите, что утруждаю вас; но надеюсь, что, если не очень трудно, вы не откажете помочь мне.

Саша[2] на святках был у нас и ваше письмо я получил на другой день его отъезда.

Жена благодарит вас за память и кланяется. Очень рад, что мы опять вошли в сношение с вами.

Искренно преданный

Гр. Лев Толстой

Да нет ли чего-нибудь мне неизвестного местного об азовских походах Петра?

12 генваря.

[1] Урусов Сергей Семенович, князь (1827—1897), сослуживец и приятель Толстого по Севастопольской войне, бывал у Толстых в Москве и Ясной Поляне.

[2] Берс Александр Андреевич (1845—1918), шурин Толстого.

Л. Н. ТОЛСТОЙ

Фотография 1856 г. с дарственной надписью В. А. Иславину

Частное собрание, Ленинград

ПИСЬМО ТОЛСТОГО П. Д. ГОЛОХВАСТОВУ

Публикация Н. Покровской

Павел Дмитриевич Голохвастов (1838—1892), писатель-историк и исследователь русских былин, близко стоял к славянофильским кругам, с некоторыми представителями которых (Ю. Ф. Самарин, кн. С. С. Урусов) в 60—70-х годах встречался и Толстой.

Начало знакомства Льва Николаевича с Голохвастовым надо отнести к 1872 г., к периоду работы над «Азбукой».

Обладая хорошей библиотекой, Голохвастов снабжал Толстого во время его работы над романом из эпохи Петра I книгами по истории этого времени. Одно из немногих напечатанных исследований Голохвастова: «Законы стиха русского и нашего литературного» (М., 1883) было вызвано к жизни Толстым и задумано в виде писем к нему. Голохвастов неоднократно бывал в Ясной Поляне.

Известны 24 письма Толстого к Голохвастову, 23 из них были напечатаны в «Русском Вестнике» (1904, № 11). Местонахождение автографов этих писем неизвестно.

Нижепубликуемое письмо не было отправлено и потому сохранилось в архиве Толстого при Всесоюзной библиотеке им. В. И. Ленина в Москве.

30 марта [1873 г.] Я[сная] П[оляна].

Очень вам благодарен, Павел Дмитриевич, за вашу память обо мне и за присылку книг [1]. Я их еще не получал и нынче посылаю объявление.— Радуюсь вашей свободе и надеюсь, что вы ее употребите хорошо. Мои любимые для вас занятия это — повесть в прозе и былина Ильи для Шатилова [2]. Драма это ваше дело с самим собой, и я сужденья иметь себе не позволяю.

Вы не поверите, что я с восторгом, давно уже мною не испытываемым, читал это последнее время, после вас,— повести Белкина в седьмой раз в моей жизни [3]. Писателю надо не переставать изучать это сокровище. На меня это новое изучение произвело сильное действие. Я работаю, но совсем не то, что хотел [4].

Прочел на-днях «Le petit chose» Daudet [5]. Вероятно Ольга Андреевна [6] обмолвилась, назвав его рядом с Droz [7]. Поэзия и дрова. Но очень хорошая вещь «Prosper Randoce» Cherbuliez [8] — советую прочесть.— Замечательная вещь, что у англичан и французов не переводится поэзия, а у всех остальных европейцев, особенно у немцев — ничего. Как вы это подведете под свою теорию искусства?

До свидания, желаю от всей души вам плодотворной и удовлетворяющей деятельности и прошу не забывать, что я горячо сочувствую вам и вашим замыслам и стремлениям.

Ваш Л. Толстой

При письме сохранился конверт, на котором написано рукой Толстого:

В Воскресенск. Московской губернии
Его высокоблагородию
Павлу Дмитриевичу Голохвастову

На письме помета рукой С. А. Толстой: «Непосланное письмо».

[1] В середине марта 1873 г. Голохвастов впервые приезжал в Ясную Поляну, и, вероятно, Толстой выражал желание иметь еще какие-то источники для романа из эпохи Петра, над которым в этот раз он работал с февраля 1872 г. по март 1873 г. За присылку этих книг он и благодарил Голохвастова.

[2] Шатилов Иосиф Николаевич (1824—1889), председатель Московского комитета грамотности, предпринявшего с 1874 г. издание книг для народного чтения. Очевидно, Толстой имел в виду работу П. Д. Голохвастова над переделкой былины об Илье Муромце для этого издания. Повидимому, эта работа не была осуществлена, так как ни в списках книг для народного чтения, изданных Московским комитетом грамотности, ни в библиографии трудов П. Д. Голохвастова она не значится.

[3] Толстой читал Сочинения Пушкина, изд. П. В. Анненкова, СПБ., 1855 г., т. V, стр. 148—235, «Повести покойного Ивана Петровича Белкина». В яснополянской библиотеке сохранились тт. I, II, IV, V и VI этого издания Пушкина.

Лев Николаевич и впоследствии высоко ценил повести Пушкина. Так, Д. П. Маковицкий в своих «Яснополянских записках» за 1907 г. вспоминает, как однажды, услышав, что С. А. Стахович хвалит стихи Пушкина, он возразил: «Повести Пушкина лучше его стихов, их можно выучить наизусть» (рукопись). А. Б. Гольденвейзер 1 октября 1910 г. записал, что Толстой перечел «Метель» и восхищался мастерством рассказа: «Главное у него — эта простота и сжатость рассказа: никогда ничего лишнего» (Гольденвейзер А. Б., Вблизи Толстого, кн. II, стр. 305).

В. Ф. Булгаков в своем дневнике 1910 г. 1 октября записал, что Толстой, перечитав «Метель», спросил его: «Вы помните у Пушкина «Метель»? Очень мило!.. Манера письма прекрасная: так ясно, твердо» (Булгаков В., Лев Толстой в последний год его жизни, М., 1918, стр. 331—332).

[4] 18 марта 1873 г. Толстой начал писать роман, получивший впоследствии название «Анна Каренина». С. А. Толстая в своей тетради «Мои записки для разных справок» записала, что именно в этот день утром Лев Николаевич стал перечитывать случайно попавшийся том Пушкина «анненковского издания» и восхищался им. Вечером он опять читал разные отрывки оттуда и «под влиянием Пушкина стал писать».

Сохранившийся лист наброска «Анны Карениной», написанный Толстым 18 марта и названный им «Молодец баба», напоминает своим началом «Отрывок» Пушкина, начинающийся словами: «Гости съезжались на дачу» («Отрывок» этот см. на стр. 502—506 вышеупомянутого тома Сочинений Пушкина).

20 марта С. А. Толстая писала Т. А. Кузминской: «Вчера Левочка вдруг неожиданно начал писать роман из современной жизни. Сюжет — неверная жена и вся драма, происшедшая от этого». Мысль об этом сюжете явилась у Толстого много раньше. С. А. Толстая в своих «Записках» за 1870 г. под 24 февраля пишет: «Вчера вечером он мне сказал, что ему представился тип женщины замужней, из высшего общества, но потерявшей себя. Он говорил, что задача его — сделать эту женщину только жалкой и невиноватой и что, как только ему представился этот тип, так все лица и мужские типы, представлявшиеся прежде, нашли себе место и сгруппировались вокруг этой женщины.— Теперь мне все выяснилось,— говорил он».

[5] Додэ Альфонс (Daudet Alphonse, 1840—1897), Le petit chose. Histoire d'un enfant.

[6] Голохвастова Ольга Андреевна, жена П. Д. Голохвастова, писательница. С 1877 г.— член Общества любителей российской словесности при Московском университете.

[7] Дроз Густав (Droz Gustave, 1832—1895), автор бытовых романов и повестей. 4 февраля 1873 г. С. А. Толстая писала Т. А. Кузминской, что по вечерам они со Львом Николаевичем читают вслух роман Дроза «Babolin» и что он им очень нравится.

[8] Шербюлье Виктор (Cherbuliez Victor, 1829—1899), французский романист, до 1864 г. педагог, а с этого года сотрудник «Revue des Deux Mondes». Толстой читал его роман «Prosper Randoce», Paris, 1868.

В одном из неопубликованных писем Толстого, писанных незадолго до начала работы его над «Анной Карениной», упоминается еще одна книга, которая, насколько нам известно, осталась вне поля зрения изучающих этот роман, но, несомненно, интересная как по своей тематике, так и по отзыву Толстого о ней. 1 марта 1873 г. он писал Т. А. Кузминской: «Прочла ли ты «L'homme-femme»? Меня поразила эта книга. Нельзя ждать от француза такой высоты понимания брака и вообще отношения мужчины к женщине». Речь шла о сочинении A. Dumas-fils «L'homme-femme. Réponse à M. Henri d'Ideville», Paris, 1872.

Содержание этой книги составляют рассуждения о браке, вызванные статьями по поводу нашумевшего в то время процесса над мужем, убившим изменившую ему жену.

Вместо вышепубликуемого письма от 30 марта Толстой около 10 апреля послал Голохвастову другое, в котором, между прочим, писал:

«Давно ли вы перечитывали прозу Пушкина? Сделайте мне дружбу, прочтите сначала все повести Белкина. Их надо изучать и изучать каждому писателю. Я на днях это сделал и не могу вам передать того благодетельного влияния, которое имело на меня это чтение. Изучение это чем важно? Область поэзии бесконечна, как жизнь; но все предметы поэзии предвечно распределены по известной иерархии и смешение низших с высшими, или принятие низшего за высший есть один из главных камней преткновения. У великих поэтов, у Пушкина, эта гармоническая правильность распределения предметов доведена до совершенства. Я знаю, что анализировать этого нельзя, но это чувствуется и усваивается. Чтение даровитых, но негармонических писателей (то же музыка, живопись) раздражает и как будто поощряет к работе и расширяет область; но это ошибочно; а чтение Гомера, Пушкина сжимает область и если возбуждает к работе, то безошибочно».

Письмо это в вышеупомянутой публикации 1904 года было отнесено к 1874 г. Однако, сопоставление ряда фактов и свидетельств других документов не оставляет никаких сомнений в том, что оно, как и письмо от 30 марта, было написано в 1873 г. Это обстоятельство делает совершенно несомненным факт чтения Толстым «Повестей Белкина» Пушкина непосредственно перед началом работы над «Анной Карениной».

ПИСЬМА ТОЛСТОГО Н. Н. СТРАХОВУ

Публикация А. Петровского

Толстой познакомился с литературным критиком и философом Николаем Николаевичем Страховым (род. 16 октября 1828 г., ум. 24 января 1896 г.) в 1871 г. Но статьи Страхова еще раньше обратили на себя его внимание. 19 марта 1870 г. Толстой написал ему (но не отправил) большое письмо по поводу его разбора русского перевода книги Д.-С. Милля «О подчинении женщины». В ноябре 1870 г., после своих статей о «Войне и мире», Страхов обратился к нему с просьбой дать что-нибудь для напечатания в редактируемой им «Заре». Толстой «отвечал, что у него ничего нет, — рассказывает Страхов в своей автобиографической заметке [1], — и прибавил настоятельную просьбу заехать к нему в Ясную Поляну. В 1871 г. я... в июне поехал погостить у своих родных в Полтаве. Возвращаясь в Петербург, я остановился в Туле, переночевал, взял извозчика и поехал в Ясную. С тех пор мы видаемся каждый год, т. е. обыкновенно я летом гощу у него месяц, полтора. Мы иногда спорили, охладевали друг к другу, но добрые чувства скоро брали верх; семья его полюбила меня, и теперь во мне видят старого, неизменного друга, каков я и есть на самом деле» и каким, добавим, считал его и Толстой, называвший его своим «дорогим и единственным духовным другом» [2].

Отношение Страхова к Толстому, как к художнику и мыслителю, граничило с преклонением, а его привязанность сквозила во всех письмах не только к самому Толстому, но и к другим лицам. Он гордился тем, что его статья о «Войне и мире», эта «критическая поэма в четырех песнях» [3], была первой, отметившей гениальность этого произведения. По словам Т. А. Кузминской, Толстой сам считал эту статью лучшей критикой своего романа, написанной тонко и с большим пониманием. Толстой, в свою очередь, относился к Страхову с чувством большого уважения и любви, ценя в нем человека, одаренного художественным чутьем, и острого мыслителя. В течение ряда лет Страхов был ближайшим помощником Толстого в его литературных делах. Под его непосредственным наблюдением печаталась «Азбука», он правил корректуры «Анны Карениной», при его участии было издано в 1873 г. Собрание сочинений Толстого.

Громадная переписка Толстого со Страховым, охватывающая период с 1870 по 1896 г., опубликована еще далеко не вся. 70 писем Толстого были напечатаны в приложении к «Современному Миру» (1913, №№ 1—7, 9—12) и выпущены затем отдельной книгой в издании Общества Толстовского музея — «Толстовский музей», т. II. «Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым. 1870 — 1894. С предисловием и примечаниями Б. Л. Модзалевского» (СПБ., 1914; в дальнейшем обозначаем сокращенно: ПС). В это издание вошло и около 200 писем Страхова.

В 1893 г., еще при жизни Страхова, с писем Толстого к нему были сняты рукописные копии знакомыми Страхова— писателем Александром Модестовичем Хирьяковым и его женой Евфросинией Дмитриевной. Копии эти были переданы в архив В. Г. Черткова, но сохранились, к сожалению, не в полном составе. Из копий А. М. Хирьякова сохранилось 69 (из них 7 неполных — без начала или конца), а из копий Е. Д. Хирьяковой — 49 при чем 24 из них являются дополнениями к копиям А. М. Хирьякова. По этим копиям П. И. Бирюковым в его биографии Толстого, полностью или отрывками, было опубликовано 23 письма (Бирюков П. И., Лев Николаевич Толстой. Биография, т. II, М., изд. «Посредник», 1908), которые были затем перепечатаны в издании П. А. Сергеенко («Письма Л. Н. Толстого, собранные и редактированные П. А. Сергеенко», т. I—II., М., изд. «Книга». 1910—1911; сокращенно: ПТС).

Кроме того, 24 письма были опубликованы Н. Н. Гусевым («Толстой и о Толстом. Новые материалы. Сборник второй», М., изд. Толстовского музея, 1926, отр. 24—64; сокращенно: ТТ). Если к этому прибавить еще несколько единичных писем, появившихся в журналах и альманахах (в газете «Русь», 1881, № 16; в альманахе «Радуга», СПБ., 1922) или в вышедшем уже LXIII томе Юбилейного издания Толстого, то этим исчерпываются все публикации писем Толстого к Страхову.

Ниже мы публикуем еще 26 писем, до сих пор или совсем неизвестных, или же известных лишь по нескольким выдержкам, приведенным П. И. Бирюковым и Н. Н. Гусевым в их биографиях Толстого. Большая часть писем (20) печатается по копиям А. М. и Е. Д. Хирьяковых, 2 письма — по автографам и 4 — по машинописным копиям, снятым, повидимому, когда-то с утраченных ныне хирьяковских копий. Письма приходятся на период с 1870 по 1877 г. и отражают, главным образом, работу Толстого над «Азбукой» и «Анной Карениной».

Большинство печатаемых здесь писем не имеет авторской даты. Но на письмах сохранились пометки Страхова, которые могут означать или дату принятия письма на почту в Туле или в Ясенках, или дату прибытия письма в Петербург. Эти пометки Страхова, перенесенные переписчиками на копии, мы приводим в квадратных скобках, оговариваясь, что с датой написания они могут иногда совпадать, иногда же расходиться на два три дня.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] См. Никольский Б. В., Н. Н. Страхов, СПБ., 1896, стр. 50.
[2] Письмо к Страхову от 27 ноября 1877 г. (ТТ, 2, стр. 38).
[3] Письмо к Толстому от 26 ноября 1873 г. (ПС, стр. 38).

1

[25 ноября 1870 г., Ясная Поляна]

Милостивый государь Николай Александрович! [1]

Вы не поверите, как мне больно отказать в содействии уважаемому журналу [2] и в особенности вам; но я не могу поступить иначе. Судите сами: у меня не только нет названия тому, что я буду писать (названий вообще я никогда не умею придумывать и приискиваю большей частью, когда все написано), но и нет ничего, над чем бы я работал. Я нахожусь в мучительном состоянии сомнений, дерзких замыслов невозможного или непосильного и недоверия к себе и, вместе с тем, упорной внутренней работы [3]. Может быть, это состояние предшествует периоду счастливого, самоуверенного труда, подобного тому, который я недавно пережил [4], а может быть, я никогда больше не напишу ничего. Так вот почему я решительно не могу ничего обещать, как ни сильно я бы желал напечатать в Заре. Одно, что могу сказать — что если мне суждено написать еще что-нибудь, то, если это будет не длинно, я все отдам в Зарю, если длинно, то часть всего. Я понимаю, что для журнала нужно теперь, сейчас, в декабре, по крайней мере, а потому, если бы я вдруг начал работать и дошел бы до того состояния, в котором чувствуешь, что работа завладевает тобою, и потому уверен, что кончишь, я бы тотчас же известил вас и прислал бы вам название. Но это мало вероятно. Вот и все о делах. Теперь позвольте мне благодарить вас—не благодарить—потому что не за что, так же как и вам меня, а выразить ту сильнейшую симпатию, которую я чувствую к вам, и желание узнать вас лично. Я в Москве не был уже с год [5], а в Петербурге надеюсь не быть никогда; поэтому мне мало шансов увидеть вас; но я воспользуюсь всяким случаем и прошу вас сделать то же; может быть, вам придется когда-нибудь проезжать по Курской дороге. Если бы вы заехали ко мне, я бы был рад, как свиданью с старым другом. Искренно любящий и уважающий вас

Гр. Л. Н. Толстой

Печатается по машинописной копии, хранящейся в Толстовском музее (в дальнейшем сокращенно: ГТМ). Дата копии.

[1] Толстой еще не был тогда знаком со Страховым и ошибся в его отчестве.

[2] Толстой отвечает на не дошедшее до нас письмо Страхова, в котором тот просил его дать что-нибудь для редактируемой им «Зари» (ежемесячный журнал либерально-славянофильского направления, издававшийся в Петербурге В. В. Кашперевым с 1869 по 1872 г.; в числе сотрудников были Ф. М. Достоевский, А. Н. Майков, Н. Я. Данилевский, М. П. Погодин, Д. В. Аверкиев и др.).

[3] О замыслах Толстого в этот период нельзя сказать ничего определенного, так как от них ничего не осталось. В начале года в нем пробудился интерес к драматиче-

Н. Н. СТРАХОВ

Фотография

Институт литературы, Ленинград

ской форме, он усиленно читал драматические произведения: Шекспира, Гёте, Мольера, Пушкина и Гоголя и, по словам С. А. Толстой, собирался «писать комедию» («Дневники Софьи Андреевны Толстой. 1860—1891». М., 1928, стр. 31; в дальнейшем сокращенно: ДТС, I). Однако, это намерение было вскоре оставлено, и осенью 1870 г. Толстой был занят, повидимому, опять каким-то широким эпическим полотном. «Я тоскую и ничего не пишу, а работаю мучительно, — писал он А. А. Фету 17 ноября. — Вы не можете себе представить, как мне трудна эта предварительная работа глубокой пахоты того поля, на котором я принужден сеять...» (архив Толстого во Всесоюзной библиотеке им. В. И. Ленина; в дальнейшем сокращенно: АТБ).

[4] Имеется в виду работа над «Войной и миром».

[5] Толстой был перед этим в Москве в марте 1870 г.

2

[13 декабря 1873 г., Ясная Поляна]

О, дорогой Николай Николаевич, как бы я дорого сейчас (получив ваше письмо) дал за час беседы изустной с вами, вместо того чтобы писать.— Я недавно перечитывал Montaign'a[1], и он говорит в одном месте: à moins qu'ils ne me donnent une explication plus embrouillée que la chose même[2]. И вспомнил это, когда читал ваше объяснение и доказательство необходимости понятия массы и инерции. Эти оба понятия с детства моего не укладывались в мою голову, помимо вопросов специально астрономических. И вот почему: понятие массы нам необходимо для объяснения силы. Самое же понятие массы включает в себя понятие силы, связующей все частицы массы. Понятие инерции основано на понятии массы и есть только отрицательное понятие движения.—Но я не говорю, чтобы эти отвлечения не были полезны для объяснения астрономических законов, я говорю, что для общих физических законов они ничего не объясняют и только путают и лишают всякой возможности открытия лучшего объяснения. Мне кажется, что для каждого объяснения должен быть составлен баланс, более ли оно объясняет, чем затемняет, и только когда оно более объясняет, оно может быть принято. Человек с здоровым и, допустим, до высшей степени образованным математически и словесно умом желает понять законы силы — той силы, которую он сознает в себе, и сил, которых действия он чувствует на себе беспрестанно, и ему говорят: инерция, масса и, виноват, всю ту путаницу по отношению к физическим явлениям, кот[орую] вы выписываете из Ньютона. Этот человек выслушает и скажет: для чего мне вся эта на веру принятая путаница, когда у меня есть другие, несомненные понятия о силе, заключающейся во мне самом, и о сопротивлениях этой силе— стало быть других силах, воздействие которых на меня и составляет мою жизнь. Законы отношений масс к силам я вижу в самых грубых проявлениях механической силы; но я не о том спрашиваю. Закона же инерции я не вижу и не могу понять, для чего он мне нужен. Я вижу другие два закона коренные, кот[орые] мне нужно объяснять, п[отому] ч[то] они сознаны мной. Это закон силы жизни во мне, и по посылке, кот[орую] я делаю во всем, что воздействует на меня (я вижу эту такую же силу в гниении (химическом процессе) и в махании хвостом собаки), и другой— закон тяготения, которому подчинены все эти другие силы, подчинены или связаны, переплетены, я не знаю; но вот две основы, с которых может начинаться всякое физическое объяснение. Если физическая философия найдет отношение этих сил, сведет их в одну, я буду очень рад. Если физ[ическая] фил[ософия] отбросит обе эти мне кажущиеся только основы и найдет одну, более простую и неизвестную мне, я буду очень рад. Но если физическая философия наговорит мне всякой чепухи, вследствие которой эти две сознаваемые мною простые основы всего физического мира распадутся на бесчисленное количество выдуманных понятий массы, инерции, химического сродства, притяжения, отталкивания, упругости и мн[огого] др[угого], а вместе не объяснит мне отношения этих двух основ, то я могу только подивиться и подумать о том, каким путем могли дойти умные люди до такой бессмыслицы. И это объяснение я нахожу в том, что ньютоновская гениальная мысль для объяснения видимого движения небесных тел, весьма удобная для астрономии, перенесена в физику. И тот же прием, естественный для объяснения небесных тел, рассматривая их отдельно (Сатурн нельзя смешать с Сириусом, пот[ому] ч[то] они на мильоны верст, но не атом даже, а видимую крупинку железа нельзя рассматривать отдельно по ее массе), перенесен в физику, и все изучение посвящено на бесконечно малые, т. е. на такие,

где можно врать, что угодно, и утешаться тем, что логически правильно построенная формула, пропущенная через ряд математических вычислений или физических соображений, выйдет опять, хотя и в другой форме, но логически правильно построенною.

Знать сущности вещей мы не можем. Весь успех наук состоит только в том, чтобы находить такую точку зрения, с которой легче обнимать наибольшее количество явлений (поэтому Линеева[3] классификация — в самом низком роде — но успех науки), и вся астрономия есть только классификация весьма искусная. Таблица этой классификации очень хитрая, искусная и потому легко много обнимающая. Я нисколько не верю в то, что земля вертится и круглая et cet., но я знаю, что это лучшая точка зрения, и потому благодарен за ее приобретение. Точно того же я ищу в физике и нахожу совершенно противуположное. Мало того, я вижу, что они вовсе потеряли из вида то, что одно есть на потребу, т. е. объяснение видимых и сознаваемых явлений, и что они, приняв годное для астрономии предположение Ньютона, гнут на то же объяснение физических явлений.

Смейтесь надо мной, браните меня, но будьте снисходительны во внимание того, что я такое к вам имею доверие, что выкладываю вам мысли сыры[е], к[оторые] и не следовало бы так говорить необдуманно.

Моя работа с романом на-днях только пошла хорошо в ход[4]. А то все был нездоров и не в духе.

Отвечайте пожалуйста[5].

Ваш Л. Толстой

Печатается по автографу, хранящемуся в ГТМ. Ответ на письмо Страхова от 7 декабря 1873 г., являющееся, в свою очередь, ответом на неизвестное нам письмо Толстого. В письме этом продолжается спор по поводу основных понятий физики и механики, возникший, повидимому, на почве чтения и обсуждения Толстым последней книги Страхова «Мир, как целое». Дата Н. Н. Страхова.

[1] «Мысли» Монтэня (1533—1592) остались до конца жизни любимой настольной книгой Толстого. Письмом к А. Л. Толстой от 28 октября 1910 г., уже после своего ухода из Ясной Поляны, он просил прислать ее ему в Шамордино.

[2] «Разве только они дадут объяснение еще более запутанное, чем сам предмет».

[3] Линней Карл (1707—1778), шведский естествоиспытатель, создавший систему классификации растений.

[4] Толстой в это время заканчивал первую часть «Анны Карениной». В начале марта 1874 г. он отдал ее в «Русский Вестник», где она увидела свет, однако, только в первой книжке 1875 г. Увлечение педагогическими вопросами отвлекло его от продолжения работы над романом, и только зимой 1874—1875 г. он, с большой неохотой, снова принялся за него.

[5] Ответ Страхова неизвестен.

3

[25 августа 1875 г., *Ясная Поляна*]

Дорогой Николай Николаевич.

Сейчас (2-й день нашего возвращения из Самары) прочел П о с л е д н е г о и д е а л и с т а[1] и очень вам благодарен за него. Вместе с вашими последними письмами и этим, я имею от вас все то, что вы хотите и можете сказать о себе[2], и, признаюсь, я много, много узнал нового.

Я узнал, главное, то из вашей повести, о чем я и догадывался всегда, что ваше сочувствие ко мне и мое к вам основано на необыкновенной родственности нашей духовной жизни. Я надеюсь, что эта отрезанность пуповины, это равнодушие к одной стороне жизни есть только признак другой пуповины, пропускающей более сильные соки, и надеюсь, что ни вы, ни я не хотели бы променяться с теми, которым мы лет 25, 20 тому назад так завидовали.

И как вы правы, что Гамлет Щ[игровского] у[езда] [3] и лишние люди не произошли от того, что Ник[олай] Павлов[ич] [4] любил маршировку, как нам это внушают Анненковы [5], и что это не есть плачевная слабость одного периода русской жизни, или даже вообще русского человека, а это есть громадная, новая, не понятная Европе, понятная индейцу сила. Признаюсь вам; я всегда чувствовал то, что чувствовал ваш герой и Гамлет, но никогда не жаловался на это, а гордился и радовался и теперь, чем ближе к смерти, тем больше радуюсь.

Мы приехали 3-го дня благополучно. Я не брал в руки пера два месяца и очень доволен своим летом. Берусь теперь за скучную, пошлую А[нну] Карен[ину] [6] и молю бога только о том, чтобы он мне дал силы спихнуть ее как можно скорее с рук, чтобы опростать место — досуг, очень мне нужный — не для педагогических, а для других, более забирающих меня занятий. Педагогические занятия я люблю также, но хочу сделать усилие над собой, чтобы не заниматься ими.

Что вы делаете? Успокоились ли вы от грустных впечатлений кончины вашего брата? [7]. Главное, работаете ли вы? и что? Мое знакомство с философом Соловьевым [8] очень много дало мне нового, очень расшевелило во мне философские дрожжи и много утвердило и уяснило мне мои самые нужные для остатка жизни и смерти мысли, которые для меня так утешительны, что если бы я имел время и умел, я бы постарался передать и другим.

Есть ли надежда увидаться с вами нынешний год? Не поедете ли куда-нибудь через Москву? В Москву я бы приехал к вам, или вы приехали ко мне. К себе же звать вас из Петербурга я разумеется не смею.

Ваш Л. Толстой

Печатается по машинописной копии из архива В. Г. Черткова. Дата копии.

[1] «Последний из идеалистов (Отрывок из ненаписанной повести)» Н. Н. Страхова. Написан в 1866 г. и в том же году напечатан в «Отечественных Записках», т. CLXVII, № 7, отд. I, стр. 105—124; позднее вошел в книгу: Страхов Н. Н., Воспоминания и отрывки, СПБ., 1892, стр. 257—295.

[2] Из писем Н. Н. Страхова, написанных «о себе» до настоящего письма, известно письмо из Рима от 22 апреля 1875 г., в котором он, между прочим, писал: «Вы задаете мне несколько вопросов и даже упрекаете меня в той (будто бы моей) мысли, что вы об одном себе думаете. Нет, Лев Николаевич, этой мысли у меня нет, я знаю, как вы добры, и чувствую вашу любовь. Но я писал вам все об вас да об вас, потому что искренно вхожу в ваши интересы и мысли. Я поступаю так почти со всеми, даже иногда с пустейшими людьми,— с вами же считаю это и за долг и за радость. Но что правда, то правда, я от вас скрывался, я не был откровенен, говоря о самом себе. Отчего же? Скажу прямо — мне было стыдно открывать вам то уныние, тот упадок духа, которые овладевают мною.

Я думал: вольность и покой
Замена счастью. Боже мой!
Как я ошибся, как наказан!

Может быть я переживу этот период, и обновится «моя юность яко орля», но теперь я не вижу выхода. Вот два года, как я ищу дела и не нахожу его. Все меня слабо интересует, все не дорастает до огня, который бы согрел мою душу. На эту тему я мог бы писать без конца, но мне это стыдно, да притом это совершенно бесполезно и никому не интересно. В конце письма вы высказываете очень хорошее пожелание: «будьте сильны», вы пишете. Да, именно этого мне следует пожелать» (ПС, стр. 61—62).

[3] «Гамлет Щигровского уезда» — рассказ И. С. Тургенева, напечатанный в «Современнике», 1849, № 2.

[4] Николай I.

[5] Анненков Павел Васильевич (1813—1887), критик и мемуарист.

[6] 26 августа С. А. Толстая писала Т. А. Кузьминской: «Левочка налаживается писать и ходит на охоту» (ГТМ), но наступивший вскоре после этого период болезней в семье Толстых (коклюш, преждевременные роды и т. д.) не дал возможности Толстому работать, и он в октябре снова писал А. А. Фету: «Надеюсь приняться за рабо-

ПЕРВАЯ СТРАНИЦА ПИСЬМА Л. Н. ТОЛСТОГО К Н. Н. СТРАХОВУ ОТ 13 ДЕКАБРЯ 1873 г.

Толстовский музей, Москва

ту», и лишь 12 декабря С. А. Толстая могла написать Т. А. Кузминской, что «Левочка начинает заниматься романом» (ГТМ).

[7] О брате Н. Н. Страхова мы никакими сведениями не располагаем.

[8] Владимир Сергеевич Соловьев (1853—1900) около 10 мая приезжал в Ясную Поляну (см. ниже переписку Соловьева с Толстым).

4

[1—20 декабря 1875 г., Ясная Поляна]

Ваше письмо, дорогой Николай Николаевич, произвело на меня такое сильное впечатление, что защипало в носу и слезы выступили в глаза [1]. Это впечатление производит на меня выражение всего настоящего, «Das Echte», которое так не часто встречается. Поразило оно меня еще и потому, что оно спрашивало то самое, или, по крайней мере, делало вопросы из той самой области, в которой я сам для себя, пред этим, писал ответы на занимающие меня вопросы [2].

Я вам посылаю то, что я написал вроде предисловия к задуманному мною философскому сочинению. Вы увидите из этого, что из 3-х вопросов Канта меня (в этом различие наших характеров) занимает только, и с детства занимал, один последний вопрос — на что мы можем надеяться?

Различие между мною и вами только внешнее. Для всякого мыслящего человека все три вопроса нераздельно связаны в один — что такое моя жизнь, что я такое? Но каждому человеку инстинкт предчувствия, опыт ума — что... [3] указывает на то, какой из этих трех замков этих дверей легче отпирается, для какого у него есть ключ, или, может быть, к какой из дверей он приткнут жизнью, но несомненно то, что достаточно отворить одну из дверей, чтобы проникнуть в то, что заключается за всеми. Я вполне понял то, что вы говорите, и хотя бы желал дождаться вашего разъяснения и разграничения пассивной и активной деятельности, я не могу воздержаться от желания изложить вам мой ответ на этот вопрос: что я должен делать?

Я знаю, что это очень дерзко и может показаться странным и легкомысленным — отвечать на такой вопрос на 2-х почтовых листках бумаги, но я имею причины, по которым считаю, что не только могу, но должен это сделать. И сделал бы это, если бы я писал не письмо вам, близкому человеку, но если бы я писал свою profession de foi, зная, что меня слушает все человечество.

Вот какие это причины:

(Пожалуйста слушайте меня внимательно, не сердитесь на это отступление и поправьте, что не точно, уясните, что не ясно, и опровергните, что не верно. Это отступление есть в сущности то, что называют изложением метода.)

При всяком научном изложении предполагается, что излагаемая наука неизвестна слушателю или читателю. Если даже что и известно, то излагающий науку требует, чтобы читатель забыл то, что он знает, и излагающий начинает сначала определять по-своему, сообразно с имеющимися в виду целями науки, каждое известное слушателю явление. Полагаю, что вы, прочтя это, уже сами подставили примеры из математических, естественных и политических наук, которые подтвердили то, что таков прием и ход изложения всех наук.

Прием этот во всех науках естественен и необходим, потому что результаты знания (в какой бы то ни было отрасли наук) не могут быть известны слушателю — он не может понять их и поверить в их действительность, если прежние понятия его о явлениях известной области зна-

ния не были исправлены и если он не был введен шаг за шагом в объяснение первых явлений.

Человек не может узнать вес солнца и поверить в истинность вычисления, если ему не показано, что солнце не ходит; и не может поверить в дарвинову систему, если понятие лошади, рыбы и т. д. не заменено в нем понятиями организма и его функциями.

Нужно заметить еще то, что в изложении всех наук прием изложения, поправки, которые делаются в понятиях слушателя, т. е. способ определения простейших явлений науки делается не по одному общему закону, но всегда только сообразно с последними результатами, которых достигла наука (и которые, хотя и известны излагающему, не известны слушателю), так что определение простейших явлений представляется и действительно есть произвольно, или зависимо от той степени, на которой стоит наука. Во времена древних говорили — огонь — стихия, во времена Ньютона — истекающие лучи, теперь говорят — движение эфира. Все науки не могут поступать иначе, ибо есть всегда известные излагающему и неизвестные слушателю результаты науки, к убеждению которых надо привести слушателя.

Одна только философия (настоящая философия, имеющая задачей ответить на вопросы Канта, объяснить смысл жизни) не имеет этого свойства других наук, заключающегося в том, чтобы, поправляя первобытные простейшие понятия слушателя и давая им новые определения, привести его к известным излагающему и неизвестным слушателю последним разультатам, до которых достигла. Я говорю, что философия (настоящая) не имеет этого свойства, а между тем стоит только почитать все те книги, на обертках которых написана философия, для того, чтобы найти во всех этих книгах именно то свойство, которого, по многим словам, чужда философия. Это происходит, во-первых, оттого, что многие из этих книг вовсе не философия, как все позитивистические сочинения такого рода, в которых со всею строгостью применяется и может быть применяем научный метод, другие же — истинно философские книги (Декарт, Спиноза, Кант, Фихте, Гегель, Шопенгауэр), но в изложении которых принят несвойственный предмету метод. (Платон резко выделяется из всех правильностью, по моему мнению, своего философского метода. Шопенгауэр ближе всех к нему...) Все философские сочинения с этой точки зрения подразделяются для меня на три отдела.

1) Материалистов, позитивистов, которые, ставя низко, и потому неверно, цель философии, с полной строгостью применяют к философии общий научный метод и вполне достигают своей цели; но по сущности своей цели остаются вне философии.

2) Идеалисты, спиритуалисты, которые ставят цель философии во всем ее объеме; но для изложения ее берут общие научные приемы, от которых, по мере силы и глубины мысли, они более или менее отступают (Гегель никогда не отступает, Шопенгауэр беспрестанно).

3) Платон, Шопенгауэр и все религиозные учения ставят настоящую цель философии и в изложении ее не держатся научного метода, т. е. не поправляют первобытных и простейших понятий слушателей, а отыскивают смысл жизни, не разлагая на составные части тех понятий, из которых слагается жизнь для каждого человека.

Но вы, может быть, спросите меня — по какому праву я делаю такое смелое подразделение всех философских учений на основании положения о различии метода философии и всех других наук, тогда как необходимость этого различия не доказана.

Необходимость этого различия доказывается следующим.

1) Если справедливо, что научный метод изложения состоит в том, чтобы исправлять понятия слушателя об известных предметах и заменять

их известными точными определениями, с целью вести его путем этих определений до понятия общих законов, то очевидно, что в философии прием этот неприменим, ибо на самой высшей ступени философского знания ни одно из тех основных понятий, из которых слагается философское знание, не может быть известно, иначе понимаемо, иначе определено. В астрономии понятие низко ходящего солнца зимою заменяется совершенно другим понятием — перемены положения земли на своей орбите, или в физике или в химии понятие огня на светильне — понятием химического соединения; но основные понятия философии, элементы, из которых она слагается, никогда не могут изменяться и не изменились с тех пор, как мы знаем человечество — ни у дикого, ни у мудрого. Мое тело, моя душа, моя жизнь, мое желание, моя мысль, мне больно, мне дурно, мне хорошо, мне радостно, всегда одни и те же и не могут быть ни яснее, ни темнее ни для дикого, ни для мудрого. Следовательно, к философии, к такому знанию, которое имеет предмет, душу, жизнь, мысль, радость и т. д., научный прием поправления и переопределения тех понятий, из которых состоит наука, не приложим.

2) Доказательство того, что к философии не приложим научный прием, я основываю на том, что всякая наука начинает с того, что в каждом подлежащем науке явлении она отделяет ту сторону, которая подлежит ей, резко отстраняя от своего ведения все другие стороны явления. И пройдя весь свой путь, всякая наука обобщает только одну сторону явлений, не только не заботясь о согласии других сторон явлений с выведенными ею данными, но часто торжествуя это несогласие, доказывающее успехи науки. Философия же по самой своей задаче не может устранить ни одной стороны из тех явлений, которые занимают ее. Самые предметы, которыми занимается философия, жизнь, душа, воля, разум, не подлежат рассечению, устранению известных сторон. Явления, составляющие предмет науки, суть явления, познаваемые нами посредственно в внешнем мире; явления же, составляющие предмет философии, все познаются нами в внутреннем мире непосредственно, и мы можем наблюдать их в внешнем мире только потому, что знаем их из внутреннего мира, — и эти явления только тогда могут составлять предмет философии, когда они взяты в своей цельности, т. е. такими, какими мы их познаем непосредственно. Возьмите для примера жизнь, волю, разум. Жизнь, как деятельность организма, может быть предметом физиологии, как явление в государстве — предметом права, истории, как ряд химических процессов — предметом химии, как ряд физических явлений — физики; но жизнь, как предмет философии, есть жизнь во всей ее цельности, т. е. то, что все живущее знает о себе. Итак, если в изложении наук необходимо избрание одной стороны явлений и отстранение всех других, то по сущности предмета философии этот прием не приложим к ней.

3) Доказательство состоит в том, что убедительность положений, даваемых каждою наукой, состоит, как говорит Шопенгауэр, в логической, физической, математической или моральной необходимости, в том, что, отстранив известную сторону явлений и излагая только одну, излагающий рядом выводов приводит слушателя к убеждению в тех общих законах, которые выводятся из этих сторон явлений; и слушатель формально бывает вполне неотразимо убежден в сообщенных ему этим путем данных, внутренне же остается совершенно свободен от принятых им убеждений.

Совсем не то происходит при изложении философии. При философском изложении невозможно переопределять тех понятий, из которых слагается философское знание, невозможно урезывать эти понятия, а нужно оставлять их во всей их цельности, так как эти понятия, при-

обретаемые непосредственно, и потому невозможно из этих понятий строить цепь какой бы то ни было необходимости. Все эти понятия не подчиняются ни одному из выставленных Шопенгауэром положений о достаточности оснований. Все эти понятия не подлежат логическим выводам, все они равны между собой и не имеют логической связи; и вследствие того убедительность философского учения никогда не достигается логическими выводами, а достигается только гармоничностью соединения в одно целое всех этих нелогических понятий, т. е. достигается мгновенно, без всяких выводов и доказательств, и имеет только один прием доказательств — тот, что всякое другое им данное соединение бессмысленно. Поэтому под гармоническим соединением я разумею только наилучшее соединение. В подтверждение этого положения я прошу вас вспомнить недействительность философских научных теорий и действительность и силу религий не на одни грубые и невежественные умы, как вы сами знаете.

Другое подтверждение этого положения есть то, что философия есть то знание, на котором зиждется все воззрение на мир (с всеми знаниями), что в философии замыкаются все отрасли знаний.

Если знания со всем бесконечным прогрессом суть стены цилиндра, то нет и не может быть философии; но если знания суть стены конуса, то вершина конуса не может быть построена тем же путем, каким строены стены.

Итак, 3-е доказательство того, что к философии не приложим научный прием, состоит в том, что убедительность наук зиждется на логике, на выводе, убедительность же философии на гармоничности.

Говоря о методе наук и философии, я невольно сделал почти определение того, что я разумею под философией, и рад, что сделал это, и постараюсь сделать еще определеннее и точнее. А то очень часто мы, любящие философию, не понимаемы и не понимаем других. От философии требуют или слишком многого, или слишком малого. Позитивист говорит: вы не можете логически доказать справедливость вашего воззрения, поэтому оно не научно и не нужно. Верующий человек говорит: вы ничем не можете подтвердить справедливость вашего воззрения, поэтому оно произвольно.

Для этого-то мне кажется, что нужно ясно определить то, что мы разумеем под философией, чтобы нам не говорили, что она не нужна, чтобы от нас не требовали, чего она не может дать, и вместе с тем признавали, что она не случайна.

Философия, в личном смысле, есть знание, дающее наилучшие возможные ответы на вопросы о значении человеческой жизни и смерти.

В общем смысле, это есть соединение в одно согласное целое всех основ человеческих знаний, которые не могут получить логических объяснений.

Я вижу пропасть недомолвок, неясностей, повторений и противный докторальный тон во всем, что я написал, но я стою за основную мысль о методе философии, которую, надеюсь, вы разберете в этом сумбуре. Эта мысль мне необходима для того, чтобы начать изложение того, что я думаю о тех вопросах, которые занимают меня. Основная мысль та, что всякое (и мое поэтому) философское воззрение, вынесенное из жизни, есть круг или шар, у которого нет конца, середины и начала, самого главного или неглавного, а все начало, все середина, все одинаково важно или нужно, и что убедительность или правда этого воззрения зависит от его внутреннего согласия, гармоничности, и что я, желая выразить эти воззрения, сделаю безразлично, если начну с ответа на тот самый 2-й вопрос Канта о том, что я должен делать, который занимает вас; хотя в моем плане этот вопрос этики представляется мне одним из последних.

Вы говорите: что я должен делать? Грудной ребенок не спрашивает, что он должен делать; он сосет, хочет жить — любит себя; также не спрашивает про это умирающий от болезни или от старости человек. Он желает не страдать, хочет умереть. Почему же мы с вами спрашиваем себя, что делать? Только оттого, что мы хотим жить и хотим умереть вместе. Но мы живем не от старости к детству, а от детства к старости. Надо итти по течению, чтобы чувствовать спокойствие, твердость, внутреннее удовлетворение, надо хотеть умереть. Что такое хотеть жить? Это любить себя. Хотеть умереть — это не любить себя, не себя любить — что одно и то же. Если бы было ясно для вас, как ясно для меня, что любить, желать и жить — одно и то же, то я прямо сказал бы, что в детстве мы желаем для себя, живем в себя, любим себя, а в старости живем не для себя, желаем вне себя, любим не себя, и что жизнь есть только переход из любви к себе, т. е. из жизни личной, т. е. этой, к любви не себя, т. е. к жизни общей, т. е. не этой, и потому на вопрос, что я должен делать? я ответил бы: любить не себя, т. е. каждый момент сомнения я разрешал бы тем, чтобы выбирать то, где я удовлетворяю любви не к себе.

Печатается по машинописной копии. В конце дата: «16 февраля 1876 г.», несомненно, ошибочная, так как Толстой отвечает на письмо Н. Н. Страхова от 16—23 ноября 1875 г., и ответ Страхова на печатаемое письмо датирован 25 декабря 1875 г. Поэтому есть все основания датировать его первой половиной декабря 1875 г.

[1] В письме этом, от 16 ноября, Страхов писал: «...мне хочется сказать, как я понимаю вас, какое высокое значение имеет для меня тот нравственный дух, которым все у вас проникнуто. Вы не моралист, вы истинный художник; но нравственное миросозерцание всегда отзывается в художественных произведениях, и я с изумлением и радостью вникаю в ваши образы, следя за этим миросозерцанием. Может быть я скажу вам то, что вы сами не сознаете. Отвлеченные нравственные правила всегда узки и односторонни, и в ваших созданиях выражается гораздо больше, чем кто-нибудь (даже вы сами) может формулировать отвлеченным языком. Искусство часто упрекали в безнравственности... Но когда вы начинаете создавать образы, то у вас является бесконечная, несравненная чуткость относительно их нравственного смысла; вы судья, — в одно и то же время и беспощадно проницательный и совершенно милостивый, умеющий все оценить в надлежащую меру...

И так я вас понимаю и дорожу в вас этим бесконечно. Строгих судей, напряженных идеалистов очень много на свете. Но люди с вашим взглядом — величайшая редкость. Вы для меня похожи на благодушнейшего христианского монаха, у которого прощения и снисхождения столько же, сколько и самых высоких и строгих требований. И вот черта, на которой я хочу остановиться. Нравственные правила не должны быть жестоки; они должны быть милосердны. Это следует уже из того, что нравственность должна существовать для всех, а люди большею частью очень слабы и ограничены. Из трех главных вопросов, которые указывает Кант в К р и т и к е Ч и с т о г о Р а з у м а: 1) Что я могу знать? 2) что я должен делать? 3) чего мне следует надеяться? я считаю самым важным второй. Как бы ни были решены первый и третий, и хотя бы я совсем не умел их решить, на второй я должен ответить сейчас же, он один неотложен и существенно необходим. Скажу вам прямо, что таково мое душевное настроение, то есть, что я стал очень равнодушен к познанию и к вопросу о будущности души. Я кажется легко бы отказался от желания ясных ответов на этот вопрос, если бы только мне было твердо указано, что делать, — в переводе на христианский язык: как спасти свою душу? Но посмотрите, какой это страшный вопрос: Кто и когда может иметь на него полный ответ? Я разумею при этом ответ, который бы определял и д е я т е л ь н о е отношение к жизни. В самом деле, для пассивного отношения к жизни мы еще имеем ответы, но не для деятельного. Если я подчиняюсь своей натуре и обстоятельствам, то может быть мне достаточно правила: и з б е г а й з л а, будь добр и честен. Но если я считаю своей обязанностью не только воздерживаться, но и действовать, то есть работать над собственной натурой и вмешиваться в дела других, в ход обстоятельств, то передо мною возникают задачи бесконечные, неодолимые. Отшельник, ежеминутно думающий о подвигах, политик, без устали работающий для прогресса и своей партии, — вот люди деятельного долга, которые знают, что о н и д о л ж н ы д е л а т ь. Но ведь эта фанатическая борьба с самим собою, или с ходом всемирной истории,

ПЕРВАЯ СТРАНИЦА ПИСЬМА Л. Н. ТОЛСТОГО К Н. Н. СТРАХОВУ ОТ 2 ЯНВАРЯ 1876 г.

Толстовский музей, Москва

это задача отрицательная, восстание против каких-то сил, не от нас зависящих. Что это за силы? Как с ними бороться? И могу ли я их победить? Вообще говоря, конечно, не могу. Если же так, то мне остается как-нибудь п р и н я т ь их. Мне нужно научиться н е д е л а т ь свою жизнь, а как-нибудь принимать ту, которая мне дается, я должен покориться неведомому мне творчеству» (ПС, стр. 68—70).

[2] К этому времени, почти к этим дням, относятся два отрывка незаконченных философских трактатов Толстого, озаглавленных «О будущей жизни вне времени и пространства» и «О душе и жизни ее вне известной и понятной нам жизни». Первый датирован 17 ноября 1875 г., а второй — 25, 26 и 27 декабря того же года. Оба философских отрывка напечатаны в т. XVII Юбилейного издания сочинений Толстого.

[3] Так в копии.

5

[2 января 1876 г., Ясная Поляна]

Получил ваше письмо, дорогой Николай Николаевич, и сейчас же отвечаю кратко под первым впечатлением. На-днях же пришлю вам длинное переписываемое письмо! [1]. Пожалуйста и вы делайте так же. Та переписка сама собой, а дружеская и быстрая сама собой.

Во-первых, я несогласен с подставлением вами слов анализ и синтез под то, что я говорю [2]. Эти злодейские слова вместе с субъективн[ым], объективн[ым], индуктивным и дедуктивным методами наделали столько

бед, что я их боюсь и ненавижу. Эти слова и деления близко ходят около того главного деления всего познаваемого, о к[отором] я намерен вам писать в следующем письме, но не попадают в настоящую черту деления, и потому под ним подразумевается весьма многое и неясное.

Во-вторых, я был поражен новыми доказательствами нашего умственного родства. Вы пишете о спиритизме, я чуть было не написал о нем. Статья моя вся готова[3]. Меня статьи в Р[усском] В[естнике] страшно волновали[4].

Поразительны для меня три вещи. 1) То, что мужики видят чертей беспрестанно, и никто не находит, что это явление, заслуживающее внимания, что это факты; а увидели Бутлер и Вурст[5], и я должен верить им — это факты. Мне хотелось показать, что истории мужицких чертей столь же вероятны, как и ихние, но что доверия заслуживает не Бутлер и Вурст, одуревший, сидя над микроскопом или ретортами, а свежий мужик, кот[орый] знает много меньше (анализ, по-вашему, развит меньше), но у которого основы всякого знания, верования, религиозное воззрение на мир (синтез, что ли), без сравнения правильнее, чем у Вурста. 2) С фактами не спорят — опыт, подвергнуть опыту. Как это ученые (анализом занимающиеся) не знают, что, прежде чем что-нибудь подвергать опыту, знают — что — какого рода явления могут выйти из их опыта. Астроном поверит, что может явиться комета величиною с солнце, и будет ее наблюдать; химик знает, что из соединения каких-нибудь бромов и еще чего может сделаться треск, вода, жар, холод и т. п. Но если астроном увидит, что мимо телескопа пролетит сапог, если он не рехнулся, то он не станет наблюдать сапог, и если у химика из соединения получатся прекрасные стихи, то он не станет их наблюдать. Как же они предлагают подвергнуть научному исследованию — какому? — умные слова, индианку, музыку, стуки в стол и т. п.?[6]. 3) Поразительно, что эти факты выходят из лагеря людей, которым наука помешала признать существование в человеке чего-то, не подлежащего законам мертвого мира.

В-третьих, наше умственное родство поразило меня еще тем, что вы говорите о разумности, несомненности и тщете законов мира неорганического. Почти то же я писал в то же время в отрывке, который пришлю вам в следующем письме[7]. Впрочем эта мысль ваша. Она несколько раз выражается и чувствуется в вашей книге[8], кот[орую] я вновь перечитал на-днях и перечитал, как новое. Как бы я хотел читать эту книгу с вами. Спрашивать вас и делать свои возражения. Вопросы, поднимаемые и решаемые в ней, теперь особенно занимают меня, в особенности о различии органич[еского] и неорганич[еского]. Теперь, в-четвертых, — я совсем несогласен с вами о делении людей на деятельных и пассивных и о том значении, к[оторое] вы придаете тем и другим. Виноват, но я слышу тут отголосок неудавшейся мысли Григорьева о хищных и смирных типах[9], к[оторой] я никогда не понимал. Самое деление не правильно. Противуположное смирному есть бунтующий или горящий, но не хищный. Главное же, самая мысль не верна. Тут вы платите дань, несмотря на ваш огромный независимый ум, дань Петербургу и литературе. Вы говорите: лучшие силы недеятельны, а те деятельны. Да ведь это только в литературе. Т. е. одни знают, что сами ничего не знают, и учатся, а другие, невежды и тупицы, ничего не зная, учат и не учатся. Но это только в литературе. А в (маленькой штучке) в жизни? Кто пашет, сеет, нанимает, торгует, распределяет деньги, ездит, набирает солдат, командует, главное, рожает и воспитывает себе подобных и лучших? Все недеятельные, пассивные люди? Это совсем, совсем не верно.

Если вам не в труд, и книги эти стоят не более 10 рублей, пришлите мне Юма философа и Бекона на каком-нибудь из новых языков. Французское и английское лучше всего. Немецкое хуже. Русское хуже всего.

Матерьялистов мне не тех нужно[10]. Я думаю, Спенсера. Читали ли вы его? И что его главное и полнейшее?

Об Анне Карениной ничего не пишу вам; и не буду писать. Если выйдет, вы верно прочтете.

Печатается по автографу, хранящемуся в ГТМ. На автографе помета рукою Страхова: «2 янв. 1876 г. Ясн.», подтверждаемая его письмом от 25 декабря 1875 г., на которое Толстой отвечает.

[1] Эти слова относятся, вероятно, к философской статье Толстого, озаглавленной «О душе и жизни ее вне известной и понятной нам жизни»; начав статью 25 декабря 1875 г., Толстой продолжал работу над ней 26 и 27 декабря. Затем статья была отдана в переписку. Эту копию Толстой и имел в виду послать Страхову. Однако, она не была тогда отослана, так как Толстой, по своему обыкновению, снова испестрил ее многочисленными поправками и дополнениями, и Страхову была позднее послана уже копия с этой новой, расширенной редакции (см. письмо к нему от 13—15 февраля, ПС, стр. 77). Статья напечатана в т. XVII Юбилейного издания.

[2] Страхов писал 25 декабря, в ответ на предыдущее письмо Толстого от 1—20 декабря: «Читал и перечитывал, могу сказать изучил ваше длинное и удивительное письмо, бесценный Лев Николаевич. Переписанный отрывок есть совершенство в своем роде по искренности, силе и простоте. И все остальное содержит в себе мысли, с которыми не могу не согласиться, притом часто выраженные с художественной меткостью. Если бы я писал, я сказал бы кажется то же самое, но в общем изложении я употребил бы другие термины. Общий метод науки, о котором вы говорите, есть анализ, разложение явлений на части и рассматривание каждой части отвлеченно. Каждая наука при этом претендует, что она ищет и синтеза, что старается дойти до него. Но синтеза в деле не происходит и все ограничивается без конца продолжением анализа. Отсюда то странное явление, что исследования наполняются, науки разрастаются, а истинного познания у человечества так же мало, как и прежде. Философия же неизбежно требует синтеза» (ПС, стр. 71).

[3] Статья Толстого о спиритизме неизвестна; словом «готова» он, вероятно, хотел сказать, что статья эта продумана им и ему остается только написать ее. Страхов задумал в это время большую статью на модную в те годы тему о спиритизме, напечатанную лишь в 1876 г. (см. ниже письмо № 14, прим. 3-е).

[4] Толстой имеет в виду статьи: Вагнер Н. П., Медиумизм, — «Русский Вестник», 1875, № 10, стр. 806—951, и Бутлеров А. М., Медиумические явления,— там же, № 11, стр. 300—348. Вагнер Николай Петрович (1829—1907), профессор Петербургского университета, зоолог и беллетрист, писавший под псевдонимом Кот-Мурлыка, автор многочисленных статей по спиритизму. Бутлеров Александр Михайлович (1828—1886), профессор Петербургского университета и член Академии наук, выдающийся химик и в то же время ярый спирит.

[5] Вурст Раймонд-Якоб (1800—1875), крупный немецкий педагог, о котором Толстой упоминает в своей статье «О народном образовании» (1874) на ряду с Песталоцци и Дистервегом. Но здесь он, несомненно, в раздражении играет немецким значением слова «вурст» (колбаса) и разумеет под ним русского немца — Н. П. Вагнера.

[6] В упомянутой статье Н. П. Вагнера говорится о новоявленном материализованном призраке какой-то индианки и о сеансах медиума Горацио, в присутствии которого разбросанные по комнате музыкальные инструменты сами взлетали к потолку и начинали играть. О «стуках в столе» упоминает в своей статье А. М. Бутлеров.

[7] См. письмо от 7 января 1876 г. (ПС, стр. 73—75).

[8] «Мир, как целое».

[9] Критик Аполлон Александрович Григорьев (1822—1864), говоря о творчестве Пушкина, делил его героев на «ложных и хищных» и «простых и смирных». К первым он относил типы, выросшие на «иноземной почве» (байронические); типы же второй категории (выразителем их для А. А. Григорьева был Иван Петрович Белкин, от лица которого Пушкин ведет речь в своих повестях) выросли на «своей почве», были «голосом за простое и доброе, поднявшееся в душах против ложного и хищного».

[10] Страхов советовал Толстому прочесть «Силу и материю» Бюхнера.

6

[25 января 1876 г., Ясная Поляна]

Пишу два словечка о делах, дорогой Николай Николаевич. Очень благодарю за книгу![1]. Юма пожалуйста пришлите. Да пожалуйста мне напоминайте о книгах. Я свои бросаю и имею привычку зачитывать чу-

жие. На-днях видел у себя, перебирая библиотеку, ваши книги: Григорьева[2] и Education sentimentale[3]. Прислать их вам? О присылаемых книгах напишите, чьи они. Если мои, сколько я должен. Если вам не в труд спросить у книгопрод[авца], у кот[орого] Азбуки, и у...[4] нет ли денег?

У меня А[нна] Каренина подвигается[5]. Не печатаю только потому, что не имею известий из Рус[ского] Вестн[ика].

Ваш Л. Толстой

Вы стали скупы на письма. Желаю вам успеха в работе[6]. Я рад, что вы печатаете не в газете. Отчего не в журнале, хоть Р[усском] В[естнике]?

Да если спросите у книгопр[одавцев] про Азбуки, спросите про брошюрку о Нар[одном] Об[разовании], продают ли ее.

Печатается по рукописной копии А. М. Хирьякова. Дата копии.

1 Какую книгу прислал Страхов, выяснить не удалось; может быть, Спенсера, о котором просил Толстой в предыдущем письме.

2 Речь идет, вероятно, о какой-нибудь книге знакомого Страхова, ориенталиста В. В. Григорьева. В ответном письме от 5 февраля Страхов писал: «Из прежних книг, если вам не нужен Григорьев (со всеми непристойностями, которые я, помню, вписал), то пришлите при случае» (ПС, стр. 76).

3 Флобера.

4 Пропущено в копии.

5 28 января 1876 г. С. А. Толстая писала Т. А. Кузминской: «Левочка отдал в январскую книжку Русского Вестника продолжение своего романа и продолжает работать дальше» (ГТМ). «Продолжение романа» — это главы XI—XXVIII третьей части «Анны Карениной».

6 Страхов готовил к печати первый том Сочинений А. А. Григорьева, вышедший летом 1876 г.

7

[9 марта 1876 г., Ясная Поляна]

Получил давно-давно и нетерпеливо-нетерпеливо ожидаемое письмо[1] от вас, дорогой Николай Николаевич. Что-то вы не в своей тарелке и не спокойны духом. Неужели это семейные[2] дела друзей ваших вас так расстраивают? Вы не можете себе представить, как я желаю узнать ваше мнение о том, что я писал вам в последнем письме[3], и с какой уверенностью в твердости своей позиции я ожидаю вас и желаю сильной атаки, чтобы доказалась моя твердость, вот и все. Будьте здоровы и деятельны.

Ваш Л. Толстой

Печатается по рукописной копии Е. Д. Хирьяковой. Дата копии.

1 От 5 марта (см. ПС, стр. 78—80).

2 В копии было сначала написано «семейные дела», а потом поправлено карандашом на «денежные», но первое чтение, повидимому, правильнее, так как в упоминаемом письме Страхова от 5 марта он рассказывает как-раз о семейных злоключениях какого-то своего приятеля и ничего о денежных.

3 От 15 февраля (см. ПС, стр. 77—78); при этом письме Толстой послал свою статью «О душе и жизни ее вне известной и понятной нам жизни» (см. т. XVII Юбилейного издания). Ответное письмо Страхова от 20 марта напечатано в ПС, стр. 80.

8

[8 июня 1876 г., Ясная Поляна]

Дорогой Николай Николаевич.

Я позволил себе с вами большую вольность и прошу вас простить меня за нее. Я уверен, что, несмотря на грубый тон телеграммы[1], если вы только в Петербурге, вы выручили нашу англичанку Макарти. Куз-

минские[2], которые живут у нас, выписали эту англичанку и послали ей деньги и получили телеграмму из Петербурга, что ей недостало денег, и она просит прислать ей их в гостиницу А. Кейзер. В Петербурге из знакомых и родных никого не случилось, и я решился телеграфировать вам. Как она приедет, мы узнаем, сколько она взяла у вас денег, сейчас же вышлем вам. Очень благодарю вас.

Пришло лето прекрасное, и я любуюсь и гуляю и не могу понять, как я писал зимою.

Ваш Л. Толстой

Печатается по рукописной копии Е. Д. Хирьяковой. Дата копии.

[1] Телеграмма эта неизвестна.

[2] Семья сестры С. А. Толстой, Татьяны Андреевны, бывшей замужем за Александром Михайловичем Кузминским, в то время прокурором Кутаисского окружного суда.

9

[23 июня 1876 г., Ясная Поляна]

Вы не можете себе представить, дорогой Николай Николаевич, какая мне радость то, что вы приедете ко мне. Я так и ахнул от восхищенья, когда жена, прочевшая ваше письмо[1] прежде меня, веселым, но не восхищенным голосом объявила мне, что вы приедете[2]. Я собираюсь на-днях за 3 часа езды в одно и другое место; и вероятно окончу эти поездки до 1 июля. Во всяком случае, если я уеду из дому, то так, что по телеграмме могу вернуться через 3 часа. Вы же, надеюсь, отделите из вашего отпуска на нашу долю недельку, но не менее уже 3-х дней. Не скажу, чтобы именно теперь мне было особенно много сказать вам, потому что у меня всегда есть целый мир мыслей, которые, я знаю, что понимаете только вы, и целый мир не вопросов, а предметов, на которые мне нужно знать ваш взгляд.

Пожалуйста телеграфируйте, чтобы я мог выслать за вами или выехать сам.

Здоровье жены летом порядочно, но не хорошо, это единственное, но большое мое горе.

Ваш Л. Толстой

Печатается по рукописной копии Е. Д. Хирьяковой. Дата копии.

[1] Письмо это неизвестно.

[2] Страхов летом 1876 г. дважды гостил в Ясной Поляне: в середине июля и в конце августа.

10

[31 июля 1876 г., Ясная Поляна]

Получил ваше письмо[1], дорогой Николай Николаевич, и не знаю, как лучше придумать. Лучше — значит то, чтобы как можно побольше побыть с вами. Затруднение в том, что я обещал Фету поехать к нему и с ним в Воронежскую губернию на завод[2] с 12-го по 16-е, т. е. я 17-го буду дома. В конце же августа, около 25-го, я поеду в Самару[3] (все это, если бог даст. Боюсь и не люблю делать планы). Теперь вопрос — как вам удобнее: отдать мне ваше время с 6-го, положим, до 12-го, или с 17-го до 20-го числа. Другой вопрос в том: самим вам желательно ли ехать в Оптину пустынь[4], или вам все равно. Мне хочется ехать, но я не огорчусь, если мы и не поедем. Итак, если вам хочется ехать в Оптину пустынь и время для вас удобнее до 12-го, то напишите или телеграфируйте в Ясенки (если по времени получения этого письма письмо ваше не успеет дойти), что вы будете в Черни[5] с таким-то поездом, и я вам телеграммой отвечу, что и я буду, и мы

поедем в Оптину. Если вы не очень желаете ехать в Оптину и время до 12-го вам удобнее, то известите или, не извещая, приезжайте. Я буду дома. Если вам удобнее после 12-го, с Оптиной или без Оптиной, то напишите. Если же моя поездка к Фету совпадет именно с тем временем, которое вы хотели отдать мне, то напишите, и я не поеду к Фету, только чтобы мне не пропустить вас. Теперь мы скоро умрем, а на том свете неизвестно еще, в чем будут состоять наши отношения. Вы мне кратко, но так хорошо описали вашу жизнь[6], что мне завидно стало.

Что бы вам вместо того, чтобы читать Анну Кар[енину], кончить ее и избавить меня от этого Дамоклова меча.

Я вчера попробовал заниматься и непременно хочу заставить себя работать.

Так до свидания. Жена благодарит за память и посылает вам поклон и просьбу приехать и погостить подольше.

Ваш Л. Толстой

Приехать в Чернь для поездки в Оптину удобнее всего рано утром или в ночь.

Печатается по рукописной копии Е. Д. Хирьяковой. Дата копии.

[1] Письмо это неизвестно.
[2] У брата Фета, Петра Афанасьевича Шеншина, был конский завод в Грайворонке.
[3] В Самару Толстой уехал лишь около 3 сентября.
[4] В Оптину Пустынь Толстой поехал впервые в 1877 г.
[5] Уездный город Тульской губ.
[6] Письмо Страхова неизвестно.

11

[27 сентября 1876 г., Ясная Поляна]

Пользуюсь вашим разрешением, дорогой Николай Николаевич, писать вам несколько строк. Я на-днях вернулся из Самары и Оренбурга— очень хороша была поездка, и нашел радостное как всегда мне ваше письмо[1]. Вот я дней 5 дома и совершенно сплю; ничего не делаю (т. е. настоящего) и никуда не тянет. — Дома у меня очень хорошо. Жена здорова и весела и мы одни с детьми. Письмо это только должно вам дать знать, что я дома, благополучен и вас все по-старому люблю; а когда проснусь, то знаю, что буду писать вам длинно.

Л. Толстой

Печатается по рукописной копии Е. Д. Хирьяковой. Дата копии.

[1] В письме этом, от 12 сентября, Страхов писал: «К вам первому пишу из Петербурга, бесценный Лев Николаевич, откладывая так называемые дела. Об вас я конечно больше всего думал и к вам мысленно обращался беспрерывно, но не сумею так хорошо и много написать, как я думал. Не счастье ли, не величайшее ли счастье знать такого человека, как вы, и побывать в таком уголке земли, как Ясная Поляна? Вы создали вокруг себя этот чудесный мир, такой цельный и стройный, и в нем господствует ваш дух, простой, высокий и чистый. Напряжение вашей духовной жизни постоянно меня изумляет, с первого нашего знакомства (до знакомства я думал о вас ниже, а теперь стараюсь внушать всем, и дуракам и умникам, что не встречал никого, кто бы так работал головою, как вы). В Ясной Поляне возможны всякие человеческие бедствия, кроме одного — невозможна скука, потому что центр этого мира — человек, непрерывно растущий душою. И смысл этой жизни я не могу иначе назвать как святостью,—это культ чистоты, простоты, добросовестнейшее и непринужденнейшее служение высшим целям человека. Нет, это нечто удивительное! У вас могут быть недостатки и слабости, но они не имеют значения в вашей жизни; то, чем эта жизнь определяется, высоко и безукоризненно. Все время у вас я чувствовал себя, как влюбленный, и зато как же я заскучал потом, особенно в Петербурге» (ПС, стр. 84—85).

12

[6 декабря 1876 г., Ясная Поляна]

Чтобы быть совершенным эгоистом, буду звать вас на Рождество и новый год[1]. Жена велела передать вам это. Нет, право, нельзя ли так, пожалуйста пробудьте подольше, ежели уже нельзя иначе, то, опять по эгоизму своему, зову к новому году. Вашу бочку меда мне не испортит ложка Голохвастовых[2], а их я легче перенесу.

Вы не поверите, как мы оба с женой радуемся вашему приезду. Я слава богу работаю уже несколько времени и потому спокоен духом[3].

Печатается по рукописной копии Е. Д. Хирьяковой. Дата копии.

Л. Н. ТОЛСТОЙ НА КАТКЕ В САДУ ХАМОВНИЧЕСКОГО ДОМА

Фотография 1898 г.

Толстовский музей, Москва

[1] Страхов приехал в Ясную Поляну к 25 декабря и уехал оттуда 2 января.

[2] Голохвастов Павел Дмитриевич (1838—1892), писатель и общественный деятель (см. выше письмо Толстого к нему, стр. 148). О пребывании Голохвастовых в Ясной Поляне см. письмо № 13, прим. 2-е.

[3] 9 декабря 1876 г. С. А. Толстая писала Т. А. Кузминской: «Анну Каренину мы пишем наконец-то по-настоящему, т. е. не прерываясь. Левочка оживленный и сосредоточенный, всякий день прибавляет по новой главе. Я усиленно переписываю, и теперь даже под этим письмом лежат готовые листки новой главы, которую он вчера написал. Катков телеграфировал 3-ьего дня, умоляя прислать несколько глав для декабрьской книжки, и Левочка сам повезет на-днях свой роман в Москву» (ГТМ).

13

[12 января 1877 г., Ясная Поляна]

Дорогой Николай Николаевич.

Я просил жену написать вам[1], что буду писать, когда буду в состоянии духа, достойном вас; но так и не дождался. А писать хочется, хоть только для того, чтобы высказать вам всю ту благодарность и ра-

дость, которую я чувствую за ваше расположение к нам. Вы не женатый человек и потому не знаете того приятного чувства мужа, когда, любя человека, он чувствует, что не один, а со всей семьей любит, и я говорю вам с особенным удовольствием: мы вас благодарим за время, которое вы провели у нас, мы вас любим.

Голохвастовский кошмар только теперь начинает отпускать нас[2]. Я еще не могу войти в состояние веселой работы, как было до них. Но кажется скоро придет и, если ничто не помешает, кончу, надеюсь, в один период работы и опростаю место для новой работы[3], которая все более и более просится.

Очень благодарю вас за хлопоты у Боткина. Надеюсь, что вы повидаете жену в Петербурге.

В декабрь[ской] книжке[4] есть ошибки, но не очень грубые. Вы знаете нашу братью писателей и знали, как порадует меня ваше одобрительное письмо, главное, как оно ободрило меня.

Печатается по рукописной копии Е. Д. Хирьяковой. Дата копии.

Ответ на два письма Н. Н. Страхова: от 3 января 1877 г. и на какое-то другое, нам неизвестное, написанное вскоре после первого и содержавшее сведения о его «хлопотах у Боткина».

[1] С. А. Толстая просила Н. Н. Страхова в письме от 9 января 1877 г. записать ее на прием к доктору С. П. Боткину.

[2] С. А. Толстая пишет Т. А. Кузминской 4 января 1877 г.: «Были на праздниках: сначала Страхов и Софеш, а с 28—Голохвастовы, Степа, Костя и Николенька... На третий день Голохвастова читала свою историческую драму «Две невесты», и с моей точки зрения недурно, но Страхов и Левочка не одобряют и старательно искали выражений, чтобы не солгать и вместе с тем сказать что-нибудь приятное... Наконец присутствие Голохвастовых сделалось всем тяжело и когда они нам намекнули на отъезд, мы их и не удерживали, что вышло немного неловко и негостеприимно. Она все такая же кокетка во всех своих рассчитанных движениях, позах, туалетах и проч. Когда они уехали, воздух стал легкий, мы делали, что хотели» (ГТМ).

[3] По окончании «Анны Карениной» Толстой вернулся к замыслам начатых им раньше, но представших теперь совсем в новом виде «народных» романов из эпохи XVIII—XIX вв. (см. т. XVII Юбилейного издания).

[4] В декабрьской книжке «Русского Вестника» за 1876 г. были напечатаны главы XX — XXIX пятой части «Анны Карениной».

14

[22 января 1877 г., Ясная Поляна]

Дорогой Николай Николаевич, очень благодарен вам за известие о жене и за ваши заботы о н е й. Я очень доволен. Боткин не нашел в ее состоянии ничего опасного; а я, должен признаться, уже пережил в воображении такие ужасы. Она приехала веселая, оживленная и с такими хорошими вестями.

Успех последнего отрывка А[нны] К[арениной][1] тоже, признаюсь, порадовал меня. Я никак этого не ждал и право удивляюсь и тому, что такое обыкновенное и ничтожное нравится, и еще больше тому, что, убедившись, что такое ничтожное нравится, я не начинаю писать с плеча, что попало, а делаю какой-то мне самому п о ч т и непонятный выбор.— Это я пишу искренно, потому что вам, и тем более, что, послав на январскую книжку корректуры, я запнулся на февральской книжке и мысленно еще только выбираюсь из этого запнутия. Тургенева я не читал[2], но истинно жалею, судя по всему, что слышу, что этот ключ чистой и прекрасной воды засорился такой дрянью. Если бы он просто вспомнил какой-нибудь свой день подробно и описал бы его, все бы пришли в восхищение.

Как ни пошло это говорить, но во всем, в жизни и, в особенности, в искусстве, нужно только одно отрицательное качество — не лгать.

В жизни ложь гадка, но не уничтожает жизнь, она замазывает ее гадостью, но под ней все-таки правда жизни, потому что чего-нибудь всегда кому-нибудь хочется, отчего-нибудь больно или радостно, но в искусстве ложь уничтожает всю связь между явлениями, порошком все рассыпается.

Что вы делаете? т. е. пишете? Пришлите же мне свои статьи Гражданина[3]. Дай вам бог досуга и желанья.

Я давно не был так равнодушен к философским вопросам, как нынешний год, и льщу себя надеждой, что это хорошо для меня. Очень хочется поскорее кончить и начать новое[4].

Прощайте, жена вам кланяется.

Ваш Л. Толстой

Печатается по рукописной копии Е. Д. Хирьяковой. Дата копии. Отрывок (абзацы 2-й и 3-й) был опубликован П. И. Бирюковым в его биографии Толстого (т. II, стр. 215—216).

Ответ на письмо Страхова от 16 января, в котором он сообщал о переговорах с С. П. Боткиным относительно приема им С. А. Толстой.

[1] Страхов писал в том же письме: «Что касается до Анны Карениной, то должен сообщить вам, что здесь—общий восторг. Я все раздумывал, не подкуплен ли я своим хорошим расположением духа и любовью к вам; но слышу со всех сторон, что мое впечатление — необычайной свежести и силы этого отрывка — повторяется у всех. Стасов говорит, что не одобряет содержания романа, но что тут сила изображения, скульптурность, как он выражается, такова, что Тургенев в подметки не годится. Н. Я. Данилевский расплакался, читая, — и потом взял назад свои порицания, любуется фигурой Алексея Александровича и говорит, что детей вы изображаете лучше Диккенса. В. В. Григорьев в восхищении. Даже передовые педагоги находят, что в изображении Сережи заключаются важные указания для теории воспитания и обучения» (ПС, стр. 99). Речь идет о главах XX — XXIV пятой части «Анны Карениной», напечатанных в декабрьской книжке «Русского Вестника» за 1876 г. Данилевский Николай Яковлевич (1822 — 1885), бывший петрашевец, приятель Страхова, автор книг «Россия и Европа» (СПБ., 1871) и «Дарвинизм» (СПБ., 1885). Григорьев Василий Васильевич (1816 — 1881), ориенталист, профессор Петербургского университета, с 1874 г.— начальник Главного управления по делам печати.

[2] Появившееся в № 1 «Вестника Европы» 1877 г. начало тургеневской «Нови» вызвало тогда горячие споры. Отрицательно относившийся к ней Страхов писал 16 января: «Наоборот, Новь шлепнулась самым жестоким образом. Так бранят, что даже Достоевский защищает, а не подбавляет брани. Предмет тот же, что в Бесах — Нечаевское дело. Исполнение ниже всякой критики — насильственный рассказ, не оживленный интересом к тому, ради чего писан, т. е. к революционерам. Длинно, вяло — как никогда не писывал Тургенев» (ПС, стр. 99 — 100).

[3] В №№ 41—42, 43 и 44 «Гражданина» за 1876 г. была напечатана большая статья Страхова «Три письма о спиритизме», вошедшая впоследствии в его книгу «О вечных истинах (Мой спор о спиритизме)», СПБ., 1887. В этой статье Страхов доказывает несостоятельность спиритических теорий, подкапывающихся под основные законы механики и физики, незыблемость которых покоится, по мнению Страхова, на их априорном, логическом происхождении. Страхов послал Толстому при письме от 29 января оттиск этой статьи, не сохранившийся в яснополянской библиотеке (см. письмо № 15).

[4] См. выше письмо № 13, прим. 3-е.

15

[4 февраля 1877 г., Ясная Поляна]

Получил ваше письмецо, дорогой Николай Николаевич, со статьей о спиритизме и сейчас же отвечаю. Вы верно никак не ожидали того действия, которое произвело на меня ее чтение, я вслух смеялся. Эксперименты эти чудесны[1]. Статья вся очень завлекла меня и для меня она очень интересна[2]. Она для меня предисловие вашей в высшей степени важной будущей работы, кот[орую] я яснее понял из статьи. Но статья эта слишком много содержит и потому, как статья, не хороша. Как вы с своей точностью и ясностью могли сделать такую ошибку? Не договорив (для публики, для меня понятно) о том, почему нельзя верить экспериментам и фактам, вы увлеклись другой огромной важности мыслью

о том, как приемы естествоиспытателей и математическое знание ничего не дают, а вы вовсе не это хотели доказать, а то, что эти приемы законны, и из них нельзя выступить. Вы это и доказали, но увлеклись другой мыслью и от богатства затемнили. Я вижу в этой статье этюд, наброски из того сочинения, к[оторое] вы напишете, но для статьи о спиритизме вы сделали то, чем мне часто случается грешить: от желания сказать слишком многое ослабляешь то, что хотел сказать. Это мне особенно весело найти в вас. А вы говорите иногда в минуты уныния, что вам нечего писать, что вы ничего не можете дать. А вы так переполнены новым совершенно содержанием мысли, что оно против воли вашей прорывается. Я эту черту с радостью заметил в вас во время наших бесед на святках. В вас происходит внутренняя работа, определенная, сосредоточившаяся уже. Как это дурно, что вы не работаете[3].

Поверите ли, я нынче (я уже неделю не могу работать) говорю жене, как дурно, что Страхов не пишет, а вместе с тем это меня утешает. Если он не пишет, и мне простительно.

Ваш Л. Толстой

Печатается по рукописной копии А. М. Хирьякова. Дата копии.

[1] Фиктивные эксперименты, приводимые Страховым в его «Третьем письме о спиритизме» и пародирующие явления, производимые спиритами на их сеансах (см. «Гражданин», 1876, № 44, стр. 1056—1057).

[2] См. выше письмо № 5, прим. 3-е.

[3] В письме от 29 января Страхов писал: «До сих пор я еще не принимался за работу — совестно признаться вам и перед собою» (ПС, стр. 100).

16

[6 марта 1877 г., Ясная Поляна]

Не сердитесь на меня, дорогой Николай Николаевич, что так долго не писал вам и не благодарил за присылку денег[1]. Я очень был и есмь занят, но хуже всего то, что при этом с нынешнего года (содействовал этому ушиб головы об дерево при ходьбе на лыжах) у меня стали делаться приливы к голове, мешающие мне работать[2]. А писать очень хочется, и сколько есть сил пишу[3]. Я рад только с одной стороны, что вы давно мне не пишете — верно работаете. Дай бог. Еще маленькая просьба: Николай Александрович Соколов, кончивший курс в Педагогическом Институте и имевший частную гимназию в Петербурге, теперь поступил в Тульскую семинарию профессором физики и математики и предлагает себя в директоры моей предполагаемой семинарии. Что он за человек, как характер? Если его знают ваши знакомые, то разузнайте, пожалуйста, и напишите мне[4]. Всегда по-старому люблю вас.

Ваш Л. Толстой

Печатается по машинописной копии, хранящейся в архиве В. Г. Черткова. Отрывок (со слов «Еще маленькая просьба...») был опубликован П. И. Бирюковым (т. II, стр. 168).

[1] При письме от 8 февраля Страхов переслал Толстому 80 руб. по счетам книготорговцев за продажу «Азбуки» и «Русских книг для чтения» (ПС, стр. 105).

[2] С. А. Толстая так описывает этот случай в письме к Т. А. Кузминской от 25 февраля 1877 г.: «Левочка ходил на лыжах и тоже упал и ударился головой о дерево, и удар был настолько силен, что он ошалел и была шишка на одном месте и шрам на другом. С тех пор у него все болит голова и приливы очень сильные, и меня очень беспокоит его состояние. Может это и не от ушиба, а от усиленного писанья, и даже просто нервно, но я его упросила ехать к Захарьину и он поехал и обещал серьезно заняться своим здоровьем» (ГТМ).

[3] Толстой работал в это время над восьмой частью (эпилогом) «Анны Карениной» и над корректурами мартовской книжки «Русского Вестника» (главы I — XV седьмой части).

[4] Толстой был в 1877 г. увлечен проектом устройства в Ясной Поляне учительской семинарии, в которой должны были получать подготовку к учительской деятельности наиболее способные ученики народных школ. Толстой хотел, чтобы учителя, вышедшие из крестьянской среды, не были оторваны от этой среды и продолжали жить той же крестьянской жизнью, как и их ученики. «Пускай это будет университет в лаптях», — говорил он. Проект этот не был осуществлен.

17

[24 марта 1877 г., Ясная Поляна]

Не пеняйте на меня, дорогой Николай Николаевич, что мало и редко пишу вам, и не наказывайте меня за то редкостью ваших писем. Для меня такая радость всегда ваши письма и особенно теперь, когда в каждом жду и нахожу суждение, и всегда слишком пристрастное к моему писанью [1], которое все больше и больше занимает меня. Теперь я могу сказать, что кончил, и в апреле надеюсь напечатать последнее [2] и очень жду и прошу вашего суда.

Я не получил еще вашего вероятно письма с деньгами [3], объявление завтра посыла[ем] [4]. Порадуйте меня известием, что вы работаете над философской работой [5]. Мне интересно, сойдетесь ли вы с Соловьевым. Он хороший. А редакция Русск[ого] Вестн[ика], и всегда мне противная, теперь окончательно опротивела за вас и я с ними в холодеющих отношениях.— Жду лета и вас и поездки в Оптину Пустынь.

Любящий искренно Л. Толстой

Печатается по рукописной копии Е. Д. Хирьяковой. Дата копии.

[1] В последнем письме своем от 16 марта 1877 г., рассказав о Я. П. Полонском, который «теперь пишет множество и стихами и прозой,— и все плохо, хотя на всем — следы его милого таланта», Страхов добавляет: «Я вспоминаю ваш труд, тот труд, о размерах которого не могут и понятия иметь петербургские писатели. Меня берет ужасная досада, когда они, даже рассыпаясь в похвалах, приписывают вам — бессвязность, капризность, эпизодичность и другие подобные легкие свойства. Ветренность и легковесность этих солидных ценителей выступает при этом для меня с ужасною силою. Кстати — вам досталось за выборы; как они чутки и обидчивы — удивительно!» (ПС, стр. 109).

[2] В апрельской книжке «Русского Вестника», вышедшей 2 мая, были напечатаны главы XVI—XXX седьмой части «Анны Карениной», а в майской должна была быть напечатана восьмая, последняя, часть — эпилог.

[3] В том же письме Страхов извещал Толстого, что посылает ему деньги (78 руб. 78 коп.) по книгопродавческим счетам за «Азбуку» и «Книги для чтения».

[4] Т. е. почтовую повестку на денежное письмо.

[5] После своих «Трех писем о спиритизме» (см. выше письмо № 14, прим. 3-е) Страхов задумывал большую теоретическую работу, осуществленную позднее в его книге «Об основных понятиях психологии и физиологии», СПБ., 1886.

18

[22 мая 1877 г., Ясная Поляна]

Нынче получил ваше второе неотвеченное письмо [1] и устыдился.— Я мешкал писать вам и потому, что был очень занят писанием, и, главное, потому, что не хотелось ничего говорить вам, пока вы не прочтете последнюю часть. Она набрана давно и два раза уже была мною поправлена, и на-днях мне ее пришлют опять для окончательного просмотра. Но я боюсь, что она все-таки не выйдет скоро. И об этом хочу с вами посоветоваться и просить вашей помощи.

Оказывается, что Катков не разделяет моих взглядов, что и не может быть иначе, так как я осуждаю именно таких людей, как он, и, мямля, учтиво просит смягчить то, выпустить это. Ужасно мне надоело и я уже заявил им, что если они не напечатают в таком виде, как я хочу,

то вовсе не напечатаю у них, и так и сделаю; но хотя и удобнее всего было бы напечатать брошюрой и продавать отдельно, неудобство в том, что надо пропустить сквозь цензуру. Как вы посоветуете — отдельно с цензурой, или в какой-нибудь бесцензурный журнал — Вестник Европы, Нива, Странник, мне все равно, только бы хотелось, чтоб напечатать как можно скорее и не разговаривать про смягчение и выпущение.

Пожалуйста, посоветуйте и помогите. Может быть, я еще улажусь с Катковым. Но очень хотелось бы знать, что делать в случае несогласия? [2]. Тысяча ничтожных предметов разговора с вами и один столь важный, что все другие ничтожны, но ни одного не хочется затевать — жду и надеюсь вас скоро и надолго увидеть. Вы говорите — когда? Чем скорее, тем лучше. Чем дольше пробудете, тем лучше. В начале лета лучше, потому что нет охоты и я никуда не уеду.

Печатается по рукописной копии Е. Д. Хирьяковой. Дата копии. Первая часть письма (до слов: «Тысяча ничтожных предметов») была опубликована П. И. Бирюковым (т. II, стр. 208—209, с пропусками и ошибками).

[1] Точнее говоря, даже не второе, а третье письмо. Первое было от 21 апреля, которое разошлось с письмом Толстого от 22 апреля, второе от 7 мая и третье от 18 мая (см. ПС, стр. 112—117). В последнем Страхов писал по поводу выхода в апрельской книжке «Русского Вестника» последних глав седьмой части «Анны Карениной»: «О выходе каждой части Карениной в газетах извещают так же поспешно и толкуют так же усердно, как о новой битве или новом изречении Бисмарка... Я знаю одно: совершилось великое событие в р[усской] литературе, явилось новое великое произведение; дайте мне год-два — я может быть рассмотрю частные черты этого явления» (ПС, стр. 117).

[2] Страхов отвечал 26 мая: «Самый прямой выход такой: печатать конец без цензуры; для этого нужно, чтобы книжка содержала в себе 10 печатных листов, то есть 160 страниц. Для величины страниц определен минимум, очень льготный, на странице должно помещаться около 1 400 букв, т. е. она должна составлять ²/₃ страницы Русского В[естника], на которой помещается 2 100 и больше. В каждой типографии минимум этот известен очень хорошо. Итак, если вы велите набрать в этом формате ваш конец, и если нужно, спереди прихватите часть того, что уже напечатано, то можете выпустить вашу книжку без цензуры. Пустите ее по рублю — и пойдет отлично. Если вам угодно, я приеду в Москву, или тут напечатаю мигом. Мне только что сию минуту пришла эта мысль, бесценный Лев Николаевич, и я сам ей очень обрадовался. Вчера получил ваше письмо и вот до сих пор не мог догадаться, как это сделать. С журналами связываться — гораздо дольше и не стоит мараться» (ПС, стр. 118—119).

19

[29 мая 1877 г., Москва]

Получил ваше письмо [1], дорогой Николай Николаевич, при отъезде из деревни в Москву, чтобы выручить свое писанье [2], которое они не печатают и не возвращают назад, продолжая мямлить. Очень благодарен вам за совет и за предлагаемую помощь. Я следую совету и, выручив писание, отдаю печатать Рису в Москве. Он обещает, что в неделю будет готово [3]. Помощь же вашу мне ужасно хочется, но не знаю, как быть. Сейчас приедет ко мне Рис взять оригинал, и я спрошу его, не задержит ли его послать вам корректуры. Кроме того это зависит от того, когда вы выезжаете из Петербурга и поедете к нам. О вашем приезде я только одно повторяю и словами, и умом, и сердцем: поскорее и подольше. Никогда да не приходит вам мысль, что в моих и жениных словах о том, как ваше пребывание у нас нам радостно, есть хоть малая доля условности. Про себя одного я и не говорю. Одно в доказательство искренности скажу — что не желал бы при вас оканчивать работу.— А окончу я ее в два-три дня, т. е. велите присылать за собой в Тулу или Козловку 3-го июня. То есть, по правде — мне хочется и то, чтобы вы прочли в корректуре эпилог не у меня и выкидывали и поправляли все, что найдете нужным, и приехали бы к нам как можно скорее [4]. Я ночь не спал

и злился и голова не свежа, и потому письмо бестолково, но надеюсь, вы меня поймете и простите.

Печатается по рукописной копии Е. Д. Хирьяковой. Дата копии.

[1] От 26 мая (см. выше письмо № 18, прим. 2-е).

[2] Восьмую часть (эпилог) «Анны Карениной».

[3] Эпилог «Анны Карениной» был напечатан отдельной книжкой в Москве, в типографии Риса. Текст занял 127 страниц, так что потребовалось цензурное разрешение. Оно помечено: «Москва, 25 июня 1877». На стр. 3 напечатана следующая заметка: «Последняя часть «Анны Карениной» выходит отдельным изданием, а не в «Русском Вестнике», потому что редакция этого журнала не пожелала напечатать эту часть без некоторых исключений, на которые автор не согласился».

[4] Мы не знаем точно, когда Страхов приехал в Ясную Поляну; 10 июня он был уже там.

20

[2 июня 1877 г., Ясная Поляна]

Я вам, бог знает, что написал из Москвы [1], дорогой Николай Николаевич, и теперь меня мучает за то совесть. Ради бога, забудьте все, что я вам писал — я был совсем не в своей тарелке.

Я просил и приехать к 3-му и выражал желание, чтобы вы поправили мои корректуры в Петербурге, и так и распорядился, чтобы из типографии послали корректуры к вам в Публичную библиотеку. Прошу вас все это забыть и приехать к нам, как можно скорее. Может быть, вы бы уже завтра приезжали к нам, если бы я не написал вам из Москвы. Я этого не могу себе простить.

Так пожалуйста простите мне это глупое письмо и приезжайте поскорей к нам. Все мы ждем вас с сердечной радостью.

Ваш Л. Толстой

Печатается по рукописной копии Е. Д. Хирьяковой. Дата копии.

[1] См. предыдущее письмо.

21

[10 июля 1877 г., Ясная Поляна]

Я совсем замотался без вас [1], дорогой Николай Николаевич. Приезжайте поскорее. Надеюсь, что вы приедете нынче или завтра, не дожидаясь получения моего письма. Мои похождения без вас следующие: был я на неприятной для меня свадьбе [2], потом, вернувшись, застал гостей, сходил на охоту и играл в крокет и принимал гостей и, несмотря на все это, успевал перечитывать и переделывать Каренину [3] — так что дня через три надеюсь кончить. Вчера был у меня Рис, привез последнюю часть. Есть ошибки, но издание хорошенькое. Мне кажется, что ваш хозяин [4] хотел иметь, и потому посылаю вам. На-днях мне придется ехать в Москву [5] по делам печатания. Но я поеду только на один день.— В Оптину пустынь я не раздумал ехать; но главное, приезжайте к нам поскорей. Все наши скучают по вас. О себе уже не говорю. Когда вас нет, все кажется, зачем я так мало вами пользуюсь.

Хоть и совестно лишать вас вашего хозяина, но вы мне обещали и мы ждем вас.

Искренно любящий вас Л. Толстой

Я надеялся получить от вас письмо, но боюсь, не пропало ли с козловским адресом.

Печатается по рукописной копии Е. Д. Хирьяковой. Дата копии.

[1] Страхов приехал в Ясную Поляну в начале июня; 29 июня он ездил вместе с Толстым к Фету, а оттуда проехал к каким-то своим друзьям, обещав вскоре вернуться в Ясную.

[2] Свадьба Д. А. Дьякова, женившегося на С. Р. Войткевич, гувернантке своей дочери.

[3] Сдав в печать отдельным изданием (в типографию Риса) эпилог «Анны Карениной», Толстой приступил к пересмотру и редактированию всего романа для отдельного издания, которое вышло в трех томах в 1878 г.

[4] Под «хозяином» Страхова надо, вероятно, разуметь его приятеля, писателя Дмитрия Ивановича Стахеева, автора многочисленных романов, повестей, рассказов и стихотворений, редактора (1875—1877) журнала «Нива». Страхов жил с ним на одной квартире.

[5] Толстой ездил в Москву около 11—13 июля.

22

[9 августа 1877 г., Ясная Поляна]

Дорогой Николай Николаевич, хотел написать вам почти тотчас после вашего отъезда [1], но до сих пор не успел. Ездил на охоту и к брату и завтра опять еду на охоту в даль за волками. Желал бы, чтобы вы о нас также часто и хорошо вспоминали, как мы и особенно я.

Мне ужасно было грустно, что я в ту ночь, как вы уезжали, опять кашлял и потому проспал. Пришел 10 минут после того, как вы уехали. У нас теперь только своя семья — один Степа [2] — и я хотел бы начать свое дело [3], но не могу от волнения. И в дурном и хорошем расположении духа мысль о войне застилает для меня все. Не война самая, но вопрос о нашей несостоятельности, который вот-вот должен решиться, и о причинах этой несостоятельности, которые мне все становятся яснее и яснее.

Нынче Степа разговаривал с Сергеем [4] о войне, и Сергей сказал, 1) что на войне хорошо молодым солдатам попользоваться насчет турчанок. И когда Степа сказал, что это нехорошо, он сказал: да что ж, ведь ей ничего не убудет. Чорт с ней.— Это говорит тот Сергей, который сочувствовал сербам и которого приводят в доказательство народного сочувствия, а задушевная мысль его о войне только турчанка, т. е. разнузданность животных инстинктов. 2) Когда Степа рассказывал, что дела идут плохо [5], он сказал, что ж не возьмут Михаила Григорьевича Черняева [6] (он знает имя и отчество), он бы их размайорил. Турчанка и слепое доверие к имени, новому народному. Мне кажется, что мы находимся на краю большого переворота.

Пишите мне пожалуйста о том, что делается и говорится в Петербурге.

Нет ли книги, в которой бы можно было найти описание нынешнего царствования? Или нельзя ли где достать газеты за эти 20 лет? Дорого ли это стоит? Или нет ли журнала, в кот[ором] бы были обзоры внутренней политики? Если есть что-нибудь такое, по чем можно бы проследить внутреннюю политику (историю) действия правительства и настроение общества за эти 20 лет, то научите меня и даже пришлите [7].

Как вы вступили в свою жизнь? вступаете ли? взялись ли за работу? Прощайте, пишите почаще. Все наши шлют свои поклоны и обнимаю вас от всей души.

Л. Толстой

Сейчас получил ваше письмо [8] и письмо на ваше имя, которое посылаю.

Очень сочувствую тому неприятному чувству, которое вы испытывали на петербургской станции [9]. Сколько раз испытывал это чувство. Если бы научиться у отца Пимена [10] любви и спокойствию. А мне тоже

очень нужно этого крепкого спокойствия, чтобы не судить и не злиться. А то все волнует, даже неизвестная еще мне статья Русского вестника [11].— Нынешняя почта хотя и ничего не принесла нового, однако успокоила меня. В особенности взгляд французов в Revue des deux mondes [12]. Видно, что неудачи кончились и скрывать больше нечего. Хороша там статья о деятельности Черкасского [13], специалиста по части отнятия собственности мнимо законными путями. Разве это не палачество! Встарину был один Макиавель. Теперь, с легкой руки Бисмарка [14], несправедливость, зло считается самым обычным политическим приемом. Как не желать заснуть так же спокойно и сладко, как о[тец] Пимен, при этом безумном и жестоком разговоре? Фет прислал письмо с прелестным любовным стихотворением [15]. Спишу и пришлю вам в следующем письме [16].

Ваш. Л. Толстой

Печатается по рукописной копии Е. Д. Хирьяковой. Дата копии. Небольшой отрывок (со слов: «И в дурном и хорошем расположении духа» и кончая словами: «что делается и говорится в Петербурге») опубликован П. И. Бирюковым (т. II, стр. 259—260).

[1] Страхов уехал из Ясной Поляны в первых числах августа; 6 августа он уже писал из Петербурга (см. ПС, стр. 122—124).

[2] Берс Степан Андреевич, брат С. А. Толстой.

[3] Закончив в июле подготовку «Анны Карениной», Толстой не сразу перешел к новой художественной работе — к роману из эпохи XVIII в. и к «Декабристам». Под впечатлением неудач русско-турецкой войны, напоминавших ему неудачи Севастопольской кампании, он начал писать статью о царствовании Александра II (см. т. XVII Юбилейного издания), но не докончил ее и перешел к работам религиозного характера (см. там же).

[4] Арбузов Сергей Петрович, слуга Толстого.

[5] Толстой, вероятно, имеет в виду неудачные попытки взять штурмом осажденную нами турецкую крепость Плевну, в частности, штурм 18 июля, стоивший громадных потерь. См. Газенкампф М., Мой дневник 1877—78 гг., СПБ., 1908, стр. 69—70, и Скалон Д. А., Мои воспоминания (1877—1878), ч. I, СПБ., 1913, стр. 231—234.

[6] Черняев Михаил Григорьевич (1828—1898), генерал, участник Крымской кампании 1855—1856 гг. и военных действий на Кавказе; завоеватель Ташкента. Во время движения в Сербии против Турции в 1876 г. он принял на себя, по предложению сербского короля Милана, но вопреки желанию русского правительства, главное командование над сербской армией. Когда разразилась русско-турецкая война, он не получил никакого назначения и остался не у дел.

[7] См. ниже письмо № 24, прим. 8-е.

[8] От 6 августа (см. ПС, стр. 122—124).

[9] Страхов рассказывал в упомянутом письме о путанице с вещами, происшедшей у него при переезде с Курского вокзала на Николаевский. Встречавший его типограф Рис вызвался устроить это дело. «В нетерпении я вышел навстречу Рису,— продолжает Страхов,— и стою возле подъезда. Новая беда! Вижу, едет Катков с кем-то на станцию. Только что я его заметил, как он вышел из экипажа. Я сделал вид, что не замечаю его. Он прошел как будто нарочно поближе ко мне, но тоже не признал меня. Теперь я соображаю, что они должно быть провожали нашего министра, как оказалось, приехавшего с этим поездом. Но министра я не узнал — я видел его всего раз — в креслах, без шляпы. Признаюсь, эта встреча очень была мне неприятна. Глупо прикидываться неузнающим, но задача — разговаривать с ним—показалась мне такою трудною, что я до сих пор радуюсь быстроте, с которою я принял решение не видеть» (ПС, стр. 122—123).

[10] Пимен, монах в Оптиной Пустыни, присутствовавший при беседе Толстого с настоятелем монастыря, архимандритом Ювеналием Половцевым, бывшим когда-то гвардейским офицером.

[11] В июльской книжке «Русского Вестника» за 1877 г. Катков поместил тенденциозное изложение вышедшего отдельно эпилога «Анны Карениной» под заглавием: «Что случилось по смерти Анны Карениной». Оправдываясь перед читателями в своем отказе напечатать этот эпилог, он пишет: «Роман остался без конца и при «восьмой», «последней» части. Идея целого не выработалась. Для чего, всякий может спросить, так широко, так ярко, с такими подробностями выведена перед читателями судьба злополучной женщины, именем которой роман назван? Судьба эта остается мастерски рассказанным случаем очень обыкновенного свойства и послужила только нитью, на которую нанизаны прекрасные характеристики и эпизоды. Но если произведение недо-

работалось, если естественного разрешения не явилось, то лучше, кажется, было прервать роман на смерти героини, чем заключить его толками о добровольцах, которые ничем не повинны в событиях романа. Текла плавно широкая река, но в море не впала, а потерялась в песках. Лучше было заранее сойти на берег, чем выплыть на отмель» (стр. 462).

[12] Толстой имеет в виду обзоры военных действий, печатавшиеся в «Revue des deux mondes», в отделе «Chronique de la quinzaine», и, конечно, сильно отличавшиеся от тех официальных сведений, которые он мог читать в русских подцензурных газетах.

[13] Черкасский Владимир Александрович, князь (1821—1878), общественный и политический деятель славянофильского направления, участник крестьянской реформы 60-х годов. Во время русско-турецкой войны 1877—1878 гг. он был назначен заведующим гражданской частью на территориях, занятых русскими войсками. Толстой имеет в виду статью G. Valbert'a в «Revue des deux mondes», 1877, № 8, от 1 августа, стр. 695—706, под заглавием «Le nouveau droit des gens et la mission du prince Tcherkassky», в которой автор резко нападал на Черкасского за проводимую им в Болгарии руссофильскую политику; в частности, он обвинял его в конфискации имущества мусульманского духовенства и в попытке расслоения болгар путем нового распределения земельных имуществ, имевшего целью передачу земель мусульман и богатых христиан, державших руку турок, болгарскому крестьянству, настроенному против турецкого владычества.

[14] Бисмарк Отто (1815—1898), германский государственный деятель, в 1877 г.— канцлер и министр-президент. Политика Бисмарка по отношению к восточному вопросу в эти годы состояла в том, чтобы втянуть Россию в войну с Турцией и не допустить до мирного разрешения существовавших между ними разногласий.

[15] Толстой имеет в виду стихотворение Фета «Опять» (Сияла ночь. Луной был полон сад...), написанное им 2 августа 1877 г. и присланное в письме от 3 августа. Стихотворение это было вызвано воспоминанием о вечере, проведенном в 1866 г., вместе с Т. А. Кузминской. Вечер этот описан в ее воспоминаниях «Моя жизнь дома и в Ясной Поляне», ч. III, М., 1926, стр. 108—111.

[16] См. следующее письмо.

23

[16 августа 1877 г., Ясная Поляна]

Дорогой Николай Николаевич! Посылаю вам статьи Соловьева[1]. Я начал читать их и не мог докончить. Не знаю, кто виноват, он или я, но мне стало невыносимо скучно от того, что стало очевидно, что занятие мое, чтение, самое из праздных праздное. Читал я тоже в июле 1-го Revue des deux mondes статью о Cournot — философе[2], вам будет очень интересно, сначала и по-моему очень хорошо о законах разума, выводимых из наук, я от вас слышал эту мысль в первый раз и был ею поражен. О случайности идет потом запутанно. Степа обещался списать мне стихотворение Фета[3] и я вложу его. Мне очень, очень нравится.

Хотя мне и совестно говорить об этом, я все-таки не могу не написать о том, как я вам благодарен за вашу заботу об Анне Карениной[4]. Прочел я статью Русск[ого] Вестника и очень подосадовал на эту уверенность наглости в безнаказанности, на сознание своей ни перед чем не имеющей отступить наглости; но теперь успокоился. Нынче идет дождь, мы все дома и хочется писать и так радостно приближение работы.

В войне мы остановились на 3-м дне битвы на Шипке[5], и я чувствую, что теперь решается или решена уже участь кампании, или первого ее периода. Господи помилуй. Обнимаю от всей души, пишите мне почаще. Я всякую минуту вспоминаю о вас.

Ваш Л. Толстой

Печатается по рукописной копии Е. Д. Хирьяковой. Дата копии.

[1] Речь идет о статье Вл. С. Соловьева «Философские начала цельного знания», о которой Страхов писал 26 мая: «Вл. Соловьев уехал в Москву. А знаете ли вы начало его сочинения, вышедшее в Журнале министерства н[ародного] пр[освещения]? Если нет, то я привезу его к вам; дело стоит внимания, и я уверен, что вы будете заинтересованы. Его главных мыслей я, впрочем, не знаю; он их скрывает от меня,

надеясь, разумеется, лучше выразить и отстоять их на бумаге» (ПС, стр. 119—120). Статья эта была напечатана в «Журнале Министерства Народного Просвещения», 1877, №№ 3, 4, 6, 10 и 11.

[2] Курно Антуан-Огюст (1801—1877), французский математик и философ. Он первым применил метод математического анализа к экономическим явлениям. В разрешение философской проблемы о том, как возможно познание, он ввел понятие вероятности, которая, с его точки зрения, наиболее велика в науках математических, где достигает степени достоверности, и минимальна в исторических и философских; промежуточное место занимают естественные науки. Согласно разработанной им теории случая, он рассматривает последний не как факт без причины или меру нашего незнания, а как точку пересечения нескольких параллельно существующих и независимых друг от друга рядов причинностей; случай — это чистая фактичность, которую нельзя дедуктивно вывести из более простых элементов. Основные работы Курно: «Recherches sur les principes mathématiques de la théorie des richesses» (1838); «Essai sur les fondements de nos connaissances» (1851); «Exposition de la théorie des chances et des probabilités» (1843). Толстой имеет в виду статью: Liard Louis, Un géomètre philosophe,— «Revue des derex mondes», 1877, 1 juillet, pp. 102—124.

[3] См. предыдущее письмо, прим. 15-е.

[4] Страхов взял на себя правку корректур отдельного издания «Анны Карениной».

[5] Шипка — первый перевал через Балканский хребет, на пути из Тырнова в Адрианополь, высотою в 1 334 метра. Перевал этот был занят русскими войсками 7 июля. Турецкий генерал Сулейман-паша задался целью выбить русских из Шипки и к 8 августа сосредоточил против шеститысячного русского отряда 28 тысяч человек. С 9 августа начались бои; «третий день» — 11 августа — был критическим; благодаря подошедшим подкреплениям русским удалось удержать свои позиции. Бои продолжались до 15 августа, с громадными потерями, но без решающих результатов, после чего перешли в так называемое «шипкинское сиденье», закончившееся 24 декабря отступлением турок.

24

[2 сентября 1877 г., Ясная Поляна]

Вернувшись из Москвы, куда я ездил за учителем[1], я нашел ваше последнее, унылое письмо[2], дорогой Николай Николаевич. Дух праздности, уныния, любоначалия, празднословия[3]... Не поддавайтесь им, этим духам. Я борюсь с ними постоянно и потому и боюсь, что другие страдают от них. Сведения, котор[ые] вы сообщили мне о воспоминаниях о нас оптинских старцев[4], и вообще воспоминания о них мне очень радостны[5]. Я знаю, что ваше уныние происходит преимущественно от того, что вы не можете ежедневно заниматься своим главным делом (какое ваше главное дело? я наверно не знаю, но думаю, что это философия, и думаю, что начатая вами статья о физических науках и есть оно самое). Но я уверен, что у каждого человека есть призвание и что он чувствует его (но только тогда, когда исполняет его). Те люди, которых призвание таково, что можно без подготовки заниматься им ежедневно, счастливее вас и меня, потому что они не знают уныния. Но оттого я счастливее вас, что живу в уединении. Если у меня не готова работа, я жду и ничего не развлекает меня и не путает, а вас, я боюсь, развлекает общество неизбежное, или вам так кажется, и вы приходите в уныние.

Виделся я в Москве в поисках за учителями с Цингером[6]. Он очень много занимается воображаемой геометрией, но считает это совершенно праздною и модною наукой, которая может быть только интересна для философа.

В вашем последнем письме я не понял того, с чего вы начинаете: и больше ничего не нужно. Объясните пожалуйста[7]. «Десять лет реформ»[8] я купил в Москве и благодарю за указание.— Если вспомните еще что — пожалуйста напишите.

Чувство мое по отношению к войне перешло уже много фазисов, и теперь для меня очевидно и несомненно, что эта война, кроме обличения, и самого жестокого и гораздо более яркого, чем в 54 году, не может иметь последствия.

Вернувшись из Москвы, нашел тоже письмо от Фета с присылкой статьи Бологова, как пишет Фет[9]. Но с первых страниц я узнал Фета. Статья по-моему очень хороша за исключением преизбытка и неожиданности сравнений. Он желает ее напечатать, и мне бы хотелось, потому что сказано все то, что я бы хотел сказать. Что вы скажете? И куда бы ее приняли в видное место?

Сейчас получил письмо о раненых, которые должны поместиться у нас[10]. Совершенно впечатление пожара в городе, в котором вы живете,— хотя и далеко, но жить спокойно нельзя. Обнимаю вас от всей души и желаю духа бодрости и сознания исполнения призвания.

Ваш Л. Толстой

Степа, когда вспоминает о вас, что он делает часто, весь распускается от умиления нежности к вам. Он благодарит за память.

Печатается по рукописной копии Е. Д. Хирьяковой. Дата копии.

[1] Толстой ездил в Москву 25 августа.

[2] От 25 августа. Страхов сообщает в нем слухи о военных делах, об огорчении, причиненном ему Вл. С. Соловьевым, и заканчивает словами: «Ах, как это все скучно и жалко» (см. ПС, стр. 128—129).

[3] Слова из церковной молитвы Ефрема Сирина.

[4] В копии: «старцах».

[5] 16 августа Страхов писал: «Сейчас был у меня Павел Александрович Матвеев; он навещал Оптину Пустынь после нас и привез мне целую кучу разговоров об вас и даже обо мне. Отцы хвалят вас необыкновенно, находят в вас прекрасную душу...» (ПС, стр. 126).

[6] Цингер Василий Яковлевич (1836—1907), математик, профессор Московского университета, знакомый семьи Толстого.

[7] Свое письмо от 25 августа Страхов начинал словами: «И больше ничего не нужно. Так нужно бы кончить мое прошлое письмо» (ПС, стр. 128); в ответном письме от 8 сентября он не объясняет их.

[8] «Десять лет реформ» (СПБ., 1872) — сочинение деятеля крестьянской реформы Алексея Адриановича Головачева (1819—1908). Страхов рекомендовал книгу Толстому в ответ на его просьбу подыскать ему литературу по истории царствования Александра II. «Буду искать книг и пособий для изучения нынешнего царствования, — писал Страхов 17 августа. — Есть книга Головачева «Десять лет реформ». Ее хвалили, как очень дельную; если ее не сожгла цензура, я непременно пришлю» (ПС, стр. 127).

[9] Речь идет о статье Фета, публикуемой ниже (см. стр. 231—238).

[10] Письмо это неизвестно. 3 сентября 1877 г. С. А. Толстая писала Т. А. Кузминской: «На-днях нам пришлют в Ясную Поляну десять раненых, выздоравливающих, и я завтра посылаю покупать парусины, посуды и пр. для того, чтоб устроить этих солдат» (ГТМ). Однако, присылка раненых со дня на день откладывалась, а из письма С. А. Толстой к сестре от 28 ноября мы узнаем, что этот план вообще расстроился: «А наше намерение взять 10 раненых, выздоравливающих,— пишет она,— осталось без результата, так как министерство запретило выпускать из больниц по деревням; солдаты балуются, не берегутся и делаются опять больны» (ГТМ).

25

[6 ноября 1877 г., Ясная Поляна]

Только что хотел вам написать, дорогой Николай Николаевич, именно с тем, чтобы спросить у вас, что с вами делается — нет ли у вас горя, или не очень ли вы увлеклись работой, как получил ваше письмо[1].

Очень грустно мне за вас, я по тону, которым вы говорили о покойном, чувствовал, что он вам очень близок и дорог. — Мне кажется, что из того, что я от вас знаю о нем, я ясно понимаю его характер, и он мне очень мил. Тем более сочувствую вам и тем менее могу ободрить вас, что я сам это последнее время в самом унылом, грустном, убитом состоянии духа. Разумеется я не знаю, отчего это происходит; если бы я знал, я бы боролся. Но два главные предлога моей грусти, это моя

праздность, постыдная и совершенная, и состояние жены, болезненная беременность и предстоящие в декабре роды[2]. Менее важный предлог, это — мучительная эта война.

Знаю, что грех мне жаловаться, но в душе я сам себе и только вам одному жалуюсь. Мучительно и унизительно жить в совершенной праздности и противно утешать себя тем, что я берегу себя и жду какого-то вдохновения. Все это пошло и ничтожно. Если бы я был один, я бы не был монахом, я бы был юродивым, — т. е. не дорожил бы ничем в жизни и не делал бы никому вреда.

Пожалуйста не утешайте меня, и в особенности тем, что я писатель. Этим я уже слишком давно и лучше вас себя утешаю; но это не берет, а только внемлите[3] моим жалобам, и это уже меня утешит.

На-днях слушал урок священника детям из катехизиса. Все это было так безобразно. Умные дети так очевидно не только не верят этим словам, но и не могут не презирать этих слов, что мне захотелось попробовать изложить в катехизической форме то, во что я верю, и я попытался[4]. И попытка эта показала мне, как это для меня трудно и, боюсь, невозможно. И от этого мне грустно и тяжело.

Может быть, письмо мое подействует на вас по правилу similibus curantur[5] и возбудит к энергии. Дай бог. Но не сердитесь на меня за это. Всей душой любящий вас

Л. Толстой

Печатается по рукописной копии Е. Д. Хирьяковой. Дата копии.

[1] Письмо это, в котором Страхов сообщал о смерти своего друга, И. А. Шестакова, неизвестно.

[2] 6 декабря 1877 г. у Толстых родился сын Андрей.

[3] В копии написано сначала «внемлите», а потом поправлено на «внемлет».

[4] Эта попытка догматического изложения христианского учения осталась неоконченной. Сохранившийся отрывок напечатан в т. XVII Юбилейного издания.

[5] Основной тезис гомеопатов: similia similibus curantur — подобное излечивается подобным.

26

[18 декабря 1877 г., Ясная Поляна]

Грустно мне за вас, дорогой Николай Николаевич. Я воображаю, как вам особенно тяжело было это горе людей, которых вы любите и с которыми живете. Но что означают слова: вот начинаются несчастья, которых я боялся[1].

За книги, и те и другие, не могу вам сказать, как я вам благодарен. Я уже весь ушел в них, т. е. Штрауса, Ренана, Прудона, Max Müller и Burnouf[2] у меня есть теперь. Одного мне нужно еще — это Канта этику, «Критику практического разума», кажется; но я выписал себе. Над Соловьева статьей[3] я долго ходил, боясь к ней приступить. Я видел, что она касается того, что занимает меня; и в изложении мыслей современного и соплеменного мыслителя есть особенная волнующая близость и значительность. Нынче я прочел ее. Все шло прекрасно до стр. 12-й, где вдруг оказывается, что основные начала знания добра и зла бывают (это нашел Соловьев) отвлеченные и положительные, а положительные имеют силу тогда, когда за ними признается основание божественное. Что такое божественное? Что это за знание или мышление, при котор[ом] предполагается бог, и что такое бог? Прежде надо решить, законны ли те начала, которые не могут быть[4] без бога, или наоборот законны ли те начала, кот[орые] без бога. И что такое за необходимость вводить бога? Случайное ли это суеверие или неумелость выражения, или это необходимый прием[5]. И не единственный ли это

прием мышления об основных началах (как я думаю). И тогда, да и не только тогда, но и во всяком случае надо объяснить, говоря об началах, за кот[орыми] признается божественное основание, что такое это значит; ибо очевидно, что в этом основании-то и самое начало. А он классифицирует. Если бы он потрудился определить, что он разумеет под полож[ительными] начал[ами], имеющ[ими] основ[анием] божеств[енное], то он бы наткнулся на то самое начало, без которого не может быть и отвлеченных начал. Отвлеченные слова могут быть, но начал знания не может быть иных, как положительных (т. е. настоящих), ибо, если бы они не были настоящие, не было бы и знания никакого. А основы эти необъяснимы разумом, находятся вне нас и потому божественны, не потому что они прекрасны, непоколебимы, истинны, а потому что они обнимают нас с нашим знанием, мы в них, в их области, и потому они для нас боги или бог. Я увлекаюсь, высказывая то, что я думаю, и высказываю кажется неясно, но возражение мое Соловьеву и всем философским статьям этого рода остается во всей силе; нельзя, говоря об основах знания, вводить понятие божества, как случайный признак, годный для подразделения.

Потом, как неверна и мала его попытка опровержения Шопенгауэра, что при сострадании мы будто содействуем призрачной ложной жизни тех, кому мы сострадаем. Шоп[енгауэр] говорит, что, отдаваясь состраданию, мы разрушаем обман обособления и отдаемся закону сущности вещей, единству, а что из этого выйдет — это все равно. Его этика совпадает следовательно с метафизическими началами [6]. Чего же еще можно требовать?

Против утилитаризма тоже неубедительны его доводы, что необходим абсолютный принцип. Почему? Формула альтруизма опровергается, по-моему, точно так же просто, как и формула эгоизма. Встретившиеся в дверях скорее разойдутся, если подерутся, чем если будут уступать друг другу. Практического приложения этой формулы очевидно нет никакого, и нелепость ее не бросается нам в глаза только потому, что нравственная истинность этого положения соответствует основному началу нашему [и] слишком очевидна. Не взыщите, что, рассчитывая на благосклонность вашего понимания моих мыслей, высказываю их вам, как попало [7]. Радуюсь вашему обещанию кончить статью на рождестве [8]. Смотрите же, не откладывайте и пришлите мне. Фет в восхищении от вашего письма и вашего обещания приехать к нему [9]. — Мы опять вместе поедем, если бог даст, так как я надеюсь, что вы лето, ваше свободное время, никому не обещаете, кроме нас.

Жена и ребенок, слава богу, здоровы, и я оживаю. Что я делаю? Не могу сказать, но я работаю и более доволен собой.

Я узнал в Туле, куда я ездил, как гласный, на земское собрание [10], Хомякова [11], сына А[лексея] С[тепановича]. Очень хороший и умный человек. Хотелось бы вас познакомить с ним.

Ваш Л. Толстой

Печатается по рукописной копии Е. Д. Хирьяковой. Дата копии.

[1] Страхов писал 12 декабря: «У нас в доме случилось большое горе, бесценный Лев Николаевич. Старший мальчик Стахеевых умер почти скоропостижно. Он слег в день моих именин, а 9-го утром умер. По словам доктора, у него были вместе скарлатина, тиф и жаба. Отец и особенно мать поражены ужасом. Это была их надежда, центр всей семьи... Вот начинаются те несчастья, которых я боялся» (ПС, стр. 115).

В ответном письме от 27 декабря Страхов поясняет: «Вот начинаются несчастия. Я уже давно сообразил, что Стахеевы люди несчастные, больные, для которых нет впереди хорошего будущего, и я даже хотел эгоистически уйти от них, чтобы не нести своей доли тяжести, но видно уж поздно — мне их ужасно жалко» (ПС, стр. 139).

[2] Мюллер Макс (1823 — 1900), санскритолог, профессор Оксфордского университета, и Бюрнуф Эмиль (1821 — 1907) — авторы работ по сравнительной мифологии и истории религий.

[3] Имеется в виду статья Вл. С. Соловьева «Критика отвлеченных начал», главы I — V которой были напечатаны в «Русском Вестнике», 1877, ноябрь, стр. 5 — 50. Законченная печатанием в декабрьской книжке (стр. 363 — 511), она вышла отдельным изданием в 1880 г. и представлена Соловьевым в качестве диссертации на степень доктора философии.

[4] Зачеркнуто: «постановлены».

[5] Зачеркнуто: «мышление».

[6] В копии было написано сначала «метафизическими началами», а потом поправлено (очевидно, ошибочно) на «математическими началами».

[7] Касаясь в ответном письме от 24 — 27 декабря критики Толстым статьи Вл. Соловьева, Страхов пишет: «Чтобы не заговориться, обращаюсь к Соловьеву. Я сейчас только прочитал еще его статью, явившуюся в «Гражданине», — «Вера, разум и опыт», первая статья — и я готов просто браниться. Это все болтовня, в которой маленькая искра философской работы потоплена в беспорядочной массе слов. Вы никогда не разберете, откуда оно идет, что у него свое, что чужое, что взято готовое, что прибавлено, что доказано, что вопрос. В сущности его первая работа — Кризис — самая серьезная; теперь он пустился без оглядки писать. Вы знаете, он диктует свои статьи стенографке?

Вы совершенно правы в ваших замечаниях: утилитарианизм не только не опровергнут, а даже толком не изложен; а Шопенгауэр опровергается посредством прежалкого софизма. К таким софизмам он очень расположен; их множество в «Философских началах цельного знания», я ловил его на них и в разговорах, и они причиной, что его мысли не достигают определенности, а все сбиваются на тавтологии» (ПС, стр. 138).

[8] Страхов писал 12 декабря, что статья его «Об основных понятиях психологии» «на рождестве непременно будет написана».

[9] Письмо Страхова к А. А. Фету от 27 ноября 1877 г. напечатано в «Русском Обозрении», 1901, № 1, стр. 72—73. Письмо Фета, в котором он высказывается по поводу этого письма к нему Страхова, неизвестно.

[10] Толстой несколько раз ездил в декабре 1877 г. в Тулу на губернское земское собрание. 12 декабря он был избран почетным попечителем Тульского реального училища, сроком на три года («Отчет Тульской губернской земской управы за 1877—1878 гг.», Тула, 1878, стр. 45).

[11] Хомяков Дмитрий Алексеевич (1841—1919), помещик Тульского уезда, Тульской губернии, земский деятель и писатель славянофильского направления, сын Алексея Степановича Хомякова, известного славянофила.

ПИСЬМО ТОЛСТОГО С. А. ВЕНГЕРОВУ

Публикация Н. Гусева

Историк литературы, критик и библиограф Семен Афанасьевич Венгеров (1855—1921) 23 марта 1882 г., будучи редактором недолго просуществовавшего народнического журнала «Устои», обратился к Толстому с письмом, в котором писал:

«Профессор Янжул в письме к Вас. Ивановичу Семевскому передал ваш отзыв об «Устоях», который не мог не тронуть до глубины души всех ближайших участников этого журнала. Я уполномочен принести вам от имени их всех сердечнейшую благодарность за ваше одобрение, которое им дороже всяких других мнений. Вы, вероятно, заметили уже, Лев Николаевич, из многих статей «Устоев», с каким глубоким уважением относятся к вам все сотрудники нашего журнала. Поэтому, надеюсь, вы не сочтете пустой фразой, если я вам скажу, что одобрение ваше было нам бесконечно приятно. Если вам понравились «Устои», значит, в них действительно есть стремление честно выполнить свою задачу. Вместе с лестным вашим отзывом пр. Янжул сообщил, что вы желаете дать нам статью. Уж и не знаем, как вас благодарить за это. Ваше имя на страницах «Устоев» — вернейший залог их успеха. Говорю без преувеличения, что и не снилась нам такая благодать. Давайте же нам свою статью, Лев Николаевич, давайте скорее, чтобы она еще в апрельскую книжку попала. Ради нее отложим выход книжки хотя бы до 1-го мая.

Пишет затем пр. Янжул, что вы интересуетесь узнать организацию «Устоев».

Спешу вам сообщить интересующие вас сведения.

Редакция наша организована на строго-артельных началах. Все вопросы решаются сообща. Рукописи равномерно распределяются. Если кто безусловно отвергает какую-нибудь рукопись, она прямо возвращается авторам. Если же рукопись ему покажется пригодной, она передается еще одному члену редакции, и затем на общем собрании обсуждается вопрос о принятии или непринятии. Иной раз статья сразу прочитывается на редакционном собрании, без предварительного просмотра кем-нибудь из членов редакции. Такому же прочитыванию на общем собрании подвергаются статьи ближайших сотрудников.

Не стану вдаваться в дальнейшие мелочи и повторю только, что все у нас устроено на строго-артельных началах. Своею властью никто ничего не может сделать. О денежной части ничего не могу вам сообщить, так как покамест прибылей никаких нет. Покамест редакция даже ничего не получает за свои труды. В будущем же, если будет барыш, он будет равномерно распределяться между всеми работниками журнала.

Сторонние сотрудники, а также и члены редакции, получают по 50 р. за лист. Больше мы не в состоянии давать, и эту плату получают у нас все однообразно. Состав редакции: 1) Глеб Успенский (эпизодически — когда наезжает в Петербург), 2) Златовратский, 3) Скабичевский, 4) Кривенко (внутренний обозреватель «Отечественных Записок»), 5) Наумов, 6) Протопопов (псевдоним Н. Морозов), 7) Плещеев и 8) я.

Затем позволю себе попросить вас сообщить мне, когда вы намерены дать нам свою статью. Это важно знать, чтобы сообразить, как подогнать выход книжки. Если вы можете прислать статью в апреле, мы ее непременно пустим в апрельскую книжку. Если не можете дать раньше мая — тогда уже, значит, придется выпустить апрельскую книжку без нее.

В заключение еще одна серьезная просьба: не позволите ли публиковать о вашем обещании? Такая публикация значительно поправила бы наши дела, которые покамест не очень-то блестящи.

Затем прошу принять уверения в глубочайшем моем уважении к вам.

С. Венгеров»

(Письмо не опубликовано; хранится в Толстовском кабинете Всесоюзной библиотеки им. В. И. Ленина.)

Толстой отвечал Венгерову следующим письмом:

Семен Афанасьевич!

В апрельскую книжку успеть нельзя. Публиковать вперед тоже нельзя. Почему-нибудь не удастся — и будет неприятно и вам и мне. — А очень хочется и напечатать у вас мою статью и поддержать ваш журнал, если это его поддержит, потому что он мне очень понравился своим характером бодрости и прямоты.

Желаю вам больше всего двух вещей: сдержанности, ловкости, искусства говорить правду, но так, чтобы вас не прихлопнули. Есть ли у вас такой мастер? Если есть, то держитесь его.

И второе — главное — не сердиться и не нападать на людей больше, чем того требует их <пагубное> злое влияние на общество. Я еще этого не замечал, но это — ахиллесова пятка всех журналов. — А интересы вашего журнала так серьезны, что избави бог спуститься до личного задора.

Денежная сторона вашего дела мне особенно сочувственна. Покупай мудрость, а не продавай ее (Эклезиаст). Что-то есть особенно отвратительное в продаже умственного труда. Если продается мудрость, то она наверно не мудрость.

Статья моя, насколько она написана, для цензуры будет крута. Как мне ни хочется сказать все, как думаю, предоставляю вам, мастеру ценз[урного] дела — выкидывать то, что может быть опасностью для журнала.

Если успею, пришлю вам скоро, а вы в корректурах пришлите мне, чтобы успеть поправить и переписать.

Это письмо, хранящееся в Институте русской литературы в Ленинграде, не попало в шестьдесят третий том Юбилейного издания сочинений Толстого, содержащий письма Толстого за 1880—1886 гг., так как было обнаружено уже после выхода этого тома из печати.

В письме этом идет речь о большой статье Толстого, вызванной впечатлениями от московской переписи, в которой он участвовал в январе 1882 г., и начатой им в феврале того же года, — статье, названной им впоследствии «Так что же нам делать?» и законченной лишь в 1886 г.

Повидимому, в том же 1882 г. С. А. Венгеров виделся с Толстым в Ясной Поляне или в Москве, чтобы поговорить об обещанной статье. Сведения о посещении Венгеровым Толстого находятся в статье Г. А. Русанова «Поездка в Ясную Поляну», относящейся к 1883 г. («Толстовский ежегодник 1912 года», изд. Общества Толстовского музея в Петербурге и Толстовского общества в Москве, М., 1912, стр. 72). Статья Толстого в «Устоях» не появилась.

Журнал «Устои» просуществовал только один год.

ПИСЬМО ТОЛСТОГО М. О. МЕНЬШИКОВУ

Публикация Н. Гусева

21 августа 1908 г., лежа в постели, тяжело больной Лев Николаевич продиктовал мне запись в дневник, которая заканчивалась словами:

«Написал письмо М. и не раскаиваюсь».

Упоминаемый здесь «М.» — это известный в то время журналист, постоянный сотрудник «Нового Времени», М. О. Меньшиков. В 90-х годах он выступал сторонником и пропагандистом толстовских идей в журнале «Неделя» (хотя Толстой, как однажды он при мне ответил на вопрос С. И. Танеева, «никогда не считал его близким человеком»). С 900-х годов, перейдя в «Новое Время», Меньшиков занял иную позицию, соответствовавшую направлению этой газеты, а в 1908 г. выступал в той же газете уже, как ярый противник общественно-политических взглядов Толстого.

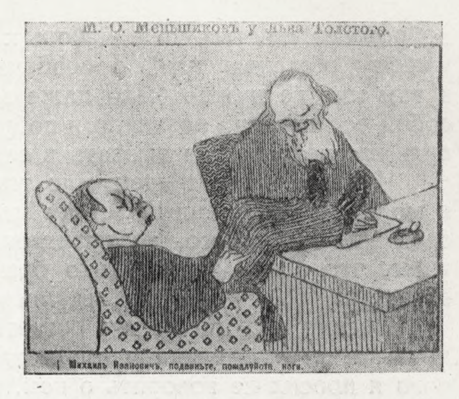
Знаменитая статья Толстого «Не могу молчать», написанная против казней революционеров правительством Николая II и Столыпина и опубликованная в русских газетах в неполном виде (по цензурным условиям) 3 июля 1908 г., вызвала со стороны Меньшикова статью «Лев Толстой, как журналист», в которой он писал: «Не могу молчать» — просто слабо написанная, не волнующая, не убедительная статья... Самый плохой сорт писаний великого беллетриста — его газетная публицистика. Тут он почти никогда не выше посредственности, часто ниже ее. О таланте Толстого в этой области не может быть и речи. По раздраженному тону, по анархизму банальных идей, по партийной озлобленности, по ожесточенной ненависти к «правительству» и «попам», Лев Толстой падает иногда до какого-нибудь плебея мысли... В истории литературы, в истории просвещения будет известен романист Лев Толстой. О том же, что он писал, кроме беллетристики, религиозные, философские, политические статьи, будут знать разве лишь академики из усидчивых крохоборов» («Новое Время», 11 июля 1908 г.).

10 августа 1908 г. в «Новом Времени» появилась другая статья Меньшикова против Толстого, озаглавленная «Толстой и власть». Здесь Меньшиков писал:

«Когда революционеры ополчаются на правительство, образованное общество может оставаться более или менее равнодушным. Что такое революционеры? В подавляющем большинстве это не слишком внушительный народ... Пока на правительство восстает вот эта слабость, образованный круг может сохранять сочувственный власти нейтралитет... Но дело меняется, когда против правительства выступает великий писатель, каков Лев Толстой, и выступает не против таких-то и таких чиновников, а вообще против учреждения власти, сложившейся в веках, т. е. составляющей факт природы. Тут мы, люди культуры, невольно выходим из своего равнодушия. Здесь перед нами развертывается зрелище грандиозное, почти трагическое. Здесь каждый должен определенно выяснить — перед совестью своей — на чьей он стороне».

Далее, обращаясь к Толстому, Меньшиков говорит:

«Вы требуете отмены таких-то и таких-то законов, но установления человеческие, столь долговременные и прочные, как собственность, торговля, власть, деньги и пр., вовсе не русские законы и не немецкие, и не французские, а общечеловеческие, обязательные для всех правительств. Вглядитесь в них хорошенько — вы увидите, что это законы самой природы... Лев Толстой требует от власти, чтобы, пока она еще в силах,— поспешила бы уничтожить частную земельную собственность. Этого хочет будто бы весь народ, это будто бы «вечное и справедливое требование всего



М. О. МЕНЬШИКОВ У ТОЛСТОГО
Карикатура из газеты «Столичное Утро», 1908 г., № 230

народа», это будто бы идеал народный. Говорю «будто бы», потому что в действительности конечно нет ничего подобного... Требуя от правительства, чтобы оно, «пока в силах», отменило частную собственность на землю, Толстой стоит не за народный идеал, а против него. Он подговаривает власть к величайшему насилию, какое мог бы придумать тиран... Выходит, что он осуждает лишь то насилие, которое идет против его идей, а то, которое стоит за его идеи, он признает. Но ведь это то же самое, что признают обыкновенные революционеры. Куда же девалась у Льва Николаевича знаменитая заповедь о непротивлении злу насилием?» (эту часть своей статьи Меньшиков озаглавил: «Подговор к насилию»).

Меньшиков заканчивает свою статью словами обвинения Толстого в том, что он, призывая землевладельцев к отказу от земельной собственности, сам не отказался от нее.

Номер «Нового Времени» с этой статьей Меньшикова был получен в Ясной Поляне 12 августа. Статья вызвала всеобщее возмущение. Так как в статье затрагивался не только Толстой, но и его семейство, Софья Андреевна сейчас же взялась за перо и написала ответ на статью Меньшикова. Со свойственной ей страстностью, С. А. Толстая в самом начале своего ответа писала про Меньшикова: «Уже давно презирая статьи этого ловкого, вечно виляющего и служащего и нашим и вашим газетного писателя...». Затем было сказано, что «маленькому фарисейскому уму» Меньшикова «не дано понять» Толстого; заканчивалось же письмо словами: «Г. Меньшиков не понимает и того, что, как бы он ни тянулся и ни щелкал своими крошечными ядовитыми щипчиками,— он властен затушить перед собой сальную свечу, а не всемирно светящее солнце».

Это письмо С. А. Толстой появилось 17 августа 1908 г. в самой распространенной тогда московской газете «Русское Слово». Оно, конечно, стало известно Толстому. Повидимому, именно потому, что Софья Андреевна написала и напечатала свое резкое письмо, у Толстого явилось желание написать Меньшикову в ином духе, чем это сделала его жена.

Ему захотелось, с одной стороны, указать Меньшикову на безнравственный и вредный характер его статей, а с другой — обратиться к нему не публично, не со словами порицания и осуждения, а один-на-один. И 20 августа он продиктовал мне следующее письмо к Меньшикову:

Михаил Осипович, я прочел вашу статью «Толстой и власть» и, к большой и неожиданной радости моей, не испытал не только неприятного чувства, но, напротив, одно из самых желательных и дорогих мне чувств — не просто доброжелательства, а прямо любви к вам—той самой любви к обижающим, к которой я давно стремлюсь и только изредка испытываю,— то чувство, которое лежит в душе каждого человека и только потому, что оно лежит в душе каждого человека, как высшая истина, открыто, предписано учением Христа. Чувство это — любви без возможности всяких исключений, любви к ненавидящим, обижающим, гонящим, есть то же самое, как и то, которое вызвало во мне не только

доброжелательство, но и любовь к вам. Не знаю почему: по прежнему ли нашему общению или по особенности вашей личности, по отношению к вам мне не нужно было даже вызывать это чувство в себе: оно само собой естественно возникло и побуждает меня сообщить вам о нем и просить вас постараться вызвать в себе то же чувство.

Чувство это, по-моему, до такой степени свойственно человеку, что я могу только удивляться, как могут люди не признавать его и лишать себя этого высшего, не передаваемого словами блага. Для меня ясно тоже, что это — дело только времени, что очень скоро будет казаться странным, что люди, как вы, могут защищать казни.

Письмо это мое к вам остается неизвестным всем моим домашним и друзьям, за исключением помощника моего в письменных работах, которого я просил не говорить о нем. Прошу вас точно так же не показывать этого моего письма и не говорить о нем. Если захотите отвечать мне в том духе, о котором я пишу вам, буду рад.

Любящий вас Лев Толстой

Продиктовав мне это письмо, Толстой сказал, что он не желает, чтобы с этого письма была снята копия в копировальной книге (в то время в Ясной Поляне со всех написанных Толстым писем делались копии с помощью механического пресса). Кроме того, он просил меня от себя приписать Меньшикову, что если он будет ему отвечать, то чтобы он прислал письмо в конверте без печатного адреса «Нового Времени» (чтобы домашние Толстого не обратили внимания на это письмо).

Ответа от Меньшикова не последовало.

Уже после смерти Толстого, в 1911 г., я передал хранившуюся у меня копию этого письма Толстого в архив В. Г. Черткова. В то же время, подготовляя к печати свою книгу «Два года с Л. Н. Толстым», я обратился к Меньшикову с письмом, в котором просил разрешения напечатать в моей книге продиктованное мне письмо к нему Толстого.

Меньшиков ответил мне открыткой, в которой писал, что он не помнит содержания того письма Толстого, о котором я спрашивал. Он прибавлял, что не одобряет обычая — сейчас же после того, как писатель умрет, «тащить в печать» его письма и всякие воспоминания о нем; однако, обещал найти письмо Толстого и вторично написать мне. Но второго письма я от Меньшикова не дождался, почему и не опубликовал в своей книге письма к нему Толстого.

Какова была судьба этого письма, которое Толстой так заботливо оберегал от взоров посторонних,— неизвестно. В архиве Меньшикова, находящемся теперь в Институте русской литературы в Ленинграде, среди целого ряда писем к нему Толстого, этого письма нет.

ПЕРЕПИСКА Л. Н. ТОЛСТОГО

ПЕРЕПИСКА ТОЛСТОГО С М. Н. КАТКОВЫМ

Публикация Ф. Буслаева

Публикуемая ниже переписка Толстого с Катковым охватывает почти двадцатилетний период (1858—1877). В течение этого времени Толстой поместил в журнале Каткова «Русский Вестник» следующие произведения (в порядке хронологической последовательности):

Семейное счастье, 1859, т. XX, №№ 1—2.

Казаки, 1863, № 1.

Поликушка, 1863, т. XIII, № 2.

Тысяча восемьсот пятый год, 1865, т. LV, №№ 1—2; 1866, т. LXI, № 2, т. LXII, №№ 3—4.

Анна Каренина, 1875, т. CXV, №№ 1—4; 1876, т. CXXI, №№ 1—2, т. CXXII, №№ 3—4, т. CXXVI, № 12; 1877, т. CXXVII, №№ 1—4.

Попытка привлечь Толстого в число сотрудников «Русского Вестника» относится к моменту возникновения этого журнала, т. е. к концу 1855 — началу 1856 г. В это время Толстой, вместе с группой виднейших писателей, в которую входили Тургенев, Гончаров, Григорович и др., был связан с редакцией журнала «Современник» некоторыми условиями, в силу которых эти писатели дали обязательство помещать свои произведения исключительно в «Современнике».

При основании «Русского Вестника» Катков пытался привлечь в число его сотрудников Толстого и Тургенева. История этих первых взаимоотношений Толстого с редакцией «Русского Вестника» отражена в его неопубликованном письме к Каткову, копия с которого, с поправками и вставками автора, хранится в архиве Л. Н. Толстого во Всесоюзной библиотеке им. В. И. Ленина в Москве. Письмо относится, вероятно, к началу 1856 г. Неизвестно, впрочем, было ли письмо отправлено Толстым в редакцию «Русского Вестника» именно в этом виде или же в окончательном тексте произошли какие-либо изменения.

Письмо чрезвычайно интересно, поскольку оно характеризует и личность Толстого и способы действия редакции «Русского Вестника», конкурировавшей с «Современником» и пытавшейся привлечь его сотрудников.

Толстой писал Каткову:

М[илостивый] г[осударь],
Михаил Никифорович!

Напечатанное в Московских Ведомостях объявление от Русского Вестника о исключении г. Тургенева и меня из числа его сотрудников весьма удивило меня. В 1855 г. вам угодно было сделать мне честь письменно пригласить меня в число сотрудников Русского Вестника. Я имел неучтивость, в чем совершенно сознаюсь и еще раз прошу у вас извинения, по рассеянности и по недостатку времени не ответить на лестное письмо ваше. В том же году г. Корш лично приглашал меня принять участие в Русском Вестнике. Не имея ничего готового, я отвечал и совершенно искренно г-ну Коршу, что весьма благодарен за лестное при-

глашение и что, когда у меня будет что-нибудь готовое, я за удовольствие почту напечатать статью в вашем журнале. Весной г. Мефодий Никифорович Катков, встретив меня у г. Тургенева, сообщил мне, что я почему-то уже честным словом обязан в нынешнем году доставить повесть в редакцию Русского Вестника. Я ответил вашему брату то, что я мог ответить, не имея ничего готового и прежде не обещанного, я ответил теми же общими фразами полуобещания и благодарности за лестное приглашение. Вот все мои отношения с редакцией Русского Вестника. Конечно было бы лучше с моей стороны отвечать г-ну Коршу и Каткову резким отказом и только тогда, когда бы моя статья была готова, прислать ее к вам. Без сомнения это было бы логичнее, а главное выгоднее и безопаснее для меня во всех отношениях, но кто из нас не отвечал общими учтивыми полуобещаниями даже на приятные приглашения, которые сам не знает, в состоянии ли будет выполнить, хотя и желает этого. Я не считал и не считаю себя обещанием обязанным перед Русским Вестником, хотя имя мое без моего на то согласия и было напечатано в списке сотрудников журнала. Сама редакция Русского Вестника, как мне кажется, не считала меня своим сотрудником, судя по тому, что после разговора с г. Коршем ни разу не обращалась ко мне, не изъявила желания узнать моих условий при печатании моих статей, не спрашивала, какие будут это статьи и не исполняла в отношении меня обыкновенных условий редакторской учтивости к своим сотрудникам, т. е. не посылала мне книжек своего журнала. Но ежели вам угодно буквально понимать мои ответы г-ну Коршу и Каткову, что я почту за удовольствие печататься в Русском Вестнике, и принимать их за положительное обещание, то и в этом случае позвольте вам заметить, что, никогда не означав времени, когда я отдам свою статью, я ничем не доказал, что не хочу исполнить своего обещания. Я могу прислать статью через месяц, через год, через два, одним словом по истечении срока условия с Современником, вызвавшего ваше объявление. Ежели редакция Русского Вестника нашла необходимым оговориться перед публикою в преждевременном напечатании моего имени в списках сотрудников, то, обвиняя в этом меня, она поступила, мне кажется, не совсем справедливо.

Представляя на ваше усмотрение дать или не дать этому письму ту же публичность, которая дана вашему объявлению, честь имею быть вашим покорным слугою.

Гр. Л. Толстой

Первые повести Толстого — «Детство», «Отрочество», «Севастопольские рассказы» и др. — были помещены в «Современнике». Однако, в конце 50-х годов, когда основная линия «Современника» все более отчетливо оформлялась, как революционно-демократическая, когда во главе его стали вожди революционного поколения, Чернышевский и Добролюбов, начался отход от журнала писателей, не сочувствовавших этому направлению. Примерно, в это время начал выходить «Русский Вестник» — журнал, занявший в первые годы умеренно-либеральную позицию. Естественно, что именно в этот солидно поставленный журнал и перешли Толстой, Тургенев и другие писатели из дворянско-помещичьей интеллигенции. С 1859 г. Толстой начал печататься в «Русском Вестнике».

Вскоре умеренная позиция Каткова стала приобретать явно охранительный характер.

После подавления польского восстания 1863 г., после многочисленных покушений на Александра II Катков становится законченным реакционером, апологетом реакционной политики правительства. Понятно, что между взглядами Толстого и Каткова не могло быть ничего общего. Тем не менее, Толстой продолжает отдавать свои новые произведения в «Русский Вестник». Это не должно удивлять нас; повидимому, Толстой, ни в какой мере не сочувствуя взглядам Каткова, не прида-

вал большого значения вопросу о том, где печататься. Окончив «первую часть романа из времен первых войн Александра с Наполеоном», он 30 сентября 1864 г. пишет Каткову: «Из журналов я бы лучше всего желал напечатать в «Русском Вестнике» по той причине, что это один журнал, который я читаю и получаю». Известно, что «Анну Каренину» Толстой одно время собирался отдать в некрасовские «Отечественные Записки». В то же время, Толстой, несмотря на внешнюю корректность своих писем, всегда отрицательно относился к Каткову и его деятельности. В дневнике 1861 г. сохранилась запись: «Катков настолько ограничен, что как раз годится для публики». В письме к А. А. Толстой от 14 ноября 1865 г. Толстой писал: «Почему вы говорите, что я поссорился с Катковым? Я и не думал. Во-первых, потому что не было причины, а во-вторых, потому, что между мной и им столько же общего, сколько между вами и вашим водовозом».

В публикуемых ниже письмах не трудно заметить их характерную особенность: Толстой как бы избегает говорить на отвлеченные темы, стремится обойти возможность полемики, предпочитая оставаться в кругу деловых отношений автора с редактором. Это, несомненно, подтверждает, что Катков не был для Толстого приятным собеседником, которого он хотел бы посвящать в свои мысли, с которым он мог бы обсуждать принципиальные вопросы.

При таких условиях разрыв Толстого с Катковым рано или поздно был неизбежен. Он и произошел в 1877 г., когда в «Русском Вестнике» печаталась последняя часть «Анны Карениной».

В этой последней, восьмой, части романа, которая первоначально называлась эпилогом, Толстой касался злободневного в то время вопроса об освобождении южных славян из-под власти Турции и вообще славянского вопроса, который тогда усиленно раздувался русским правительством; таким образом, Россия постепенно втягивалась в войну с Турцией. Толстой же, устами Левина, высказывал в эпилоге свое отрицательное отношение к этому движению, считая его модным увлечением праздных кругов высшего общества, не имеющим никаких корней в народных массах. Катков, поддерживавший официальную политику правительства, потребовал у Толстого соответствующего изменения концепции славянского вопроса. Когда Толстой отказался это сделать, Катков отказался печатать в «Русском Вестнике» эпилог романа, а для сведения подписчиков поместил в майской книжке 1877 г. заметку:

«От редакции. В предыдущей книжке под романом «Анна Каренина» выставлено: «окончание следует». Но со смертью героини, собственно, роман кончился. По плану автора следовал бы еще небольшой эпилог листа в два, из коего читатели могли бы узнать, что Вронский, в смущении и горе после смерти Анны, отправляется добровольцем в Сербию и что все прочие живы и здоровы, а Левин остается в своей деревне и сердится на славянские комитеты и на добровольцев.

Автор, быть может, разовьет эти главы к особому изданию своего романа».

Толстой с возмущением прочитал это развязное выступление Каткова. В ответ он написал язвительное письмо в редакцию «Русского Вестника». Два варианта этого письма, мало отличные один от другого, хранятся в архиве Толстого во Всесоюзной библиотеке им. В. И. Ленина. Приводим один из вариантов:

Милостивый государь,

Я сейчас прочел в майской книжке Русского Вестника следующую заметку: <назначенную> . . . .
Скромно скрывающаяся в странном месте, как будто прячущаяся от глаз читателя заметка эта <несмотря на умолчание о том, что последняя часть романа была уже набрана в редакции Русского Вестника и не напечатана потому только, что автор не согласился исключить из нее некоторые места, заметка эта> так хороша сама по себе, что заслуживает полного внимания публики своей добросовестностью, деликатностью и грациозной лаконичностью изложения мыслей автора.

Добросовестность по отношению к подписчикам выражается тем, что редакция, вместо могущей иметь вредное влияние на подписчиков последней части романа, озаботилась объяснением, что роман, собственно, уже кончен, и вкратце сообщила о состоянии здоровья остальных лиц романа.

Деликатность относительно автора выразилась тем, что редакция не напечатала того текста романа, который она не приобрела, но который находился в ее руках, а, воспользовавшись этим, только своими словами изложила содержание этой части.

Грациозная же лаконичность изложения содержания последней части только заставляет сожалеть о том, что редакция < так долго томила читателей > в продолжение трех лет так много заняла места печатанием длинного романа, когда бы она так просто могла бы в том же грациозном тоне, в котором сделана заметка, изложить его. Можно бы было написать: была одна дама, она бросила мужа. Но, полюбив другого, она стала сердиться и бросилась под вагон. Кроме того был Левин, который женился на одной девице и прижил сына, и он с семейством все время был здоров.

< Покорно прошу поместить это письмо в вашей газете. > Лишь одно, и по моему мнению самое существенное, упущено из этой заметки:

Последняя часть романа была уже набрана и готовилась к печати, но не напечатана в Русском Вестнике и печатается теперь отдельным изданием только потому, что автор не согласился исключить из нее, по желанию редакции, некоторые места.

Письмо это, однако, не было послано по назначению. Последняя часть романа была издана Толстым отдельной книжкой с таким объявлением на первой странице:

«Последняя часть «Анны Карениной» выходит отдельным изданием, а не в «Русском Вестнике», потому что редакция этого журнала не пожелала печатать эту часть без некоторых исключений, на которые автор не согласился».

После этого эпизода всякие отношения Толстого с Катковым прекратились. (Подробнее о печатании романа «Анна Каренина» см. в первом полутоме настоящего издания, в статье Н. К. Гудзия.)

Публикуемые ниже письма Толстого к М. Н. Каткову недавно найдены в архиве Каткова, хранящемся в отделе рукописей Всесоюзной библиотеки им. В. И. Ленина в Москве.

Письма имеют, в основном, деловой характер и касаются, главным образом, печатания тех произведений, которые Толстой помещал в журнале Каткова «Русский Вестник». Однако, в некоторых письмах имеются ценные замечания, касающиеся творческих замыслов автора. Таковы требование не называть «Тысяча восемьсот пятый год» романом (в письме № 17), настаивание на «ярком реализме», как главной движущей силе романа «Анна Каренина» (в письме № 24) и др. Интересны также сообщения о том, с каким трудом давались автору некоторые произведения или их отдельные места. Наконец, интересны сообщения о педагогических увлечениях Толстого эпохи издания журнала «Ясная Поляна» (первый период) и создания «Азбуки» (второй период).

Письма сохранились не в подлинниках, которые, вероятно, погибли во время пожара в доме Каткова в 1905 г., а в копиях, писанных рукой переписчика в большой конторской книге, канцелярским почерком. Датировка писем оказалась крайне небрежной и неточной. В большинстве случаев датировку пришлось устанавливать почти исключительно на основании содержания писем, руководствуясь биографическими данными. Не помогают ориентироваться в датировке писем Толстого и ответные письма к нему Каткова. В архиве Толстого во Всесоюзной библиотеке им. В. И. Ленина хранится всего семь писем Каткова, публикуемых ниже. Из них шесть являются ответными к соответствующим шести письмам Толстого, но и они датированы не годом, а лишь числом и месяцем.

ЧЕРНОВИК ПИСЬМА Л. Н. ТОЛСТОГО В РЕДАКЦИЮ «РУСОКОГО ВЕСТНИКА»
Всесоюзная библиотека им. В. И. Ленина, Москва

В некоторых письмах отдельные слова остались непонятыми переписчиком. Пропуски, оставленные им в этих случаях, восстановлены нами по смыслу (в прямых скобках).

Даты, принадлежащие не автору, а редактору, заключены в прямые скобки. В сомнительных случаях поставлены вопросительные знаки. В установлении датировки писем Толстого принимал участие Н. Н. Гусев.

1

[Март (?) 1858 г., Москва]

М[илостивый] г[осударь], Михаил Никифорович! По поручению М. Е. Салтыкова спешу доставить вам прилагаемую рукопись. Он очень просит напечатать ее в марте. В противном же случае, просит возвратить ее ему в Петербург или мне в Москву, на Пятницкой в доме Варгина.

С совершенным почтением остаюсь ваш покорный слуга

гр. Л. Толстой

На основании упоминания адреса — на Пятницкой в Москве — следует думать, что письмо относится к 1858 г. Зиму 1857/1858 г. Толстой жил с сестрой, М. Н. Толстой, в Москве по этому адресу.

Толстой был в Петербурге в 1858 г., между 11 и 18 марта. Какую рукопись Салтыкова он привез из Петербурга, неизвестно. В «Русском Вестнике» за первую половину 1858 г. нет ни одного произведения Салтыкова.

2

29 июня [1861 г.], Ясн[ая] П[оляна]

Любезный М[ихаил] Н[икифорович]! Посылаю вам программу моего журнала и прошу вас ее велеть напечатать и разослать. То-есть поручить это дело кому-нибудь и кому-нибудь прислать мне счет издержек, по которому я тотчас вышлю деньги. Вы мне, кажется, обещали, и очень меня одолжите, во всяком случае, тотчас мне ответить. Разрешение журнала предписано о . . . . * Московскому цензурному комитету, дано 16 мая. О числе оттисков и объявлений я решительно не знаю и опять вас прошу распорядиться как лучше. Повесть, которую я вам обещал [1], до сих пор лежит нетронутой за кучей дел, заваливших меня со дня приезда [2] — хозяйство, школы, будущий журнал и мир[овое] посредничество [3]. Теперь я сдал должность кандидату по болезни [4]. Пользуясь болезнью, принимаюсь за кабинетные работы. Обещать не люблю положительно, но самому хочется спихнуть с шеи неконченную работу, а что печатать негде кроме [как] в Русском Вестнике, в этом вы сами виноваты. Ежели бы возможно было все печатать, что здесь делается моими милыми товарищами м[ировыми] посср[едниками], волос бы стал дыбом у всей публики, а [вместе] * с тем, благодаря здравому смыслу народа, [дело] * идет и в других участках хорошо.

Прощайте, жму вашу руку и ожидаю ответа.

Ваш Л. Толстой

Датируется 1861 г. по содержанию: сообщение о разрешении издания журнала «Ясная Поляна», посылка программы журнала с просьбой напечатать ее и разослать, также сообщение о работе в качестве мирового посредника.

[1] Речь идет о повести «Казаки», над которой Толстой работал с большим перерывом около десяти лет (1852—1862). О ней см. далее в письмах.

[2] Толстой вернулся в Ясную Поляну из путешествия по Западной Европе 5 мая 1861 г. Остановившись по дороге в Петербурге, он 20 апреля подал прошение министру народного просвещения о разрешении ему издания журнала «Ясная Поляна» по вопросам обучения.

[3] Толстой был назначен 16 мая 1861 г. на должность мирового посредника 4-го участка Крапивенского уезда.

[4] 1861 г. 25 июня. Запись в дневнике Толстого: «Посредничество... поссорило меня со всеми помещиками окончательно и расстроило здоровье».

---

* Пропуск переписчика.

3

30 июня [1861 г.], Москва

Спешу ответить вам в двух словах, любезный граф Лев Николаевич, что поручение ваше будет в точности исполнено. Я уже отправил вашу программу в типографию. Она появится в следующем же № Соврем[енной] Летописи[1], если только в здешнем цензурном комитете получена бумага о разрешении предполагаемого вами издания.

С тем вместе будет оттиснута она в особых экземплярах для рассылки из Московских и Петербургских Ведомостей. Сверх того, не потребуете ли еще разослать отдельные оттиски какими-нибудь другими путями? Времени впереди еще довольно. Пишите мне все, что придумаете вы сами, я же со своей стороны не премину уведомить вас, что по соображению может быть полезным для распространения вести о вашем издании.

Вы несказанно порадовали меня известием, что наконец принялись за ваше литературное дело.

От всей души желаю жизни «Ясной Поляне»; но в успехе вашей собственно-литературной деятельности, в ее плодотворном и важном значении, в истине вашего призвания я глубоко уверен,— и желать тут нечего.

Душевно преданный вам М. Катков

Сейчас только получил известие, что наш А. В. Дружинин если не умер, то при смерти. Как грустно!

[1] «Современная Летопись», упоминаемая в письме Каткова,— отдел журнала «Русский Вестник», посвященный обсуждению исторических и политических вопросов и новостей. Выходила отдельными выпусками.

4

[Ноябрь (?) 1861 г., Ясная Поляна]

Возвращаю вам «Отцы и дети» с великою благодарностью.— Насчет же объявления думаю так: напечатать новое объявление до слов: «с 1-го января по общему обычаю» включительно и продолжать прежним объявлением, пропустив первые пять строк, т. е. начиная со слов «ежемесячное издание» и т. д. Очень вам благодарен за вашу обязательность и желаю вам всего лучшего.

Л. Толстой

Два № Совр[еменной] Лет[описи] взяты мною у Фрейданга[1], который обещал, но не заехал ко мне.

Датируется по содержанию и по ответному письму Каткова, помеченному 26 ноября.

[1] Фрейданг, заведующий конторой «Русского Вестника».

5

26 ноября [1861 г.], Москва

Каждый день собирался писать вам, любезный граф, и все не мог удосужиться в этом беспрерывном водовороте хлопот и дел. Я был у вас в Дрездене и, к сожалению, уже не застал вас,— вы оттуда уехали. Я все думал, что вы гораздо долее пробудете в Москве, и надеялся побольше поговорить с вами.

Меня сильно заботит предпринимаемое вами дело издания журнала. Я все не решался говорить с вами об этом с полною откровенностью, не считал себя на то вправе, но теперь, когда близится срок начать дело, я решаюсь высказаться, заранее прося вас простить за мое непрошенное усердие. Я серьезно боюсь, чтоб этот труд не изнурил вас понапрасну.

Специальное периодическое издание, особенно при тех обстоятельствах, в которых будет находиться ваше, едва ли может вскоре приобре-

сти успех. До сих пор подписка так незначительна, что едва ли можно открывать издание. Не лучше ли было бы вместо журнала выпустить бессрочно сборник, под тем же заглавием, которого отдельные книги продавались бы особо? Это, во-первых, не обязывало бы к срочной деятельности, а во-вторых, всегда обеспечивало бы дело. Подумайте об этом, и время еще не ушло изменить издание. Немногим подписчикам были бы отосланы их деньги, а книжки сборника, появившись в свет, доказали бы публике, что вы не отказались от вашего предприятия, а лишь по особым соображениям, касающимся лично вас (пребывание ваше в деревне и т. п.), заставило * вас дать ему другую форму.

Верьте мне, это будет лучше и надежнее во всех отношениях. Дайте мне знать немедленно о вашем решении. Если вы останетесь при прежнем, то я возобновлю объявление о подписке как в своем журнале, так и в других.

Вы мне говорили прежде, что у вас приходит к концу литературный труд, который обещали вы Р[усско]му В[естни]ку. Я не хотел приставать [к] вам с напоминанием об этом деле, более важном для меня, чем для вас. Но вы, может быть, сочли бы странным равнодушием с моей стороны, если бы я вовсе не стал напоминать вам об этом обещании. Повторю, что я говорил вам не раз прежде: не забывайте вашего истинного призвания, а кто знаком с тем, что уже сделано вами, тот не может сомневаться в истинном призвании вашем.

Еще раз извините меня за мою, может быть, неуместную откровенность и во всяком случае располагайте мною.

Весь ваш М. Катков

6

7 января [1862 г., Москва]

Извините, любезный граф, что несколько опоздал возвращением вам статьи вашей [1]. Прочтя ее, я окончательно убедился, что вы грешите против своего призвания, предпринимая это издание. С основаниями статьи, конечно, я не согласен. Вы, впрочем, сами уже знали это; но и кроме того я считаю ее опытом неудачным. Пишу вам откровенно, именно в силу моего уважения к вам, к вашему таланту, к тому значению, которое вы имеете и должны иметь в нашей литературе. Мне было бы легче наговорить вам по поводу этой статьи тысячу комплиментов, но я не хочу кривить душой, да и вы, без сомнения, желаете услышать от меня не ложь, а искреннее мое мнение.

Цензура, как я думаю, не сделает затруднений, кроме, может быть, двух-трех выражений. Я уже писал к Галахову [2], прося его взять цензуру вашего издания.

Нынче не мог уехать; думаю пуститься в путь завтра, а дня через четыре надеюсь увидеться с вами по возвращении.

В[есь] в[аш] М. Катков

[1] Какая из первых педагогических статей Толстого разумеется здесь, неизвестно.

[2] Галахов Алексей Дмитриевич (1807—1892), известный составитель учебников по русской литературе, профессор Петербургского университета.

7

Апреля 11 [1862 г., Ясная Поляна]

М[илостивый] г[осударь], Михаил Никифорович! Я принялся только на-днях за свой запроданный роман [1] и не мог начать раньше. Напишите мне, пожалуйста, когда вы желаете иметь его. Для меня самое удобное

* Ошибка в синтаксическом строе фразы. Так у Каткова.

время — ноябрь, но я могу и гораздо раньше. Ежели вам это неудобно, напишите прямо, я вам возвращу деньги (я теперь в состоянии это сделать) и все-таки отдам роман только в Русский Вестник. Ежели бы я вовсе раздумал, то я с удовольствием бы и вовсе отказался. Пожалуйста, напишите мне обстоятельно и совершенно откровенно. Я главное желаю сделать так, чтобы вы были довольны. Журнал мой совсем не идет, и до сих пор о нем не было ни одного слова в литературе. Такими [замалчиваниями] не бывает встречена ни одна поваренная книга. Должно быть вопросы о централизации и децентрализации и о народности в науке и о фельетоне Безрылова[2] важны. Материалов у меня, особенно на отдел книжки, готово на три № вперед, и я вообще предан этому делу больше, чем прежде его начала. Ожидаю ответа.

Ваш Л. Толстой

Датируется по содержанию: сообщение о неуспехе журнала «Ясная Поляна».

[1] Повесть «Казаки» Толстой часто называл «Кавказским романом».

[2] Под псевдонимом Никита Безрылов печатал в «Библиотеке для чтения» свои фельетоны А. Ф. Писемский.

8

15 апреля [1862 г.], Москва

Я нисколько не теряю из вида вашего издания, многоуважаемый граф Лев Николаевич, и в скором времени буду говорить о нем в Р[усско]м В[естни]ке[1]. В моем отзыве найдете вы, я уверен, чувство самое доброжелательное.

Что же касается до вашего романа, то как бы ни хотелось мне видеть его в своих руках, я буду ждать его терпеливо. Вы пишете о взятых вами в редакции деньгах. Вы бы очень огорчили и обидели меня, если бы вздумали предлагать мне их назад.

Делайте мне какие-нибудь поручения по вашему изданию, и будьте уверены, что всякая услуга, которую вы от меня пожелаете, будет для меня истинным удовольствием.

Душевно преданный вам Мих. Катков

[1] Катков не писал о журнале «Ясная Поляна», но в № 5 «Русского Вестника» за 1862 г. была помещена статья Евгения Маркова «Теория и практика яснополянской школы. Педагогические заметки тульского учителя». Цель статьи — отметить «ошибки и увлечения» Толстого в его статьях, помещенных в журнале «Ясная Поляна». Толстой ответил Маркову в статье «Прогресс и определение образования».

9

12 октября [1862 г., Ясная Поляна]

М[илостивый] г[осударь], Михаил Никифорович! Вы, может быть, слышали уже о том, что я женился, и потому верно понимаете, что на это время изменились мои занятия и предположения. Романа своего я в этом году кончить не могу. Могу, однако, напечатать его первую часть[1], составляющую больше 5 листов, но это мне было бы неприятно. Желал бы я вот чего. Позвольте мне возвратить вам 1 000 р. в ноябре[2] и прислать вам повесть листа в 3[3], написанную мною года полтора тому назад и которую, ежели она вам понравится, я бы просил вас напечатать, когда вы хотите, без всяких условий. А меня бы я просил бы вас освободить от своего обещания, что не мешало бы мне напечатать мой роман, когда он будет кончен, опять-таки в вашем журнале, ежели бы мне захотелось печатать его в каком-нибудь журнале. Одним словом, я бы желал, чтобы вы освободили меня от данного слова и, главное, чтобы притом мы остались в хороших отношениях друг к другу. Я ими особенно дорожу теперь.

Согласившись на мое предложение, вы меня очень обяжете. Во всяком случае, прошу вас откровенно высказать мне ваши желания и сделаю все от меня зависящее, что[б] удовлетворить им и тем отплатить за оказанную мне услугу.

Приятнее бы всего было, ежели бы вы согласились на мою просьбу. Буду ожидать ответа, чтобы скорее решить, что мне делать.

Ваш покорнейший слуга гр. Л. Толстой

Датируется на основании содержания: женитьба (23 сентября 1862 г.), упоминание о работе над романом, т. е. «Казаками», о намерении послать в редакцию «Русского Вестника» «повесть листа в три» — «Поликушку».

1 Запись в дневнике 19 декабря 1862 г.: «Кончил «Казаков» первую часть».

2 Упоминаемые Толстым в письме 1 000 рублей — те самые, которые нужны были Толстому для уплаты проигрыша и были взяты им у Каткова в счет платы за повесть «Казаки». Проигрыш произошел в феврале 1862 г.

3 Повесть «Поликушка», напечатана в «Русском Вестнике» в начале 1863 г.

10

Ноября 28 [1862 г., Ясная Поляна]

Посылаю вам начало повести, любезный Михаил Никифорович. Первая часть у меня вся готова, и дело только за переписыванием. Вторая часть составляет как бы отдельное целое. По моим расчетам она составит листов 7. Чем скорее вы напечатаете, тем для меня лучше. Следующую половину первой части я вышлю в понедельник. Корректуры я прошу прислать мне. Я, как всегда, чрезвычайно недоволен этой повестью и исправлял и переправлял ее до тех пор, что не чувствую возможности над ней более работать. Другая повесть[1] у меня готова, и я пришлю ее вам тотчас же после этой. Орфографических ошибок переписчика — бездна. Вы поручите корректору обратить на это внимание. Местных непонятных выражений, к которым нужны выписки, тоже много. Я бы попросил вас тоже отметить их в корректурах. Мне все так знакомо, что я сам не замечаю. Очень желаю, чтоб вам понравилось, и с нетерпением жду вашего мнения; но я просил бы вас до печати никому не давать читать ее.

Уважающий и преданный гр. Л. Толстой

Письмо датируется по содержанию: речь идет о повести «Казаки», запроданной Толстым Каткову в счет уплаты долга (см. предыдущее письмо).

1 Другая повесть — «Поликушка».

11

Декабря 8 [1862 г., Ясная Поляна]

Уважаемый М[ихаил] Н[икифорович]! Посылаю вам 2-ю половину 1-ой части. Я не послал ее в понедельник, потому что увлекся новыми поправками и дополнениями. Она много выиграла от этого замедления. Этой половиной я гораздо менее недоволен, чем первой. Пожалуйста, поскорее отвечайте мне. Когда будет напечатано, пришлите мне корректуры, и как вам нравится. Я буду в Москве перед праздниками и тогда увижусь тотчас же с вами и продержу 2-е корректуры.

Преданный вам гр. Л. Толстой

Рукопись не чиста, испещрена сносками и орфографическими ошибками, но набирать удобна.

Письмо датируется по содержанию: речь идет о «Казаках».

12

11 марта [1863 г.], Москва

Тысячекратно прошу у вас извинения, многоуважаемый граф Лев Николаевич, за промедление в ответе, в чем мне уже не раз приходилось

извиняться перед вами. Ваш очаровательный рассказ «Поликушка» печатается во 2-ой книжке, которая скоро выйдет. Из рассказа вышло 3 листа с половиной. Как распорядитесь вы насчет денег, которые вам приходятся? К вам ли выслать их или вы кому-нибудь поручите взять их из редакции?

Вы спрашиваете о рукописях Соколова? Его записки о Тульской губернии содержат в себе очень много интересного. Но печатать все это целиком нет возможности, а можно было бы выбрать кое-что и вообще

Л. Н. ТОЛСТОЙ
Фотография 1861 г.
Толстовский музей, Москва

воспользоваться этим трудом как материалом. Но я не знаю, когда бы я мог собраться на это, поручить же просто некому. Все у нас заняты текущими делами, а я боюсь, чтобы рукопись не пролежала без всякого движения слишком долго. Он недавно писал в редакцию и просил возвратить ему эти рукописи; а потому я и сделал распоряжение о скорейшей высылке их ему. Мне кажется, записки о Тульской губернии можно было бы издать особой книгой как интересный материал.

Душевно преданный вам Михаил Катков

13

[Марта 30 [1863 г., Ясная Поляна]

Я получил вчера, многоуважаемый М[ихаил] Н[икифорович], отчет из вашей редакции, которым я — откровенно говоря — недоволен. За взятые мной у вас [1 000] рублей я считаю справедливым зачесть 7 листов с чем-нибудь, по условленной тогда цене. За остальные же листы я бы мог получить без сравнения больше и потому считаю справедливым получить за них по 200 рублей. Ежели вы со мной согласны, то прошу вас передать А. Е. Берс остальные деньги.

Готовый к услугам гр. Л. Толстой

Датируется по содержанию: речь идет, очевидно, о денежном расчете за повести «Казаки» и «Поликушка», напечатанные в «Русском Вестнике» — первая в № 1, вторая в № 2. За первую повесть условленная плата 150 рублей за лист.

Сумма взятых денег, пропущенная в письме,— те 1 000 рублей, которые были взяты Толстым у Каткова в счет платы за проданную повесть «Казаки» для уплаты проигрыша на биллиарде какому-то пехотному капитану в феврале 1862 г.

14

3 апреля [1863 г.], Москва

С удовольствием исполняю ваше желание, в чем, впрочем, вы и не могли сомневаться, многоуважаемый граф Лев Николаевич. Только вы напрасно сетуете на меня. Я совершенно не виноват в поданном вам счете. При самом начале вы мне сказали, что желаете получать по 150 р. с листа, и я тотчас же распорядился, как это обыкновенно водится, чтобы это условие было внесено в нашу конторскую книгу. С тех пор вы не заявляли ни о какой перемене в этом условии. Передавая в редакцию другой ваш рассказ, вы тоже ничего не говорили об изменении условий. Значит, в книге стояло, без перемены, одно заявленное вами самими условие. Когда потребовался расчет, в конторе сделали его на основании этого условия. Меня и не спрашивали, сколько вам приходится, а рассчитали по числу листов, полагая за лист цену, помеченную в книге. Мне очень неприятно, что так вышло, но этого не могло бы выйти, если бы вы, передавая рукописи, положили на них или сказали мне лично ваши новые условия.

Совершенно преданный вам М. Катков

15

[1863 г.?]

Любезный М[ихаил] Н[икифорович], ежели для вас не затруднительно, то пришлите мне, пожалуйста, нынче же рублей 400 в счет того, что я должен буду получить за «Казаков». Я не знаю, сколько выйдет листов, а то в счет другой повести. Мне особенно нужны деньги именно теперь, и вы меня бы очень одолжили.

Гр. Л. Толстой

Это письмо датировано в рукописи 1 января 1875 г., но эта дата, очевидно, ошибочная. Судя по упоминанию гонорара за повесть «Казаки», письмо относится к 1863 г.

16

Сентября 30 [1864 г., Ясная Поляна]

Посылаю вам, уважаемый М[ихаил] Н[икифорович], перевод статьи Фохта (Карла) о пчелах [1], сделанный по моему совету. Статья эта в подлиннике испорчена политическими иллюзиями. В переводе осталось только необыкновенно живое изложение естественной истории пчелы, замечательное и с художественной и с научной стороны. Я сделался страстным

пчеловодом и потому могу судить об этом. Ежели вы захотите напечатать эту статью, то пришлите через меня переводчику тот гонорарий, который вы платите. Особа, переделывавшая эту статью, желала бы иметь работу — переводы и переделки с французского, немецкого или английского. Ежели бы вы дали ей работу, вы бы меня этим очень обязали и приобрели бы образованного и добросовестного переводчика. Я кончаю на-днях первую часть романа из времен первых войн Александра с Наполеоном и нахожусь в раздумьи, где и как ее печатать. Из журналов я бы лучше всего желал напечатать в Р[усском] Вестнике по той причине, что это один журнал, который я читаю и получаю. Дело в том, что мне хочется получить как можно больше денег за это писанье, 1-ое я особенно люблю и 2-ое мне стоило большого труда. Для того, чтобы напечатать в журнале (вам первым и, верно, последним я делаю это предложение), я хочу получить 300 р. за лист, в противном случае я буду печатать отдельными книжками. Пожалуйста, ответьте мне несколько слов и об участи перевода Фохта и об этом моем предложении, нисколько не стесняясь прямым отказом, так как отказ или согласие ваше очевидно зависят не от вкуса или симпатии, а денежного расчета.—Я на охоте разбил и вывихнул себе так правую руку, что после 5 недель нынче в первый раз пишу так длинно своей рукой.

Душевно преданный и уважающий гр. Л. Толстой

P. S. В первой части, которую я намерен печатать нынешней зимой, должно быть листов 10.

Письмо датируется по содержанию: Толстой сообщает об окончании «на-днях» первой части романа «Тысяча восемьсот пятый год» и о случае с вывихом правой руки.

[1] Перевод статьи Карла Фохта о пчелах был сделан Елизаветой Андреевной Берс, сестрой жены Толстого. Перевод не был напечатан.

17

Янв[аря] 3 [1865 г.], Ясн[ая] П[оляна]

М[илостивый] г[осударь], Михаил Никифорович! Посылаю вам остальную часть той рукописи, которую я привозил тогда в Москву и которая была у вас. То, что теперь у вас, включая и то, что теперь посылается, по-моему, составляет первую часть и, полагаю, выиграло бы, ежели бы было напечатано в одной книжке. Вторая часть заключает в себе описание [Шенграбенского] * и Аустерлицкого сражения и, полагаю, будет такого же размера, как и первая. Она у меня написана и будет готова (ежели не случится со мной чего-нибудь особенного) к концу этого месяца. Я бы желал и находил бы лучшим — не для себя, а для того, чтобы лучше товар лицом показать — напечатать всю первую часть в январской книжке, а всю вторую в февральской книжке. Но разумеется у вас есть свои соображения и, ежели вы найдете лучшим разделить первую часть, то нечего делать. Но в таком случае, напишите мне, желаете ли вы иметь 2-ю часть в нынешнем году, т. е. нынешней зимой. Оставлять ее до будущей осени мне было бы неприятно, так как я не умею держать написанное, не поправляя и не переделывая до бесконечности. Пожалуйста, напишите мне, ежели вы желаете поместить вторую часть, то в каких месяцах? Ежели в мартовской и апрельской, то и мне это было бы очень удобно.

Рукопись исчеркана, прошу меня извинить, но до тех пор, пока она у меня в руках, я столько переделывал, что она не может иметь другого вида.

* Пропуск переписчика.

Французские письма я перевел и, по-моему, можно не печатать перевода, но нельзя не печатать французский текст. Предисловие я не мог, сколько ни пытался, написать так, как мне хотелось. Сущность того, что я хотел сказать, заключалась в том, что сочинение это не есть роман и не есть повесть и не имеет такой завязки, что с развязкой у нее [уничтожается] * интерес. Это я пишу вам к тому, чтобы просить вас в оглавлении и, может быть, в объявлении не называть моего сочинения романом. Это для меня очень важно и потому очень вас прошу об этом. Корректуры, ежели возможно, пришлите мне.

В две недели они могут обратиться.

Затем прощайте, жму вашу руку и желаю вам успеха в этом деле, которое вам ближе всего к сердцу.

Уважающий и преданный гр. Л. Толстой

Письмо датируется по содержанию: речь идет о продолжении произведения, указанного в предыдущем письме. Это — начало будущего романа «Война и мир» под названием «Тысяча восемьсот пятый год», напечатанное Толстым в «Русском Вестнике» в 1865 г., №№ 1, 2 и в 1866 г., №№ 2, 3 и 4.

18

Марта 1 [1874 г., Ясная Поляна]

М[илостивый] г[осударь], Михаил Никифорович! Очень рад содействовать Михаилу Никифоровичу ** в покупке имения в Уфимском крае и думаю, что вот как это надо сделать. В городе Бирске есть мировой посредник Ермаков (забыл его имя, отчество), который обещал мне приискать для меня там землю и помочь мне в этом деле. Я бы советовал М. Н. обратиться к нему моим именем и просить у него сведений о продающихся там землях, ценах и вообще всех подробностях. Я уверен, что он тотчас же ответит. Вообще же Бирск есть тот центр, около которого более всего продажных земель, и туда надо ехать или послать. В июне месяце я надеюсь быть там и тогда с особенным удовольствием сообщу М. Н. все нужные сведения.

Что касается до предложения печатания в Русском Вест[нике], то если я решусь печатать в журнале вообще, то весьма охотно отдам в Русск[ий] В[естник]. Условия мои 500 р. за лист. С совершенным почтением и искренностью имею честь быть ваш покорный слуга

гр. Л. Толстой

Письмо датируется на основании сообщения Толстого о согласии печатать свое произведение в журнале «Русский Вестник» и о назначении платы 500 рублей за лист. Несомненно, речь идет о романе «Анна Каренина».

19

Декабря 21—1874 г. [Ясная Поляна]

М[илостивый] г[осударь], Михаил Никифорович! Вероятно, племянник мой [1], которому я передал 1-й [2] лист с поручением передать вам и просить, чтобы вы приказали набирать его, не исполнил моего поручения. Если так, то прикажите набирать 1-й лист. Следующие листы я вышлю завтра и самое позднее послезавтра. Без радости не могу вспомнить о том, что вы будете держать корректуры. С совершенным уважением и преданностью

ваш гр. Л. Толстой

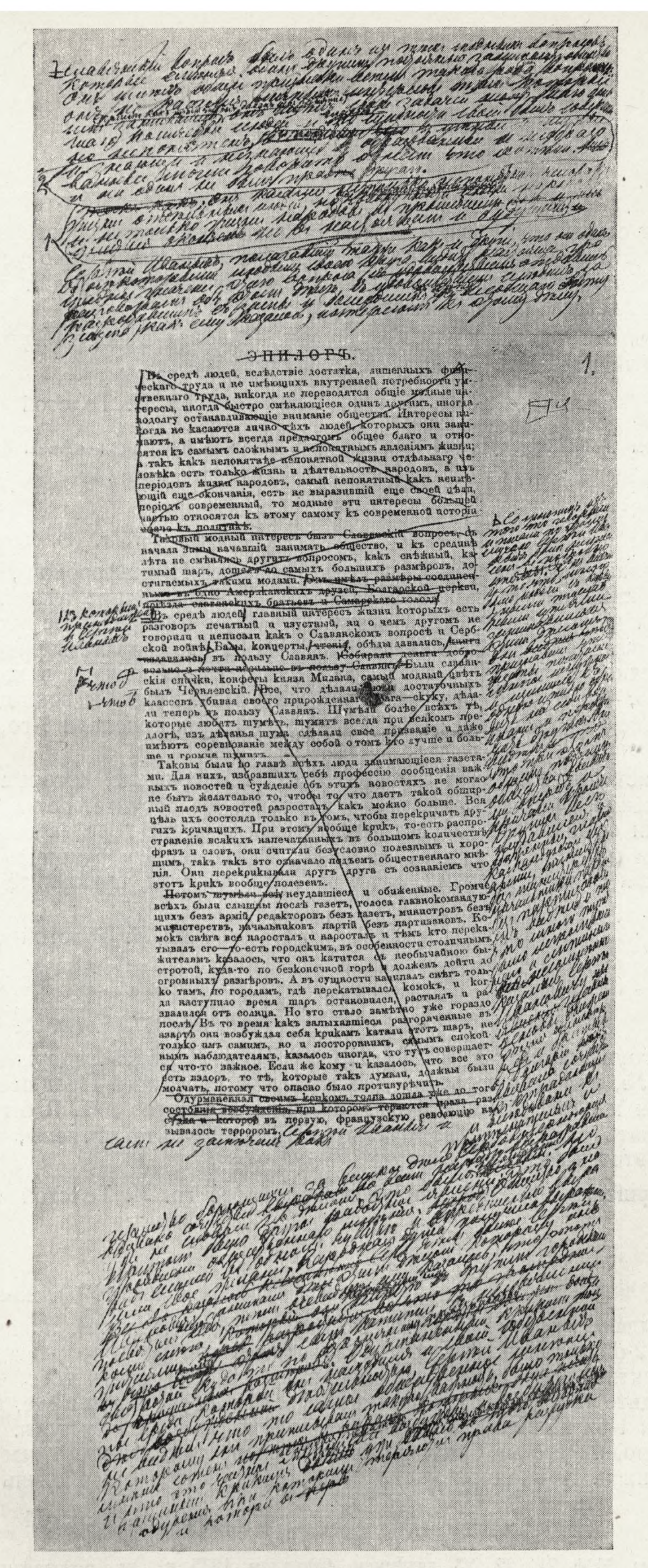
[1] Толстой Николай Валерианович, сын В. П. Толстого, двоюродного брата писателя.

[2] Речь идет о начале печатания «Анны Карениной» в журнале «Русский Вестник».

---

* Пропуск переписчика.

** *Ошибка переписчика: очевидно, речь идет о брате* Каткова, *Мефодии* Никифоровиче.



ЭПИЛОГЪ.

Въ средѣ людей, вслѣдствіе достатка, лишенныхъ физи-
ческаго труда и не имѣющихъ внутренней потребности ум-
ственнаго труда, никогда не переводятся общіе модные ин-
тересы, иногда быстро смѣняющіеся одинъ другимъ, иногда
подолгу останавливающіе вниманіе общества. Интересы ни-
когда не касаются лично тѣхъ людей, которыхъ они зани-
маютъ, а имѣютъ всегда предлогомъ общее благо и отно-
сятся къ самымъ сложнымъ и непонятнымъ явленіямъ жизни;
а такъ какъ непонятнѣе непонятной жизни отдѣльнаго че-
ловѣка есть только жизнь и дѣятельность народовъ, а изъ
періодовъ жизни народовъ, самый непонятный какъ неимѣ-
ющій еще окончанія, есть не выразившій еще своей цѣли,
періодъ современный, то модные эти интересы большей
частью относятся къ этому самому къ современной истори-
ческой къ политикѣ.
Главный модный интересъ былъ Славянскій вопросъ, съ
начала зимы начавшій занимать общество, и къ срединѣ
лѣта не смѣняясь другимъ вопросомъ, какъ снѣжный, ка-
тимый шаръ, дошелъ до самыхъ большихъ размѣровъ, до-
стигаемыхъ такими модами. Онъ имѣлъ размѣры соединен-
ныхъ въ одно Американскихъ друзей, Болгарской церкви,
пріѣзда славянскихъ братьевъ и Самарскаго голода.
Въ средѣ людей, главный интересъ жизни которыхъ есть
разговоръ печатный и изустный, ни о чемъ другомъ не
говорили и неписали какъ о Славянскомъ вопросѣ и Серб-
ской войнѣ. Балы, концерты, [illegible], обѣды давались, книги
издавались въ пользу Славянъ. Собирали деньги добро-
вольно и почти насильно въ пользу Славянъ. Были славян-
скія спички, конфеты князя Милана, самый модный цвѣтъ
былъ Черняевскій. Все, что дѣлали люди достаточныхъ
классовъ убивая своего прирожденнаго врага—скуку, дѣла-
ли теперь въ пользу Славянъ. Шумѣли болѣе всѣхъ тѣ,
которые любятъ шумѣть, шумятъ всегда при всякомъ пре-
длогѣ, изъ дѣланья шума сдѣлали свое призваніе и даже
имѣютъ соревнованіе между собой о томъ кто лучше и боль-
ше и громче шумитъ.
Таковы были во главѣ всѣхъ люди занимающіеся газета-
ми. Для нихъ, избравшихъ себѣ профессію сообщенія важ-
ныхъ новостей и сужденіе объ этихъ новостяхъ не могло
не быть желательно то, чтобы то, что даетъ такой обшир-
ный плодъ новостей разросталъ какъ можно больше. Вся
цѣль ихъ состояла только въ томъ, чтобы перекричать дру-
гихъ кричащихъ. При этомъ вообще крикъ, то-есть распро-
страненіе всякихъ напечатанныхъ въ большомъ количествѣ
фразъ и словъ, они считали безусловно полезнымъ и хоро-
шимъ, такъ такъ это означало подъемъ общественнаго мнѣ-
нія. Они перекрикивали другъ друга съ сознаніемъ что
этотъ крикъ вообще полезенъ.
Потомъ шумѣли всѣ неудавшіеся и обиженные. Громче
всѣхъ были слышны послѣ газетъ, голоса главнокомандую-
щихъ безъ армій, редакторовъ безъ газетъ, министровъ безъ
министерствъ, начальниковъ партій безъ партизановъ. Ко-
мокъ снѣга все наросталъ и наросталъ и тѣмъ кто перека-
тывалъ его—то-есть городскимъ, въ особенности столичнымъ
жителямъ казалось, что онъ катится съ необычайною бы-
стротой, куда-то по безконечной горѣ и долженъ дойти до
огромныхъ размѣровъ. А въ сущности налипалъ снѣгъ толь-
ко тамъ, по городамъ, гдѣ перекатывался комокъ, и ког-
да наступило время шаръ остановился, расталъ и ра-
зсыпался отъ солнца. Но это стало замѣтно уже гораздо
послѣ. Въ то время какъ запыхавшіеся разгоряченные въ
азартѣ они возбуждая себя крикамъ катали этотъ шаръ, не
только имъ самимъ, но и посторонимъ, самымъ спокой-
нымъ наблюдателямъ, казалось иногда, что тутъ совершает-
ся что-то важное. Если же кому и казалось, что все это
есть вздоръ, то тѣ, которые такъ думали, должны были
молчать, потому что опасно было противурѣчить.
Одурманенная своимъ крикомъ толпа дошла уже до того
состоянія возбужденія, при которомъ теряются права раз-
судка и которое въ первую, французскую революцію на-
зывалось терроромъ.

КОРРЕКТУРНАЯ ГРАНКА ЭПИЛОГА «АННЫ КАРЕНИНОЙ» С ПРАВКОЙ Л. Н. ТОЛСТОГО
Всесоюзная библиотека им. В. И. Ленина, Москва

20

Янв[аря] 4—1875 г. [Ясная Поляна]

В тот самый день, как я хотел посылать вам листы, многоуважаемый М[ихаил] Н[икифорович], я сделался болен и нынче только успел перечесть и окончить 3 листа. Следующий надеюсь выслать дня через три. Вся моя надежда на вашу корректуру.

Листы эти передаст вам мой шурин, правовед Берс, который уезжал в тот самый день, как [я] получил вашу телеграмму.

Ваш Л. Толстой

В этом и нижеследующих письмах речь идет о печатании «Анны Карениной».

21

[Февраль 1875 г. (?), Ясная Поляна]

Посылаю вам, многоуважаемый М[ихаил] Н[икифорович], рукопись для 2-ой книжки Р[усского] В[естника]. Две последние главы, которые считал бы нужным поместить в этом же 2-ом нумере, я не успел отделать окончательно, но вышлю очень скоро. Большая часть рукописи написана четко; в тех же местах, где будет очень неясно, в корректуре, я надеюсь, что будете так добры прислать мне. Если бы возможно было прислать всю корректуру 2-го номера так же, как прислали 1-го, было бы очень хорошо.

23 листочка рукописи предшествуют тем гранкам, которые посланы мною прежде. Остальные идут по порядку. Не сетуйте, пожалуйста, на меня, если есть от меня задержка. У меня в семье горе за горем. Один за другим больные, и опасно больные. Посылаю эту рукопись с нарочным, чтобы выиграть время. Если есть корректуры, прикажите прислать с ним.

Ваш Л. Толстой

22

[Февраль 1875 г. (?), Ясная Поляна]

Многоуважаемый М[ихаил] Н[икифорович]! Боясь задержки печатания 2-го №, при сем посылаю две главы из середины. Предшествующие две главы и последующие будут высланы дня через два. Я бы и теперь мог выслать остальное, но очень измарано. Будьте уверены, что я не задержу этот номер.

Совершенно преданный и уважающий вас гр. Л. Толстой

23

[Февраль 1875 г. (?), Ясная Поляна]

Посылаю, многоуважаемый М[ихаил] Н[икифорович], последние листы для 2-ой книжки. Так как я посылал в три раза, то решительно не имею понятия, достаточно или слишком мало или много того, что я выслал. Будьте так добры меня уведомить. Надеюсь, что так же, как и при печатании 1-ой книжки, вы пришлете мне на денек корректуры. Изменять я, вероятно, ничего не буду, но боюсь неясностей, вместе с тем нечеткости рукописи. А в одной части есть листы, которыми я очень дорожу.

Ваш Л. Толстой

Письма №№ 21, 22, 23 датируем февралем 1875 г. на основании указания Толстого о печатании второй книжки журнала «Русский Вестник».

24

[Февраль 1875 г. (?), Ясная Поляна]

Посылаю корректуру, многоуважаемый М[ихаил] Н[икифорович]. Очень жалею, что вышло мало, тем более что следующее листов на 5 несомненно готово; и я вам пришлю на-днях.

2-я часть есть одна из 6-ти частей. Мне нужно это деление по прошедшему промежутку времени и внутреннему делению.

В последней главе[1] не могу ничего тронуть. Яркий реализм, как вы говорите, есть единственное орудие, так как ни пафос, ни рассуждения я не могу употреблять. И это одно из мест, на котором стоит весь роман. Если оно ложно, то все ложно. Я старался поправлять так, чтобы не было переверстки; не знаю, достиг ли цели, но все поправки необходимые.

Весь ваш Л. Толстой

Это письмо датируется февралем, так как 23 февраля 1875 г. вышел № 2 «Русского Вестника» с главами XV—XXVII первой части и I—X главами второй части «Анны Карениной».

[1] Последняя глава — глава X второй части, где изображается сближение Анны с Вронским (в последующих изданиях романа эта глава нумерована XI).

25

[Март 1875 г. (?), Ясная Поляна]

Никогда не буду вперед обещаться относительно своего писания, многоуважаемый М[ихаил] Н[икифорович]. То, что следовало, казалось так готово, а как взялся отсылать, пришла необходимость исправить, и я задержал. Теперь все готово, и я хотел уже посылать нынче по почте, хотя и не переписанное, но приехал из Москвы племянник и завтра по ночному поезду едет назад. Он привезет вам рукопись в 9 часов утра, в понедельник, а мне это даст время переписать и пересмотреть. Опять прошу и надеюсь на ваш просмотр и присылку мне корректур на один день.

В присылаемых теперь главах речь идет о [Петергофе] * и местностях под Петербургом, которые я плохо помню. Я боюсь, что там географические ошибки. Будьте так добры, поправьте, если они есть.

Извините, пожалуйста, если немного задержал, право, делаю все, что могу, чтобы не задерживать.

Ваш Л. Толстой

Относим это письмо к марту 1875 г., когда печаталась вторая часть романа «Анна Каренина». Главы XI—XXVII второй части романа появились в мартовской книжке «Русского Вестника», вышедшей 31 марта 1875 г.

26

[Апрель 1875 г. (?), Ясная Поляна]

Сейчас только узнал, многоуважаемый М[ихаил] Н[икифорович], о постигшем вас несчастии. Верьте, что от всей души сочувствую вашему горю и понимаю всю тяжесть вашей потери. Как ни редко я встречался с покойным, я понял ясно, как я высоко ценил его, когда получил это грустное известие. От всей души желаю вам силы душевной для перенесения вашего горя и прошу верить в искренность моего к вам сочувствия.

Гр. Л. Толстой

Речь идет, очевидно, о смерти друга Каткова — П. М. Леонтьева (умер 25 марта 1875 г.). Датой письма следует считать начало апреля 1875 г. П. М. Леонтьев был профессором латинского языка в Московском университете. О его отношениях с Толстым см. стр. 216.

---

* Пропуск переписчика.

27

Мая 17 [1875 г.], Ясн[ая] П[оляна]

Многоуважаемый М[ихаил] Н[икифорович]! Нынче или завтра должна выйти моя новая Азбука (14 к[опеек]), и вы получите ее в редакции с письмом, но я написал своему комиссионеру, чтобы он прислал именно вам экземпляр, который, надеюсь, будет оценен главными судьями, вашей супругой и той мелюзгой, которая приходила при мне прощаться.

Азбуку эту я посылаю (т. е. скорее издатель) в Ученый комитет и я боюсь, что суждение о ней и одобрение затянется, а мне желательно бы распространить ее в своих и чужих школах с начала учебного года. Об этом-то, так как мне сказали, что вы находитесь в самых близких сношениях с предс[едателем] Учен[ого] комит[ета], я и прошу вас. Очень много буду вам благодарен, если вы напишете словечко о том, чтобы это дело сделали поскорее. Об одобрении я не говорю — гречневая каша сама себя хвалит, так и моя Азбука. Такой Азбуки не было и нет не только в России, но и нигде! И каждая страничка ее стоила мне и больше труда и имеет больше значения, чем все те писания, за которые меня так незаслуженно хвалят. Вы бы очень одолжили, написав мне словечко ответа.

Истинно преданный вам Л. Толстой

Год определяется по содержанию: «Новая азбука» Толстого вышла в свет в 1875 г.

28

[1875 г. (?), Москва]

Простите мне, многоуважаемый граф Лев Николаевич, за то, что я промедлил ответом на ваше письмо. Я собирался писать вам в тот же день, как получил ваше письмо, но не успел, а потом день за день, так дело и затянулось. Но я немедленно исполнил ваше поручение относительно Ученого комитета.

Здесь был один из членов этого комитета, и я ему лично передал все, что нужно сделать для того, чтобы достигнуть значительного результата, а сейчас пишу к Георгиевскому [1] об этом же деле, которое вы можете считать улаженным.

Ждем от вас порции для июньской книжки. Заключается ли этим первая половина романа? Боюсь, чтоб подписчики не осадили меня формально.

Душевно преданный вам М. Катков

[1] Георгиевский Александр Иванович, председатель Ученого комитета министерства народного просвещения.

29

[Октябрь 1875 г. (?), Ясная Поляна]

Очень сожалею, многоуважаемый М[ихаил] Н[икифорович], что слухи, не имеющие никаких оснований [1], потревожили вас. Я пользуюсь случаем повторить то, что писал Любимову [2].

Я теперь одного только желаю, как можно скорее кончить роман, чтобы напечатать его в Русск[ом] Вестн[ике], но не могу этого обещать, так как продолжение зависит от независящей от меня способности к работе, и потому не обещаю.

Что же касается того, что вы предполагаете во мне какую-нибудь обиду на вас, то это предположение не имеет никакого основания и я, как и всегда, с истинным уважением и преданностью

ваш Л. Толстой

[1] В письме к Толстому от сентября-октября 1875 г. Н. Н. Страхов писал, что распространились слухи, будто Толстой намерен прекратить печатание романа «Анна

Каренина». Слухи были вызваны тем, что с половины сентября до половины декабря 1875 г. Толстой не работал над романом.

[2] Любимов, секретарь редакции «Русского Вестника».

30

[1875—1877 гг., Ясная Поляна]

Многоуважаемый М[ихаил] Н[икифорович]! К великому сожалению моему только теперь могу послать те 5 глав, которые измучили меня. Они должны бы были быть напечатаны между тем, что прислано сначала, и тем, что прислано после; но если оно опоздало, то нечего делать, может быть помещено и после. Надеюсь, что вы будете так добры прислать мне то, что послано прежде в корректурах. Последнее же я, чувствуя себя виноватым задержкой книги, и не смею просить прислать мне, но все же могу надеяться на вас и ваши корректуры.

Ваш Л. Толстой

31

[1875—1877 гг., Ясная Поляна]

Посылаю рукопись, многоуважаемый М[ихаил] Н[икифорович]. Она не вся. Между тем, что послано прежде и что теперь посылается, есть две главы, которые надеюсь выслать послезавтра. В конце посылаемой рукописи есть много приписок, боюсь, нечетких; вся надежда моя на ваше высоко ценимое мною, сочувственное отношение к моему писанию. Надеюсь на присылку [корректур].

Вам всей душой преданный Л. Толстой

32

[1875—1877 гг., Ясная Поляна]

Несмотря на все усилия, не мог окончить поправки тех 3-х глав, которые должны быть между тем, что я послал прежде, и тем, что послано после, и потому, боясь задерживать вас, решился на следующее: будьте так добры, многоуважаемый М[ихаил] Н[икифорович], прикажите верстать листы, как они есть. Если бог даст мне на этих днях 3 часа светлых, то я поправлю и пришлю, и если вам удобно, то прикажите набрать и напечатать их в конце. Перестановка их не мешает ходу романа.

Ваш Л. Толстой

Последние три письма, в которых речь идет также о печатании «Анны Карениной», не поддаются более точной датировке.

ПЕРЕПИСКА ТОЛСТОГО С А. А. ФЕТОМ

Публикация Н. Покровской

«Истинно-русский офицер с превосходными рассказами, чуждыми фразе, и самыми здравыми взглядами на вещи» [1] и «коренастый армейский кирасир, говорящий довольно высоким слогом и с допотопными понятиями из старых журналов» [2], познакомились в Петербурге в 1856 г. Казалось бы, что люди, получившие столь различную характеристику у наблюдательного А. В. Дружинина, должны были бы, познакомившись, разойтись и впредь встречаться лишь на страницах журналов. Но в действительности произошло иначе: Лев Толстой и Афанасий Афанасьевич Фет быстро сошлись и стали друзьями. Дружба их продолжалась без малого двадцать пять лет и нашла свое отражение в переписке, которая прекратилась, однако, задолго до смерти одного из корреспондентов (Фет умер в 1892 г., последнее же письмо Толстого к нему датируется 1881 г.).

Известно сто пятьдесят одно письмо Толстого к Фету: девяносто семь из них хранятся в архиве Толстовского музея в Москве, пятьдесят писем — в Институте литературы в Ленинграде и четыре письма — в архиве Фета при Всесоюзной библиотеке им. В. И. Ленина в Москве. Письма Фета (всего двести одиннадцать) хранятся в архиве Толстого при той же библиотеке. Большая часть писем Толстого опубликована самим Фетом в «Русском Обозрении» 1890 г. и в «Моих воспоминаниях»; одно письмо (1873) опубликовано Н. Н. Черногубовым с неправильной датой «1872 г.» в «Русском Обозрении» 1901 г., I; три письма (1859, 1860 и 1875) — Н. Н. Гусевым в шестой книжке «Печати и Революции» за 1927 г.; одно письмо (1875) — Г. П. Блоком в альманахе Пушкинского дома «Радуга», 1922; девять писем (1880—1881)—М. А. Цявловским и В. С. Мишиным в LXIII томе Юбилейного издания сочинений Толстого и двадцать четыре письма (1863—1872) — М. А. Цявловским и Н. Д. Покровской в LXI томе того же издания.

До последнего времени оставались ненапечатанными: одно письмо Толстого из архива Фета (№ 2 настоящей публикации), восемь писем из архива Толстовского музея (№№ 3, 6, 8, 10, 16, 17, 19, 20); кроме того, пятьдесят записок хозяйственного характера из архива Института литературы подготовлены к печати М. А. Цявловским.

Последние две публикации (настоящая и М. А. Цявловского) исчерпывают все эпистолярное наследство Толстого, обращенное к Фету. Тем не менее, именно сейчас особенно остро встает вопрос о необходимости издания полностью переписки этих двух писателей. Дело в том, что публикация Фета, весьма свободно обращавшегося с письмами Толстого, изобилует ошибками и отнюдь не может служить материалом для изучения творчества Толстого и его взаимоотношений с Фетом. «Мои воспоминания» начинаются признанием самого автора в его «природной вражде с хронологией». Назовем одну из грубых ошибок Фета, которая многих ввела в заблуждение и привела к неправильным выводам. Кажется, нет ни одного литературоведа, который, говоря о «Войне и мире», не приводил бы следующей цитаты из письма Льва Николаевича, напечатанного Фетом с датой «17 ноября 1864 г.» [3]: «Я тоскую и ничего не пишу, а работаю мучительно. Вы не можете себе представить, как мне трудна эта предварительная работа глубокой пахоты того поля, на котором я принужден сеять. Обдумать и передумать все, что может случиться со всеми будущими людьми предстоящего сочинения, очень большого, и обдумать миллионы возможных сочетаний для того, чтобы выбрать из них одну миллионную, ужасно трудно. И этим я занят».

На основании этой цитаты всеми исследователями делались выводы о работе Толстого над «Войной и миром», которой он был занят в 1863—1869 гг. Теперь же оказывается, что письмо Толстого было написано не в 1864, а в 1870 г., т. е. во время начала работы его над романом из эпохи Петра I, работы, потребовавшей изучения массы материалов и оставшейся незаконченной. Данные других источников, относящихся к периоду работы над этим романом, подтверждают вышеприведенную цитату.

Хронология — не единственный враг автора «Моих воспоминаний». Весьма недружелюбно относится он к выражениям, рискованным в цензурном отношении, не нравятся ему слова не вполне comme il faut; Фет боится обидеть своих друзей и выпускает отзывы о них Толстого. Наконец, он вычеркивает из писем почти все, касающееся Страхова, и опускает почти все замечания Толстого относительно посланных ему стихотворений самого Фета. В результате письма Толстого предстают в выхолощенном, изуродованном виде, и подходить к ним надо очень критически.

Что же касается писем Фета к Толстому, то они, за очень малым исключением, еще не опубликованы. Нужно ли говорить о том, что впредь до приведения в полный порядок и систему всей переписки Толстого с Фетом вопрос о связи этих писателей будет недостаточно ясным?

Фет был единственным близким к литературе человеком, с которым Толстой долгое время находился в непринужденном и постоянном общении,— обстоятельство, чрезвычайно важное для изучения творчества обоих писателей. Лев Николаевич сам называл Фета единственным человеком, дающим ему «тот другой хлеб, которым, кроме единого, будет сыт человек» [4]. Летом 1869 г., много занимаясь философией, он писал Фету: «Жду вас с нетерпением к себе. Иногда душит неудовлетворенная потребность в родственной натуре, как ваша, чтобы высказать все накопившееся» [5]. А в одном из писем 1873 г. Толстой называл Фета кислотой, а себя содой, которая «как только дотронется до кислоты, так и зашипит» [6].

Письма Толстого гораздо короче и лаконичнее писем Фета. Откликаясь на вопросы литературного порядка, затронутые в письмах своего друга, делясь с ним своим настроением и сообщая свои домашние новости, Толстой всегда оставался глухим к нотам глубочайшего раздражения против всего нового, которые звучат в письмах Фета, и никогда не подвергал обсуждению мысли, продиктованные его барским скептицизмом.

Письма Толстого к Фету содержат много данных, освещающих историю создания «Войны и мира», «Анны Карениной» и романа из эпохи Петра I. Научная публикация их рядом с письмами Фета не только внесет существенные текстологические поправки, но и поможет выявить новые стороны взаимоотношений писателей, до сих пор не затронутые в литературе. Укажем хотя бы на вопрос о Толстом — критике Фета-публициста, о влиянии Толстого на поэтическое творчество Фета.

Лучшей характеристикой переписки Толстого с Фетом служат слова одного из корреспондентов. 3 мая 1876 г. Фет писал Толстому: «Письма мои к вам и ваши ко мне не литература, а грезы облаков. Порядку в них и ранжиру не ищите, но в причудливой и отрывочной игре их отражается то творческое дуновение, которое не найдешь в скалах — в окончательных произведениях из неподвижного материала, воздвигнутых той же творческой рукой».

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Письмо А. В. Дружинина, ноябрь 1855 г. (см. Чуковский К., Люди и книги шестидесятых годов, Л., 1934, стр. 38).

[2] Неопубликованный дневник Дружинина за декабрь 1853 г. (Государственный Литературный музей).

[3] Фет А. А., Мои воспоминания, М., 1890, ч. II, стр. 48—49.

[4] Письмо от 7 ноября 1866 г. (архив Толстовского музея).

[5] Письмо от 30 августа 1869 г. (там же).

[6] Письмо от 17 марта 1873 г. (там же).

1

16 мая [1863 г.], Степановка

«Абракадабра» [1], дорогой Лев Николаевич! Вопрос: почему вы мне несказанно дороги? Ответ: потому что мне все дорого в жизни. Экая славная — с комарами, кукушками, грибами, цветами! Прелесть! — Нет, этого мало. Вы мне дороги за абракадабру. Другие пузятся и думают, что наука есть абракадабра, а вы понимаете, что она просто наблюдение над жизнью. Другие зато думают, что жизнь это так себе. Предписал или убил — и все, а нето — все переломал и сделал, как хочу, а вы понимаете, что тут-то и сидит моя милая абракадабра, чудище без головы и без хвоста. За какую нитку ни потяни, все голова, а она же и все ноги или хвост. Я присягаю, что не хожу вверх ногами, Линкольн тоже и бранит меня антиподом, т. е. человеком вверх ногами.

Утешьтесь, голубчик. Это очень просто, т. е. ясно, что абракадабра, но этого рассудителям никогда не понять.— Вчера я искал вам русского места и положительно решил для себя, к чорту деликатности! (Мне хочется говорить, а вы слушайте или нет, ваше дело.) Пушкин, Тютчев, Толстой Л. Н.— и больше никого из русских туда не пускаю. Не по писательству, а по ясной и крепкой голове. Ясные головы чеканят мысли кувалдой, а не ковыряют и вылизывают их, как лизун. — Ври, но ври так, чтобы я видел, что ты умеешь думать. Читаю — взял у Борисова [2] всю «Ясную Поляну» [3].— Прелесть! Насчет прогресса [4] вполне согласен. Скорей можно допустить генерализацию — обобщение всех других исключений. Поэты, астрологи, генералы более или менее все люди. В каждом, хотя частью, живет эта струя. А какой общеисторический прогресс — для двух человек 19 века? Ни римляне, ни греки о нем не помышляли. Упадок, разврат и бессилие и т. п. нельзя назвать прогрессом. Когда Суворов вырезал Прагу и потом плакал над ней, тогда это для России был прогресс, а если теперь Прага вырежет меня, то это для меня будет гадость, а не русский прогресс. Я в 42 года жизни знаю только одну историю — историю ястреба и перепелки. Ястреб ест перепелку не из безнравственности, а потому что обедает — будет ли ястреб Брут или Цезарь — все равно. Людей же я знаю только двух: мужика и солдата. «Все мое»,— сказало злато. «Все мое»,— сказал булат. И они только потому первые люди, и настолько первые, насколько они не человеки. Как только полезут в человеки, то становятся последними. Но есть подробности, с кот[орыми] я не согласен.— Вы признаете честные привычки, не признавая честных убеждений. По-моему, это две совершенно разных вещи. Можно иметь честные и нечестные, опрятные и неопрятные привычки, независимо от убеждений, и наоборот. Можно понимать, что не следует рыгать в обществе, а, между тем, иметь такую привычку. Но можно, никогда не рыгая,— не находить этого дурным.— Ни с вами, ни с Руссо я не согласен, что все люди родятся добрыми.— Если это с божественной точки, с которой нет зла, с которой и поляк и нигилист добро, — не спорю, но просто по-человечески, — в отношении земного добра и зла помню Горация:

Родятся добрые от добрых храбрецов,
В коровах и конях отцовский пыл хранится,
И от воинственных и доблестных отцов
Нельзя же голубю пугливому родиться.

Это уже физиология, и спорить трудно. Я завожу рысистых, а пусть говорит кто хочет, что россиянка лучше.

Учу мальчиков — и еще знаем очень мало. Плохо читаем и едва начинаем разбирать цифры. Экая прелесть ваше Кому у кого учиться [5]. Да, кувыркайтесь на гимнастике вверх ногами, пашите, пойте и

проч., но от поэта не уйдете. Когда вы говорите о чувстве меры, я думаю про себя: «А ведь у меня есть чувство меры. Почему же я знаю, что это идет в стихотворение, а это то̀ — да не туда. А здесь — загвоздка и конец — и ни-ни?».— Пожалуйста, про цыган в пегом мерине [6] — чебурахайте сплеча, а если верите мне хоть сколько-нибудь, прочтите мне готовое, и лишнее выбросим [7]. Дорого — то сказать, что все способны видеть и никто не видал. Найдите, почему цыган, как говорил

А. А. ФЕТ В МОЛОДОСТИ

Фотография

Толстовский музей, Москва

покойный Николай Николаевич [8], думает только, как бы ободрать нашего брата, цыганка тоже, и почему она в то же время — вся пыл и вдохновение. Это художественно понять — гениальная штука.

В Новоселках мы ждали вас до 12-го. Как досадно, что вы не подъехали. У нас третьего дня градом окна повыбило,— но дурным хлебам мало повредило. Я до сих пор плохо устроился и все более в бабьей шубенке хожу. Вот новое стихотворение. Как вам?

Месяц зеркальный плывет по лазурной пустыне,
Травы степные унизаны влагой вечерней.

Речи отрывистей, сердце опять суеверней,
Быстрые тени бегут укрываться в ложбине.

В этой ночи, как в желаниях, все беспредельно.
Крылья растут у каких-то воздушных стремлений,
Взял бы тебя и помчался бы так же бесцельно,
Свет унося, покидая неверные тени.

Можно ли, друг мой, вздыхать о тяжелой кручине?
Как не забыть, хоть на время, язвительных терний?
Травы степные сверкают росою вечерней,
Месяц зеркальный бежит по лазурной пустыне [9].

Может быть, уже писал вам сей стих? Решительно не помню. Будьте здоровы. Это главное. Милой хозяйке дома и добрейшей тетиньке мой усерд[ный] поклон.

Ваш А. Фет

Сию минуту еду в Москву и, может быть, на возврат[ном] заеду к вам.

[1] Таинственное слово, род заговора, уходящее корнями своими в древнееврейский и греческий языки.

[2] Борисов Иван Петрович (1832—1871), приятель Фета и Тургенева, хороший знакомый Толстого.

[3] «Ясная Поляна» — педагогический журнал, издававшийся Толстым.

[4] Фет имеет в виду статью Толстого «Прогресс и определение образования», напечатанную в двенадцатой книжке «Ясной Поляны».

[5] «Кому у кого учиться писать: крестьянским ребятам у нас или нам у крестьянских ребят» — статья Толстого в сентябрьской книжке «Ясной Поляны».

[6] «Пегий мерин» — произведение, получившее впоследствии заглавие «Холстомер, история лошади».

[7] Нет никаких данных о том, чтобы Толстой обсуждал свои произведения вместе с Фетом (см. также примечание 2-е к письму № 12).

[8] Старший брат Толстого (ум. в 1860 г.).

[9] Впервые Фет послал Толстому эти стихи в той же редакции при письме от 11 апреля. В окончательной же редакции они названы «Мелодия» и в них внесены следующие изменения: четвертая строка первой строфы читается:

Длинные тени вдали потонули в ложбине.

Первая строка третьей строфы читается:

Можно ли, друг мой, томиться в тяжелой кручине?

(См. Полное собрание стихотворений А. А. Фета, СПБ., 1910, т. I, стр. 377).

2

[Конец января 1874 г., Ясная Поляна]

Отвечаю тотчас же на ваше письмо. Но голова целый день трещит, и потому только посылаю то, что желает иметь Тургенев [1]. Напрасно он это делает, но отвечать иначе нельзя, как посылая требуемое.

Я было обрадовался тому, что ваше письмо, и начал по привычке его читать с конца: мне показалось, что вы обещаетесь приехать. Мы еще надеемся в нынешнюю зиму, что вы по-старому подарите нас деньком или двумя.

Si jeunesse savait, vieillesse pouvait. Я к тому говорю, что, получив ваше письмо с поразившим нас известием [2], я задумался, что отвечать, можно ли все сказать, что думаешь. Потом подумал, на что ж мы чуть ли не 20-ти летние приятели, если не говорить, что думаешь, и написал только то, что думал про себя. И оказалось, что мои мысли вам не неприятны. В молодости никогда этого не сделаешь, и сколько от того ошибок. А может быть, в молодости не знаешь, что думать.

Радуюсь, что ваше здоровье хорошо; мое нехорошо, а работы столько нужной. До свиданья. Наш поклон Марье Петровне [3].

Л. Толстой

[1] И. С. Тургенев, живший в Париже, в начале января 1874 г. просил Фета получить у Толстого разрешение на право перевода его повестей на французский язык. Обратиться же самому непосредственно к Толстому Тургенев, после разрыва с ним отношений в 1861 г., повидимому, не считал возможным.

Ответ Фета с запиской Толстого запоздал, и, очевидно, вследствие этого, только в следующем 1875 г. в февральском номере газеты «Temps» появился, с предисловием Тургенева, перевод «Двух гусаров», сделанный Rollinat. Предисловие было перепечатано в № 34 «Московских Ведомостей», от 5 февраля 1875 г. (см. его также в «Русских Пропилеях», т. III, М., 1916). 22 февраля 1875 г. Толстой писал Фету, что Тургенев прислал перевод «Двух гусаров» через третье лицо.

[2] Это письмо Фета и ответ Толстого на него неизвестны.

[3] Фет Мария Петровна, урожд. Боткина (1828—1894), жена Фета.

3

[Начало августа 1874 г., Ясная Поляна]

Удивляюсь, что вы не получили моего письма[1], дорогой Афанасий Афанасьич. Я давно писал. Фраза о лучших умах Европы, признавших, что дарвинизм и т. д., прелестна[2]. Ужасно грустно, когда войдешь в настоящий возраст, как мы с вами, чувствовать себя все более и более одиноким и видеть, как разоблачаются те фигуры, которые нам казались так значительны. Это не упадок, а уяснение нашего взгляда. Я много подобного испытавал и испытываю.

На-днях прогостил у меня Страхов дней пять и, несмотря на его неловкость говорить, я наслаждался им и беспрестанно, я думаю, надоел ему, поминал вас. Он будет у меня опять с 24-го на обратном пути. Вы пишете, что решили удалить божественную дуру-гувернантку и взять швейцарку. Ради бога, если вы выписываете через хороших людей (как я уверен), выпишите и на мою долю одну. После того, как Фед[ор] Фед[орович][3] покинул нас (и он это сделал напрасно), нам с женой очень тяжело и нужнее, чем когда-нибудь, помощь. Гувернера к детям я ищу (если знаете такового, рекомендуйте, пожалуйста), но француженку или швейцарку к девочке, да и для мальчиков, мы бы взяли сейчас и всякого сорта, только бы была хорошая по натуре — т. е. возьмем и дешевую и дорогую, т. е. и в 300 и в 600 р., если бы такая попалась. Я пишу на всякий случай, если случится, сообщите. Пожалуйста, пишите изредка, да позовите меня к себе. Мне ужасно иногда хочется вас видеть.

Ваш Лев Толстой

[1] Письмо от 24 июня 1874 г. (см. «Мои воспоминания», ч. II, стр. 291, где оно напечатано полностью, но с заменой одной буквой упоминаемой в нем фамилии П. Д. Голохвастова).

[2] Надо думать, что ирония Толстого по поводу «лучших умов Европы» относится к П. В. Анненкову, напечатавшему в «Вестнике Европы» 1873—1874 гг. работу «Александр Сергеевич Пушкин в Александровскую эпоху» (в 1874 г. работа эта вышла отдельным изданием). Анненков объясняет некоторые черты характера Пушкина, опираясь на теорию наследственности, что дало основание Авсеенко назвать Анненкова «доморощенным дарвинистом». Фет в письме к Тургеневу соглашался с Авсеенко, чем вызвал большое негодование Тургенева (см. ответ его в «Моих воспоминаниях», ч. II, стр. 289—290). Повидимому, в не дошедшем до нас письме к Толстому Фет также писал о статьях Анненкова; Толстой отвечал ему настоящим письмом.

Еще во время близости с кружком «Современника» Толстой неодобрительно отзывался о стремлении Анненкова итти (как ему казалось) во всем в ногу с современностью. 1 октября 1857 г. он писал В. П. Боткину: «Анненков весел, здоров, все так же умен, уклончив и еще с большим жаром, чем прежде, ловит современность во всем, боясь отстать от нее. Действительно, плохо ему будет, ежели он отстанет от нее. Это одно, в непогрешимость чего он верует». Правда, цитируемых Толстым слов в книге Анненкова нет, но они могли быть взяты и из письма Фета, который перефразировал начало статьи, открывающейся словами: «Не надо быть рьяным поклонником учения о неотразимом действии физиологических и нравственных свойств родоначальников семей на все их потомство, чтобы верить...».

[3] Кауфман Ф. Ф., гувернер сыновей Толстого, рекомендованный ему Фетом.

4

[15—20 февраля 1875 г.]
Моск[овско]-Кур[ской] ж. д.
Полустанция Еропкино

Наконец-то добрался до письма к вам, дорогой мой Лев Николаевич. Спасибо за весть о здоровье графини[1], мы с братом[2], за отсутствием жены — вдвоем праздновали эту весть. Спасибо за высылку халата. Я расписался в Козловке и все получил[3]. Но какое спасибо могу сказать за Каренину. Я не мог решиться читать ее в Москве на биваках[4], а читал на-днях вслух своим. На мое замечание, что надо бы сказать тютек, а не тютьков, брат предположил, что именительное тютёк, а не тютька[5]. Но что сказать про художественное мастерство целого? Про простую столярную работу. Какое мастерство вводить новые лица! Какое прелестное описание бала!

Какой великолепный замысел сюжета! Герой Левин—это Лев Ник[олаевич] человек (не поэт), тут и В. Перфиль[ев][6], и рассудит[ельный] Сухот[ин][7], и все и вся, но возведенное в перл создания. Я хохотал, как дурак, когда Левин, с отчаяния, побежал, соскакивая в коньках с лестницы,— и почему-то вспомнил: «Погубил я свою молодость»[8].

Радуюсь, что отчасти предвижу дальнейший ход романа, но тем более жду его с нетерпением.

В Мценске в ночь перед съездом вдруг написал стих, кот[орый] посылаю вам:

Что ты, голубчик, задумчив сидишь?
Слышишь — не слышишь; глядишь — не глядишь.
То потускнеешь, как в ветер река,
То улыбнешься, как в люльке дитя[9].

Точно — случилось жемчужную нить
Подле меня тебе врозь уронить.
Чудную песню я слушал во сне,
Несколько слов до яву мне прожгло.

Эти слова-то ищу я опять,
Все, как звучали они, подобрать.
Верно, ах, верно сказала б ты мне.
В чем этот голос меня укорял.

Все это время не писал вам, не зная, что будет с кобылами. Они были назначены, но я случайно узнал, что ветеринар их увел продавать в Воронеж. Пока поехал управляющий с отменой продажи — я был, как на угольях. Теперь на них наложено veto, и брат пишет прислать вам подробную генеалогию. В свое время получите их полные аттестаты. — Если вы считаете покупку окончательной, то к 1 апреля потрудитесь деньги передать в конт[ору] Боткина сыновей, на Маросейке, а оттуда они прямо в alma mater помещиков, Опекунск[ий] совет. Будьте здоровы.— Около 12 марта мы балуемся мыслью сбегать к вам на Козловку. Черкните только. Общий усер[дный] поклон графине.

Преданный вам А. Шеншин

На это письмо Фета Толстой ответил дважды: 22 февраля и 12 марта (см. «Мои воспоминания», ч. II, стр. 288 и 308). В первом из них он писал, что присланное стихотворение кажется ему «эмбрионом прекрасного стихотворения, но оно, как поэтическая мысль, совершенно ясно, но совершенно неясно, как произведение слова».

Письмо Толстого напечатано Фетом с неправильной датой «март 1874 г.»; вероятно, вследствие этого в библиографии Фета, составленной Б. В. Никольским, стихотворение «Что ты, голубчик, задумчив сидишь?» ошибочно отнесено к 1874 г. (см. Полное собрание стихотворений А. А. Фета, СПБ., 1910, т. III, стр. 393).

[1] Это письмо Толстого неизвестно.

[2] Петром Афанасьевичем Шеншиным.

[3] С 7 по 9 января 1875 г. Фет с братом гостили в Ясной Поляне. Уезжая, Фет забыл там свой халат и письмом от 11 января просил Толстого оставить его у начальника станции Козловка.

[4] Фет был в Москве между 25 и 30 января и здесь получил первый номер «Русского Вестника», в котором были напечатаны четырнадцать глав первой части «Анны Карениной».

[5] «Тютьками» старый князь Щербацкий называл московских молодых людей («Анна Каренина», ч. 1-я, гл. XV).

[6] Перфильев Василий Степанович (1826—1890), приятель Толстого. Некоторые черты его характера Толстой придал Степану Аркадьевичу Облонскому.

[7] Сухотин Сергей Михайлович (1818—1886), знакомый Толстого, муж сестры его приятеля Д. А. Дьякова. Отношения С. М. Сухотина с оставившей его вскоре после замужества женой напоминают отношения Каренина с Анной.

[8] Слова Левина, выпущенные в окончательной редакции (см. т. I, гл. IX).

[9] В окончательной редакции две последние строки этой строфы заменены Фетом следующими:

Утро давно, а в глазах у тебя,
Я посмотрю, и не день и не ночь.

(См. вышеупомянутое Полное собрание стихотворений А. А. Фета, т. II, стр. 80).

5

8 марта [1875 г.]
Моск[овско]-Курск[ой] ж. д.
Полустанция Еропкино

Дорогой граф!

Ввиду всех притоков, из которых слагается бурное половодье материнского горя, мы с женой, и в особенности последняя, горячо сочувствуем бедной графине. Но я не могу воздержаться и не указать на одну из сторон этого горя.— Родители, между прочим, оплакивают, в данном случае, смерть того, кто или не мог жить или влачил бы самое тяжелое существование.

По-моему, и всякая, даже самая здоровая, жизнь не находка. Что же сказать о болезненной?

Поездку мою с братом Петрушей в Ясную отодвигаю мысленно до вскрытия весны. В настоящее время у меня двор завален камнями и лесом, и плотники уже стучат спозаранку.

Я совершенно отказался от авторства, но, очевидно, в посланном вам стихотворении сделал, что хотел.

Я хотел набросать эскиз, и потому 2 вторых стиха в куплетах не рифмованы.

За достоинство стихов не стою [1].

Карцев писал брату, что весной уступает своего старого жеребца. Следовательно, и в этом случае будет исполнено ваше желание. Что касается до меня, то роль моя ограничивается приказать отпустить из завода вашим посланным лошадей, на которых доставлю вам формальные аттестаты. Карцовский, как говорит брат, высоких кровей.

У меня в настоящую минуту возятся с молодыми лошадьми, которые проданы в Москву. Боятся вертящихся ветряных мельниц.

Наши общие глубокие поклоны графине — и тетиньке Пелагее Ильиничне.

Будьте здоровее.

Преданный вам А. Шеншин

Ответ на письмо Толстого от 22 февраля 1875 г. (см. «Мои воспоминания», ч. II, стр. 288, где оно ошибочно отнесено к марту 1874 г.); Толстой сообщал Фету о смерти своего младшего сына Николая (ум. 20 февраля 1875 г.).

[1] См. стихи в письме № 4.

6

[29—31 марта 1875 г., Ясная Поляна]

Дорогой Афанасий Афанасьевич!

Что-то мне представилось по последнему письму вашему [1] и по тому, что вы хотели приехать и не приехали, что как-будто вы имеете, хоть не зуб, но холодность ко мне. Я так дорожу вашей дружбой, что это меня мучает. Напишите, если неправда, и если правда — heraus damit. Я не мог дать повода вам разлюбить меня, потому что я, слава богу, не меняюсь к друзьям. Допущу, что это вздор.

Каково Леонтьев! Когда я узнал, мне стало так грустно, что я не ожидал, что я так ценил его [2].

Смерть все покажет. Издохни нигилист, никто и не подумает [3], а тут чувствуется событие общественное.

Мы пока живем без новых несчастий; да и то не совсем — Соня все больна какой-то дурной непонятной лихорадкой.

Сейчас пишу, чтобы Соловьев [4] деньги 700 р., которые у него, я знаю, есть, передал в контору Боткина. Какой будет жеребец? Я, пожалуй, обоих возьму. Да, когда посылать за лошадьми и сколько верст оттуда до Самары? Да нельзя ли будет купить там телегу и лошадь для проводу лошадей, чтобы послать туда людей по машине? Отвечайте поскорее, не о лошадях, а о своем ко мне духе.

Ваш Л. Толстой

Марье Петровне наш с женою душевный поклон.

[1] Письмо Фета от 8 марта (см. № 5).

[2] О смерти П. М. Леонтьева (1822—1875) Толстой узнал из письма Н. М. Нагорнова от 29 марта, в котором тот писал, что «похороны Леонтьева прошли при огромном стечении публики... одних генералов было 121» (архив Толстовского музея). Отклик Толстого на смерть Леонтьева см. также на стр. 205.

Толстой был знаком с Леонтьевым через «Русский Вестник», в котором он печатался с 1859 г. Более или менее определенные сведения имеются только о следующих их встречах: в 1871 г., изучив греческий язык, Толстой обратился к Леонтьеву, как к знатоку древностей; в 1873—1874 гг. он дважды был у Леонтьева по делу о гувернере для своих сыновей, и, наконец, 4—7 ноября 1874 г. Толстой вел переговоры с Леонтьевым о печатании в «Русском Вестнике» «Анны Карениной». Это последнее свидание их едва не закончилось конфликтом. Дело в том, что непосредственно после личных переговоров Леонтьев написал письмо Толстому (оно не сохранилось), в котором последний усмотрел «торговлю» с ним и был настолько возмущен, что не только не ответил Леонтьеву, но решил с «Русским Вестником» дела больше не иметь и отдать «Анну Каренину» в «Отечественные Записки». Однако, Леонтьев 20 ноября снова написал Толстому (письмо это сохранилось в архиве последнего), разъясняя происшедшее недоразумение и предлагая ему «наилучшие из возможных» условия. Числа 23—25 ноября Толстой ответил Леонтьеву. Этими двумя письмами исчерпывается их сохранившаяся переписка.

[3] Резкость этого выражения в какой-то мере созвучна комедии Толстого «Зараженное семейство», написанной, по его словам, «в насмешку эмансипации женщин и так называемых нигилистов» (см. письмо к М. Н. Толстой от 2 февраля 1864 г.,— Толстой, Полное собрание сочинений, Юбилейное издание, т. LXI). Однако, в сравнении с действительным отношением Толстого к радикально настроенной молодежи, хотя бы в лице некоторых учителей яснополянской школы, это выражение звучит ясным диссонансом, который становится еще резче при сопоставлении этих слов с позднейшими высказываниями Толстого о «нигилистах». Так, получив в 1881 г. от Н. Н. Страхова его «Письма о нигилизме», написанные в связи с убийством Александра II, Толстой отзывался о них крайне неодобрительно. Он писал Страхову: «Вас особенно сильно поразило убийство царя, вам особенно противны те, которых вы называете нигилистами... Нигилисты — это название каких-то ужасных существ, имеющих только подобие человеческое. И вы делаете исследование над этими существами. И по вашим исследованиям оказывается, что, даже когда они жертвуют своей жизнью для духовной цели, они делают не добро, но действуют по каким-то психологическим законам бессознательно и дурно.

Я не могу разделять этого взгляда и считаю его дурным. Человек всегда хорош и, если он делает дурно, то надо искать источник зла в соблазнах, вовлекавших его в зло, а не в дурных свойствах гордости, невежества. И для того, чтобы указать

соблазны, вовлекшие революционеров в убийство, нечего далеко ходить. Переполненная Сибирь, тюрьмы, войны, виселицы, нищета народа, кощунство, жадность и жестокость властей — не отговорки, а настоящий источник соблазна» (Толстой, Полное собрание сочинений, Юбилейное издание, т. LXIII; стр. 68).

[4] Московский книгопродавец, комиссионер Толстого по продаже его сочинений.

7

4 апреля [1875 г.],
Моск[овско]-Курск[ой] ж. д.
Полустанция Еропкино

Далатта, далатта! — восклицает, подобно 10 т[ысячам] греков [1], моя душа каждый раз, когда вижу ваши свободные буквы, любезный граф, но сегодня, читая с особенным удовольствием письмо ваше, пришел в окончательное недоумение насчет той воображаемой кошки, которая имела пробежать между нами. Если бы такой баснословный зверь и родился у меня на сердце, то я настолько знаю (а не верю) ваш светлый ум и благородство, мятое, трепанное и очищенное, как наилучшее сердечко пеньки, и жизнью и серьезным, а не грошевым созерцанием, что я бы сейчас притянул вас к вам же на третейский суд, коему бы подчинился беспрекословно. Если вы дорожите моей дружбой, то насколько же дорожу я тем, что человек с вашими мозгами, проходя мимо меня в жизни, остановился и сказал: «Постой, в этом человеке кое-что есть, что не валяется под всеми заборами!». Это для меня тем бесценнее, что нет такого quasi-умника, не осиливающего в нравствен[ном] и физическом смысле замесить 3 свиньям, который бы не считал меня за дурака. Но Христос с ними.

Как горько, что графиня Софья Андреевна еще не вполне оправилась. Когда, прочитав эту грустную весть брату, я стал приставать к нему насчет лошадей, то он отвечал: «Э! Что там лошади,— а бабу-то, бабу-то жаль, славная баба-то у него». Но авось и хорошие вести дойдут до нас: довольно и вы на свой пай натерпелись в этом году.— К делу: по-моему, ваш план покупки телег, а не телеги и лошадей на Гроворонке не выдерживает критики. Я, по отдаленности Гроворонки от Степановки, узнал опытом, что расстояние в России ничего не значит и желез[ные] дороги нужны только богачам. У меня возят мебель, экипажи, водят взад и вперед лошадей и скот, как по маслу. Я уже писал вам, что аттестаты на кобыл и жеребца молодого готовы, что старый жеребец к вашим услугам к концу мая, ранее чего я вам и не советую поднимать похода. Жеребец теперь на заводе соседа Карцева, а за него уже лошадь отдана, но уговор отслужить весну на заводе, без чего Карцев не уступил лошадей.— По-моему, в Никольском надо собрать 2 хороших подводы на кованых телегах и порядочных лошадей и послать на них 3 человека да взять им мер 8 овса. Маршрут их следующий: из Никольского вашего на Кочеты Алек. Мих. Сухотина, а оттуда на шеншинское Скворчее — это верст 40. Со Скворчего надо ехать на тимскую шеншинскую крупчатку. Деревня Тим (ныне купца Аксенова), а оттуда на шеншинскую Гроворонку. На Гроворонке они отдохнут, получат 2 четверти овса и с богом на Тамбов и Пензу в Самару, что составит верст 300. Из Никольского люди ваши дойдут в 4 дня до Гроворонки за 10 рублей на надежных подводах, а по чугунке 3-е заплатят за 2 дня до Ливен по 5 р. = 15 р., да от Ливен 70 или 80 верст, до Гроворонки заплатят за подводу рублей 8, итого 23 рубля, а времени выгадают один день. Кобыл нечего привязывать. Они на другой же день дойдут сами гоном между двумя телегами, передней и задней,— и дойдут в наилучшем виде. Я смотрел по карте и почтовой таблице: от Гровор[онки] до Самары 1000 верст, и следовательно 20 дней ходу, считая 12 лошадей и 3 человек высшей оценкой по 50 копеек с головы и рта, 150 рублей

на проход от Гровор[онки] до Самары. Этого расхода избежать нельзя. А телеги и лошади и в Самаре вам нужны, а не нужны, можно продать. Вот α и ω моего совета. Поступайте, как знаете: vous êtes le maître.

Когда подумаешь, что в настоящую минуту нет семьи, нет дома на Руси, где бы не плясали от восторга по поводу смерти Леонтьева, который всю жизнь протаскался в старом халате и все отдавал на воспитание чужих детей, ça donne une crâne opinion de l'homme. У меня цело письмо Тургенева, где он поет гимн сумасшедшему Мефодию Каткову за покушение на жизнь Леонтьева [2].— За что? Есть ли тут капля смыслу? Ждать награды извне естественно, но рассчитывать на нее не рекомендательно.

Послезавтра жду Петю Борисова на святую, а жена выедет, кажется, в понедельник на святой из Москвы. У нас еще снегу пропасть, и морозит, так что когда сойдет снег, неизвестно, хотя реки прошли.

Я, кажется, уже писал вам, что на дворе Степановки Вавилон. Плотники рубят пристройку к дому. Навален камень для 3-х конюшен. Машинисты исправляют паровик. Шорники чинят целый м[еся]ц сбрую Когда все это уйдет, в тот же миг пошлю за попом, и — молебен с водосвятием. Но до конца мая и думать нечего отпачкаться.

Буду ждать ваших окончательных распоряжений и вестей.

Сегодня получил из кон[торы] Боткина уведомление о передаче Соловьевым 700 руб. Передайте графине Софье Андреевне наши общие самые задушевные и сочувственные приветствия и не пускайте ее на весенний воздух оттаивающей земли.

Искренно преданный вам
А. Шеншин

Ответ на письмо Толстого от 29—31 марта (см. № 6).

[1] «Море, море!».— Теснимый персами отряд в десять тысяч греков, пробившийся наконец под предводительством Ксенофонта к морю, приветствовал его этим восклицанием.

[2] Осенью 1874 г. брат М. Н. Каткова, Мефодий Никифорович, два сына которого учились в Катковском лицее, покушался выстрелом из револьвера убить П. М. Леонтьева. По этому поводу И. С. Тургенев 27 сентября писал Фету: «Глубокое спасибо Мефодию Каткову, что он выстрелом в горб Леонтьева нарушил — правда, немного, пакостно-кислую тишину. В этом выстреле меня особенно умиляет то, что произвел его брат Каткова, который только-что успел протрубить, что револьвер берут в руки только нигилисты, и стрелял Мефодий в отмщение своим детям, заклеванным латынью. Браво, Мефодий!» (письмо неопубликовано, хранится в архиве Фета).

8

[12—15 марта 1876 г., Ясная Поляна]

Любезный друг Афанасий Афанасьевич!

Очень рад был получить ваше письмо с относительно хорошими известиями. Здоровье ваше нехорошо (но надеюсь теперь вы опять забрали крови) — это не совсем хорошо. А очень мне было приятно узнать это то, что Петр Афанасьич вернулся.

У меня к вам дело и просьба.

Нет ли у вас жеребца старого и, вообще, не очень дорогого верхового, с арабской кровью? И еще нет ли кобылки или двух 3-х или 4-х лет, тоже не из очень дорогих? Жеребца мне нужно для случки с киргизскими кобылами, а кобыл или кобылу для забавы для выездки! [1].

Передайте наш поклон Марье Петровне. Петра Афанасьича обнимите за меня. Я очень рад, что он вернулся. А я все надеюсь, что вы велите как-нибудь ловить вас на Козловке по дороге в Москву. У нас все по-старому. Жене, было, стало хуже, но теперь сносно.

Я все мечтаю окончить роман до лета, но начинаю сомневаться [2].

Ваш Л. Толстой

А. А. ФЕТ
Портрет маслом работы Н. Е. Рачкова
Толстовский музей, Москва

Ответ на письмо Фета от 8 марта 1876 г., в котором он сообщал о том, что его брат Петр Афанасьевич, уехавший еще в 1875 г. без паспорта и денег в славянские земли, наконец «отыскался домой и, повидимому, гораздо покойнее духом, чем был до сих пор».

[1] В 1875—1876 гг. Толстой хотел устроить в своем самарском имении конский завод. Из намерений его ничего не вышло, как не выходило ничего из его хозяйственных начинаний предшествующих годов.

[2] Роман «Анна Каренина» был окончен лишь в 1877 г.

9

26 марта [1876 г.]
Москов[ско]-Кур[ской] ж. д.
Полустанция Еропкино

«Дух бодр — плоть немощна».

Все это время, дорогой граф, проводил я под гнетом собственного бессилия. И теперь еще с небывалым напряжением держу перо. Теперь как будто побольше сил, хотя я даже на урок к Оле [1] не всхожу по лестнице, а она ходит ко мне.

Сегодня серенький вешний день, и мои поехали сеять под борону с 5 молодыми матками. Матки пошли покойно. По саду ручьи. Брат Петр Афанас[ьевич] чуть не ежедневно поет вам с графиней хвалебные гимны в минуты, когда отрывается от убийственно-напорного изучения английского языка. Мы с Олей прошли историю до Конвента и Консульства. Но все это не утоляет духовной жажды. Утоляет сознание, что на Руси сидит в Ясной Поляне человек, способный написать Каренину.

«Quandoque bonus dormiteat Homeros» [2], говорит Гораций. Есть и

в Карениной скучноватые главы. Мне скажут: «Они необходимы для связи целого». Я скажу: «Это не мое дело».— Но зато все целое и подробности, это — червонное золото. В некот[орых] операх есть трио без музыки: все три голоса (в Роберте [3]) поют свое, а вместе выходит, что душа улетает на 7-ое небо.

Такое трио поют у постели больной Каренина, муж и Вронский. Какое содержание и какая форма! Я уверен, что вы сами достигаете этой высоты только в минуты светлого вдохновения, а то сейчас является так называемая «трезвая правда Решетникова» [4], с тупым раздуванием озлобленных ноздрей. Та грубая, зверская ненависть, которая с самых, повидимому, вершин воспитания и науки нет-нет в каждом столетии заявит себя разбиванием своих (Вандомская [5]) и чужих (Милосская) памятников высокого. Не смей-де быть высоким,— я подл, будь и ты таким, а то убью.

Жена говорит, что теперь в моду войдет объясняться в любви посред[ством] инициалов.

Гомер дает каждому, что тот может взять.— Но что т о т-т о может взять? Наверное то, чего не стоит и подымать.

А небось, чуют они все, что этот роман есть строгий, неподкупный суд всему нашему строю жизни. От мужика и до говядины [sic!] принца. Чуют, что над ними есть глаз, иначе вооруженный, чем их слепорожденные гляделки.

То, что им кажется несомненно честным, хорошим, желательным, изящным, завидным, оказывается тупым, грубым, бессмысленным и смешным. Последнего они в своем английском проборе ужасно не любят. А дело-то выходит бедовое. Вот Тургенев пишет рассказы вроде «Ч а с ы», да вперед засылает соглядатаев осведомиться: хорошо ли публика почивала, да в духе ли? — и увы! Все спрашивают друг друга: «Зачем это он все говорит?» [6].— А тут и англичане говорят: это глубокая пахота, тут все корешки повыворотило [7]. Заметьте: у Тургенева нет теперь рассказа без с с ы л ь н о г о о т ц а. Это единственная соль, которой заправляется непосыпанная резка из старой, третьегодичной соломы. — Но с вами никогда не кончишь. На святой сбираюсь с Марь[ей] Петр[овной] в Питер спросить Боткина, что делать. А на обратном пути хотим заехать к вам с 7-часовым поездом в Тулу [8], прислав за день телеграмму. Напишите, возможно ли это? Все, все мы вам и графине кланяемся усердно и желаем здоровья.

Преданный вам
А. Шеншин

Написано после прочтения первых шестнадцати глав четвертой части «Анны Карениной», напечатанных в февральской книжке «Русского Вестника» за 1876 г.

[1] Ш е н ш и н а О. В., племянница Фета, его воспитанница.

[2] «Иногда хорошо прозевывает и Гомер».

[3] «Роберт Дьявол» — опера Д. Мейербера. Трио без музыки поют Роберт, Алиса и Бертрам в третьем действии.

[4] «Трезвая правда Решетникова» — слова Тургенева. В «Воспоминаниях о Белинском» он писал: «Не дожил он [Белинский] до того, что наполнило бы сладостью его сердце; не увидал он много хорошего, что совершилось после него в нашей литературе. Как бы порадовался он поэтическому дару Л. Н. Толстого, силе Островского, юмору Писемского, сатире Салтыкова, трезвой правде Решетникова!».

[5] Вандомская колонна, поставленная в Париже в память побед Наполеона, была в 1871 г. разрушена коммунарами, как символ милитаризма. В 1875 г. была вновь восстановлена.

[6] 9 апреля 1876 г. Толстой, делясь с Н. Н. Страховым своими сомнениями относительно достоинств «Анны Карениной», над которой он в это время работал, просил его «написать, что в романе дурно», и прибавил при этом: «Гораздо лучше будет остановиться на «Войне и мире», чем писать «Часы» или т. п.» (архив В. Г. Черткова; не опубликовано).

[7] Фет имел в виду статьи: 1) «Англичанин Скайлер о русской литературе»,— «Русский Мир», 1876, № 84, и 2) Р., Atheneum о русской литературе 1875 г.,— «Московские Ведомости», 1876, № 68, от 16 марта.

[8] Фет был в Ясной Поляне около 12—27 апреля 1876 г.

10

[8—10 июня 1876 г., Ясная Поляна]

Дорогой Афанасий Афанасьевич.

Жеребцов старых всех трех мне, пожалуйста, оставьте. Если Граник не будет продан к тому времени, то я, весьма вероятно, его тоже возьму. То, что я говорю «вероятно» и тех лошадей беру не сейчас, происходит оттого, что жеребцы мне нужны для маток, которых у меня еще нет. Кроме расхода около 1.000 рублей на жеребцов, мне нужно под них еще на 3.000 рублей маток да около 1.000 употребить на постройку помещения. Кроме того, мне нужно найти еще человека к заводу (не знаете ли такового?). Так что я робею окончательно взять жеребцов, прежде чем у меня остальное не будет налажено. И поэтому мне очень удобно то, что вы обещали подождать до августа.

Деньги за Гамлета, по вашему приказу, я напишу в Москву, чтобы отдали в контору Боткина.

К нам третьего дня приехала из-за границы сестра Мар[ия] Ник[олаевна], которую я не видал три года, и я очень рад ей. Несмотря на бывшие морозы и жары, нынешнее лето на меня почему-то особенно сильно действует, и, если бы я был вы, я все бы писал стихи. Очень все красиво нынешний год.

На-днях был с женой в Москве у доктора, и, слава богу, здоровье ее лучше.

Когда-то с вами увидимся? [1]. Жена просит передать поклон ее Марье Петровне.

Ваш Л. Толстой

Ответ на письмо Фета от 3 июня 1876 г., также посвященное хозяйственным вопросам.

[1] Толстой был в Степановке между 13 и 20 августа 1876 г.

11

11 марта [1877 г.],
Московско-Курской ж. д.
Полустанция Ерошкино

Сию минуту еду на съезд [1] и спешу этими строками.

Ах! какая прелесть! Вот она «трезвая правда Решетникова» [2],— но только вся на вате идеалов.— «Как жаль, что у Толстого нет идеалов!».— На это я даже не нашелся что сказать.— «Ему буйволица — дороже передовой женщины».

Надо бы отвечать: «Потому что буйволица в своем роде совершенство, а ваша передовая женщина — чорт знает что».

Но ах! ах! какая прелесть: «так мне надо жить», т. е. вешаться первому встречному на шею. А у самой пыль набилась в морщины.— Но на другой день говорят: «Вот, живи так. Не правда ли, хорошо? Ведь ты вчера хвалила!».— «Нет,— говорит,— скверно».

И лошади сборные, и кофточка чиненая, и стыдно, и не стыдно, и хорошо, и дурно [3].— Это до того тонко и верно, что сам Беневенуто Челлини бы позавидовал.

А мудрецы Русск[ого] Вест[ника] почему-то не напечатали моего «Искушения на горе» [4], а в январ[ской] книжке вместо того поместили «Горальда» А. Толстого [5].

Им и книги в руки. Я сам понимаю, что теперь лирич[еская] поэзия

все равно, что заклинания мемфисских жрецов на древнеегипетском языке. Requiescat inpace [6].

Тронули маленько «Новь». Это евангелие червон[ных] валетов [7].

Все жеребятся кобылки в этом году.

Право, вы отнесете мои письма к запискам сумасшедшего, когда числа не было между днем и ночью.

Вот уже целый м[еся]ц обойщик сидит и колотит по мебели, по матрацам. Просто не дождусь отпущения грехов и денег.

Графине Софье Андреевне наш общий привет и поклон.

Бегу одеваться

Ваш А. Шеншин

[1] С 1867 г. Фет состоял мировым судьей Мценского уезда и каждое двенадцатое число ездил на съезд.

[2] См. прим. 4-е к письму № 9.

[3] См. описание чувств, испытанных Долли по дороге к Анне Карениной и во время пребывания у нее («Анна Каренина», ч. 6-я, гл. XVI—XXIV).

[4] «Искушение на горе» — стихотворение без заглавия, начинающееся словами: «Когда божественный бежал людских речей...».

[5] Баллада А. К. Толстого «Горальд Свенгольм» напечатана в январской книжке «Русского Вестника» за 1877 г. Отвечая на это письмо 23 марта, Толстой писал: «Вы пишете, что в «Русском Вестнике» напечатали Толстого, а ваше «Искушение» лежит у них. Такой тупой и мертвой редакции нет другой. Они мне ужасно опротивели не за меня, а за других».

[6] Да почиет в мире.

[7] 12 марта, почти одновременно с настоящим письмом Фета, Толстой, между прочим, писал ему: «Сережа подвернулся, и я ему стал диктовать вам. Правда, что голова болит и мешает работать, что особенно досадно, потому что работа не только приходит, но пришла к концу. Остается только эпилог. И он очень занимает меня. «Новь» я прочел первую часть и вторую перелистовал. Не мог прочесть от скуки. В конце он заставляет говорить Паклина, что несчастие России в особенности в том, что все здоровые люди дурны, а хорошие люди нездоровы. В этом и мое собственное суждение о романе. Автор нездоров, и его сочувствие с нездоровыми людьми, и к здоровым он не сочувствует и потому, называя то, что он есть сам, и потому что он любит хороших, говорит: «Какое несчастие, что все здоровые дурны, а хорошие нездоровы».

Одно, в чем он мастер такой, что руки отнимаются после него касаться этого предмета — это природа. Две, три черты, и пахнет. Этих описаний наберется 1—1½ страницы и только это и есть. Описания же людей, это все описания с описаний». (Письмо не опубликовано, хранится в Институте литературы.)

12

16 марта [1877 г.]
Московско-Курской ж. д.
Полустанция Еропкино

Вчера, за завтраком, нашел я у своего прибора два письма, взглянув на адресы которых, сказал: «не стану распечатывать, пока не допью чаю». Письма были от брата Петруши и от вас. Ваше оставил на закуску от треволнений. Теперь начну с него. Сережа, благодаря вашей головной боли, доказал, что пишет по-русски без ошибок. Передайте ему мой усердный поклон и пожелания дальнейших успехов. Кстати, о русском языке. Не забудьте, что русского книжно-общественного языка еще нет, а его делаем с вами мы, т. е. люди, одаренные чутьем, составят его хотя бы и по иностранным образцам, но непременно в духе того настоящего, каким говорит народ, и каким нам уже не говорить по 1001 причине.

Conjugal, matrimonial и marital означают все три — брачный, супружеский, но каждый, согласно латинскому корню, относится к известной стороне супружеских отношений. Между прочим, maritalement могут поселяться только не супруги, а люди, не состоящие в супружестве, но желающие устроиться на отношениях супругов.— По крайней мере, я до сих пор в первый раз встречаю слово «супружески» на 898 стр. Русск[ого] Вест[ника] у вас в «Карениной» [1], и оно теперь получило права гражданства, и поделом, ибо стало тут отлично.

Глупо распространяюсь, чтоб доказывать, как верно каждое ваше слово в печати, и указать (sic!) рядом, что графиня пропустила на 890 стр. такие фразы: «Потом, убедившись, что понять этого он не может,— ему стало скучно», вместо: «он заскучал»; «Потом, вспомнив все то... ему стало грустно» — вместо: «он загрустил». Деепричастие есть одновременное действие одного и того же лица, а если нужно выразиться безлично: ему стало грустно, необходимо сказать: когда он вспомнил [2]. Но все это мелочь. Зато, что за прелесть выборы, и какая подавляющая сатира!

Как жаль, что мое большое письмо к вам пропало. Я писал его с наслаждением и усердием по поводу «Заметок писателя» за 1876 г. Достоевского, купленных мной на жел[езной] дороге. Сколько тонкого ума и наблюдательности, и все пропало только потому, что автор не получил, очевидно, классического и философского образования. Что бы сказали о математике, не видывавшем в глаза вопросов и ответов Евклида, Пифагора, Ньютона и т. д.? Не в таком же ли невозможном виде является человек, рассуждающий о сути вещей, т. е. философствующий и не знающий о вопросах и ответах Платона, Канта, Шопенгауэра и т. д.? Достоевский все продолжает веровать в свободу воли, не подозревая, что человеческий ум не открыл ничего первобытней и смелей воли, которая так же стихийна и несвободна, как притягательная и всякая другая сила природы, которые в сущности только ее видоизменения. Очевидно тот, кто возится с свободной волей, возится и с преступлениями, адвокатами и наказаниями, принимая эти вещи не за условные, а за самую сущность. И выходит бог знает что. Заметьте, что весь род человеческий этого еще не понял и никогда, по глупости повальной, не поймет, что я убиваю бешеную собаку за то, что от нее беда, а не потому, что я выгоняю ей бешенство. Если бы кто ухитрился беспричинно украсть, я бы его признал богом. Но довольно. Брат П[етр] Аф[анасьевич] поймал великого князя главнокомандующего в Белой Церкви и, так как брату в силу 42-х лет нельзя поступить в войско волонтером, т. е. вольноопределяющимся, то его принял великий князь в казаки, и вот брат отправился в Кишинев, куда высылаю ему денег. Чем бы дитя ни играло, лишь бы не плакало. Графине наш общий и усердный поклон.

Ваш А. Шеншин

Кончайте вашу прелестную Каренину. Жду 12 мая и свиданья в Ясной.

Ответ на письмо Толстого от 12 марта (см. прим. 7-е к письму № 11).

[1] См. «Анна Каренина», ч. 6-я, гл. XXX—XXXII.

[2] Там же. Отвечая 23 марта на письмо Фета, Толстой писал, что ему «ужасно радостно одобрение его писания» Фетом. Однако, все погрешности в оборотах речи, на которые указывал Фет, сохранены в последующих изданиях «Анны Карениной».

13

12 апреля [1877 г.]
Московск[о]-Кур[ской] ж. д.
Полустанция Еропкино

Как досадно, дорогой граф,

что самые дорогие для меня мои письма к вам — не доходят. Когда хочется быть понятым—а тут осечка. Не хочу, вне всякой нелепой скромности, равняться с вами. Но, мне кажется, самое дорогое для нас — наша искренность и серьезность. Наше убеждение — действительно убеждение, наша вера — действительная вера, которая все проникает, а не сидит в доме на чердаке, как заблудшая чужая кошка.

Прочел март[овскую] Каренину [1].— Не говорю о мастерстве подробностей — руки болтаются [2], ламповое стекло чистит [3], портрет и веются

красоты[4], прекрасно влюбился в Каренину и — нехорошо, и жена резко ударяет на все это[5].

Но какая художницкая дерзость — описание родов[6]. Ведь этого никто от сотворения мира не делал и не сделает. Дураки закричат об реализме Флобера, а тут все идеально. Я так и подпрыгнул, когда дочитал до двух дыр в мир духовный, в Нирвану. Эти два видимых и вечно таинственных окна: рождение и смерть. Но куда им до этого! Они даже в течение тысячелетий не сумели разобрать, что такое реально в искусстве и что идеально. Но что идеальней мадонны дрезденской или милосской? Но представьте, чтобы явилась где-либо точь-в-точь та или другая девушка. Какому художнику была бы она нужна? Да и возможно ли живому быть такому? Художники увековечили момент красоты, окаменили миг.— А разве можно задержать вне времени живущее во времени? Очень возможно и натурально, что Див, побежденный Пери, принес упрямую китайскую царевну на постель упрямого царского сына, который надел свое кольцо ей на палец. Но невозможно, чтобы Каренина вышла замуж за Вронского и благодушествовала, а Кити привела бы сама любовницу своему мужу.

Что вы в «Войне и мире» некстати говорили о свободе воли — я согласен. Но что все эти дураки ничего не поняли из ваших глубоких и тяжеловесных слов, то это только доказывает их повальную и безнадежную тупость. Там, где в основу миросозерцания не положена гранитная скала необходимости, там один бедлам. Там адвокаты, прокуроры, международное право, с одной стороны, и право человека, с другой. Если есть у того красного куска тела, на который гадливо посматривает Левин[7], права, то и у вашего сына право на его, т. е. вашу, десятину или корову, а если у вашего сына нет этих прав, то и у другого коллективно[го] куска тела их нет. Какие могут быть права у того, кто, если ему насильно не всунут сосца в рот, в первый же день уйдет, откуда пришел — безапелляционно. Тут царство благодати, а не царство права. Под какие международные права подведет Комаровский[8] теперешний турецко-европейский менуэт?[9]. Вот кабы русачки взяли Вену, Дарданеллы да Царьград, вот бы и были права, и историки бы доказали, как 2×2, что иначе не могло быть, а если мы чего недосчитаемся, то Аксаков[10] нам не поможет.

Сегодня доламывают, т. е. домазывают овес. Погода ужасная, но, кажется, идет к лучшему. Вчера Оля слышала вечером робкое рокотание соловья. А я, бедный, выжидаю 13-го, т. е. завтрашнего дня, а 14-го поеду с женой в Москву к доктору Новацкому. Когда получите эти строки, мы вдвоем будем, вероятно, в Лоскутной гостинице. Если будете писать, пишите в контору Петра Боткина сыновей. Шеншину.

Дело для меня самое гадкое. На-днях убедился, что кольцо in recto, главный двигатель этого органа,— снова у меня надтреснуто. Я прибегнул к 6-тидневному питанию бульоном и чаем без хлеба и лежанию в постели, но эта мера ни к чему не привела. Запускать этого нельзя под страхом ужасных мучений, а надо отдаться в руки хирургии. Что и делаю.

До какой детской степени мило ваше помилуй, прости, помоги[11]. Сейчас возникает образ мстящего и мстительного существа. Да и как иначе смотреть из мира явлений, где вас с колыбели травят до могилы.

Будьте здоровы, дорогой граф, и старайтесь наслаждаться сознанием отсутствия боли. Всякое благо— только отсутствие зла.

На одной из древнейших гробниц египетских меня поразила надпись: «Я никого не обидел, я сострадал несчастным, я... и т. д. я чист, я чист, я чист».— Точно голос с того света.— Не правда ли?

Что-то станется с моей мечтой побывать у вас в Ясной — 12 мая? [12]. Наш общий и глубокий поклон графине. Крепко и дружески жму заочно вашу руку.

А. Шеншин

[1] Первые пятнадцать глав седьмой части «Анны Карениной», которые были напечатаны в мартовской книжке «Русского Вестника» за 1877 г.

[2] Штрих из описания опьяневшего Левина, который чувствовал, что у него при ходьбе особенно правильно и легко мотаются руки («Анна Каренина», ч. 7-я, гл. VIII).

[3] Ламповое стекло чистил лакей доктора, за которым приехал Левин по случаю начавшихся у Кити родов. «Внимательность к стеклам и равнодушие к совершавшемуся у Левина сначала изумили его...» (там же, гл. XIV).

[4] Портрет Анны, сделанный в Италии Михайловым (там же, гл. IX).

[5] См. гл. IX, X, XI.

[6] См. гл. XIV и XV.

[7] См. гл. XVI, описание чувств Левина при взгляде на новорожденного сына.

[8] Комаровский Л. А. (1846—1912), преподаватель, впоследствии профессор международного права в Московском университете.

[9] 12 апреля 1876 г. Россия объявила войну Турции.

[10] Аксаков И. С. (1823—1886) возглавлял московский Славянский комитет, организовавший добровольческое движение во время русско-турецкой войны.

[11] «Господи, прости и помоги» — слова, которые не переставая твердил себе Левин, объятый сознанием своей беспомощности перед страданиями рожающей Кити.

[12] Фет заезжал к Толстому по дороге из Москвы около 18—20 мая.

14

Моск[овско]-Курск[ой] ж. д.
Полустанция Ерошкино
27 июня [1877 г.]

Только вчера, отправляясь на сон грядущий, вообразил я, как вы оба в 9 часов утра подъедете к крыльцу, и мне ясно представлялся на целый день мир, как целое [1]. И вдруг ночная телеграмма разорвала этот прекрасный мир в клочки. Неудивительно, что при этом и моя Психея пострадала.

С отчаяния она родила урода, которого отдаю на ваше соболезнование. Авось, сострадание психиатров поторопит ваше человеколюбие.

Хоть потолстеть мой дух алкает,
Хоть страх берет свихнуть потом,
Но эта робость исчезает
Перед талантом и умом.

Устали крылья от размахов,
Чтоб дух раздуть умом чужим,
Но все я вас не вижу, Страхов,
Хоть и желаю быть толст им.

Только пятницу 1-го июля с утра до ночи меня не будет дома. Телеграфируйте о дне и часе выезда.

Что за охота платить 1½ рубля за колесование в тарантасе, когда лошади наши ничего не делают?

Всем вашим наш общий и усердный поклон.

Преданный вам А. Шеншин

18 июня 1877 г. Толстой известил Фета о своем и Страхова намерении приехать в Степановку, а 26-го он телеграфировал об отсрочке приезда. Толстой и Страхов были в Степановке 29—30 июня.

[1] Игра слов, имеющая в виду заглавие книги Страхова «Мир, как целое» (СПБ., 1872).

15

Московско-Курской ж. д.
Полустанция Ерошкино
23 августа [1877 г.]

Пожалуйста, прочтите прилагаемую статью Бологова [1] и, если найдете возможным ее напечатать, хоть через Страхова — печатайте [2].

Но Бологов писал ее более для вас. Что скажете? Графине наш общий глубокий поклон. Радуюсь за стихотворение [3].

Завожу плуженную пахоту на волах.

Ваш А. Шеншин

[1] Псевдоним, которым Фет подписал свою статью, направленную против «Русского Вестника», поместившего тенденциозное изложение эпилога «Анны Карениной» под заглавием «Что случилось по смерти Анны Карениной».

3 августа Фет писал Толстому: «Третьего дня, тотчас по приезде, прочел я жене эпилог Карениной, и тысячи мыслей зароились и зажужжали в моем старом дупле. Какой яркий, ослепительный ревербер поставлен в конце романа, и все-таки дураки не увидят его, хотя, на мои глаза, он чересчур ярок. А они, дураки, видят полемику против войны и, по своей милой замашке, сочтут, что все введено только для этой полемики.— Но к чорту дураков! — В Русск[ом] Вест[нике] есть объявление: о том, что произошло со смерти Карениной. Любопытно! Но понимают ли эти мудрецы, что Каренина без эпилога не корова без хвоста, а змея без хвоста, т. е. без необходимой части организма, без чего она неполна и непонятна?».

Прочитав статью «Русского Вестника», Фет приблизительно в течение трех недель (3 по 23 августа) написал вышеупомянутую контрстатью, остроумно озаглавив ее: «Что случилось по смерти Анны Карениной в «Русском Вестнике».

Ответ Толстого на письмо Фета опубликован в «Моих воспоминаниях» (ч. II, стр. 332—333) с пропуском после слов: «...знаю, что почти никто не поймет ее» следующей фразы: «Я с нынешней почтой пошлю ее к Страхову, которому мне очень радостно сообщить ее». В тот же день Лев Николаевич писал Страхову по поводу статьи «Бологова»: «...с первых страниц я узнал Фета. Статья, по-моему, очень хороша за исключением преизбытка и неожиданности сравнений. Он желает ее напечатать, и мне бы хотелось, потому что сказано все то, что я бы хотел сказать. Что вы скажете? И куда бы ее приняли в видное место?». (См. выше публикацию писем Толстого к Страхову, стр. 180.)

[2] Статья Фета в печати не появилась. В его архиве сохранилась лишь авторизованная копия начала статьи, которая печатается ниже в качестве приложения к данной публикации.

[3] Стихотворение «Опять» (Сияла ночь. Луной был полон сад...), присланное Фетом в письме от 3 августа. Написано оно под впечатлением встречи с Т. А. Кузминской и общих с ней воспоминаний о проведенном вместе в 1866 г. «эдемском вечере» (см. Кузминская Т. А., Моя жизнь дома и в Ясной Поляне, ч. III, стр. 108, где стихотворение «Опять» ошибочно отнесено к 1866 г.).

Ответ Толстого на письмо Фета от 3 августа не сохранился, но около 9 августа он писал Страхову, что получил от Фета «прелестное любовное стихотворение».

16

[8—9 августа 1878 г., Ясная Поляна]

Мы приехали 6-го [1], и до сих пор не нашел минутки написать вам (притом и разучился писать). Разумеется, будем дома и, разумеется с обычной большой радостью будем ждать вас [2], дорогой Афанасий Афанасьевич. Поездка наша была полна неудач, но мы здоровы все и спокойны духом. Наш привет Марье Петровне.

Ваш Л. Толстой

[1] С 12 июня по 3 августа 1878 г. Толстые жили в своем самарском имении.

[2] См. прим. 1-е к письму № 17.

17

[31 декабря 1878 г., Ясная Поляна]

Приписываю несколько строк, дорогой Афанасий Афанасьевич, чтобы сказать, что обеими руками подписываю то, что вам пишет Ник[олай] Николаевич [1]. Не прочтя вновь всю статью, я не имею вполне права иметь мнение; но по тому, что я слышал тогда и теперь, и в особенности по серьезности, с кот[орой] Н[иколай] Н[иколаевич] отнесся к этому делу, и по тем разговорам, кот[орые] мы с ним имели, я позволяю себе прибавить и свой голос к его голосу. Трудно найти двух людей, кот[орые] бы так любили не только вас, но именно ваш ум, как мы с ним, и потому вы должны нам верить. Скажу только, что, прочтя письмо Страхова, я сказал ему, что он в письме к вам выразил свое осуждение сильнее, чем в разговоре со мной.

Поздравляю вас с новым годом, дай вам бог здоровья и спокойствия душевного.

Наш поклон Марье Петровне. Я скоро буду в Москве и желал бы не попасть в то время, когда вы будете в Петерб[урге].

Если вам не в труд, пожалуйста, пришлите мне ваше последнее стихотворение[2].

Ваш Л. Толстой

[1] Около 20 августа 1878 г. Фет был в Ясной Поляне. В этот приезд он читал Толстому свою статью «О современном умственном состоянии и его отношении к нашему умственному благосостоянию». В первом же, после этого визита, письме (29 августа) Фет, благодаря Толстого «за терпение, с которым он слушал статью и высказал мнение», писал: «Теперь я сделал себе конспект по главам и переделываю так, чтобы вышло органическое целое, в круге главного Brennpunkt'а, наша интеллигенция.

Толстому статья не понравилась, но в письме от 5 сентября (см. «Мои воспоминания», ч. II, стр. 354, где оно опубликовано с пропусками мест, не имеющих отношения к статье) он, очевидно, желая сгладить впечатление от своего неблагоприятного отзыва, просил Фета «не приписывать значения» его «суждениям» и тут же делал указания, как «выправить приемы связей отдельных частей статьи». 15 октября Фет отвечал: «Вы говорите, чтобы я не слушал ваших замечаний, а я их слышу и слушаю еще теперь. Вы были 1000 раз правы. Вся работа была слишком unverdaut. Так работать нельзя. Теперь все переделываю и вяжу и все разделил по главам, которых заглавия показывают костяк всего трактата. Я много думал и, по-моему, открыл суть дела, которую и провожу».

В архиве Фета хранится его рукопись, занимающая двадцать пять листов почтовой бумаги большого формата и носящая заглавие «Наша интеллигенция». Несомненно, это и есть вновь переделанная статья Фета. Она разбита на следующие главы.

1) Условия, при которых возникла и применяется (sic!) наша реформа. 2) Ежедневные примеры очевидного помешательства здоровых людей. 3) Необходимость философии при известном развитии народной жизни. 4) Новые идеи. 5) Осуществление

СТРАНИЦА ПИСЬМА
Л. Н. ТОЛСТОГО К А. А. ФЕТУ
ОТ 31 ДЕКАБРЯ 1878 г.

Внизу приписка Н. Н. Страхова.

Толстовский музей, Москва

Французской революцией идеи свободы, братства, равенства. 6) При каких условиях возникает право. 7) Что такое общество и какова его естественная деятельность. 8) Свобода. 9) Общественный суд. 10) Пролетариат. 11) Ход новых идей. 12) Сен-Симон. 13) Фурье. 14) Прудон. 15) Тэн, Ренан. 16) Сущность коммунизма. 17) Заключение.

В середине декабря Фет дал уже переделанную статью ехавшему в Ясную Поляну Страхову, который, прочтя ее и, вероятно, обсудив вместе с Толстым, отнесся к ней очень неодобрительно. 31 декабря он написал об этом Фету. Ввиду того, что Толстой в вышеприведенном письме подтвердил свое полное согласие с мнением Страхова об этой статье («обеими руками подписываю...»), приводим письмо Страхова полностью.

1878 г. 31 декабря, Ясная Поляна

Вчера кончил вашу статью, глубокоуважаемый Афанасий Афанасьевич, и спешу известить вас о результатах. Я читал ее со вниманием и с немалым удовольствием; читали мы и вместе со Львом Николаевичем. Зная вас, живо припоминая ваш голос и тон, мы, конечно, вполне могли оценить прекрасные мысли и остроумные выражения, которыми наполнена ваша статья. Но, несмотря на все это, я решаюсь назвать ее чрезвычайно неудачной.

Когда вы читали нам ее в ее первом виде, я, признаюсь, не видел хорошенько ни ее достоинств, ни недостатков. При чтении про себя и те и другие выступили ужасно ярко. Когда я подумал, что все это будет предложено на суд равнодушных и невнимательных читателей, мне сделалось жутко за вас. Чем больше я сочувствую вашим мыслям, тем мне несноснее было думать, что они за вашими излияниями могут вовсе не произвести впечатления или вызвать пренебрежение.

Главный ваш недостаток в том, как мне кажется, что ваш тон двоится. С одной стороны — вы впадаете в отвлеченность, в философские выводы и прибегаете к самым трудным научным терминам; с другой — вы ничего не доканчиваете, не соблюдаете никакого порядка (кроме внутренней связи мыслей), шутите и шалите, словом, держите тон фельетонный. Это постоянное перемешивание двух вещей, из которых каждая очень хороша сама по себе, порождает что-то странное, постоянно раздражающее и постоянно неудовлетворяющее. Очевидно, вы теперь находитесь в поисках за манерой изложения и еще не нашли своей настоящей формы. Я готов применить к вам слова, которые вы обращаете на Бланки: «Возможно ли на критические усилия возражать общими восклицаниями, хотя бы самого благодушного свойства?» (лист 12). Это я отношу к вашим шуткам, хотя они и не грешат благодушием. А что касается до ваших доведений ad absurdum, я готов повторить приведенные у вас слова Штейна: «Во всех подобных многообъемлющих и важных явлениях времени оправдывается положение, что все они, несмотря на грубейшие извращения и односторонности, все-таки где-нибудь связаны с какой-нибудь общепризнанной истиной» (лист 15). Этих истин у вас часто не видно, и вся аргументация поэтому, не говоря о ее неполноте, лишена существенного элемента. Я отметил сбоку чертою карандаша некоторые места, особенно страдающие непонятностью и неточностью, но, признаюсь, готов был часто тянуть эту черту по целым страницам. Мне странно было вспомнить весь блеск, всю выразительность и энергию ваших речей и в Ясной Поляне и в Воробьевке и видеть, как все это потухло, исказилось и ослабело у вас на бумаге. Вам изменяет даже ваш удивительный язык, несравненный дар яркого и краткого выражения. Вы, как-будто, кому-то подражаете, говорите не своим языком, постоянно невольно сбиваясь на свой собственный. Вы взялись, как-будто, не за свое дело, которое не выше, а гораздо ниже ваших сил.

Я и не думаю просить у вас каких-нибудь извинений за эти суждения, потому что знаю, вы увидите в них то, что в них есть действительно, то-есть мое искреннее удивление к вам, как к поэту и человеку, и мое искреннее горячее расположение. Как мы восхищались с Львом Николаевичем вашим последним стихотворением («Смерть») и как погоревали об вашей статье. Я вовсе не хочу сказать, что вам следует ограничиться стихами и не писать прозой; нет, для меня очевидно только, что в прозе вы еще не нашли своей формы. Мне представляется, что если бы вы писали афоризмы, мысли, заметки, что-нибудь подобное, то это, может быть, было бы вполне хорошо и вас достойно. А еще проще, если бы за вами ходил какой-нибудь Эккерман и умеючи собирал бы ваши изречения, то из этого вышла бы наверное чудесная вещь.

Я видел, что вы много сократили в вашей прежней статье и многое к ней прибавили, но то и другое увеличило ее содержание, увеличило вместе и ее бессвязность и, как-будто, только наставило больше загадок для читателей. Нет, дорогой Афанасий Афанасьевич, не выступайте перед нашей паскудной публикой в таком неприбранном виде. Мой голос против печатания, и я тороплюсь вам его высказать и от души желаю, чтобы мой совет имел успех.

(Письмо не опубликовано и хранится в архиве Фета.)

[2] См. прим. 1-е к письму № 18.

18

2 января [1879 г.]
Москва, Покровские ворота,
д. Боткиной

Дорогой граф!

Осуждение моей статьи Страховым и вами только обрадовало меня уверенностью в действительной дружбе подобных вам людей. Этого мало: оно показало, что вы не считаете меня человеком, способным принимать вещи наизнанку.

Жаль не за покойницу-статью и не ради меня, а ради той же непроглядной лакейской нелепицы, в которой мы беспомощно осуждены доживать наиболее сознательные годы нашей жизни.— Если эти строки застанут Страхова, скажите ему, что между 6 часами вечера (прибытие курского поезда) и 8½ отправка моск[овско]-петербург[ского].

Ему бы удобнее всего 4 января забросить ко мне в швейцарскую чемодан и пить у меня в комнате чай и, таким образом, дать мне возможность увидать его часа на два, так как теперь ехать мне в Питер незачем.

Напишите поскорей, когда вы в Москву, чтобы нам не разминоваться. В Москве мне тоже делать нечего, и я бы алкал, проездом домой, заехать еще раз в Ясную, оставя жену в Москве. Что-то, за перевозкой, не помню, уцелела ли моя «Welt als Wille» Шопенгауэра — поэтому не снабдите ли меня вашей, если не найду в Москве?

Передайте графине мою неизменную симпатию.— 7 часов утра. Все спят. Тороплюсь кончить, потому что утром надо к нотариусу по делам Борисова.

Всегда ваш А. Шеншин

Прилагаю не посланное к вам письмо, написанное тотчас после свидания в Ясной Поляне [1].

Ответ на письмо Толстого № 17.

[1] «Письмом» Фет называет посланные им стихотворения «Отошедшей» и «Смерть» (см. Полное собрание стихотворений А. А. Фета, М., 1910, т. I, стр. 112 и 171). «Отошедшей» напечатано с некоторыми изменениями, по сравнению с первой редакцией, в которой девятая строка читается: «Тех звезд уж нет, и мне не страшны гробы», и одиннадцатая: «И не суди ни глупости, ни злобы». «Тотчас после свидания в Ясной Поляне» было написано только стихотворение «Смерть». «Отошедшей» Фет уже прислал однажды Толстому при письме от 4 ноября 1878 г.

19

[22 ноября 1879 г. (?)] Ясная [Поляна]

Виноват [1].

Дорогой Афанасий Афанасьевич.

Я очень занят. Из занятия моего ничего не выйдет, кроме моего удовлетворения, но все-таки очень занят [2]. Завтра еду в Москву на два дня. Как бы хорошо, коли бы вы к нам заехали в декабре. Много, много хочется с вами поговорить. У нас все, слава богу, здорово. Жена ходит еще и легко. Мы ждем в конце месяца или начале декабря [3]. Наш поклон Марье Петровне. От всей души обнимаю вас.

Л. Толстой

[1] В одном из писем Толстой писал Фету, что он велит напечатать на своей почтовой бумаге «виноват», и тогда не будет нужды извиняться в каждом письме за свою неаккуратность в переписке.

[2] 7 ноября С. А. Толстая писала Т. А. Кузминской: «Левочка все работает, как он выражается; но увы! он пишет какие-то религиозные рассуждения, читает и думает до головных болей, и все это, чтобы показать, как церковь несообразна с учением евангелия. Едва ли в России найдется десяток человек, которые этим будут интересоваться. Но делать нечего, я одно желаю, чтоб уж он поскорее это

кончил и чтобы прошло это, как болезнь. Им владеть, предписывать ему умственную работу такую или другую, никто в мире не может, даже он сам в этом не властен» (архив Толстовского музея; письмо не опубликовано).

22 ноября Лев Николаевич сообщал Страхову, что он «очень занят, очень взволнован своей работой» «не художественной и не для печати». Приблизительно одновременно с этим письмом в неопубликованной записной книжке Толстого набросан план религиозного сочинения, начинающийся словами: «Церковь, начиная с конца и до III века, — ряд лжи, жестокостей, обманов...».

[3] 20 декабря 1879 г. родился Михаил Львович Толстой.

20

[Ноябрь (?) 1880 г., Ясная Поляна]

Простите, милый Афанасий Афанасьевич, что не писал давно и не отвечал. Я все это время духом смущен [и] растерян. Должно быть, нездорово тело. Я ездил в Москву, советовался с Захарьиным [1] и буду исполнять его советы.

Сделайте, чтобы увидать вас, когда вы поедете в Петербург [2]. Вам, вы говорите, будто хорошо со мной, а мне и очень от вас хорошо бывает.

Если можно, пришлите мне ваше издание Соломона с еврейским [3]. Будет цело. Кланяемся с женою Марье Петровне. А я вас обнимаю и, как всегда, люблю.

Ваш Л. Толстой

[1] Захарьин Григорий Антонович (1829—1895), знаменитый клиницист, профессор Московского университета, лечивший Толстого. Приводим неизданное письмо Толстого к Г. А. Захарьину от апреля 1877 г.

«Дорогой Григорий Антонович,

Пишу вам в первую свободную минуту, только с тем, чтобы сказать вам, что я очень часто думаю о вас и что последнее мое свидание с вами оставило во мне очень сильное и хорошее впечатление и усилило мою дружбу к вам.

Прошу вас верить этому и любить меня так же, как я вас. Ваш Л. Толстой

Вашу книгу Хомякова читали оба с женой. Я ждал больше. Я привезу вам ее сам на днях».

Г. А. Захарьин отвечал Толстому:

«Дорогой Лев Николаевич,

Лучшего юбилея для нашего десятилетнего знакомства, как та хорошая минута, которой вы подарили меня своим письмом, я не мог пожелать.

Десять лет назад я оценил в вас не только первого из современных русских писателей, но и — еще не зная вас лично — человека, симпатии которого, хорошо видел, несмотря на всю великую объективность вашего творческого дарования,— были там же, где и мои; сам пожелал узнать вас и стать настороже вашего здоровья. С удовольствием вспоминаю об этом, потому что доволен своим тогдашним душевным движением. Если вы уже тогда были мне так дороги, можете судить, как вы мне дороги теперь. Мои чувства к вам братские. Г. Захарьин.

Москва, 25-го апреля 1877 г.»

Оба документа сохранились среди бумаг Г. А. Захарьина и хранятся в Государственном Историческом музее (Москва). Сообщены научным сотрудником музея А. П. Иващенко. Книга, о которой упоминает Толстой,— вероятно, «Стихотворения» А. С. Хомякова.

[2] Толстой из письма Страхова знал, что Фет в декабре 1880 г. должен быть в Петербурге по делам издания своего перевода книги Шопенгауэра «Мир, как воля и представление».

[3] Больше чем за год до этого письма, в августе 1879 г., Толстой об этой книге писал Фету: «Теперь имею предложить книгу, которую еще никто не читал, и я на-днях прочел в первый раз и продолжаю читать и ахать от радости; надеюсь, что и эта придется вам по сердцу — тем более, что имеет много общего с Шопенгауэром. Это «Соломона притчи», «Эклезиаст» и «Книга премудрости». Новее этого трудно что-нибудь прочесть; но если будете читать, то читайте по-славянски. У меня есть новый русский перевод. Перевод этот (совестно называть его переводом) интересен тем, что показывает очевидно беспутность, невежество и наглость наших попов. Английский перевод также дурен. Если бы у вас был греческий, вы бы увидали, что это такое».

Письмо Толстого опубликовано Фетом («Мои воспоминания», ч. II, стр. 368) с пропусками в начале и с заменой в вышеприведенной цитате фразы: «Перевод этот... наглость наших попов» словами: «но очень дурной».

ПРИЛОЖЕНИЕ

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ ПО СМ[ЕРТИ] АННЫ КАР[ЕНИНОЙ] В РУССК[ОМ] В[ЕСТНИКЕ]*

Аз воздам

Denn weil, was ein P[rofessor spricht]

. . . .

Und dass der Reif nicht springet [1]

Точно так[им] же обр[азом] чел[овеческий] ум [2]... Формов.

«Роман остался без конца... Идея целого не выработ[алась]; лучше было заранее сойти на берег, чем выплывать на отмель» [3].

Все это смотри Р[усский] В[естник] за июль месяц 1877 г.

Эти, повидимому, невинные сопоставления в одной и той же книжке вынуждают сказать несколько слов, исполненных самого горького и обидного разочарования. Смысл цитаты из Шиллера и дальше объяснения госп[одина] Стадлина не только ясен, но и неоспорим. Природа вообще, а человеческая в частности, действует по известным законам, большей частью непостижимым умом, и что всего страннее, что действия, которые, очевидно, должны бы опираться на умств[енные] соображения, оказываются на деле тем совершеннее, чем далее отстоят от рефлектирующего ума. История человека — непрерывная цепь самых жалких заблуждений, история зверей — чистейшее зеркало безупречной логики инстинкта. M-r Jourdain [4] говорит прозой, не подозревая этого. Г-н Востоков [5] мож[ет] делать ошибки в русск[ом] языке; их делают первоклассные пуристы, крестьянин — никогда. Следует ли из этого, чтобы профессор не искал истины и не возвещал ее с кафедры? Следует ли из этого, чтобы всякого мыслящего человека, который, в силу той же самой природы, не может не задаваться вечно мучительным вопросом о цели бытия, мы имеем право признавать человеком бессмысленным?

Уж если употреблять слово бессмысленный, то [к] кому оно более пристало — к Диогену или к ощипанному им петуху? Если мы не имеем права не видать бьющего в глаза непогрешимого мира инстинктов, то какое же право имеем мы притворяться не видящими целой области разума со всеми неизбежными его запросами? Человек с больными глазами превосходно освоился ощупью с своей темной комнатой. Что же ему делать, если у него, как у светящегося жука, на носу загорелся фонарь, который он может потушить только вместе с жизнью? Положим, что этот свет нестерпимо режет ему глаза, сбивает его с толку, заставляя беспрестанно спотыкаться, но выбора нет; приходится прибегнуть или к самоубийству или к новому знакомству с окружающим, при условиях небывалого освещения. Тысячи миллионов инстинктивно непогрешимых слепцов говорят совершенно основательно: «Мы сотни тысяч лет прожили без философии, т. е. без науки и искусств, и никогда не ошибались в том, что надо делать, пока не слушались какого-либо мудреца и за всякое послушание платили и платим неисчислимыми бедствиями, ибо знаем, что на всякого мудреца бывает простота. Поэтому из всех разглагольствий мудрецов мы вполне согласны только с советом Платона: венчать растлевающих поэтов и мудрецов и вы-

---

* Рукопись статьи А. А. Фета, написанной в связи с отказом «Русского Вестника» печатать эпилог «Анны Карениной», представляет собою копию, переписанную неизвестной рукой, с поправками и вставками, сделанными, повидимому, самим Фетом. Конец ее не сохранился.

гнать вон из государства. В таком инстинктивном чувстве самосохранения есть логика, но если человек сознательно стоит в лагере высших человеческих отправлений, в лагере философии, науки и искусств, и вдруг, к всеобщему изумлению, обзовет все это глупостью — то, спрашивается, во имя чего же он это говорит? Может ли литература, исключительно стоящая на почве высочайших нравственных отправлений, отрицать эти отправления?

Если же она дошла до такого отрицания, то она не может употреблять орудие той же области, чтобы разрушать эту область, как бессмысленную.

Бессмыслицей нельзя уничтожать бессмыслицу.

Из такого трагического положения только один выход — самоубийство. Надо, не произнося ни слова, последовать совету Скалозуба — «Чтоб зло пресечь, собрать все книги да и сжечь». Здесь не место указывать на то, что искусство действует образами, а не сентенциями. Il ne faut pas être plus royliste, que le roi. Смешно человеку, знакомому с длинным рядом творений Толстого, отстаивать бестенденциозность этого конкретного писателя. Чем выше произведение искусства, тем менее в нем проволочного каркаса вместо живых костей. Это, однако, не мешает критике изучать логическое построение живорожденного костяка и видеть в нем и то, и другое, и третье до бесконечности. Какой раз навсегда неизменный практический смысл в «Илиаде», «Гамлете», «Дон-Кихоте», «Моцарте и Сальери»? Но если мы живыми глазами станем всматриваться в эти живорожденные произведения, то откроем в них тот смысл, который открывает великий портретист в каждом самом будничном человеке, не продернутом никаким фитилем поучительной тенденции. Необходимо прибавить, что посадите сто Гольбейнов, Рембрандтов, Мурильо и Ван-Дейков за портреты этого же человека, и, при поразительном сходстве, выйдет сто несомненных характеристик. «И даль свободного романа я сквозь магический кристалл еще неясно различал» [6]. Если истинные художники сами не знают, как уверяет Пушкин, какую штуку выкинет тот или другой их герой, то в ту минуту, когда форма остыла и отлившийся металл выглянул окончательно на свет божий, — ничто не мешает критике обсуждать соразмерность отдельных частей произведения, отыскивая тот или другой смысл в целом. Если творчество свободно, то кто же имеет право стеснять его воспроизведением только бессознательной, нерефлективной деятельности, налагать беспощадное veto на воспроизведение мыслителя? В последнем случае Фауст, Вагнер и ученый Мефистофель должны бы были получить литературное право гражданства, лишь будучи заменены чиновниками особых поручений и журналистами. Не смея подсовывать того или другого побуждения или плана автору «Карениной», посмотрим только, возможно ли с нашей точки зрения отыскать в ней строгий художественный план или же придется отказаться от подобной попытки. На наши глаза, ни одно из произведений графа Толстого не выставляет так близко к видимой поверхности всего своего внутреннего построения.

Если граф Толстой в «Анне Карениной» остался верным тем художественным приемам, какими он под разными широтами и в разные эпохи изображал метель метелью, а людей людьми, а не тенденциозными куклами, то весьма возможно, что при общем движении современной мысли и он был увлечен задачей: что делать? куда итти? Не Андрону, который это отлично сам знает, а человеку, стоящему на высоте современного образования. На подобный вопрос можно отвечать двояким образом: более легким — отрицательным и самым трудным — положительным. Человек менее добросовестный удовлетворился бы

А. А. ФЕТ И С. А. ТОЛСТАЯ В ЯСНОЙ ПОЛЯНЕ

Фотография

Толстовский музей, Москва

первым способом ответа, но не такова художественная совесть Толстого и не таковы его требования от самого себя. Это не такой повар, который, не прожарив жаркого с одного боку, говорит: «Ничего, и так съедят». Если мы говорим о легкости ответа отрицательного, то эта легкость проявляется в форме тех сентенций, на которые так щедра наша литература. Отрицательный ответ этот перестает быть легким на художественной арене. Толстому предстояло разрешить вопрос о состоятельности известных теорий женской эмансипации. Во главе романа поставлено — «Аз воздам». Человеку, приходящему, положим, с отрицанием женской эмансипации, литературное разрешение поставленной задачи и удобно и просто — стоит только рассказать, как такая-то героиня сбросила с себя все исторические и нравственные семейные узы, и затем показать под конец, как за это ее боженька камнем убьет. Заметим мимоходом, что нам не раз прих[одилось] слышать упреки Толстому за то, что его Каренина вращается среди роскоши большого света. Упреки эти как бы относились не к трагическому положению, созданному эмансипацией Карениной, а вообще к нравственной несостоятельности окружавшей ее среды.

Наперед отказываясь в нашей интеллектуальной пустыне защищать какую-либо среду, заметим только, что мы не вправе подкладывать под фигуры живописца свой фон, хотя бы он, как у Перуджино (древних иконописцев), был золотой. При задаче Толстого Каренина должна была быть поставленной именно так, а не иначе. Будь Анна неразвитой бедной швеей или прачкой, то никакое художественное развитие ее драмы не спасло бы задачу от обычных окольных возражений: нравственная неразвитость не представляла опоры в борьбе, бедность заела и т. д. Изобразив Каренину такую, какая она есть, автор поставил ее вне всех этих замечаний. Анна красива, умна, образована, влиятельна и богата. Уж если кому удобно безнаказанно перебросить чепец через мельницу[7], так, без сомнения, ей. Но, выставляя все благоприятные условия, граф Толстой не обошел ни непреднамеренно, ни по близорукости ни одного, в этом случае, враждебного замужней женщине условия. Прочтите сотни эмансипационных романов: женщины, как наподбор, переходят все формы страсти без малейшего младенца, тогда как в любой семье детей считаешь десятками. У Карениной один сын, и этого достаточно, чтобы привести ее эмансипацию к абсурду. Анна настолько умна, честна и цельна, чтобы понять всю фальшь, собранную над ее головой ее поступком, и бесповоротно всеми фибрами души осудить всю свою невозможную жизнь. Читатель, еще далеко до рокового колеса локомобиля, чувствует, что Анна произнесла в душе свой смертный приговор. Ни вернуться к прежней жизни, ни продолжать так жить — нельзя. Граф Толстой указывает на «Аз воздам» не как на розгу брюзгливого наставника, а как на карательную силу вещей, вследствие которой человек, непосредственно производящий взрыв дома, прежде всех пострадает сам.

Мы совершенно согласны с авт[ором] ст[атьи] Р[усского] В[естника] Катковым, что со смертью Карениной кончилась ее жизнь, но чтобы с нею кончился и роман,— с этим мы согласиться не можем.

Ответив на вопрос о женской эмансипации отрицательно, т. е. чего не должно делать, граф Толстой целым романом отвечает в том же смысле и на другие вопросы. Исчислять все то, что делают люди в романе, значило бы приводить целиком роман.

Тут люди служат, выслуживаются, прислуживают, интригуют, выпрашивают, пишут проекты, спорят в заседаниях, чванятся, пускают пыль в глаза, благотворят, проповедуют, словом, делают то, что делали люди всегда или что делают под влиянием новейшей моды. И над всеми этими

действиями, как едва заметный утренний туман, сквозит легкая ирония автора, для большинства вовсе незаметная. Один из всех действующих лиц пользуется серьезным сочувствием автора — это Левин. Что же такое Левин, очевидно представляющий художественное воспроизведение положительного ответа? Левин, как представитель человека интеллигентного, должен быть существом цельным, неразорванным и ненадломленным, какими до сих пор являлись наши литературные герои, начиная с москвича в гарольдовом плаще[8] и проходя через Печорина, Рудина и Обломова. По самому свойству задачи он не может быть отрицателем и революционером, как Базаров. Он должен быть человеком, по возможности, свободным от всех условных — служебных, профессиональных, цеховых и т. д. уз.

Почву, на которой бы при известной нравственной высоте соединялись, сосредоточились все эти условия, до сих пор может представлять только среда, в которую поставлен (автором) Левин. Владея не блестящим, но независимым состоянием, он ищет, вследствие разрушения прежних экономических отношений, новых здравых основ тому делу, служить которому призван длинным рядом предков. Служит он ему не столько вследствие прибыльности самого дела, сколько по преемственной любви к нему. Лишившись известных выгод, он, по родовой привычке, не в силах нравственно сбросить связанных с ним обязанностей. Как человек вполне свободный не по одному материальному положению, но и свободно мыслящий, в лучшем значении слова, он не ограничивается критической проверкой своих отношений ко всему окружающему; он проверяет и собственные душевные симпатии и побуждения. Мыслитель не по прозванию или профессии, а по природе, он мучительно задается вопросом, стоящим в бесконечной дали перед всяким умственным трудом, вопросом о конечной цели бытия вообще и своего в частности. Чем же он виноват, что этот первейший в жизни вопрос ему не кажется не стоющим внимания? Чем он виноват, что ни в нравственном, ни в религиозном отношении не может ограничиваться рутиною инстинкта и предания, а мучительно вынужден приискивать им разумное оправдание? Но ведь осуждать его за подобные поиски, значит осуждать всю науку, у которой нет и не может быть иной конечной цели, как отвечать на означенный вопрос. Относясь с пренебрежением к Левину, вы вынуждены глумиться над наукой вообще; если ваши греки и римляне со всем их нравственным капиталом предназначаются не для того, чтобы, утвердя разум на исключительно счастливых стезях, пройденных этими народами, приуготовить его к здравому и беспристрастному обсуждению данных новейшей естественной науки для окончательной критики всего пройденного пути и, следовательно, разрешения главнейшей нравственной задачи, то ваши лицеи вполне заслуживают упрека в самой непростительной и даже бессмысленной трате времени[9].

Отрицая мучительную задачу Левина, вы сводите все усилия классического воспитания на

Panis, picis, crinis, finis,
Ignis, lapis, pulvis, civis и т. д.

Шопенгауэр беззастенчиво обзывает чернью, der pöbel, всех незнакомых с древними. Как же назвать человека, который не только сам, за недосугом или по иным каким причинам, не задавался высшими задачами ума, но не может воздержаться от глумления при виде человека, ими заинтересованного?

Возвратимся к Левину. Держась постоянно на той умственной и нравственной высоте, на которой он возрос, он при каждом невольном падении силится возвратиться к стезе, на которой нравственное его

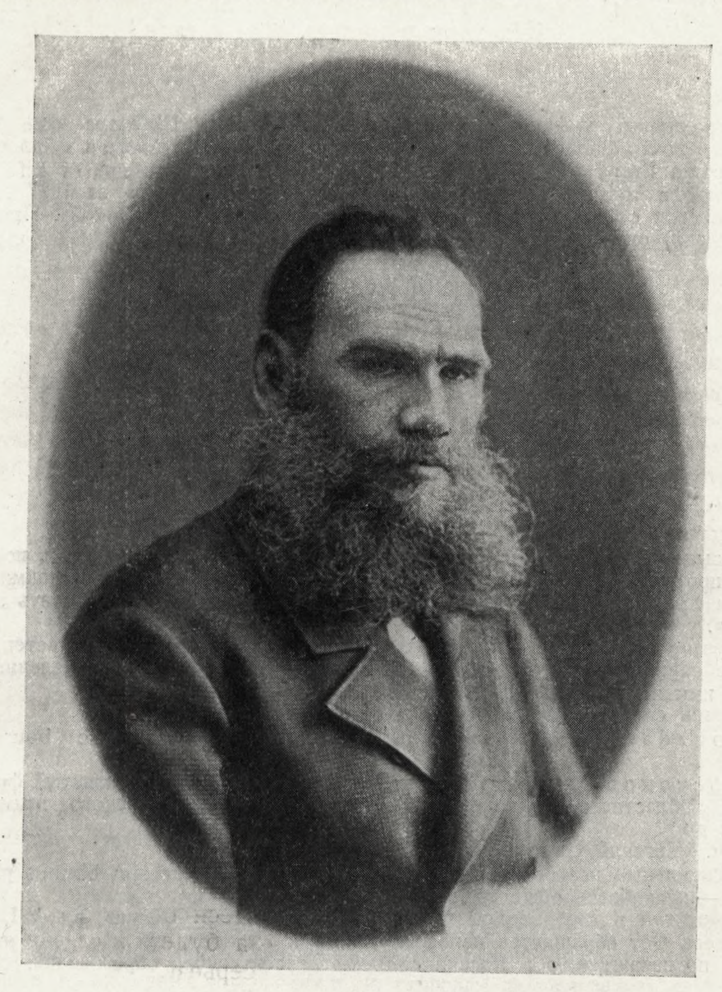
чувство получило оправдание (санкцию) критики. Он старается быть хорошим человеком, но вовсе не в силу того, что другие хорошие бывают такими. Чувствуя свою свободную индивидуальность, он постоянно желает добра, лично ему симпатичного и лично им оправданного. При этом он до того боится рутины, что услыхав о новом, неведомом ему доселе, виде добра — он готов прямо отрицать его, только за то, что оно чужое, и только впоследствии, взвесив его и непосредств[енным] чувством и разумом, он определяет его удельный вес.

Будучи, очевидно, носителем положительного идеала, Левин представляет вполне народный тип, в лучшем и высшем значении слова. Верный преемственным узам, связующим его с простонародьем, он в то же время не перестает искать ответов на свой жизненный вопрос о высших представителях разума всех веков и народов. Вопрошая родной народ, с которым знакомится не в кабинете или за «collation», а на сенокосе, за тюрей или на постоялом дворе, он в то же время не перестает изучать философов не сквозь цветные очки профессорских лекций, а собственным трудом, по источникам. При своей, так сказать, практической работе над вопросом, он, очевидно, не может избежать вопроса религиозного, воочию охватывающего вокруг него всю народную почву. И этот вопрос, подобно всем другим, воспринимается только теми двумя отправлениями, на которые указывает г. Стадлин, т. е. непосредственным и рефлективным. Человека, доросшего, подобно Левину, до нравственной потребности критиковать всякое явление, можно заставить молчать, лишить жизни (этот простой способ исторически завещан всякого рода инквизиторами против всякого рода свободомыслия), но невозможно человека, привыкшего мыслить, заставить жить бессознательно, как невозможно заставить считать по пальцам человека, усвоившего таблицу умножения.

С высказанными нами мыслями, конечно, согласится г. Стадлин после прекрасной статьи своей в июльской книжке Р[усского] В[естника], а следовательно, и редакция журнала. Между тем, рядом, в статье «Что случилось по смерти Карениной», доказывается, что хороши все семь частей Карениной, напечатанные в этом журнале, а что восьмая, не напечатанная в нем, не только бесполезна для целого, но даже вредна в художественном смысле. Доказывается же это на следующих соображениях: 1) Драма Карениной нравственно и фактически кончена под колесом лок[омотива] — это бесспорно. 2) На неизвестности для читателя, в чем состоит внезапное озарение, случившееся с Левиным. 3) На необеспечении читателя в том, что вера Левина будет серьезнее его прежнего безверия (какое милое отношение к серьезности автора превозносимого романа!) — наконец, в 4) На случайности просветления добрейшего, просто дурящего (зри стр. 461) Кости, просветления «не обусловленного ходом целого» и в 5) — «не имеющего ни внутренней, ни внешней связи с судьбою главной героини». По всем этим обвинительным пунктам по конечному заключению статьи: «лучше было зар[анее] сойти на берег, чем выплывать на отмель».

Мы привели эти обвинительные пункты в порядке их изложения в самой статье. Отвечать же на них будем в порядке течения собственных мыслей. Выше мы указали на художественный скелет романа и теперь в том же смысле позволим себе небольшой пример: Гоголь, как известно, в плане к «Мертвым душам», не ограничиваясь отрицательной стороной, обещал воплотить и положительную. На последнее, как известно, у него нехватило силы, что (очевидно) и привело его самого к трагическому концу. Тем не менее, мы не слыхали ни одного критического голоса, который бы осудил «Мертвые души» на том основании, что Чичиков или Собакевич и Ноздрев не имеют ничего общего с Костанжогло

и Улинькой, очевидно положительными типами среди отрицательных.— Внутренняя, художественная связь Левина с Карениной бросается в глаза в ходе всего романа — художественная параллель их как в городе, так и в деревне выведена с изумительным мастерством. Что касается до внешней связи, то это обвинение может относиться только к заглавию



Л. Н. ТОЛСТОЙ
Фотография 1881 г.
Толстовский музей, Москва

романа, которое, во избежание упрека, мы предлагаем автору изменить следующим образом: «Каренина, или похождения заблудшей овечки, и упрямый помещик Левин, или нравственное торжество искателя истины».

Убедясь в неразрывной художественной связи Карениной с Левиным, спросим каждого беспристрастного человека, на каком основании автор, развязав драму одной половины романа, обязан воздержаться развязать узел другой? Автор мог бы, например, самым нелепым образом развязать личную драму Карениной, но это не смогло бы избавить его от художественной обязанности закончить свое произведение. Нельзя выставлять прелестную статую без головы на том основании, что художник с нею не справился.

Почему же художественные близнецы, Каренина и Левин, должны были появиться — она вполне оконченною, а он непременно, во что бы то ни стало без головы? Вы утверждаете, что голова его, т. е. восьмая и последняя глава романа (увы, не попавшая в ваш журнал!), никуда не годится, потому что нравственный...

[На этом рукопись обрывается.]

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Две строки из последней строфы стихотворения Шиллера «Die Weltweisen». Строфа эта почти целиком приведена в статье А. Н. Стадлина «Философское учение Джорджа Генри Луиса (Вопросы о Жизни и Духе, Problems of Life and Mind)», напечатанной в той же седьмой книжке «Русского Вестника» за 1877 г., в которой была помещена статья «Что случилось по смерти Анны Карениной». Приводим часть стихотворения, цитируемую Стадлиным:

Denn weil, was ein Professor spricht
Nicht gleich zu Allen dringet,
So übt Natur die Mutterpflicht,
Und sorgt, dass nie die Kette bricht
Und dass der Reif nicht springet.

Перевод (О. Миллера):

Но, так как ученье нам
Не всем узнать удастся,
Закон природы смотрит сам
За всем, и мировым связям
Не даст он разорваться...

Посылая Гёте это стихотворение, Шиллер писал: «Я хотел здесь посмеяться над законом противоречия. Философия всегда смешна, когда старается своими средствами, не сознаваясь в своей зависимости от опыта, расширить знания и давать законы мирозданию...».

[2] Незаконченная фраза из той же статьи Стадлина, которая читается так: «Точно таким же образом человеческий ум естественно действует по определенным нормам и законам, имманентно присущим ему...».

[3] Этими словами заканчивается статья «Русского Вестника».

[4] Jourdain — действующее лицо комедии Мольера «Le bourgois gentilhomme».

[5] Востоков Александр Христофорович (1781—1864), знаменитый филолог, автор словарей «Областного великорусского языка», «Славяно-русского этимологического языка» и др.

[6] См. «Евгений Онегин», гл. VIII, стр. 4.

[7] Буквальный перевод французской пословицы: «Jeter son bonnet par-dessus les moulins» — пренебречь общественным мнением.

[8] «Москвич в гарольдовом плаще» — см. «Евгений Онегин», гл. VII, стр. 24.

[9] Здесь Фет обращается непосредственно к Каткову, как к одному из ревностных деятелей по насаждению в России системы классического образования.

ПЕРЕПИСКА ТОЛСТОГО С В. П. БУРЕНИНЫМ

Публикация В. Мишина

Виктор Петрович Буренин (1841—1926) — поэт, драматург, переводчик и литературный критик (писал под псевдонимами: Владимир Монументов, Выборгский пустынник, Граф Алексис Жасминов и др.); в 1860—1870 гг.— сотрудник передовых журналов («Искра», «Современник», «Отечественные Записки» и др.). Как автор многих куплетов и шуток оппозиционного характера, написанных легким, приправленным ядовитыми остротами, языком, он сумел приобрести значительную популярность. Однако, уже во второй половине 70-х годов направление его творчества резко изменяется, имя Буренина становится синонимом всего реакционного и продажного. С середины 70-х годов он работает фельетонистом в «Новом Времени»; с 1876 г. становится членом редакции этой реакционной газеты и приобретает репутацию одного из ее столпов.

В критических статьях Буренина подвергались острым нападкам молодые поэты и писатели, которым критик, как правило, отказывал не только в таланте, но вообще в праве думать и писать по-своему. Для Буренина существовало несколько писателей, как Пушкин, Достоевский, Толстой, к которым он своеобразно подходил, пользуясь их именами для травли второстепенных литераторов.

Буренин посвятил Толстому несколько фельетонов и критических статей. Явно не сочувствуя взглядам великого писателя, он в то же время не решался открыто выступать против них. Развязно превознося Толстого, как художника, он в то же время использовал его имя для своей литературной полемики.

В этом отношении Буренина хорошо охарактеризовал С. Я. Надсон в одном из своих «Литературно-журнальных очерков», посвященном Толстому и Буренину.

«В последнее время,— писал Надсон,— к такому большому кораблю, каким является в нашей литературе Лев Толстой даже в глазах людей, не разделяющих его философских и этических воззрений, самым усердным образом старается прицепить свою утлую ладью другой в некотором роде «писатель» и «граф» — граф Алексис Жасминов. Делает он это очень характерно: с напускным умилением кадя великому романисту, он в то же время зорко следит по сторонам, норовя задеть своим кадилом всю остальную пишущую братию» [1]. Об этом же неоднократно говорил и сам Толстой. В дневнике Е. И. Раевской (не напечатан; хранится в Литературном музее в Москве) Толстому приписываются слова, сказанные о Буренине: «Он дерется мною». Это же подтверждается и свидетельством Н. С. Лескова, который дословно передает это выражение в письмах к М. О. Меньшикову (не напечатаны; хранятся в Литературном музее в Москве).

В бумагах Толстого почти не сохранилось высказываний о Буренине. Да это и понятно. Толстого не могла привлекать или задевать личность Буренина, принадлежавшего к черносотенно настроенным кругам и бесцветного в литературном отношении.

Буренин был знаком с Толстым лично. 24 или 25 ноября 1900 г. он посетил Толстого в Москве. В 1925 г. Буренин подробно описал свою встречу и беседу с Толстым. Воспоминания эти хранятся в архиве покойного К. С. Шохор-Троцкого.

Печатаемая ниже переписка Толстого с Бурениным возникла в связи со статьями Буренина о Надсоне.

Поэт С. Я. Надсон, в последние годы своей жизни сотрудничая в киевской газете «Заря» в качестве фельетониста на литературные темы, вступил в полемику с Бу-

рениным. Резкий тон статей Надсона вызвал злобный отпор со стороны Буренина; на страницах «Нового Времени» он посвятил Надсону ряд статей[2], в которых, переводя полемику на личную почву, затрагивал даже семейную жизнь поэта. Буренин прозрачно намекал на притворность болезни Надсона, служившей, по его мнению, лишь средством для получения пособий. Это тяжело отозвалось на больном Надсоне, который даже собирался ехать в Петербург, чтобы устроить суд чести. В связи с этим группа литераторов, близких к Надсону, решила составить письмо-протест против статей Буренина о Надсоне.

Попытка защитить Надсона от нападок Буренина, несомненно, была в то же время и выступлением против реакционного «Нового Времени». Это правильно отмечает сам Буренин в письме к Толстому.

Протест было предложено подписать и Толстому (кто сообщил ему содержание протеста, доподлинно выяснить не удалось). Однако, Толстой отказался подписать протест; вместо этого он написал Буренину письмо от своего имени. Не зная подробностей дела и не желая вникать в них, Толстой захотел высказать свои «сомнения» относительно поступка Буренина, «считая обязанным каждого из нас помогать друг другу в самом важном деле жизни освобождения от соблазнов и ошибок, вносящих зло в нашу жизнь». Слишком отвлеченное отношение Толстого к этому делу и дало повод Буренину так бойко и вместе с тем смиренно упрекнуть Толстого в желании «подкрепить обвинение неизвестного человека» своим «авторитетным именем». Так писал в своем ответном письме Буренин. Толстому ничего не оставалось, как согласиться с этим, что он и сделал во втором письме.

Этим и ограничилась их переписка.

Помещаемые ниже два письма Толстого и варианты к ним печатаются по копиям, хранящимся в архиве В. Г. Черткова в Москве. Письмо Буренина печатается по автографу, хранящемуся в архиве Толстого во Всесоюзной библиотеке им. В. И. Ленина в Москве.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] «Заря», 1886, № 99, от 4 июня.

[2] «Урок стихотворцу»,— «Новое Время», 1886, № 3706; «Критические очерки»,— там же, 1886, №№ 3841, 3876; 1887, № 3906.

Л. Н. ТОЛСТОЙ — В. П. БУРЕНИНУ

[1 — 25 февраля 1887 г., Москва]

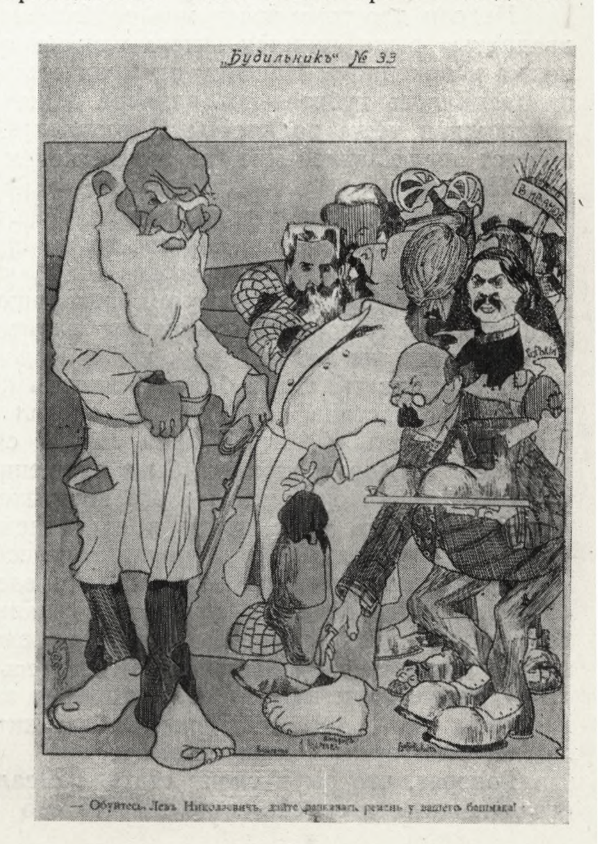
Виктор Петрович.

Недели две тому назад мне сообщили подписанный несколькими десятками имен известных литераторов протест против написанных вами статей о покойном Надсоне и просили меня подписать его. Я отказался подписать, во-первых, потому, что все это дело мне совершенно неизвестно, а во-вторых, и, главное, потому, что такой протест, напечатанный в газете, представлялся мне средством отомстить, наказать, осудить вас, на что я, если бы и даже справедливы были все обвинения против вас, я не имею никакого права. На вопрос о том, признаю ли я то, что Буренин поступил дурно, я не мог ответить иначе, как признав то, что если справедливо то, что вы говорите, то Буренин поступил нехорошо; но из этого не следует то, чтобы я потому должен был постараться сделать больно Буренину; Буренин для меня такой же человек, как и Надсон, т. е. брат, которого я люблю и уважаю и которому я не только не желаю сделать больно, потому что он сделал больно другому, но желаю сделать хорошо, если это в моей власти. Я сказал, что если бы я встретил вас, или был бы в сношениях с вами, я бы высказал вам то сомнение, которое имею о вашем поступке, считая обязанным каждого из нас помогать друг другу в самом важном деле жизни освобождения от соблазнов и ошибок, вносящих зло в нашу жизнь. Вышло так, что третьего дня мне сооб-

щили, что кружок писателей, не печатая протеста, заявил желание, чтобы я выразил вам свое мнение о том поступке, в котором обвиняют вас. Я счел себя не вправе отказаться и вот пишу вам. Пожалуйста, не осудите меня за мое это письмо, а постарайтесь прочесть его с тем же спокойным и уважительным чувством братской любви человека к человеку, с которым я пишу вам.

Вас обвиняют в том, что вы в своих статьях, касаясь семейных и имущественных отношений Надсона, делали оскорбительные и самые жестокие намеки, и что эти статьи действовали мучительно и губительно на болезненную раздражительную чуткую натуру больного и были причиною ускорения его смерти.

Если человек, разряжая ружье, убьет нечаянно другого, ему будет больно, и он будет вперед осторожнее разряжать ружье, но чувства раскаяния, сознания дурного поступка, у него не будет. Если в костеле шутник, не обдумав последствий своего поступка, для забавы крикнул: пожар! и задавили несколько человек, ему будет еще больнее, и он уже не будет шутить так, но раскаяния тоже почти не будет. Но если человек с злым чувством против другого, чтобы посмеяться над ним, поставив его в смешное положение, выдернет из-под него стул, и тот, упавши, разобьет себе голову и заболеет или умрет, то кроме боли будет тяжелое, мучительное раскаяние прямо пропорциональное тому чувству зла, которое он имел против человека. Если справедливо обвинение против вас, то вы знаете лучше всех и одни вы знаете: есть ли это случай только неосторожности обращения с оружием слова, или легкомыслие, последствия которого не обдуманы, или дурное чувство нелюбви, злобы к человеку. Вы единственный судья, вы же и подсудимый и знаете одни, к какому разряду поступков принадлежат ваши статьи против Надсона.



ТОЛСТОЙ
И СОВРЕМЕННЫЕ ПИСАТЕЛИ

Карикатура из журнала «Будильник», 1908 г., № 33

«За всякое слово праздно, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься».

Какая это простая и практическая истина, и как она кажется сначала чем-то далеким от практики жизни — ненужным; а это самое близкое, нужное в жизни правило, не только нам, писателям (особенно публицистам), но и нам, как людям житейским, беспрестанно совершающим грехи, подобные тому, о котором идет речь и последствий которых мы только не замечаем.

Повторяю, что мои слова не укор и не поучение: укорять я не могу, потому что сам грешил тысячу раз в том, в чем предполагаю ваш грех, а учить не могу человека, в разумности и нравственности которого уверен так же, как и в своей. Пишу только потому, что, так как со стороны виднее ошибки других, почему нам не помогать друг другу указывать те ошибки, которые портят нашу жизнь?

На вашем месте я бы сам с собой самым строгим образом разобрал бы это дело. И высказал бы публично то решение, к которому бы пришел — какое бы оно ни было.

Во всяком случае простите меня за то, что пишу это вам, и постарайтесь не иметь ко мне дурного чувства, а то было бы очень больно мне, что, желая уменьшить раздражение, я только увеличил его.

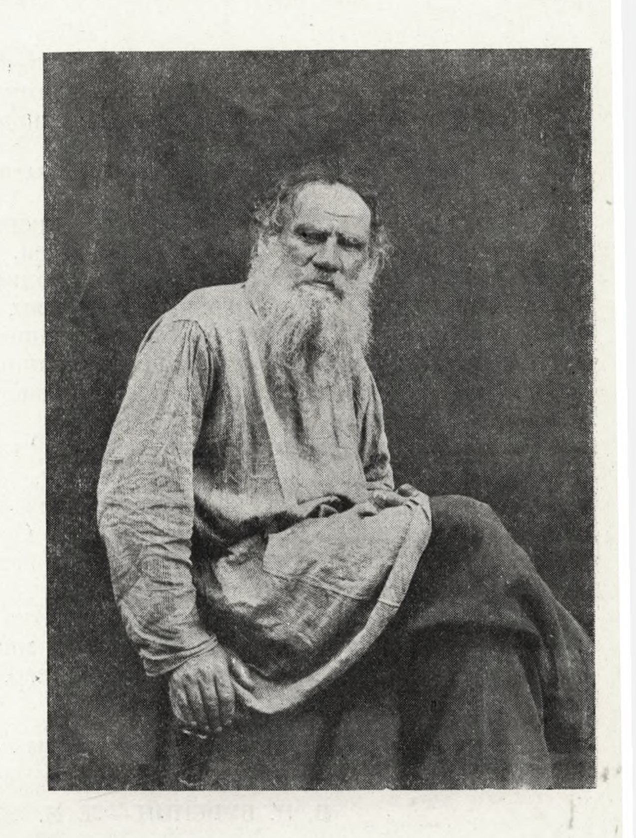
Уважающий и любящий вас
Лев Толстой

ВАРИАНТ ПИСЬМА

Виктор Петрович!

Недели две тому назад мне сообщили протест, подписанный больше двадцатью выдающимися литературными именами, против вашего отношения к покойному Надсону в ваших статьях, писанных о нем, которым приписывалось губительное влияние даже на жизнь покойного. Мне предложили тоже подписать. Я отказался, главное, потому, что такой протест представился мне как бы желанием отомстить, наказать, осудить вас. Не говоря уже о том, что я ничего не знаю о подробностях этого дела (впрочем, знание или незнание тут не при чем), я отказался от подписи. Когда меня спросили: разве вы не признаете, что Буренин поступил нехорошо, я не мог ответить иначе, что если справедливо то, что говорится, то Буренин поступил нехорошо, но Буренин прежде всего человек; а как человек — одинаково разумный и нравственный, как и я, потому столь же дорогой мне, как и Надсон и все другие; и потому я не могу осуждать, а тем более — желать карать его; главное же, никак не могу вследствие того, что он сделал больно другому (если это правда), желать сделать больно ему. Я сказал, что если бы я встретился с Бурениным, или был бы в сношениях с ним, я бы высказал ему то сомнение, которое имею о его поступке, считая обязанным каждого из нас помогать друг другу в единственном важном деле жизни — освобождаться от ошибок, заблуждений, соблазнов, лишающих нас блага жизни.— Вышло так, что кружок писателей отложил, надеюсь совсем, свое намерение печатать протест, но заявил ко мне требование, что если я так думаю, то чтобы я написал вам об этом. Я счел себя не вправе отказаться. Пожалуйста, отнеситесь по-братски ко мне, так же, как я отношусь к вам. Не осудите меня за это письмо, а постарайтесь прочесть его с тем спокойным и уважительным чувством братской любви, с которым я пишу его.

Говорят, что вы в своих статьях касались личной жизни Надсона, его денежных и семейных дел, и что это больно заставляло страдать



Л. Н. ТОЛСТОЙ
Фотография, июнь 1891 г.
Частное собрание, Москва

больного человека и даже усилило его болезнь. Такие дела делаем мы все постоянно. Сколько раз скажешь словечко меткое, и эта меткая шутка сделает человека смешным. А он хотел жениться, и это меткое слово сделало то, что та отказала ему. Шутник в церкви сказал: «пожар», и — 7 трупов. Разве он виноват? Он хотел пошутить.

Если человек, разряжая ружье, убьет нечаянно человека, ему будет больно, он будет осторожнее вперед разряжать ружье, но чувства раскаяния, сознания того, что он виноват, поступил дурно, у него не будет. Если в польском костеле шутник, не обдумав последствий, для забавы крикнул: «пожар», и задавили несколько человек, ему будет еще больнее, и он вперед не будет шутить так, но раскаяния, сознания дурного поступка у него не будет. Но если человек, презирая и ненавидя другого, чтобы посмеяться над ним, поставить его в смешное положение, вынул из-под него стул, и тот, упавши, разбил себе голову и заболел или умер, то кроме боли и сожаления будет раскаяние тяжелое, мучительное, раскаяние не потому, что человек убился, а потому что мотив поступка было презрение, ненависть, нелюбовь к человеку.

Вы сами знаете, если справедливо то, в чем упрекают вас, есть ли это случай неосторожного обращения с оружием, или шутка, последствия которой вы не обдумали, или было в вас дурное чувство против этого человека.

Вам, я уверен, больнее всех то, что случилось, и вы в своей душе единственный судья того, к какому разряду поступков принадлежат ваши статьи против Надсона.

Поверьте, что эти слова не укор и поучение. Укорять я не могу никого, потому что сам грешил 1000 раз в том, в чем предполагаю ваш грех; а учить не могу человека, в разумности и нравственности которого

уверен так же, как и в своей. А мне кажется, что со стороны иногда виднее ошибки другого. И если мы видим ошибки друг друга, портящие нашу жизнь, почему нам не помогать друг другу, указывая их?

ВАРИАНТ ОКОНЧАНИЯ

Иногда шутка без враждебности; иногда шутка окрашена желчью, так что делается ядом, убивающим людей. Если не видим последствий, считаем это не грехом (религиозные люди), не негуманным поступком (нерелигиозные); а ведь это ужасный грех или дурной поступок. Если правда все то, что говорят о влиянии ваших статей на Надсона, то это тот один несчастный случай неосторожного обращения с оружием. И вам последствия его должны быть больнее, чем всем другим. И я уверен, что это так.

«От слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься. За всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ». Какая это глубокая истина, и как кажется сначала что-то далекое от практики жизни, не нужное; а оно самое близкое. Самое нужное не только писателям, публицистам, как вы, но и всем нам, которые беспрестанно совершаем подобные грехи.

Простите же меня за то, что пишу это вам, не имейте ко мне дурного чувства. А то было бы уже очень мне больно, что, желая уменьшить раздражение, я только увеличил его.

Ваш

Датируется приблизительно, на основании ответного письма Буренина от *28 февраля 1887 г.*

В. П. БУРЕНИН — Л. Н. ТОЛСТОМУ

1887 г. февраля 28, СПБ.

Уважаемый Лев Николаевич, обратившись ко мне с письмом, вы тем самым дали мне право на ответ вам. Позвольте же мне воспользоваться этим правом и высказаться перед вами откровенно.

Если бы ваше письмо было написано по вашему личному побуждению, из участия ко мне, как к человеку, которому вы пожелали уяснить его предполагаемую вину, я бы принял с искренней благодарностью ваши наставления. Но вы написали мне, исполняя желание «известных литераторов», авторов «протеста» против меня. Это дает вашему письму совсем иное значение: значит вы хотя отчасти разделяете мнение этих литераторов и написали мне как бы в виду некоторого удовлетворения литераторов за ваш отказ от подписи протеста. Правда, вы из участия ко мне, «не желая сделать мне больно», отказались подписать протест. Я благодарен вам за это. Но — простите мою искренность — по-моему, и без всякого участия ко мне вы должны были отказаться от подписи протеста из чувства простой справедливости. Вам предлагали вашим авторитетным именем подкрепить обвинение неизвестного вам человека в том, что он «ускорил» смерть другого. Неужели — оставив в стороне всякие другие соображения — можно подписаться под таким тяжким обвинением, выслушав только обвинителей и не выслушав обвиняемого? Я не интересуюсь мнением «известных литераторов», которые способны публично обвинять собрата в убийстве, не выслушав предварительно его объяснений. В продолжение моей журнальной деятельности я успел хорошо изучить правдивость и логику этих господ. К тому же я знаю и закулисную подкладку их протеста: желание так или иначе повредить в мнении публики журналисту, который говорил не раз резкую правду о них и их «партии». Но тем более дорого мне ваше мнение, мнение писателя, стоящего выше журнальных партий, писателя, которого вме-

сте со всеми я уважаю именно за правдивость и искренность его слов. Вот почему от вас мне тяжело было выслушать повторение обвинений протеста.

Мне это тем более тяжело, что я не могу категорически объясниться. Из приведенных в вашем письме пунктов протеста нельзя хорошо уразуметь, в чем меня обвиняют: излагаются мои вины, но не излагаются основания, по которым меня обвиняют. Вы пишете: «Вас обвиняют в том, что вы в своих статьях, касаясь семейных и имущественных отношений Надсона, делали оскорбительные и самые жестокие намеки, и что эти статьи действовали мучительно и губительно на болезненную, чуткую натуру больного и были причиною ускорения его смерти». На эти обвинения я могу ответить по совести: тут есть прямая неправда, условная правда и затем некоторое неразрешимое предположение. Неправда, что я касался семейных и имущественных отношений Надсона: я касался его писáний, а упомянутых отношений не мог касаться просто потому уже, что я не знал их и не интересовался ими. Правда в известной степени, что мои статьи о писаниях Надсона были оскорбительны и — допускаю и это — даже жестоки; но к этой правде следует прибавить вот что: я писал в увлечении полемикой, в ответ на статьи Надсона против меня, статьи не менее жестокие и оскорбительные, при чем не я первый вызвал на полемические оскорбления Надсона, а он меня вызвал. Кто даст себе труд проследить мои статьи против Надсона и его статьи против меня[1] (в киевской газете «Заря»), тот может проверить справедливость моих слов. Остается еще обвинение или, точнее, предположение о том, что мои статьи действовали мучительно на Надсона и ускорили его смерть. Что действовали мучительно — это вероятно. Но ведь и на меня также могли действовать мучительно его статьи. Обвинители говорят: он был больной человек, а вы здоровый. Но разве здоровому легче переносить печатные оскорбления, чем больному? Обвинители говорят еще больше и решительней: ваши статьи ускорили смерть больного. Позволю себе спросить: кто кроме господа бога может определить это с точностью? И потом, как знать, может и статьи Надсона отняли у меня долю жизни и, когда я буду умирать, эта доля мне зачтется в виде наказания за мой, во всяком случае ненамеренный грех. И я и Надсон — мы оба дадим отчет за то, что взаимными оскорблениями, быть может, отняли часть жизни друг у друга; но литераторы, сочиняющие протесты по этому поводу, могут успокоиться: отчет этот может быть потребован я не знаю кем, только уже, наверное, не ими. По моему, быть может ошибочному, но глубокому убеждению, этот вопрос об ускорении смерти Надсона не только вне литературного, но даже вне человеческого решения.

Вы даете мне совет, обсудив дело с самим собою, публично высказать мое решение, какое бы оно ни было. Я не могу последовать этому совету. Вы, стоящий в стороне от всяких журнальных дрязг, не знаете настоящей подкладки той журнальной травли, которая была поднята против меня разными газетами и журналами по поводу смерти Надсона. Тут дело не в защите памяти Надсона, будто бы оклеветанного мной. Тут дело в печатном ошельмовании в моем лице литературного противника и представителя известного журнального направления, сотрудника газеты, которая ненавистна разным литературным кружкам, ненавистна особенно потому, что, несмотря на кружковые интриги, она пользуется сочувствием и влиянием. С самого начала упомянутой травли я молчал отчасти из презрения, отчасти вот почему: каждое мое возражение было бы для моих журнальных противников предлогом к новым скандальным клеветам и нападкам на меня и на газету, в которой я участвую. Я буду молчать и впредь по тем же причинам. Протест, кото-

рый был вам предъявлен, как я думаю, отчасти рассчитан на то, чтобы вызвать меня на журнальную полемику новым приемом травли, так как прежние не воздействовали на меня. Я решился не доставлять господам, травящим меня, удовольствия — моего ответа. Простите меня, если в моем объяснении вам покажется что-либо неуместным. Я высказал откровенно, что по моему разумению должен был высказать. Очень может быть, что я заблуждаюсь: в своем деле трудно быть беспристрастным судьею. Прошу вас принять во внимание последнее обстоятельство и не лишать меня того доброго чувства, которое побудило вас написать мне и которое я ценю очень дорого.

Искренно уважающий вас В. Буренин

[1] См. «Литературно-журнальные очерки» С. Я. Надсона,— «Заря», 1886, № 99, от 4 июня; № 119, от 27 июня; № 131, от 11 июля: «Маленький урок по истории культуры г. Буренину»,— «Заря», 1886, № 116, от 24 июня. Перепечатано в книге: Надсон С. Я., Литературные очерки, СПБ., 1888.

Л. Н. ТОЛСТОЙ — В. П. БУРЕНИНУ

[3—4 марта 1887 г., Москва]

Благодарю вас за ваше, разъяснившее мне многое, письмо и за укоры, которые вы мне делаете. Они совершенно справедливы.

Лев Толстой

На оборотной стороне открытки:

Петербург, Редакция Нового Времени.
Виктору Петровичу Буренину.

Датируется на основании почтовых штемпелей: Москва, 4 марта 1887 г., С.-Петербург, 5 марта 1887 г.

ПЕРЕПИСКА ТОЛСТОГО С П. М. ТРЕТЬЯКОВЫМ

Публикация М. Бабенчикова

Интерес к искусству, очень рано пробудившийся у Л. Толстого, заставляет его еще в юности мечтать «достигнуть высшей степени совершенства в музыке и в живописи». Путешествуя за границей в 50-х годах, Толстой дважды посещает Дрезденскую галлерею и отмечает в своем дневнике, что его «сразу сильно тронула» Сикстинская мадонна. Тогда же он осматривает Версаль и картинную галлерею в Турине, знакомится с пейзажистом Каламом и, в Зарнене, с швейцарским художником Дешеванденом.

Позднее Толстой также постоянно проявляет живой интерес к искусству. Он близко знакомится с художниками Перовым, Башиловым, Крамским, Поленовым, Е. Бем, Прянишниковым, К. Савицким, Ильей Гинцбургом, Л. Пастернаком, Паоло Трубецким. В 80-х годах Толстой сближается с Н. Касаткиным, «милым и чистым художником», которого он посещает в его мастерской и с которым они вместе осматривают завод Гиля, вблизи Ясной Поляны. К концу 1880 г. относится знакомство Толстого с Репиным, перешедшее затем в близкую дружбу.

Высоко ставя вещи «настоящего русского художника» Н. Орлова, в частности, его «Освящение монополии» («в картине все прекрасно и в целом и порознь»), Толстой дает Орлову сюжет «Рекрутской ставки». Орлов бывает в Ясной Поляне, и снимки с его картин из крестьянской жизни, к которым Толстой написал текст для издательства Голике и Вильборг, висят в яснополянском кабинете.

Через Стасова Толстой внимательно следит за тогдашними теоретическими спорами об искусстве, а через свою дочь Т. Л. Сухотину-Толстую узнает о всех художественных новостях. В связи со всем этим у писателя появляется стремление постичь самую практику творческой работы художника в области изобразительных искусств, близкой к литературе; зарождается мысль о создании цикла произведений искусства, которые соответствовали бы его собственным общественно-философским взглядам.

Толстой наблюдает работу Ге, вникает в малейшие детали иллюстраций Л. Пастернака к «Воскресению», наконец, пробует активно влиять на П. М. Третьякова, склоняя последнего к приобретению для его галлереи идейно близких ему, Толстому, художественных вещей.

Толстой узнал о Третьякове впервые, повидимому, в мае 1869 г. Толстой тогда ответил отказом на переданное ему через Фета предложение владельца галлереи прислать художника для написания портрета писателя. В сентябре 1873 г. Третьяков снова возобновляет ту же просьбу, и Толстой на этот раз соглашается позировать И. Н. Крамскому, присланному Третьяковым.

Сведения о пребывании Крамского в Ясной Поляне имеются в его переписке. Можно предположить, что Крамской много рассказывал Толстому о Третьякове. Незаурядная личность страстного коллекционера, повидимому, уже тогда заинтересовала Толстого. Его первое (недатированное) письмо Третьякову относится к периоду между 1874 и 1880 гг. Судя по письму, Толстой в эти годы уже был у Третьякова, и если еще не видел художественной галлереи, то был хорошо осведомлен о ней. 7 апреля 1884 г. Толстой посещает выставку передвижников, где осматривает «Неутешное горе» Крамского («прекрасно»), Репина «Не ждали» («не вышло») и беседует с Третьяковым. 10 апреля того же года Третьяков заезжает к Толстым, и в эти же годы Толстой,

вместе с дочерью Татьяной Львовной, которая тогда копировала в Третьяковской галлерее, посещает Третьякова.

В 1888 г. Третьяков, исполняя просьбу художника Ярошенко, приглашает Толстого принять участие в «Сборнике памяти Вс. Гаршина». Как видно из писем этих лет, отношения между Толстым и Третьяковым принимают теперь все более и более постоянный характер. Толстой посылает Третьякову свои книги и старается вовлечь его в круг своих интересов, а Третьяков внимательно прислушивается к суждениям Толстого, хотя и не всегда разделяет толстовские взгляды на искусство.

В 1889 г. (14 марта) Толстой уже более подробно осматривает собранную Третьяковым галлерею, о чем записывает в своем дневнике: «Пошел к Третьякову, хорошая картина Ярошенко «Голуби», хорошая, но и она и особенно все эти 1000 рам и полотен, с такой важностью развешанные—зачем это? Стоит искреннему человеку пройти по залам, чтобы наверное сказать, что тут какая-то грубая ошибка и что это совсем не то, и не нужно».

В 1894 г. Толстой три раза посещает галлерею. Из русских художников ему особенно на этот раз нравится Орлов («Умирающая»), Репин («Арест») и Ге («Что есть истина?»); зато отрицательную оценку получают у него Васнецов («бездарно и просто технически дурно»), «Грозный» Репина и его же «Не ждали». Одно из этих посещений Третьяковской галлереи, летом 1894 г., С. А. Толстая связывает с пребыванием у них Н. Н. Ге (см. ее неизданную автобиографию «Моя жизнь»: «Присутствие Ге и побудило Льва Николаевича пойти в Третьяковскую галлерею, где он делал вслух при нас свои замечания»).

К 1894 г. относится наиболее интенсивная переписка Толстого с Третьяковым, связанная в основном с оценкой картины Ге «Что есть истина?» и принимающая, в силу различия во взглядах, характер резкой полемики. К этому же периоду относятся и письма Толстого к Третьякову, вызванные смертью Ге и замыслом Толстого создать музей памяти художника. Наконец, в 1898 г., собирая средства для помощи духоборам, Толстой в последний раз пишет Третьякову. Третьяков отвечает ему отказом.

Люди разной социальной среды и различных, во многом противоположных взглядов, Толстой и Третьяков столкнулись на почве их отношения к русскому искусству в «один из решительных и наиважнейших его моментов» (Стасов).

Уже во второй половине 80-х годов произошли глубокие сдвиги в художественной среде, вызванные «примиренческими» тенденциями как со стороны Академии художеств, так и со стороны видных передвижников. В 90-х годах получили первое признание работы будущих «мирискустников». Даже И. Репин, внутренно глубоко чуждый реакционным идейным установкам «нового искусства», в эти годы высказывался в защиту искусства, как самоцели.

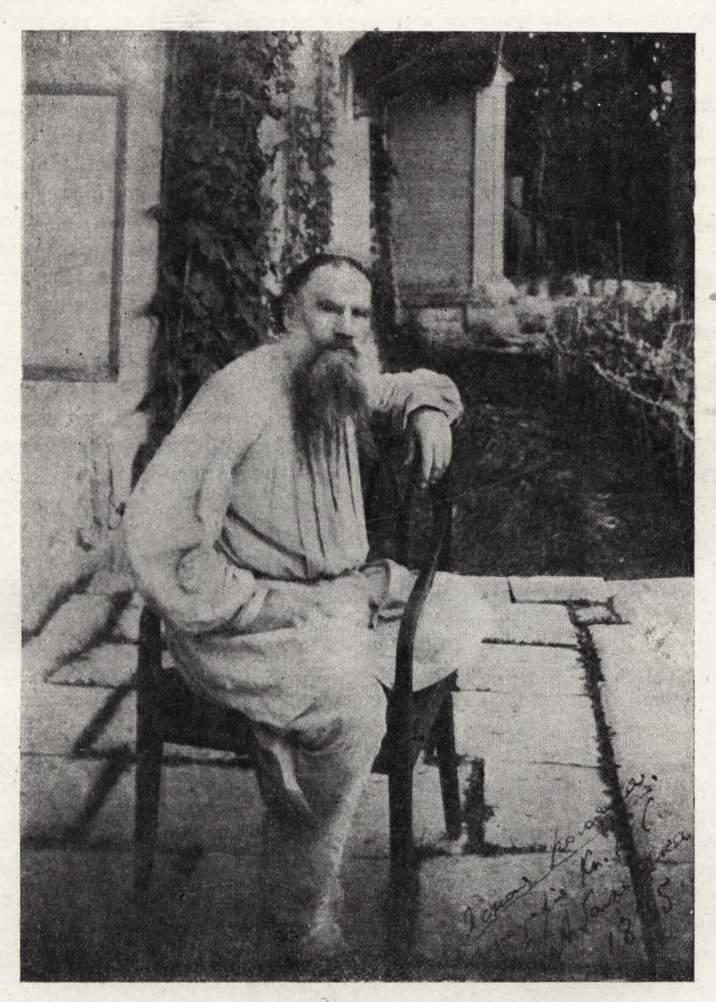
И Третьяков, один из тех крупных московских «тузов», которых так ненавидели и боялись Облонские в 80—90-е годы, круто поворачивает в сторону от передвижников. Его перестает удовлетворять авторитет Крамского; в 1888 г. он возбуждает против себя явное недовольство «стариков» приобретением картины Серова «Девушка, освещенная солнцем». К концу 90-х годов Третьяков сближается с кругом талантливой художественной молодежи, в который входят Коровин, Серов, Врубель.

Для Толстого конец 70-х годов был периодом кризиса его миросозерцания. Художественная деятельность, которой он отдавал все свои силы, теперь потеряла для него прежнюю важность. В начале 80-х годов Толстой пишет «Исповедь» и другие религиозно-философские произведения. Одновременно (с 1882 г.) он работает над статьями по искусству, излагая и формулируя свои эстетические взгляды (см. об этом выше, в предисловии Б. Энгельгардата к новым текстам Толстого по искусству).

В связи с новым характером своей деятельности, Толстой в 1882 г. сближается с Н. Н. Ге. Ценя Ге, как человека, Толстой поощряет его работу пропагандиста в изобразительном искусстве близких ему идей. Он старается убедить Ге в значительности и важности, в первую очередь, его евангельских тем, в необходимости для художника перенести интерес с художественного смысла к смыслу литературному. Не являясь поклонником Ге-живописца («как живописец он мне мало нравится»), Толстой всячески старается поднять авторитет художника в глазах окружающих. Особенно беспокоит его судьба наиболее «толстовской» картины Ге «Что есть истина?».

Сложная философская тема создала шумиху вокруг этой картины и послужила поводом для газетных выпадов против Ге. Реакционная печать обвиняла художника в пропаганде на полотне «реалистических воззрений, которые развратили не одно наше поколение».

Толстой, с самого возникновения замысла картины, не переставал интересоваться этой работой Ге, ценя в ней прежде всего силу выражения основной мысли и искренность отношения автора к предмету. С этой точки зрения, малоценное в общем живописное полотно Ге воспринималось им, как «составляющее эпоху в истории христиан-



Л. Н. ТОЛСТОЙ
Фотография 1885 г.
Толстовский музей, Москва

ского искусства», а роль создавшего его художника представала, как своеобразная творческая миссия всемирного значения.

Творчеству Ге и его картине «Что есть истина?» отведено значительное место в переписке Толстого с Третьяковым. Толстой упорно старается склонить Третьякова на свою сторону. «Третьякову я, грешный человек, писал, когда еще вы были у нас...— пишет он Ге в августе 1890 г.— Мне искренно было жалко его, что он по недоразумению упустил ту картину...». «Он [Третьяков] пишет в последнем письме,— сообщает Толстой Ге-сыну,— что он не может приобрести «Суд» и «Распятие», потому

что или запретят, или враги испортят картины, чего он даже боится за «Что есть истина?». Я, кажется, внушил ему отчасти все значение того, что оставил Ге, и, будучи в Москве, буду стараться устроить через него или Солдатенкова или кого еще музей Ге». Мысль о создании музея Ге так и осталась неосуществленной. Отчасти, может быть, в этом была вина Третьякова, владевшего самыми крупными вещами художника, но остававшегося неизменно равнодушным к творчеству Ге.

Склонившись, под влиянием Толстого, на покупку в 1890 г. картины «Что есть истина?», Третьяков все же продолжает сомневаться, «можно ли поместить ее в публичную галлерею». «Я вашу картину «Что есть истина?» не понял, так же, как почти все,— пишет он Ге в июне 1890 г.— Лев Николаевич указывает мою ошибку: указывает потому, что меня любит; чтобы исправить ошибку, нужно картину приобрести».

Утопическая проповедь «христианского искусства», якобы, единственно нужного и понятного массам, приводит Толстого к отказу от своих прежних положительных оценок произведений искусства, в частности Рафаэля. Толстому претит «вся та безобразная женская нагота», которая наполняет выставки и галлереи. Его возмущает затрата огромных трудов и средств на художественную деятельность. «Меня затащили на выставку. Там ведь ничего похожего на картины, как произведения человеческой души, а не рук, нет»,— пишет он Ге 14 мая 1887 г. Толстой заявляет теперь, что масляная живопись не имеет для него значения, ибо он понимает картину только «как выражение мысли, а краски даже мешают» ему.

Однако, откинув морализующие высказывания Толстого, мы увидим в разрушительной работе автора «Что такое искусство?» здоровое начало критики. Эта книга, как и наиболее яркие письма к Третьякову, появилась в тот период, когда Стасов писал об опасности проповеди «бесцельности, бессодержательности и безыдейности искусства», в эпоху зарождения у нас пришедшего с Запада декадентства. Голос Толстого был особенно нужен в этот момент. Художественный мир раскололся тогда на два лагеря, Толстой принадлежал к одному из них, Третьяков — к другому.

Толстой — аскет, проповедник опрощения, каким мы видим его и в некоторых письмах к Третьякову, далек и чужд нашему времени. Но есть Толстой, которого мы, живущие в эпоху величайшего строительства, по праву считаем своим. Это Толстой — критик, беспощадный обличитель лжи, во всех ее видах, защитник «ясности и искренности» в искусстве, художник, считающий основным достоинством всякой картины то, что она «правдива (реалистична, как говорят теперь) в самом настоящем смысле этого слова».

Многое сказанное Толстым Третьякову остается ценным и сейчас. Глубоко жизненно его признание главной силы искусства в «искренности, значительном и самом ясном, доступном всем содержании».

Толстому был глубоко чужд натурализм, как «передача малейших подробностей внешнего вида со всеми случайностями, которые встречаются в жизни». Его всегда возмущали «голая и ложная эффективность чисто формального порядка и внешняя занимательность, заключенная в самых приемах выражения». Крайне резкий в своей оценке современных ему живописных произведений западной школы, Толстой-реалист выступал против грубого и поверхностного реставраторства, свойственного всем «подделкам под прежние художественные стили», осуждал символику исторических картин и схоластичность Академии живописи.

Помимо общего историко-культурного интереса публикуемых ниже писем, в них содержатся некоторые новые штрихи для характеристики эстетических воззрений Толстого и, в частности, той крайней активности, с которой он относился к конкретным произведениям искусства и их пропаганде.

Публикуемая переписка Толстого с П. М. Третьяковым охватывает период с конца 70-х по конец 90-х годов и содержит девять писем Толстого и восемь писем Третьякова. В число писем Третьякова включено одно письмо (№ 4), адресованное Н. Н. Ге, но по смыслу своему обращенное к Толстому. Кроме впервые публикуемых писем, в целях полноты в публикацию включены три ранее уже напечатанных письма Толстого (№№ 9, 10, 14). Проверка по рукописям позволила внести в них ряд существенных исправлений и уточнить датировку.

1

Милостивый государь Павел Дмитриевич! [1].

Очень сожалею о том, что до сих пор мне ни разу не случилось встретиться с вами и что я не застал вас дома.

Надеюсь в первый приезд мой в Москву побывать у вас, осмотреть замечательную галлерею вашу [2] и иметь удовольствие лично познакомиться с вами.

С совершенным почтением и преданностью имею честь быть
ваш покорнейший слуга гр. Лев Толстой

10 мая [1874—1880 гг.]

Письмо хранится в архиве Третьяковской галлереи. Датировка (10 мая) — по оригиналу. Годы (1874—1880) предположительно: письмо писалось не ранее 1873 г., когда Толстой позировал Крамскому для портрета, заказанного Третьяковым, и не позднее 1881 г., когда Толстые в сентябре переехали в Москву.

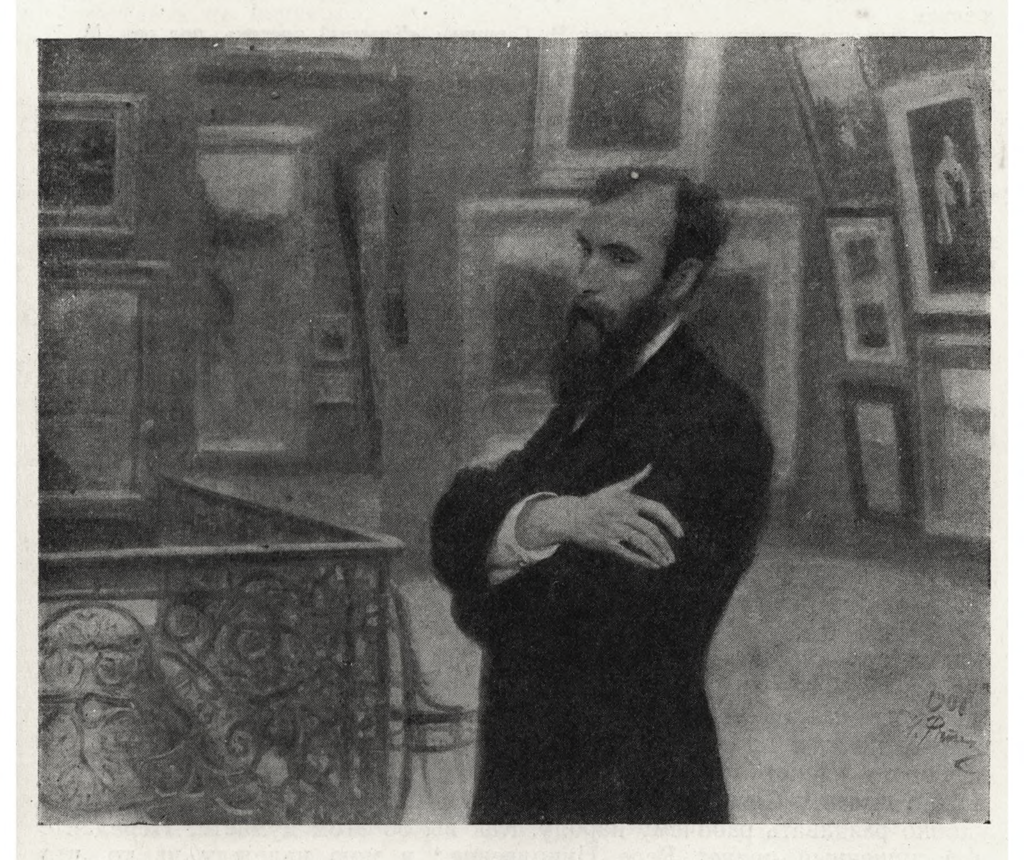
[1] Третьяков Павел Михайлович (1832—1898), основатель художественной галлереи, ошибочно названный Л. Толстым Павлом Дмитриевичем.

[2] Замечательная галлерея — собрание картин, рисунков и скульптуры, основанное П. М. Третьяковым в Москве в 1858 г.

2

Глубокоуважаемый Лев Николаевич.

Николай Александрович Ярошенко [1] пишет, что, кроме их кружка друзей Гаршина, задумали также издать сборник, посвященный его па-



П. М. ТРЕТЬЯКОВ

Портрет маслом работы И. Е. Репина, 1901 г.

Третьяковская галлерея, Москва

мяти[2], молодые писатели (Баранцевич, Альбов, Лихачев и др.), о чем уже публиковали, и что есть слух, что они получили или, наверно, получат вашу статью, и потому просит меня узнать: не дали ли вы или не обещали ли дать, полагая, что это тот же кружок, от имени которого через Н. А. Ярошенко — просил я вас? Если это так, т. е. статья дана или обещана, то нельзя ли исправить эту ошибку каким-либо способом?

Хотя я и знал, что вас в Москве нет, но был вчера у вас узнать не вернулись ли и, узнав, должен теперь беспокоить вас просьбой о сообщении мне вашего ответа.

На страстной неделе хотел попросить вашу запрещенную книжку[3], но вас уже не было. Данные вами мне брошюрки о вреде вина[4] очень полезно всем прочесть и применять возможно. Статьи о земледелии[5] прочел; в вашей есть глубокий смысл, но не в буквальном применении, которое при настоящем, да и пожалуй при всяком строе жизни положительно невозможно.

Будьте здоровы, глубоколюбимый Лев Николаевич.

Преданный вам П. Третьяков

10 мая [18]88.

Письмо хранится в рукописном отделении Всесоюзной библиотеки им. В. И. Ленина; датировка по оригиналу.

[1] Ярошенко Н. А. (1846—1899), живописец; писал портрет Толстого; в дневнике писателя за апрель 1894 г. сохранилась запись: «Приятно сблизился с Ярошенко».

[2] Сборники, посвященные памяти В. Гаршина: «Красный цветок», под ред. М. Н. Альбова, К. С. Баранцевича и В. С. Лихачева, СПБ., 1889, и «Памяти В. М. Гаршина», под ред. Я. В. Абрамова, П. О. Морозова и А. Н. Плещеева, 1889. Произведений Толстого в этих сборниках нет.

[3] Запрещенная книжка — «О жизни» Л. Толстого, признанная Московским духовным цензурным комитетом «подлежащей безусловному запрещению».

[4] Брошюрки о вреде вина — ряд популярных книжек против пьянства, выпущенных книгоиздательством «Посредник», в котором Толстой принимал участие.

[5] Статьи о земледелии — статья крестьянина Т. М. Бондарева «Трудолюбие и тунеядство, или торжество земледельца», с предисловием Л. Толстого. Была набрана для «Русской Старины» (январская книжка 1888 г.), но запрещена цензурой.

3

[11—12 мая 1888 г.]

<Мол[одые] писатели действительно обращались ко мне, и я написал им.> Правда, что когда ко мне обрат[ились] мол[одые] писатели, я смешал их с тем сборником, о котором вы мне говорили, и я написал им, что если бы мне пришлось написать что-нибудь о Гаршине, то <разумеется> никуда не отдал бы этого, как в их сборник о нем. Как вы видите, это очень далеко от обещания. Теперь же, судя по предстоящим мне занятиям и по состоянию моего здоровья, я даже совершенно уверен, что не буду в состоянии написать ничего ни в тот, ни в другой. Очень жалею, что не мог исполнить вашу просьбу.

Теперь о нашем согласии против пьянства[1]. Вы пишете о брошюрах о вине, что они хороши и что применять их возможно. Желал бы думать, что вы под этим разумеете то, что присоединяетесь к нашему согласию. На всякий случай посылаю вам листок[2], надеюсь, что вы, подписав его, присоедините и других членов. В особенности же желательно было бы вербовать членов между рабочим народом, фабричными. Книжки эти можно иметь у Сытина[3] по 1 р. 25 [к.] сотню и потому не убыточно и удобно раздавать рабочему народу. Как вы об этом думаете? Передайте мой душевный привет Вере Николаевне[4] и мою надежду на то, что и она с дочерьми сделается деятельным членом нашего согласия.

Письмо хранится в рукописном отделении Всесоюзной библиотеки им. В. И. Ленина. Датировка по тексту и дате предыдущего письма Третьякова от 10 мая 1888 г.,

на обороте которого написан ответ на него Толстого. Письмо продиктовано Толстым его дочери Татьяне Львовне. Оригинал крайне неразборчив и изобилует многочисленными помарками. Целый ряд недописанных слов мы восстанавливаем без оговорок. Письмо до сих пор не значилось в числе писем Толстого, зарегистрированных в рукописном отделении библиотеки.

[1] «Согласие против пьянства» основано Л. Толстым в 1887 г.; он сам первым записался в него. Члены Согласия подписывались в том, что они «порешили сами никогда ничего не пить пьяного» и «по мере сил внушать другим людям, особенно молодым и детям, о вреде пьянства и преимуществах трезвой жизни».

[2] Листок — текст подписки с обязательством не пить, рассылавшийся Л. Толстым.

[3] Сытин Иван Дмитриевич (1851—1934), известный издатель и книгопродавец. Выпустил сотни тысяч экземпляров народных изданий в книгоиздательстве «Посредник», редактором которого состоял В. Г. Чертков.

[4] Третьякова Вера Николаевна, урожд. Мамонтова (1844—1899), жена П. М. Третьякова.

4

Москва, 27 июля 1888 г.

Очень рад увидаться, глубокоуважаемый Николай Николаевич[1], только теперь летом очень трудно застать меня дома, потому хорошо, если бы удалось вам быть в Москве в субботу 30 июля, в этот день я буду дома, по крайней мере надеюсь быть, в воскресенье же поеду в Кострому и возвращусь в пятницу 5 августа. Глубочайший поклон Льву Николаевичу; скажите, чтобы простил, что не прислал подписку[2]; подписки я не дам, а так исполняю и надеюсь исполнять, других же привлекать не берусь.

Крепко жму руку и обнимаю.

Ваш П. Третьяков

Письмо хранится в рукописном отделении Всесоюзной библиотеки им. В. И. Ленина. Письмо написано на имя Н. Н. Ге, гостившего у Толстых в Ясной Поляне летом 1888 г. Часть текста письма — ответ на предыдущее письмо Толстого. Датировка по оригиналу.

[1] Ге Николай Николаевич — старший (1831—1894), художник. Принадлежал к числу лиц, наиболее близких к Толстому по взглядам. «Если меня нет в комнате, то Н. Н. может вам ответить: он скажет то же, что я»,— говорил о Ге Толстой. Ге был автором известного портрета Толстого (1884), изображающего писателя в момент творческой работы. Ге принадлежат иллюстрации к толстовскому рассказу «Чем люди живы» (1881).

[2] Подписка с обязательством не пить (см. предыдущее письмо).

5

[27 июля 1888 г.]

Пишу Николаю Николаевичу сегодня, не уверен только, дома ли он.

Очень обрадованы известием поправления вашего здоровья.

Глубоко благодарны за «Сонату»[1], так же, как ранее были за «Ивана Ильича»[2].

Письмо хранится в рукописном отделении Всесоюзной библиотеки им. В. И. Ленина. Датировка этой отдельной приписки, обращенной к Л. Н. Толстому, дана на основании текста: «Пишу Николаю Николаевичу сегодня» (см. письмо № 4).

[1] «Крейцерова соната» Л. Толстого, появившаяся в печати в 1890 г., но уже ранее распространявшаяся в рукописном виде.

[2] «Смерть Ивана Ильича» Л. Толстого, законченная в 1886 г.

6

[11 июня 1890 г.]

Павел Михайлович!

Я вчера увидал картину Ге «Что есть истина?»[1]. И теперь пишу в Америку моим друзьям там[2] письма об этой картине. Ее везут туда на днях[3]. Я ее видел и она мне более не нужна. Те русские, которые видели ее, тоже видели и она им больше не нужна, те, которые не увидят ее, если она по всем вероятиям останется за границей, не увидят ее, как

не увидали бы ее американцы, если бы она осталась в России. Я ни в каком отношении не признаю патриотизма, тем более в деле просвещения. Где бы ни разносили свет, все равно, только бы разносить. И потому я пишу вам об этой картине не потому, что для себя или для России желаю, чтобы картина осталась в ней, а пишу только для вас.

Выйдет поразительная вещь: вы посвятили жизнь на собирание предметов искусства живописи и собирали под ряд все для того, чтобы не пропустить в тысяче ничтожных полотен то, во имя которого стоило собирать все остальные.

Вы собрали кучу навоза для того, чтобы не упустить жемчужину. И когда прямо среди навоза лежит очевидная жемчужина, вы забираете все, только не ее.

Для меня это просто непостижимо. Простите меня, если оскорбил вас, и постарайтесь поправить свою ошибку, если вы видите ее, чтобы не погубить все свое многолетнее дело. Если же вы думаете, что я ошибаюсь, считая эту картину эпохой в христианском, т. е. в нашем истинном искусстве, то, пожалуйста, объясните мне мою ошибку.

Но, пожалуйста, не сердитесь на меня и верьте, что письмо это продиктовано мне любовью и уважением к вам. Про содержание моего письма вам никто не знает [4].

Любящий вас Л. Толстой

Письмо хранится в архиве Третьяковской галлереи. Датировка на основании записи в дневнике Толстого от 12 июня 1890 г.: «Вчера 11 я писал... Третьяк[ову]...».

[1] «Что есть истина?» Ге, 1890 (Третьяковская галлерея). Замысел написать эту картину появился у художника еще в 1889 г. 6 ноября этого года Ге писал Толстому: «Теперь с зимой я начал писать картину «Что есть истина?». Для этой картины я ездил в Киев, кое-что собрал. Теперь работаю, и на душе очень хорошо...». 17 января 1890 г. он писал Толстому об окончании картины: «...Я теперь делаю рисунки последней картины «Что есть истина?» главным образом, чтобы вам показать. Мне жалко будет, если вы не будете знать этой моей картины...». 28 января Ге привозит Толстому рисунок с картины, и Толстой отмечает в своем дневнике: «Очень хорошо». 14 февраля Толстой пишет Ге: «Все думаю о вас и о вашей картине. Очень хочется знать, как к ней относятся и кто как. Меня мучает то, что фигура Пилата мне как-то с этой рукой представляется как-то неправильной. Я ведь не утверждаю, а спрашиваю, и если знатоки скажут про эту фигуру, что правильно — то я успокоюсь. Об остальном я знаю и спрашивать ничьего мнения не желаю» («Л. Н. Толстой и Н. Н. Ге. Переписка», изд. «Academia», М.—Л., 1930, стр. 131—132).

[2] По поводу картины Ге «Что есть истина?» Л. Толстой написал в Америку большое письмо известному американскому публицисту Джорджу Кеннану (1845—1924), автору книги «Сибирь и ссылка», 1891 (письмо опубликовано во вступительной статье к книге «Л. Н. Толстой и Н. Н. Ге. Переписка», стр. 26—31). Толстой писал также Венделю Гаррисону, сыну Вильяма Гаррисона, борца за освобождение негров, и другим лицам. См. письмо Л. Толстого к Н. Н. Ге от 22 августа 1890 г.: «Из Америки коекто отвечали. Один Гаррисон пишет, что едва ли будет иметь успех, так как фиаско выставки картин Верещагина отбило охоту от русских картин» (ibid., стр. 133).

[3] Картину Ге «Что есть истина?» взялся везти в Америку присяжный поверенный Н. Д. Ильин, получивший для этой цели 2 000 руб. от Третьякова. Фактически Ильин выехал с картиной в Америку из Берлина только в декабре 1890 г.

[4] Позднее, в письме к Ге от 22 августа 1890 г., Толстой признается: «Третьякову я, грешный человек, писал, когда еще вы были у нас, под секретом от всех. Мне искренно было жалко его, что он по недоразумению упустил ту картину, во имя которой он скупает всю дрянь, надеясь на то, что, собрав весь навоз, попадет и жемчужина» («Л. Н. Толстой и Н. Н. Ге. Переписка», стр. 133).

7

[11 июня 1890 г.]

Писал вам спеша и боюсь, что не ясно. Не переписывая письма, прибавлю только для ясности еще следующее: прежде верили в божественность Христа и так и писали его, и была католич[еская] христианская живопись. Потом перестали верить в Христа как в бога и стали писать Христа как историческое лицо; но это не удавалось и это воззрение на Христа не дало больших художеств[енных] произведений, во 1-х, по-

тому, что это вызывало спор, во 2-х потому, что Христос как историческое лицо никак не мог быть так интересен, как Людов[ик] XIV, Кромвель, Бонапарт и т. п. И от этого последнее время все картины Христа были неудачны: не было найдено отношения к нему.

Картина Ге есть выражение нового отношения к Христу, состоящего в том, что изображается столкновение двух миров — языческого с христианским и выражается не как историческое яв[ление].

Черновик неоконченной и непосланной приписки к письму; печатается по автографу из архива В. Г. Черткова. Датировка по предыдущему письму, к которому относится этот отрывок. Хранится в рукописном отделении Толстовского музея в Москве.

Л. Н. ТОЛСТОЙ НА ПЕРЕДВИЖНОЙ ВЫСТАВКЕ

Рисунок Л. О. Пастернака, 5 апреля 1893 г.

Толстовский музей, Москва

8

18 июня 1890 г.

Глубокочтимый и глубоколюбимый Лев Николаевич!

Письмо ваше доставило мне сердечное удовольствие. Так говорить можно только тому, кого любишь, не беря в расчет, будет ли это приятно, — и вот это-то мне и дорого очень.

Я знал наверно, что картину снимут с выставки [1] и не позволят ее показывать где бы то ни было, следовательно, приобретение ее в настоящее время было бесполезно. Если выставить в галлерее, велят убрать, да еще наживешь надзор и вмешательство, чего, слава богу, пока нет,

и я дорожу этим. Картина Репина была снята не с Петербургской, а с Московской выставки [2] по недоразумению, вследствие переусердия, помимо воли государя, который и поправил дело, как только узнал; тут другое дело; я знал в самом начале, что картину снимут и сделают это тихо, незаметно, и действительно вышло так, что и не заметили и не возмутились [3]. Я знал также, что картину никто не купит и что если окажется после, что ее нужно и можно иметь, то я тогда и приобрету, так как приобрел же Христа в Гефсиманском саду [4] через 20 почти лет по написании его. Но не эти только соображения были. Я ее не понял. Я видел и говорил, что тут заметен большой талант, как и во всем, что делает Ге, и только. Я не могу, как вы желаете, доказать вам, что вы ошибаетесь, потому что не уверен, что не ошибаюсь сам, и очень бы был благодарен, если бы вы мне объяснили более подробно, почему считаете это произведение эпохой в христианском искусстве. Окончательно решить может только время, но ваше мнение так велико и значительно, что я должен, во избежание невозможности поправить ошибку, теперь же приобрести картину и беречь ее до времени, когда можно будет выставить. Мало вероятия, чтобы она осталась в Америке, туда пока приобретают только К. Маковского, и сами американские художники лишь подражатели французским; но так как вы туда пишете вашим друзьям, то может случиться, что и останется там, чего никак не желательно. Если же это может быть, то почему же не показать бы прежде в Европе? [5].

Теперь позвольте сказать несколько слов о моем собирании русской живописи.

Много раз и давно думалось: дело ли я делаю? Несколько раз брало сомнение, — и все-таки продолжаю. Положим, не тысячу, как вы говорите, а сотню беру ненужных вещей, чтобы не упустить одну нужную, но это не так для меня. Я беру, весьма может быть ошибочно, все только то, что нахожу нужным для полной картины нашей живописи, избегая по возможности неприличного. Что вы находите нужным, другие находят это ненужным, а нужным то, что для вас не нужно. Одни говорят — должно быть непременно поучительное содержание, другие требуют поэтического, третьи народного быта, и только его одного, четвертые только легкого, приятного, пятые прежде всего самой живописи, техники, колорита; и так далее без конца.

Народу нужно опять что-то другое, и приятелю вашему, начинающему такое хорошее дело, очень трудно будет угадать, что именно нужно народу? Он не поймет, да, пожалуй, и не возьмет такую картину, как «Что есть истина?».

На моем коротком веку так на многое уже изменились взгляды, что я теряюсь в решении: кто прав? и продолжаю пополнять свое собрание без уверенности в пользе дела. И так буду тянуть, без уверенности в пользе, но с любовью, потому что искренно люблю музеи и коллекции, куда бы можно притти отдохнуть от постоянных жизненных забот, а что люблю сам, то и другим желаю доставить.

Мое личное мнение то, что в живописном искусстве нельзя не признать главным самую живопись и что из всего, что у нас делается теперь, в будущем первое место займут работы Репина, будь это картина, портреты или просто этюды; разумеется, высокое содержание было бы лучше, т. е. было бы весьма желательно.

С нетерпением жду вашего полного мнения о искусстве [6], которое вы давно собирались написать.

Ваш преданный П. Третьяков

Письмо хранится в рукописном отделении Всесоюзной библиотеки им. В. И. Ленина. Ответ на предыдущее письмо; датировка по оригиналу.

[1] Картина Ге «Что есть истина?» была снята с XVIII передвижной выставки. Сам Ге писал по этому поводу Толстому 28 марта 1890 г.: «Много передумал и испытал треволнений; хотя и хорошо, что... картина оценена, что она действительно признана умственной и нравственной работой, но все-таки жаль, что она запрещена, жаль того, что общество в таком еще диком, идолопоклонническом состоянии, что не может выносить истины. Жаль не себя, а жаль других...» («Л. Н. Толстой и Н. Н. Ге. Переписка», стр. 132).

[2] Картина Репина «Николай-чудотворец избавляет от казни трех невинно осужденных в городе Мирах Ликийских» была закончена в 1888 г. и выставлена в Москве на XVII передвижной выставке в 1889 г. По цензурным соображениям картина была снята, но тут же приобретена Александром III. Толстой видел эту работу Репина на выставке и нашел ее «невозможной» — «все выдумано».

[3] Петербургские газеты и журналы замалчивали факт снятия картины с выставки.

[4] «В Гефсиманском саду» — картина Ге (1869), встретившая крайне враждебное отношение зрителей; Третьяков купил ее у Ге в 1887 г.

ДЕМОНСТРАЦИЯ ПЕРЕД ПОРТРЕТОМ Л. Н. ТОЛСТОГО РАБОТЫ И. Е. РЕПИНА НА ПЕРЕДВИЖНОЙ ВЫСТАВКЕ В ПЕТЕРБУРГЕ (1901 г.)

Фотография

Толстовский музей, Москва

[5] Картина Ге «Что есть истина?» была до Америки показана Н. Д. Ильиным в Гамбурге, Берлине и Ганновере.

[6] Это «полное мнение» Толстой высказал в своей работе «Что такое искусство?», появившейся только в 1897—1898 гг.

9

[30 июня 1890 г.]

Спасибо за доброе письмо ваше, почтенный Павел Михайлович.

Что я разумею под словами: картина Ге [1] составит эпоху в истории христианского искусства? Следующее: католическое искусство изображало преимущественно святых, мадонну и Христа как бога. Так это шло до последнего времени, когда начались попытки изображать его как историческое лицо. Но изображать как историческое лицо то[го], лицо к[оторого] признавалось веками и признается теперь миллионами людей богом, неудобно: неудобно, потому что такое изображение вызывает

спор. А спор нарушает художественное впечатление. И вот я вижу много всяких попыток выйти из этого затруднения. Одни прямо с задором спорили, таковы у нас картины Верещагина, даже и Ге Воскресенье[2]; другие хотели третировать эти сюжеты, как исторические, у нас Иванов[3], Крамской[4], опять Ге, Тайная вечеря[5], <Поленов «Грешница[6]>. Третьи хотели игнорировать всякий спор, а просто брали сюжет как всякий знакомый и заботились только о красоте <(Доре[7]. Поленов[8])>. И все не выходило дело. Потом еще были попытки свести Христа с неба как бога и с пьедестала исторического лица на почву <христианской> простой, обыденной жизни <освещенной>, придавая этой обыденной жизни религиозное освещение, несколько мистическое. Таково Ге Милосердие[9] и франц[узского] художника Христос в виде священника, босой среди детей[10] и др. И все не выходило. И вот Ге взял самый простой и теперь понятный после того, как он его взял, мотив: Христос и его учение не на одних словах, а и на словах и на деле в столкновении с учением мира, т. е. тот мотив, к[оторый] составлял тогда и теперь составляет <сущность> главное значение явления Христа и значение не спорное, а такое, с к[оторым] не могут не быть согласны и церковники, признающие его богом, и историки, признающие его важным лицом в истории, и христиане, признающие главным в нем его практическое учение. На картине изображен с совершенной исторической верностью тот момент, когда Христа водили, мучали, били, таскали <(из одной кутузки в другую)> от одного начальства к другому и привели к губернатору, добрейшему малому, к[оторому] дела нет ни до Хр[иста], ни до евр[еев], ни еще меньше до какой-то истины, о кот[орой] ему, знакомому со всеми учеными и философами Рима, толкует этот оборванец, ему дело только до высшего начальства, чтоб не ошибиться перед ним. Христос видит, что перед ним заблудший человек, <заплывший жиром>, но он не решается отвергнуть его по одному виду и потому начинает высказывать ему сущность своего учения. Но губернатору не до этого, он говорит: какая такая истина? и уходит. И Хр[истос] смотрит с грустью на этого непронизываемого человека. Таково было положение тогда, таково положение тысячи, миллионы раз повторяется везде всегда между учением истины и представителями сего мира. И это выражено на картине. И это верно исторически и верно современно и потому хватает за сердце всякого того, у кого есть сердце.— Ну вот такое-то отношение к христианству и составляет эпоху в искусстве, потому, что такого рода картин может быть бездна и будет.

Пока до свиданья. Любящий вас Л. Толстой

Письмо хранится в архиве Третьяковской галлереи. Опубликовано без даты в Сочинениях гр. Л. Толстого, М., 1911, т. XX, стр. 352—353; с неправильной датировкой (февраль), ошибками и пропусками приведено во вступительной статье к книге «Л. Н. Толстой и Н. Н. Ге. Переписка», стр. 23—25. Новая датировка (30 июня 1890 г.) основывается на записи в дневнике Толстого от 30 июня того же года: «Писал утром Трет[ьякову]».

[1] Картина Ге «Что есть истина?».

[2] Картина Ге «Утро воскресенья» (1867), Третьяковская галлерея.

[3] Иванов Александр Андреевич (1806—1858), художник, автор картины «Явление Христа народу».

[4] Крамской Иван Николаевич (1837—1887), художник, автор картины «Христос в пустыне» (1872).

[5] «Тайная вечеря» Ге, написана в 1863 г., Русский музей в Ленинграде.

[6] Картина В. Д. Поленова «Христос и грешница» (1887), Русский музей в Ленинграде. Первоначально картина называлась «Кто из вас без греха?», но это название цензура запретила.

[7] Доре Гюстав (1832—1883), французский художник, автор иллюстраций к библии.

[8] Свидетельством взаимоотношений Толстого и Поленова служат два неопубликованных до сих пор их письма друг к другу (рукописное отделение Толстовского музея). Письмо В. Поленова:

27 мая [190]9 г.

Глубокоуважаемый Лев Николаевич,

Посылаю вам альбом моей выставки. Так как вы не видали, то мне хотелось бы дать вам понятие о красках, и я начал раскрашивать, но выходит плохо, и я бросил. Не взыщите, «чем богаты, тем и рады».

В. Поленов

Ответное письмо Л. Толстого:

Ясная Поляна, 3 июня 1909 г

Очень благодарен вам, Василий Дмитриевич, за присылку вашего альбома. По рассказам я имел очень неопределенное понятие о вашей выставке, но альбом ваш произвел на меня сильное впечатление. Воображаю, как подействовала бы на меня сама выставка, и очень, очень сожалею, что не мог видеть ее. Не говоря уже о красоте картин и том сочувственном мне отношении вашем к изображаемому предмету, самый этот огромный труд, положенный вами на это дело, вызывает глубокое уважение к художнику.

Само собой разумеется, что раскрашивание, хотя вы его и начали, не может передать красок, но благодарю вас за намерение сделать это для меня.

Кроме всех других значений, ваша выставка имеет, по моему мнению, еще значение педагогическое. Нельзя в лучшей форме передать детям историю Христа, как по вашим картинам.

Еще раз благодарю вас.

Ваш Л. Толстой

[9] «Милосердие» — картина Ге (1880), уничтоженная автором.

[10] «Христос, окруженный детьми» — работа неизвестного французского художника, которую Толстой, очевидно, видел в репродукции.

10

[7—13 июня 1894 г.]

Павел Михайлович.

Вот пять дней уже прошло с тех пор, как я узнал о смерти Ге, и не могу опомниться.

В этом человеке соединялись для меня два существа — три даже — 1) один из милейших, чистейших и прекраснейших людей, которых я знал, 2) друг, нежно любящий и нежно любимый не только мной, но и всей моей семьей от старых до малых, и 3) один из самых великих художников, не говорю России, но всего мира. Вот об этом-то третьем значении Ге мне и хотелось сообщить вам свои мысли. Пожалуйста, не думайте, чтобы дружба моя ослепляла меня: во-первых, я настолько стар и опытен, чтобы уметь различать чувство от оценки, а во-вторых, мне незачем из дружбы приписывать ему такое большое значение в искусстве: мне было бы достаточно восхвалять его, как человека, что я и делаю и что гораздо важнее.

Если и ошибаюсь, то ошибаюсь не из дружбы, а оттого, что имею ложное представление об искусстве. По тому же представлению, которое я имею об искусстве, Ге между всеми современными художниками, и русскими и иностранными, которых я знаю, все равно, что Мон-Блан перед муравьиными кочками. Боюсь, что это сравнение покажется вам странным и неверным, но если вы станете на мою точку зрения, то согласитесь со мной. В искусстве, кроме искренности, т. е. того, чтобы художник не притворялся, что он любит то, чего не любит, и верит в то, во что не верит,— как притворяются многие теперь будто бы религиозные живописцы,— кроме этой черты, которая у Ге была в высшей степени,— в искусстве есть две стороны: форма — техника, и содержание — мысль. Форма — техника выработана в наше время до большого совершенства. И мастеров по технике в последнее время, когда обучение стало более доступно массам, явилось огромное количество, и со временем явится еще больше; но людей, обладающих содержанием, т. е. художественною мыслью, т. е. новым освещением важных вопросов жизни, таких людей, по мере усиления техники, которой удовлетворяются мало развитые любители, становилось все меньше и меньше, и в последнее время стало так мало, что все, не только наши выставки, но и заграничные салоны наполнены или картинами, бью-

щими на внешние эффекты, или пейзажи, портреты, бессмысленные жанры и выдуманные исторические или религиозные картины, как Уде[1] или Беро[2], или наш Васнецов[3]. Искренних сердцем, содержательных картин нет. Ге же главная сила в искренности, значительном и самом ясном, доступном всем содержании. Говорят, что его техника слаба, но это неправда. В содержательной картине всегда техника кажется плохою, для тех особенно, которые не понимают содержания. А с Ге это постоянно происходило. Рядовая публика требует Христа иконы, на которую бы ей молиться, а он дает ей Христа живого человека, и происходит разочарование и неудовлетворение, вроде того, как если бы человек готовился бы выпить вина, а ему влили в рот воды, человек с отвращением выплюнет воду, хотя вода здоровее и лучше вина.

Я нынче зимою был три раза в вашей галлерее и всякий раз невольно останавливался перед «Что есть истина?» совершенно независимо от моей дружбы с Ге и забывал, что это его картина. В эту же зиму у меня были два приезжие умные и образованные крестьянина, так называемые молокане, один из Самары, другой из Тамбова[4]. Я посоветовал им сходить в вашу галлерею. И оба, несмотря на то, что я им ничего не говорил про картину Ге, оба они были в разное время,— были более всего поражены картиной Ге «Что есть истина?».

Пишу вам это мое мнение затем, чтобы посоветовать приобрести все, что осталось от Ге, так, чтобы ваша, т. е. национальная русская, галлерея не лишилась произведений самого своего лучшего живописца с тех пор, как существует русская живопись.

Очень жалею, что не видал вас нынче зимою. Желаю вам всего хорошего.

Любящий вас Лев Толстой

Печатается по рукописной копии, хранящейся в рукописном отделении Толстовского музея. Местонахождение оригинала не известно. Опубликовано впервые в книге Т. Л. Сухотиной-Толстой «Друзья и гости Ясной Поляны» (М., 1923, стр. 81—84) с датой 14 июня 1894 г.; с той же датой помещено в книге «Л. Н. Толстой и Н. Н. Ге. Переписка», стр. 23—25. В тексте письма сказано: «Вот пять дней... как я узнал о смерти Ге». Толстой узнал о смерти Ге 2 июня (см. дневник 2 июня 1894 г.). Позднее, в письме к П. Н. Ге (сыну художника), написанном по тому же поводу, очевидно, 7—13 июня, Толстой сообщает: «Я начал писать Третьякову, чтобы разъяснить ему все значение Ге как художника, с тем, чтобы он приобрел и поместил все оставшееся; надеюсь кончить письмо и послать ему нынче же» («Л. Н. Толстой и Н. Н. Ге. Переписка», стр. 186). Таким образом, письмо писалось в два приема; помечаем его 7—13 июня.

[1] Уде Фриц-Карл (Uhde, 1848—1911), немецкий художник-жанрист, изображавший сюжеты из евангелия в современной нам, главным образом, крестьянской, обстановке.

[2] Беро Жан (Béraud Jean, род. в 1848 г.), французский художник-жанрист. В 90-х годах написал несколько картин на евангельские сюжеты. Наиболее известны «Дорога креста» и «Мария-Магдалина».

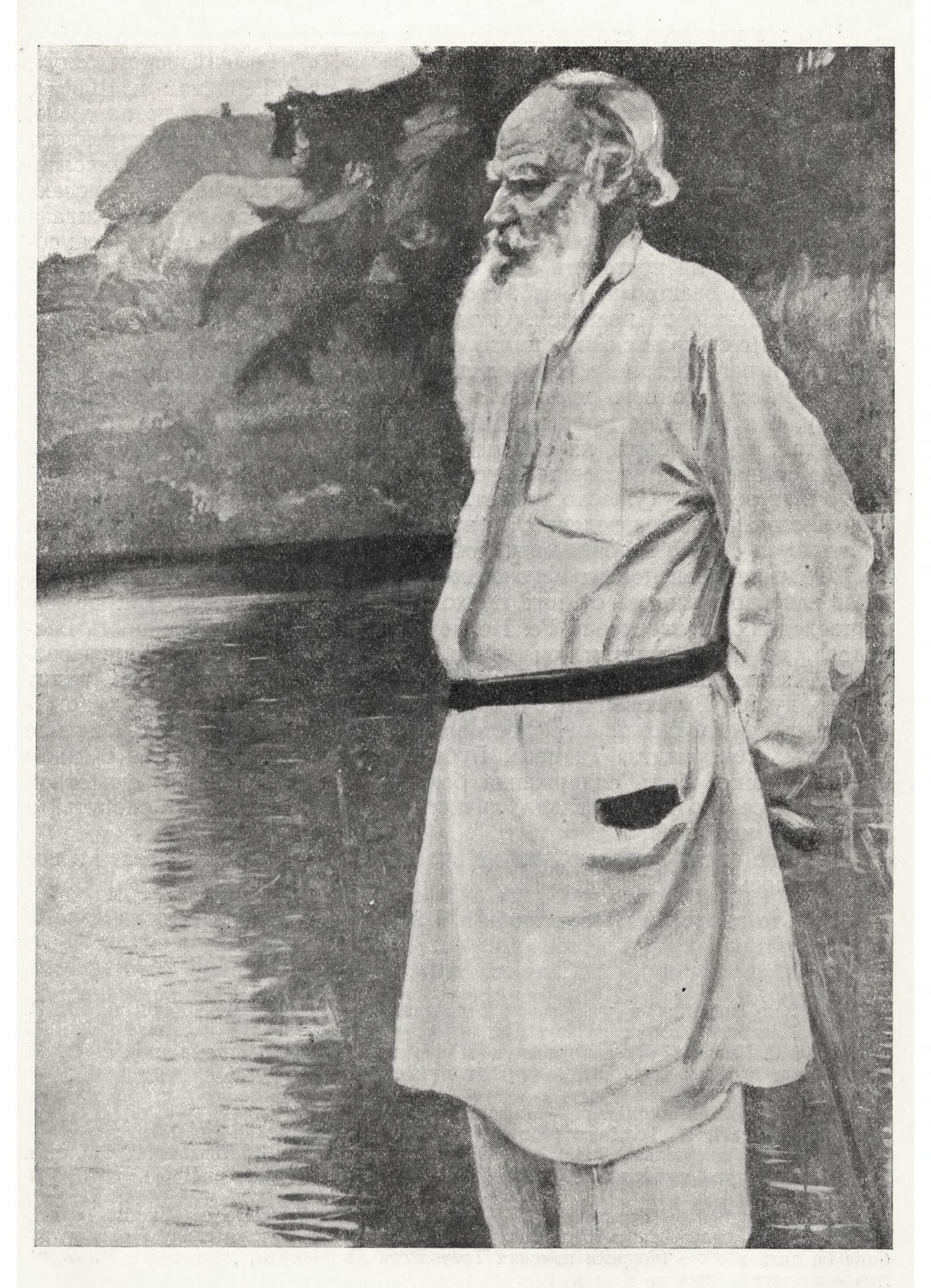
[3] Васнецов Виктор Михайлович (1848—1926), художник. Толстой в работе «Что такое искусство?» осуждал Васнецова за его религиозные композиции («скверное подражание подражаний, не содержащее в себе ни одной искры чувства») и хвалил за иллюстрацию к рассказу Тургенева «Перепелка», считая ее истинным произведением искусства.

[4] Два приезжих умных и образованных крестьянина — Емельян Ещенко из Воронежа (а не из Самары) и Михаил Петрович Тарабарин из Тамбова.

11

29 июня 1894 г.

Простите, дорогой Лев Николаевич, что так долго не отвечал вам: свадьба дочери, поездка в Кострому и разные дела мешали. Николая Николаевича[1] я тоже очень любил, как человека, и глубоко уважал, как художника, вообще я всегда говорил, что это действительно настоящий художник.



Л. Н. ТОЛСТОЙ
Портрет маслом работы М. В. Нестерова, 1907 г.
Толстовский музей, Москва

Что же касается его произведений, в частности, более всего люблю «Тайную вечерю», потом «Петра с Алексеем», «В Гефсиманском саду», «Выход с тайной вечери» (эскиз), портрет ваш [2], Герцена [3] и Шифа [4], много хорошего в «Милосердии»; других же его картин я не понимаю. В свое время я откровенно сказал вам о непонимании художественного значения «Что есть истина?». То же самое я сказал и Николаю Николаевичу, когда приобретал картину. За границей картина не имела успеха (нельзя брать в расчет статьи, оплаченные Ильиным), скорее возбуждала недоумение [5]. Когда я вновь посмотрел на нее по возвращении, то усомнился, можно ли поставить ее в галлерею. Никому она и из моего семейства, и из знакомых, и из художников, кроме, может быть, только Н. А. Ярошенко, не нравится. Спрашиваю время от времени прислугу галлереи, и оказывается, что никто ее не одобряет, а осуждающих, приходящих в негодование и удивляющихся тому, что она находится в галлерее,— масса. До сего времени я знаю только троих, оценивших эту картину, и к ним еще могу прибавить двух посетителей, о которых вы говорите [6]; может быть, на самом деле только и правы эти немногие и Правда со временем восторжествует, но когда? В последней его картине [7] много интересного (ужасно талантливо), но это, по моему мнению, не художественное произведение; я это сказал Николаю Николаевичу; я не стыжусь своего непонимания, потому что иначе я бы лгал. Я люблю произве́дения Васнецова и не опасаюсь это говорить, хотя, может быть, да и наверное, многие от них приходят в такой же ужас, как другие от последних произведений Ге. Не могу подозревать неискренность Васнецова, не имею данных, он давно, очень задолго до киевских росписей [8], занимался компановкой церковной живописи, да и кто видит чужую душу? Вы говорите о портретах и пейзажах. Из всех художественных произведений мне доставляют самое большое наслаждение портреты Рембрандта, Тициана, Рубенса, Вандика, Гольбейна. В ином пейзаже может быть содержания больше, чем в сложной сюжетной картине. Все это дело взгляда, личного отношения, как тут спорить? и как знать, кто прав?

Я тоже очень сожалею, что не видал вас зимой, все собирался и все не удавалось.

Будьте здоровы, глубоколюбимый Лев Николаевич.

П. Третьяков

Письмо хранится в рукописном отделении Всесоюзной библиотеки им. В. И. Ленина. Датировка по оригиналу. На конверте письма помета Толстого: «Б. О.» (без ответа). Толстой ответил на него только после второго письма к нему П. М. Третьякова, от 12 июля 1894 г.

[1] Ге Николай Николаевич — старший.

[2] Портрет Л. Н. Толстого работы Ге (1884), Третьяковская галлерея.

[3] Портрет писателя А. И. Герцена работы Ге (1867), Третьяковская галлерея.

[4] Портрет американского доктора-физиолога Шифа работы Ге (1867), Третьяковская галлерея.

[5] За границей (в Германии и в Америке) картина Ге «Что есть истина?» действительно не пользовалась большим успехом. Наиболее положительную оценку работы Ге дала все же (вопреки намекам Третьякова на подкупы, делавшиеся Ильиным) демократическая пресса.

[6] См. последнее примечание к предыдущему письму.

[7] Последняя картина — «Распятие» Ге (1894), произвела сильное впечатление на Толстого и вызвала его высокую оценку. С передвижной выставки в Петербурге картину сняли тотчас же после отрицательного замечания в. кн. Владимира («это бойня»), но Ге удалось выставить ее на частной квартире.

По поводу снятия картины Толстой написал Ге письмо (14 марта 1894 г.), в котором рассматривал этот факт, как «торжество» художника: «Когда я в первый раз увидал, я был уверен, что ее снимут, и теперь, когда живо представил себе обычную выставку с их величествами и их высочествами, с дамами, и пейзажами и nature

morte'ами, мне даже смешно подумать, чтобы она стояла». Сам Ге считал «Распятие» лучшим своим произведением, и запрещение картины тяжело отразилось на нем.

К теме, затронутой Ге в картине «Распятие», Толстой возвращался не раз; см. в дневнике А. С. Суворина за 1896 г. (изд. Френкеля, М.—Л., 1925, стр. 80) — споры Толстого с Б. Н. Чичериным.

[8] Киевские росписи В. Васнецова во Владимирском соборе. Подготовительные оригиналы (12 номеров) к этим росписям находятся в Третьяковской галлерее.

12

Отвечая вам, глубокоуважаемый Лев Николаевич, забыл упомянуть еще следующее. Вы говорите, публика требует Христа-икону, а Ге дает Христа — живого человека. Христа-человека давали многие художники, из иностранных сейчас припомню только Мункачи[1]; из наших Иванов (создавший превосходный тип Иоанна Крестителя по византийским образцам) и Ге в «Тайной вечери» и в «В Гефсиманском саду»; но в «Что есть истина?» Христа совсем не вижу. Более всех для меня понятен «Христос в пустыне» Крамского; я считаю эту картину крупным произведением и очень радуюсь, что это сделал русский художник, но со мною в этом, может быть, никто не будет согласен.

Будьте здоровы, сердечнолюбимый Лев Николаевич!

Преданный вам П. Третьяков

12 июля 1894 г.

Письмо хранится в рукописном отделении Всесоюзной библиотеки им. В. И. Ленина. Датировка по оригиналу.

[1] Мункачи (1844 — 1900), венгерский живописец. Его картина «Христос перед Пилатом» в начале 90-х годов была приобретена филадельфийским миллионером Эрлем за 156 тысяч долларов.

13

15 июля [1894 г.]

Павел Михайлович!

Мне хотелось ответить на ваше предпоследнее письмо, но я решил лучше молчать, так как, очевидно, я не могу вам передать ту мою оценку последних произведений Ге, которая будет через 100 лет всеми признанною, но, получив ваше последнее письмо, не могу удержаться, чтобы не ответить на ваше замечание о том, что так как одни ужасаются на последние картины Ге, а другие на — не умею, как назвать — мазню Васнецова, которая висит у вас в галлерее, то доказательства в пользу и против того и другого равны. Это совсем несправедливо. Люди ужасаются на произведения Васнецова, потому что они исполнены лжи, и все знают, что ни таких Христов, ни Саваофов, ни богородиц не было, не могло быть и не должно быть.

Люди же, ужасающиеся на произведения Ге, ужасаются только потому, что не находят в нем той лжи, которую они любят. О значении последних произведений Ге я вам писал когда-то: в них выражен не Христос как человек, один сам с собой и с богом, как у него же в Гефсиманском саду и у Крамского в пустыне (это лучший Христос, которого я знаю), а Христос в известном, олицетворяющем всегдашнее и теперешнее положение всех последователей Христа, отношении его к окружающему миру. Таков он и в «Что есть истина?», и в «Повинен смерти»[1], в «Распятии». И тут мотив другой, и отношение зрителя должно быть другое. Если же зритель уперся и хочет видеть в произведении искусства то, что ему хочется видеть, а не то, что ему хочет показать художник, то, очевидно, он будет не удовлетворен до тех пор, пока не поднимется до высоты понимания художника.

Читали ли вы письмо Антокольского о французской живописи? [2]. Оно перепечатано в Северном Вестнике; он пишет там об акварелях Тиссо [3] из жизни Христа и совершенно верно замечает, что то, что сделал Тиссо, сделано Ивановым 40 лет тому назад. То же будет и с картинами Ге. Лет через 100 иностранцы попадут наконец на ту простую, ясную и гениальную точку зрения, на которой стоял Ге, и тоже задним числом какой-нибудь русский критик догадается, что то, что кажется таким новым и гениальным, уже 100 лет было показано людям нашим художником Ге, которого мы не поняли. Очень жалею о полном нашем разногласии.

С совершенным уважением ваш Лев Толстой

Письмо печатается по машинописной копии, хранящейся в рукописном отделении Толстовского музея. Дата копии — 15 июля — дополняется годом, на основании писем адресата и упоминания в дневнике Толстого от 15 июля 1894 г.: «Утром писал письмо Третьякову».

[1] «Повинен» («Суд синедриона») Ге (1892), Третьяковская галлерея. Л. Толстой живо интересовался работой Ге над этой картиной. В письме от 22 сентября 1892 г. он усиленно просил Ге переписать фигуру Христа, сделав его «с простым добрым лицом и с выражением сострадания — таким, какое бывает на лице доброго человека, когда он знакомого, доброго старого человека видит мертвецки пьяным, или что-нибудь в этом роде». Ге впоследствии принял во внимание замечания Толстого и внес соответствующие изменения в свою картину.

[2] Статья Антокольского о новой французской живописи была напечатана под заглавием «Правда и ложь в искусстве» в газете «Новости» (от 21 мая 1894 г.) и перепечатана в «Северном Вестнике» (1894, № 7, стр. 91—94).

[3] Тиссо Ж.-Ж. (1836—1902), французский исторический и жанровый живописец. Известен своими иллюстрациями «Жизнь Христа» и акварелями на евангельские темы.

14

[16 июля 1894 г.]

Павел Михайлович. В дополнение к тому, что писал вам вчера, хочется сказать вам еще следующее: различие главное между Ге и Васнецовым еще в том, что Ге открывает людям то, что впереди их, зовет их к деятельности и добру и опережает свое время на столетия, тогда как Васнецов зовет людей назад, в тот мрак, из которого они с такими усилиями и жертвами только-что выбираются, зовет их к неподвижности, суеверию, дикости и отстает от своего времени на столетие. Простите меня, пожалуйста, если я своими суждениями огорчаю или оскорбляю вас. Признаюсь, меня волнует и поражает то, что я в вас встречаю то суждение, которое свойственно только людям, равнодушно и поверхностно относящимся к искусству. Ведь если есть какое-нибудь оправдание всем тем огромным трудам людей, которые сосредоточены в виде картин в вашей галлерее, то это оправдание только в таких картинах, как Христос Крамского и картины Ге, и, главное, его картина: «Что есть истина?». И вы эту-то самую картину, которая одна во всем вашем собрании сильнее и плодотворнее всех других трогает людей, вы ее-то считаете недостойной стоять в одном здании с дамами Лемана [1] и т. п. Вы говорите: «Распятие» нехудожественно. Да художественных картин не оберешься. Рынок завален ими, но горе в том, что они никому ни на что не нужны, и только обличают праздность и роскошь богатых, служат уликой им в их грехах. А содержательных, искренних — содержательных нет, или очень, очень мало, а только одни такие картины имеют право существовать, потому что нравственно служат людям. Ну, да я знаю, что я не убежу вас, да это и не нужно. Произведения настоящие, нужные человечеству, как картины Ге, не погибают, а своим особенным путем завоевывают себе признание. Оно иначе и быть не может. Если бы гениальные произведения были сразу всеми поняты, они бы не были гениальные произведения. Могут быть произведения непонятны, но вместе

с тем плохи; но гениальное произведение всегда было и будет непонятно большинству в первое время.

Еще раз простите меня, если был вам неприятен резкостью тона и примите уверение моего совершенного уважения.

Л. Толстой

Письмо представляет дополнение к предыдущему письму; опубликовано с неверной датой и пропуском имени Васнецова в книге Т. Л. Сухотиной-Толстой «Друзья и гости Ясной Поляны» (М., 1923, стр. 84—85) и во вступительной статье к книге «Л. Н. Толстой и Н. Н. Ге. Переписка», стр. 53—54. Местонахождение оригинала неизвестно. Датировка по тексту письма.

[1] Леман Ю. Я. (род. в 1834 г.), портретист. В собрании Третьякова был его портрет «Дама в костюме Директории». Для сопоставления с мнениями Толстого и Третьякова об этой вещи характерен отзыв В. В. Стасова: «Дама в костюме времен Директории превосходит их всех (остальные портреты) грацией позы и улыбающегося личика, а также превосходным, очень элегантным (впрочем, без всякого сахара и преувеличения) письмом лица, шеи, груди, обнаженных рук и розового атласа на платье и старинной шляпе с громадными выгнутыми полями» (Стасов В., Художественные выставки 1879 г. Статья первая,— Собр. соч. Стасова, т. I, 1894, СПБ.).

15

Дорогой Лев Николаевич.

Я глубоко благодарен за ваши письма. Говорю это совершенно искренно, но опять так же не могу согласиться с вами, не могу убедиться никакими доказательствами, если сам того не чувствую. Срок-то вы полагаете слишком долгий. 100 лет — легко сказать! через сто лет, может быть, и признаются всеми последние произведения Ге, а, может быть, и совсем другое потребуется. Когда 37 лет назад выставлялась картина Иванова[1], то тогда же говорилось всеми, кому удавалось видеть композиции его, что нужно видеть именно их, чтобы вполне оценить Иванова; все, кому пришлось позже ознакомиться с ними у Сергея Андреевича (брата художника)[2], были о них высокого мнения, а по смерти последнего, в 1879 г., сделались известными всей Европе[3], так как издание рассылалось во все библиотеки, и вот теперь, говорят, у Тиссо есть заимствование оттуда; я это слышал уже ранее появления статьи Антокольского.

Для признания Иванова не потребовалось длинного срока.

Не я считаю пятном галлереи картину «Что есть истина?». К ней, как к труду истинного и высокоуважаемого мною художника, я отношусь с должным уважением. Когда получил и вновь посмотрел на картину, повторяю, усомнился, можно ли поместить в публичную галлерею? боясь оскорбить православный русский народ, и опасения мои оказались основательными; повторяю, одобряющих картину вслух — совсем нет, а порицающих и возмущающихся так много, что я опасаюсь, как бы в порыве негодования кто-нибудь не уничтожил ее или не потребовал бы убрать.

Я нахожу, что иметь один экземпляр необходимо и сохранить его и вообще для истории искусства и для будущего суда; но если бы я проникся необходимостью приобрести «Повинен» и «Распятие», то ведь поместить-то их в галлерею было бы невозможно: они могут только сохраниться в частных руках, а в общественных галлереях выставить не позволят.

Что же касается до ничтожности вещи вроде портретов Лемана, вы правы, но в деле живописного искусства есть сама живопись, и я совершенно понимаю Репина, решившегося печатно признаться, что он совершенно равнодушен к благим намерениям, а восхищается всяким

пустяком, художественно написанным, иначе и не может быть для тех, кто любит собственно живописное искусство [4].

В наших разногласиях не может быть, чтобы не были правы вы, и, наверное, заблуждаюсь я, но если и заблуждаюсь, то искренно.

Сердечно любящий вас П. Третьяков

26 июля 1894 г.

Письмо хранится в рукописном отделении Всесоюзной библиотеки им. В. И. Ленина. Датировка по оригиналу.

[1] Картина А. А. Иванова «Явление Христа народу» впервые выставлялась в России в июне 1858 г., в Петербурге, вместе со всеми этюдами и эскизами к ней.

[2] Иванов Сергей Андреевич (1822—1877), архитектор; к нему перешли по наследству все композиции А. А. Иванова на евангельские темы.

[3] Речь идет, очевидно, об «Эскизах из священной истории» Иванова, изданных в хромолитографиях в 1879—1887 гг. германским Археологическим институтом в Берлине.

[4] Печатное признание Репина: «Никакие благие намерения автора не остановят меня перед плохим холстом... Всякий бесполезный пустяк, исполненный художественно, тонко, изящно, со страстью к делу,— восхищает меня до бесконечности, и я не могу достаточно налюбоваться на него, будь это ваза, дом, колокольня, костел, ширма, портрет, драма, идиллия» (Репин И., Письма об искусстве,— «Театральная Газета», 1893, № 22, письмо первое). По поводу этих и позднейших высказываний Репина, отмеченных положительно Третьяковым, крайне отрицательно высказывался В. В. Стасов.

16

18 сентября 1898 г.

Дорогой Павел Михайлович, пишу вам не о художественных делах, а прошу вашей денежной помощи несчастным духоборам [1], находящимся в настоящее время в очень тяжелом положении. Прилагаю выписку из письма моего друга Черткова, заведующего вместе с комитетом квакеров делами переселения духоборов. Из этой выписки вы увидите, как много нужно денег, которых нет и которые непременно надо достать, потому что духоборы продали свое имущество, тронулись с своих мест, и каждый день ухудшает их положение и из богатого трудолюбивого населения прежде приводит их все ближе и ближе к нищенству.

Вина этих людей только в том, что они, в жизни своей исполняя учение Христа, отказываются от участия в войне. За это их мучали, разоряли, ссылали, заморили 10%, и теперь им угрожает погибель. Друзья мои надеются собрать много денег за отданные мною для этой цели две повести [2], но это будет не скоро, и денег этих все-таки будет мало, и потому я обращаюсь к добрым и богатым людям, прося помочь.

Помогите, сколько вам бог положит на сердце. Если захотите ответить мне, то пишите, пожалуйста, в Тулу заказным письмом с обратной распиской, а то письма ко мне часто пропадают.

С искренним уважением остаюсь любящий вас

Л. Толстой

Письмо хранится в рукописном отделении Толстовского музея. Датировка по оригиналу.

[1] В поисках денежных средств для переезда и устройства духоборов, выселяемых в Канаду, Толстой обратился с просьбой о помощи к «добрым и богатым людям».

[2] Две повести — «Вступление к истории матери» (1891) и «Воскресение».

17

Москва, 28 сентября 1898 г.

Дорогой, глубокоуважаемый Лев Николаевич. Очень сожалею, что по отсутствию запоздан ответ вам. Я не могу принять участия в расхо-

дах переселения духоборов, потому что не только не сочувствую этому делу, а поражен им. Путешествуя осенью 1875 г. по Закавказью, я встречал духоборов и других русских сектантов, приходилось и разговаривать, это были симпатичные, трудолюбивые, зажиточные, вполне русские люди, более русские, чем окрестные здешние крестьяне, нисколько не озлобленные и не жалующиеся на свою судьбу, хотя по расспросам более старых о России заметно было, что они как будто скучают по чему-то. После того была большая война[1], и все было между ними тихо и благополучно. Никаких волнений не было, следовательно, если во время войны их на войну не брали, как же теперь в мирное время? От какого участия в войне приходится им отказываться? Значит дело не только в этом. Как было слышно, все горе началось от злоупотребления в их имущественных распорядках[2], была, как говорят, судебная ошибка, вызвавшая волнение, затем выселение и быть может и большие бедствия. Что же тут можно делать? Им, разумеется, терпеть (ведь не 2 000 только терпят у нас, а на всем-то свете сколько!), пережидать, от перемены одного министра часто все вокруг меняется; а соболезнующим о них насколько возможно — обеспечить их положение.

Но выкинуть из своей страны 2 000 лучших людей на произвол судьбы; погубить уже не 10% (не верю этой цифре), а много более, остальным же предоставить чахнуть от тоски по родине и потомство их обратить в канадцев — это я нахожу просто преступным, и мне думается, что и вы и Чертков, а, может быть, также и квакеры есть только орудия — измысливших это переселение.

Если дело, бог даст, не состоится и потребуются средства на улучшение участи их на наших местах, то тогда я непрочь принять участие в денежной помощи. Вот все, что я мог ответить вам, дорогой мне и глубоколюбимый Лев Николаевич.

Сердечно преданный вам П. Третьяков

Письмо хранится в рукописном отделении Всесоюзной библиотеки им. В. И. Ленина. Датировка по оригиналу.

[1] Русско-турецкая война 1877—1878 гг.

[2] Здесь Третьяков имеет в виду разногласия среди сосланных на Кавказ духоборов и связанные с этим действия царского правительства. Причиной разногласия было оспаривание права управления общественным имуществом и капиталом, разделившее духоборов на две партии.

ПЕРЕПИСКА ТОЛСТОГО С В. С. СОЛОВЬЕВЫМ

Публикация П. Попова

Владимир Сергеевич Соловьев (1853—1900) находился в общении с Толстым с 1875 г. Биограф Соловьева, В. Величко, пишет: «Владимир Соловьев долгое время считал себя хотя не единомышленником, но «попутчиком» Л. Н. Толстого в отстаивании свободы совести и племенной самобытности российских инородцев, а также в критике тех сторон нашего церковного строя и быта, которые [Соловьев] считал пережитками средневекового мировоззрения» [1].

Был момент, когда для официальных кругов русского царизма имена Толстого и Соловьева оказались одинаково ненавистными, а их литературная и общественная деятельность, с точки зрения правительственной бюрократии,— подлежащей ограничению для ограждения общества от их гибельного влияния. Известно выступление Соловьева в защиту первомартовцев в 1881 г. К началу 90-х годов имя Соловьева стало еще более одиозным в связи с прочитанным им докладом «О причинах упадка средневекового миросозерцания»; реакционная пресса усмотрела в реферате Соловьева «популярное и сплошное глумление над православною церковью» [2].

Еще до этого, в 1890 г., Соловьев совместно с Толстым решил поднять голос против бесправия еврейского населения в России. К. Победоносцев писал Александру III 6 декабря 1890 г.: «Вашему величеству известна лукавая и нелепая агитация, поднятая в Лондоне о защите евреев от мнимого гонения будто бы на них русским правительством... И в Москве безумный Соловьев вздумал собирать нечто вроде митинга для протеста против мер, принимаемых относительно евреев. Стали составлять адрес, под коим подписались — сначала Лев Толстой, а за ним, к сожалению, некоторые бесхарактерные профессора университета. Дело это в Москве остановлено, но можно было ожидать, что эти господа не уймутся, и вот уже в газете «Times» от 10 декабря появилась корреспонденция из Москвы, где напечатан текст этого протеста» [3]. Александр III отметил тут же на письме, имея в виду Соловьева: «Я уже слышал об этом. Чистейший психопат». В 1892 г. Соловьев писал Победоносцеву: «На-днях различные ученые общества (между прочим, и такие, в которых и Толстой и я не принимали никогда никакого участия) получили предписание безусловно изъять нас из своего обращения. Что значит такая личная проскрипция?» [4].

На ряду с этой связью и солидарностью, между Толстым и Соловьевым, при их внешне дружественных отношениях, была глубокая внутренняя рознь. Биограф Соловьева, его племянник С. М. Соловьев, пишет: «Владимир Соловьев отрицал Толстого не только, как мыслителя, что часто бывает, но, что бывает весьма редко, и как художника» [5].

С другой стороны, в дневниках и письмах Толстого мы находим весьма резкие высказывания о Соловьеве. В дневнике под 5 октября 1881 г. Толстой записал: «Соловьев бедный, не разобрав христианства, осудил его и хочет выдумать лучше. Болтовня, болтовня без конца».

В письме к Н. Н. Страхову от 18 апреля 1878 г. Толстой писал по поводу изложения Страховым мыслей Соловьева: «Но меня за вас оскорбило то, что вы унизились до того, что рассматриваете внимательно такой сор. Разве для вас не ясно сразу было, что это все детский вздор. Так как же вам об этом думать» [6].

Из переписки Толстого с Соловьевым сохранилось далеко не все. В кабинете Толстого при Всесоюзной библиотеке им. В. И. Ленина имеется шесть подлинных писем Соловьева к Толстому; из них опубликовано лишь одно[7]. Из писем Толстого к Соловьеву сохранился текст только трех писем, известных нам в копиях: рукой И. И. Горбунова-Посадова (письмо № 3), рукой М. Л. Толстой (письмо № 7) и по копировальной книге (письмо № 9). Из этих писем опубликована до настоящего времени часть письма № 3. Письмо Соловьева № 5 извлекается нами из книги Диллона «Count Leo Tolstoy, a new portrait».

Всего мы печатаем девять писем из сохранившейся переписки, исключая большое письмо Соловьева, специфически религиозного содержания, дважды опубликованное[8], и письмо от июля 1894 г., включенное в «Письма В. С. Соловьева» (СПБ., 1911, т. III, стр. 37).

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Величко В., Владимир Соловьев, 1904, стр. 128.

[2] «Московские Ведомости», 1891, № 291.

[3] «К. П. Победоносцев и его корреспонденты», М.—Л., 1923, полутом второй, стр. 938.

[4] Там же, стр. 969—970.

[5] Соловьев В., Стихотворения, изд. 7-е, стр. 53.

[6] «Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым» («Толстовский музей», т. II), 1914, стр. 163.

[7] «Письма В. С. Соловьева», СПБ., 1911, т. III, стр. 37.

[8] «Вопросы Философии и Психологии», кн. 79, и «Письма В. С. Соловьева», СПБ., 1911, т. III.

1

Милостивый государь
граф Лев Николаевич!

Надеюсь, что вас не слишком удивит следующее.

Отправляясь на долгое время за границу[1], я не желал бы уехать, не увидав и не познакомившись с вами. Если вы не будете в ближайшее время в Москве, то не могу ли я к вам теперь приехать? Если да, то будьте так добры — напишите мне к 10-му числу в Москву (Денежный переулок, дом Дворцовой конторы, Влад. Серг. Соловьеву). В надежде на свидание[2] остаюсь с глубочайшим уважением ваш покорнейший слуга Вл. Соловьев.

3 мая [18]75 г., Москва.

[1] В качестве доцента Московского университета Соловьев получил в 1875 г. командировку за границу с ученою целью, сроком на год и три месяца.

[2] Первая встреча Соловьева с Толстым состоялась около 10 мая 1875 г. О своем знакомстве с Соловьевым Толстой писал Н. Н. Страхову 25 августа 1875 г.: «Мое знакомство с философом Соловьевым очень много дало мне нового, очень расшевелило во мне философские дрожжи и много утвердило и уяснило мне мои самые нужные для остатка жизни и смерти мысли, которые для меня так утешительны, что если бы я имел время и умел, я бы постарался передать и другим».

2

[Последние числа февраля 1890 г.]

Дорогой и глубокоуважаемый Лев Николаевич, обращаемся к вам по очень важному делу. Здесь ходят слухи, в достоверности которых мы имели возможность убедиться, — о новых правилах для евреев[1] в России. Этими правилами у евреев отнимается почти всякая возможность существования даже в так называемой черте оседлости.

В настоящее время всякий у нас, кто не соглашается с этой травлей и находит, что евреи такие же люди, как и все, признается изменником, сумасшедшим или купленным жидами. Вас это, конечно, не испугает. Очень желательно было бы, чтобы вы подняли свой голос против

этого безобразия. «Аще не обличиши беззаконника о беззаконии его, взыскати имам душу его от руки твоея». В какой форме сделать это обличение — вполне зависит от вас. Самое лучшее, если бы вы выступили единолично, от одного своего имени. Если же почему-нибудь для вас невозможно, то можно было бы написать и коллективно[2].

Не будете ли так добры известить кого-нибудь из нас, что̀ вы об этом думаете.

С нетерпением будем ждать вашего ответа. Душевно вам преданный Владимир Соловьев, Эмилий Диллон[3].

Ответ можем от вас получить через Влад. Григ. Черткова[4].

Е. с. графу Льву Николаевичу Толстому.

Рукой Толстого:

Б[ез] о[твета].

[1] Из законодательных мер того времени, направленных против евреев, можно отметить: 1) Земским положением 1890 г. евреи были устранены от участия в земских учреждениях; 2) 28 марта 1891 г. было воспрещено евреям-ремесленникам селиться в Москве и Московской губернии, а живущих уже там повелено выселить в черту оседлости. Вопреки основному принципу права, репрессивное узаконение получило обратную силу — было распространено и на евреев, уже живущих в Москве в силу давно предоставленного им права. Письмо Соловьева и Диллона было вызвано слухами о работах специальной комиссии сенатора В. К. фон-Плеве над проектом ограничения правового положения евреев.

[2] Воззвание было написано Владимиром Соловьевым и подписано Л. Н. Толстым. О судьбе его узнаем из неопубликованного письма Ф. Б. Геца к Толстому от 15 ноября 1890 г.: «Ваш благородный почин имел блестящий успех. Самые выдающиеся русские ученые и литературные деятели последовали вашему ободряющему примеру. Более 50 подписей уже было собрано В. С. Соловьевым, и он мог бы набрать по меньшей мере еще столько же подписей, если бы ложные доносы антисемитской печати, будто протест направлен против правительства, не вызвали энергичного циркулярного запрещения г. министра внутренних дел от 8 сего месяца печатать какое бы то ни было коллективное заявление касательно евреев, под страхом строжайшей кары. Это запрещение разрушило разом все возлагавшиеся на протест надежды и упования». Текст «протеста против антисемитского движения в печати» опубликован в «Письмах В. С. Соловьева», т. II, 1909, стр. 160—161. В свое время протест был напечатан лишь в лондонской газете «Times», от 10 декабря 1890 г., без подписей.

[3] Диллон Эмилий Михайлович (Dillon E.-l., 1854—1934), английский журналист, корреспондент газеты «Daily Telegraph». Жил долгое время в России. Автор ряда статей о русской литературе и России. Печатался под псевдонимом Ланин. Переводчик Толстого, познакомился с ним в 1890 г. Был дружен с Соловьевым.

[4] Приписка рукой Диллона.

3

[15 марта 1890 г.]

Очень благодарю, Владимир Сергеевич и г-н Диллон, за то, что вы предлагаете мне и даете случай участвовать в добром деле.

Я всей душой рад участвовать в этом деле[1] и вперед знаю, что если вы, Владимир Сергеевич, выразите то, что вы думаете об этом предмете, то вы выразите и мои мысли и чувства, потому что основа нашего отвращения от мер угнетения еврейской национальности одна и та же — сознание братской связи со всеми народами и тем более с евреями, среди которых родился Христос и которые так много страдали и страдают от языческого невежества так называемых христиан.

Вам это естественно написать, потому что вы знаете, что именно угрожает евреям и что говорят об этом. Я же не могу себе приказать писать на заданную тему, а побуждения — нет[2].

Помогай вам бог в добром деле. Любящий вас Л. Толстой

Часть письма опубликована в книге Ф. Г. (Ф. Б. Геца) «Слово подсудимому», 1891, стр. III.

[1] См. предыдущее письмо.

[2] Толстой писал Ф. Б. Гецу 22 мая 1890 г.: «Я жалею о преследованиях, которым подвергаются евреи, считаю их не только несправедливыми и жестокими, но и

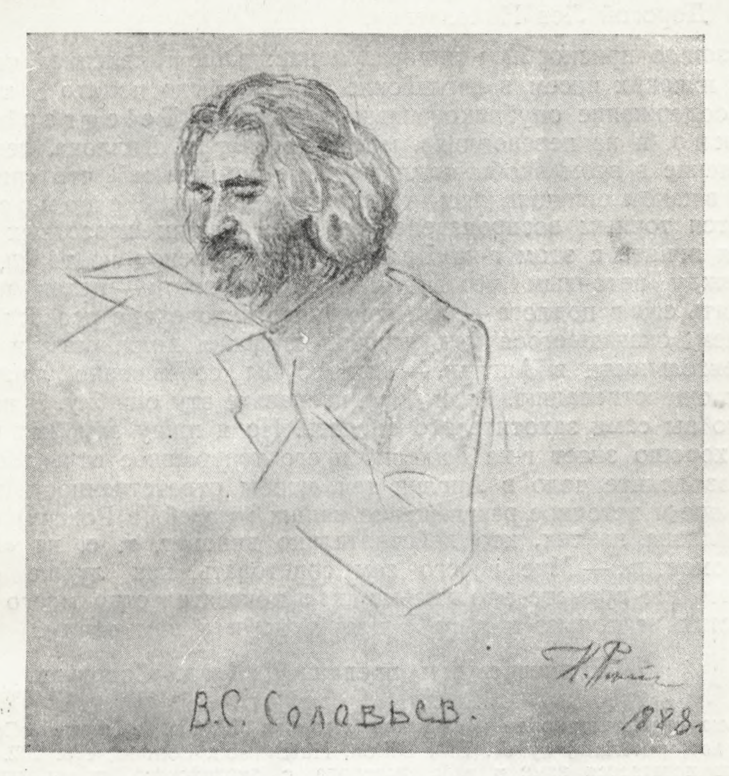
безумными; но предмет этот не занимает меня исключительно или предпочтительно пред другими чувствами и мыслями. Есть много предметов, более волнующих меня, чем этот, и поэтому я бы не мог ничего написать об этом предмете такого, что бы тронуло людей».

4

[29 января 1891 г.]

Глубокоуважаемый Лев Николаевич,

Приезжавший к вам этою весною мой приятель[1] печатает теперь (в России) книжку[2] по тому же предмету. Он хотел бы очень подкре-



В. С. СОЛОВЬЕВ

Рисунок И. Е. Репина, 1888 г.

Третьяковская галлерея, Москва

пить ее и украсить вашими письмами. Если вы что-нибудь против этого имеете, то будьте так добры напишите прямо ему (он вам сообщил свой адрес),— так как я на отъезде в Москву, а он торопится с книжкой. Она хорошо составлена и может принести пользу.

Я думал быть в Москве гораздо раньше и съездить также к вам в Ясную Поляну, но разные дела задержали.

Будьте здоровы. Сердечно кланяюсь всем вашим.

Истинно вам преданный Влад. Соловьев

Если вы ничего не имеете против напечатания ваших писем, то не трудитесь писать: мой приятель примет молчание за согласие.

Заказное

Его сиятельству графу Льву Николаевичу Толстому

Московско-Курской жел. дор.
ст. Ясенки (Тульской губ.)

Почтовые штемпеля:

Петербург, 29 января 1891 г.
Ясенки, 30 января 1891 г.

[1] Гец Файвель Бенцелович (род. в 1850 г.), еврейский публицист, автор статьи «Об отношении Вл. С. Соловьева к еврейскому вопросу»,— «Вопросы Философии и Психологии», 1901, № 56. Был знаком с Толстым и находился с ним в переписке.

[2] В 1891 г. Гец издал брошюру: Ф. Г., Слово подсудимому, с неизданными письмами гр. Л. Н. Толстого, Б. Н. Чичерина, В. Соловьева и В. Г. Короленко. В брошюру, по разрешению Толстого, были включены также его письма к Гецу и одно к Соловьеву. Предисловие было написано Вл. Соловьевым. Брошюра была конфискована.

5

[26 или 27 января 1892 г.]

Дорогой Лев Николаевич,

Произошло прискорбное недоразумение: ваше заявление [1], что вы не посылали никаких писем в английские газеты, было понято в том смысле, что содержание опубликованных в «Daily Telegraph» писем подложно, и на переводчика, моего друга г-на Диллона, легло тяжкое обвинение в этом якобы подлоге. Я не сомневаюсь, что «письма» в том виде, в каком они появились в «Московских Ведомостях» [2], не являются точным воспроизведением ряда ваших известных статей. Но нельзя винить в этом г-на Диллона. Если перевод не точен, то, конечно, между неточным переводом и подлинником — целая пропасть. Но обвинять его в подлоге — его, семейного человека, с необеспеченным положением, оказавшегося под угрозой лишения должности и продолжения деятельности в Англии, — значило бы совершенно лишить его средств к существованию. Ради бога, исправьте эту ошибку. Я не сомневаюсь, что вы сами захотите это сделать. Но я пишу вам, как человек, который хорошо знает г-на Диллона и его теперешнее отчаянное положение. Разъясните дело в Англии так, чтобы ответственность за непозволительное и неточное разглашение ваших мыслей (в России) перешло с г-на Диллона на тех, кто действительно виноват, т. е. на «Московские Ведомости». — Мне нечего вам советовать, как лучше сделать. Уверен, что вы примете это письмо, как доказательство моего искреннего участия не только к г-ну Диллону, но и к вам самим.

Душевно вам преданный Влад. Соловьев

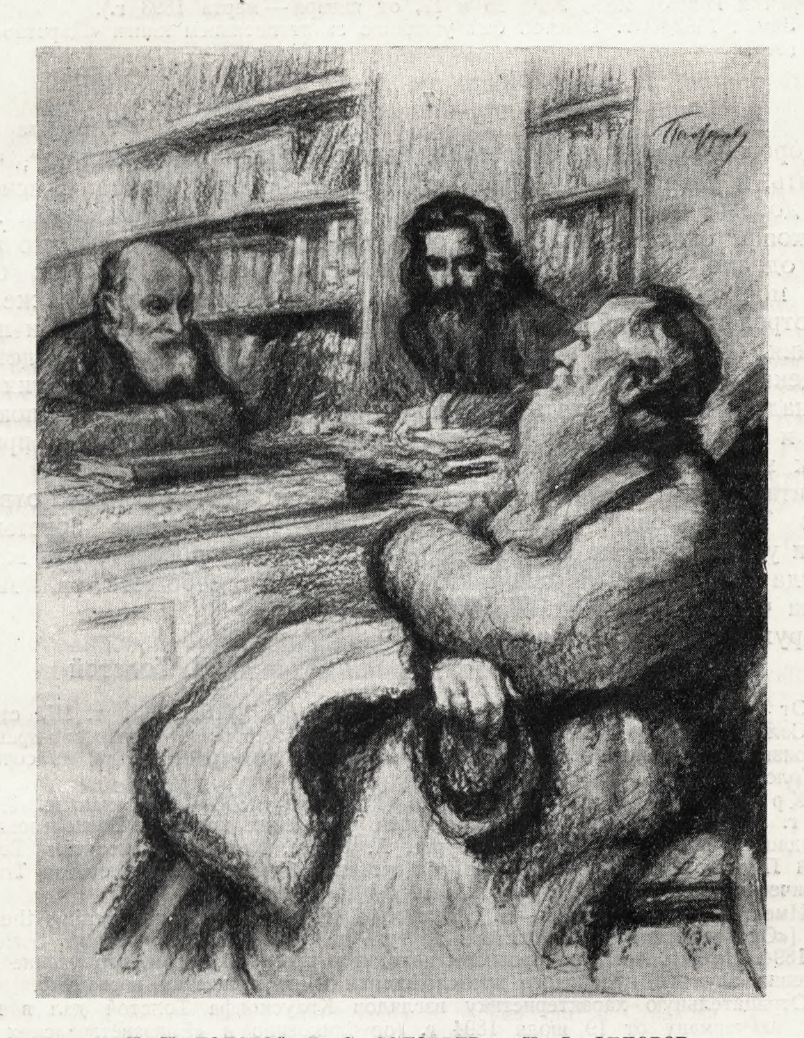
Письмо опубликовано на английском языке в 1934 г. в книге «Count Leo Tolstoy, a new portriat», by dr. E.-I. Dillon, Hutchinson, London, стр. 202. Бо́льшая часть текста печатается нами в виде перевода с английского, конец письма — по фотокопии.

Письмо было привезено лично Диллоном, приехавшим 28 января 1892 г. в Бегичевку. Толстой удостоверил, что Диллон перевел подлинные его письма о голоде. О дальнейших осложнениях в этом деле см. главу XIV — «Газетная война между Толстым и Диллоном» в книге «Count Leo Tolstoy».

[1] Имеется в виду заметка за подписью С. А. Толстой от 23 января, в которой говорится, что ее муж никогда не писал никаких статей о голоде для иностранной прессы («Count Leo Tolstoy», стр. 201). Вскоре сам Толстой отправил на имя редактора «Правительственного Вестника» следующее опровержение: «Г-ну редактору «Правительственного Вестника». Милостивый государь, в ответ на получаемые мной от разных лиц письма с вопросами о том, действительно ли написаны и посланы мною в английские газеты письма, из которых сделаны выписки в № 22-м «Московских Ведомостей», покорно прошу поместить следующее мое заявление. Писем никаких в английские газеты не писал. Выписка же, напечатанная мелким шрифтом и приписываемая мне, есть очень измененное (вследствие двукратного — сначала на английский, потом на русский язык — слишком вольного перевода) место моей статьи, еще в октябре отданной и не пропущенной цензурой и после того отданной по обыкновению моему в полное распоряжение иностранных переводчиков» (см. «Письма гр. Толстого к жене», 1915, стр. 393; письмо от 12 февраля 1892 г.).

[2] В передовой статье номера от 22 января 1892 г. «Московские Ведомости», используя английский перевод Диллона запрещенных в России «Писем о голоде» Толстого (предназначались для журнала «Вопросы Философии и Психологии»), писали: «В другом письме граф Толстой задается «самоважнейшим вопросом»: понимают ли сами крестьяне серьезность своего положения и необходимость во время проснуться

и самим предпринять что-нибудь ввиду того, что никто другой нам помочь не может, ибо, если сами они ничего не предпримут, «они передохнут к весне, как пчелы без меду». В следующем абзаце дается такая характеристика словам Толстого: «Пропаганда графа есть пропаганда самого крайнего, самого разнузданного социализма, пред которым блекнет даже наша подпольная пропаганда».



Л. Н. ТОЛСТОЙ, В. С. СОЛОВЬЕВ и Н. Ф. ФЕДОРОВ
В ПУБЛИЧНОЙ БИБЛИОТЕКЕ
Рисунок Л. О. Пастернака
Толстовский музей, Москва

6

[Декабрь 1892 г.—март 1893 г.]

Дорогой Лев Николаевич!

Я все еще сижу над «Смыслом любви»[1] и потому не мог к вам заехать. Если вам удобно, я приду в среду от 8 до 10 ч. вечера, чтобы послушать то, что вы хотели мне прочесть[2], мне это очень интересно и важно, и надеюсь, что вы не перемените своего намерения.

Как здоровье Татьяны Львовны?

До свидания, искренно вам преданный Влад. Сол[овьев]

Датируется на основании упоминания о статьях «Смысл любви», печатавшихся с сентября 1892 г. по январь 1894 г.; в июле 1893 г. Соловьев уехал за границу, после чего до окончания «Смысла любви» в Москве не был; в Москве Соловьев провел зиму 1892/93 г.

[1] Имеется в виду третья или четвертая статья «Смысла любви» (см. «Вопросы Философии и Психологии», №№ 16 и 17, от января — марта 1893 г.).

[2] Зимой 1892/93 г. Толстой был усиленно занят писанием книги «Царство божие внутри вас».

7

7 августа 1894 г.

Дорогой Владимир Сергеевич, нынче открыл ваше письмо[1], чтобы отвечать, и ужаснулся, увидав, что прошло больше месяца. Спасибо за ваши добрые намерения, я с радостью жду их осуществления[2]. Д-р Краузкопф[3] оказался человеком очень нехристианского духа, что не мешает, однако, тому, что план его очень разумен, и я, как ни бесполезно мое сочувствие, сочувствую ему. Нехристианский же дух я усмотрел из данной мне им брошюры[4] на тему «око за око» и непротивления. Он говорит там, что «око за око» правильно, а подставление щеки неправильно, и что в случае удара по щеке и отнятия кафтана надо не подставлять другую и не отдавать рубаху, а показать кулак и кнут. Это мне показалось очень гадко, хотя пора бы привыкнуть к этим гадостям среди окружающих нас казней[5].

Читал вашу статью «Конец спора»[6], и попалась мне ответная статья Тихомирова[7]. Простите, что даю непрошенные советы, но, любя и уважая вас, не могу воздержаться, чтоб не посоветовать вам раз навсегда отказаться от полемики. Сколько вы сбережете сил! А вам есть на что положить их. Жатва многая.

Дружески жму вам руку.

Л. Толстой

[1] От 5 июля 1894 г. («Письма В. С. Соловьева», СПБ., 1911, т. III, стр. 37).

[2] Соловьев предполагал издать систематический сборник религиозно-нравственных произведений Толстого под заглавием «Критика лже-христианства, из сочинений Льва Толстого».

[3] Краускопф Иосиф (Krauskopf Joseph, 1858—1923), раввин. Приехал в 1894 г. в Россию, интересуясь состоянием еврейских колоний. Воспользовавшись рекомендацией посла США в Петербурге, А. Уайта, Краускопф посетил Толстого в Ясной Поляне. Основал в Америке сельскохозяйственную школу, считая Толстого идеологическим вдохновителем всего дела.

[4] Имеется в виду брошюра И. Краускопфа «Eye for eye» or «Turning the other cheek» [«Око за око», или «Подставь другую щеку»]. A sunday lecture. Series VII, № 15, 1894. На стр. 4-й этой брошюры находится параграф о том, что учение о «непротивлении злу» не иудейского происхождения и по существу неразумно.

[5] Отрицательную характеристику взглядов Краускопфа Толстой дал в письме к И. Б. Файнерману от 19 июля 1894 г. (опубликовано в «Елизаветградских Новостях», № 54, от 13 января 1904 г.).

[6] Полемическая статья Соловьева «Конец спора», направленная против Л. Тихомирова и В. Розанова, появилась в № 7 «Вестника Европы» за 1894 г., стр. 286—312 (напечатана в Полном собрании сочинений Соловьева, изд. 2-е, т. V, стр. 487—512).

[7] В статье «В чем конец спора» («Русское Обозрение», 1894, № 8, стр. 834—888) Л. А. Тихомиров писал: «Спор этот, начатый Соловьевым столь же самоуверенно, сколько легковесно, ему действительно пора прекратить, за невозможностью отстаивать свои неосновательные произвольные положения. Но, умолкая, г. Соловьев пытается сделать это с треском, с апломбом, пуская читателям в глаза последние горсти пыли».

8

[Конец октября — 1 ноября 1894 г.]

Дорогой Лев Николаевич,

Еще с июля месяца лежит у меня большое письмо мое к вам о главном пункте нашего религиозного разногласия[1]; но я недоволен изложением своей мысли, а недоразумения на расстоянии бывают очень досад-

ны. При свидании (надеюсь в январе) я прочту вам это письмо, как тему для устного разговора.

Другое касающееся вас дело уже имеет практическое начало. В Москве уже переписываются те места ваших сочинений, которые я намерен употребить для своего издания. Форма моего предприятия не нова: ею уже пользовались между прочим Гамбергер[2] для учения Якова Бэма и Гофман[3] (философ) для Баадера.

Не изменяя содержания своих взглядов, я все более укрепляюсь в убеждении, что нравственное дело есть первое и непременное условие всего прочего и что без этого условия самые высокие и глубокие вещи не только теряют свое достоинство и свою благотворность, но могут превращаться в самые ужасные мерзости. Это убеждение сближает меня с вами в существе дела[4], помимо всяких личных христианских чувств. А вот с Н. Н. Страховым я буду мириться, главным образом, «на точном основании законов», т. е. во имя евангельской заповеди и личного чувства без всякой солидарности во взглядах и стремлениях, которая делается, кажется, все более и более невозможной между нами. Примирение, однако, я решил, и, думаю, оно не встретит и от него препятствий. Добрый совет ваш не продолжать полемику пришел, как дорогое мне подтверждение уже принятого решения. Так охладел я к этой полемике, что даже не читал ни дальнейших статей Тихомирова и Розанова[5], ни статьи Н. Н.[6]. Эту прочту разве из учтивости после примирения.

Будьте здоровы, дорогой друг и наставник в деле нравственной истины. Очень желаю и надеюсь на скорое свидание с вами.

Искренно полюбивший вас Влад. Соловьев

Я поселился в Финляндии на озере Сайме совершенно один в большом пустом доме; но, приехав на несколько дней в Петербург, заболел воспалением прямой кишки с большими кровоизлияниями. Как только это пройдет, возвращусь в свое уединение. Это письмо посылаю через Жюля Гюрэ[7], которого вы знаете и который мне кажется добрым человеком, могущим приносить пользу, несмотря на свои странные обязанности.

M. le comte Léon Tolstoy

Diévitchié polié, Khamovnitchesky péréoulok, dom Tolstova.

Графу Льву Николаевичу Толстому,

Девичье поле, Долго-Хамовнический переулок, дом Толстых

Помета Толстого:

От[ветил].

Датируется на основании упоминания в письме статьи Страхова, опубликованной в октябрьской книжке «Русского Вестника», и записи в дневнике Толстого под 4 ноября 1894 г. о письме Соловьева: «От Соловьева очень ласковое».

1 Это заготовленное Соловьевым письмо (от июля 1894 г.) осталось не переданным Толстому. После смерти Соловьева оно было напечатано в № 79 «Вопросов Философии и Психологии», стр. 241—246. Главным пунктом своего разногласия с Толстым Соловьев считал вопрос о «воскресении Христа». Для Соловьева «чудо воскресения» несомненно «для истории человечества». А. Оболенский в статье «Две встречи с Л. Н. Толстым» сообщает, как он передал Толстому в Гаспре в 1901 г. содержание письма Соловьева. Толстой раздраженно отозвался о Соловьеве и выразил недоумение по поводу того, «как это люди образованные и умные могут серьезно говорить о таком явном и очевидном вздоре, как воскресение или вознесение какого-то человека, который вместе с тем «бог» («Толстой. Памятники творчества и жизни», 1923, сб. III, стр. 42).

2 Имеется в виду книга: Hamberger Julius, Die Lehre des deutschen Philosophen Jacob Böhme.

3 Гофман Франц (1801—1881), ученик Баадера. Его книга — «Die Weltalter. Lichtstrahlen aus Franz von Baaders Werken». Эрланген, 1868.

4 Еще в 1881 г. по поводу речи Соловьева о необходимости прощения убийц Александра II Толстой писал Страхову: «Молодец Соловьев. Когда он уезжал, я ска-

зал ему: «дорого то, что мы согласны в главном, в нравственном учении, и будем дорожить этим согласием» (Толстой, Полное собрание сочинений, Юбилейное издание, 1934, т. LXIII, стр. 61).

[5] Имеются в виду статьи В. В. Розанова «Ответ г. Владимиру Соловьеву» («Русский Вестник», 1894, № 4, стр. 191—211) и «Что против принципа творческой свободы нашлись возразить защитники свободы хаотической» («Русский Вестник», 1894, № 7, стр. 198—235).

[6] Страхов Н. Н., Исторические взгляды Г. Рюккерта и Н. Я. Данилевского («Русский Вестник», 1894, № 10, стр. 154—183). Страхов защищал славянофильство против Соловьева.

[7] Huret Jules, автор интеллектуальной и моральной анкеты, проведенной в разных странах. Книга Гюрэ «Enquête sur l'évolution littéraire» (1894, 455 стр.) имеется в яснополянской библиотеке с многочисленными пометами Толстого. Толстой цитирует Гюрэ в «Что такое искусство?». Книга включает разговоры с Ренаном, Гонкуром, Э. Золя, Мопассаном, Гюисмансом, А. Франсом, Малларме, Верленом, Метерлинком и мн. др., а также письма Ришпена, Мирбо, Росни и др. по вопросам искусства.

9

[9—15 ноября 1894 г.]

Ваше дружеское, хорошее письмо очень порадовало, дорогой Владимир Сергеевич. Уверен, что разногласия между нами не будет. А если бы случилось, то давайте вместе стараться, чтоб его не было, и для этого работать, не убеждая другого, а проверяя себя. С вами мне всегда казалось, что мы должны быть согласны и вместе работать. Это я почувствовал, как только узнал вас; потом это чувство утратилось, застелилось чем-то, но первое чувство, как и всегда, было верное. И мне с вами легко, потому что я вполне верю в вашу искренность.

Очень радуюсь тому, что вы не будете полемизировать.

Ваше отношение к Страхову я понимаю и разделяю. Мое почти такое же: я дорожу человеком, но недоумеваю часто перед его суждениями[1]. Различие наше заметно теперь еще в том, что вы, вероятно, ждете много от нового царствования[2], а я ничего, и думаю, что для того, чтобы мне содействовать согреванию всей массы или части ее, нет и не может быть другого средства, как развитие наибольшего тепла в себе, и что всякое усилие мое, употребленное на что-нибудь другое, есть напрасная трата энергии.

Все наши шлют вам привет, а я дружески обнимаю вас.

Л. Толстой

Надеюсь, что вы теперь уже здоровы и уехали или уезжаете в свое прекрасное уединение. Прекрасно вы это сделали.

Датируется на основании нумерации копировальных листов: письмо скопировано после письма от 9 ноября 1894 г.

[1] По поводу полемической статьи Страхова, о которой идет речь в предшествующем письме Соловьева и которую Страхов писал в Ясной Поляне, Толстой занес в свой дневник под 12 июля 1894 г.: «Страхов читал мне свою статью. Недостаток ее тот, что она никому ни на что не нужна» (не опубликовано).

[2] Речь идет о Николае II, вступившем на престол после смерти Александра III 25 октября 1894 г. Толстой писал жене: «Вообще, при перемене царствования виднее вся та ложь, которая совершается, и больно и страшно видеть ее. Впрочем, манифест исключительно неприличен».

ПЕРЕПИСКА ТОЛСТОГО С Н. Е. ФЕДОСЕЕВЫМ

Публикация Н. Покровской и К. Шохор-Троцкого

Николай Евграфович Федосеев (1871—1898) — один из выдающихся пионеров революционного марксизма в России. По словам В. И. Ленина, «тогдашняя публика в своем повороте к марксизму несомненно испытала на себе в очень и очень больших размерах влияние этого необыкновенно талантливого и необыкновенно преданного своему делу революционера». Как вспоминает Владимир Ильич, Федосеев «пользовался необыкновенной симпатией всех его знавших, как тип революционера старых времен, всецело преданного своему делу» [1].

Преждевременная смерть Федосеева лишила русскую пролетарскую революцию страстного борца, а русская историческая наука потеряла в его лице серьезного ученого. Одна из крупнейших его работ — о падении крепостного права в России, — написанная на основании первоисточников, вызвала высокую оценку всех, кто ее читал. Рукопись этого труда бесследно погибла, как и почти все литературное наследство Федосеева, при обыске в партийном издательстве «Вперед». Памятник этому замечательному человеку создан Комиссией по истории Октябрьской революции и ВКП(б) (Истпарт) в виде посвященного ему сборника.

Большую часть своей сознательной жизни Н. Е. Федосеев провел в тюрьмах. Сосланный в 1897 г. в Восточную Сибирь, он вскоре покончил жизнь самоубийством. Пораженный известием об этой «трагической истории», В. И. Ленин, бывший в то время в ссылке в селе Шушенском, писал сестре своей А. И. Елизаровой, что в финале жизни Федосеева «одну из главных ролей» сыграли «дикие клеветы какого-то негодяя» — политического ссыльного в Верхоленске [2]. «Клеветы» эти в некоторой части касались отношений Федосеева к духоборам.

Л. Лежава, бывшая в верхоленской ссылке одновременно с Федосеевым, вспоминает: «...кажется, уже из Верхоленска Николай Евграфович писал письма Л. Н. Толстому, если не ошибаюсь, о духоборах. Лев Николаевич тотчас ответил ему лично, и между ними завязалась оживленная переписка, которая продолжалась во все время жизни Н. Е. в Верхоленске» [3]. Как же возникла эта переписка? По пути в ссылку Н. Е. Федосеев встретил партию духоборов. Духоборы были уроженцами Закавказья. За сожжение оружия и отказ от воинской повинности они подверглись самым жестоким репрессиям. Преследование духоборов царским правительством описано в женевском социал-демократическом органе «Работник», в корреспонденции из Петербурга, пересланной и отредактированной В. И. Лениным [4]: «Читающие «Русские Ведомости» не могли не обратить внимания на печатавшиеся в середине августа корреспонденции о выселении духоборцев Ахалкалакского уезда Тифлисской губ. О причинах же этого выселения почти ничего не говорится. Между тем эта возмутительная история стоит того, чтобы на нее было обращено большое внимание. Она вскрывает нам тот страшный азиатский деспотизм, который совершенно немыслим в цивилизованной стране... 35 семей, высланных вначале по приказанию губернатора, были авангардом, за которым вскоре последовали тысячи новых. Но куда же выселили такую громадную массу зажиточного трудолюбивого населения? Их не выселили, а расселили и расселили самым варварским образом. Духоборцев разбросали отдельными семьями по

разным горским деревушкам Тифлисской губернии и Дагестанской области, при чем не дали ни клочка земли, не дали жилищ и не дали ни куска хлеба. Туземным властям был отдан приказ не давать духоборцам никакой работы. Очевидно, тысячи семей обречены на голодную смерть... Вот картинка, служащая дополнением к армянскому вопросу, так интересующему Европу» [5].

Духоборческая молодежь, отказывавшаяся в 1895 и 1896 гг. служить в войсках, присуждалась к заключению в дисциплинарных батальонах, где подвергалась телесному наказанию «по закону». «Наказанных розгами бросали в холодный темный карцер, через сутки опять требовали исполнения военных обязанностей и за отказ снова били по израненному телу». Эти духоборы провели в дисциплинарном батальоне от одного до полутора лет. По получении распоряжения о высылке не подающих «надежды на исправление» в Якутскую область тридцать четыре духобора были 25 ноября 1896 г. отправлены из батальона.

Как-раз на тяжелом этапе пути Н. Е. Федосеев и встретился с этой первой высланной в Сибирь партией духоборов. Партия эта следовала через Ростов-на-Дону, Тулу, Челябинск, больше двух месяцев «зимовала» в Тюмени и в начале апреля 1897 г. была привезена по железной дороге в Красноярск. В апреле же в Красноярске находился и пересылавшийся из Москвы в Верхоленск Н. Е. Федосеев [6]. Однако, здесь Федосеев с первой партией духоборов, повидимому, не встретился. До Александровского он шел с другой этапной партией, в которой вместе с ним шел высланный с Кавказа в одиночку духобор Иван Рыбин. Какую-то часть пути с Федосеевым прошли также отправленные из Иркутска на Алдан «толстовцы» — крестьяне Ольховик и Середа. Это видно из документов созданного на этапном пути злополучного «дела» по клеветническому обвинению Федосеева в недостойных социалиста поступках. В одном из документов, составленном 17 июня 1897 г. на «Хорбатовском этапе», упоминаются имена Рыбина, Ольховика и Середы.

Прибыв 29 июня 1897 г. в с. Александровское, первая партия духоборов уже застала в пересыльной тюрьме своего единоверца Рыбина, пришедшего сюда с Федосеевым. Здесь же, надо полагать, встретили духоборы и Н. Е. Федосеева [7]. В Александровской пересыльной их держали двадцать дней, и 18 июля они были отправлены в дальнейший путь. Пять суток добирались они до р. Лены и, вероятно, 23 июля отплыли на паузке от пристани Качуг в Якутск. В тот же или другой день они проехали г. Верхоленск, назначенный местом ссылки Федосеева.

Находясь в Александровской тюрьме и будучи осведомлен о прибытии в нее духоборов, Н. Е. Федосеев, несомненно, первым установил с ними связь, вступил в переписку, забросал их вопросами. Переписка эта шла из камеры в камеру. Писем Федосеева до нас не дошло; личное же знакомство Федосеева с духоборами произошло, вероятно, в пути от с. Александровского до Верхоленска, куда и он, как вспоминают его друзья, приехал по Лене на паузке. Беседы с ними и непосредственное впечатление от духоборов позволили ему упомянуть в письме к Толстому о том, что он узнал об их жизни и судьбе «от них самих во время совместной жизни в пути».

Архив Н. Е. Федосеева, сколько известно, не сохранился; случайно уцелели лишь три письма духоборов к нему. Письма эти, до сих пор не опубликованные, в 1927 г. были переданы К. С. Шохор-Троцкому автором книги о духоборах, П. И. Бирюковым, который, в свою очередь, получил их от А. Н. Дунаева, в конце 90-х годов дружески связанного с Толстым. Отсюда само собой напрашивается предположение, что они в начале 1898 г. были пересланы самим Н. Е. Федосеевым Л. Н. Толстому в Москву, а от него попали к Дунаеву.

Полученные от духоборов письменные сообщения, а также и некоторые устные их рассказы Н. Е. Федосеев в начале декабря 1897 г. использовал в первом своем письме к Л. Н. Толстому. О получении этого письма Толстой записал 1 января 1898 г. в своем дневнике: «Получил письмо от Федосеева из Верхоленска о духоборах, очень трогательное». В конце января Толстой послал копию с этого письма В. Г. Черткову, жившему в то время в изгнании в Англии и приступившему к организации своего издательства «Свободное слово». На копии Толстой сделал надпись:

«Посылаю вам копию с письма административно-ссыльного Федосеева с очень важными и интересными подробностями о духоборах. Я отвечал ему» (архив В. Г. Черткова). Текст этого первого письма Толстого к Федосееву не сохранился. Не найдено также и второе письмо Федосеева к Толстому. Вследствие этого, ниже печатаются только первое и третье письма Федосеева, а из писем Толстого — второе и третье[8]. Из публикуемых писем только одно (первое письмо Федосеева) было напечатано за границей, в редком издании и без указания его автора.

Толстой не имел никакого представления о Федосееве, но, благодаря его письмам, почувствовал к нему «близость», заинтересовался им и в конце последнего

ДУХОБОРЫ В ЯКУТСКОЙ ССЫЛКЕ

Второй слева в нижнем ряду — П. В. Ольховик. Второй слева в среднем ряду — К. Середа

Фотография 1898 г.

Частное собрание, Москва

своего письма задал ему ряд вопросов о нем самом. Ответа на них Толстой не получил, так как письмо пришло в Верхоленск, вероятно, через несколько дней после самоубийства Федосеева.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Ленин В. И., Несколько слов о Н. Е. Федосееве,— Сочинения, т. XXVII, стр. 376—377.

2 Ленин В. И., Сочинения, т. XXVII, стр. 558 (выписка из письма от 16 августа 1898 г.).

3 «Федосеев Николай Евграфович. Один из пионеров революционного марксизма в России. Сборник воспоминаний», Гиз, М. — П., 1923, стр. 127.

4 См. письмо В. И. Ленина к П. Б. Аксельроду от начала ноября 1895 г.,— Сочинения, т. XXVIII, стр. 8.

5 «Вести из России. Петербург 20 октября» (1895 г.), — «Работник», Женева, 1896, № 2.

6 24 апреля 1897 г. в Красноярске произошла единственная личная встреча Н. Е. Федосеева с В. И. Лениным (см. Зильберштейн И. С., Некоторые вопросы биографии молодого Ленина, — «Каторга и Ссылка», 1930, № 1, стр. 18).

7 Ольховик и Середа к моменту прихода духоборов были, вероятно, уже высланы из Александровского на Алдан.

8 Первое письмо Федосеева печатается по копии, хранящейся в архиве В. Г. Черткова, второе — по автографу, хранящемуся в архиве Толстого в рукописном отделении Всесоюзной библиотеки им. В. И. Ленина. Письма Толстого печатаются по листам копировальной книги, хранящейся в Толстовском музее.

1. Н. Е. ФЕДОСЕЕВ — Л. Н. ТОЛСТОМУ

[Около 10 декабря 1897 г.], Верхоленск

Многоуважаемый Лев Николаевич,— несколько месяцев тому назад вы обратились в редакцию одной петербургской газеты с письмом о помощи кавказским духоборам [1] — жертвам гонения в 1895 г. В то время, когда разоренные ахалкалакские духоборы, разогнанные по грузинским деревням, гибли от нищеты,— несколько десятков детей их подвергались страшным истязаниям в дисциплинарных батальонах Екатериноградской станицы, Терской области.

Я решился сообщить вам некоторые подробности этого последнего обстоятельства, а также и о дальнейшей судьбе отказавшихся от оружия духоборов,— в том предположении, что вам неизвестно то, что я узнал от них самих во время совместной жизни в пути.

За отказ от оружия и солдатской службы (2 апреля, 6 мая, 29 июня 1895 г.) военный суд (в период от 16 июня [18]95 г. по 3 мая [18]96 г.) приговорил в дисциплинарные батальоны 41 духобора из Ахалкалакского уезда (Тифлисской губ.), Елизаветпольской губернии и Карсской области. Из них 11 человек были водворены в Екатериноградском батальоне 20 октября 1895 г., 8 человек — 29 декабря, 8 человек — 8 марта 1896 г., 1 человек — 23 апреля, 2 человека — 28 июня, 4 человека — 9 августа и 7 человек — 4 октября. Дисциплинарному начальству было поручено принудить духоборов служить. За отказ от учений сначала их запирали в карцер на 3, 5, 10 и даже 15 суток под ряд. Потом, когда эта мера не привела ни к чему, прибегли к телесным наказаниям. Начальник батальона полковник Маслов и ротные командиры Богаевский, Шапкин, Окинчец, Покровский и Протопопов приговорили духоборов к 20—30 ударам розог. Били пучками связанных терновых прутьев, угощая палачей во время экзекуции водкой. В августе 1896 г. подполковник Моргунов, заступивший место Маслова, и ротные командиры Богаевский, Волочков, Протопопов и Покровский усилили наказание с 30 до 60 и 80 ударов. Моргунов сек на кобыле...

Заключенным солдатам и кадровым унтер-офицерам было приказано загонять духоборов в церковь ремнями и шашками. Когда загнанные в церковь духоборы отказались креститься и вставать на колени,— их тут же до крови («обливались кровью» [2]) избили ремнями и шашками. Систематические истязания заставили духоборов согласиться ходить на ученье и взять оружие для приемов. Духоборы согласились на это, говоря, что в дело оружия употреблять не будут ни в каком случае.

Об упорстве их донесли императору; из Петербурга было приказано еще раз спросить каждого духобора в отдельности: будет ли он нести солдатскую службу. Маслов выстроил духоборов в ряды и спрашивал каждого в такой форме: «Будешь служить, будешь колоть, если царь прикажет, своего соседа?». 7 человек сказали «да» и были оставлены отбывать наказание в дисциплинарном батальоне, а остальные 34 человека через месяц, 25 ноября [18]96 г., были высланы в Якутскую область.

Еще одна подробность. Старший врач (при дисциплинарном батальоне) Преображенский приходивших к нему больных духоборов принуждал есть мясо, «плевал в глаза и всячески надругался» и прогонял без помощи. Избитых розгами духоборов — когда они не могли ни ходить, ни сидеть — этот врач не принимал в больницу. Духобор Михаил Щербинин «умер на ногах». Преображенский отказался взять его в больницу [3].

Раскол в общине, разрыв с ближайшими родственниками из-за разногласий по поводу присяги и оружия, разорение близких и их бед-

ственное положение в изгнании не могли не оставить тяжелых следов в душе высланных.

Для многих из них, кроме того, не прошли бесследно побои, нанесенные во время молебствия на круче и в следующие дни, и жестокие истязания в батальонах. Все они подавлены, убиты горем и пассивно относятся к будущему *. Они не простились с родными, переписка же с ними, разумеется, затруднительна до крайности.

Во время этапного пути духоборы потеряли уже 4-х товарищей. В Челябинске умер Александр Гридчин, в Красноярске — Иван Кухтинов, в Москву увезли тяжело больного Федора Самородина, в Якутском остроге недавно умер Лукьян Новокшенов. Здоровье многих больных внушает опасение. У Федора Фоменова и Федора Малова очевидные признаки чахотки [5]; Филипп Попов потерял один глаз от трахомы.— Ссылка духоборам назначена в административном порядке (с высочайшего утверждения) на 18 лет [6].

Оправданием применения незаконного срока административной высылки выставляется срок действительной и запасной военной службы. Но в числе 34 сосланных духоборов-солдат четверо прослужили два года; 6 человек по 1 году; на такой же срок высланы вместе с ними и отбывшие весь срок действительной службы запасные (краснобилетцы). По известиям, полученным духоборами из дому, вслед за ними в Якутскую область отправлены еще 80 человек «краснобилетцев» [7]. Местом для поселения духоборов выбран Усть-Нотор, в 300 верстах от Амги и на 150 верст выше Охотского тракта на северо-восток от Якутска. Эта местность, по словам товарищей, знающих Якутскую область, удобнее для земледелия, нежели раньше назначенный Алдан. Из Якутска в Усть-Нотор духоборы прибыли на 20-й день (25 сентября). На зимовье они поселились все вместе (30 человек) в одной тунгусской юрте [8]. С весны думают приняться за расчистку пашни из-под леса и постройку домов. Хлеба на первое время они купили до 400 пудов (по 1 р. 50 коп.) у скопцов в Усть-Мае.

К ним перевели отправленных было на Алдан Ольховика [9] и Середу [10] и какого-то Егорова [11] (тоже за отказ от оружия). Ольховик и Середа полны жизни и энергии, и я очень рад за духоборов, что их назначили к ним **. В материальном отношении они будут бедствовать, по крайней мере, до тех пор, пока не обзаведутся земледельческим хозяйством. Казенного пособия будет недостаточно на одно пропитание, а здесь им надо обзавестись инструментами и инвентарем (Ольховик от кого-то слышал, что земледельческие орудия им доставит казна, насколько это верно — я не знаю), а прежде всего теплым платьем и обувью. Денежная помощь настоятельно необходима. На первое время казна выдала пособие вперед за три месяца (до 1 января) 386 рублей на 30 человек (из пособия, очевидно, вычли собственные деньги, высланные духоборам родными и отобранные у них в тюрьме) [12]. Следовательно, отправка денег прямо по адресу духоборов бесполезна, так как соответственно присылке будут сокращать казенное пособие.

Хорошо было бы, если бы Усть-Ноторской колонии прислали книг, начиная от азбуки и кончая общеобразовательными. Необходимы для них важнейшие медикаменты с популярным лечебником.

Знаная историю последних гонений духоборов из рассказов их самих,— мне было крайне досадно читать искаженные сведения об этом

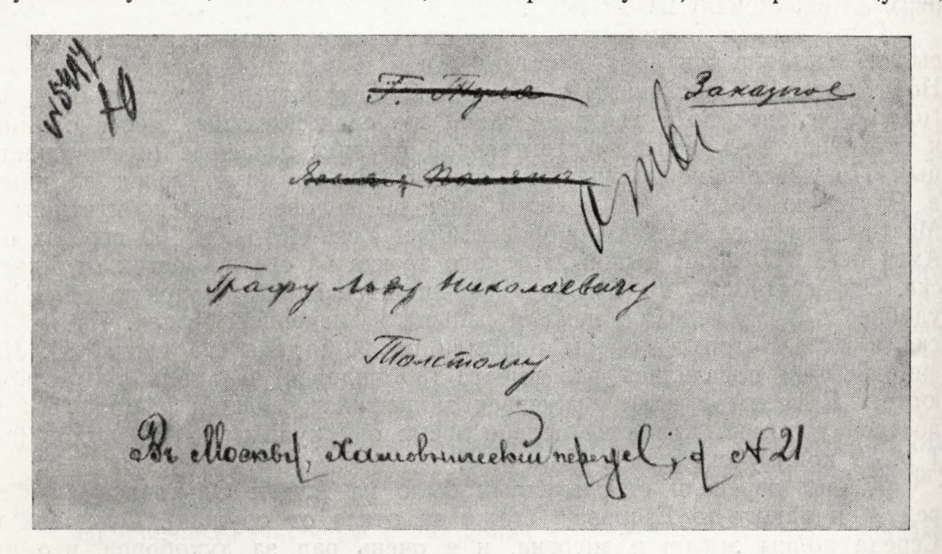
* Сообщение в «Саратовском Дневнике» о бодрости ссылаемых духоборов неверно. Неверно то, что будто бы им позволили проводить до могилы умершего в Красноярской тюрьме товарища [4]. [Примечание Н. Е. Федосеева.]

** Ольховик и Середа ввиду совместной жизни с духоборами-вегетарианцами отказались от охоты и рыбной ловли. [Примечание Н. Е. Федосеева.]

в единственной подцензурной статье на русском языке в Бирж[евых] Вед[омостях], к тому же Ясинский снабдил их крайне пошлыми комментариями и закончил реакционнейшим и бесстыднейшим проектом уничтожения духоборческой общины [13].

Мне кажется очень важным делом, если бы вы изложили эту историю на страницах «Нового Слова» [14]. Некоторые материалы (о тяжбе с Губановым, так повлиявшей на погром 29 июня, и об этом разгроме), основанные на рассказах самих духоборов, я мог бы прислать вам.

Фамилии духоборов, сосланных в Якутскую область: Василий Шерстобитов, Григорий Зибаров, Михаил Арищенков, Николай Рыльков, Ник. Вас. Рыльков, Петр Сафонов, Николай Щербаков, Петр Салыкин, Даниил Дымовский, Никифор Сафонов, Григорий Ванин, Григорий Сухарев, Иван Малахов, Кирилл Чевельдеев, Димитрий Астафоров, Кузьма Пугачев, Семен Усачев, Алистрат Баулин, Илларион Щукин,



КОНВЕРТ ПИСЬМА Н. Е. ФЕДОСЕЕВА ОТ 1 МАЯ 1898 г. СПРАВА ПОМЕТА ТОЛСТОГО: ОТВ[ЕТИТЬ]

Всесоюзная библиотека им. В. И. Ленина, Москва

Степан Рыбалкин, Федор Фомин[ов], Петр Кинякин, Григорий Веригин, Иван Чуцков, Филипп Попов, Федор Малов, Лукьян Новокшенов — умер в Якутске, Николай Сухачев, Федор Плотников, Алексей Махортов, Александр Гридчин — умер в Челябинске, Михаил Щербинин — умер в батальоне в Екатериноградской станице, Иван Кухтинов — умер в Красноярске, Федор Самородин — в Москве в городской больнице.— 16 из них Спасского общества, Елизаветпольской губ., 11 человек — Шурагельского общества и 1 — Зарушатского общества, Карсской области. Большинство из них люди женатые. Жены и дети остались дома. Вместе с ними сослан запасной — Иван Рыбин [15] и оставлены в Александровске, Иркутской губ., до зимней или весенней отправки на Ленский тракт, запасные: Василий Поздняков [16], Петр Светлищев и Григорий Войкин.

Адрес духоборов: Станция Амгинская, Якутской области и округа, земскому заседателю 2-го участка для передачи Василию Федоровичу Шерстобитову [17], живущему на Усть-Ноторе.

Почта ходит только до сел. Амги. Письма их под контролем полиции.

ПИСЬМО Н. Е. ФЕДОСЕЕВА Л. Н. ТОЛСТОМУ ОТ 1 МАЯ 1898 г.

Всесоюзная библиотека им. В. И. Ленина, Москва

Местонахождение подлинника неизвестно. Печатается по копии, снятой по поручению Толстого рукой неизвестного и присланной Толстым со своей припиской в Англию В. Г. Черткову (см. вступительную заметку). Впервые напечатано В. Г. Чертковым с заголовком «Письмо политического ссыльного» в «Листках Свободного Слова», № 1, ноябрь 1898 г., стр. 6—10. Несколько отрывков из письма, также без упоминания имени Федосеева, приведено В. Д. Бонч-Бруевичем в его книге «Волнения в войсках и военные тюрьмы», изд. «Жизнь и знание», П., 1918, стр. 122, 129, 131—132.

В публикации Черткова это письмо датировано декабрем 1897 г. Ввиду того, что Толстой получил его 1 января 1898 г. или накануне (см. вступительную заметку) и что письмо Федосеева от 1 мая (см. № 3) шло из Верхоленска в Москву больше трех недель, можно предполагать, что настоящее письмо было написано около 10 декабря.

[1] Письмо Толстого в редакцию «Биржевых Ведомостей» с просьбой напечатать статью П. А. Буланже о тяжелом положении духоборов, расселенных по деревням Тифлисской губернии. И письмо и статья, посланные Толстым в редакцию 18 мая 1897 г., были напечатаны лишь в августе того же года в статье И. И. Ясинского (см. прим. 13-е к настоящему письму).

[2] Слова эти взяты из письма духоборов к Н. Е. Федосееву от 5 августа, которое, повидимому, послужило одним из источником для настоящего письма.

[3] Слова, заключенные в кавычки, вероятно, взяты из неизвестного нам письма духоборов к Н. Е. Федосееву.

[4] Откуда Н. Е. Федосеев имел сведения о сообщении газеты «Саратовский Дневник» — выяснить не удалось.

[5] Оба названные здесь Н. Е. Федосеевым духобора умерли в якутской ссылке (см. «Духоборцы в дисциплинарном батальоне», стр. 35).

[6] Инициатором ссылки духоборов сроком на восемнадцать лет, вместо обычного срока административной ссылки на три—пять лет, был военный министр П. С. Ванновский. Подписанный им «всеподданнейший доклад министра внутренних дел» И. Л. Горемыкина перепечатан В. Д. Бонч-Бруевичем в его книге «Волнения в войсках и военные тюрьмы», П., 1918, стр. 116—118. На докладе Николай II положил 5 августа 1896 г. резолюцию: «Согласен», и, вследствие этого, «предположения» двух министров, одобренные также и министром юстиции, приобрели силу закона.

[7] Духоборы-«краснобилетцы» подвергались гонениям вследствие того, что возвращали властям свои воинские документы — «красные билеты». Сообщенное Н. Е. Федосееву число духоборов-«краснобилетцев», высланных будто бы с Кавказа со второй партией, оказалось неверным. Вся прибывшая в якутскую ссылку вторая партия состояла из сорока человек, из которых девять старше пятидесяти лет, девять старше сорока лет, остальные моложе (см. Ильинский А., Духоборы в Якутской области, — «Голос Минувшего», 1917, № 1, стр. 257).

[8] Иркутский генерал-губернатор считал нужным изолировать духоборов не только от русского населения, но и от «крайне неразвитых и неустойчивых в своих понятиях якутов». Он опасался, что «якуты легко могут поддаться вредным внушениям сектантов».

Из всей первой партии сосланных в Якутскую область духоборов, партии, о которой Федосеев писал Толстому, только один (Кузьма Пугачев) не выдержал тяжести испытаний и просил о помиловании. Все остальные духоборы этой партии до конца проявили ту «гранитную непоколебимую твердость и стойкость убежденных в своем деле» людей, о которую, по выражению В. Д. Бонч-Бруевича, «разбилась современная российская инквизиция». Они пробыли в ссылке семь с половиной лет (см. Ильинский А., Духоборы в Якутской области,—«Голос Минувшего», 1917, № 1, стр. 246—253 и 261; Бонч-Бруевич В. Д., Волнения в войсках и военные тюрьмы, стр. 125).

[9] Ольховик Петр Васильевич (род. в 1874 г.), крестьянин дер. Речки, Сумского уезда, Харьковской губернии, не духобор.

В октябре 1895 г. П. В. Ольховик во время призыва на военную службу отказался от присяги и от службы. Несмотря на это, был зачислен на службу и отправлен морским путем в артиллерийскую бригаду, стоявшую во Владивостоке. Здесь Ольховик продолжал отказываться от несения военной службы и был предан бригадному суду «за умышленное неповиновение начальству». 1 июля 1896 г. его приговорили к трем годам заключения в дисциплинарном батальоне.

[10] Середа Кирилл (род. в 1874 г.), крестьянин дер. Максимовщины, Сумского уезда, Харьковской губернии. Призванный в 1895 г. на военную службу, был назначен в ту же артиллерийскую бригаду. Совершая долгий морской путь во Владивосток вместе с Ольховиком, Середа сблизился с ним и еще в пути обратил на себя внимание начальства. В бригаде же он отказался от продолжения военной службы, также был предан суду и приговорен к заключению на три года в дисциплинарном батальоне.

«В обвинительном акте», предъявленном компанией Юхоцких Н. Е. Федосееву, ему, между прочим, инкриминировалось «нетоварищеское отношение» к Ольховику и Середе. Соединенное собрание политических ссыльных, бывшее 5 января 1898 г., отвергнув все инсинуации, направленные против Федосеева по пункту, касающемуся отношений к Ольховику и Середе, признало, что имеющиеся письма последних к Федо-

сееву «не допускают и тени подозрения о существовании между ними и Федосеевым иных, кроме чисто дружеских, отношений» (см. Виноградов Ф., Из жизни верхоленской ссылки, — «Каторга и Ссылка», 1928, XI (48), стр. 129—137).

[11] О Егорове см. примечание 4-е к письму № 2.

[12] Это предположение Н Е. Федосеева ошибочно. По архивным данным, собственных денег у всей партии духоборов оказалось по прибытии в Якутск 945 рублей, очевидно, отобранных у них в тюрьме. Получив от казны эти и еще кормовые деньги, они всю сумму израсходовали на закупку продовольствия и на месте своего поселения фактически очутились без копейки денег (см. Ильинский А., Духоборы в Якутской области, стр. 247—250).

[13] Ясинский Иероним Иеронимович (1850—1931), беллетрист и публицист, отличавшийся неустойчивостью взглядов и беспринципностью.

В 1897 г., в газете «Биржевые Ведомости» (№ 213, от 6 августа), Ясинский напечатал статью «Секта, о которой говорят». Изложив историю духоборческого движения, Ясинский закончил статью предложением помочь бедствующим духоборам и этим «возвратить заблудших в лоно церкви». В свою статью Ясинский включил статью П. А. Буланже вместе с сопроводительным письмом Толстого в редакцию «Биржевых Ведомостей» (см. прим. 1-е к настоящему письму).

По поводу выступления Ясинского Толстой писал П. И. Бирюкову 13 (?) августа 1897 г.: «О духоборах статью Буланже ни одна газета не хотела печатать, и потом напечатали Биржевые Ведомости, но предпослав статью Ясинского, кот[орый] клевещет на них. Я думаю, что это хуже, чем ничего. Постараемся не забывать, а чувствовать их страдания и потом стараться помочь им. Чем, я еще не знаю, но надеюсь, что жизнь укажет» (подчеркнуто нами).

[14] «Новое Слово» — ежемесячный журнал, издававшийся с октября 1895 г. С марта 1897 г. в журнале стали сотрудничать Плеханов (под псевдонимом Каменский), Потресов и др. Журнал был закрыт в декабре 1897 г., о чем Н. Е. Федосееву не могло быть еще известно.

В публикации письма Федосеева, появившейся в «Листках Свободного Слова», название указанного им марксистского органа заменено словами: «какого-нибудь журнала».

[15] Рыбин Иван Семенович, духобор, был выслан из Закавказья в Якутскую область, вероятно, в ноябре 1896 г. Как явствует из клеветнического «обвинительного акта» против Н. Е. Федосеева, последний был знаком с Рыбиным (см. вступительную статью).

В копии письма Федосеева к Толстому написано не Рыбин, а Рыбаков. Это несомненная ошибка.

[16] Поздняков Василий Николаевич, духобор из Тифлисской губ. За отказ от военной службы был подвергнут телесному наказанию. Весной 1897 г. был выслан на восемнадцать лет в Якутскую область. На Усть-Нотору Поздняков прибыл вместе со второй партией духоборов в июне 1898 г. Вскоре же был послан товарищами-единоверцами на Кавказ с поручением к женам сосланных. Это рискованное нелегальное путешествие он благополучно совершил, побывав по пути у Толстого, в Ясной Поляне. По словам Толстого, Поздняков ему «показывал свое иссеченное тело, и это было ужасно: оно было покрыто рубцами, хотя прошло уже несколько месяцев после наказания». По просьбе Толстого, он написал в Ясной Поляне воспоминания о расправе с духоборами за сожжение оружия (см. «Рассказ духоборца Васи Позднякова», под ред. Влад. Бонч-Бруевича, изд. «Свободное слово», Christchurch, 1901).

[17] Шерстобитов Василий Федорович (1871—1901), духобор из Тифлисской губернии. Был принят на военную службу осенью 1892 г. 29 июня 1895 г. (в день сожжения духоборами оружия) он отказался от дальнейшего несения службы. За это был приговорен к заключению в дисциплинарном батальоне, а затем отправлен в якутскую ссылку.

Судя по неопубликованным письмам духоборов к Н. Е. Федосееву, можно с уверенностью сказать, что писавший эти письма от лица всей партии духоборов В. Ф. Шерстобитов не только был в переписке с Федосеевым, но и лично беседовал с ним «во время совместной жизни в пути». Значительная часть его писем к Федосееву, повидимому, до нас не дошла.

2. Л. Н. ТОЛСТОЙ — Н. Е. ФЕДОСЕЕВУ

1898 г. Марта 24 [Москва]

Простите, забыл ваше имя отчество, а первое письмо теперь не найду. Очень благодарю вас за ваше письмо, в кот[ором] вы все, что нам дорого, описываете с такой подробностью и любовью [1]. Меня так поразило то, что вы пишете мне о воздействии моего письма в дисципл[инарном] бат[альоне] [2], что я написал письмо заседателю в Усть-Нютор [3], прося его передать деньги сосланным, не вычитая из казенного. Не можете ли вы сделать это? С пересылаемыми должен быть псков-

ский Егоров[4]. Что вы знаете про него? Для него есть 15 р[ублей]. Как передать их ему?

Очень благодарю тоже за фотографию.

Благодарный и полюбивший вас Л. Толстой

[1] Толстой отвечает на второе письмо Федосеева к нему. В архиве Толстого при Всесоюзной библиотеке им. В. И. Ленина оно не обнаружено.

[2] Письмо к начальнику Иркутского дисциплинарного батальона от 22 октября 1896 г. об отправленных туда за отказ от военной службы крестьянах Харьковской губернии П. В. Ольховике и К. Середе. 29 марта 1898 г. Толстой писал своему единомышленнику П. А. Буланже: «...Поразило меня и очень радостно недавно письмо административно-ссыльного из Верхоленска, который пишет о том, что начальник дисциплинарного батальона в Иркутске прямо сказал Ольховику и Середе, что мое ходатайство о них спасло их от телесного наказания и уменьшило их срок содержания. Пускай 1000 писаний пропадут даром; если одно будет иметь такие последствия, то надо писать не переставая...». Письмо Толстого, о котором идет речь, впервые напечатано в книге «Письма П. В. Ольховика, крестьянина Харьковской губернии, отказавшегося от воинской повинности в 1895 году, письмо Л. Н. Толстого и другие сведения, относящиеся к этому делу», изд. В. Г. Черткова, № 5, Лондон, 1897 (см. также Толстой, Полное собрание сочинений, Юбилейное издание, т. XX).

[3] Земским заседателем в Усть-Ноторе был Сергей Иванович Меликов (1863—1929?). Неопубликованное письмо Толстого к нему приводим полностью:

Г-ну заседателю Усть-Нотора.

[24 марта 1898 г.]

Милостивый государь.

Несколько человек, сочувствующих сосланным за отказ от военной службы людям в Усть-Нотор, желали бы помочь их нужде и необходимым расходам для обзаведения и собрали небольшую сумму денег, около 200 р[ублей], которые желали бы передать сосланным; кроме того один знавший Егорова именно ему просит переслать 15 р[ублей]. Я слышал, что если сосланным присылают деньги, то удерживается такое же количество казенного содержания, так что деньги, присылаемые им, не облегчают их положения.

Цель моего письма состоит в том, чтобы просить вас во имя Христа, если это от вас зависит, передать пересылаемые деньги, не вычитая из казенного содержания. Надеясь на то, что вы не откажете в моей просьбе и известите меня (Москва, Хамовники, Льву Толстому), остаюсь с совершенным уважением, готовый к услугам

Лев Толстой

[4] Егоров Егор Егорович (род. в 1874 г.), крестьянин дер. Мурашкино, Островского уезда, Псковской губернии. В 1895 г. отказался и на призыве и в полку от несения военной службы. Был осужден полковым судом к трехгодичному заключению в дисциплинарном батальоне и отправлен в Бобруйский батальон. Затем 1 октября 1896 г. был отправлен на восемнадцать лет в Якутскую область, куда прибыл 9 июня 1897 г. В сентябре 1901 г. бежал из ссылки и в 1902 г. выехал за границу.

3. Н. Е. ФЕДОСЕЕВ — Л. Н. ТОЛСТОМУ

1 мая [18]98 г., Верхоленск

Многоуважаемый Лев Николаевич, на-днях я получил письмо от усть-ноторцев[1]. П. Ольховик и Рыльков (духобор)[2] приехали в Якутск по вызову администрации за получением казенного пособия (600 р.) для хозяйственного обзаведения и за покупкой лошадей и орудий. Все они здоровы и бодро принимаются за постройку домов и приготовление пашни. Со 2 февраля 20 из них живут на временных заработках в скопческом селе Петропавловском, в 150 в. от Усть-Нотора.

К лету они думают настолько прочно обосноваться, что решили вызвать свои семейства[3]. Письма из дому очень ободряют их: расселенные по Тифлисской губ. пишут им, что, благодаря помощи и поддержке со стороны, они теперь не испытывают уже страшной нужды[4].

Не знаю, как они примут известие о разрешении, данном их товарищам, переселиться в Америку или Англию; это разрешение, повидимому, не распространяется на усть-ноторцев[5]; условие для переселения — не

состоять на призыве — делает его чрезвычайно тяжелым и совершенно лишним для большинства духоборов.

Среди нескольких десятков сектантов, высланных в прошлом году в Вост[очную] Сибирь из разных губерний Евр[опейской] России (между прочим 12—13 «неплательщиков»[6] из Красноуфимского уезда; они сосланы в Якутскую область на 5 лет),— был какой-то Егоров[7]. Вероятно, именно он из Пскова. Этот Егоров сослан за отказ от военной службы. Его сначала поселили на Алдане, а затем вместе с Ольхов[иком] и Середой перевели на Усть-Нотору. Деньги для него можно переслать по адресу: Амгинская станция, Якутской области, земскому заседателю 2-го участка, для передачи духобору Николаю Ивановичу Рылькову (или Петру Ольховику) на Усть-Ноторе. Книги, пересланные мной, они получили, письма получают тоже, повидимому, без задержек. Ольхов[ик] выражает желание иметь для чтения усть-ноторской колонии общеобразовательные книги, не исключительно популярные и в большем выборе. В Амгу для получения корреспонденции и за покупками им разрешают приезжать самим.— В середине мая я увижусь со второй партией духоборов, высылаемых на Усть-Нотору[8].

Н. Е. ФЕДОСЕЕВ НА СМЕРТНОМ ОДРЕ
Фотография
Музей Революции, Москва

Глубоко уважающий вас Н. Федосеев

Мой адрес: Верхоленск, Иркутской губ., Николаю Евграфовичу Федосееву.

Адрес рукой Н. Е. Федосеева:

«Заказное. Г. Тула. Ясная Поляна.
Графу Льву Николаевичу Толстому».

Слова «Г. Тула» и «Ясная Поляна» перечеркнуты, и другой рукой написано: «В Москву, Хамовнический переулок, д. № 21».

На почтовых штемпелях: «Верхоленск. Иркутск. губ. 3 мая 1898 г.»; «Тула. 25 мая 1898 г.» и «Москва. 26 мая 1898 г.».

[1] Письмо это редакции неизвестно.

[2] Рыльков Николай Иванович (род. в 1871 г.).

[3] Прежде чем перевозить свои семьи, якутские поселенцы решили ознакомить их с условиями жизни в Сибири и с этой целью отправили на Кавказ Василия Позднякова (о нем и его поездке см. прим. 16-е к письму № 1). С Поздняковым приехали к мужьям только три бездетные женщины. Остальные семьи духоборов переселились в Сибирь лишь летом 1899 г.

[4] Помощь и поддержка со стороны были организованы при ближайшем участии Л. Н. Толстого и его друзей.

[5] Летом 1897 г. духоборы, расселенные по деревням Тифлисской губ., просили императрицу Марию Федоровну или освободить их от воинской повинности и разрешить им опять жить всем вместе, или не препятствовать их выселению за границу. Была удовлетворена вторая часть их просьбы, но с оговоркой, что духоборы, подлежащие призыву, за границу выехать не могут. Таким образом, усть-ноторцы, как состоявшие уже на военной службе, также были лишены этого права. За границу они выехали лишь в 1905 г. (см. Бабякин И., Духоборы в якутской ссылке — «Русское Богатство», 1909, № 2, стр. 76—98, и № 3, стр. 34—53).

[6] «Неплательщики» — секта с ярко выраженным анархическим уклоном, появившаяся в Красноуфимском уезде, Пермской губернии, в середине 60-х годов. За отказ от исполнения государственных повинностей (в частности от воинской) и за пассивное сопротивление в тюрьмах подвергались со стороны царской власти жестоким мерам воздействия. С 1896 г. высылались на поселение в Якутскую область. О них см. Пругавин А. С., Неприемлющие мира, изд. «Задруга», М., 1918; Медынцев К. Н., Неплательщики. — Духоборы, М., б. о. г. [1919].

[7] О Егорове см. прим. 4-е к письму № 2.

[8] Ехавшие с этой второй партией духоборов в якутскую ссылку братья Петра Веригина в письме к родным от 22 мая 1898 г. из г. Киренска сообщали: «...Как тронулись из Качуги, того же дня прибыли в городок Верхоленск, где пониже городка причаливали к берегу и ночевали» («Листки Свободного Слова», № 1, ноябрь 1898 г., стр. 11—12). Среди политических ссыльных, встретивших вторую духоборческую партию в Верхоленске, несомненно, был и Н. Е. Федосеев. Состоялась встреча, вероятно, 13 мая 1898 г., так как именно в этот день духоборы отплыли на паузках от пристани Качуг.

4. Л. Н. ТОЛСТОЙ — Н. Е. ФЕДОСЕЕВУ

1898 г. Июня 9 [Ясная Поляна]

Дорогой Николай Евграфович, чувствую к вам большую благодарность и близость, вследствие вашего доброго участия к нашим друзьям. Благодарю вас за сведения, которые вы мне сообщаете в вашем последнем письме от 28-го мая[1]. Пожалуйста, продолжайте писать мне все, что будете знать о них. Передайте, пожалуйста, если будет можно, им мою любовь и то, что очень и очень многие и в России и за границей знают и любят их и желают им быть полезными.

У нас есть небольшая сумма около 3 000 р., которая хранится в банке, предназначенная на помощь духоборам. Надеюсь, что соберется больше. Деньги эти мы думаем употребить на помощь при переселении. Если же нужнее для поселения якутских, то можно часть ее употребить и туда. Пускай они сами решат.

Мне писал письма из Иркутской тюрьмы Худяков[2]. Я не отвечал ему, во 1-х п[отому] ч[то] не знал, застанет ли его письмо в Иркутске, а во 2-х п[отому] ч[то] боюсь всегда моими письмами к духоборам испортить их положение, т[ак] к[ак] правительство старательно препятствует всякому моему сношению с ними.

Если вы увидите его, скажите ему, что я с радостью прочел его письмо и что не я один, но много людей помнят их, следят за ними и стараются помочь им.

Передайте им, что на-днях проехал здесь Ивин[3] с семьею. Он едет в Англию и по ошибке вместо того, чтобы ехать югом из Батума, заехал в Москву и в Ясную Поляну и не застал меня (я был в глухом месте Чернск[ого] уезда для помощи нуждающимся от неурожая, и там заболел)[4]. Он застал мою дочь[5], которая направила его в Петербург,

откуда, надеюсь, он с помощью друзей доедет благополучно в Англию. Скажите еще, что от П[етра] В[еригина] мы, к сожалению, давно не получали писем. Скажите еще, что из Карсской области Андросов[6] мне пишет, что там начальство отбирает лошадей и коров и продает с аукциона[7], но что они не падают духом и живут хорошо.

Скажите им, что я думаю, что теперь хуже уже не будет, а, напротив, пойдет все к лучшему.

Я надеюсь, что правительство скоро переменит свой образ действий. Думаю, что если выселится большая часть, то выпустят и сосланных в Якутск, если не сейчас, то со временем[8]. Дай бог только якутским изгнанникам душевной силы: терпения, смирения и любви.

Претерпевший до конца спасен будет[9].

Не пишу прямо Ольховику и другим братьям, п[отому] ч[то] не хочется писать через заседателя.

Кто вы? За что сосланы? Какое теперь ваше положение? И какое ваше душевное состояние?

Если вам не неприятно ответить на эти вопросы[10], то буду благодарен вам.

Любящий вас Л. Толстой

[1] Несомненно, Толстой имел в виду письмо Федосеева от 1 мая, полученное в Ясной Поляне в конце мая. См. письмо № 3.

[2] Худяков Николай Федорович, духобор из Карсской области, села Покровского. В архиве Толстого сохранились три его письма: от 28 февраля, 8 апреля (о нем Толстой и писал Федосееву) и 15 ноября 1898 г. Во втором из них Худяков сообщал «милому дедушке», что он его знает «из книг его сочинений», что «Так что же нам делать?» он читал, «живя в тюрьме», что «сослан в Сибирь за слово «не убий» и что за ним «добровольно следуют жена и дочь».

Толстой ответил на это письмо Худякову 26 июня 1898 г., но его ответ был перехвачен охранкой и сравнительно недавно обнаружен в архиве департамента полиции. Опубликовано оно в вечернем выпуске «Красной Газеты», 1925, № 51, от 28 февраля.

[3] Ивин Иван Васильевич, духобор. Выполнял не раз общественные поручения. Подвергался преследованиям. Был одним из ходоков (другой — П. В. Махортов) в Англию для осмотра земли и переговоров с В. Г. Чертковым и квакерами о переселении. В мае 1898 г. семьи Махортова и Ивина получили заграничные паспорта, дав подписку о невозвращении назад.

[4] В связи со сведениями о голоде в южной части Тульской губернии, Толстой 25 апреля 1898 г. выехал из Москвы в Чернский уезд. Поселившись в Гриневке, имении сына своего Ильи Львовича, он занялся организацией сети столовых для голодающих. В конце мая, на пути из Гриневки в Ясную Поляну, Толстой заехал в село Алексеевское, к давнишнему своему знакомому, известному деятелю по сельскому хозяйству, П. И. Левицкому (1842—1920), где заболел и провел десять дней.

[5] Толстая Татьяна Львовна, с 1899 г. Сухотина.

[6] Андросов Михаил Семенович, духобор из селения Гореловка, Карсской области. В 1895 г. по поручению общины ездил в Обдорск, к П. В. Веригину. Поездку свою описал в статье «Мое путешествие. Рассказ члена христианской общины всемирного братства Михаила Андросова», напечатанной в книге «Письма духоборческого руководителя Петра Васильевича Веригина», под ред. В. Д. Бонч-Бруевича, изд. «Свободное слово», № 47, Christchurch, 1901.

Сохранились три письма Андросова к Толстому: от июня и от 13 октября 1897 г. и от 17 мая 1898 г., о котором упоминает Лев Николаевич.

[7] Деньги, полученные от продажи скота, расходовались на уплату жалованья старшинам, поставленным правительством для надзора за духоборами.

[8] Якутские духоборы получили разрешение выехать за границу в 1905 г.

[9] Часто повторявшееся Толстым изречение из евангелия.

[10] Н. Е. Федосеев умер 21 июня 1898 г. Это письмо Толстого не застало его в живых.

ПЕРЕПИСКА ТОЛСТОГО С Н. М. РОМАНОВЫМ

Предисловие Д. Заславского

Публикация С. Шамбинаго

ТОЛСТОЙ И ГЕНРИ ДЖОРДЖ

Публицистическая деятельность Льва Толстого, направленная против государства и православной церкви, причиняла не мало неприятностей царскому правительству. Хотя учение Толстого враждебно всякому революционному насилию, но его беспощадная критика существующего общественного и политического порядка не могла не тревожить охранителей этого порядка. Толстой разоблачал православную церковь, правительство, чиновников, царский суд, капиталистическую эксплоатацию, буржуазную мораль, и его статьи широко расходились по всей стране в нелегальных изданиях, переводились на иностранные языки и создавали Толстому славу непримиримого борца с царизмом.

Дворянско-помещичья и поповская клика ненавидела Толстого и боялась его. Царское правительство не смело расправиться с великим писателем. Художественный гений Толстого, его мировая слава вместе с заведомой непричастностью к подлинно революционным партиям создавали Толстому в царской России своеобразную неприкосновенность. Ясная Поляна пользовалась как бы экстерриториальностью. Жандармы и шпионы шныряли вокруг, не решаясь открыто проникать в дом Толстого. Исключением является жандармский набег в 1909 г. Но и тогда арестовали только секретаря Толстого, не решившись наложить руку на самого писателя.

Однако, замаскированные шпионы проникали, конечно, в дом Толстого. Со стороны правительства, несомненно, делались и попытки влиять на Толстого. Высшее православное духовенство зорко следило за здоровьем великого писателя, чтобы использовать минуты предсмертной слабости и попытаться примирить его с церковью. Приступы болезни каждый раз усиливали возню шпионов и попов вокруг Толстого.

В этом свете надо рассматривать странное, на первый взгляд, знакомство Толстого с Николаем Михайловичем Романовым, «великим князем», одним из близких к последнему царю лиц. Этот Романов, вопреки его заявлениям, никогда не проявлял заметного интереса к Толстому, не искал знакомства с ним, не пытался посетить Ясную Поляну, не встречался с писателем в Москве. Но, когда Толстого, опасно заболевшего, перевозят в Крым, в Гаспру, Николай Михайлович внезапно проявляет острый интерес к больному, навязчиво лезет в дом, где находился Толстой, пишет письма и записки и наконец добивается своего. Он принят, как посетитель,—видимо, не без содействия Софьи Андреевны, польщенной вниманием «высокого гостя». Так завязываются знакомство и переписка.

То, чего не могли сделать обыкновенные шпионы, удается «великому князю». Царское правительство приобретает в его лице важного и полезного осведомителя. Обыкновенная информация вряд ли была основной задачей Николая Михайловича; он мог выполнить задание и более ответственное: попытаться повлиять на Толстого и склонить его к примирению с царизмом, а если это недостижимо, то, по крайней мере, по возможности удержать от резких нападок на самого царя, на Николая II.

Только выполнением важного и ответственного поручения можно объяснить исключительную назойливость, проявленную Николаем Михайловичем. Толстой опа-

сался, не повредит ли «великому князю» столь явная близость к отлученному от церкви, опальному, «опасному» писателю. Толстой говорил образно, что он «зараза», «скарлатина». Он был вполне прав. Ни один человек, принадлежавший к придворному и правительственному кругу, не мог бы приблизиться к Толстому, не рискуя навлечь на себя подозрение и гнев царя и министров. Николай Михайлович менее всего был отважным и самостоятельным человеком. Напротив, все, что мы о нем знаем, свидетельствует о том, что это был типичный царедворец, типичный представитель романовского семейства, ограниченный, тупой, насквозь пропитанный традициями самодержавия, к тому же лично трусливый, заботившийся больше всего на свете о своем благополучии и спокойствии. Достаточно было малейшей тени неудовольствия со стороны царя или министра внутренних дел по поводу его сношений с Толстым,— и немедленно прекратились бы и знакомство и переписка. Одним из министров внутренних дел в этот период был не кто иной, как Плеве, о котором, кстати сказать, Николай Михайлович отзывается в письме к Толстому с замечательной теплотой. Но за это время, за семь с лишком лет, Николай Михайлович не испытывает никаких неудобств от личной связи с Толстым. Напротив, царь и правительство явно поощряют эту связь, которая, конечно, им известна во всех подробностях. А Николай Михайлович с ловкостью заправского провокатора щеголяет в своих письмах радикализмом, вся лживость которого обнаруживается при сравнении оппозиционных фраз с фактически-реакционной службой Николая Михайловича царизму.

Не подлежит сомнению, что для связи с Толстым царское правительство избрало наиболее подходящего в своей среде человека. В случае удачи это был бы прямой посредник между Толстым и Николаем Романовым, русским царем. А неудача не выводила попытку связаться с Толстым за пределы интимного круга. Николай Михайлович выполнил возложенную на него задачу с большим искусством, и только в 1905 г. Толстой почувствовал что-то неладное в этой великокняжеской прилипчивости. Впрочем, Лев Николаевич и с самого начала относился к своему новому знакомому довольно холодно и сухо, и можно предполагать, что, если бы не содействие растроганной Софьи Андреевны, знакомство оборвалось бы на первых же шагах.

Николай Михайлович был весьма удобным человеком для проникновения к Толстому, потому что в семье Романовых он числился на положении человека «умственного». Он был «историком», как Константин Константинович был «поэтом». Царизм считал нужным делать вид, будто он покровительствует наукам и искусствам. В действительности это было покровительство «патриотической» фальсификации русской истории в интересах династии Романовых, а также покровительство реакционным стихоплетам. Основным и уважаемым делом в семье Романовых были только игра в солдатики и забота о том, чтобы вся русская армия состояла из верных царизму солдатиков. Политическое тупоумие соединялось с трусливой жестокостью. Все Романовы, по своему воспитанию, по складу симпатий и антипатий, были прежде всего жандармами. Таким жандармом, особенно свирепым, был и отец Николая Михайловича — крутой, упрямый и тупой Михаил Николаевич, типичный сатрап и царедворец. О своем отце «либеральный» Николай Михайлович отзывается в письмах к Толстому не только с сыновней нежностью и почтительностью, но и с уважением молодого жандарма к маститому.

Сам Николай Михайлович был царедворцем, генералом, командиром военных частей, расположенных на Кавказе, послушным и добровольным выполнителем колонизаторской царской политики, не раз усмирявшим восстания крестьян. Его отцу принадлежало громадное имение с десятками тысяч десятин леса, с курортами и источниками Боржома, Бакуриани и др. И отец Николая Михайловича и Николай Михайлович были крупнейшими помещиками, феодальными властителями на Кавказе.

Николай Михайлович исправно нес военную царскую службу, а досуги посвящал «русской истории». Это и доставило ему репутацию ученого историка и либерала. Мы не будем распространяться здесь о его ученой деятельности. Как исследователь, Николай Михайлович — круглое ничтожество. С уровнем исторических знаний не выше старшего класса кадетского училища, с политическим кругозором, не превышавшим кругозора жандармского вахмистра, он подходил к важнейшим явлениям русской истории начала XIX в., к эпохе царствования Александра I и начала царствования

Николая I. Его «история» — это апология романовской династии. Ценность его самостоятельных исторических изысканий ниже цены превосходной бумаги, на которой напечатаны изданные им труды. О культурном уровне «великого князя» весьма наглядно свидетельствует его отзыв о пьесе Горького «На дне». Самодовольный барин сожалеет о том, что кругозор Горького «ограничен» «пьяницами, забулдыгами и пропавшими людьми».

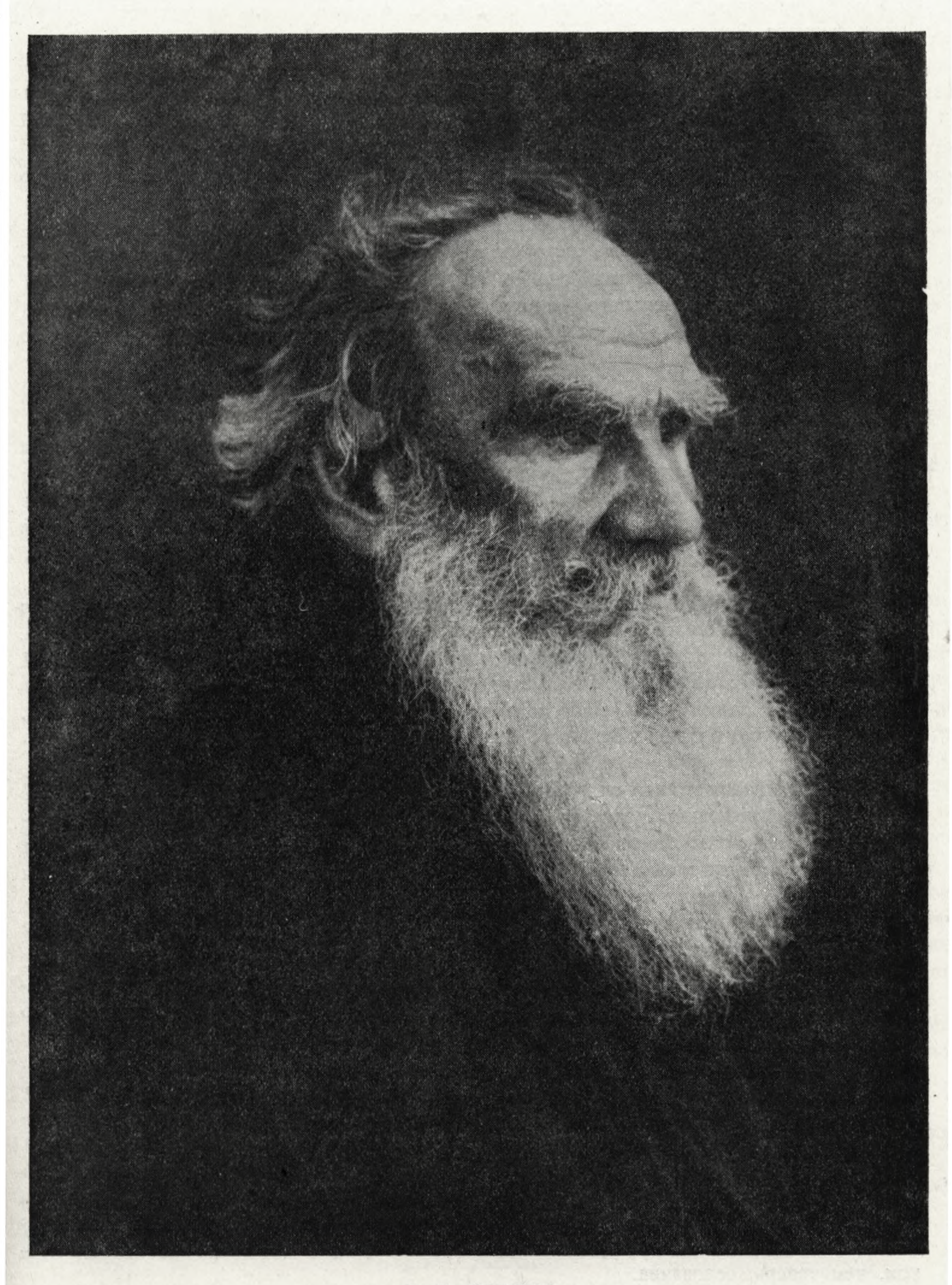
Но у Николая Михайловича есть заслуга, которую излишне отрицать. Пользуясь возможностью проникать в архивы, закрытые для рядовых историков, он издал не мало важных материалов и документов. Интересно отметить, что большинство этих материалов, написанных на французском языке, сознательно напечатано им без перевода на русский язык; таким образом материалы оказывались доступными только ограниченному кругу читателей, на что без всякого стеснения указывал в письме к Толстому и сам Николай Михайлович: «Я не дал русского перевода, ...так как напечатал свою книгу не для массы, а только для избранной публики...».

Издательская деятельность Николая Михайловича доставила ему репутацию, совершенно незаслуженную, «историка», интеллигента и либерала. А эта репутация и открыла перед ним двери дома, где поправлялся после болезни Толстой. Впрочем, она не могла бы создать постоянной связи, близости и длительной переписки. Толстой с первого взгляда определил Николая Михайловича, как человека пустого и неинтересного. В ноябре 1901 г. он писал В. Г. Черткову из Крыма: «Был у меня здесь несколько раз ваш бывший товарищ, Николай Михайлович... Что ему нужно? Не знаю... Он мало интересен. Слишком знакомый тип». Но тут возникло новое обстоятельство. Николай Михайлович хотел использовать Толстого. Толстой попытался использовать Николая Михайловича. Американский публицист Генри Джордж сыграл неожиданную роль в сближении людей, столь противоположных. Ему в значительной мере обязана своим возникновением любопытная переписка, представляющая несомненный интерес для характеристики взглядов и настроений Толстого.

Толстой был, как известно, самым настойчивым, самым энергичным пропагандистом в России экономического учения Генри Джорджа. В национализации земельной ренты, по Джорджу, Толстой видел коренное решение социальной проблемы, путь к уничтожению экономического неравенства, эксплоатации человека человеком, капиталистического строя. Толстой глубоко заблуждался. Он не понимал, в чем заключается подлинная классовая сущность теории Генри Джорджа. Однако, пропагандируя эту теорию в русских условиях 90-х—900-х годов, Толстой выражал стремление миллионов русских крестьян к передаче всей помещичьей, кулацкой, казенной земли в «трудовое» пользование крестьян.

Генри Джордж (1839—1897) принадлежит к числу тех буржуазных американских реформаторов-публицистов, которые выступают время от времени с сенсационными проектами скорого, дешевого и чудесного исцеления капиталистического общества от всех его социальных зол. Эти проекты, по общему правилу, не затрогивают основ капиталистического общества. Они касаются его частностей. С резкой критикой существующего строя, с самой «радикальной» фразеологией эти проекты соединяют самые убогие рецепты. В периоды капиталистических кризисов эти реформаторы и пророки возникают, как мыльные пузыри. Они приобретают иногда широкую популярность и сотни тысяч последователей. Реклама раздувает их имена. Но затем их громкая слава лопается, как мыльный пузырь, и они исчезают навсегда в безвестности. О них вспоминают, как о шарлатанах.

Генри Джордж принадлежит к числу самых замечательных «пророков» этого типа. Его успех был более длительным, чем у других. Этому способствовал и его несомненный публицистический талант, но всего больше тот исторический момент, к которому относятся его первые выступления. Очередной капиталистический кризис в 70-х годах совпал с внезапно обнаружившимся истощением фонда «свободных земель», принадлежащих государству и раздаваемых на льготных условиях фермерам. Этот фонд, некогда огромный, в течение десятилетий служил резервуаром, поглощавшим избытки рабочей силы и поддерживавшим на сравнительно высоком уровне заработную плату квалифицированных рабочих. Капиталистическая земельная спекуляция



Л. Н. ТОЛСТОЙ

Фотография 1907 г.

Толстовский музей, Москва

расхитила этот фонд раньше, чем он мог удовлетворить всех желающих осесть на своей земле. Очередной капиталистический кризис вдруг показал, что нет больше легендарного свободного земельного раздолья, с которым свыклась мысль американского рабочего и фермера. Земля перешла в руки частных собственников, торгашей землей, спекулянтов. Земельная рента, которая мало давала себя чувствовать на заре американской истории, показала миллионам, что такое частная собственность на землю. Цены на земельные участки росли вместе с развитием капитализма, вместе с банковскими спекуляциями.

Аграрные иллюзии тяготели над экономическими представлениями американского рабочего класса еще долго после того, как США превратились из аграрной страны в аграрно-индустриальную. Этим и об'ясняется шумный успех Генри Джорджа, который все бедствия капиталистического строя полностью свел к существованию земельной ренты и выступил с проповедью ее фактической национализации путем введения такого подоходного земельного налога, который, не затрогивая капиталистической прибыли от эксплоатации сельскохозяйственных рабочих, поглощал бы полностью земельную ренту. Книги Генри Джорджа «Прогресс и бедность» (1879) и «Социальные проблемы» (1884) имели огромный успех. Образовалась партия Генри Джорджа, во всех штатах возникли «клубы земли и труда».

Демагогическая агитация сторонников Генри Джорджа, их внешний радикализм в обличении частных земельных собственников в спекуляции землей, бесцеремонные обещания социального рая на земле после введения единого прогрессивного налога на землю — все это смущало американских социалистов. В письме к Зорге 20 июня 1881 г. Маркс исчерпывающе разоблачил классовую сущность теории Генри Джорджа. Маркс писал:

«Человек этот в теоретическом отношении совершенно отстал. Он не понял сущности п р и б а в о ч н о й с т о и м о с т и и потому вращается, по примеру англичан, в мире спекуляций о рассматриваемых как самостоятельные частях прибавочной стоимости, т. е. о соотношениях прибыли, ренты, процентов и т. д., причем уровень его спекуляций даже ниже, чем у англичан. Его основной догмат заключается в том, что в с е б ы л о б ы в п о р я д к е, если бы земельная рента выплачивалась государству» [1].

Маркс напоминает, что о требованиях подобного рода, как переходных мероприятиях, не затрогивающих существа капиталистического строя, говорится в «Коммунистическом манифесте». Английские буржуазные экономисты задолго до Джорджа выставляли такое же требование. «В этом требовании сказывается ничем не прикрытая ненависть п р о м ы ш л е н н о г о к а п и т а л и с т а к з е м л е в л а д е л ь ц у, который кажется *капиталисту* чем-то совершенно бесполезным и излишним в системе буржуазного производства» [2].

Первым, кто превратил требования радикальных буржуазных агитаторов в социалистическую панацею, был, по словам Маркса, французский публицист сомнительного происхождения — Колен. Были и другие «мыслители», пришедшие к мысли о национализации земельной ренты независимо от Джорджа.

«Все эти «социалисты»,— продолжает Маркс,— начиная от Колена, имеют общим то, что, оставляя неприкосновенным н а е м н ы й т р у д, а следовательно и к а п и т а л и с т и ч е с к о е п р о и з в о д с т в о, они тем самым желают обмануть себя или других, когда утверждают, что с превращением земельной ренты в государственный налог в с е б е д ы капиталистического производства должны сами собой исчезнуть Все это не что иное, как скрытая под маской социализма попытка спасти г о с п о д с т в о к а п и т а л и с т о в и фактически з а н о в о у к р е п и т ь его на более широком, чем теперь, основании.

Этот злостный умысел, а вместе с тем и глупость недвусмысленно проглядывают из декламаций Генри Джорджа. Ему это тем более непростительно, что от него можно было бы ждать постановки вопроса как-раз в обратном смысле, а именно: чем объяснить, что в Соединенных Штатах, где относительно, т. е. в сравнении с цивилизованной Европой, приобретение земли было, и до известной степени (опять-таки относительно) и теперь еще, доступно для народных масс, капиталистическое хозяйств

и связанное с ним порабощение рабочего класса развились **быстрее** и в **более циничной форме**, чем в какой-либо иной стране!»[3].

Интерес широких народных масс в Америке к пропаганде Джорджа остыл довольно скоро. Отталкивали шарлатанские приемы его сторонников, а всего больше действовали обострявшиеся классовые противоречия между капиталистами и рабочим классом. В быстро растущей капиталистической стране не легко было поддерживать в течение длительного времени наивные аграрные иллюзии. Попытки объединить в одном лагере капиталистов и рабочих против лагеря частных земельных собственников и земельных спекулянтов были безнадежны. Но американская буржуазия оценила эту выгодную для нее сторону в учении Генри Джорджа. Современный американский буржуазный историк пишет: «Промышленные капиталисты покровительствовали ему [Джорджу]: он не вносил никакого расстройства в их экономическую политику»[4].

Книги Джорджа имели некоторый успех и в Европе. В России, где было не так много его сторонников, горячим пропагандистом взглядов Джорджа выступил Толстой. Он писал предисловия к выходящим в русском переводе его книгам, писал статьи с популяризацией идеи единого государственного налога. Толстой ввел Джорджа и в художественные произведения.

В «Воскресении» Нехлюдов излагает крестьянам своей деревни теорию Джорджа. Крестьяне относятся к ней сочувственно:

«— Это правильно,— сказал печник, двигая бровями.— У кого лучше земля, тот больше и плати.

— И голова же был этот Жоржа,— сказал представительный старец с завитками...

— Ну и голова!.. Жоржа! А что выдумал».

Однако, пропаганда теории «Жоржи» в русских условиях встречалась с такими препятствиями, которых не имел в виду Генри Джордж. Американский реформатор взывал к общественному мнению США, обращался к избирателям, требовал проведения единого государственного налога через конгресс. Он пользовался средствами буржуазного государства с демократическими формами управления. Толстой пропагандировал Джорджа в царской России, где самая мысль о парламенте почиталась преступлением. К тому же, Толстой отрицал парламенты и государство. Это очень усложняло его задачу. Надо было найти те силы, которые могли бы провести в жизнь реформу Генри Джорджа.

Насильственную национализацию силами самого крестьянства, т. е. крестьянскую революцию, Толстой категорически отрицал, да и привела бы такая революция не к мирной национализации земельной ренты, а к революционной конфискации всей помещичьей и кулацкой земли. Толстой во всяком насилии усматривал зло. Оставалось, по примеру всех утопистов, возлагать надежды на мудрость господствующих классов, на просветление государственных деятелей, обладающих властью. Толстой знал цену этим деятелям, не раз обличал их и в художественных произведениях и в публицистике. Он дал их коллективный портрет в образе государственного деятеля Алексея Александровича Каренина. Обращаться с увещанием к Карениным значило впадать в жесточайшее противоречие с самим собой. Но вся жизнь Толстого, все его творчество полны противоречий.

Толстой написал письмо царю Николаю II. Толстой уговаривал царя стать реформатором по Генри Джорджу. В этом была наивная, но крепкая, упорная, крестьянская, по своему характеру, вера в то, что земля должна принадлежать только трудящимся крестьянам и что в этом — средство исцеления от всех социальных бедствий.

Нам неизвестно в точности, о чем шла беседа у Льва Николаевича с Николаем Михайловичем во время трех его визитов к Толстому. Но говорили, конечно, и о Николае II. Письмо Николая Михайловича, написанное позднее из Тифлиса, показывает, какой взгляд на царя его агент навязывал Толстому. Он писал: «...государь наш очень добрый и отзывчивый человек, а все горе в окружающих...».

Мы не можем утверждать, что именно под влиянием Николая Михайловича Толстой решил написать письмо царю о теории Генри Джорджа. Но, во всяком случае, избрав своим посредником Николая Михайловича, Толстой показал, что речи о «добром и отзывчивом человеке» не остались совсем без последствий. Миссия Николая Михайловича оказывалась не бесполезной. Если и не удалось примирить Толстого с царским правительством, то удалось толкнуть Толстого на такой шаг, который мешал ему нападать на царя со всей прямотой и резкостью. Обращение Толстого к царю с просьбой, хотя бы и не личного характера, невольно связывало всякое открытое выступление против личности Николая II.

Поведение Николая Михайловича в его посреднической деятельности между Толстым и царем разоблачает не только трусливую, холопскую натуру Николая Михайловича, но и его шпионскую роль. Николай Михайлович не мог отказать Толстому в его просьбе, да это и не входило в задачу, на него возложенную. Напротив, он охотно согласился передать письмо Толстого непосредственно царю, уверяя Толстого, что нисколько не опасается лично за себя. Он в этом отношении и не лгал. Конечно, такая роль была бы рискованной в придворных условиях, если бы Николай Михайлович действительно по своей инициативе, без ведома и согласия Николая II, взял на себя миссию непрошеного представителя Толстого. В этом случае опасность «скарлатины», как называл Толстой опасность сближения с ним, была бы несомненной, и Николай Михайлович никогда не решился бы на такую дерзость.

Но Николай Михайлович знал, что делал, хотя просьба Толстого передать царю «революционное» письмо и могла быть неожиданной для него. В ответе Николая Михайловича замечательна его типично-жандармская любезность. С одной стороны, полная готовность оказать услугу, обстоятельный отчет о том, как было передано письмо. С другой стороны, издевательское превращение письма, которому сам Толстой придавал большое политическое значение, в пустую бумажку.

Николай Михайлович писал, что при передаче письма он просил царя не сообщать о письме министрам. Он руководился, будто бы, заботой о безопасности Толстого. Николай Михайлович взял на себя охрану Толстого! Для этого трусливый царедворец вошел, будто бы, в конспирацию с царем.

Это, конечно, совершенный вздор. Толстой нисколько не боялся царских министров. Он не скрывал своих взглядов,— в частности, о Генри Джордже он писал в статьях, которые выходили нелегально в России и печатались за границей. Решительно ничем царские министры не могли в этом отношении повредить Толстому больше, чем и без того вредили, независимо от его письма к царю.

Толстой не только не боялся того, что царь познакомит с его письмом министров, но в этом отчасти и состояла задача письма. Толстой прямо указывал на те меры правительственного характера, которые, по его мысли, должны быть приняты в связи с национализацией земельной ренты. Если бы царь хоть только передал письмо Толстого на рассмотрение министров, не предрешая результатов, то и это уже было бы успехом. Это значило бы, что царь признает серьезной мысль Толстого и не отказывается обсудить его предложение по существу.

Но ни царь, ни Николай Михайлович и не думали отнестись серьезно к письму Толстого. Выгоднее всего было сделать такой вид, как будто оно и не было получено; но принять при этом меры, чтобы не произошло резкого разрыва между Толстым и Николаем Михайловичем и не была потеряна найденная не без труда личная связь. Для этого и был придуман такой ответ, что письмо получено и даже принято благосклонно, но решительно никто, кроме царя и Николая Михайловича, об этом не знает. Сам царь, конечно, не отвечал Толстому. За царя разыграл комедию его агент.

Что это — комедия, Толстому было ясно. В его письме к Николаю Михайловичу прорываются несвойственные Толстому в переписке раздражительность и обида. Толстой пишет, что с ним обошлись, как с «дурачком». Но разобрать жандармскую игру в этой комедии Толстой не мог. Он был все же слишком хорошего мнения о Николае Михайловиче и не рассмотрел в нем подосланного агента.

На этом, собственно, и заканчивается эпизод, в основе которого лежит наивная попытка Толстого обратить Николая II в сторонника теории Генри Джорджа. Но

любопытно вот что. Толстой понимал, что в Америке национализация земельной ренты неосуществима, потому что власть находится в руках капиталистов и крупных земельных собственников. Толстой полагал, что именно царизм, как политический строй, будто бы независимый от помещиков и капиталистов, может осуществить национализацию земельной реформы в интересах крестьянства.

Это было двойным заблуждением. Во-первых, русский царь и его родственники были самыми крупными землевладельцами России и получали огромную ренту от своих владений. В частности, это относится и к Николаю Михайловичу, богатейшему помещику. Самодержавие опиралось, в первую очередь, на дворян-помещиков, на крупное землевладение, и ожидать от царизма сочувственного отношения к национализации основного источника существования помещиков было еще более безнадежно, чем ожидать такого отношения от буржуазного правительства Америки, где помещики, во всяком случае, играли вторую скрипку. Во-вторых, национализация земельной ренты не спасала от капитализма. Напротив, она была попыткой, как указывал Маркс, спасти капитализм и весь, основанный на капитализме, общественный строй.

Замечательно, что именно эта черта «реформы» Генри Джорджа неожиданно дала о себе знать во время революции 1905 г. Перепуганный насмерть помещик Николай Михайлович вспомнил о Генри Джордже, когда его собственное имение было окружено кольцом крестьянских восстаний. Не могла ли бы национализация земельной ренты, или, вернее, лживое обещание такой национализации, спасти частную собственность на землю, капиталистический строй, а с ними и царизм?

Это были колебания перетрусившего помещика. Революция внезапно убедила его в том, в чем не мог три года назад убедить Толстой. Однако, это позднее превращение Николая Михайловича из противника взглядов Генри Джорджа в сторонника нисколько не обрадовало Толстого. Ответом на письмо Николая Михайловича был разрыв отношений с ним. Толстой видел «что-то ненатуральное» и «неловкое» в этих отношениях (см. письмо Толстого от 14 сентября 1905 г.). Жандармского

УРЯДНИК УВОЗИТ В ССЫЛКУ ИЗ ЯСНОЙ ПОЛЯНЫ СЕКРЕТАРЯ Л. Н. ТОЛСТОГО Н. Н. ГУСЕВА. НА КРЫЛЬЦЕ Л. Н. ТОЛСТОЙ

Фотография 4 августа 1909 г.

Толстовский музей, Москва

обличья Толстой так и не рассмотрел в своем не в меру любезном знакомом, но самое знакомство с этим навязчивым родственником кровавого царя его тяготило. Сыграли ли какую-нибудь роль в этом сухом разрыве с Николаем Михайловичем воспоминания о том, как Николай Михайлович расписывал «доброго и отзывчивого человека»? На этот вопрос у нас нет прямого ответа. Но вряд ли можно сомневаться, что воспоминания этого рода могли быть только неприятны Толстому.

Революция 1905 г. со всей остротой поставила аграрный вопрос. В отдельных местах крестьяне решали его, изгоняя помещиков из имений и поджигая помещичьи усадьбы. Это был путь стихийной конфискации помещичьей земли и перехода ее к крестьянам. Однако, помещичьему правительству с помощью контрреволюционной буржуазии удалось подавить революционные выступления. Требование национализации земли находило сторонников среди крестьян в последующие годы. Умеренный депутат от Вятской губернии в третьей Государственной думе, крестьянин Кропотов, высказываясь против «принудительного отчуждения» помещичьей земли, предлагал введение единого налога на землю по Генри Джорджу. Он говорил: «Чтобы быть справедливым, нужно обложить единственным налогом землю, и тогда она окажется у трудящихся масс, и тогда будет незавидно: кто не хочет работать, тот не будет платить...».

Ленин писал по этому поводу в статье «Аграрные прения в III думе»:

«Сколько неиспытанных еще в борьбе сил, сколько стремления к борьбе в этой наивной речи! Желая избегнуть «принудительного отчуждения», Кропотов *на деле* предлагает меру, которая равняется *конфискации* помещичьих земель и национализации *всей* земли! Что «единственный налог» этого сторонника учений Джорджа равносилен национализации всей земли, этого Кропотов не понимает, но что он передает действительные стремления *миллионов*,— в этом не может быть и тени сомнения» [5].

Стремления миллионов русских крестьян руководили и Толстым, когда он обращался с наивным и политически реакционным письмом к царю. Он убеждал коронованного помещика провести реформу в интересах борьбы с революцией, но на деле Толстой являлся зеркалом русской революции и отражал смутные стремления и чаяния крестьянства. Неудача письма к царю не обескуражила Толстого. Он пропагандировал теории Джорджа с прежней энергией. В июле 1907 г. Толстой написал письмо П. А. Столыпину, который незадолго перед этим разогнал вторую Государственную думу, создал «третьеиюньскую» из помещиков и попов и приступил к «разрешению» крестьянского вопроса путем закабаления крестьянской бедноты помещиками и кулаками и развития кулацкого землевладения в «столыпинских хуторах». Толстой предлагал Столыпину наилучшее средство борьбы с революцией: национализацию земельной ренты по Генри Джорджу.

Трудно было найти более неподходящего адресата. Но выражалась в этом письме не личная политическая слепота Толстого, а темнота и отсталость миллионов русского крестьянства, еще не сознававшего, что единственный путь к завоеванию всей земли для трудящихся — это путь пролетарской, социалистической революции, что единственный класс, который может возглавить эту революцию, есть рабочий класс и единственная партия, которая может повести рабочий класс в союзе с крестьянством к победе,— это коммунистическая партия большевиков.

Публикуемые ниже письма Л. Н. Толстого хранятся в Центрархиве; письма Н. М. Романова — в рукописном отделении Всесоюзной библиотеки им. В. И. Ленина. Из переписки исключено несколько писем Н. М. Романова, не имеющих значения для понимания ответных писем Толстого.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 *Маркс и Энгельс*, Сочинения, т. XXVII, стр. 139.

2 *Там же*. Перевод этого же места в «Нищете философии» (т. V, стр. 405—406) несколько отличается от перевода в цитируемом письме к Зорге.

3 *Там же*, стр. 140.

4 *C. and M. Beard*, The Rise of American Civilization, t. II, p. 427.

5 *Ленин*, Сочинения, т. XII, стр. 410.

1

26 октября 1901 г., Ай-Тодор

Многоуважаемый граф Лев Николаевич.

Давно уже я искал случая с вами познакомиться и выразить вам мои чувства глубокого уважения и искренней симпатии. Теперь этот случай мог бы представиться, если только вы пожелаете мне назначить день и час, когда я могу к вам явиться.

Я гощу у брата Александра до 3 ноября, а после возвращаюсь обратно на Кавказ. У нас есть с вами общие знакомые, а именно Алексей Стахович и С. М. Мартынова, с которыми мы часто о вас беседовали и через которых я очень желал познакомиться с вами. Буду ждать слово ответа.

Весь ваш
Николай Михайлович

2

1901 г. Ноября 24, Гаспра

Любезный Николай Михайлович.

Пожалуйста, примите эту мою форму обращения так, как я понимаю ее, не как знак неуважения, а, напротив, как признак уважения и желания отношений не как к какому-то исключительному лицу, а как человека к человеку.

Получив ваше письмо, за которое вам очень благодарен, я [за]думался над тем, что мне отвечать на главный вопрос [1].

Я не беру на себя смелости давать совет в определенном частном случае: слишком много в таких делах есть условий, известных только тем лицам, которые решают вопрос, а между тем от этих условий и зависит такое или иное решение вопроса. Но как правило общее и несомненное повторю то, что и говорил уже — что поступок, в котором человек лишается того, что ему дорого, для другого человека, наверное доставит тому, кто лишается, истинное и лучшее благо. Но вопрос о другом лице. Для его разрешения, мне кажется, самое лучшее, высказав этому лицу свою готовность все сделать для ее блага, предоставить ему, т. е. ей, решать что делать. Вот все, что имею сказать об этом. Нешто еще то, что от всей души желаю вам такого разрешения этого вопроса, при котором вы, вспоминая про то, что сделали, не раскаивались, а, напротив, радовались бы на то, что поступили так, как поступили.

Благодарю вас очень за присылку вашей книги. Она очень интересна и хорошо составлена.

От души желаю вам всего истинно хорошего.

Лев Толстой

[1] В письме от 15 ноября 1901 г. Н. М. Романов обращался к Толстому за советом по вопросу своей личной жизни.

3

1902 г. Января 5, Гаспра

Дорогой Николай Михайлович!

Если вы помните, в одном из свиданий наших в Гаспре я говорил вам, что имею намерение написать письмо государю [1]. Здоровье мое не поправляется, и, чувствуя, что конец мой близок, я написал это письмо, не желая умереть, не высказав того, что думаю об его деятельности и о том, какая бы она могла быть. Может быть что-нибудь из того, что я высказываю там, и будет полезно.

Вопрос для меня теперь в том, как доставить это письмо так, чтобы оно попало прямо в руки государю.

Я помню ваш совет и последовал ему, и письмо это хотя и откровенно осуждает меры правительства, но чувство, которым оно вызвано, несомненно, доброе, и надеюсь так и будет принято государем.

Не можете ли вы мне помочь доставить это письмо непосредственно тому, кому оно назначено? Если вам почему-нибудь неудобно это сделать, будьте так добры телеграфировать мне: нет. Если же вы согласны сделать это, то телеграфируйте: да; и я сейчас же пошлю вам или в Петербург кому вы укажете.

Пожалуйста, простите меня за то, что может быть я злоупотребляю вашей любезностью. Я делаю это потому, что мне кажется — извините меня за мою самонадеянность — письмо это может иметь хорошие для многих последствия. А к этому, сколько я понял вас, вы не можете быть равнодушны.

С совершенным уважением и искренним сочувствием остаюсь готовый к услугам

Лев Толстой

[1] Речь идет о знаменитом «письме к царю», в котором Толстой осуждал деятельность и политику правительства (см. след. письма).

4

Гаспра, 16 января 1902 г.

Дорогой Николай Михайлович!

Очень, очень вам благодарен за вашу милую телеграмму, из которой я еще раз мог убедиться в том, что вы не боитесь «скарлатины» и стоите выше такого страха, что меня очень радует за вас и мои отношения к вам.

Прилагаю письмо государю, к сожалению, написанное не моей рукой. Я начал было это делать, но почувствовал себя настолько слабым, что не мог кончить. Я прошу государя извинить меня за это. Письмо посылаю незапечатанным с тем, что, если вы найдете это нужным, могли прочесть его и решить еще раз, удобно ли вам передать его. Письмо может показаться в некоторых местах резким — правду, или то, что считаешь правдой, нельзя высказывать наполовину — и потому вы может быть не захотите быть посредником в деле, неприятном государю.

Это не помешает мне быть сердечно благодарным вам за вашу готовность помочь мне. В таком случае я изберу другой путь. Вы же пока оставьте письмо у себя.

Вы в Петербурге и теперь вероятно решаете тот вопрос, о котором вы говорили мне. От всей души желаю, чтобы он решился согласно с высшими требованиями вашей совести, т. е. не в виду личного счастия, а истинного добра других. Тогда наверное все будет хорошо. Здоровье мое идет все хуже и хуже, и я быстро приближаюсь к тому концу, или скорее большой перемене жизни, которая иногда чужда мне, а иногда близка и даже желательна.

Прощайте, еще раз благодарю вас и от души желаю вам всего истинно хорошего.

Лев Толстой

5

5 апреля 1902 г. [Гаспра]

Дорогой Николай Михайлович, хотел писать вам тотчас же по получении вашей телеграммы, но тут же слег и два месяца не мог сидеть и взять пера в руки. Хотелось же мне писать вам для того, чтобы от всего сердца благодарить вас. Я почувствовал к вам особенную благодарность за то, что вы исполнили мою просьбу, несмотря на то, что исполнение ее могло повредить вам и что самое письмо, которое вы пере-

дали — и вероятно читали, о чем я просил вас — должно быть несогласно с вашими взглядами и скорее неприятно вам. Если я ошибаюсь, то я очень рад и прошу вас простить мне мои сомнения. Во всяком случае теперь, когда я первый день в состоянии писать, я пользуюсь им, чтобы горячо благодарить вас.

Мне передано было через Черткова, что письмо принято благосклонно (это очень приятно) и дано обещание никому не показывать. Я об этом не просил, но если вы нашли нужным это сделать [1], то, вероятно, вы имели свои причины и я ничего не имею против этого.

Л. Н. ТОЛСТОЙ В КРЫМУ

Фотография 1902 г.

Частное собрание, Москва

Хотелось мне еще разъяснить вам некоторые изложенные мною мысли, чего я не мог сделать в письме, надеясь, что если вы и не разделяете моих взглядов, вы поймете меня и посмотрите на мои предположения не как на плод фантазии непрактического человека — как, я уверен, в лучшем случае смотрят на меня в правительственных кругах,— а как на результат серьезной и продолжительной работы мысли, пришедшей к убеждению, что для спасения самодержавия от полного крушения есть только одно средство: усвоение правительством тех передовых целей, к которым стремится человечество, и ведение с помощью

своей власти к этим целям своего народа. Передовая же цель, к которой всегда стремился и стремится русский народ, по моему убеждению, есть освобождение земли от права частной собственности. Об этом предмете было много писано и теперь пишется, но разработан этот вопрос самым основательным образом Henry George'ем[2] в его большом сочинении Progress and Poverty * и в более сжатом Social Problems **. Вопрос этот, по моему мнению, стоит на той же самой точке необходимости разрешения его, на которой стоял, в первой половине прошлого столетия, вопрос крепостного права и рабства. Но не только разрешение, но разъяснение этого вопроса в наше время задерживается тем, что богатые и вообще частные землевладельцы в Европе и Америке, составляющие правительство, старательно замалчивают его и не дают ему хода в правительственных сферах. Так что разрешение вопроса возможно только в России при самодержавной власти, и в России же особенно нужно и важно, так как большая часть русского народа занята земледельческим трудом, главной помехой для которого служит отсутствие земли или неправильное распределение ее. План Henry George'a, называемый «Single tax system» ***, как вы вероятно знаете, очень прост и удобоисполним, состоя в том, что вся земля оценивается по приносимой ею ренте и рента эта уплачивается владельцами земли правительству и составляет все доходы государства, заменяя этим все другие подати.

Так что я очень ясно могу себе представить, как по высочайшему повелению учреждается главное учреждение уничтожения земельной собственности и по губерниям — комитеты, которым поручена оценка земли и другие подробности. А какое бы величайшее благо сделал не только своему народу, но и всему миру тот русский царь, который предпринял бы такое дело. И как обеспечен бы был такой царь от всяких социалистических волнений и революционных козней! Как бы твердо он чувствовал себя, опираясь на лучших людей своего народа и на народные массы, которые ожидали бы от него осуществления своих заветных и самых законных желаний: права каждого человека кормиться с земли, данной богом не некоторым, а всем людям без исключения.

Таковы мои убеждения, но, как я и писал, очень может быть, что я ошибаюсь и есть другие передовые цели, к достижению которых стремится человечество, и они должны стать целью, преследуемой правительством. Это может быть, но одно никак не может быть — это то, чтобы правительство, продолжая теперешнюю систему — поддерживать отжившее — и не став впереди своего народа, указывая ему цели, достижение которых дает ему истинное благо, чтобы такое правительство могло существовать еще долго.

Вчера пришло известие об убийстве Сипягина. Событие это ужасно, главное той злобой, ненавистью, мстительностью, которые оно неизбежно вызовет в людях, но оно было неизбежно и обещает только еще худшие бедствия, если правительство не изменит свой курс. Добрый порядок может быть основан только на разумном согласии и любви, а на насилии, казнях, мести ничего не может быть основано, кроме таких же насилий, жестокостей, мести, которые могут быть отсрочены, но неизбежно придут в свое время.

Простите, что утрудил вас таким длинным письмом, но мне хотелось, чтобы вы понимали мои мотивы, и кроме того я взволнован и своей слабостью — пишу лежа — и главное, ужасным событием убийства Сипягина, предвещающим все большее и большее озлобление и зверство

---

* «Прогресс и бедность».
** «Социальные задачи».
*** «Система единого налога».

с обеих сторон, тогда как так легко избежать этого. Прощайте. От всей души желаю вам всего хорошего в вашей личной и, главное, духовной жизни.

Любящий вас Лев Толстой

[1] См. ниже письмо Н. М. Романова от 15 апреля 1902 г.

[2] Толстой очень увлекался взглядами Генри Джорджа на земельную собственность. Сущность его проекта сам Толстой излагает в письме от 25 апреля 1902 г. Упоминаемая в письме книга Джорджа «Прогресс и бедность» была переведена на все европейские языки; в России была напечатана в 1884 г. в извлечениях: «Прогресс и бедность по Генри Джорджу».

6[1]

15 апреля 1902 г., Тифлис

Милейший Лев Николаевич.

Ваше письмо, полученное мною вчера, вызвало во мне живейшую радость, во-первых, потому, что я вижу, что вы настолько поправились, что можете писать, а во-вторых, я давно ждал от вас весточки и весточка пришла в дни светлых праздников. Я же, зорко следя за бюллетенями о вашем здоровии, намеревался на-днях прервать мое молчание и обеспокоить вас моей болтовней, после двух с половиной месяцев, что я прокатился и нравственно отдохнул. В Питере я пробыл около месяца и вращался все больше в обществе историков Н. К. Шильдер (только-что умершего), П. Л. Дашкова, В. А. Бильбасова, Е. С. Шумигорского, С. А. Панчулидзева и т. д. По части истории я сделал в Петербурге все то, что ранее себе наметил, и собирал материалы для биографии графа Павла Алек[сандровича] Строганова, одного из сотрудников Александра I, ученика Ромма (члена Конвента), товарища министра внутр[енних] дел Кочубея (1802—1806) и, наконец, генерала (1807—[18]14), умершего от горя потери единственного сына в сражении под Красном в 1814 г. три года спустя, 43 лет отроду.

Биография будет интересная, но сложная ввиду оригинальности характера графа и обилия материалов, которыми надо будет умело воспользоваться. На лето и осень работа обеспечена.— В Париже я пробыл ровно месяц, вращаясь опять-таки в обществе историков Pierling, Vandal, Frederic Masson, V. Sardou, Pingoud и других. Здесь я приобрел, благодаря Массона, все бумаги Ромма, а целые клады документов оказались у Строганова, что у Полицейского моста имеет дом, и в Лобановском отделе библиотеки Зимнего дворца...

...После Парижа я поехал на неделю в Копенгаген, куда меня пригласила императрица Мария Феодоровна. Впечатление удивительное. Начиная с короля-старца до последнего датчанина, все живет патриархально, мирно и безмятежно. Министерство состоит из социалистов, которые не отказываются от Даннеброка и участвуют, как и прочие, на празднествах по случаю 84-летнего рождения своего монарха, им даются почетные места и права, как министрам, а в их маленьком парламенте они бушуют. В общем довольствие, уважение к законности и простота отношений. В Петербург я прибыл вечером 1 апреля, пробыв всего пять дней, т. к. торопился домой. Завтракал у государя, когда получилось известие о мерзком убийстве Сипягина. Видел, насколько это событие на него подействовало, потому кроме того, что государь доверял Сипягину, он, видимо, его любил и ценил как человека. И больно было видеть, как именно это чувство любви было уязвлено жестокостью и наглостью убийства. Дай-то бог, чтобы Плеве стал на верную дорогу. Первая его речь доброжелательна и мне понравилась. Теперь отвечу на ваше письмо. Приехав в Петербург 22 января, я получил на другой день ваше послание, которое конечно прочел, оставив себе копию, и нашел, что смело могу оное вручить тому, коему оно адресовано.

Когда я спросил, могу ли я передать ему это послание, то государь сказал: «да, конечно», и через три дня, после одного семейного обеда, я ему из рук в руки передал письмо ваше. Но, передавая, прибавил от себя: «Прошу из уважения ко Льву Николаевичу мне сделать удовольствие не давать читать это письмо никому из ваших министров. Вот моя личная просьба». Государь обещал никому не показывать и сказал, что прочтет оное с интересом. После этого мне не пришлось с ним говорить об этом письме, а сам начинать разговора я не считал себя вправе.

Благосклонность я вижу в самом факте разрешения передачи письма и в дальнейшем дружеском отношении ко мне. Ведь государь наш очень добрый и отзывчивый человек, а все горе в окружающих. Если я позволил себе просить не показывать это письмо министрам, то исключительно из уважения к вашей личности и нежелания излишних толков и объяснений господ министров, которые только бы постарались вас очернить в глазах государя. Надеюсь, что вы меня одобрите. Что касается средств, которые вы излагаете в письме 5 апреля для спасения самодержавия, и безотрадного положения нашей родины, то не сердитесь, но вы слишком большой идеалист. Идеалист уже потому, что считаете возможным сделать в России то, что не только в Европе и даже в Америке еще не помышляют. Ведь всякий крестьянин очень ценит свою крохотную собственность, а, насколько я вас понимаю, вы желаете, чтобы общая собственность с доходами от нее поступила государству, т. е. другими словами казне. Я полагаю, что если на эту меру, конечно, при соблюдении строгой пропорции подоходности, даже согласились бы имущие классы, т. е. владельцы всех сортов и сословий, то самую ярую оппозицию вы встретили бы в самих же крестьянах. Кроме того, для осуществления этой грандиозной идеи нужен был бы царь-богатырь, вроде Петра Великого, и конечно другие сотрудники, чем те, которыми может располагать Николай II. Так что я прихожу к заключению, что насколько ваша мысль идеальна и симпатична, настолько же она на практике неосуществима. Ясно, что переживаемое, поистине ужасное и удручающее время требует реформ, и реформ практичных, не скороспельных, но с чего начать, that is the question. Вопрос образования, воспитания, учителя, профессора, рабочий вопрос, зловредное чиновничество и бюрократия, страсть всеобщая к наживе, всякие панамы, непосильный милитаризм, распущенность нравов и т. д. А тут вы думаете возможным еще возбудить поземельный вопрос!? Ведь один в стане не воин, а вы рискуете остаться на этой почве одиноким, потому даже те, которые вам симпатизировали, остановятся, когда придется идеальную теорию вводить в жизнь. Я считаю наше общество до того падшим, что выздоровление возможно только при дружной и постепенной работе правительственных сфер, и то при полной их солидарности. По-моему, можно спасти самодержавие, если ограничить его ответственность перед 130-миллионным населением и увеличить ответственность министров. Нужно переформировать и оживить существующие более 100 лет высшие учреждения, как Госуд[арственный] совет, Сенат и машину министерств. В устарелости всего этого — корень зла. Жизнь и ее требования ушли за XIX столетие далеко вперед, а учреждения остались почти на той же точке. Вот, когда все это будет переформировано и обновлено, тогда только можно будет подумать о возбуждаемом вами весьма сложном вопросе и тогда, может быть, найдутся и дельные исполнители этой грандиозной идеи.

Что вы смотрите черно на будущее и что убийство Сипягина может вызвать нежелаемые мести и возбуждения — возможно, и вот почему меня интересует, как поведет дело Плеве. Мне казалось заметить, что

КАРИКАТУРА НЕИЗВЕСТНОГО ХУДОЖНИКА
ПО ПОВОДУ ОТЛУЧЕНИЯ Л. Н. ТОЛСТОГО ОТ ЦЕРКВИ
Частное собрание, Москва

есть уже поворот к лучшему относительно Финляндии и Кавказа, дай-то бог, чтобы я не ошибся. А что сказать про уход Ванновского? Если это сделано для личной популярности и по его собственной инициативе, то неужели возможно покидать своего государя в такое время и затруднять его положение? Но я увлекся, боюсь вас утомить и прошу не взыскать за это длинное письмо. Если у вас будет свободное время, пишите мне, я перлюстрации не боюсь, а мне так приятно с вами беседовать.

Самое сердечное спасибо за ваши милые строки от 5 апреля, которые меня тронули и убедили, что и вы меня немного любите. От души желаю вам скорее окрепнуть и поправиться. Берегите себя и не делайте неосторожных прогулок ни верхом, ни пешком. Передайте, прошу вас, мой искренний поклон графине, крепко жму вашу руку.

Весь ваш искренно любящий

Николай М.

[1] Письмо печатается с пропуском мало значительных мест личного характера.

7

25 апреля 1902 г., Гаспра

Дорогой Ник[олай] Мих[айлович], на-днях получил ваше длинное и интересное письмо. Оно мне было очень приятно, но некоторые суждения вызвали во мне желание высказаться о том, в чем я несогласен с вами и что для меня особенно дорого.

Во-первых, вы, называя меня большим идеалистом на основании того проекта, который я предлагаю, в сущности делаете то самое, что должны сделать все советчики государя, ознакомившись с моей мыслью, т. е.

признать меня добродушным дурачком, не понимающим того, о чем он говорит. Отношение ко мне большинства людей, даже хорошо расположенных, напоминает мне одно место из одного из романов Диккенса, кажется «Hard Times» *, где выводится на сцену умный и серьезный человек, механик, сделавший замечательное открытие, но который именно потому, что он очень замечательный изобретатель, своим добродушным, веселым другом считается за человека, который ничего не понимает в жизни и за которым, как за ребенком, надо ухаживать, чтобы он не наделал величайших глупостей, и слова которого, если он говорит о чем-нибудь вне своей специальности, принимаются этим добродушным другом с снисходительной улыбкой к наивности человека, ничего не знающего в жизни, кроме своих изобретений. Комизм этого положения состоит в том, что добродушный друг не сделал того простого рассуждения, что если механик сделал важные изобретения, то он очевидно умен. Если же он умен, то также очевидно, что он не станет говорить и в особенности утверждать то, что он не знает и чего он не обдумал.

Я чувствую всю неловкость и нескромность этого сравнения, но не могу воздержаться от него, так оно верно показывает всю неправильность отношения общества вообще к суждениям людей, отличающихся чем-нибудь от всех других. Отношение это тем более распространено, что оно увольняет людей от вникания в смысл того, что говорят эти люди. «Он поэт, он механик, он идеалист»,— и потому нечего и разбирать смысл того, что говорят эти люди. От этого-то и существует то странное мнение и даже обычай определять на места, требующие наибольших дарований и ума, всяких Ивановых, Петровых, Зенгеров, Плеве и т. п., имеющих только то достоинство, что они ничем не отличаются от других людей.

Это во-первых. Во-вторых же, то, что мне кажется,— о чем я очень жалею,— что вы не читали и не знаете сущность проекта Джорджа. Крестьянское сословие не только не будет противиться осуществлению этого проекта, но примет его как осуществление желания многих поколений своего сословия.

Сущность проекта ведь в том, что земельная рента, т. е. излишек ценности земли в сравнении с землей самой низкой доходности и зависящий не от труда человека, а от природы или местонахождения земли, употребляется на подати, т. е. на общие нужды, т. е. общий доход употребляется на общее дело. По этому проекту выходит только то, что если вы владеете в Боржоме, а я в Тульской губернии известным количеством земли, то земли этой никто у меня не отымет, а я только обязан платить за нее ренту, которая всегда ниже доходности. Не знаю, как в Боржоме, но в Крапивенском уезде Тульской губ. рента земли будет рублей 5, наемная плата теперь рублей 10 и потому владелец 1 000 десятин, обязанный платить в казну 5 000 рублей, если он не будет в состоянии этого сделать, что вероятно произойдет для $^{9}/_{10}$ помещиков, откажется от этой земли, и крестьяне, платящие по 10 рублей за наем, очевидно с радостью расхватают ее по 5 рублей и будут держать ее из поколения в поколение, так что большая масса крестьянства ни в каком случае не может не сочувствовать этому проекту и будет всегда на стороне его.

Вот в грубых чертах сущность проекта Генри Джорджа.

Это во-вторых.

В-третьих же, то, что мера эта не проведена ни в Европе, ни в Америке, не только не доказывает, что она не может быть проведена в России, но, напротив, указывает на то, что именно в России, благодаря само-

* «Тяжелые времена».

державию, она только и может быть проведена. В Европе и Америке землевладельцы, составляющие большую часть правительства, никогда в своих интересах не допустят освобождения земли от права собственности — но и там уже видно движение в этом направлении, а в Австралии и Новой Зеландии уже есть осуществление этой меры. Кроме этого мера эта особенно важна в наше время для все еще земледельческой России, несмотря на то, что Витте, Ковалевские и др. старательно хотят направить ее на путь капитализма и фабричного производства.

Это в-третьих.

В-четвертых же, вы пишете, что «для осуществления этой грандиозной идеи нужен был бы царь-богатырь, вроде Петра Великого, и другие сотрудники, чем те, которыми может располагать Николай II». Я же думаю, что для осуществления этой идеи не нужно никакого особенного богатырства, тем менее такого распутного и пьяного, как богатырство Петра Великого,— а нужно только разумное и честное исполнение своей царской обязанности, в этом случае более всего выгодной для самого царя, т. е. для самодержавия, и мне кажется, что Николай II с своим — как все говорят — добрым сердцем вполне мог бы осуществить ее, если бы только понял всю ее важность для себя и главное для всего народа. Что касается до сотрудников, то само собой разумеется, что проведение этой меры немыслимо с теми трупами чиновников, которые тем более трупы, чем выше они стоят на иерархической лестнице чиновничества,— и что вся эта компания, вроде Победоносцевых, Ванновских, Чертковых, должна быть устранена от всякого участия в этом деле. Сотрудниками же способными, честными, рвущимися к настоящему делу, которое они могут полюбить — полна Россия.

Это в-четвертых.

То же, что вы говорите о необходимости реформ во всех областях управления, о зловредности чиновничества, о всеобщей страсти к наживе, о всяких «панамах», непосильном милитаризме и распущенности нравов,— все это само собой уничтожится из среды правительства, как только будут выкинуты из него люди беспринципные, ищущие только своего возвышения и выгоды,— и будут призваны к великому делу люди, которые будут любить его. Так что я не только не согласен с вами, что возможность спасти самодержавие состоит в разных заплатах, как ответственность министров (перед кем?), переформирование и оживление высших учреждений: государственного совета, министерств и т. п., но, напротив, думаю, что эта иллюзия возможности исправить дело нашиванием новых заплат на старое рубище есть самая губительная из иллюзий, поддерживающая тот невозможный порядок вещей, среди которого мы живем теперь. Всякое такое переформирование, без внесения высшей идеи, во имя которой люди могут с одушевлением и самоотверженно работать,— будет только bonnet blanc и blanc bonnet *.

Вообще осуществление моей, кажущейся вам столь неосуществимой, идеи без всякого сравнения возможнее, чем то, что делается теперь — поддержание отжившего самодержавия без всякой высшей идеи, а только самодержавия для самодержавия.

Говоря о проведении такой меры посредством насилия власти, я говорю не с своей точки зрения, при которой я считаю всякое, хотя бы и кажущееся нам благодетельным, насилие — противным тому христианскому учению, которое я исповедую, но с точки зрения людей, во что бы то ни стало хотящих отстоять отжившее и губительное как для самодержца, так и для народа самодержавие и дать ему наилучшее оправдание.

---

* Все одно и то же.

Простите, что так длинно пишу вам о предметах, в которых едва ли мы можем быть согласны, но ваше письмо, затрагивая самые дорогие и долго занимавшие меня вопросы, вызвало во мне необходимость высказаться. Прощайте, желаю вам всего лучшего и еще раз благодарю вас за исполнение моей просьбы. Не пишу вам своей рукой, потому что на-днях у меня сделалась rechute * не воспаления, а, как говорят врачи, малярии, и я опять очень слаб.

Л. Т.

8

11 мая 1902 г., Тифлис

Милейший Лев Николаевич!

Весьма жалею, что вы опять чувствуете слабость вследствие приступа малярии, но надеюсь, что с летними днями вернутся и силы ваши. Письмо, которое вы так любезно мне написали, затрагивая столько важных, существенных и интересных вопросов, я перечитал несколько раз, но, к сожалению, не могу согласиться с вами во многом. Первая тому причина — мое незнакомство с книгой Henry George'а, проект которого я действительно не читал и имею лишь смутное понятие. Будьте так милы мне прислать русский или французский перевод этой книги, потому по-английски хотя я и читаю, но многие слова мне недостают для бойкого чтения. Вторая причина — моя некомпетентность по земельным вопросам, так что на этой почве все мои аргументации будут слабы, особенно в беседе с вами, который много и неутомимо работает над этими вопросами. За вами и опыт, и знание дела, а за мной лишь противные тому свойства.

Хотя меня все вопросы дня интересуют, но, по складу моего характера, я только тогда «реагирую», когда несу какую-нибудь ответственность. Между тем вы хорошо знаете, как я далек от дел и как держу себя в отдалении от правящих петербургских сфер. А потому польза или вред, который я мог бы принести в делах общественных, пока отпадает, и я могу только академически рассуждать на бумаге, и то благодаря вашей снисходительности желать со мной говорить в переписке. Конечно, я глубоко тронут такому ко мне отношению, после того, что вы меня видели несколько часов прошлой осенью и что я вселил вам некоторое к себе доверие; но переписка по таким сложным вопросам куда затруднительнее, чем живой обмен мысли в разговорах. А, к сожалению, я, право, не знаю, скоро ли мне снова представится случай вас увидеть и побеседовать всласть. Я убежден, что некоторые мои недоумения или сомнения по многим возбужденным вами вопросам тогда быстро бы отпали, а на бумаге многое выходит так, да не так. Тем не менее сердце не камень, и я не могу удержаться, чтобы не ответить на кое-что из вашего письма. 1) Если самодержавие вы признаете такой формой правления, которая могла бы заняться проведением в жизнь проекта поземельной реформы (типа Джорджа), то неужели в своей настоящей оболочке? Вы же сами говорите, что нынешние сотрудники невозможны, и один неподходящее другого. Вывод из этого простой. Надо их заменить. Откуда? Неужели Николай II может разом обновить весь правительственный персонал? Вы считаете, что формы высших учреждений устарели, но не желаете делать «заплаток» на «старом рубище». Тогда я становлюсь втупик, потому как же новые элементы будут работать с «отжившими» формами? 2) Ну, положим, что вы сумеете найти новых людей, способных работать и знающих Россию (прибавляю я). Вы думаете, что ими «полна Россия»? Вряд ли. Этот пункт я ставлю под большое

* Возврат.

сомнение. Но, тем не менее, вот вы нашли людей, и неужели вы допускаете возможность, что все эти 10, 20 новых сотрудников могут быть солидарными и все проникнуты идеей пользы применения поземельной реформы? Я даже скажу следующее. Вдруг, Николай II признал бы пользу вашего проекта и пожелал бы привести оный в исполнение. Вот первый и самый существенный камень преткновения очутился бы в подборе сотрудников, и на деле вышла бы басня щука, лебедь и рак. 3) Потому я вам и писал, что мне представляется исполнителем такой грандиозной реформы (если она не утопия) — царь-богатырь, вроде Петра Великого, т. е. царь энергичный, самостоятельный, упорный в своих затеях и умеющий выбирать людей. А с одной добротой и благостью намерений нельзя совершить и сотую долю того, что вы желали бы. Этому я твердо верю, потому эти качества для монарха суть основные для поддержания самодержавия. 4) На деле, т. е. на практике, надо считаться с тем, что есть. Нельзя требовать от него неисполнимого, а необходимо ему помочь, и это есть святая обязанность каждого русского, любящего свою родину и его. Вот я и набрел на мысли о переформировании высших учреждений. Необходимо установить ответственность министров. Вы спрашиваете, перед кем? Да просто перед общественным мнением. Отчего бы не печатать в «Правит[ельственном] Вестнике» подробных отчетов заседаний Госуд[арственного] совета и его департаментов!? Всякий бы министр или член Госуд[арственного] совета не раз задумался бы, что сказать, если знал, что все его слова сделаются общим достоянием. Болтовни [бы] было меньше, а дела больше. Вот уже начало нравственной ответственности — одна перед царем, другая перед публикой.

Отчего бы не ограничить число департаментов, переписку, принявшую ужасающие размеры, установить более строгий надзор за бесшабашным чиновничеством, которое, как червь, понемногу съедает все строение и дискредитирует власть где только хочет и может. Тогда бы и многое, что теперь царю неизвестно, стало бы выходить наружу, у него открылись бы очи и он легче мог бы подобрать себе добросовестных деятелей и исполнителей его воли.

А тогда бы, т. е. при полном обновлении всех высших госуд[арственных] учреждений, новые люди сами бы явились и может быть и ваш проект мог бы осуществиться. Ведь даже за истекшее XIX столетие были люди, которые хотели влить живую струю. Неужели вы не признаете пользы, принесенной такими личностями, как Сперанский, И. С. Мордвинов, гр. Канкрин, В. А. Милютин, сам имп[ератор] Александр II? А покойный государь Александр III, как русский человек, положил основу всему русскому и старался стать на твердые начала добра во внутр[енней] политике, а во внешней придал такое положение России за 10-летнее царствование, как она дотоле не имела. Следовательно, и личность самодержца играет выдающуюся роль в нашей жизни на Руси. Но опять повторяю — с одной добротой далеко не уйдешь. Вот я и увлекся за пределы должного приличия и выдержки! Боюсь, что ни на иоту вас не убедил, но повторяю, что пишу, как разумею. Во всяком случае, в одном мы с вами согласны. Что так, как теперь, дела не могут итти дальше и что все это кончится печально, если еще продолжится по теперешнему курсу. Средства лечения — вот где рознь наша. И то для меня утешительно, что я могу откровенно и по душе с вами говорить и что вы имеете терпение слушать меня. Еще раз прошу вас, берегите себя, не насилуйте себя, когда вам станет лучше, а я думаю, что воздух Крыма и лето будут иметь на вас хорошее влияние. Крепко жму вашу руку.

Сердечно вас любящий

весь ваш Николай М.

9

20 августа 1902 г., Ясная Поляна

Дорогой Николай Михайлович!

Благодарю вас за участие. Здоровье мое поправляется. Но несмотря на то, что я живу с удовольствием и стараюсь наилучшим образом употребить остатки своей жизни,— не могу не испытывать небольшой досады на то, что мой экипаж, завязший в трясине, через которую мне неминуемо придется переезжать и даже очень скоро — вытащили не на ту, а на эту сторону. Силы у меня все еще не велики, а дела очень много. От этого я не писал вам. Что же касается до вопроса об уничтожении земельной собственности, то я в последнее время написал об этом, насколько умел, обстоятельное сочинение, которое, само собой разумеется, будет напечатано не в России, а в Англии. Заглавие сочинения: «Рабочему народу»[1]. Всякое сочинение est une lettre de l'auteur à ses amis inconnus*. Оно может служить и ответом на ваши возражения. А если предмет этот интересует вас, вы прочтете его. Теперь же я занят окончанием давно начатого и все разрастающегося одного эпизода из кавказской истории 1851 — [18]52 года[2]. Не можете ли вы помочь мне, указав, где я мог бы найти переписку Николая I и Чернышева с Воронцовым за эти года, так же как и надписи Николая на докладах и донесениях, касающихся Кавказа этих годов? Простите, желаю вам всего лучшего в вашей внутренней духовной жизни. Все истинно хорошее бывает только в этой области.

Лев Толстой

[1] В послании «Рабочему народу», написанном в 1902 г., Толстой указывает единственное, по его мнению, средство освобождения от рабства, которое заключается в уничтожении земельной собственности. Толстой излагает здесь проект Генри Джорджа по книгам последнего — «Прогресс и бедность», «Социальные задачи».

[2] Толстой имеет в виду свою работу над повестью «Хаджи Мурат».

10

5 сентября 1902 г., Боржом

Милейший Лев Николаевич.

От всей души благодарю вас за ваши любезные строки, которые меня особенно порадовали, видя, что вы снова бодры и здоровы. Дай-то бог, чтобы это улучшение ваших сил продолжилось, вы бы совсем окрепли и жили бы еще долго на радость любящих и уважающих вас. Если же я тотчас же не ответил вам на письмо, полученное в Тифлисе 26 августа, то причины две. Первая — я собирал справки на заданные вами исторические вопросы, вторая — лагерь, маневры и всякие, уныние наводящие, военные манипуляции, которые теперь наконец кончились. Чтобы собрать сведения о переписке Николая I и Чернышева с графом М. С. Воронцовым и подписи государя на докладах за конец сороковых и начало пятидесятых годов, я обратился к лучшему знатоку кавказской старины и архивов, Евгению Густавовичу Вейденбаум — ныне члену губернского присутствия и находящемуся в загоне при голицынском режиме. Он с удовольствием согласился доставить вам все то, что вы наметили, но просит более ясных указаний, по каким именно докладам вам нужны резолюции Николая I, и возможно точнее указать годы, которые вас интересуют. Я прилагаю при сем его две записки ко мне. Как только вы сообщите мне эти указания, я не замедлю их передать Вейденбауму и копии будут вам немедленно доставлены в Ясную Поляну или то место, которое вы нам укажете. Прошу пользоваться мною во-всю, и я сделаю все, что только будет от меня зависеть, для быстрейшего удовлетворения вашего желания.

* Есть письмо автора к своим неизвестным друзьям.

Будьте столь любезны мне доставить книгу «Рабочему народу», когда она появится в свет в Англии; я прочту этот труд с самым живейшим интересом. Самое лучшее попросить Диму Черткова[1], чтобы он мне адресовал эту книгу прямо в Боржом, т[ак] к[ак] я получаю все без цензуры. Это лето я очень много поработал над биографией графа Павла Александр[овича] Строганова, одного из триумвиров первой эпохи царствования Александра I. Работа вышла очень объемистая, подробная и заключающая много совсем нового материала, т[ак] к[ак] я мог пользоваться здесь, в Боржоме, архивами Полицейского моста (т. е. строгановским) и Голицына из села Марьино, которые владетели любезно мне предоставили в мое распоряжение. Книгу начну печатать в ноябре или декабре в Петербурге в Эксп[едиции] загот[овления] госуд[арственных]

КАРИКАТУРА НЕИЗВЕСТНОГО ХУДОЖНИКА НА К. П. ПОБЕДОНОСЦЕВА И СВ. СИНОД ПО ПОВОДУ ОТЛУЧЕНИЯ Л. Н. ТОЛСТОГО ОТ ЦЕРКВИ

Толстовский музей, Москва

бумаг. Вероятно, выйдет несколько томов, благодаря обильных приложений. Особенно обращу ваше внимание на эпоху реформ (1801—1805) и на взгляды гр. П. А. Строганова по крестьянскому вопросу. Просто не верится, о чем думали, писали и говорили в начале XIX столетия, и записки, мнения и доклады графа Строганова по освобождению крестьян прямо исторический клад, который я дам целиком в приложениях к третьей главе (эпоха реформ). Работу свою я разделил на 5 глав: 1) родители, 2) воспитание — Жильбер Ромм, 3) эпоха реформ, 4) лондонская миссия (1806—[180]7), 5) военная деятельность (1807—[18]14) и кончина (1817). Приложений будет мало и много писем Ромма — родителям и воспитаннику, графа — его жене, Чарторыжского, Новосильцова, Кочубея, гр. С. Р. Воронцова и т. д. Словом — все новое, еще нигде не изданное. Моим строгим цензором состоит Бильбасов, которому я пересы-

лаю текст и который в общем очень одобрил мою работу, несмотря на некоторые справедливые замечания.

Когда книга выйдет из печатания, вероятно в начале 1903 года, я, конечно, ее пришлю вам и надеюсь и вы не откажете в вашем откровенном отзыве. Живу совершенно уединенно в лоне природы, душевно спокоен, хотя судьба несчастной матери меня часто тревожит, тем более что она безутешна в своем горе и о возможном будущем нельзя и помышлять теперь. Моя судьба вполне в ее руках, когда она пожелает, или как решит, так и будет. От всего сердца желаю вам всего, всего лучшего, а главное здоровья. Прошу передать мой привет вашей супруге.

Искренно любящий вас

весь ваш Николай М.

[1] В. Г. Чертков в те годы издавал за границей запрещенные в России произведения Толстого, в том числе и его обращение «Рабочему народу».

11

11 сентября 1902 г. [Ясная Поляна]

Очень благодарен вам, дорогой Николай Михайлович, за сообщенные мне сведения. Это больше того, что я ожидал, и я буду очень, очень буду благодарен вам, если вы найдете возможным дать мне на время (короткое) доклады, донесения и резолюции государя, относящиеся к управлению Кавказом со времени назначения Воронцова и до 1852 года, а также и Х-й том «Актов Кавказской военно-архивной комиссии». Я бы бережно получил, прочел и возвратил их[1].

То, что вы пишете о деятельности Строганова в 1801—1805 годах, и очень интересно и важно. Я очень буду рад прочесть вашу книгу.

Черткову я написал, чтобы он выслал вам «О религии» и «К рабочему народу». Последняя касается вопроса о земле, о котором мы переписывались. От души желаю вам всего хорошего.

Л. Т.

[1] Письмо отражает напряженную работу Толстого над собиранием и изучением материалов для повести «Хаджи Мурат».

12

Боржом, 3 октября 1902 г.

Милейший Лев Николаевич.

Посылаю вам копию письма г-на Вейденбаума[1] из Тифлиса и прошу меня уведомить, какие будут ваши дальнейшие указания по этому вопросу. Надеюсь, что Х том актов вам пригодится и что хоть часть вашего поручения я мог успешно исполнить.

Весь ваш Николай М.

[1] Е. Г. Вейденбаум писал Н. М. Романову:

«Должен откровенно признаться, что желание графа Л. Н. Толстого, о котором сказано в письме вашего высочества ко мне от 19 сентября, поставило меня в большое затруднение. Граф желает просмотреть доклады и донесения Воронцова и резолюции на них императора Николая Павловича за время от назначения Воронцова до 1852 г. Я докладывал вашему высочеству, что всеподданнейшие донесения не составляют одной книги, а распределены в архиве по соответствующим годам и делам, каковых за время плодотворной и многообразной деятельности Воронцова имеется несколько тысяч. Так как граф Толстой не указывает какой-либо определенной отрасли управления, не говорит даже, военная или гражданская часть интересует его, то приходится заключить, что он хочет ознакомиться со всеми всеподданнейшими донесениями Воронцова за 1845—1852 гг. Следовательно, для исполнения его желания пришлось бы пересмотреть несколько тысяч дел в военном и гражданском архиве и выбрать из них подходящие. Если даже допустить, что кто-нибудь взял бы на себя такой колоссальный труд, то явится другое непреодолимое препятствие. Нет никакого сомнения в том, что ни начальник окружного штаба, ни директор канцелярии главноначальствующего никогда не согласятся отправить к частному человеку несколько десятков, а может быть и сотен, важнейших архивных дел, содержащих в себе документы пер-

востепенного исторического и государственного значения. Такого обычая нет ни в одном архиве, и должно признаться, что это единственный способ сохранить от невознаградимых утрат драгоценные исторические материалы.

Ввиду всего сказанного, я решился послать к графу Толстому X том актов, в котором покойным А. П. Берже собраны все наиболее важные документы за воронцовское время. Быть может, граф Толстой удовлетворится этим. Если нет, то от него зависит уполномочить кого-нибудь собрать необходимые для него сведения в тифлисских архивах».

13

11 ноября 1902 г. [Ясная Поляна]

Дорогой Николай Михайлович, я долго не отвечал на ваше последнее письмо, потому что дожидался присылки X тома актов. Я понял из вашего письма, что вы посылаете мне его, и тогда, получив его, собирался заодно ответить и поблагодарить вас. Из письма г. Вейденбаума вижу, что он на меня гневается напрасно. Я никогда и не думал, чтоб возможно было мне выслать все архивные бумаги, касающиеся управления Воронцова. Если возможно мне будет получить X том актов, то я сделаю именно так, как советует г. Вейденбаум: поручу моему знакомому, если его допустят, пересмотреть в архиве то, что мне нужно, и выписать. Во всяком случае от души благодарю вас за вашу помощь мне и прошу не сетовать за причиняемое вам беспокойство.— Желаю вам успеха в вашей работе и надеюсь скоро воспользоваться результатами.— На-днях у меня был Петр Веригин [1], которого к великому моему удивлению вдруг выпустили из ссылки. Он теперь уже в Англии и вероятно скоро уедет в Канаду, где он теперь особенно нужен для успокоения очевидно находящихся в религиозном экстазе части духоборов, побросавших свои дома, выпустивших скотину и шествующих на Винипег [2]. Я довольно здоров, чтобы работать, и ничего больше не желаю. На-днях окончил статью — обращение к духовенству [3], которая мне кажется нужной, но которая вероятно вызовет против меня громы этого сословия.— Я перечел сейчас копию с письма к вам г. Вейденбаума. Он пишет, что решил выслать мне X том актов. Я же ничего не получал. Желаю вам всего истинно хорошего.

Лев Толстой

[1] Веригин Петр Васильевич (1862—1924), руководитель духоборов, был в 1902 г. освобожден из ссылки и выслан за границу.

[2] Главный город штата Манитоба в Канаде.

[3] «Обращение к духовенству» окончено 1 ноября 1902 г. В нем автор, «находясь на краю гроба», обращается к высшим представителям церковной власти, призывая духовенство покаяться, перестать участвовать в деле обмана людей. Толстой клеймит церковь, как орудие закрепощения народа.

14

Январь [?] 1903 г. [Ясная Поляна]

Извините, дорогой Николай Михайлович, что пишу вам не своей рукой. Здоровье мое очень слабо: очевидно приготовляюсь к большому путешествию. Когда мне, как обыкновенно, говорят на это, что это неправда, поживете еще и тому подобное, то это мне так же странно, как если бы человеку, который собирается ехать за границу, говорили, что это неправда, поживите еще здесь и т. п.

Пишу вам вот по какому случаю. Мой хороший приятель, очень милый и скромный человек кн. Илья Накашидзе [1], был без всякого основания, по каким-то странным соображениям кн. Голицына, выслан с Кавказа, и, как это всегда бывает с людьми легкомысленными и упрямыми, кн. Голицын, раз сделав ошибку, с необыкновенным упорством в продолжение пяти лет, на все ходатайства о возвращении Накашидзе на Кавказ отвечал ничем не объясненным и решительным отказом. Возвращение же на Кавказ для Накашидзе очень важно, потому что жена его

не переносит северного климата и должна или болеть на севере или он должен быть в разлуке с ней. Теперь прошло пять лет, срок, который обыкновенно определяется для таких изгнаний, и Накашидзе решил возвратиться на Кавказ. Очень может быть, что его оставят в покое, но если бы случилось противное, то я очень прошу вас, насколько вы можете, помочь ему, что я сочту большим и важным для меня одолжением, за которое буду вам очень благодарен.

Любящий вас [2]

[1] Илья Петрович Накашидзе в 1898 г. был выслан с Кавказа за то, что принимал участие в судьбе духоборов. По возвращении в 1903 г. в Тифлис подвергся преследованию со стороны главноначальствующего на Кавказе кн. Г. С. Голицына.

[2] Письмо представляет собою черновой набросок рукой С. А. Толстой; подписи, как и точной даты, не проставлено.

15

Москва, 18 марта 1903

Милейший Лев Николаевич

Давно уже я не имел случая беседовать с вами. Теперь, возвращаясь на Кавказ, берусь снова за перо, прося снисходительно отнестись к моей болтовне. За эти три месяца я побывал и в Петербурге, и на юге Франции, месяц в Париже и, наконец, два дня в Москве. Всяких впечатлений много и приходится теперь привести их в порядок. Начну с вашего творения «Résurrection» *, данного в Париже на франц[узском] языке и искаженного франц[узскими] актерами и языком чужим и чуждым быту русского человека. Поэтому французы получили лишь превратное понятие, но вообразили «qu'ils ont parfaitement compris l'oeuvre du grand écrivain russe» **.

Потому в разговорах с ними я подметил суждения об Л. Н. Толстом, совсем превратном и ничего не имеющем общего с тем впечатлением, которое вы на меня оставили. Говорю об этом потому, что в Крыму я имел случай говорить вам, что убежден, что часто ваши ученики искажают ваши мысли, особенно, когда хотят применить оные к жизни,— то же и с вашими произведениями, переведенными на другие языки, которые вовсе не воплощают действительности их смысла и оставляют превратное впечатление.— На-днях вы получите I том моей книги «Граф П. А. Строганов — историческое исследование эпохи имп[ератора] Александра I»; второй последует за первым в конце апреля и третий выйдет к 1 июня. Прошу вас обратить особенное внимание на II том, где впервые изданы полностью заседания «секретного комитета». Я не дал русского перевода, оставя их в оригинале, т[ак] к[ак] напечатал свою книгу не для массы, а только для избранной публики, интересующейся нашей историей и получившей достаточное общее образование. Когда вы прочтете чистые увлечения четырех юношей, окружавших Александра I, и то, что они создали и что было вскоре обработано Сперанским,— то увидите, что все эти учреждения, как-то: комитет министров, Госуд[арственный] совет, министерские департаменты, остались почти нетронутыми сто лет спустя и ныне действуют в полной силе. Нормально ли это?

Россия начала XIX века была крошкой в сравнении с Россией начала XX века. Не было ни Кавказа, ни Туркестана, ни Закаспийской области, ни Финляндии, ни восточных земель Сибири. Жило, скажем, 40—50 миллионов людей, а теперь их 130 миллионов. Между тем учреждения органические Росс[ийской] империи остались те же. Вот где, по-моему, корень зла. И последствием прямым этого зла является всеобщий произвол (l'arbitraire), который так тягостно лежит на каждом из нас и против которого все мы тщетно боремся, как рыбы об лед.

---

* «Воскресение».

** Что они вполне поняли произведение великого русского писателя.

В Москве мне передавал Алексей Стахович, что будто бы я вам писал какие-то несуразные суждения о Henry George, сделавшие дурное впечатление на Антона Чехова. Я в недоумении, т[ак] к[ак], помнится, писал вам, что, не владея свободно английским языком, я лишен возможности прочесть Henry George'а в оригинале, просил у вас перевода — вот и все. К сожалению, я не знаком лично с Чеховым, а потому лишен возможности проверить версию Ал. Стаховича.— Вчера провел я вечер в Худ[ожественном] театре с Алексеем Стаховичем. Давали «На дне» Горького. Прелестно сыграно, пьеса хорошая, характерная, но как жаль, что кругозор Горького только вращается между пьяницами, забулдыгами и пропавшими людьми. Талант его мог бы высказаться шире, если бы он наблюдал быт другого состава населения, а не сделался только специалистом этого люда.— Сейчас уходит поезд, пишу вам из вагона и прошу снисхождения за отчаянный почерк. Да хранит вас господь. Крепко жму вашу руку — всего лучшего.

Сердечно любящий вас
Николай М.

16

1 апреля 1903 г. [Ясная Поляна]

Дорогой Николай Михайлович,

Благодарю за ваше письмо и за книгу. Я получил ее, но еще не читал, во 1-х, п[отому] ч[то] некогда, во 2-х, п[отому] ч[то] ожидаю от чтения ее большого удовольствия и оставляю ее на закуску.

Здоровье мое, идя, как должно итти здоровье человека, хотя и медленно, но равномерно приближающегося к смерти, собирающегося to join the majority, т. е. присоединиться к большинству, как говорят англичане. Но я доволен тем, что могу работать, à tort ou à raison * думая, что работа моя нужна. В числе моих работ есть и характеристика вашего деда Николая I [1]. Я составил было довольно отрицательное представление об его характере и личности, но потом, прочтя подробности об его рождении, как Екатерина любовалась им, как чудесным ребенком, и подробности об его смерти, я изменил свое суждение и постарался глубже вникнуть в то, что он был в душе и почему он был таким, каким он был. Хорошо бы было нам при всех суждениях о людях помнить, что каждый из нас был невинным ребенком и каждый умирал или будет умирать. При этом созерцании двух концов жизни каждого человека тотчас же уничтожается недоброе или поверхностно-легкомысленное отношение к человеку.

Прощайте пока, желаю вам всего хорошего.

Ваш Лев Толстой

[1] Толстой говорит о непропущенной цензурой главе о Николае I в своей повести «Хаджи Мурат».

17

24 октября 1903 г., Я[сная] П[оляна]

Дорогой Николай Михайлович. Простите, пожалуйста, за то, что я до сих пор не поблагодарил вас за книги и любезную память. В особенности мне жаль, что не выразил вам до сих пор моего сочувствия по случаю болезни вашего батюшки и моих искренних пожеланий его выздоровлению. Как мне ни совестно после этого обращаться к вам с просьбой, я все-таки делаю это, так как чувствую в этом свою обязанность и почти уверен, что вы захотите помочь тем людям, о которых прошу. Люди эти — три духобора [1]. Осип Новокшонов 50 лет (4 женатых его сына в Канаде), Василий Щербаков 65 лет (2 сына женатых в Канаде) и Алексей Фофанов 70 лет (3 сына и 2 дочери, внуки и правнуки в Канаде).

* Справедливо или нет.

Старики эти, как особенно вредные по своему влиянию люди, были сосланы в Якутскую область. Теперь, отбыв срок, они вернулись на Кавказ и, естественно, желают одного: присоединиться к своим в Канаду. Но удивительное дело, людей, которые здесь в России и на Кавказе могут быть только вредны и ни на что не могут быть нужны, не выпускают за границу — не дают им паспортов. Не можете ли вы повлиять на тех, от кого это зависит, чтобы этим людям дали заграничные паспорта?

Это все, о чем они просят и о чем я позволяю себе просить вас. Пожалуйста, простите меня, если мое обращение к вам неприятно, и посмотрите на него comme non avenu *. Если же на это я, судя о вас по тому, что знаю, надеюсь, что вы поможете этим людям, то будьте так добры приказать уведомить меня об этом.

От души желаю вам всего хорошего.

Любящий вас

[1] Толстой просит за стариков-духоборов, страдавших от произвола Голицына. Выполняя просьбу Толстого, Н. М. Романов обратился к министру внутренних дел Плеве. Переписка по поводу духоборов тянулась довольно долго; хлопоты о заграничных паспортах увенчались успехом только в апреле 1904 г., о чем Н. М. Романов сообщил Толстому письмом от 16 мая 1904 г. (см. ниже). Толстой благодарил его (письмом от 1 июня 1904 г.), подчеркивая, что он и сам уже получил «очень глупое» письмо от Голицына.

18

3 ноября 1903 г., Тифлис

Милейший Лев Николаевич!

Особенно радостно было для меня наконец получить весточку от вас, т[ак] к[ак] давно уже вы перестали баловать меня известиями о себе. Между тем я продолжаю живо интересоваться всем тем, что относится до вас, и слежу как в нашей, так и в заграничной печати, когда речь касается вас, вашего здоровья и вашей деятельности. Но к делу. Получив вчера ваше письмо, я уже сегодня видел тифл[исского] губернатора Свечина, рассказал ему суть дела, и он положительно обещал в своей поддержке, если только эти три духоборца его губернии. В противном случае придется обратиться к его соседу, елизавет[польскому] губ[ернатору] Лутцау, который, вероятно, тоже мне не откажет. Им выдадут паспорта для свидания с родственниками в Канаде и постараются миновать высшую инстанцию, т. е. князя Голицына, который вследствие полученных ран мог бы проявить еще более раздражения, чем обыкновенно. Если три старика Тифлис[ской] губернии, то это выяснится, приблизительно, через неделю; если они из другой губернии, придется хлопотать дальше. По получении ответа немедленно вам сообщу. Если нельзя будет обойтись без Голицына, я рискну лично ему доложить об этом, несмотря на несуществующие уже давно отношения между нами. Но надеюсь, что можно будет все уладить, согласно вашего ходатайства, без соприкосновения с этой личностью. Теперь два слова о себе. В конце ноября я поеду на некоторое время в Канн к больному отцу моему через Питер, где пробуду самое многое — две недели. Скажу вам откровенно, что я решился бесповоротно бросить службу на Кавказе. С одной стороны, болезнь отца будет требовать частых отлучек, с другой, и это главное, мне стало не в моготу условия здешней службы, не согласной с моими взглядами. Пока не трогали войско, я кряхтел, но молчал и подчинялся всяким произволам голицынского режима. Но за это лето подчиненные мне полки исключительно играли роль полицейских, следовательно, скоро и палачей. В мирное время такое положение слишком тягостно, и т[ак] к[ак] кроме этого произвол дошел до чудовищных размеров, я слишком люблю здешний край, чтобы оставаться безучастным зрителем этой оргии. Не ве-

* Так, как будто его не было.

Л. Н. ТОЛСТОЙ СРЕДИ КРЕСТЬЯН

Акварель Л. О. Пастернака, 1903 г.

Толстовский музей, Москва

даю, куда меня сунут, но предчувствую, что придется жить зиму и весну в противном Петербурге. Останется лето и осень, где можно будет уединяться в горах и лесах Боржома и заниматься историческими занятиями... [1].

Сердечно любящий вас Николай М.

[1] Опускаем вторую часть письма, как не представляющую интереса.

19

15 ноября 1903 г., Я[сная] П[оляна]

Очень, очень благодарю вас, дорогой Николай Михайлович, за вашу отзывчивость на мои просьбы и за ваше письмо. Я кругом виноват, что не обозначил губернии стариков. Старался поправить телеграммой.—Не одобряю я вашего печального настроения (только одна болезнь вашего батюшки дает вам на это право) и мрачных планов. Думаю, напротив, что вам придется послужить любимому вами краю. И что это будет вам радостью в той мере, в которой служба эта будет истинно полезна. Поприще огромное и можно сделать много добра.

Очень благодарен вам и за то, что вы надоумили меня прочесть предисловие к 2-му и к 3-му тому. Я это сделал и очень рад, что сделал. Особенно понравилось мне предисловие к 2-му тому. Говорю это не в ущерб предисловиям к 3-му. Но это не может быть иначе, т[ак] к[ак] тема 2-го тома более живая и общечеловеческая. Особенно поразило меня ясно выраженное Строгановым желание subjuguer * Ал[ександра] I и план для

этого и понравилось его суждение о народе и о дворянстве. Все это то же и теперь, только народ стал еще более хорош, а дворянство еще подлее. Ce sont les esclaves, qui font les tyrans **. Так это до сих пор. И благодаря этим рабам, тиранами делаются люди, совсем не желающие и не способные быть ими.

Во 2-м же предисловии мне особенно понравилась прекрасная характеристика С. Р. Воронцова[1]. Очень жаль, что кончилась их прекрасная порода. Я видал Мих[аила] Сем[еновича], знал Simon, который был тоже честный хороший человек.

Очень рад бы был еще раз повидаться с вами, но, как это ни невероятно, говорится, что гора с горой не сходится, а не человек с человеком.

На последний пункт вашего письма отвечу только то, что очень жалею о том, что вы не женаты. Женитьба, т. е. супружеская жизнь, очень нравственно полезна для хороших людей.

Прощайте пока. Еще раз благодарю вас. Любящий вас Лев Толстой. Посылаю вам собранные мною мысли, распределенные на каждый день года. Может быть они напомнят вам не меня, а то, что и во имя чего я живу.

[1] Воронцов Семен Романович, граф (1744—1832), участник первой турецкой войны; государственный деятель при Павле и Александре I; до 1806 г. был русским послом в Англии. Сын его, Михаил Семенович (1782—1856), был наместником Кавказа. Сын последнего, Семен Михайлович (1823—1882), командовал на Кавказе полком. К нему вышел, сдаваясь, Хаджи Мурат. Толстой знал его лично и называл «Simon».

20

9 декабря 1903 г., С.-Петербург

Милейший Лев Николаевич!

Посылаю вам при сем ответ губернатора Лутцау. К сожалению, он отрицательный, но может быть возможно будет помочь старикам нелегальным путем, т[ак] к[ак] наш удивительный сатрап запретил даже ему докладывать об этом вопросе. При таких порядках трудно бороться, еще труднее помочь! Если будет возможность, поговорю об этом деле с В. К. Плеве, хотя на него нельзя возложить больших надежд.— 17-го я еду в Канн к моему больному. Крепко жму вашу руку.

Весь ваш Николай М.

№ Нужно вернуть ему бумагу. Отправлено[1].

[1] Приписано рукой Толстого.

21

ТЕЛЕГРАММА

[Из Петербурга] Декабрь 1903 г.

Вчера был у министра обещал все уладить выдать старикам паспорта подробнее письмом из Канн куда еду среду привет сердечный

Николай Михайлович

22

16 мая 1904 г., С.-Петербург

Милейший Лев Николаевич!

Третьего дня только вернулся из-за границы, т. е. из Канн и из Баден-Бадена, где жил я с больным своим батюшкой. Вчера дошло до меня письмо елизав[етпольского] губернатора Лутцау, которое спешу вам препроводить. Дело о трех духоборцах после неимоверной борьбы, до-

---

* Подчинить своему влиянию.

** Это рабы, творящие тиранов.

шедшей до Плеве и даже до государя, выгорело наконец. Просьба их удовлетворена, чему я невероятно рад. За границей провел я время очень уютно и спокойно в совсем другой атмосфере, особенно в Бадене, и отдохнул нравственно и душевно. Очень много занимаюсь историческими занятиями всякого рода по моей эпохе и теперь сижу над донесениями Куракина и Коленкура[1] за период 1807—1812. Кроме того подготовляю роскошное издание портретов и миниатюр лиц той же эпохи[2], первый выпуск которого должен появиться зимой, и я вам тотчас же пришлю в Ясную Поляну. Не буду распространяться о событиях переживаемой тяжелой годины, но, как всякий русский, трепетно слежу за всеми событиями на Дальнем Востоке и горюю о потерях, которые уже так значительны.— Что вы поделываете? Как ваше здоровие? Будьте любезны передать мой искренний поклон вашей супруге. Крепко жму вашу руку.

Сердечно любящий вас

Николай М.

[1] Куракин Александр Борисович, князь (1752—1818), был послом в Вене и Париже в 1806—1812 гг. Донесения его не были опубликованы Н. М. Романовым. Письма и донесения французского посла, маркиза Коленкура, напечатаны под заглавием: «Дипломатические сношения России и Франции по донесениям послов Александра и Наполеона 1808—1812», тт. I—III, СПБ., 1905; т. IV, СПБ., 1906; т. V, СПБ., 1907; т. VI, СПБ., 1908.

[2] «Русские портреты XVIII и XIX столетия». Первый том вышел в 1905 г. Следующие четыре тома появились в 1906—1909 гг.

23

1 июня 1904 г. [Ясная Поляна]

Благодарю вас, дорогой Николай Михайлович, за ваше ходатайство о стариках духоборах и за извещение меня об успехе этого дела. Я уже давно получил письмо очень глупое от Голицына и на-днях получил благодарственное письмо от стариков из Канады. Благодарность эта относится больше к вам, вам и передаю ее.

Очень рад за вас, что у вас есть хорошее полезное литературное занятие, которое хоть немного отвлекает от сознания тех тяжелых условий, в которых мы живем. Я никак не думал, чтобы эта ужасная война так подействовала на меня, как она подействовала. Я не мог не высказаться об ней и послал статью за границу[1], которая вероятно на-днях появится и вероятно будет очень не одобрена в высших сферах.

В предпоследнем письме вы писали, что может быть когда-нибудь заехали бы в Ясную Поляну. Как ни приятно бы было мне видеть вас у нас, я думаю, что я настолько неприятное лицо правительству — и в особенности буду теперь, после моей статьи о войне, что ваше посещение меня могло бы быть неприятно для вас, и потому считаю нужным предупредить вас об этом. Во всяком случае ваше отношение ко мне было такое хорошее и оставило во мне такие приятные воспоминания, что я совершенно искренно могу подписать письмо словами: любящий вас Лев Толстой.

[1] Статья носила название «Одумайтесь». Впервые она была напечатана в лондонской газете «Т mes» (16 июня 1904 г.), потом в издательстве Черткова «Свободное слово». В статье содержались энергичные выпады против ужасов империалистической войны: «На Дальний Восток везут тысячами несчастных, обманутых русских крестьян,— которых Николай Романов и Алексей Куропаткин решили убить и будут убивать ради поддержания тех глупостей, грабительств и всяких гадостей, которые делали в Китае и Корее безнравственные, тщеславные люди, сидящие в своих дворцах и ожидающие новой славы и новых выгод и барышей от убийства... ни в чем не виноватых, ничего не приобретающих своими страданиями и смертями несчастных, обманутых русских рабочих людей».

24

28 августа 1905 г., Боржом

Милейший Лев Николаевич!

Давно, давно не писал я вам, а не писал потому, что за последние полтора года пережили мы столько грустного, безотрадного, что не хотелось беспокоить вас своей болтовней. Теперь наконец мир заключен, настал предел бессмысленной резне и бойне, и можно спокойно поговорить и о другом. Только-что прочел я ваше последнее произведение «Великий грех»[1] и на душе стало легче. В этих нескольких страницах сказано столько правды, столько горьких истин и притом все выражено так сердечно, так просто и по душе, что не могу удержаться, чтобы высказать вам то удовольствие, которое я испытал, читая эту быль. Конечно, многие скажут, что все это один сон, одна утопия, но правда на вашей стороне и Генри Джорджа, и было бы хорошо, если хоть на Руси она восторжествовала. С тех пор, что мы с вами переписывались по этому вопросу, утекло много крови и, что касается меня лично, то я сильно поколеблен и полагаю, что в России владение клочком земли и есть насущный, существенный вопрос. Впрочем, то же я вижу здесь, в Грузии, Имеретии, Гурии и Мингрелии[2]. Но здесь люди еще более дикие, страстные, а потому думают силой взять свое и чужое. Сидя в Боржоме с начала июня, т. е. уже третий месяц, пришлось наблюдать многое, именно на эту тему владения землей. Прежде все это было в зародыше, а теперь вышло наружу, особенно сильно в нашем же Гурийском уезде, где бьют помещиков, как зайцев, чуть ли не каждую неделю. У нас в боржомском имении пока спокойно, ибо я делал все, что могу, для облегчения крестьян, но так называемая «аграрно-революционная» пропаганда идет во-всю, и соседние крестьяне всячески угрожают нашим, что они еще к ним не примкнули. Весной здесь, т. е. в Кахетии, Карталинии и в Кутаисской губернии, произойдет всеобщее восстание, именно на этой земельной почве, и едва ли удастся даже глубоко гуманному графу Воронцову предупредить это горе. Может быть выкупом крестьянских земель на время успокоют крестьян, но и эта мера вряд ли удовлетворит надолго. Кроме того анархисты-революционеры успели уже здесь сделать свое дело, и народ думает, что убийствами всего добьется. За последний год прямо узнать нельзя мирных и неподвижных грузин, которым природа дает все почти даром.

Что могу вам сказать о себе? Я все такой же, каким вы меня видели тому [назад] четыре года в Крыму, стараюсь, где могу, делать добро, но одинок и усиленно занимаюсь историческими занятиями. Зимой, вероятно, пришлю вам первые тома донесений Коленкура[3]; не знаю, интересует ли вас мое издание русских портретов[4]; если да, то прикажите прислать. Поздней осенью перекочую я в Питер на зимние квартиры; к рождеству, вероятно, поеду в Канн к больному батюшке, которого положение все то же, хотя голова свежа. — А вы, дорогой Лев Николаевич, что поделываете, как вам живется, как ваше здоровье и что пишете? Скоро ли появится «Хаджи Мурат»? Меня как кавказца это произведение очень интересует. Будьте так добры передать мой искренний поклон вашей супруге. Всем от души желаю всего, всего лучшего и крепко жму руку.

Любящий вас сердечно

Николай М.

[1] Статья Толстого «Великий грех», законченная в июле 1905 г., написана под впечатлением «близости и неизбежности надвигающегося переворота». Толстой доказывает здесь, что никакие политические реформы не дадут свободы, пока большинство людей будет лишено естественного права на землю. Толстой снова обращается к Генри Джорджу и в основу своих рассуждений кладет одну из его речей о частной собственности.

[2] Н. М. Романов, напуганный революционным движением на Кавказе, уже наблюдавший революционные выступления в Гурийском уезде и не уверенный, что то же самое не произойдет у него в боржомском имении, на этот раз не возражает Толстому, а, как утопающий, хватается за проект Генри Джорджа. Он уже «сильно поколеблен» в отношении своих прежних взглядов.

[3] См. письмо № 22, прим. 1-е.

[4] См. там же, прим. 2-е.

25

14 сент[ября] 1905 г. [Ясная Поляна]

Перед самым получением вашего хорошего письма, любезный Николай Михайлович, я думал о вас, о моих отношениях с вами и хотел писать вам о том, что в наших отношениях есть что-то ненатуральное и не лучше ли нам прекратить их.

Вы — великий князь, богач, близкий родственник государя; я — человек, отрицающий и осуждающий весь существующий порядок и власть и прямо заявляющий об этом. И что-то есть для меня в отношениях с вами неловкое от этого противоречия, которое мы как будто умышленно обходим.

Спешу прибавить, что вы всегда были особенно любезны ко мне и что я только могу быть благодарен вам. Но все-таки что-то ненатуральное, а мне на старости лет всегда особенно тяжело быть не простым.

Итак, позвольте мне поблагодарить вас за вашу доброту ко мне и на прощанье дружески пожать вам руку.

Лев Толстой

26

1 октября 1905 г., С.-Петербург

Милейший Лев Николаевич!

Письмо ваше я получил только здесь, т[ак] к[ак] должен был вернуться ввиду закрытия выставки портретов. Вы не можете себе представить, насколько я был тронут вашими откровенными и добрыми строками, в которых выражено столько любви и правды. Конечно, я вполне подчиняюсь вашему решению, но с глубокою болью в душе, потому люблю вас всем моим сердцем и буду просить вас хоть изредка обращаться к вашей духовной помощи в наше безотрадное время. Вы вполне правы, что есть что-то недоговоренное между нами, но смею вас уверить, что, несмотря на родственные узы, я гораздо ближе к вам, чем к ним. Именно чувство деликатности вследствие моего родства заставляет меня молчать по поводу «существующего порядка и власти», и это молчание еще тяжелее, т[ак] к[ак] все язвы режима мне очевидны и исцеление оных я вижу только в коренном переломе всего существующего. Еще жив мой престарелый батюшка, и из уважения к его личности я должен быть осторожным, чтобы не огорчить своими действиями и суждениями старика.

Не сомневаюсь, что вы поймете эти чувства сына к отцу. Итак, до свидания, милейший Лев Николаевич, говорю до свидания, а не прощайте, потому последнее выражение для меня слишком тяжело. Так же крепко жму вашу руку и прошу не изменять ваших чувств ко мне, которые ценю особенно нервно. От души обнимаю вас мысленно. Да хранит вас господь!

Сердечно любящий вас
Николай Михайлович

27

6 октября 1905 г. [Ясная Поляна]

Получил ваше письмо, любезный Николай Михайлович, — именно «любезный» в том смысле, что вы вызываете любовь к себе.

Мне очень радостно было узнать из вашего хорошего письма, что вы меня вполне поняли и удержали ко мне добрые чувства. Я не забываю

и того, что vous avez beau être grand dus *, Вы человек, а для меня важнее всего быть со всеми людьми в добрых любящих отношениях и мне радостно оставаться в таких с вами, хотя бы и при прекращенном общении.

Очень, очень благодарен вам за ваше доброе письмо.

Лев Толстой

28

29 января 1906 г. [Ясная Поляна]

Дорогой Николай Михайлович, только-что кончил рассматривание и чтение текстов вашего издания портретов и не могу достаточно благодарить вас за присылку мне этого превосходного издания. В особенности меня пленили тексты: они так прекрасно, умно, талантливо составлены. Вообще все это издание есть драгоценный материал истории, не только de la petite histoire **, но настоящей истории того времени. Я испытал это потому, что занят теперь временем с 1780-х до 1820-х годов. По этой же причине я теперь только прочел и Долгоруких и Строганова и тоже радовался и благодарил вас. Особенно Строганов неоценен для истории Александра I. Желаю вам продолжать с таким же успехом ваши прекрасные и полезные исследования и издания и еще раз благодарю за то, чем я до сих пор из них воспользовался. Думаю, что вы пережили и переживаете много тяжелого за это последнее время, думаю тоже, что эти тяжелые условия, если мы отнесемся к ним как должно, без раздражения, а с сожалением к заблуждению людей, могут быть не так тяжелы, могут даже быть полезны для нашей внутренней, духовной жизни, чего от души желаю вам.

Любящий вас Лев Толстой

29

11 июля 1906 г., Ясная Поляна

Дорогой Николай Михайлович,

Я очень рад был получить от вас и о вас известия, которых давно не имел. Данилова я совсем не помню [1]. А то, что я его не помню, для меня означает то, что его беседа оставила во мне очень слабое или скорее отрицательное впечатление. И по письму к вам я не думаю, чтобы в его советах могло быть что-либо серьезное. Время, которое мы переживаем, имеет для меня — да я думаю, должно бы иметь и для всех — одно главное значение: усиление внимания и строгости к себе, к своей жизни; в такое время больше опасности согрешить, и грех производит более пагубные последствия, и больше значения получает добрая жизнь и тоже значительнее ее последствия. Рад слышать, что вы продолжаете быть заняты своими историческими трудами, и хотелось бы посоветовать вам держаться мудрого изречения fais ce que dois, advienne que pourra ***.

Может быть у вас нет «Круга чтения», поэтому посылаю вам, очень прося читать его.

Любящий вас Лев Толстой

[1] В письме от 8 июля 1906 г. Н. М. Романов спрашивал Толстого, кто такой Данилов, приславший ему письмо из Выборга и ссылавшийся на Толстого, — «что он за личность и стоит ли ему отвечать?».

---

* Ваша привилегия — звание великого князя.
** Как подсобная монография.
*** Делай должное,— что будет, то будет.

30

2 сентября 1907 г. [Ясная Поляна]

Очень вам благодарен, любезный Николай Михайлович, за книги[1] и милое письмо. По теперешним временам мне особенно приятна ваша память обо мне.

Пускай исторически доказана невозможность соединения личности Александра и Козьмича[2], легенда остается во всей своей красоте и истинности. Я начал было писать на эту тему, но едва ли не только кончу, но едва ли удосужусь продолжать. Некогда, надо укладываться к предстоящему переходу. Я очень жалею. Прелестный образ. Жена благодарит вас за память и просит передать привет.

Любящий вас

[1] Четвертый выпуск «Русских портретов» и «Легенда о кончине императора Александра I в Сибири в образе старца Федора Кузьмича».

[2] В 1905 г. Толстой принялся за повесть «Посмертные записки старца Федора Кузьмича», увлеченный сюжетом легенды об Александре I, будто бы скрывавшемся от мира под именем старца. Повесть осталась незаконченной.

31

28 февраля [19]08 г., Ясная Поляна

Очень благодарю вас, милый Николай Михайлович, за доброе письмо ваше. Мне теперь совестно вспоминать о моем письме 1906 года[1]. Вызвано оно было тем, что я что-то писал резкое и недоброе о царской фамилии. И думаю себе: общение с вами и такое недоброе отношение к близким вам людям. Это вызвало мое письмо. Теперь я бы не написал этого. Вы не можете представить, как изменяется жизнь, приближаясь к старости, т. е. к смерти. Я именно чувствую, что рост духовный идет как бы обратно пропорционально квадратным расстояниям от смерти, все лучше и лучше. Надеюсь, что вы доживете до этого и испытаете это. Теперь же мне дороже всего любовное общение со всеми людьми, безразлично кто они: цари или нищие. И потому для меня ваше доброе письмо, уничтожившее то нехорошее отношение, которое вызвало мое, было для меня особенно дорого. Душевно благодарю вас. Если вы захотите прислать мне те в высшей степени интересные материалы, о которых пишете, то я буду очень благодарен.

Могу отвечать за свою discrétion* и моей дочери, которая одна переписывает мои письма.

Прощайте, дружески жму вашу руку.

Любящий вас

[1] Толстой имеет в виду письмо от 14 сентября 1905, а не 1906 г.

* Скромность.

ПЕРЕПИСКА ТОЛСТОГО С А. А. СТОЛЫПИНЫМ

Публикация Н. Гусева

13 июля 1907 г. Толстой записывает в записной книжке: «Вчера задумал написать письмо Столыпину». 22 июля в той же записной книжке читаем: «Вчера, 21-го, писал письмо Столыпину порядочно». 22-го Толстой «поправлял письмо Столыпину», 23-го и 24-го опять работал над тем же письмом, а 26-го письмо было закончено и подписано.

В этом письме Толстой убеждал председателя совета министров произвести единственную, по его мнению, меру, которая может вывести трудовой русский народ из его бедственного положения: уничтожение частной земельной собственности. «Нужно, — писал Толстой, — уничтожить вековую, древнюю несправедливость... Несправедливость эта, так называемое право земельной собственности, чувствуется теперь всеми людьми христианского мира, но особенно живо русскими людьми... Несправедливость состоит в том, что как не может существовать права одного человека владеть другим (рабство), так не может существовать права одного, какого бы то ни было человека, богатого или бедного, царя или крестьянина, владеть землею, как собственностью. Земля есть достояние всех, и все люди имеют одинаковое право пользоваться ею... Для того, кто понимает этот вопрос в его истинном значении, должно быть ясно, что право владения как собственностью хотя бы одним осьминником земли, будь владелец распрокрестьянин, так же незаконно и преступно, как владение богачом или царем миллионом десятин. И потому вопрос не в том, кто владеет землей и каким количеством, а в том, как уничтожить право собственности на землю и как сделать пользование ею одинаково доступным всем».

Это уничтожение частной собственности на землю Толстой предлагал осуществить путем введения «единого налога» с ценности земли, по проекту Генри Джорджа [1].

Прошел почти месяц; Толстой не получил ответа на свое письмо. Между тем, он еще 23 июля написал следующее письмо брату министра, журналисту, сотруднику «Нового Времени» Александру Аркадьевичу Столыпину [2]:

Не можете ли вы, любезный Александр Аркадьевич, помочь через вашего брата одному очень жалкому больному человеку и его семейству? Прилагаю письмо его жены ко мне. Из него вы все поймете. Человек этот был очень близким мне по взглядам, по вере человеком, но, живя в Саратове, он, как кажется, увлекся крестьянским союзом и навлек на себя преследование властей. Не только не думаю, но вполне уверен, что он не может быть опасен. Знаю, что благодаря тому, что ваш брат — министр, вам, вероятно, приходится получать много таких же, как эта, просьб и испытывать неприятность отказа. Но, может быть, я буду счастливее. Очень, очень буду вам благодарен, если сделаете что можете. Дружески жму вам руку.

Лев Толстой

В этом письме Толстой просил за близкого ему по взглядам человека — ветеринарного врача Авраама Васильевича Юшко (1867—1918). Ответ на свое письмо Толстой получил 24 августа. А. А. Столыпин писал ему:

Многоуважаемый и дорогой Лев Николаевич.

Наконец-то могу я вам сообщить благоприятную весть о Юшко. Поверьте, что я был очень рад вам услужить, но все эти дела вершатся так медленно.

Пользуюсь случаем, чтобы выразить вам чувства бесконечной преданности, в искренности которых вы не усомнитесь.

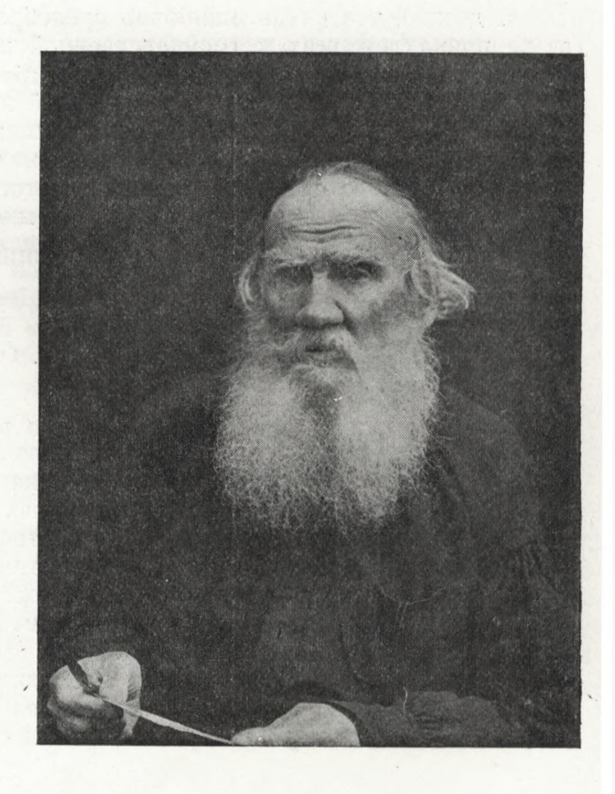
Ваш Александр Столыпин

При письме была приложена следующая «записка для памяти» министра внутренних дел:

Юшко приказано из тюрьмы выпустить.
Дальнейшее покажет дознание.
20 авг[уста].

Сейчас же по получении этого письма у Толстого явилась мысль: запросить А. Столыпина о судьбе своего письма к его брату-министру; и в тот же день он пишет А. Столыпину следующее письмо, в котором повторяет те же мысли о несправедливости земельной собственности и средствах ее уничтожения, какие он излагал в письме к министру:

Очень благодарен вам, милый Александр Аркадьевич, за извещение об Юшко. У меня к вам еще просьба: я писал вашему брату Петру Аркадьевичу о том, что, по моему мнению, освобождение земли от права собственности на нее, попытка осуществления великого идеала русского народа, было бы кроме того что великим благодеянием, было бы самым



Л. Н. ТОЛСТОЙ
Фотография 1907 г.
Частное собрание, Москва

действительным и безошибочным средством успокоения народа, уничтожения того таящегося в сознании народа недовольства, которое одно дает силу и значение ложной и преступной деятельности революционеров. Средство осуществления есть система Единого Налога. И введение этого налога и освобождение земли от права собственности вполне возможно и может пройти с гораздо меньшими смутами, чем те, которые вызвало совершенно подобное ему в свое время освобождение крепостных. Брат ваш не отвечал мне, что мне было неприятно и вызвало во мне поднимающееся недружелюбное чувство, которому я не даю и не дам хода, но мне это больно. Не можете ли вы спросить у него: получил ли он это письмо? и сказать ему, что я очень и очень прошу его подумать о том, что я предлагаю, что это нужно не мне и не ему, что это великое дело, нужное богу, и что страшно не сделать того, что мог, для того, чтобы заменить все те ужасы репрессии, которые совершаются теперь, благодетельной мерой, осуществляющей давнишние справедливые пожелания всего народа и заменяющей зависть, ненависть, озлобление — успокоением, довольством и благодарностью.

Пожалуйста, спросите его и ответьте мне. Мне очень интересно знать его мотивы. Знаю я, что он завален делами, которые, как и должно быть человеку в его положении, кажутся очень важными, дело же, о котором я пишу, кажется фантастичным, но ведь важно не то, чтобы удержать существующий порядок. Это не только не важно, но это вредно, а важно то, чтобы содействовать, служить законному, доброму, вечному движению человечества. А уничтожение собственности земли есть стоящий на очереди вопрос, как в свое время был вопрос рабов во всем мире. Только выстави правительство этот вопрос, и, не говоря уже о всем народе, все сильное, все доброе примкнет к нему.

Простите, что так много написал вам.

Буду благодарен за ответ, в котором выскажите, пожалуйста, и ваше мнение.

Я думаю, что очень ошибочно пренебрегать суждениями людей, как я, не принадлежащих к государственной и политической деятельности. Von lauter Bäumen sieht man den Wald nicht[3]. Нам со стороны гораздо виднее, чем тем, кто в середине всей этой путаницы. Для меня прямо непонятно, как эти люди, утопая, барахтающиеся в воде, не хватаются за ту одну лодку спасения, которая подле них. Толвко от этого я и писал и пишу. Мне хочется иметь объяснение этого умышленного самопогубления. И вы очень обяжете разъяснением мне его.

Любящий вас Лев Толстой

24 августа 1907.
Ясная Поляна.

2 сентября А. Столыпин ответил Толстому. Он писал (приводим письмо с некоторыми сокращениями):

Я рад, дорогой Лев Николаевич, что ваше письмо застало меня до отъезда за границу, куда я везу жену лечиться и отдохнуть. Брат мне говорил по поводу вашего письма, что не удосужился еще ответить, а теперь на мою справку ответил запискою, которую при сем прилагаю. По существу дела об уничтожении собственности на землю он говорил, как о совершенно невыполнимом перевороте, и это тем более естественно, что он теперь фанатически захвачен надеждою поставить Россию на путь благосостояния созданием и укреплением мелкой собственности, т. е. идеею, противоположною вашим мыслям. Далее я не беру на себя ответственности говорить за брата, но воспользуюсь вашим милым позволением выразить мое собственное мнение (так как я с братом очень схожусь в суждениях по этому поводу, вам, может быть, будет интересно). Я до-

пускаю, что принцип собственности, (сам по себе очень важный) должен при известной непримиримости положения уступить место более ценным нравственным началам. Так было при освобождении рабов: свобода человека выше «священной и неприкосновенной» собственности, — последняя, обусловленная рабовладением, перестает быть священной, а становится низменной. Поэтому важна не та или другая выгода уничтожения собственности, а точное выяснение вопроса, во имя чего предполагается нарушение очень существенных прав и веры людей в справедливость...

Я думаю, что вы ошибочно приписываете людям душевный строй, подобный вашему. Подумайте, из чего только ни сложился этот ваш душевный строй, и есть ли вероятие искать подобные слагаемые в толпе людей, хотя бы составленной из многих миллионов.

Ближе к жизни маленькая хитрость дикаря: «Объявим, что земля — божия, а между собою мы всегда поделить ее сумеем... вообще, видно будет...». Слово «дикарь» я не говорю в осуждение: из дикаря может выйти апостол, но из свойств дикаря не следует выбирать одно отрицательное свойство (жадность), чтобы его поощрять в голом виде. Но жадность неискоренима, она живет во всех, оттого задачею совершенствования должна быть такая цель: облагородить жадность. Я думаю, что в детской России должны принести пользу простые педагогические приемы: «Раньше, чем зариться на чужое добро, приведи свое добро в порядок, — увидишь, как хорошо будет».

Вы знаете, как дети любят собственность, — какая радость первой своей лошади, своей собаке. Такая же трепетная радость у народа может быть только по отношению к своей собственной земле, на которой стоит свой дом, которая отгорожена своим частоколом. Единый налог земля может выдержать только при очень высокой культуре, а к этой культуре еще нужно подвести народ через длинную эпоху собственности...

Любить каждый комочек, копать, дробить, поливать, выдергивать сорную былинку, окапывать деревцо, любоваться утром на облюбованные вчера вечером всходы, ведь для этого необходимо, чтобы человек обманывался мыслью, что он — владелец этого рая, а после него — его дети и внуки.

Конечно, для вас все это не ново, но я настаиваю на том, что мыслительный и духовный расцвет может быть успешен только на крепком дичке физически здорового и материально богатого народа, а к такому состоянию он естественно придет лишь тем не новым путем, по которому шли другие, старшие по времени народы. Размах вашей мысли чертит вам картину нового строя и нового отношения людей между собою, но я, извиняясь, беру на себя неблагодарную задачу напомнить вам, что мы лет на сто отстали от вашей мысли, что мы должны выполнить черную работу, без которой помрем с голоду, что мы должны исправить запущенную землю, научиться ее удобрять, орошать, сушить и даже толком пахать.

Вы указываете на сочный, вкусный плод, а мне грустно отвечать: «Учитель, я верю в этот плод, но дерево, которое его принесет, еще, кажется, не цвело».

Простите меня, Лев Николаевич, за разномыслие, — мне так тяжело не соглашаться с вами, ведь я, как все люди моего поколения, вырос светом вашей мысли и теплотою вашего сердца.

Позвольте окончить это многословие горячим приветом по поводу вашего юбилея [4] и пожеланием вам длинного ряда светлых часов и впечатлений, которые бы вы ощущали всею силою вашей великой души.

Почтительно вас любящий
Александр Столыпин

При письме была приложена следующая записка А. А. Столыпину от его брата-министра:

1 сентября 1907 г.

Милый Саша.

Если будешь отвечать Л. Н. Толстому, напиши ему, пожалуйста, что я не невежа, что я не хотел наскоро отвечать на его письмо, которое меня, конечно, заинтересовало и взволновало, и что я напишу ему, когда мне станет физически возможно сделать это продуманно.

П. С.

Ловкий ответ бойкого журналиста, который не привык лезть за словом в карман, искусно обходил самый основной для Толстого вопрос: нравственную преступность владения частной земельной собственностью. Поэтому он, разумеется, ни в какой мере не мог удовлетворить Толстого.

В первых числах сентября 1907 г. я гостил у В. Г. Черткова, жившего тогда близ деревни Ясенки, в пяти верстах от Ясной Поляны. Однажды после обеда приехал Толстой с этим письмом Столыпина. Кто-то, по его предложению, прочел письмо вслух. Видно было, что для Толстого письмо Столыпина — пустой набор слов. Он бережно оторвал, как он любил это делать, от «записки для памяти» министра второй, чистый, лист и, кладя к себе в карман, как-то лукаво, тихим голосом произнес:

— Бумажка хорошая...

— Вы будете ею пользоваться? — смеясь спросил В. Г. Чертков.

Больше о письме Столыпина не говорили.

В третий раз Толстой писал А. Столыпину в 1908 г. по следующему поводу. Известно, что газета «Новое Время», постоянным сотрудником которой состоял брат министра А. Столыпин, всеми средствами поддерживала правительство Столыпина в его борьбе против революции. 18 декабря 1908 г. в этой газете появилась очередная статья А. Столыпина, озаглавленная «Заметки», в которой смертная казнь оправдывалась словами Христа.

Толстой узнал об этой статье вечером 20 декабря из письма незнакомого ему петербургского студента Л. А. Арсеньева, приложившего к своему письму вырезку этой статьи и спрашивавшего мнение о ней Толстого. Толстой был очень взволнован и возмущен статьей А. Столыпина. Он вышел из своего кабинета в столовую и, чтобы проверить сообщение студента, просил меня найти этот номер «Нового Времени» и прочесть ему вслух заметку А. Столыпина. Затем, все так же взволнованный, ушел к себе и написал письма — студенту и А. Столыпину. Столыпину он написал кратко:

Александр Аркадьевич,

Прочел то, что вы написали 18 декабря.
Стыдно, гадко.
Пожалейте свою душу.
Я любил вашего отца [5] и мне больно за вас.

Лев Толстой

20 декабря 1908 г.

Это было последнее письмо Толстого сотруднику «Нового Времени» А. А. Столыпину. Студенту же Л. А. Арсеньеву Толстой написал следующее:

Оправдывать смертную казнь словами Христа не решался до сих пор ни один изувер. Такое оправдание, кроме своей искусственности, и глупо и бессовестно.

Вывод из такого толкования буквы писания, называемого священным, только один: тот, что ничего нет более вредного для понимания учения Христа и более губительного и для истинной религии и истинной нрав-

ственности, как приписывание непогрешимости букве писания, так как нет больших нелепостей, гадостей и жестокостей, чем те, которые основывались на этой букве. На статью же С[толыпи]на можно ответить только одним словом: «стыдно», что и написал ему.

Лев Толстой

20 декабря 1908.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Письмо Толстого к П. А. Столыпину было мною опубликовано в юбилейном сборнике «Лев Николаевич Толстой», Гиз, 1929, стр. 84—88.

[2] Все письма публикуются впервые. Письма Толстого к А. А. Столыпину печатаются по копировальной книге писем Толстого, хранящейся в рукописном отделении Толстовского музея (Москва). Письма А. А. Столыпина печатаются по подлинникам, хранящимся там же.

[3] Немецкая пословица. Точный текст: «Man sieht den Wald vor laute Bäumen nicht» («Из-за деревьев не видят леса»).

[4] 5 сентября 1907 г. исполнилось 55 лет со времени появления в «Современнике» первой повести Толстого «Детство» («История моего детства»).

[5] Отец Столыпиных (премьера и журналиста), Аркадий Дмитриевич Столыпин (1821—1899), был товарищем Толстого по Севастопольской кампании. Толстой с ним вместе участвовал в вылазке в ночь с 10 на 11 марта 1855 г. Составленное Столыпиным описание этой вылазки, под названием «Ночная вылазка в Севастополе. Рассказ участвовавшего в ней», было послано Толстым в некрасовский «Современник», где и появилось в № 7 за 1855 г., с примечанием от редакции, что статья прислана «г. Л. Н. Т.», как подписывал тогда Толстой свои произведения. Позднее Толстой виделся со Столыпиным летом 1862 г., проездом через Уральск, где Столыпин был атаманом, на кумыс в Самарскую губернию. Поддерживал знакомство с ним и в 90-х годах, живя в Москве.

ПЕРЕПИСКА ТОЛСТОГО С Т. ЭДИСОНОМ

Публикация А. Сергеенко

Толстой и Эдисон! Два величайших имени конца XIX — начала XX в. Представители двух разных миров, двух противоположных культур. Толстой, живший в экономически и технически отсталой земледельческой России, восставал против «ложного направления» цивилизации, капиталистического строя, милитаризма. Эдисон — гений современной цивилизации, сын самой передовой в техническом отношении страны, с наиболее мощным капиталистическим строем. Что общего между ними?

Толстой относился к Эдисону с нескрываемым осуждением. Достаточно вспомнить его письмо к американцу Мансону, впоследствии обратившееся в статью «Патриотизм или мир» (1896), в котором Толстой писал:

«На-днях между Северо-Американскими штатами и Англией произошло столкновение из-за границ Венецуэлы. Сольсбери на что-то не согласился. Клевеленд написал послание в сенат, с обеих сторон раздались патриотические, воинственные возгласы, на бирже произошла паника, люди потеряли миллионы фунтов и долларов, Эдисон объявил, что он выдумал такие снаряды, которыми можно будет в час убивать больше людей, чем убил Атилла во все свои войны...».

Но неожиданно в последние три года жизни Толстого оба великих человека стали проявлять симпатию друг к другу. Взаимоотношения их сложились следующим образом. 20 мая 1907 г. Ясную Поляну посетил Stephen Bonsal. В дневнике Д. П. Маковицкого имеется по этому поводу следующая запись: «У Льва Николаевича был Stephen Bonsal, редактор-издатель «New York Times». Интервьюировал Льва Николаевича о том, что даст России Дума. Лев Николаевич около часа беседовал с ним в кабинете в свое рабочее время (от 10 до 11) и дал ему только-что полученный английский перевод своей статьи «О значении русской революции». Bonsal на прощание предложил Толстому прислать из Америки фонограф для диктовки. Толстой, будучи противником роскоши и излишних технических усовершенствований, был, повидимому, настолько тронут расположением к себе Bonsal'a, что согласился на его предложение.

Очевидно, еще находясь в России, Bonsal написал об этом в Америку своему другу Arthur Brisban'y, редактору нескольких ньюйоркских газет. Вскоре Толстой получил от Брисбана извещение, что ему высылается фонограф и что Эдисон, узнав, что этот аппарат предназначен для Толстого, отказывается от всякой платы. Помню, что, живя летом 1907 г. возле Ясной Поляны, я несколько раз присутствовал при разговорах о том, что, вот, вскоре Лев Николаевич получит фонограф, посланный ему Эдисоном в подарок. Все относились к этому, как к значительному событию. Толстой с интересом ждал редкого подарка. Он хотел тотчас же поблагодарить Брисбана за его извещение, но подпись на письме Брисбана была столь неразборчива, что Толстой вынужден был оставить его письмо без ответа.

В письме от 12 сентября 1907 г. Брисбан спрашивал, получил ли Толстой наконец фонограф, на что Толстой отвечал:

«Благодарю за intention [намерение], но не получал и не мог ответить, так как фамилия неразборчива».

Потребность художественного творчества возникала у Толстого по самым разнообразным поводам. В этот раз такой неожиданной причиной явился фонограф. Более

трех лет прошло после того, как Толстой оставил писать свои «Воспоминания детства». Теперь ему захотелось продолжать их, но не иначе, как диктуя в фонограф Эдисона.

Он говорил об этом своему другу П. И. Бирюкову, который спрашивал в письме от 20 декабря 1907 г.: «Приехала ли к вам та американская машина, в которую вы хотели диктовать ваши воспоминания? Как я был бы рад». Толстой проявлял даже нетерпение в ожидании американского подарка; он писал Бирюкову: «Накладная на фонограф получена, но его еще нет» (28 декабря 1907 г.). К тому же времени относится следующая запись д-ра Маковицкого: «Утром Лев Николаевич спросил меня, до какого места доведены его воспоминания в бирюковской биографии. Хочет продолжать их, когда получится фонограф, подаренный ему Эдисоном». Однако, прибытие фонографа так затянулось, что поэтическая потребность Толстого успела иссякнуть, и, когда фонограф был получен, 17 января 1908 г., Толстой уже не стал диктовать воспоминаний.

Фонографом Толстой первое время довольно часто пользовался для диктовки своих многочисленных писем и ряда мелких статей в книгу «Круг чтения». Аппарат очень занимал его и вызывал желание говорить. Дочь Толстого писала, что «фонограф очень облегчает ему труд» (письмо А. Л. Толстой к А. Б. Гольденвейзеру от 9 февраля 1908 г.). В фонограф же было продиктовано начало его знаменитого памфлета «Не могу молчать».

Толстой хотел тотчас же, со свойственным ему чувством благодарности, написать Брисбану и Эдисону. Но произошло недоразумение. Он поручил В. Г. Черткову составить для него текст писем. Возвращая Толстому письма Брисбана и конторы Эдисона «National Phonograph C°», Чертков писал 9 февраля 1908 г.: «Прилагаю при сем письма, на которые вы мне поручили ответить. Я это сделал в точности, сообщив то, что вы мне сказали». Толстой отвечал Черткову: «Я тогда просил вас написать два письма: Брисбану и Эдисону. Но вы меня не поняли: я хотел сам подписать их. Теперь меня тревожит мысль, что Эдисон может быть недоволен, что не получил моего автографа. Будьте так добры, напишите хорошенько ему письмо и пришлите мне, а я подпишу его» (24 февраля 1908 г.).

Не дожидаясь исполнения Чертковым его поручения, он сам 27 февраля 1908 г. написал Брисбану следующее:

Dear Sir,

My friend Mr. V. Tchertkoff has at my request written to you and Mr. Edison but I feel myself obliged to write to you personally asking you to accept my best thanks for your kindness and to transmit the same to Mr. Edison for his present. I have received the phonograph and will always using it, remembering you and Mr. Edison.

Yours truly
Leo Tolstoy

Перевод:

Милостивый государь, мой друг В. Чертков по моей просьбе написал вам и г-ну Эдисону, но считаю своим долгом написать вам и лично, прося принять мою глубокую благодарность за ваше внимание и передать такую же благодарность г-ну Эдисону за его подарок. Я получил фонограф и, пользуясь им, буду всегда вспоминать вас и г-на Эдисона.

Преданный вам
Лев Толстой

Это письмо почему-то не было сообщено Эдисону, и его контора в письме от 29 апреля запрашивала Толстого, получен ли им фонограф. Толстой тотчас же поручил своей дочери составить ответ и подписал его; но текст этого письма в архиве Толстого не сохранился.

Публикуемые ниже письма Толстого и Эдисона были напечатаны в газете «Sovjet Land», 1935, № 5.

1. ЭДИСОН — ТОЛСТОМУ

FROM THE LABORATORY OF THOMAS A. EDISON
CABLE ADDRESS «EDISON, NEW YORK»

Count Leo Tolstoy,
Iasnaya Poliana, Russia

Orange, N. Y. July 22, 1908

My dear Sir,

Can I prevail upon you to make for me one or two phonograph records in English or French, preferably both, of short messages not longer than four minutes in duration, conveying to the people of the world some thought that would tend to their moral and social advancement? My phonographs have now been distributed throughout all of the civilized countries, and in the United States alone upwards of one million are in use. Your fame is world-wide, and I am sure that a message from you would be eagerly received by millions of people who could not help from being impressed with the intimate personality of your own words, which through this medium would be preserved for all time.

Of course the making of these records would be so arranged as to inconvenience you as little as possible, and I doubt if the whole operation would take more than an hour. If yon can oblige me in this matter, I will have one or two of my assistants go to your home with the necessary apparatus at any time that you may indicate.

Please accept the assurances of my high personal regard for you and your work, and believe me.

Very truly yours.
Thomas A. Edison

Перевод:

22 июля 1908

Милостивый государь.

Смею ли я просить вас дать нам один или два сеанса для фонографа на французском или английском языке, лучше всего на обоих. Желательно, чтобы вы прочли краткое обращение к народам всего мира, в котором была бы высказана какая-нибудь идея, двигающая человечество вперед в моральном и социальном отношении. Мои фонографы в настоящее время распространены во всех культурных странах, в одних Соединенных Штатах их насчитывается более миллиона. Вы имеете мировую известность, и я уверен, что ваши слова будут выслушаны с жадным вниманием миллионами людей, которые не смогут не подчиниться непосредственному действию сказанных вами самими слов, а благодаря такому посреднику, как фонограф, они сохранятся навеки.

Разумеется, эти сеансы должны быть обставлены с наивозможно меньшим для вас беспокойством. Весь сеанс отнимет не более одного часа. В случае вашего согласия, я пришлю к вам двух моих ассистентов с необходимыми приспособлениями в указанное вами время.

Примите уверение в моем глубоком уважении к вам и вашей деятельности.

Глубоко преданный вам Т. А. Эдисон.

2. ЧЕРТКОВ — ЭДИСОНУ

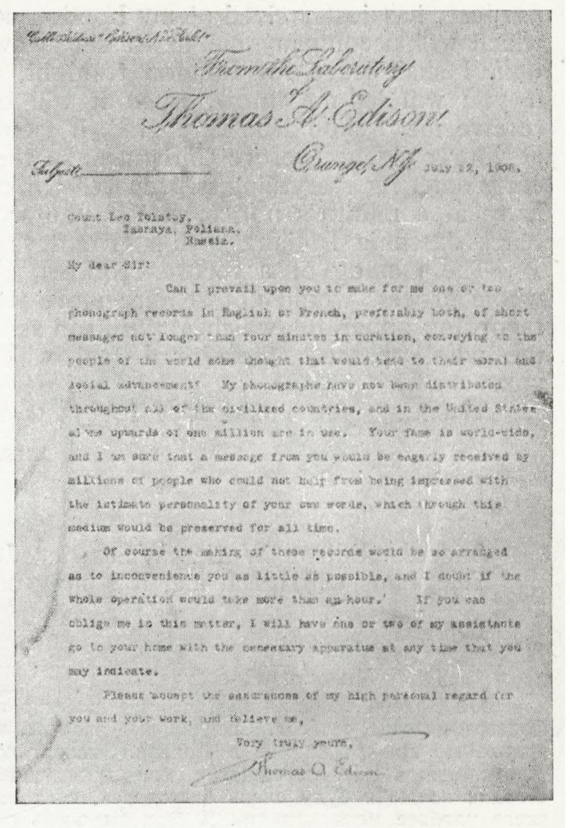
Address Tchertkoff
Yasenki, Tula Government
Russia
August 17, 1908

Dear Sir,

In answer to your letter of July 22, Leo Tolstoy has requested me to say that he certainly would not feel himself justified in declining to fulfil your request, and that therefore he will be ready to dictate the records whenever your assistants will find it convenient to visit him provided of course that he is sufficiently well at the time.

ПИСЬМО ЭДИСОНА К ТОЛСТОМУ
ОТ 22 ИЮЛЯ 1908 г.

Частное собрание, Москва



From the Laboratory of Thomas A. Edison.

Subject ____________ Orange, N.J. July 22, 1908.

Count Leo Tolstoy,
Yasnaya, Poliana.
Russia.

My dear Sir:

Can I prevail upon you to make for me one or two phonograph records in English or French, preferably both, of short messages not longer than four minutes in duration, conveying to the people of the world some thought that would tend to their moral and social advancement? My phonographs have now been distributed throughout all of the civilized countries, and in the United States alone upwards of one million are in use. Your fame is world-wide, and I am sure that a message from you would be eagerly received by millions of people who could not help from being impressed with the intimate personality of your own words, which through this medium would be preserved for all time.

Of course the making of these records would be so arranged as to inconvenience you as little as possible, and I doubt if the whole operation would take more than an hour. If you can oblige me in this matter, I will have one or two of my assistants go to your home with the necessary apparatus at any time that you may indicate.

Please accept the assurances of my high personal regard for you and your work, and believe me,

Very truly yours,

Thomas A. Edison

Should any preliminary correspondance with your assistants be necessary (for instance in order to avoid your assistants arriving at a time when Leo Tolstoy will be unwell) it would be addressed to Leo Tolstoy himself who will transfer it to me to be attended to.

Yours respectfully
V. Tchertkoff

Перевод:

17 августа 1908

Милостивый государь,

В ответ на ваше письмо от 22 июля, Лев Толстой просил меня передать вам, что считает себя не вправе отклонить ваше предложение. Он согласен продиктовать что-нибудь для фонографа в любое время, какое окажется наиболее удобным для ваших ассистентов, разумеется, в том случае, если он будет достаточно здоров.

В случае необходимости предварительной переписки (например, для того, чтобы избежать приезда ассистентов в случае болезни Л. Н. Толстого), письма следует адресовать ему лично, он же будет пересылать их мне для исполнения.

Уважающий вас В. Чертков

3. ТОМАС ГРАФ — ТОЛСТОМУ

EDISON-GESELLSCHAFT M. B. H.
EDISON-PHONOGRAPHER U GOLDGUSSWALZEN.
SUDUFER 24/25

Count Leo Tolstoi,
Jassnaja Poliana

Berlin № 39. December 14-th 1908

Dear Sir,

Mr. Edison has informed me that you have kindly consented to make a few records for him. The special apparatus, which he sent for that

purpose, has just arrived at my London address and the recording expert which will accompany me to Russia is awaiting my instructions in London. I shall leave for London to-night, and I should be very thankful, if you will let me know, when it will be most convenient for you to receive me. I should be very glad, if I could have the pleasure of calling at your residence before Christmas, so that my expert could return at an early date. As everything is prepared for our departure for Russia, we can leave at a minute's notice, and if you would kindly telegraph, we could reach Jassnaja Poljana within five days from receipt of the telegram.

The making of a record requires a few minutes only, so that the whole process would not require more than one hour of your time. The recording apparatus which Mr. Edison sent me, is extremely sensitive and the whole process therefor I feel will not require any exertion on your part.

Tranking you in advance for your reply I beg to be.

Yours very truly
Thomas Graf
General Manager

Address: Edison Works. Willes'den Junction. London N. W.
Telegrams will reach me, if simply addressed: Randomly London.

Перевод

14 декабря 1908

Милостивый государь,

Г-н Эдисон сообщил мне, что вы любезно согласились для него на несколько фонографических сеансов. Специальный аппарат, который он высылает для этой цели, только-что прибыл ко мне в Лондон. Эксперт по сеансам, который должен сопровождать меня в Россию, ожидает моих инструкций в Лондоне. Я уезжаю из Лондона сегодня ночью и буду очень благодарен, если вы мне сообщите, когда вам будет всего удобнее меня принять. Я был бы очень рад быть у вас до рождества, чтобы эксперт мог вернуться домой несколько раньше. Так как все уже готово для нашего отъезда в Россию, мы можем выехать в любую минуту, и, если вы не откажетесь нам телеграфировать, мы будем в Ясной Поляне через пять дней.

Выполнение валика потребует всего несколько минут, весь же сеанс отнимет у вас не более часа. Аппарат, который мне присылает г. Эдисон, обладает исключительной чувствительностью, а потому, мне кажется, сеанс не потребует от вас никакого напряжения.

Заранее благодарю за ответ.

Уважающий вас Томас Граф,
главный управляющий

Чертков, по поручению Толстого, телеграфировал Graf'у, что он может приехать, когда ему будет удобнее, и советовал сначала остановиться в Туле, в ближайшем к Ясной Поляне городе, указав наилучшую в нем гостиницу — «Чернышевскую». Через несколько дней после этого Толстой получил из Лондона телеграмму: «Arrive December thirty first evening Tula Tschernischoff. Will call January first or later at your convenience» («Приеду тридцать первого декабря вечером Тула Чернышевская. Буду у вас первого или позже если вам удобнее»). Толстой с некоторым волнением ожидал гостей. До того он еще ни разу не говорил в фонограф и, с присущей ему скромностью, считал, что ему оказывается записыванием его голоса неподобающая честь. В день получения письма Graf'а он занес в свой дневник: «Хочу для фонографа приготовить настоящее, близкое сердцу» (дневник, 19 декабря 1908 г.).

Д-р Маковицкий записывает в своем дневнике 23 декабря 1908 г.: «...Приехали от Эдисона двое англичан с хорошим фонографом — записать и потом воспроизвести голос Льва Николаевича». 24 декабря 1908 г.: «Лев Николаевич волновался еще за несколько дней до приезда англичан; сегодня, прежде чем сказать в фонограф, упражнялся, особенно в английском тексте. На французский язык сам перевел и записал то, что хотел сказать. По-русски и по-французски хорошо наговорил, по-английски (из «Царства божия») нехорошо вышло, запинался на двух словах. Завтра будет говорить снова». 25 декабря 1908 г.: «Сегодня Лев Николаевич говорил в фонограф английский текст. Эдисоновские американцы были очень довольны приемом».

Толстой, интересуясь Эдисоном, расспрашивал о его жизни; когда через месяц зашла речь о вегетарианстве, он сказал: «Эдисон вегетарианцем 30 лет» (дневник Д. П. Маковицкого, 5 февраля 1909 г.).

9 марта 1909 г. Graf писал Черткову:

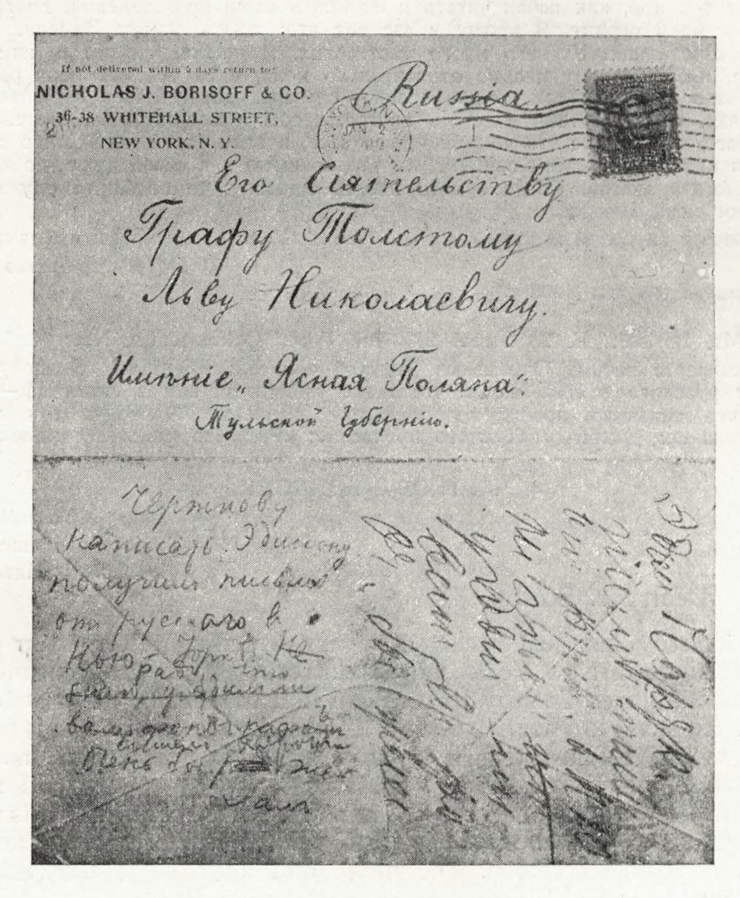
«Dear Mr. Tchertkoff,

I am pleased to advise you the records which Count Tolstoy had the kindness to make for us have arrived quite safely in America and have turned out entirely satisfactory».

Перевод:

«Дорогой г-н Чертков,

Имею удовольствие сообщить вам, что валики, которые были столь любезно исполнены для нас графом Толстым, прибыли в Америку в полной сохранности и оказались вполне удовлетворительными».



КОНВЕРТ ПИСЬМА П. Ф. ОХРЕМЕНКО

На обороте надпись рукой Толстого (см. стр. 336)

Частное собрание, Москва

Одновременно с этим извещением Толстой получил из Америки письмо, неожиданно продолжившее отношения Толстого с Эдисоном:

Великий Человек!

Лев Николаевич!

В тяжелую для меня минуту жизни обращаюсь к вам за помощью. В ноябре 1908 года я уехал в Америку. Попал в Нью-Йорк. Причин, побудивших меня ехать, было много. Первая из них та, что в конце ноября в Екатеринославе, где я жил четыре года, должен был быть суд о ж.-д. забастовке 1905 г., где я должен был быть в качестве подсудимого вместе с остальными 180-ю человеками. Может быть и плохо, что я бежал, но уж больно не хотелось даться в руки палачам. Потом, если б меня и оправдали, то в будущем, т. е. в 1909, году мне итти в солдаты, а это значит, что

я, благодаря своей горячности, попал бы в положение моего товарища, служившего царю во Владивостоке, а теперь в сырой земле. И, наконец, ввиду того, что я еще молод, захотелось поехать по белу свету, увидеть, как живут люди и что такое свободная страна. И то, что я увидел в Америке за такое короткое время, уже могу судить, какая она «свободная» страна. Здесь полная свобода умирать с голоду.

По улицам мчатся автомобили, усыпанные бриллиантами, а рядом ходят голодные, оборванные, в том числе и я в ботинках без подошв. Работы, по случаю кризиса, никак не могу достать. Квартиру мне дал один человек, в своей конторе кусок угла. По приезде (20 ноября) сюда я имел 9 долларов, но им скоро конец. Впереди передо мною ужас голодной смерти в чужом, противном мне городе. В голове днем и ночью роятся разные мысли, как выйти из такого положения. Сегодня, читая ваше «Воскресение», заграничного издания, я начал думать о вас и результаты моих дум — это письмо. Не оставьте меня в такой тяжелый для меня момент, и ваш образ, который я люблю с тех пор, как начал читать и понимать ваши произведения, до гроба запечатлеется в моем сердце. Я прошу у вас вот что: здесь живет Эдисон, известный ученый-электротехник. У него много мастерских. Я читал, что вы с ним знакомы, прошу вас, напишите ему письмо относительно меня, и он возьмет меня работать, он русских очень любит. Я сам по профессии — слесарь. Дорогой Лев Николаевич! Если этого нельзя, то сделайте что-нибудь другое, чтобы я мог жить на свете. Хотя вам время дорого, но для вас это вопрос одного часа, и этим часом вы можете спасти мне жизнь, а я клянусь вам всем святым, что только имею я в своей душе, до конца моей жизни помогать людям. Когда будете писать Эдисону, то сообщите ему мой адрес, чтоб он мог меня вызвать.

Остаюсь с глубокой надеждой на вас любящий вас всеми моими мыслями и душой

Петр Охременко

19 декабря (ст. ст.) [1908 г.]

Mr. Borisoff. E. 23 Street 219, for Peter Ochremenko. New York.

На конверте письма Охременко Толстой написал: «Черткову Эдисону: получил письмо от русского в Нью-Йорке. Не знаю, угодил ли вам в фонограф — очень бы желал», что означало просьбу к Черткову написать Эдисону. Тут же рукою Н. Н. Гусева под диктовку Толстого приписано: «Рад, что фонограф вышел хорошо».

4. ЧЕРТКОВ — ЭДИСОНУ

Yasenki
Toula Government, Russia
9-th/22-th March 1909

Dear Mr. Edison,

Leo Tolstoy has just received a very touching letter from a young Russian refugee in New York, who is suffering from the extremest destitution, and implores Tolstoy to mention him to you, he being a locksmith by trade. He says you are very kind to Russian workmen, and is persuaded that you will give him a trial if Tolstoy writes to you about him. He professes to have only one desire, honest work and the service of mankind. Tolstoy hopes you will not mind his fulfillign the refuest of this unknown youth and having done this feels he has done what he could and leaves the rest to your discretion. The name and address of the Russian in question is:

Peter Ochremenko. Care of Mr. Borisoff, E 23 Street 219, New-York.

Tolstoy was very glad to hear the records he dictated to your representatives turned out a success. Having assisted during the operation I may witness to the fact that solely out of regard to you he gave himself much pains in the matter, although at the time he was unwell and weak.

He sends you his cordial greetings and good wishes, apologising for not writing with his own hand, being also unwell at the present moment and in general experiencing great difficulty in writing English.

Allow me to repeat on this occasion the expression of my deepest regard.

Yours very sincerely
V. Tchertkoff

Перевод:

9 (22) марта 1909 г.

Дорогой г. Эдисон,

Лев Толстой только-что получил очень трогательное письмо от молодого русского эмигранта, который сильно нуждается и умоляет Толстого написать вам о нем. Он слесарь по профессии. Он говорит, что вы очень добры к русским рабочим, и уверен, что вы дадите ему работу, если Толстой напишет вам о нем. Он мечтает об одном: честно трудиться и служить людям. Толстой надеется, что вы не будете на него в претензии за то, что он исполняет просьбу этого неизвестного ему юноши, и, обращаясь к вам, считает, что сделал все, что мог, остальное же предоставляет на ваше благоусмотрение. Фамилия и адрес вышеуказанного русского следующие:

Peter Ochremenko. Care of Mr. Borisoff E 23 Street 219, New York.

Толстой очень рад, что валики, в которые он диктовал при ваших представителях, удались. Как свидетель этих сеансов, я должен сказать, что только ради вас он превозмог слабость и нездоровье.

Он шлет вам сердечный привет и добрые пожелания и извиняется, что по нездоровью не пишет сам лично; кроме того, ему вообще не легко писать по-английски.

Позвольте мне выразить вам еще раз уверение в моем глубоком уважении.

Искренно ваш В. Чертков

5. ДАЙЕР — ЧЕРТКОВУ

Orange N. Y. April 24, 1909

My dear Sir!

Your letter of the 22 nd ult, was duly received by. Mr Edison and referred to me with the request that I have it given immediate attention.

I am glad to inform you that the young Russian to whom you refer, Peter Ochremenko, is at present employed in a small way and is able to contribute something towards the support of his parents in Russia. It is very probable that this position is not permanent, and I have left word that we will try to look out for him here in case he has to look for a new position. I am sure that Mr. Edison will be glad to do all that he can to oblige Leo Tolstoy, for whom he has a very high admiration.

Believe me,

yours very truly,

Frank L. Dyer

Mr. V. Tchertkoff
Yasenki, Toula Government
Russia

Перевод:

24 апреля 1909

Милостивый государь!

Ваше письмо от 22 марта было получено Эдисоном своевременно и отослано им мне, с тем, чтобы я, не медля, исполнил вашу просьбу. Рад сообщить, что молодой русский, Петр Охременко, о котором вы пишете, сейчас уже имеет некоторую работу и может даже оказывать небольшую поддержку своим родителям в России. Возможно, что место его не постоянное, и я обещал ему, что мы будем иметь его в виду, если он захочет переменить свое положение.

Я уверен, что г. Эдисон будет рад сделать все возможное для Л. Толстого, которого он ценит чрезвычайно высоко.

Уважающий вас

Франк Дайер

П. Ф. Охременко в своих воспоминаниях «Как помогал Толстой» рассказывает:

«Прошло четыре месяца. За это время я уже успел кое-что в английском языке и мог добывать себе пропитание. Работал у кровельщика крыш, в мастерской дамских платьев, наконец, в мастерской, изготовлявшей электрические принадлежности. Последняя работа была особенно тяжелой. Изо дня в день я стоял у большого барабана, в котором находился песок и работали специальные вертящиеся крылья, которые поднимали в барабане ужасную песочную пыль. В отверстие в стенке барабана я протягивал руку с какой-нибудь бронзовой вещицей для драгоценных люстр и ламп и держал ее известное время, пока, под действием песка, на ней не получался особый налет-глянец, после чего я передавал ее мастеру для дальнейшей обработки.

От стояния у барабана,— несмотря на то, что он весь был окутан материей, мой нос был завязан тряпкой, а на глазах были специальные очки,— у меня кружилась голова, слезились глаза, а из носа сочилась кровь.

Но час избавления уже был близок. Однажды, в конце апреля, когда я пришел с работы в свою каморку, где жил теперь один (мой друг поступил в лавку к мяснику в Бруклине), ко мне зашел секретарь, служивший в конторе, и сообщил, что во время моего отсутствия приходил один из ассистентов Эдисона, расспрашивал обо мне и обещал написать письмо.

На следующий день я не пошел на работу, сидел дома и ожидал утренней почты. В числе других писем, полученных в тот день конторой, одно было для меня. Это было письмо от фирмы Томаса Эдисона. Меня приглашали явиться в назначенный час в известное место.

Когда я пошел туда, мне, при посредстве переводчика, сообщили, что я получаю место на граммофонной фабрике Эдисона в West Orange, New Gersey. Это небольшой городок верстах в 20 от Нью-Йорка, где находится и резиденция Эдисона. Здесь я прожил 2 года в полном довольстве и счастии. Год работал на фабрике, а потом в качестве помощника садовника.

Это счастье дал мне дорогой Лев Николаевич, который своим письмом к Эдисону вырвал меня из пасти страшной нужды и унижения и дал мне возможность честным трудом добывать насущный кусок хлеба. Я писал Льву Николаевичу, благодарил его за оказанную помощь и выражал надежду, что когда-нибудь лично увижу его и поблагодарю». («Толстой. Памятники творчества и жизни», вып. II, М., 1920, стр. 110—112.)

ПЕРЕПИСКА ТОЛСТОГО С М. К. ГАНДИ

Публикация А. Сергеенко

В своей автобиографии вождь индусских националистов М. К. Ганди (род. в 1869 г.) сообщает о том большом влиянии, которое имел на него Л. Н. Толстой в дни его молодости. По словам Ганди, чтение первого попавшегося ему сочинения Толстого его «потрясло» настолько, что все прочие книги показались ему «ничтожными в сравнении с независимостью мысли, глубокой нравственностью и искренностью» Толстого. В другом месте он еще раз отмечает: «Три современника оказали на меня сильное влияние: Райчандбай своим непосредственным общением со мной, Толстой своей книгой «Царство божие внутри вас» и Рёскин своей книгой «У последней черты» (Ганди, Моя жизнь, Соцэкгиз, 1934, стр. 90).

Ганди не был последователем Толстого, о чем сам неоднократно заявлял. Расхождение с идеями Толстого особенно обнаружилось после смерти писателя, во вторую половину деятельности Ганди, когда, в целях успеха национального движения, он допускал целый ряд компромиссов и сделок с английскими властями. Однако, влияние Толстого, несомненно, сказалось в выработке тех методов «гражданского неповиновения» и «пассивного сопротивления», которые Ганди применял как в период своей борьбы за эмансипацию индусов в Южной Африке, так и впоследствии в Индии

Толстой, всегда интересовавшийся Индией — ее социальными отношениями, борьбой с британским владычеством, индусской философией и религией,—в последние годы своей жизни вел переписку с несколькими индусами, главным образом, деятелями революционного движения. За два года до переписки с Ганди Толстым была написана большая специальная статья «Письмо к индусу», впоследствии получившая широкое распространение в Индии. Из всех индусских корреспондентов Толстого Ганди оказался ему наиболее близким.

После смерти Толстого Ганди поддерживал отношения с несколькими английскими его последователями, в том числе с известной шотландской писательницей Изабеллой Мейо. Он проявлял интерес, в частности, к спорам о литературном наследстве Толстого, происходившим в течение ряда лет в связи с отказом Софьи Андреевны передать официальной наследнице Толстого помещенные в Исторический музей рукописи писателя. В то время циркулировало открытое обращение к Софье Андреевне за подписью многих представителей литературы, искусства и общественных деятелей. Изабелла Мейо переслала это обращение Ганди, предложив и ему подписаться под ним, но Ганди не согласился. По этому поводу Мейо писала 2 апреля 1913 г. заведующему английским издательством Черткова, А. Д. Зирнису: «Ганди отказался подписаться под обращением, ...считая, что это лучше сделать в форме частного личного письма к графине... Ганди так и сделал. Графиня собственноручно ему ответила... Она жалуется, что никто ее не понимает... На Ганди ее письмо не произвело благоприятного впечатления» (архив В. Г. Черткова).

В своих многочисленных работах, писанных после смерти Толстого, Ганди не раз ссылался на «русского титана», как на «высочайший моральный авторитет».

Первое письмо Ганди к Толстому относится к концу 1909 г., к периоду наивысшего напряжения борьбы Ганди за права своих единоплеменников в Южной Африке. Последнее письмо Толстого написано ровно за два месяца до смерти. Письма Ганди хранятся в архиве В. Г. Черткова.

1. ГАНДИ — ТОЛСТОМУ

Westminster Palace Hotel,
4, Victoria Street, S. W.
London, 1-st October 1909

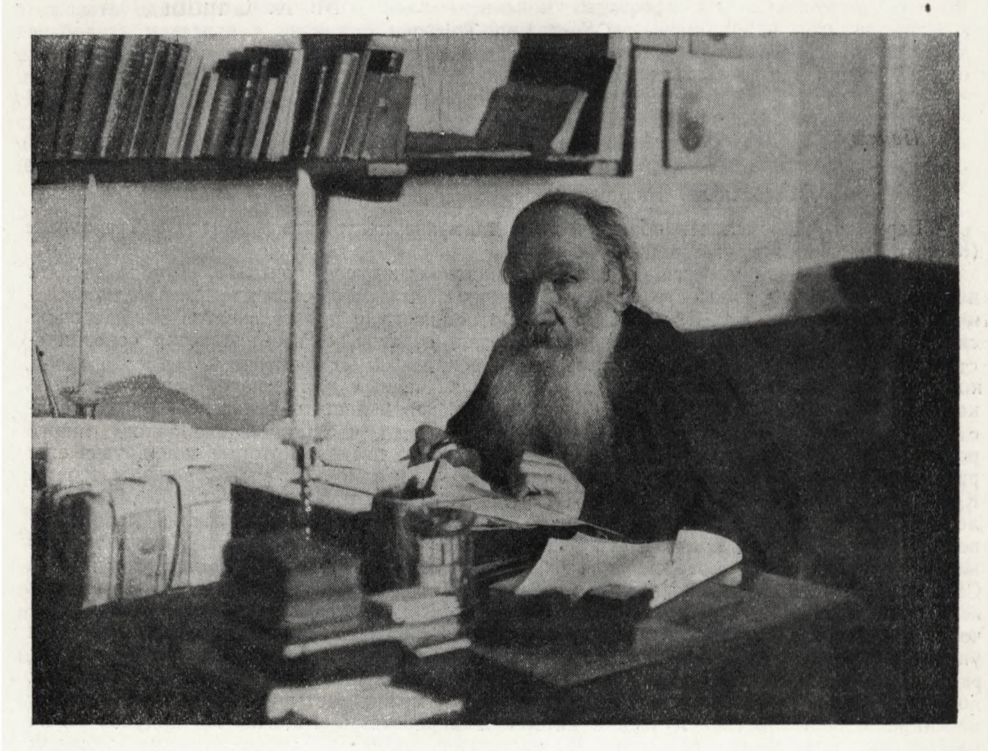
Şir,

I take the liberty of inviting your attention to what has been going on in the Transvaal, South Africa, now for nearly three years.

There is in that Colony a British Indian population of nearly 13,000. These Indians have for several years laboured under various legal disabilities. The prejudice against colour and in some respect against Asiatics, is intense in that country. It is largely due, so far as Asiatics are concerned, to trade jealousy. The climax was reached three years ago, when a law passed specially apllicable to Asiatics[1], which I and many others considered to be degrading and calculated to unman those to whom it was applicable. I felt that submission to a law of this nature, was inconsistent with the spirit of true religion. I and some of my friends were, and still are firm believers in the doctrine of nonresistance to evil. I had the privilege of studying your writings also, which left a deep impression on my mind. British Indians, before whom the position was fully explained, accepted the advice that we should not submit to the legislation, but that we should suffer imprisonment, or whatever other penalties the law may impose for its breach. The result has been that nearly one half of the Indian population, that was unable to stand the heat of the struggle to suffer the hardships of imprisonment, have withdrawn from the Transvaal rather than submit to a law which they have considered degrading. Of the other half, nearly 2,500 have for conscience'sake allowed themselves to be imprisoned — some as many as five time. The imprisonments have varied from four days to six months; in the majority of cases with hard labour. Many have been financially ruined. At present there are over 100 passive resisters in the Transvaal gaols. Some of these have been very poor men, earning their livelihood from day to day. The result has been that their wives and children have had to be supported out of public contributions, also largely raised from passive resisters. This has puff a severe strain upon British Indians, but in my opinion they have risen to the occasion. The struggle still continues and one does not know when the end will come. This, however, some of us at least have seen most clearly, viz — that passive resistance will and can succeed where brute force must fail. We also notice that in so far as the struggle har been prolonged, it has been due largely to our weakness, and hence to a belief having been engendered in the mind of the Government that we would not be able to stand continued suffering.

Together with a friend, I have come here to see the Imperial authorities, and to place before them the position, with a view to seeking redress. Passive resisters have recognised that they should have nothing to do with pleading with the Government, but the deputation has come at the instance of the weaker members of the community, and it therefore represents their weakness rather than their strength. But in the course of my observation here, I have felt that if a general competition for an essay on the Ethics and Efficacy of Passive Resistance were invited, it would popularise the movement and make people think. A friend has raised a question of morality in connection with the proposed competition. He thinks that such an invitation would be inconsistent with the true spirit of passive resistance, and that it would amount to buying opinion. May I ask you to favour me with your opinion on the subject of morality? And if you consider that there is nothing wrong in inviting contributions, I would ask you also to give me the names of those whom I should specially approach to write upon the subject?

There is one thing more, with reference to which I would trespass upon your time. A copy of your letter addressed to a Hindoo [2] on the present unrest in India, has been placed in my hands by a friend. On the face of it, it appears to represent your views. It is the intention of my friend at his own expense, to have 20,000 copies printed and distributed and to have it translated also. We have, however not been able to secure the original, and we do not feel justified in printing it, unless we are sure of the accuracy of the copy and of the fact that it is your letter. I venture to enclose herewith a copy of the copy, and should esteem it a favour if you would kindly let me know whether it is your letter, whether it is an accurate copy and whether you approve of its publica-



Л. Н. ТОЛСТОЙ
Фотография 1909 г.
Частное собрание, Москва

tion in the above manner. If you will add anything further to the letter, please do so. I would also venture to make a suggestion. In the concluding paragraph you seem to dissuade the reader from a belief in reincarnation. I do not know whether (if it is not impertinent on my part to mention this) you have specially studied the question. Re-incarnation or transmigration is a cherished belief with millions in India, indeed in China also. With many one might almost say it is a matter of experience and no longer a matter of academic acceptance. It explains reasonably the many mysteries of life. With some of the passive resisters who have gone through the gaols of the Transvaal, it has been their solace. My object in writing this is not to convince you of the truth of the doctrine, but to ask you if you will please remove the word «reincarnation» from the other things you have dissuaded your reader from in the letter in question. You have quoted largely from

Krishna and given reference to passages[3]. I should thank you to give me the title of the book from which the quotations have been made.

I have wearied you with this letter. I am aware that those who honour you and endeavour to follow you have no right to trespass upon your time, but that it is rather their duty to refrain from giving you trouble, so far as possible. I have, however, who am an utter stranger to you, taken the liberty of addressing this communication in the interests of truth, and in order to have your advice on problems, the solution of which you have made your life work.

With respects,

I remain your obedient servant,

M. K. Gandhi

Count Leo Tolstoy,
Yasnaya Polyana,
Russia.

Перевод:

Лондон, 1 октября 1909

Милостивый государь,

Беру на себя смелость обратить ваше внимание на то, что делается в Трансваале (Южная Африка) вот уже почти три года.

В этой колонии имеется население британских индусов, почти 13 000 человек. Эти индусы уже многие годы страдали от различных правовых ограничений. Предубеждение против цветных людей, а в некоторых отношениях и против азиатов вообще, очень сильно в этой стране. Поскольку это касается азиатов, оно объясняется соперничеством в торговле. Это предубеждение достигло своей высшей степени три года назад, когда был проведен закон, специально предназначенный для азиатов[1], рассчитанный, как думаю я и многие другие, на то, чтобы унизить и лишить человеческого достоинства тех, против которых он применялся. Я сознавал, что подчинение закону такого рода несовместимо с духом истинной религии. Как я, так и некоторые мои друзья еще раньше твердо верили в учение непротивления злу, и таковыми мы остались и теперь. Кроме того, мне выпало счастье изучать ваши писания, произведшие глубокое впечатление на мое мировоззрение. Британские индусы, которым мы объяснили положение вещей, согласились не подчиняться этому закону и предпочесть заключение в тюрьму или другие наказания, которые могут быть по закону наложены за его нарушение. Следствием этого получилось то, что почти половина всего индусского населения, не бывшая в силах выдержать напряжение борьбы и перенести страдания при заключении в тюрьму, предпочла выселиться из Трансвааля, нежели подчиниться унизительному, по ее мнению, закону. Из другой половины почти 2 500 человек, ради следования своей совести, предпочли тюремное заключение — некоторые из них до пяти раз. Тюремное заключение колебалось между четырьмя днями и шестью месяцами, в большинстве случаев с каторжными работами. Многие из индусов были материально совершенно разорены. В настоящее время в трансваальских тюрьмах находится около 100 таких пассивных противленцев. Некоторые из них были и раньше совершенно бедными людьми, зарабатывавшими на свое существование изо дня в день. Поэтому пришлось содержать их жен и детей на общественные пожертвования, собранные преимущественно среди таких же пассивных противленцев. Все это потребовало тяжелого напряжения со стороны британских индусов, но, по моему мнению, они оказались на высоте положения. Борьба еще продолжается, и неизвестно, когда закончится, но она показала, по крайней мере некоторым из нас, что пассивное сопротивление может и должно победить там, где грубое насилие бессильно. Мы также поняли, что борьба затягивалась в зависимости от нашей слабости, порождавшей в умах правительства убеждение, что мы не окажемся в силах выдержать длительные страдания.

Я приехал сюда вместе с одним другом, чтобы повидать некоторых лиц из имперского правительства и изложить им положение дела, с тем, чтобы просить отмены несправедливости. Сами пассивные противленцы заявили, что они не имеют ничего общего с обращением к правительству, но депутация послана по просьбе слабейших членов индусской общины, и потому она представляет, скорее, ее слабость, нежели силу. Но за время моего пребывания здесь мне стало казаться, что если бы устроить всеобщий конкурс на статью по вопросу о нравственности и действенности пассивного сопротивления, то это сделало бы наше движение более известным и заставило бы людей задуматься. Один мой друг поднял вопрос о нравственной допустимости устройства такого конкурса. Он думает, что такое обращение к людскому мнению не согласно с истинным духом пассивного противления и что оно даст нам

только купленное мнение. Могу ли я обратиться к вам с просьбой высказаться по этому вопросу с точки зрения нравственности. И если вы сочтете, что нет ничего дурного в желании получить мнения разных лиц, то не назовете ли вы мне имена тех, к которым мне следовало бы обратиться специально с просьбой написать по данному предмету.

Есть еще одно обстоятельство, заставляющее меня отнимать ваше время. Благодаря одному другу, у меня оказалась в руках копия вашего «Письма к индусу»[2] о теперешних волнениях в Индии. Повидимому, оно выражает ваши взгляды. Мой друг хочет на свой счет напечатать и распространить 20 000 экземпляров этого письма, а также перевести его. Но мы не смогли достать его оригинала, а потому не считаем себя вправе напечатать его, пока мы не уверены в точности копии письма и что оно действительно ваше. Я осмеливаюсь приложить при сем копию с этой копии и сочту за большое одолжение, если вы сообщите мне, действительно ли это ваше письмо, верна ли копия и одобряете ли вы его распространение таким способом. Если бы вы захотели что-нибудь прибавить к письму, то, пожалуйста, сделайте это. Я решаюсь высказать одно предложение. В заключительном параграфе вы, повидимому, хотите разубедить читателя в учении о перевоплощении. Я не знаю (если это не дерзко с моей стороны), изучали ли вы этот вопрос специально. Вера в перевоплощение, или переселение душ, очень дорога миллионам людей в Индии, а также и в Китае. Можно сказать, что для многих это уже вопрос личного переживания, а не только теоретической допустимости. Она разумно объясняет многие тайны жизни. Она служила утешением многим пассивным противленцам при их тюремных заключениях в Трансваале. Цель моего обращения к вам не в том, чтобы убедить вас в истинности этого учения, но чтобы просить вас, если можно, исключить слово «перевоплощение» из числа тех понятий, в которых вы хотите разубедить читателя вашего письма. Вы широко ссылались на Кришну и приводили выдержки[3]. Я был бы вам очень благодарен, если бы вы указали мне название книги, из которой вы брали эти выдержки.

Я утомил вас этим письмом. Я знаю, что те, кто чтит вас и пытается следовать вам, не имеют права отнимать ваше время и, поскольку могут, должны воздерживаться чем-либо затруднять вас. И все же я, абсолютно неизвестный вам человек, осмеливаюсь обратиться к вам с этим письмом, ради истины и с целью услышать ваш совет относительно тех вопросов, решение которых вы сделали задачей вашей жизни.

С почтением
ваш покорный слуга М. К. Ганди

По поводу этого письма Ганди Толстой записал в своем дневнике под 24 сентября 1909 г.: «Получил приятное письмо от индуса из Трансвааля». В. Г. Черткову в письме от 28 сентября он сообщал: «Письмо от трансваальского индуса тронуло меня».

[1] Так называемый «черный закон» от 22 августа 1906 г., ограничивавший право проживания и передвижения индусов в Южной Африке и фактически ставивший их в положение рабов.

[2] Статья Л. Н. Толстого «Письмо к индусу» (1908), написанная в ответ на обращение к нему индуса Taracuata Dass, редактора журнала «Free Hindustan».

[3] В «Письме к индусу» перед каждой главой Толстым были поставлены изречения Кришны в своем переводе, без указания источника. Взяты они были из книги: Baba Premanand Bharati, Shree Krishna. The Sord of Love, New York, 1904.

2. ТОЛСТОЙ — ГАНДИ

Ясная Поляна, 7 октября 1909

Сейчас получил ваше в высшей степени интересное и доставившее мне большую радость письмо. Помогай бог нашим дорогим братьям и сотрудникам в Трансваале. Та же борьба мягкого против жесткого, смиренья и любви против гордости и насилия с каждым днем все более и более проявляется и у нас, в особенности в одном из самых резких столкновений закона религиозного с законом мирским — в отказах от военной службы. Отказы становятся все чаще и чаще.

Письмо к индусу писано мною, перевод очень хорош. Заглавие книги о Кришне вам будет выслано из Москвы.

Слово reincarnation мне бы хотелось не выпустить, потому что, по моему мнению, вера в reincarnation никогда не может быть так тверда, как вера в неумираемость души и в справедливость и любовь бога. Впрочем, делайте как хотите.

Переводу на индусский язык моего письма и распространению его могу только радоваться.

Думаю, что competition, т. е. денежное поощрение, в деле религиозном неуместно. Если я могу служить чем вашему изданию, то буду очень рад.

Братски приветствую вас и радуюсь общению с вами.

Л. Толстой

Письмо это было написано Толстым по-русски. Английский перевод для отсылки Ганди был сделан его дочерью Татьяной Львовной Сухотиной и им подписан. Приводим английский текст:

(Iasnaia Foliana) 7 October 1909

I have just received your most interesting letter which has given me great pleasure. God helps our dear brothers and coworkers in the Transvaal. That some strugle of the tender against the harsh, of meekness and love against pride and violence, is every year making itself more and more felt here among us also, especially, in one of the very sharpest of the conflicts of the religious law with the wordly laws — in refusals of military service. Such refusals are becoming ever more and more frequent.

The letter of a Hindoo was written by me, and the translation is a very good one. The title of the book about Krishna shall be sent you from Moscow.

As to the word reincarnation, I should not myself like to omit it, for, in my opinion, belief in reincarnation can never be as firm as belief in the soul's immortality and in God's justice and love. You may, however, do as you like about omitting it. If I can assist your publication, I shall be very glad.

The translation into, and circulation of my letter in the Hindoo language, can only be a pleasure for me.

A competition i. e. an offer of a monetary inducement, in connection with a religious matter, would, I think, be out of place.

I greet you fraternally, and am glad to have intercourse whith you.

Leo Tolstoy

3. ГАНДИ — ТОЛСТОМУ

Johannesburg, 4-th April, 1910

Dear Sir,

You will recollect my having carried on correspondence with you whilst I was temporarily in London. As a humble follower of yours, I send you herewith a booklet which I have written[1]. It is my own translation of a Gujarati writing. Curiously enough the original writing has been confiscated by me government of India. I, therefore, hastened the publication. I am most anxious not to worry you, but, if your health permits it and it you can find the time to go through the booklet, needless to say I shall value very highly your criticism of the writing. I am sending also a few copies of your letter to a Hindoo, which you authorised me to publish. It has been translated in one of the Indian languages also.

I am your obedient servant M. K. Gandhi

Перевод:

Иоганнесбург, 4 апреля 1910

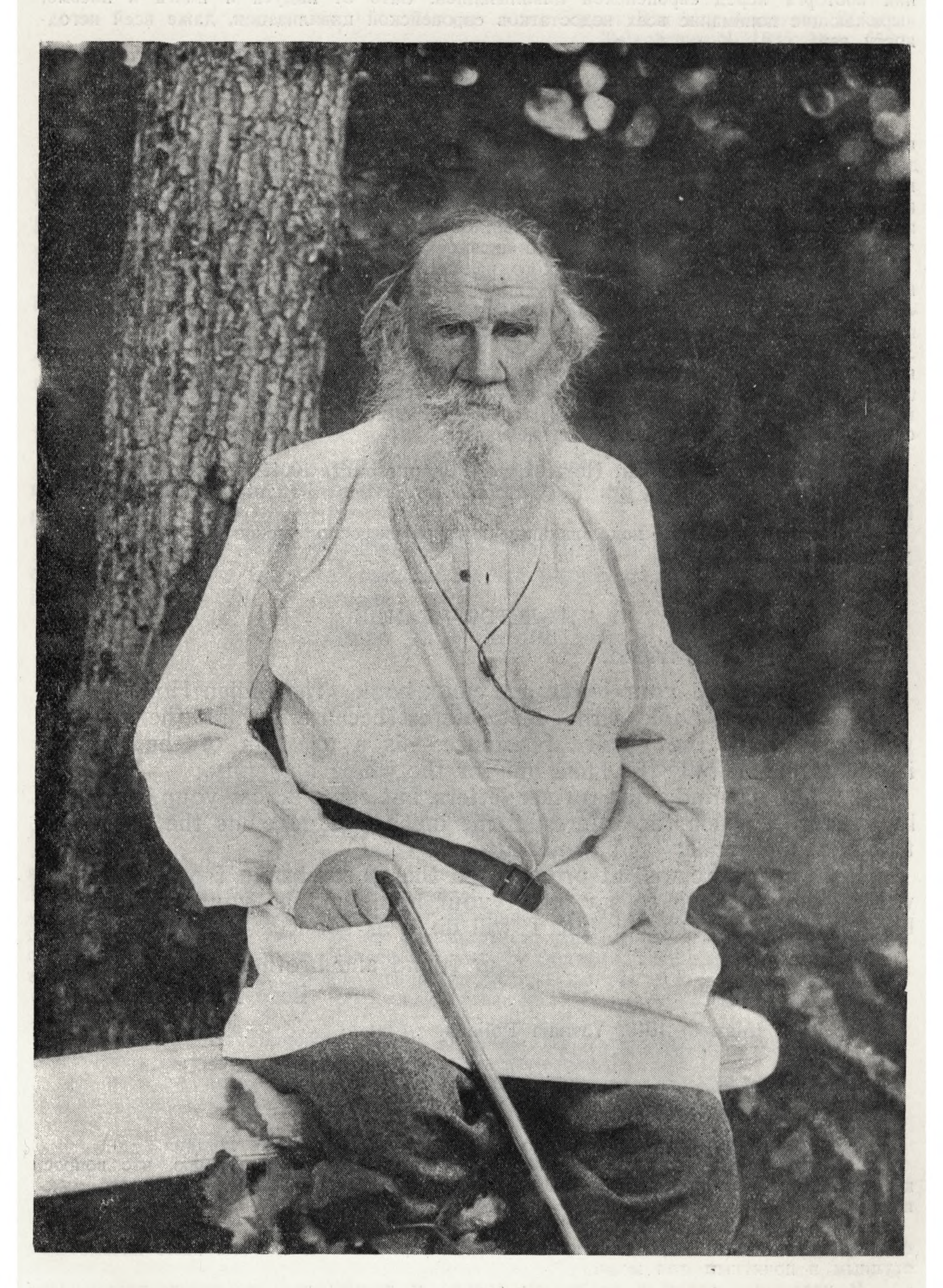
Милостивый государь,

Вы, вероятно, припомните мою переписку с вами, когда я временно был в Лондоне. Как ваш скромный последователь, посылаю вам при сем книжку, написанную мною[1]. Это мой собственный перевод с языка гуджарати. Любопытно, что правительство Индии конфисковало книгу на этом языке. Поэтому я поспешил с опубликованием перевода. Мне не хотелось бы беспокоить вас, но, если позволит ваше здоровье и если вы найдете время просмотреть книжечку, излишне говорить, что ваша критика этого сочинения будет для меня в высшей степени ценной. Посылаю вам также несколько копий с вашего письма к индусу, которое вы разрешили мне опубликовать. Оно тоже было переведено на одно из индусских наречий.

Остаюсь ваш покорный слуга М. К. Ганди

Это письмо Ганди произвело на Толстого еще большее впечатление, чем первое, присланное в октябре 1909 г.

В дневнике своем Толстой писал:



Л. Н. ТОЛСТОЙ
Фотография 1910 г.
Толстовский музей, Москва

19 апреля 1910 г.: «Нынче утром приехали два японца. Дикие люди в умилении восторга перед европейской цивилизацией. Зато от индуса и книга и письмо, выражающие понимание всех недостатков европейской цивилизации, даже всей негодности ее».

20 апреля: «Вечером читал Ганди о цивилизации. Очень хорошо».

21 апреля: «Читал книгу о Ганди[2]. Очень важная. Надо написать ему».

В. Г. Черткову Толстой сообщал в письме от 22 апреля:

«Сейчас и вчера вечером читал присланную мне с письмом книгу (одну раньше, другую после) одного индусского мыслителя и борца против английского владычества Gandhi, борющегося посредством Passive Resistance. Очень он близкий нам, мне человек. Он читал мои писания, перевел на индусский язык мое письмо индусу, его же книга Indian Home Rule по-индусски была запрещена британским правительством. Он просит моего мнения об его книге. Мне хочется подробно написать ему. Переведете вы мое такое письмо?».

В «Записках» Д. П. Маковицкого находим рассказ о впечатлении, произведенном на Толстого книгами и письмом Ганди: «Ганди,— сказал Толстой,— автор книжки «Indian Home Rule». Он начальник партии, борющейся против Англии. Он сидел в тюрьме. Прежде я получил книгу о нем. Эта книга в высшей степени интересна. Это глубокое осуждение с точки зрения религиозного индуса всей европейской цивилизации. Как он приезжал в Лондон, как он начал есть мясо[3], как он учился танцовать и подчинялся цивилизации. Началась война в Южной Африке. Его презрение к отношению белых к цветным людям. Кроме того, он проповедует, что самое действительное противодействие — это пассивное».

[1] Gandhi, The Indian Home Rule, Johannesburg, 1901.

[2] Dokes Joseph J., M. K. Gandhi. An Indian Patriot in South Africa, London, 1909.

[3] Религия джайнов, под влиянием которой выросло учение Ганди, запрещала употребление мяса.

4. ТОЛСТОЙ — ГАНДИ

Dear friend,

I just received your letter and your book «The Indian Home Rule».

I read your book with great interest because I think the question you treat in it: the passive resistance — is a question of the greatest importance, not only for India but for the whole humanity.

I could not find your former letters, but came across your biography by J. Doss[1], which too interested me much and gave me the possibility to know and understand your letter.

I am not quite well at present and therefore abstain from writing to you all what I have to say about your book and all your work, which I appreciate very much, but I will do it as soon, as I will feel better.

Your friend and brother

Leo Tolstoy

April 25 (May 8) 1910. Yasnaia Poliana.

Перевод:

Дорогой друг,

Только-что получил ваше письмо и книгу «Самоуправление Индии».

Я прочел вашу книгу с величайшим интересом, так как я думаю, что вопрос, который вы в ней обсуждаете — пассивное сопротивление,— вопрос величайшей важности не только для Индии, но и для всего человечества.

Я не мог найти ваших предыдущих писем, но мне подвернулась ваша биография, написанная Дж. Досс[1], которая меня заинтересовала и сделала ваше письмо доступным и понятным для меня.

В настоящее время я не совсем здоров и потому воздерживаюсь писать вам все, что я хотел бы сказать по поводу вашей книги и всей вашей работы, которую очень ценю, но непременно напишу, когда буду чувствовать себя лучше.

Ваш друг и брат Л. Толстой

25 апреля (8 мая) 1910 г. Ясная Поляна.

[1] Толстой ошибся в написании фамилии автора — не Doss, а Dokes.

5. ГАНДИ — ТОЛСТОМУ

21—24. Court Chambers,
Corner Rissik g Anderson Streets.
Telephone N. 1635. Box 6522.
Telegrams: «Gandhi». A. B. C. Code 5-th Edition Used.

Johannesburg, 15-th August, 1910

Dear Sir,

I am much obliged to you for your encouraging and cordial letter of the 8-th May last. I very much value your general approval of my booklet «Indian Home Rule». And, if you have the time, I shall look forward to your detailed criticism of the work which you have been so good as to promise in your letter.

Mr. Kallenbach has written to you about Tolstoy Farm. Mr. Kallenbach and I have been friends for many years. I may state that he has gone through most of the experiences that you have so graphically described in your work «My Confession». No writings have so deeply touched Mr. Kallenbach as yours, and, as a spur to further effort in living up to the ideals held before the world by you, he has taken the liberty, after consultation with me, of naming his farm after you.

Of his generous action in giving the use of the farm for passive resisters, the numbers of «Indian Opinion» I am sending herewith will give you full information.

I should not have burdened you with these details but for the fact of your tocing a personal interest in the passive resistance struggle that is going on in the Transvaal.

I remain your faithful servant
M. K. Gandhi

Count Leo Tolstoy
Yasnaya Polyana

Перевод:

Иоганнесбург, 15 августа 1910

Милостивый государь,

Очень благодарен вам за ваше ободряющее и сердечное письмо от 8 мая с. г. Я весьма ценю ваш общий отзыв о моей брошюре «Indian Home Rule» и буду ожидать, что, когда у вас найдется время, вы выскажетесь о моей работе более подробно, как вы были столь добры обещать мне это сделать в своем письме.

Калленбах пишет вам о «Толстовской ферме». С Калленбахом мы друзья уже многие годы. Могу сказать о нем, что он также прошел через большинство тех испытаний, которые вы так образно описываете в вашей книге «Исповедь». Никакие писания не производили на Калленбаха такого сильного впечатления, как ваши, и, в виде стимула для дальнейшего усилия к достижению тех идеалов, которые вы возвещаете миру, он позволил себе, посоветовавшись со мною, назвать свою ферму в честь вас.

Из прилагаемых номеров «Indian Opinion» вы более подробно узнаете о его благородном поступке передачи фермы непротивленцам.

Я не стал бы вас утруждать всеми этими деталями, если бы вы не проявили личного интереса к движению пассивного сопротивления в Трансваале.

Ваш покорный слуга М. К. Ганди

Графу Льву Толстому
Ясная Поляна

Одновременно с этим письмом Толстой получил письмо от Германа Калленбаха, друга и последователя Ганди, богатого архитектора, основавшего «Толстовскую колонию» в Трансваале, убежище для гонимых английскими властями южноафриканских индусов. Приводим письмо Калленбаха:

Tolstoy Farm, Lawley Station
Transvaal. August 14-th 1910.

Dear Sir,

Without asking your permission, I have named my Farm «Tolstoy Farm». I have read many of your works, and your teaching have impressed me deeply.

Mr. M. K. Gandhi, the leader of the Indian community in South Africa, I am

privileged to call my friend, is living with me. The Farm—in size about 1100 Acres—I have placed at his disposal for the use of Passive Resisters and their families.

Having made use of your name, I thought I owe you this explanation, and may I add, in justification of having used this name, that, it will be my endeavour to live up to the ideas which you have so fearlessly given to the world.

Permit me to sign yours sincerely

H. Kallenbach

Перевод:

Трансвааль, 14 августа 1910

Милостивый государь,

Не испросив вашего разрешения, я назвал свою ферму «Толстовская ферма». Я читал многие ваши сочинения, и ваше учение произвело на меня глубокое впечатление.

М. К. Ганди, глава индусской колонии в Южной Африке, которого я имею честь считать своим другом, живет со мною. Свою ферму, в которой около 1 100 акров, я предоставил ему для нужд непротивленцев с их семьями.

Воспользовавшись вашим именем, считал обязанным вам об этом сообщить и могу прибавить в свое оправдание, что буду прилагать все свои усилия к тому, чтобы жить согласно тем идеям, которые вы столь бесстрашно вносите в мир.

Остаюсь искренно уважающий вас

Г. Калленбах

Эти письма Ганди и Калленбаха, а также присланные ими индусские журналы еще более увеличили интерес Толстого к Ганди. В своем дневнике Толстой записал 6 сентября 1910 г.: «Приятное известие из Трансвааля о колонии непротивленцев». Толстой находился в то время в тяжелом душевном состоянии из-за обострившихся отношений с женою и плохо чувствовал себя физически; тем не менее, он ответил Ганди немедленно, в день получения его письма. Д. П. Маковицкий записал 6 сентября: «С 5 до 6 вечера Лев Николаевич диктовал мне письмо к Ганди, руководителю пассивно сопротивляющихся индусов в Иоганнесбурге, в Трансваале».

На следующий день, 7 сентября, Толстой, дополнив и исправив свое письмо, отправил его для перевода В. Г. Черткову. 14 сентября 1910 г. Чертков писал Толстому:

«Прилагаю при сем:

1) Перевод вашего большого письма к Gandhi в Трансваале. Подпишите его и в е р н и т е м н е, так как мне необходимо еще отдать его переписать. А потом я уже сам отправлю его по назначению.

2) Письма мои, написанные за вас к этому самому Gandhi и его другу Kallenbach'у, предоставившему им свою ферму. Эти письма я получил от вас через Душана[1] с вашей отметкой на каждом из них: «оч. интересно», но без указания, что с ними делать. Я заключил, что вы желаете, чтобы я ответил. Если одобрите мои ответы, то также верните их мне.

Из письма моего к Gandhi вы увидите, что я хочу напечатать ваше письмо к нему в Англии (в «Open Road» Даниеля[2], если вы ничего не имеете против) и что свожу Gandhi с Mrs Mayo, нашей единомышленницей и другом в Англии, которая жаждет принимать участие в нашем общем деле».

17 сентября Толстой отвечал Черткову:

«1) Перевод письма Gandhy прочел. Нехорош не перевод, но слог письма. Но что же делать, если лучше не умел. Перевод сколько я могу судить, передает ясно мысль...

2) То, что вы написали Gandhy и Kallenbach'у такие хорошие письма, очень хорошо, а также и то, что вы отдаете письмо Даниелю и сводите Gandhy с Mrs Mayo».

Письма В. Г. Черткова к Ганди и Калленбаху были следующие:

M. K. Gandhi.

Dear Sir,

My friend Leo Tolstoy has requested me to acknowledge the receipt of your letter to him of Aug. 15 and to translate into English his letter to you of Sept. 7 (new style 20 Sept) written originaly in Russian.

All you communicate about Mr. Kallenbach has greatly interested Tolstoy, who has also asked me to answer for him Mr. Kallenbach's letter.

Tolstoy sends you and your coworkers his hearties greetings and warmest wishes for the success of your work, his appreciation of which you will gather from the enclosed translation of his letter to you. I must apologise for my mistakes in English in the translation, but living in the country in Russia I am unable to profit by the assistance of any Englishman for correcting my mistakes.

With Tolstoy's permission his letter to you will be published in a small periodical printed by some friends of ours in London. A copy of the magazine with the letter shall be forwarded to you, as also some English publications of Tolstoy's writings issued by «The Free Age Press»[3].

As it seems to me most desirable that more should be known in England about your movement I am writing to a great friend of mine and of Tolstoy — Mrs Fyvie Mayo of Glasgow proposing that she should enter into communication with you. She possesses considerable literary talent and is well-known in England as an author. It should be worth your while furnishing her with all your publictations which might serve her as material for an article upon your movement which, if published in England, would attract attention to your work and position. Mrs. Mayo will probably write to you herself.

With sincerest good wishes from myself

yours sincerely
V. Tchertkoff

Kindly transmit to Mr. Kallenbach the enclosed letter.

Перевод:

11 сентября 1910 г.

Милостивый государь,

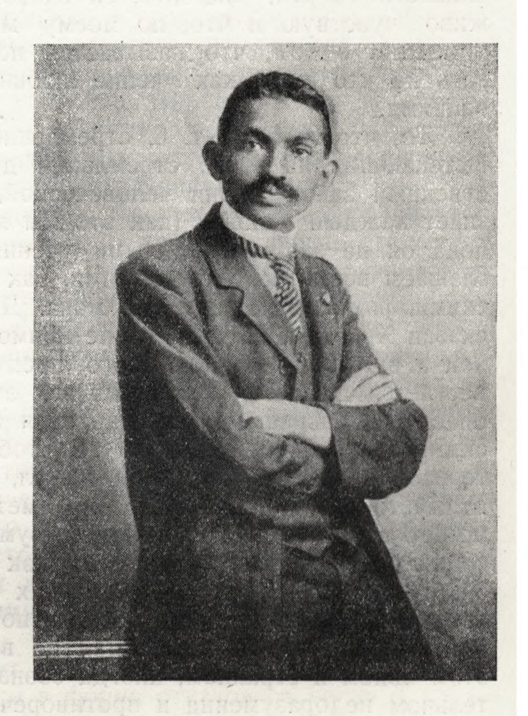
Мой друг Лев Толстой просил меня подтвердить получение вашего письма от 15 августа и перевести на английский язык его письмо к вам от 7 сентября (20 сентября н. ст.).

Толстого чрезвычайно заинтересовало все, что вы сообщаете о Калленбахе, которому он также поручил мне ответить.

Толстой шлет вам и вашим сотоварищам сердечный привет и горячее пожелание успеха в вашем деле, оценку которого вы найдете в прилагаемом при сем переводе его письма к вам. Прошу вас извинить меня за ошибки в моем переводе, но, живя в России в деревне, я не имею возможности воспользоваться помощью англичанина в исправлении их.

С разрешения Толстого, его письмо к вам будет опубликовано в журнальчике, издаваемом нашими друзьями в Лондоне. Номер этого журнала с напечатанным в нем письмом к вам будет вам послан, а также будут посланы вам и некоторые писания Толстого, изданные фирмой «The Free Age Press» [3].

Так как мне кажется, что чрезвычайно желательно, чтобы о вашем движении стало возможно более известно в Англии, то я пишу одному моему большому другу, а также другу Толстого — Mrs Mayo в Глазго, предлагая ей вступить с вами в переписку. Она обладает большими литературными способностями и известна в Англии, как писательница. Вам следовало бы снабдить ее всеми вашими изданиями, которые послужили бы материалом для ее статьи о вашем движении, напечатание которой в Англии привлекло бы внимание к вашей работе и делу. Госпожа Мейо, вероятно, напишет вам сама.



М. К. ГАНДИ
С фотографии 1900-х гг.

С искренним пожеланием вам всего наилучшего от меня лично уважающий вас
В. Чертков

Будьте добры передать господину Калленбаху прилагаемое письмо.

H. Kallenbach:

14 September [19]10

Dear Sir,

Leo Tolstoy has requested me to answer your letter to him of Aug. 14. He is most interested in the movement represented by Mr. Gandhi you have associated yourself with in so generous a way. Tolstoy was touched by your kind words relating to him, and wishes to reciprocate most cordially the sympathy you express. He sends you his warmest good wishes for the further success of your efforts.

Yours sincerely
V. Tchertkoff

Перевод:

14 сентября 1910 г.

Милостивый государь,

Лев Толстой просил меня ответить на ваше письмо к нему от 14 августа. Его очень интересует возглавляемое Ганди движение, к которому вы присоединились в столь благородной форме. Толстой был тронут вашими добрыми словами к нему и в свою очередь выражает вам чувство симпатии. Он шлет вам горячее пожелание успеха в ваших начинаниях.

Искренно уважающий вас В. Чертков

[1] Д-р Д. П. Маковицкий.

[2] Даниель, английский последователь Толстого, литератор, издатель и редактор ряда толстовских журналов.

[3] Английская фирма В. Г. Черткова, выпускавшая в дешевых изданиях сочинения Толстого.

6. ТОЛСТОЙ — ГАНДИ

7 сент[ября] 1910 г., Кочеты

Получил ваш журнал Indian Opinion и был рад узнать все то, что там пишется о непротивляющихся. И захотелось сказать вам те мысли, которые вызвало во мне это чтение.

Чем дольше я живу, и в особенности теперь, когда живо чувствую близость смерти, мне хочется сказать другим то, что я так особенно живо чувствую и что, по моему мнению, имеет огромную важность, а именно о том, что называется непротивлением, но что в сущности есть не что иное, как учение любви, не извращенное ложными толкованиями.

То, что любовь, т. е. стремление к единению душ человеческих и вытекающая из этого стремления деятельность, есть высший и единственный закон жизни человеческой, это в глубине души чувствует и знает каждый человек (как это мы яснее всего видим на детях), знает, пока он не запутан ложными учениями мира. Закон этот был провозглашаем всеми, как индийскими, так и китайскими и еврейскими, греческими, римскими мудрецами мира. Думаю, что он яснее всего был высказан Христом, который даже прямо сказал, что в этом одном весь закон и пророки. Но мало этого, предвидя то извращение, которому подвергается и может подвергнуться этот закон, он прямо указал на ту опасность извращения его, которая свойственна людям, живущим мирскими интересами, а именно ту, чтобы разрешать себе защиту этих интересов силою, т. е., как он сказал, ударами отвечать на удары, силою отнимать назад присвоенные предметы и т. п. и т. п. Он знал, как не может не знать этого каждый разумный человек, что употребление насилия несовместимо с любовью, как основным законом жизни, что как скоро допускается насилие, в каких бы то ни было случаях, признается недостаточность закона любви, и потому отрицается самый закон. Вся христианская, столь блестящая по внешности, цивилизация выросла на этом явном и странном, иногда сознательном, большей частью бессознательном недоразумении и противоречии.

В сущности, как скоро было допущено противление при любви, так уже не было и не могло быть любви, как закона жизни, а не было закона любви, то не было никакого закона, кроме насилия, т. е. власти сильнейшего. Так 19 веков жило христианское человечество. Правда, во все времена люди руководствовались одним насилием в устройстве своей жизни. Разница жизни христианских народов от всех других только в том, что в христианском мире закон любви был выражен так ясно и определенно, как он не был выражен ни в каком другом религиозном учении, и что люди христианского мира торжественно приняли этот закон и вместе с тем разрешили себе насилие и на насилии построили свою жизнь. И потому вся жизнь христианских народов есть сплошное противоречие между тем, что они исповедуют, и тем, на чем строят свою жизнь: противоречие между любовью, признанной законом жизни, и насилием, признаваемым даже необходимостью в разных видах, как власть правителей, суды и войска, признаваемым и восхваляемым. Противоречие это все росло вместе с развитием людей христианского мира и в последнее время дошло до последней степени. Вопрос теперь стоит, очевидно, так: одно из двух: или признать то, что мы не признаем никакого религиозно-нравственного учения и руководимся в устройстве нашей жизни одной властью сильного, или то, что все наши, насилием собираемые, подати, судебные и полицейские учреждения и, главное, войска должны быть уничтожены.

Нынче весной на экзамене закона божия одного из женских институтов Москвы законоучитель, а потом и присутствовавший архиерей спрашивали девиц о заповедях и особенно о шестой[1]. На правильный ответ о заповеди архиерей обыкновенно задавал еще вопрос: всегда ли во всех случаях запрещается законом божиим убийство, и несчастные, развращаемые своими наставниками девицы должны были отвечать и отвечали, что не всегда, что убийство разрешено на войне и при казнях преступников[2]. Однако, когда одной из несчастных девиц этих (то, что я рассказываю, не выдумка, а факт, переданный мне очевидцем) на ее ответ был задан тот же обычный вопрос: всегда ли греховно убийство? она, волнуясь и краснея, решительно ответила, что всегда, а на все обычные софизмы архиерея отвечала решительным убеждением, что убийство запрещено всегда и что убийство запрещено и в ветхом завете и запрещено Христом, не только убийство, но и всякое зло против брата. И, несмотря на все свое величие и искусство красноречия, архиерей замолчал, и девушка ушла победительницей.

Да, мы можем толковать в наших газетах об успехах авиации, о сложных дипломатических сношениях, о разных клубах, открытиях, союзах всякого рода, так называемых художественных произведениях и замалчивать то, что сказала эта девица; но замалчивать этого нельзя, потому что это чувствует более или менее смутно, но чувствует всякий человек христианского мира. Социализм, коммунизм, анархизм, Армия спасения[3], увеличивающаяся преступность, безработность населения, увеличивающаяся безумная роскошь богатых и нищета бедных, страшно увеличивающееся число самоубийств, все это признаки того внутреннего противоречия, которое должно и не может не быть разрешено. И разумеется, разрешено в смысле признания закона любви и отрицания всякого насилия. И потому ваша деятельность в Трансваале, как нам кажется на конце света, есть дело самое центральное, самое важное из всех дел, какие делаются теперь в мире, и участие в котором неизбежно примут не только народы христианского, но всего мира.

Думаю, что вам приятно будет узнать, что у нас в России тоже деятельность эта быстро развивается в форме отказов от военной служ-

бы, которых становится с каждым годом все больше и больше. Как ни ничтожно количество и ваших людей, непротивляющихся, и у нас в России число отказывающихся, и те и другие могут смело сказать, что с ними бог. А бог могущественнее людей.

В признании христианства, хотя бы и в той извращенной форме, в которой оно исповедуется среди христианских народов, и в признании вместе с этим необходимости войск и вооружения для убийства в самых огромных размерах на войнах заключается такое явное, вопиющее противоречие, что оно неизбежно должно рано или поздно, вероятно, очень рано, обнаружиться и уничтожить или признание христианской религии, которая необходима для поддержания власти, или существование войска и всякого поддерживаемого им насилия, которое для власти не менее необходимо. Противоречие это чувствуется всеми правительствами, как вашим британским, так нашим русским, и из естественного чувства самосохранения преследуется этими правительствами более энергично, как это мы видим в России и как это видно из статей вашего журнала, чем всякая другая антиправительственная деятельность. Правительства знают, в чем их главная опасность, и зорко стерегут в этом вопросе уже не только свои интересы, но вопрос быть или не быть.

С совершенным уважением Лев Толстой

Сделав перевод этого письма на английский язык, В. Г. Чертков переслал его на утверждение Толстому. Затем Чертков препроводил письмо, вместе с русским подлинником, в Англию А. Д. Зирнису, для пересылки Ганди. А. Д. Зирнис, будучи в то время болен, сделал это лишь 1 ноября. Таким образом, Ганди получил письмо в Трансваале всего за несколько дней до смерти Толстого. Ответить ему он уже не успел. Повидимому, не вполне удовлетворившись переводом, Ганди поручил его сделать заново Полине Падлащук и напечатал в ближайшем номере своего журнала «Indian Opinion» — 26 ноября 1910 г. Через несколько лет, в 1914 г., Ганди вновь воспроизвел письмо Толстого в этом журнале, в так называемом «золотом номере», выпущенном в ознаменование победы южноафриканских индусов в борьбе за свои гражданские права. Там же был помещен портрет Толстого, под которым значится, что великий русский писатель являлся одним из главных вдохновителей этой борьбы, длившейся с 1906 по 1914 г.

[1] Шестой пункт закона Моисея — «Не убий».

[2] Так толковалась шестая заповедь Моисея в «Катехизисе православной церкви», проходившемся, как обязательный предмет, во всех учебных заведениях царской России.

[3] «Армия спасения» — крупная английская религиозно-филантропическая организация, построенная по военному образцу — с «генералами», «полковниками» и пр. Для вербовки последователей практиковала уличные демонстрации, сопровождавшиеся барабанным боем и музыкой.

ИЗ ПЕРЕПИСКИ ТОЛСТОГО В ПОСЛЕДНИЙ ГОД ЕГО ЖИЗНИ

Публикация Н. Родионова

Эпистолярное наследие Толстого обширно и разнообразно. Толстой получал за последние годы своей жизни ежедневно около тридцати писем. В течение десяти месяцев 1910 года Толстой получил всего 3 636 писем. На 806 из них он ответил лично, и на 521 письмо ответили по его поручению, в большинстве случаев по набросанным им конспектам, его ближайшие помощники.

Письма корреспондентов Толстого, разбросанных по всему земному шару, касались разнообразных сторон общественной и политической жизни. К Толстому обращались также неизвестные люди за разрешением самых сложных и запутанных семейных и личных вопросов, с запросами о том, как надо жить. Имеется много писем от крестьян, молодежи. В этой же книге «Литературного Наследства» печатается специальная подборка писем неизвестных и анонимных корреспондентов Толстого (см. стр. 367).

Публикуемые ниже письма относятся к последнему году жизни Толстого. Они показывают, что великий писатель до конца дней не переставал откликаться на волнующие жизненные вопросы, которые ставили перед ним его многочисленные корреспонденты.

Резко, но внимательно он разъясняет «разочаровавшейся» в жизни гимназистке необходимость упорной «работы над собой»; в письмах к крестьянину Романике, к объездчику Лузинову он решительно осуждает право помещичьей собственности на землю, смело заявляя: «Владение землей есть грабеж».

Толстой настойчиво хлопочет о напечатании письма, присланного ему безвестной крестьянской девушкой; он находит в ее простом и правдивом рассказе о своей жизни отражение «испытываемой миллионами людей несправедливости своего положения».

Наконец, в письме к ссыльному революционеру Мунтьянову Толстой с негодованием пишет о «звериных мерах ссылки, тюрем, казней, которые употребляют властвующие теперь».

Переписка с Мунтьяновым представляет особый интерес. Здесь столкнулись две противоположные точки зрения, при чем обнаружилась слабость Толстого, пытавшегося склонить своего оппонента к «мирным» методам борьбы, к признанию самосовершенствования единственным путем переустройства жизни. Толстой оценил Мунтьянова, как человека, «способного слить свою личную жизнь с жизнью народных масс», но Толстой не понял исторической правоты революционера, который писал ему о необходимости беспощадной борьбы с врагами рабочего класса. В письмах Мунтьянова к Толстому звучит уверенность в торжестве дела революции, которое победит отнюдь не с помощью «толстовских» методов.

Публикуемые ниже письма хранятся в рукописном отделении Толстовского музея в Москве.

Редакция

ПЕРЕПИСКА ТОЛСТОГО с С. И. МУНТЬЯНОВЫМ

Как видно из записей мемуаристов, получение Толстым письма ссыльного революционера С. И. Мунтьянова сильно его взволновало. В своих неопубликованных «Яснополянских записках» Д. П. Маковицкий пишет (в записи от 24 января 1910 г.):

«После обеда, Л. Н. читал полученные письма, между прочим, одного революционера Мунтьянова, получившего от Льва Николаевича «Неизбежный переворот». Письмо Мунтьянова страшное: «кровь, кровь». Рабочим нужно истребить своих врагов и не щадить ни их, ни их детей. Лев Николаевич был глубоко потрясен этим письмом и ответил ему».

26 января Толстой прочитал письмо Мунтьянова вслух своим семейным.

Письма Толстого к Мунтьянову публикуются по машинописным дублетам подлинников; письма Мунтьянова — по подлинникам.

Приводим письмо Мунтьянова от 5 января 1910 г. и ответ на него Толстого:

Благодарю, Лев Николаевич, за вашу брошюру «Неизбежный переворот», но только я у вас не это просил, но это неважно. С вашей брошюрой, т. е. с вашим мнением, я не согласен. Вы пишете, что только одной любовью можно добиться хорошей жизни. Нет, Лев Николаевич, о любви можно говорить тогда, когда имеешь хорошее воспитание и чувствуешь себя сытым, но когда не имеешь воспитания и сидишь весь свой век впроголодь, и на тебя кровопийцы, властелины смотрят, как на раба, то тут не до любви.

Вы говорите: «Правда, есть еще такие люди, которые хотят уверить себя и рабочих, что вот-вот еще одно убедительное разъяснение существующей несправедливости, еще одно небольшое усилие борьбы с врагом,— и установится наконец тот новый порядок, при котором не будет уже зла, а все люди будут благоденствовать».

Нет, Лев Николаевич, я перед самою вашею смертью заявляю вам, что вы, очевидно, плохо знакомы с рабочим классом. Рабочие прекрасно знают, что не одно еще маленькое усилие борьбы с врагом придется сделать, чтобы настала благодать, а придется не раз быть побежденными и победителями и бороться с ними не любовью, а так, чтобы весь мир был потоплен в крови. Словом, бей их до тех пор, пока из них не останется ни одного подлеца, даже и маленьких детишек не жалеть: по крайней мере, после они нам вреда никакого не принесут. Рабочие им за все отплатят: и за образование и за то, что мы голодаем! Жаль, что вы, может быть, до того времени не доживете! Ну, желаю вам счастливой смерти.

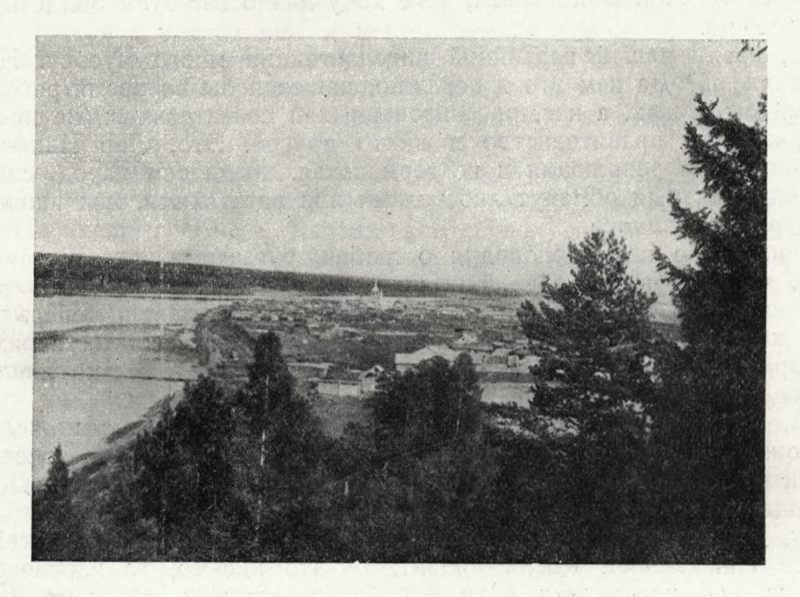
Первое письмо Толстого в ответ на письмо Мунтьянова:

Я стою одной ногой в гробу и всякий час не на словах, а на деле жду смерти, и потому вы можете верить тому, что я говорю то, что говорю, не для того, чтобы защищать себя или своих, а потому, что не могу не верить тому, что говорю. А не могу не верить потому, что пришел к своим убеждениям и упорным мышлением об одном и том же предмете и многолетним опытом.

Чувства, выраженные в вашем письме, вызвали во мне жалость к вашему ужасному душевному состоянию. По письмам вашим я вижу в вас человека с горячим сердцем, способного слить свою личную жизнь с жизнью народных масс и, главное, самое драгоценное человеческое свойство, способного к самоотвержению, и потому-то мне вас истинно жалко, не в смысле снисходительной презрительной жалости, а в смысле сожаления к тяжелому душевному состоянию человека, которого любишь и уважаешь. И вот во имя этих чувств очень прошу вас прочесть с тем же уважением, с которым я читал ваше письмо, те книги, которые посылаю вам.

Разумеется, лучше бы было прямо и коротко отвечать на ваши

доводы, и это я бы сделал, если бы мы виделись. Теперь же очень прошу вас на время отложить свои привычные убеждения, беспристрастно вникнуть в сущность дела. Сущность же дела вкратце в том, что для того, чтобы не было тех бессмысленных и возмутительных насилий, как экономических, так и правительственных, одних людей над другими, надо, чтобы все люди считали бы общее благо или хотя благо большинства важнее своего личного блага. Разве не ясно, что достигнуто это состояние никак не может быть ни теми звериными мерами ссылки, тюрем, казней, которые употребляют властвующие теперь (уверя себя и других, что они делают это для общего блага), ни теми мерами поголовного убийства, включая и детей, которые вы предлагаете и обещаете. Разве не ясно, что все такие или хоть приблизительно такие



СЕЛО НИЖНЕ-ИЛИМСКОЕ

Фотография, присланная Толстому Мунтьяновым

Толстовский музей, Москва

меры могут только отдалить желаемое состояние, а никак не приблизить его, и что достигается желаемое совершенство противоположными деяниями.

24-го января [19]10 г.
Ясная Поляна.

Получив письмо Толстого, Мунтьянов ответил ему следующим письмом:

С. Нижне-Илимское, 23 февраля 1910 г.

Благодарю, Лев Николаевич, за присланную вами посылку. Я эти книги с большим удовольствием прочту и передам их крестьянам.

Трудно, Лев Николаевич, переделать меня; этот «социализм» — моя вера и бог. Конечно, вы проповедываете почти то же самое, но только у вас тактика «любовь», а у нас «насилие», как вы выражаетесь. Я бы лично, да и многие другие, например, с.-д. все положительно, желали бы, чтобы наша революция обошлась бы без крови, но ведь это невозможно и никогда наше правительство на уступки не пойдет, это вам, конечно, известно; хотя бы осталась у него только одна тысяча солдат, и то оно будет драться до последнего.

Вы говорите, чтобы солдаты не шли на службу, но ведь его насильно потянут; возможно, что он не будет присягать и винтовку в руки не возьмет, но все равно его заставят, а не захочет, они его изобьют и в тюрьму посадят, а то загонят туда, «где Макар телят не пас».

А собственное «я» разве не страдает и не возмущается? А вы, Лев Николаевич, разве не протестовали бы, если бы вас какой-нибудь холуй оскорбил бы?

Я, конечно, соглашаюсь с вами, что если б солдаты не шли на службу, то мы добились бы своего, но, Лев Николаевич, это хорошо ждать тем, которые сидят в тепле, сыты, обуты и могут получать хорошее воспитание, а нам, бедным голодающим,— тяни лямку да посматривай на этих сытых и воспитанных и жди у моря погоды.

Простите, Лев Николаевич, я не хочу лично вас этим обидеть, я говорю вообще.

Да, среди нашей партийной интеллигенции много мусору. Ну что же поделаешь? Да нам это и неважно, нашелся бы во время революции хороший бы вожак, а нас, организованных и сознательных, не проведут ни буржуа, ни правительство и никто другой. Это, Лев Николаевич, не французская революция и не германская, когда там народ, свергнув правительство, был обманут либералами или вот такими, как наши к.-д., благодаря их темноте.

И напрасно вы, проповедуя о любви, ругаете наших наставников, говоря, что они ведут нас, сами не зная, куда. Разве мы, рабочие, не знаем, кто нам враг, а кто нет? Нет, Лев Николаевич, теперь не то время, когда народ ни черта не знал и работал только на своих бар! Я говорю — народ; конечно, я всех не беру, а беру только лишь тех, которые поняли, в чем дело.

Да, Лев Николаевич, не дождетесь вы этой бойни, а может быть еще доживете! Может быть, «солнышко свободы» и на вас успеет еще посветить, только, конечно, не полное солнышко — осьмая его. До полного еще далеко.

Ну, до свиданья, Лев Николаевич, а может быть и прощайте!

Лев Николаевич! Когда прочитаете это письмо, то изорвите его. Я еще живу — где и жил, ноги мои болят — опухли, хожу медленно и голодаю.

Посылаю вам вид с. Нижне-Илимского.

Шлю вам привет из Далекой Сибири! С. Н.-Илимское, на левой стороне д. Погодаево, между селом и деревней протекает река Илим. Кругом — тайга.

Прочитав это письмо, Толстой сначала поручил ответить на него Булгакову, что тот и сделал 21 марта 1910 г. Ответ его опубликован в брошюре «Жизнепонимание Л. Н. Толстого в письмах его секретаря В. Ф. Булгакова», изд. Сытина, М., 1911, стр. 38—40. Не удовлетворившись ответом Булгакова, Толстой решил сам написать Мунтьянову.

Приводим это второе письмо Толстого, от 20 марта 1910 г.:

Вы не поймете моих мыслей до тех пор, пока не поймете, что ни вы, ни я, ни правительство, ни революционеры, никто на свете не призван к тому, чтобы устраивать по-своему жизнь человеческую и отплачивать тем, кто, по их мнению, дурно поступил. То, что мы не призваны к этому, видно из того, что мы совершенно не властны в этом — хотим сделать одно, а выходит совсем другое. Одно, к чему мы призваны и что одно в нашей власти,— это то, чтобы прожить свою жизнь хорошо. А прожить свою жизнь хорошо значит прожить ее в любви со всеми людьми, не делая никому зла, и не только не отплачивать другим за их грехи, а прощать всем и все, кроме себя. А что хорошая жизнь

состоит именно в этом, это не моя выдумка, а это мысли и учения всех величайших мудрецов мира, начиная с индийских браминов, Будды, Конфуция, Лао-Тсе, Магомета и др[угих] величайших мыслителей последнего времени, не Марксов, Дарвинов, Гекелей и им подобных, а Паскалей, Кантов, Шопенгауэров, Эмерсонов и других, которые все говорят одно и то же, а именно, что жизнь человеческая будет хороша для каждого человека только тогда, когда человек все силы свои будет направлять не на то, чтобы устраивать жизнь других или мстить тем, которых он ненавидит, а на то, чтобы увеличивать в себе любовь и в самом себе исправить свои недостатки, грехи, пороки,— а их у всех нас достаточно.

Что к такой деятельности, а не к такой, как насильственная, правительственная или революционная, призваны все люди, видно уже из того, что первая всегда вне, а вторая всегда вполне в нашей власти, а кроме того, видно это еще из того, что если бы люди понимали и избирали эту последнюю деятельность вместо первой, то скорее и вернее была бы достигнута та цель, к которой тщетно стремятся насильники.

Жизнь наша дурная. Отчего? Оттого, что люди дурно живут. А дурно живут люди оттого, что люди плохи. Как же помочь этому делу? Переделать всех плохих в хороших людей так, чтобы они жили хорошо, мы никак не можем, не можем потому, что все люди не в нашей власти. Но нет ли среди всех людей таких, которые бы были в нашей власти и которых бы мы могли переделывать из плохих в хороших? Поищем. Если хоть одного такого мы переделаем из дурного в хорошего, то все-таки на одного меньше будет плохих людей. А если каждый человек переделает так хоть по одному человеку, то уже и вовсе хорошо будет. Поищем же, нет ли такого хоть одного человека, над которым мы бы были властны и могли бы переделать из дурного в хорошего? Глядь, один есть. Правда, очень плохой, но зато он уже весь в моей власти; могу делать с ним, что хочу. Плохой этот человек — я сам. И как ни плох он, он весь в моей власти! Давай же возьмусь за него, авось, и сделаю из него путного человека. А сделает каждый то же самое над тем одним, над кем он властен, и станут все люди хорошими. А станут хорошими, перестанут жить дурно. А перестанут жить дурно, и жизнь станет хорошая.

Так вот что не худо бы помнить всякому.

Не получив еще этого письма Толстого, а только прочитав посланные Толстым книги, Мунтьянов написал новое письмо, судя по почтовому штемпелю, отправленное из Нижне-Илимского 9 марта. Приводим его полностью:

Здравствуйте, Лев Николаевич!

С большим удовольствием, или, лучше сказать, с жадностью, прочел я ваши книги; думал на них кое-что вам возразить, но, когда я прочел «Наша революция» Черткова, я осекся, просто не нашел слов, что сказать.

Он в своей книге, как я лично думаю, очень ясно нарисовал свою теорию, а по мне все революционные теории перед вашей и чертковой (конечно, она одна и та же) должны спасовать. Но только теория ваша хороша, а пути или дороги к ней я, право, теперь не знаю, чьи лучше; я говорю теперь, потому, если б это было до присылки ваших брошюр, я бы безусловно сказал другое, но, когда я прочел то, что вы прислали, я, право, не знаю, что сказать (хотя очень многое нашлось бы, что сказать и ответить, но только на словах, а не на бумаге).

Да, Лев Николаевич, я плохо чувствую себя. Я сейчас как бы нахожусь на перекрестке дорог и не знаю, куда итти; остаться ли посредине и сказать: «Моя хата с краю, ничего не знаю» или же тронуться

в какую-либо сторону? Остаться на средине — это для меня равно смерти. Итти по «революционной»? От нее грязью и вонью несет. По анархистской? Она темна и заросшая. По кадетской? От нее пахнет обманом, да и не по мне она. По вашей? Над ней знак вопроса стоит, и вдобавок она мне незнакома, притом еще с богом никак не могу примириться. С христианством, т. е. с Христом или, проще сказать, его теорией, я еще кое-как примиряюсь, но с каким-то богом я, право, никак не могу примириться; как с чортом, так и с этим мифическим богом я ни в коем случае не могу примириться. Как чорта нет, точно так и богов. Хотя Чертков и пишет, как он понимает бога, но это, во-первых, для меня немного непонятно, а во-вторых, меня крайне удивляет, почему не Христос, а бог? Ведь Христос был и жил на свете, был он учителем, от чего и произошло христианство, это знают все хорошо и прекрасно, а был ли бог? Такого чучела никогда не было и не будет, и об нем никто ничего решительно не знает; даже естествознание говорит против него, хотя, конечно, не доказано еще, но все же оно протестует против каких бы то ни было богов. Хотя для вас, может, будет и смешным мой совет — почему не Христос, а бог? Я вовсе, Лев Николаевич, не хочу давать вам советов и только спрашиваю, почему так, а не этак.

Выше я написал, что стою посредине дороги и не знаю, куда итти. Может, вы подумаете, что, мол, этот человек, очевидно, хочет доставить мне удовольствие, или же просто он ничего не стоит, потому что, мол, прочел только 3 или 4 брошюры и у него все уже рассеялось. Нет, Лев Николаевич, я не хочу вам этим доставить удовольствия, потому что этим не доставляют удовольствия, как мне кажется, это, во-первых, а во-вторых, я не люблю лебезить или, иначе сказать, поклоняться какому бы то ни было гению, по-моему это для человека есть низко и подло; какой бы он ни был, развитой или совсем темный, слушаться его советов можно и нужно, но подчиняться и преклоняться — это не по мне. Если я вам возражаю, то я имею право, потому что я тоже человек и тоже хочу на свете жить. Конечно, я возражаю так, как умею и как мои умственные способности развиты, или, как говорят, интеллект, кажется. Если я хочу кому-нибудь что-либо сказать, то пусть он будет хоть чортом, я не испугаюсь и скажу ему то, что знаю.

Может быть, Лев Николаевич, в этом письме есть что-нибудь для вас оскорбительное, то я вовсе не хотел вас оскорблять, а просто потому, что я иначе не могу писать, а пишу, как умею...

Я, Лев Николаевич, не оттого стал на распутьи, что прочел 4 только брошюры, а просто потому, что грязи среди наших больно много, да, признаться, я тоже не больно-то люблю власть.

Со мной живет рабочий, он мне сказал, что вы отрицаете семейную жизнь. Правда ли это? Он мне указал на одну из ваших брошюр, где он прочел это, но только я не помню ее названия, его спросить — он уже спит, так как сейчас уже ночь.

Ну, пока до свидания!

Мунтьянов

Это последнее письмо Мунтьянова, судя по почтовому штемпелю, было получено и прочтено Толстым 31 марта 1910 г. На конверте письма Толстой пометил: «Булгакову написать, что мне приятно было его письмо именно потому, что чувствуется в нем правда и серьезность, и написать о боге».

Булгаков ответил Мунтьянову, по поручению Толстого, 1 апреля 1910 г., что видно из его пометы на конверте письма Мунтьянова. На этом переписка с Мунтьяновым обрывается, и дальнейших сведений о его судьбе не имеется.

Воспроизводим на стр. 353 фотографию с. Нижне-Илимского, которую Мунтьянов прислал Толстому при письме от 23 февраля 1910 г.

ПЕРЕПИСКА ТОЛСТОГО С ЛЕСНЫМ ОБЪЕЗДЧИКОМ А. ЛУЗИНОВЫМ

Письмо это написано Толстым на конверте письма А. Лузинова. Судя по тому, что сохранилась копия письма Толстого, и по тому, что текст его перечеркнут рукой автора вертикальной чертой, письмо отправлено не было. Вместо него 12 февраля 1910 г. Лузинову ответил секретарь Толстого В. Ф. Булгаков, что видно из пометы последнего на конверте письма Алексея Лузинова.

1910 г., февраля 12, Я[сная] П[оляна]

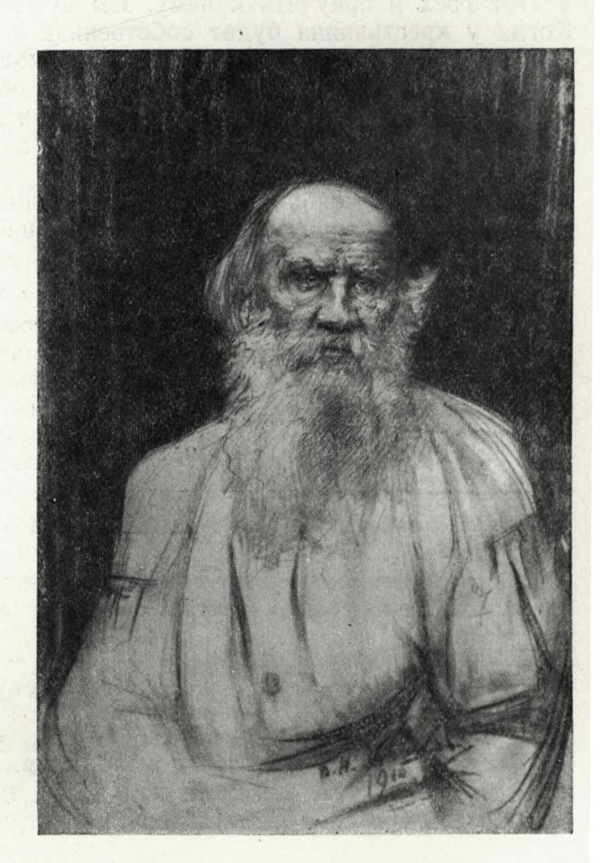
Письмо ваше очень умное. Вы правы, что совесть не позволяет участвовать в таких делах, как взыскание с бедных крестьян денег или заточение их в тюрьму за то, что они хотят отобрать хоть маленькую часть того, что от них отобрано. Владение землей есть грабеж. И потому порубки в чужом лесу есть грабеж маленьких грабителей у больших.

Письмо Толстого было вызвано следующим письмом А. Лузинова:

Дорогой наш учитель, великий писатель земли русской, Лев Николаевич! Будьте добры, помогите мне умным своим ответом, рассейте мое сомнение и укажите моей совести светлый выход.

Я служу уполномоченным объездчиком в лесной даче Семеновского уездного земства, Нижегородской губернии...

Около народной дачи много находится крестьянских селений, где многие жители страшно нуждаются в дровах и строевом лесу, и некоторые крестьяне, гонимые нуждою, решаются ехать в земскую дачу — порубить возок дровишек или строевое бревнышко на неотложную нужду. Дальше рассказывать не стоит, как все делается с крестьяни-



Л. Н. ТОЛСТОЙ

Портрет углем работы В. Н. Мешкова, 1910 г.

Толстовский музей, Москва

ном-порубщиком и как его тащат в суд, потому что я сам крестьянин и делаю против своего желания, по казенному наказу.

Больно смотреть на таких бедных, когда они изливают свою душу перед судьей, но по казенным законам его сажают в кутузку и выдают исполнительный лист. Сердце обливается кровью, когда приступаешь ко взысканию денег, производишь опись имущества и назначаешь продажу его крох... Нет моих сил выносить этого действия по всем исполнительным листам, которых накопилось за десять лет до 200 штук, а я все время откладываю по разным предлогам производить взыскание денег, которые должны поступить на благотворительные цели. Какая же может быть благотворительность насильственными деньгами? Злом добра не сделаешь! А тут заставляют делать: у одного отнимать — другому отдавать. Вот я считаю, что этого делать не надо. Это великий грех!

Будьте добры, дорогой наш учитель, Лев Николаевич, ответить мне письмом же на вышеозначенный вопрос: как мне поступать в этом деле, чтобы совесть моя была чиста? Ваш умный ответ меня укрепит в жизни, а этого я и ищу давно.

Ваш покорный ученик А. Лузинов

ПИСЬМО ТОЛСТОГО КРЕСТЬЯНИНУ В. А. РОМАНИКЕ

26 мая 1910 года, Ясная Поляна

Слухи о том, что ссылают куда-то тех, кто выйдет из общины, ложны. Но выход из общины считаю очень нехорошим делом, и отец ваш, выходя из общины, поступает дурно. Земля — божья и никому в собственность принадлежать не должна. Владеть землею как собственностью — великий грех. Помещики знают это и хотят и крестьян ввести в этот грех и приучить к нему. Им нужно это, чтобы себя оправдать. Когда у крестьянина будет собственная земля,— хоть 10, хоть 5 десятин собственных,— тогда помещик, у которого 5 000 десятин, может сказать крестьянину, что тебе не на что обижаться — у тебя 5 десятин, а у меня 5 000; я не виноват, что я и мои предки умели нажить, а ты и твои предки не умели. Наживешь ты, а я проживу, и у тебя будет много, а у меня мало.

Закон 9-го ноября о том, что можно крестьянам выкупать землю помещиков, мошенническая штука, и на нее поддаваться не надо.

Молодой крестьянин Харьковской губернии, Василий Антонович Романика, обратился к Толстому с письмом (отправлено 24 мая 1910 г.), в котором писал о стремлении своих односельчан, и в частности его отца, выйти из общины на хуторской участок и закрепить свою землю в собственность по столыпинскому закону 9 ноября 1906 г. Закон этот был создан, как известно, с целью задержать процесс революционного брожения среди крестьянства путем насаждения мелких земельных собственников, которые, вместе с классом помещиков, должны были составлять оплот царского правительства. С первых дней опубликования этого закона Толстой резко восставал против него как в статьях, так и в частных письмах. Об этом же в 1906 г. он написал резкое письмо Столыпину (см. юбилейный сборник «Лев Николаевич Толстой», М., 1928).

В своем письме Романика спрашивал, между прочим, Толстого, правильно ли, что выходящих из общины крестьян отправляют заселять «вольные земли в Сибирской степи».

ПИСЬМО ТОЛСТОГО СЕЛЬСКОМУ УЧИТЕЛЮ М. ШАТУНОВУ

23 февраля 1910 г., Ясная Поляна

Письмо ваше очень порадовало меня. Помогай вам бог неуклонно итти по тому пути, который, как вижу, ясен перед вами. Разумеется, оставайтесь учителем и старайтесь, несмотря на препятствия духовенства,

влиять на молодое поколение. Я не знаю деятельности, на которую бы можно было променять эту.

Посылаю вам то, что я высказывал по вопросу о деятельности сельских учителей.

Всегда буду рад общению с вами.

Печатается по машинописной копии, сверенной с автографом Толстого.

Письмо является ответом на обращение к Толстому народного учителя М. Шатунова, из деревни Телешево, Николаевского уезда, Самарской губ., от 12 февраля 1910 г. В своем письме Шатунов, между прочим, спрашивал:

«...Посоветуете ли остаться в деревне учителем и пробивать себе дорогу на этом поприще, среди попов, заведующих школами, и крестьян-общественников, или же итти поступить на железную дорогу?».

ПИСЬМО ТОЛСТОГО С. ТРОИЦКОЙ

1 июля [19]10 г., Ясная Поляна

Не знаю, какой мой разговор вы читали о женщинах. Я всегда думаю и не могу думать иначе, как так, что женщина по своим высшим духовным силам ничем не отличается от мужчины.

Печатается по машинописной копии, сверенной с автографом Толстого, написанным на конверте письма С. Троицкой. София Троицкая, жившая на ст. Караклис, Закавказской ж. д., 1 июня 1910 г. писала Толстому:

«Дорогой учитель! В газетах я прочла ваш разговор о женщинах. Вы собираетесь сказать что-то дурное о женщинах, какую-то дерзость, как вы говорите.— Позвольте, мне очень странно это! Что же, собственно, можно сказать, такого дурного о женщинах вообще?.. Неужели, дорогой учитель, вы отрицаете совершенство духа у женщины?».

ПИСЬМО ТОЛСТОГО ФИЛИППУ ЕФРЕМОВУ

23 июля [19]10 года, Ясная Поляна

В книгах, которые вам посылаю, я, как умел, выразил мои взгляды. Желал бы, чтобы они ответили вашим требованиям. Сколько я понял из вашего письма, вы тяготитесь своим положением бедности. Как ни странно это сказать — я же мучительно тягочусь теми условиями богатой жизни, из которой никак не могу вытти. С какой бы радостью я променялся с вами.

И потому позволяю себе советовать вам: не тяготиться вашим положением. Вы служите делу не только не грешному, но полезному. Благодарите за это судьбу и дорожите вашим положением.

Позволяю себе дать вам еще совет: не заниматься стихотворством. Если у вас есть досуг и есть что сказать людям, высказывайте это как можно яснее и проще, а не обременяя себя условиями размера и рифмы.

Брат ваш

Печатается по машинописной копии, сверенной с автографом, начатым на конверте письма Ефремова и продолженным на полулисте почтовой бумаги, оторванном от письма Ефремова. Кроме того, на том же конверте рукой Толстого помечено: «Послать Н[а] К[аждый] Д[ень]».

ПИСЬМО ТОЛСТОГО А. П. СПЕРАНСКОЙ

Ясная Поляна, 26 апр[еля] 1910 г.

Стихи интересующего вас молодого человека очень плохи. Из них не только не видно никакого поэтического таланта, но, напротив, видно полное непонимание того, в чем сущность поэзии. Это пустой набор слов без всякого содержания, самобытности чувства или мысли.

Содействовать же молодому человеку посредством так называемого «образования» выплыть из своей рабочей среды в мою среду дармоедов, если бы и мог, считал бы грехом.

Благодарю вас за добрые, выраженные в вашем письме ко мне, чувства. Посылаю вам одну книжечку «На каждый день». Следующие месяцы частью вышли, частью выходят у Сытина в Москве (Тверская). Может быть, чего желал бы, чтение их будет вам полезно и приятно.

Печатается по копии, сверенной с автографом, написанным Толстым чернилами на полулисте писчей бумаги.

Анна Павловна Сперанская, из Костромской губ., в длинном письме от 10 апреля 1910 г. писала, что имеет «глубокое уважение» к Толстому, и просила дать отзыв о стихах молодого крестьянина Виноградова.

ПИСЬМО ТОЛСТОГО ГИМНАЗИСТКЕ

21 октября [19]10 года, Ясная Поляна

Письмо ваше произвело на меня очень неприятное впечатление. Вы осуждаете всех окружающих вас, бессознательно высказывая этим уверенность в вашем превосходстве над всеми и полное самодовольство. Вы желаете быть полезной людям? Но тот, кто желает быть полезным людям, должен прежде всего постараться быть не вредным им. А если вы хорошенько вглядитесь в себя, то легко увидите, что вам в этом отношении предстоит очень много работы над собою, хотя бы той, чтобы научиться не осуждать людей и любить их.

Л. Т.

Посылаю вам книгу «На каждый день», в ней вы найдете мои ответы на ваши вопросы. Обратите внимание на число 22-ое.

Печатается по копии, сверенной с черновиком-автографом, начатым на конверте письма неизвестной и продолженным на почтовой бумаге.

Гимназистка шестого класса саранской женской гимназии, дочь ремесленника, прислала Толстому письмо от 16 октября (анонимное), в котором писала:

«Если бы вы знали, что это за гимназия. Начальница, старая ханжа, с отжившей душой, с такими же взглядами, встречает и провожает по одежке... И из гимназисток, насколько я наблюдала, все такие заурядные личности, что трудно найти в них что-нибудь человеческое в истинном смысле этого слова. Все заботы и разговоры их сводятся к тому, чтобы погулять с реалистами... Приходишь домой, еще тоскливее, безотраднее становится на душе... Прошу вас научить, как жить, как быть полезной...».

ПИСЬМО ТОЛСТОГО А. И. ОСТОЛЬСКОЙ

25 июня 1910 г., Ясная Поляна

«Хилость, старость, смерть — вот жемчужины жизни», — пишете вы, подразумевая, вероятно, то, что хуже этого ничего не может быть.

Я испытывал две первые и готовлюсь каждый час к третьей и кроме радости и благодарности той силе, которая послала меня в жизнь, ничего не испытываю. Очевидно, кто-нибудь из нас ошибается. Думаю, что не я, а вы. Думаю так, во-первых, потому, что жизнь есть стремление к благу, и во мне это стремление получает удовлетворение, у вас же нет, а во-вторых, потому, что я в своем понимании схожусь не только со всеми величайшими мудрецами мира — от браминов, Будды, Лаотзе, Христа, Магомета, Сократа, Эпиктета, Марка Аврелия, и до Руссо, Канта, Эмерсона и др., но и с огромным большинством людей, вы же сходитесь с разными странными, трудно понимаемыми писателями-декадентами самого последнего времени и с крошечным меньшинством запутавшейся и мало мыслящей, и мало просвещенной кучкой людей, называемой интеллигенцией.

Простите, если письмо это покажется вам резко. Руководило мною чувство участия к вам и подобным вам, многим несчастным, которые, рассуждая самым детско-превратным образом, с безграничной самоуверенностью решают вопрос о том, хорош или не хорош мир, в отрицательном смысле, только потому, что они воображают себе, что мир существует только для их удовольствия, а удовольствия они не находят потому, что ищут его не там, где оно есть и может быть.

Еще раз прошу не сердитесь на меня, а подумайте о том, что я пишу, и верьте, что руководит мною только чувство участия к вам, как к любимой меньшой сестре.

Печатается по копии, сверенной с автографом Толстого.

Антонина Игнатьевна Остольская, со ст. Мотовиловка, Юго-Западной ж. д., писала Толстому (без даты):

«Многоуважаемый Лев Николаевич! Давно мне хотелось получить от вас две строчки. Сегодня я выполняю свое намерение. Тяжесть, невыносимая тяжесть давит мне грудь, — жизнь глазами сфинкса смотрит на меня. Где же разрешение загадки? Где ответ на все мучения, для кого они нужны?

Птица в клетке — что человек в жизни. Бьется он своей слабой грудью о ее стены, и зачем и для кого? Камень в груди!

Если б можно было сильной рукой извлечь его... Но увы! Как я страдаю! И одна, совсем одна!.. Если б можно было упасть на холодные плиты, окровавить свой лоб пламенной молитвой. Но, нет, нет... я этого не могу... Что же такое человек после этого? — Царь творения!.. Ха-ха-ха!.. Какая ирония... Неужели это серьезно было сказано впервые человеком? Не может быть!.. Это сарказм, это злейшая из злейших карикатур человека на самого себя! Да, странно, странно все! Самоубийство. Все чаще и чаще кажется оно мне той пристанью, к которой может пристать моя измученная душа и отдохнуть. Что же мне еще сказать вам? Сможете ли вы понять меня? Ведь вы стары. Смерть, старость, хилость — вот жемчужины жизни!..».

ПИСЬМА ТОЛСТОГО А. П. ТИШКОВОЙ И В РЕДАКЦИЮ «РУССКОГО СЛОВА»

29 апреля 1910 г. Толстой получил по почте длинное, на 42 страницах, письмо крестьянской девушки из гор. Волковыска, Гродненской губ., Агафьи Петровны Тишковой, содержащее подробное описание ее жизни и своеобразную просьбу: оказать содействие для получения 80 рублей на выкуп швейной машины «Зингер», как единственного источника существования.

Прочитав это письмо, Лев Николаевич написал на конверте его:

«Написать Поссе или в Н[овую] Р[усь] или в Р[усское] Б[огатство] или в Р[усское] С[лово], не возьмут ли за 80 р. этот рассказ до 37 стр[аницы]. Написать, согласна ли она... Написать и о недобром духе ее письма — из письма ее видно, что она того самого духа, как и тот, кого она осуждает».

В тот же день Л. Н. Толстой написал нижеприводимое «Предисловие», как он сам его называл, к рассказу Тишковой, в виде письма в редакцию, и 30 апреля передал его, вместе с рукописью Тишковой, приехавшему корреспонденту «Русского Слова» С. П. Спиро (см. Булгаков В. Ф., Лев Толстой в последний год его жизни, изд. 3-е, М., 1920, стр. 177, и Спиро С. П., Беседы с Л. Н. Толстым, М., 1911, стр. 68—69).

«ПРЕДИСЛОВИЕ» К РАССКАЗУ ТИШКОВОЙ

С согласия автора письма, пересылаю вам его для напечатания в вашей газете. Рассказ о жизни и впечатлениях этой крестьянской девушки мне кажется очень замечательным; и по своей искренности, простоте и очевидной правдивости и в особенности потому, что ясно выражает ту

совершившуюся в крестьянском рабочем населении за последнее время перемену, заключающуюся в живом сознании несправедливости своего положения. Как ни стараются люди властвующих классов скрыть от себя, заглушить в себе сознание несправедливости своего положения, такие рассказы, как рассказ этой крестьянской девушки, неотразимо должны вызывать это сознание. В рассказе этом испытываемая миллионами людей несправедливость своего положения представляется как что-то совершенно новое и никому не известное.

Думаю поэтому, что напечатание этого рассказа может быть полезным.

Лев Толстой

Ясная Поляна,
29 апреля 1910 года

Публикуется по второму машинописному подлиннику, сохранившемуся в рукописном отделении Толстовского музея.

30 апреля Толстой написал следующее письмо самой А. П. Тишковой:

30 апреля 1910 г. Ясная Поляна

Агафья Петровна,

Мой совет, что для того, чтобы вам получить нужные вам 80 р., лучше всего отдать в печать ваше жизнеописание, разумеется, не упоминая ни имен, ни даже места. Ваше жизнеописание так интересно и хорошо написано, что его охотно напечатают и дадут вам за него нужную сумму. Известите меня поскорее, согласны ли вы. Тогда я пошлю вашу тетрадь в избранную мною редакцию, а редакция уже будет иметь дело с вами непосредственно. Я уже говорил с одним членом редакции и знаю наверное, что они примут ваш рассказ и уплатят за него нужные вам деньги.

Как сообщают В. Ф. Булгаков и С. П. Спиро в названных выше мемуарах, «Русское Слово» выслало Тишковой по просьбе Толстого 80 рублей, но письма ее не напечатало.

Д. П. Маковицкий в «Яснополянских записках» сообщает, что рассказ Тишковой долго привлекал внимание Толстого; так, 3 июня, во время позирования для скульптуры Трубецкого, дочь Толстого, Т. Л. Сухотина, читала вслух рукопись Тишковой, а сам Лев Николаевич выражал сожаление о том, что он передал ее в «Русское Слово», сомневаясь, решатся ли там опубликовать рассказ с его предисловием.

ПИСЬМА К Л. Н. ТОЛСТОМУ

ПЕРВОЕ ПИСЬМО А. М. ГОРЬКОГО К ТОЛСТОМУ

Сообщение К. Шохор-Троцкого

Весной 1889 г. молодой Горький, оставив должность весовщика на ст. Крутая, Грязе-Царицынской ж. д., отправился в путь, частью пешком, частью на тормозных площадках багажных вагонов, по маршруту Царицын — Борисоглебск — Тамбов — Рязань — Тула — Москва — Нижний-Новгород. По дороге он сделал две попытки повидать Толстого: посетил Ясную Поляну и дом Толстого в Москве.

В Ясной Поляне Горький не застал Толстого, который жил в то время в Москве. В хамовническом доме к Горькому вышла Софья Андреевна. Она сказала ему, что Толстой нездоров и никого не принимает. Затем она отвела Горького на кухню, где угостила его стаканом кофе с булкой, заметив при этом, что к Льву Николаевичу шляется очень много бездельников и что Россия вообще изобилует бездельниками [1].

Оставив должность весовщика на станции Крутая, Горький мечтал о том, чтобы поселиться в земледельческой колонии. В воспоминаниях о писателе Н. Е. Каронине-Петропавловском Горький подробно рассказал о своем настроении в этот период:

«Уходя из Царицына, я ненавидел весь мир и упорно думал о самоубийстве; род человеческий — за исключением двух телеграфистов и одной барышни — был мне глубоко противен, я сочинял ядовито-сатирические стихи, проклиная все сущее, и мечтал об устройстве земледельческой колонии. За время моего путешествия мрачное настроение несколько рассеялось, а мечта о жизни в колонии с двумя добрыми товарищами и милой барышней несколько поблекла» [2].

В Нижний-Новгород Горький приехал после неудачной попытки повидать Толстого. Здесь Горький передал Н. Е. Каронину-Петропавловскому письмо от жившего в Царицыне журналиста В. Я. Старостина-Маненкова. В письме содержалась просьба «отговорить» Горького от попытки устроить колонию. Н. Е. Каронин-Петропавловский несколькими скептическими замечаниями относительно задуманной колонии помог Горькому окончательно отказаться от его намерения.

Письмо Горького, написанное после неудачной попытки повидать Толстого, сохранилось в архиве Толстого (рукописное отделение Всесоюзной библиотеки им. В. И. Ленина). На подлиннике имеется помета рукой С. А. Толстой: «Горький».

Лев Николаевич.

Я был у вас в Ясной Поляне и Москве; мне сказали, что вы хвораете и не можете принять [3].

Порешил написать вам письмо. Дело вот в чем: несколько человек служащих на Г[рязе]-Ц[арицынской] ж[елезной] д[ороге] — в том числе и пишущий к вам, увлеченные идеей самостоятельного, личного труда и жизнью в деревне, порешили заняться хлебопашеством [4]. Но, хотя все мы и получаем жалованье — рублей по 30-ти в месяц средним числом, личные наши сбережения ничтожны, и нужно очень долго ждать, когда они возрастут до суммы, необходимой на обзаведение хозяйством.

И вот мы решили прибегнуть к вашей помощи: у вас много земли, которая, говорят, не обрабатывается. Мы просим вас дать нам кусок этой земли.

Затем: кроме помощи чисто материальной, мы надеемся на помощь нравственную, на ваши советы и указания, которые бы облегчили нам успешное достижение цели, а также и на то, что вы не откажете нам дать книги: «Исповедь», «Моя вера» и прочие, не допущенные в продаже.

Мы надеемся, что какой бы ни показалась вам наша попытка — достойной ли вашего внимания и поддержки — или же пустой и сумасбродной, вы не откажетесь ответить нам. Это немного отнимет у вас времени. Если вам угодно ближе познакомиться с нами и с тем, что нами сделано к осуществлению нашей попытки, двое или один из нас могут притти к вам. Надеемся на вашу помощь [5].

От лица всех — нижегородский мещанин
Алексей Максимович Пешков

Апреля 25-го.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] См. Груздев И., молодой Горький,—«Молодая Гвардия», 1927, № 3, стр. 210.

[2] Горький М., О писателях, изд. «Федерация», М., [1923], стр. 183.

[3] Толстой в апреле 1889 г. не был болен, как это видно из его записей в дневнике. Ссылка на болезнь Толстого, повидимому, явилась лишь предлогом, под которым С. А. Толстая не допустила к Толстому неизвестного посетителя.

[4] В письме к сталинградским краеведам Горький, рассказывая о своей жизни на ст. Крутая, писал:

«К весне на Крутой образовался «кружок самообразования»; в него вошли пятеро: младший телеграфист Юрин, горбатый, злоумный парень; телеграфист с Кривой Музги — Ярославцев; «монтер весов», а проще сказать — слесарь, Верин... и царицынский наборщик, он же переплетчик, Лахметка, переплетавший книги Ковшова, человек необыкновенной душевной чистоты... По характеру моей работы я не мог ни на час отлучаться от станции, и связь с Царицыном была возложена на Лахметку. Я познакомил его с «поднадзорными» города,— в то время там жили М. Я. Началов, бывший ялуторовский ссыльный; Соловьева, невеста сидевшего в тюрьме казанского марксиста Федосеева; студент Подбельский, убитый в Якутске во время известного «вооруженного сопротивления властям»; саратовцы — братья Степановы, только-что приехавшие из Березова, из ссылки; поручик Матвеев и еще несколько человек. Эти люди снабжали нас книгами. Каждую субботу Лахметка приезжал на Крутую. Верин и Ярославцев тоже являлись более или менее аккуратно, и по ночам, в телеграфной, мы читали брошюру А. Н. Баха «Царь-голод», «Календарь Народной воли», литографированные брошюры Л. Толстого, рассуждали по Михайловскому о «прогрессе», о том, какова «роль личности в истории...».

На воспроизводимой ниже фотографии изображены «коллеги» Горького по работе на ст. Крутая. Красочные характеристики некоторых из этих людей находим в том же письме Горького к сталинградским краеведам:

«Начальник станции был Захар Ефимович Басаргин. Служебную карьеру свою он начал стрелочником на станции Царицын. Это был недюжинный человек, один из тех талантливых русских «самородков», которыми всегда была богата, а особенно теперь может гордиться наша удивительная страна.

Когда я попал под его крепкую и безжалостную руку, ему было лет полсотни, но, сухонький, крепкий, ловкий, он казался значительно моложе. Лицо у него копченое, темнокожее, в сероватой, растрепанной бородке; под густыми бровями, в глубоких ямах — горячие, острые глаза янтарного цвета. Походка легкая, быстрая, на ходу он как-то подпрыгивал, жесты — резкие, голосок сиповат, но властный...

...Басаргин о наших ночных чтениях знал и, если ему в жаркие ночи не спалось, приходил к нам в ночном белье, босой, истрепанный, напоминая сумасшедшего, который только-что убежал из больницы.

— Ну, катай, катай, я не мешаю,— говорил он, присаживаясь в конторе пред окошком телеграфа, но не мешал минуты три, пять, а затем, положив волосатый подбородок на полочку перед окошком, спрашивал нас, насмешливо поблескивая глазами:

— Будто понимаете что-нибудь? Врете. Я впятеро умнее вас, да и то ни слова не понимаю. Чепуху читаете. Вы лучше послушайте настоящее...

— Каждый должен жить, как в церкви,— учил он нас.— Чтобы все вокруг блестело и сам гори, как свеча. Трудов не бойся.

ГРУППА СОСЛУЖИВЦЕВ А. М. ГОРЬКОГО ПО РАБОТЕ НА СТ. КРУТАЯ

Фотография

Областной музей М. Горького, г. Горький

Сидят — [redacted] с правой стороны слева:
Мицкевич — в штатском — машинист водокачки
Военисев — осмотр. вагонов
Ковшов — пом. нач. станции
Захар Ефимович Басаргин — нач. ст.
Курнашов — сост. поездов.
Горин — младший телеграфист.
Стоят: за Мицкевичем —
Тихомиров — старший телегр
Кондзинов — станционный сторож
Черногоров — в шапке — [redacted] путей сторож
Сычков или Сычов — тоже сторож
Двоих — не помню.

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ НАДПИСЬ К ФОТОГРАФИИ, СОСТАВЛЕННАЯ А. М. ГОРЬКИМ

Областной музей М. Горького, г. Горький.

Слушать его живую, напористую речь было не менее интересно, чем разбираться в трудной словесности Спенсера и Михайловского. Я слушал жадно. Человек нравился мне, а дела его — не очень.

Вероятно, Захар Басаргин был одним из первых людей, наблюдая которых я укреплялся в убеждении, что сам по себе человек хорош, даже очень хорош, а вот делишки его, жизнь его... так себе. Делишки-то могли бы лучше быть...

...Помощник начальника станции Ковшов страдал запоем, запоем же читал уголовные романы; он очень берег книги, никому не давал, но в свое дежурство увлеченно рассказывал телеграфистам, мне и всем, кто хотел слушать, приключения парижских воров и сыщиков. Он был человек болезненно самолюбивый, злой и любил похвастаться неудачами и несчастиями своей жизни. Среднего роста, но коротконогий и толстый, он казался маленьким, а лицо у него было серое, как студень, с круглыми и неглупыми глазами, с едкой усмешечкой на толстых губах.

Тихомиров, мрачный брюнет, бритый до-синя, был глуп, седьмой год учился играть на скрипке, но играл все еще только гаммы; он терпеть не мог людей, которые читают книги, и убеждал Ковшова:

— От книг ты и пьешь...

...Черногоров был одним из тех русских одиноких людей, которые живут как бы поневоле, углубясь в какую-то неисчерпаемую думу. Ко всем окружающим он относился внимательно и ласково, как большой к маленьким, но никогда никого не учил. Нередко, ночами, я видел, что он на ходу точно спотыкался обо что-то и, остановясь, с минуту смотрел под ноги себе». (Горький М., Письмо к сталинградским краеведам,— газ. «Борьба», 1927, №№ 75, 76, 77 и 78.)

Как видим, в числе книг, которые получали члены кружка из Царицына от проживавших там «поднадзорных», были и «литографированные брошюры» Толстого. Из упомянутых Горьким членов кружка выражали желание устроить колонию телеграфисты Д. Юрин и Н. Ярославцев. Кроме того, Горький надеялся, что к ним присоединится дочь начальника станции Басаргина.

[5] Письмо Горького, повидимому, было оставлено Толстым без ответа.

ИЗ ПИСЕМ К ТОЛСТОМУ

(ПО МАТЕРИАЛАМ ТОЛСТОВСКОГО АРХИВА)

Публикация В. А. Жданова

I

К огромному рукописному наследию Толстого примыкает его огромный архив. В Ясной Поляне сохранялись каждое письмо, каждая записка, каждый счет. Это было принято в отношении писем, адресованных не только самому Толстому, но и другим членам семьи. Архивы С. А. Толстой и ее дочери Т. Л. Сухотиной тоже огромны; они содержат разнообразные материалы, письма художников, писателей, общественных деятелей. Они заслуживают специального исследования и особого обзора.

Наша тема — архив самого Толстого. Толстой мало заботился о судьбе своих рукописей и архива,— все сохранилось благодаря заботам семьи и близких друзей. Если в первые годы письма сохранялись в силу усадебной традиции, то впоследствии, когда корреспонденция перешла за обычные пределы переписки частного лица, пришлось упорядочить способ хранения, завести своего рода канцелярию. С середины 90-х годов письма Толстого стали копировать (автентичным способом на папиросную бумагу), а письма его корреспондентов подбирать по сериям; впоследствии был заведен «входящий журнал». Если бы не были приняты эти меры, мы были бы лишены теперь возможности изучать эпистолярное наследство Толстого.

В первый период своей деятельности Толстой переписывался с довольно узким кругом лиц, к которым затем прибавилось несколько литературных имен и деловых корреспондентов. Обращения случайных, неизвестных лиц были единичны. С 80-х годов, когда новые искания Толстого, его протест против самодержавно-крепостнического строя стали волновать многих, число корреспондентов значительно возросло. Одни выражали сочувствие новым взглядам, другие просили ответа на волновавшие вопросы, третьи полемизировали, благодарили или укоряли за поднятый меч. Незначительное количество среди этих писем продиктовано погоней за автографом; в подавляющем большинстве получались письма неподдельной искренности. Тогда же стали появляться и ругательные письма — малограмотные, главным образом черносотенников и церковников, раздраженных разрушительной, разоблачающей деятельностью Толстого.

С каждым годом количество писем случайных корреспондентов увеличивалось, дойдя под конец до огромных размеров. Толстому писали уже не только по принципиальным вопросам. Его забрасывали самыми разнообразными просьбами и вопросами на всех европейских, иногда и восточных языках. Необычайно интересны письма от потерпевших различные жизненные крушения,— их было особенно много в последние годы.

Ореол великого писателя был притягивающим центром для униженных и оскорбленных, для всех, кто был жертвой условий, созданных самодержавным режимом. С ростом популярности Толстого к нему все чаще и чаще стали обращаться люди в дни тяжких личных невзгод. Почтовый адрес Ясной Поляны служил своего рода трибуной для желавших высказаться, протестовать, ждавших веского авторитетного совета, искавших моральной поддержки или простой материальной помощи. Для не имеющих возможности громко говорить, для затерянных в общей массе обывателей, лишенных голоса, обращение к Толстому приобретало общественную значи-

мость. Писать Толстому становилось событием, своеобразным общественным актом. Ему писали о самом важном, самом волнующем. К нему обращались лично, как к близкому другу, поэтому, в большей части, письма абсолютно искренни, ярки в своей простоте и непосредственности.

Благодаря всему этому, архив Толстого сохранил ценнейшие документы прошлого. Их ценность не в популярности авторов, — большинство из них никому не известно, — а в том, что писавшие превращались в своеобразных летописцев, ярко, изнутри освещавших различные стороны жизни своей эпохи и, главным образом, будничные, бытовые ее проявления.

Толстой, разумеется, не имел возможности отвечать на все письма; он отвечал на самые важные с его точки зрения. Любопытно, что Толстой считал себя обязанным ответить, хотя бы кратко, тем корреспондентам, которые приложили к своим письмам почтовые марки.

Установившийся порядок: почта подавалась Толстому (десятки писем ежедневно), он сам распечатывал все письма и читал, делая пометы на конвертах. *Б. О.* (без ответа) — отбрасывалось в архив. *Отв.* — Толстой отвечал тотчас же или откладывал в пачку писем, ожидавших ответа; в последние два года он часто писал краткий ответ на конверте полученного письма, а затем подписывал машинописную копию с него. Другие пометы предназначались для секретаря: ставились его инициалы или надписывался краткий конспект для ответа. Иногда секретарь полностью переписывал конспект, дополняя от себя вводные фразы, иногда пространно развивал взгляды Толстого. Рукописи начинающих поэтов, беллетристов обычно возвращались с кратким уведомлением от имени Толстого, примерно таким: «Лев Николаевич не любит стихов и не советует заниматься таким пустым делом»; «Лев Николаевич не видит в присланной рукописи и проблеска таланта». Почти никогда не оставались без ответа просьбы о книгах. Толстой сам отмечал на конверте, какие книги следует послать (обычно брошюры «Посредника»). Их отправляли бесплатно.

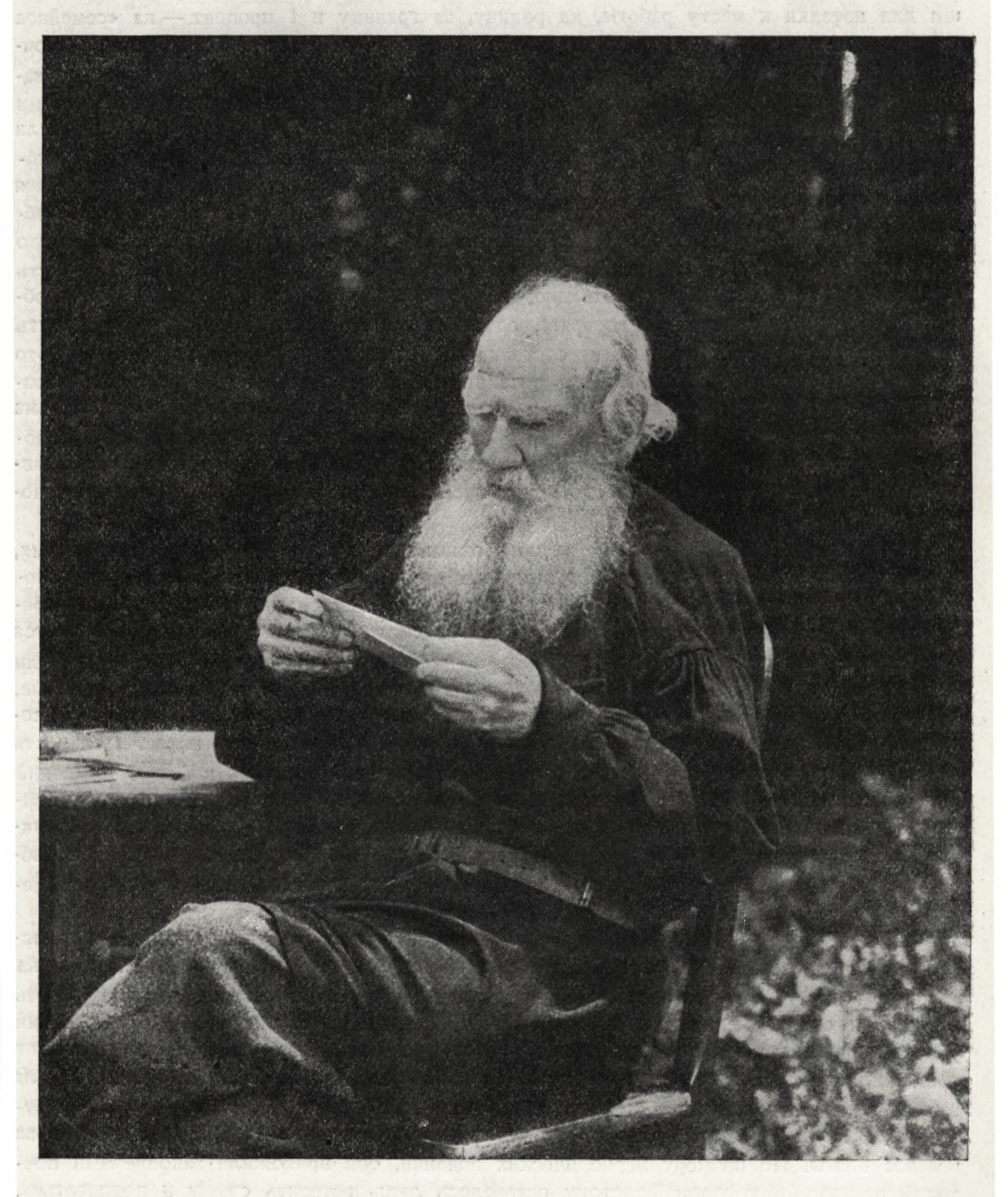
Письма с комментариями составят тридцать томов академического издания сочинений Толстого, т. е. около тысячи двухсот печатных листов. Несмотря на это огромное количество писем, написанных Толстым, большая половина получавшихся им писем оставалась без ответа. Многие из этих, до сих пор почти не исследованных, документов представляют замечательный интерес. Ниже мы делаем попытку выделить из огромного архива образцы писем разных категорий, преимущественно оставшиеся без ответа. Печатаются, главным образом, письма случайных корреспондентов, что позволяет показать ту часть архива, которая остается в стороне при изучении эпистолярного наследия Толстого. Взято несколько групп: просительные и анонимные письма, письма, носящие узко личный характер, и письма, представляющие широкий общественный интерес.

Кроме того, дано несколько писем — откликов на художественное творчество Толстого («Крейцерова соната»). Последняя категория представляет интереснейший материал для современного исследователя. Признания неизвестных людей, сделанные непосредственно под влиянием нового произведения, без всякой мысли об их публикации, без надежды на ответ (чаще писали анонимно), дают редкую возможность как бы подслушать голос рядового читателя того времени. Реакцию современников можно лучше всего изучить именно по этим материалам, а не по критическим статьям, газетным и журнальным отзывам, чем обыкновенно оперирует историк литературы. «Крейцерова соната», которой посвящен ряд публикуемых писем, породила очень большое количество откликов, ибо она внесла страшное смятение в души читателей.

По каждой категории представлены, по возможности, письма разных оттенков: наивные, трогательные, волнующие своей искренностью, своей жестокой правдой. Необходимо показать и ругательные письма, в массе своей бездарные. Но и они не лишены интереса, как продукт своего времени.

II

Обзор начинается просительными письмами. О количестве и характере этих писем, почти всегда остававшихся без ответа, мы можем судить по трехлетнему периоду (1905—1907), специально изученному нами. В архиве Толстого за эти три



Л. Н. ТОЛСТОЙ ЗА ЧТЕНИЕМ ПИСЕМ
Фотография 1908 г.
Толстовский музей, Москва

года сохранилась одна тысяча просительных писем. 50 процентов из них — просьбы о помощи в силу тяжелого материального положения; 25 процентов — просьбы об единовременном пособии или стипендии для обучения в низших и средних учебных заведениях; 8 процентов — то же в высших учебных заведениях; 8 процентов — на лечение; 5 процентов — просьбы помочь найти работу; 3 процента — просьбы о помощи для поездки к месту работы, на родину, за границу и 1 процент — на «семейное счастье» (приданое, свадьбу, первые расходы по хозяйству). Из этих писем в 260 точно указаны просимые суммы (от нескольких рублей до шести тысяч), в общем составляющие 123 тысячи рублей. В остальных 740 письмах определение размера помощи возлагалось всецело на усмотрение Толстого. Просили небольшие суммы, просили на покупку земли и домов; на целые стипендии. Если считать в среднем по 500 рублей на письмо (это средняя цифра писем с фиксированными суммами), то получится еще 370 тысяч, т. е. всего около 500 тысяч за три года, или около 170 тысяч рублей за один год. Надо помнить, что такого предела эта цифра достигла при твердо проводимых отказах. Во сколько раз она выросла бы, если бы Толстой стал на путь внешней филантропии! Приблизительно, половина корреспондентов просила заимообразно, часто определяя срок возврата, остальные предупреждали, что денег вернуть не в состоянии. По социальному составу просители трудно определимы: на это имеется мало указаний. Всего больше писали женщины—дочери и жены мелких чиновников, а также ученики гимназий и учительских семинарий. Встречаются письма сельских учительниц, отставных офицеров и чиновников, потомственных дворян, разорившихся купцов, псаломщиков, солдаток, крестьян, осужденных (из тюрьмы). Значительно меньше писем рабочих, совсем нет писем известных лиц и очень мало от иностранцев.

В массе своей просительные письма однообразны. Написанные в разное время, по разным поводам, они зачастую совершенно совпадают по стилю. «Последняя соломинка», «якорь спасения» фигурируют почти везде. Язык униженной просьбы чередуется с почтительным тоном. Наивная вера в силу богатого филантропа сменяется обычным ходатайством профессионального попрошайки. Многие корреспонденты были совершенно убеждены, что их просьбы являются необычным исключением. Другие, напротив, прекрасно понимали, что Толстого забрасывали письмами, что он не в состоянии всех удовлетворить, но они надеялись, что его богатство и исключительность их положения дают им право на помощь. Многие письма писались в форме прошений на больших листах бумаги. Прилагались свидетельства о бедности и другие документы (эти бумаги Толстой возвращал). Начинались письма, обычно, извинением: «Прочитав мое письмо, вы, быть может, удивитесь, что совсем вам незнакомый человек обращается к вам с просьбой. Простите и дочитайте до конца. Я сын бедных родителей...». Или: «Я мать многочисленного семейства...» и т. п.

О чем только ни просили! На бедность и на учение, на уплату карточного долга, на покрытие растраты, в возмещение покражи, чтобы спасти дом от торгов, на залог при поступлении на службу. Дети-сироты после смерти отца просили прислать на хлеб и одежду или на швейную машину, чтобы мать имела заработок. Сельский учитель прислал длинную декларацию, объясняющую, почему он хочет учиться, и приложил подробную смету на расходы. Другой утверждал: «Я знаю, граф, что для вас сумма в двести рублей ничто, а для нас, интеллигентных нищих,— талисман будущего». Группа учеников сообщала, что ряду их товарищей грозит увольнение за невзнос платы. По примеру периодических изданий, они приложили заполненный почтовый перевод, в котором Толстому оставалось лишь вставить сумму и подписаться. Изобретатель просил заимообразно крупную сумму на реализацию изобретения, сулящего миру большие выгоды. Неизвестный музыкант «не милостыни, не подарка, а в долг» просил три тысячи на создание духового оркестра, подробно излагая гуманный способ эксплоатации оркестрантов. Вдова бедного интендантского чиновника просила «не десятки рублей», а три рубля, которые спасли бы ее от голода. Инвалид с обрезанными пальцами, в подтверждение просьбы, обвел в письме контур своей руки. Престарелая женщина просила несколько рублей, чтобы прожить то время, пока определят ее в богадельню. Просивший пятьсот рублей обещал выплачивать их по пяти рублей в год(!). Женщина просила уплатить ее срочный долг в четыреста руб-

лей». «Долг мой велик, но и великодушие ваше велико», — писала она. Мать внебрачного сына, на склоне лет, в большом письме рассказала о своей тяжелой жизни и умоляла Толстого дать ее сыну, талантливому музыканту, возможность закончить образование. Студент просил помощи для семьи (он два раза занимал у А. П. Чехова и во-время возвращал). Гимназист просил на покрытие долга 38 руб. 88 коп. Камышинский мещанин, имея «горячий характер к рисованию», просил пособие в сто рублей. Ученик — на фехтовальный прибор двадцать пять рублей. Слушательница высших женских курсов — на микроскоп. Настоятель монастыря — на постройку нового корпуса. Священник, безрезультатно обращавшийся к митрополитам, по совету архиерея обратился с просьбой о пожертвовании на строящийся храм(!). Девочка — на лечение матери («если не можете десять рублей, то, ради бога, пришлите восемь»). Корреспондентка, просившая на уплату долга в пять тысяч рублей, откровенно призналась: «Я не знаю ни ваших сочинений, ни вашей веры, но сильно нуждаюсь в деньгах, и, не чая ниоткуда помощи, я решила обратиться к вам. У меня на квартире летом жил студент. Он знал про мои обстоятельства и посоветовал обратиться к вам. Но прежде, чем решиться писать, я посоветовалась с нашим дьяконом. Он не советовал, а говорит, что вы денег не дадите, а пошлете в Америку пахать землю». Безработный письмоводитель, в чахотке, заканчивал просьбу признанием: «С болью в сердце, заглушая самое главное чувство человека, совесть, умоляю, слезно умоляю,— помогите мне». Некто «имел несчастье» влюбиться. У него два выхода: женитьба или самоубийство; для свадьбы просил четыреста рублей. Бедная вдова, просившая на учение сына, писала: «Недавно в журнале я встретила ваш портрет, и у меня, как молния, прошла мысль: вот где спасенье, вот кто мне поможет, и думаю, что мое предчувствие меня не обмануло».

Среди этих скромных по форме просьб выделяются письма тех просителей, которые считали долгом в своих обращениях изобретать самые изысканные выражения: «сеятель просвещения добрых дел», «мировой учитель», «сын человеческий», «яснополянский прорицатель», «честный труженик», «великий пахарь земли русской» и т. п.

Таких напыщенных, мало внушающих доверия писем — меньше. Преобладают простые, искренние.

Обилие просительных писем было чрезвычайно тяжело Толстому. Письма напоминали о человеческом горе, они отражали тот социальный гнет, под которым находился народ, но Толстой видел, что не в его силах помочь этому горю. Кажущееся равнодушие Толстого к просьбам о материальной помощи удивляло многих, однако простой арифметический подсчет, сделанный выше, убедительно доказывает, что Толстой физически не мог иначе реагировать на эти письма.

20 сентября 1907 г. Толстой опубликовал в газетах следующее открытое письмо: «Более двадцати лет тому назад я по некоторым личным соображениям отказался от владения собственностью. Недвижимое имущество, принадлежавшее мне, я передал своим наследникам так, как будто я умер. Отказался я также от права собственности на мои сочинения, и написанные с 1881 г. стали общественным достоянием. Единственные суммы, которыми я еще распоряжаюсь, это те деньги, которые я иногда получаю, преимущественно из-за границы, для голодающих в определенных местностях, и те небольшие суммы, которые мне предоставляют некоторые лица для того, чтобы я распределял их по своему усмотрению. Распределяю же я их в ближайшем округе для вдов, сирот, погорелых и т. п. Между тем такое распоряжение мое этими небольшими суммами и легкомысленные обо мне газетные корреспонденции ввели и вводят в заблуждение очень многих лиц, которые все чаще и чаще и все в больших и больших размерах обращаются ко мне за денежной помощью. Поводы для просьб весьма разнообразные: начиная с самых легкомысленных и до самых основательных и трогательных. Самые обычные, это просьбы о денежной помощи для возможности окончить образование, т. е. получить диплом; самые трогательные, это просьбы о помощи семьям, оставшимся в бедственном положении. Не имея никакой возможности удовлетворить этим требованиям, я пробовал отвечать на них короткими письменными отказами, высказывая сожаление о невозможности исполнения просьбы. Но большею частью получал на это новые письма, раздраженные и упрекающие. Про-

бовал не отвечать и получал опять раздраженные письма с упреками за то, что не отвечаю. Но важны не эти упреки, а то тяжелое чувство, которое должны испытывать пишущие. Ввиду этого я и считаю нужным теперь просить всех нуждающихся в денежной помощи лиц обращаться не ко мне, так как я не имею в своем распоряжении для этой цели решительно никакого имущества. Я меньше, чем кто-либо из людей, могу удовлетворить подобным просьбам, так как если я действительно поступил, как я заявляю, т. е. перестал владеть собственностью, то не могу помогать деньгами обращающимся ко мне лицам; если же я обманываю людей, говоря, что отказался от собственности, а продолжаю владеть ею, то еще менее возможно ожидать помощи от такого человека».

В ответ на письмо Толстого появилось несколько карикатур. Например, «Раннее Утро» поместило карикатуру с надписью: «Тит Титыч, прочитав последнее письмо Л. Н. Толстого, немедленно объявил себя толстовцем» (изображен жирный купец, похожий на Толстого; около него стол с яствами и надписью: «Собственность жены»; около стола толпятся скелеты голодающих). Печатались фельетоны под заглавиями: «Великий барин земли русской», «Великий банкрот земли русской» и т. п. Авторы допускали резкие выпады против Толстого [1].

Особенно резки были нападки в письмах, главным образом анонимных, вскоре полученных Толстым: «Отказаться от денег в пользу своих детей — в этом нет ни малейшей заслуги и даже для простого смертного, не только для вас, человека выдающегося. Этот разлад между словом и делом вызывает недоумение, набрасывает тень на вас и на вашу деятельность» (из Лебедяни, 10 октября). «Когда вы печатаете новые произведения, то получаете гонорар? Раз вы мертвый, то не должны бы, да и графине как-то неловко драть с мертвого (она достаточно ободрала вас заживо), а на бедных эти деньги, как бы по духовному завещанию, очень бы шли» (из Москвы, 29 сентября). «Жалкий литературный хам! Вся подлая твоя хитринка разоблачена. Иуда, не прикрывайся именем Христа, а иди и удавись. Народ раскусил тебя и презирает тебя всей душой» (из Винницы, без даты).

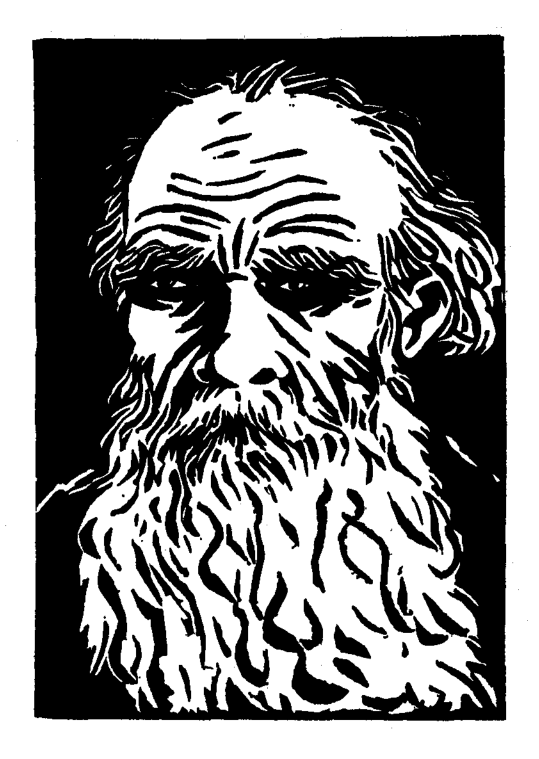
Толстому была тяжела эта брань. Он записал в дневнике 20 октября 1907 г.: «Получаю телеграммы угрожающие и страшно ругательные письма. К стыду своему должен признаться, что это огорчает меня. Осуждение всеобщее и озлобление, вызванное письмом, так и осталось для меня непонятно. Я сказал то, что есть, и просил напрасно не тревожиться и меня оставить в покое. И вдруг... Удивительно и непонятно. Одно объяснение — что им приятно думать, что все, что я говорил и говорю о христианстве, ложь и лицемерие, так что можно на это не обращать внимания».

Опубликование письма не привело к практическим результатам. За три последних месяца 1907 г. Толстой получил 180 просительных писем, в 50 из них сумма достигла 15 тысяч рублей. Год спустя Толстой вторично написал аналогичное письмо. Результат был тот же. Поток просительных писем не прекращался.

III

Анонимные письма в огромном большинстве случаев оставались без ответа. Во многих из них не давалось адреса, в других сообщался условный адрес до востребования. Характер писем со временем резко менялся. В 80—90-х годах писали, преимущественно, на принципиальные темы, по поводу того или иного вопроса, нового произведения Толстого. Писали бескорыстно, не требуя ответа, оставаясь неизвестными. Благодарили, возражали, указывали книги, которые, по их мнению, Толстой должен был бы прочитать. Корреспонденты описывали личную жизнь, жизнь общественную, обращали внимание на тяжелое положение рабочих и обездоленных, писали «от лица многих».

Изобретатель присылал свои смелые проекты, непризнанный поэт — стихи на роскошной бумаге, доморощенный философ, «не находя нигде специального учения о злом духе, осмеливался покорнейше просить разъяснить нижеследующее недоразумение: существует ли дьявол и где его место». Другой корреспондент признавался: «Вы действительно близки и дороги мне, как лучший друг, потому что ваши произведе-



Л. Н. ТОЛСТОЙ
Гравюра на дереве Фр. Мазерееля
Из немецкого издания рассказа
«Хозяин и работник», 1930 г.

ния, особенно последних лет, помогли мне разобраться в важнейших вопросах жизни и доставляли мне утешение и поддержку в трудные для меня минуты».

В анонимных письмах все вопросы заострялись. Особенно много ругали. Из года в год количество «ругательных» писем увеличивалось. Их было много в 1901 г., после отлучения, и еще больше в годы революционных волнений, когда ответственность за происходившее враги революции возлагали на ненавистного Толстого. Так, 8 ноября 1905 г. была получена телеграмма с Дальнего Востока: «Радуйтесь торжеству вашей философии, вся Россия обагрена братской кровью. Владивосток — развалины. «Солдатская памятка» действует». Черносотенцы писали: «Безумный старец, опомнись, осмотрись, что ты творишь, сколько ты ведешь с собой людей на погибель». «Великий фарисей, отец русских анархистов, ты весь свой талант употреблял на то, чтобы развращать твой родной народ. Ты валил все, что ему было дорого и свято». Черносотенная мелкота потешалась грубой руганью. Наивные провинциалы обращались с курьезными просьбами, например, с просьбой о поддержке военного флота. Другие просили обратиться к народу с речью, чтобы прекратились беспорядки, которые наруку японцам, просили писать против социалистов.

С другой стороны, находились люди, которые требовали: «Не медлите, откликнитесь. Не угашайте духа. Обличите негодяя Трепова в его приказных словах: «Патронов не жалеть». Кровь льется. Власти патронов не жалеют по приказу человеконенавистника, негодяя Трепова. Да будет он, Трепов, проклят!». Многие просили Толстого своим авторитетом поддержать перед правительством революционные требования общества.

Приводим два образца «ругательных», угрожающих писем:

«С новым годом, любимый друг Вельзевула!!! В этом году я окончил курс народной школы. От своего учителя я часто слыхал, что на земле уже появился в твоем лице антихрист. В доказательство этого он приводил факты твоей необыкновенной порочности, присущей только антихристу. По словам моего бывшего учителя, ты превзошел всех грешников мира. Ты — еретик, превзошедший всех еретиков, и сам дьявол не может сравниться с тобой по гордости. В безумной гордыне ты дерзнул написать свое евангелие, отвергаешь все таинства и все христианские церкви. Ты по той же

гордыне отвергаешь литературу, науку, искусство и называешь людей, занимающихся ею, паразитами. Литературу гораздо лучших тебя писателей называешь никуда не годной трухой и себя, следовательно, превозносишь очень высоко, и этим доказал, что своего любимого друга Вельзевула превзошел в гордости. Уязвлен, уязвлен твой друг.

Ты хитер, это видно из того, что, проповедуя отречение от собственности, сам имеешь миллионы, которые увеличиваешь своими подпольными сочинениями. А чтобы прикрыть такой разлад между словом и действительностью, ты отписал свое имение жене, которую не обратил в свое антихристовское учение, считая это очень, очень невыгодным для себя. Для прикрытия своей алчности, жадности и необыкновенной скупости ты выдумал, что раздавать деньги бедным — зло и что лучше их оставить у себя. Да... это очень выгодно! Ты — антихрист, это видно из того, что даже старость тебя не коснулась. Когда тебя просят бедные крестьяне о помощи, то ты убегаешь от них с такой быстротой, что видящие в это время тебя принимают за быстроногого Ахиллеса. Кроме того, мне снилось, что ты имел состязание со злыми силами ада и что ни одна не могла сравниться с тобой по быстроте бега...».

5 декабря 1897 г.

Милостивый государь Лев Николаевич. Ваши произведения «Война и мир», «Анна Каренина» возвысили вас в степень первоклассных писателей не только у нас на Руси, но и за границей, но последующие ваши произведения, как «Крейцерова соната» и остальные, умалили ваш талант. Когда же вы взялись за богословие, образовав какую-то пошлую секту, проповедуя безначалие, вы доказали, что вы — не сын своего отечества и как зловредный человек для общества и малодушных подражателей вам. А потому мы, старые коренные дворяне и в том числе орловские, делаем вам предостережение и, давая срок вам одуматься до января будущего 1898 года, в случае же вы будете продолжать свое пошлое направление, то мы будем принуждены вас исторгнуть из общества, как негодную траву из поля вон. Тогда дни вашей жизни будут непродолжительны, мы поступим с вами, как со звероподобным человеком, и не пожалеем жизни. Ваши доброжелатели N, N, N, N.

IV

Особого внимания в архиве Толстого заслуживают письма интимного содержания (среди них часть — анонимные). Личная жизнь, затаенные мысли, скрытые от постороннего взгляда, в этих письмах обнажены до предела. В неподдельных человеческих документах, кровью написанных, раскрывалась перед Толстым человеческая жизнь. Именно от Толстого она требовала ответа.

Содержание этих писем разнообразно. Среди них попадаются и комические документы, вроде печатаемого ниже нелепого послания купеческого сынка, и трогательное поздравление «Катюши Масловой», и, наконец, потрясающие письма о человеческом горе, распаде семьи, личных трагедиях, вызванных господством собственнической буржуазной морали. В этом смысле «личные» письма приобретают значение историко-бытовых документов.

Толстой отвечал на многие из этих писем. Если нам, современным читателям, некоторые его ответы могут показаться слишком лаконичными, холодными, то на самих адресатов они, несомненно, производили огромное впечатление, несмотря на нередко содержавшиеся в них типично «толстовские» советы смириться, «простить», поступить «во имя добра».

Самый факт ответа, участия Толстого, величайшего авторитета, во многих случаях, вероятно, решал судьбу писавших ему.

Приводим несколько образцов писем:

[Без даты]

Милостивый государь, зная ваше хорошее понятие о религии, я прошу вас, что вы мне скажете на мой вопрос. Вопрос следующий. Вероисповедание мое православное, и шестнадцатилетним, даже пятнадцати с половиной, я первый раз сделал соитие,

и сделал с молоденькой девушкой, которую я значит нарушил. По прошествии нескольких месяцев она родила, но, боже мой, сколько хлопот было. По прошествии еще нескольких месяцев еще родила, следовательно, двое детей, а мне только восемнадцать лет минуло с настоящего месяца. Следовательно, по уставу церкви, я только еще могу перевенчаться. Один из младенцев скончался, другой находится болен, и я думаю, что ежели помрет, то и хочу дать ей деньжонок и, как бы сказать, рассчитаться с ней, но, обращаясь к попам, те советовали перевенчаться, а как она бедная, то я не совсем согласен перевенчаться. Но я состою купеческим сынком, и все-таки у меня есть мнение, чтобы перевенчаться, но не знаю, что сделать, и прошу вас, будьте настолько добры, напишите мне, как спаситель мира учил делать, которые находятся в таком положении. Если милость ваша будет дать ответ, то напишите в редакцию «Саратовских Губернских Ведомостей», следовательно, так вы напишите в редакцию письмо, в котором будет мне ответ, а редакция напечатает в газету, так как я состою подписчиком этой газеты и могу прочитать касающие до меня корреспонденции. Неизвестный вам.

Так и напишите: Неизвестному.

Царицынский купеческий сын, но проживаю в настоящее время в Дубовке по случаю ярмарки.

Прошу вас мое письмо, как только прочтете, или даже нет, то сейчас истребите его, либо сожгите, либо изорвите. Слишком неприятно мне самому; я об этом никому не говорил, только вам открылся. Прошу убедительно никому не показывать, слишком совесть мучает при таких летах иметь незаконную жену и двоих детей. Слишком тошно перед людьми и богом. Пожалуйста, прошу дать ответ, что мне делать и как лучше жить. Мне ужасно хочется узнать, какое мнение будет у вас относительно меня и что я плохо сделал или сделаю.

4 октября 1899 г. [почт. шт.]

Ваше сиятельство, умоляю вас ответить печатно и немедленно, как, по-вашему, должен был бы поступить Нехлюдов, если бы он был уже женат.

Дело в том, что зять мой до появления вашего романа сошелся с няней своего ребенка, которая теперь родила. Теперь же, под влиянием вашего романа, он считает себя обязанным взять ее к себе, поселить в отдельном флигеле (они живут в деревне), одним словом, устроить на глазах жены другую семью. Вы поймете, как от этого страдает дочь моя. Она хочет уйти, но муж не дает ей сына, которого она боготворит. В конце концов дочь не выдержит этой пытки, тайком увезет сына и уйдет, но ведь она совсем молодая женщина и без всяких средств; что, если она сделается Катюшей Масловой? Нехлюдовых на Руси много и подобных драм не мало. Ответьте же, ответьте, учитель, на крик матери и жены, что нужно сделать в таком случае.

Имеет ли муж нравственное право ценою здоровья и спокойствия жены успокаивать свою совесть?

3 сентября 1908 г. [почт. шт.]

Дорогой дедушка! Прими поздравление[2] и Катюши Масловой. Дай боже, чтобы ты был здоров и жил еще долго, долго. Я этого тебе желаю потому, что люблю тебя, благодарна тебе за то, что ты, высокопоставленный граф, не постыдился меня пожалеть. Ты прав: совесть и горе не затопить вином, и человек, как бы ни был унижен, всегда будет человеком. Слезы у меня льются святые, читая в газетах поздравления тебе. За тебя я обнимаю тех, кто тебя понял и ценит. Я не пьяна. Прости мою болтовню: она нескладная, но что можно требовать от Катюши Масловой.

[Декабрь 1908 г.]

Дорогой Лев Николаевич, пришлите, пожалуйста, моей сестре Кате немножко денег. Она училась в университете в Москве, а потом ее посадили в тюрьму. Потом ее выпустили, и она приехала домой, а мама и папа и в комнату ее не пустили и сказали, что они ее прокляли и чтобы она и не приходила никогда. Катя ушла и потом заболела, а теперь лежит в больнице. Теперь она скоро выпишется, и у нее ничего, ничего нет, даже шубы,— а уже снег. У нее нет здесь знакомых, потому что раньше мы жили в Екатеринославе, а в Полтаве мы недавно. И я боюсь, что Катя умрет

с голоду, потому что она гордая. Я это сегодня придумала вам написать, потому что мама, еще когда Катя не в тюрьме была, все с ней о вас говорила, и теперь говорит: это вы виноваты. А это неправда. Катя вас любила,— значит, вы хороший. А когда Катя уезжала, она подарила мне вашу карточку, и я ее всегда ношу в гимназию и получаю одни пятерки, а один раз получила двойку, — так то несправедливо: я урок знала. Так вы, пожалуйста, пошлите немножко денег; если у вас нету, так вы достаньте где-нибудь. Я вам отдам, когда сделаюсь доктором. Так вы, пожалуйста, пришлите к 10 декабря, а то у Кати даже ничего нету. А потом она уедет в Екатеринослав, и у нее будут уроки. А я ей не скажу, что это вы прислали. Так вы, пожалуйста, пришлите, а то она 12 декабря выйдет из больницы.

До свиданья. Пришлите ответ.

Я учусь в приготовительном классе.

Любящая вас

29 сентября 1901 г. [почт. шт.]

Как это понять, что люди, отрицающие дома терпимости, отрицающие с ужасом и отвращением необходимость правильного посещения этих домов, у себя дома заводят хуже дома этого! Почему, не допуская мысли необходимость разврата, сами не могут обойтись без того, что, невзирая ни на какой протест, пользуются своей женой, как проституткой? Да, именно так, как проституткой. Иначе и нельзя назвать этого, если муж говорит целый день об ее дурном характере, об ее непонимании его, об ее дурном влиянии на детей и на его жизнь, клянет минуту, когда стал жить так, т. е. с ней, и потом ночью является и, несмотря ни на какой протест, пользуется ею,— как можно назвать это? Как понимать такую жизнь? Неужели это семья, это законный брак? Законный потому, что я не имею права распорядиться собой...

Дорогой Лев Николаевич, напишите вы об этом, вы сумеете вселить в сердца таких людей, что надо жить иначе не только днем, но и ночью. Ведь вас послушают, поймут. Ужас положения женщины, десять и пятнадцать, двадцать лет под ряд рожающей, кормящей без перерыва и отдыха, да еще в это время без перерыва служащей мужу для его похоти. Я пишу так не потому, что я не люблю своего мужа или люблю другого человека (даже писать противно). И мужа и детей моих люблю. И не потому, что не хочу рожать и выхаживать детей, а потому, что хочу делать это разумно, как все твари земные это делают, а не так унизительно, гадко. Ведь это так верно, Лев Николаевич, я чувствую, что от этого зависит многое в отношениях людей. Так объясните же людям весь ужас такой жизни! Только скорее, скорее, сил больше нет терпеть!

30 августа 1908 г.

Глубокоуважаемый граф Лев Николаевич, давно хотела к вам обратиться за советом, да не решалась, боясь вас беспокоить. Я дочь полковника, помещика Петербургской и Новгородской губерний. С семи лет лишилась матери; отец тогда занимал место земского начальника. Меня отдал на год к соседям, сам в это время сошелся с одной крестьянкой, замужней женщиной, и меня через год взял к себе. Одновременно к нему приехал его пасынок двадцати одного года. Я осталась на произвол судьбы — присмотра никакого. Пасынок его стал со мной играть половыми органами, но не изнасиловал меня. Он же заставил меня, восьмилетнего ребенка, вытащить от отца деньги, как после оказалось, около ста рублей. Отец его за это выгнал. Одиннадцати лет я поступила в гимназию (но ее не кончила), а двенадцати лет отец меня изнасиловал и жил со мной до 1907 г., т. е. до моего совершеннолетия. Я ничего не могла сделать, родные знали, но никто не хотел вступаться. Не буду говорить о том, что нравственно переживать мне пришлось много. Я никогда не любила своего отца, я его боялась,— по натуре он очень груб. С ним духовного такого, хорошего никогда нельзя было разделить, он никогда не приласкал меня по-хорошему. В 1905 г. у меня родился ребенок, которого он в Москве отдал в московский воспитательный дом. О рождении ребенка никто не знал, ибо я была в секретном отделении. После родов я поселилась в имении Петербургской губернии и жила одна, присматривая за управлением хозяйства... Отец мне стал писать грубые письма. Я решила подать в петербургский окружной суд. В данное время уже много допрошено свидетелей, которые

показали в мою пользу. Из всех моих родственников вступилась только моя тетка (сестра отца) и ее дети.

От многих слышала, что отец в данное время очень страдает. Мне его стало жаль. Ведь ему шестьдесят восемь лет. Он воспитывался в Пажеском корпусе, жил все время хорошо и вдруг — каторга. Мне казалось, что, когда я подам, мне будет легче, и теперь убедилась, что легче мне от того не будет. А он, быть может, за это время перестрадал больше даже, чем я за все года. Его могут скоро арестовать. Граф, а ведь я могу спасти. Отказавшись от заявления, мне грозит прокурорским надзором шесть месяцев отсидеть в тюрьме. Ведь я моложе его, могу легче это перенести...

Что мне делать, дайте совет, граф. Мне тяжело; в душе я ему простила. Уж что прошло, того не воротишь. У меня есть тетрадь, где я всю свою жизнь подробно описываю, вам же пишу кратко,— вы ведь и так поймете. В монастырь мне больше не хочется, там нет ласки такой, простоты, которая должна существовать, по-моему, среди сестер. Граф, ответьте мне на письмо, дайте мне совет, как поступить с отцом, да и в жизни чем мне заняться. Я сейчас живу в Петербурге у двоюродного брата.

Толстой ответил на это письмо немедленно по его получении. 2 сентября 1908 г. он писал [3]:

Мой совет: отказаться от обвинения и простить, но до тех пор, пока не придет старость или болезнь, не видаться с ним и не иметь личных сношений — свиданий. От всей души соболезную вам и желаю утешения, которое можно найти только в исполнении христианского учения любви.

15 октября 1909 г.

Глубокоуважаемый Лев Николаевич, мир и многие лета!

Давно колебался, как мне быть — обратиться ли мне к вам за советом. Вас, я знаю, так много беспокоят, а между тем вам нужен покой,— но что же было мне сделать, когда я сознаю, что только ваш совет облегчит меня и послужит путеводной для меня звездой. Ваше здоровье, поверьте, для меня так дорого, так дорого, но я

КАРИКАТУРА ХУДОЖНИКА СОКОЛОВСКОГО ПО ПОВОДУ РАССКАЗА ТОЛСТОГО «ХОЗЯИН И РАБОТНИК»

все же решил потревожить вас, дабы выслушать совет того, чье слово для меня будет выше закона. Посоветуйте же, Лев Николаевич, и удостойте меня вашим просвещенным ответом.

Я студент Киевского университета, еврей, юрист, в мае кончаю. Этим летом я возымел намерение жениться на образованной бедной девушке. День венчания был назначен на 7-е августа. Моей радости не было границ: мне казалось, что я нашел счастье — чистую, невинную девушку. Но вдруг, о ужас! — узнаю, что она год была в сношениях с одним молодым человеком. И от кого узнаю? — от того же молодого человека, моего бывшего ученика. Узнал я за три дня до венчания. Родители невесты разорились на приготовления к свадьбе, а тут... Я мог по телеграфу отказаться от всего, так как имелись неопровержимые доказательства преступной связи моей невесты с этим молодым человеком; но какое несчастье было бы для моей невесты — девушки, которую я так горячо любил самой чистой любовью! Какой ужас, какой позор! Она бы этого не пережила! И я решил жениться на ней, чтобы снять с нее пятно ее прошлого, но потом развестись, если она не признается и не выразит раскаяния до...

Я ждал, я думал, что она окажется честной и покается в грехах, но — ничуть не бывало. Когда я после... высказал свое мнение, что она не девственница, она клялась в невинности и даже пожелала, чтобы ее дочери были такими невинными. Тогда я ей подал письмо того молодого человека — письмо, в котором тот ей напомнил обо всем греховном прошлом. Запираться больше нельзя было, и она призналась.

С тех пор червь кошмарных мыслей и воспоминаний грызет меня, и я не могу быть спокоен, не могу примириться с мыслью, что моя жена, ради которой я отказался от богатства, от почестей, так грешила до брака да еще хотела скрыть от меня, обмануть меня. Полный решимости развестись с ней, я ее оставил в Одессе у ее родителей, а сам уехал к себе домой. Уже пять недель я терзаюсь муками ада и не знаю, как быть. Временами мне кажется, что я еще сумею быть с нею счастлив (я ее люблю — она так очень хорошая, добрая), но порой мне кажется, что порок должен быть наказан, а между тем она грозит самоубийством.

Как же мне быть, великий учитель мудрости и высоких идеалов? Укажите путь — я по нем пойду в уверенности, что этот путь самый лучший. Если бы ваш просвещенный совет и не принес мне счастья внешнего, то внутренно я буду удовлетворен, так как для меня не будет и капли сомненья, что из двух зол вы мне указали меньшее. Советуйте мне, глубокочтимый Лев Николаевич! Ваш совет я буду чтить свято и нерушимо, каков бы он ни был, и день получения от вас ответа и совета будет самым памятным днем в моей жизни. Я же всю жизнь буду молить господа бога, да ниспошлет он вам многие лета на радость всему человечеству.

Толстой ответил на это письмо 21 октября 1909 г. Он писал:

Ничего не могу советовать. Не то, что не хочу, но не могу. Начал было писать, но бросил. Все зависит от вас, от степени вашей любви к добру, к богу, а не к себе.

Черновик письма, зачеркнутый: То, что нравственно... Одно [могу] советовать: решайте не во имя своего счастья, но во имя добра — бога.

8 октября 1908 г.

Многоуважаемый Лев Николаевич. Обращаюсь к вам с великой просьбой, с уверенностью в вашей готовности помочь страждущему, что вы мне не откажете в совете.

Я замужем тринадцать лет, имею двух детей, девочку двенадцати лет и мальчика шести лет. Вышла замуж по любви, любила сильно, чисто — так, как нужно любить, любила даже с недостатками, которые бывают в каждом человеке. Работала за себя и, насколько в силах была, помогала мужу, временем не манкировала, тратила на себя самое необходимое, хотя было из чего и тратить больше. Мне все казалось, что я мало работаю, хотелось подвигов совершать — подвиги с малыми детьми и хозяйством не совершались, и приходилось довольствоваться семейной тихой жизнью. И то ладно. По семейным обстоятельствам из деревни мы переселились в город и живем вот уже год вместе с моей матерью и сестрой двадцати трех лет.

Недавно я узнала, что муж мой живет с моей сестрой. Меня это поразило

ужасно. Я рыдала, целовала его ноги, просила сказать мне правду — зачем обманывать; если любит ее, то зачем же меня обманывать, пусть скажет — и я уйду. Он на то мне ответил, что он ее не любит, меня называет святой — чистой, что с нею живет так себе, потому что гадкий человек, что мне уходить не надо, но если я сама уйти хочу, то он меня не держит, и если я его люблю, то пусть буду любить такого, какой он есть. Сестра тоже призналась, что играла только в любовь, а любить серьезно — не любит и что постарается прекратить; муж то же самое обещал. Но я вижу, что у них продолжается по-старому, и, живя в одном доме и в тесноте, мне приходится на каждом шагу наталкиваться на ихние интимные свидания. И я несказанно страдаю еще потому, что мне потом приходится принимать ласки мужа,— когда то не пожелается сестре; не принять его ласк — боюсь толкнуть его еще на худшее. В доме никто ничего не знает, и не скажу, — они не могут мне помочь, я это вижу и чувствую. Не могу дать себе совета. Уйти? — а чем прокормлю я детей своих (девочка поступила в этом году в гимназию), и хорошо ли я сделаю, лишивши детей отца? Умереть? — а дети? Жить вместе и терпеть? — тоже не знаю, хорошо ли это, а может плохо. Целый день и всю ночь все думаю и думаю и страдаю, и опять думаю и не знаю, на что решиться. Муж тоже, как видно, страдает, но причину его страданий я не знаю — не говорит; да, вообще, мы теперь стараемся не касаться этого вопроса. Нравом он тихий, не мот, флегматичный.

Ваше учение — не противиться злу. Но не могу разобраться, применимо ли то к данному случаю. Ради всего для вас святого, умоляю, посоветуйте, что мне делать, как поступить. Я верю вам, ваше слово для меня законом будет. Что вы мне ни посоветуете, я чувствую, мне не трудно будет исполнить. Я ничего не предприму, пока вы мне не ответите. Ваш совет будет для меня милостыней, которую вы всегда жаждете подавать бедным. Может, я на ваш взгляд не бедная,— во всяком случае разъясните мне то; это будет также милостыня. Молю к вам помочь мне. Пока жива буду, буду молить бога о вашем здоровье. Уважающая вас больше всех на свете.

Ответ Толстого от 23 ноября 1908 г.:

Давно уже получил ваше письмо и очень сожалею о том, что до сих пор не успел ответить на него. Положение ваше очень трудное, и я всей душой сочувствую ему. Мой совет в том, чтобы, продолжая с добротой относиться к мужу, высказать ему всю естественно испытываемую вами тяжесть вашего положения и, главное, прекратить с ним супружеские сношения. Если бы у вас не было детей, то вам не только можно, но и следовало бы оставить мужа. При теперешних же условиях вы связаны с ним, и эта ваша страдальческая жизнь, если только вы будете нести ее с кротостью и в целомудрии, должна будет, по всем вероятиям, заставить опомниться и его и вашу сестру. Желаю вам силы душевной для перенесения вашего испытания и уверен, что как ни тяжело ваше положение, оно обратится в благо и вам, и вашему мужу, и вашей сестре, если вы будете нести его с кротостью и любовью.

V

Многочисленные отклики на «Крейцерову сонату» непосредственно примыкают к интимным письмам. Появление «Крейцеровой сонаты» современники сравнивали с землетрясением. Задолго до опубликования, это произведение, распространявшееся в рукописных и гектографированных списках, стало известным всему миру: Толстой внес смятение в умы остро поставленной половой проблемой. Известны случаи, когда под влиянием «Сонаты» рушились браки, невесты отказывали женихам. Близкий знакомый Толстого, Г. А. Русанов, красочно описал, как «Крейцерова соната» была встречена в Воронеже; такой же переполох она произвела, разумеется, не только в Воронеже. Приводим выдержки из этого письма Русанова, написанного в марте 1891 г.:

«Из всего слышанного мною из первых и вторых рук я вывел такое заключение: «Соната» чрезвычайно задела всех, как обухом по голове треснула. Прения

идут ожесточенные; есть и согласные, защитники, есть и несогласные, противники. Наиболее согласных между женщинами. Общий отзыв о «Сонате» таков: «Сильно, очень сильно!..». Некоторые женщины говорят, что плохо спали ночь после первого чтения. Тридцатипятилетняя богатая девица, бывшая курсистка, прервала чтение «Сонаты» на вечере у моей свояченицы следующим энергическим восклицанием: «Не верю, чтобы мужчины были так развратны! Если б я убедилась в том, что они такие мерзавцы, я бы их на порог не пустила к себе!».

«Да,— заметил мне недавно девятнадцатилетний юноша, готовый согласиться с «Сонатой» и почти уже согласившийся,— до сих пор девицы ничего не знали о мужчинах, теперь узнают, каковы...». Некий желчный молодой человек, лет двадцати семи (впрочем, кажется, добрый), пришел в азарт по выслушании мнений Позднышева о материнской любви к детям и стал кричать: «Я убью Толстого, поеду и убью его! Как он смеет проповедывать такие жестокие мнения!». Брат его начал спорить, защищать «Сонату», спор окончился ссорой. Недавно брат, защитник «Сонаты» (тот девятнадцатилетний юноша, о котором я упомянул выше), говорил мне, что никогда не говорит теперь с старшим братом о «Сонате», во избежание новой ссоры. Несколько смущенный «Сонатою» пожилой, важный и либеральный доктор (очень хороший человек) по прочтении «Сонаты» сказал мне следующее: «Это все правда, что говорит Позднышев о докторах... это все правда, но только относительно московских докторов: они действительно негодяи, но слова Позднышева не могут относиться ни к провинциальным, ни даже к петербургским врачам». Мнение, как видите, довольно курьезное. Мужчины — противники «Сонаты» — никак не могут примириться с идеей о прекращении рода человеческого... Вызванное «Сонатой» в Воронеже возбуждение так велико, что здесь появились даже стихи, сочиненные каким-то, как говорят, местным поэтом...

На шестой неделе поста в воронежском Дворянском собрании был литературно-музыкальный вечер. Главной приманкой его была бетховенская «Крейцерова соната», которую исполняли одна учительница музыки и скрипач из оркестра. За несколько дней до концерта произошел такой курьез. Есть в Воронеже некий доктор-акушер, пожилой, разъевшийся, несимпатичный еврей. Узнав, что в концерте будут исполнять «Крейцерову сонату», акушер пришел в такое негодование, что в разговоре с моей знакомой стал кричать: «Этого нельзя допустить, нельзя! Ее (т. е. «Крейцерову сонату») сжечь, сжечь надо!».— «Да ведь это Бетховена, не Толстого, это музыка»,— возражала знакомая моя.— «Все равно, все равно этого нельзя допустить... Бетховенская «Соната» будет наводить мысли на толстовскую!». Засим (как выражается ваш адвокат) разобиженный акушер объявил, что примет все меры к тому, чтобы не допустить исполнения «Сонаты» в концерте. Несмотря на все настояния акушера, «Соната» не была исключена из программы. В день концерта произошел новый курьез. Пронесся откуда-то появившийся нелепый слух о том, что приедете вы и — по одной версии — что-то прочтете в Дворянском собрании, а по другой — будете играть «Сонату». Нашлись, говорят, и такие, что верили».

Смятение было повсюду. Снежный ком разрастался. Публичные чтения «Крейцеровой сонаты» запрещались, и тогда усердно стали исполнять в концертах бетховенскую «Крейцерову сонату».

В Америке против «Крейцеровой сонаты» восстали Общество для уничтожения безнравственности и преступлений, а также Общество содействия наказанию преступлений по безнравственности и порочности; министр почты запретил пересылать ее. Критика недоумевала. Всех потрясли, поставили втупик необычность, парадоксальность основных мыслей повести. Успех переходил в сенсацию. Появилось даже несколько произведений в ответ на «Крейцерову сонату». Вот несколько названий: «Конец «Крейцеровой сонаты» Льва Толстого», «Ее «Крейцерова соната». Из дневника г-жи Позднышевой», «Грошовая соната», «Не убий!», «Из женской жизни. По поводу «Крейцеровой сонаты», «Cis-mol соната». Даже сын Толстого, Лев Львович, вступил в полемику с отцом, написав «Прелюдию Шопена».

Понятно, что и лично Толстому особенно много писали именно о «Крейцеровой сонате». Ни одно произведение не оставило в его архиве такого количества откликов,

как это. Одни обсуждали «Крейцерову сонату», другие, потрясенные ею, рассказывали о своей личной жизни. Писали, главным образом, женщины, почти всегда без подписи. Женщин особенно задела «Крейцерова соната». Веками накоплялись противоречия, вызывавшиеся уродливым положением женщины в обществе. Требовали разрешения житейские конфликты. И вот наметился какой-то выход. Писали тому, кто смело и остро поставил наболевший вопрос, надсмеявшись над тем, что принято было уважать.

Из огромного количества писем, связанных с «Крейцеровой сонатой», приводим несколько образцов:

[Без даты]

Граф Лев Николаевич! Человек я очень маленький, и разве только лета мои да целая куча пережитых страданий дают мне право на обращение к вам. Дело в том, что только сегодня мне удалось достать и прочитать вашу «Крейцерову сонату»...

Читая ее, жалела только о том, что она вышла теперь, а не двадцать лет тому назад; эгоистично жалела, ради себя. Я бы не разломала тогда так глупо свою жизнь из-за пустого, ревнивого подозрения, я бы остановилась во-время. И думаю я, что эта вещь — чисто педагогическая, потому что она заставляет дух перерастать плоть. И хочется мне, теперь уже матери и бабушке, избавить детей моих от тех роковых, гадких ошибок, которые делала я.

Вот я и решилась писать вам и просить у вас подарить мне один экземпляр этой «Крейцеровой сонаты», чтобы сделать из нее настольную книгу моих детей. Купить ее нет возможности; достать можно только на день, много два. Человек я небогатый, живу трудом и содержу семью дочери, вышедшей замуж за студента, которому некогда работать, потому что надо учиться. Знаю я, что моя просьба очень дерзка. Но вы уж как-нибудь простите мне это и не откажите в ней. Что же делать, если ваша «Соната» перевернула всю мою сорокапятилетнюю душу?.. Если нельзя этого сделать, вы, может быть, укажете мне, как и где ее можно купить. Искренно говорю, что мне легче не обедать неделю, чем отказаться от вашей «Сонаты»... И если бы знали вы, как горячо молилась за вас душа моя, когда вы обнажили ее передо мною в этой «Сонате»! Как сползало с нее все греховное, прежнее, все, что бессознательно портило жизнь и мне и моим близким. О Лев Николаевич! Нужна мне ваша «Соната», нужна, нужна и нужна! Спасибо вам, спасибо, спасибо!

[Без даты]

Несколько раз я перечитывала вашу «Крейцерову сонату», и она всегда на меня производила такое тяжелое чувство, хотя я и не считаю себя в числе слабонервных барышень, что я не могла иногда заснуть по нескольку ночей под ряд. Это было еще года два тому назад. Долго она не попадалась мне в руки, но вот как-раз я полюбила,— я буду откровенна, позвольте,— стала его невестой, и я напала на нее. Что он высоконравственный и хороший человек, знаю и я и мои родители. Знаю его и его семью с девяти лет. Но, когда опять я прочла «Сонату», подумала о том, что̀ может быть после,— наша свадьба отсрочена на год, когда он будет совершеннолетним,— то мне стало невыразимо тяжело. Неужели это правда, неужели нет чистой любви, неужели нет? Что же это? Неужели все, все так? Он прекрасно пишет, массу читал серьезных хороших книг; я сама, как говорят, не по летам много читала. Хотя и у него и у меня хорошие средства, мы хотели трудиться: он писать, — за ним все признают бесспорный талант (он не печатает еще и ни за что не хочет), я хотела всеми силами помогать ему, и потом, — не смейтесь, я говорю правду, — я хотела сделать для театра все лучшее: помогать и артистам в их нуждах, выдвигать таланты, возобновлять хороший, классический репертуар, вообще я страстно люблю театр, хотя и не профессиональная актриса. И что же? Если нет чистой, хотя и супружеской, любви, если мужу нужна не помощница,— мы вместе

хотели добиться цели по мере сил,— а только женщина, самка, тогда выйти замуж нелепо, а не любить, вы поймите, в восемнадцать лет нельзя. Все, о чем мы мечтали, все наши планы, мысли, все сводится на то, что это чувственность. Тогда не стоит жить, ведь сколько придется вынести столкновений, сколько жажды жизни. Нет, не от малодушия хотела бы я умереть, а потому, что все, что кажется хорошим, чистым, все это только декорация для чувственности, все гадко и дурно. Ради бога, Лев Николаевич, объясните, неужели это все правда? Знаете, я так дорожу этой любовью и так боюсь разбить и волину жизнь и свою! Я целые ночи не сплю, думаю над каждым словом, все думаю, что я понимаю не так. Но я говорила со многими людьми, за которыми упрочилась репутация хороших и, главное, умных, и ни от кого ни толку, ничего. Кто говорит: рано знать. Да как же рано, когда я объявлена невестой? Я с ума схожу, я не знаю, что и думать. Ради бога, помогите мне разобраться, я совсем запуталась. Простите, ради бога, что я вас беспокою, но только вы и никто другой не сможет меня спасти, именно спасти, потому что раз ничего хорошего нет, все гадко и грязно,— жить нельзя женщине. Еще простите грязное и бестолковое письмо,— от волнения руки дрожат. Ваш ответ, если вы только захотите меня спасти, решит мою жизнь.

4 сентября 1891 г.

Нет, Лев Николаевич, неверно, страшно фальшиво говорит Позднышев. Не могу я высказать, не умею, нет у меня таланта вашего и даже просто слов нехватает оспаривать вас. До слез обидно и хотелось бы доказать противное. Вспоминаю свою молодость. Мне было шестнадцать лет в 1876 г., когда я кончила гимназию. Сравнительно с теперешними девушками, я была глупа, т. е. «мало читала» и ничего не знала из естественных наук. Читать нам ничего не запрещали, хоть мать и отмечала в каталоге книги негодные и хорошие... Как мы зачитывались «Войной и миром»! Много раз после найдешь, бывало, открытый том хоть посередке, начнешь читать и не отстанешь, пока опять не прочтешь до конца. Увлекались «Пугачевцами», «В лесах», «Анной Карениной» — везде, где есть любовь, любовь идеальная, чистая, любовь сердцем. И мы не знали, нам никто не разъяснял, что нет такой любви сердцем, что по физиологии это совсем не то...

По праздникам собиралась молодежь, мы читали, обсуждали, спорили, но ни у одного из наших посетителей не повернулся бы язык прочесть нам, девушкам, хотя бы вашу «Сонату». Скоро я полюбила одного из наших старых гостей (тридцати двух лет), полюбила опять-таки сердцем, всем сердцем, всею страстью, как и он меня! Именно эта любовь сердцем была для меня дорога, и, если бы мне кто-нибудь доказал, что любовь его была жажда женщины,— пожалуй, этого довольно было бы, чтобы я разлюбила, перестала уважать моего жениха... Месяц до свадьбы прошел, понятно, в миловании, страстных ласках, и (бросаю опытный взгляд назад) и если бы не благоразумие жениха, я могла бы «пасть», и (прибавляю теперь) это было бы вполне естественно и нравственно, хотя и не так на это смотрит свет, признающий нравственною брачную ночь! Вот где разврат, эта медовая ночь и медовое утро с поздравлениями и любопытными взглядами. Надо много бесстыдства за одну ночь приобрести, чтоб равнодушно, не конфузясь, переносить поздравления. Через тринадцать лет стыдно вспомнить.

Я еще продлю это маленькое отступление, чтобы рассказать вам чувство женщины в брачную ночь. Как я уже писала, я любила жениха до самозабвения и если бы «пала» в порыве ласк и страсти обоюдной, то все было бы этим скрашено, вызвано, а потому естественно и необходимо. Но тут? Я целый день была занята укладкой вещей, пригонкой платья, узкими ботинками. Потом поздравления, потом пастор, для чего-то явившийся (хотя я и венчалась в православной церкви), разозлил, потом домой приехали. Тут только разок меня охватило радостное чувство, как на картинке «Enfin seuls»; весь же день не видала жениха, даже и очень мало о нем думала. Муж усталый, чуть не больной от хлопот и возни,— ему бы спать лечь часов на двенадцать самое лучшее, а тут, хочешь не хочешь, иди к молодой

жене. Молодая же жена, легши в постель, почувствовала под простыней клеенку (заботливо положенную любящей матерью), и этого довольно было. Меня охватило такое гадостное чувство, за которое еще и теперь стыдно перед мужем. Спрашивается, что это за ночь, что это за поздравления? Я знаю девушку, вовсе не наивную, страшно любившую жениха, которая убежала в первую ночь,— так ей показалось все грубо, не согласно с мечтаниями. Потом вернулась, конечно, и имеет ребенка. Она говорит, что жениху дочери расскажет и предупредит. Я тоже. Мужчина, го-

ИЗ ИЛЛЮСТРАЦИЙ К РАССКАЗУ «СМЕРТЬ ИВАНА ИЛЬИЧА»

Рисунок И. Е. Репина, 1893 г.

Толстовский музей, Москва

ворят, совсем иначе на это глядит. Но женщина только тогда может найти удовлетворение в этом акте, когда он происходит в порыве любви,— тогда в любимом человеке, как в своем ребенке, ничего нет гадкого, брезгливого. Иначе бррр.

На этом я остановлюсь. Что вы и писатели другие делаете с нашими девушками? Не давать им читать книг и газет невозможно — сами возьмут, чтоб не сказать, что они не читали такого-то критика о «Крейцеровой сонате» или об атавизме у Золя! Подумайте, теперь девочка шестнадцати-семнадцати лет понимает «Крейцерову сонату», да еще смело говорит, что, по ее мнению, так-то и так-то, а двадцати одного года офицер или гимназист оспаривает и объясняет, почему его мнение иное, и доказывает «фактами». Они же уверяют, что знают, что любви с е р д е ч-

ной нет, любовь это — половое влечение, и пр. и пр... Девушка теперь выйдет замуж за мужчину, который, прежде всего, был ей противен, потому что она по анатомии знает все гадости на его теле, а по «Толстому» — все мерзости его жизни и похождений. Где же может быть любовь и доверие?

За что же отняли у девушек все в жизни радостное, ожидание счастья? Отчего им жизнь так скучна? Кто же виноват, что нет теперь семьи? Сами вы ее разрушаете, развращая девушек раньше времени. Есть еще и теперь порядочные мужчины, которые и рады бы взять жену, но тоже ведь, почитавши вас, страшно станет... Вот и остаются бедные девушки в девках старых. Учат науки, музыки и бухгалтерии и уверяют себя, что они выше нас, наседок. Пустяки! Случись хоть поздно выйти замуж да народить ребятишек — все бросит, все забудет для дома и детей, и тогда ее жизнь будет полна, и никакие глупости не придут в голову.

Неужели же лучше отнять у нас все иллюзии, которые дают нам счастье, помогают нам сжиться с человеком, простить ему прошлое, верить в возможность прожить дружно, любовно, крепкой семьей до конца дней? Если возможно будущим мужчинам сделаться лучшими, чистыми — чего лучше, всякая девушка будет с таким счастливее. Но пока? Когда выучили девушек видеть насквозь все гадкое прошлое и отвратили ее тем от мужчины — лучше ли это? Что останется бедным женщинам в утешение? Ведь и детей-то, откровенно говоря, любишь сначала потому, что они от любимого мужа. Не знаю, любила бы я своего ребенка, если бы он как-нибудь зачался от противного человека. А какое жалкое существование девушки под старость! Что вы ей предложите? Добрые дела? Эх, никогда они не способны будут делать для других, не будет у них любви к другим, потому что зачерствеют, все опротивеет, все люди мерзки будут казаться — и полюбят кошек.

Мужских писем, связанных с «Крейцеровой сонатой», гораздо меньше. Они менее содержательны и большей частью отрицательно оценивают идеи «Крейцеровой сонаты». Приводим два письма неизвестных корреспондентов-мужчин:

Нет, граф Толстой, вы говорите неправду, и если вы это говорите, то потому, что сами не любили никогда. Более пасквильного, более узко-субъективного и потому неправдоподобного едва ли кому приходилось читать и едва ли когда придется. Из того, что нашелся на свете какой-то фанатик-ревнивец, баба в сюртуке (потому что трезвый мужчина этого не сделает), ровно ничего не следует, и записать это можно только разве на последнюю страницу газетки, но никак не в виде романа, да еще кому? — Льву Николаевичу Толстому!

Вы доказываете, что род человеческий не должен существовать потому, дескать, что существование его обусловлено брачным сожительством, которое так претит вам. Как, право, жалко, что вы не подумали об этом раньше, когда у вас не было еще ни жены, ни детей, и как, чорт возьми, нехорошо, что младенцы не отыскиваются родителями где-нибудь под кустами, в чем были убеждены институтки старых времен! Аскетические писания ваши никуда не годны. Они так нелепы и смешны, что, если бы не было в России цензуры, они бы прошли в обществе незамеченными, возбудив только улыбки и пожимание плеч. Но грубая и глупая цензура заставила пустить их в публику окольными путями и оказала вам поистине медвежью услугу, произведя всюду гвалт и переполох, которые, увы, показали вас всюду в самом невыгодном свете! Если бы вы знали, как трунят над вами, например, за границей, видя в вас не только чудака, но отчасти и порнографа, на манер Золя, писания которого не берут в руки не только порядочные женщины, но и многие мужчины, так как quasi-реализму этих писаний наступает наконец должная оценка!

VI

Далее печатаются письма, затрогивающие разнообразные темы, но имеющие гораздо более широкий, непосредственно общественный интерес. Здесь трагические письма мальчика, ставшего жертвой самодурства и мракобесия; письмо монаха, с за-

мечательной искренностью разоблачающего цинизм монастырской жизни; письмо члена Государственной думы, проведшего кошмарную ночь в Костромской тюрьме в день восьмидесятилетнего юбилея Толстого; наконец, исключительным по силе документом являются предсмертные письма молодого крестьянского парня, поплатившегося жизнью за попытку помочь голодающим.

Крестьянский парень Лукин писал Толстому:

25 октября 1907 г.

Здравствуйте, добрый, всеми уважаемый писатель. Вы друг человечества, вы живете для пользы других, и потому я обращаюсь к вам с просьбой, которую убедительно прошу исполнить, потому что она может спасти две жизни, обреченные на явную гибель.

Мой отец — зажиточный крестьянин Вологодской губернии, также и мать, оба уже пожилых лет. Детей у них — я да дочь, моя сестра; мне семнадцать лет, а сестре пятнадцать лет. Родители людьми считаются набожными, и так как у нас большой дом, то часто останавливаются разные богомольцы, монахи. За последнее время к нам стала особенно часто бывать игуменья одного монастыря. Родители, как я уже сказал, люди старые и, заботясь об участи своих детей, т. е. нас, стали советоваться с разными людьми и, слушая разные советы, между прочим, захотели посоветоваться и с игуменьей, которая посоветовала сестру взять к себе в монастырь, а меня определить тоже в монастырь, на который она и показала.

Родители и решили поступить по совету игуменьи, — потому лучшей советницы не найдешь. По случаю этого события в один праздничный день собрались в наш дом родственники и родственницы, все уже пожилых лет, можно сказать, отжившие свой век. Мы, ничего не зная о беде, которая готова разразиться над нами, гуляли. Но вот нас зовут домой. Мы думали, что обедать; пришли и стали садиться за стол. Тут вдруг отец начинает нам объяснять следующими словами: «Вот что, дорогие дети, вы видите, что мы уже стары и проживем недолго, но, желая вас устроить, нашли вам тихое пристанище, куда и хочем определить вас, проще сказать — в монастырь святой». Мы сначала подумали, что отец шутит, и потому объяснение встретили дружным смехом. Но, видя серьезные лица гостей и отца, который нам скомандовал приготовиться под благословенье, а сам стал снимать образ Христа в терновом венце — моя любимая икона, — нас эта неожиданность как громом поразила. Ничего не помня, мы стояли, не зная, что делать. Нас, перепуганных, почти без сознанья, подвели, и отец спросил нас: «Дети, согласны ли исполнить волю отца — бросить мирскую суету и итти в святую обитель на служение богу?». Мы не изъявили согласия, чем отец остался недоволен и указал на пятую заповедь. Мы заплакали и стали умолять отца не губить нас, но воля отца непреклонна и участь наша решена. Но решили они, не спросясь нас. А мы думаем не так, — лучше смерть, но не монастырь.

Добрый советник, что нам делать, что нам делать? Губить себя? Но ведь жить хочется, жить; мы так юны, только стали расцветать, — и уже смерть, страшная смерть самоубийства.

Но кто виноват этому несчастию? Деньги и жадность до них. О, если бы мы были бедны, то никто бы про нас не знал и жили бы, трудились, никому не мешая, и нас бы никто не беспокоил. Но деньги, и к деньгам ползут и, чтобы добиться их, не щадят двух жизней и через трупы добиваются своего. Проклятье шлю я им, этим проклятым паразитам, которые мешают счастью людей, лишь бы им было хорошо, которые отнимают детей от родителей, не думая, что с ними будет, но чтобы добиться своего, чтобы нарядить икону и получить награду, — а до остального им горя мало.

Жду совета, откликнитесь на мою просьбу, научите, как поступить. Кто нам поможет, когда родители бросают на явную гибель?

Толстой ответил юноше 2 ноября. Он писал:

Очень сожалею о вашем положении и очень бы желал помочь вам. Я думаю,

что лучше всего обратиться вам и вашей сестре к родителям, прося их изменить свое решение. Если вы хотите, чтобы я написал вашим родителям, пришлите мне их адрес.

Во втором письме к Толстому, от 15 ноября, Лукин сообщил о дальнейших событиях:

Благодарю за письмо и за совет, но совет ваш опоздал. Что свершилось, то страшно вспомнить. Я один в целом мире, всеми брошенный, всеми покинутый. Не знаю, к кому протянуть руки. Сестра моя утопилась, бедняжка, — не вынесла всего горя и сама захотела себя избавить от всех страданий, которые ее ждали. Бедная сестра! Жалея меня, она долго плакала, но не открыла мне своей тайны и поторопилась, чтобы река не сковала себя льдом, — поторопилась так же, как поторопились ее сгубить. И мои силы слабнут, может и меня ждет та же дорога. Отец меня прогнал из дома, я живу у старой тетки, которая бедна. Я умоляю вас, если можно, ради господа, напишите последний совет. Вы писали, чтоб я обратился к отцу отменить решение. Я молил его, как бога, но напрасно. Он не велел на глаза показываться, иначе грозит проклятьем. Сестра погибла; видя, что и я на все готов, он не раскаивается, а, напротив, делается злее.

Это письмо осталось без ответа. Дальнейшая судьба юноши неизвестна.

Приводим, далее, письмо Гамалиила, монаха Засимовской пустыни:

25 августа 1910 г.

Я осмеливаюсь вас побеспокоить моими наболевшими вопросами. Я монах, имя мое Гамалиил. Я прожил в Троицкой лавре около десяти лет, — и что же я видел в лавре за все это время? Я видел то, что трудно даже и сказать, а не то, что описать. За все время жизни в лавре только и видел насилие, плутню, обман, зверство и больше ничего. Уважаемый Лев Николаевич, я вас прошу объяснить мне: есть ли бог или нет его, или все это человеческая выдумка? Скажите мне: кто бог, один ли он или их много? А что меня заставило обратиться к вам, это «дела» нашего первосвященства. Почему так наши кир-архимандриты лавры, как-то: Товия, Досифей, Аполлос бесчинствуют в церкви, делают разные непристойности и говорят: так богу угодно. Весь наш русский народ несет последнюю копейку в монастырь, и на эти принесенные деньги наши кир-архимандриты строят дачи и на эти дачи ездят на резинах, наберут всевозможных вин и закусок с монастыря и там кутят до положения риз, конечно, и не без красивых молоденьких «племянниц», потому без «племянниц» дело не обойдется. И пьяные возвращаются в монастырь и говорят: ну что же, так уж богу угодно. Все лаврское первосвященство занимается хищничеством, поразворовали весь лес, посняли колокола, даже стали поговаривать, будто бы до иконостаса хотят добраться, да, наверно, доберутся или уже добрались. И что же, все монахи говорят: так богу угодно, потому что, говорят, это власть ворует, а власть сам бог ставит. Уважаемый Лев Николаевич, правильно ли это? Во время богослужения идет такая суматоха, что, боже упаси, как только кто ошибется, — сейчас благочинный рапортом доносит наместнику, тот митрополиту, ну и пошла кутерьма, хоть выноси святых вон! И священно-монахи говорят: ну что же, так богу угодно. Уважаемый Лев Николаевич! Это есть угождение богу? Неужели ему так требуется угождать? Например, был случай такой. Я был певчий, пел в церкви преподобных Зосимы и Савватия. Это было 24 марта 1910 г. Приходит Товия, наместник лавры, и вдруг придрался ко мне, за что я не пропел лишний раз величания богородице; величание пропели четыре раза, а наместнику захотелось, чтобы в пятый раз пропели. Ну и что же, вышел страшный скандал, наместник на меня накричал, изругал на всю вселенную. Орет: «Негодяй! Подлец! Сукин сын, я с тебя шкуру сдеру! Пошел вон!». Я ушел и остался виноватым. 25 марта прихожу просить прощение. Ну что же, помирились, потом, смотрю, уже через полгода приезжает митрополит и начинает меня судить. Митрополит смотрит на меня и говорит: «Какое у него лицо страшное! Зверское!». И сказал: «Пошел вон!». Это он, значит, так судит, это он научился так судить людей, и не зря он называется владыко святый! Ничего не разобрали и ни-

ИЗ ИЛЛЮСТРАЦИЙ К «КРЕЙЦЕРОВОЙ СОНАТЕ»
Офорт Вилли Гейгера для немецкого издания 1921 г.

чего не сказали, отправили прямо в ссылку в Зосимову пустынь. И все святые отцы сказали: так богу угодно. Монахи всякую плутню считают богоугодной. Почему?— не знаю.

Был у нас монах Феогност. Он прожил в лавре двенадцать лет и вдруг чем-то не угодил начальствию. Его стали теснить и ничего не давать. Он пожаловался митрополиту Владимиру. И что же — за эту жалобу во время ночи нагрянули наши лаврские стражники с револьверами, во главе, конечно, священно-монахи. Связали бедного монаха, тот кричит, но никто не дает помощи. Так и сослали в монастырь. И все монахи молятся и говорят: так богу угодно...

Я в наше злое священство потерял веру и все думаю, что они только одно делают: врут да обманывают народ — и больше ничего. Неужели богу угождать надо преимущественно только злом? Я в настоящее время стою в тупике и не могу решить этого вопроса. Будьте любезны, уважаемый Лев Николаевич, ответьте мне на эти вопросы, успокойте исстрадавшуюся душу. Мне больше обратиться совершенно не к кому.

Автор печатаемого ниже письма, Захар Григорьевич Френкель (род. в 1868 г.),—врач, общественный деятель Костромской губернии, член I Государственной думы. Он отбывал в Костроме тюремное заключение в одиночной камере за подписание Выборгского воззвания. Выйдя из тюрьмы, он узнал, что отправленная им 28 августа 1908 г. приветственная телеграмма по случаю восьмидесятилетия Толстого не была получена в Ясной Поляне. По этому поводу он писал Толстому:

12 сентября 1908 г.

У меня было и остается настолько сильное, непосредственное, подчас прямо мучительное желание хоть раз в жизни выразить благодарность, столько раз переполнявшую мою душу, тому учителю жизни, слово которого в течение многих лет было для меня руководящим откровением и которому и тогда, когда я шел и иду своим, быть может, иным путем, я был всегда обязан бесконечно многим, что я решаюсь, хоть и с невольным опозданием, сделать то, что мне казалось уже сделанным больше

двух недель тому назад. Прилагаю приветственную записку в том самом виде, как она передавалась мною из тюрьмы для отправки по телеграфу. Вечером того дня, когда эта записка была передана мною из тюрьмы, как-раз именно в юбилей великого писателя, олицетворяющего живую, могучую, ищущую правды совесть народа, нам, отбывавшим чисто скотское современное рабство в тюрьме, пришлось пережить неподдающуюся передаче, навсегда неизгладимую душевную боль, наблюдая приготовления к смертной казни, повидимому, не без циничного умысла приведенной в исполнение именно 28 августа. Окно камеры приговоренного (уголовный, рабочий, лет тридцати шести, Голубев) было единственным, которое можно было видеть из моей камеры. Он постоянно перекликался со мною. Три месяца (с 8-го июня) ожидал он приведения в исполнение приговора. Душа его за это время раскрылась к любви и добру. Он искал внутреннего мира. Ни одной службы в тюремной церкви не пропускал он. С каким-то нездешним примирением и мягкостью стал относиться он ко всем, и к стражникам и к арестантам. Каждое утро первыми звуками, будившими меня, были доносившиеся через всегда раскрытое окно моей камеры его приветливые пожелания и ободрения, которые он постоянно обращал ко мне, стараясь своим сочувствием и указанием на людскую неправду облегчить, как только он мог, неприятности пребывания в тюрьме для членов первой «народной думы». И мне было нестерпимо стыдно слушать от него это ободрение. По ночам его преследовали кошмары. Он часто во сне соскакивал со страшным криком с койки, бегал по камере; потом приходил в себя, и в тишине ночи я слышал, как он кричал через окно ко мне, что ему делать, чтобы избавиться от кошмаров. Что мог я отвечать ему? С болью и жгучим стыдом слушал я, врач по профессии, его рассказы о самочувствии. Разумом он знал, что в конце концов состоявшийся приговор будет выполнен, но вся его душа неспособна была вместить эту мысль, это чувство. Когда он с удивительным мужеством говорил о предстоящем ему удавлении, не знаю, в чем, — в тоне ли его голоса или в чем другом, — я ощущал, однако, у него твердую его уверенность, что этого никогда не будет, этого не может быть.

И вот, поздно вечером, в то самое время, когда в городе в большом зале собралось, как мне теперь передают, более тысячи человек, чтобы чествовать того, кто является украшением и живой совестью народа, чей голос только-что смутил покой примирившихся с изо дня в день происходящими смертными казнями, — наш тюремный двор наполнился вооруженными людьми. Лязгнули железные запоры камеры Голубева. Вошедшее начальство велело ему поскорее собираться в путь, из которого не возвращаются. До меня доносилось каждое слово. «Зачем же мучили вы меня целых три месяца?» — с плачущим упреком простонал Голубев. И вслед за этим точно не его, а чей-то посторонний голос, скорее вопль, полный неизъяснимой тревоги, разодрал тишину ночи и проник в неведомые изгибы души каждому заключенному: «Товарищи, меня уже ведут». Лязг кандалов вот уже во дворе. Ведут мимо окон всех камер. Тюрьма, притихшая, точно вымершая, вдруг огласилась криками прощания из многих окон. Изумительна степень приспособляемости людей к своей профессии: чинно и спокойно большая компания людей всякого положения, начиная от обыкновенных русских крестьян, одетых в форму стражников и в шинели солдат, и кончая священником, доктором и товарищем прокурора, берут с собой простого доброго человека Голубева, этого неозлобленного и с размягченной душой человека, уводят его вместе с собою за город и там так же чинно, методически удавливают его. А в это время начальство тюрьмы чинило расправу с теми, кто осмелился крикнуть последнее «прощай» своему, аки агнец на заклание ведомому, товарищу по совместной жизни в тюрьме. Один ли, два ли только человека из всей камеры кричали «прощай», это, по принятым в тюрьме порядкам, безразлично для тюремного начальства: вся камера (двадцать пять — тридцать человек) подвергается экзекуции — переводится на карцерное положение...

Смертная казнь нисколько не обеспокоила душевной ясности стражи. «Не убивай, да не убиен будешь», — сказал мне в пояснение своего спокойствия один из стражников, совсем не дурной, обыкновенный почтенный деревенский человек. «Голубев убил, и правильно, что его повели убивать». А друга Голубева, молодого арестанта Ушакова,

за то, что он крикнул ему через окно «прощай», тотчас же стража, по остроумной находчивости наказующего начальства, увела из общей камеры в ту одиночку, откуда только-что вывели еще не ушедшего со двора тюрьмы Голубева. И вот, как Ушаков объяснял утром, чтобы заглушить острую душевную боль от мысли, что он брошен еще на теплое ложе Голубева, физическим страданием, он зажигает на себе рубашку, и его нечеловеческие вопли и стоны от боли, вызванной ожогами, несутся из камеры Голубева в то время, как последний исповедуется в тюремной конторе у явившегося к нему священника.

Таковы впечатления, которых не забыть мне на всю жизнь, отравившие мне день вашего юбилея, когда душа так полна была желания уйти в себя, внутри себя искать царствия божия.

Письмо произвело большое впечатление на Толстого. В дневнике Д. П. Маковицкого отмечено, что Толстой в день получения письма прочитал его вслух всем собравшимся за обеденным столом. Самому Френкелю он ответил 7 ноября:

Пожалуйста, простите меня, уважаемый Захар [отчество не вставлено], за то, что не поблагодарил вас за ваше поздравление и хорошее содержательное письмо. Старость и нездоровье отчасти оправдывают меня. Поздравляю вас с освобождением и желаю вам всего хорошего.

В заключение печатаются письма, присланные в Ясную Поляну в 1909 г. писателем Красновым, автором «Ходынки». Толстой заинтересовался письмами и даже взял их с собой при поездке в Крекшино. Во время пребывания в Москве он забыл их в хамовническом доме, где они и сохранились.

Автор этих замечательных писем — восемнадцатилетний юноша Михаил Иванович Балихин, крестьянин с. Ярополец, Волоколамского уезда, Московской губернии. Письма адресованы его родственникам. Тринадцатилетним мальчиком Балихин был отдан в Царское Село на обучение в магазин. Через пять лет, перед возвращением на родину, он получил весь свой заработок — пятьдесят рублей. Половину отослал родителям, остальные двадцать пять рублей пожертвовал в пользу голодающих (в 1907 г. в ряде губерний был большой голод). Перед самым отъездом, 7 апреля 1907 г., он встретился в Петербурге, в студенческой столовой, с четырьмя неизвестными ему революционерами и вместе с ними решил итти на «экспроприацию» — ограбление мануфактурного магазина — с тем, чтобы все деньги передать голодающим и безработным. Экспроприация не удалась, поднялась тревога. Балихин убил догонявшего его дворника из револьвера. Военно-окружной суд приговорил Балихина и другого участника, Андреева, к смертной казни, остальных к каторге. Главнокомандующий заменил Андрееву смертную казнь каторгой, а приговор над Балихиным был приведен в исполнение 23 июля 1907 г. Как писал Балихин родным, ни к какой партии он не принадлежал — «не было случая записаться». В ленинградском Центральном историческом архиве хранятся два «дела» о его процессе: «Дело судебного следователя 15 участка г. С.-Петербурга о вооруженном нападении на мануфактурный магазин купца Михаила Хайлова» и «Дело Петербургского военно-окружного суда... Архивный номер 263». Последним документом в этом «деле» является печатное(!) уведомление о казни; от руки вписаны лишь порядковый номер, фамилия казненного и дата его смерти.

Первой публикуется речь Балихина на суде 16 июля 1907 г., записанная самим Балихиным и приложенная к письмам. «Речь составлена и заучена мною в ночь перед судом», — писал он родным. Дальше — четыре письма к родственникам (все малограмотные). Последнее написано за несколько минут до казни.

Господа судьи! Я жил в Царском Селе пять лет, куда был отдан родителями в учение на четыре года. По прошествии четырехлетнего срока я остался служить и далее, при чем прослужил еще десять с половиною месяцев. Выйдя из учения, я уже не считался как ученик, а как помощник приказчика, благодаря чего и был гарантиро-

ван от эксплоатации со стороны старшего приказчика. В воскресные и праздничные дни магазин не торговал целый день и давало возможным в свободное от занятий время читать книги и газеты. Благодаря гарантии [от] эксплоатации все свободное время было уже в моем распоряжении. Читая газеты, я то и дело встречал статьи под заглавием «Голод в деревне», где описывалось о голоде, свирепствовавшем среди крестьян и рабочих, где писалось о рабочих, как они лишали себя жизни и как они бросались в Неву и каналы, протекающие по Петербургу. И все это происходило от безработицы, из-за отсутствия средств к продовольствию. Но главное меня поражали статьи о голоде крестьян, который свирепствовал в их деревнях, который грозной тучей висел над целыми губерниями и обрекал крестьян на голод или, вернее сказать, на голодную смерть. В статьях говорилось, как крестьяне обречены целыми деревнями на голод, как они вымирали целыми семьями, как они, подобно рабочим, из-за отсутствия средств к продовольствию лишали себя жизни, как они продавали своих дочерей, чтобы спасти оставшихся еще в живых половину или четвертую часть семейства, и т. д., и т. д.

Читая эти статьи, я не мог не тронуться и не посочувствовать им. Так как я сам человек бедный, денег у меня нет, чтобы помочь голодающим,— и вот, чтобы раздобыть денег и помочь голодающим, я и решил принять участие в экспроприации. Таким путем добытые деньги я и отдал бы все голодающим. О том, что из-за этих денев придется проливать невинную чужую кровь, я совершенно не думал. Потому и не думал, что я сам лично против каких-либо человеческих жертв, вообще против пролития крови. Убить дворника Гомырова или кого-либо другого я совершенно не хотел и не намеревался. Убийство это вышло совершенно случайно. Убийство дворника — это не вина моя, а мое несчастие. Пришлось случай убить человека, чего я совсем не хотел. Если бы я знал, что дорога к деньгам ведет через труп и кровь совершенно невинного человека, я ни за что не согласился бы участвовать в экспроприации.

Я очень сожалею, господа судьи, что я не только не помог голодающим, но своим участием я их только увеличил: во-первых, как семьей убитого дворника Гомырова, как мне уж известно, что у него осталась жена и двое детей; а во-вторых, лишил помощником своих родителей, оставил их на старости лет больных, не способных к труду, обреченных на голод или, вернее сказать, на голодную смерть, и десятилетнего больного в чахотке брата, для которого еще нужно воспитание.

Когда я вышел из-за угла с экспроприацией, на меня сзади набросился неизвестный человек. Я стал у него рваться, но силы были неравны. Увидя револьвер, он сильно закричал и, желая освободиться от меня, он сильно меня пихнул от себя и в то же время вернул, но упасть мне было не суждено. Я сильно накренился на бок, в это время раздался совершенно неожиданный мною роковой выстрел. После выстрела я бросился бежать, но, не зная расположения местности, я бежал туда, где меньше было народу. При моем бегстве я был обстрелян, как заяц: в меня стреляли городовые с постов, конные городовые и офицеры. В меня произвели до двадцати с лишним выстрелов, но я никому не отвечал, потому что я был против человеческих жертв. По задержанию меня доставили в участок, где и сообщили, что я опасно ранил дворника Гомырова и что у него остается жена и двое детей, о чем я очень сожалел. Потом дворник, через несколько время сообщили, что во время операции скончался.

В экспроприации и убийстве дворника Гомырова я себя признаю, но, повторяю, что убийство не умышленное, а на экспроприацию я пошел из-за жалости погибающих лютою голодною смертию крестьян. Что же касается револьвера, я взял его лишь для того, чтобы постращать в случае необходимости.

17 июля 1907 г.

Дорогая сестра, Настасия Гавриловна, шлю привет супругу Ване и дочке Вере и всему остальному семейству. Уведомляю я вас, что я жив и здоров, бодр и весел.

16 июля был суд. Меня приговорили к смертной казни через повешение. Пишу 17 июля. На суду присутствовали Петя, Катя, дядя Саша и брат Миша Жильцов. По выносе приговора я смеялся, а тетя Катя сильно плакала. Дядя Саша, Миша, Самодурова тетя Аксинья тоже была и сильно плакала. Еще были два товарища. Все меня очень сожалели, но я был весел, на суду себя держал героем. Я дал тете Кате часы

для передачи напамять маме. Тетя Катя сильно очень плакала, я ее уговаривал; затем они со мной расцеловались, все ушли, а я поехал в тюрьму. Всю дорогу пели революционные песни: «Вы жертвою пали в борьбе роковой», «Вихри враждебные», крестьянские и рабочие «Марсельезы», «Смело, товарищи, в ногу» и много других.

Пишу письмо за несколько часов до смерти, но чувствую себя превосходно, весел и бодр. Умереть сумею и на смерть пойду — буду петь песни: «Вы жертвою пали в борьбе роковой». Сроку дано двадцать четыре часа. Подал апелляцию о помиловании, не знаю, смерть заменят ли каторгой, но не верю, чтобы заменили, а верю в смерть. Я паду — пусть паду я, на моей могиле взойдут цветы с надписью: «Да здравствует земля и воля!» А когда падет произвол, то на нее товарищи придут и песню о гибели споют: «Вы жертвою пали в борьбе роковой» и т. д.

Настя, передай поклон моей маме, Пете, Сане, очень сожалею, что их оставил на старости лет. Поклон своей маме, Шуре, Мане и всем другим, всем передай, что я был весел и бодр, на погибель шел — песни пел соловьем. Наши помирать умеют!!! Желаю, Настенька, вам с супругом, дочерью и всем семейством многие лета вашей жизни и всему Ярополу то же самое. А если не помилуют, то сегодня или завтра меня казнят, то есть 18, 19 или 20 июля. Еще раз прощаюсь заочно, всем крепко жму руки и крепко всех целую.

Помни, Настя, обо мне, что погиб за свободу, за требования земли и воли и за помощь голодающим. Прощай! Прощай! Прощай! Прощай! Прощай!

Ваш брат М. Балихин

Съезди в Ярополь, утешай мою и свою маму, уговаривай их, не советуй плакать! Настя, не жалей меня. Все люди борцы, все хотят умереть именно теперь, в борьбе. Павшим борцам во Франции теперь на главных площадях поставлены гигантские памятники, а раньше их даже на те площади не пускали, не говоря о памятниках.

Вот, представьте себе, как я буду висеть.

Лицо представьте так: похож на маму, небольшие кверху завитые усы и большие густые черные волосы, зачесаны назад. Черная рубашка, английские щиблеты на шнурках и в полоску брюки.

До свидания. Брат М. Балихин

[Без даты]

Многоуважаемым и дорогим моим родителям, тятеньке и маменьке, дорогому брату Сане и служащей при доме няньке.

Дорогие родители и брат, всех я вас крепко целую и жму крепко ваши руки. Поклон тете Наташе, Шуре, Мане, Насте с супругом и дочерью и со всем семейством [идет длинный перечень имен] и всем родным и знакомым, товарищам и барышням и всему селу, но только не тем, кто меня осуждает, что я сижу в тюрьме.

Мама, вторую посылку я вашу получил, за которую я вас очень благодарю. Но Сане скажите, что он не должен писать такие плачливые письма, он должен гордиться, что брат его борется за правду, за землю и волю!

Мама, что я вам сейчас напишу, прочтите как можно хладнокровнее. Помните следующее: когда вы думаете всегда все разное или ничего не думаете, — вы себя чувствуете превосходно, но когда вы плачете, тоскуете о чем-либо, то вы ослабеваете, чувствуете себя больной, у вас пропадает аппетит, вы заболеваете, но для вас, как для человека старого, это очень вредно, ибо вам нужен спокой. Вот и прошу вас убедительно, чтобы не задумываться над этим вопросом.

16 июля был суд, на суде были тетя Катя, дядя Саша, Миша, тетя Маша. Он ходил раньше ко мне на свидание и еще ходила Вера, больше никто, на суде еще была Самодурова тетя Аксинья, Надина мама. Меня присудили к смертной казни через повешение. Я дал тете Кате часы для передачи тебе напамять. Но смертной казни, мама, не будет. Вера с тетей Катей подали прошение о помиловании, потом четыре прошения подали защитники, потом приходила ко мне какая-то незнакомая дама и спрашивала, что если я хочу — не против прошения, то она подаст; я согласился, она подала. Потом еще один господин подаст, так что заменят каторгой, но каторга — это не страшно; только заменили бы, а то года через три или самое большое пять приду.

На суд мы ехали, мама, что на свадьбу, с революционными песнями. На суд приехали веселые, бодрые, все пять человек молодые, один женатый. На суде себя держали бодро, спокойно, прямо героями. Вынесли смертный приговор мне, я засмеялся, нисколько не смутился, что может сказать тетя Катя, как я ее уговаривал, когда она плакала, и Миша. Напишите им письмо, они вам напишут, как я был бодр и весел после приговора. Я имел свидания со всеми, кто пришел ко мне на прощание; кроме родных еще были два товарища мои и мишины. Из суда мы, уже присужденные, поехали в тюрьму опять с песнями по улицам, за нами толпилась публика, из магазинов выходили, слушали приказчики. Приехали в тюрьму. Товарищи узнали о приговоре нас к смерти, в окна стали петь похоронные революционные песни, некоторые присылали подарки. 17 июля сижу на свидании с тетей Катей и Верой, а мне принесли пакет, груши, от одного инженера, товарища по тюрьме.

Вообще, мама, как заменят, то я пришлю телеграмму, а не заменят — умереть сумею и на казнь пойду с песнями. Хорошо умереть молодым и в такое время. Помни, мама: это хорошо для борьбы: я один умру, один борец, на мое место встанут лучше меня десятки борцов; моя казнь, героя-борца, восемнадцатилетнего юноши, разбудит сотни сердец. Мама, чем больше нас вешают, тем скорее просыпается спящий народ, тем скорее положат конец борьбы. Но товарищи меня не забудут, они на мою могилу пойдут, венок из терний на нее возложат и песнь свободную споют. Мама, всем погибшим борцам, как и во Франции, на самых лучших площадях столицы будут красоваться огромные памятники.

Мама, прощай, скоро пришлю телеграмму. Обо мне не плачьте, пожалейте сами себя. Если мою смерть заменят каторгой, то вы ко мне можете приехать в августе месяце или в сентябре. Желаю вам, мама, жить столько, сколько вы сами хотите, также и папе и Сане. Желаю успеха в вашей трудной на старости лет работе. Мама, на суде я говорил речь, которую и послал Сапелкиной, маме дяди Василия. До свидания, всех крепко целую и жму руку. Поклон, кто знает меня из постояльцев. Вы часто снитесь мне во сне.

Ваш сын М. Балихин.

[Без даты]

Дорогая и милая мама, дорогой и милый папа и брат Саня. Еще в живых. Пишу последнее письмо. Поклон всем родственникам и знакомым, но не тем знакомым, кто осуждал меня. Я иду на смерть бодр и весел, я и на суде и до суда был весел и сейчас чувствую себя превосходно. Я знаю, за что я погибаю. Я вам послал двадцать пять рублей и крестьянам послал двадцать пять рублей на голодающих. Хотел им помочь еще, но полученное от хозяина жалованье все, больше не осталось. Я пошел добывать еще денег и попался, но теми двадцатью пятью рублями я спас наверно полсотни людей от голодной смерти, но еще помочь не суждено, а пришлось погибнуть самому. Но помни, мама и папа и Саня, что я был не какой-нибудь пьяница или какой проходимец. Я жил у хозяина почти пять лет у одного, хотел итти на войну, в монастырь,— не суждено, верно, было, вы не отпустили. Но мне жалко было голодающих, не мог перенести. Мама, папа, Саня, это не стыд, что я повешен за людей [вымарано цензурой несколько слов], погиб за голодающих; верно, судьба такая мне погибнуть за народ, а не своей смертью. Мама, папа, Саня, живите счастливее, не скучайте обо мне, не плачьте, не грустите. Я спокойно умру, умереть я и сам хочу — верно, судьба уж такая. Подавал государю императору прошенье я сам и Вера с тетей Катей, но не помиловал. Пишу за несколько часов до смертной казни. Казнят через повешение.

Мама, хорошо, что я не дожил, как вы, до глубокой старости, не перенес столько мучений. Мама, вы истинные страдальцы,— сколько вы со мной и другими детьми перенесли мучений. Но главное со мною: пока я жил в Царском, вы сколько времени меня ждали, но все-таки не дождались,— верно, не суждено; и в Петербурге были, а не повидались. Мама, у тети Кати есть мои часы, я ей дал, чтобы она передала тебе на память от меня. Всех крепко целую. Мама, я знаю, как вам тяжело перенести такое горе, но помните — хотя больной, у вас есть еще Саня, вы жалейте его, он последний ваш помощник на старости лет. А я иду на смерть [зачеркнуто цензурой несколько слов]. Это не позор, я рад, что не какой-либо своей болезнью или кого-другого, а сама судьба меня к тому привела [зачеркнуто цензурой несколько слов] не своей смертью.

Поклон всем родным. Прощай, мама, не плачь, а то вы тоже помрете от горя. Поклон всем соседям моим, товарищам и барышням. Я погибну на рассвете 1907 г., 23 июля; на восходе солнца меня повесят. Всех крепко обнимаю и крепко целую. Прощайте, прощайте, прощайте и жму крепко ваши руки. Это последнее шлю вам письмо и прощаюсь на всю жизнь.

Ваш сын Михаил Иванович Балихин

Храните на память мое письмо.

23 июля 1907 года, 5 часов утра. Дорогая мама и папа, и Саня, и все родственники. Вот подъехал пароход к месту назначения. Так называется [одно-два слова зачеркнуто цензурой]. Сейчас приглашали священника, исповедались и приобщались святых тайн. Мама, я умираю, как христианин. Прошу обо мне не беспокоиться. Я охотно иду на смерть. Как вам уже известно, что погибаю за голодный люд, которым помог своими деньгами, но недостаточно. Хотел еще, но не суждено было помочь еще, а — лишиться своей жизни. Я знаю, за что помираю, и охотно иду на смерть, приняв от священника напутственное слово. Мама, желаю вам счастья, живите, помогайте ближним, делите с ними последний кусок, не обижайте ближних. Лучше погибните сами за голодный люд, но не дайте погибнуть на ваших глазах. Обо мне не скучайте, я помог, как мог. Живите счастливой, господь за ваш труд не оставит и за все ваши перенесенные страдания. Пишу последние строки и иду на казнь. Крепко вас, родители, целую и жму ваши руки и родственникам.

Ваш сын М. Балихин

Пишу за несколько минут до казни. Поклон всем родным, товарищам и барышням. Мама, я бодр, здоров и весел. Желаю вам продлить остальные годы вашей жизни

в благополучии и счастии. Вещи мои вы получите через Веру Демьяновну или через тетю Катю. Они у меня были в четверг на свидании, подавали прошение на имя его величества, но меня не помиловал. Сейчас принял святых тайн. Прощайте, иду на смерть.

Ваш сын Балихин

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] См. газеты 1907 г.: «Утро России», №№ 6, 9, 10; «Речь», №№ 223, 225; «Новое Время», № 11332; «Петербургская Газета», № 259; «Петербургский Листок», № 259; «Голос Москвы», № 222, и др.

[2] Поздравление с днем восьмидесятилетия — 28 августа 1908 г.

[3] Здесь и ниже письма Толстого публикуются впервые.

VI. ТОЛСТОЙ В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ

Среди мемуарной литературы наибольшую ценность обычно представляют сообщения, написанные под непосредственным впечатлением от встречи с тем или иным лицом. В обширной толстовской мемуаристике первое по своему документальному значению место, бесспорно, занимают датированные записи тех наблюдателей Толстого, которые, будучи в длительном общении с ним, вели дневники и без промедления заносили на бумагу свои впечатления. Понятно, что диапазон интересов, общая культура наблюдателя и его умение видеть отражались на тематике и характере записей.

В отдельную группу должны быть выделены дневники членов семьи Толстого, носящие особый характер. Три его дочери и жена вели, как известно, дневники. Большой интерес, несомненно, представлял дневник ближайшего друга Толстого, рано умершей Марии Львовны, но он погиб в 1917 г. О ценности дневника Татьяны Львовны можно судить по напечатанному отрывку об ее поездке в 1898 г. к Победоносцеву. Три тома «Дневников» жены Толстого, Софьи Андреевны, еще не подверглись серьезному разбору исследователя-специалиста, хотя и вызвали много ошибочных суждений и оценок. «Дневники» надо рассматривать, как очень субъективный документ, составляемый с определенными целями, стремление к которым носило маниакальный характер. Документ этот дает в руки исследователя материал для характеристики самой Софьи Андреевны, но требует от исследователя чрезвычайной осторожности, проверки сообщаемого ею и внесения, на основании других источников, необходимых коррективов. В то же время некоторые записи С. А. Толстой, в особенности относящиеся к раннему периоду, представляют несомненную ценность, как датированные, нередко единственные, сообщения о том или ином моменте творческой или личной жизни писателя.

Помимо «семейных» дневников, неизбежно дающих пристрастное освещение жизни Толстого, имеется несколько дневников, веденных близко соприкасавшимися с ним лицами, нередко связанными с ним единомыслием, что, без сомнения, в той или иной мере отразилось на характере записей. Богаты фактами и наблюдениями неопубликованные «Яснополянские записки» (1904—1910) доктора Д. П. Маковицкого, бывшего одним из близких друзей Толстого и считавшего, что в Толстом все до мелочей интересно. Очень содержательны записи (1897—1910) другого друга и собеседника Толстого, А. Б. Гольденвейзера. Дневник секретаря Толстого, Н. Н. Гусева (1907—1909), ценен, благодаря стенографированию некоторых бесед и высказываний Толстого. Не мало интересных сведений содержит дневник (1910) последнего секретаря Толстого, В. Ф. Булгакова, однако, в сделанных им записях не могла не отразиться незрелость их молодого автора. Все эти дневники относятся, главным образом, к последнему десятилетию жизни Толстого, и только А. Б. Гольденвейзер сделал немного записей в 1897—1900 гг.

Ниже печатаются воспоминания и дневники, относящиеся к разным периодам жизни великого писателя — от начала 60-х годов до последних его дней. Одни из них представляют собой датированные записи разговоров и бесед с Толстым, сделанные под непосредственным впечатлением; сюда относятся дневники А. В. Жиркевича и В. Ф. Лазурского, а также записи высказываний Толстого о литературе и искусстве, извлеченные из дневников и записных книжек В. Г. Черткова и П. А. Сергеенко. Другую группу материалов составляют воспоминания современников Толстого, описав-

ших свои встречи с писателем и отдельные эпизоды из его жизни. Сюда относятся воспоминания Е. И. Сытиной, С. Н. Шиль, Л. О. Пастернака.

Воспоминания Е. И. Сытиной любопытны уже тем, что они относятся к годам молодости Толстого, наименее освещенным мемуарными материалами. Воспоминания художника Л. О. Пастернака содержат интересные данные, освещающие эпоху создания романа «Воскресение». В небольшом очерке А. Б. Гольденвейзера рассказано об отношении Толстого к вопросам музыки. Наконец, сын писателя, Сергей Львович Толстой, в своей полумемуарной статье «Об отражении жизни в «Анне Карениной» собрал и сгруппировал в одно целое сведения о тех действительных фактах, событиях, живых лицах, именах и пр., знакомство с которыми послужило Толстому материалом для одного из лучших его произведений.

Все публикуемые в разделе воспоминаний материалы в той или иной мере освещают неизвестные моменты жизни и творчества Толстого, уточняют его литературно-эстетические и философские взгляды. Они содержат большое количество конкретных деталей и наблюдений, дополняющих рядом новых черт живой облик великого писателя.

ВОСПОМИНАНИЯ Е. И. СЫТИНОЙ (ЧИХАЧЕВОЙ)

Публикация К. Шохор-Троцкого

«Воспоминания Е. И. Сытиной» записаны с ее слов писательницей И. А. Гриневской приблизительно в 1908—1910 гг., т. е. через полвека после периода наиболее частых ее встреч с Л. Н. Толстым. Произведенная путем сопоставления с документальными данными, экспертиза этих «Воспоминаний» установила феноменальную память их автора и его правдивость. Это позволяет вполне доверять сообщениям Сытиной. При крайней скудости свидетельств о Толстом конца 50-х годов ее «Воспоминания» восполняют наши представления о живом облике писателя. Они показывают тридцатилетнего автора трилогии, военных рассказов и «Семейного счастья» не в литературном мире (как почти все немногие мемуары, посвященные этой эпохе), а в частной жизни. Кроме того, они дают новое и о некоторых близких Толстого, особенно об его сестре, Марии Николаевне, и ее отношениях с Тургеневым.

Екатерина Ильинична Чихачева родилась в 1834 г. в тамбовской дворянской семье. В 50-х годах она приезжала на зимние месяцы в Москву. И здесь, двадцатилетней девушкой, впервые встретилась с Л. Н. Толстым. Знакомство произошло во второй половине февраля 1854 г. Он перевелся тогда из Кавказской армии в Дунайскую и, только-что произведенный в офицеры, приезжал на короткое время в Москву, перед своим отъездом на Дунай. Познакомились они, вероятно, у общих знакомых — Перфильевых, соседей Чихачевых по имению. Молодой Перфильев, Василий Степанович, с юношеских лет был близким приятелем братьев Толстых, а его жена, Прасковья Федоровна (дочь Федора Толстого — «американца»), доводилась им троюродной сестрой и знала их с детских лет.

Как вспоминает Екатерина Ильинична, Толстые ежегодно приезжали к Перфильевым в их тамбовское имение. У нас нет данных о посещениях Львом Николаевичем Березовки [1], но известно, что Николай Николаевич и Сергей Николаевич Толстые иногда съезжались в ней у В. С. Перфильева. Гостили они у него и летом 1854 г., вскоре после упомянутого приезда Толстого в Москву [2]. Сохранившиеся в архиве Толстого письма братьев к нему, написанные уже по возвращении от Перфильевых, дают представление о жизни обитателей Березовки. Так, Сергей Николаевич писал: «...два месяца нынешнего лета мы, т. е. я и Николенька, провели у Перфильевых, приятно уже потому, что мы не видали, как эти два месяца прошли. Пили много. Васинька все такой же прекрасный человек, как и был прежде, Полинька тоже не переменилась; у них с утра до вечера живут разные соседи и соседки, из которых есть плохие и есть хорошие, но вообще жители Тамбовской губернии во всех отношениях лучше тульских; в числе их соседей и та барышня по фамилии Тихачева, которую ты видел в Москве. Эта барышня много украшает Березовку» (письмо от 25 июля 1854 г.; разрядка наша).

Возобновилось личное знакомство Толстого и Е. И. Чихачевой через несколько лет, вероятно, по возвращении его из заграничного путешествия, в конце 1857 г. Летом этого года его сестра, Мария Николаевна, разошлась с мужем, и Лев Николаевич, поспешив вернуться из-за границы, принял близкое участие в ее жизни. Две зимы (1857/58 и 1858/59) он провел вместе с нею и ее детьми в Москве. Жившая

в те годы в Москве Екатерина Ильинична часто бывала у Марии Николаевны и выезжала с нею на музыкальные вечера, которые устраивал тогда Н. Г. Рубинштейн и на которых любил бывать Лев Николаевич. Встречались они также и у Перфильевых, и не раз Толстой бывал у Чихачевых. Его братья, Николай и Сергей, ухаживали за Екатериной Ильиничной; Николай Николаевич сделал ей даже предложение. Повидимому, Лев Николаевич был очень хорошего о ней мнения, так как сочувствовал этой мысли своего любимого брата и советовал ей выйти за него замуж. Но она советов не приняла и Николаю Николаевичу отказала. Лев Николаевич был посвящен — вероятно, обеими сторонами — и в тайну «несчастной» любви Екатерины Ильиничны и В. С. Перфильева.

В дневнике Толстого 1858 г. несколько раз упоминается имя Е. И. Чихачевой:

26 февраля: «Чихачева. Умная кокетка».

27 февраля: «К Перфильев[ым], у них обедал. С Вас[инькой] к Чихач[евым]. Мужчина, девушка и фортеп[ьяно] с Бетх[овеном] и Моц[артом]. Это уж я 3-ий раз вижу — хорошо».

«Мужчина и девушка» — разумеется, В. С. Перфильев и Е. И. Чихачева.

23 марта: «Чич[ерина]. Чих[ачева]».

25 марта: «Вечером с Чих[ачевой]».

Некоторые из дневниковых записей Толстого Екатерина Ильинична по памяти (через пятьдесят лет) сообщает в своих «Воспоминаниях»,— эти записи были ею прочитаны в его дневнике, вероятно, в марте-апреле 1858 г.

Приехав в начале апреля 1859 г. из Ясной Поляны в Москву, Толстой 15 или 16 апреля посетил Е. И. Чихачеву. Примерно, тогда же он прочел в апрельском номере «Отечественных Записок» окончание «Обломова» О своем впечатлении от этого произведения он тогда же беседовал с Е. И. Чихачевой. 16 апреля он писал А. В. Дружинину: «Скажите Гончарову, что я в восторге от Обломова и перечитываю его еще раз. Но что приятнее ему будет — это, что Обломов имеет успех не случайный, не с треском, а здоровый, капитальный и не временный в настоящей публике. Это я был à même de savoir * по деревенским толкам, по молодежи и по тамбовским барышням»[3]. Как видно, Толстой отнес «тамбовскую барышню», Е. И. Чихачеву, к настоящей публике, т. е. к разряду серьезных ценителей литературы. Это позволяет заключить, что он ценил в Екатерине Ильиничне не только ум и музыкальные способности, но и литературный вкус.

Приведенные выше упоминания имени Чихачевой в записях Толстого 26 и 27 февраля, 23 и 25 марта 1858 г. свидетельствуют о его повышенном интересе к «тамбовской барышне». Уже после записи своих «Воспоминаний», рассказывая внучке о своей молодости, о неудачном романе с Перфильевым и о встречах с Толстым, Екатерина Ильинична говорила, что «не будь она так увлечена Перфильевым, она обратила бы больше внимания на любезность и предупредительное отношение к ней и Льва Николаевича и его братьев».. «Иногда мне казалось, что Лев Николаевич обращает на меня большое внимание и выделяет меня из числа барышень, окружавших его во время его посещений тех семей родных его и знакомых, где я с ним встречалась»[4].

В Ясную Поляну Е. И. Чихачева, судя по ее «Воспоминаниям», приезжала только раз, еще до замужества. Было это, вероятно, в первой половине лета 1859 г. Выйдя вскоре замуж за В. А. Сытина[5], она 20 июля того же года писала Т. А. Ергольской в Ясную Поляну, что «очень желала бы побывать еще раз в Ясных Полянах», но что до приезда мужа не надеется приехать; обещает, когда он вернется, «непременно представить» его[6]. Однако, что-то помешало осуществлению ее намерения. Только через год, летом 1860 г., она сообщила в Ясную Поляну о своем новом приезде, ненадолго, в Тулу и, повидимому, пригласила Льва Николаевича и Марию Ни-

---

* Осведомлен.

Л. Н. ТОЛСТОЙ
Фотография 1854 г.
Толстовский музей, Москва

колаевну приехать в Тулу повидаться с нею и познакомиться с ее мужем. Толстой тотчас по получении ее письма (к нему или к М. Н. Толстой) живо откликнулся письмом, включенным в печатаемые ниже «Воспоминания». Он настоятельно приглашал Е. И. Сытину приехать вместе с мужем в Ясную Поляну, с тем, чтобы вместе отправиться в Пирогово, к сестре Толстого, которая тогда готовилась к поездке за границу. Сытины не смогли принять это приглашение, а Льву Николаевичу не пришлось, как он в том же письме обещал, съездить к ним в Тулу.

За несколько лет до последней встречи с Толстым, в 1902 г., Е. И. Сытина написала Толстому маленькую записочку, в которой просила его, «во имя нашей старой хорошей дружбы», прислать ей фотографический портрет с автографом [7]. Была ли исполнена эта просьба, мы не знаем.

Е. И. Сытина умерла в Ленинграде 27 марта 1926 г., дожив до девяностодвухлетнего возраста. И. А. Гриневицкая, знавшая ее почти полвека и записавшая печатаемые воспоминания, сообщила нам некоторые подробности о ней. Всякий, кто знал Екатерину Ильиничну, по словам И. А. Гриневицкой, «подпадал под обаяние всего ее существа, из которого веяла доброта, увлекательная веселость, та жизнерадостность, которая вытекает из глубин мудрости и любви к людям. С ней было необыкновенно легко всем...».

«Воспоминания» печатаются с некоторыми сокращениями: опущена автобиографическая глава, с описанием помещичьей среды и быта, в которых выросла Е. И. Сытина.

ВОСПОМИНАНИЯ Е. И. СЫТИНОЙ

(Запись И. А. Гриневской)

I

Наше имение Нащекино, в Тамбовской губернии [8], граничило с имением Перфильевых, куда Толстые приезжали ежегодно гостить. С Толстыми у нас были дружеские отношения.

Толстые с детства дружны были с Исленьевыми; у них же, у Исленьевых, было два незаконных брата и сестра, которым дали фамилию Иславины [9]. Иславина вышла замуж за доктора Берса, на дочери которого женат Лев Николаевич.

Лев Николаевич, будучи еще студентом, был неравнодушен к матери своей будущей жены [10]. Жена же его, Софья Андреевна, ему понравилась, будучи еще подростком, четырнадцати лет.

Он мне однажды сказал: «Вот, если бы ей было шестнадцать лет, а не четырнадцать, я ей сейчас же сделал бы предложение» [11] (Льву Николаевичу было тогда лет тридцать.) Когда обе сестры Берс выросли, он сам не знал, кто из них ему нравится больше. Это я узнала от Феоктистовой [12], так как я сама в то время уже была в Петербурге замужем и потеряла Толстых из вида. Когда он приехал, чтобы сделать одной из них предложение, обе сестры ждали решения своей судьбы, так как ни одна из них не знала, на которой остановился его выбор. Обе они были заинтересованы им. Когда оказалось, что он сделал предложение Софье Андреевне, то с Елизаветой Андреевной сделалось дурно.

[Вопрос И. А. Гриневской к Е. И. Сытиной:]

— Разве Лев Николаевич был так интересен? Ведь он совсем некрасив.

— Очень был интересен, даже его дурнота имела что-то привлекательное в себе. В глазах было много жизни, энергии.

Пока он еще «флиртовал» и был светским человеком, за которым вся Москва страшно ухаживала, и тогда он был очень заинтересован женщинами.

Это было за три-четыре года до его женитьбы. В это время вышло его «Семейное счастье» [13]. Он был влюблен тогда, я знаю, в княгиню Львову, урожденную княжну .....[14]. За ним ухаживала «вся Москва». Как же! Он был знатен и уже известен, как писатель...

В числе ухаживающих за ним девиц была Ольга Киреева, впоследствии Новикова [15]. У нее было некрасивое, крупное, широкое русское лицо с добрыми умными глазами. Он заочно мне называл ее «Маланьюшкой». Другая была Александра Николаевна Чичерина, впоследствии Нарышкина (жена «элегантного» Нарышкина) [16]. Она была тоже некрасивая, но очень образованная и умная. Обе они занимались очень вопросами буддизма.

Они звали его постоянно к себе на музыкальные вечера, которые организовывал Николай Рубинштейн [17] в зале матери Ольги Киреевой [18] (в доме Юсуповой) и которых мы всегда были членами.

Так как я всегда выезжала на эти концерты вместе с сестрой Льва Николаевича, Марией Николаевной, то нас обе барышни (Киреева и Чичерина) встречали с восторгом, с улыбкой радости в передней, зная, что за нами последует и Лев Николаевич. Они вели нас чуть ли не под руку в залу, сажали в первый ряд — на заранее оставленные кресла, выказывали нам всякий почет. (Мария Николаевна в то время уже развелась с мужем, имела троих детей, и теперь в монастыре [19].)

Лев Николаевич во время концерта, сидя вдали от нас на стуле, при исполнении какого-нибудь адажио Бетховена, обращаясь ко мне, выражал

телеграфно свои восторги музыкой при помощи знаков, жестов и мимики: возводил глаза к небу, прижимал обе руки к сердцу, а для выражения наивысшего восторга крестился.

Все общество, конечно, следившее за всем, что он делал, обращало внимание и на меня, с которой он переговаривался таким оригинальным образом.

Иногда, по окончании концерта, Киреева оставляла нас на чашку чая, после чего мы с Марией Николаевной уезжали раньше, а Лев Николаевич оставался еще беседовать с умными барышнями, хотя они были не в его вкусе, так как он тогда особенно отличал женщин добрых, простых, кра-

Е. И. СЫТИНА

Фотография конца 50-х годов

Частное собрание, Москва

сивых, а главное, здоровых. Ум женщины не представлялся ему достоинством, скорее наоборот.

Мария Николаевна жила с детьми в Москве, в гостинице Бекетова, на Тверской [20]. И братья часто приезжали к ней — Николай, Сергей и Лев. Я часто бывала у Марии Николаевны и наслаждалась лицезрением Льва.

К книжкам он не позволял подходить.

— Какая это книжечка?

— Это дневник, не трогайте.

Тут я думаю: «Непременно трону».

Мария однажды лежала за перегородкой, а я рылась в книгах и стала перелистывать именно запретный дневник. И я прочла некоторые вещи в дневнике, которые он хранил в тайне, и даже Марии Николаевне не позволял дотрагиваться до своей красной маленькой книжечки [21].

Там не было серьезных рассуждений. Там были только краткие заметки. Из дневника я узнала, что он «был в интриге» с одной из соседок по имению. Я сказала это Марии Николаевне. И она очень удивилась, не подозревая этого, и сказала: «Вот почему Левушка ругает всегда ее мужа и бегал все в лес...» [22].

Обо мне он выразился так: «К. Ч. — умная кокетка!» [23]. И так как он знал, что я влюблена в его кузена Василия Степановича Перфильева [24], то записал сцену, при которой он присутствовал и которая произошла у нас в доме. «В третий раз, — пишет он в дневнике, — мне пришлось видеть подобную сцену: рояль, две свечки, двое влюбленных, соната Бетховена» [25].

В этой книжке была еще заметка: «Был в публичном доме. Так было противно, что дал себе слово не бывать там» [26].

Мы целых три года находились в очень дружеских отношениях со всей семьей Толстых, живших в Москве. Из Толстых Сергей и Николай ухаживали за мной. Николай сделал мне предложение. Лев Николаевич очень хотел, чтобы я вышла за Николая, но он был чахоточный и не нравился мне, и я, несмотря на советы Льва Николаевича, отказала ему. Мне нравился Сергей, который был красивее братьев, но он предложения мне не сделал.

Лев Николаевич очень хотел, чтобы я вышла за Николая. Он всегда говорил: «Мой брат Николай умнее, гораздо умнее меня, и все, что я имею, я получил от него». К сожалению, он рано умер от чахотки [27]. Смерть его была большим горем для Льва Николаевича.

Надобно сказать, что в это время Мария Николаевна, расставшись с своим мужем, жила с тремя детьми в Москве, в гостинице, как я вам сказала, на Тверской. В Марию Николаевну был влюблен Тургенев, о чем она мне рассказывала очень подробно [28]. Они вели переписку постоянно. Тургенев посылал ей свои романы, вновь написанные, и спрашивал всегда ее мнение о них. Он написал «Фауста» [29] под впечатлением любви к ней. Сцена в беседке навеяна этой любовью *.

Мария Николаевна однажды мне говорит:

— Знаешь, Катя, я сегодня бросила мой платок вот так, а сама, облокотясь, сидела и видела, как он мой платок взял и поднес к губам.

Надо также рассказать о Льве Николаевиче, что в это время он страстно увлекался охотой на медведей. И раз попал медведю в лапы, а тот хватил его в лоб, и я застала Льва Николаевича с повязкой на лбу. Он весело рассказывал историю этого происшествия и говорил, что испытал жуткие минуты [32].

Запомнился мне еще один курьез, который, может быть, и не стоит рассказывать, но он врезался в моей памяти.

---

* Рассказав о том, что Тургенев ухаживал за Марией Николаевной, что «Фауста» он написал под влиянием этой любви и что она была им «заинтересована», Е. И. Сытина прибавила:

— Тургенев делал «отступления» от Виардо, ухаживал за другими, можно сказать «губил» женщин. Моя приятельница, Вера Сабурова [30], из богатой московской семьи, красивая, добрая и милая, поехала с своим красавцем-братом за границу и там встретилась с Тургеневым, пленилась им. Он, верно, слегка за ней ухаживал. Она серьезно увлеклась им. Это было в Германии где-то. Оттуда она поехала в Париж, из Парижа, все также с братом, в Лондон. Из Парижа Тургенев дал ей письмо к Герцену. Из Лондона она вернулась в Москву и все ждала Тургенева, когда он приедет в Москву и посетит ее, как он обещал. Но он не исполнил своего обещания. Она настолько огорчилась, что перестала обращать внимание на всех, — все казалось ей мелко. Потом она заболела и потеряла способность писать, читать и правильно говорить, путала слова. Женихам, которых у нее было не мало, она всем отказывала и умерла пятидесяти лет, сохранив до конца память о Тургеневе. В семействе запрещено было о нем говорить. Под впечатлением этого эпизода Тургенев написал «Асю» [31]. Вера Сабурова встречалась у меня с Марией Николаевной, и обе всегда недружелюбно смотрели друг на друга.

Послал он однажды купить фунт крупного винограда, стоивший тогда полтинник. Лев Николаевич в то время любил полакомиться, как все некурильщики. Мы с Марией Николаевной торчали тут же.

Когда коридорный принес виноград, Лев Николаевич взял его в руки и, немного подумав, конфузливо и шутливо заметил:

— Знаете, mesdames, ведь если этот фунт разделить на три части, то никому не будет никакого наслаждения, лучше уж я съем все.

Мы, конечно, поневоле согласились и предоставили Льву львиную долю целиком. Он ел, а мы смотрели. Однакоже ему становилось совестно, и он, держа виноград, прерывал еду словами:

— А все-таки, mesdames, не хотите ли?

Мы всякий раз великодушно отказывались.

Вот еще случай. Раз он говорит:

— Знаете, mesdames, сегодня вечером я вам готовлю сюрприз: познакомлю вас с одним интересным субъектом, которого я встречу сегодня вечером в Малом театре [33] и привезу сюда ужинать в двенадцать часов. Так как я больше надеюсь на вас, Катерина Ильинична, чем на Машеньку, насчет устройства этого ужина, то прошу вас заказать хорошую закуску повару гостиницы, какое-нибудь хорошее жареное, сладкое, пирожное, вина несколько бутылок, а главное — две бутылки замороженного шампанского.

Можете себе представить, в каком мы были напряженном состоянии, не зная, кого он может привезти. Все было исполнено, и в двенадцать часов явился Лев Николаевич с гостем. Вошел невзрачный молодой человек, лет двадцати пяти, некрасивой, но выразительной наружности.

Лев Николаевич представил его нам так: «Будущая знаменитость, Иван Федорович Горбунов» [34].

БРАТЬЯ СЕРГЕЙ, ДМИТРИЙ и НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧИ ТОЛСТЫЕ и В. С. ПЕРФИЛЬЕВ (КРАЙНИЙ СПРАВА) С ЖЕНОЙ

С дагерротипа конца 50-х годов

Толстовский музей, Москва

Вначале он произвел безразличное впечатление, но когда за ужином, после шампанского, разошелся, то рассказывал много своих рассказов, которыми всех нас пленил.

Толстой много смеялся, был оживлен и весел.

[Вопрос И. А. Гриневской к Е. И. Сытиной:]

— А какой был голос у Льва Николаевича?

— Не помню, не могу описать, но знаю, что он всегда говорил громко, ясно, с увлечением, даже о пустяковых вещах, и с его появлением вдруг все озарялось. Всякая скука мигом исчезала, лишь он только покажется.

II

Последнее время, что я провела в Москве до моего замужества, я была под грустным чувством, что проводила Толстых в Тулу [35]. Это было на Фоминой. Погода была весенняя, теплая. Я думала, что еще долго их не увижу, и вдруг гляжу в окно и замечаю едущего по направлению к нашему дому Льва Николаевича.

Я побежала к нему навстречу, сама открыла ему дверь. Он встретил меня:

— Здравствуйте, вот и я к вам. Пришел голодный, дайте мне что-нибудь поесть.

Я усадила его и побежала в кухню и велела подать ему весь обед. Были щи, и он с удовольствием их ел.

Поев, он поблагодарил меня, сел на диван и сказал: «Поиграйте что-нибудь»,—и я, как теперь помню, сыграла концерт Моцарта, который я разучила с Николаем Рубинштейном.

Затем, поболтав, он предложил пройтись по Пресненским прудам. Он говорил о романтизме, что — не помню.

После[36] я была целый день у него. Он показывал мне Ясную Поляну. В грунтовый сарай забрались и ели вишни — я с одной стороны, он с другой. Помню фразы, которыми мы перекликались:

Он.— А что, не тянет в Тамбов? (Намек на Перфильева.)

Я. — Нет, не тянет.

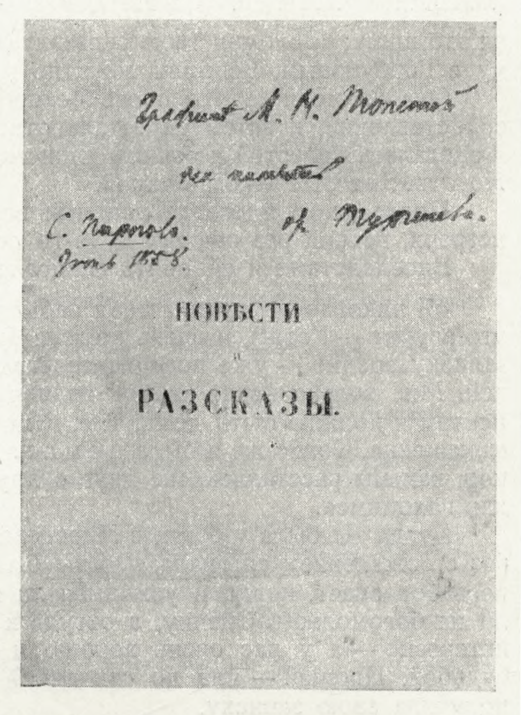
Он. — Ну и слава Богу.

Играли на фортепьянах в четыре руки симфонию Гайдна.

Затем я вышла замуж. Я написала о моем желании повидаться и получила от Льва Николаевича письмо. Вот оно [37]:

«Чрезвычайно я рад и горд за себя и за Машиньку, любезная Катерина Ильинична, что вы приехали и дали нам знать. Я бы сейчас приехал в Тулу, ежели бы это не было совершенно невозможно, именно нынче. Вот в чем дело. Завтра мы, т. е. тетушка Тат[ьяна] Ал[ександровна], которая вам кланяется, поздравляет et cet., едем в Пирогово. Машинька дней через 10 уезжает за границу и потому едва ли, несмотря на все желание, будет в состоянии приехать к вам. А потому я осмеливаюсь предложить вам следующее: приехать завтра с вашим мужем (с которым я и тетушка очень желаем познакомиться и которого просим не отказать нам — приехать к нам) и вместе отправиться в Пирогово. Машинька же со всеми детьми [38] и с чаем на половине дороги будет встречать нас, нисколько не ожидая Катерины Ильиничны!.. Тетушка предлагает вам место в карете, ежели же муж ваш приедет и охотник ездить верхом, то я ему предложу лошадь, в противном случае таратайку*. — От Тулы до Ясной

* Об обратном путешествии, разумеется, нечего вам заботиться, потому что за радость, которую вы ей доставите своим приездом, она охотно хоть на тройке своих детей отвезет вас назад в Тулу.



ОБЛОЖКА «ПОВЕСТЕЙ И РАССКАЗОВ» И. С. ТУРГЕНЕВА (1856) С ДАРСТВЕННОЙ НАДПИСЬЮ М. Н. ТОЛСТОЙ

Толстовский музей, Москва

15 верст, от Ясной до Пирогова 35 в[ерст]. Ехать тетушка собирается в 7-м часу вечера. Обедать мы будем в 2 часа, а ожидать вас будем с 12-ти часов. Трепетно повергая к стопам вашим сии предложения, будем ожидать вашего решения. Впрочем, без шуток, будьте так добры, прикажите хоть на словах сказать яснополянским ямщикам на тульской станции, для передачи мне, будете ли вы или нет? В последнем случае, как мне ни нельзя, я все-таки завтра утром хоть на часок приеду в Тулу.

Весь ваш Л. Толстой»

III

Потом я встретила Льва Николаевича случайно на железной дороге, когда я ехала с детьми (он пришел ко мне в вагон).

Когда он женился и погрузился в свое семейное счастье, я к Толстым уже не ездила.

Не видалась я и с Марией Николаевной. Мария Николаевна теперь монахиня [39], хотя не думаю, чтобы она была убежденной монахиней, а скорее потому, что она привыкла к посещению их дома монахов и монахинь. Не видалась больше с ней, потому что между нами еще до моего замужества произошла размолвка по пустой причине. Я скажу — по причине, весьма характерно рисующей быт молодых светских девушек того времени, имевших досуг предаваться сердечным излияниям. Мы рассорились из-за пустяка, в письмах. Когда Горбунов, уходя домой после ужина в гостинице, попрощался с нами и пожал руку Марии Николаевне, она сказала мне: «Знаешь, Катя, у меня точно ток прошел по телу».

Я тут ничего не сказала. Я любила тогда серьезно Перфильева, чему они (т. е. Толстые) сочувствовали, но он был женат, и нам надо было разойтись. Я уехала в Ревель. Тут за мной ухаживал какой-то немец; он мне очень понравился, хотя я находила его не стоящим моих чувств. Обо всем этом я написала Марии Николаевне. Она мне в ответ на это прочла мораль: как это я могла увлечься мальчиком, когда я недавно любила

интересного человека, что это недостойно меня и т. д. Тогда я ей в ответ на это пишу: «Вспомни твою серьезную любовь к Тургеневу и твою встречу с Горбуновым. Вспомни пожатие руки».

Она на меня за это очень оскорбилась, как я могла сделать такое сопоставление, и затем перестала отвечать на мои письма. А тут скоро я сделалась невестой и решила написать ей о моем важном шаге в жизни. Но ответ ее был уже не такой.

После этого я делала попытки встретиться с ней, но она не искала встречи, всякий раз она все куда-то собиралась ехать.

Впоследствии я ей опять написала и получила письмо [40]:

«Я никогда не думала тебя забывать, милый друг Катя (как странно это звучит — Катя!), и очень желала бы тебя видеть, но я получила твою записку поздно — уже послала телеграмму в Ясную, чтоб выслали лошадей. Мне только какая-нибудь неделя осталась повидаться с ясенскими, постом я должна быть дома, т. е. в монастыре, где я живу: ведь я почти монашенка. Когда же я была н е м а на твои попытки к сближению? С тех пор, как мы расстались, мы друг о друге не слыхали и даже и не знали, где находимся.

Когда ты была у брата в Пирогове, меня не было здесь [41], и я всякий раз с сожалением слышала, что ты была и я не могла тебя видеть. А теперь бог знает, когда и увидимся ли на этом свете. Разве не приедешь ли на богомолье в Оптину, а оттуда к нам в монастырь, но тебе это неинтересно — а у нас очень хорошо и покойно, я очень довольна своей судьбой. Прощай — или до свиданья? Целую тебя; жаль, что не вчера получила твою записку.

Твоя М. Толстая»

IV

Потом я встретила Льва Николаевича, опять на железной дороге; это было во время голодовки, когда он ездил открывать столовые. Он был со своей дочерью, Марией Львовной [42]. Они везли кульки с хлебом, баранками и пр. Пришлось сказать несколько слов, и разошлись по разным вагонам.

Ранее этого я встречалась с ним, когда в Туле любители ставили «Плоды просвещения» [43]. Заведывал этим спектаклем председатель Тульского окружного суда Давыдов и в свою «компанию» не велел пускать никого из посторонних на репетицию.

В этом спектакле участвовали моя belle-soeur Лиза Аполлоновна [44] и Зоя Мясново [45]. Ввиду того, что играли мои родственники, я написала записку и велела швейцару отдать ее Льву Толстому, который был на репетиции [46]. Он ответил, что «будет очень рад видеть меня». Лев Николаевич меня встретил и повел в первый ряд и полчаса был занят мною. Когда я спросила, доволен ли он пьесой, он сказал, что играют прекрасно, «но что сказать о пьесе?», и заметил с иронией: «Вздор останется вздором». Расспрашивал о детях, кто где учится, и т. д. Мне, как всегда, он был очень интересен.

В последний раз я видела его перед болезнью его, в Гаспре [47]. Тут он наслаждался крымскими видами. Он жил в доме графини Паниной. Я привезла ему адрес с пожеланиями ему здоровья (подписалось около ста человек) [48].

Тут, на мраморной террасе, среди растений, на столике он писал что-то на клочках. Судя по его словам, это касалось религии. Он тогда был озабочен тем, что его отлучили от церкви, и заносил разные мысли о религии [49].

В это время заблаговестили. Тогда он сказал мне и Мясоедову [50] (художнику): «Слышите этот звон? Вот здесь все зло. Вот это все надо

переделать». Разговор был религиозный. Потом Лев Николаевич пошел с Мясоедовым, а я осталась с Софьей Андреевной [51]. С ней мы говорили о различных вещах. Она сказала, как ей трудно детей воспитывать, так как Лев Николаевич имеет свой взгляд на воспитание. «Мы исковеркали детей. Последнюю дочь, — она сказала, — хочу сохранить и дать ей обыкновенное воспитание, сделать из нее обыкновенную женщину... Ах, как я много наболтала, а Левочка мне говорит: говори меньше, а то ты всегда глупости наговоришь»,— сказала она, улыбаясь.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Есть основания считать, что Лев Николаевич Толстой бывал в имении Перфильевых только в конце 40-х годов.

[2] Об этом свидетельствует письмо Толстого от 5 июля 1854 г. (см. Юбилейное издание собрания сочинений Толстого, т. LIX, стр. 276).

[3] Опубликовано К. И. Чуковским,— «Звезда», 1930. № 5, стр. 150.

[4] Сытина Н. А., Воспоминания о моей бабушке Е. И. Сытиной. Рукопись архив К. С. Шохор-Троцкого).

[5] Сытин Владимир Аполлонович (1826—1882), сын учителя тульского военно-дворянского училища. Участвовал в войне 1853—1856 гг. Впоследствии служил в придворном ведомстве.

[6] Рукописное отделение Всесоюзной библиотеки им. В. И. Ленина. Архив Т. А. Ергольской. В том же письме Е. И. Сытина писала: «Прошу вас передать мой поклон Льву Николаевичу, желаю ему от души поскорей выздороветь».

[7] Там же. Архив Л. Н. Толстого. Письмо Е. И. Сытиной от 1 января 1896 г. из Тулы. Адресовано в Ясную Поляну, переслано в Москву. Пометы об ответе не имеется.

[8] Имение Чихачевых Нащекино находилось в Кирсановском уезде и впоследствии перешло к Сытиным. Детство свое Е. И. Сытина провела в имении Паузово, Шацкого уезда.

[9] У приятеля отца Л. Н. Толстого, Александра Михайловича Исленьева, от первого брака с неразведенной кн. С. П. Козловской было шестеро «незаконных» детей (три сына и три дочери), получивших фамилию Иславины. Е. И. Сытина, повидимому, была знакома не со всеми Иславиными. По ее словам, она часто встречала у Толстых К. А. Иславина, «отличного пианиста» (письмо к А. К. Чертковой от 29 апреля 1916 г.;

МАРИЯ НИКОЛАЕВНА ТОЛСТАЯ
Фотография
Толстовский музей, Москва

архив В. Г. Черткова). Как-раз с ним Толстые были более близки, чем с остальными Ислaвиными.

[10] Берс Любовь Александровна (урожд. Иславина), мать С. А. Толстой, рассказывала, будто она была «предметом любви» Толстого, когда ему было семь лет, а ей девять, и будто он тогда «из ревности» столкнул ее с балкона (см. Берс С. А., Воспоминания о гр. Л. Н. Толстом, Смоленск, 1894, стр. 6). Эта легенда, повидимому, муссировалась в семье Берсов, но Толстым она нигде не подтверждена.

[11] Четырнадцать лет Софье Андреевне исполнилось в 1858 г., когда Толстой однажды, 17 сентября, записал в дневнике: «Обедал у Берса. Милые девочки».

[12] Вероятно, какая-нибудь родственница известного впоследствии цензора Е. М. Феоктистова, который был знаком с семьей Берсов.

[13] «Семейное счастье» появилось в «Русском Вестнике» за 1859 г., апрель, кн. I и II.

[14] В апреле 1859 г. у Толстого вновь «поднялось» испытанное им за год перед тем чувство к княжне А. В. Львовой, которая ни раньше, ни позднее в браке не была. Вероятно, Е. И. Сытина знала и о том, что Толстой в 1857 г. увлекался также ее старшей сестрой. Последняя в 1858 или 1859 г. вышла замуж за кн. А. Г. Гагарина. Это и вызвало некоторую неточность в рассказе Сытиной.

[15] Киреева Ольга Алексеевна (1840—1925), из славянофильской семьи. В 1860 г. вышла замуж за гвардейского офицера И. П. Новикова. Впоследствии сотрудничала в английской и русской консервативной прессе и напечатала ряд книг («Russia and England, a protest and an appeal», Лондон, 1880, и др.). С 70-х годов жила в Лондоне, где у нее был салон, поддерживавший русскую правительственную политику. Ее воспоминания и переписка напечатаны в книге: Стэд Вильям, Депутат от России, Лондон, 1909; перевод — Петроград, 1915. В архиве Толстого сохранилась записка О. А. Новиковой к нему (без даты).

[16] Чичерина А. Н. (1839—1918), сестра юриста Б. Н. Чичерина. В 1871 г. вышла замуж за обер-камергера Э. Д. Нарышкина, сына известной красавицы М. А. Нарышкиной и Александра I. Он был одним из крупнейших русских землевладельцев. Интересную и яркую характеристику А. Н. Нарышкиной (Чичериной) дает В. Н. Ламздорф в своем «Дневнике» (Гиз, М.— Л., 1926, стр. 141, 145 и 153).

А. Н. Чичерина названа Толстым в его дневнике в числе тех, в кого он был влюблен (запись 25 января 1858 г.).

[17] Рубинштейн Николай Григорьевич (1835—1881), пианист и дирижер, учредитель московского отделения Русского музыкального общества. Основатель и директор Московской консерватории.

[18] Киреева Александра Васильевна (1812—1891), мать О. А. Киреевой, урожд. Алябьева. С 1832 г. была замужем за А. Н. Киреевым (ум. в 1849 г.). В молодости была красавицей. Пушкин отметил «блеск Алябьевой» в стихотворении «К вельможе». Толстой был об А. В. Киреевой невысокого мнения: «Киреева оттого необыкновенная и странная дура, что, когда была хороша, ее принимали за умную...» (дневник, 8 мая 1858 г.). Ядовитые замечания о ней и об ее дочери содержатся в воспоминаниях Б. Н. Чичерина «Москва сороковых годов» (М., 1929, стр. 56—57).

Зимой 1857/58 г. Толстой нередко бывал у Киреевой (на Большой Никитской). Его привлекали концерты, о которых рассказывает Сытина, не раз отмеченные в его дневнике. Вероятно, об этих концертах Толстой писал 4 января 1858 г. В. П. Боткину, что в Москве «хорошая музыка даже есть, и теперь окончательно устраивается музыкальное общество под руководством Мортье». Быть может, с этими музыкальными вечерами (у Киреевой) связаны набросанные Толстым «правила» «Квартетного общества». Самые существенные пункты этих «правил» следующие: «3) Квартеты, трио и квинтеты (септюоры, ежели средства позволят) исполняются только артистами за плату. 4) Исполнение сочинений любителей и любителями воспрещается» («Подписной лист для желающих участвовать в Квартетном обществе. Правила». Не опубликован. Автограф в архиве Толстого во Всесоюзной библиотеке им. В. И. Ленина).

[19] М. Н. Толстая разошлась с мужем летом 1857 г. (развода не получила). В монастыре она поселилась в 1889 г. Умерла в 1912 г.

[20] По приезде в октябре 1857 г. в Москву, Толстой снял квартиру на Пятницкой улице (в меблированных комнатах Варгина), где и поселился вместе с Марией Николаевной, ее детьми и Николаем Николаевичем. Позднее, однако, М. Н. Толстая и ее дети поселились отдельно. В одном из писем этого времени к Т. А. Ергольской она дает свой адрес: Тверская, дом Бекетова. Возможно, что одно время и Толстой жил в этом доме (мы еще не знаем всех домов, в которых он в те годы жил в Москве). Судя по его дневнику, он иногда приходил к М. Н. Толстой заниматься.

[21] В 1856—1863 гг. Толстой вел дневник в небольшой книжечке в темно-желтом кожаном переплете. Эту книжечку и смотрела Е. И. Чихачева. Книжечка хранится в архиве Толстого во Всесоюзной библиотеке им. В. И. Ленина. Текст содержащегося в ней дневника войдет в т. XLVIII Юбилейного издания.

[22] Близ Ясной Поляны жил лесничий тульского пригородного лесничества, немец, капитан К. Ф. Гимбут, с которым Толстой был с давних времен знаком. Он женился на Надежде Николаевне Дуровой, которая была на семнадцать лет моложе его (род. в 1832 г.). Летом 1856 г. Толстой часто бывал у Гимбутов. Бывало, что Н. Н. Гимбут вызывала его на свидание или звала в лес на прогулку. Муж Гимбут проявлял «ревнивый гнев», «кричал, что inconvenable» *, и однажды «прибежал сам подлейшим, наигрубейшим образом, при ней упрашивая» Толстого «не компрометировать ее». Толстому приходилось «объясняться» с ним. Об отношениях Толстого с Гимбут есть много записей в его дневниках 1856—1858 гг. и в записной книжке 1856 г. В дневниковой записи от 30 апреля 1858 г. читаем: «Н. Н. [Гимбут] была одна. Она сердита на меня, а улыбка милая. Ежели бы не павлиньи руки».

[23] Запись 26 февраля 1858 г. См. выше предисловие.

[24] Перфильев В. С. (1826—1890), в 1858 г. кирсановский уездный предводитель дворянства. О нем см. выше, в предисловии. Еще см. Юбилейное издание, т. LIX, стр. 20.

[25] См. дневниковую запись Толстого от 27 февраля 1858 г., приведенную в предисловии. Следует отметить, что в декабре того же года Толстой еще раз упомянул вместе имена В. С. Перфильева и Е. И. Чихачевой. Он записал: «Вас[инька] с Чихач[евой] согреш[или?]. *Минута увлеченья*. Они думали: что будет? Ничего не было. Обкаталось» (записная книжка, запись между 8 декабря 1858 г. и 1 января 1859 г. Архив Толстого, Всесоюзная библиотека им. В. И. Ленина). Толстой считал неприличным взаимное увлечение молодого «связанного узами брака» мужчины и молодой благовоспитанной девушки.

[26] Вероятно, Е. И. Чихачева прочла сделанную в Петербурге запись от 15 мая 1856 г.: «...У Толстой приятно провел вечер. И зашел к Дюссо. Попал на ужин, С[троганов?] и др. и с девкой. Никогда, никогда нога моя не будет в публичном месте, кроме концерта и театра».

[27] Николай Николаевич Толстой умер 20 сентября (2 октября) 1860 г. в Гиере, близ Ниццы. «Страшно оторвало меня от жизни это событие», — записал Л. Н. Толстой по поводу смерти брата (дневник, 13/25 октября 1860 г.).

[28] Тургенев познакомился с М. Н. Толстой 24 октября 1854 г. и сразу, по его словам, «едва ли не влюбился» в нее. О своем к ней отношении он тогда же и позднее не раз восторженно и тепло писал своим друзьям. В письме, написанном после ее разрыва с мужем, Тургенев заверял ее, что, пока жив, останется ее другом. Но Мария Николаевна, несомненно, испытывала к нему настоящее чувство. Весь 1857 г. и пять месяцев 1858 г. Тургенев провел за границей. В это время он, вероятно, и переписывался с ней постоянно (как рассказывает Сытина).

В начале 1858 г. Тургенев, между прочим, писал Толстому, а также, вероятно, и Марии Николаевне, о своем намерении вернуться в Россию, чтобы жить в деревне, не позднее мая. Мария Николаевна с нетерпением ждала его приезда. Толстого, несомненно, огорчало состояние сестры, — он отлично знал о «несчастной связи» Тургенева с Виардо, знал, что он болен не только физически, но и «нравственно» (письма Толстого к Ергольской и к сестре от 20 и 30 апреля 1857 г.). Поэтому понятно, что по приезде в деревню, где была Мария Николаевна, Толстой записал: «М[ашиньку] известие об отсутствии Т[ургенева] ударило. Вот те и шуточки. Поделом ему скверно» (неизданная запись в дневнике 8 мая 1858 г.). Тургенев приехал в свое Спасское с запозданием, в июне. В дневнике Толстого 12 июня отмечено: «вчера приехал Тургенев», но не ясно, был ли он в Ясной Поляне или в Пирогове (о поездке в которое Толстой ранее упоминает в той же записи). Немного позднее, 22—25 июня, Тургенев гостил в Пирогове. По возвращении в Спасское он писал Полине Виардо 25 июня 1858 г.: «... я провел очень приятно три дня у своих друзей: двух братьев и сестры, прекрасной, но очень несчастной женщины. Она принуждена была разойтись с мужем, своего рода деревенским Генрихом VIII, очень отвратительным; у нее трое детей, которые растут хорошо, особенно с тех пор, как с ними нет отца. Он обращался с ними слишком сурово, из принципа: ему доставляло удовольствие воспитывать их по-спартански, а самому вести как-раз противоположный образ жизни. Подобные вещи часто встречаются: таким способом можно пользоваться приятными сторонами и порока и добродетели,— последней по передоверию... Из двух братьев один [Сергей] довольно бесцветен, другой [Николай] — прелестный малый, ленивый, флегматичный, неразговорчивый и в то же время очень добрый, нежный, с тонким вкусом и тонкими чувствами, существо поистине оригинальное. Третий брат (граф Лев Толстой, о котором я говорил вам, как об одном из лучших наших писателей. Вы улыбаетесь, вспоминая Фета, к которому я еду завтра, так как он мой сосед; но Толстой действительно и без всяких оговорок из ряду вон выходящий талант, и я надеюсь когда-нибудь убедить вас в этом, переведя его «Детство и отрочество». Здесь я закрываю эти бесконечные скобки). Третий брат, говорю я, должен был приехать и не приехал. Сестра — довольно хорошая музыкантша; мы играли Бетховена, Моцарта и т. д.» (см. «Письма И. С. Тургенева к

* Неприлично.

г-же Полине Виардо и его французским друзьям, собранные и изданные г. Гальперин-Каминским», М., 1900, стр. 121—122). В этом издании, в примечании к письму, неверно сообщено, что Тургенев посетил Толстых в Ясной Поляне. Ошибка эта повторена в книге: Клеман М. К., Летопись жизни и творчества И. С. Тургенева, «Academia», М. — Л., 1934, стр. 100.

Факт пироговского свидания Тургенева с М. Н. Толстой подтверждается и экземпляром его книги «Повести и рассказы» (ч. I, СПБ., 1856), которую он подарил ей с надписью: «Графине М. Н. Толстой на память от Тургенева. С. Пирогово. Июнь 1858» (книга хранится в Толстовском музее).

Лето и осень 1858 г. Тургенев прожил в Спасском-Лутовинове, но о свиданиях его с М. Н. Толстой (после июньского) мы сведений не имеем. Повидимому, в это время произошло что-то, разъединившее его с нею. Толстой после своей поездки в Спасское отметил, что Тургенев ему «тяжел невыносимо», и там же, в дневнике, сделал многозначительную запись: «Тург[енев] скверно поступает с М[ашинькой]. Дрянь» (неизданная запись 4 сентября 1858 г.). Все это вызывает мысль о страданиях, принесенных Марии Николаевне Тургеневым, и позволяет считать, что «роман» их в 1858 г. закончился. 10 марта 1859 г. Толстой, приехав в Петербург, остановился у Тургенева. 20 марта Тургенев выехал из Петербурга и по пути в Спасское заехал к М. Н. Толстой в Ясную Поляну, в отсутствие Толстого. Вскоре же, 12 апреля, он писал В. П. Боткину, что с Толстым «покончил все счеты» («как человек он для меня более не существует»). Мы допускаем, что в расхождении писателей сыграло роль и неодобрение Толстым «романа», о чем Тургенев, вероятно, знал от самого Льва Николаевича. По словам Софьи Андреевны, М. Н. Толстая уже в 1865 г. подробно рассказала ей «свой роман с Тургеневым» («Письма С. А. Толстой к Л. Н. Толстому», М. — Л., 1936, стр. 56).

О знакомстве Тургенева с М. Н. Толстой сохранились сведения в любопытном письме Н. Н. Толстого (см. ниже, стр. 729). Несколько писем Тургенева опубликовано В. И. Срезневским в «Звеньях», I, М.—Л., 1932, стр. 282—285. Основная же часть писем Тургенева к М. Н. Толстой до сих пор не опубликована; хранится во Всесоюзной библиотеке им. В. И. Ленина.

[29] «Фауст. Рассказ в девяти письмах» был посвящен Тургеневым М. Н. Толстой. Он был написан летом 1856 г. и в том же году напечатан в «Современнике» (№ 10). В связи с этим рассказом см.: Кузминская Т. А., Мои воспоминания о гр. М. Н. Толстой, СПБ., 1914, стр. 12; «Толстой и Тургенев. Переписка», М., 1928, стр. 31 (письмо Тургенева от 3/15 января 1857 г.), а также «Звенья», I, стр. 284, и Юбилейное издание, т. LIX, стр. 98.

[30] Вера Сабурова и ее брат, путешествуя летом 1857 г. по Европе, заехали в немецкий курортный городок Зинциг (Рейнская провинция) навестить больного русского художника Никитина. 21 июня (3 июля) в Зинциг приехал лечиться Тургенев. В письме к П. В. Анненкову от 27 июня (9 июля) он сообщает, что познакомился здесь с Никитиным, к которому «в гости приезжали и сегодня уехали двое других русских, и тоже премилых, некто Сабуров и сестра его — москвичи (собственный дом в третьей Мещанской и т. д.)». «Мы вчера, — добавляет он, — делали сообща большую прогулку по долине Ары; долина оказалась очень живописной» (см. «Наша Старина», 1915, № 1, стр. 77).

Из Зинцига Сабуровы отправились в Париж и Лондон, и Тургенев дал им письмо к Герцену. 5/17 июля он писал ему: «...За знакомство же Сабуровых тебе приходится мне быть благодарным, потому что оба — и брат и сестра — принадлежат к числу самых милых русских, с какими мне только удавалось встречаться. Они, вероятно, рассказали тебе кое-что о моем здешнем житье-бытье» (см. «Письма К. Д. Кавелина и И. С. Тургенева к А. И. Герцену», с примечаниями М. Драгоманова, Женева, 1892, стр. 108). В ответном письме от 8/20 июля Герцен только упомянул, что «Сабуровых видел» (см. его Полное собрание сочинений и писем, т. VIII, П., 1919, стр. 552).

А. Ф. Кони, лично знавший Сабурову, подтвердил К. С. Шохор-Троцкому (в беседе 1926 г.) достоверность сообщения Е. И. Сытиной о ней.

[31] Возможно, что это предположение Е. И. Сытиной не лишено некоторых оснований, хотя, по сообщению Тургенева, записанному Н. А. Островской, происхождение замысла «Аси» другое (см. «Тургеневский сборник», изд. «Огни», СПБ., 1915, стр. 78). Рассказ «Ася» был начат Тургеневым 30 июня 1857 г., обрабатывался усиленно в августе и в конце ноября был отослан в «Современник», где и появился в январской книжке 1858 г. Свидание (последнее?) Сабуровой с Тургеневым в Париже было в середине июля 1857 г. Очень вероятно, что Тургенев никогда и не узнал о пережитой из-за него драме Сабуровой.

[32] В конце декабря 1858 г. Толстой два дня провел под Вышним-Волочком на медвежьей охоте. 22 декабря его подмяла и погрызла раненная им медведица. Он счастливо «отделался небольшим шрамом, который останется на лбу» (письмо к Т. А. Ергольской от 25 декабря). Случай этот описан Толстым в рассказе для детей «Охота пуще неволи» (1872). См. также «Мои воспоминания» А. Фета, т. I, М., 1890, стр. 226—228.

[33] В дневнике Толстого 1857—1859 гг. отмечены только два посещения им московского Малого театра: 8 ноября 1857 г. он был на комедии Александра Красовского «Жених из ножевой линии», с участием П. М. Садовского, и 26 января 1858 г. он смотрел Щепкина в «Ревизоре». Возможно, что в том же театре Толстой был и 20 декабря 1857 г. (письмо А. В. Киреевой к нему от 19 декабря 1857 г.; архив Толстого). Кроме того, по нашему предположению, он был в Малом театре 27 марта 1858 г. (см. прим. 34-е).

[34] Горбунов Иван Федорович (1831—1895), писатель, драматический артист, талантливый рассказчик. Родился в семье дворового. Благодаря исключительному мастерству, он стал еще в конце 50-х годов «желанным гостем» в петербургских и московских гостиных. По словам Кони, Горбунов, «как рассказчик, был своеобразным и чутким художником, умевшим возбуждать неудержимый смех и в то же время избегать всего пошлого, банального, подражательного и избитого». См. Горбунов И. Ф., Сочинения. Под редакцией и с предисловием А. Ф. Кони, изд. А. Ф. Маркса.

Толстой познакомился с Горбуновым в Петербурге в конце ноября 1855 г., сразу по приезде из-под Севастополя. 11 декабря Горбунов был уже в числе гостей на устроенном Толстым вечере у цыган. Живя с февраля по май 1856 г. в Петербурге, Толстой, вероятно, часто встречался с Горбуновым и, повидимому, оказывал на него какое-то влияние. Это видно из его неизданной записи: «Утром пришел Горбунов. Приятно для самолюбия видеть его улучшение» (дневник, 25 апреля 1856 г.). Уезжая из Петербурга, Толстой оставил на попечение Горбунова свою квартиру. Вскоре он пригласил его в Ясную Поляну (письмо к нему от 12 июня 1856 г.), но Горбунов не приехал. Известна еще записка Толстого к Островскому (лето — осень 1856 г.): «Ежели Горбунов у тебя, скажи ему, что я никак не пойму, за что он меня знать не хочет».

Об описываемой Сытиной московской встрече Горбунова с Толстым дополнительных сведений не найдено. На основании некоторых записей в дневнике Толстого, можно думать, что он познакомил свою сестру с «будущей знаменитостью», Горбуновым, 27 марта 1858 г.

Много лет спустя, в 80-х годах, Горбунов не раз бывал у Толстого в Хамовниках. Толстому нравились его рассказы, и он любил его слушать. Ставшее в свое время крылатым горбуновское выражение «от хорошей жизни не полетишь» (из рассказа «Воздухоплаватель») Толстой однажды привел в письме (неизданное — к Д. А. Хилкову от 29 (?) мая 1892 г.).

[35] В 1859 г. М. Н. Толстая с детьми и с братом Николаем Николаевичем уехала из Москвы в Ясную Поляну 19—20 марта. Л. Н. Толстой, по возвращении из Петербурга, съездил в апреле на несколько дней в Ясную Поляну. Вернулся он из Ясной Поляны 15 апреля, провел в Москве Фоминую неделю и совсем уехал в деревню 27 апреля. Толстой был у Е. И. Чихачевой, вероятно, 15 или 16 апреля 1859 г. (см. предисловие).

[36] Предполагаем, что в первой половине лета 1859 г. — в мае или июне. Приезд Е. И. Чихачевой в Ясную Поляну в известных нам записях Толстого не отмечен.

[37] Текст письма выверен по автографу, хранящемуся в Государственном Литературном музее. Датируется оно предположительно 15—17 июня 1860 г., т. к. 27 июня Толстой и его сестра выехали из Ясной Поляны в Москву, направляясь в заграничную поездку. Письмо опубликовано в «Летописи» Государственного Литературного музея, посвященной Л. Н. Толстому.

[38] Дети М. Н. Толстой (от брака с гр. Валерьяном Петровичем Толстым): Николенька девяти лет, Варенька восьми лет и Лизанька семи лет.

[39] М. Н. Толстая в 1889 г., в возрасте пятидесяти девяти лет, под влиянием оптинского старца Амвросия, поселилась сначала в Белевском, а затем в Шамардинском женском монастыре (близ Оптиной пустыни, в Калужской губернии). Позднее она приняла монашество.

[40] Сверено по подлиннику, хранящемуся в архиве К. С. Шохор-Троцкого. Письмо датируем 5—6 июня 1891 г. (М. Н. Толстая 7 июня приехала в Ясную Поляну, откуда уехала 12 июня).

[41] Очевидно, письмо написано из имения Марии Николаевны, Пирогово, куда она иногда приезжала и из монастыря. О приездах Е. И. Сытиной к Сергею Николаевичу сведений не найдено.

[42] Вероятно, встреча произошла в середине апреля 1892 г., когда Толстой и Мария Львовна вместе уехали из Ясной Поляны в Бегичевку.

[43] Не напечатанная еще тогда комедия «Плоды просвещения» была сыграна в Туле, в зале Дворянского собрания, 15 апреля 1890 г. Режиссировал Н. В. Давыдов, играли местные артисты и любители, в том числе и Татьяна Львовна Толстая, М. А. Стахович, М. С. Сухотин и В. М. Лопатин (в будущем артист Московского Художественного театра). Спектакль был устроен в пользу тульского приюта для малолетних преступников.

[44] Сытина Елизавета Аполлоновна (1849—1907), сестра мужа автора «Воспоминаний». Была начальницей женской гимназии в Калуге. В «Плодах просвещения» играла роль графини.

[45] Мясново Зоя Аристионовна (ум. в 1935 г.), племянница мужа Е. И. Сытиной (дочь его сестры, Марии Аполлоновны), впоследствии художница. В «Плодах просвещения» играла роль княжны.

[46] На репетициях тульской постановки «Плодов просвещения» Толстой был только раз — 12 апреля 1890 г. Вспоминая этот день, Толстой записал: «Пошел после обеда в Тулу и был на репетиции. Очень скучно, комедия плоха — дребедень» («Дневник», 13 апреля 1890 г.). На репетицию Толстой явился неожиданно для всех, и сторож не хотел пропустить его в залу (см. Давыдов Н. В., Из прошлого, изд. 2-е, М., 1914, стр. 251).

[47] 14 января 1902 г. (дата установлена, благодаря упоминанию, что у Толстого был Мясоедов). В этот день у Толстого началось воспаление легкого. С конца января жизнь его продолжительное время находилась в опасности.

[48] От какой группы лиц был этот приветственный адрес, установить не удалось, — в архиве Толстого он нами не найден.

[49] Вероятно, к статье «Что такое религия и в чем ее сущность?».

[50] Мясоедов Григорий Григорьевич (1835—1911), художник, академик, инициатор основания «Товарищества передвижных художественных выставок». Был знаком с Е. И. Сытиной и бывал у нее в Петербурге.

[51] С Софьей Андреевной Е. И. Сытина встретилась тогда впервые.

ВСТРЕЧИ С ТОЛСТЫМ

ИЗ ДНЕВНИКА А. В. ЖИРКЕВИЧА

Публикация Э. Зайденшнур

Александр Владимирович Жиркевич (1857—1927) — военный юрист по профессии, мало известный поэт и беллетрист (псевдоним: А. Нивин). С 1888 г., по окончании Александровской военно-юридической академии, он служил в Вильне, сначала помощником военного прокурора, затем военным следователем и военным судьей. В 1908 г. вышел в отставку с протестом против введения военно-полевых судов и смертной казни для политических. В 1908—1915 гг. жил в Вильне, затем в Симбирске. Умер в Вильне.

Жиркевич был в переписке со многими писателями (Толстой, Лесков, Чехов, Фет, Апухтин и др.), музыкантами, художниками, учеными и общественными деятелями, а также собирал различные архивные документы, составившие значительный по объему, но пестрый по содержанию его архив, пожертвованный в 1926 г. в Толстовский музей.

Первые стихотворения Жиркевича появились в журнале «Виленский Вестник», первые корреспонденции — в провинциальном журнале «Природа и Охота». Позднее Жиркевич печатался в «Вестнике Европы» и других журналах. Его произведения помещены также в сборнике «Молодая поэзия» (см. Перцов П., Литературные воспоминания 1890—1892 гг., М. — Л., 1933, гл. V). Отдельными книгами изданы: «Картинки детства», СПБ., 1890 (2-е изд. — Вильна, 1900); «Друзьям», стихи, СПБ., 1899; «Рассказы», СПБ., 1900; «Свежо предание, а верится с трудом», СПБ., 1900; «Пасынки военной службы» (о дисциплинарных батальонах), Вильна, 1912, и др.

Жиркевич писал Толстому впервые в 1887 г., по поводу основанного в Ясной Поляне «Согласия против пьянства». Толстой ответил ему обширным письмом, публикуемым в томе LXIV академического издания. В 1890 г. Жиркевич послал Толстому изданную под псевдонимом А. Нивин поэму в стихах «Картинки детства» (он рассылал ее многим писателям — Гончарову, Лескову, Чехову и др. — с просьбой об отзыве; в архиве имеются их ответы). Не получив в течение трех недель ответа от Толстого, он написал ему 28 мая 1890 г.: «Только из газет я узнал, что вы нездоровы и переехали в Ясную Поляну. Боюсь, что книга моя с надписью для вас пропала и я буду лишен возможности услышать о ней ваше мнение и совет! Если книга уже у вас, если вы проглядели ее и если здоровье вам позволит, то скажите о ней пару слов письменно... Многие сочувственно отнеслись к моей книге, в том числе И. Е. Репин, И. А. Гончаров. Но вы-то что о ней скажете! Есть ли у меня талант и стоит ли его отдать беллетристике или следует направить на другой путь? Жду от вас совета, как сын от духовного отца!.. Я знаю, что критика моей книги не заметит! Но я о критике не думаю! Заметили бы ее близкие моему сердцу люди, и я буду счастлив, а в числе этих людей вы один из первых!.. Не ответите мне, — значит надо поставить крест на свои литературные планы. А не хотелось бы! Огонек-то явственно чувствуется в груди!».

На этот раз Толстой ответил Жиркевичу подробным письмом от 30 июня 1890 г. [1]:

Александр Владимирович!

Я получил вашу книжку и письмо тогда же, во время моей болезни, и прочел их. Вы спрашиваете моего мнения о книге и совета. Совет мой тот, чтобы вы оставили литературные занятия, в особенности в такой неестественной форме, как стихотворная. Простите меня, если мои слова оскорбят вас, но старому лгать, как богатому красть, незачем и стыдно. Правда же может быть полезна. Книжка ваша не может никого увлечь и никому ни на что не может быть нужна. А между тем она стоила вам, очевидно, большого и продолжительного труда. Вы спрашиваете: есть ли у вас то, что называют талантом? По-моему — нет. Продолжать ли вам писать? Нет, если мотивы, побуждающие вас писать, будут такие же, как те, которые побудили вас написать эту книгу [2]. С вашим мнением о том, чтó есть искусство, я совсем не согласен.

Писать надо только тогда, когда чувствуешь в себе совершенно новое, важное содержание, ясное для себя, но непонятное людям, и когда потребность выразить это содержание не дает покоя. Для того же, чтобы выразить это содержание наиболее ясно, пишущий будет употреблять все возможные средства, будет освобождать себя от всяких стеснений, препятствующих точной передаче содержания, а никак не спутает, стеснит себя обязательством выражать это содержание в известном размере и с известным повторением созвучий на определенных расстояниях.

Человек мыслит словами, как утверждает Макс Мюллер [3]. Без слов нет мысли, и я совершенно согласен с этим. Мысль же есть та сила, которая движет жизнью и моей и всего человечества. И потому не серьезно обращаться с мыслью есть грех большой, и «verbicide» [4] не меньше грех, чем «homicide» [5]. Я сказал, что у вас нет, по-моему, т о г о, ч т о н а з ы в а е т с я талантом,— я этим хотел сказать, что у вас нет в этой книге того блеску, образности, которые считаются необходимыми для писателя и называются талантом, но которые я не считаю нужным для писателя. Для писателя, по-моему, нужна только искренность и серьезность отношения к своему предмету. А это будет ли у вас или нет, никто не может знать, и я не знаю. Могу только сказать, что, когда у вас будет такое отношение к предмету, вас занимающему, тогда пишите, и тогда то, что вы напишете, будет хорошо. Мне очень больно думать, что я этим письмом вызову в вас недоброжелательное к себе чувство, и буду вам очень благодарен, если вы ответите мне.

Любящий вас Л. Толстой

Жиркевич в то время жил в имении Карльсберг, Виленской губернии. Письмо Толстого дошло до него лишь 12 июля; 14 июля Жиркевич писал Толстому:

Дорогой, хороший Лев Николаевич!.. Я получил ваше письмо лишь теперь, пересланное мне в деревню из Вильны. Спешу успокоить вас насчет впечатления, которое произвело ваше искреннее, честное письмо на мое авторское самолюбие. Отчего вы думаете, что я мог даже озлобиться на вас за правду, обидеться за нее?! Нет! Если в первую минуту мне стало горько, то только потому, что я ожидал, что книга моя доставит вам удовольствие; но после, перечитывая ваши откровенные строки, и эта горечь исчезла, уступив место благодарности за правду. Вы меня не знаете, оттого и заподозрели в грехе — авторской обидчивости... Я сам привык говорить правду и не раз уже пострадал за эту привычку, и мне ли обижаться на вас, так честно высказавшего свой взгляд?! Итак, не обиженный, а благодарный пишет вам это письмо. В вашем письме все справедливо, хотя кое-что носит на себе отпечаток вашего личного убеждения, идущего в разрез с общепринятыми взглядами, а потому кое-что можно и опровергать... Вы упрекаете меня и в н е д о с т а т к е и с к р е н н о с т и! Не могу

А. В. ЖИРКЕВИЧ
Портрет работы И. Е. Репина, 1888 г.
Ульяновский областной музей,
г. Ульяновск

согласиться с вами! В поэме я описываю свое детство; типы, выведенные в ней, правдивы, так как я их писал с натуры; поэма же, пока я писал ее, захватывала меня всецело, были страницы, над которыми я плакал. А вы заподозрили меня в неискренности и каких-то целях! Не обижаюсь нисколько на ваше мнение, но прошу верить, что все написанное в моей книге я перечувствовал, не солгав ни единого слова. Если поэма произвела на вас такое впечатление, то оттого, что талант мой невелик, да, быть может, вы правы, у меня его нет совсем, а несимпатичная вам стихотворная форма моего произведения окончательно укрепила в вас то впечатление, что я рисуюсь, что я сочиняю. Нет, дорогой мой критик! отвергайте во мне талант, но верните мне человеческое чувство — искренность... Поэма моя не понравилась вам, видимо, еще потому, что в ней нет основной мысли (об этом отсутствии основной мысли я и писал вам в первом письме). Но ведь есть же произведения, признанные всеми великими и прекрасными, в которых, повидимому, нет основной мысли. Я укажу хоть на ваше «Детство и отрочество», отрывок из которого я недаром поставил в начале моей поэмы. Я часто перечитываю это произведение и, находя в нем массу правды, поэзии и теплоты сердечной, не нахожу этой основной мысли... Укажите же мне, какая идея положена в ваше «Детство»? Меня мучает мысль, что там есть идея, а я по слепоте духовной не могу понять! Вы советуете мне бросить литературу... Не могу, не в силах!! Я брошу писать стихи, следуя вашему совету. Но, кто знает, может, в прозе мне удастся сказать что-либо если не живое, то правдивое, верное... Не сердитесь на меня, мой дорогой, горячо любимый Лев Николаевич, за смелость, с которой я решаюсь не соглашаться с некоторыми вашими взглядами! Но другому я не сказал бы того, что говорю вам, другому не писал бы так много о себе и своих жалких планах и проектах! Но вы величина особого рода, вы источник правды и доброты, вы — прежде всего хороший и сердечный человек, и писать вам, исповедываться перед вами — наслаждение... Не смею ждать

ответа на это письмо, зная, что вы не можете завязывать переписку со всеми, кто ждет от вас разъяснений и указаний. Но я, в свою очередь, решаюсь просить вас об ответе, как о знаке того, что и вас не рассердило это письмо, в котором я задеваю вас и ваши произведения.

Толстой ответил 28 июля 1890 г.[6].

Очень рад был получить ваше письмо, Александр Владимирович, и очень благодарен за ту доброту, с которой вы приняли мое резкое суждение. Страстное влечение ваше к литературе говорит в пользу того, что я ошибся, что очень вероятно и чего очень желаю. Повторяю только то, что пишите только в том случае, если потребность высказаться будет неотступно преследовать вас.

Еще раз спасибо за вашу доброту.

Любящий вас Л. Толстой

Спустя три месяца, Жиркевич в письме от 24 октября просил разрешения заехать в Ясную Поляну по дороге из Ялты. Он писал: «Поверьте, что не пустое любопытство влечет меня к вам, а просто хочется видеть хорошего, честного человека. Ведь такие встречи заставляют нас верить в жизнь!».

Толстой ответил 2 ноября[7]:

Дорогой Александр Владимирович!

Я был болен и теперь еще слаб, а кроме того очень занят[8]. Больше же всего мне страшно, что вы нарочно заедете так далеко в сторону и не найдете того, что ищете. Если судьба заведет вас в нашу сторону, тогда другое дело. Я же с своей стороны всегда рад, если могу быть полезен или хоть приятен человеку, и живые отношения с людьми считаю самым важным делом.

Итак, поступайте, как вам бог на сердце положит. Я в деревне. Желаю вам всего хорошего.

Лев Толстой

19 декабря того же года Жиркевич приехал в Ясную Поляну. В дневнике Толстого записано: «Вчера приезжал Жиркевич. Добрый юноша». В дневнике С. А. Толстой: «Вышла в залу, там офицер Жиркевич, молодой, аккуратный; приехал познакомиться с Левочкой. Сам пишет стихи и прозу. Видно, очень довольный и собой и судьбой, но не глупый и понятный, не то что «темные» [толстовцы]».

Жиркевич пробыл в Ясной Поляне один день. Это посещение он на другой же день подробно описал в своем дневнике. Часть этой записи, касающаяся бесед об искусстве, публикуется ниже с небольшими сокращениями. Другая ее часть — беседы о суде, о наказании — опубликована в его книге «Пасынки военной службы». Приведенные в примечаниях дополнительные материалы (высказывания Толстого в его дневниках и пр.) подтверждают точность записей Жиркевича.

Полтора года спустя, Жиркевич вторично приезжал в Ясную Поляну. Выдержки из дневника того времени также печатаются ниже.

После второй встречи Жиркевича с Толстым их переписка прекратилась до 1898 г. В течение 1898—1902 гг. Толстой написал Жиркевичу шесть кратких писем по делу духобора Е. Егорова, сосланного в Сибирь за отказ от военной службы; в его судьбе оба они принимали участие (подробнее о Егорове см. на стр. 284). В 1903 г., по просьбе Жиркевича, Толстой просмотрел воспоминания своего сослуживца по Севастополю, Одаховского, и сделал на рукописи пометы (опубликованы Жиркевичем в «Историческом Вестнике», 1908, № 1). 10 ноября 1903 г. Жиркевич в третий и последний раз приехал в Ясную Поляну. Записи в его дневнике об этом посещении не представляют интереса.

ПЕРВОЕ ПОСЕЩЕНИЕ ТОЛСТОГО

20 декабря 1890 г.

Наконец-то я увиделся со Львом Николаевичем Толстым! Только сегодня ночью я приехал из Ясной Поляны, где провел время с десяти часов утра до половины двенадцатого ночи. Пользуясь тем, что не все время в Ясной Поляне я был с Толстым и его семьей, я делал наедине карандашом заметки в мою дорожную записную книжку и теперь, вернувшись в Москву, по этим записям и по памяти восстанавливаю мои беседы с Толстым. Вот разговоры с ним об искусстве и литературе.

Толстой: Во всяком произведении должны быть три условия для того, чтобы оно было полезно людям: а) новизна содержания, б) форма, или, как принято у нас называть, талант, и в) серьезное, горячее отношение автора к предмету произведения. Первое и последнее условия необходимы, а второго может и не быть [9]. Я не признаю таланты, а нахожу, что всякий человек, если он грамотен, при соблюдении двух других указанных мною условий может написать хорошую вещь. Я собирался вам на эту тему писать огромное письмо, но я знал, что оно разрастется в целую статью, и очень рад, что могу теперь переговорить с вами лично. Для примера я укажу на известных наших писателей. Достоевский — богатое содержание, серьезное отношение к делу и дурная форма. Тургенев — прекрасная форма, никакого дельного содержания и несерьезное отношение к делу. Некрасов — красивая форма, фальшивое содержание, несерьезное отношение к предмету и т. д.

Современная литература вся основана на прекрасной форме и на отсутствии новизны в сюжете. Прочтите Евгения Маркова [10], Максима Белинского [11], Антона Чехова [12] и др. Форма доведена до совершенства. А кому какую пользу принесет все их писанье!.. Они все выработали путем навыка известный слог, набили, так сказать, перо — и им пишется легко. Но где же то н о в о е, что должно двигать общество, указывать ему на его недостатки, открывать ему глаза на новое явление духовного мира, на новый путь нравственного совершенствования? Этого нового у них нет! Все наши современные писатели описывают очень интересно и по большей части цинично любовь, женщин, разные случаи жизни... Но где же и д е я в их произведениях? Прочтешь их и спрашиваешь: «Зачем человек писал все это, тратил время, работал?». Ответ готов: или для славы, или для материальной выгоды. И то и другое ужасно и гадко. Живое слово есть средство, с которым обращаться, как с вещью, нельзя. Не верьте поэтам, когда они станут говорить вам, что пишут ради «искусства для искусства». Нет! Или корысть или желание, чтобы о них говорили, ими двигают. Я сам писал много, и если говорю вам это, то потому, что сам я грешил прежде желанием, чтобы обо мне говорили. На мой взгляд, разные юбилеи так называемых «маститых поэтов» — позор для русского имени. Например, известный вам Ф е т. Человек пятьдесят лет писал только капитальные глупости, никому не нужные, а его юбилей был чем-то похожим на вакханалию: все старались его уверить, что он пятьдесят лет делал что-то очень нужное, хорошее... И он сам в это верит. В этом-то весь комизм таких юбилеев [13].

Я: Но стихотворения Фета доставляют удовольствие, отвлекают человека от мрачной обстановки современной действительности...

Толстой (гневно перебивая меня): Это и худо! Во-первых, ничто не должно отвлекать человека от жизни. Он должен жить, и жить осмысленно. Во-вторых, кого надолго отвлекут стихи? Я, конечно, говорю про душевно нормального человека. Да! стихами можно принести

удовольствие и стать забавой для толпы, вроде какого-нибудь паяца, фокусника, гипнотизатора. Но не унизительно ли кривляться для толпы, кувыркаться перед нею на умственной трапеции?

Я: Отчего же, Лев Николаевич, падает наша литература?

Толстой: Конечно, первая причина — цензурные условия. Цензура вычеркивает у нас все то, что ярко, что ново, что движет мысль, и оставляет одно бесцветное, ненужное. Пока цензура занята таким непохвальным делом — не стоит писать [14]. Я это как-то говорил и Короленко и Златовратскому (они были вместе у меня) [15]. Те, конечно, на меня обиделись. Имеет сейчас успех брошюрка, рукопись. Но если у вас нет имени, вас и читать не станут.

Я: Но наша критика...

Толстой (опять с пылом перебивая меня): У нас не критика, а безобразие! [16]. Все критики преклоняются перед красивой формой и перед всяким содержанием, лишь бы оно было н о в о. Но новизну надо понимать в связи с пользою. Я иначе этого и не признаю. Содержание же, как я вам уже писал, должно быть такое, чтобы писатель вел за собою толпу. Т. е. я вижу, положим, зло, страдаю от него, переживаю его и вот — создаю вещь, где указываю на это зло, которого большинство, кроме меня, не видит. Вот это и есть то, что нужно. Обратите внимание на плодовитость наших молодых писателей. Эта легкость писанья прямо указывает на умственный разврат, на отсутствие серьезного отношения к делу. Разве темы, посредством которых я могу раскрыть глаза обществу, встречаются так часто? Разве человек может так часто переживать вновь открытое им и неизвестное еще миру содержание события, жизни и т. д.? И критика наша —умственный разврат: она поощряет эту легкость писанья, эту проституцию мысли, слова и чуть не носит на руках какого-нибудь Фета, Полонского [17]. В этом саморазвращении критики опять-таки играют роль два двигателя: корысть или жажда популярности — поверьте моему опыту. Какой-нибудь Евгений Марков пишет для гонорара, какой-нибудь Скабичевский [18] хвалит его, пишет о нем статьи для гонорара же, — благо платят в газетах и журналах за всякое иописывание бумаги. Следовательно, вот и вторая причина упадка литературы: наша критика. Идет мужик — опишут мужика, лежит свинья — ее опишут и т. д. Но разве это искусство? А где же о д у х о т в о р я ю щ а я м ы с л ь, делающая бессмертными истинно великие произведения человеческого ума и сердца, — хотя бы евангелие? И как легко дается это писание «с натуры»! Набил себе руку — и валяй! Так и многие наши поэты. Ну, например, хоть ваши «Картинки детства»! Кому нужны ваши типы? Что вы ими сказали нового, кого двинули на доброе?

Я: Но, Лев Николаевич, у каждого бывает своя молодость. Ведь и вы написали «Метель», «Детство и отрочество». Отчего же вы не признаете за каждым права молодости?

Толстой: Кто вам это сказал? Я всегда любил, уважал и понимал молодежь и снисходительно отношусь к молодости. Но есть же ведь для чего-нибудь на свете о п ы т, так называемый исторический опыт. Ведь прошлые поколения передают нам нравственное и умственное наследство для того, чтобы мы им пользовались с толком, чтобы двинулись дальше, и именно с той, последней, ступеньки, которую они нам прочно укрепили. А вы считаете нужным, чтобы всякий человек начинал свой духовный подъем непременно с самого подножия горы, а не с последней проложенной его предками ступеньки. Тогда и прогресс был бы немыслим. Напротив того, вы видели недостатки молодости ваших предков, и они вам в этом отношении оставили хорошее наследство. Воспользуйтесь же им и не повторяйте их ошибок. Я вполне понимаю молодость. Но обще-

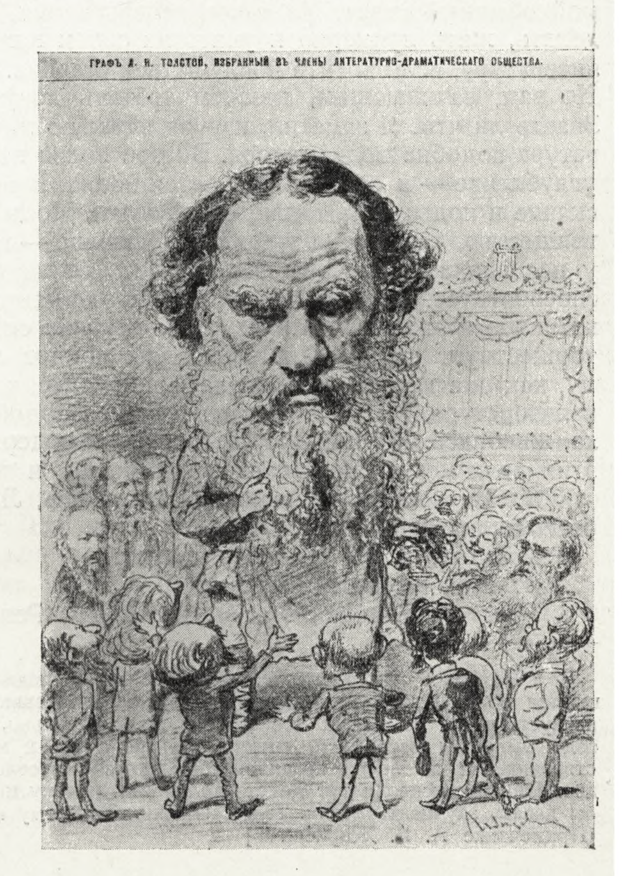
ству-то что за дело до *вашей* молодости, до *ваших* увлечений и ошибок! Впрочем, вся наша так называемая «классическая литература» может быть названа молодостью. Пушкин, Лермонтов, Гоголь — все это умерло, как назло, в ту минуту, когда талант их креп, когда они могли подарить миру действительно капитальные, поразительные вещи... И что это была за гениальная молодость! Но Гоголь, например, погиб как-раз в ту минуту, когда стал сознавать, что шел по ложному пути «искусства для искусства», и написал свою «Исповедь», которая указывает на иное обращение его к жизни. Пушкин стал уже переходить к прозе и, наверное, бросил бы стихи, если бы не умер [19].

Я: Но отчего же большинство наших лучших прозаиков начинает стихами?

Толстой: А в этом и сказывалась их молодость. Но нам смешно писать стихами только во имя молодости, оправдываясь увлечением молодости, в то время, как мы уже созрели настолько, что видим весь комизм втискивания мысли в стихотворные рамки.

Я: Однако, песни, стихи всегда были достоянием народа. У нас масса народных песен.

Толстой: Так что же из этого? И это указывает лишь на увлечения молодости. Киргиз до сих пор поет потому, что он первобытный, еще дикий человек. Русский мужик стоит на низкой ступени умственного развития. Припомните, что эпохи миннезингеров, менестрелей, бардов, баянов были эпохами умственного застоя. Песни, по мере того, как появлялась умственная интеллигенция, отходили из высшего класса к народу, и когда этот народ умственно мужал, они теряли у него значение. Прежде без песен не обходился ни один акт жизни европейских наро-



Л. Н. ТОЛСТОЙ СРЕДИ ПИСАТЕЛЕЙ
Шарж А. И. Лебедева (журнал «Стрекоза»)

дов. А теперь ходят по деревням и городам, у нас и в Европе, собирать песни, чтобы они не исчезли совершенно. Пушкин был, как киргиз...

Я: Но отчего же не писать стихи, если они даются легко?

Толстой: Вот уж этому не могу поверить! Взгляните на рукописи Пушкина, на «Демона» Лермонтова, который указывает на гениальные задатки его автора и который — не что иное, как живой пример отсутствия здравого смысла. Пушкиным все до сих пор восхищаются. А вдумайтесь только в отрывок из его «Евгения Онегина», помещенный во всех хрестоматиях для детей: «Зима. Крестьянин, торжествуя...». Что ни строфа, то бессмыслица! А, между тем, поэт, очевидно, много и долго работал над стихом. «Зима. Крестьянин, торжествуя...». Почему «торжествуя»? — Быть может, едет в город купить себе соли или махорки. «На дровнях обновляет путь. Его лошадка, снег почуя...». Как это можно «чуять» снег?! Ведь она бежит по снегу — так при чем же тут чутье? Далее: «Плетется рысью как-нибудь...». Это «как-нибудь» — исторически глупая вещь. И попала в поэму только для рифмы [20]. Это писал великий Пушкин, несомненно, умный человек, писал потому, что был молод и, как киргиз, пел вместо того, чтобы говорить.

Я: Вы, Лев Николаевич, отчасти правы. Известное стихотворение «Птичка божия не знает ни заботы, ни труда» все написано фальшиво.

Толстой: Я не нахожу. *(Затем, после моего разбора этого стихотворения*.)* Да, я этого и не заметил. А в нем тоже все красиво и—все ложно. Вот вам и второй пример того, к чему ведет стихотворная форма.

Я: Но что же, Лев Николаевич, делать? Неужели же бросить писанье?

Толстой: Конечно, бросить! Я это всем говорю из начинающих. Это мой обычный совет. Не такое теперь время, чтобы писать. Нужно дело делать, жить примерно и учить на своем примере жить других. Бросьте литературу, если хотите послушаться старика. Мне что ж! Я скоро умру... Но вам, начинающим, незачем тратить попусту время и развращаться. Знаете ли что. Я заметил, изучая историю литературы, следующее: литература подобна волнам моря. В море волна подымается. Затем образуется углубление — и опять подымается волна. В истории литературы это опускание и подымание также чередуются. Подыманию волны соответствует изящество, выработка формы, опусканию — глубина содержания. Теперь у нас эпоха торжества формы. Весь склад общественной жизни этому способствует. Но я верю, что это продолжится недолго. Наступит снова истинное торжество литературы — глубина содержания. А там опять восторжествует форма — и литература пойдет на площади забавлять толпу, как она делает это теперь. Не думайте, что подобное явление только в литературе. Нет! Все роды искусства подойдут под мой взгляд: музыка, живопись. И в них форма и глубина содержания чередуются. Слияние этих двух моментов бывает очень редко, и делают его гении.

Я: Неужели и современная живопись, Лев Николаевич, по-вашему, бессодержательна?

Толстой: А вы думаете, что нет?

Я: Вот, например, Репин.

Толстой: Я знаю, что вы дружны с Репиным; но это не помешает

---

* Разбирая стихотворение, я назвал его «непедагогическим», хотя оно и помещается в сборнике для детей и юношества, сделавшись модным. Дети заучивают его наизусть. Тем не менее, все в нем сентиментально, фальшиво. Для пользы детей надо было бы изобразить «птичку божию», как и мы, люди, борющейся за существование, а не вечно праздной, беззаботной, веселой, не думающей о завтрашнем дне. Пушкин исказил тут действительность, почему и стихотворение его не следовало бы давать заучивать детям. Так я изложил Толстому мой взгляд на это стихотворение. [Примечание А. В. Жиркевича.]

мне сказать вам правду. У Репина техника доведена до великого совершенства. Но у него, в его картинах, нет идей, двигающих общество вперед. Его «Иоанн Грозный», «Царевна Софья», «Не ждали» — все это хорошо, поразительно, даже страшно правдиво написано. Но в этих картинах схвачен только известный психологический момент, т. е. сделано опять-таки писанье с натуры, которое мы видим и в современной литературе. Но если вам страшно за Иоанна Грозного и жаль его, то что же другое вы вынесете из созерцания этой картины Репина? Толкнет ли она вас вперед? Ведь мы и без Репина знаем из истории, что и в Иоанне, как во всяком человеке, жили и зверь и существо, способное мучиться угрызениями совести [21]. Однажды, помню, Репин показывал мне свою картину «Крестный ход в лесу». Видимо, самому Репину картина нравилась. А я спрашиваю его: «Вы человек православно верующий?». — «Что вы! — говорит,— за кого вы меня принимаете?».— «Ну, значит, вы хотели посмеяться над суеверной, невежественной толпой?». — «И не думал». — «Так зачем же вы писали эту картину?». — «Знаете ли, — говорит Илья Ефимович,— тут световые пятна так хорошо падали на толпу...». Эти «световые пятна» — лучшая иллюстрация того, что я сказал: Репин, видимо, не преследовал здесь никакой идеи, а погнался за световыми эффектами. И это крупный самородок, который с его техникой мог бы дать нам чудеса искусства! Крамской уже выше Репина. «Христос» Крамского — великая вещь. Я понимаю этого Христа и вижу в нем глубокую мысль. А взгляните на большинство наших художников. Для чего они пишут? Конечно, для публики, как современные литераторы. Картины их покупаются, — а я ни за что не повесил бы у себя всех этих Шишкиных, Клеверов, Маковских и т. п. Они не будят мой ум, а только — чувство, раздражают глаз и не забрасывают в душу никакого тревожащего совесть луча... А «Христос» Крамского забрасывает туда этот луч, и повесьте у себя эту картину — она вечно будет тревожить вашу душу. А у Репина все построено на грубом эффекте, на поразительной технике. И вот он создал две-три талантливых вещи и не идет далее... Да! Эпоха наша — эпоха поклонения не духу, а форме, и цензура везде, во всем — одна из причин того, что мысль наша робко спряталась и дремлет. Но настанет, настанет еще время, когда станут снова поклоняться духу! Видели ли вы картину Ярошенко — арестанты смотрят из-за решетки тюремного вагона на голубей? [22]. Какая чудная вещь! И как она говорит вашему сердцу! Вам жалко этих бедняков, лишенных людьми по недоразумению света, воли, воздуха, и этого ребенка, запертого в вонючий вагон. Вы отходите от картины растроганный, с убеждением, что не надо лишать человека благ, данных ему богом... Вот как должен действовать на вас художник. Картины Ге тоже проникнуты идеей, и я отхожу от них с желанием добра, с сочувствием к ближнему. Если бы не цензура, и наши художники создали бы великие вещи. Но как писать, если знаешь заранее, что придет полицейский и выбросит с выставки твою картину? Для этого надо многое: и личное мужество, и средства, и святое поклонение правде. И что сталось с Крамским? Он начал писать портреты, как единственные вещи, которые можно писать без цензуры и которые дают доход. Талант его видимо угасал. То же и Репин и многие другие.

Я: Но когда же писать? Тогда ли, когда есть на то потребность, или надо засаживать себя за труд? Мне, например, корреспондент «Нового Времени» Молчанов говорил, что знал лично Дюма и Золя, которые признавались ему, что каждый день засаживали себя на известное количество часов за работу. Они говорили Молчанову, что при таком способе, написав десять посредственных вещей, им удавалось написать одну хорошую.

Толстой (гневно перебивая меня): Ради бога, не слушайтесь разных Молчановых, Золя, Дюма! Писать так, как писали Дюма, Мопассан и другие французские романисты, не стоит. Это опять-таки и во Франции та же история, что с нашей литературой: торжество формы над глубиной содержания. Мопассан выработал себе слог — и ему ничего не стоит засадить себя и писать, как пишет писарь. Два-три-пять часов, по заказу [23]. А вы послушайтесь меня. Когда вам хочется писать—удерживайте себя всеми силами, не садитесь сейчас же. Советую вам это по личному опыту. Только тогда, когда невмоготу уже терпеть, когда вы, что называется, готовы лопнуть — садитесь и пишите. Наверное напишите что-нибудь хорошее.

Я: Я всегда жалел, что у меня слабая память, что я не могу заранее мысленно набрасывать весь план работы. Всеволод Крестовский говорил мне, что он заранее все обдумывает и потом уже садится записывать.

Толстой: Оттого-то у Крестовского все его сочинения и выходят никому не нужными. Память тут не нужна и незачем наизусть намечать планы. Надо, чтобы созрела мысль, созрела настолько, чтобы вы горели ею, плакали над ней, чтобы она отравляла вам покой. Тогда пишите. Содержание придет само. Знаете ли вы, что я очень часто сажусь писать одно и вдруг перехожу на более широкие дороги: сочинение разрастается. Вот и теперь я занят новой работой над философской темою о непротивлении злу, которую я уже разрабатывал ранее. Сначала я хотел написать только одну небольшую заметку. Но теперь у меня закипел огромный труд, и я уже в нем возражаю на те возражения, которые делались мне — в печати и в беседах — по поводу теории о непротивлении злу [24]. Как можно связывать себя узкими рамками плана? Мне приходилось иногда начинать литературную работу и при писании какой-нибудь подробности брать эту подробность, обращая ее в отдельный труд, обратив в подробность первоначальное главное.

Я: Но если ждать такой потребности писанья, о которой вы говорите, то можно ничего не написать!

Толстой: И отлично сделаете. Хотя знаете ли, что, на мой взгляд, человек и может написать что-нибудь истинно порядочное только лет под сорок-пятьдесят, т. е. тогда, когда духовный мир его определится. А до той поры в нем все еще бродит и страсти командуют. Неужели вы думаете, что я дам своему сыну-мальчику читать Пушкина?! Чтобы он узнал, что в бокалах может пениться «аи», что есть на свете пустые люди, бобровые воротники, серебрящиеся морозной пылью, и т. п.! Все это или влияет на воображение, или — ненужный сор, и все это опять-таки дань Пушкина молодости.

Я: Я говорил вам, Лев Николаевич, что хочу описать того мужичка, которого я встретил в Ялте *.

Толстой (с неудовольствием): Зачем? У нас в России этих мужичков хоть пруд пруди. Вы, верно, их мало встречали, а я — довольно. Разве этим типом вы откроете что-нибудь новое? Знаете ли вы, как я смотрю, например, на мою «Анну Каренину»? Ее можно прочесть от скуки и без скуки в свободную минуту. Так и все мои литературные произведения. Но кому и какую пользу я принес ими? Никому. Только лет десять назад глаза мои открылись на мир божий, и я стал понимать жизнь. С этой минуты я и сделался серьезным писателем, т. е. под старость, почти стоя одною ногою в могиле. В духовной жизни человека есть нейтральная точка, став на которую он сразу увидит всю правду и ложь

* В самом начале беседы я рассказал Толстому о встрече в Ялте с интересным стариком-крестьянином.

жизни. Это все равно, как в шаре есть центр. Если вы хотите видеть всю комнату хорошо, то должны стать посредине, а не смотреть на нее из-под дивана, стоящего у стены. И вот я нашел эту точку. Я вдруг, и впервые, почувствовал в себе истинную душу. И с этой минуты навсегда простился с прежней своей литературной деятельностью.

Я: Но вы все-таки остались великим художником слова!

Толстой: Только не в вашем смысле «искусства для искусства». Если я и теперь иногда обрабатываю форму, то для того, чтобы содержание моих взглядов было легче всеми понято. Много говорят и кричат о художественности моей «Крейцеровой сонаты». А я там дал место этой художественности ровно настолько, чтобы ужасная правда была

Л. Н. ТОЛСТОЙ В ЯСНОЙ ПОЛЯНЕ

Фотография 900-х годов

Частное собрание, Москва

видна яснее. Вообще, меня в России многие не понимают. Зато друзья мои американцы отзывчивы на мои философские статьи. Сознание того, что меня там, в Америке, понимают, дает особый оттенок моим работам. До сих пор я работал для одних русских; но теперь работаю для всего человечества. Это ставит меня выше национальных особенностей французов, немцев, русских и т. д. Я имею в виду только человека, и человека внутреннего, который везде один и тот же. И статьи мои заняты вопросами человечества и все более и более усваиваются разными нациями.

Этим кончается в дневнике запись беседы об искусстве.

По возвращении из Ясной Поляны, 28 декабря 1890 г., Жиркевич писал Толстому: «Уезжая из Ясной Поляны, я дал себе слово никогда не беспокоить вас своими письмами, видя, что вы больны и заняты серьезным делом. Но вы произвели на меня такое сильное впечатление, что я не в силах молчать перед вами, если что-

либо не понял из наших бесед. Дорогой мой! Вы своим правдивым горячим словом нанесли моей душе две раны, два удара: относительно моей будущей службы и относительно взглядов на искусство. Не оставьте же меня на полпути, а дотяните до истины, как вы ее понимаете». Далее Жиркевич поставил ряд вопросов — о своей службе, о непротивлении злу насилием и др. На это письмо Толстой не ответил. Через месяц, 24 января 1891 г., Жиркевич вновь писал: «Я очень сожалею, что послал вам то письмо, на которое не получил ответа, сожалею оттого, что недавно вновь перечел вашу «веру» [«В чем моя вера»] и нашел там все ответы на мои вопросы. Не нашел ответа лишь на вопрос о воспитании детей... Вообще, вы раздавили во мне многое вашим учением; я лежу во прахе и молю вас: «Верую, господи! Помоги моему неверию...». Сообщите мне ваш взгляд на детей и на отношение вашей теории непротивления к детскому воспитанию».

Толстой ответил в первых числах февраля 1891 г.:

Не отвечал вам, дорогой Александр Владимирович, на первое письмо потому, что мне казалось, что все, что вы спрашивали, мною или отвечено в том, что я писал в своих книгах, или я не могу ответить. То же и с вопросами последнего письма — о воспитании и детях: учение Христа — я думаю — дает ответ на вопрос, как жить самому, и это указание, путь жизни отвечает на все возможные отношения — к родителям, жене, детям, злым, добрым. Ведь, в сущности, все сводится к своим поступкам. Так и с детьми нет другой формы отношений, как и со всеми людьми: уважение, любовь, правдивость, а, разумеется, не насилие и не страх. Во всем ищите царства божия и правды его, а остальное приложится вам. Я очень рад был получить от вас письмо, а то мне было тяжело оставить вас без ответа, а отвечать не мог. Дорогой Александр Владимирович, моего учения нет никакого; есть учение Христа, и оно все в евангелии, и тот, кто будет искать истины для себя, перед богом, только тот найдет все там — и вы найдете там и в своем сердце. А что я для себя написал и написал в книгах, если это вам пригодилось, я рад. Так вы ищите без страха. Там все благо, хотя и иное, чем то, что мы часто называем благо. Любящий Л. Т.

На это письмо Жиркевич не ответил, а через полтора года, в сентябре 1892 г., получив разрешение от С. А. Толстой, вторично приехал в Ясную Поляну и пробыл там несколько дней. Это посещение тоже очень подробно записано в его дневнике. Записи дневника не систематизированы, тематически разбросаны. Некоторые беседы записаны не в прямой, а в косвенной речи или зафиксированы в тезисах. Много уделено места разговорам с С. А. Толстой, главным образом о семейном разладе. Мы публикуем наиболее интересную часть этого дневника — преимущественно слова Толстого. Записи приведены в некоторую систему. Ни в дневнике Толстого, ни в дневнике С. А. Толстой этот приезд Жиркевича не отмечен.

ВТОРОЕ ПОСЕЩЕНИЕ ТОЛСТОГО

12 сентября 1892 г.

Я приехал в Ясную Поляну в отсутствие хозяев. Вечером Лев Николаевич вместе с сыном Львом и дочерью Татьяной вернулся из Бегичевки, где помогал голодающим. Вскоре приехала из Москвы и Софья Андреевна.

Толстой стал рассказывать мне и другим, его встретившим, о тех тяжелых сценах, которые видел он в местах голодовки, где устраивал народные столовые. По поводу этих столовых он ездил в Тулу, к губернатору. Однако, когда я стал его расспрашивать, он махнул рукою и сказал: «Тут ничего не расскажешь! Надо самому все видеть на месте».

Но вот приехала из Москвы в нарядном дорожном костюме, надушенная, оживленная поездкой графиня Софья Андреевна. Сейчас же стала

оживленно сообщать мужу о своих встречах и впечатлениях. По дороге, в вагоне первого класса, ей попался молодой кавалергардский офицер. Он воспитан, хорошо говорит по-французски, а узнав, что она графиня Толстая, супруга Льва Николаевича, удвоил свое к ней внимание. На станции, где она сходила с поезда и где ждал ее экипаж, офицер помог ей выйти из вагона и вынести багаж. Графиня, рассказывая все это мужу, не скупилась на восторженные эпитеты по адресу своего случайного знакомого. Льву Николаевичу вся эта светская болтовня, видимо, была не по душе: он угрюмо молчал, уставясь глазами в пол. Графиня заметила настроение мужа и перешла на другие темы.

Семья встретила Льва Николаевича с видимой радостью. Ваня в восторге от его возвращения.

Ваня подрос и стал еще интереснее, оставаясь попрежнему общим любимцем, баловнем и близких и прислуги. Лев Николаевич тоже уделяет ему много внимания и ласки. Ребенок, однако, производит впечатление болезненного, хилого. У него на лице явные признаки золотухи, хотя, как и в первый мой приезд, он крайне подвижен и шаловлив.

За столом Лев Николаевич рассказал детям сон о спичках. Сущность сна такая. Лев Николаевич просыпается, чувствует, что откуда-то дует, да так, что отдувает на столе скатерть. Он истребляет коробку спичек, чтобы убедиться, откуда ветер. Но спички не зажигаются. Берет серные спички у Льва Львовича — те гаснут. Тут он на самом деле просыпается. Вот и весь сон! Но надо было слышать, насколько художественно был передан самый рассказ о таких пустяках.

13 сентября

Толстой не напал на меня, как в прошлый приезд, за службу мою в военно-судебном ведомстве, а только задал ряд вопросов, в которых чувствовалась ирония. Вот наш диалог на эту тему:

Толстой: Вы продолжаете служить в военно-судебном ведомстве?

Я: Продолжаю.

Толстой: А вообще сколько лет вы служите в войсках?

Я: Двенадцать.

Толстой: Только двенадцать?! А помощником военного прокурора?

Я: Второй год.

Толстой: Только второй год?! И сколько получаете содержания?

Начался разговор о художнике Ге, пишущем картину «Распятие Христа» (у Ге Христос распят на особом, низком кресте, упирается пальцами ног в землю). По замечанию Льва Николаевича, так именно и должно было быть в действительности. Я рассказал Толстому о том, как К. П. Брюллов поступил со своим натурщиком, чтобы написать распятие. Мне передавал художник М. Е. Меликов, учившийся у Брюллова, что тот надолго привязывал веревками к кресту голого натурщика, чем вызывал страдания последнего, зато щедро платил ему. Толстой возмутился. Ге, по его словам, пользуется моментальной фотографией с натурщика, привязанного на непродолжительное время к кресту.

Я напомнил Толстому об Апухтине. Лев Николаевич получил от него письмо, но не дочитал его до конца (Апухтин укорял Толстого в отпадении от православия, в измене культуре и т. п.). Толстой бранил Апухтина и как человека и как поэта. Он говорил: «У Апухтина расплывчатые образы. Стих его не сжат, не выкован. Ни одного истинно поэтического сравнения. Все выдумано. В «свете» же он играет ту недостойную роль, какую некогда играл там автор «Тарантаса», гр. Соллогуб. Т. А. Кузминская, бывшая при этом разговоре, заступилась за поэзию Апухтина и называла поэта умным. Я тоже отстаивал его талант. Но Лев Николаевич только презрительно посмеивался, уклоняясь от спора. Куз-

минская сообщила мне, что Апухтин питает, будто бы, какую-то особую любовь ко Льву Николаевичу, что он привозил ей письмо свое к нему и читал его. Она знает, что Толстой бранит и письмо, которого не дочитал, и автора его; но не знает, что сказать Апухтину, ожидающему ответа от Толстого. Я советовал ей сказать поэту правду [25].

Толстой поймал меня на том, что, по его предложению, я не смог прочесть наизусть ни одного стихотворения Апухтина. Это, будто бы, служит доказательством того, что муза Апухтина не оставляет памятного впечатления. Когда я привел ему содержание стихотворения, в котором смерть матери констатируется тем, что она остается бесчувственной, когда ей на грудь кладут ее ребенка, Толстой с негодованием воскликнул: «Какая бессмыслица! Какая риторика! Где же здесь поэзия?.. Все выдумано! Все заранее сочинено!».

После ухода Льва Николаевича на отдых я разговаривал с графиней Софьей Андреевной о «Крейцеровой сонате». «Разве может Лев Николаевич отрицать брак! — говорила она. — После тридцати лет супружеской жизни! Его не поняли».

14 сентября

С утра гулял по яснополянскому парку. Лев Николаевич посылал человека искать меня. По его просьбе написал прошение двум крестьянам в съезд уездных земских начальников. Крестьяне приговорены к тюремному заключению за мошенничество и с улыбками сознались мне в том, что действительно сплутовали. В тот же день я сообщил Льву Николаевичу, что ведь крестьяне-то виноваты. Он ответил: «И я в этом не сомневаюсь. Но виноваты не они, а обстановка. Ведь этот немец, с которого они хотели вторично взять деньги, изнурял их работою под землей, тянул из них все силы».

Снова гулял по парку с Толстым. Тут, у ореховой аллеи, произошла забавная сцена. Едва мы стали выходить на площадку у аллеи, как Толстой с улыбкою удержал меня за руку, говоря шопотом: «Полюбуйтесь!». Я увидел мужика, шедшего через площадку, совершенно пьяного, как бы боязливо озиравшегося по сторонам. «Это наш садовник, — заметил Лев Николаевич. — Он не раз давал мне слово бросить пьянство, но не выдерживает и опять запивает. Ему стыдно было бы со мною встретиться, вот он и оглядывается по сторонам — в надежде не попасть мне на глаза. Он не подозревает, что я все вижу». На мое предложение окликнуть пьяницу, уличить его, пристыдить, Лев Николаевич повел меня дальше, говоря: «Все равно догадается, что мне его поведение известно».

За завтраком в столовой Лев Николаевич указал мне на елку с тупою вершиной, видную из окна, сказав: «Видите ли эту елку? Часто, смотря на нее в дни моей молодости, я думал: неужели суждено мне дожить до того времени, когда она сравняется вершиной с этим окном? А теперь она уже переросла окно. Да! По росту деревьев можно проследить приближение старости».

Т. А. Кузминская, несмотря на мои просьбы, начала при Толстом разговор о моем рассказе «Против убеждения» *. Ей, видимо, захотелось сделать мне неприятность, так как она знала уже, что рассказ мой Толстому не понравился. Лев Николаевич сказал, что он был возмущен этим рассказом. «Позвольте мне объяснить...», — начал, было, я. «Никаких оправданий! — отрезал Толстой. — Если бы ваш герой засек сол-

* Под таким заглавием рассказ мой был в 1892 г. напечатан в журнале «Вестник Европы». В сборнике же моих рассказов он назван короче: «Розги». В рассказе описывается, как молодому офицеру, принципиально отрицающему насилие над ближним, а тем более телесные наказания, по долгу службы, после тяжелых душевных переживаний, приходится высечь розгами проштрафившегося солдата.

«Л. Н. ТОЛСТОЙ АККОМПАНИРУЕТ Т. А. КУЗМИНСКОЙ»
Рисунок И. Е. Репина, 1891 г.
Третьяковская галлерея, Москва

дата, то это было бы лучше. Такие личности, как выведенный вами офицер, на все способны». Я заметил, что офицер вовсе не мой герой, но что я не желаю продолжать этот разговор, видя, что он, Лев Николаевич, заранее, предвзято не хочет выслушать моих объяснений. Тогда он сказал с улыбкой: «Ну объясняйтесь! Я пошутил...». Когда же я изложил ему цель рассказа — поднять, в цензурных рамках, вопрос о телесных наказаниях в войсках, — он заметил: «Ну, тогда надо было и написать яснее, а не размазывать. Лучше уж совсем не писать [26]. Как время изменилось! Я помню, в Севастополе на перевязочный пункт пришел солдат с пальцем, оторванным осколком снаряда. Доктор при мне крикнул ему: «Убирайся! Не до тебя!». Кругом производились ужасающие операции, и при виде их страдание этого солдата казалось ничтожным... А пусть будет оторван у человека палец в мирное время — какой поднимется переполох! И тот же доктор отнесся бы к делу иначе. Прежде, я помню, приказание, отданное фельдфебелю: «Всыпать ему (солдату) двести розог!», ронялось между прочим, за картами, за закуской, совершенно спокойно. Теперь оно тоже будет отдано, но в душе офицера непременно шевельнется совесть. Не те времена».

Мы занялись с Львом Николаевичем рассматриванием карикатур в каком-то присланном ему шведском издании. Толстой хохотал над ними, как ребенок. Из серьезных рисунков ему понравились похороны, особенно выражение лица мальчика, который придал себе грустный вид из приличия. «Но взгляните, полюбуйтесь на пастора! — воскликнул Толстой,— толстые, здоровые ляжки... Кажется, только бы работать! А он...».

Вот замечание Толстого о себе:

«Я поставлен в исключительные условия. Мне кривить душой не приходится».

Это было сказано им по поводу моего рассказа «Против убеж-

дения», к которому он еще раз вернулся, объясняя резкость своего мнения об этом произведении.

С шести до девяти с половиной вечера мы гуляли сегодня с Львом Николаевичем вдвоем за пять верст по шоссе, по направлению к Туле. Тихий осенний вечер. Пахло увядшими, гниющими листьями берез и вянущим сеном. На горизонте в двух местах было видно зарево пожаров, и Толстой заволновался. Зарево скоро угасло. Где-то в лесу кричал филин. Много пьяного, по случаю праздника, народа возвращалось из города. Толстой остановил по дороге двух подвыпивших мужиков и стал их усовещевать за то, что они выпили. Мужики были из других мест и не узнали (или вовсе не знали) Льва Николаевича, приняв его за прохожего старика. Мне очень интересно было следить за беседой и уменьем Толстого говорить с простым народом. Мужики в репликах все подшучивали и бестолково спорили. Один из них привел в оправдание пьянства, в защиту вина, следующие аргументы: 1) В церкви допускаются вино и елей. 2) Христос на браке в Кане Галилейской претворил воду в вино: все пили и веселились. 3) Царь водку гонит (акциз). Напрасно Толстой уговаривал мужиков ударить с ним по рукам и дать зарок не пить больше ни водки, ни вина: они отказались. Когда мы разошлись с мужиками, Толстой сказал мне: «И так вот всегда срежут этими тремя доводами! Не станешь же зарываться в более подробные объяснения».

Еще подробности этой характерной встречи. Один из пьяных все время называл Толстого «господин купец». Он же более всего и спорил с Львом Николаевичем. Начал беседу сам Толстой, к которому мужики обратились с просьбою указать им дорогу для ночлега. Он стал доказывать им вред, пагубность пьянства, отзывающегося даже на будущих поколениях. Тогда один из мужиков и привел ему три довода, загибая после каждого из них к своей ладони пальцы и окончив таким общим выводом: «Что же, господин купец, по-твоему выходит, что ни церковь, ни Христос, ни батюшка-царь не знают, что делают?». Когда же Толстой, указывая на меня, бывшего в военной форме, сказал мужикам: «Вот и этот офицер не пьет», то один из них с сомнением возразил: «Может ли быть?.. Верно, на словах только и не пьет. А дома, т. е. наедине... того-с!..». Толстой убеждал мужиков итти в соседнее имение (Ясную Поляну) переночевать, чтобы их, пьяных, в поле не ограбили. Но я не знаю, воспользовались ли они его предложением.

Вот отрывки моих разговоров с Толстым во время этой прогулки. Привожу только слова Толстого:

— Удивительно, как русский человек привыкает к новой обстановке. Когда я служил на Кавказе офицером, то помню, что однажды за ночь выпал большой снег. Снег тот навалился на мою палатку и, когда утром поднялось солнце, начал таять, просачиваясь внутрь. В солдатских палатках было еще хуже. Солдаты промокли. Настроение было невеселое, подавленное. Но вскоре, в тот же день, наш отряд был послан на рубку леса. Возвращаюсь в лагерь и с удивлением вижу следующую картину. На ручейках из талого снега оставшиеся дома солдаты поставили наживо сколоченные игрушечные водяные мельницы, понасажали возле них наряженных кукол. Часть перед частью старалась, чтобы устроить все это позамысловатее. Лица солдат — веселые, как будто бы ненастной ночи не бывало. Добавьте — чудный день, горы, косые лучи солнца.

— Великое, страшное дело брак. Справедливо сказано, что здесь «два существа сливаются в плоть единую». Если муж или жена впоследствии окажутся несоответствующими их брачному союзу, то все-таки обрывать однажды устроенную связь нельзя. Это все равно, как если бы у человека была парализована одна половина тела. Он тяготится ею,

она ему не нужна, причиняет страдания. А оторвать ее от себя он не может и принужден так терпеть до самой смерти.

— Лет восемь-десять тому назад, когда меня спросили при встрече нового года, чего я желал бы, я мысленно, про себя, подумал: «Пусть семья моя разорится». Да! Я желаю несчастья, в общепринятом смысле слова, для моей семьи. Пусть сына моего за нежелание итти на военную службу засадят в дисциплинарный батальон. Из этого заточения он вынесет для себя только одну пользу [27]. Пусть меня самого за мое ученье лишат свободы. Отсюда была бы только польза для моей же семьи. Мне больно видеть в семье все эти охотничьи ружья, велосипеды, золотые вещи, видеть, как гибнут мои дети. Вы думаете, что мне

Л. Н. ТОЛСТОЙ В ОКРЕСТНОСТЯХ ЯСНОЙ ПОЛЯНЫ

Фотография

Толстовский музей, Москва

не будет больно, как отцу, когда сына моего заключат в тюрьму? Нет! Я буду страдать ужасно, невыразимо, но вместе с тем и радоваться.

— Не говорите, что мелочи ничего не значат в жизни. Мелочи играют в ней огромную роль. Сегодня я поленился, не пошел, а поехал. Через неделю уже еду, убедив себя в том, что выигрываю время. Затем я нахожу, что мне удобнее и дешевле иметь свою лошадь. А там последовательно завожу пару лошадей, коляску, карету, резиновые шины. Надо начинать свое перевоспитание именно с мелочей.

— Есть должности по службе, занятие которыми для меня совсем непонятно. Таковы должности судьи, офицера, прокурора. Но есть должности, которые я допускаю: служба в банках, на железной дороге и т. п.

— Как иногда в короткий промежуток времени меняются убеждения! Жена моя просила меня как-то посмотреть и купить одно имение, которое очень выгодно продавалось промотавшимся помещиком. Я долго

колебался, но все же поехал осматривать имение. Управляющий, который водил меня по имению, расхваливал мне его и указывал на разные его выгоды — от соседства крестьян. И что же? Чем более я слушал его, тем становилось мне тяжелее, гаже. Я бросил все и уехал, не столковавшись. А за два года перед тем я очень спокойно осматривал подобное же имение и не чувствовал никакого отвращения.

— Мне хотелось все имущество свое отдать крестьянам. Только после долгой внутренней борьбы я его оставил семье, как мне это ни гадко было.

— Человек живет сознательной жизнью какие-нибудь пятьдесят-шестьдесят лет. Сзади его — вечность. Впереди — вечность. Жизнь его — миг в сравнении с этими вечностями. И на что же люди употребляют этот миг? Иной военный только и делает всю жизнь, что козыряет перед начальством, марширует, учит солдат ружейным приемам, сечет чужую голую спину и ж... А, кажется, не вернее ли миг этот употребить с пользою для себя и других?

— Чем высокопоставленнее лицо, тем оно более должно совершать сделок с совестью, чтобы добиться своего положения, т. е. тем глубже оно падает нравственно.

— Всякий предрассудок держится лишь до времени. Я как-то был на пикнике. Вижу: стоит береза, совершенно здоровая на вид, только с обломанной ветром вершиной. Мне казалось, что и двадцать человек ее не свалят. Когда мне сказали, что она гнилая, я не поверил. И что же? Подойдя, я толкнул ее слегка — и дерево рассыпалось. Так и предрассудки общественные и политические ждут только случая, чтобы исчезнуть.

— Нельзя откладывать своего нравственного исправления, нельзя все чего-то ждать. Я, как и вы, ведь каждую минуту могу умереть. Я тороплюсь окончить статью против войны [28], так как могу сегодня же умереть, а я сознаю, что не высказал еще всего того, что лежит на душе, на совести. Нельзя ждать и откладывать.

— Вы думаете, что я убил в себе чувство тщеславия? Нет! До сих пор я не могу искоренить в себе, например, чувства удовольствия при похвале. Разница с прошлым тут, однако, в том, что в тщеславии прежде заключалась вся моя жизнь, а теперь оно отодвинуто далеко на задний план — и мне стыдно этого чувства каждый раз, как оно поднимается во мне.

— Жизнь должна получать в человеке толчок не извне, а изнутри. Тщеславие прежде руководило мною, а также мысль: что-то скажут про мою работу современники? Теперь все это стало для меня неважно, а руководят мною лишь чувства правды, любви.

— Серьезный писатель должен писать так, чтобы иметь в виду только то, что его прочтут уже после его смерти.

— В литературе теперь торжество формы над содержанием. Надо думать, что скоро содержание восторжествует над формой.

— Я задумал уже давно новый, огромный роман вроде «Войны и мира». В «Войне и мире» отдельные лица ничего не значат перед стихийностью событий. В моем новом романе мне хотелось доказать, что никакими усилиями правительств и отдельных лиц не заглушить общечеловеческих начал, лежащих в каждом человеке. Например, границы государства — явление искусственное. Русский мужик не признает этих границ, как не признает народностей. Веротерпимость всегда в нем существует, как ни оттеняй религию от религии. Я, между прочим, хотел вывести в романе русского переселенца, который дружит с башкиром. *(О каком романе говорил Лев Николаевич, я не догадываюсь [29].)*

Подходя к Ясной Поляне, Толстой восторгался запахом увядающих листьев. Мы с ним встретили какого-то придурковатого подслеповатого пожилого крестьянина в пальто с огромными карманами. Это оказался старый знакомый Льва Николаевича (как он мне объяснил), сумасшедший, именующий себя «князем Блохиным» и «Романовым» [30]. Толстой с ним долго дружески разговаривал, направив его на ночлег в Ясную Поляну. Толстой говорил с ним серьезно, точно с душевно нормальным человеком, расспрашивал его о том, где он был, откуда идет, почему так долго не приходил в Ясную Поляну, что несет в котомке за плечами и т. д. Субъект этот хотя и отвечал на его вопросы, но невпопад, иногда уклончиво, глядя на Толстого сияющими, любовно улыбающимися глазами. Когда мы пошли с Толстым далее (а «князь Блохин», прихрамывая, направился к Ясной Поляне), Лев Николаевич рассказал мне вкратце биографию несчастного, добавив: «Это большой мой приятель! Он — юродивый. Ходит по имениям, живет подаянием. Я люблю таких, как он. Иногда у них вырываются удивительные мысли. В них проявляется удивительная наблюдательность. И в доме у нас его все любят».

У самого дома Толстой подробно и точно указал мне положение созвездий Большой и Малой Медведиц и Полярной Звезды на небе. По его словам, ему особенно нравится Большая Медведица. Когда мы с прогулки подходили с ним к дому, все небо было покрыто звездами, дышало ими, переливалось огнями. Лев Николаевич, остановившись, закинув голову, долго любовался дивной картиной звездного неба. Я также. Не забуду этой минуты. Вот бы тема для портрета Толстого!

15 сентября

Вот несколько высказываний Толстого о живописи и литературе, записанных мною в этот же день:

— Я не признаю картинных галлерей. В них разбрасываешься, впечатление меркнет. Я предпочитаю им книжку с иллюстрациями, которую можно спокойно перелистывать дома, лежа на кровати.

— По моему мнению, все же лучшей картиной, которую я знаю, остается картина художника Ярошенко «Всюду жизнь» — на арестантскую тему.

— Сколько потрачено бесполезно Репиным времени, труда, таланта для такой бессодержательной картины, как его «Запорожцы». А зачем?

— Мои произведения всегда стоили и до сих пор стоят мне огромного труда. Бывают случаи, что я до пяти-десяти раз переделываю одну и ту же страницу или фразу. Многое зависит и от настроения: сегодня мне удаются обобщения, но от внимания ускользают мелочи; а завтра, просматривая то, что было написано мною накануне, я дополняю текст рукописи именно подробностями.

— Время поэзии у нас прошло. Но в прозе есть выдающиеся таланты. Таким я считаю, например, Чехова, Потапенку, Марию Крестовскую (что за чудная вещь ее «Именинница»!). Короленко мне не нравится.

— Между поэтами есть люди с талантами: Фофанов, Фет. У Минского иногда попадаются недурные стихи. Но и у Фофанова, и у Фета, Полонского чувствуется какая-то незаконченность, порою деланность.

— Возьмите хотя бы из «Евгения Онегина» Пушкина то место из дуэли, где есть рифмы «ранен» и «странен был томный вид его чела». Эти рифмы «ранен» и «странен» так и кажется, что существовали от века [31].

— Апухтина, Алексея Толстого, Голенищева-Кутузова я не могу на-

звать истинными поэтами: все у них выдумано, стих растянут, а не сжат; нет удачных сравнений. Совсем другое, например, Тютчев. Когда-то Тургенев, Некрасов и К° едва могли уговорить меня прочесть Тютчева. Но зато когда я прочел, то просто обмер от величины его творческого таланта.

— Стихотворения многих современных поэтов я иначе не зову, как «ребусами». Ну что такое, например, писатель Мачтет, который признается многими за талант!

— По моей градации идут сначала дурные поэты. За ними посредственные, недурные, хорошие. А затем — бездна, и за ней — «истинные поэты», такие, как, например, Пушкин.

Лев Николаевич поразил меня в этот вечер своей памятью. Он наизусть читал многие стихотворения Пушкина, Тютчева (например, «Как океан объемлет шар земной»). В стихотворении Пушкина «Телега жизни» два нецензурных слова, там находящиеся, он изобразил комичным мычанием.

Поздно вечером, когда мы все еще были заняты спором о литературе, а Татьяна Львовна карандашом рисовала портрет Попова (толстовца), пришли сказать, что «князь Блохин» танцует в людской. Мы все, сидевшие в столовой (в том числе и Лев Николаевич), побежали через двор смотреть на это представление. На дворе было темно, а в помещении, где происходили танцы, освещено. Блохин действительно с азартом, как-то особенно приседая, танцовал с девками, сбросив с себя пальто, притом так комично, что Лев Николаевич, стоявший незаметно под окном, удерживаясь, чтобы не выдать нашего присутствия, покатывался от смеха. Он потом в течение всего вечера не мог без смеха вспомнить, как Блохин, меняя девок, с ним танцовавших, хотел во время пляски взять одну «даму» за талию (нам, стоявшим у окна в темноте, все видно было и слышно). «Дама» не давалась, говоря жеманно, конфузливо: «Не надо!». — «Нет-с, позвольте! — уговаривал ее Блохин. — Это очень приятно-с!». Толстой удивительно верно передавал потом и выражение (интонацию) голоса и выражение физиономии придурковатого Блохина, неожиданно для всех оказавшегося вдруг галантным кавалером.

16 сентября

После завтрака я, Лев Николаевич, две его старшие дочери, дочь Саша и два сына-подростка по инициативе самого Льва Николаевича отправились на прогулку, которая тянулась почти без отдыха с двенадцати до пяти часов. День стоял чудный, осенний, и Лев Николаевич был в отличном настроении духа. «Ну, уж и заведу же я вас в такие места,— говорил он нам,— только держитесь!». И действительно, завел верст за восемь от дома, в густой лес; приходилось ползать по оврагам, переходить ручьи. При переходе через один ручей по кладке, перенося Сашу Толстую, я провалился в воду по колена и промочил ноги, но девочку спас от холодной ванны. Лев Николаевич сначала от души смеялся над этим происшествием, заметив мне: «Вы спасли меня от простуды! Я только-что хотел вступить на кладку, раньше вас, и провалился бы». Но затем всю дорогу он волновался, боясь, что я простудился, и поэтому не давал нам подолгу отдыхать, чтобы мои ноги не остыли, и все говорил: «Простудитесь! А жена ваша скажет потом, что это я виноват со своею прогулкою».

Что за неутомимый ходок Лев Николаевич! Мы все чуть не падаем от изнеможения, а он идет вперед легкой, ровной походкой, шутя преодолевает овраги и косогоры. Всю дорогу он прошел без шапки, которую держал в руках (в этой белой, мягкой фуражке он удиви-

тельно похож на один из портретов Репина). Его широкоплечая, сутулая, все еще мощная фигура, большая, характерная голова с лысинкой и торчащими волосами, большие некрасивые руки, которыми он на ходу размахивает, палка в руке — все это мне почему-то напоминало (когда посмотришь на Толстого сзади) фигуру какого-нибудь одичавшего лесного человека, бредущего по трущобе. Вообще, в наружности Льва Николаевича, особенно когда он задумается, задумчиво молчит или жадно, торопливо ест,— что-то дикое: маленькие, глубоко сидящие пристальные глаза под густыми бровями, большие скулы, выдавшаяся нижняя челюсть, топорщащиеся усы, длинная седая беспорядочная борода — все это, вместе взятое, придает ему подчас звероподобный вид. Когда он ест, усы его приходят в движение, нос как-то свирепо морщится, глаза устремляются в одну точку.

Во время прогулки Толстой несколько раз брал детей за руки и бежал с ними по лесу, по полю. Когда мы проходили вдоль лесной просеки, тянувшейся версты три, поперек ее лежало несколько больших упавших деревьев. Толстой вздумал сам через них перескакивать и увлек в эту забаву и других. Глядя на скачущего Льва Николаевича, я удивлялся, сколько в нем еще сил, энергии, живости, бодрости тела и духа. Лес в окрестностях Ясной Поляны, повидимому, прекрасно знаком Толстому, полон для него воспоминаний из эпохи детства и молодости. Во время прогулки он указывал мне разные места: в одном он когда-то стрелял молодых тетеревей, взлетавших над низкой порослью, теперь обратившейся в молодую рощу, в другом подстреливал вальдшнепов, в третьем подкарауливал диких коз. Лес, по его заме-

Л. Н. ТОЛСТОЙ
Фотография 90-х годов
Толстовский музей, Москва

чанию, состарился так же, как и он сам. «В моей молодости, — говорил мне Толстой, — вот на этом месте были низкие дубовые кусты, и вальдшнепы, поднявшись перед охотничьей собакой, тянули чуть не над землею,— стрелять их было легко, приятно. А теперь здесь уже целая роща».

На обратном пути мы с Львом Николаевичем говорили о той нужде, о той темноте, наконец, о той беспомощности, которые встречаются у русских крестьян по деревням. Когда мы проходили через какую-то деревню, Толстой сказал: «Не хотите ли, кстати, посмотреть, что делается у крестьян, когда к ним в хаты забирается повальная болезнь? В этой деревне сейчас больны натуральной оспой мой близкий знакомый крестьянин и члены его семьи. Все беспомощно лежат вповалку. Я посылал за фельдшером, посылаю сюда из имения то, что может облегчить страдания. Мне надо навестить их. Зайдемте». Но я побоялся заразы и не вошел в избу. С ним зашла только Мария Львовна. А мы, остальные, продолжали путь к Ясной Поляне. Через час вернулся и Лев Николаевич с дочерью, наскоро помылся и явился к чаю в том же самом костюме, в каком гулял, не приняв никаких мер против возможности занести своим близким заразу.

Вот отрывки моих разговоров с Толстым во время прогулки и дома. Записываю опять только его слова:

— Я не мешаю сыну моему Льву охотиться: пусть он сам проверяет себя. Я когда-то был страстным охотником. Бывало, едешь верхом, а за тобой на седле болтается убитая дичь. Все думаешь: пусть-ка посмотрят и позавидуют, сколько я, граф Л. Н. Толстой, настрелял. С годами эта страсть убивать животных ушла. Я долго не ходил на охоту, а потом пошел, чтобы себя проверить. Выбегает, помню, заяц. Я выстрелил в него и не почувствовал того удовольствия, которое так было дорого мне раньше в охоте. Тогда я понял, что охота для меня более не существует *.

— Люблю я просеки в дремучем лесу, по которым долго не ходила нога человека. Ходьба меня не утомляет. А вот ручная работа хотя и полезна, но до сих пор разламывает мне руки.

— Пошел я вчера вечером пройтись. Вижу, на полянке лежит навзничь мужик. Думаю — больной. Подхожу. Спрашиваю: «Ты что тут делаешь?».— «Коров караулю».— «А где же твои коровы?».— «Да куда-то ушли». *(Толстой, рассказывая, хохотал над этой философией.)*

— Как изменились, на моих глазах, отношения русских крестьян к некоторым вопросам, а также отношение общества, например, хотя бы к духовенству. Бывало, когда приезжал к помещикам на праздник священник, ему высылались закуска и деньги, но его не допускали к общему столу. Так было, по крайней мере, в том кругу, к которому я принадлежал. Но я лично делал иначе: приглашал всегда священника за общий стол, думая, что поступаю либерально. А теперь?

— Все недовольны, но все страдают, терпят и покоряются. В этом какой-то гипноз. Я не верю, чтобы государства когда-либо разоружились. Мир наступит лишь тогда, когда каждый человек сознает, что убивать другого он не может, не вправе, не в силах. И это настанет, но не очень скоро.

— Чем ранее падает девушка, тем более она цинична. Это всегда происходит оттого, что ненормальность половой деятельности обращает

* Когда мы пришли с Толстым домой, то в прихожей нашли убитую Львом Львовичем лисицу. Лев Николаевич прошел мимо, ничего не сказав. Вообще, как я заметил, он никому не мешает в семье жить так, как угодно. Признаться, эта лисица, точно нарочно брошенная на пути Льва Николаевича, осуждающего истребление животных, показалась мне дерзкой выходкой мальчишки-сына над гуманным стариком-отцом.

и нравственную сторону молодого существа на путь разврата. Самые развратные — двенадцатилетние проститутки.

— В литературе два сорта художественных произведений. Первый сорт — когда писатель-художник творит то, чего никогда не было. Но каждый, прочтя его труд, скажет: «Да, это правда!». Второй сорт — когда писатель-художник верно, удачно копирует то, что есть в действительности. Настоящий литературный талант творит произведения первого сорта. В живописи то же самое.

— Эмиль Золя — талант, но не говорит ничего своего. Его «Разгром» — вещь слабая. Я читал критику де-Богюэ в «Revue des Deux Mondes». Он упрекает Золя, что он, показав, благодаря каким порокам была поражена Франция, не указал, какими доблестями победила ее Германия. Да разве можно говорить о «доблестях» в армии, убивающей, жгущей, насилующей, разоряющей? Моя статья против войны укажет на эти доблести в надлежащем их свете.

— Я русской критики на мои сочинения не читаю. Разница между западноевропейской критикой и критикой русской громадная. На Западе критик, прежде всего, дает себе труд добросовестно прочесть ваше сочинение, усвоить себе ваши взгляды — и тогда уже критикует его. К подобной критике нельзя относиться иначе, как с уважением, хотя бы с нею и не соглашался. В России же критик, не дав себе труда вникнуть в вашу работу, вообразит себе, что вы говорите то-то и то-то, и, составив себе ложное понятие о вашем труде, пишет уже критику на это свое ложное понятие, серьезно думая, что критикует ваше сочинение, а не самого себя.

Я заметил Толстому, что общество до сих пор не понимает его «Крейцеровой сонаты». На это Лев Николаевич сказал: «Не понимает не потому, что она написана неясно, а потому, что точка зрения автора слишком далека от общепринятых взглядов».

По желанию Льва Николаевича, я подробно изложил ему сюжет моей новой повести (возрождение проститутки Таньки Рыжей под влиянием беременности). Он одобрил, сказав: «Формой вы владеете. Сюжет очень хорош. Вполне уверен, что вы напишете хорошую вещь» [32].

«Вы бы написали свою военно-судебную исповедь,— сказал мне Лев Николаевич, — было бы и интересно и поучительно». — «Что же тут будет поучительного?» — спрашиваю я.— «А прежде всего польза для вас самих. Это явится для вас своего рода дневником. Писать же дневники, как я знаю по опыту, полезно прежде всего для самого пишущего. Здесь всякая фальшь сейчас же тобой чувствуется. Конечно, я говорю о серьезном отношении и к такого рода писанию».

Вечер прошел в оживленных спорах о семье, семейном счастье и супружеской любви. Общество разделилось. Лев Николаевич и Мария Львовна выше семейной любви ставят любовь к людям. Я, Т. А. Кузминская, гр. Софья Андреевна отдаем предпочтение семейной любви. Татьяна Львовна говорила, что каждый раз, как она хотела выйти замуж, отец представлял ей ее женихов и брак с ними в таком комическом виде, что она разочаровывалась. «Ты, папа, — прямо сказала она Льву Николаевичу, — ничего не имел против, когда женились сыновья, а мешаешь выходить замуж дочерям». Лев Николаевич сконфузился, деланно засмеялся и стал отнекиваться [33].

Во время спора я поневоле коснулся моего семейного счастья. Лев Николаевич и Софья Андреевна подробно расспрашивали меня о моей жене, о наших детях, при чем я рисовал жену с самой лучшей стороны. Это их растрогало. Прощаясь со мною при моем отъезде, обнимая и целуя меня, Лев Николаевич сказал: «Так кланяйтесь же от меня вашей хорошей жене».

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Печатается по автографу, хранящемуся в архиве Жиркевича (Толстовский музей, Москва). Основание датировки: запись в дневнике Толстого от 30 июня 1890 г.: «Писал утром письма... Жиркевичу».

[2] В надписи на присланном Толстому экземпляре книги «Картинки детства» Жиркевич изложил мотивы написания этой книги и свой взгляд на искусство. В яснополянской библиотеке книга не сохранилась.

[3] Мюллер Макс (1823—1900), профессор Оксфордского университета, автор многих трудов по языковедению и истории религий.

[4] Убийство словом.

[5] Человекоубийство.

[6] Основание датировки: запись в дневнике Толстого 28 июля 1890 г.: «Вечером написал... Жиркевичу» и помета Жиркевича на автографе: «Получено 1 августа 1890 г.». Печатается по автографу, хранящемуся в архиве Жиркевича.

[7] Основание датировки: помета М. Л. Толстой на конверте письма Жиркевича: «Отв. 2 ноября». Печатается по хранящейся в архиве Жиркевича копии его рукой. Автограф подарен Жиркевичем доктору Людвигу Людвиговичу Гейденрейху (Вильна).

[8] В эти дни Толстой начал писать статью о непротивлении, разросшуюся впоследствии в трактат «Царство божие внутри вас» (см. прим. № 24).

[9] Толстой неоднократно высказывал ту же мысль: «Странное дело эта забота о совершенстве формы. Не даром она. Но не даром тогда, когда содержание доброе. — Напиши Гоголь свою комедию грубо, слабо, ее бы не читали и одна миллионная тех, которые читали ее теперь. Надо заострить художественное произведение, чтобы оно проникло. Заострить — и значит сделать его совершенным художественно — тогда оно пройдет через равнодушие и повторением возьмет свое» (дневник Толстого, 21 января 1890 г.). Эта же мысль подробно развита Толстым в заметке «Об искусстве» (см. «Толстой об искусстве» в сборнике «Толстой и о Толстом. Новые материалы», III, М., 1927, стр. 24 и сл.) и в трактате «Что такое искусство?».

[10] Марков Евгений Львович (1835—1903), беллетрист, публицист и критик. Автор ряда статей о Толстом.

[11] Максим Белинский — псевдоним Ясинского И. И. (1850—1931), плодовитого писателя, журналиста, в то время реакционного направления.

[12] В дневнике Толстого записано 3 сентября 1903 г.: «Разговаривая о Чехове с Лазаревским, уяснил себе то, что он, как Пушкин, двинул вперед форму. И это большая заслуга. Содержания же, как у Пушкина, нет».

[13] 28 января 1889 г. торжественно праздновался пятидесятилетний юбилей литературной деятельности Фета (Шеншина). По поводу этого юбилея в дневнике Толстого записано: «Жалкий Фет со своим юбилеем. Это ужасно! Дитя, но скупое и злое» (14 января 1889 г.). Толстой был близко знаком с Фетом, был с ним в переписке и прежде относился к его стихам одобрительно (см. публикуемую в этом томе переписку Фета с Толстым).

[14] В дневнике Толстого записано 15 декабря 1890 г.: «Благодаря цензуре вся наша литературная деятельность — праздное занятие. Единое, что нужно, что оправдывает это занятие (литературой), вырезается, откидывается...».

[15] В. Г. Короленко вместе с писателем-народником Н. Н. Златовратским посетил Толстого в феврале 1886 г. См. Короленко, Воспоминания о писателях. Под ред. и с прим. С. В. Короленко и А. Л. Кривинской (последнее издание), М., «Мир», 1934, стр. 150—159.

[16] Отношение Толстого к критике и ее задачам ярко выражено в его дневнике (запись 7 февраля 1891 г.). А. Ф. Кони записал слова Толстого: «Современной критике писателю нечему учиться, так как она почти вовсе не касается содержания, а оценивает технику, тогда как задача критики — найти и показать в произведении луч света, без которого оно ничто. Надо писать pour le gros du public. Суд таких читателей и любовь их есть настоящая награда писателю, и вкус большой публики никогда не ошибается, несмотря на замалчивание того или другого произведения критикой» (Кони А. Ф., На жизненном пути, т. II, М., 1916, стр. 29).

[17] К стихам Я. П. Полонского Толстой всегда относился отрицательно. Приводим его высказывания, записанные в дневнике: «Милый Полонский, спокойно занятый живописью и писанием, неосуждающий и бледный, спокойный» (9—10 июля 1881 г.); «Вот дитя бедное и старое, безнадежное. Ему надо верить, что подбирать рифмы — серьезное дело. Как много таких!» (30 апреля 1884 г.).

[18] Скабичевский Александр Михайлович (1838—1910), либеральный критик и историк литературы.

[19] Ту же мысль Толстой повторил и двадцать лет спустя: «Я думал о писателях; я знаю трех из них — Пушкин, Гоголь и Достоевский, для которых существовали

нравственные вопросы. Пушкин не дожил, но у него была такая серьезность отношения. Лермонтов умер молодым, но у него были нравственные требования. А, например, Тургенев, Чехов — это болтовня, а критика считает их всех одинаковыми» (дневник Д. П. Маковицкого, 14 января 1910 г., рукопись).

[20] То же высказывание Толстого об этом стихотворении записано С. А. Стахович (см. «Слова Л. Н. Толстого, записанные С. Ал. Стахович»,— «Толстой и о Толстом Новые материалы», I, М., 1924, стр. 64).

[21] Картина Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1582 г.» была выставлена на XIII Передвижной выставке (1884—1885) в Москве. Непосредственное впечатление Толстого было иное. Он писал о нем Репину 31 марта — 1 апреля(?) 1885 г.: «Третьего дня был на выставке и хотел тотчас же писать вам, да не успел. Написать же хотелось именно вот что — так, как оно сказалось мне: молодец Репин, *именно молодец*. Тут что-то бодрое, *сильное*, смелое и попавшее в цель. На словах многое сказал бы вам, но в письме не хочется умствовать».

[22] Речь идет о картине Ярошенко «Всюду жизнь» (Третьяковская галлерея).

[23] Еще в 1884 г. Толстой записал в дневнике после чтения Мопассана: «Забирает мастерство красок, но нечего ему, бедному, писать» (28 августа 1884 г.). О творчестве Мопассана имеется больше положительных, нежели отрицательных оценок Толстого (см. его предисловие к рассказам Мопассана).

[24] В это время Толстой работал над книгой, позднее озаглавленной «Царство божие внутри вас, или христианство не как мистическое учение, а как новое жизнепонимание». Первоначально Толстой задумал писать заключение к «Декларации» Гаррисона и «Катехизису» Балу, которое в процессе работы и превратилось в трактат. Окончен в 1893 г.

[25] А. Н. Апухтин всегда преклонялся перед Толстым-художником. В 1877 г. он посвятил ему восторженное стихотворение, озаглавленное «Графу Л. Н. Толстому». К религиозно-философскому творчеству Толстого Апухтин отнесся резко отрицательно, о чем и писал ему в приводимом письме от 31 октября 1891 г.:

«Многоуважаемый и многолюбимый Лев Николаевич, много раз я собирался и даже начинал писать вам, но весьма понятная робость удерживала меня. Теперь я просто не в силах молчать.

Давно уже я смотрю на ваше превращение из художника в проповедника, как на свое *личное* горе; поверьте, что это чувство разделяют со мной весьма многие люди. Конечно, я не принадлежу к тем из них, которые считают вашу проповедь вредной; проповедь единения и любви между людьми не может быть вредной. Беда, напротив, в том, что она не достигает цели.

Для нас, изучавших вас с детства, проповедь эта не представляет ничего нового. Главные мысли ваши разбросаны во всех ваших произведениях, даже в самых ранних. И в свое время эти мысли принесли большую пользу, потому что были истинны как по существу, так и по форме. Вы не только величайший из русских писателей, вы были самый правдивый и т р е з в ы й художник. Нельзя сказать того же о вашей проповеди. Будучи истинной по существу, она по способу изложения полна всевозможных преувеличений и софизмов, а потому-то и не достигает цели. Приведу для примера вопрос о прелюбодеянии. Ни в одной литературе нельзя найти произведения, в котором вопрос этот был бы затронут так правдиво и ярко, как в «Анне Карениной». Роман этот произвел глубокое впечатление и принес громадную пользу. Недавно вы опять коснулись этого вопроса в «Крейцеровой сонате». Впечатление было гораздо более шумное, даже крикливое, но отнюдь не глубокое. «Анна Каренина» остановила и спасла многих, «Крейцерова соната» вряд ли кого-нибудь спасла и, как всякое преувеличение, только вызвала реакцию.

На это мне возражают, что ваша проповедь имеет огромное распространение. Это правда, но почему? Все-таки вследствие вашего обаяния, как художника. Иногда читаешь какую-нибудь вашу парадоксальную статью, книга вываливается из рук, а все-таки читаешь и думаешь: «Не может быть, чтобы тут не было правды; я, может быть, не дорос до ее понимания. Ведь это писал Толстой, тот самый Толстой, которому я обязан столькими высокими наслаждениями, тот самый Толстой, который столько раз удерживал меня от дурных поступков». И опять читаешь и перечитываешь эти парадоксы, пока разум не отринет их после долгой борьбы.

Вы великий живописец, но плохой декоратор, а проповедник, если только он действительно хочет приносить пользу, а не заниматься «проповедью для проповеди», должен быть декоратором, т. е. не терять из виду расстояние, отделяющее его от зрителей. Часто вы забываете, для кого пишете. Люди нашего общества не могут не видеть коренного противоречия в том, что, проповедуя благоволение к людям, вы хотите лишить их всех радостей жизни, от самых высоких до самых обыденных. Для них ваша философия гораздо безотраднее, чем философия Шопенгауэра. Тот раз навсегда решил, что жизнь — юдоль скорби, но все-таки показывает людям какой-то призрак счастия, хотя и отрицательного, состоящего в избежании лишений и бедствий. Вы силитесь доказать людям, что их радости — не радости; но как же они вам поверят, когда чувствуют, что это — радости? Лишения вы им рекомендуете, как идеал,

к которому они должны стремиться... Почему? Потому, что другие люди бедствуют. Но лучшим людям нашего общества гораздо доступнее мысль приобщить других людей к своим радостям, чем идея устроить одну общую каторгу для всех. На пути преувеличения вы заходите так далеко, что недовольны, когда люди «едят вкусное». Можно понять, когда вы восстаете против излишества или даже известного сорта пищи, но какая произойдет беда от того, что простая и умеренная пища будет вкусна? Неужели и для тюри требуется, чтобы квас был скверный и огурцы тухлые?

Крайнюю грань преувеличения представляет ваша статья о вине и курении. Ратуя против злоупотребления тем и другим, вы бы еще могли принести кое-какую пользу; но, когда вы утверждаете, что каждая папироска затмевает совесть и одурманивает разум, вся статья теряет значение, а когда вы приводите в пример самого себя, читатели делают вывод как-раз противоположный. Они соображают, что, когда вы курили и пили вино, вы написали «Войну и мир» и «Казаков», а когда перестали курить, написали «Плоды просвещения». Просто не понимаешь, как эти плоды воздержания могли выйти из-под вашего пера. Вы отвергаете всякое искусство, если оно бесполезно. Интересно знать: какую полезность видите вы в этом фарсе, в котором в должности московской горничной является субретка из комедии Мариво? Правда, в видах реальности и обрусения вы заставляете ее визжать, но от этого ее роль не делается более правдоподобной.

Поверьте, Лев Николаевич, что я не позволил бы себе этих замечаний, если бы мог предположить в вас упадок таланта, но достаточно прочитать повествовательную часть «Крейцеровой сонаты» или главу о страхе смерти, чтобы убедиться, что ни о каком упадке не может быть и речи. Тем оскорбительнее кажутся мне «Плоды просвещения». Это фарс умышленно плоский. Печатая его, вы словно хотели надругаться над искусством. Чем оно провинилось перед вами, это бедное искусство? Ведь оно и вам доставляло много хороших и незабвенных часов. А между тем, когда читаешь чудные страницы о страхе смерти, страницы, которые могли быть написаны только рукой великого художника и великого самостоятельного мыслителя,—невольно закрадывается в душу робкая надежда: не прозвучит ли когда-нибудь для нас опять старый, могучий, дорогой голос? Не раскроет ли Иоанн Дамаскин для песни свои вещие уста, на которые мрачный отшельник наложил печать молчания? Дай вам бог прожить как можно больше, но знайте одно: вместе с вами исчезнет с лица земли и ваша проповедь. Без сомнения, явятся продолжатели, но их уже никто слушать не будет. Зачем станут читать Бондарева? Ведь он не написал «Войны и мира». Кого заинтересуют фельетоны г. Черткова? Ведь от него мы услышали только одну плодотворную мысль, что волков истреблять не следует; да и эту мысль узнали мы только потому, что вы назвали его статью «превосходной».

Исчезнет проповедь, но останутся те великие бессмертные творения, от которых вы отрекаетесь. Вопреки вам, они долго будут утешать и нравственно совершенствовать людей, будут помогать людям жить.

Прочитавши это письмо, вы, может быть, спросите: с какой целью оно написано? Не сочтите меня за такого самоуверенно-глупого человека, который бы надеялся переубедить вас, но кто знает? Вы, может быть, усмотрите в моих словах какую-нибудь крупицу правды, которая наведет вас на новые мысли. Если же письмо мое вышло резко, простите меня. Я не мог говорить спокойно, потому что люблю вас слишком глубоко и слишком давно».

Это единственное письмо Апухтина к Толстому осталось без ответа.

[26] Интересно сопоставить отзыв Чехова об этом рассказе в его письме к Жиркевичу от 2 апреля 1895 г. (см. «Письма А. П. Чехова», М., 1914, т. IV, стр. 378—380)

[27] Сын Толстого Лев Львович предполагал отказаться от военной службы по религиозным убеждениям (см. его книгу «Правда о моем отце», Л., 1924, гл. IX).

[28] См. прим. 24-е.

[29] Речь идет о романе «Декабристы», о новом приступе к работе в 1877—1878 гг. Написано только несколько отрывков. По этому новому замыслу, в центре романа должен был стоять русский мужик-переселенец, завоевывающий землю «не войною, не кровопролитием, а этой русской земледельческой силой». Связь переселенцев с декабристами: один из декабристов попадает к крестьянам-переселенцам.

[30] Блохин — ненормальный, юродивый, описан Толстым в «Так что же нам делать?», гл. XXXVIII. О нем см. также Толстой И. Л., Мои воспоминания, М., 1933, стр. 103—108.

[31] Толстой имел в виду строки:

Недвижим он лежал, и странен
Был томный мир его чела.

См. «Слова Л. Н. Толстого, записанные С. Ал. Стахович»,— «Толстой и о Толстом. Новые материалы», I, М., 1924, стр. 63—64. См. также воспоминания С. Л. Толстого «Лев Толстой о Пушкине»,— «Правда», 10 февраля 1937 г., № 40.

[32] В сборнике рассказов Жиркевича этот рассказ напечатан под заглавием «Случай».

[33] Об отношении Толстого к замужеству дочерей см. в книге: Жданов В. А., Любовь в жизни Льва Толстого, кн. II, М., 1928, гл. XII.

ДНЕВНИК В. Ф. ЛАЗУРСКОГО

Предисловие и примечания К. Шохор-Троцкого

Печатаемые ниже страницы из дневника В. Ф. Лазурского содержат его записи за 1894—1900 гг. Значительная часть их относится к летним месяцам 1894 г., когда он жил у Толстых в Ясной Поляне (всего 52 записи). Затем следует одна декабрьская запись того же года о посещении хамовнического дома Толстых в Москве. Все же остальные четырнадцать записей сделаны на протяжении шести лет (1895—1900).

Автор дневника, Владимир Федорович Лазурский, весной 1894 г., по рекомендации хорошо знакомого с Толстым проф. Н. И. Стороженко, был приглашен в Ясную Поляну для занятий с Андреем и Михаилом Львовичами.

В Ясной Поляне и Хамовниках на протяжении более чем тридцати лет сменилось много воспитателей, учителей, учительниц десяти детей Толстого (от Сергея до Вани). Среди них не мало было незаурядных, культурных людей (В. И. Алексеев, И. М. Ивакин, А. А. Александров, А. М. Новиков, А. Д. Архангельский, А. А. Курсинский и др.), но, сколько нам известно, никто из них, живя бок о бок с Толстым, не вел дневниковых записей о нем. Некоторые только впоследствии написали свои воспоминания. Один лишь В. Ф. Лазурский, сразу же по приезде в Ясную Поляну, стал записывать все, что слышал, видел и наблюдал. Московские профессора, советовавшие ему вести такие записи, понимали всю ценность сделанных по свежей памяти записей о Толстом. Да и сам Лазурский отлично понимал важность этого дела, так как изо дня в день старательно по вечерам записывал свои дневные впечатления и разговоры. Серьезные занятия литературой и любовь к искусству (особенно к музыке), естественно, вызывали у него особый интерес к высказываниям Толстого, отражающим эстетические воззрения и вкусы писателя. О двух беседах с Лазурским на литературные темы (27 июня и 8 июля 1894 г.) Толстой упоминает в своем (неизданном) дневнике.

Среди записей Лазурского встречаются высказывания Толстого и по другим вопросам, в частности, мысли, вызванные современными политическими событиями (убийство французского президента Карно, американское рабочее движение). На ряду с изложением бесед писателя, Лазурский дает не мало штрихов к характеристике облика живого Толстого.

Дневник Лазурского печатается по подлиннику, принадлежащему Толстовскому музею. В тексте записей сделаны значительные сокращения, при чем выпущено почти все, лишь косвенно относящееся к Толстому. Дневник был частично использован Лазурским в напечатанных им (в небольшом тираже) после смерти Толстого «Воспоминаниях» (М., 1911), где по различным (в том числе цензурным) причинам автор не мог приводить высказывания Толстого полностью или называть упоминаемые лица по именам.

Исследователи знают, с какой осторожностью приходится пользоваться «воспоминаниями». Отсутствие в них точной датировки фактов затрудняет, а нередко делает невозможным проследить эволюцию отношения Толстого к какому-нибудь вопросу. Поэтому существенное значение имеет возможность точно датировать высказывания Толстого по вопросам искусства в годы (1894—1898), когда он занимался пристальным изучением этих вопросов. Таким образом, напечатание датированных записей содержательного дневника В. Ф. Лазурского дает в руки исследователя и читателя ценный первоисточник, освещающий важный период жизни Толстого.

ЯСНАЯ ПОЛЯНА

14 июня 1894 г.

Лев Николаевич с Николаем Николаевичем Страховым сидели в углу залы, у круглого стола, где барышни играли в скучную игру, которая называлась хальма, а дамы работали. Лев Николаевич расспрашивал Страхова о журнальной полемике между Розановым и Владимиром Соловьевым (начала не слыхал). Разговор перешел на поэтов.

— Стихов не понимаю и не люблю,— сказал Лев Николаевич,— это какие-то ребусы, к которым нужно давать разъяснения.

— А вы сами когда-то увлекались Фетом, — заметил Страхов.

— То было время; тогда стихи имели смысл, а теперь нет. Да в 40-х годах он писал милые, хорошие вещи, из которых я многие знаю наизусть; а в последних нет ни поэзии, ни смысла. Ну-ка, у кого ноги быстрые, принесите Фета.

Быстрые ноги оказались у Татьяны Львовны. Она принесла два тома нового издания стихотворений Фета, и Лев Николаевич стал их перелистывать.

— Слушайте, — начал он читать:

Говорили в древнем Риме,
Что в горах, в пещере темной,
Богоравная Сивилла,
Вечно юная, живет,
Что ей все открыли боги,
Чт*о́* в груди чужой сокрыто,
Чт*о́* таит небесный свод.

Только избранным доступно
Хоть не самую богиню,
А священное жилище
Чародейки созерцать...
В ясном зеркале ты можешь,
Взор в глаза свои вперяя,
Ту богиню увидать.

Неподвижна и безмолвна,
Для тебя единой зрима
На пороге черной двери, —
На нее тогда смотри!
Но, когда заслышишь песню,
Вдохновенную тобою, —
Эту дверь мне отопри!

— Ну, что это? не понимаю; почему черная дверь, а не пунцовая? А ну, кто это поймет, тому двугривенный дам.

АЛМАЗ

Не украшать чело царицы,
Не резать твердое стекло,
Те разноцветные зарницы
Ты рассыпаешь так светло:

Нет! За прозрачность отраженья,
За непреклонность без конца,
Ты призван разрушать сомненья
И с высоты сиять венца.

— Если алмаз, как вы говорите, обозначает возлюбленного, то как же он может сиять в венце царицы? на голову он ей сядет, что ли? Ну-ка, Николай Николаевич, вы специалист по этой части, объясните! Э, вижу, сами не понимаете.

Графиня стала рассказывать о Фете, о его процессе творчества, как сам он говорил: «Он не сочинял, а ходит, и вдруг является».

— Ну уж, скорей чудесам Иверской поверю, чем этому, — сказал Лев Николаевич. — Все сочиняют. Может быть, что-нибудь явится — настроение, мысль, а все остальное сочиняют. И зачем пишут? Еще повесть так-сяк; когда отупеешь, можно читать, а стихи — это какой-то умственный разврат.

Все, впрочем, относились к словам Льва Николаевича как-то несерьезно, да и он говорил полушутя. Одна графиня говорила и возражала энергичнее, объясняла стихи, указывала на то, что когда-то Лев Николаевич понимал любовь, а теперь уже не может понять. Барышни подсмеивались, я едва сдерживался от смеха, когда Лев Николаевич выбирал курьезы и читал их со своими замечаниями. Николай Николаевич, «специалист» по части стихов, не защищал и не спорил. Он слишком мягок и как-то тонко-деликатен, чтобы серьезно горячиться в доме Толстых. Рассказывал о ком-то, что у того путаница в статьях.

— Верно, курит много, — замечает Лев Николаевич.

— Нет, это ничего, — говорит Николай Николаевич, только-что оставивший папиросу, — если много, то конечно, а так, баловаться, оно развлекает,— и мягко вынимает из портсигара другую папиросу.

В соседней комнате запели под гитару. Я посидел там, послушал под гитару «Господи помилуй» — монастырское, грустное, с выделкой, «Ивушку», «Ночи безумные». В зале подсаживались к чаю; Лев Николаевич заваривал на столе на бензинке свой овсяный суп на простой воде («мерзость», по словам графини). Николай Николаевич хотел взять к себе книжку с рассказами Чехова «Нахлебники» [1]. Я попросил ее себе, чтобы прочесть здесь. Лев Николаевич сказал: «Ну, что ж, прочтем вместе; присядьте». Я решился читать, хотя и стеснялся тем, что, как украинец, делал иногда неправильные ударения в словах.

— Недурно,— заметил Лев Николаевич по окончании чтения.— Только несколько небрежно разговоры сделаны. Я помню, вы, Николай Николаевич, давно выделили Чехова из числа других, когда и книжками он еще не выходил. Действительно талантлив. Да уж больно легко стали писать; технику разработали, техникой и щеголяют.

15 июня

После обеда Татьяна Львовна попросила меня читать вслух для сличения с подлинником переписанное ею письмо Льва Николаевича к кому-то по поводу книги Генри Джорджа о налоге на землю [2]. В письме Лев Николаевич очень хвалит книгу Джорджа и решительно высказывается за необходимость экспроприации крупных землевладений посредством его системы, т. е. общим прогрессивным налогом. Резкие фразы против правительства и злоупотреблений религии и науки, подслуживающихся правительству и потому старающихся оправдать крупные землевладения. Графиня как будто нетерпеливо пересела подальше. Переписанные экземпляры Лев Николаевич отсылает своим приятелям.

Пришла последовательница Толстого мадам Шмидт [3]. Татьяна Львовна стала читать вслух свой перевод с английского — что-то о ненормальности взаимного отношения богатых и бедных классов. В сильных картинах рисуется безумная роскошь и жалкая нищета; призываются люди к тому, чтобы они сознались, что богатые — это грабители бедных. Лев Николаевич вошел и подсел, повторяя несколько раз: «Превосходно,

превосходно. А ведь не дадут напечатать. И отчего бы, кажется? Никто тут не затрагивается».

В этот день он много косил в саду, потом пошел в лес рубить дерево.

16 июня

Утром вышедши первый вопрос Льва Николаевича (оборот в его стиле) был: «Получены ли газеты?». Он возбужден смертью французского президента Карно[4]. «Русские Ведомости» дали первые подробности этого события. Вечером Николай Николаевич, который вечно что-нибудь перелистывает или читает, просматривал присланные Чертковым брошюры заграничных женевских изданий Толстого[5]. Страхов, как секретарь у Льва Николаевича, читает книги и статьи и рассказывает их содержание. Может быть, поэтому Лев Николаевич и любит с ним беседовать. Что же касается его мнений, высказываемых всегда Страховым в форме: «Не знаю, не согласитесь ли вы?» — то на них часто бывают отрицательные ответы. По поводу книги какого-то англичанина о библии я вставил свое замечание, что Михайлов[6], приват-доцент Московского университета, пишет диссертацию об истории библейского текста.

— А, вот прекрасная тема!— воскликнул Лев Николаевич.— Он может много пользы принести; нужно разъяснить людям, что библия не свалилась к нам с неба в такой форме, как она теперь; спорят часто и на одном слове строят целую систему, а это слово, может быть, лишь вчера вставлено в текст.

17 июня

Утром графиня торжествовала: Лев Николаевич объявил, что не будет больше работать: очень устает, и потому голова отказывается работать.

Лев Николаевич пригласил меня держать с ним корректуру сделанного для «Северного Вестника» перевода «Дневника Амиеля»[7].

Начала корректировать Мария Львовна; пишет неразборчиво, выноски на полях в беспорядке; трудно разобраться, и наборщикам, верно, приходится плохо. Высказал это Льву Николаевичу. Подошла Мария Львовна.

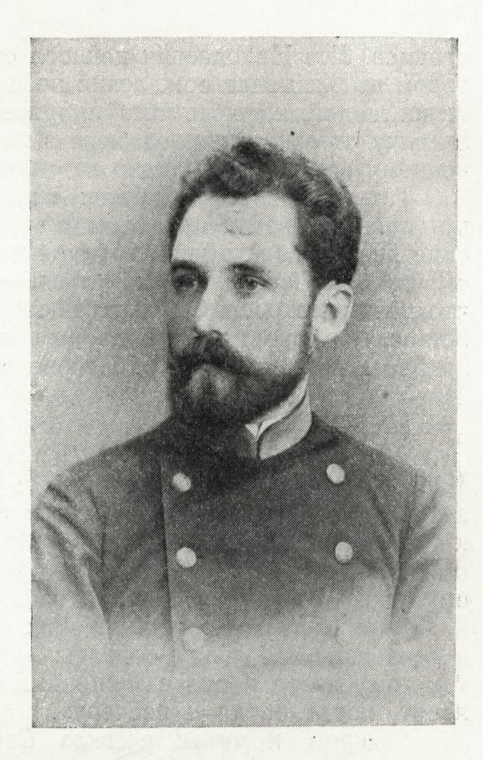
— А вот мы читаем твою китайскую грамоту. Владимир Федорович осудил твою работу, — сказал Лев Николаевич.

— Да, должен сказать, что осудил; так всегда женщины работают, — вырвалось у меня. Потом жалко стало, зачем я ее обидел резкостью; все хотел чем-нибудь загладить, да не представлялось случая.

Лев Николаевич — превосходный знаток французского языка. Monsieur (так здесь называют француза-гувернера) говорит, что любит очень с ним разговаривать, так как граф употребляет настоящие французские выражения. Читая французский текст для исправления кому-то заказанного и дурно исполненного перевода, все глубоко понимает и делает ясным. Фразы, которые ему кажутся неуместными, опускает (очень редко), но для добросовестности велит ставить многоточия. Для того, чтобы удачнее подобрать соответствующие русские слова и выражения в передаче трудного отвлеченного языка, призывал на помощь Н. Н. Страхова. Были приняты два моих слова. Мои знания языка, моя способность углубляться и понимать — ничто, какая-то детская погремушка перед громадной паровой машиной.

За обедом Лев Николаевич узнал, что мы на дворе немножко косили и что Николай (парень) удостоил меня похвалы; приглашает после обеда к себе в помощники косить сад. Отправились с monsieur. Лев Николаевич сбросил верхнюю рубаху и жилет, повесил сбоку на веревке

В. Ф. ЛАЗУРСКИЙ—СТУДЕНТ МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Фотография 1892 г.
Частное собрание, Одесса



брусок в деревянной сумочке и принялся косить хорошо, как настоящий косарь. Дождь, впрочем, скоро загнал нас в комнаты.

18 июня

Разговаривая за вечерним чаем о Мопассане, Лев Николаевич сказал:

— Я не могу себе вообразить теперь хорошего беллетриста; лишь только проявится талант, сейчас его зазывают во все редакции и заваливают деньгами. Поневоле писать начинает наскоро и портится, когда платят до четырехсот рублей за лист! Григорович говорил мне, что ему платили пятьсот рублей за лист. А лист можно продиктовать в два часа. Я сам писал лист в рабочую упряжку, т. е. часов от десяти до трех, когда в хорошем расположении.

Прощаясь, он задержал мою руку:

— А вот какой-нибудь учитель гимназии работает часа четыре-пять в день и получает около тысячи рублей в год; не правда ли, досадно?

— Нет, — отвечал я, — они не обижаются; они говорят: «Ему дано, а мне нет; к кому же тут апеллировать?».

— Ну, я думаю, если рассердится, так всякий напишет, — сказал Лев Николаевич.

Лев Львович передавал о Мопассане слышанное во Франции от Жардена. Жарден прочел в французском переводе «Смерть Ивана Ильича» и дал прочесть Мопассану. Через некоторое время тот возвращает ему книжку и говорит: «Я вижу, что вся моя деятельность была ни к чему; что все мои десятки томов ничего не стоят». Это было незадолго до сумасшествия, так что «Смерть Ивана Ильича» была чуть ли не последней книгой, которую он прочел.

19 июня

Утром приехали из Москвы Горбунов и Буланже; первый состоит заведующим в «Посреднике». Рассказывают об аресте одного из тол-

стовцев. Лев Николаевич написал открытое письмо арестованному, в котором высказывает сожаление по поводу происшедшего и порицает действия людей, которые читают чужие письма (часть письма к Льву Николаевичу от заключенного была замарана). Это письмо Толстого к заключенному не было допущено за «неуместные выражения» [8].

Татьяна Львовна сказала: «Это начало конца; скоро и до нас доберутся». Рассказала при этом придворный анекдот. Профессор Ключевский явился давать урок великой княжне Ксении, дочери Александра III. «Я не буду сегодня заниматься, — сказала та, — я расстроена, потому что папа расстроен. Он читал последнее произведение Толстого «Царство божие» [9] и говорит: «Его давно пора засадить». А ваше—профессоров—каково мнение об этом?». Неизвестно, что отвечал Ключевский.

20 июня

Долго корректировал с Львом Николаевичем «Дневник Амиеля». Часто Лев Николаевич повторяет: «Как хорошо!» по поводу афоризмов автора дневника. Не потому ли его так влечет Амиель (он называет эту книгу одной из «любимых» своих), что темы предсмертных рассуждений о жизни, ее смысле и развязке делаются все более близкими, так как ему уже 65 лет. Деревенская баба, пришедшая за медицинским советом к Марии Львовне, сообщала мне: «Теперь его сиятельство слабее стал; давеча нагнулся ягоду сорвать: «Ох, говорит, поясница болит». А года три тому назад косил с мужиками сад и ничуть не отставал; утром покосит, после обеда и ввечеру».

Вечером я читал рассказ Стриндберга («Русская Мысль», май) «Муки совести». Лев Николаевич внимательно слушал и рассказ похвалил, сказав, что разобрано основательно. Смотрели вместе художественный альбом «Figaro» последнего салона. Лев Николаевич, вообще, отзывается о картинах похвально — о технике, выражении лиц. По поводу хромолитографированной одной заметил, что через каких-нибудь лет двадцать, мы можем надеяться, нам будут прекрасно воспроизводить картины в красках. Посмеялся лишь над «вдохновением», которое является в виде дебелой, мускулистой женщины-гения, парящей у стула молодого, задумчиво сидящего поэта. Осудил картину «Император и папа», где Наполеон, как мальчишка, стоит в задорной позе, сказав, что это не в духе Наполеона. Сам взял разобрать на рояле присланную кем-то «Rapsodie des steps». Читает ноты довольно бегло, и перебирает своими огромными пальцами довольно быстро. Проигравши, сказал: «Вот так рапсодия! Самая пошлая музыка».

21 июня

Косил с Львом Николаевичем. Он давал мне урок косьбы. Косит сам замечательно хорошо, ровно и гладко. Рассказывал при этом, что сегодня у него был очень утомительный посетитель, какой-то тульский обитатель, сын бедного чиновника, нервный, почти больной, бывший студент; написал сочинение о необходимости физического труда, хочет напечатать. Лев Николаевич говорит, что оно очень прочувствовано; вредные последствия жизни, лишенной возможности физического труда, видно, написаны с натуры; но при всем том страшно растянуто. «Живя в глуши, ничего не знает, думает, что он первый говорит эти вещи. Вообще, молодые писатели часто грешат тем, что пишут все, что бродит у них в голове. Мало иметь мысли, нужно их привести в порядок, из сотни выбрать одну, наиболее яркую, просеять их».

Вечером увидел, что я читаю статью Гольцева [10] о Чехове («Русская Мысль», май) и говорит: «Вот это очень смешной факт. Гольцев почему-то вздумал, что ему нужно писать о вопросах эстетики; сам юрист, не

занимается этими вопросами, не любит, не имеет чутья, а пишет и говорит». Стали вспоминать других наших юристов, пишущих по литературе. Наибольшей похвалы удостоен был Спасович[11]: «Этот понимает». Страхов засмеялся и напомнил, что Лев Николаевич сам же Гольцева натолкнул на юбилей Фета[12]. «Ну, это как красивая ваза для украшения: все-таки Гольцев говорил, и выходило торжественно».

По поводу известия о том, что Пантелеев[13] намерен издавать в переводе европейских классиков, Лев Николаевич высказался, что всегда этому чрезвычайно сочувствовал, сам делал попытки и считает это делом не легким. Нужно переводить не все, а только лучшее. Но тут приходится брать на себя ответственность, что̀ считаешь лучшим, что̀ нет. Что ж делать, нужно. «У нас существует педантический взгляд, что раз переводить, то нужно переводить все; и что же, в конце концов? Все и стоит на полке, и никто его не читает. Всего никто не будет перечитывать. Вы не читали, Николай Николаевич, всего Гёте? Я прочел все сорок два тома. Из них тома четыре, не больше, следует набрать. По моему мнению, это должны взять на себя профессора западной литературы. А то занимаются каким-нибудь специальным вопросом. Вот Стороженко[14] все с своим Шекспиром». Об Александре Веселовском Лев Николаевич ничего не знает[15], Алексея Веселовского[16] «видал как-то в Москве».

22 июня

Начался день веселым завтраком. В комнату ворвалась толпа мальчиков и барышень, которые стали дурачиться. Веселье их было так заразительно, что Лев Николаевич, появившись в дверях зала, также выкинул коленце и вступил с па мазурки. Все захохотали еще больше, а он сам даже покраснел от смеха.

За завтраком зашла речь о новом законе о дуэли, которым Лев Николаевич возмущается страшно; говорит, что этого так нельзя оставить; что это забвение самых элементарных понятий нравственности. Тут же вспомнил, чему учат солдат, и принес «Памятку», составленную генералом Драгомировым[17]. Николай Николаевич читал ее вслух, и Лев Николаевич поминутно прерывал восклицаниями: «Ведь это возмутительно, что такое; это что-то безграмотное, пьяное; это говорит не человек, а остервенелое животное, и все на тексты священного писания. А это как вам нравится: «Бог—твой генерал»? Это уже на закуску—лучше всего. Бога в генералы произвел. «Больше сея любве никто же имать, да кто душу свою положит за други своя». Это т. е. за него, за генерала Драгомирова! Тупой, невежественный, вечно полупьяный (вы ведь знаете), и считается лучшим генералом!».

После завтрака я пошел в сад, где косил Лев Николаевич, и стал ему помогать. Я уже давно устал и отказался итти дальше, а он еще остался докосить участок. Рассказывает, что с мужиками косил по целым дням, как и они, с такими же небольшими отдыхами, как они, и ничего.

В промежутках рассказывал мне о Н. Н. Страхове. Он впутался в несчастную полемику с Вл. Соловьевым по поводу книги Н. Данилевского[18], которую издает вторым изданием. Полемика давно уже перешла на мелочи и малоинтересные частности. «Он мне как расскажет, я и помню; а потом сейчас же все забудешь. Пишут, пишут, а зачем? Потому, что обеспечены и времени девать некуда. Занимались бы лучше насущными вопросами. А то отсюда и ученые, никому не нужные споры и стихи Фета».

Вечером Николай Николаевич казался возбужденным и высказывал неудовольствие на полемические приемы Соловьева. А Лев Николаевич ему: «Все оттого, что большие оклады получаете, этими вещами занимаетесь».

23 июня

Вечером по поводу «Распятия» Ге завязался разговор о наших художниках. Я сказал, что люблю больше всех Поленова. Мария Львовна выше всех ставит Ге, требует прежде всего глубокой мысли (в христианском смысле), красоту считает ни к чему. Вошел Лев Николаевич. Она и ему на меня донесла, что я, мол, «Христа и грешницу» выше всех картин ставлю. «Да, Поленов красив, но бессодержателен,— сказал Лев Николаевич.— Правая сторона этой картины написана очень хорошо — сама грешница, евреи; левая никуда не годна: лица банальные, Христос у него — какой-то полотер, а апостолы плохи; сзади — декорация».

Подсел Николай Николаевич. Разговор перешел на статью Николаева [19] о Тургеневе. Лев Николаевич сказал: «Я помню, Тургенев произвел на меня сильное впечатление «Записками охотника». Потом я слушал «Рудина»; он читал у Некрасова. Были тут Боткин, Анненков; все глубокомысленно обсуждали; я был моложе их всех; я был удивлен, как это — Тургенев, и мог написать такую фальшивую, придуманную вещь. Потом пошли плохие вещи. Иногда прорывались превосходные, цельные, несочиненные».

Николай Николаевич, со своей всегдашней манерой, стал спрашивать относительно разных тургеневских вещей. Лев Николаевич отлично помнит все. Выше всех он ставит «Довольно» и статью «Гамлет и Дон-Кихот». Говорил, что писал статью о Тургеневе, где рассматривал эти два произведения в связи одно с другим (настроение разочарования и потом указание пути спастись от сознания пустоты). Хотел читать на тургеневском празднике, но ему «запретили». Высоко ставит «Живые мощи».

— «Новь» мне, представьте, понравилась; «Пунин и Бабурин», «Колосов» — это бог знает что такое; «Вешние воды» — это к тому же разряду: все выдуманное, хотя хорошо выдуманное. Критики,— иному некогда, другой не любит,— все валят в кучу; а ведь нужно различать двух Тургеневых: один там, под землею на десять футов, а другой сверху. Я часто удивлялся, как Тургенев, такой умный, изящный, образованный, мог писать такие глупости. Иногда он писал, как... ну, как Немирович-Данченко; еще хуже... как Мачтет, самый плохой Мачтет. Средние таланты пишут ровнее; высоко не залетают, но и особенно низко не спускаются; Писемский, например; даже Гончаров. Вот Пушкин, впрочем, почти всегда на высоте стоит. Лермонтов — в печатных произведениях. А вот мой враг — Шекспир, которого я терпеть не могу...

— За что? — вырвалось у меня.

— За то, что все считают обязанностью превозносить его, и почти никто не читает. Вот ваш приятель Стороженко при слове «Шекспир» всеми членами на караул делает, а у него много дрянного есть.

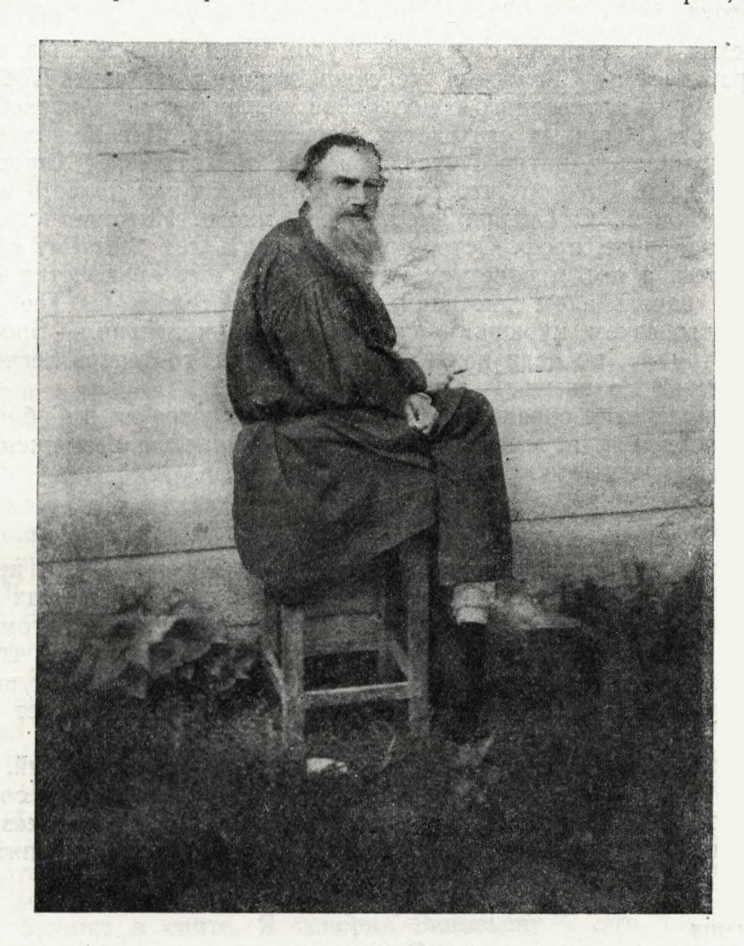
Об описаниях природы у Тургенева говорил: «Они удивительны; ничего лучшего ни в одной литературе не знаю». Восхищался его манерой, не выписывая подробно всего, дать понять несколькими штрихами.

24 июня

После обеда отправились гулять по шоссе: Лев Николаевич, Страхов и я. Разговор, сначала не клеившийся, сделался оживленным, когда Лев Николаевич наскочил на интересующую его теперь больше всего тему о национализации земли и о проекте Генри Джорджа [20]: «Владение землей так же незаконно, как и владение душами. Кто держит у себя источник питания, тот держит в своей зависимости неимущих. Для меня это теперь понятно с поразительной ясностью. А сколько нужно еще времени, чтобы эта мысль вошла в общее сознание! Я сам жил двадцать лет, не сознавая этого. Вот Генри Джордж лет тридцать так ясно

и просто выяснил все, и о нем как-то не слышно, и какие-нибудь Янжулы [21] его опровергают. Вчера я видал: лежит у дороги женщина, спит, ее рука завязана веревкой, на которой привязана пасущаяся лошадь. Очевидно, устала, а боится упустить лошадь: сделает потраву — штраф. Совсем стеснили мужика, шагу ступить некуда. Ведь это страшное зло. Ну, опровергайте меня!..».

Но мы с Николаем Николаевичем не показывали желания опровергать. Я всегда в таких случаях молчу и слушаю, а Николай Николаевич—эстетик и философ, и все это для него далекие материи, хотя по



Л. Н. ТОЛСТОЙ
Фотография 90-х годов
Толстовский музей, Москва

мягкости сердечной он поддакивает и соглашается с Львом Николаевичем. Скоро он перевел разговор на декадентов. Лев Николаевич знаком с ними, читал Бодлера, Метерлинка; говорит, что некоторые вещи у них не лишены интереса и своеобразной красоты; но вообще называет это движение болезненным и радуется, что оно у нас не прививается. «Ведь прочти произведение в таком роде нашему мужику и скажи ему, что это написано серьезным и умным человеком, он расхохочется: разве может умный человек заниматься такими вещами? А ведь вот занимаются же».

Николай Николаевич спросил, какого мнения он о Чайковском. «Так, из средних». Я спросил о Рубинштейне. «Тоже, хотя Чайковский ориги-

нальнее Рубинштейна. Этот — хороший исполнитель, переиграл массу хороших вещей, и у него постоянно в собственных произведениях являются воспоминания, отзвуки чужого. Много все они пишут фальшивого, выдуманного. Вообще, если говорят, что искусству нужно учиться, это уже вступают на опасную дорожку. Возьмите вы, например, роман Вальтер-Скотта, даже Диккенса и прочтите его мужику; он поймет. А приведите его слушать симфонию Чайковского или Брамсов разных, он будет слышать только шум».

25 июня

Приехал родственник с семьей, шурин Льва Николаевича, инженер Берс [22], работает по Сибирской железной дороге мост через Тобол. Рассказывает много интересного о постройке кессонами, о сибирской жизни, о населении и составных его частях, переселенцах. Лев Николаевич обо всем расспрашивает, интересуется, при чем обнаруживает хорошее знакомство со всем. Говорит, что на Волге собирался сам полезть в кессон, но не состоялось. О Сибири знает очень много. Инженер стал жаловаться на здоровье, проф. Остроумов лишь пять лет дает ему срока для такой работы, а потом советует на покой; но ему не хочется служить где-нибудь начальником дистанций: скучно; хотелось бы все строить.

— А ты зачем куришь? — сказал Лев Николаевич. — Брось. Сам знаю, что трудно, но если начинал уже бросать, то теперь легче будет. А вино пьешь? Не пьешь, — это хорошо.

Лев Николаевич спрашивал Берса, не образуются ли в Сибири крупные землевладения, и, узнав, что нет, что вся земля размежевана для крестьянских наделов, выразил свое удовольствие.

26 июня

С инженером Берсом ходили после обеда на место, где крестьяне берут песок [23]. Лев Николаевич очень озабочен тем, что при их системе подкопов может случиться обвал и произойти несчастье. Поэтому повел инженера, чтобы тот ему рассказал, как снять верхний пласт, чтобы открыть песок, и сколько это приблизительно будет стоить. Тот вычислил расходы рублей в восемьдесят. Лев Николаевич уже хлопочет о копачах.

Вечером графиня рассказывала, как Маркс [24], расфранченный, являлся к ней в Москве и предлагал десять тысяч за право издать сочинения Льва Николаевича для своих подписчиков «Нивы». Она отказала. На другой день он опять явился и предлагал уже сто тысяч, но опять получил отказ.

27 июня

Сегодня утром у меня завязался разговор с Николаем Николаевичем. Не помню, с чего заговорили о Скабичевском. Николай Николаевич сказал, что его «Историю русской литературы» не читал, так как за Скабичевским не признает ровно никакого критического таланта и литературного значения. Я стал возражать и указывать заслуги Скабичевского. Лев Николаевич подсел к своей похлебке и скоро вмешался. Он также не читал «Историю русской литературы», но знает Скабичевского по статьям.

— Я принимался его читать и бросил: ничего не понимаю. Вот скоро переведут статью М. Арнольда с английского [25]. Он прекрасно говорит: задача критика — выделять все выдающееся из подавляющей массы написанного. А они привязываются к случаю, чтобы высказывать свои мысли. Да и мысли самые банальные. Судят же обо всем с плеча. Чтобы критиковать, нужно возвыситься до понимания критикуемого, и в этом

уже важная заслуга. А у них выходит так, как прекрасно сказал мой приятель Ге[26]: «Критика — это когда глупые судят об умных».

— А потом пишут историю того, как глупые судили об умных,— вставил Николай Николаевич.

Я заметил, что имя Писарева здесь упоминают с насмешкой. О Златовратском Лев Николаевич сказал: «Читал, что-то глубокомысленное; видно, добрый человек, но путаница в голове страшная». Михайловского Николай Николаевич называет «умным человеком», Буренина «талантливым», и, повидимому, здесь все согласны с этим[27]. Имя Мачтета—синоним полной бездарности, Немировича-Данченко — чего-то пустопорожнего, никому ни для чего не нужного. Гаршина нечаянно Лев Николаевич упомянул в таком перечне, но тотчас же поправился, сказав, что это, конечно, обмолвка, что Гаршин в другом роде. Лев Николаевич очень хвалит статью Волынского (года два назад) о Гоголе[28]; говорит, что он понял его душевное настроение последних годов и исправляет ту ошибку, которая со времени письма Белинского сорок лет повторяется всеми. «Белинский не понял этого и написал опрометчивое письмо».

Сегодня косили с Львом Николаевичем. Барышни гребли сено. Прощаясь вечером и проходя через переднюю, где стояли косы, Лев Николаевич, смеясь, сказал мне: «Вот ваши орудия пытки».

28 июня

Косили с Львом Николаевичем и двумя мужиками. В разговоре с мужиками он очень хорош: прост и весел. Спрашивал их мнения, не дорого ли будет, если он назначит по пяти копеек с воза за песок, когда расчистит на свой счет место для безопасной емки. Те отвечали, что всякий с удовольствием даст, так как теперь действительно опасно.

Подошел Н. Н. Страхов, и Лев Николаевич, не переставая косить, стал расспрашивать газетные подробности о новом президенте Казимире Перье[29] и о чикагских беспорядках рабочих [30]. Подошел приезжий родственник (муж сестры графини)[31] и, послушав, стал ужасаться этими волнениями.

— Что ж тут удивительного? — спокойно сказал Лев Николаевич.— Естественно, что после долголетнего угнетения начинают бунтовать. Вот у нас был царский проезд[32]. Это бог знает, что такое. Мужиков отрывают от работы, заставляют их неделю дежурить у дороги и хоть бы копейку заплатили. Я высчитывал: пусть, считая по пятидесяти копеек в день, пришлось бы заплатить десять тысяч за весь проезд. Ведь это пустяки для казны, а, между тем, они избавились бы от перекрестной руготни, которой осыпают царя по всему пути. Я уже просто избегал заводить с мужиками разговор об этом. А кто виноват? Эти сукины сыны, которые состоят в свите. Я говорил Зиновьеву[33]. Это такая бестактность! Они вызывают неудовольствие. Они не охраняют царя, а подвергают его опасностям. Они — нигилисты.

— Это просто забывчивость с их стороны, — пытался оправдать родственник.

— Какое забывчивость! Просто думают, что с мужиком так и нужно поступать. Ведь он собака, животное какое-то.

Вечером барышни стали петь у рояля. Лев Николаевич очень любит старинные романсы с терциями и квинтами. Минорного не любит. «Минор с мажором — хорошо». Аккомпанировал нам «Тучи черные» для голоса со скрипкой; немножко грубо, но верно.

29 июня

За обедом Лев Николаевич сказал: «А я нет-нет да и почитаю Шопенгауэра. Сегодня читал насчет музыки. Очень хорошие есть замеча-

ния. Вот насчет оперы он так пишет, как и я думаю. Я терпеть не могу оперы и кроме скуки в ней ничего не испытываю».

30 июня

Утром мы сидели за кофе, а Лев Николаевич за овсянкой. Лев Николаевич стал спрашивать, нет ли свежих газетных известий о рабочем движении в Чикаго.

— Сказать вам по правде, я не только не опечален этим, я радуюсь. Все ругают анархистов и считают их за зверей, и никто не хочет понять, что анархизм — естественное следствие современного порядка вещей. Ведь анархист убивает Карно не потому, например, что шуба у него хорошая. Он прямо говорит, что делает это для того, чтобы заставить всех обратить внимание на ненормальность современного положения вещей. До тех пор, пока будут держать громадные войска; до тех пор, пока богатые будут угнетать бедных; до тех пор, пока будуть учить, что Христос воскрес и улетел на небо и там сидит и т. д., — до тех пор будет существовать и анархизм. А вы как думаете? — обратился Лев Николаевич ко мне.

— Я думаю, что вы прописываете слишком жестокое лекарство.

— Ну вот, и вы принадлежите к безнадежным в этом отношении в настоящем положении. Всякий говорит: я не хочу никого обижать, лишь бы у меня была чашка кофе, сигара и жена в шелковом платье; и никто не хочет подумать, что вся эта обеспеченность основана на грабеже других.

— Но какую же роль должно при этом играть правительство? — стал говорить Николай Николаевич. — Оно или должно отказаться от власти, или принять меры.

— Да, принять меры, но какие? — опять начал Лев Николаевич.— Конечно, при нынешнем положении вещей оно прежде всего позаботится об увеличении войск и усилении власти; но, если бы оно хотело действительно излечить болезнь, оно должно приняться за реформу современного строя, за национализацию земли и т. д. Право, странно. Стоит правительству лишь прислушаться к тому, что говорят кругом, чтобы понять окружающие нужды. Но разве об этом заботятся правительства? Наше правительство о чем заботится? О сохранении власти quasi-романовской династии и власти тех придворных, которые их окружают, а относительно другого всего — для них хоть трава не расти. Мне говорят: но как же выйти из такого положения? Я не знаю пути. Я знаю только, что вот эта проторенная дорожка ведет в пропасть, но я не знаю другой дороги; нужно искать, нужно проторить другую дорожку, а где — это покажет сама жизнь. А у нас все верят, что так и должно быть, как есть, лишь немножко нужно полечить. Человек пьет, курит, развратничает и спрашивает доктора, какие ему нужны пилюли, чтобы быть здоровым. То же и в деле воспитания детей. Систематически развращают их и потом призывают воспитателя, чтобы он их исправил. Часто Сонечка говорит мне: «Укажи же мне другой путь воспитания». Я не знаю другого пути, но я знаю только, что этот безобразен и что нужно его изменить.

1 июля 1894 г.

От завтрака до вечера был князь Абамелик[34], армянского происхождения, миллионер, владелец 980 000 десятин земли и четырех чугунолитейных заводов в Пермской губернии. У него небольшое имение в Тульской губ. Красив, много путешествовал, состоит главным попечителем Лазаревского института восточных языков, племянник министра Делянова, во французской Академии наук премирован за открытие какой-то сирийской надписи. Чего еще нужно? Он ездит в Ясную Поляну для поддержания знакомства, но его здесь не любят. Лев Николаевич гово-

рит: «Всякий раз стараюсь говорить с ним дружелюбно, но, в конце концов, начну говорить резко. Это настоящий тип петербуржца во вкусе нынешнего правительства. Кажется образованным, а, между тем, все это нахватано отовсюду лишь для того, чтобы оправдывать свое положение. Полнейшее непонимание самых элементарных понятий гуманности».

У князя на заводах было уже два бунта рабочих, усмиренных самыми крутыми мерами, и он рассказывает об этом с самодовольством. Говорят, что Лев Николаевич по этому поводу имел с ним энергичный разговор. «Ну, и досталось князю», — передавал потом доктор Флеров [35].

Вечером стали говорить об Абамелике, и настроение всех выражается возгласом: «И чего он ездит?». Накануне приезжал еще с председателем Тульского окружного суда [36] лицеист, молодой человек и уже товарищ прокурора. Лев Николаевич вспоминал и о нем: «Вот вчера был лицеист; ведь это бог знает, что такое. «Что ж, говорит, что секут? Иной молодой выругает отца. Следует сечь». И это говорит молодой человек! Вот какова теперь молодежь».

Вечером получили почту. Какая-то барыня упрекала Льва Николаевича за то, что он употребляет выражения, которые тяжело и повторять: Иверскую назвал идолом. Лев Николаевич прочел вслух это место, засмеялся и положил письмо в сторону. Другая барыня [37] прислала в прелестном переплете сделанный ею турецкий перевод «Семейного счастья» и «Чем люди живы». Пишет, что в турецкой литературе имя Толстого приобретает все большую и большую популярность, «несмотря на то, что, благодаря нелепостям турецкой цензуры, очень многого нельзя напечатать».

Получено письмо от В. В. Стасова [38], который восторгается («Он вечно чем-нибудь восторгается», — заметил Лев Николаевич) новым «шедевром» — предисловием [39] к «Монт-Ориолю» Мопассана; говорит, что совершенно согласен с оценкой литературного значения Мопассана у Льва Николаевича, и излагает свой эстетический символ веры: «Содержание прежде всего. Форма несущественна. Жалко Пушкина, когда он обрабатывал такой «паскудный сюжет», как «Египетские ночи»; жалко Лермонтова с его фальшивым «Демоном», и т. д.

Лев Николаевич читал все вслух, пропуская те места, где Стасов уж слишком хвалил его, и, прочитав, сказал Николаю Николаевичу: «Вот это мои тоже взгляды; конечно, это выражено слишком резко и грубо; но по существу я согласен». Николай Николаевич молчал: он держится совсем других эстетических понятий.

2 июля

После обеда мы косили с Львом Николаевичем и тремя мужиками в саду. Солнце стало заходить, мужики ушли, и мы остались одни. Лев Николаевич перестал косить; облокотившись на косу и смотря на горизонт, стал припоминать стихотворение Фета, где описывается наступление ночи:

Летний вечер тих и ясен, —
Посмотри, как дремлют ивы!
Запад неба бледнокрасен,
И реки блестят извивы.

От вершин скользя к вершинам,
Ветр ползет лесною высью.
Слышишь ржанье по долинам? —
То табун несется рысью.

— Это превосходно, здесь каждый стих — картина.

Вероятно, заход солнца навел его на мысли о закате человеческой жизни; он стал говорить о том, как грустно человеку, всю жизнь рабо-

тая, волнуясь, стремясь к чему-то, всегда иметь сознание, что все его стремления должны разом прекратиться и от нас не останется никакого следа.

— Что же делать тут? а? Вам не приходили эти мысли в голову?

Я отвечал, что когда приходят такие мысли, то жизнь выставляет что-нибудь неожиданное, и мы как-то опять вовлекаемся в жизнь.

— Но неужели разум дан для того, чтобы его заглушать? Неужели он не может указать нам, в чем цель жизни? Такая цель есть.

Он замолчал, я не спрашивал, в чем же эта цель. Через некоторое время Лев Николаевич спросил:

— Вы верите, что мир существовал шесть тысяч лет?

Я отвечал, что серьезно не задавался этим вопросом.

— А я не верю; возвращаясь мысленно назад, к более грубым временам, мы наконец должны притти к тому периоду, когда люди пожирали друг друга, когда они мало чем отличались от обезьян. Это было десятки тысяч лет назад. С тех пор понятия изменялись. Вы помните идеал еврейского патриарха? Он полон наивной веры, что находится под исключительным покровительством бога. Для него достаточно иметь столько-то овец, столько-то верблюдов. «Пресытившись днями своими», он спокойно умирает, благословляя на такую же жизнь своих детей. Мы теперь не можем довольствоваться таким идеалом. Жизнь слишком ушла вперед. Если я об этом не думаю, то кругом об этом говорят и натолкнут меня.

Мне казалось, что Лев Николаевич сейчас скажет, что цель жизни в служении ближнему, и потому я не задавал вопросов, но он замолчал.

Мы продолжали косить. Через некоторое время я спросил, что он будет делать, когда скосят всю траву в саду.

— Тогда пойдем рожь косить. Я очень люблю косить с крючком. Тогда берешь повыше и как-то легче идет. Только нужно делать ровный взмах. Я несколько лет кошу одной вдове; а то выйду иной раз на поле и смотрю, где больше стоит ржи: значит, хозяин один не управляется; начинаю косить, и очень благодарны бывают.

К этому могу прибавить, что и Мария Львовна вот уже несколько дней ходит на покосы и по целым дням работает за какую-то женщину. Так они с отцом просто осуществляют свои мысли о необходимости служения ближнему личным трудом. В этот день Лев Николаевич был доволен собой: он много косил, почти всю «упряжку», т. е. шесть часов.

Вечером я хотел играть с гувернанткой мисс Уэльш[40] сонату Моцарта, но она рано легла спать, и за нее сел играть Лев Николаевич. Он очень любит Моцарта и, разбирая, часто повторяет: «Как это мило!». Первую сонату мы сыграли еще сносно. Но вторую было разбирать труднее. «Ну, больше не будем,— сказал Лев Николаевич, обращаясь к сидевшим за столом,— сам знаю, что мучительно». Если какая-нибудь часть не идет, он говорит: «Ну, это пощадим». И мы оставляем.

Мы уселись за стол, и завязался длинный разговор о литературе. Николай Николаевич спросил, какого мнения Лев Николаевич о Глебе Успенском.

— Талант очень узкий и односторонний,— отвечал Лев Николаевич. — Утомительно однообразен. Вечно один и тот же язык. По моему мнению, Николай Успенский гораздо талантливее Глеба. У того был юмор, некоторые картинки были чрезвычайно живо схвачены. У Глеба есть еще один крупный недостаток, который свойственен всей этой компании — Щедрину и их критикам. Все они что-то не договаривают, скрывают от читателя; как маленькие дети: знаю, да не скажу. Что им мешает? Цензура, что ли,— уж этого не могу сказать.

Я спросил, как ему нравится Щедрин.

— Слишком длинно и утомительно. Вот эти последние еще лучше: «Пошехонская старина» и др.

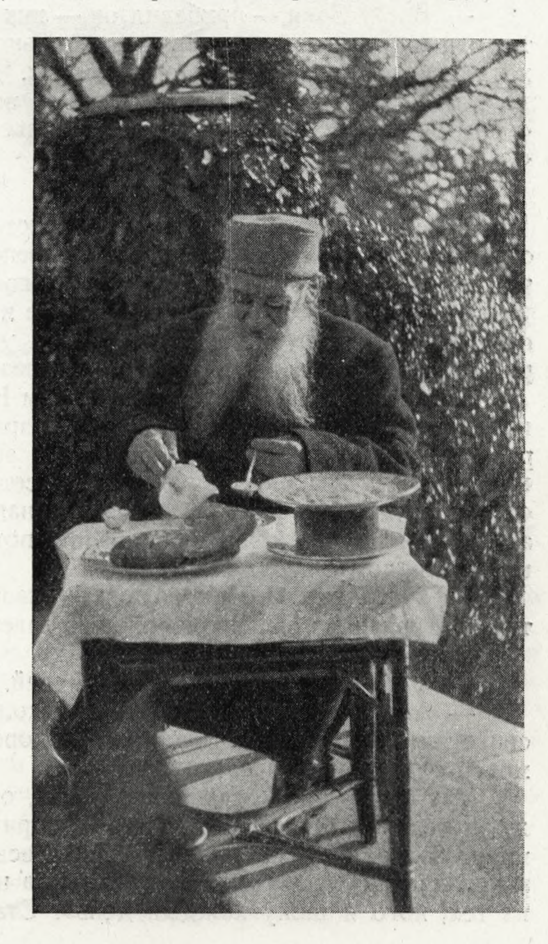
— Неужели вам не нравятся его сказки или «Господа Головлевы»?

— Некоторые сказки — да, другие — не выдержаны; например, про карася, вообще аллегорические. «Господ Головлевых» забыл. Самая лучшая мерка — это переводы на иностранный язык. Щедрина пробовали переводить — ничего не выходит. Читает иностранный читатель и ничего не понимает.

Похвалив очень Слепцова, сказав, что его совершенно напрасно забыли, и воскликнув по этому поводу: «Вот наша критика!», Лев Николаевич обратился ко мне: «Я противоречу всем вашим литературным понятиям»,— сказал он, улыбаясь.

Из молодых Лев Николаевич признает талант лишь за Гаршиным (указывает его «Ночь», «Глухарь», «Два художника» и др.) и Чеховым. Короленко он недолюбливает. Возмущается его повестью «В дурном обществе»: «Так фальшиво, выдумано; сказка — не сказка, бог знает, что такое». «Сон Макара» ему не нравится. Но больше всего смеется он над Короленко за то, что тот написал в «Светлом воскресении», как бежал острожник через освещенную ярко луной стену [41]. Он говорит: «Когда я открою такую штуку у писателя, я закрываю книгу и больше не хочу читать».

У него есть в памяти несколько таких курьезов из Печерского, Салиаса; у Немировича-Данченко, по его словам, сколько угодно найдете. Попадаются даже у Мопассана (в каком-то рассказе, прежде чем срубить



Л. Н. ТОЛСТОЙ ЗА ЗАВТРАКОМ
Фотография
Частное собрание, Москва

дерево, лезут на него, чтобы обрубить сучья). Тут же он вспомнил, что читал по-французски рассказы и биографию одного талантливого молодого испанского писателя. Служанка этого писателя рассказывает, что была раз очень удивлена тем, что он ночью вдруг выскочил в окно и стал лить воду в колодец. Он писал в это время, и ему нужно было описать звук падающей воды. «Вот это писатель!—прибавил Лев Николаевич.— Нужно знать то, о чем пишешь, и совершенно ясно видеть это перед глазами».

Разговор перешел на иностранных писателей.

— Да, нам, старикам, можно говорить об этом. Сколько мы пережили! При мне выступил Eugène Sue, наделавший много шума, пустивший в ход слово пауперизм («Les mystères de Paris»). Потом Alexandre Dumas-père. Я помню, когда был семнадцати лет, ехал в Казанский университет, купил на дорогу восемь томиков «Monté-Cristo». До того интересно, что не заметил, как дорога окончилась. Тогда вся большая публика увлекалась им, а я принадлежал к большой публике. Но он очень талантлив, как и сын. В 1862 г. я читал «Les misérables» Виктора Гюго и восхищался. Это один из лучших романов. Однако, заметьте, французы воздают ему какие почести и в то же время всегда немного пощипывают.

Николай Николаевич стал говорить, что хотя у Гюго есть много преувеличений, но это только преувеличения, а не выдуманные черты. Лев Николаевич согласился с этим и стал перечислять целый ряд типов из В. Гюго, которые до того оригинальны и ярко написаны, что никогда не могут быть забыты.

— Вот у Золя,— прибавил он,— никогда так не выйдет, несмотря на то, что он выписывает очень старательно. Я «Паскаля» так и не одолел, хотя перечитал почти все его романы. Для «Посредника», для переводов, мне пришлось перечитать много всякого старья. «Векфильдского священника» Гольдсмита я с удовольствием прочел; сказки Вольтера скучны; Руссо могу перечитывать.

3 июля

Я взял у Николая Николаевича лист корректур книги Н. Я. Данилевского «Россия и Европа», которая перепечатывается. В этом листе говорится о различии западного и восточного мира: там насилие в политике и религии, у нас добровольное признание и терпимость; там кровавая борьба партий предшествует всякой реформе, у нас реформа назревает «изнутри», а потом вдруг совершается безболезненно, и т. д.

За вечерним чаем у нас с Николаем Николаевичем завязался по этому поводу разговор, в котором я стал возражать против такой идеализации русской истории. Николай Николаевич защищал Данилевского. Лев Николаевич сначала был углублен за соседним столиком в просмотр своей статьи «Христианство и патриотизм», напечатанной в полученном номере английской газеты «Daily Chronicle», потом подсел к нашему столу и занялся блюдом с ягодами.

— Эге, Николай Николаевич,— сказал он,— у вас, очевидно, завелся тут противник из противоположного лагеря.

Николай Николаевич засмеялся:

— Да, очевидно, мы разных лагерей.

— А я, грешный человек, — продолжал Лев Николаевич, — согласен с тем, что говорит Владимир Федорович. Это был всегдашний пункт моего разногласия с славянофилами.

Тут он стал долго говорить о том, о чем раньше писал. Для него все люди равны и ближе не тот, кто говорит на языке похожем, а тот, кто имеет более высокие духовные интересы. «Вот я сейчас письмо пишу к англичанину [42]; я его никогда в глаза не видал, а он мне ближе многих из тех, кого я вижу каждый день». Стал говорить о вреде патриотизма

всех сортов, ведущего к самодовольству и разъединению людей. Отделал русский патриотизм, русскую историю, русскую церковь. Ссылается на Владимира Соловьева, когда нужны ссылки на исторические примеры, так как за собой не признает достаточных исторических знаний. Впрочем, эти разные толки, по его мнению, ни к чему, и люди занимаются ими от праздности. Когда нужно сенокос убирать, этими пустяками не будешь заниматься. Когда ум говорит, как нужно осуществлять стремление к царству божию на земле, тогда нечего прибегать к истории: все само приладится.

— А я лично не могу отрешиться от этих мыслей, — проговорил он, склонившись над блюдом с ягодами, — это моя жизнь. Не сегодня — завтра я, может быть, пойду с ними к богу; я считаю своей обязанностью, своим нравственным долгом говорить об этом. Может быть, я для этого и родился на свет.

Л. Н. ТОЛСТОЙ и А. П. ЧЕХОВ В ГАСПРЕ

Фотография 1903 г.

Толстовский музей, Москва

4 июля

Когда мы после обеда косили, Лев Николаевич припомнил вчерашний разговор:

— Что это вы все задираете Николая Николаевича? А я нарочно прочел сегодня лист Данилевского, где он говорит, что мы хороши, а Европа нехороша. Николай Николаевич защищает его, и это его слабая сторона. Это у него старые предания о совместной работе с Достоевским и славянофилами. Он — друг Данилевского.

— В чем же его главная сила?—спросил я о Николае Николаевиче,— в тонком художественном чутье?

— Отчасти в этом. А главное, он очень осторожен и имеет то, что китайцы называют «уважением» (у них это особенная духовная способность — уметь уважать). Он всегда сумеет взглянуть на предмет с наиболее выгодной его стороны и осветить ее. Но вообще он не блестящий талант; это я должен сказать, хоть и очень его люблю.

5 июля

Приехал сын покойного Ге, Петр Николаевич [43], не «темный», служит в земстве, красивый, дельный. Лев Николаевич расспрашивал его об отце, вспоминал сам; рассказал о том, что Третьяков прислал письмо [44] с отказом приобрести последние картины Ге: «Распятие» и «Суд». По этому поводу Лев Николаевич сказал, что Третьяков — прекрасный тип собирателя и ценителя средней руки: в произведениях среднего уровня он разбирается, но раз что-нибудь резко выдается — не поймет. «Я почитываю Шопенгауэра, и у него есть об этом. Кажется, можно найти механический прием для определения действительно выдающегося. Если толпа не хвалит и из знатоков никто не хвалит, это, несомненно, дурно. Если же толпа не хвалит, а из знатоков некоторые хвалят, это, несомненно, хорошо. Не правда ли, Николай Николаевич?». Тот согласился.

Когда собирались у крыльца, подъехал Миша [45] на своей Вяточке. Стали смеяться над этой нескладной лошадью. «Это ублюдок верблюда и цыпленка, — сказал Лев Николаевич, — но она мне нравится: в ней плоть немощна, но дух бодр; и, кроме того, в ней есть что-то человеческое. Это, наверное, заколдованный принц».

И Лев Николаевич рассказал арабскую сказку из «Тысячи и одной ночи», где принц был обращен колдуньей в лошадь. Он очень любит и высоко ценит арабские сказки; говорит, что в старости уже неловко, а молодым людям обязательно следует их читать: гораздо поучительнее, чем, например, статья «Что такое либерализм» из «Русского Обозрения» (ее читал Николай Николаевич).

Вечером заговорили о классиках. Николай Николаевич вспомнил, что Ренан жаловался на то, что образованные люди из французов бросают совсем древних, когда отделываются от них после школы. Лев Николаевич сказал, что такая же жалоба есть у Шопенгауэра на немецкую молодежь.

— Я помню, с каким наслаждением читал я «Анабазис» Ксенофонта, когда учился по-гречески. Это прелестное произведение. Но что становится в школах предметом изучения, то сразу делается противным. Приходит простое сравнение в голову: человеку не хочется есть, а его насильно кормят. И я думаю, что это справедливая кара, которую несут образованные классы. Они считают себя такими умными, а на самом деле они забивают себя. Я уверен, что средний мужик умнее среднего барина; то-есть ум я понимаю в смысле знания того, что действительно нужно для жизни. Я думаю, что у нас правильно идет лишь первоначальное образование. Вот как Ванечка [46] сам азбуке выучился. Я когда-то, в 60-х годах, много занимался вопросами воспитания и много думал об этом.

6 июля

Утром Николай Николаевич спрашивал приехавшего гостить студента Оболенского [47], юриста второго курса, каких профессоров он ценит. Тот назвал Чупрова и особенно Зверева.

— Ну уж, если надо делать выбор, то я предпочел бы Чупрова [48], — заметил Лев Николаевич. — Это человек средний; высоко он не залетает; но, по крайней мере, то, что он говорит, он знает основательно и говорит ясно. А Зверев [49] постоянно делает экскурсы в высшие области, и экскурсы самые неудачные.

7 июля

За завтраком я разговаривал с Николаем Николаевичем о книге моего дяди И. С. Андреевского [50] «Генезис науки, ее принципы и методы». Лев Николаевич услыхал наш разговор и на мой вопрос сказал, что он помнит эту книгу, но так как она ему показалась написанной отвлеченно

и не представляющей чего-нибудь самобытного, то подробно с нею не знакомился. Я сказал, что о ней дал благоприятную рецензию проф. Козлов в «Вопросах Философии и Психологии», а проф. Гусев расхвалил письмом.

При имени Гусева [51] Лев Николаевич улыбнулся:

— А-а, это мой постоянный критик, ходу мне не дает; как только я напишу что-нибудь, он сейчас критику и присылает мне.

— Что же, вы все перечитываете?

— Сначала читал, а потом увидал, что он пишет недобросовестно и как-то мало даже интересуется существом дела, и перестал читать.

К обеду приехал Тернер [52], лектор английского языка при Петербургском университете, писавший о Толстом и русской литературе и читавший о тех же предметах лекции в Кембридже.

Вечером Тернер рассказывал, что в Англии от него требовали, чтобы он непременно читал курсы о Толстом. «Для популярности русской литературы среди англичан он (Тернер ткнул пальцем в пустое место, где сидел перед этим Лев Николаевич) сделал больше, чем все ваши писатели вместе. У него в произведениях есть тенденция и религиозные интересы, а это нравится англичанам».

Лев Николаевич рассказывал Тернеру, что англичанин Рид писал ему, что для того, чтобы иметь влияние на массы, необходимо признавать божественность Спасителя. На это Лев Николаевич ему отвечал, что влиять можно лишь тогда, когда говоришь правду.

Вечером приехали два еврея — Иосиф Краускопф [53] и Л. Брамсон [54], один русский, другой американский, основатель новой еврейской секты, являющейся компромиссом с христианством. Они приехали просить Льва Николаевича, чтобы он написал что-нибудь для облегчения участи евреев. Тот отвечал в таком духе, что по заказу никогда ничего не пишет. Евреи скоро уехали. Разговаривали по-английски, но Лев Николаевич с трудом объясняется на этом языке, хотя, когда читает, очень хорошо понимает оттенки языка. На-днях мисс Уэльш переводила на английский язык его письмо [55]. Лев Николаевич работал вместе с ней и одобрял или отвергал предлагаемые ею английские выражения.

Прекрасно он говорит, что слова двух разных языков нигде вполне не покрывают друг друга, и наглядно показывал это соотношение на двух ладонях, прикрывая одной другую больше то с одной, то с другой стороны.

Так как Лев Николаевич чувствовал себя весь день не совсем здоровым, то в своей комнате он прочел июньскую книжку «Русской Мысли». Содержание ее не показалось ему интересным, но особенно посмеялся он над повестью Мачтета «Пять тысяч».

— И зачем приняли это и напечатали? Я часто получаю от молодых авторов гораздо лучше. Во-первых, сюжет самый невероятный, чего никогда быть не может. Все действующие лица говорят одним и тем же языком, и притом таким языком, каким никто никогда не говорит. Наконец, все действующие лица ведут себя как-раз противно тому характеру, который хотел им приписать автор.

8 июля

Лев Николаевич чувствует себя еще хуже: боль в животе; вчера ничего не ел и потому сильно ослаб. Пришел посидеть некоторое время на балконе, где были Страхов и Тернер.

Лев Николаевич подсел к нам в ту минуту, когда Тернер жаловался, что русские не имеют обыкновения рядом с русским начертанием иностранной фамилии в скобках обозначать подлинную фамилию, так что нередко иностранцу трудно догадаться, о ком тут идет речь. Лев Николаевич согласился с этим и стал говорить об английском начертании и

убийственном своею произвольностью произношении. Возмущает его манера некоторых молодых английских писателей, при передаче народной речи, коверкать слова так, что иностранец уж совсем ничего не понимает. «У нас эта манера, к сожалению, также прививается: пишут «тыща» вместо «тысяча».

Николай Николаевич на это заметил, что он всегда восхищался манерой Льва Николаевича при передаче народного говора достигать этого не извращением слов, а употреблением известных типических, свойственных изображаемому классу выражений, и припомнил разговор казака из «Войны и мира».

— Да, они всегда говорят так,— сказал Лев Николаевич и продолжал: — Достигать такими средствами эффекта, это все равно, что на картине изображать эполеты сусальным золотом. Нужно достигнуть иллюзии, а не изображать так, как есть.

Разговор стал переходить на английских писателей. По поводу какого-то англичанина, который расхваливает очень англичан, Лев Николаевич повторил, как и часто повторяет, что ему всегда это отвратительно. Напротив, если кто начнет горячо осуждать недостатки своего народа, тогда он говорит: «Какой он милый, как я его люблю; вот это настоящий патриот». За это, между прочим, он очень любит Диккенса. Кто-то упомянул Карлейля. Тернер пришел в движение и сказал, что это его любимый писатель и что он имеет громадное влияние в Англии. Лев Николаевич на это сказал, что лично он никогда не мог увлечься Карлейлем и «не понимает его» (его любимое выражение). «Я не могу точно передать своих впечатлений, но мне всегда казалось, что я знаю заранее, что он скажет. Как будто бы близко возле хорошего, а не хорошее. Потом, это его увлечение героями, аристократизм и презрение к массам — это отвратительно». Николай Николаевич при этом вспомнил, что Карлейль в эпоху движения за освобождение негров писал против освобождения, так как, по его мнению, эта глупая толпа нуждалась в руководителях. «Ну, вот видите!» — сказал Лев Николаевич.

В этот день Лев Николаевич не обедал, а сидел под деревом, рядом с обедавшими, и читал «Русскую Мысль». Дочитав в «Семействе Полонецких» Сенкевича до того места, где у одного действующего лица оказалась «родинка на веке» (вероятно, ошибка переводчика), он объявил об этом во всеуслышание и закрыл книгу. После обеда уселись вокруг него, и Лев Николаевич еще раз по поводу Сенкевича распространился о губительности для таланта большого гонорара. По его мнению, Сенкевич— талант хоть не слишком большой, но в своем кульминационном произведении «Без догмата» был очень хорош. Дальше все идет хуже и хуже. Последние главы «Полонецких» ничего интересного не представляют. Очевидно, характеры исчерпаны, и автор бесконечно будет комбинировать их. «У героини заболели зубы, я сейчас смотрю дальше, что из этого будет — оказывается, ничего; герой ушиб ногу, и опять ничего. Это автор дает черты реализма».

Разговор скоро зашел о Шопенгауэре, и Лев Николаевич попросил меня принести из его комнаты второй том его сборника [56], который он читал по-немецки. «Удивительный это писатель: как много у него глубокого и тонкого и в то же время как много странного. Он иногда как будто не додумывает до конца. Так с ним произошло по вопросу о свободе воли». Лев Николаевич стал перелистывать и читать в переводе те места, которые ему особенно нравятся, где Шопенгауэр говорит о смысле жизни и значении смерти.

Вечером среди привезенной со станции корреспонденции увидели французский журнал «La plume», который, как оказалось, был прислан редакцией потому, что в нем была статейка о русской цивилизации в от-

ГОЛОВА СКУЛЬПТОРА И. Я. ГИНЦБУРГА, ВЫЛЕПЛЕННАЯ ТОЛСТЫМ
Институт литературы, Ленинград

ношении к западной и о Толстом, как самом великом писателе России. Лев Николаевич стал читать ее вслух. Статейка совершенно глупая и пустозвонная. Объявив Россию варварско-азиатской страной, а Толстого обер-варваром, автор предупреждает, чтобы берегли западную цивилизацию. Лев Николаевич очень смеялся и в самых бойких местах говорил: «Ишь, как он раскуражился».

9 июля

Здоровье Льва Николаевича в том же положении; он третий день ничего не ест; только выпил чашку какого-то лекарственного бульона. Он говорит, что, когда собака чувствует себя больной, она некоторое время ничего не ест. Охотники называют это «ненастничает». Такой способ излечения Лев Николаевич применяет к себе. Просил сегодня отыскать ему в библиотеке первый том Шопенгауэра «Maximae», но это не удалось при довольно запутанном каталоге.

В полученных книжках журналов Лев Николаевич прочел что-то, подтверждающее отзывы Репина о заграничном искусстве (в «Неделе»), и это повело к разговору о новом искусстве. Лев Николаевич стал говорить о новых композиторах: «Я их решительно не понимаю. Был у меня Танеев, играл свой квартет, и для меня все в нем — и аллегро и скерцо — все шум, и только. Они, правда, толкуют об этом, находят одно лучше, другое хуже; но что же это за музыка, которая доставляет удовольствие лишь тем, кто ее делает? Я, конечно, не беру на себя смелость судить об этом, но я много слышал, сам играл, занимался, и на меня эта новая музыка не производит ровно никакого впечатления. Вот Глинка — другое дело, здесь и мелодия и все».

10 июля

За обедом Лев Николаевич обратился ко мне: «А я получил от вашей знакомой, Фоминой, письмо. Она прислала мне книжку Марселя

Прево. Пишет, что перевела уже около половины; думает, что роман этот будет иметь нравственное значение; просит меня написать к нему предисловие; говорит, что она хочет издать его для дохода, пока муж пишет диссертацию. Я прочел роман: грязный и безнравственный. Хочу в письме к ней дать понять как-нибудь в вежливой форме, что она дура». В продолжение обеда он несколько раз обращался ко мне с вопросами относительно Фоминой; говорит, что он целый день думает о письме к ней [57].

Возвратившись домой около десяти часов вечера, застали Николая Николаевича читающим книгу В. Розанова о Достоевском [58]. Мы подсели и стали слушать. Чтение книги Розанова, как условились Страхов с Львом Николаевичем, будет продолжаться и в следующие дни. Поэтому думаю, что мнение Льва Николаевича о Достоевском дальше обрисуется рельефно. Теперь, между прочим, он говорил, что Достоевский — такой писатель, в которого непременно нужно углубиться, забыв на время несовершенство его формы, чтобы отыскать под ней действительную красоту. А небрежность формы у Достоевского поразительная, однообразные приемы, однообразие в языке.

11 июля

Когда через час после завтрака я подошел к столу, стоявшему под деревьями, с которого уже убрали посуду, там сидело целое общество и между ними Лев Николаевич.

Слушали чтение «Учителя словесности» Чехова из «Русских Ведомостей». Когда Лев Львович окончил чтение и стали обмениваться впечатлениями, Лев Николаевич сказал, что рассказ ему нравится. В нем с большим искусством в таких малых размерах сказано так много; здесь нет ни одной черты, которая не шла бы в дело, и это признак художественности. При этом он сделал несколько замечаний о Чехове вообще. Для Льва Николаевича это человек симпатичный, относительно которого можно всегда быть уверенным, что он не скажет ничего дурного. Хотя он и обладает художественной способностью прозрения, но сам еще не имеет чего-нибудь твердого и не может потому учить. Он вечно колеблется и ищет. Для тех, кто еще находится в периоде стояния, он может иметь то значение, что приведет их в колебание, выведет из такого состояния. И это хорошо.

Вечером читали вслух из июльской книги «Северного Вестника» «Эшафот» Виктора Гюго. Лев Николаевич нашел перевод несколько прозаическим, но в общем довольно хорошим. Относительно же самого произведения сказал, что он его раньше не знал, но что это превосходная вещь (против смертной казни). У него есть почти все сочинения Гюго, кой-чего недостает. Перечитывал он все, что достал. Признает в нем много странных вещей, но все искупается высотой содержания. «И теперь пигмеи вроде Бурже подсмеиваются над ним; ведь Гюго — гигант в сравнении с ним».

12 июля

Здоровье Льва Николаевича почти установилось. Обмениваясь впечатлениями по поводу приезда знакомого молодого человека и шутя с девицами на тему о женихах, Лев Николаевич стал говорить:

— Удивительную перемену я замечаю. В наше время девицы были покрыты, как цветы или бабочки, пушком, так что страшно было до них дотронуться. У меня была сестра, и у моего друга [59] были сестры, и нам часто приходило в голову, что хорошо бы, если бы друг женился на моей сестре. Но мы никогда и словом не выдавали этой мысли. Теперь девицы свободно говорят: «Если бы он на мне женился». А недавно, слы-

шу, один молодой человек говорит своему приятелю: «Женись, брат, на моей сестре». Я, впрочем, не осуждаю девиц, что они стали говорить свободнее: это даже хорошо; но меня возмущают молодые люди. Взять хоть моих сыновей. Когда я был молодым, я был во всех отношениях более блестящим, чем они; но мне казалось, что ни одна женщина за меня не захочет пойти замуж. А мои сыновья так себя ведут, словно пальцем только кивнет, и все к нему побегут.

За полчаса до отхода ко сну Николаей Николаевич, по просьбе Льва Николаевича, стал опять читать В. Розанова. Чтение не вызвало никаких особых разговоров. Лев Николаевич вообще очень снисходителен, если не замечает чего-нибудь действительно дурного. А так как тут особенно дурного не было, то он ограничивался замечаниями: «Это неясно», «Это неверно»; а иногда говорил: «Вот это хорошо». Когда Николай Николаевич по поводу Сони из «Преступления и наказания» Достоевского сказал, что это совершенная выдумка, что просто стыдно читать об этой Соне, Лев Николаевич сказал: «Вот как вы строго судите, и верно. Я считаю в «Преступлении и наказании» хорошими лишь первые главы; это шедерв. Но этим все исчерпано; дальше мажет, мажет».

По поводу «Нови» опять повторил раньше высказанный им взгляд, что «Новь», вопреки общему мнению,— лучшая вещь Тургенева, лучше «Рудина» и других его романов; что она отличается цельностью, верно рисует время и верно изображает типы.

13 июля

После обеда за разговором кто-то упомянул Лескова, и графиня спросила Льва Николаевича, нравится ли ему он. Тот отвечал, что, по его мнению, некоторые места у Лескова превосходны (стал припоминать названия вещей и сцены из них), но основной его недостаток — искусственность в сюжетах, языке, особенные словечки. Он даже при личном свидании с Лесковым «осмелился ему это высказать», но тот отвечал, что иначе писать не умеет.

Вечером Лев Николаевич, возвратившись с длинной прогулки пешком (ходил в деревню за делом), был в добром настроении, и разговорился. Чертков получил письмо от Эртеля, с которым он в дружбе, и это послужило поводом к разговору об Эртеле.

— Странно у нас как-то выдвигают,— сказал Лев Николаевич.— Теперь выдвинули Чехова и Короленко, а там все остальное безызвестное. А по моему мнению, Эртеля скорее нужно было бы выдвинуть, чем Короленко. Это, несомненно, талантливый человек, живой [60]. Сначала он писал, рабски подражая Тургеневу, все-таки очень хорошо. Потом явилась самостоятельная манера. Есть прекрасные места (Лев Николаевич стал припоминать). Он любит лошадей, знает их и прекрасно описывает. Только это талант, который не знает, зачем живет.

Николай Николаевич опять вспомнил Засодимского и Златовратского, и Лев Николаевич опять по поводу Златовратского сказал, что решительно не понимает, откуда он получил такую популярность: «Это, верно, объясняется тем, что он, как и Мачтет, был, кажется, пострадавшим. По крайней мере, он был близок с некоторыми революционерами».

Заговорили о Румянцевском музее и припомнили библиотекаря музея, Николая Федоровича Федорова [61].

— Это святой человек,— сказал Лев Николаевич.— У него ничего нет; всякую книжку, которую он купит или ему подарят, он сейчас отдает в музей. Дома спит на сундуке и на газетах в маленькой комнатке, живет на квартире у какой-то старушки. Он, конечно, вегетарианец, но не любит и стесняется говорить об этом. А знаете ли, у него есть своя теория!

И Лев Николаевич рассказал что-то странное: Федоров никак не может примириться с мыслью, что человек умирает и что самые дорогие нам люди исчезают бесследно, и он создал теорию, как наука, при своем гигантском ходе вперед, откроет способы извлекать из земли остатки — частицы наших предков, чтобы потом воссоздавать их вновь в живом виде.

Я не мог удержаться от улыбки, хотя и старался слушать серьезно, так как Лев Николаевич предупредил, что для свежего слушателя теория эта кажется плодом расстроенного ума, но на самом деле она не лишена смысла.

— Да, попробовали бы вы улыбнуться при нем, он вам задал бы. Я когда-то увидал в Румянцевской библиотеке книжку — списки полковников за такое-то число лет — и улыбнулся. Как он меня пробрал: «Это все нужно; мы не знаем теперь, зачем, но нужно; это все воспоминания о наших предках». Он меня теперь терпеть не может; во-первых, за то, что я не разделяю его теории, во-вторых, за то, что люблю смерть. По его теории, люди должны, с одной стороны, заниматься земледелием, чтобы посредством растений извлекать из земли частицы предков, а в некоторых местах должны существовать музеи, где свято должна храниться всякая строчка от предков. Для него служба в музее — это религия. А в науку и неограниченность ума человеческого он верит удивительно.

14 июля

За утренним кофе я перечитывал статью Владимира Соловьева об А. А. Голенищеве-Кутузове («Вестник Европы», май — июнь). По поводу этой статьи и вообще о В. Соловьеве был у нас разговор со Страховым, и когда вошел Лев Николаевич и спросил, чем мы заняты, то добродушный Николай Николаевич рассказал, что он «изливал злобу» на своего врага, а я сказал, что мне Соловьев нравится своим бодрым тоном и остроумием.

— Да, это писатель очень способный,— сказал Лев Николаевич,— но очень странна его судьба.

И Лев Николаевич, с помощью Николая Николаевича, припоминал, как блестяще выступил Соловьев после окончания университета двадцатилетним юношей, сначала, как автор статьи с критическим разбором позитивизма, а потом, как лектор перед многочисленной публикой.

— Эти лекции у него были бредом сумасшедшего, и чем менее они были понятны, тем более имели успех. Просто удивительно теперь вспомнить. Сидят старики, почтенные люди, и слушают, как мальчик, с длинными волосами, в белом галстуке, несет вздор, и слушают внимательно, серьезно.

— Это были чтения о религии,— заметил Николай Николаевич,— он излагал догматы христианские с научными основаниями; но, действительно, когда он говорил, например, о силах небесных и обитателях, то говорил слишком подробно; у него было это что-то вроде гностиков.

— Ну, вот видите — и лучше вышло,— засмеялся Лев Николаевич.

— Это были теософические лекции.

— Еще лучше вышло,— и Лев Николаевич рассказал анекдот, как у одного короля была неприличная болезнь, но доктора назвали ее латинским именем, и она сразу стала приличной.

18 июля

— У нас эти дни полон дом «темных»,— говорил Андрюша и рассказывал, как он их не любит и как лакеи их не любят за то, что на чай нечего с них получить: ведь у них ничего нет. Мария Львовна единствен-

ная из детей отказалась от своей части наследства. Татьяна Львовна с трудом удерживается в рядах «темных». Чертков все пробирает ее за «ветреность, софизмы в речи и суетность». Она уже начинает от этого раздражаться.

Говоря об образовании народа, Лев Николаевич, между прочим, вспомнил, что в период увлечения школой у него была мысль устроить «университет в лаптях». Хотели доставлять возможность желающим крестьянам учиться (по силам и в пределах знаний учащего персонала) разным наукам. Лев Николаевич помнит, что в числе желающих было несколько взрослых, и они с удивительной быстротой и жадностью учились, например, алгебре. На замечание графини, что это ни к чему не повело бы, так как такой мужик сейчас же ушел бы из деревни, Лев

Л. Н. ТОЛСТОЙ ВЫХОДИТ ИЗ КУПАЛЬНИ

Фотография

Толстовский музей, Москва

Николаевич сказал, что в том и задача «университета в лаптях», чтобы не отрывать, как делает учительский институт, мужика, а дать деревне образованного человека в их же среде. Проект этот разрушился о формализм министерства. На запрос Толстого министерство народного просвещения прислало программы занятий, со строгим разграничением часов и сообщением, что за всем будет следить инспектор. Тогда Лев Николаевич остыл «к университету в лаптях».

19 июля

Вечером на утверждение Льва Николаевича было представлено два списка для издания «Посредник»: 1) Николай Николаевич выбрал около десяти стихотворений Фета для проектируемого сборника из русских поэтов; 2) Касаткин[62] с Татьяной Львовной составили список картин русских художников для дешевых лубочных изданий. Что касается

Страхова, то Лев Николаевич огорчил его. Он утверждал все стихотворения описательные, так как эти особенно любит и ценит у Фета; но отвергал все с неясными порывами и стремлениями, воспеваниями чего-то полуясного,— этих он не любит. Отвергал также стихотворения анакреонтического рода, сверкающие античной красотой, говоря, что эта красота слишком условна.

В картинах он настаивал, чтобы брали больше из Маковского; хвалил мальчика с калачом, говорил, что это трогательно и глубоко; настаивал, чтобы брали картины с поэтическими сюжетами. «Самосожигателей» Мясоедова забраковал. О Максимове и его «Разделе» говорил, что он кажется знатоком народа лишь для интеллигенции, а на самом деле он, как и Печерский в литературе, народа и его быта не знает.

В этот же вечер пересматривали полученные Татьяной Львовной альбомы снимков с картин лондонской академической выставки и Парижского салона. Лев Николаевич удивлялся технике картин и изяществу выполнения гравюр. Однако, по поводу картины, изображающей, как полк конных гусар под Ватерлоо, внезапно налетев на пропасть, низвергается в нее, он пожалел о массе бесполезно потраченного труда. Смеялся над всякими аллегорическими и мифологическими картинами и утверждал, что сам никогда не мог запомнить, кто была Психея и кто у кого вышел из головы в полном вооружении. «А тут еще имена: сегодня замечу Юнону, а завтра она оказывается Герой, да еще волоокой».

20 июля

Лев Николаевич рассказал, какой с ним был случай в Москве, когда они жили еще в Денежном переулке [63]. Явился к нему, старику, молоденький красавчик-жандарм и стал расспрашивать о Сютаеве [64]. «Мое первое движение, конечно, было сказать ему: «Как вам не стыдно заниматься таким делом?». Я отказался рассказывать о чем бы то ни было. Не дай вам бог, конечно, испытать это на себе, пусть это я испытаю, но если станут требовать куда-нибудь для объяснений, то лучше всего отказаться. Тогда они принуждены будут употребить насилие, и это станет очевидным. Как говорил Щедрин: старого литератора на веревочке по Невскому поведут. А если явится к вам жандарм и скажет: «По высочайшему указу», а вы засуетитесь и скажете: «Сию минуту», то выйдет, что вы сами считаете, что это так и должно быть».

После обеда сидели у круглого стола. Разговор зашел о Фете. Страхов, вероятно, собирается писать биографию Фета, так как расспрашивал у Льва Николаевича, что тот знал. Лев Николаевич говорил о родственниках, их отношениях, о Борисове, его жене и сыне; о том, как Петя Борисов сошел с ума, в чем значительную долю вины он складывает на Фета, у которого Петя жил. Фет сам не знал греческого, но так как у немцев классицизм, то он всегда толковал о пользе классицизма. Петя зубрил, зубрил, пока не сошел с ума. По поводу Свиридова, наследника литературных прав Фета, Лев Николаевич сказал, что, вероятно, тот не много получит: стихотворения будут печататься еще довольно долго, но расходиться будут мало, переводы и того меньше. Я задал вопрос, всегда меня интересовавший: что читал Фет? «Французские романы, — отвечал Лев Николаевич, — иногда русские, а иной раз и другую книжку возьмет». Называет Фета очень способным, но удивительно ленивым человеком, который питал отвращение ко всякой подготовительной работе. Рассказывал случаи того, как Фет не любил и прямо не мог исправлять и переделывать того, что написал.

Вечером Лев Николаевич прилег на диване. К нему подсел Николай Николаевич и заговорил о каком-то неизвестном еще рассказе, который Лев Николаевич дал ему прочесть. Мало-помалу стали подсаживаться другие, и образовалась группа. Графиня в стороне просматривала Фета

и читала вслух те стихотворения, которые ей особенно нравились или были новы для нее. В параллель к одному стихотворению Фета, Лев Николаевич вспомнил стихотворение Тютчева и стал говорить о нем. «По моему мнению, Тютчев — первый поэт, потом Лермонтов, потом Пушкин. Вот видите, какие у меня дикие понятия, — сказал он, обращаясь ко мне. — А у вас как Тютчев считается?». Я отвечал, что совсем мало с ним знаком, что он мало встречается в библиотеках. Николай Николаевич стал говорить об изданиях его стихотворений. Лев Николаевич рассказал, что с Тютчевым его познакомили Некрасов («ему нужно отдать справедливость: хоть у самого в стихах не было нисколько поэзии, а ценить умел»), Дружинин и др., которые составили первый сборник стихотворений Тютчева. Я стал расспрашивать о последующих сборниках. «А потом он стал писать вздор, чепуху такую, что ничего не поймешь — эти славянофильские стихотворения». Николай Николаевич рассмеялся. «Это для меня сказано,— пояснил он нам.— Но ведь среди этих есть превосходные», — обратился он к Льву Николаевичу. «Все вздор», — шутливо, но упорно твердил тот.

В соседней комнате Миша заиграл на балалайке. Его позвали, усадили с Марией Львовной перед нами, и вечер закончился концертом балалайки и гитары. Хотя эти вещи были переслушаны, но Миша играет мастерски, и все, в особенности Лев Николаевич, слушали с удовольствием.

— Так не забудьте же Тютчева достать, — сказал Лев Николаевич, когда я с ним прощался. — Без него нельзя жить.

21 июля

Сегодня я достал из библиотеки Тютчева, сидел в зале и читал. Лев Николаевич подходил ко мне, указывал те, которые ему особенно нравятся, а о славянофильских говорил: «Это вздор».

Вечером Лев Львович заговорил об Островском. Николай Николаевич спросил, был ли с ним лично знаком Лев Николаевич.

— Как же, я с ним почему-то был на «ты». Помню, в последнее время пришел к нему, он после болезни, с коротко остриженной головой, в клеенчатой куртке, пишет проект русского театра. Это была его слабая сторона — придавать себе большое значение: «я, я». Он и разговор постоянно наводил на эту тему. Островский был окружен всегда своим кружком поклонников, которые превозносили его, и потому говорить с ним было довольно трудно.

Из пьес Островского Лев Николаевич особенно любит «Бедность не порок», называет ее веселой, сделанной безукоризненно, «без сучка и задоринки». Хваленой «Грозы» не понимает; и зачем было изменять жене, и почему нужно ей сочувствовать, тоже не понимает. Жадова находит сделанным слишком по рецепту, «с ярлычком». Высоко ставит у Островского совершенное знание языка действующих лиц.

Лев Львович о Гончарове высказал мнение, что из русских писателей он, как человек, был из лучших.

— Да, но он был до мелочности щепетилен, обижался, завидовал что ли. Это смешное его обвинение Тургенева, что будто бы тот его обкрадывал, называл Лизой свою героиню, когда у него была Лиза, и т. д.

Стали считать года. Лев Николаевич сказал, что он считает себя зажившимся. Он помнит за шестьдесят лет. На его глазах картина жизни изменилась до неузнаваемости.

— Меня всегда занимал вопрос, что сказали бы, например, самые умные римляне эпохи Сенеки, если бы собрать их и спросить, что произойдет в будущем. Наверное, ничего не угадали бы. Они говорили бы,

что цирк разовьется до совершенства, или что-нибудь в этом роде. Трудно, невозможно предвидеть.

23 июля

Сегодня перед вечером мы гуляли с Николаем Николаевичем и встретили какого-то интеллигента в белом пиджаке, который спросил нас, как пройти в имение Льва Николаевича Толстого. Возвратившись домой, нашли его уже за чайным столом. Он разговаривал с графиней, а Лев Николаевич сидел в стороне, искоса поглядывая. Незнакомец оказался математиком Богуславским. Он окончил в 1881 г. Московский университет, был оставлен у проф. Цингера, экзамена магистерского еще не сдал и учительствовал.

Дунаев [65] стал рассказывать, что читал недавно «Наставление како литургисати», где изложена масса случаев, когда таинство не произойдет в причастии (нечистота вина, хлеба и т. д.). Он делал вывод, что, значит, этот обряд всегда останется только обрядом, так как, благодаря трудностям выполнения, ему никогда не удастся перейти в таинство.

Богуславский вступился за обряд и заявил, что будет защищать «все, что там сказано», хотя книги этой он не читал и о существовании таковой не подозревал. Говорит медленно, как бы выжимая мысли из головы и, в конце концов, разряжается банальностью. Лев Николаевич стал высказывать признаки нетерпения. Когда Богуславский произнес: «Я думаю, вы признаете, что обряды нужны для масс», Лев Николаевич заявил ему: «Для каких масс? я сам масса». Богуславский стал говорить что-то о гипнотизирующем действии обрядов, на что Лев Николаевич привел слова Шарко, что загипнотизировать можно лишь к дурному поступку, но не к хорошему.

«Но вот что меня занимает, — продолжал глубокомысленный собеседник: — ведь слово не вполне передает мысль, значит идеи будут искажены». Лев Николаевич, недоумевая, к чему все это, сказал, что Тютчев говорил: «Мысль изреченная есть ложь», и Гёте говорил: «Что я пишу, то хуже того, что я говорю; что я говорю, то хуже того, что я думаю». Богуславский глубокомысленно кивал головой, а относительно слов Гёте изволил заметить, что это очень и очень интересно.

Стали прощаться и расходиться по комнатам. Я с Николаем Николаевичем пошли через сад и стали ходить по аллее, делясь своими впечатлениями, очень нелестными для нового человека. Скоро вышел Дунаев и с ним Лев Николаевич, тоже оживленно разговаривая о нем, окликнули нас в темноте, и мы пошли вместе.

— Кто это такой? — спросил я Льва Николаевича.

— Нет, я вас спрошу, кто это такой и зачем он приехал сюда.

— Это самодовольный дурак, — решительно отрапортовал я.

— Ого, я и не думал, что вы такой сердитый, — сказал Лев Николаевич и стал рассказывать, что этот математик явился к ним в Москве в тот самый час, как им нужно было уезжать, очень нетактично задерживал их, стал читать свое какое-то сочинение по высшей математике. «Я ничего не понял, но мне казалось, что там есть что-то хорошее. Теперь опять явился неведомо зачем».

Прощаясь с нами, Лев Николаевич еще повторил: «Так я и не знал, что вы такой сердитый». При этом он рассказал, как говорил Писемский: «Человек — это дробь, у которого заслуги числитель, а мнение о себе — знаменатель [66]. Отсюда происходит, что люди с небольшими заслугами, но с большою скромностью очень приятны; а люди даже с заслугами, но и огромным самомнением крайне неприятны».

24 июля

Пришедши к утреннему кофе, застал там уже Льва Николаевича, Николая Николаевича и Богуславского.

Заговорили о хине, как лекарстве. Лев Николаевич сказал, что доктора сами ни малейшего понятия не имеют о том, о чем толкуют. Богуславский благосклонно заметил, что и не могут медики стоять на твердой почве, так как «подготовительные науки, например, химия, не вполне еще точные науки». Лев Николаевич сказал, что и теперешние химики толкуют о вздоре и что теория фагоцитов для будущих поколений будет неисчерпаемым источником веселости.

— Но Мечников утверждает...

— Я знаю, что есть Мечников и что он врал, а то, о чем он говорит, не существует. Когда я был маленьким, то очень любил рассказ отца о монахе, который показывал волосы богородицы и говорил, что они могут тянуться до бесконечности. Он садился перед публикой и де-

Л. Н. ТОЛСТОЙ
Фотография 1903 г. с надписью А. П. Чехову
Толстовский музей, Москва

лал так (Лев Николаевич стал разводить руками, сложив пальцы в щепоти), и все ахали и удивлялись. Так и ученые теперь говорят о том, чего нет, а все удивляются.

Богуславский снисходительно засмеялся и сказал:

— Я ни во что не верю, но все хочу исследовать.

— Но нужно разграничивать ту область, где возможны исследования, от области, где они невозможны. Мы сознаем в себе присутствие голоса, который подсказывает нам это. Если бы мне рассказали о том, что изобретен телефон, я не нашел бы тут ничего невозможного, хотя раньше о нем и не знал бы. Но есть вещи, которые не вяжутся со всем остальным и которым я не поверю и не захочу с ними знакомиться. Недавно брат [67] рассказывал мне, что у него староста подал прошение на одного мужика, который запер в сундук четырех чертей, и теперь один из них вырвался и мучает его жену. Этот мужик крепкий, здоровый, с умным лицом. Почему же я ему поверю меньше, чем Вагнеру [68], который

придет ко мне весь больной, постоянно курит, и станет говорить о спиритизме? Неужели я ему поверю больше за то, что у него диплом профессора? Существуют вопросы важные для жизни, менее важные и совсем неважные. Здравый разум требует, чтобы мы прежде всего занимались важным. Человеческая жизнь коротка.

— Человеческая жизнь достаточно длинна для того, чтобы заниматься чем угодно.

— Конечно! Гоголь рассказывает, что Кифа Мокиевич занимался исследованием вопросов, какой толщины должно быть яйцо, если бы слон рождался из яйца, и сколько нужно пороху, чтобы пробить скорлупу такого яйца. Вот вам свобода исследования. Но я не желаю быть знакомым с Кифой Мокиевичем.

25 июля

Целый день сегодня Мария Львовна, Татьяна Львовна, Лев Николаевич, Вера Александровна и Дунаев были на полевых работах; работали у какой-то вдовы и еще где-то. Вечером лишь к чаю собрались вместе. Когда я пришел на террасу, Лев Николаевич вертел в руках веревочку и скоро пригласил меня делать фигуры. Увидав, что я это делаю умело, сказал: «Вот теперь я вижу, что вы вполне образованный человек. А вы, Николай Николаевич, умеете? Не умеете, — значит, не вполне образованный».

От дневных впечатлений перешли на полевой и крестьянский труд, на плохое питание, негигиеничные помещения, бессонницу в ночных и т. д. Лев Николаевич заговорил на всегда волнующую тему—о контрасте людей праздных, утопающих в роскоши, болеющих от излишеств, и забитых работою, бедностью и недостатком во всем. Он глубоко верит, что это не будет продолжаться вечно, что, подобно тому, как постепенно уничтожено рабство, крепостничество и т. д., и эта зависимость одних людей от других будет прекращена.

Графиня энергично противоречила, говорила, что вечно будет то, что есть, что против этого ничего не поделаешь.

Лев Николаевич говорил: «Ах, боже мой, Соня, ну что ты говоришь?» и ссылался на историю, на которую вообще не ссылаются люди, говорящие только под влиянием чувства. «Если бы я знал, что этого никогда не будет, я повесился бы на первом суку, а если бы узнал, что можно повернуть пружинку и завтра все это настанет, я тоже повесился бы на соседнем суку, потому что не для чего было бы жить. На самом же деле должно мало-помалу вырабатываться нечто среднее».

27 июля

После обеда сидели и говорили о том, о сем. Вдруг Лев Николаевич обратился ко мне:

— Я вам завидую: вам придется жить в новую эпоху и переживать такое время, какое мы переживали в эпоху освобождения крестьян.

— В каком же отношении это время будет новым? — спросила графиня.

— Земельной собственности не будет.

— Ну, это еще не скоро настанет.

— Нет, скоро, уже есть признаки. — Лев Николаевич стал рассказывать о какой-то статье или книжке, где доказывается, что пройдет еще некоторое время, и крупные землевладельцы не выдержат. Перепроизводство хлеба служит причиной того, что хлебное хозяйство может существовать лишь в руках мелких землевладельцев, которые сами работают и питаются этим. Автор этой статьи даже полемизирует с Генри Джорджем и доказывает, что не нужно вмешиваться правительству, что крупные землевладения скоро разорятся сами собой. Лев Николаевич

стал приводить в пример своих знакомых и родственников — владельцев земли; у всех одно и то же: или убытки, или ничтожные барыши. Графиня прибавила, что на Ясной они имеют только убытки из года в год.

Николай Николаевич рассказал про Фета. Спросил он у него, как идет хозяйство, и хотя тот всегда «беднился», но в этот раз сознался, что получил в год двадцать одну тысячу чистого дохода.

Вечером зашел разговор о Скобелеве [69], который я старался поддерживать, интересуясь знать мнение Льва Николаевича.

Он начал с фразы: «Я не признаю великих людей среди военных». Потом стал говорить, что если где, так это среди военных нужно постоянно иметь рекламу: белая лошадь, быть на виду у всех и т. д. Кто был в делах, тот знает, что такое храбрость. Если бы Скобелев был храбрецом, его убили бы, потому что невозможно безнаказанно стоять под выстрелами. Но можно показываться впереди, когда есть вблизи корреспондент, и создать себе репутацию. В военном деле фат целой системой обмана может добиться имени. На помощь этому росту незаконных репутаций является присущая массам жажда величия. Если великих людей нет, их создает фантазия. Так создалась репутация Скобелева, Иоанна Кронштадтского и др. Лично со Скобелевым Лев Николаевич не был знаком. Тот хотел к нему приехать, чтобы познакомиться, но не удалось. Видел когда-то проездом в Орле его с великим князем Николаем Николаевичем.

28 июля

После завтрака говорили о женитьбе или сватовстве кого-то из знакомых.

— Почему это вообразили, что старый способ сватанья нехорош?— начал Лев Николаевич. — Как будто бы лучше, если он и она увидятся на балу или где-нибудь и решат. Почему же они могут это решить лучше, чем другие?

Ему возражали, но немного.

По поводу вопроса: «есть ли грибы и кто собирал?» зашел разговор о грибах вообще. Лев Николаевич занимался когда-то ботаникой и знает много о грибах, папоротниках и вообще тайнобрачных. Некоторые наблюдения и открытия относительно этого вида растений, сделанные в последнее время и незнакомые Льву Николаевичу, сообщил Николай Николаевич. Лев Николаевич был заинтересован этим и слушал со вниманием.

Николай Николаевич рассказывал, что Менделеев принимает спермин и говорил ему, что действует он на него хорошо: когда он заработается, освежает силы. Лев Николаевич выразил отвращение:

— Как это мерзко — сперму свинки вводить себе в кровь; и потом, предварительно нужно убивать свинок. Это безнравственно, не может быть, чтобы это было полезно. Произойдет или освинение, или особачение. Когда перестанут есть мясо и станут предлагать цыпленка для поддержания сил в болезни, нужно ответить: «Нет, нельзя убивать». Я и клопа если нечаянно задавлю, мне жалко. Муху или комара убьешь рефлекторным движением, бессознательно, а то — сознательное убийство.

29 июля

Здесь очень интересуются процессом анархиста Казерио, убившего президента Карно. Просматривая полученные газеты, Лев Николаевич только это и ищет. Мужественное поведение Казерио вызывает одобрение; отказ правительства допустить в печать объяснения Казерио, где он высказывает свое profession de foi, как анархиста, возмущает Льва Николаевича:

— Какое малодушие со стороны правительства! Они прямо показывают этим, что боятся растущей силы. Если анархисты — дикие звери, так почему же нам нельзя читать их бред?

30 июля

Много говорили о картине Ге[70]. Чертков говорит, что если картину увезут в Англию, то и там ведь люди. Но Лев Николаевич высказывает надежду и какое-то предчувствие, что она останется в Москве:

— Не может быть, чтобы Третьяков оставил это так. Я писал к нему задирательные письма, и он должен, по крайней мере, обидеться и ответить мне в таком тоне. Наконец, мало ли в Москве есть богатых людей, которым некуда девать капитал. Хоть и страшно произнести это слово, но я надеюсь, что со временем будет основан музей Ге, где будут собраны его работы.

Лев Николаевич говорит, что, работая и отдыхая теперь в мастерской[71], и он все больше и больше всматривается в «Распятие» Ге и все больше проникает в мысль художника.

— Чтобы написать такую вещь, нужно предположить, по крайней мере, тридцатилетнюю подготовительную работу, а барыня какая-нибудь подойдет с лорнетом и хочет оценить ее в тридцать секунд. Я даже начинаю примиряться с разбойником. Прежде я не видел там ничего, кроме выражения физического ужаса. Теперь я проникаю глубже.

После обеда, по настоянию Льва Николаевича, устроили «концерт». Начали со столь любимых им сонат Моцарта. Скрипку играл я, рояль — Катерина Ивановна Баратынская[72], весьма изрядная музыкантша. Потом стали играть в четыре руки «Крейцерову сонату», первую часть, которую, собственно, и имел в виду Лев Николаевич в своем рассказе. Лев Николаевич играл вторую партию, хотя несколько грубо и с погрешностями.

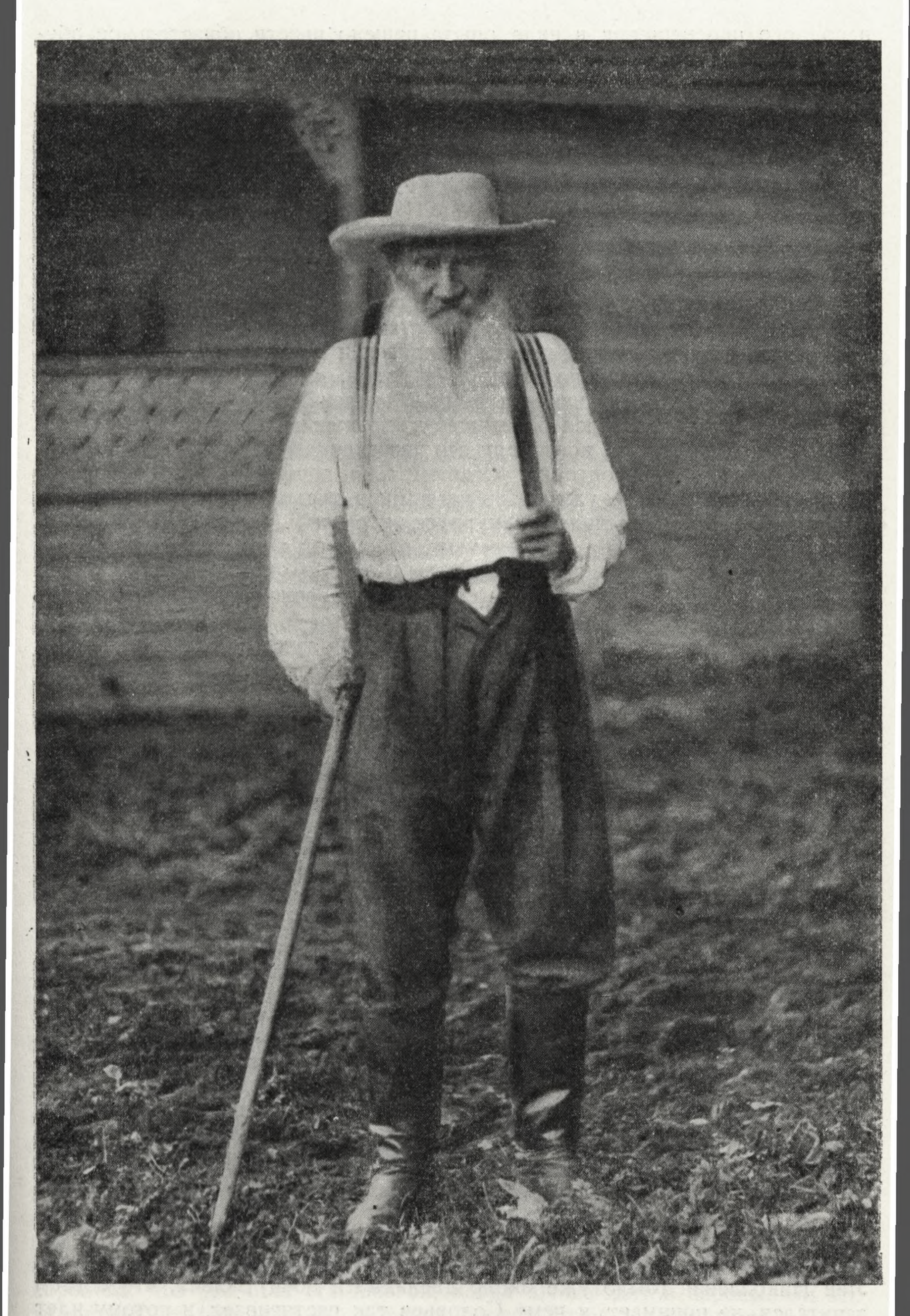
Вечером зашел разговор о философии. Лев Николаевич сказал, что, по его мнению, философия, которая не способствует выяснению смысла жизни, есть пустая, ни к чему не нужная болтовня. Роль ее может быть та, что она указывает на существование вопросов чрезвычайно важных, относительно которых без нее не задумывались бы, и приучает мысль глубже анализировать. В «Посреднике» для интеллигентных читателей готовят Берклея[73], и Лев Николаевич очень заинтересован этим. Он положительно во всем согласен с Берклеем и удивляется, как это другие не могут понять того, что для него совершенно ясно, — именно, что мы имеем дело только с нашими представлениями и не имеем никакого права утверждать, что материя есть вне нас.

Баратынская стала играть на рояле сначала из Шумана, но Шумана Лев Николаевич не любит, находя его слишком искусственным. Гораздо больше нравится ему Шопен: он всегда своей мелодичностью доставляет удовольствие. О Бетховене выразился: «Я не люблю его, т. е. не то что не люблю его, но он слишком сильно захватывает, а этого не нужно; музыка должна лишь веселить».

31 июля

Утром Страхов много рассказывал о старых и новых журналах и журналистах: о «Петербургских Ведомостях» и «Новом Времени», о Суворине, Буренине, Авсеенко, о правительственном влиянии (Филиппова и Победоносцева) на «Русский Вестник», «Московские Ведомости» и «Русское Обозрение». Лев Николаевич с интересом расспрашивал. Он и прежде стоял далеко от редакций и теперь не имеет с ними связей.

Потом он взял номер «Русской Жизни», нашел там рассказ Добротворского[74] о врачах, прочел нам вслух и похвалил, сказав, что рассказ ничего. В том же номере натолкнулся на известие, что в министерстве



Л. Н. ТОЛСТОЙ

Фотография 1907 г.

Частное собрание, Москва

народного просвещения в виде опыта решено ввести обязательное обучение в Харьковской, Полтавской и Курской губерниях, и пришел в ужас. По его мнению, хоть эту систему всегда связывают с либерализмом, но на самом деле она ничуть не либеральна. Для него принцип насильственности в деле обучения отвратителен. «Берут ребенка в самом нежном возрасте и подчиняют его бог знает каким влияниям».

К обеду привезли от Черткова последнюю книжку «Вестника Европы» с давно ожидаемой Страховым статьей Соловьева «Конец спора». Сейчас же после обеда предложили читать вслух, но после первых трех глав Льву Николаевичу подали лошадь, чтобы верхом ехать к Черткову, и он попросил не читать без него до вечера.

Вечером, однако, Страхову опять пришлось томиться, так как Лев Николаевич в прежних книжках «Вестника Европы» отыскал письма Тургенева к Аксакову [75], очень обрадовался и стал читать вслух. Письма относятся ко второй половине 50-х годов. «Мое время», — говорил Лев Николаевич. Он останавливался на объяснении упоминаемых Тургеневым мест и лиц, радовался блестящему изложению, восхищался его критическими замечаниями, по поводу его характеристики современной французской литературы повторял: «Удивительно хорошо!». Баратынская, в качестве вегетарианки, ужасалась частыми в письмах Тургенева перечислениями убитых вальдшнепов, курочек, уток и т. д., но Лев Николаевич лишь смеялся. Глаза его блестели, словно он переносился мысленно в ту эпоху, когда и сам был страстным охотником. На вопрос Марии Львовны он ответил, что у него («у Сонечки, верно») есть писем десять Тургенева, хороших, длинных.

Из Москвы от Льва Львовича, уехавшего туда с Татьяной Львовной к профессору Захарьину [76], была получена телеграмма, чтобы прислали корову. Мария Львовна стала возмущаться: «Это эгоизм — заставить Таню сидеть возле себя, оторвать Митю (лакея) от умирающего отца, словно здесь, на свежем деревенском воздухе, хуже, чем в душной Москве». Лев Николаевич также находит это неразумным, но дает другое объяснение. Все зло от докторов: попадись только им в руки — и начинается.

— Это Захарьин, верно, сказал Леве, чтобы тот остался в Москве: «Я, мол, буду за вами наблюдать, ассистента пришлю». И ничего они не знают, и никакой пользы от них нет. Жалко смотреть на молодого врача, который старается, хочет быть добросовестным. Он делает, сам не знает что. Хороший, умный врач тот, кто знает общие правила гигиены. Но эти правила должны быть общеизвестны, и они на самом деле более или менее всем знакомы.

Другая причина несчастного положения Льва Львовича, по мнению отца, — богатство. Пришла фантазия выписать корову — едет корова; еще придумают доктора какой-нибудь вздор — сейчас исполняется. Наконец, губит его то, что он так боится смерти, так много думает о своей болезни. Раньше, говоря о Черткове, Лев Николаевич сказал, что он смотрит, как следует, на свою болезнь: послал бог болезнь, значит нужно терпеть; придет смерть — нужно умирать, опять тут ничего страшного нет.

1 августа 1894 г.

Вчера так и не окончили статьи Соловьева «Конец спора», так как Лев Николаевич (было уже около двенадцати ночи) заявил, что совсем запутался, не понимает, к чему Соловьев так растягивает, и потому идет спать. Страхов дочитал сам и сегодня утром рассказывал.

При этом Страхов стал немножко нападать на Соловьева, говоря, что в споре о веротерпимости, как правильно указал это Тихомиров [77], Соловьев, собственно, стоит не на христианской, а на либеральной точ-

ке зрения. Для него христианство — такая же религия, как и всякая другая, и поэтому она точно так же, как и всякая другая, не должна силой заставлять признавать себя за истинную. Это не христианская веротерпимость, а просто либеральный индиферентизм.

На это Лев Николаевич сказал, что он, действительно, это замечал и говорил об этом Соловьеву. По его же глубокому убеждению, собственно, вопроса о веротерпимости и существовать не может. «Если я убежден, что то, что я знаю, действительно истина, то я не могу равнодушно смотреть не только на то, что моя дочь Маша, но и Николай Николаевич, и Владимир Федорович не признают этого. Я всеми силами должен стараться обратить их к истине, потому что это — вопрос жизни. Но как обращать? Есть два способа обращения: один, магометанский — огнем и мечом; другой, христианский — любовным увещанием. Только этим последним способом и можно распространять христианство; и кто этого не хочет признать, тот не понимает христианства. И ваш Розанов никогда ничего не слыхал о христианстве, потому что он, как и Достоевский, хочет насилие, инквизиторство, войну примирить с христианством».

Сказав это, Лев Николаевич забрал свои бумаги и пошел в свою комнату заниматься.

Вечером Лев Николаевич сообщил, что от нечего делать он взял оставленную мною на столе майскую книжку «Русской Мысли», и так как там ничего не было интересного, то принялся читать статью Гольцева о Чехове [78]. Находит в ней интересными лишь выписки из Чехова; все же остальное, по его мнению, сделано крайне бездарно и неумело. О Гольцеве, как человеке, Лев Николаевич отзывается, что он симпатичен, исполнен хороших намерений и мыслей.

2 августа

Приехала Мак-Гахан [79] из Америки с сыном, студентом Нью-Йоркского университета. Заехала проездом на Кавказ. Показывает сыну Россию. Худая, желтая, подвижная дама. Привезла Льву Николаевичу от Генри Джорджа его сочинения — книжки и брошюры с надписью. Лев Николаевич, который был этим очень доволен, расспрашивал о Джордже. Она рассказывает, что его идеи больше распространяются на Западе; на Востоке же идут очень туго. О самом Джордже, на мой вопрос, сказала, что он из типографщиков, учился в общественной школе, языки едва ли знает. Лев Николаевич стал говорить об его идеях и о том, что им чрезвычайно легко дать практическое осуществление:

— Я так живо представляю себе. Это было бы нечто вроде того, как происходила отмена крепостного права. Собрались бы комиссии, стали толковать. Консерваторы фыркали бы, молодежь сочувствовала бы.

Мак-Гахан стала расспрашивать о России и русских делах, о подпольной пропаганде. Лев Николаевич сказал, что об этом мало знает, но высказал мнение, что едва ли она существует, и заговорил о том, что все это ни к чему, что если бы он был царем, то все эти брошюры велел бы всем в церквах раздавать; что они ничего не произведут и что правительство, преследуя их, лишь само себе вредит.

Стали говорить вообще о русских либералах, и Лев Николаевич заявил, что «подлее русских либералов он ничего не знает». Либеральный англичанин, например, нисколько не шокируется тем, что у него королева; что она бьет его шпагой, когда производит в бароны. Он это установил, считает, что это хорошо, и набросится на вас, если вы станете смеяться над этим. В то же время у него есть свобода печати, совести и т. д. Русские либералы совсем не то. У нас сделалось обычаем, почти обязанностью ругать правительство за все его поступки. Но, стоит

только правительству позвать нас, мы застегнемся в мундир и явимся; ругаем правительство, и у того же правительства просим места.

— Я знаю один случай. Три московских профессора (имен я не хочу называть) говорили что-то либеральное студентам. Об этом узнал попечитель Капнист[80]. Всем известно, что Капнист — пьяница и дурак. Но, когда он позвал трех профессоров-либералов, они надели мундиры, поехали, ждали в передней. Он сделал им выговор, и они сами об этом потом рассказывали.

Лев Николаевич стал говорить на свою обычную тему, что самый лучший способ действовать — это быть правдивым: во что не веришь, того не делай. Рассказал об Аполлове[81], как тот, будучи священником, почувствовал, что больше не может им быть, заявил об этом, потом, после долгих колебаний, увещаний, все-таки опять заявил, что не может, и расстригся. Нынешнему русскому правительству он не может простить трех вещей: то, что отнимает детей (у Хилкова[82]), сечет народ и поощряет дуэли.

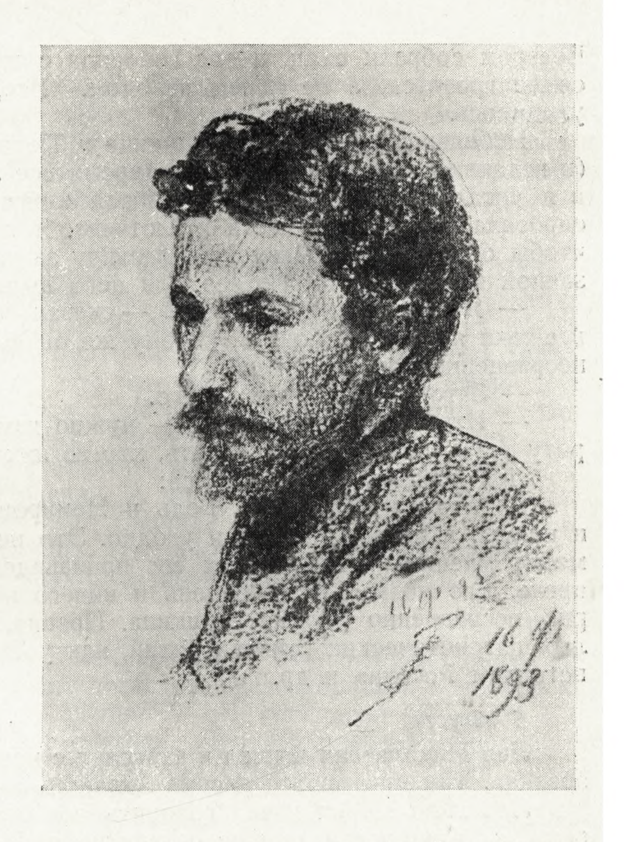
Вечером за чайным столом опять интересна была беседа с Мак-Гахан. Лев Николаевич расспрашивал ее о последней стачке и походе рабочих на Вашингтон. Она передает совсем не в таких чертах, каких ожидало бы здешнее настроение. По ее словам, все движение задумано в неудобное время; вожаков рисует, как людей, не совсем нормальных; религиозную сторону называет комичной. Рассказывала об обществе трезвости и разных способах борьбы с пьянством в разных штатах — принудительных (например, в Мене) и непринудительных. Говорила, что первые ни к чему не ведут и только развивают скрытое пьянство, с чем Лев Николаевич вполне согласился. Потом он начал расспрашивать о представительстве, о порядке избрания, о правильности выборов, о возможности подкупа и о том, почему Генри Джорджа не выберут. На все эти вопросы Мак-Гахан рассказывала много; говорила о сословии политиканов, которые круглый год только тем и занимаются, что хлопочут около этой грандиозной машины — выборов; о том, как они устраивают на предварительных съездах назначение кандидатов и т. д. Потом стали говорить об университетах, и Мак-Гахан выразила мнение, что европейские студенты в смысле развития неизмеримо выше американских; что последние — безвредные дети (на что сын сказал: «Нет, мы деремся с полицией»), что они слишком увлекаются физическими упражнениями, играми, спортом (на что сын сказал, что его поражает здесь полное отсутствие таких упражнений, и стал с увлечением рассказывать о своих играх), а потом сразу попадают в необходимость думать о хлебе и потому смешиваются с массой, которая занята своим, а политику предоставляет политиканам. Относительно физических упражнений студентов Лев Николаевич сказал, что это прекрасно и что так и следует.

3 августа

За обедом стали обмениваться впечатлениями относительно уехавшей утром Мак-Гахан. Сын на всех произвел невыгодное впечатление, но Лев Николаевич нашел его оригинальнее и, следовательно, интереснее матери. «Она — что ж? Профессиональная журналистка, довольно поверхностная». Я вспомнил ее вчерашний рассказ о рабочем движении и этим объяснил строгий приговор Льва Николаевича. Потом он говорил, впрочем, что ее корреспонденции очень бойко написаны.

4 августа

Уехал Страхов, и Лев Николаевич нет-нет, да и скажет: «Нет Николая Николаевича». Очень он его любит. Их связывают единство и обширность интересов. Николай Николаевич, как специалист по разным научным областям, много помогает Льву Николаевичу разъяснением



ПИСАТЕЛЬ С. Т. СЕМЕНОВ
Рисунок Т. Л. Сухотиной,
16 февраля 1893 г.
Третьяковская галлерея, Москва

разных частностей; интересен для него, как человек, следящий за своими областями и рассказывающий новости. Он — естественник и близок к так называемой положительной науке и в то же время живо интересуется и хорошо ценит художественную литературу, много читает по вопросам этики, философии, религии. Как-то Лев Николаевич о нем сказал: «Как посмотрю я на Николая Николаевича, быть бы ему архиереем; хороший бы архиерей вышел». К такому званию, правда, очень шли бы его седая длинная борода, а главное — стойкость мнений славянофильской окраски, скромность и спокойная мягкость.

Графиня вчера целый день волновалась. Рабочие не хотят итти на уборку ее хлеба ни за деньги, ни для отработки дней. Причиной всему бестолковый управляющий и староста, у которых до того все дурно идет, что народ не хочет слушать их распоряжений, и бестолковщина полная. Графиня кипятится: Ясная дала полторы тысячи убытка; все на нее навалили — и воспитание детей, и управление имением; муж ничего не хочет делать; с мужиками нужно поступить на этот раз круто, пригрозить, что им не дадут ни покосов, ни лесу, ни земли в наем; она — женщина, этого дела не любит и не понимает; она измучена этим, она мужикам покажет себя, и т. д.

Лев Николаевич в таких случаях начинает с фразы: «Чего ты кипятишься?». Ему пришлось в этот раз говорить много и много: и о том, что проступки отдельных лиц нельзя сваливать на весь народ; и о том, что народ жаждет работы, и если не идет на нее, то значит тут что-то неладно; и о том, что хозяйство хорошо идет не от машин (как говорит это он и устами Левина), а от отношений к народу; и о том, наконец, что если владеют землей люди, которые ее не обрабатывают, то тут, кроме безнравственной бестолковщины, ничего не может быть. Но так как все это было «вообще», а графиня хотела руководства относительно «данного случая», то кончилось тем, что она, расстроенная, ушла.

Вечером собрали сход, и она говорила с мужиками. Она лишь в своей семье грозится, а не перед народом. Все, повидимому, благополучно уладилось.

Небольшой разговор о Пушкине и Тютчеве. Стихотворения Тютчева (в издании Бартенева) последнее время все лежали на столе; их читали, и я читал. Сегодня графиня, убирая книги после Страхова в шкафы, спросила, можно ли унести и Тютчева. Я воспользовался этим случаем, чтобы обратиться к Льву Николаевичу за разъяснением его фразы, сказанной когда-то, что Тютчев для него выше Пушкина.

— Я перечитывал Тютчева,— сказал я,— многое превосходно; но все-таки я не могу понять, почему же он выше Пушкина? Ведь Пушкин несравненно шире Тютчева.

— Зато Тютчев глубже его.

— Итак, — продолжал я, — нужно измерить глубину одного и широту другого, чтобы определить, кто из них выше. Задача нелегкая!

Лев Николаевич улыбнулся:

— То-есть как выше? Ведь и Немирович-Данченко широк: у него и поэмы, и стихи, и что вам угодно. Это не трудно. Сила Пушкина, по моему мнению, в лирических его произведениях и, главным образом, в прозе. Его поэмы — дребедень и ничего не стоят. А Тютчев, как лирик, несравненно глубже Пушкина. Правда, у Пушкина нет таких пошлых патриотических стихотворений, как у Тютчева, хотя и у него «Клеветникам России» и др.

5 августа

Лев Николаевич вышел к завтраку с новой книжкой «Русского Обозрения». Там печатаются письма Аксаковых к Тургеневу.

Лев Николаевич начал говорить об Аксаковых: «Как они самоуверены, а, в сущности, они не оставили после себя никакого следа. Литературная известность отца раздута; у него было лишь среднее дарование. Константин из них был самым интересным. Иван был талантливее, но Константин был чистая, благородная натура. Он сорока лет умер девственником, а когда руку подает, как Тургенев выражался, словно дверью защемит. Но мне всегда неприятно было в них то, что все у них делалось напоказ. И православие их, которое стояло в связи с славянофильской системой, было напоказ. Тургенев был гораздо искреннее. Он был неверующим, но, когда одна барыня заставляла его «Отче наш» читать, он и «Отче наш» читал, и делал все это простосердечно и искренно. За это он был всегда ближе мне, и я думаю, что и перед богом он более был христианином, чем они. Я всегда говорю: чтобы понять Тургенева, нужно читать последовательно: «Фауст», «Довольно» и «Гамлет и Дон-Кихот». Тут видно, как сомнение сменяется у него мыслью о том, где истина».

6 августа

К вечеру пришли посетители: студент-медик, бывший учитель здесь [83], и ординатор Благоволин [84], оба — снегиревские ученики. Рассказывали о всяких операциях и других медицинских чудесах. Лев Николаевич стал их «задирать». По его мнению, медицина лишь тогда может быть названа благодетельной, когда станет популярной. Но пока она служит лишь богатым классам, то чорт с ней. Это какой-то возмутительный, безнравственный порядок, при котором богатая купчиха, имеющая возможность выписать Шарко из Парижа, вылечивается, а жена ее дворника, страдающая такой же болезнью, даже в меньшей степени, умирает, так как никто к ней не придет на помощь. Если существует такого рода справедливость, то из-за этого можно бы повеситься. Поэтому ему какой-то голос подсказывает (хотя этого нельзя доказать статистикой), что

медицинская помощь и для богатых классов уж не так благодетельна, как кажется, и что, в общем, процент выздоровления без медицинской помощи такой же, как с медицинской помощью. Медики согласились с тем, что медицина теперь мало доступна массам, но утверждают, что она стремится к тому, чтобы быть популярной.

7 августа

Лев Николаевич с утра продолжал «задирать» медиков. Студент защищался, но ординатор молчал или соглашался. Предметом разговора была наследственность. Лев Николаевич утверждает, что, по его личным наблюдениям, учение, будто от алкоголиков потомство должно страдать эпилепсией,— вздор; что от сифилитиков обязательно дети-сифилитики — тоже вздор; что сумасшествие наследственно — тоже вздор; что пастеровская прививка предупреждает от водобоязни — тоже неверно. Он следил за статистическими таблицами и в них находил подтверждение своего мнения. А мнение такое составилось у него à priori. Он рассуждает так: если грешили отцы, то следует ли за это расплачиваться детям? Очевидно, нет. Поэтому разумный порядок не может допускать эпилепсии внуков за пьянство дедов и т. д.

8 августа

За обедом мы с Алексеем Маклаковым[85], студентом-медиком, приехавшим в Ясную по знакомству погостить, разговорились о московских знакомых и, между прочим, о Брауне[86] и его сочинении на медаль «Литературная история типа Дон-Жуана». Лев Николаевич прислушался к разговору и спросил, в чем дело. Я ему рассказал, что Браун — ученик профессора Стороженко, что он готовится к магистерскому экзамену и что его работа является одним из обычных теперь исследований по сравнительному литературному методу. Лев Николаевич стал меня расспрашивать, как и для чего пишутся эти исследования. Когда я ему рассказывал об этом и о диссертации Истрина «Александрия русских хронографов»[87], он все время улыбался и несколько раз повторял свое любимое: «Хорошо, что мужики не знают, чем занимаются господа».

Потом он стал говорить о том, что в университетах у нас удивительно много занимаются предметами бесполезными и ни к чему не нужными, что в этом отношении особенно отличается филологический факультет. Ему передавали, что один профессор, читая целый год о Марциале[88], исследовал, на основании всяких сопоставлений, время написания его произведений. Он замечал, что у так называемых людей науки мало-помалу пропадает интерес ко всему свежему, к живой мысли; их интересуют лишь имена и цифры.

— Даже вот Стороженко; он лично мне очень симпатичен: такой добродушный; но и его интересуют как-то больше имена.

Я стал говорить, что Стороженко в числе ученых считается, напротив, одним из наиболее живых и отзывчивых на запросы мысли. «Быть может, — сказал Лев Николаевич, — но это уже в нем говорит дух того хорошего либерализма, которым он проникнут».

9 августа

К завтраку вышел Лев Николаевич с рукописью какого-то Сергеева[89] из Коломны, который прислал свою статью «Наука и христианство», по цензурным соображениям не попавшую в «Вопросы Философии и Психологии». Лев Николаевич находит статью выдающейся и в Сергееве видит человека очень образованного и самобытно мыслящего. Хочет по приезде в Москву подействовать на редакцию, чтобы поместили «Науку и христианство» с изменениями.

Я стал просматривать статью и в начале натолкнулся на заявление автора: «Вне науки нет спасения». По этому поводу у нас с Львом Николаевичем завязался разговор. Лев Николаевич говорит, что автор хорошо развивает свои мысли и сильно пишет о значении науки. Но у него есть существенный недостаток. Он не различает ясно двух видов науки: одной — истинной науки, которая, являясь совокупностью накопленных веками знаний человечества, необходимых для жизни, несомненно плодотворна и необходима; другой — лженауки, которая, занимаясь исследованием, ни к чему не нужным, присваивает себе исключительное право произносить какие-то непогрешимые приговоры, как это делает церковь.

— Я всю свою жизнь, собственно говоря, только то и делал, что занимался искусством и наукой, а теперь какая-нибудь барыня пишет мне, что нельзя отрицать науку, потому что она сделала много хорошего.

Вечером стали вслух читать из «Северного Вестника» статью П. Вейнберга о Жорж-Занд. В первой части делался общий обзор предшествовавшего романа (Руссо, Сталь, Шатобриан и др.). Лев Николаевич в промежутках между чтением высказывал свои замечания. Руссо он читал с самых молодых лет и перечитывал все, даже его переписку. Он его считает величайшим писателем и удивляется, как можно сопоставлять с его романами романы мадам Сталь, которая была, конечно, умной женщиной, но романы писала прескучные. «Это все прагматизм!». Шатобриана он пробовал много раз читать, но никогда не мог одолеть ни его «Рене», ни его «Духа христианства». Между прочим, очень хвалил Стендаля и находил, что Пушкин высказывал несправедливые о нем мнения («Записки Смирновой» в августовской книжке «Северного Вестника»)[90]. К Бальзаку он никогда не чувствовал особого влечения и все из него перезабыл.

10 августа

За чаем, между прочим, Поша[91] спрашивал Льва Николаевича, не читал ли он Аретина, а я, кстати, спросил, какое впечатление производил на него Данте.

— Скука страшная; я несколько раз пытался его читать и никогда не мог окончить; читал и по-итальянски, когда учился итальянскому языку. Жаль, что некогда, хотелось бы почитать еще. Как это создаются иногда репутации!

— А Боккачио?

— Боккачио лучше; по крайней мере, интересно и живо рассказано. Я читал по-французски.

Потом стали вслух читать повесть Маркова[92] из «Недели». Лев Николаевич сначала, пока шли описания и разговоры разных лиц четвертого класса в поезде, очень восхищался верностью изображения, а потом, когда на сцену явился старец с веригами, сказал, что этого старца Марков сочинил и что это отвратительно.

11 августа

После завтрака я стал просматривать последние книжки журналов и в «Северном Вестнике» натолкнулся на ответ Прозорова[93] Николаеву и Тихомирову[94] о том, что такое либерализм и в каких отношениях «Северный Вестник» стоит к другим либеральным органам. Сказал об этом Льву Николаевичу. Он выразил желание послушать, и я стал читать.

Прозоров говорит о том, что «Северный Вестник» не считает нужным следовать какому-то застывшему кодексу либерализма. Либерализм, как и жизнь, видоизменяется и принимает разные формы, но в

противоположность консерватизму, который имеет целью вообще задерживать, тормозить, либерализм имеет во всех своих разветвлениях и преемственных изменениях некоторые постоянные элементы — стремление к свободе личности, самоуправлению, свободе печати. В этом отношении «Северный Вестник» примыкает к другим либеральным органам, хотя вовсе не считает для себя обязательным усваивать, например, материалистические воззрения.

Статья эта Льву Николаевичу очень понравилась. Во многих местах он говорил: «Очень хорошо; как это умно!» и, когда я кончил, взял у меня книжку, чтобы пересмотреть некоторые места.

Вечером мы прочли вместе повесть Ольдена «Женитьба Кнауса» (перевод с немецкого) в августовской книжке «Северного Вестника». Вещь эта всем мало понравилась, хотя Лев Николаевич сказал: «Недурно». От повести, как и вообще от немецких повестей, несло особенным немецким духом, и я это высказал.

— Да, — сказал Лев Николаевич, — они имеют особенности. У меня явилась мысль, если бы я был помоложе, написать три романа — подделку под французский, немецкий, английский. Особенно удался бы мне английский.

Графиня говорит, что у них в Ясной ни одного еще лета не было такого скучного, как нынешнее. Родные не приезжают. Только и видишь, что «темных». «А вот, когда в Москву уеду, их словно плотину прорвет; так и нахлынут».

12 августа

Лев Николаевич рассказал, что и в «Русском Богатстве» появился враждебный отзыв о рассказах Семенова [95]. Мы прочли здесь враждебные отзывы «Вестника Европы» и «Мира Божьего». На Льва Николаевича это производит если не тяжелое, то неприятное впечатление. Рецензии написаны так, что видно просто враждебное отношение к Льву Николаевичу и его предисловию; потому осуждается и Семенов. По этому поводу Лев Николаевич возмущался нетерпимостью наших либеральных органов.

ГОСТИНАЯ В ЯСНОЙ ПОЛЯНЕ
Рисунок Л. О. Пастернака, 1893 г.
Толстовский музей, Москва

— И дай бог успеха «Северному Вестнику»! Иначе никакого выхода нет между этой кликой либералов, с одной стороны, и «Московскими Ведомостями» и «Гражданином» — с другой.

Он смеется над тем, как «Вестник Европы» и «Мир Божий», из желания найти что-нибудь дурное, впали в совершенное противоречие: первый осуждает Семенова за холодность и равнодушие при изображении деревенской жизни; второй же видит во всем тенденциозность самую натянутую.

Прочли вслух из «Русской Жизни» фельетон Гарина «Наброски с натуры». Льву Николаевичу Гарин [96] не нравится. Он причисляет его к тому же типу выдумщиков, как Немирович-Данченко и Мамин-Сибиряк. Прочтенный рассказ он нашел так-себе: ничего особенно дурного (хотя об охоте на медведя заметил, что это все — вранье), но и хорошего ничего нет.

26 декабря 1894 года, Москва

К двенадцати часам дня отправился к Толстым в Хамовнический переулок, зная, что в это время удобнее всего можно застать их в сборе.

Вошел Лев Николаевич. «А, Владимир Федорович! Очень рад вас видеть! Женились?».

Я ответил, что собираюсь жениться весной. Больше Лев Николаевич об этом не поднимал разговора.

Потом между нами произошел такой диалог:

— Ну что, занимаетесь литературой?

Я отвечал, что продолжаю готовиться к экзамену.

— Нет, написали что-нибудь?

Отвечаю, что в «Артисте» напечатал статью о В. П. Боткине [97].

— Нет ли у нас «Артиста»? — обратился Лев Николаевич к дочерям. «Артиста» не оказалось.

— Что же, вы хорошо его изучили?

Говорю, что старался ознакомиться со всем, касающимся Боткина, что можно отыскать в печати. Говорю о новом издании его сочинений «Пантеоном литературы».

Лев Николаевич знал Боткина лично, помнит и очень хвалит его статью о Фете, называет человеком с хорошим художественным вкусом. Упомянул вскользь о его женитьбе. Я удивился:

— Разве Боткин был женат?

— А вы не знали? Как же. У Герцена есть один из прелестнейших юмористических его рассказов [98] о том, как женился «Базиль» Боткин.

Объясняю, что Герцена нигде нельзя достать, да мне и в голову не пришло посмотреть туда, а в доступных мне печатных источниках я не нашел ни одной строки с указанием на это, хотя интересовался отношением Боткина к женщине.

— К женщине он относился нехорошо. Он был эпикуреец, наслаждался. Жениться же они решили вместе с Белинским. По Гегелю там как-то выходило, что для полноты жизни нужно жениться. Но после венчания Боткин отправился к Белинскому и засиделся с ним допоздна. Возвратился домой, жена ему сделала сцену. Тогда он распрощался с женой, и больше они не виделись. Потом она поздравляла его с рождением ребенка, но больше они не сходились.

Я рассказал, как носил свою рукопись в «Русскую Мысль», но Гольцев ответил, что у них решено ничего не печатать о Боткине. Я знал, что для «Русской Мысли» неприятно будет хвалить человека, который под конец сделался приверженцем «Московских Ведомостей» и Каткова, и потому я избегал таких фраз, как, например, отзыв Боткина о «Современнике» Некрасова: «вонючая лавочка».

Лев Николаевич улыбнулся и покачал головой:

— Напрасно, Некрасов действительно был таким (каким, он не сказал). Вы читаете последние статьи Волынского? [99].

Я отвечал, что нет.

— А я читаю с удовольствием. Не скажу, чтобы талантливо, но очень смело. Я, например, не знал о полемике, которую вел Щедрин с Достоевским. Самая отвратительная и циничная. До сих пор у нас молодежь развращается в поклонении одной этой компании — Щедрин, Некрасов, Михайловский, Скабичевский, даже отчасти Белинский.

Я сообщил, что «Русская Мысль» приобрела себе в критики Скабичевского.

— Тупой и бездарный человек,— сказал Лев Николаевич,— впрочем, у нас был как-то разговор об этом со Страховым.

Лев Николаевич встал и вышел зачем-то из залы.

— А какое впечатление на вас произвела вся эта история с Александром Миротворцем? [100] — послышался его голос из другой комнаты.

Я отвечал неопределенно.

— Отвратительная история, — продолжал, входя и снова садясь за стол, Лев Николаевич.— После глупого, ретроградного царствования вдруг со всех сторон подымаются восхваления, самая бесстыдная ложь. И эта печальная студенческая история... Впрочем, почему же печальная? Это — единственное светлое явление во всей этой истории. Одна молодежь осмелилась высказать правду [101]. Профессор Грот [102] прекрасно вел себя в этой истории. Да он и всегда ведет себя хорошо в таких случаях. Он в числе первых стал говорить и хлопотать о том, чтобы ходатайствовать о возвращении старого устава, о том, чтобы полиция не вмешивалась в семейные университетские дела.

Барышни за завтраком рассказали мне, что к Льву Николаевичу приходила депутация студентов; что он писал об этом письмо к Страхову [103], который прочел письмо великому князю Константину Константиновичу и произвел на него сильное впечатление.

Я нарочно навел разговор на поведение профессора Ключевского и передал мнение профессора Стороженко, что он смотрит на его хвалительную лекцию памяти Александра III, как на долг вежливости по отношению к обласкавшей его семье царской [104].

Лев Николаевич ничего не сказал на этот счет, но высказал несколько мнений о Ключевском, как профессоре, которые поразительно расходились с тем, что я привык думать и слышать от других. По его мнению, Ключевский — бездарный человек. Он читал в «Русской Мысли» его исследование о боярской думе [105]. «Скучно, ни одной новой мысли, написано таким языком, что ничего не поймешь. Читал его лекции. Неприятно, всюду эти словечки, либеральная подковырка и ничего больше».

29 декабря 1895 г.

Был в первый раз на субботнем журфиксе у Толстых.

Лев Николаевич показал статью «Московских Ведомостей», присланную Дунаевым, где Николаев [106] доказывал, что самое христианское государство должно быть монархическим; отпустил несколько иронических замечаний по этому поводу; сел возле меня. Я неловко молчал. Спросил, читал ли я статью Арнольда в «Северном Вестнике» [107] о задачах современной критики (перевод с английского).

— Не читал.

— Пожалуйста, прочтите. Я эту статью давно рекомендовал; теперь ее прекрасно перевели, но она прошла как-то незаметно. Я все рекомендую ее молодым людям. Автор в статье говорит о том, что подъем художественного творчества бывает тогда, когда критика соберет весь запас того лучшего, что сделано у других. В этом и должна быть задача

критики. А наша критика и теперь еще занимается тем, что определяет, кто выше: Мачтет или Новодворский, или по поводу Тургенева обсуждает вопрос о вреде взяток или необходимости восьмичасового труда. Критик должен быть всесторонне образованным человеком, знать литературу и древнюю, и западноевропейскую, и русскую. У Белинского есть хорошие места. Но если перевести и его и других русских критиков на иностранный язык, то иностранцы не станут читать,— так все элементарно и скучно. На Западе есть хорошие, серьезные критики, Сент-Бев, например, Лессинг, Карлейль; последний, правда, как бы из упорства, наперекор всем, носится с этим своим прославлением героев, вопреки и времени и христианству. Литература у нас была всегда выше критики. Хоть бы Пушкин — действительно европейски образованный человек.

Я заявил, что все-таки люблю Белинского, что при его описании, например, игры Мочалова дрожь проходит по коже. Он обладал большим вкусом, и великая его заслуга, что он восхищался, например, Гоголем и других увлекал своим восторгом, в то время, как другие, например, Сенковский, Полевой, ругали Гоголя.

Лев Николаевич молчал, прислонившись к печке. Очевидно, он о многом говорит по старым общим воспоминаниям, к одностороннему усилению которых служат какие-нибудь ближайшие впечатления, например, статьи Волынского. Потом сам стал говорить, что кто-то ему в защиту Белинского приносил читать некоторые его места, и действительно хорошо, особенно из первого периода.

Толстовец Страхов [108], с которым я в этот вечер возвращался домой, сообщил, что сам слыхал от Льва Николаевича другое мнение о Белинском. Он разговаривал с одним фабричным о том, какие книги он читает, и, удивленный его выбором, спросил, по чьему совету он это делал.

— По рекомендации господина Белинского,— отвечал тот.

— Вот видите, — сделал заключение Лев Николаевич, — какое благотворное действие оказывает Белинский.

За чаем говорили о музыкантах: Гофмане, чешском квартете, Игумнове [109]. Чешский квартет, который Лев Николаевич слушал из артистической комнаты Благородного собрания, изъявил желание поиграть у Льва Николаевича. Играли квартет Бетховена (из первых), Шуберта, Гайдна. От всего Лев Николаевич был в восторге: «Ясно, прозрачно». Квартет же Танеева между ними, по его мнению, похож на стихотворение, которое составлено из набора всяких слов без связи, но с соблюдением размера и рифмы. Игру Игумнова он находит безукоризненной. Тот был так любезен, что для него выучил прелюдию F-dur Шопена, бурную, которою его восхищал еще Н. Рубинштейн.

Лев Николаевич был на ученическом вечере консерватории, хвалит всех. Особенно ему понравился концерт Рубинштейна, к которому он питает сочувствие за искренность и задушевность. В Чайковском он находит иногда искусственность. Музыка Рубинштейна напоминает ему поэзию 60-х годов.

— В чем же сходство? — спросил я. — В шумливости, прямолинейности?

— Нет, нет, не могу выразить; быть может, это воспоминание молодости: в какой-то задушевности.

Хвалил игру Исакович [110].

Толстовец полюбопытствовал узнать, по каким побуждениям Лев Николаевич ходил слушать «Короля Лира».

Ответа, сказанного тихо, я не слыхал точно (вроде того, что есть потребность). Но, когда дальше они вдвоем стали говорить о Шекспире, я переменил место и подсел ближе.

Его мнение о Шекспире, «дикое», как говорит сам Лев Николаевич, давно интересовало меня. Он напал на «Короля Лира», находит много

А. Ф. КОНИ
Портрет работы И. Е. Репина,
25 октября 1915 г.
Музей изобразительных искусств
Армении, Ереван

неестественных сцен и лиц, например, сумасшествие Эдмунда, характер Кента. Недавно перечитывал «Ромео и Юлию». Сцена с аптекарем, к которому приходит Ромео за ядом, возмутительна по неестественности. Во всем видна небрежная работа актера, который спешит окончить пьесу, чтобы забавлять ею публику. Клоуны его возмутительны: это глумление над простым народом. В них виден автор-шут. Конечно, он умный, и многие сцены у него глубоки. Это не Шпажинский [111]; но полной художественности у него нет; не видно, чтобы автор любил свое создание. Наконец, возмутительно его равнодушие, называемое объективностью. Отелло ли душит Дездемону или убивают под ряд несколько человек — ему все равно. Все это для него лишь занятные картины. Мольер художественнее Шекспира, Бомарше — и подавно. У Мольера, правда, нет такого разнообразия и глубины содержания, но зато всякая вещица хорошо отделана, художественна. Даже некоторые из первых вещей Островского художественнее некоторых шекспировских.

Гёте, как драматурга, Лев Николаевич совсем не любит: так и видно, как сидел он и сочинял. Шиллера ценит очень высоко и больше всего любит его «Разбойников». Хотя там все и приподнято, но это вечно — и Карл Моор и Франц Моор. Хороши и «Мария Стюарт» и «Орлеанская дева» — все.

Лев Николаевич пригласил меня и толстовца в кабинет свой с письменным столом и старинной, обтянутой клеенкой мебелью. Стал показывать нам сборники стихов, которые ему присылают. По его мнению, все пишут теперь недурно, картины тоже недурны, музыкальные произведения тоже. Но яснее всего для него на музыкальных произведениях, как малосодержательно современное искусство, несмотря на отличную разработку техники. Живопись он не так любит, а повесть, даже плохую, может прочитывать до конца, вероятно, потому, объясняет он, что сам — писатель и интересуется писательской техникой.

По поводу моего учительства заговорили о преподавании словесности. Лев Николаевич находит, что мы занимаемся совсем не тем, чем нужно. Культурную историю должны читать не преподаватели словесности, а собственно-историки, а то, чем они занимаются — разные войны,— этого совсем не нужно. Я стал допытываться, как же он провел бы курс литературы.

— Я, конечно, плохо знаю историю литературы,— отвечал улыбаясь Лев Николаевич,— но если вы хотите, то расскажу в общем.

Начал бы он с былин, которые очень любит и на которых надолго остановился бы, потом сказки, пословицы народные. Скучными вопросами о вариантах Киреевского, Рыбникова или о том, что богатыри, как говорит Бессонов [112], олицетворяли собой солнце и т. д., он не занимался бы, а выбрал бы самое лучшее и познакомил бы с ним. Потом из книжной словесности остановился бы, например, на таком превосходном стилисте, как протопоп Аввакум (Лев Николаевич очень удивился, когда я сказал ему, что у нас Аввакума совсем не включают в учебники). Далее («в этом я согласен с славянофилами»), весь период литературного хищничества, когда паразиты отбились от народа и Ломоносова, несмотря на его заслуги, и Тредьяковского и т. д., пропустил бы совсем. Потом стал бы говорить о том, как с Пушкина до настоящего времени литература мало-помалу освобождалась от этого, хотя и теперь еще не вполне освободилась. Литература должна дойти до такой простоты, чтобы ее понимали и прачки, и дворники. На мои слова, что мы стараемся представить непрерывное развитие литературного дерева, взаимодействие писателей, как один развивался под влиянием другого и т. д., Лев Николаевич сказал, что, может быть, это и интересно, но все это ни к чему.

Разговор перешел на музыку, и Лев Николаевич стал расспрашивать про жену мою [113], что́ она играет, как играет, каких композиторов любит. Я отвечал, что она тонко исполняет Шопена, недолюбливает Бетховена, что я объясняю молодостью. Лев Николаевич велел передать ей, что он вполне разделяет ее мнение и о Шопене и о Бетховене, с которого, по его мнению, начинается падение музыки, так как он выработал формы, по которым стали писать произведения, повидимому, полные серьезного содержания, а на самом деле совершенно пустые.

9 марта 1896 г.

Через месяц после смерти моей жены пошел к Толстым, частью, чтобы навести справки о том, не начали ли в редакции «Северного Вестника» собирать материалы для биографии Н. Н. Страхова, частью, чтобы размыкать горе, так как я был уверен, что встречу в их семье искреннее участие. Предчувствие меня не обмануло, и я был до слез растроган материнским вниманием Софьи Андреевны и дружескими, бодрящими словами Льва Николаевича, который звал меня к пересмотру моей жизни и возрождению.

Интереснейшим человеком среди гостей для меня был художник Пастернак. Татьяна Львовна показывала Пастернаку свои полотна с портретами, и он кое-что похвалил, хотя больше указывал недостатки.

— А ну-те-ка, поругайте хорошенько свою ученицу,— обратился к нему Лев Николаевич.

Дамы стали разъезжаться, а мужчины засели в гостиной. Говорили о том, как к Гуревич, издательнице «Северного Вестника», явился сын покойного Шелгунова с требованием удовлетворения за оскорбление памяти своей матери, которая под буквой Ш. была упомянута в воспоминаниях Н. А. Огаревой-Тучковой в каком-то некрасивом виде [114]. Гуревич описывала это в письме к Льву Николаевичу [115]. Когда она отказалась указать Шелгунову мужчину, которого он мог бы вызвать на дуэль, тот плюнул ей в лицо и вышел. Все возмущались грубостью и глупостью

такого поступка. «Грустнее всего то, что, оказывается, этот бедный Шелгунов не сам решился на этот поступок, а его подстрекнули другие. Он и не читал этой переписки, а ему указали на нее другие, а он — молодой человек очень горячий»,— говорил Лев Николаевич.

Я завел разговор о покойном Н. Н. Страхове [116] и спросил, не встречал ли Лев Николаевич о нем статей в журналах и газетах. Он их перечитал уже не мало, все в хвалебном тоне. Наведенный на воспоминания, сам стал говорить о Страхове с большой любовью и уважением. Он мало знал таких всесторонне образованных людей, как Страхов, очень ценил его скромность, хотя не может не сознаться, что работал Страхов чересчур медленно («слишком много курил и пил кофе, оттого»). Страхов сознался недавно Льву Николаевичу, что в молодости он злоупотреблял спиртными напитками. Лев Николаевич очень хотел знать, как умирал Страхов, и очень кстати пришло письмо от Винницкой [117] переданное в эту минуту Бирюковым, в котором та сообщает слышанное от близких родственников. У Страхова рак распространился на легкие, а он этого не знал. Последние его слова были: «Ну, я отдохнул, теперь поработаю». Умер он без всякой агонии.

По поводу истории с Гуревич заговорили о ненависти наших либеральных изданий к редакции «Северного Вестника» и к Волынскому. Лев Николаевич вполне на стороне Волынского и находит, что давно пора сделать то дело, которое он взял на себя: развенчать ничем не заслуженную славу Чернышевского, Добролюбова, Писарева, которые и теперь имеют такое влияние на молодежь. Он говорит, что Волынский скромен и единственный недостаток его — излишняя цветистость изложения, на что он ему и указывал.

20 апреля 1896 г.

В субботу собралось у Толстых особенно много публики. Кроме обычных посетителей, явились: английский депутат с польской фамилией; Блок, поднесший Льву Николаевичу свою книжку о велосипедной езде, и Гольденвейзер [118], игравший на рояле до часу ночи, когда я ушел. После ухода депутата Лев Николаевич добродушно подшучивал над его развязной элегантностью. Об игре Гольденвейзера отзывается очень одобрительно. Я замечаю, что он очень добр, снисходителен в отзывах о других, особенно молодых, людях.

Интересен был разговор о вагнеровской музыке с Блоком, который принадлежит к страстным вагнеристам. Лев Николаевич был на последнем представлении «Зигфрида» и говорит, что такой отчаянной тоски и скуки давно не испытывал. Во-первых, сюжет. «Известно, что из всех эпосов немецкий самый глупый и скучный». Вагнер в своем либретто еще больше испортил текст; музыка же его не представляет собой чего-нибудь цельного, имеющего центр, как должно иметь всякое художественное произведение, а есть только ряд иллюстраций на этот испорченный текст. Так и видно, как немец сидел и придумывал. Настоящей музыки нет, все условно. Птицы поют — играй на дудочке, выходит кто — труби в трубы и т. д. Чувства меры нет: около получаса в одном месте дудочка играет. Слушаешь и не понимаешь, играют уже или еще строятся: то как будто в животе у кого-то забурчит, то дудочки перекликаются.

— Если бы у меня было время и я не был занят другими предметами, я написал бы об этом. Я могу доказать, что это не музыка. Там, в театре, со мною сидели Танеев и другие специалисты, и они ничего не могли мне возразить. Для меня очень понятно, почему вагнеристы говорят с таким экстазом. Если хлеб хорош или вода хороша, я просто говорю, что это хорошо; тут нечего восторгаться. Но если приготовлено какое-нибудь странное кушанье, тут я буду из кожи лезть и восторгаться.

Что касается молодых композиторов, то Лев Николаевич о них очень невысокого мнения. В его время появление опер Россини, Верди и др.— это было событие. Теперь об этих Бларамбергах, Направниках, Мусоргских никто и не говорит.

Лев Николаевич был на картинной выставке[119]. Поленовскую картину «Среди учителей» находит очень недурной: фигуры мальчика, старика-книжника, матери. Видно, что художник много думал над ней. По поводу касаткинских «Углекопов» говорил, что тот вечно чудит. Нельзя в живописи показывать то, что в темноте, так как живопись должна иметь дело с тем, что на свету. Обратил внимание на картину Орлова «Переселенцы», которая тронула его; особенно пьяненькая женщина, ласкающая детей. О последней картине я заметил, что она написана несколько грубовато, а, по моему мнению, в искусстве обязательно должна быть красота. Лев Николаевич предостерег меня от увлечения этим: красотой одной вопрос не исчерпывается. Но он также думает, что красота в искусстве должна быть для того, чтобы заставить обратить на себя внимание, притянуть и заставить вникнуть в смысл произведения. Так называемое тенденциозное искусство и теряет многое оттого, что часто бессильно в создании привлекательной формы. От этого терял и Ге, а Поленов обладает этим уменьем и привлекает к себе внимание.

В беседе с депутатом о всякой всячине (по-французски) говорили о литературе. Лев Николаевич вспомнил, что недавно перечитывал одну старую французскую комедию и согласен с мыслью, высказанной в предисловии к ней, что цель искусства — развлечение с поучением.

Я по этому поводу сказал, что давно замечаю у Льва Николаевича сходство во вкусах и мнениях с французскими критиками и писателями. Он ответил, что очень рад этому, так как вообще французы хорошо пишут. Я указал на сходство его мнений о Шекспире с французскими обычными мнениями прошлого столетия, на что он заметил, что французы в этом отношении стали в последнее время «портиться».

В последнее время Лев Николаевич «открыл» несколько отличных философов: Лютославский[120], профессор Казани, статьи которого, написанные сжато и ясно, он прочел по-английски; Шпир[121], из Штутгарта, сочинения которого («Denken und Wirklichkeit» Essays) прислала Льву Николаевичу его дочь, так как Шпир занимался в последнее время серьезным изучением его сочинений и так как у них взгляды совпадают. Шпиру Лев Николаевич предсказывал лет через десять известность (приглашал молодых людей запомнить это), хотя у себя на родине он мало известен, и профессор Грот, например, никогда такого философа и не слыхал. Шпир принадлежит к самым крайним и последовательным идеалистам. Основание для него — Юм и Берклей. Лев Николаевич рад тому, что при ясности его почти популярного изложения возможно более широкое распространение этих идей, которые составят противовес грубым материалистическим воззрениям. Вспомнил при этом, как хорошо умел об этом говорить Страхов.

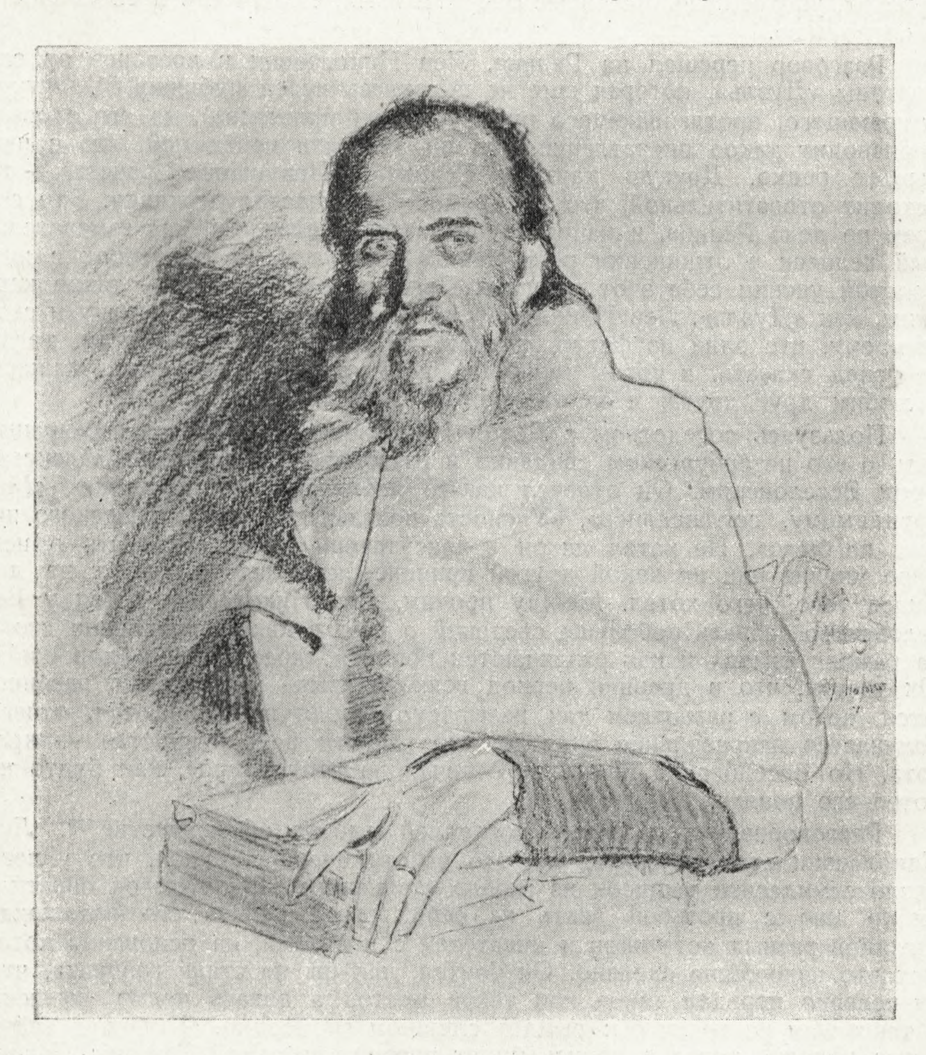
Я рассказал, что перечитывал недавно полемику Страхова и Тимирязева о дарвинизме и что за этой полемикой очень трудно следить. Лев Николаевич того же мнения: «Мне когда-то Николай Николаевич рассказывал об этом; но, как только окончит, я все и забуду: так это скучно и неинтересно». Вообще этой полемике и полемике Страхова с Соловьевым он не сочувствовал. По его мнению, Страхов был на высоте своей серьезности, когда полемизировал с Бутлеровым о спиритизме («О вечных истинах»).

Еще раньше я рассказал о заседании психологического общества, где Гольцев развенчивал Страхова, как литературного критика[122]. Лев Николаевич покачал на это головой и прямо обратился ко мне с вопро-

сом: «Отчего вы не напишете об этом?». Я отвечал, что собираюсь. Тогда Лев Николаевич посоветовал мне обратить внимание на одну черту у Страхова (он об этом говорил и Гроту): его мистицизм в духе Ефрема Сирина и других восточных учителей церкви.

19 апреля 1897 г.

У Толстого ждали Кони, которого Лев Николаевич просил притти часов в десять, так как он сам был в этот вечер, по приглашению Сафо-



Я. П. ПОЛОНСКИЙ
Рисунок И. Е. Репина, 29 марта 1896 г.
Литературный музей, Москва

нова [123], на репетиции оперы «Фераморс», которую ставили ученики консерватории. Возвратившись домой раньше прихода Кони, он на вопросы присутствовавших стал рассказывать, что мотивы оперы Рубинштейна ему очень понравились, но сюжет и масса условностей в постановке, из-за которых все с ожесточением бьются и которые, в сущности, никому не могут доставить удовольствия, показались ему слишком скучными. По обыкновению он отнесся ко всему этому с юмором. Но что боль-

ше всего неприятно подействовало на него, это грубое обращение Сафонова с учениками — исполнителями оперы: «ослы», «болваны», «идиоты» сыпались с его языка.

— Какая невоспитанность, какая грубость нравов! Я не знал, как подойти к нему потом и подать ему руку.

Явился Кони, с несколько обезьяньим лицом, с прекрасными в спокойной задумчивости глазами. Необыкновенная ясность мысли, точный, простой, употребляющий новые обороты язык, склонность и способность к остроумию.

Разговор перешел на Репина. Лев Николаевич в восторге от его картины «Дуэль», которая еще не появилась перед публикой [124]. Фигура умирающего, протягивающего руку убийце («простите»), по его словам, производит такое впечатление, что он заплакал перед ней, что с ним бывает редко. Другую картину Репина — «Искушение Христа» — он находит отвратительной, что он прямо и высказал художнику. Это совсем не дело Репина, и напрасно он за это взялся. Ге был замечательный человек в отношении религиозной живописи. В разговорах с ним Толстой уяснил себе этот предмет. Прямое дело Репина — такие картины, как «Дуэль». Лев Николаевич просил Кони зайти к Репину и сказать ему, что одна из фигур лишняя. «Я долго думал об этом, тогда не успел сказать, и потом меня это мучило. Мы с Репиным уважаем и любим друг друга, и он это поймет».

Пользуясь соседством с Львом Николаевичем, стал его расспрашивать о его петербургском свидании и разговоре с академиком Александром Веселовским. Он отвечал как-то неопределенно: «Ничего», «Мы, повидимому, соглашались», «Ученость показал, хотя педантического ничего не было». Не хотел ли он в присутствии Кони высказать о нем свое мнение или по какой другой причине, но только я так и не добился того, чего хотел. Между прочим, Лев Николаевич хотел у Веселовского забрать побольше сведений о том, в каком отношении стоят на разных языках и как различаются понятия «красивый» и «хороший». Он уверен, что в древний период всякого языка эти понятия различаются, потом с развитием так называемой культуры сливаются, отчего получается неправильное понятие, что главная цель искусства — красота. Но Веселовский прямо не отвечал на этот вопрос, как будто не хотел его понять.

Разговорившись о своей последней работе об искусстве [125], Лев Николаевич стал говорить, что это работа очень сложная, что у него около семидесяти выписок из разных сочинений. При этом он обратился ко мне с просьбой взять на себя труд сверить его изложение взглядов разных эстетиков и писателей с цитатами, на основании которых это изложение сделано. Он боится, как бы не стали говорить, что он неверно передал такое или такое место, а делать прямо выписки в тексте он не хотел бы: выйдет слишком громоздко. Я обещал зайти через неделю, когда рукопись будет переписана рукой Татьяны Львовны, а он просил при проверке «быть построже».

Раньше еще, в начале разговора, я был сконфужен тем, что Лев Николаевич, как-то вскользь, в разговоре упомянул обо мне, как о специалисте по русской литературе. Кони, «пользуясь тем, что он имеет удовольствие говорить с специалистом», несмотря на мой протест на слова Льва Николаевича, спросил, не знаю ли я, какая полная биография Никитина? Одна из присутствовавших дам прежде меня назвала Де-Пуле, и я мог только прибавить, что она печатается при полном собрании сочинений Никитина. Лев Николаевич при этом сказал, что он очень любит Никитина.

В тот же вечер говорили о новой повести Чехова «Мужики» [126]. Все, и в особенности Лев Николаевич, который признает за Чеховым громад-

ный талант, поражены силой рассказа. В конце его какое-то место не пропущено цензурой. Но Лев Николаевич находит и односторонним талант Чехова, именно потому, что он производит такое удручающее впечатление.

28 апреля 1897 г.

В одиннадцать часов утра зашел к Толстому, чтобы забрать у него рукопись и книги. Татьяна Львовна сказала, что отец за работой и она не хотела бы мешать ему, с чем я вполне согласился. Однако, она пошла сказать и возвратилась с известием, что отец просит к себе в кабинет. Лев Николаевич дал мне часть рукописи, в которой излагаются разные эстетические теории от Баумгартена до наших дней, и нагрузил меня книгами, которыми сам пользовался при составлении этой исторической части своей работы. Тут были: Schasler, Kritische Geschichte der Aesthetik; Knighf, The Philosophy of the Beautiful; Veron, L'esthétique; Taine, Philosophie de l'art; R. Kralik, Weltschönheit; Grant Allen, Physiological Aesthetics; Fierens-Gevaert, Essai sur l'art; Holmes-Forbes, The science of Beauty; Sar Peladan, L'art idèalistique; М. Гюйо, Искусство с социологической точки зрения (перевод под редакцией А. Н. Пыпина); В. Шербюлье, Искусство и природа. Новая теория изящных искусств (перевод с французского, СПБ., 1894). Лев Николаевич просил меня сверить его изложение с изложением у этих писателей, нет ли где неточности; выставить страницы цитат, проставить даты, где их нет. Я обещал исполнить работу к 20 мая и завезти ее в Ясную Поляну, когда буду ехать на летние каникулы в Полтавскую губернию.

28 мая 1897 г.

Приехал на станцию Козловка-Засека в пять часов утра, подождал до восьми часов и пешком отправился к Толстым. К удивлению моему, весь дом еще спал, хотя был девятый час. Лакей мне объяснил, что теперь никто не выходит из комнат раньше девяти, даже десяти. Стали готовить на балконе чай, кофе. Я пошел бродить по парку. Всюду заметно, что усадьба опускается.

Наконец на балконе появился Вася Маклаков [127], как его здесь называют. Потом в своей вязаной кацавейке вышел Лев Николаевич. Было действительно свежо, но Лев Николаевич жался уже чересчур. Сел за свою овсянку и стал меня расспрашивать о нашей работе. Я отвечал, что сделал что мог. Сравнил свою работу с тем, что делает на ученых диспутах молодой приват-доцент, который после главной оппозиции подбирает разные мелочи. Высказал мнение, что работу Льва Николаевича нужно было бы дать прочесть специалисту по истории философии, который не затруднялся бы, как я, терминологией, отвлеченностью и мог бы судить, насколько взято из каждого писателя или философа именно то, что характеризует сущность, а не что-нибудь случайное в его эстетических взглядах.

Лев Николаевич отвечал, что он это имел в виду и надеется на профессора Грота. Когда я стал излагать в общем, что я сделал, он сказал, что видит, что я сделал это добросовестно и что это именно ему и нужно, чтобы «не было поводов к кассации», как шутливо повторил он фразу из слов Васи Маклакова. Тот перед этим рассказывал о деле, предстоящем в крапивенском суде, об убийстве одной вдовой из Ясной Поляны своего ребенка. Для защиты этой вдовы он и приехал сюда.

Порядки в доме, сравнительно со временем моего пребывания здесь, изменились: завтрака не было, обедали в два часа, в пять — чай, около

девяти часов ужинали. После нашей беседы Лев Николаевич ушел заниматься.

После обеда, за которым все молчали, Лев Николаевич пригласил меня приняться за работу, и мы отправились в кабинет.

Там все по-старому. Только остатки сапожных инструментов валяются на подоконнике. Против окна стоит стол, над ним полки,— все завалено книгами, очевидно, относящимися к новой работе. Я разложил привезенные с собой десять книг, дал рукопись Льву Николаевичу, а сам стал по бумажке, на которой сделал около двадцати заметок, касающихся различных мест текста Льва Николаевича, указывать, где я нашел ошибки, неточности или странности.

В общем, конечно, это была работа большого напряжения ума и искусства, но иногда были недосмотры. Слова одного мелкого итальянского эстетика приписаны другому; Дарвин-отец смешан с Дарвином-сыном; неточно или по недосмотру неверно переведено force or spirit — сила духа; очевидно, прочитано force of spirit. Лев Николаевич терпеливо выслушивал, охотно исправлял, в некоторых местах не согласился и сказал, что можно оставить и так.

Когда, покончив с этой исторической частью работы, Лев Николаевич предложил мне послушать следующую, представляющую изложение его собственных взглядов на искусство, я сказал, что чувствую свою голову недостаточно свежей для того, чтобы слушать и по достоинству оценить. Он добродушно стал советовать мне поспать, но потом, увлекшись, стал говорить о том, что, чем больше он читает и думает об искусстве, тем более его поражает необыкновенная путаница понятий относительно этого предмета у разных писателей. Для него несомненно, что искусство есть способ посредством красок, звуков, линий, слов передавать чувства одного человека другому. Передавать можно умело и неумело, чувства могут быть хорошие и дурные,— от этого зависит разнообразие видов истинного и неистинного искусства. Цель его работы — показать, что современное искусство стоит на ложной дороге. Теперь в одном Париже около тридцати тысяч художников, и среди всех их работ очень мало истинного искусства. Он стал читать, по моей просьбе, отдельные места из своей работы, потом с увлечением снова заговорил, что его поражает, как это до сих пор все путают эти предметы. Он знает, что опять скажут, что это парадоксы или что это старо, но надеется, что его работа прольет свет на этот вопрос. С печатанием своей работы он не думает спешить, и я просил, если еще нужно будет что-нибудь сделать там, сообщить мне после приезда моего в августе в Москву.

Потом мы отправились с Львом Николаевичем пройтись по лесам к речке. Дорогой Лев Николаевич рассказывал об убийстве, недавно происшедшем у них. Один молодой человек, пришедший из солдат, убил в лесной сторожке старика и старуху и потом убил в селе еще несколько человек. Еще в молодости, рассказывал Лев Николаевич, ему хотелось выступить в суде защитником по одному делу, чтобы сказать обществу, что эти преступники, на которых они с таким остервенением набрасываются,— творение их же рук. Разве тупая, невежественная Скублинская [128] одна виновата в том, что она систематически душила детей? Разве не виноваты вместе с ней те, которые создают столь ненормальные половые отношения? Вскакивает на теле чирей вследствие порчи всей крови организма, а мы бьем по больному месту и думаем этим исцелить себя от болезни.

14 февраля 1898 г.

Лев Николаевич приехал довольно поздно. Он посещал какого-то больного приятеля, старика-купца [129]. Спрашивал меня, что я поделываю;

не занимаюсь ли, кроме учительства, литературой, видел ли свои «Ibidem»[130] в примечаниях к статье об искусстве. Я отвечал, что нарочно купил экземпляр для того, чтобы полюбоваться, и предложил свои услуги впредь, если понадобится.

За чаем он, полный интересов своего эстетического сочинения, говорил о том, что подбирает примеры из всемирной литературы для того, чтобы указать образцы истинного, по его мнению, искусства: 1) прони-

Л. Н. ТОЛСТОЙ НА КОСЬБЕ С ЯСНОПОЛЯНСКИМ КРЕСТЬЯНИНОМ
Фотография 90-х годов
Толстовский музей, Москва

кнутого христианским чувством, 2) объединяющего людей. Нашел и может указать лишь несколько произведений В. Гюго, Диккенса, Достоевского, Шиллера. О «Натане мудром» Лессинга еще подумает, перечитает[131].

Я говорил, что трудно приводить такие примеры, что сразу не сообразишь, что это значит — горстью черпать из моря, а он утверждал, что и черпать-то нечего. Спросил его, под влиянием только-что прочитанной брошюры Вейнберга[132], что он думает о поэзии Гейне. Лев Николаевич отвечал, что причислить сочинения Гейне к истинным произведениям искусства он не может, скорей причислил бы их к дурному искусству. У Гейне безотрадный пессимизм и цинизм, глумление над всеми и

над собой, не смягчаемое любовью, полная неспособность, «свойственная евреям вообще», понять дух христианства. Но тут же он прибавил, что недавно перечитывал Гейне и восторгался им, хотя объясняет это тем, что он сам испорчен нашими искаженными взглядами на искусство. У Гейне удивительное остроумие, необыкновенная ясность ума, когда он характеризует разные философские направления, «как не охарактеризует их ни одна история философии», чрезвычайно умные изречения.

Заговорили об отрицательных фактах биографии Гейне, и по этому поводу Сулержицкий [133] сказал, что его обижало при чтении биографии Руссо его отношение к женщинам.

Лев Николаевич отвечал, что ему никогда это не казалось странным для Руссо. Он всегда был легкомыслен, т. е., лучше, сказать, до того глубокомыслен в том, что занимало его ум, что оказывался вполне беспомощным со своей наивностью в практической жизни и нуждался в ухаживании женщины. Вспомнил, между прочим, исповедь савойского священника из «Эмиля» Руссо, восхищался тем, как там верно передан дух христианства, и спрашивал всех, не читали ли его. Из присутствовавших, оказалось, никто не читал.

Присутствовала, между прочим, какая-то графиня [134]. «Вы, графиня», «вы, граф». У нее Лев Николаевич брал журналы и книжки декадентские, чтобы «понюхать, как скверно пахнут». По этому поводу произошел разговор. Лев Львович только-что пришел от Льва Поливанова [135] и передавал его отзыв об «Искусстве». «И зачем Лев Николаевич упоминает о декадентах? — говорил Поливанов.— Что с ними возиться? Они уже погребены». Возражая на это, Лев Николаевич говорил, что напрасно так мало обращают внимания на декадентов, что это болезнь времени и она заслуживает серьезного отношения.

Дальше был разговор довольно длинный вообще об искусстве, его идеалах (простота, общедоступность). Лев Николаевич охотно и много раз может повторять те мысли, которыми он занят в своей работе. Нового из этого разговора я ничего не вынес. За борт вылетели Шекспир, Данте, Бетховен, Грибоедов, как не общедоступные и потому не истинные.

— Не нужно бояться отбрасывать,— говорил на мое слезное заступничество Лев Николаевич.— Чем меньше останется, тем лучше.

По глазам моим он, верно, видел, что я не верю. После играл Гольденвейзер, и мы разошлись во втором часу ночи.

7 февраля 1899 г.

Дни переменились. Зашел накануне, в субботу, и узнал, что никого нет и что теперь приемные дни — воскресенье. В воскресенье пришел рано, часов в восемь-девять вечера. Еще никого не было.

Состоялось трио [136]. Играли Бетховена: довольно хороший скрипач Алмазов, виолончелист из учеников консерватории, рояль — Гольденвейзер, который превосходно читает ноты. Потом пела романсы дочь Алмазова [137], сильный и довольно приятный голос.

Лев Николаевич, по обыкновению, принимал в музыкантах живейшее участие. Оставлял сейчас же разговор, как только начиналась музыка, усаживался отдельно где-нибудь в углу и слушал. Певица просящим голосом сказала, что она пропоет Чайковского «Травушку». Алмазов-отец по окончании говорил, что не может равнодушно слышать этот романс, так он его захватывает. А Лев Николаевич и до пения сказал, что не любит этих подделок под народные песни, и слушал одним ухом, и по окончании твердил с улыбкой: «Нет».

Поговорить с ним не удалось, хотя он, проходя мимо, и сказал сам:

«А мы с вами и не поговорили». Из обычной свойственной ему деликатности он старается с каждым из гостей сказать несколько слов.

С оживлением стал он расспрашивать какого-то старого своего знакомого, который недавно приехал из Парижа, о тамошней жизни. Тот рассказывал, как шумно, крикливо на парижских улицах, какие неприличные картинки там открыто продают. Лев Николаевич слушал с блестящими глазами. «И бедности не видно? А ведь она есть?».

Приват-доцент Преображенский [138], с которым Лев Николаевич познакомился на его лекции о рентгеновских лучах, за чайным столом уселся рядом с Львом Николаевичем и спросил его: «Как ваша повесть?». Зная, что Лев Николаевич не любит, чтобы его расспрашивали о литературных работах, я удивился, когда он оживленно заговорил: «Стар становлюсь, глупею; уже того настоящего, самого лучшего нет!».

14 февраля 1899 г.

В воскресенье у Толстых был Суриков, художник; разговаривал с Львом Николаевичем. Я подсел к ним. Суриков рассказывал о Суворове, альпийский поход которого он взял сюжетом для своей последней картины [139], описывал его наружность, говорил об его семейных обстоятельствах, чудачествах, народном духе, о том, что из деятелей эпохи Екатерины народ помнит Суворова и Пугачева. Лев Николаевич заинтересовался отношением Суворова к жене, почему он с ней не жил; но ни Суриков, ни я (хотя я и помнил, что недавно где-то были напечатаны письма об этом) не могли удовлетворить его любопытства.

Заговорили о предстоящем пушкинском торжестве. Суриков жаловался, что газеты так надоели, толкуя о столетнем юбилее, что, наверно, у всех будет чувство разочарования. Лев Николаевич чего-то не высказывает вполне. У него есть какой-то свой взгляд на памятники и поминки великих людей; над тем и другим он иронизирует.

Графиня, между прочим, сказала, что мы несправедливо, пристрастно судим царственных лиц, и в пример привела покровительство Николая Павловича Пушкину. Я возразил, что обещание царя быть цензором поэта не было, как скоро оказалось, очень приятным для Пушкина; привел в пример отзыв Николая о «Борисе Годунове» («Лучше было бы сделать в форме романа, à la Вальтер-Скотт») и ответ Пушкина: «Жалею, что не в силах переделать раз написанное». Этот ответ заинтересовал Льва Николаевича; он не знал его. Ему показалось забавным, что Николай Павлович, «этот болван, который до конца своей жизни никак не мог потрафить, где букву ять ставить, и наконец плюнул и стал писать совсем без ять», делал указания, как писать, «такому человеку, как Пушкин».

Я вспомнил, что у Левенфельда [140] рассказывается, как Николай I, узнав, что на четвертом бастионе осажденного Севастополя находится молодой подающий надежды писатель, велел его перевести в более безопасное место на фланг.

— Как же понять психологию этого покровительства писателям? Или он хотел из них создать певцов своего царствования, как Екатерина II? — спросил я.

— Просто, при дворе читают, хвалят. «А где он? Ах, под Севастополем! Ma chère, как опасно! Надо его перевести»,— отвечал улыбаясь Лев Николаевич.

Разговор перешел на студенческие беспорядки [141]. К Льву Николаевичу являлись студенты с просьбой написать в их защиту, принесли ему свои прокламации. Лев Николаевич перечитал их, говорит: «Скучно, написано по-мальчишески». Но в общем он сочувствует протесту студентов, хотя еще не ясно представляет себе, как помочь делу.

— Молодцы англичане, добились Habeas Corpus. И нам бы что-нибудь подобное.

Между Суриковым и Львом Николаевичем завязался спор. Суриков не очень складно и находчиво доказывал, что духоборы поступают нехорошо, заставляя других заботиться о своей охране, и что если мы перестанем уничтожать животных, то они заполнят землю.

Против первого Лев Николаевич возражал, указывая на пример квакеров в Америке, которых индейцы не трогали, а против второго говорил, что природа сама уравновешивает количество живых существ; что лягушек, например, всегда приблизительно одинаковое число.

Заговорили о картине Сурикова. Лев Николаевич, между прочим, вспомнил, что, проходя недавно мимо храма Христа, останавливался и рассматривал горельефы на внешних стенах храма. Они ему не нравятся, и он причисляет их к ненужному виду искусства. Когда их делали, Лев Николаевич ходил в мастерскую брать уроки скульптуры [142]. «Конечно, из этого ничего не вышло».

Я рассказал, что прошлым летом был в Веймаре и рассматривал в доме-музее Гёте картины, им самим написанные; по-моему мнению, неважно.

Лев Николаевич сказал, что и он был в Веймаре и посетил дом Гёте. «Хороший городок, тихий. Тогда там не только не было извозчиков, но и публичных женщин и публичных домов».

11 апреля 1899 г.

Узнал у Стороженко, что Софья Андреевна больна. То же подтвердила и Е. И. Свечина [143], которая рассказывает, что, как только Лев Николаевич начнет говорить о болезни жены, у него текут слезы и он их вытирает кулаком. Пришедши к Толстым, узнал, что Софье Андреевне лучше, но она еще не выходит из комнаты.

Лев Николаевич где-то был и пришел часов в десять. Подсел к диванному столу рассматривать новое издание рисунков Эдельфельда, которые ему очень нравятся. Подсел и неизвестный мне господин. Андрюша сообщил, что это князь М. Волконский, «типичный правовед» [144]. Он — писатель-романист и бывший редактор «Нивы». Живет постоянно в Дрездене, наезжает в Москву, потому что это его родина; работает, пишет, но все не доволен своей работой и все печалится, почему у него не выходит так, как у Льва Николаевича.

— Вот у вас: «Да не может быть!». Это такое... такое... Почему это мне не пришло в голову?

— Да что же тут такого необыкновенного? — рассмеялся Лев Николаевич. Впрочем, скромность Волконского и то, что он все не доволен своей работой, Лев Николаевич одобряет.

Волконский написал издателю Марксу письмо по поводу «Воскресения». Убеждает его, что нет никакой надобности преследовать тех, кто перепечатывает этот роман [145], так как «Нива» и без того вся раскупается, а, между тем, судебным преследованием он набросит тень на Льва Николаевича и доставит огорчение всем его почитателям. Лев Николаевич благодарил его за это письмо. Рассказывает, что Маркс особенно злится на Черткова. Тот за границей собирает с переводчиков деньги в пользу духоборов.

Волконский оказался интересен своими рассказами, касающимися литераторов. Много декламирует наизусть комических стихов В. Соловьева, которые нравятся Льву Николаевичу, забавно передразнивает напыщенную, в нос декламацию Полонского.

Зашел разговор о последнем. Я рассказал, что с ученицами устраивал вечер Полонского. Лев Николаевич его и за поэта не признает.

— Увлекался я когда-то Пушкиным, Лермонтовым; потом в Петер-

бурге указали мне на Тютчева, которого я полюбил; Фета тоже, но меньше. Некрасов никогда поэтом и не был. Алексея Толстого провозгласили поэтом, а потом Полонского. Майков блестящ сравнительно с ним. Полонский глуп, никогда не мог ни одной вещи выдержать.

Волконский спросил Льва Николаевича, читает ли он Буренина.

— Как же, читаю. Он пишет иногда очень остроумно. Но странно бывает иногда несправедлив. Нападает, например, на Репина, этот замечательный талант.

Заговорили о драматических опытах Буренина. Некоторые роли писаны им для известных актеров. Лев Николаевич возмущается этим обы-

Л. Н. ТОЛСТОЙ
Фотография 900-х годов
Толстовский музей, Москва

чаем; находит, что этот грех был и у Островского. Островского он делит вообще на две половины. Первую ставит высоко, особенно «Свои люди— сочтемся». Его трогает конец этой пьесы, когда Большов падает с высоты своего величия, зритель жалеет его и негодует на жестокого Подхалюзина. Высоко ставит также «Бедность не порок», «Не так живи, как хочется». Падение начинается, когда, из желания угодить либеральной критике, Островский стал писать «Доходное место» и громить «темное царство». Жадова, этого студента-резонера, Лев Николаевич находит из рук вон плохим. Я передал рассказ (из «Русских Ведомостей») очевидца, который наблюдал впечатление этой пьесы на фабричную публику. Она осмеяла Жадова за знаменитую сцену в трактире. «Все, мол, были плохи,

а теперь сам хуже всех». Лев Николаевич нашел это вполне естественным. Неодобрительный отзыв его о «Грозе» известен. Недавно с Софьей Андреевной видел он в театре «Горячее сердце» и ахал от невозможности сцен. Сцену об'яснения городничего с просителями («А принеси законы!») находит хоть и смешной, но выдуманной.

Заговорили опять о Полонском. Лев Николаевич рассказал свою последнюю размолвку с Полонским. Тот написал в 1896 г. «Заметки по поводу одного заграничного издания и новых идей Л. Н. Толстого». Кроме того, в одном частном письме (к Лескову?) резко отозвался о последнем направлении деятельности Льва Николаевича. Тогда Лев Николаевич написал ему письмо [146], в котором жалеет, что их прежние дружеские отношения расстраиваются. Полонский ответил, что он очень мучился теми резкими фразами, которые у него вырвались, и просит их забыть. Эту черту Лев Николаевич очень ценит, признавая Полонского добрым и искренним человеком.

Я рассказал, что купил на вербах «Разговоры Гёте, собранные Эккерманом», в переводе Аверкиева, и зачитался ими. Лев Николаевич очень оживленно подхватил:

— Сколько стоит? Я читал по-немецки. Очень интересно.

Я высказал мнение, что книга тем хороша, что Эккерман до наивности просто передает все.

— Да, а вы знаете статью Дружинина о Джонсоне, известном лексикографе? [147]. У него был свой Эккерман — Босвелль. Тот все записывал, что скажет Джонсон. «Сегодня доктор за обедом сказал то-то». Много глупого.

Собираясь уже расходиться, заговорили о студенческих делах. Лев Николаевич убежден, что вся эта история так даром не пройдет; что все это послужит к переменам к лучшему. Ему не нравятся только те студенческие бюллетени, в которых упрекают и ругают профессоров. Студенты приходили просить, чтобы Лев Николаевич написал о Ливене [148]. Вся эта история не выдумана. Тюремный надзиратель [149] рассказывал ее сам Льву Николаевичу. Он было и хотел писать, как рассказывал Андрюша, но потом оставил: «Что я напишу?». Значит, не вытанцовывалось. Но он, очевидно, сочувствует петербургским студентам, о которых слышно, что они держатся в забастовке еще крепче, чем московские. Он с сочувствием рассказывает о том, что Тимирязев и Грот подавали в отставку. Находит также хорошим то, что я сообщил со слов профессора Хвостова [150]: что некоторые профессора не намерены теперь протестовать, чтобы не увеличивать смуту в умах, и думают сделать это после, когда волнение уляжется.

6 апреля 1900 г.

Пошел в Хамовники часов в девять вечера. В зале был приготовлен чай, но никого не было. Послышались шаги. Лев Николаевич вышел из кабинета, где против обыкновения занимался.

— Как вы седеете, Владимир Федорович!

Повел в кабинет и показал гранки статьи «Новое рабство». Статью для «Северного Курьера» еще будет переделывать. Там говорится о том, что на Казанской железной дороге грузовщики — хуже рабочей скотины, работают без перерыва по тридцати шести часов, зарабатывая рублей тридцать в месяц. Статья разрастается, он углубляется в этот вопрос.

За чаем были Лев Николаевич, Дунаев, Сергей Львович и я. Сергей Львович заспорил с отцом об изданном в Германии законе Гейнце против безнравственности. Лев Николаевич удивляется возмущению либеральной прессы против этого закона:

— Мы окружены насилиями, и люди работают по тридцати шести часов. Об этом молчат. А вздумало правительство умело или неумело запретить показывать на улице голых баб, и все закричали.

Сергей Львович пытался доказывать, что «эта мерзость» никого не возбуждает.

Лев Николаевич горячился:

— Хороший мужик с негодованием смотрит на такие картины. Вон в конках выставили бабу с голой грудью и руками — мыло «Молодость». Теперь на киосках объявление о папиросах «Мерси». Барышня с улыбкой курит. Зачем это? Кто это выдумал, что задницы и груди — искусство? Мне рассказывали, что один гимназист над календарем с голыми бабами занимался онанизмом. На моих глазах оголение все увеличивается, и образованные люди этому сочувствуют и возмущаются законом Гейнце.

Оба спорщика так разгорячились, что стали говорить друг другу: «Чего же ты сердишься?». Я спешил домой и раскланялся.

19 апреля 1900 г.

Вечером был у Толстых. Лев Николаевич подсел ко мне с чаем и печеньями. Стал ему рассказывать о своих магистерских экзаменах и о том, как Герье меня допекал источниками об Августине и английской революции.

— А я бы об Августине лучше вас ответил. Я недавно перечитывал его «De civitate Dei» и «Confessions».

Я стал рассказывать о некоторых книгах, прочитанных мною к экзамену, между прочим, о «Происхождении современной Франции» Тэна. Лев Николаевич не любит Тэна: ему неприятна теория происхождения идей из ощущений. Меня давно интересовало узнать его мнение об этом, хотя следующее место из «Отрочества» показывает, что он тогда уже высказывал мысли, сходные с Платоном:

«Мне кажется, что ум человеческий в каждом отдельном лице проходит в своем развитии по тому же пути, по которому он развивается и в целых поколениях, что мысли, служившие основанием различных философских теорий, составляют нераздельные части ума; но что каждый человек более или менее ясно сознавал их еще прежде, чем знал о существовании философских теорий» [151].

Я ему напомнил это место. Он хоть и сказал: «Да что там «Отрочество», но помнит это место и стал развивать мысль подробнее:

— Идеи — божественного происхождения. Они метафизичны. Но у одного они загрязнены жизнью больше, у другого меньше. Развитие и заключается во взаимном очищении этой вечной истины от наслоений.

— Но в чем же тогда прогресс, если абсолютные идеи вечны и неизменны?

— Прогресс в том, что очищенная истина охватывает все большее и большее количество людей.

С Тэна перешли на Герье, с которым Лев Николаевич когда-то толковал об этом. Статьи Герье о Тэне в «Вестнике Европы» он находит очень слабыми:

— Герье — настоящий профессор: он все это перечитал, умеет рассказать, связать, но дальше — ничего самостоятельного.

Лев Николаевич перешел к барышням и заговорил с ними о панораме «Голгофа» Яна Стыки, которую он находит интересной, хотя лица в ней слишком банальны. Около одиннадцати часов он ушел к себе, и я, поскучав некоторое время, отправился домой.

10 декабря 1900 г.

Обещал товарищам узнать у Льва Николаевича, как он отнесется к приглашению участвовать в учено-литературном сборнике в честь на-

шего учителя — профессора Н. И. Стороженко [152]. Предчувствие меня не обмануло. Лев Николаевич участвовать не будет. Он находит странной самую идею издания такого сборника:

— Вот издан прекрасный сборник «Курьер» в пользу голодающих. Это я понимаю. Тут есть цель. А там — почему сборник, а не пирожки или что-нибудь другое?

Я объяснил, что этот способ выражения своего уважения и любви у нас практикуется; указывал на пример сборника О. Ф. Миллера; прибавил, что я лично хотел бы выразить чем-нибудь свою любовь к Николаю Ильичу.

— Я сам люблю его и сочувствую ему, особенно теперь, когда он так жалок со своею болезнью и так легко, с таким юмором переносит ее. Но всюду не поспеешь. Я так много отказывался от участия в сборниках. Почему же я буду участвовать именно здесь?

Был пианист Гольденвейзер, но почти не играл. Между ним и Сергеем Львовичем зашел специальный разговор о гармонии русских песен. Лев Николаевич принимал в нем участие с пониманием, хотя специальных познаний в гармонии у него нет. Восхищался хором балалаечников [153], который он недавно слышал в одном знакомом доме.

У меня с Львом Николаевичем зашел разговор о книге В. Соловьева «Три разговора». Я рассказывал, что книга имеет большой успех, вышла вторым изданием, что в ней есть много остроумного, но много и странного. Лев Николаевич не любит В. Соловьева. Что это? Раздражение человека, которого Соловьев высмеивает в этой книге за его учение? Причина, очевидно, лежит глубже. По мнению Льва Николаевича, Соловьев такой же православный, верит в откровение, но старается оправдать все это философскими теориями. Но главное, он неискренний.

— Помню, какие-то художники забавлялись тем, что по пяти точкам, расставленным как попало, нужно было нарисовать человеческую фигуру (голова, руки, ноги). У Соловьева есть такие точки, и по ним он может тоже рисовать разные фигуры. Он и не просвещенный человек, хотя все знает. У меня были вот два мужика. Мы говорили с ними о боге. Они оба гораздо просвещеннее его.

Теперь Лев Николаевич занят Конфуцием [154]. Из Румянцевской библиотеки через Стороженко и при помощи каталожного ему доставили кучу английских книг о Китае. Он находит очень глубоким учение Конфуция о том, что для счастья нужно устроить государство, личность, определить понятия добра и зла. Я в данный момент мало интересовался Конфуцием и не поддержал этого разговора.

Мне давно хотелось разузнать, не знает ли чего Лев Николаевич об отношении Тургенева к Виардо. Я нашел случай перейти к пессимизму Тургенева и рассказал, что И. Иванов в биографии Тургенева [155] винит Виардо в том, что Тургенев в ее доме чувствовал себя одиноким. Лев Николаевич книги Иванова не видал, но думает, что едва ли это так:

— Виардо любила его и ухаживала за ним. Хотя я думаю, что они не были в связи. Мне рассказывал Берс [156], что в Петербурге, когда Виардо еще только выступала перед публикой, она как-то заболела. Берс ее магнетизировал, как тогда это называли. В состоянии гипноза ее брали за косу, и вот всякий раз, когда прикасался Тургенев, она отклонялась. Берс это объясняет так, что Виардо не чувствовала к Тургеневу женского влечения. Вообще их отношения для меня так и остались тайной.

За ужином ели цыплят и пили пиво. Лев Николаевич приглашал меня сделать то же, а сам ел похлебку, кашу, какой-то кисель и компот. Дама, которую он любезно занимал разговором, спросила, какие газеты он читает.

— Очень много: «Русские Ведомости», «Новости», «Северный Курьер», «Россию», «Новое Время». Но я как читаю — в полчаса все.

Очень был заинтересован статьей Буквы[157] («Русские Ведомости», № 243) о международной выставке картин. Спрашивал, кто такой Буква, и соглашался с ним, что в современной живописи мало идейности.

Ге потому и стоит выше их, что у него было много мыслей, что он даже разбрасывался, хватался то за одно, то за другое.

Лев Николаевич торопит сына Ге воспользоваться согласием Солдатенкова издать альбом произведений отца.

Илья собирался уезжать с Мишей. Они едут охотиться на лосей. Лев Николаевич пожелал им не убить ничего или убить случайно корову, чтобы убедиться, как это скверно. Так здесь проводится непротивление злу насилием. Старик с седой бородой каждый день твердит одно и то же, а жизнь течет своим порядком.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Рассказ «Нахлебники» вошел в сборник рассказов А. П. Чехова «Невинные речи» (М., 1887).

[2] Письмо к Т. М. Бондареву от 23 июня 1894 г. о проекте Генри Джорджа.

[3] Шмидт Мария Александровна (1844—1911), жила в усадьбе Т. Л. Толстой Овсянниково, верстах в пяти от Ясной Поляны. О ней имеется книга: **Горбунова-Посадова** Е. Е., Друг Толстого М. А. Шмидт, изд. Государственного Толстовского музея, М., 1929.

[4] Карно Мари-Франсуа (1837—1894), с 1887 г. президент Французской республики. 13/25 июня 1894 г. был убит итальянским анархистом Казерио.

[5] Издания М. К. Элпидина.

[6] Вероятно, Михайловский Виктор Михайлович (1846—1904), историк, приват-доцент Московского университета.

[7] «Из дневника Амиеля». Перевод с французского М. Л. Толстой, под редакцией и с предисловием Л. Н. Толстого. Печатался в 1894 г. в «Северном Вестнике» (№№ 1—7). Отдельное издание — «Посредник», М., 1894.

[8] 13 июня 1894 г. Толстой послал почтовую открытку заключенному в петербургской тюрьме Михаилу Аркадьевичу Сопоцько. Будучи вскоре освобожден, Сопоцько сообщил Толстому, что это письмо не дали ему прочесть «за неуместные выражения, в нем находящиеся». М. А. Сопоцько в 1892—1895 гг. разделял взгляды Толстого. Впоследствии он стал ярым церковником и резко выступал в печати против Толстого.

[9] Религиозно-анархическое сочинение Толстого «Царство божие внутри вас» вышло в свет в 1894 г. в Берлине в двух изданиях.

[10] Гольцев Виктор Александрович, либеральный публицист и критик. Его статья «А. П. Чехов. Опыт литературной характеристики» была включена затем в книгу: Гольцев, Литературные очерки, М., 1895. Толстой лично знал Гольцева, который в 1889 г. обратился к нему с просьбой сообщить ему свои взгляды на искусство. Сформулированные тогда Толстым тезисы об искусстве Гольцев привел в своей публичной лекции, а впоследствии — в статье «Об искусстве» (см. его книгу «О художниках и критиках», М., 1899).

[11] Спасович Владимир Данилович (1829—1906), юрист, критик, историк литературы. Пользовался популярностью, как выдающийся оратор и один из лучших защитников по политическим делам. Критические статьи его печатались в «Вестнике Европы» и «Северном Вестнике».

[12] Пятидесятилетний юбилей литературной деятельности Фета торжественно праздновался в Москве 30 января 1889 г.

[13] Пантелеев Лонгин Федорович (1840—1919), шестидесятник, землеволец. Автор ряда мемуаров. С 1877 г. занимался издательской деятельностью.

[14] Стороженко Николай Ильич (1836—1906), профессор Московского университета по кафедре западноевропейской литературы, шекспиролог. Толстой был знаком с ним с 1880 г. и пользовался его содействием в получении книг из Румянцевской библиотеки, в которой Стороженко состоял старшим библиотекарем.

[15] Веселовский Александр Николаевич (1838—1906), академик. Толстой познакомился с ним позднее, в феврале 1897 г., в Петербурге. См. ниже запись от 19 апреля 1897 г.

[16] Веселовский Алексей Николаевич (1843—1918), профессор Москов-

ского университета по западноевропейской литературе, позднее почетный академик. Был знаком с Толстым с 1883 г.

[17] «Солдатская памятка» М. И. Драгомирова побудила Толстого написать свою «Солдатскую памятку» (1901). О возмущении Толстого драгомировской памяткой см. Юбилейное издание сочинений Толстого, т. LIV, стр. 475.

[18] Книга Н. Я. Данилевского «Россия и Европа» выдержала три издания. Н. Н. Страхов выступил горячим защитником панславизма Данилевского.

[19] Николаев Ю., Тургенев. Критический этюд, М., 1894.— Под псевдонимом Ю. Николаев печатал свои статьи Говоруха-Отрок Ю. Н. (1852—1896), в 70-х годах участник «процесса 193-х», позднее сотрудничавший в реакционных «Московских Ведомостях».

[20] Джордж Генри (1839—1897), американский экономист, сторонник национализации земли. Последние 25 лет своей жизни Толстой пропагандировал его проект о едином налоге на землю и содействовал переводу ряда его сочинений на русский язык. В июне 1894 г. Толстой был занят изложением проекта Генри Джорджа. 23 июня он написал об этом проекте письмо Т. М. Бондареву.

[21] Янжул Иван Иванович (1846—1914), экономист, профессор Московского университета, с 1895 г. академик. Толстой был с ним знаком с начала 80-х годов.

[22] Берс Вячеслав Андреевич (1861—1907), младший брат С. А. Толстой.

[23] Об этом Толстой записал в своем дневнике: «Пошел на песочные ямы. Там мужики, влезая в яму, работают с опасностью для жизни... После обеда пошел с Вячеславом, решил сделать карьер» (запись от 26 июня 1894 г.).

[24] Маркс Адольф Федорович, издатель «Нивы».

[25] Арнольд Метью, английский поэт и критик. Его статья «Задачи современной критики» была переведена и напечатана по рекомендации Толстого в «Северном Вестнике» (1895, № 6), а затем вышла брошюрой в издании «Посредника».

[26] Ге-младший Николай Николаевич (род. в 1857 г.), сын художника Н. Н. Ге; ряд лет бывший единомышленником Толстого. В семье Толстых его называли «Количка». Приведенные здесь В. Ф. Лазурским слова подтверждаются записью Толстого в его дневнике от того же числа: «Разговор с В[ладимиром] Ф[едоровичем] о критике. Вспомнил знаменитое Количкино выражение, что критика — это когда глупые говорят об умных» (запись от 27 июня 1894 г.).

[27] Об отношении Толстого к В. П. Буренину см. выше, стр. 237.

[28] Волынский А. (А. Л. Флексер), написал несколько статей о Гоголе. Здесь, вероятно, имеются в виду статьи, написанные по поводу «Материалов для биографии Гоголя» В. Шенрока и «Очерков гоголевского периода» Чернышевского. См. «Северный Вестник», 1892, № 10.

[29] Президент Французской республики, избранный после смерти Карно.

[30] В июне 1894 г. Американский железнодорожный союз организовал в Чикаго грандиозную стачку железнодорожников. Стачка была подавлена военной силой и полицейскими и судебными мерами.

[31] Кузминский Александр Михайлович (1844—1917), судебный деятель, в то время старший председатель Киевской судебной палаты. Был женат на сестре С. А. Толстой, Татьяне Андреевне.

[32] В трех верстах от Ясной Поляны, через станцию Козловка-Засека, Московско-Курской ж. д.), в 1894 г. проехал царский поезд, везший Александра III в Крым.

[33] Зиновьев Н. А., с 1887 по декабрь 1893 г. состоявший тульским губернатором.

[34] Абамелик-Лазарев Семен Семенович, князь. Его имение Голощапово находилось верстах в сорока от Ясной Поляны. С середины 80-х годов не раз бывал у Толстого.

[35] Флеров Ф. Г., московский врач, лечил младших детей Толстого.

[36] Давыдов Николай Васильевич (1848—1920), судебный деятель, давнишний знакомый Толстых, автор воспоминаний о Толстом.

[37] Лебедева Ольга Сергеевна (род. в 1854 г.), ориенталистка, председательница и основательница Общества востоковедения, переводчица. В 1894 г. была с Толстым в переписке.

[38] Это письмо (от 28 июня 1894 г.) см. в книге «Лев Толстой и В. В. Стасов», редакция Д. Д. Комаровой и Б. Л. Модзалевского, изд. «Прибой», Л., 1929, стр. 129—133.

[39] Предисловие Толстого к сочинениям Мопассана было впервые напечатано в книге: Гюи де Мопассан, Монт-Ориоль, перевод Л. Н. Никифорова, изд. «Посредник», М., 1894.

[40] Вельш Анна, учительница музыки и английского языка. Занималась тогда с десятилетней Александрой Львовной. Позднее ею была открыта в Москве музыкальная школа.

[41] В третьем издании «Очерков и рассказов» Вл. Короленко (М., 1888) этой фразы уже нет.

[42] С конца июня по 8 июля 1894 г. Толстой работал над письмом к Джону Кенворти, автору книги «Anatomy of Misery» (перевод под названием «Анатомия нищеты» напечатан в сб. «Свободное слово», редакция П. И. Бирюкова, 1899, № 2 (Опех

près Genève). Впоследствии Кенворти бывал у Толстого и напечатал несколько книг и статей о нем.

[43] Ге П. Н. (1859—1922?), младший сын художника, служил в то время в Нежинском уездном земстве. Впоследствии много писал по истории искусства.

[44] См. печатающуюся в настоящем томе переписку Толстого с П. М. Третьяковым.

[45] Сын Толстого (род. в 1879 г.).

[46] Ванечка (род. в 1883 г.), младший ребенок Толстых, умер в 1895 г. от скарлатины.

[47] Оболенский Николай Леонидович (1872—1934), внучатный племянник Толстого. В 1897 г. женился на его дочери Марии Львовне.

[48] Чупров Александр Иванович (1842—1908), доктор политической экономии, профессор Московского университета, публицист (сотрудник «Русских Ведомостей»), общественный деятель.

[49] Зверев Николай Андреевич (1850—1919), юрист, профессор Московского университета по энциклопедии права, впоследствии товарищ министра народного просвещения, затем сенатор и член Государственного совета по назначению. Реакционер. Толстой знал его лично с конца 80-х годов и всегда отзывался о нем резко отрицательно. Впоследствии Зверев напечатал статью «Граф Л. Н. Толстой, как художник. Опыт эстетической критики», П., 1916.

[50] Андреевский Иван Семенович (род. в 1856 г.), педагог-историк, директор глуховской учительской семинарии. Брат матери В. Ф. Лазурского.

[51] Гусев Александр Федорович (1842—1904), профессор Казанской духовной академии, автор ряда книг и статей, направленных против Толстого. В 1902 г. ставил в печати вопрос о предании Толстого суду, как виновника разгрома церкви, совершенного крестьянами с. Павловка. См. Юбилейное издание сочинений Толстого, т. LIV, стр. 554.

[52] Тернер Карл (Turner Charles, 1832—1903), переводчик русских классиков на английский язык, автор ряда книг по английской и русской литературе. О Толстом напечатал книгу «Count Tolstoi as novelist and thinker», London, 1888.

[53] Джозеф Краускопф напечатал о своем посещении Толстого воспоминания: «My visit to Tolstoi»,— «Sunday discourses before the Reforme Congregation Keneseth Israel, series XXIV, 1910—1911. Philadelphia, 1911.

[54] Брамсон Леонтий Моисеевич, юрист, автор работ о быте русских евреев. Впоследствии член Государственной думы от Ковенской губернии, трудовик.

[55] Письмо к Кенворти — см. прим. 42-е.

[56] Schopenhauer A., Parerga und Paralipomena.

[57] Ответ Толстого Н. Д. Фоминой, написанный 11 июля 1894 г., печатается в Юбилейном издании сочинений Толстого, т. LXVII. В дневнике Толстой называет книгу Марселя Прево «глупой, гадкой, мерзкой» (запись от 11 июля 1894 г.).

[58] Розанов В., Легенда о Великом инквизиторе. Опыт критического комментария, СПБ., 1894.

[59] Дьяков Дмитрий Алексеевич (1823—1891), друг молодости Толстого.

[60] Толстой в 1889 г. прочел и высоко оценил роман А. И. Эртеля «Гарденины, их дворня, приверженцы и враги». Через двадцать лет, в 1908 г., он написал к этому роману предисловие. Ценил он и роман Эртеля «Смена» (читал его в 1891 г. в «Русской Мысли»). Эртеля Толстой знал лично.

[61] Федоров Н. Ф. (1828—1904), автор «Философии общего дела», служил «каталожным» в библиотеке Румянцевского музея. Толстой познакомился с ним еще в начале 70-х годов.

[62] Касаткин Николай Алексеевич, художник.

[63] В Денежном переулке в Москве, в доме князя Волконского, Толстые жили зиму 1881/82 г.

[64] С В. К. Сютаевым Толстой познакомился осенью 1881 г., побывав у него на родине, в Тверской губернии. Зимой 1881/82 г. Сютаев гостил у Толстого в Москве.

[65] Дунаев Александр Никифорович (1850—1920), единомышленник Толстого, один из директоров Московского торгового банка.

[66] Толстому очень нравилась эта мысль, и он неоднократно повторял ее, обычно не упоминая, что это мысль не его, а Писемского.

[67] Толстой Сергей Николаевич (1826—1904).

[68] Вагнер Николай Петрович, известный зоолог, профессор Петербургского университета, беллетрист (псевдоним — Кот-Мурлыка), убежденный спирит.

[69] Скобелев Михаил Дмитриевич, участник русско-турецкой войны 1877—1878 гг.

[70] Последняя картина Ге «Распятие», запрещенная и снятая с выставки. Вследствие отказа Третьякова приобрести эту картину для его галлереи, сын Ге, Николай Николаевич, позже увез ее за границу. В настоящее время картина находится в Женеве.

[71] После запрещения и снятия картины «Распятие» с выставки, она летом 1894 г. была привезена в Ясную Поляну и стояла в мастерской Татьяны Львовны.

[72] Баратынская Екатерина Ивановна, урожд. Тимирязева, переводчица, сотрудница «Посредника», сочувствовавшая взглядам Толстого.

[73] Беркли Джордж (1685—1753), английский философ-спиритуалист. Перевод из Беркли «Посредником» выпущен не был.

[74] Добротворский Петр Иванович (1839—1908), беллетрист и публицист, уфимский общественный деятель. Корреспондент «Русских Ведомостей» и других газет.

[75] «Из переписки И. С. Тургенева с семьею Аксаковых. Сорок лет тому назад. 1852 — 1857 гг.», — «Вестник Европы», 1894, №№ 1 и 2.

[76] Захарьин Григорий Антонович, известный московский терапевт. См. о нем стр. 230.

[77] Тихомиров Лев, в то время сотрудник реакционных «Русского Обозрения» и «Московских Ведомостей».

[78] Гольцев В., А. П. Чехов (опыт литературной характеристики) — «Русская Мысль», 1894, № 5.

[79] Мак-Гахан Варвара Николаевна (1850 — 1904), урожд. Елагина, вдова американского журналиста Я. Мак-Гахана, сотрудница американских газет и русских журналов и газет. С 1883 г. корреспондентка либеральных «Русских Ведомостей».

[80] Капнист Павел Алексеевич, граф (1848—1904), в то время попечитель Московского учебного округа.

[81] Аполлов Александр Иванович (ум. в 1894 г.), священник ставропольской епархии, поэт и беллетрист, сотрудник «Посредника», автор смелой «Исповеди», представленной им духовному начальству (не напечатана). С конца 80-х годов состоял в переписке с Чертковым и Толстым. В 1893 г. снял с себя духовный сан. Аполлов является прообразом священника Василия Никаноровича в драме Толстого «И свет во тьме светит».

[82] У находившегося в ссылке князя Дмитрия Александровича Хилкова, в то время единомышленника Толстого, в октябре 1893 г., по распоряжению Александра III, были отобраны двое его детей от гражданского брака с Ц. В. Винер. Переданы они были хлопотавшей об этом матери Хилкова для воспитания в православном духе. Об этом см. «Похищение детей Хилковых. Материал собран Влад. Чертковым», изд. «Свободное слово», Christchurch, 1901. По поводу этого возмутительного акта насилия Толстой в январе 1894 г. написал письмо к Александру III, но успеха оно не имело.

[83] Новиков Алексей Митрофанович (ум. в 1925 г.), живший в 1889 — 1891 гг. у Толстых в качестве домашнего учителя. Впоследствии профессор медицинского факультета Ташкентского университета. Автор ценных воспоминаний о Толстом.

[84] Благоволин Сергей Иванович, впоследствии доктор медицины и профессор Московского университета (акушерство и гинекология).

[85] Маклаков Алексей Алексеевич, впоследствии доктор медицины и профессор офталмологии Московского университета.

[86] Браун Евгений, филолог, в то время приват-доцент Московского университета по кафедре истории западноевропейских литератур.

[87] Магистерская диссертация молодого в то время историка литературы Василия Михайловича Истрина (род. в 1865 г.), впоследствии профессора Новороссийского университета, а затем академика (с 1907 г.).

[88] О древнеримском поэте Марциале читал (в 1889 г.) публичные лекции доктор римской словесности Благовещенский Н. М. (1821 — 1892), ранее бывший профессором Казанского, Петербургского и Варшавского университетов.

[89] Имеется письмо Толстого к Сергееву от 18 августа 1894 г.

[90] Напечатанные в «Северном Вестнике» за 1893—1895 гг. «Записки А. О. Смирновой» вскоре вызвали сомнение в отношении их подлинности. В связи с этим, редактировавшая этот журнал Л. Я. Гуревич в написанной ею «Истории «Северного Вестника» рассказала о том, как она получила текст «Записок» от дочери А. О. Смирновой (см. «Русская литература XX века. 1890—1910», редакция С. А. Венгерова, изд. «Мир», кн. II, стр. 247 — 248).

[91] Бирюков П. И.

[92] Рассказ плодовитого писателя Е. А. Маркова (1835 — 1903) «Рабочий поезд» («Неделя», 1894, № 8). Толстой знал Маркова с начала 80-х годов.

[93] Прозоров Л. — псевдоним старого журналиста Полонского Леонида Александровича (1833—1906), в то время постоянного сотрудника «Северного Вестника» (он вел отделы «Провинциальная печать», «Внутреннее обозрение» и «Политическая летопись»).

[94] О Николаеве и Тихомирове см. прим. 19-е и 77-е.

[95] Семенов С. Т. Крестьянские рассказы, с предисловием Л. Н. Толстого, изд. «Посредник», М., 1894. В июльских номерах (1894) журналов, названных в записи Лазурского, напечатаны отрицательные отзывы об этой книге. Писатель-крестьянин Сергей Терентьевич Семенов (1868—1922) с самого начала своей литературной работы пользовался большим расположением Толстого.

[96] Гарин Н. — псевдоним Михайловского Н. Г. (1852 — 1906), беллетриста.

[97] Боткин Василий Петрович (1811—1869), критик, автор «Писем из Испании». Статья его о Фете была напечатана в «Современнике» за 1857 г. (№ 1), где Толстой в свое время и прочел ее. Толстой и Боткин были близки. Переписку их см. в Юбилейном издании сочинений Толстого, т. X.

[98] Рассказ Герцена, в котором описывается женитьба «Базиля» Боткина на француженке Арманс, носит заглавие «Эпизод из 1844 года» и печатается, как дополнение к четвертой части «Былого и дум». См. Герцен А. И., Полное собрание сочинений и писем, под редакцией М. К. Лемке, т. XIII, Гос. изд., П., 1919, стр. 234 — 241. Рассказ этот действительно юмористичен. В начале его Герцен говорит, что «эпизод этот можно было бы назвать: «Арманс и Базиль — философ из учтивости, христианин из вежливости и Жак Жорж-Санда, делающийся Жаком фаталистом». В передаче «эпизода» Толстой не точен.

[99] Толстой, вероятно, имел в виду «Литературные заметки» А. Л. Волынского, напечатанные в «Северном Вестнике» (1894, №№ 10 и 12): 1) «Журналистика шестидесятых годов и Писарев» и 2) «Новые деятели в журналистике шестидесятых годов и полемические бури».

[100] После смерти Александра III (20 октября 1894 г.) реакционные «Московские Ведомости» возгласили: «...Нет более великого Миротворца, успокоившего измученную, русскую землю отрадной верой в вековые силы, создавшие и хранившие ее... Вся Европа признавала его Миротворцем и за последние годы привыкла думать и верить, что, пока жив Александр III, мирная жизнь народов обеспечена...». После этой статьи в русской и даже в иностранной прессе полились потоки прославлений и восхвалений «мудрого миротворца».

[101] Студенты Московского университета устроили 30 ноября 1894 г. бурную демонстрацию на лекции историка Ключевского, который после смерти Александра III «прочел в своей аудитории дифирамб» ему и его царствованию (а затем выпустил свою лекцию отдельной брошюрой). Эта история вызвала репрессии. См. Орлова В. И. Студенческое движение Московского университета в XIX столетии, М., 1934, стр. 269 — 271.

[102] Грот Николай Яковлевич (1852—1899), философ. Его имя упоминается в связи со студенческими волнениями 1894 г. в вышеназванной книге В. И. Орлова (стр. 277).

[103] Это письмо Толстого к Н. Н. Страхову неизвестно.

[104] В. О. Ключевский в 1893 — 1895 гг., по предложению Александра III, читал его сыну, вел. кн. Георгию Александровичу (жившему на Кавказе), курс русской истории. В связи с этим Ключевский делал большие перерывы в чтении лекций в Московском университете.

[105] Докторская диссертация Ключевского «Боярская Дума древней Руси» первоначально печаталась в «Русской Мысли», 1880—1881 гг.

[106] О Николаеве см. прим. 19-е.

[107] См. прим. 25-е.

[108] Страхов Федор Алексеевич (1861—1923), автор книги и статей философского содержания в духе мировоззрения Толстого.

[109] Игумнов Константин Николаевич, известный пианист, ныне профессор Московской консерватории.

[110] Исакович Вера Ивановна (1875—1920), с 1897 г. Скрябина (первая жена композитора), пианистка. В то время училась в Московской консерватории. С 1905 г. преподавала в Московской консерватории.

[111] Шпажинский Ипполит Васильевич (род. в 1848 г.), драматург, посредственные пьесы которого в 80-х и 90-х годах пользовались некоторым успехом.

[112] Бессонов Петр Алексеевич (1828 — 1898), собиратель и публикатор произведений народного творчества, с 1878 г. профессор Харьковского университета. Толстой был с ним знаком с 60-х годов.

[113] Лазурская Анна Николаевна (1876—1896), первая жена В. Ф. Лазурского, ученица Московской консерватории.

[114] См. «Воспоминания об А. И. Герцене Н. А. Огаревой-Тучковой», — «Северный Вестник», 1896, № 2, стр. 82—99.

[115] Л. Я. Гуревич написала это письмо Толстому 7 февраля 1896 г., а 2 марта она напечатала в «Новом Времени» сообщение о поступке молодого Шелгунова, причем дала объяснение своего поведения. В письме к Л. Я. Гуревич от 12 марта 1896 г. Толстой писал, что слышит выражения искреннего сочувствия ей и одобрения ее поступка.

[116] Н. Н. Страхов умер 21 января 1896 г.

[117] Виницкая-Будзианик Александра Александровна, писательница.

[118] Гольденвейзер Александр Борисович (род. в 1875 г.), известный пианист, профессор Московской консерватории. Он познакомился с Толстым незадолго до описываемого В. Ф. Лазурским вечера.

[119] На XXIV Передвижной выставке Толстой обратил внимание на картины: «Среди учителей» В. Д. Поленова, «Углекопы — смена» Н. А. Касаткина (обе нахо-

дятся в Государственной Третьяковской галлерее) и «Проводы переселенцев» Н. В. Орлова. Репродукции с названных картин см. в издании Н. П. Собко «Иллюстрированный каталог XXIV Передвижной выставки», СПБ., 1896.

[120] Лютославский Викентий Францевич (Lutoslawski Wincenty, род. в 1863 г.), польский философ, в 90-х годах приват-доцент Казанского университета по кафедре философии. Позднее читал лекции в Кракове, Лозанне, Женеве и Лондоне. В 1903 г. основал в Кракове общество «Eleusis», ставившее себе задачей этическое воздействие на людей. Впоследствии стал ярым националистом и католиком. На английском языке вышел его труд «The Origin and Growth of Plato's Logic» (London, 1897).

[121] Шпир Африкан Александрович (1837—1890), русский философ, живший в Германии и писавший свои сочинения на немецком и на французском языках.

[122] См. Гольцев В. А., Н. Н. Страхов, как художественный критик, — «Вопросы Философии и Психологии», 1896, кн. XXII.

[123] Сафонов Василий Ильич, известный дирижер, в то время директор Московской консерватории.

[124] Толстой был у Репина, в его мастерской, в начале февраля 1897 г., когда приезжал в Петербург.

[125] «Что такое искусство?».

[126] Повесть Чехова «Мужики» появилась в «Русской Мысли» в 1897 г. (№ 4).

[127] Маклаков Василий Алексеевич. См. о нем на стр. 564.

[128] Варшавская акушерка Скублинская, бравшая к себе на воспитание так называемых «незаконнорожденных» младенцев и затем доводившая их до смерти голодом и жестоким обращением. По появлении в феврале 1890 г. газетных сообщений о раскрытых преступлениях Скублинской, Толстой записал в дневнике, что «прочел ужасы детоубийства в Варшаве», и на другой же день начал статью по поводу дела Скублинской. Набросок этой незаконченной статьи Толстого см. в Юбилейном издании сочинений Толстого, т. XXVII.

[129] Врашиин И. И., единомышленник Толстого, умирал тогда от рака. См. «Дневник Л. Н. Толстого 1895—1899», редакция В. Г. Черткова, М., 1916, стр. 227.

[130] То-есть подстрочные сноски в статье Толстого «Что такое искусство?», печатавшейся тогда в «Вопросах Философии и Психологии».

[131] В «Что такое искусство?» Толстой не назвал Лессинга в числе «образцов высшего искусства».

[132] Вейнберг П., Генрих Гейне, его жизнь и литературная деятельность (серия «Жизнь замечательных людей», изд. Ф. Павленкова, СПБ., 1897).

[133] Сулержицкий Леопольд Антонович (1872—1916), в то время единомышленник Толстого, впоследствии известный театральный деятель. О нем имеется ряд интересных воспоминаний (Т. Л. Сухотина-Толстая, Станиславский, Горький и др.).

[134] Вероятно, Вера Федоровна Сологуб, дочь графа Федора Львовича Сологуба, поэта-юмориста, художника и музыканта (ум. в 1890 г.).

[135] Поливанов Лев Иванович, известный московский педагог-словесник, в гимназии которого раньше учились младшие сыновья Толстого.

[136] Играли трио Бетховена: на скрипке — Алмазов А. И., доктор, единомышленник Толстого, на виолончели — Сац Илья Александрович, впоследствии известный композитор, и на фортепиано — А. Б. Гольденвейзер. См. «Дневники С. А. Толстой, 1897—1909», редакция С. Л. Толстого, изд. «Север», М., 1932, стр. 116.

[137] Алмазова Вера Алексеевна, в замужестве Вендрих. Впоследствии московский врач.

[138] Преображенский Петр Васильевич, физик, приват-доцент Московского университета.

[139] Резкий отзыв Толстого об этой картине Сурикова слышал 5 марта 1899 г. С. И. Танеев. См. «Дневники С. А. Толстой, 1897—1909», стр. 273—274.

[140] Лазурский прочел воспоминания немецкого переводчика и первого биографа Толстого Рафаила Левенфельда о посещении им в 1890 г. Ясной Поляны, напечатанные тогда в русском переводе («Русское Обозрение», 1897, № 10, стр. 566). Однако, сообщение Левенфельда к Николаю I относиться не могло, так как первый севастопольский рассказ Толстого, «Севастополь в декабре», был напечатан уже после смерти Николая I — при Александре II.

[141] Об отношении Толстого к студенческому движению см. ниже, стр. 651.

[142] В 1866 г. Толстой пытался заниматься скульптурой и ходил в Москве к известному скульптору Н. А. Рамазанову, в его мастерскую. По мемуарам известно только о двух скульптурных работах Толстого того времени: он вылепил голову жены и еще вылепил лошадь. Впоследствии, уже в 1891 г., позируя лепившему его И. Я. Гинцбургу, Толстой сам вылепил из пластелина голову этого скульптора (хранится в Институте литературы в Ленинграде, воспроизведена на стр. 463).

[143] Свечина Елена Ивановна, вдова тульского помещика, автора охотничьих рассказов, Ф. А. Свечина. Была начальницей Усачевско-Чернявского женского училища, в котором тогда преподавал В. Ф. Лазурский. Свечины были знакомы с Толстыми.

[144] Волконский Михаил Николаевич, князь (род. в 1860 г.), исторический романист и драматург (пародия «Вампука» и др.). В 1892—1894 гг. редактор «Нивы». Сотрудник «Нового Времени», «Русского Вестника», «Русского Знамени» и т. п. Впоследствии член Союза русского народа.

[145] Издатель «Нивы» А. Ф. Маркс печатно угрожал, что будет преследовать законным порядком издателей, которые станут опубликовывать текст новых глав «Воскресения» одновременно с «Нивой». Об этом см. Юбилейное издание сочинений Толстого, т. LXXII, стр. 105—106 (письмо Толстого к Марксу от 27 марта 1899 г.).

[146] Письмо Толстого к Я. П. Полонскому от 7 апреля 1898 г. напечатано с вводной заметкой Н. Н. Гусева в первом сборнике «Толстой и о Толстом», М., 1924, стр. 28—32.

[147] Джонсон Самюэль (1709—1784), английский писатель, знаменитый составитель словаря английского языка. Подробную биографию его написал Джемс Босвелль, его восторженный почитатель. По поводу этой книги А. В. Дружинин напечатал большую статью «Джонсон и Босвелль», вошедшую в его Собрание сочинений, т. IV, СПБ., 1866. Толстой читал эту статью в первой публикации, в «Современнике».

[148] Студент Московского университета Г. Э. Ливен, будучи арестован за участие в студенческом движении, 6 апреля 1899 г. в Бутырской тюрьме кончил жизнь самоубийством. См. о нем ниже, стр. 658.

[149] Вероятно, Иван Михайлович Виноградов, служивший в Бутырской тюрьме надзирателем и неоднократно бывавший у Толстого (в хамовническом доме) в период его работы над «Воскресением». Воспоминания Виноградова о Толстом см. в третьем сборнике «Толстой и о Толстом», М., 1927, стр. 48—53.

[150] Хвостов Вениамин Михайлович, с 1899 г. профессор Московского университета по кафедре римского права, пользовавшийся покровительством Боголепова (сначала ректора университета, затем министра народного просвещения). В ноябре 1898 г., во время защиты Хвостовым докторской диссертации, студентами был устроен «скандал». См. Орлов В. И., Студенческое движение Московского университета в XIX столетии, М., 1934, стр. 314—320.

[151] «Отрочество», гл. XIX.

[152] «Под знаменем науки», юбилейный сборник в честь Николая Ильича Стороженко, изданный его учениками и почитателями, М., 1902.

[153] Толстой 7 декабря 1900 г., будучи в гостях у своих знакомых, Глебовых, слушал оркестр балалаечников под управлением В. В. Андреева, впоследствии организовавшего «Великорусский оркестр».

[154] Записи дневника Толстого за ноябрь и декабрь 1900 г. показывают, что он в это время был занят изложением китайского «великого учения» и «учения середины». См. Юбилейное издание сочинений Толстого, т. IV, стр. 55—62 и 70. 14 ноября Толстой записал: «Занимаюсь Конфуцием, и все другое кажется ничтожным». См. там же, стр. 62, 436 и др.

[155] Иванов Ив., И. С. Тургенев. Жизнь, личность, творчество, СПБ., 1896.

[156] Берс Андрей Евстафьевич (1808—1868), модный в свое время московский врач, отец С. А. Толстой.

[157] Буква — псевдоним Василевского Ипполита Федоровича, журналиста, редактора «Стрекозы», постоянного фельетониста «Русских Ведомостей».

КАК СОЗДАВАЛОСЬ „ВОСКРЕСЕНИЕ“

ВОСПОМИНАНИЯ Л. О. ПАСТЕРНАКА

Публикация Н. Гусева

Художник Леонид Осипович Пастернак является автором многих произведений, связанных с Толстым. Ему принадлежит целый ряд зарисовок с Толстого и его семейных: «Толстой на косьбе», «Толстой в кругу своей семьи» и пр. Кроме того, Л. О. Пастернак иллюстрировал крупнейшие художественные произведения Толстого — «Войну и мир» и «Воскресение», а также легенду «Чем люди живы». Художественные произведения Л. О. Пастернака, относящиеся к Толстому и его творчеству, в том числе и иллюстрации к «Воскресению», хранятся, главным образом, в Толстовском музее в Москве.

Л. О. Пастернак познакомился с Толстым в 1893 г. в Москве, на Передвижной выставке, которую Толстой осматривал еще до ее официального открытия. На выставке, в числе прочих, фигурировала картина Пастернака «Дебютантка». Когда Савицкий, проводивший Толстого по выставке, объяснил ему, что эта картина «молодого талантливого художника» Пастернака, Толстой сказал, что он знает его картины и следит за их появлением. Савицкий предложил Толстому познакомить его с художником; Толстой охотно согласился. «Еще теперь, — писал много лет спустя Пастернак в своей автобиографии, — ощущаю я приятную теплоту его большой мягкой руки. С своей особенной добротой и той изысканной учтивостью высшей русской аристократии, со свойственной Толстому манерой — нового, незнакомого человека схватывать «в целом», с ног до головы, сказал он мне много лестного, — что я едва мог понять от волнения, — что-то относительно моих работ, которые он видел...».

Пастернак сообщил Толстому, что он иллюстрирует «Войну и мир» и просил позволения показать свои рисунки. Толстой пригласил его к себе в Хамовники.

Публикуемые воспоминания относятся ко времени работы художника над иллюстрированием «Воскресения», т. е. к 1898—1899 гг. Впервые для работы по иллюстрированию «Воскресения», Л. О. Пастернак, как это записано в дневнике С. А. Толстой, приехал в Ясную Поляну 6 октября 1898 г. Вторично Пастернак приезжал для той же цели в середине ноября того же года. Уведомляя бывшую в Москве жену об его приезде, Толстой 17 ноября писал ей, что находит его иллюстрации «прекрасными» («Письма гр. Л. Н. Толстого к жене», М., 1915, стр. 560).

Написанные очень живо и задушевно, воспоминания Л. О. Пастернака проливают новый свет на создание одного из крупнейших произведений Толстого.

Пользуемся случаем указать неточность в этих воспоминаниях, написанных в 1928 г. Автор утверждает, что Толстой проставил баллы на коллекции его иллюстраций к «Воскресению» и что эта коллекция с отметками Толстого хранится в Толстовском музее в Москве. Здесь какая-то ошибка: коллекции рисунков Пастернака к «Воскресению» с отметками Толстого в Толстовском музее нет. На Толстовской выставке 1911 г. в Историческом музее в Москве была представлена коллекция оттисков с иллюстраций Л. О. Пастернака к «Воскресению», с проставленными на некоторых из них Толстым баллами, при чем в каталоге выставки было указано, что эта коллекция составляет собственность художника. Дальнейшая судьба ее нам не известна. В Толстовском музее имеется лишь письмо Толстого к Л. О. Пастернаку от 22 ноября 1904 г., в котором Толстым проставлены баллы за иллюстрации Пастернака не к «Воскресению», а к легенде «Чем люди живы».

ИЗ МОИХ ВОСПОМИНАНИЙ О ТОЛСТОМ

Одному очень известному современному нашему писателю я много лет назад (кажется, в 1906 г.) подарил напамять сделанный тогда мной офорт с моего же большого портрета Толстого. Портрет этот взят был мной несколько символично, монументально и суммарно: сам стихийный, Толстой — в стремлении вперед, наперекор бушующей стихии. Так приблизительно я его себе представлял. Писатель тут же прикнопил офорт к свободной стене; в каком-то возбуждении глядя на него в упор, сжал он в кулак правую руку и характерным движением снизу вверх, изображая проталкивающую силу, сквозь стиснутые зубы протяжно произнес:

— Ух!.. Как он клином вошел во всю литературу!..

Это очень удачное и образное определение. Но Толстой клином вошел не только во всю литературу, но и во все человечество. Тургенев, видавший на своем веку достаточно выдающихся людей, близко знавший Толстого, преклонявшийся перед его гениальным даром, первым назвавший его «великим писателем русской земли», находил, что Толстой — самый интересный человек во всей России. Мы можем сказать больше: не только в России, но и во всем мире едва ли за последние полстолетия XIX в. был равный ему, чье слово встречалось бы с таким живым интересом и к которому так чутко прислушивался бы весь мир.

Ровно 35 лет назад я в первый раз в моей жизни со стороны увидал Толстого. Это мое первое от него впечатление я впоследствии и передал в вышеупомянутом портрете. О первой моей неожиданной встрече с ним, на одной выставке картин, и знакомстве с ним, о моем последовавшем затем посещении Толстого в Хамовниках, где мне пришлось впервые показывать свои первые иллюстрации к «Войне и миру», вызвавшие его одобрение и восторги, о дальнейших моих встречах и частых посещениях Ясной Поляны, где Толстой однажды впервые читал мне * одну свою неоконченную повесть, видимо, предназначая ее для иллюстрирования,— обо всем этом мною рассказано в другом месте. Здесь я в общих чертах коснусь лишь некоторых эпизодов из периода создания Толстым романа «Воскресение».

Поистине, на мою долю выпало особенное счастье: я не только жил в его время, не только встречался с ним и близко знал его, но и писал с него портрет, писал его в окружении семьи и друзей, делал наброски с него в разные моменты наших встреч, много иллюстрировал его произведения и т. д. Этот толстовский цикл моих художественных работ, разбросанный по музеям, частным собраниям в России и за границей и особенно полно представленный в Толстовском музее в Москве, — это и есть, собственно, мои «мемуары» о нем, мемуары, выраженные пластическими средствами — кистью, красками, карандашом и т. д. Но не все можно рассказать кистью. Кто прочтет на картине, что сказал Толстой, как отнесся к тому или иному явлению? Как кистью скажешь, что величайшим счастьем и незабываемым переживанием моей жизни было для меня то, что мне довелось одновременно и почти совместно с ним работать, когда он писал «Воскресение», а я тут же иллюстрировал его!

Имей я похвальную привычку вести дневник, несомненно, под датой одного из пасмурных октябрьских дней 1898 г. значилась бы сделанная в волнении запись: «Сейчас заходила к нам Татьяна Львовна и передала: «Папа́ просит вас приехать в Ясную Поляну,— он написал новую повесть и хотел бы, чтобы вы иллюстрировали; и если вам можно, то, пожалуй-

* Эта сцена представлена мною в картине «Толстой и Ге», находившейся в Румянцевском музее. На место меня (не желая себя афишировать) я поместил его старого друга, художника Ге. На третьем стуле (против Л. Н.) сидел П. И. Бирюков, известный биограф Толстого.

ста, не откладывайте. Папа̀ хочет, чтобы вы скорее приступили к чтению рукописи. Он торопится с изданием повести, так как выручка с нее им предназначена для помощи переселяющимся духоборам; подробности он уж вам сам расскажет; телеграфируйте ему, когда вы порешите выехать, чтобы вам выслали лошадей на Засеку». Возможно ли! Давнишняя мечта! Не верится... Еду завтра же...».

Назавтра, устроив кое-как свои дела и протелеграфировав Л. Н., я выехал с ночным поездом в Ясную Поляну. В вагоне я отдался своим думам, не будучи в состоянии уснуть: «Какая это новая вещь? Да... лестно-то лестно, и радостно, но сумею ли, совладаю ли?.. Не шутка! Наконец осуществится то, о чем я мечтал в последние годы, с той минуты, когда в тот памятный вечер выслушал впервые восторженные похвалы моим иллюстрациям к «Войне и миру». Значит, Л. Н., вероятно, прочел-таки во мне мое горячее желание иллюстрировать что-нибудь из его новых вещей! И тогда, значит, в Ясной, в присутствии П. И. Бирюкова, чтение Львом Николаевичем рукописи мне было с этой же целью?.. Оправдаю ли ожидания его?.. Что ждет меня впереди?!».

На первой маленькой станции после Тулы — Козловке-Засеке, где надо было сойти с поезда и откуда ехали в Ясную, уже ждали меня лошади. Раннее, серое, непросыпающееся, холодное, сырое утро. Знакомый путь. Вниз, потом в гору. По сторонам не совсем еще опавшее золото осени. Весело бегут лошади. Невзирая на волнение, как всегда, зарисовываю характерные аллюры лошадей: равномерный галоп гнедой пристяжной, качающуюся и заметную лишь по крупу рысь коренного иноходца. Синий кафтан кучера. Надо непременно написать! Трудно зарисовывать, — подкидывает пролетку. Яснополянские знаменитые столбы-ворота. Еще веселее подъем по знаменитой аллее к дому. Еще большее волнение. Лихой поворот к крыльцу. Толстой на крыльце.

Несмотря на ранний час, Л. Н. уже поджидал меня на крыльце.

— Ну, вот и прекрасно, что приехали, благодарствуйте!

И опять, как каждый раз при виде дорогого, ласково и радостно встречающего очаровательного Л. Н., в душе какое-то радостное волнение; и снова знакомое ощущение пожатия большой и мягкой, теплой руки.

— Ну, идемте наверх — вот, сначала позавтракайте.

И пока я внизу в знакомой передней снимал шубу и пока мы по лестницам поднимались наверх в знаменитый белый зал-столовую, где в этот час обыкновенно шумел самовар для одних и приготовлен был для других горячий кофе («вы — кофе или чая?»), Толстой рассказывал мне о своих планах помощи духоборам и что он для этой цели вновь стал писать «художественное» (так у Толстых назывались его художественные произведения в отличие от религиозно-философских).

В этот раз меня поразили особенная бодрость, какой-то подъем у Толстого. Так бывало с ним каждый раз, когда он давал волю скопившемуся заряду художественного творчества, которое он считал в последний период своей жизни грешным. Таким жизнерадостным, бодрым и веселым я видел его не раз; вместе с ним оживали и близкие его, особенно счастлива бывала Софья Андреевна; но в этот раз перемена в нем поразила меня особенно сильно.

В доме все еще спали; за завтраком, наливая мне чай, передавая подробности будущей нашей работы, Толстой был как-то нервен, пожалуй, даже нетерпелив. Это выразилось уже и в том, как он поджидал меня на крыльце, и в том, как он хлопотал вокруг самовара и почти торопил с завтраком:

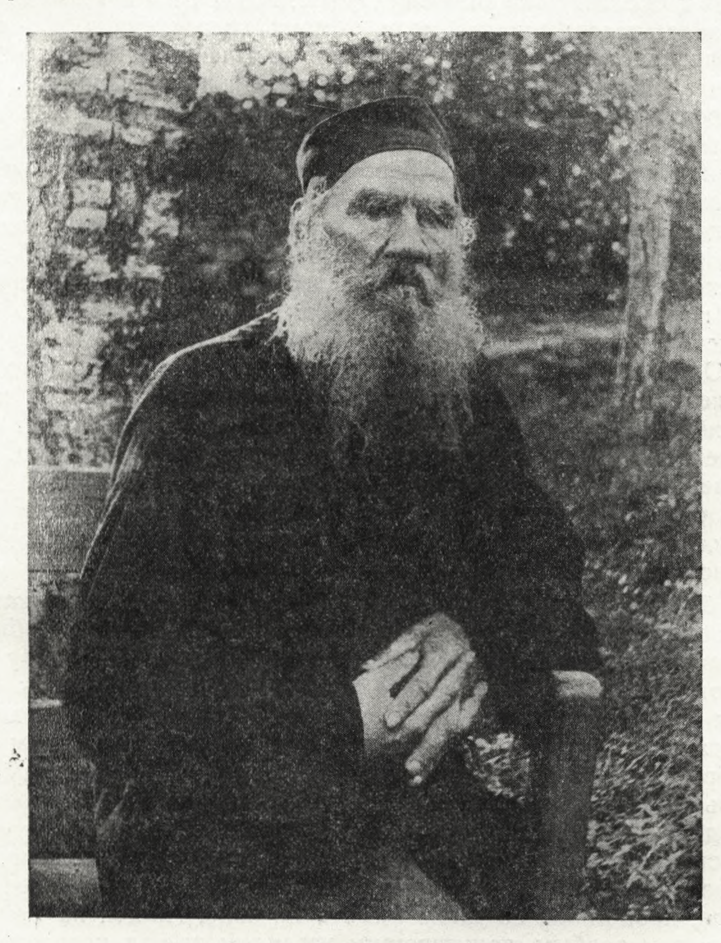
— Ну вот, позавтракайте и начните читать.

Особенно поразило меня (чего мне от Толстого никогда не приходи-

лось слышать) то, что, коснувшись своей новой, видимо, увлекшей его повести (обыкновенно он очень неодобрительно отзывался о своих художественных произведениях), он вдруг стал очень серьезен и под конец сказал:

— Это — лучшее, по-моему, из всего, что я когда-либо написал. Я думаю, что вам понравится.

Я устроился внизу, где и прежде живал, и жадно набросился на чтение. «Воскресение» тогда не было еще большим романом в трех частях,



Л. Н. ТОЛСТОЙ
Фотография 1896 г.
Толстовский музей, Москва

а сравнительно небольшой повестью, размером около трети разросшегося впоследствии романа. Уже с первых строк я почувствовал: ага! опять прежний, настоящий Толстой — «Войны и мира», «Анны Карениной» и т. д. И чем дальше я читал, тем больше и больше приходил в восторг, тем больше вживался в изображенное и — как раньше в его прежних шедеврах — имел перед собой живую, захватывающую натуру, которая меня, как художника, всегда так влекла больше, чем к другим писателям, именно к Толстому. Помню я, как в первый же день, когда я едва успел прочитать несколько глав, Толстой, не скрывая естественного любопытства, тихо вошел ко мне и с добродушным выражением лица спросил:

— Не помешаю? Ну, как находите?

И по тому волнению и восторгу, который невольно сказался в моих словах и в моем лице, Толстому не трудно было удостовериться, что я искренно захвачен началом. Это появление у меня в комнате «автора» было трогательно и характерно для Толстого.

Дни проходили у меня за чтением рукописи и за моими заметками, а к обеду и вечернему чаю все домашние сходились в верхнем белом зале. Лев Николаевич имел обыкновение, гуляя со мной после чая по диагонали зала, расспрашивать меня о моих впечатлениях. Во время этих яснополянских прогулок шли у нас чрезвычайно интересные беседы и обмен мыслями и наблюдениями как из реальной жизни, так и из всего мною прочитанного. Мне удавалось нередко заинтересовать его моими личными наблюдениями и обрисовкой подмеченных мною особенностей во внешности и характере его персонажей, на что, в свою очередь, Толстой, с его удивительным юмором и живостью, рассказывал часто забавные вещи. Так, например, коснувшись намеченного мною изображения лихача Нехлюдова, мы разговорились о лихачах вообще — об этом чисто московском, своеобразном типе — с их курьезной, характерной внешностью, грубой манерой обращения и т. д.

Толстой тут же рассказал следующий случай:

— Однажды ночью жена почувствовала себя плохо (это было, кажется, перед ее родами), и я, накинув впопыхах полушубок и какую-то шапку, побежал за доктором. По дороге ни одного извозчика; лишь на Пречистенке наткнулся на лихача. Я к нему: «Ну-ка, братец, нельзя ли свезти меня поскорее туда-то». Не заметив во мне «барина», не трогаясь с места, он медленно повернул только в мою сторону голову *(тут Л. Н. изобразил этот поворот)*, презрительно взглянул на меня через плечо и протяжно и строго процедил: «По силе дрова руби!..».

Но бывало также, что темы в эти прогулки касались, как я потом только понял, очень больных вопросов, часто, быть может, биографического характера. Помню, как, обмениваясь мыслями по поводу прочитанной утром одной из сложнейших сцен «Воскресения» — как Нехлюдов крадется к Катюше в ту памятную ночь, я стал наивно развивать свой взгляд на непростительные укоренившиеся взгляды в высшем обществе, по которым украсть платок сочтется за позорнейшее преступление, а украсть жизнь у соблазненной жертвы не только не зазорно, но, наоборот, создаст такому герою еще какой-то ореол — особливо у дам, что еще бессмысленнее, казалось бы. Нечто в этом роде, видимо, волнуясь и горячась, говорил я, в то время, как Толстой, становясь все серьезнее и мрачнее, продолжал со мною шагать по зале, глядел на меня, не спуская глаз, тем особым, испытующим взглядом из-под нависших, сдвинутых бровей, который как бы просверливает вас и видит насквозь... Мне даже стало жутко.

— А знаете, — сказал он, — я вот смотрю на вас, и мне ужасно нравится нравственная высота, на которой вы стоите.

Мне стало неловко; я почувствовал, что как-то попал, куда не следовало, и перевел разговор на другую тему.

Желая, как я уже сказал, материально помочь духоборам при их переселении в Канаду, Толстой решил на этот раз отступить от своего принципа — не брать гонорар за свои произведения — и был весь озабочен тем, чтобы получить как можно больше денег за свою повесть, которая должна была одновременно, в один и тот же день, появиться в свет в России и в переводах на иностранные языки в остальной Европе и Америке. Издатели и посредники во всех странах наперерыв старались заполучить новое, давно с лихорадочным нетерпением ожидавшееся произведение величайшего в то время во всем мире писателя. Любопытен при

Л. Н. ТОЛСТОЙ НА КОСЬБЕ

Зарисовки Л. О. Пастернака

Толстовский музей, Москва

этом следующий эпизод: первоначально Толстой вел переговоры с одним французским журналом, где «Воскресение» должно было появиться в отдельном приложении с моими иллюстрациями; ознакомившись, однако, с содержанием повести, редактор отказался ее печатать, находя ее для «благовоспитанных» девиц и мелкого буржуа — его абонентов — неподходящей по своей «безнравственности»... Как-раз при мне в Ясную приезжал представитель редакции петербургского иллюстрированного журнала «Нива», где впервые должно было появиться «Воскресение», условливаться с Толстым о гонораре. Толстой тут же предложил и мне войти с ним в переговоры. Не имея еще ясного представления о том, какие у меня выйдут иллюстрации, весь охваченный заботой лишь о художественных достоинствах будущих моих работ, не думая вовсе о гонорарах и условиях, я сгоряча и необдуманно подписал такой невыгодный контракт, что потом всю жизнь сожалел о нем. Толстой, узнав по отъезде представителя редакции журнала о моей глупости, упрекал меня за непрактичность:

— Знайте, что контракты пишутся обыкновенно с тем и так, что один непременно хочет надуть другого.

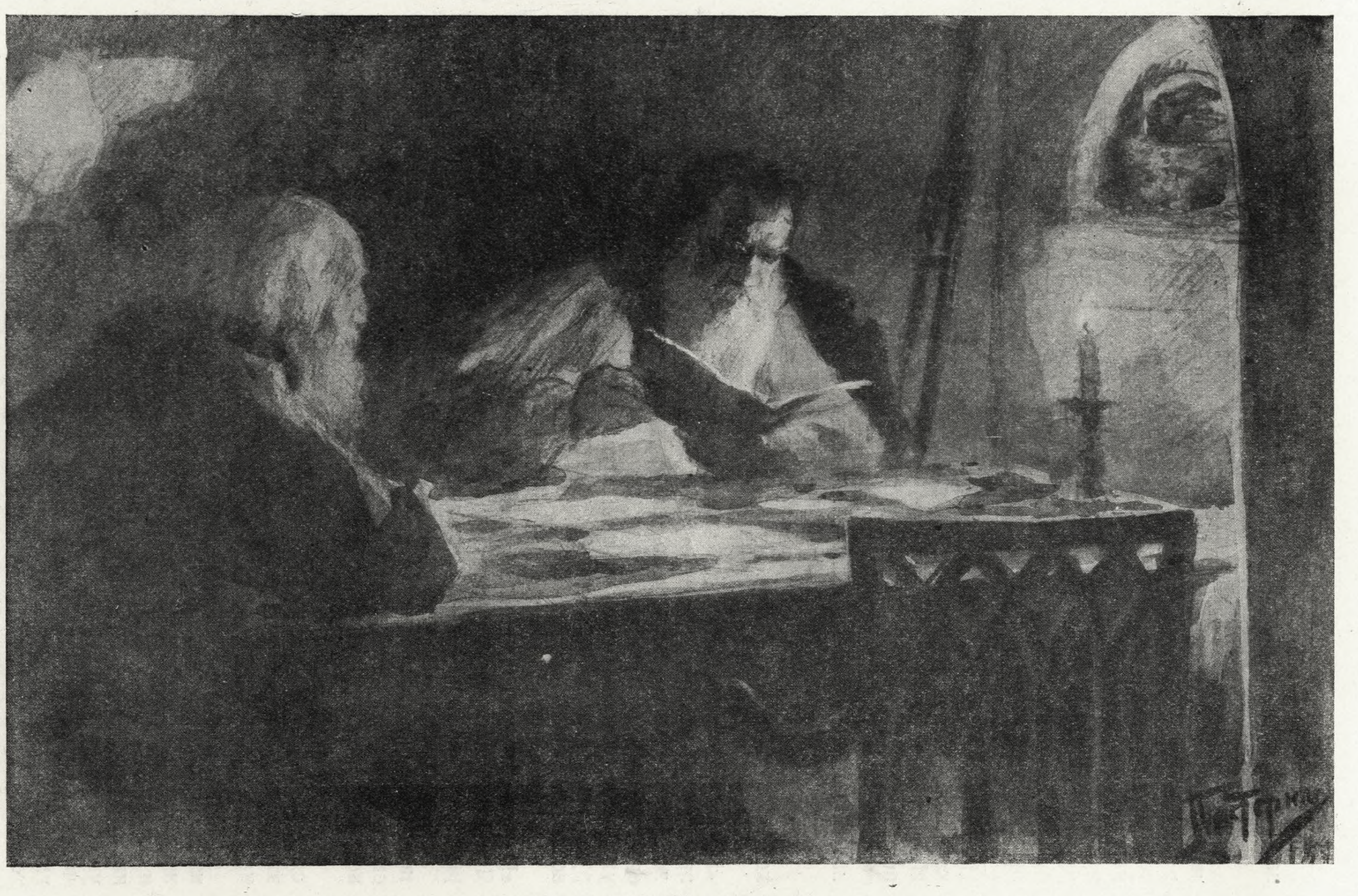
Так, днем за чтением рукописи, вечерами в беседах с Толстым, прошло несколько незабываемых дней. Увлечение мое прочитанным было так велико, я так живо представлял себе предстоявшую мне художественную работу, которая буквально меня заливала и за которую я хотел скорей взяться дома, что, не дочитав повести до конца (оставалось лишь то, что Толстой дописывал), не думая о предстоящих трудностях и об огромной ответственности, сломя голову, решил — берусь! что будет, то будет — и помчался домой делать первые эскизы, с намерением вскоре вернуться. Времени впереди было достаточно, чтобы успеть создать нечто большое и значительное.

Тем временем шли дальнейшие переговоры и обширная утомительная переписка с иностранными издателями, и уже печатались всюду объявления о предстоящем появлении нового произведения Толстого с моими иллюстрациями. Имея в виду и заграничного читателя, я задался целью, пользуясь иногда содержанием лишь как поводом, в ряде больших самостоятельных рисунков дать возможно более яркое представление о своеобразной и незнакомой иностранцу характерной физиономии русской действительности в ее типах и представителях разных классов, начиная с низших и кончая высшими слоями общества, чем богато и художественно насыщено «Воскресение»; это была первая попытка взглянуть на иллюстрацию не только, как на графическое украшение книги, но и как на самостоятельное и монументальное целое.

Сделав первые эскизы, я помчался снова в Ясную дочитывать роман и заодно показать Толстому мои рисунки. Тут, к моей понятной и великой радости, оказалось, что мои Нехлюдов и Катюша почти портретно передавали неизвестных мне людей, с которых писал и Толстой. Это придало мне еще больше бодрости. Толстой был в этот приезд особенно весел и жизнерадостен и много шутил. Однажды мы оба сидели внизу, вошла Татьяна Львовна узнать у меня, что для меня приготовить к обеду (Софья Андреевна была в отъезде, и Татьяна Львовна заменяла ее по хозяйству). У Толстых готовили на два стола,— одни ели мясо, другим, как самому Льву Николаевичу, готовили вегетарианское. Лев Николаевич с обычным юмором стал советовать, что мне готовить, и под конец, смеясь, сказал:

— Вот что, Таня, ты вели Леониду Осиповичу (он в это время глядел вдаль — через окно, в парк) зажарить фазана *...

* В средней России в деревне фазана достать немыслимо.



Л. Н. ТОЛСТОЙ и Н. Н. ГЕ

Картина Л. О. Пастернака, 1893 г.

Институт литературы, Ленинград

И, призадумавшись, протяжно произнес:

— Да!.. Когда-то и я был молодым... и Кавказ был молодой... и фазаны были молодые...

И, улыбаясь, обернулся, встал и ушел.

Когда я взялся дочитывать «Воскресение», я ужаснулся. Повесть неимоверно разрослась; хотя и с этим я мог бы еще к сроку справиться; но Толстой не унимался: раз начав дописывать, он не мог уже остановиться; чем дальше он писал, тем больше увлекался, часто переделывал написанное, менял, вычеркивал, и окончание отодвигалось все дальше и дальше. Тем временем началось уже печатание начала. Техника доставления материала у меня лично была следующая: я готовил большие рисунки и первым делом показывал их Толстому. Немедленно же снимались с них копии, оригиналы посылались для репродукции в Петербург, в «Ниву»; копии быстро отсылались для репродукции в Париж, Лондон, Нью-Йорк и другие города, где печаталось «Воскресение». Толстой как-то особенно был со мною добр и ценил малейший мой набросок. Иногда мне удавалось вызывать в нем искренний, детский смех. Так, помню, он от души хохотал над рисунком «Закуска у Корчагиных», где генерал уплетает устрицы, или над изображением трех судей, особенно над бородатым, сидящим справа.

— Да вы злее меня!.. — смеясь, заметил он.

Большинство же рисунков вызывало в нем очень серьезное и глубокое настроение.

Был и такой случай. Однажды я принес законченную иллюстрацию «После экзекуции». Толстой внимательно рассматривал ее, не переставая произносить знакомую мне оценку моих рисунков: «Прекрасно, прекрасно!..», выговаривая это слово как-то особенно мягко-кругло. Вдруг голос его дрогнул... показалась слеза, другая... «Прекрасно...» — продолжал он уже взволнованным, еле слышным старческим голосом, не выпуская из рук рисунка... Потом, как бы спохватившись и ударив себя по лбу, вскрикнул:

— Да что я наделал!.. Я ведь телеграфировал Марксу (издателю «Нивы»), чтобы всю эту главу вычеркнуть! Что я наделал!.. Ну, ничего! Я сейчас буду телеграфировать, чтобы ее восстановили, и тогда этот рисунок обязательно надо поместить!

Услыхав это, я, конечно, наотрез отказался: было бы с моей стороны непростительным, чтобы из-за моей иллюстрации Толстой менял план своего творчества. Но Толстой настаивал на непременном и обязательном ее помещении.

— Ну, постойте, — сказал он, — я придумал: я в одном месте текста сделаю небольшое указание на предшествовавшую экзекуцию, и тогда этим оправдается помещение этого рисунка... Нет, нет, обязательно его надо поместить...

И Л. Н. тотчас телеграфно отослал желанное добавление. А произошли этот казус и недоразумение вот почему (кстати, это может послужить образчиком, как, благодаря неудержимому дописыванию все нового и нового, частым изменениям уже даже набранного и переведенного на иностранные языки, огромным переделкам и исправлениям, производимым уже в процессе самого печатания, Толстой и себя и особенно периодический журнал, обязанный давать еженедельно известное количество глав, ставил в затруднительное положение). Пока был большой запас текста, все шло гладко; но потом, в силу этих изменений, окончательного текста стало нехватать; начались перебои и заминки в печати, и «Воскресение» целыми неделями не появлялось. Непосредственно новых частей рукописи я читать уже не мог: она быстро отсылалась в Петербург в набор, откуда набранный текст в корректурных гранках отсылался в Москву

в двух экземплярах — один Толстому, другой мне. Надо было быстро ознакомиться с текстом, успеть сделать большой рисунок, отослать и т. д.; словом, справляться, какой текст окончательно зафиксирован, времени не было. И случилось, что в этих корректурах я прочел одну из сильнейших, по-толстовски написанную страшную сцену тюремной экзекуции одного несчастного арестанта. По цензурным соображениям я изобразил не ее, а следующий за ней момент, как бы нейтральный, но тем более выразительный, как смущенные надзиратели ведут под руки ослабевшего, еле живого человека...

«Воскресение» разрасталось в большой роман. Конца не видно было.

— Когда же вы меня, Лев Николаевич, в Сибирь наконец сошлете?— спрашивал я, намекая на предполагавшееся им изображение Сибири и жизни ссыльно-каторжных.

— Скоро, скоро. Сейчас я очень занят отбрасываньем, отсеканьем (при этом рукою отсекал вправо и влево) нагроможденного; делаю то, что на вашем языке называется «в общем»...

В другой раз он жаловался мне, что работа у него идет плохо, что он «никак не может снова подняться на ту высоту», с которой опять работа пойдет легко.

Наконец печатание «Воскресения» в периодических журналах закончилось; кончились все перипетии и испытания; началось печатание отдельных изданий; об успехе «Воскресения» и о сенсации, которую произвел этот роман, говорить не приходится; но и мой успех превзошел все мои ожидания, — о нем достаточно говорило в свое время бесконечное количество статей, обширных фельетонов в русской и иностранной печати.

Успех мой исторически зафиксирован Толстым. Однажды мы сидели за вечерним чаем; Толстой из кабинета вынес и подарил мне только-что полученную им из Лондона серию моих, впервые хорошо репродуцированных, иллюстраций.

— Ну, давайте, проэкзаменуем вас; давайте ставить вам баллы *; вот, за эту — 5 +, за эту тоже 5 +, за эту, пожалуй, 5...

И тут же ставились на рисунках баллы. За небольшим исключением, почти все рисунки получили высший балл. Вся эта коллекция с проставленными баллами, как исторический документ, хранится в Толстовском музее в Москве.

В заключение хочу еще привести очень характерное определение Толстым ценности и значения художественного произведения вообще. Когда появились первые репродукции с моих иллюстраций, я единственный, несмотря на восторг издателей и всеобщие похвалы, был в отчаянии, находя, что они совершенно исковеркали мои оригиналы, и готов был запретить их печатание и отказаться от участия. Однако, когда всюду пестрели уже рекламы о моем участии и началось уже печатание, отказ мой был бы сочтен за позорное отступление, за неспособность справиться с взятой на себя задачей; да и контракты не давали мне на это права. Помню, как Толстой, видя мое отчаяние и желая меня утешить, говорил:

— Не огорчайтесь, вы ведь потом выставите свои оригиналы, и их все увидят и оценят; помните, Леонид Осипович, что все на свете пройдет: и царства, и троны пройдут; и миллионные капиталы пройдут; и кости, не только наши, но и пра-правнуков наших, давно сгниют в земле, но если есть в наших произведениях хоть крупица художественная, она одна останется вечно жить!..

---

* Толстой имел обыкновение прибегать к самому краткому и упрощенному способу оценки — ставить баллы.

ВОСПОМИНАНИЯ С. Н. ШИЛЬ

Публикация К. Шохор-Троцкого

Автор помещаемых ниже воспоминаний, Софья Николаевна Шиль (1863—1928), была сотрудницей книгоиздательства «Посредник». Интересуясь вопросами внешкольного образования, С. Н. Шиль изучала методы работы народных университетов в Швеции и Норвегии; ей принадлежит ряд статей и книг о высшей народной школе в Швеции, о клубах мальчиков в Стокгольме и т. д.

С. Н. Шиль состояла членом Общества любителей российской словесности при Московском университете и написала несколько работ о Тургеневе. Писала она под псевдонимом Сергей Орловский.

С. Н. Шиль не принадлежала к числу лиц, близко знавших Толстого. Тем не менее, ее воспоминания о вечере, проведенном в хамовническом доме Толстого, дают некоторые штрихи, характерные для быта семьи Толстых в конце 90-х годов. Особенно интересен записанный С. Н. Шиль эпизод, связанный с именем Пушкина.

ВЕЧЕР У ТОЛСТОГО

В вербную субботу 1899 г., часов в 8 вечера, Иван Иванович Горбунов [1] и я стояли у подъезда дома Толстых в Хамовниках.

Нам отворил лакей; мы прошли через пустые комнаты в глубь квартиры и поднялись по внутренней деревянной лестнице во второй этаж.

Убранство комнат было обыкновенное дворянское, средней руки. Обычные тогда ширмы и уголки, где стоял мягкий диван или пара кресел у столика.

Мы застали наверху женское общество. Софья Андреевна была в отъезде. Дочери Льва Николаевича и их гостьи сидели в маленькой четырехугольной гостиной, куда мы вошли. Завязался незначительный разговор, светская болтовня. Я сидела у круглого столика, покрытого суконной скатертью. Одна из молодых хозяек стала показывать мне, как эта скатерть расшита именами посетителей. Писали свои имена мелом, а барышни, должно быть, по мелу, вышивали. Я заметила много имен с предшествующими «кн.» или «гр.». Очевидно, это была скатерть людей comme il faut.

Скоро вошел своей быстрой походкой Лев Николаевич, ласково поздоровался и сейчас же заговорил. Меня поразило, как он постарел. Глубокие морщины врезались в его обветренное загорелое лицо. Когда он поворачивался, видна была его шея у затылка, тоже вся в складках; я подумала невольно, что кожа грубая и жесткая, как у гиппопотама, но глаза великого писателя, острые и колючие, были полны жизни.

Он был одет в широкие черные штаны и темносинюю блузу очень тонкого, хорошего сукна. Блуза свободно облегала его старческие члены, — казалось, нельзя и придумать лучшей одежды для человека.

Лев Николаевич, опершись обеими руками о колена, оживленно рассказывал.

Он был утомлен. Он только-что вернулся с Александровского вокзала, где наблюдал отправку ссыльных [2]. Должно быть, он провел там

несколько часов. Он говорил с величайшей симпатией о несчастных и очень подробно рассказывал, чему был свидетелем. Казалось, что в его творческом видении уже кристаллизуется для новой главы «Воскресения» материал, почерпнутый из действительности.

Тем временем приходили еще гости, и разговор перескакивал от одной темы к другой. Входил лакей и подавал Толстому визитные карточки. Получалось впечатление обычного тогда в дворянской среде времяпровождения. Были анекдоты, каламбуры, разговор учтиво-поверхностный. И странным мне казалось, что тут сидит великий писатель; повидимому, он привык и не тяготится.

Еще раз вошел лакей в белых перчатках и подал на серебряном подносе две визитные карточки. Вскоре вошли в маленькую гостиную два изящных господина, оба высокого роста и видной наружности.

«Л. Н. ТОЛСТОЙ СМОТРИТ РИСУНОК»

Рисунок Л. О. Пастернака, 9 июня 1901 г.

Толстовский музей, Москва

Это были Дягилев и Философов[3].

Лев Николаевич поднялся к ним навстречу. После веселых приветствий все уселись; начался разговор, уже не столь ничтожный. Присутствие петербургских гостей как будто подтянуло москвичей; да и люди они были не праздные, а деловые.

Сначала поговорили о внутренней политике. В те дни острым событием было, кажется, назначение Бобрикова генерал-губернатором Княжества Финляндского. Одинаково угнетенные, русские интеллигенты тех дней сочувствовали финнам и горевали о наступлении у них эры новых репрессий.

Лев Николаевич был настроен на тот же лад. Он сказал, что похоже на то, что было где-то полуоткрыто окно и кому-то легче было дышать, а теперь и это окно захлопнули.

Поговорили о петербургских новостях в литературном мире, о журнале «Мир Искусства», и наконец Философов приступил к настоящей цели их посещения.

В мае 1899 г. вся Россия готовилась праздновать столетнюю годовщину рождения Пушкина. Все организации уже перед пасхою были заняты подготовительными работами к этому празднику. Философов просил Льва Николаевича принять участие в чествовании Пушкина[4].

Видимо, задетый глубоко, Толстой горячо заговорил. Завязалась беседа с петербуржцами о Пушкине, о его гении, о том, что такое Пушкин для нас.

Приятно было видеть, как горячился Лев Николаевич, потому что, как и следовало ожидать, его взгляды на Пушкина и оценка редакторов «Мира Искусства» далеко расходились между собой. Но, хотя у Толстого и не могло быть того богомольного преклонения перед величайшим русским поэтом, какое выражали его гости, все-таки, помимо слов, было видно, что Пушкин глубоко запал в его душу и еще жив для него.

Однако, от участия в чествовании Толстой наотрез отказался и вдруг из оживленного стал хмурым и неприятным. Он сказал, что все такие юбилеи совершенно излишни; что нет бессмертных; что каждый живет для своего времени. Как картофель усваивается в пище организмом и, напитав его, выбрасывается вон, так и писатель. Его современники усваивают в себе все то, что в его творчестве есть ценного, и перерабатывают эту духовную пищу; затем уже она за ненадобностью выбрасывается вон, то-есть предается полному забвению.

Что пора предать Пушкина полному забвению, с этим представители «Мира Искусства» никак не могли согласиться. Мне казалось, что каждому думалось в ту минуту: «Ну, а как же ты сам — хотел бы ты, чтоб тебя, усвоив, как картофель, скоро выбросили вон?». И внутреннее чувство подсказывало, что ответ должен быть отрицательный, если бы Толстой был искренним.

Видимо, огорченные отказом, Философов и Дягилев скоро откланялись и исчезли.

Но по их уходе разговор о Пушкине продолжался и стал общим.

— Ну, а в вас какая есть заковырка? — вдруг обратился ко мне Лев Николаевич.

— Я люблю Пушкина, — отвечала я в смущении.

Через некоторое время снова появился лакей и шопотом доложил о чем-то Льву Николаевичу. Он быстро встал и ушел к себе.

В доме было два входа. Парадным входили люди comme il faut и люди с каким-либо положением в обществе. Но существовало еще заднее крыльцо для тех искателей правды, которые приходили к Толстому-моралисту; они подымались прямо к нему, не беспокоя никого. Там же ходили другие несветские посетители. Так было и на этот раз.

Лев Николаевич скоро вернулся с вербой и запиской в руке. Лицо его было насмешливо, когда он стал рассказывать. Приходили к нему прямо от всенощной несколько семинаристов: в смущении что-то набормотали, отдали вербу и записку и убежали.

Стали читать вслух записку. В ней была мольба о возвращении Толстого к православию, наивно и горячо, по-юношески написанная.

Ее разобрали по косточкам, подняли насмех, — и так же безжалостен к ней был и сам Лев Николаевич.

Скоро все разошлись.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Горбунов-Посадов Иван Иванович (1884—1937), единомышленник Толстого, редактор изданий книгоиздательства «Посредник».

[2] В дневнике композитора С. И. Танеева от 8 апреля 1899 г. отмечено, что Толстой ездил в этот день в пересыльную тюрьму, чтобы посмотреть, как ведут арестантов в кандалах, и сделать с ними путь до Николаевского вокзала (см. «Дневники С. А. Толстой, 1897—1909», изд. «Север», М., 1932, стр. 274). Вербная суббота в 1899 г была 10 апреля. Вероятно, Толстой рассказывал о своих впечатлениях, полученных 8 апреля. Возможно, однако, что он 10 апреля вторично побывал на вокзале для наблюдений над отправкой арестантов.

[3] Дягилев С. П. (1872—1929), редактор журнала «Мир Искусства», и Философов Д. В., один из ближайших сотрудников этого журнала.

[4] В № 13 журнала «Мир Искусства» за 1899 г. были напечатаны, в связи со столетием со дня смерти Пушкина, статьи Н. М. Минского, Д. С. Мережковского, В. В. Розанова и Ф. Сологуба. Вероятно, Дягилев и Философов пытались получить у Толстого материал для этого номера журнала.

ТОЛСТОЙ О ЛИТЕРАТУРЕ И ИСКУССТВЕ

ЗАПИСИ В. Г. ЧЕРТКОВА И П. А. СЕРГЕЕНКО

Публикация А. Сергеенко

Публикуемые ниже записи В. Г. Черткова и П. А. Сергеенко представляют собой отрывки из их бесед с Толстым. Мы находим здесь и высказывания Толстого по общим вопросам искусства, и его отзывы об отдельных писателях, художниках, музыкантах, и мысли о творчестве вообще. Несмотря на отрывочность и краткость записей, они дают представление об эстетических взглядах писателя и являются важным дополнением к тому, что было написано самим Толстым по вопросам искусства.

В. Г. Чертков (1854—1936), близкий друг Льва Николаевича и редактор юбилейного 90-томного собрания его сочинений, был знаком с Толстым в течение двадцати семи лет; несмотря на это, он оставил не много записей своих бесед с ним. Объясняется это, с одной стороны, тем, что они сравнительно редко виделись (бывали промежутки в целые годы, во время ссылки Черткова — даже десять лет), с другой стороны, тем, что Чертков долгое время держался того взгляда, что если нельзя ручаться за безусловно точную передачу сказанного Толстым, то предпочтительнее вовсе не записывать этого, во избежание неправильного истолкования его мыслей. Лишь в конце жизни Толстого он достиг удовлетворившего его способа: он отмечал слова Толстого в момент их произнесения двумя-тремя начальными буквами, а после восстанавливал их полностью. Учитывая свойственный Черткову в подобных случаях педантизм, его записи можно отнести к числу наилучших передач разговоров Толстого.

П. А. Сергеенко (1854—1930), журналист, беллетрист, автор книги «Как живет и работает граф Л. Н. Толстой» и ряда других книг о Толстом, заносил свои записи в дневник непосредственно после бесед. П. А. Сергеенко обладал исключительной памятью, что обусловливает значительную точность его передачи слов Толстого.

I. ЗАПИСИ В. Г. ЧЕРТКОВА

15 мая 1886 г., Ясная Поляна

Л. Н. нездоров. Простудился, напившись холодного квасу. Поэтому он не поехал пахать, и мы его много видели. Он в прекрасном тихом настроении. В семье также дух хороший. Барышни [1] проводят большую часть дня на селе, копают огород и сажают картофель для бедных крестьян. Л. Н. сказал между прочим:

— Мне брат [2] говорил, что в одной журнальной критике на «Смерть Ивана Ильича» выразили странную мысль, которая сводится к тому, что «Толстой раскрыл ту истину, что люди умирают». Так вот я желал бы раскрыть еще одну истину — что женщины рожают. Но это все не удается. Люди не хотят этого допустить [3].

16 мая 1886 г., Ясная Поляна

Прочел черновик предисловия Л. Н. к сочинению Бондарева [4]. Оно понравилось мне очень, больше самого сочинения, в котором мне пре-

тит некоторая односторонность, сухость и самоуверенность. Пил кофе с Л. Н. Говорил о желательности и большом значении для всех русских художественного рассказа (христианского), в котором действовали бы не только крестьяне, но и люди всяких других сред в их взаимных соотношениях, и притом рассказа, писанного в форме, доступной самым простым людям, большинству, в котором обстановка, условия жизни, понятия образованных классов изображались бы простым языком, вместо тех культурных терминов, которые так путают и придают какую-то достойную окраску самым безобразным явлениям. Я говорил, что не знаю, для кого такой рассказ имел бы больше значения, для крестьян ли, в глазах которых раскрылось бы все безобразие, господствующее в понятиях и жизни «господ», или для самой интеллигенции, которая увидела бы свою обстановку и свои понятия раздетыми догола и описанными простыми словами. Он сказал, что это очень желательно, что здесь важен тон отношения к предмету. Надо стать в стороне под таким углом, чтобы совершенно одинаково, беспристрастно и верно, с одинаковою любовью относиться к людям, живущим в той и другой обстановке.

— Но у меня на дороге, — говорил он, — стоят три «рассуждения»: 1) Об отсутствии любви. Люди видят зло одни в форме правления, другие в неравномерном распределении богатств, третьи в другом и т. д. Между тем, это не верно. Все зло происходит от отсутствия любви между людьми. Была бы любовь, и невозможны были бы все те проявления зла, которые так смущают тех или других людей. 2) О призвании женщин[5]. 3) Об Николае Палкине[6]. О том, что ужасы жестокости, которые так поражают нас в истории, например, при Николае Палкине, те же самые ужасы продолжаются и теперь в другой форме; только люди отворачиваются от них.

Он признает, что эти рассуждения, во всяком случае, следует изложить языком, доступным всем. «В отсутствии литературного слога и терминов, понятных исключительно интеллигентным людям, двоякая польза. Во-первых, разумеется, общедоступность изложения. Во-вторых, отсутствие злобы в писателе. Ведь когда я употребляю слова, вроде «диференциации, интеграции», ведь я делаю это из злобы, я стреляю ими в кого-то. А этого-то и не нужно».

Он пошел писать предисловие, а я взял у него переписать про «Николая Палкина», прекрасное начало прекрасной статьи, если только ей суждено осуществиться.

20 мая 1894 г.

Л. Н. — Во всяком художественном произведении важнее, ценнее и всего убедительнее для читателя собственное отношение к жизни автора и все то в произведении, что написано на это отношение. Цельность художественного произведения заключается не в единстве замысла, не в обработке действующих лиц и т. п., а в ясности и определенности того отношения самого автора к жизни, которое пропитывает все произведение. В известные годы писатель может даже до некоторой степени жертвовать отделкой формы, и если только его отношение к тому, что он описывает, ясно и сильно проведено, то произведение может достичь своей цели.

1897 г.

Л. Н. — Я в отношении бумаги распроплюшкин. Мне все кажется, что на этом кусочке можно так много хорошего написать, что все-таки основание всему этому хорошему — бумага.

Конец мая — начало июня 1905 г.

По поводу просьбы артиста Артемьева[7] и его товарищей о том. чтобы Л. Н. написал пьесу, с которой они могли бы ходить по русским деревням, давая ее в амбарах и пр., Л. Н. заметил:

— У меня сомнение относительно н а ш е г о искусства для народа. Не нам его учить. Он сам должен создать свое искусство.

— Но ведь вот, например, ваши народные рассказы они ценят.

— Да, но это я от них взял и им же отдал. Но скажу вам еще, что ведь сам я тоже частичка народа. Чего я не выношу — это желания интеллигенции поучать народ.

Июль 1906 г.

Л. Н. — Достоевский, да — это писатель большой. Не то что писатель большой, а с е р д ц е у него большое. Г л у б о к и й он. У меня никогда к нему не переставало уважение.

На вопрос, какое из произведений Достоевского он считает лучшим, Л. Н. сказал:

— Я думаю, что «Мертвый дом» лучшее, потому что цельное в художественном отношении. А «Идиот» — прекрасно начало, а потом идет ужасная каша. И так во всех почти его произведениях.

Июль 1906 г.

По поводу своей статьи «О значении русской революции», во время ее писания, Л. Н. сказал мне:

— В конце все путаюсь: недостаточно ясно. Я пережил это «красноречие» в заключениях, но хочется закончить просто, но ясно.

— А вы теперь против того, чтобы обрабатывать конец статьи в сильное резюмирующее заключение?

— Да, да, к этому уже слишком привыкли. Знаете, как чувствуешь, читая, когда приближаешься к концу статьи: вот-вот сейчас начнется великолепный заключительный аккорд. Этого совсем не нужно, а чтобы все было ровно и одинаково хорошо, на каком месте, в середине ли, в конце ли, ни оборвать чтение.

Июль 1906 г.

Л. Н. — Я не понимаю и не люблю, когда придают какое-то особенное значение «теперешнему времени». Я живу в в е ч н о с т и, и потому рассматривать все я должен с точки зрения вечности. И в этом сущность всякого дела, всякого искусства. Поэт только потому поэт, что он пишет в вечности.

Лето 1907 г.

Л. Н. — Не могу теперь заниматься художественным писанием. Чуткость, впечатлительность обострились. Материал в воспоминаниях есть. Но — совестно. Ну, представьте себе, начнешь писать: «Иван Иванович лежал на постели...». Никакого не было Ивана Ивановича. Совестно.

Июль 1907 г.

Лев Николаевич вошел и сказал:

— Сейчас прочел драму Наживина «В долине скорби»[8]. Нехорошо. Он спешит сам определить, что хорошо, что дурно. А читателю это не нравится. Читателю надо самому предоставить судить об этом. Из самого рассказа должно быть видно, что добро, что зло.

Июль 1907 г.

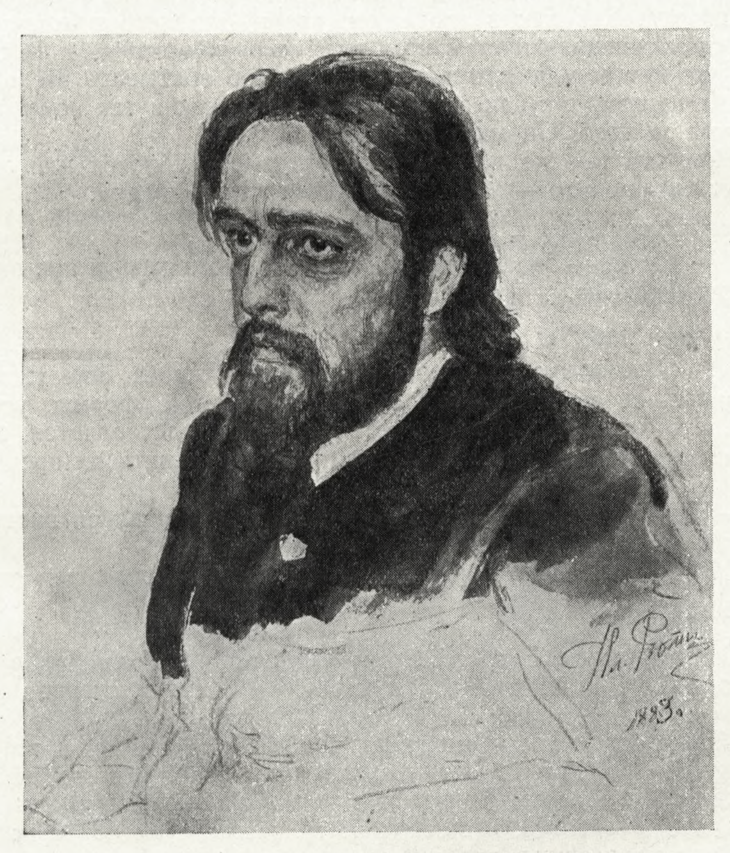
Л. Н. как-то сказал мне, что «Свод» его мыслей [9] действует на него, как музыка, разумея, вероятно, под этим, что он так же возбуждает его к работе.

Июль 1907 г.

Л. Н. был у нас и, между прочим, обращаясь ко мне, сказал:

— Я нынче утром занимался вами, читал ваш «Свод» моих мыслей.

Тут он вдруг замолчал, опустил голову, взял в руки лежавший на столе футляр от галиного [10] пенсне и стал пристально рассматривать, как



В. Г. ЧЕРТКОВ
Портрет работы И. Е. Репина, 1883 г.
Толстовский музей, Москва

он открывается и закрывается. Сидя сзади него и не поняв, отчего он остановился, я сказал шутя:

— Да не отвлекайтесь, «Свод» ваших мыслей важнее, чем pinse-nez. — Но он все продолжал вертеть в руках футляр. Тут только я заметил, что он потому не мог продолжать рассказывать, что слишком расчувствовался, в глазах стояли слезы. Потом, когда мы вместе шли к пруду купаться, я спросил его, одобряет ли он «Свод».

— Как можно не одобрить? — ответил он. — Вот это настоящая моя биография, биография моей мысли... Я заглянул в «Свод», чтобы посмотреть, нет ли чего подходящего для «Круга чтения», стал читать отдел 8-й и зачитался. Я начал, и все очень цельно и связно.

Опять он прослезился от умиления, заметив при этом:

— Однако, как я слаб стал.

Потом он прибавил:

— Но мне не хотелось бы, чтобы при жизни моей это печатали. Если после моей смерти кому-нибудь понадобится, тогда пусть печатают.

Сентябрь 1907 г.

Когда Л. Н. писал свое «Прощальное обращение для ясенковских парней» [11], он, как всегда со всякой своей письменной работой, исправлял ее, переделывал, оставался всем недоволен и опять и опять начинал писать сначала. Так как в это самое время для него накопился целый ряд домашних неприятностей, то, видя его утомление, я как-то заметил ему, что нет надобности так тщательно обрабатывать это обращение для наших парней, так как эти несколько человек и так поймут и будут благодарны за него. Он мне ответил:

— Нет, это так же важно, что пять тысяч человек или пять человек будут читать. Это — общение с человеческой душой.

Конец января 1908 г.

Л. Н. — Стихи — это все равно, что стал бы пахать и при этом делал бы танцовальные па.

13 августа 1908 г.

Л. Н. — Драматическая форма изложения ужасна, еще ужаснее, чем стихотворная, своей искусственностью. Вред этой формы усиливается еще тем, что хороший актер может, как мне представляется, прекрасно сыграть самые глупые и скверные вещи и тем усилить их вредное влияние.

Я. — Но ведь еще не так давно вы сами собирались писать в драматической форме и даже начали некоторые вещи?

Л. Н. — Разве? Это, вероятно, было еще под влиянием тщеславия.

13 августа 1908 г.

По поводу книги Bernard Show «Man and Superman», в которую включено «The Revolutionist's Handboock» (преимущественно о последнем):

Л. Н. — Остроумно и оригинально; но «he has got more brains than is good for him» [12]. Очень, очень интересно. Его жизнепонимание то же самое, что наше. Только то, что мы называем «богом», он называет «силою» — force, lifeforce (*Л. Н. тут прочел отрывок из Шоу*). В одном только разница, что он эту силу связывает с эволюцией.

Я напомнил Л. Н. о не понравившемся ему, в свое время, исследовании д-ра Макдональда, который доказывал, что в жизни губок проявляются зачатки «религиозности».

Л. Н. (улыбаясь). — Да, да, вот это самое. С ним можно согласиться; но если в губках, то отчего же не пойти дальше назад и не сказать: а также и в тех более первобытных частицах, из которых образовались губки.

13 августа 1908 г.

Л. Н. — В других искусствах есть примесь телесного, а в музыке нет телесного.

28 августа 1908 г.

После просмотра списка английских литераторов, подписавших юбилейный адрес Л. Н. [13].

Л. Н.— Не знакомы. Теперь нет таких писателей, которые стояли бы головой выше всех (Рёскин, Карлейль), как было в конце прошлого столетия... Очень, очень благодарен всем этим милым лицам за их добрые чувства ко мне.

Август 1908 г.

Л. Н.— Хорошо было бы в литературных произведениях держаться музыкального способа выражения. Нет иронии, нет злого чувства, а добродушие, печаль.

Август 1908 г.

Л. Н.— С годами я начинаю чувствовать по отношению к незнакомым людям, как будто я их уже видел: они подходят под знакомые мне типы.

11 ноября 1908 г.

Л. Н. третьего дня говорил мне, что его теперь тянет писать художественное в драматической форме, так как здесь не требуется подробных описаний, а все в области психологии. Он меня спрашивал, извиняясь за пустяшность вопроса, говорю ли я когда-нибудь громко сам с собой. (Вероятно, ему хочется проверить, естественно ли это будет в драматической форме.)

25 ноября 1908 г.

О Канте Л. Н. вчера говорил Лебрену [14]:

Л. Н. ТОЛСТОЙ В ЯСНОЙ ПОЛЯНЕ

Фотография 900-х годов

Толстовский музей, Москва

— У Канта ужасно сложный, трудный способ выражения. Я замечаю у Канта и у себя (хотя не думаю равнять себя с ним), что когда излагаешь свои мысли в последовательной связи, то ужасно много баласта; а когда излагаешь их отдельно, отрывочно, то этого нет. Так и у Канта; отдельные его мысли очень хороши.

25 ноября 1908 г.

Л. Н. сказал мне:

— Я рад, что теперь кончил письмо к индусу [15]. Уж не знаю, как это вы все переведете.

Я. — Ну, а теперь возьметесь за художественное?

Л. Н. — Это уж не знаю. Это как бог даст.

Я (шутя). — Так вы, пожалуйста, возьмитесь.

Л. Н. (насмешливо мотнув в сторону головой). — Ну, уж это так нельзя: «пожалуйста».

4 декабря 1908 г.

На-днях Л. Н. мне говорил о своем сне:

— Я видел сон, такой живой — драму о Христе в лицах. Я представлял себя в положении лиц драмы. Я был то Христос, то воин; но больше воин. Помню так ясно, как надевал меч. Удивительно это сумбурное сочетание, которое бывает во сне [16]. Но впечатление на меня сделало сильное. Это было бы очень хорошо изобразить то, что чувствовал Христос, умирая, как простой человек. Только можно это и не о Христе, а о другом человеке.

Я. — И лучше. А то с Христом для читателя связаны предвзятые представления, и получится впечатление полемическое, которое так мешает художественному. Ведь вы, кажется, хотели писать о казни кого-то?

Л. Н. — Да, да. Я вообще думаю, что окончу письмо к индусу и попробую что-нибудь художественное. Боюсь, что потеря памяти помешает. Если да, то нисколько не огорчусь. Я было начал одно, но то было слишком большое: разные лица в разные периоды их жизни. Они должны были столкнуться во время нашей революции. Но для того, чтобы убедиться, хватит ли памяти для этого, надо испробовать себя на чем-нибудь коротком. И это я думаю попробовать.

Вчера по этому поводу Л. Н. мне говорил, что, может быть, это оттого, что мысли его еще не освободились от письма к индусу, но у него еще нет того, что нужно для того, чтобы приняться за художественное. Не захватило его совсем что-нибудь одно, определенное, неизбежное, требующее непременного выражения, не овладело его умом и сердцем.

По поводу «Гардениных» Эртеля [17]:

— Новые писатели нас отучили от добросовестного, порядочного писания. А это есть добросовестное, порядочное писание.

13 декабря 1908 г.

Несколько дней тому назад Димочка [18] возил в Ясную свой граммофон, так как Л. Н. очень хотелось его послушать. Л. Н. граммофон очень понравился, а некоторые пьесы в особенности. Понравился ему очень итальянский романс, исполненный Карузо; он оценил в нем типичный итальянский характер. Вяльцевой маленький романс также ему понравился. Он улыбался одобрительно, а при окончании его, шутя, аплодировал. «Ora pro nobis» ему особенно понравилось, и он просил повторить. Но больше всего ему понравился «Коробейник» Вари Паниной.

— Это,— говорил он,— первый сорт — народный. Какой-то, бог знает, древностью дышит.

А от народных песен хором и плясовых он был в восхищении. Хору

Л. Н. ТОЛСТОЙ и В. Г. ЧЕРТКОВ (на козлах)
Фотография 900-х годов
Частное собрание, Москва

он руками всплескивал и головой поматывал с наивно-веселой детской улыбкой на лице. А когда плясовую играли, он предлагал всем пуститься плясать, сказав:

— Если бы я один был, я непременно сам пустился бы. Без памяти хочется. Я вот при этом колене мысленно представляю себе па — возвращающиеся назад.

Когда ему предложили повторить «Казачка», он ответил:

— Да, как же, всегда это хорошо.

Третьего дня за обедом Л. Н. спрашивает Душана Петровича[19]:

—Удивляюсь, как вы можете читать Меньшикова? [20]. Сегодня я заглянул в его статью. Это ужас что такое: пустота, легкомыслие, глупость, и все это с его блестящим изложением. Просто ужасно!

15 декабря 1908 г.

Л. Н. (про новое, декадентское направление в живописи):

— Удивительно в молодом поколении художников их самомнение, глупость, дерзость. И в наше время искусство было недостаточно серьезно, а им нужно, чтобы было еще безобразнее, безнравственнее, отвратительнее.

20 декабря 1908 г.

Третьего дня дал Л. Н. прочесть только-что написанную мною, по просьбе Досева[21], статеечку в опровержение отрицательной критики Л. Н. со стороны болгарского социалиста. Л. Н. она очень понравилась. Он всегда меня удивляет и трогает своей поразительной скромностью, недоверием к себе, как к п и с а т е л ю, и своим бережным уважением к автору того, что ему хочется поправить, и сосредоточенным вниманием к самому писанию, как будто, поправляя чужое писание, он делает самое

ответственное дело в жизни. Прочитав при мне несколько строк моей статьи, он взял карандаш и совсем робко спросил меня, позволю ли я ему предложить мне несколько поправок слога. А потом, дочитавши и кое-что поправивши, где у меня было не совсем ловко выражено, он просил меня при нем прочесть и в каждом месте участливо спрашивал меня, согласен ли я с его поправкой. И это величайший писатель, величайший виртуоз и учитель словесного выражения! Вот бы остальным литераторам поучиться у него кротости и отсутствию поразительному самолюбия.

Перечитывая отмеченный мною для прочтения им в фонограф (для Эдисона)[22] отрывок из «О жизни»[23] (по-английски), Л. Н. слегка сам про себя усмехнулся. На мой вопрос, о чем это, он сказал:

— Когда пишешь, думаешь, что это так важно; а когда пройдет время и перечитаешь все это спокойно, то видишь все слабости изложения.

22 декабря 1908 г.

Вечером, слушая музыку — пение Философовой[24] и игру Гольденвейзера, Л. Н. заметил про понравившуюся ему вещь Аренского:

— Cela coule de source *. Я люблю, когда чувствуешь, что он имеет что сказать и высказывает как умеет, от души. А вот другие — чувствуешь, что выдумывают. Например, Брамс — начнет искренно, а потом вдруг начинает сочинять; и это сейчас расхолаживает.

3 января 1909 г.

Читая «Семь повешенных» Леонида Андреева[25], Л. Н. изумлялся и возмущался фальши этой вещи. Он прочел вслух несколько мест, как пример бессмыслицы изложения (между прочим, там, где вдруг неожиданно упоминается, и ни к селу, ни к городу, о перелетных птичках), и заметил с изумленным негодованием по поводу места о времени:

— Бессмысленный, отчаянный, беззастенчивый набор слов!

По поводу психологии приговоренных он сказал:

— Он описывает смело, с плеча самые трудные моменты. И, разумеется, все это навыворот. Совсем так не бывает.

Конец января 1909 г.

Л. Н. (про Анатоля Франса). — У него мимолетные личности живо обрисованы; а главные — недостаточно ясно. Описано прекрасно. Читая его, любуюсь.

Март 1909 г.

Л. Н. про свои писания заметил мне:

— Кое-как набрасываю. Так и надо набрасывать, потому что едва ли успею.

Середина марта 1909 г.

Л. Н. (о Викторе Гюго):

— Это один из самых близких мне писателей. И эти преувеличения, о которых так много говорят, я все это переношу от него, потому что чувствую его душу. Виктор Гюго душу свою вам раскрывает. А Андреевы — чувствуешь, что они стараются тебя удовлетворить, завлечь, заинтересовать, растронуть; но Гюго сам свою душу перед тобой раскрывает[26].

16 марта 1909 г.

Л. Н. пригласил к себе и долго беседовал с одним яснополянским крестьянином, старым своим приятелем[27], от которого ему, между про-

* Это течет из родника.

чим, хотелось получить некоторые сведения из крестьянской жизни для своих задуманных работ. Общение с этим мужиком было Л. Н. очень приятно и полезно, как он потом, за обедом, нам говорил.

— Я ему стал читать отрывки из старого «Круга чтения» [28], — говорил нам Л. Н.,— и к стыду своему мне пришлось это переводить для него на русский язык, — так я последние года отстал от них и их жизни. Это мои настоящие учителя; но уроками у них я последнее время очень манкировал [29].

17 марта 1909 г.

Л. Н. (по поводу рассказов вернувшейся из Москвы Софьи Андреевны о популярности Л. Н.):

— Да? это теперь так раздуто! Те люди, которые восхваляют преимущественно мои прежние беллетристические писания, похожи на людей, побывавших на балаганах, видевших разодетые фигуры на крыльцах балаганов и заключивших из этого, что они видели самое главное и что входить в балаган не стоит. А между тем, если те мои беллетристические писания имеют какое-либо значение, то только, как фигуры на крыльцах балаганов,— чтобы заманить, заинтересовать читателей в моих более существенных писаниях.

28 марта 1909 г.

Про один из отделов нашего «Свода мыслей» Л. Н. сказал:

— Мне нравится разрозненность. Видно, до чего с величайшими усилиями человек додумался. А так как он думал об этом в течение десятков лет, то читатель уже найдет для себя связь. Хорошо, что нет этой философской «системы».

4 сентября 1909 г.

Проезжая по Арбатской площади, Л. Н. заинтересовался новым памятником Гоголю. Так как оставалось еще время, то я попросил извозчика подъехать к памятнику и предложил Л. Н. сойти и поближе рассмотреть его (Л. Н. близорук, хотя замечательно хорошо видит на близком расстоянии и не носит очков). Подходя к памятнику, ему рассказали о замысле скульптора, желавшего изобразить Гоголя среди обыденной московской уличной жизни, пристально вглядывавшимся, опустив голову, в лица гуляющих по бульвару, стараясь мысленно проникнуть в их сердца.

— Ну, как же можно, — сказал Л. Н., — браться за такую непосильную задачу: стараться посредством чугуна изобразить душу человека!

Л. Н. стал внимательно осматривать статую, и, когда А. Б. Гольденвейзер подвел его к месту, с которого хорошо видно было выражение лица Гоголя, Л. Н. заметил одобрительно:

— Ах, да, действительно отсюда хорошо видно. Да, выражение хорошее; понимаешь, что х у д о ж н и к х о т е л вложить в лицо.

5 сентября 1909 г.

Л. Н. — «Багрова внука» [30] потому интересны, что он сам описывает свои впечатления. Нехорошо в беллетристике — описание от лица автора. Нужно описывать, как отражается то или другое на действующих лицах.

Перед обедом — разговор об искусстве. Я высказал, как рад был прочесть в его дневнике об искусстве: «В искусстве у творящего и воспринимающего становится общее «я» [31].

Л. Н. — Да, мне стало ясно более высокое значение искусства, чем я считал до сих пор: слияние в одно «я».

Я. — В искусстве это слияние может быть и в высоком и в низменном.

Л. Н. — Вот-вот. А в жизни по любви всегда в высоком только.

Я. — Но зато единение в искусстве доступно с такими, с которыми оно невозможно в духовном разумении.

Л. Н. (оживленно). — Это совершенно верно.

Л. Н. — Странное дело, какое отношение бывает к писателям. Виктор Гюго и Гейне,— несмотря на их приподнятость, они мне близки, а Гёте мне чужд. Вторая часть «Фауста» — старческая любовь — что может быть отвратительнее?! Ах, простота — это несомненный признак настоящего, серьезного и нужного.

6 сентября 1909 г.

Привезли музыкальный инструмент миньон. Четыре вальса Штрауса особенно понравились.

7 сентября 1909 г.

Музыка. Льву Николаевичу больше всего понравился полонез Шопена As-dur № 7 в исполнении Падеревского. Этюды Шопена очень понравились. Также романс Рубинштейна в исполнении Гофмана.

8 сентября 1909 г.

Л. Н. — «И паутины тонкий волос блестит на праздной борозде»[32]. Мне особенно нравится «праздной». Особенность поэзии в том, что в ней одно слово намекает на многое.

Начало сентября 1909 г.

После слушания музыки на миньоне у нас, Л. Н. однажды заметил:

— Я сегодня в первый раз заметил, что, слушая хорошую музыку, чувствуешь, как будто это ты сам себя все изображаешь: это все — я; нежный такой — это я...

Сентябрь 1909 г.

Л. Н. (о квартете Дитерздорфа, в восторге):

— Вот так музыка! Ça coule de source. Чувствуешь, что так должно быть.

9 сентября 1909 г.

Когда Л. Н. провожал Софью Андреевну, подходя к платформе Крекшино[33], он почему-то вспомнил стих Тютчева: «Дыханьем ночи обожгло»[34] и умилился.

— Это тютчевская манера,— заметил он,— выразить одним словом целый ряд понятий и контрастов: «морозом обожгло».

Середина сентября 1909 г.

Л. Н. (за музыкой):

— Теперь бы что-нибудь веселенькое для перемены. Потом Andante Бетховена. А для закуски опять что-нибудь веселенькое. Сегодня я думаю, мне кажется, что веселый должен быть добрым, а добрый — веселым.

Середина сентября 1909 г.

Л. Н. — Я люблю Бетховена, но не очень. Как вам сказать? Он не Гайдн и он не Шопен. Нет той простоты и ясности; а с другой стороны, нет той краткости.

17 сентября 1909 г.

Л. Н. — Жду ясной, настойчивой внутренней потребности. Не могу

уже, как прежде, заставлять, науськивать себя на художественное писание.

(Вчера верхом говорил, что нет потребности писать художественное.)

9 мая 1910 г.

Вечером читали вслух «Микроб» Авсеенко в «Огоньке». Читала Татьяна Львовна, а когда она выходила из комнаты, то Л. Н. По прочтении я спросил у Л. Н. его мнение. Он сказал, что эта форма беллетристическая ему теперь очень претит. Но о содержании сказал, что изображено натурально. Позже, вспомнив к слову об этом рассказе, он заметил, что недостаточно показано внутреннее состояние девушек, доведшее их до самоубийства. «Почему мальчик лишил себя жизни — это понятно; но

Л. Н. ТОЛСТОЙ и А. Б. ГОЛЬДЕНВЕЙЗЕР (стоит справа) С СЕМЬЕЙ

Фотография 1905 г.

Толстовский музей, Москва

девушки — нет». Я заметил, что, вероятно, автор и сам хорошенько не знал, руководствуясь только тем материалом, который был у него в руках. «Да, но ведь так нельзя,— возразил Л. Н.,— нужно перенестись в их душу и представить себе то, что там происходило».

12 мая 1910 г.

Сегодня Л. Н. читал пролог «Анатемы» Андреева и ужасался:

— Это что-то невозможное, совершенно декадентское. А публике это-то и нравится. Им кажется, что если непонятно, то в этом-то и кроется самая мудрость. А между тем, когда мне Андреев рассказывал содержание, то выходило что-то хорошее.

Я выразил предположение, что это оттого, что сама народная легенда, заимствованная Андреевым, осмысленна и хороша, но обработка Андреева ее портит.

24 мая 1910 г.

По поводу выраженной мной надежды, что Л. Н. возьмется теперь за художественные работы, он сказал:

— Я был бы очень рад, если бы мне удалось осуществить то, чего вы так от меня хотите, и написать художественное. У меня есть замыслы. Но нужна еще достаточная внутренняя потребность. Во всяком случае, ce n'est pas là bonne volonté qui manque *.

18 июня 1910 г.

Говорили о современных писателях:

— Куприн — настоящий художник, громадный талант. Поднимает вопросы жизни более глубокие, чем у его собратьев: Андреева, Арцыбашева и прочих... Но нет чувства меры. Знание и любовь развращенной городской среды, как у Семенова [35] — крестьянской.

19 июня 1910 г.

Л. Н. — Необходимо (глупое слово) — вдохновение. Такие моменты, когда превосходишь себя вчетверо. Так и во всем, и в искусстве.

23 июня 1910 г.

Л. Н. с огромным наслаждением слушал игру Эрденко [36].

— Играете ли классическое? Есть ли у вас Бетховена для скрипки? Баха? Предпочитаю его Бетховену. У Бетховена есть выдуманность. Легко его, верно, играть?.. У Паганини — технические трудности. Разнообразие голосов, фуги очень трудно передать на скрипке.

По поводу еврейской молитвы «Col Nidris», которую играл Эрденко:

— Я думаю, она доступна. Очень сильное впечатление. Мотив — когда идет в басу — очень хорош.

По поводу замечания одного из присутствовавших о том, что музыку, как все просвещение, нужно выучиться понимать:

— Нет, есть восприимчивая музыка, как, например, Шопена. Не могу понять, как могут быть непонятны его пьесы!

23 июня 1910 г.

Л. Н. — Я думаю, что музыкальные впечатления никак нельзя описывать. Чувствуешь и чувствуешь. Когда говоришь, что чувствуешь то-то и то-то, — это не то. Нельзя выразить. И лучше не пытаться. Венявский — бойкое, веселое; еврейское — мрачное. Ну и что же? Это все будет не то.

Лето 1910 г.

Л. Н. (после баллады Шопена, сыгранной, кажется, в Ясной А. Б. Гольденвейзером, от которой Л. Н. был в восторге):

— Но это совсем не верно, что музыка изображает что-то. Просто — само по себе. Нельзя определить словами.

— Только выражение чувства?

Л. Н.— Нет, и этого не могу сказать. Просто — невозможно выразить словами действие музыки.

Лето 1910 г.

Л. Н. (после особенно тронувшего его исполнения А. Б. Гольденвейзером баллады Шопена):

— Когда играют, у меня всегда художественная жилка просыпается [37]. Это совсем особенное, совсем особенное средство общения с людьми.

---

* Это не от недостатка желания.

Лето 1910 г.

Л. Н. (про «Тита» Арвида Эрнфельда)[38]. — «Тит» — нехорошо. Выдумано, не живое. Слишком много картин, лиц, нагромождено. Но я к драматическим вещам очень строг. *(С грустью в голосе.)* А мне хотелось, чтобы понравилось.

7 октября 1910 г.

Я сказал Льву Николаевичу, что при хорошем духовном состоянии и пишется легко и пишешь только то, что надо. Л. Н. заметил:

— Когда очень хорошо на душе, то так хорошо, что ничего и писать не хочется.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Дочери Толстого: Татьяна Львовна (род. в 1864 г.), впоследствии по мужу Сухотина, и Мария Львовна (1871—1906), впоследствии по мужу Оболенская.

[2] Брат Толстого — Сергей Николаевич (1826—1904).

[3] В письме к редактору журнала «Русское Богатство» Л. Е. Оболенскому от 15 мая 1886 г. Толстой писал: «Мой брат смеясь говорит мне, прочтя одну критику на «Ивана Ильича»: «Тебя хвалят за то, что ты открыл то, что люди умирают. Точно никто не знал этого без тебя». Желал бы я также открыть другую новость — что женщинам свойственно рожать. Но чувствую, что этой новости женщины известного круга долго не поверят» (Юбилейное издание сочинений Толстого, т. LXIII, стр. 357).

[4] Предисловие к сочинению крестьянина Т. М. Бондарева «Трудолюбие и тунеядство, или торжество земледельца» было написано Толстым для журнала «Русское Богатство», но запрещено цензурой; появилось в № 13 журнала «Русское Дело», 1888; за напечатание статьи Толстого журнал получил предостережение. Самое же сочинение Бондарева было выпущено книгоиздательством «Посредник» в 1906 г.

[5] «О призвании женщин» Толстой написал в последних главах своего трактата «Так что же нам делать?», начатого в 1884 г. и законченного в 1886 г.

[6] Статья Толстого «Николай Палкин» (о Николае I) распространялась сначала подпольным путем в рукописях и литографиях. Напечатана впервые в изд. М. Л. Элпидина в Женеве в 1891 г. В России впервые — в 1906 г., в изд. «Обновление» (издание было конфисковано).

[7] Артемьев Иван Петрович (ум. в 1916 г.), владелец театральной кассы в Петербурге, устроитель разъездных спектаклей.

[8] Драма И. Ф. Наживина «В долине скорби» вышла отдельным изданием в 1907 г.

[9] «Свод мыслей» Л. Н. Толстого в течение многих лет составлялся под редакцией В. Г. Черткова его сотрудниками. Это — энциклопедия мыслей Толстого по всем вопросам. До сих пор ни одна часть его не появлялась в печати.

[10] Черткова Анна Константиновна, урожд. Дитерихс (1859—1927), жена В. Г. Черткова.

[11] Проживая лето 1907 г. на даче, в помещичьем доме близ деревни Ясенки, в пяти верстах от Ясной Поляны, В. Г. Чертков устраивал в своем доме собрания местной крестьянской молодежи; для этой-то молодежи и была написана Толстым упоминаемая статья. Появилась впервые в изд. «Посредник» в 1909 г. под названием «Любите друг друга».

[12] «У него более ума, чем это для него полезно» — перефразировка слов, с которыми в драме Бернарда Шоу «Man and Superman» обращается к Дон-Жуану статуя командора. Толстой прилагал это выражение к самому автору драмы, т. е. Бернарду Шоу.

[13] 28 августа 1908 г. Толстому исполнялось 80 лет. К этому дню он получил много приветствий как из разных концов России, так и из-за границы.

[14] Лебрен Виктор Анатолиевич (род. в 1883 г.), французский гражданин, единомышленник Толстого, живший земледельческим трудом на Кавказе. Летом 1906 г. некоторое время исполнял секретарские обязанности у Толстого.

[15] Обширное письмо к индусу Tarakuatta Das, редактору журнала «The free Hindostan» («Свободный Индостан»), призывавшего к свержению английского владычества над Индией, появилось впервые в выдержках в газете «Киевские Вести», 1909, № 107, от 19 апреля. Полностью впервые — в Сочинениях Толстого, изд. 12-е, 1911, ч. 20-я.

[16] 29 ноября 1908 г. Толстой записал в дневнике: «Ночью видел во сне, что я отчасти пишу, сочиняю, отчасти переживаю драму Христа. Я — и Христос и воин. Помню, как надевал меч» (Юбилейное издание сочинений Толстого, т. LVI, стр. 158).

[17] В 1908 г. вдова А. И. Эртеля, предпринимая издание сочинений своего мужа, обратилась к Толстому с просьбой написать к ним предисловие. Толстой перечитал роман Эртеля «Гарденины, их дворня, приверженцы и враги» и написал небольшую

заметку об этом романе, в которой особенно хвалил народный язык Эртеля. Заметка Толстого появилась в Собр. соч. Эртеля, М., 1909, т. V.

[18] Чертков Владимир Владимирович (род. в 1888 г.), сын В. Г. Черткова.

[19] Маковицкий Душан Петрович (1866—1921), яснополянский врач, словак по национальности, единомышленник и преданнейший друг Толстого, автор обширных ненапечатанных «Яснополянских записок» (1904—1910).

[20] Меньшиков Михаил Осипович (1859—1919), журналист, сотрудник суворинского «Нового Времени».

[21] Досев Христо (1886—1919), болгарин, единомышленник Толстого, участник болгарских толстовских обществ и толстовского журнала «Возрождение».

[22] Томас Эдисон в 1908 г. прислал Толстому особого типа фонограф для диктования писем. С своей стороны, Эдисон просил Толстого «наговорить» в присланный им фонограф несколько своих изречений и валик с этими изречениями отослать Эдисону обратно с его посланным. Переписку Толстого с Эдисоном см. выше.

[23] Трактат Толстого «О жизни» был написан им в 1887 г.

[24] Философова Валентина Дмитриевна, певица, родственница жены сына Толстого, Ильи Львовича.

[25] «Рассказ о семи повешенных» Леонида Андреева появился в альманахе «Шиповник» в 1908 г.

[26] Толстой всю жизнь считал себя «великим поклонником» Виктора Гюго. Он относил его к числу писателей, которые «переживут несколько поколений» (письмо к Г. Ильгенштейну от 21 октября 1903 г.); роман Гюго «Отверженные» Толстой поместил в списке «образцов высшего искусства» в своем трактате «Что такое искусство?», гл. XVI.

[27] Фоканов Тарас Карпович (1852—1924), яснополянский крестьянин, ученик школы Толстого 60-х годов, впоследствии сторож его могилы.

[28] «Круг чтения», сборник для ежедневного чтения, составленный Толстым из мыслей многих мудрецов разных стран и народов и его собственных, вышел в двух томах в изд. «Посредник» в 1906—1907 гг. В 1907—1908 гг. Толстой перерабатывал этот сборник, получивший в новой редакции название «На каждый день». Впервые появился в XLIII—XLIV томах Юбилейного издания сочинений Толстого.

[29] В дневнике Н. Н. Гусева «Два года с Л. Н. Толстым» (изд. «Посредник», М., 1912, стр. 264) под 17 марта 1909 г. записано: «Вчера был у Льва Николаевича яснополянский крестьянин Тарас Фоканов, ученик его школы 60-х годов.

— Я попробовал, — сказал Лев Николаевич, — читать ему из «Круга чтения», но увидел, что это ему недоступно, сразу же пришлось перефразировать.

И это заставило Льва Николаевича пожалеть о том, что почти все, что он написал, написано языком; понятным только для интеллигенции.

— Сегодня,— сказал Лев Николаевич,— был у меня один из моих учителей, но я мало у него научился».

[30] «Детские годы Багрова внука» — произведение С. Т. Аксакова.

[31] Имеется в виду следующая запись в дневнике Толстого от 4 сентября 1909 г.: «Произведение искусства только тогда истинное произведение искусства, когда, воспринимая его, человеку кажется,— не только кажется, но человек испытывает чувство радости о том, что он произвел такую прекрасную вещь. Особенно сильно это в музыке. Ни на чем, как на этом, не видно так главное значение искусства, значение объединения: «я» художника сливается с «я» всех воспринимающих, сливающихся в одно» (дневник Толстого за 1909 г.; не опубликован).

[32] Из стихотворения Тютчева «Есть в осени первоначальной...».

[33] В 1909 г. В. Г. Чертков, высланный из Тульской губернии, проживал в имении Пашковых Крекшино, в 36 верстах от Москвы. Толстой ездил навещать его; он выехал из Ясной Поляны 3 сентября и вернулся обратно 19 сентября.

[34] Стих принадлежит не Тютчеву, а Фету. Стихотворение Фета «Осенняя роза» (1886) начинается следующей строфой:

Осыпал лес свои вершины,
Сад обнажил свое чело,
Дохнул сентябрь — и георгины
Дыханьем ночи обожгло.

[35] Семенов Сергей Терентьевич (1868—1922), крестьянский писатель. См. о нем выше, стр. 506.

[36] Эрденко Михаил Гаврилович, скрипач. Игра его очень нравилась Толстому.

[37] Подтверждением этих слов Толстого является сделанная им в дневнике 20 июля 1907 г. следующая запись: «Хочется писать... «Руки вверх», пришедшее мне в голову во время игры Гольденвейзера» (речь идет о художественном произведении из жизни революционеров, начатом Толстым в 1908 г. под названием «Нет в мире виноватых» и оставшемся незаконченным).

[38] Драма финского единомышленника Толстого Арвида Ернефельта «Тит, разрушитель Иерусалима». См. Юбилейное издание сочинений Толстого, т. LVIII, стр. 344.

II. ЗАПИСИ П. А. СЕРГЕЕНКО

18 декабря 1898 г., Москва

У Толстых. Софья Андреевна готовит рождественские подарки для детей и внуков и обшивает кукол. Решено, что на праздники все уедут в Ясную. Л. Н. уезжает завтра (в театре Корша вечер в честь его), отчасти, чтобы избежать могущих возникнуть оваций [1]. Я долго сидел с Софьей Андреевной в нижней гостиной (спальня), при чем она сказала мне, что только «враг мог поместить ее портрет» (вместе с Л. Н.); кто-то ей сказал, что она там похожа на труп, и это не дает ей покоя [2]. «Воскресение» очень разрастается и начинает нравиться Софье Андреевне. Л. Н. очень старательно изучает все мелочи жизни, которые описывает. Мне показалось, что В. А. Маклаков [3] был приглашен к обеду, главным образом, как адвокат, чтобы узнать от него некоторые подробности обстановки. Очень занимает Л. Н. вопрос, как в тюрьме, как живут. Хорошо бы бывшего смотрителя, чтобы сидел и рассказывал, и какого-нибудь сидевшего в тюрьме. После обеда Л. Н. все расспрашивал Маклакова, как происходят заседания в сенате, какие департаменты, какие костюмы у сенаторов, как говорят. Когда Маклаков сказал о погонах, Лев Николаевич сейчас записал... Говоря о Плевако [4], Лев Николаевич сказал, что у адвокатов, как у докторов, часто встречается несимпатичная черта: ограниченность. И Плевако — видно, человек способный и умный, но сделал себе географическую карту, и, пока он в своих «странах», он интересен, но, как только дошел до границы, сейчас же начинает забирать назад.

По поводу одной главы из «Воскресения» Л. Н. рассказывает, что он загадал: если пасьянс выйдет, то не надо переделывать, а если не выйдет, то надо переделать.

Л. Н. ТОЛСТОЙ, ЧЕРТКОВЫ И ИХ ДРУЗЬЯ В ПЕТЕРБУРГЕ ПЕРЕД ВЫСЫЛКОЙ В. Г. ЧЕРТКОВА ЗА ГРАНИЦУ

Фотография 1897 г.
Толстовский музей, Москва

— Пасьянс не вышел. Тогда я второй раз разложил. Опять не вышел. Я разложил тогда в последний раз. Опять не вышел. Тогда я думаю: нет врешь, все-таки так надо, как я написал.

13 января 1899 г., Москва

Л. Н. все время говорит о Чехове и благословляет меня на поездку в Петербург [5].

— Ведь Марксу теперь остается издать только меня и Чехова, который гораздо интереснее Тургенева или Гончарова [6]. Я первый приобрел бы полное собрание его сочинений. Так и скажите Марксу, что я настаиваю.

Рассказ Л. Н., как читался «Рудин» Тургеневым после обеда у Некрасова:

— Панаев, Анненков, Дружинин, Григорович, Некрасов, кажется, Фет и Гончаров, впрочем, не помню.

П. А. Вяземский [7] устроил чтение с Л. Н. Он [Л. Н.] стеснялся и читал плохо. На другой день у Дюссо [8] был с приятелем, бароном Ферзеном. Вошел офицер и начал говорить, что вчера было плохое чтение Толстого.

— Тургенев перед Диккенсом, как мышь перед горою.

Восхищение Достоевским:

— Его небрежная страница стоит целых томов теперешних писателей. Я для «Воскресения» прочел недавно «Записки из мертвого дома». Какая это удивительная вещь!

27 января 1899 г., Москва

У Л. Н. Беседа в нижней гостиной. Председатель суда Денисенко [9]. Таганрожец. У него симпатичное моложавое лицо с жидкой растительностью. Говорит он складно и колоритно, но ко всем относится с зацепкой. Подробное расспрашивание Денисенко относительно судейских частностей. Как устроена тюрьма там-то, как решетка, как происходит свидание и т. д.

Восторг Л. Н. от «Душечки» Чехова [10]: — Это перл. Подобно бумаге-лакмусу, она производит различные эффекты.

Он цитирует напамять целые фразы.

— Как хорошо схвачен язык телеграфиста: «хохороны» и пр. В «Душечке» выведена истинная женская любовь.

Рассказ Л. Н. о Фете. Фет говорил: «Мне разве многое нужно? Дайте мне хорошую комнату, хороший кусок мяса, спокойствие, и больше мне ничего не надо».

28 января 1899 г., Москва

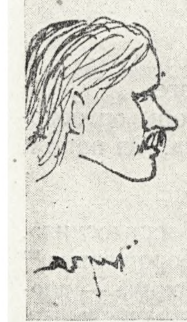
Он читал Страхову [11] свой ответ шведам [12], обратившимся к нему по поводу мирной конференции. В ответе много оригинальных, смелых мыслей, но тон резкий и неприятный. После письма я просил его прочитать конец «Воскресения». Он охотно согласился и прочитал целую главу (невозможную в подцензурном издании), где арестанты слушают обедню. Тут беспощадная сатира к ритуалу должна вызвать массу врагов к нему. Но описание некоторых сторон — бесподобное. Конец «Воскресения» у Л. Н. еще не намечен ярко. Он хочет сказать в эпилоге, что Нехлюдов уехал, а Маслова вышла замуж за другого.

— У Кони [13], рассказывавшего это, выход простой — она умерла. Но мне не хотелось так разрешать вопрос.

5 февраля 1899 г., Москва

По моем приезде Л. Н. вручил мне конец «Воскресения» с исключи-

тов. председателя окруж. суд. Кабрели и Курент, говорит и вырабатывает свобо-
дой и отрицательно относится къ своему [illegible]
сильным. Около 7 час. начали подходить
посетители, пришли Поссе, невысокий ра-
развязный господинъ авторитетно излагающий
свои умозаключения, говорит громко и раз-
махивает рукою, Миролюбов высокий строй-
ный красивый господинъ съ интересной стри-
жкой растрепанной. У Миролюбова лицо отличает [illegible]
родъ, голосъ звучный съ барскими тона-
ми, был нервным, теперь редактирует „Журнал
для всехъ". Играет роль няньки около Горького.
Горький небольшой, нескладный, угловатый
в темной блузе, лицо бледное и сперe[illegible]
типическими мастеровые: такие бывают
преимущественно из сапожников масте-
ровые съ длинными волосами и бледно-вос-
ковой кожей. Но когда улыбается, глаза
(глаза) сверкают чудным блеском. Го-
ворит на о по волжски [illegible]
[illegible] себя



СТРАНИЦА ИЗ ДНЕВНИКА П. А. СЕРГЕЕНКО. НА ПОЛЯХ ЗАРИСОВАН ПРОФИЛЬ М. ГОРЬКОГО

Частное собрание, Москва

тельной целью отделаться от приставания Маркса. Он его «изводит своими письмами»[14]. Сказано это было спокойно и шутливо.

Относительно статьи в сборнике Пушкина[15] Л. Н. говорит, что Гнедич[16] прислал ему письмо и нехорошо сделал,— самое лучшее приехал бы сам, а что отвечать отказом всегда неприятно. Я сказал о разных местах в статье к шведам и просил извинить за мое замечание.

— Напротив, я всегда бываю благодарен за подобные указания. И вы правы, там есть места как бы с задором. Я очень сожалею, что мое письмо поспешили напечатать... Мне говорил Денисенко о вашей книге[17], что это первая справедливая книга обо мне.

8 февраля 1899 г., Москва

По поводу Чехова Л. Н. говорит, что у него удивительно развито художественное чутье.

— И как художник, несмотря на свое мастерство и идейность, может быть неинтересен, потому что не умеет сосредоточить интерес зрителя на своей картине, так и писатель.

21 марта 1899 г., Москва

— Читал Боборыкина[18] «Дома». Талантливо и тонко. Чего он ко мне не приходит? Я очень был бы рад его видеть...

Л. Н. несколько раз задумывался, очевидно, занятый какой-то мыслью. Потом с облегчением сказал, что для него теперь выяснилось состояние Нехлюдова (в «Воскресении») после приговора, когда он вспоминает, что предлагал Катюше деньги после того, как овладел ею. И если бы этого не было, то он не мог бы чувствовать такой остроты угрызения совести. И Л. Н. ясно вскрыл передо мной этот душевный нарыв. Я спросил о Катюше, которая удивительно жизненна, с кого он взял ее. Л. Н. сказал, что она — создание его воображения, т. е. он сказал это не этими словами, но мысль была эта.

Проходя по Охотному ряду, Л. Н. сказал:

— Вот, прежде собирались и говорили в Кремле, против дворца, Хомяков[19] и другие, потом оттуда предложили убраться, собирались в Охотном ряду. И то запретили.

15 мая 1899 г., Москва

Л. Н. беседовал, т. е. скорее доил по части юридических тонкостей Давыдова[20], который обстоятельно давал ему объяснения...

Я сделал замечание относительно равнодушия Нехлюдова к судьбе Катюши на второй день после суда. Сначала Л. Н. как бы охотно выслушал, потом сказал, что он находит, что состояние духовное Нехлюдова вполне определенно выражено.

6 декабря 1899 г., Москва

У Льва Николаевича. Начал расспрашивать о Петербурге.

— Видели ли Маркса? Он — невозможен. Я написал, чтобы он освободил меня от конца, за что дал ему «Историю моей матери». Он пишет, что этого мало.

Я выразил сожаление, что засватал «Воскресение»[21].

— Нет, нет. Без этого я никогда не написал бы «Воскресения». У Суворина иногда бывает скромно-беззастенчивый тон. У Дорошевича[22] удивительное дарование: напишет «маленькое письмо Суворину» — превосходно, о Диккенсе — отлично. Сахалинские же очерки удивительные. Нехорошо только, что он, подобно Буренину[23], иногда целиком печатает фамилии и вышучивает человека, а не смешную сторону...

Пришел высокий, тонкий и гибкий, как лоза, Игумнов[24]. Л. Н. выразил желание послушать музыку, и Игумнов охотно согласился. Пошли

в комнату для гостей. У Игумнова грациозная, поэтическая игра. Особенно хороши у него шопеновские вещи. После игры Лев Николаевич много говорил приятного Игумнову, хваля его игру, и развивал мысль, что «в искусстве важно, чтобы не сказать ничего лишнего, а только давать ряд сжатых впечатлений, и тогда сильное место (*и в голосе Л. Н. дрогнула нотка*) даст глубокое впечатление». И он начал рассказывать о картине, на которой нарисована опоздавшая собака, и по ее виду видно, как она бежала, как преодолевала все препятствия, прибежала — и поздно, хозяина нет. И опять голос Л. Н. дрогнул от волнения.

12 декабря 1899 г., Москва

Говорили о Дорошевиче, к работам которого Л. Н. относится с живым интересом, но его отношение к миру считает путаным и зачастую нехорошим, затем о Ницше [25].

— И как все это старо, что говорит Ницше, но очень уж подошло ко многим, и все вымазались гадостью и говорят: полюбуйтесь нами, — говорит Л. Н., пуская смех несколько в нос, сквозь усы.

18 февраля 1900 г., Москва

Сегодня день именин Льва Николаевича. Я купил для него иллюстрированную «Историю религии» Шантепи-де-ля-Сосей... [26]. Вид у Льва Николаевича был бодрый.

— Ну-с, я прочитал вашу пьесу [27]. Вы хотите, чтобы я о ней сказал вам правду?

— Конечно, Лев Николаевич.

— Прежде всего, должен сказать, что я читал с несколько предубежденным мнением некоторых лиц, слыхавших «Сократа» в Петербурге. Им ваша пьеса не понравилась. Но я с ними не согласен. Пьеса хорошая и может сделаться народной пьесой. Но первые три акта сделаны лучше, живее, четвертый же слабее. Я сделал здесь пометки,— и он начал говорить о пометках, поясняя свои замечания.— Монолог о Разуме слаб. Надо что-нибудь посильнее. Сократ в сцене с семьей больше должен быть стоиком. Они плачут. Это его не может трогать. Игру слов надо совсем выбросить. Сейчас вызывает мысль: а как это по-гречески? «Несчастнейший характер» — выражение интеллигентно-пошлое. Язык должен быть как можно проще, но не простонароден.

Во время нашей беседы доложили о Линеве [28]. В «Воскресении» Л. Н. пользуется кое-чем из его книжки и даже сделал выноску, но Маркс не напечатал. Меньшиков [29] сказал об этом Линеву, и последний приехал специально для этого в Москву. С первых слов Линев соскакивает с рельсов и увлекается в разговоре, распространяясь о том, как много ему пришлось потерпеть за правду. Л. Н. слушал его с особенными междуметными репликами: «Гм!» (в нос) и качая головой, как бы в виде удивления, быстро при этом уничтожая овсянку и придвигая во время еды бороду к носу. По окончании завтрака Л. Н. спросил, знаю ли я «Сон Попова» [30]. Я начал припоминать.

— «Сон Попова» Алексея Толстого не знаете? Это превосходно.

Он вынес из спальни несколько печатных листов.

— Это бесподобно. Нет, я не могу не прочитать вам этого.

И Л. Н. начал мастерски читать «Сон Попова», пуская сквозь усы юмористические нотки и делая с увлечением вставки, что «Сон Попова» он ставит гораздо выше всех «Федоров Иоанновичей» и пр. [31].

Читал Лев Николаевич с большим мастерством, вызывая иногда взрывы смеха.

Линев вышел от Л. Н. опьяненным и долго говорил о своих ощущениях.

21 февраля 1900 г., Москва

Л. Н. живой, разговорчивый. Одна пожилая дама, часто курившая, восхищалась Сальвини [32] в «Отелло», дающим глубокое впечатление. Л. Н. не был на Сальвини и вообще находился в умиротворенном настроении, начал охаивать и Сальвини, что стыдно-де старику заниматься такими глупостями, как кривляние на сцене, и, главным образом, Шекспира, у которого-де встречаются такие перлы, что «каменистое ложе войны для Отелло было мягче пуха» и прочая чепуха. И зачем все это? И ужасно смешно и противно было, когда Росси [33] с его толстым пузом (показывает очень смешно) начал ломаться в Ромео и подражать влюбленному человеку. И кого это может прельщать? Все это на мосту висящее.

— Что это значит?

— Это я себе такую сказочку сочинил. Ехали люди по реке, поднялось волнение, одни говорят: «Будем держаться покрепче за лодку». Другие: «Нет, лучше уцепимся за мост, под которым сейчас проедем». Ухватились за мост и повисли. А лодка уехала. А они все висят, чтобы, в конце концов, все-таки упасть в воду.

— А что же такое лодка?

— Жизнь, движение вперед. А они создали себе троицу из Шекспира, Бетховена, Рафаэля и думают, что на этом всегда висеть можно.

Танеев [34] Сергей Иванович:

— Но разве вы, Лев Николаевич, за новых, а не за старину?

Л. Н. на минуту смутился.

— Конечно, я за движение вперед. И жду. Но если новые только пока глупые, то я не за глупых...

И, желая, видимо, сказать приятное Танееву, Л. Н. сказал:

— А почему же вы тогда ушли так скоро? Я только хотел попросить вас сыграть, а вас уже и нет.

— И вовсе ты не хотел слушать Сергея Ивановича, потому что ушел в гости,— сказала Софья Андреевна.

— Но я потом вернулся,— сказал Л. Н. спокойно.

11 марта 1900 г.

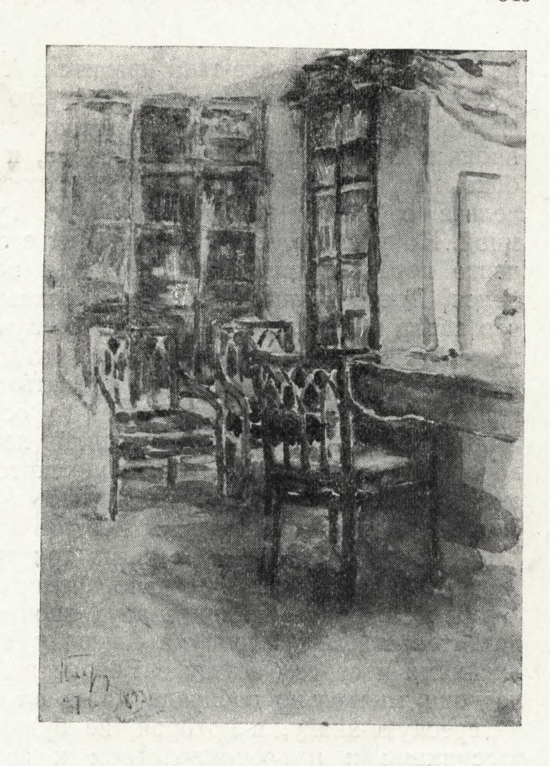
У Льва Николаевича. В гостиной наверху сидели жена Ильи, Сергей Львович и Цуриков, товарищ председателя окружного суда... Около девяти часов начали появляться посетители. Пришли: Поссе, невысокого роста, развязный господин, авторитетно излагающий свои умозаключения, говорит громко и размахивает рукою; Миролюбов, высокий, стройный, красивый господин с интересной светлорыжей растительностью. В лице оттенок невзгод, голос звучный, с бархатным тоном. Был певцом, теперь редактирует «Журнал Для Всех»... Горький, небольшой, нескладный, сутуловатый, в темной блузе, лицо бледное, испитое, типически-мастеровое: такие бывают преимущественно из сапожников-мастеровых, с длинными волосами, с бледновосковой кожей. Но, когда улыбается, глаза светятся чудным блеском. Говорит на «о», по-вологодски, делает вставки: «знаете ли», «видите ли», держит себя неловко, нескладно, но, разговорившись, так и брызжет красками жизни и алмазами юмора.

— Везли из Владикавказа — просто восхищение. В карете, понимаете. По бокам жандармы, впереди жандармы. Грузинская дорога. Очень интересно.

— За что же?

— А так себе больше. И горы...— делает пальцами рук простонародное движение.

КОМНАТА В ЯСНОЙ ПОЛЯНЕ
Акварель Л. О. Пастернака,
27 июля 1893 г.
Толстовский музей, Москва



Говоря о несчастье одного человека, он сравнил его с козявкой, на которую надвинулась гора, и показал руками, как это бывает.

Л. Н. выразил как бы сожаление, что разом пришло столько хороших людей, и, отойдя, позвал к себе в кабинет Горького и Поссе... Через час Л. Н. вышел... Перешли на литературу. Л. Н. предложил прочитать рассказ «Аверьян» Семенова в «Русском Курьере» и сам согласился читать, но через несколько минут, дойдя до подробностей, очень ему близких, как человеку (старику Аверьяну пришла пора умирать), он с трудом сдерживал слезы, останавливался, но голос его опять начинал вибрировать, и наконец он передал рассказ Миролюбову, который и закончил чтение. Рассказ вызвал со стороны Л. Н. град одобрений:

— Как все у него намечено хорошо, значительно и глубоко.

Горький подсел близко к Л. Н. и, нагнувшись и блестя радостными глазами, заговорил о каком-то поэте, который прислал в «Жизнь» хорошее стихотворение.

— Ой, я боюсь поэтов, — сказал с каким-то страхом Толстой.

24 апреля 1900 г., Москва

Л. Н. сделал сравнение: это все равно, что какому-нибудь виртуозу, исполняющему на фортепиано Бетховена, аккомпанировать бы на гармонике.

5 июля 1900 г., Ясная Поляна

Софья Андреевна рассказывала с сокрушенным видом, что Горький намедни прислал странную телеграмму с одним словом: «Возвращаюсь», которую послал на Тулу, и пришлось заплатить полтора рубля нарочному. Лев Николаевич объяснил эту телеграмму какой-нибудь странностью Горького. Его отношение к Горькому значительно понизилось:

— Да, у него многое ярко и интересно, но часто преувеличенно и грубовато. Не знаю, не думаю, чтобы он создал что-нибудь истинно хорошее. Очень его превознесли, и это, пожалуй, может дурно отразиться

на нем. Но он мне все-таки нравится. А главное, как это легко он усвоил все, что называется цивилизацией. Его напрасно сравнивают с Чеховым. Чехов удивителен и больше всего напоминает Мопассана. Я недавно вновь прочитал почти всего Чехова, и все у него чудесно, но не глубоко, нет, не глубоко. С внешней стороны это перлы, и даже сравнивать нельзя с прежними писателями: с Тургеневым, Достоевским или со мной. Но у Достоевского, при всей его безобразной форме, попадаются часто поразительные страницы, и я понимаю Тэна [35], который зачитывался Достоевским. Читаешь и захватываешься тем, что чувствуешь, что автор хочет тебе сказать самое лучшее, что есть в нем, и пишет он тоже потому, чтобы высказать то, что назрело в его душе. У теперешних же писателей этого желания сказать что-то мне и нет. Особенно это ярко у Чехова. И манера какая-то особенная, как у импрессионистов. Видишь, человек без всякого усилия набрасывает какие-то яркие краски, которые попадаются ему, и никакого соотношения, повидимому, нет между всеми этими яркими пятнами, но в общем впечатление удивительное. Перед вами яркая и неотразимо эффектная картина.

— Я недавно написал целых три предисловия... два я помню. Какое третье? Ах, вспомнил... Первое предисловие я написал к книге об анархизме... [36]. Второе — к книге двух японцев, которые были посланы своим правительством в Европу и Америку для знакомства с экономическими учениями и строем жизни в Европе и Америке [37]. В течение нескольких лет они тщательно собирали материал и теперь выпустили чрезвычайно интересную книгу, в которой, не будучи заражены европейскими предрассудками и идолопоклонством к авторитетам экономической науки, дали целый ряд интересных и своеобразных мнений. Наконец, третье предисловие я написал к книге «Хозяин» немецкого писателя Поленца [38], который мало известен, но то, что он пишет, превосходно, со всех сторон превосходно. И вот все это длинное вступление я сделал для того, чтобы сказать, что в предисловии к книге Поленца я говорю, что особенность всякого писателя заключается в том, что он, как в фокусе стекла, собирает все для него яркое. И если бы надо было определить этот фокус у Поленца словами, то я назвал бы поэзией крестьянской жизни. Будучи необыкновенно правдивым и искренним, он умеет отыскать в трудовой крестьянской жизни светлую, поэтическую сторону и увлечь ею читателя. Словом, ему есть что сказать.

Я спросил Льва Николаевича о содержании романа Поленца, и Л. Н. необыкновенно яркими штрихами начал передавать некоторые картины из «Хозяина», живо перед нами рисуя чуждую нам, но понятную картину деревенской жизни. Особенно хорошо, заразительно и трогательно он передал ее, когда крестьянин, вернувшись домой пьяным с подаренными деньгами, засыпает, его жена прячет деньги и не дает ему на кутеж, как он в исступлении бьет ее и затем опять в бесчувствии, вернувшись домой, засыпает, упавши неудобно на кровать, и как жена, избитая и оскорбленная, всхлипывает, утирает сопли и в то же время не может удержаться, чтобы не поправить повисшую голову мужа. Дойдя до этого места, Л. Н. вдруг сам всхлипнул и закончил эпизод прерывистым от слез голосом, произведя на нас глубокое впечатление; затем, овладевши собой и докончивши содержание романа Поленца, он сказал:

— И когда я кончил этот прекрасный роман, меня взяла досада, почему я не написал до сих пор такого романа.

Мы высказали надежду, что он еще исправит свою оплошность, и он, не возражая на это, начал говорить о прекрасном влиянии крестьянских романов Григоровича, которые сделали свое. Значительны также заслуги в этом отношении и Тургенева, который сумел в эпоху крепостничества осветить крестьянскую жизнь и оттенить ее поэтические стороны.

После этого Л. Н. возбудил вопрос, нужна ли вообще критика или нет.

Я сказал, что если критика есть необходимая органическая принадлежность искусства, а не нечто вроде нароста, то она должна вплетаться и в область живописи, музыки и прочих искусств. Между тем, если можно еще допустить необходимость истории музыки или живописи, то решительно трудно определить ценность критики по отношению картин или музыки. Произведения эти постольку для меня ценны, поскольку вызывают во мне непосредственные чувства.

Гольденвейзер не согласился со мной и отстаивал ценность музыкальной критики.

Л. Н., видимо, не был вполне согласен ни с Гольденвейзером, ни со мной и отделывался особенным характерным для него междометием в нос «хм», когда не хотел спорить и не мог соглашаться. В виде уступки Гольденвейзеру я признал некоторую ценность за публицистической критикой, т. е. проводящей или переживающей для удобного восприятия известные течения, которыми проникнуто известное произведение. Но относительно такой критики Л. Н. сказал, что он уже совсем ее терпеть не может [39].

1 сентября 1900 г., Ясная Поляна

Л. Н. отозвал меня в гостиную и начал говорить о своей теперешней работе, которую не дает никому переписывать [40]:

— Я знаю, что жить мне осталось немного — не более как год-два, но, может быть, эта моя работа важнее всех моих прежних работ, потому что прежде я думал об успехе, о славе, теперь же это все уже мне не нужно, и мне хочется высказать мои задушевные мысли.

21 декабря 1900 г., Москва

Я начал расспрашивать его о «Трупе» [41], он охотно рассказывал:

— Шел я недавно по Арбату и увидел в окошке у букиниста истрепанную книжку «Крейцерова соната». И мне пришло в голову, что «Крейцерова соната», «Власть тьмы» и «Труп» — единственные произведения, в которых я не задавался никакими дидактическими и поучительными целями, а подчинялся исключительно художественной эмоции. «Крейцерову сонату» я написал для чтения актера Бурлака [42], между тем я имею основание думать, что эти произведения проложили дорогу к сердцам читателей и сделали свое дело в нравственной сфере. «Труп» меня подвинула писать движущаяся сцена [43]. Я читал, не помню, как называется, одну немецкую пьесу, в которой автор, видимо, пропускает многие важные сцены, потому что не может втиснуть их в четыре действия. И, когда я узнал о движущейся сцене, я подумал, как это было бы хорошо изобразить на сцене полностью какой-нибудь эпизод, и написал *(в голосе послышался смех)* что-то, кажется, шестнадцать действий.

Я рассмеялся:

— Шестнадцать? Но ведь это ужасно много даже и для движущейся сцены.

— Нет, там у них происходит все быстро.

— Но будем считать. Шестнадцать действий. Хоть по десяти минут надо положить.

— Да, по десяти надо.

— Выходит 160, т. е. 2 часа 40 минут чистых, без антрактов. А ведь будут действия, наверное, и больше десяти.

— Да, будут.

— Выйдет более трех часов...

— Это действительно много.

— А как вы довольны работой?

— Ничего. Меня очень интересует этот труп... Федя [44].

— Да, он должен у вас выйти особенно хорошо.

— И это чисто русский тип. Он и алкоголик, и беспутный, и в то же время отличной души человек.

— Это уже есть — Любим Торцов [45].

— Нет, Любим Торцов не то.

— А вы скоро думаете окончить «Труп»?

— Не знаю,— сказал с улыбкой Лев Николаевич,— для этого нужно особенное, легкомысленное настроение, которого теперь нет у меня.

— Вы пишете что-нибудь из религиозной области?

— Да, т. е. заношу те мысли, которые возникают во мне.

Возник разговор о Чехове, Горьком, о Теляковском [46]. Я сказал, что летом убедился в полном неверии Чехова.

— Я всегда это думал и пришел к тому заключению, что в искусстве интересно только, когда художник ищет, а когда он уже нашел или когда ему нечего сказать, тогда уж плохо. Горький — ничего. Это только газеты сделали его смешным, вроде Иоанна Кронштадтского.

Теляковский, видимо, ему понравился.

— Он окончил курс консерватории и образованный человек.

По поводу «Трупа» Л. Н. сказал, что сюжет только тогда хорош, когда он находит в душе отклик и сливается с невысказанными желаниями.

22 марта 1901 г., Москва

Заговорили о драмах Чехова. Л. Н. против них и считает увлечение ими публики чем-то вроде гипноза.

— Мне так рисуется: как кого-нибудь волна вынесет наверх, и тогда печать начнет возвеличивать и раздувает это явление. Раздувает, раздувает и наконец превращает в авторитет.

— А Шекспир? — спросил кто-то.

— Шекспир тоже. Ах, как все это раздуто! Драма есть конфликт между известными лицами таким образом, что они высказываются с характернейших для них сторон, но при этом так, что главная, основная мысль чувствуется везде...

Л. Н. велел принести немецкий сатирический журнал «Simplicissimus» и начал с восхищением переводить некоторые подписи, удивляясь искусству художников.

— Это лицо я видел. Я его знаю. Это готовая картина,— и т. д.

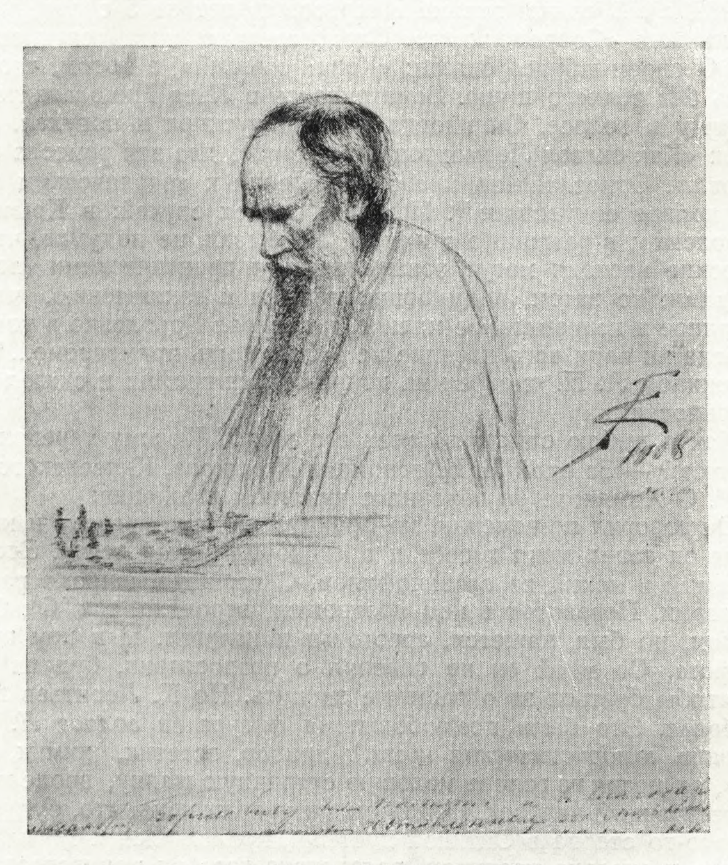
Когда он перевел диалог между девицей и молодым человеком: «Почему вы стоите? Вам не на чем сесть?».— «Сесть у меня есть на чем, но нет стула», Софья Андреевна сказала: «Как любят Толстые эти глупости».

11 сентября 1901 г., Гаспра, Крым

Дача Паниной похожа на средневековый замок. Внутри все грандиозно и великолепно. Огромные террасы, на которых могли бы помещаться роты. Но наверх идет витая лестница, куда и вносят Льва Николаевича по слабости. На вид он очень ослабел и смотрит стариком. Софья Андреевна объявила, что ждут Чехова, таким тоном, как событие. Очевидно, у них мало бывает. У Льва Николаевича лицо усталое... Приехал Чехов. Произошло оживление. При встрече Л. Н. и Софья Андреевна похвалили жену Чехова. К удивлению моему, Чехов вошел в некотором роде фертом, в модных узких штанах и с «развязностью почти военного человека».

Но Лев Николаевич был опьянен Чеховым и все находил в нем превосходным, охотно соглашаясь с ним и уже авансом улыбаясь, когда Чехов собирался острить. Только раз он как бы скиксовал в своем любовно-ухаживательном тоне, когда я заикнулся о пьесе... Лев Николаевич сказал серьезно, что ждет от него не пьес, а того, в чем он силен, и, похвалив «В овраге», процитировал что-то из Чехова. Вообще, много раз подходил к нему и относился к нему с особенной благожелательностью и даже с пристрастием.

Я заикнулся о Боборыкине. Но Льву Николаевичу не понравился на этот раз Боборыкин.



Л. Н. ТОЛСТОЙ ЗА ШАХМАТАМИ

Рисунок Т. Л. Толстой-Сухотиной с дарственной надписью А. Б. Гольденвейзеру, июль 1908 г.

Частное собрание, Москва

22 сентября 1902 г., Ясная Поляна

В передней появляется Софья Андреевна, приветливо здоровается, и мы идем наверх. Около стоит Л. Н. в своей отчаянной рыжей накидке, похожей на большую тряпку. Вид у него здоровый, прежний. Он гостеприимно расспрашивает меня и заботится о чае, чтобы согреть меня. Мы ходим по комнате. Сейчас же между нами разговор переходит на смерть.

— Я испытывал два чувства. Одно нехорошее, радостное, чувство удовольствия, что я остаюсь опять жить, и чувство грустное, что я опять отдалился от того состояния, которое сближало меня с вечностью. Точно

экипаж, взбиравшийся на гору, застрявший в грязи и вытащенный на обратный берег. А, между тем, опять надо будет ехать.

Рассказывает, что кончил сегодня «Хаджи Мурата».

Я говорю:

— Вы, конечно, говорите им что-нибудь?

— Нет, представьте, меня увлекала чисто художественная сторона.

И, вспоминая что-то о своем «Хаджи Мурате», просит меня сказать в Москве редактору «Русского Архива» Бартеневу [47], чтобы прислал ему старые номера журнала, где есть о Ермолове [48], Воронцове [49].

По случаю завтрашнего торжества (сорокалетия свадьбы 23 сентября 1902 г.). В одном письме Некрасов пишет от 5 сентября: «Завтра выйдет книжка «Современника». Следовательно, пятидесятилетие 6 сентября [50]. О своем юбилее сказал: «Какой юбилей», а потом, что рад, что обошлось без всякого шума. Всматриваясь в Льва Николаевича, я заметил разницу в голосе. Он иногда как бы тускнел и потухал. В беседе он сказал: «Как сказал Лермонтов, «смешивать два эти ремесла есть тьма охотников...». Относительно моего отношения к анархическим попыткам выразил полное сочувствие [51]. При чем привел случай: в Крыму у него был Короленко; в разговоре с ним Л. Н. сказал, не подумав, что иногда политические насилия могут ознаменоваться практическими (полезными) результатами; но затем, подумавши, пришел к заключению, что это — необдуманное и неправильное мнение, и написал Короленко в том смысле, что никогда ни ради чего насилие не может быть применяемо... [52].

За ужином Л. Н. смотрел на искрившийся графин и сказал с ноткой восторженности:

— Как я люблю стекло во всех его видах! Почему тарелок не делают из стекла? — За едой Л. Н. вспомнил Хомякова, Киреевского и К. Леонтьева [53]. О Хомякове он говорил с чувством уважения:

— Он говорил по-немецки, по-французски, как француз и как немец. Однажды он завел меня к себе и проговорил целый вечер. Это был самый крупный и яркий из славянофилов. С черными, широко расставленными глазами. Переворот в нем произошел, вероятно, так. Он был ярым западником, но был, кажется, арестован и напуган. И в нем произошла метаморфоза. Со мной он не говорил о православии, будучи слишком умным, чтобы браться за обращение на путь. Но К. Леонтьев несколько раз пробовал. Это была прелюбопытная фигура *(в голосе Л. Н. начинает звучать юмористическая нотка):* доктор, эстетик, химик, классик, богослов, он носил на голове меховую старинную шапку, вроде мерлушки, и был престранный человек. Однажды он уверял меня, что, будучи на могиле какого-то старца в Оптиной пустыни, приложился к могиле и в рот ему попало несколько песчинок, вследствие чего он почувствовал облегчение желудочных болей. «И вот, вы можете смеяться, можете считать меня за полоумного, а я взял в коробку земли с могилы отца и, как только мне плохо, приму крупинку — и мне легче».

После одного спора о чудесах и пр. Леонтьев сказал с досадою Льву Николаевичу: «Нет, вы безнадежный».

— А я говорю: «А вы, по-моему, не безнадежны. Вы еще можете притти к здравому смыслу».

Говоря шутливо о Фете, он продекламировал с придыханием и захлебывающимся голосом стихотворение Фета «Ветерком повеяло...».

— Это хорошо.

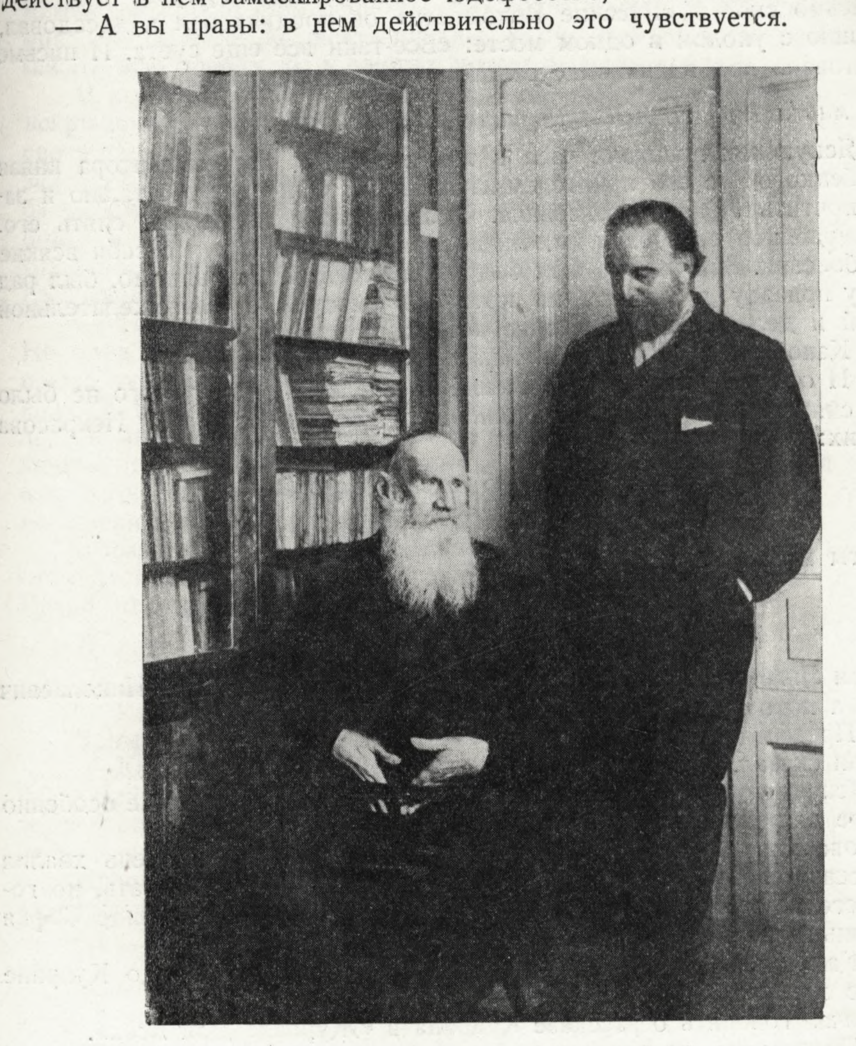
Сергей Львович читает «Гулливера» Свифта и начинает рассказывать, Л. Н. живо интересуется. Видимо, он основательно забыл эту книгу...

Заговорил о смерти Золя. Л. Н. говорил о нем с добрым чувством, но сказал, что у Золя было много дидактики. «Из-за этого я не любил его». Но, очевидно, вспомнивши моего «Сакья-Муни» [54], добавил:

— Но это нужно. Такое искусство необходимо. Я очень люблю Гомера. Недавно читал и опять буду читать. У греков — соединение реализма с поэзией... Я люблю читать Розанова [55]. Читаешь, все превосходно и ничего не остается в голове. Просто удовольствие.

Когда я сказал о «Крестьянине» Поленца, что на меня неприятно действует в нем замаскированное юдофобство, Л. Н. сказал:

— А вы правы: в нем действительно это чувствуется.



Л. Н. ТОЛСТОЙ и В. Г. ЧЕРТКОВ
Фотография 1908 г.
Толстовский музей, Москва

15 декабря 1902 г., Ясная Поляна

Третьего дня в газетах появилось тревожное известие о болезни Л. Н. Наконец появилось его письмо стихийное, протестующее. Он просит не писать о его болезни. Я решил поехать в Ясную, но в Москве узнал от Буланже [56], что Л. Н. очень слаб и ему пока-что нужен покой. Я решил отложить поездку... Ночью, в первом часу, был в редакции «Русских Ведомостей» с Буланже, который рассказывал, что Л. Н. в самые трудные минуты не терял присутствия духа и душевной мягкости, слушал чтение, над рассказом Скитальца [57] заснул, в корректуре нового

рассказа Леонида Андреева нашел много фальшивого и подсказывал нужные слова, говоря, что в истинно художественном произведении эпитеты всегда правильны. Мыслью был привязан на своих работах:

— Павел Александрович, посмотрите, пожалуйста, в котором году Воронцов был возведен в княжеское достоинство. У меня он «князь» везде, а, кажется, в «Хаджи Мурате» он был тогда графом.

Письмо свое в «Русские Ведомости» он продиктовал и досадовал, что вышло с уколом в одном месте: «Все-таки все еще суета. И письмо продиктовано под влиянием суетного чувства: подумают».

14 марта 1903 г., Ясная Поляна

В Ясную мы приехали часа в три и застали там скульптора князя П. Трубецкого[58] с его приятелем-итальянцем. Они едут в Италию и заехали почтить Льва Николаевича. В заключение попросили снять его. Л. Н. терпеливо позировал им. Он поправился и стряхнул с себя всякие следы болезни. Вид у него был бодрый и веселый. Он, видимо, был рад и моему приезду и Ильи[59], на которого смотрел с благожелательной улыбкой и делал юмористические вставки:

— Какой ты красивый мужчина, только волос мало.

— И откуда у тебя такая плешь? У нас в роду ни у кого не было такого сияния *(и он указал глазами на портреты предков)*. У Некрасова есть стих:

Только одна в его жизни удача была:
Из носа волосы шибко росли.

А ты можешь сказать:

Только одна у меня в жизни удача была:
Волосы плохо на теле росли.

Илья Львович начал, по обыкновению, читать стихи. Лев Николаевич слушал, а потом сам начал читать из Фета «Солнце вешнее».

— Прелестно. Откуда это?

Илья сказал.

В Ясную перед этим приезжал В. Розанов. Но произвел не особенно выгодное для него впечатление.

Заговорили почему-то о Куприне[60]. Лев Николаевич очень хвалил его рассказ «В цирке», велел найти «Мир Божий», начал читать, но голос у него ослабел и пресекался. Он передал читать племяннице Софьи Андреевны и не раз делал одобрительные замечания:

— Как пишет! У Горького нет такого рассказа. А вот о Куприне почти не говорят.

Я начал говорить о рассказе Куприна в «Журнале Для Всех».

— Подождите, не рассказывайте.

Мнение Льва Николаевича о пьесах Горького не высокое. К Чехову он попрежнему относится любовно и мастерски прочитал «Злоумышленника».

По окончании чтения «В цирке» Куприна Л. Н. просил меня передать Куприну его благодарность за книгу и желание написать ему.

— Написать надо много, а времени осталось мало. Скажите только, пожалуйста, ему от меня, чтобы он никого не слушался, ни к какой партии не примыкал, а писал по-своему. Трубецкой Паоло только потому и сделал кое-что, что никому никогда не подражал.

Начал писать Л. Н. свою автобиографию, написал только первые главы. Говорил, что начал одну религиозно-философскую работу, в которой думает определить с наибольшей ясностью смысл жизни. Но, видимо, он еще сам не вполне разобрался в своих мыслях.

Относительно автобиографии:

— Очень рискованная это тема. Я разделяю свою жизнь на четыре периода. Первый период — до 16-ти, самый чистый и хороший. Второй период — до 30-ти, бурный, кипучий, с половыми осложнениями. От 30-ти до 50-ти — третий период, буржуазно-эгоистический: семья, нажива и пр., и, наконец, последний период — духовной жизни. И вот страшно за второй период: если не писать правды, то не стоит совсем писать, если же писать всю правду, то у многих может вызвать соблазн.

В комнате у Саши[61], когда мы говорили, раздавались залихватские вскрикивания хора под аккомпанемент балалаек и гитары. Илья был в своей тарелке. Мы перешли туда, и Лев Николаевич прекомично рассказал, «в поучение знаменитостям», как в Гаспре к нему поступила просьба от странствующих американцев и американок посетить его. Он был болен и слаб. Так и заявил. Тогда американцы попросили разрешения только взглянуть на него и пройти мимо. Нечего делать, пришлось согласиться.

— Появилась одна, потом другой, проходят мимо меня и кланяются. Но одна американка *(со смехом сквозь усы)* не выдержала, бедная, наплыва чувств, остановилась, сложила руки и начала *(голосом американки):* «Я вас... обожаю... Я преклоняюсь перед вами. Я всего вас читала... Я читала ваше... ваше..., — и вижу по глазам, что она, вероятно, ничего не читала, — ваше... ваше...». Жалко мне ее стало, я подсказываю: «Детство и отрочество».— «Как это хорошо!» и пошла. Это должно служить наукой для нашего брата.

В разговоре он несколько раз упоминал о «Стрелах» Буренина и отзывался о них с похвалой, заставляя читать: «Однажды Боборыкин Петр», «Катков и Злобин» и пр.

17 марта 1903 г., Москва

Рассказ Волынского[62], как он спорил с Л. Н. о Леонардо да-Винчи.

— Что такое Леонардо да-Винчи, рисовавший Христа с венчиком?

Волынский загорелся:

— Как удивился бы Леонардо да-Винчи, если бы ему сказали, что через триста лет будут говорить, что он писал Христа с венчиком, которого он терпеть не мог. Леонардо да-Винчи не виноват, что вы его не знаете.

Произошла заминка. Лев Николаевич старался претворить во благо. Но Волынский не мог раствориться и уехал с Везувием в груди.

20 июля 1903 г., Ясная Поляна

Приезд в Россию из Парижа. В Ясной. Дружеская встреча с Львом Николаевичем.

— Как поживает Тургенев?

О газетах:

— Газетам выгодна война. Какое же надо бескорыстие, чтобы проповедывать издателю мир.

Льву Николаевичу прислали из Москвы (Стороженко[63] и другие) подписать адрес-протест по поводу кишиневских беспорядков[64]. В адресе были неудачные выражения насчет христианских чувств, т. е. что, якобы, христиане сделали погром. Лев Николаевич переделал адрес и предложил послать свой или без его подписи. Те согласились.

Образец газеты, по мнению Льва Николаевича, должен быть без направления, а только сведения.

Л. Н. усиленно работает над «Хаджи Муратом» и, видимо, доволен своей работой, которая идет у него, как по маслу.

Говорили о Чехове, талант которого он ставит высоко, и о новом талантливом французском писателе Мире[65].

— Старик Камло говорит добродушно о дочери-проститутке...

— Искусство духовно, и чем выше оно, тем оно проще. «Вы не пишете романов?».— «Не пишу, но хочу попробовать». И никто не удивляется. А сказать: «Вы не можете сыграть на скрипке?». — «Не могу, но попробую». И всем будет ясно, что это глупо.

Об Эртеле [66]:

— Делает ему честь, что он не пишет. Он больше других имеет право писать.

Об Елпатьевском [67]:

— Человек — ничего, но таланта нет, и разница между ним и Чеховым та, что, читая Чехова, я смеюсь, радуюсь, восхищаюсь, а читая Елпатьевского, ничего не испытываю. Вот определение таланта.

О Розанове [55]:

— Ничего, я рад, что я познакомился с ним. Теперь он мне стал яснее.

О Беляеве [68]:

— Ну, совсем он ничего не представляет.

Лев Николаевич читал напамять «Цыганы» Пушкина.

9 декабря 1903 г., Ясная Поляна

Л. Н. закончил вчерне работу о Шекспире и взялся за биографию. Когда мы сидели у круглого стола и говорили о театре, он вдруг наклонился ко мне и понизил голос:

— Я вам скажу, что вот написал о Шекспире, а сам думаю: «Ну что ты там пишешь, как нехороши драмы Шекспира, возьми и напиши сам».

И глаза его загорелись одушевлением. Я, думая, что он приступил к давно желанной теме, говорю:

— Из народной жизни?

— Нет, почему из народной?

Мы привезли с собой граммофон для Льва Николаевича. Софья Андреевна сказала, что «хотела давно купить граммофон, но он [Л. Н.] все грозил его выбросить, а вы привезли, и, наверное, он будет доволен».

Я завел граммофон. Лев Николаевич узнал внизу, что я приехал с граммофоном, крикнул Саше: «Певцы приехали!» и затем много восхищался граммофоном, его мембраной, заставляя играть без рупора, и переживал, повидимому, большое удовольствие от некоторых номеров (старые романсы, «Трубадур» и пр.). Но ужасно хохотал над «Парой гнедых», так как певец старался быть чувствительным. О церковных песнях Архангельского [69]:

— Превосходно! Так и чувствуются свечи, ризы, кадильный дым.

2 сентября 1904 г., Ясная Поляна

В Ясной Поляне. По дороге еду со Стасовым [70] и Гинцбургом [71]. По приезде несколько волнуюсь, но Лев Николаевич отогревает меня словами:

— Я недавно вспоминал о вас...

После обеда я спросил, над чем теперь работает Лев Николаевич. Он охотно заговорил о составленном новом календаре, значительно дополненном из мыслей мудрых людей, разделяя на три отдела: метафизический, религиозный и научный. Я сказал об изобилии и многословности Рёскина.

— Да, да, вы правы.

Стасов подсел к столу и с развязной скромностью и мотая головой загудел:

— А я к вам с целым рапортом, но прежде хотел бы немножко в сторону свернуть, проселочной дорогой, о другом.

— Ну, что же, сворачивайте, пойдемте,— сказал с улыбкой Лев Николаевич.

— Мне сказали, что вы написали о Шекспире. Некоторые сравнивают его с Гомером. А я говорю: «Вздор». У Гомера люди говорят не по-людски. Ахилл говорит — сто стихов, Агамемнон ему в ответ двести стихов. Это вздор, я говорю. У Шекспира же...

— У Шекспира... — пробует вставить Лев Николаевич.

Но Стасов уже заведен и остановиться не может:

— У Шекспира же все более реально, просто, человечно. Вы изволили читать «Троила и Крессиду»?

— Читал и...

Но Стасов трубит:

— Шекспир в «Троиле и Крессиде» сводит людей на землю, Шекспир — он заставляет их говорить...

Лев Николаевич не выдерживает:

— Да дайте же мне сказать.

Стасов заякоривает и с размаху наклоняет голову.

Лев Николаевич начинает, несколько волнуясь и с перехватами голоса, потом говорит спокойно:

— Конечно, нельзя сравнивать Шекспира с Гомером, потому что Гомер — истинный поэт, несравнимый...

— Целая глава описания щита Ахилла...

— Да. И когда вы читаете эту милую сказку — и описание щита, и как волы пахали, на вас веет поэзией, а когда читаешь такую грубую и глупую вещь, как «Троил и Крессида»...

— Ай, ай!.. — застонал Стасов.

— ...которую мне поневоле пришлось прочитать, то я испытываю ясно только одно ощущение, что мной даром потеряно время.

Л. Н. ТОЛСТОЙ, А. Б. ГОЛЬДЕНВЕЙЗЕР и В. Г. ЧЕРТКОВ С СЫНОМ

Фотография 1907 г.

Частное собрание, Москва

Стасов смущен, растерян, взволнован. Все-таки как-никак, а перед ним Лев Толстой, и приехал Стасов к нему за тысячу верст и, может быть, никогда не увидит его, но спорливая жилка сильнее всего, и через минуту стасовский поток прорывает плотину молчания и начинает бурлить, шуметь, клокотать. Он переходит на события последних дней...

Перешли опять на искусство. Стасов начал зондировать почву, когда будет напечатано о Шекспире, «Хаджи Мурат» и пр. Лев Николаевич, улыбаясь, говорит:

— Я столько напечатал глупостей, что надо что-нибудь оставить и после смерти.

Но Стасов протестует:

— Но позвольте, чем же те, которые будут жить после нас, лучше нас, а мы лишены...— и т. д.

Но Лев Николаевич сворачивает на шутку...

Через минуту опять загорается спор. Стасов возбуждает вопрос об искусстве, очевидно, заготовив заранее несколько мин и пуль против Льва Николаевича:

— Вы говорите, что задача искусства — заражать. Кого заражать?

— Людей.

— А я вот сижу у себя в кабинете и играю на фортепиано и так, как никогда не играл. Кого я заражаю? Себя заражаю, — говорит Стасов торжествующе.

Лев Николаевич недоумевающе смотрит на него — против чего он спорит?

— Непременно себя. Не заразив себя, художник будет мертв. В этом и заключается искусство. И свойством заражаться известными эмоциями и отличается художник от нехудожника.

Когда Гинцбург подсунул газеты Льву Николаевичу, он сказал:

— Не нарушайте моей невинности.

Газет не читает, особенно избегает читать о себе.

— В последнее время меня пристегивают к разным событиям. Читаешь все это — интересуешься. А это нехорошо...

Разговор зашел о Чехове. Я привез корректуру моей статьи и просил просмотреть. Он указал на одну неточность. Он еще мягче сделался, заговорив о Чехове. Одно сокрушало Льва Николаевича в Чехове — его неверие, а главное, его слепое рабство перед наукой...

Заговорили о работах Льва Николаевича. Он многое наметил и написал: статью «О Шекспире», «Фальшивый купон», «Труп». Глава о Николае I из «Хаджи Мурата» выделилась в отдельное произведение.

8 февраля 1905 г., Ясная Поляна

Заходит речь о новостях. Лев Николаевич:

— А я пятый месяц не читаю газет. И превосходно. Газеты — это то же, что папиросы: и курить не хорошо, но еще хуже, когда обкуривают.

И, тем не менее, по силе вещей разговор заходит о Петербурге, о последних событиях... Я увлекаюсь, рассказывая о событиях 9 января, затем вспоминаю «окуривание» и обрываю себя:

— Нет, нет, не буду вас окуривать.

— Нет, нет, говорите. Это очень интересно, — говорил Л. Н., как будто из любезности и как будто с интересом.

Я опять начинаю, увлекаюсь, опять обрываю себя и т. д. Спрашиваю о приезжавших.

— На-днях был сотрудник газеты «Matin» Bourdain. Ни к чему господин. Все знает насчет пустяков: и с кем живут танцовщицы и пр., а не читал и не знает Паскаля...

Зашла речь о работах Льва Николаевича. Он недавно закончил статью по поводу текущих событий (пояснение телеграммы в американ-

скую газету) и затем опять взялся за календарь, т. е. за «Круг чтения». Эта работа очень увлекает его, давая ему возможность немного работать и постоянно находиться в атмосфере мудрости. Он много читает, делает примечания, пишет краткие биографии и предисловия. «Круг чтения» разделен на дни, недели и месяцы. По неделям преимущественно беллетристические рассказы. Особенно восторгается Диккенсом, которого перечитывает второй раз, и рассказывает целые сцены:

— А помните из «Домби и сына», когда к Домби приходит этот... и начинает выкладывать на стол банковые билеты, затем часы, серебряные ложки, и как, выполнивши все это, он делает дамам воздушный поцелуй крючком руки.

И Лев Николаевич одушевляется, говоря о Диккенсе, «которого всегда-всегда любил».

Когда я спросил, не имел ли Диккенс на него влияния, он признал это, «но больше всех, как я уже сказал, на меня имел влияние Стендаль».

Будучи в Лондоне, он слышал Диккенса на одном литературном чтении.

— Он прекрасно читал и производил своей сухой, но сильной фигурой мощное впечатление. И у меня к нему дело было. Я тогда увлекался школьным вопросом.

— Почему же вы не познакомились с ним?

— Да ведь это теперь только завелось, что как только нужно — не стесняются. А тогда этого еще не было.

В свой календарь «Круг чтения» Лев Николаевич, между прочим, помещает и «Душечку» Чехова, к которой написал прелестное предисловие... Тем не менее, «Душечка» не пользуется успехом в Ясной Поляне. Софья Андреевна ее терпеть не может. И, чтобы уколоть Льва Николаевича, она говорит:

— И Саше «Душечка» не понравилась.

— Она не прочитала моего предисловия.

— У ней должно быть свое мнение.

— Конечно, но она просто-напросто не поняла рассказа.

Заговоривши опять о Диккенсе, Лев Николаевич вспомнил, что однажды Тургенев отозвался об описании Диккенсом сбора винограда, как о манерном диккенсовском описании.

— Тургенев был тонкий ценитель, но иногда прорывался. И это описание превосходно.

За обедом Лев Николаевич, между прочим, показывает мне карманную книжечку с алфавитом, при чем листы могут быть вынуты. Он дал слово писать каждый день страницу воспоминаний. И некоторое время исполнял. А вот несколько дней пропустил. Воспоминания ведет по возможности хронологически...

О Горьком:

— Хотел взять у него что-нибудь для календаря, но у него нет ничего в добром духе. У Диккенса же что ни страница, то прелесть. Святочные рассказы немного избиты, как заигранный мотив.

Говоря о статьях, ему посвященных, Лев Николаевич замечает:

— Ну что интересного, как я чай пью? Вот и Бетховена — изобразили голым. Ну что за интерес мне, какие у него бедра были?

О Волынском:

— Его критика, где он идет против рутины, хороша. А «Леонардо да-Винчи» не то.

О «Книге великого гнева» [72]:

— Зачем такое нехорошее название?

Опять разговор о календаре. Лев Николаевич сожалеет, что не отмечал источников. И ужасная работа будет переводчикам. Так, немцы будут переводить Шопенгауэра с русского или рыться в Шопенгауэре.

Небольшой рассказ недельный «Часовщик» (сравнение работы часовщика с отношением человека к человеку) Лев Николаевич переименовал «Как жить», потом совсем забраковал:

— Нет, это надо выбросить. Это из письма и недостаточно глубоко...

Лев Николаевич взыскательно работает и над внешней стороной календаря, держит корректуру, делает пометки: «курсив» и т. п.

9 февраля 1905 г., Ясная Поляна

В три часа Лев Николаевич пошел пешком в хутор Овсянниково к Марье Александровне Шмидт (верст восемь) и просил меня приехать за ним, распорядившись, чтобы мне дали иноходчика, и сделавши мне указания, как ехать и пр.

Как только я приехал в Овсянниково, Лев Николаевич вышел и удивился, что я так поздно. Я ехал тихо, чтобы не утомлять лошадь и потом ехать быстрее. Лев Николаевич накинул на себя привезенный мною суконный халат, подпоясался и взялся править. И сейчас иноходчик пошел ходчее. Лев Николаевич любит быструю езду. Выехавши под гору, где настроились дачи, Лев Николаевич заговорил о прошлом. Здесь была глухая местность, водились разбойники в балке, была невылазная грязь, а теперь дачи, звуки граммофона.

— Везде перемена. И со мной перемена большая в смысле умственного труда. Прежде я почти не замечал разницы между утром и вечером, а теперь огромная. И стоит хоть немного отвлечься, поговорить о чем-нибудь, и все пропало. Точно на работу дана отмеренная порция, и никак не больше.

6 марта 1905 г., Петербург

Свидание с Анной Григорьевной Достоевской [73]. Дородная седая старушка с крупными прямыми чертами. Приветлива, проста и обходительна. Очень обрадовалась, что могла быть полезной Льву Николаевичу. Начала рассказывать, как страстно хотел Достоевский познакомиться с Львом Николаевичем. И два раза был случай. Раз в Петербурге на лекции Владимира Соловьева [74]. Лев Николаевич был с Н. Н. Страховым [75], но Страхов так держал себя, что Анне Григорьевне показалось, что он сердится на Достоевских, у которых каждое воскресенье обедал. Но потом он сказал, что был с Львом Николаевичем.

— Ай, какая жалость! Чего же вы меня не познакомили с Львом Николаевичем?

— Он просил меня ни с кем не знакомить.

Второй раз — Достоевский был в Москве в 1880 г. при открытии памятника Пушкину и хотел поехать в Ясную, но приехавший оттуда Тургенев объявил, что Лев Николаевич «сходит с ума».

10 сентября 1905 г., Ясная Поляна

Лев Николаевич держал корректуру «Круга чтения»... Из гостей была Кузминская Татьяна Андреевна (сестра Софьи Андреевны), шестидесятилетняя милая институтка. Ее доверчиво-наивная манера спрашивать и говорить, и слушать сразу пленяет, очаровывает. Она как будто всей душой слушает вас и всей душой сосредоточена на том, что вы говорите. Она до сих пор поет (уже как дребезжащий колокольчик), но попрежнему от ее пения веет Наташей Ростовой [76]. Сухотин [77] рассказывал, что, когда однажды Татьяна Андреевна в 60-х годах пела ночью, Фет описал это в дивных стихах:

Сияла ночь. Луной был полон сад; лежали
Лучи у наших ног в гостиной без огней.

Л. Н. ТОЛСТОЙ
Фотография 1900 г.
Частное собрание, Москва

Рояль был весь раскрыт, и струны в нем дрожали,
Как и сердца у нас, за песнею твоей.
Ты пела до зари, в слезах изнемогая,
Что ты одна любовь, что нет любви иной.
И так хотелось жить, чтоб, звука не роняя,
Тебя любить, обнять и плакать над тобой.

Когда Фет дошел до «обнять», Лев Николаевич шепнул Сухотину:

— Ведь старичок-то хочет обнимать нашу Таню...

Татьяна Андреевна спела «Двух гренадеров» Гейне. Лев Николаевич сказал со вздохом:

— Это Гейне? Ах, как это плохо. Ведь это то же самое, что «божья матерь», только послушайте, какой вздор будто бы говорит умирающий: «и орден на ленточке красной положишь на грудь», «и шпагой опояшешь» и пр.

М. С. Сухотин рассказывает, что Фет был очень остроумен и обладал тонким художественным вкусом. Как-то в Ясной Поляне были Тургенев, Страхов, Фет и другие. Тургенев сказал, что он судит о художественном развитии человека по тому, в чем он видит нехудожественность в пушкинском стихотворении «Последняя туча рассеянной бури». Фета при этом не было. Все начали угадывать невпопад. Вошел Фет и сразу сказал:

— Нехудожественно: «Ты молнией грозно ее обвивала».

Лев Николаевич сказал:

— О, у вас, Афанасий Афанасьевич, есть прекраснейшее стихотворение, но в котором тоже есть режущее место. Это «Шопот, робкое дыхание».

— Где же?

Все начали угадывать. Лев Николаевич сказал:

— «Пурпур розы». Это очень нехорошо.

Фет насупился:

— Почему же?

Лев Николаевич читал стихотворение Фета «Майская ночь»:

Отсталых туч над нами пролетает
последняя толпа...

Когда доходил до слов, обращенных к весне:

Ты, нежная. Ты счастье мне сулила
На суетной земле...

то голос его обрывался от слез, он пробовал читать стихи Софье Андреевне и опять не мог...

С Чернышевским познакомился у Некрасова.

— Курчавый, розовый, больше молчал. Однажды пришел ко мне и начал говорить самоуверенно, что «Записки маркера» — лучшее мое произведение, что в искусстве нужна идея...

Лев Николаевич говорил о Соловьеве недоброжелательно:

— На лекции в Петербурге. И что это была за чепуха! Его отношение ко мне было странное. То молчал весь вечер, то приезжал на шинах на вокзал, чтобы проводить меня...

Заговорили о Шумане. Лев Николаевич отнесся к нему отрицательно. Роза Кауфман, жена художника Пастернака, сказала:

— А мне хотелось бы все-таки сыграть вам, Лев Николаевич, Шумана.

— Пожалуй *(уклончиво)*.

Она сыграла «Warum», потом начала играть другие вещи.

Вдруг послышались всхлипывания. Лев Николаевич полулежал на

кресле. Им овладело волнение. И он повторял: «Как прекрасно», не мог удержать лившихся из глаз слез, стал просить еще играть, но доктор посоветовал Кауфман отказаться.

Пастернак рассказывает, что когда зашел у Толстого спор со Стасовым о Григоровиче, то Стасов нападал на Григоровича с шаблонно-лубочным либерализмом, Лев Николаевич же доказывал в Григоровиче истинную народническую нотку: он первый с любовью писал о мужике, вызывая в читателе симпатию к пароду, у других же есть и «чаво» и «нитаво», но нет главного — нет души народной.

20 января 1906 г., Москва

Рассказ Григория Петрова [78] о своем знакомстве с Львом Николаевичем.

Познакомился с Л. Н. в 1898 г. Петров приехал утром к Льву Николаевичу, но тот был занят корректурой «Воскресения» и пригласил обедать в пять часов. Петров пошел бродить, был в Третьяковской галлерее, потом прошел к храму Христа-спасителя. Стоит у ограды и ждет конки. Видит, на углу старичок, тоже ждет конки. Оказалось, Лев Николаевич. Он ехал в банк, чтобы положить деньги, пожертвованные на духоборов. Лев Николаевич спросил: может быть, Петрову неудобно ехать наверху? Петров сказал: «Я с вами, Лев Николаевич, на трубе паровоза готов поехать». На них обращали внимание. Приехали к банку. «Капище»,— сказал Лев Николаевич. Затем пошли покупать книги о Сибири (для «Воскресения»)... Заговорили о Горьком. Лев Николаевич сказал:

— Талант большой *(и привел сцену, где мальчик из окна передает впечатление о драке в подвале),* но боюсь, что ударит в «сочинительство». Когда я напишу, что вчера в саду у меня гуляли: австрийский император, английская королева Виктория и персидский шах, — это не будет сочинительство. Они могли гулять в саду. Но когда английской королеве Виктории припишу слова и чувства персидского шаха, — это будет сочинительство. Вот и относительно Горького: как бы он своим босякам ни приписывал чувства и мысли, не свойственные им...

Будто Л. Н., читая Чехова вслух, вставлял дивные слова, освещавшие картины.

23 января 1906 г., Ясная Поляна

По случаю 250-летия со дня рождения Моцарта Софья Андреевна решила соорудить в Ясной Поляне чествование Моцарта и с Наташей Сухотиной разыгрывала несколько часов моцартовского «Юпитера». До Льва Николаевича доносились звуки во время работы, и по этому поводу он сказал:

— Гольденвейзеру я не скажу этого, а вам можно: для меня почти не нужна виртуозность музыки. Я говорю «почти», как если бы должен был читать Пушкина в рукописи или на ремингтоне. Хотя вы исполняли «Геркулеса», то, бишь, «Юпитера» и не так, как его исполнил бы Рубинштейн, однако я все понял.

Софья Андреевна обиделась.

Вечером, получив американский теософический журнал, присылаемый Льву Николаевичу уже много лет одной дамой, Лев Николаевич чуть ли не со слезой в голосе начал читать Лонгфелло, переводя на русский:

«Будем работать над внутренней тишиной».

Тут же две прекрасных мысли:

«Как маленький предмет перед глазами закрывает внешний мир, так и маленькое зло в душе закрывает мир нравственный».

«Поворачиваясь от света, видишь свою тень, закрывающую свет».

25 января 1906 г., Ясная Поляна

Рассказ Фета «Не те»: как петухи перекликались, летели и вдруг — «Не те»,— сказал Николай I. В рассказе было увлекательно. Лев Николаевич советовал написать, а затем говорил мне, что грех за этот рассказ на его совести.

10 марта 1906 г., Ясная Поляна

Речь зашла о Горьком. Я рассказал сцену Волынского с Горьким относительно религиозной ноты в революционном движении. Лев Николаевич говорил о Горьком, что недавно пробовал перечитывать некоторые его вещи и увидел, какой еще сумбур в его голове.

— Да вот, я сейчас вам прочту.

Он вышел и через минуту возвратился с серенькой книжечкой издания «Посредника» — «Емельян Пиляй». Зажгли свечу и подвинули на край обеденного стола, где сидел Л. Н. Он наклонился к книжке и начал читать. Красноватое пламя свечи, падая на его обветренное лицо, румянило его и придавало ему цветущий вид, а белая, как мыльная пена, борода еще более оттеняла красноватый цвет лица. Но, когда взгляд упадал на спину и затылок, невольно сжималось сердце. Тут реяла не только старость, а почти дряхлость. Воротник блузы, далеко оттопырившись от шеи, обнаруживал глубокий желобок среди выступивших жил, а плечи и спина представляли какой-то бесформенный ком... Перед чтением Лев Николаевич сделал предисловие, что у Горького рядом с бесподобными картинами идут сочиненные сцены.

— Ну вот, — сказал Лев Николаевич, перелистывая брошюру: «Он замолчал и по привычке полез за кисетом», — начал читать Л. Н., тонко и безыскусственно оттеняя голоса действующих лиц и поэтические штрихи. Читает он безукоризненно, иногда только колеблясь в произношении неизвестных ему слов. Так, однажды он произнес «кишѐня», затем хотел, должно быть, поправиться и произнес «кѝшеня», но, очевидно, почувствовал фальшивость и спросил меня, как произносится «кишеня». Весь рассказ до встречи Емельяна с барышней у моста Лев Николаевич прочел превосходно, как будто смакуя эстетическое блюдо, особенно в сцене с чабанами, и, только прочитавши описание моря при солнечном закате: «Вдали над морем родился мрак» и т. д., проговорил вскользь:

— Ну, это не хорошо, — а затем опять читал, что называется, с чувством, с толком, с расстановкой. Но, когда дошло до сцены, где плачущая барышня вступает в диалог с Пиляем, в голосе Льва Николаевича начали появляться, как всплески рыбок в воде, юмористические нотки, делавшие сцену, долженствующую растрогать читателя, лубочно-наивной.

Кончивши читать, Лев Николаевич продолжал восхищаться отдельными превосходными сценами и с досадой говорить о пристегнутом за волосы студенте и пр.

От Горького перешли к искусству вообще и живописи в частности. Я рассказал о выставках, подчеркнув портреты Стасова и Андреева.

— А вы видели картину Лансере [79] «Императрица в Петергофе»?

Я сказал, что она не обратила моего особливого внимания.

— А мне она очень нравится. Особенно хорошо в ней передано это безобразие величия. Вы знаете, сколько у этой императрицы было платьев? — спросил Лев Николаевич у Наташи, моей дочери.

— Сто? — сказала Наташа. Лев Николаевич обрадовался, что может позабавить Наташу, как Афанасий Иванович Пульхерию Ивановну.

— Ну что такое сто платьев? Берите больше.

— Двести?

— Больше, больше берите.
— Ну пятьсот, — сказала Наташа, как бы решивши перехватить через край...
— Пятнадцать тысяч, — сказал Лев Николаевич, смеясь и как бы торжествуя над нами.

13 марта 1906 г., Ясная Поляна

Когда зашла речь о золотой валюте, Татьяна Львовна хотела что-то объяснить, но запуталась, а Лев Николаевич начал шутливо цитировать Онегина:

Как государство богатеет,
И чем живет, и почему
Не нужно золота ему,
Когда простой продукт имеет...

— Искусство есть настроение, религия — состояние.

28 декабря 1906 г., Ясная Поляна

Речь зашла о Куприне. Куприн ему по душе.
— Я его очень люблю. Боюсь, как бы только критика его не испортила. Для меня теперь несомненно, что критики должны быть лишены художественного понимания. Особенно ярко это заметно на покойном Стасове.
— Но у Куприна много безразличности.
— Это-то и хорошо. Нет хуже для писателя, как тенденция.

29 декабря 1906 г., Ясная Поляна

Вечером вышел Лев Николаевич к чаю оживленный и заговорил о Куприне, которого прочитал почти всю книжку. Был доволен Куприным.
— Особенно хороши два маленьких рассказа: «Allez» и «Поздний гость». Последний не художественный, а рассуждения, как это бывает у Мопассана. Но прекрасно. И очень тонко передано это ожидание приходящего и таинственность будущих отношений. А «Allez» — прелестный рассказ. Хотите послушать?
Сухотин начал читать и прочел очень хорошо. Лев Николаевич все время восхищался и делал сочувственные реплики: «Гм!», после чтения сказал:
— Как все у него сжато. И прекрасно. И как он не забывает, что и мостовая блестела и все подробности. А главное, как это наглядно сдернута вся фальшивая позолота цивилизации и ложного христианства.
Я обратил внимание на особенную затруднительность выдержать правдивость, подгоняя эпизоды под «allez».
— Да, да, интересно было бы знать, какое первое «allez» дало ему тему.
Одно только «allez» показалось ему искусственным — когда Минота ведет девушку в кабинет.
— Тут можно сказать «entrez» или что-нибудь другое.
Мы с Сухотиным сказали, что тут «allez» у Миноты наиболее характерно, как циническая шутка.
Лев Николаевич согласился и опять с нежностью и теплотой заговорил о Куприне:
— Кланяйтесь ему от меня и скажите, чтобы он, ради бога, не слушался критиков. У него настоящий, прекрасный, настоящий талант. Удержался бы только на должном месте.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] 19 декабря 1898 г. в театре Корша устраивался вечер, посвященный Л. Н. Толстому по случаю исполнившегося 28 августа 70-летия со дня его рождения. С. А. Толстая 19 декабря 1898 г. записала: «Лев Николаевич уехал сегодня один... Утром он занимался, потом в час поел овсяный суп, попил кофе и уехал, прося только Н. Н. Ге проводить его» («Дневники С. А. Толстой», ч. III, М., 1932, стр. 101).

[2] Фотография Льва Николаевича и Софьи Андреевны, помещенная в книге П. А. Сергеенко «Как живет и работает гр. Л. Н. Толстой» (М., 1898, стр. 55).

[3] Маклаков Василий Алексеевич (род. в 1869 г.), знакомый Толстых, адвокат, впоследствии член Государственной думы, один из лидеров партии кадетов, при Временном правительстве — посланник в Париже; после Октябрьской революции — в эмиграции.

[4] Плевако Федор Никифорович (1843—1908), известный московский адвокат.

[5] П. А. Сергеенко ехал в Петербург для переговоров по поручению А. П. Чехова с издателем «Нивы» А. Ф. Марксом о приобретении им права собственности на сочинения А. П. Чехова.

[6] А. Ф. Маркс издавал сочинения классиков в приложениях к журналу «Нива».

[7] Вяземский Петр Андреевич (1792—1878), поэт.

[8] Дюссо, владелец фешенебельного ресторана в Петербурге в 50-х годах.

[9] Денисенко Иван Васильевич (1851—1916), председатель Новочеркасского окружного суда, был женат на племяннице Л. Н. Толстого.

[10] Рассказ А. П. Чехова «Душечка» появился в журнале «Семья», 1899, № 1.

[11] Страхов Федор Алексеевич (1861—1923), единомышленник Толстого.

[12] «Ответ шведам» — письмо Л. Н. Толстого к группе шведских молодых людей, запрашивавших его мнения по поводу предстоящей мирной конференции в Петербурге. Толстой отнесся к идее мирной конференции отрицательно, считая, что всякая такого рода конференция, устраиваемая правительством, является «обманом и лицемерием».

[13] Кони Анатолий Федорович (1844—1927), известный судебный деятель, сенатор, писатель. Темой «Воскресения» послужило одно судебное дело, о котором Кони сообщил Толстому в 1889 г.

[14] Издатель журнала «Нива» А. Ф. Маркс торопил Льва Николаевича присылкой дальнейших глав «Воскресения», что нарушало творческую работу Толстого.

[15] 26 мая 1899 г. исполнялось столетие со дня рождения Пушкина, в связи с чем готовился юбилейный «Пушкинский сборник» под ред. П. Гнедича, Д. Л. Мордовцева и К. К. Случевского.

[16] Гнедич Петр Петрович (1855—1927), драматург, историк искусства.

[17] «Как живет и работает гр. Л. Н. Толстой», М., 1898.

[18] Боборыкин Петр Дмитриевич (1836—1922), писатель.

[19] Хомяков Алексей Степанович (1804—1860), писатель, историк-славянофил.

[20] Давыдов Николай Васильевич (1848—1920), председатель Московской судебной палаты.

[21] Предварительные переговоры с А. Ф. Марксом о печатании в журнале «Нива» романа «Воскресение» велись через П. А. Сергеенко.

[22] Дорошевич Влас Михайлович (1864—1920), известный журналист.

[23] Буренин Виктор Петрович (1841—1926), публицист, литературный критик. Толстой имеет в виду полемику Буренина с поэтом Надсоном в 1887 г., против которой Толстой протестовал в свое время в письме к Буренину (см. выше стр. 239).

[24] Игумнов Константин Николаевич (род. в 1873 г.), известный пианист, профессор Московской консерватории.

[25] Ницше Фридрих (1844—1900), немецкий писатель, философ, филолог.

[26] Шантепи-де-ля-Сосей, Иллюстрированная история религии, изд. магазина «Книжное дело», М., 1899.

[27] Пьеса П. А. Сергеенко «Сократ» впоследствии была напечатана в литературном приложении к журналу «Нива», 1899, и в изд. журнала «Юная Россия», 1903.

[28] Линев (Долин) Дмитрий Александрович (1853—1903), журналист, автор тюремных очерков. Толстой заимствовал из его книги «По этапу» сцену, включенную во вторую главу третьей части романа «Воскресение».

[29] Меньшиков Михаил Осипович (1859—1919), журналист, сотрудник газеты «Новое Время».

[30] «Сон Попова» — сатирическая поэма А. Толстого, преследовавшаяся цензурой.

[31] «Царь Федор Иоаннович» — трагедия А. К. Толстого, шедшая в то время с большим успехом на сцене Московского Художественного театра.

[32] Сальвини Томазо (1829—1916), знаменитый итальянский трагик, замечательный исполнитель шекспировских ролей, в то время гастролировавший в Москве и Петербурге.

[33] Росси Эрнесто (1829—1896), знаменитый итальянский актер, исполнитель многих шекспировских ролей.

[34] Танеев Сергей Иванович (1856—1915), известный композитор и музыкант.

[35] Тэн Ипполит (1828—1893), французский философ, историк, теоретик искусства.

[36] Письмо к автору книги «Анархизм» П. Эльцбахеру.

[37] Предисловие к японскому обзору политико-экономических теорий европейского мира «Japanese Notions of Europian Political Economy» by Tentjaro Macato. Осталось неопубликованным.

[38] Русский перевод романа Вильгельма фон-Поленца под названием «Крестьянин», с предисловием Толстого, был напечатан книгоиздательством «Посредник» в 1902 г.

[39] Мысли Толстого о значении критики подробно развиты в предисловии к русскому переводу романа фон-Поленца «Крестьянин» (1901).

[40] Толстой в то время приступил к писанию пьесы, оставшейся незаконченной, «И свет во тьме светит».

[41] «Труп» — сокращенное название пьесы Толстого «Живой труп».

[42] Андреев-Бурлак Василий Николаевич (1843—1888), известный актер и художественный чтец.

[43] Вертящаяся сцена, дающая возможность быстрой смены декораций, была незадолго перед тем устроена в Московском Художественном театре.

[44] Главное действующее лицо пьесы Толстого «Живой труп».

[45] Главное действующее лицо пьесы А. Н. Островского «Бедность не порок».

[46] Теляковский Владимир Аркадьевич, директор императорских театров.

[47] Бартенев Петр Иванович (1829—1912), историк, основатель и редактор исторического журнала «Русский Архив».

[48] Ермолов Алексей Петрович (1772—1861), генерал, участник Отечественной войны 1812 г., позднее один из усмирителей Кавказа, главноуправляющий Грузии.

[49] Воронцов Михаил Семенович (1782—1856), фельдмаршал, кавказский наместник и главнокомандующий кавказских войск; выведен Толстым в повести «Хаджи Мурат».

[50] В литературных кругах был поднят вопрос о чествовании 50-летия литературной деятельности Толстого. Но не была выяснена точная дата, что и старался установить П. А. Сергеенко.

[51] В Европе было произведено в тот год анархистами несколько террористических актов, к которым автор дневника относился отрицательно.

[52] В. Г. Короленко в своих воспоминаниях подробно рассказывает об этой своей беседе с Толстым («Воспоминания о писателях», М., 1934, стр. 162).

[53] Хомяков Алексей Степанович, Киреевский Иван Васильевич (1806—1856), Леонтьев Константин Николаевич (1831—1891), писатели-славянофилы.

[54] «Сакья-Муни» — пьеса П. А. Сергеенко, перед тем прочитанная Толстым.

[55] Розанов Василий Васильевич (1856—1919), публицист, критик, сотрудник «Нового Времени».

[56] Буланже Павел Александрович (1865—1925), знакомый Толстого, последователь его учения.

[57] Скиталец — псевдоним Петрова Степана Гавриловича (род. в 1868 г.), писателя.

[58] Трубецкой Паоло (1867—?), известный скульптор.

[59] Второй сын Толстого, Илья Львович (1866—1933).

[60] Куприн Александр Иванович (1870—1938), писатель.

[61] Дочь Толстого, Александра Львовна Толстая (род. в 1884 г.).

[62] Волынский (Флексер) Аким Львович (1863—1926), известный критик, автор обширной монографии «Леонардо да-Винчи».

[63] Стороженко Николай Ильич (1836—1906), профессор Московского университета, историк литературы.

[64] В г. Кишиневе, Бессарабской губ., 7—9 апреля 1903 г. был еврейский погром.

[65] Мире, французский писатель.

[66] Эртель Александр Иванович (1855—1908), писатель, последние десять лет своей жизни не печатавшийся.

[67] Елпатьевский Сергей Яковлевич (1854—1933), писатель.

[68] Беляев Юрий Дмитриевич (1876—1917), беллетрист, театральный критик, журналист, сотрудник газеты «Новое Время».

[69] Архангельский Александр Андреевич (1846—1924), духовный композитор, дирижер известного в свое время «Хора Архангельского».

[70] Стасов Владимир Васильевич (1824—1906), известный музыкальный критик.

[71] Гинцбург Илья Яковлевич (1859—1939), известный скульптор.

[72] Сборник статей А. Волынского о Достоевском под общим названием «Книга великого гнева».

[73] Вдова писателя Ф. М. Достоевского. П. А. Сергеенко обращался к ней по поручению Л. Н. Толстого за разрешением напечатать отрывки из сочинений Достоевского в сборнике «Круг чтения».

[74] Соловьев Владимир Сергеевич (1853—1900), философ.

[75] Страхов Николай Николаевич (1828—1896), критик, философ.

[76] Многие черты личности Татьяны Андреевны Кузминской приданы Толстым героине романа «Война и мир» — Наташе Ростовой.

[77] Сухотин Михаил Сергеевич (1850—1914), зять Толстого.

[78] Петров Григорий Спиридонович, расстригшийся священник, журналист.

[79] Лансере Евгений Евгеньевич, художник.

ОБ ОТРАЖЕНИИ ЖИЗНИ В „АННЕ КАРЕНИНОЙ“

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ С. Л. ТОЛСТОГО

Работа романиста, если он не подражатель, состоит в комбинировании разных, известных ему из жизни, обстоятельств места, времени и образа действий для выражения своих идей и своего отношения к настоящей или прошедшей действительности. От реалистического романа, каков «Анна Каренина», требуется прежде всего правдивость; поэтому для него материалом послужили не только крупные, но и мелкие факты, взятые из действительной жизни. Догадки и воспоминания о том, откуда взяты эти факты, широко использованные в романе, интересны не только для изучения работы и биографии автора,— они дают живое изображение быта, современного роману.

В литературе об «Анне Карениной» есть указания на разные отражения в ней фактов действительной жизни [1]. В следующих строках я поставил себе целью дополнить эти указания некоторыми, мне известными, подробностями.

Толстой не любил говорить о процессе своего творчества; однако, кое-что он все-таки высказал. В письме к кн. Волконской от 3 мая 1864 г. он так ответил на вопрос, с кого списан Андрей Болконский в «Войне и мире»: «Андрей Болконский никто, как и всякое лицо романиста, а не писателя личностей или мемуаров. Я бы стыдился печататься, ежели бы мой труд состоял в том, чтобы писать портреты, разузнать, запомнить».

В письме к Н. Н. Страхову от 26 апреля 1876 г. Толстой писал: «Если бы я хотел словами сказать все то, что имел в виду выразить романом [«Анной Карениной»], то я должен был бы написать роман — тот самый, который я написал, сначала. И если критики теперь уже понимают и в фельетоне могут выразить то, что я хочу сказать, то я их поздравляю и смело могу уверить, что qu'ils savent plus long que moi [знают больше, чем я]... Во всем, почти во всем, что я писал, мною руководила потребность собрания мыслей, сцепленных между собой для выражения себя; но каждая мысль, выраженная словами особо, теряет свой смысл, страшно понижается, когда берется одна и без того сцепления, в котором она находится. Само же сцепление составлено не мыслию (я думаю), а чем то другим и выразить основу этого сцепления непосредственно словами нельзя; а можно только посредственно словами, описывая образы, действия, положения».

В своих воспоминаниях о посещении Ясной Поляны в августе 1883 г. Г. А. Русанов передает следующий свой разговор со Львом Николаевичем [2]. Он спросил: « — Взята ли Наташа Ростова с действительно существующего лица или нет? — Да, отчасти взята с натуры. — А кн. Андрей? — Он ни с кого не списан. У меня есть лица списанные и не списанные с натуры. Первые уступают последним, хотя списывание с натуры дает им эту несравненную яркость красок и изображения. Но зато это изображение страдает односторонностью». Запись слов Толстого в пере-

даче Русанова едва ли точна. Однако, повидимому, Лев Николаевич признал, что у него есть лица, списанные с натуры. Он нередко давал своим действующим лицам имена, похожие на имена известных ему людей; в «Анне Карениной»: Облонский — Оболенский, Левин — Лев, Вронский — Воронцов, Щербацкие — Щербатовы и др. А в своих черновиках и вариантах он иногда прямо называл своих героев именами своих знакомых. Однако, это не значит, что он писал их портреты. Взяты только, так сказать, скелеты; плоть и кровь того или другого лица романа взяты не только от одного человека, но и от других людей, родственных ему по типу. Поэтому можно утверждать, что все действующие лица Толстого — собирательные типы, а не портреты.

Как зародилась «Анна Каренина»?

В своем дневнике С. А. Толстая записала: «Сережа все приставал ко мне дать ему почитать что-нибудь старой тетке вслух. Я ему дала «Повести Белкина» Пушкина. Но оказалось, что тетя заснула, и я, поленившись итти вниз, отнести книгу в библиотеку, положила ее на окно в гостиной. На другое утро, во время кофе, Лев Николаевич взял эту книгу и стал перечитывать и восхищаться» [3].

Это было 19 марта 1873 г. Мне было десять лет. Детские воспоминания держатся дольше других, и я хорошо помню этот день и не раз вспоминал о нем. После чтения, которое, по моему воспоминанию, происходило не наверху в гостиной, а внизу, в комнате тетеньки, я не ушел и стал перелистывать том Пушкина. Отрывок «Гости съезжались на дачу» мне показался скучным, и мне было досадно, что нет продолжения. Я положил книгу на стол, открытую на этом отрывке. Вошел отец, взял книгу и сказал: «Вот как надо писать!». Я хорошо помню эти слова особенно потому, что тогда я недоумевал, почему мог ему понравиться этот отрывок.

Эпиграф «Анны Карениной» — «Мне отмщение, и аз воздам» — находится во «Второзаконии» (гл. 32, стих 35) и приведен в «Послании к Римлянам» ап. Павла (гл. 12, стих 19). Иными словами, это изречение значит: поступки против нравственного закона неминуемо караются, что и случилось с Анной.

Лев Николаевич в то время идеализировал семейную жизнь и считал измену мужу или жене безусловно безнравственным поступком. Это он и хотел показать в своем романе. В то время он читал много английских семейных романов и иногда подшучивал над ними, говоря: «Эти романы кончаются тем, что он заносит свою руку round her waist [вокруг ее талии], женится и получает имение и баронетство. Эти романисты кончают роман тем, что он и она женятся. Но роман надо писать не столько о том, что произошло до их женитьбы, сколько о том, что произошло после женитьбы».

Общеизвестно, что самоубийство Анны навеяно самоубийством сожительницы соседа Толстого по Ясной Поляне, А. Н. Бибикова, — Анны Степановны Пироговой, случившимся 6 января 1871 года. (Почему-то некоторые комментаторы Толстого называют ее Зыковой, тогда как на ее могильной плите в ограде Кочаковской церкви ясно начертано: «Пирогова».)

С. А. Толстая писала своей сестре Т. А. Кузминской об этом происшествии следующее: «Еще у нас случилась драматическая история. Ты помнишь у Бибикова Анну Степановну? Ну вот эта Анна Степановна ревновала к Бибикову всех гувернанток. Наконец к последней она так ревновала, что Александр Николаевич рассердился и поссорился с ней, следствием чего было, что Анна Степановна уехала от него в Тулу совсем. Три дня она пропадала, наконец в Ясенках [впоследствии станция Щекино] на третий день в 6 часов вечера она явилась на станцию с узелком. Тут она дала ямщику письмо к Бибикову, просила его свезти и дала ему один

рубль. Письмо Бибиков не принял, а когда ямщик вернулся на станцию, он узнал, что Анна Степановна бросилась под вагоны и поезд ее раздавил до смерти». Эпилогом к этой драме была женитьба А. Н. Бибикова на той гувернантке, к которой его приревновала Анна Степановна. В своем дневнике (I, стр. 44 — 45) С. А. Толстая так описывает Анну Степановну: высокая, полная женщина, с русским типом лица и характера, брюнетка с серыми глазами, но некрасивая, хотя очень приятная.

Толстой воспользовался лишь фактом самоубийства Пироговой. Ни по своему характеру, ни по наружности, ни по общественному положению она не была похожа на Анну Каренину. Пирогова происходила из мелкобуржуазной среды, была хорошей хозяйкой, мало образована, не имела средств к жизни и жила у Бибикова чем-то вроде экономки.

Т. А. Кузминская в своих воспоминаниях [4] говорит, что «Мария Александровна Гартунг, дочь А. С. Пушкина, послужила типом Анны Карениной, не характером, не жизнью, а наружностью. Л. Н. сам признавал это». Он встретил ее в 1868 г. в гостях у генерала Тулубьева. Она была, подобно Анне Карениной на балу, в черном платье. «Ее легкая походка легко несла ее довольно плотную, но прямую и изящную фигуру. Меня познакомили с ней. Л. Н. еще сидел за столом. Я видела, как он пристально разглядывал ее.— Кто это? — спросил он, подходя ко мне.— Madame Гартунг, дочь поэта Пушкина. — Да-а, протянул он, теперь я понимаю. Ты посмотри, какие у нее арабские завитки на затылке. Удивительно породистые». О том, что М. А. Гартунг была в кружевном черном платье и что Л. Н. обратил внимание на завитки на ее затылке, я слышал также от моей матери. Но, может быть, воображая себе наружность Анны, Толстой вспоминал также и других женщин, например, Александру Алексеевну Оболенскую, урожденную Дьякову, к которой он одно время был неравнодушен, или ее сестру, Марию Алексеевну. Насколько приблизительны догадки о прототипах Толстого, можно видеть из вариантов и черновиков к роману, наглядно показывающих, как в процессе работы автора менялись и внутренний облик действующих лиц и их наружность. По мере развития романа, образ Анны постепенно морально повышался, образы же Каренина и Вронского, наоборот, снижались.

Самый сюжет романа, относящийся к Анне, мог быть навеян историей Марии Алексеевны Дьяковой, бывшей замужем за Сергеем Михайловичем Сухотиным, покинувшей его и в 1868 г. вторично вышедшей замуж за С. А. Ладыженского. Разумеется, Толстому были известны и другие подобные же любовные истории. Например, дочь кн. П. А. Вяземского, бывшая замужем за П. А. Валуевым, была увлечена графом Строгановым; она умерла в 1849 г.; говорили, что она отравилась. Другой пример так называемого незаконного сожительства дала одна случайная встреча. Летом 1872 г. мы всей семьей отправились в самарское имение, незадолго купленное моим отцом. Проезжая на пароходе от Нижнего до Самары, мы познакомились с кн. Е. А. Голицыной (урожденной Чертковой) и ее гражданским мужем Н. С. Киселевым. Помню, моя мать говорила, что открытое сожительство с Киселевым Голицыной, покинувшей своего мужа, считалось в обществе скандальным, но ей это извиняли, потому что у нее, будто бы, был плохой муж,— чем плохой, не знаю. Киселев был в то время сильно болен туберкулезом легких; Голицына везла его на кумыс. Я помню его тяжелый кашель и худобу. Впоследствии мы узнали, что он вскоре умер. О его смерти тогда рассказывали одну подробность, использованную в «Анне Карениной» при описании смерти Николая Левина. Перед смертью Киселев лежал неподвижно, все думали, что он уже умер, и кто-то сказал: «Кончился», но он одними

губами проговорил: «Нет еще». В романе (ч. 5, гл. XX) священник сказал про умирающего Николая Левина: «Кончился». «...но вдруг слипшиеся усы мертвеца шевельнулись, и ясно в тишине послышались из глубины груди определенно-резкие звуки: — Не совсем... Скоро».

Откуда фамилия Каренин?

Лев Николаевич начал с декабря 1870 г. учиться греческому языку и

СЕРГЕЙ ЛЬВОВИЧ ТОЛСТОЙ В ЯСНОПОЛЯНСКОМ ПАРКЕ
Фотография 1936 г.
Частное собрание, Москва

скоро настолько освоился с ним, что мог восхищаться Гомером в подлиннике. В 1876 или 1877 г. я под его руководством с большим интересом прочел два отрывка из «Одиссеи». Однажды он сказал мне: «Каренон — у Гомера — голова. Из этого слова у меня вышла фамилия Каренин». Не потому ли он дал такую фамилию мужу Анны, что Каренин — головной человек, что в нем рассудок преобладает над сердцем, т.-е. чувством?

Некоторые комментаторы предполагают, что прототипом Каренина был С. М. Сухотин. Общее у Сухотина с Карениным было то, что жена Сухотина покинула его и затем вышла замуж за Ладыженского. Я плохо

помню Сухотина и не знаю, насколько он был похож на Каренина, но мне кажется, что он не был типичным чиновником. Он был довольно богатым помещиком и служил в Москве, в дворцовой конторе, а не в Петербурге, в министерстве. Есть предположение, что в Каренине есть черты П. А. Валуева. Валуев был человеком широко образованным, умеренно либеральным и вместе с тем сухим формалистом. Будучи министром, Валуев, так же, как Каренин, был занят делами об «инородцах»; при нем возникло дело о хищнической продаже башкирских земель, бывшее одной из причин его отставки. Делами об «инородцах» был занят также приятель детских лет Толстого, дядя его жены, Владимир Александрович Иславин, служивший в министерстве государственных имуществ и написавший статью «Самоеды в общественном и домашнем быту». В Иславине также можно найти общие черты с Карениным. Иславин всю жизнь тянул служебную лямку и дослужился до чина тайного советника. Есть в Каренине и черты свояка Толстого, А. М. Кузминского, честолюбивого, корректного судебного деятеля.

Каренин также несколько похож на знакомого Толстого, барона Владимира Михайловича Менгдена (1826—1910), помещика и чиновника, дослужившегося до должности члена Государственного совета. По отзывам людей, его знавших, он был деятельным и корректным служакой, но черствым человеком. Говорили, что его два сына были неудачниками вследствие его тяжелого характера и строгости. Я помню только, что он был небольшого роста и непривлекателен. Его жена, Елизавета Ивановна (1822—1902), урожденная Бибикова, по первому мужу кн. Оболенская, была красива. В своем дневнике Толстой записал про нее: «Она прелесть, и какие могут быть отрадные отношения. Отчего я с сестрой не нахожу такого наслаждения? Может быть вся прелесть состоит в том, чтобы стоять на пороге любви». Описывая чету Карениных, он мог вообразить себе чету Менгденов и то, что случилось бы, если б она изменила мужу.

Предположение, что прототипом Каренина был К. П. Победоносцев, едва ли верно.

Облонский также тип собирательный. Обыкновенно предполагают, что Облонский списан с Василия Степановича Перфильева (1826—1890), приятеля Льва Николаевича, женатого на его троюродной сестре, Прасковье Федоровне, дочери известного Федора Толстого, прозванного американцем. В 70-х годах Перфильев был московским гражданским вице-губернатором, а с 1878 г.— губернатором. Общее с Облонским у него было: склонность к удовольствиям и комфорту, добродушие, некоторый либерализм, благовоспитанность и так называемая порядочность. Но такие черты были свойственны и другим представителям высшего круга дворянства, привыкшим к роскоши, разорявшимся и по необходимости поступавшим на службу. В Стиве Облонском можно также видеть черты некоторых представителей рода князей Оболенских, на что указывает и его фамилия. Толстой знал следующих Оболенских: Андрея Васильевича, мужа А. А. Дьяковой, Дмитрия Александровича, либерального сановника, его брата Юрия Александровича, прожившего свое состояние, Дмитрия Дмитриевича, разорившегося от неудачных предприятий, Леонида Дмитриевича (мужа племянницы Льва Николаевича, Елизаветы Валериановны) и др. Наружность Леонида Дмитриевича Оболенского (1844—1888) была похожа на наружность Степана Аркадьевича — довольно большой рост, белокурая борода, широкие плечи. Его добродушие, склонность к приятному препровождению времени также напоминают Облонского. Это подтверждается и тем, что в некоторых черновых вариантах романа Облонский назван Леонидом Дмитриевичем. Мало вероятно предположение, что в Облонском можно видеть черты Дмитрия Дмитриевича

Оболенского; насколько мне известно, Дмитрий Дмитриевич не увлекался женщинами, был добрым семьянином, неудачным дельцом и не был таким жуиром, каким изображен Стива Облонский.

Жена Стивы Облонского, Дарья Александровна (Долли), похожа на многих многодетных матерей и жен, которых знал Толстой. В ней есть черты С. А. Толстой, бывшей уже в 1872 г. матерью пятерых детей. Существовала и Долли (Дарья Александровна) Оболенская, жена Д. А. Оболенского, но в ней можно видеть скорее кн. Мягкую, чем Долли Облонскую.

Вронский — типичный гвардейский офицер из богатой аристократической семьи. Служба в гвардии накладывала определенный отпечаток на гвардейских офицеров. Не знаю, взяты ли с известного лица индивидуальные особенности Вронского — его энергичность, твердость его характера, ограниченность и условность его нравственных правил, его честолюбие, отношения к товарищам и женщинам. Толстой мог вспомнить гвардейских офицеров, знакомых ему по Крымской кампании, или тех, которых он знал во время своего пребывания в Петербурге.

Энергичная, сильная, некрасивая фигура Левина, его парадоксы, его склонность восставать против общепризнанных авторитетов, его искренность, отрицательное отношение к земству и суду, увлечение хозяйством, отношения с крестьянами, разочарование в науке, обращение к вере и многое другое, о чем будет сказано при обзоре отдельных эпизодов романа,— все это может быть с полным правом отнесено к самому Толстому. Это как бы плохой фотографический портрет Льва Николаевича 70-х годов. Но так же, как фотография улавливает лишь один момент изображаемого лица, так в переживаниях Левина отобразился лишь один период жизни Толстого. И в этой фотографии нет главного, что отличает Толстого от Левина, — нет творчества Толстого. Вместо этого Левин пишет дилетантскую статью о сельскохозяйственных рабочих. В ней отразилось лишь увлечение Толстого сельским хозяйством, увлечение, уже остывшее во время писания «Анны Карениной». На субъективное значение образа Левина в литературе указывалось еще в 80-х годах [5].

В Кознышеве, мне кажется, есть черты Б. Н. Чичерина. Общее между ними: обширная эрудиция, умеренно либеральные взгляды, самоуверенность и то качество, которое называлось безукоризненной порядочностью. Лев Николаевич одно время был близок с Чичериным, был с ним «на ты», но затем разочаровался в нем, отрицательно относясь к его гегельянству и, якобы, научным взглядам. Ученые исследования Чичерина по государственному праву и др., подобно книге Кознышева, не имели успеха в широкой публике.

Образ Николая Левина скорее, чем другие лица, выведенные в романе, можно назвать портретом. Толстой воспользовался для его изображения жизнью, характером и наружностью своего брата Дмитрия Николаевича. Об этом будет сказано далее, при сравнении отдельных эпизодов романа с действительностью.

Семья Щербацких типична для семей зажиточных помещиков, проводивших зимы в Москве, где они «вывозили в свет» своих дочерей. Такой семьей была семья кн. Сергея Александровича Щербатова, директора Лосиной фабрики. Одно время Толстой увлекался его дочерью, Прасковьей Сергеевной, впоследствии вышедшей замуж за известного археолога гр. С. А. Уварова. Такой же семьей была семья кн. Александра Алексеевича Щербатова, бывшего одно время московским городским головою. Припоминаются мне и другие подобные же семьи — кн. Трубецких, Львовых, Олсуфьевых, Сухотиных, Перфильевых, Горча-

ковых и др. В описании семьи Щербацких есть и черты семьи Берсов. В одном варианте романа говорится о Щербацких, как об очень небогатой семье. Также небогаты были Берсы. Также у Берсов были три дочери. Однако, семья Берсов не принадлежала к московскому высшему дворянскому обществу.

В Кити можно найти много черт, общих с молодой Софьей Андреевной, а в матери Кити есть черты матери Софьи Андреевны — Любови Александровны, урожденной Иславиной.

Перехожу к соображениям о происхождении отдельных эпизодов романа и о прототипах второстепенных лиц, в нем появляющихся.

Первая часть

Глава V. Левин, так же, как Толстой, отрицательно относится к земству. Дело в том, что земство имело право облагать земельным и другими налогами все сословия уезда и губернии, между тем как цензовые земские собрания состояли преимущественно из помещиков и происходили под председательством предводителя дворянства. Вследствие такого положения на должности председателя и членов земских управ, мировых судей и другие должности избирались обыкновенно небогатые помещики, нередко плохо работавшие и с несоразмерно большими окладами. Слова Левина, что земская служба «это — средство для уездной coterie [клики] наживать деньжонки», были особенно приложимы к некоторым помещикам, бывшим крепостникам, Крапивенского уезда, которые враждебно относились к Толстому во время его службы мировым посредником, потому что при разверстывании земли между помещиками и крестьянами он вел дело беспристрастно, а не в их пользу.

Глава V. У Левина «три тысячи десятин в Каразинском уезде». У Толстого в начале 70-х годов также были крупные родовые имения — около 750 десятин в Ясной Поляне, около 1 200 десятин при селе Никольском-Вяземском и купленное в 1871 г. большое имение (2 500 десятин) в Самарской губернии. Впоследствии он купил еще 4 000 десятин в Самарской губернии.

Глава VI. Левин думал про себя, что, по мнению светского общества, он — «помещик, занимающийся разведением коров, стрелянием дупелей и постройками, то есть бездарный малый, из которого ничего не вышло, и делающий, по понятиям общества, то самое, что делают никуда негодившиеся люди». В прежнее время в высшем дворянском кругу к неслужащим дворянам относились с некоторым пренебрежением. Помню, как один пожилой помещик сказал мне: «Уважающему себя дворянину надо стараться быть к пятидесяти годам либо действительным статским советником, либо полковником или генералом в отставке».

Глава X. Облонский «отдавал приказания липнувшим к нему татарам». В больших московских ресторанах официантами в то время служили по большей части артели касимовских и казанских татар.

Глава X. Облонский говорит: «—Вы все Левины дики». В письме к А. А. Толстой Лев Николаевич писал в октябре 1865 г.: «В вас есть общая нам толстовская дикость. Недаром Федор Иванович [Толстой-американец] татуировался».

Глава XIV. Толстой, так же, как Левин, относился отрицательно к спиритизму и в своих разговорах высказывал те же доводы, что и Левин. Впоследствии в «Плодах просвещения» он осмеял спиритов.

Глава XXII. Бал, описанный в романе, происходил так, как он происходил в те времена во многих домах. Порядок танцев был такой: на-

чинался бал с легкого вальса. Затем следовали четыре кадрили, потом мазурка с фигурами. После мазурки делался перерыв; пары, танцовавшие мазурку, обыкновенно вместе ужинали. Последним танцем был котильон — кадриль с разными фигурами, например — grand-rond (большой хоровод), chaîne (цепь) с вводными танцами — вальсом, мазуркой, галопом, гроссфатером и др. Дамы особенно дорожили мазуркой: на нее кавалеры приглашали тех дам, которые им больше нравились.

М. А. СУХОТИНА (ДЬЯКОВА)
Портрет маслом художника Лаш
Толстовский музей, Москва

В лице Егорушки Корсунского Толстой изобразил Николая Сергеевича Римского-Корсакова (1829 — 1875), сына С. А. Римского-Корсакова и двоюродной сестры А. С. Грибоедова, Софьи Алексеевны, послужившей ему, по преданию, прототипом Софьи в «Горе от ума». Богач и красавец, элегантный, остроумный и веселый, он был в числе первых львов Петербурга и Москвы, любимцем света, душой балов и веселых затей. Он окончил Московский университет, затем служил вяземским предводителем дворянства; во время Крымской кампании поступил на военную службу и участвовал в обороне Севастополя. Толстой прекрасно знал его и его жену, Варвару Дмитриевну, урожденную Мергасову, считавшуюся одной из первых московских красавиц.

Глава XXIV. Прототип Николая Левина, как сказано, — брат Льва Николаевича, Дмитрий. Подобно Николаю Левину, он жил в юности, как монах, строго исполняя церковные обряды и избегая всяких удовольствий, в особенности женщин; над ним также смеялись, и его прозвали Ноем; также «вдруг его прорвало, он сблизился с самыми гадкими людьми и пустился в самый беспутный разгул». Также он бил мальчика в припадке гнева, также дал какому-то недобросовестному человеку вексель, по которому пришлось платить его братьям, Льву и Сергею, также жил с некоей Машей, выкупленной им из публичного дома, также злоупотреблял алкоголем и т. д.[6]. В одном только есть различие между Николаем Левиным и Дмитрием Толстым. Николай Левин высказывает некоторые социалистические идеи и задумывает вместе с социалистом Крицким учредить слесарную артель на кооперативных началах; этого не мог предпринять Дмитрий Николаевич Толстой, умерший в 1856 г.; он только обдумывал некоторые улучшения в крепостных отношениях между помещиками и крестьянами, о чем сохранилась его записка (рукопись).

Глава I, XXVI и XXVII. Левин в своем имении, его кабинет, оленьи рога, отцовский диван, пудовые гимнастические гири, собака Ласка, корова Пава и пр. — все это напоминает холостую жизнь Толстого в Ясной Поляне. С Толстым жила его пожилая родственница и воспитательница, Татьяна Александровна Ергольская. В черновиках романа есть упоминание о жившей с Левиным его мачехе, выпущенное в окончательном тексте. В Ясной Поляне жила и Агафья Михайловна, бывшая горничная бабушки Толстого, Пелагеи Николаевны, одно время бывшая ключницей. Однако, в жизни Толстого она не играла той роли, которую играла Агафья Михайловна в жизни Левина. Об Агафье Михайловне, этой оригинальной представительнице бывших дворовых, писали Т. А. Кузминская, Т. Л. Толстая («Друзья и гости Ясной Поляны») и И. Л. Толстой в своих воспоминаниях.

«Левин едва помнил свою мать. Понятие о ней было для него священным воспоминанием...». Толстой также не помнил своей матери и также идеализировал ее.

Глава XXVIII. «—У каждого есть в душе свои skeletons [скелеты]», — говорит Анна. Это выражение взято из английских романов. Выражением skeletons in the closet (скелеты в чулане) назывались постыдные тайны человека или семьи, которые тщательно скрываются от посторонних.

Глава XXIX. Анна в вагоне испытывает тряску и резкие переходы от тепла к холоду. В 70-х годах на железных дорогах еще не было удобств, введенных позднее: не было пульмановских тележек, парового отопления, электрического освещения и т. п. В первом классе были кресла, раскладывавшиеся на ночь.

Глава XXXII. Графиня Лидия Ивановна некоторыми чертами напоминает гр. Антонину Дмитриевну Блудову (1812 — 1891), дочь Д. Н. Блудова, министра внутренних дел при Николае I и председателя Государственного совета при Александре II. Она была близка к славянофильству, занималась благотворительной деятельностью, носившей религиозный характер. Толстой бывал у Блудовых в 1856 — 1857 гг., как видно из его дневника.

Глава XXXIV. Эпизод с новой каской, в которую офицер Бузулуков наложил взятые им на балу фрукты и конфеты, что считалось крайне неприличным, действительно произошел с каким-то офицером. Я в то время слышал об этом анекдоте.

Вторая часть

Главы I—III. Болезнь Кити после ее романа с Вронским напоминает болезнь свояченицы Толстого, Татьяны Андреевны Кузминской (урожденной Берс), после ее неудачного романа с братом Льва Николаевича, Сергеем Николаевичем, о чем она рассказывает в своих воспоминаниях.

Глава V. Действительный случай послужил материалом для рассказа о том, как два офицера преследовали жену титулярного советника и как Вронский мирил их с ее мужем. 15 марта 1874 г. Толстой писал своей свояченице, Т. А. Кузминской: «Спроси у Саши брата, можно ли мне в романе, который я пишу, поместить историю, которую он мне рассказывал об офицерах, разлетевшихся к мужней жене вместо мамзели и как он их вытолкнул и потом они извинялись... История эта прелестна сама по себе, да и мне необходима».

Глава VII. Разговор Каренина о всеобщей воинской повинности относится к указу 1 января 1874 г., которым двадцатипятилетний срок солдатской службы был сокращен до шести лет и воинская повинность распространена на все сословия.

У гр. Лидии Ивановны был миссионер из Индии сэр Джон. В начале 70-х годов Толстой познакомился в Москве с приехавшим из Индии миссионером Mr. Long. Последний приезжал в Ясную Поляну. Помню его окладистую седую бороду, его плохой французский язык и как, ища тему для разговора с моей матерью, он несколько раз спрашивал ее: «Avez-vous été à Paris? [Были ли вы в Париже?]». Отец нашел его мало интересным.

Главы XII — XVII. Эти главы опять напоминают холостую жизнь Толстого в Ясной Поляне. Колпик — это название одной из его лошадей (смирная буланая лошадка); Ласка—это сеттер Дора; Чефировка, Суры— селения Крапивенского уезда. Продажа Облонским леса на сруб купцу Рябинину напоминает, как в 60-х годах Толстой продал лес на сруб в своем имении Никольском-Вяземском купцу Черемушкину. Повидимому, он вспомнил фамилию Черемушкина, назвав покупателя леса у Облонского Рябининым (черемуха и рябина).

«Левин начал... сочинение о хозяйстве, план которого состоял в том, чтобы характер рабочего в хозяйстве был принимаем за абсолютное данное, как климат и почва, и чтобы, следовательно, все положения науки о хозяйстве выводились не из одних данных почвы и климата, но из данных почвы, климата и известного неизменного характера рабочего». Повидимому, это одна из мыслей Толстого того времени, когда он занимался сельским хозяйством. В 60-х и 70-х годах крестьяне, недавно избавившиеся от барщины, еще не привыкли к новым условиям работы у землевладельцев и противились нововведениям. Это могло навести Толстого на мысль о неизменности характера сельскохозяйственного рабочего.

Глава XVIII. «Мать Вронского, узнав о его связи [с Карениной], сначала была довольна... ничто, по ее понятиям, не давало последней отделки блестящему молодому человеку, как связь в высшем свете». В своей «Исповеди» Толстой пишет: «Добрая тетушка моя, чистейшее существо, с которой я жил, всегда говорила мне, что она ничего не желала бы так для меня, как того, чтобы я имел связь с замужней женщиной: «Rien ne forme un jeune homme comme une liaison avec une femme comme il faut».

Главы XXIV и XXV. Толстой никогда не бывал на офицерских скачках. Он описал их по расспросам у людей, бывавших на них. Ему помогло его основательное знание лошади и верховой езды. Много подробностей ему сообщил его хороший знакомый, коннозаводчик

кн. Д. Д. Оболенский. Он же рассказал, как об исключительном случае, о том, как на красносельских скачках кн. Дмитрий Борисович Голицын, подобно Вронскому, неловким движением, при перескакивании через препятствие, сломал спину своей лошади. Название лошади Фру-Фру взято из одной французской комедии. Махотин, выигравший скачку, напоминает, по мнению Д. Д. Оболенского, А. Д. Милютина, сына военного министра[7].

Глава XXVI. Упоминающийся здесь знаменитый путешественник по Китаю — вероятно И. Я. Пясецкий; его книга «Путешествие по Китаю» была издана в 1874 г.

Главы XXXII и XXXIII. Мадам Шталь и ее воспитанница Варенька, по свидетельству Софьи Андреевны, напоминают кн. Елену Александровну Голицыну, урожденную Дондукову-Корсакову, и ее воспитанницу Катеньку. Рассказ о происхождении Вареньки взят из семейных преданий Толстых.

В романе мы читаем о мадам Шталь: «Когда она родила, уже разведясь с мужем, первого ребенка, ребенок этот тотчас же умер, и родные г-жи Шталь, зная ее чувствительность и боясь, чтоб это известие не убило ее, подменили ей ребенка, взяв родившуюся в ту же ночь и в том же доме в Петербурге дочь придворного повара. Это была Варенька». Толстой пишет в своих воспоминаниях, что его тетка, Александра Ильинична Остен-Сакен, «родила, когда уже разошлась с своим мужем. Ее ребенок умер и его подменили дочерью придворного повара». Эта приемная дочь Александры Ильиничны, Пашенька, росла и воспитывалась вместе с Львом Николаевичем, его братьями и сестрой.

Третья часть

Главы I — IV. В этих главах все напоминает самого автора и Ясную Поляну. Следующие слова можно целиком отнести к Толстому: «Для Константина народ был только главный участник в общем труде...». Он испытывал «какую-то кровную любовь к мужику, всосанную им, как он сам говорил, вероятно с молоком бабы-кормилицы...». В своей «Исповеди» Толстой также пишет о своей «почти физической любви к мужику». Левин «долго жил в самых близких отношениях к мужикам как хозяин и [мировой] посредник, а главное как советчик (мужики верили ему и ходили верст за сорок к нему советоваться)». Несмотря на то, что в те времена крестьяне вообще мало доверяли «господам», они, так же, как к Левину, приходили советоваться и к Толстому. Помню, как почти ежедневно у крыльца яснополянского дома крестьяне, иногда прибывшие из дальних деревень, ждали Льва Николаевича и, когда он к ним выходил, пространно поверяли ему свои семейные, судебные и имущественные дела, советовались с ним.

Левин говорит: «—Когда у нас, у студентов, делали обыск и читали наши письма жандармы, я готов всеми силами защищать эти права, защищать мои права образования, свободы». Также и Толстой возмущался по поводу обыска в Ясной Поляне, произведенного жандармами в 1862 г.

Мнения Левина, высказанные им в разговоре с братом, о земстве, мировых судьях и медицине, близки к мнениям Толстого того времени, с той оговоркой, что автор, стараясь быть объективным, повидимому, сгустил краски. Однако, мнение Левина о народном образовании нельзя приписать Толстому. Как-раз во время писания «Анны Карениной» Толстой вновь был занят вопросами народного образования, писал свою «Азбуку» и книги для чтения.

Описание косьбы Левина с крестьянами — это впечатления самого

Толстого. В 1870 г. он по целым дням работал на покосе вместе с яснополянскими крестьянами. Упоминаемый в романе Калиновый луг находится около речки Воронки в Ясной Поляне.

Ермил и Тит — имена крестьян Ясной Поляны.

Глава VII. Степан Аркадьевич «напоминает о себе в министерстве». Чиновникам, служившим в провинции (к которой в то время принадлежала и Москва), полезно было помнить французскую поговорку:

С. А. ТОЛСТАЯ

Фотография 70-х годов

Частное собрание, Москва.

les absents ont toujours tort (отсутствующие всегда неправы) и иногда показываться в Петербурге, в министерстве, для того, чтобы получить повышение по службе. Свояк Толстого, А. М. Кузминский, не раз именно с этой целью ездил в Петербург.

Главы VIII—X. Имение Облонских Ергушово напоминает имение сестры Толстого, Марии Николаевны, Покровское, а также и Ясную Поляну. В Покровском была бесхозяйственность, как и в Ергушове.

Поездка в церковь Дарьи Александровны для причащения детей

похожа на такие же поездки С. А. Толстой. Церковь, к приходу которой принадлежала Ясная Поляна, находилась в двух с половиной верстах от нее; Ергушово также, повидимому, было не близко от приходской церкви, так как Дарья Александровна поехала туда в коляске. Ее меньшая дочь, Лили, после причастия сказала священнику по-английски: «Please, some more [Пожалуйста, еще]». Нечто в том же роде было сказано маленьким сыном Толстого, Лелей (Львом), когда его причащали. Софья Андреевна в письме к мужу от 30 июня 1871 г. писала: «...других причащали и дали пить теплое и есть просвиру, а он поднял головку и кричит: и Леле полалуста. Потом, когда понесли это блюдечко в алтарь, он закричал: Лели мор оно». В своих записках «Моя жизнь» Софья Андреевна записала, что Леля сказал: «Лели please some more».

Купанье Дарьи Александровны с детьми также похоже на купанье Софьи Андреевны с ее детьми. В полутора верстах от дома на речке Воронке была сделана запруда и построена купальня, огражденная, так же, как в Ергушове, соломенными щитами; туда ездили купаться на «катках», как назывался экипаж, обыкновенно называемый долгушей или линейкой. Разговоры Дарьи Александровны с бабами напоминают подобные же разговоры Софьи Андреевны с бабами.

Глава XII. Мысли Левина, когда он провел ночь на копне сена,— это мысли самого Толстого незадолго до его женитьбы: «...отречение от своей старой жизни, от своих бесполезных знаний, от своего ни к чему не нужного образования... Иметь работу и необходимость работы? Оставить Покровское? Купить землю? Приписаться в [крестьянское] общество? Жениться на крестьянке?». Всю свою жизнь Лев Николаевич мечтал об «отречении от старой жизни», об уходе от нее. Незадолго до его женитьбы ему приходила мысль жениться на крестьянке. Вспоминаю, как позднее он однажды рассказал мне и брату Илье, что один помещик (не помню его имени), женившийся вторым браком на крестьянке, сказал: «Теперь я чувствую себя дома». Отец, очевидно, сочувствовал этому помещику.

Глава XIII. Развод между супругами в дореволюционное время был обставлен трудными, циническими и дорогими условиями. По тогдашнему закону, следующие три случая могли служить поводами к разводу: физические недостатки супругов, безвестное пятилетнее отсутствие одного из супругов и прелюбодеяние. Когда не было первых двух условий, приходилось прибегать к третьему. Но для узаконения развода прелюбодеяние должно было быть реально и формально доказано. Тогда невиновный супруг получал право на вторичный брак и на своих детей, а виновный лишался этих прав. Развод Карениных, следовательно, мог осуществиться либо доказательством измены Анны мужу, причем она лишалась прав на сына и на вторичный брак (с Вронским), либо принятием на себя несуществующей вины Алексеем Александровичем. Это принятие на себя вины должно было быть удостоверено консисторскими чиновниками, известными своей подкупностью. Ни в чем не повинный Алексей Александрович должен был разыграть комедию не содеянного им прелюбодеяния с какой-нибудь подкупленной женщиной, а подкупленные свидетели должны были представить этому неопровержимые доказательства. Тогда он, а не Анна, лишался прав на сына и на вторичный брак. Такая процедура была незаконна, однако, нередко практиковалась.

Глава XIV. «Министерство, враждебное Алексею Александровичу...». Действия министров царского правительства нередко бывали не только не согласованны между собой, но даже враждебны; первого министра не было. Министерства были объединены впервые при Николае II, когда первым министром был назначен С. Ю. Витте.

Глава XVIII. «Неожиданный молодой гость, которого привезла Сафо... был однако такой важный гость, что, несмотря на его молодость, обе дамы встали, встречая его». Этот гость был, очевидно, одним из великих князей. В светском обществе, когда входил в комнату один из великих князей, было принято вставать всем, даже пожилым дамам.

Главы XX и XXI. Прототипами Серпуховского могли быть военные, знакомые Толстому по Севастопольской кампании, например, А. Д. Столыпин, впоследствии генерал-адъютант, занимавший видные должности, или Н. А. Крыжановский, генерал, бывший в 60-х годах варшавским, а в 70-х годах оренбургским генерал-губернатором. Толстой виделся с ним после войны в 1862 и 1876 гг.

Главы XXIV и XXVII. Неудачи по хозяйству Левина были общими у помещиков того времени. После отмены крепостного права хозяйство в имениях долго не могло наладиться. Помещики терпели убытки отчасти от дешевых цен на хлеб, отчасти от непривычки рабочих к новым формам труда (после барщины); крестьяне же бедствовали вследствие обременительных налогов, своей бесправности и традиционного трехполья на выпаханной земле. Разумеется, они относились к помещичьему хозяйству или равнодушно, или враждебно.

Богатый мужик, у которого останавливался Левин, был в сущности небольшим помещиком: он купил 120 десятин и снимал у помещицы еще 300. Когда Толстой ездил в свое самарское имение, он останавливался по дороге у одного зажиточного крестьянина. Повидимому, он о нем и вспомнил. В то время в Самарской губернии можно было дешево купить и арендовать землю, дававшую в благоприятные годы большие урожаи. В центральной России это было труднее, — земля ценилась дороже; здесь доходы разбогатевших крестьян большей частью приобретались мелкой торговлей и ростовщичеством, а не земледельческим трудом.

Главы XXVI и XXVII. Описывая Свияжского, Толстой, повидимому, имел в виду некоторые черты Петра Федоровича Самарина, с которым был хорошо знаком и часто видался в 70-х годах. Я предполагаю, что основа взглядов на жизнь Самарина была для Льва Николаевича так же загадочна, как и основа взглядов на жизнь Свияжского. Самарин был богатым помещиком, предводителем сперва Епифанского уезда, затем, с 1873 по 1880 г., тульским губернским предводителем. Он, как и Свияжский, был умен, хорошо образован и либерален, хотя, может быть, менее либерален, чем Свияжский. Он не был славянофилом, как его братья, Юрий и Дмитрий. Так же, как Свияжский, он жил очень дружно со своей женой; детей у них также не было.

Мнения «помещика с седыми усами... очевидно, закоренелого крепостника и деревенского старожила, страстного сельского хозяина» можно было в те времена услышать от многих, особенно некрупных, помещиков, живших в своих имениях и на доходы со своих имений. Между прочим, такие же мнения высказывались братом Льва Николаевича, Сергеем Николаевичем, и поэтом А. А. Фетом.

Глава XXVIII. Свияжский предлагает Левину осмотреть «интересный провал в казенном лесу». Такие провалы, образовавшиеся от действия подземных вод и оседания земли, находились в казенном лесу Засека, близ Ясной Поляны.

Глава XXIX. Планы Левина о привлечении крестьян к участию от прибылей в хозяйстве в его имении напоминают проект, который Толстой пытался осуществить с крестьянами Ясной Поляны в конце 50-х годов, когда он заменил барщину оброком. Резунов и Шураев — фамилии крестьян Ясной Поляны.

Глава XXXI. «Смерть, неизбежный конец всего, в первый раз с неотразимою силой представилась» Левину. Толстой в первый раз почув-

отвовал страх перед неизбежностью смерти после того, как умер его брат Николай в 1860 г. В сентябре 1869 г., ночуя в арзамасской гостинице, он особенно остро испытал то же чувство — беспричинную, неописуемую тоску, страх, ужас, о чем писал жене.

Воспоминание о том, как в отсутствии Федора Богдановича Левин с братом перекидывались подушками, — это воспоминание детства самого Льва Николаевича. Федор Богданович — это немец Федор Иванович Рессель, дядька Толстых; он же выведен в «Детстве и отрочестве» в лице Карла Ивановича.

Четвертая часть

Глава I. В 1874 г. в Петербург приезжал принц Альфред Эдинбургский, жених дочери Александра II, Марии Александровны. Повидимому, Толстой имел в виду именно его, когда писал об иностранном принце, которого сопровождал Вронский.

Глава VII. Левин, вернувшись с медвежьей охоты, мерил аршином свежую медвежью шкуру. Толстой охотился на медведей в 1859 г. 21 декабря он убил медведя, а 22-го его погрызла раненная им медведица, которая потом была убита другим охотником. Об этом он написал рассказ «Охота пуще неволи». Выделанная шкура этой медведицы сохранялась в Ясной Поляне, а позднее — в хамовническом доме Толстых.

Главы VII, IX. Степан Аркадьевич пригласил к обеду «известного чудака-энтузиаста Песцова, либерала, говоруна, музыканта, историка и милейшего пятидесятилетнего юношу». В Песцове можно заметить некоторые черты С. А. Юрьева (1821 — 1888), левого славянофила, любителя искусств и поэзии, впоследствии председателя Общества любителей русской словесности и редактора журнала «Русская Мысль». Он, так же, как Песцов, был сторонником женского образования. Славянофильский оттенок в Песцове виден по тому, что он, как и Юрьев, видел «хоровое начало» в сельской общине. В черновиках романа Песцов назван Юркиным. Есть в Песцове также черты известного критика и искусствоведа В. В. Стасова.

Глава X. В 1871 г. министром народного просвещения Д. А. Толстым был проведен новый гимназический устав, по которому в основу преподавания в классических гимназиях было положено изучение греческого и латинского языков и изъяты были естественные науки. Такая программа считалась хорошим средством для борьбы с «нигилизмом». В русском обществе реформа Д. А. Толстого возбудила большие споры, при чем большей частью высказывалось отрицательное отношение к ней. По поводу этой реформы и велись разговоры гостями Облонского.

Глава XIII. Левин объяснился с Кити, написав только первые буквы тех слов, которые он хотел ей сказать. Кити по этим буквам угадала самые слова.

Такое же объяснение было у Льва Николаевича с Софьей Андреевной. Об этом она записала в своем дневнике [8]. Т. А. Кузминская в своей книге «Моя жизнь дома и в Ясной Поляне» рассказала, как это произошло. Она была в то время пятнадцатилетней девочкой и, по ее словам, слышала этот разговор, спрятавшись под фортепьяно, чтобы ее не просили петь. Вот что она писала: «Вошли Л. Н. и Соня. Л. Н. спросил ее: Софья Андреевна, можете прочесть что я напишу начальными буквами?— Могу, решительно ответила Соня, глядя ему прямо в глаза. Некоторые слова он подсказал ей. Угаданные слова были: «Ваша молодость и потребность счастья слишком живо напоминают мне мою старость и невозможность счастья».— Ну еще, говорил Л. Н., и написал первые буквы следующей фразы: «В вашей семье существует ложный взгляд на меня

С. А. ТОЛСТАЯ С ДЕТЬМИ

Рисунок И. Е. Репина, 1891 г.

Толстовский музей, Москва.

и вашу сестру Лизу. Защитите меня вы с вашей сестрой Танечкой». Софья Андреевна угадала и эти слова. Оговорка Т. А. Кузминской, что некоторые слова были подсказаны Львом Николаевичем, несколько ослабляет впечатление от этой удивительной прозорливости Софьи Андреевны. Какие слова были подсказаны, остается неизвестным. В романе такой оговорки нет.

Главы XIV — XVI. Эти главы автобиографичны. На вопрос князя Щербацкого о дне свадьбы Левин отвечает: «—...по моему, нынче благословить, а завтра свадьба. — Ну, полно, mon cher, глупости! — Ну, через неделю».

Толстой перед своей женитьбой отвечал родителям своей невесты в таком же роде. Согласие на его предложение было дано 16 сентября 1862 г., а венчался он через семь дней после этого, 23 сентября.

Автобиографично и признание Левина в том, что он не так чист, как она, и что он — неверующий. Так же, как Толстой, Левин передал своей невесте свой холостой дневник, который он и писал «в виду будущей невесты»; его невеста, так же, как Софья Андреевна, была огорчена чтением этого дневника.

Глава XVI. Фульд — известный московский ювелир.

Глава XVII. Родильная горячка Анны напоминает родильную горячку, бывшую у Софьи Андреевны после рождения ее дочери Марии (12 февраля 1871 г.). После болезни ей, так же, как Анне, обрили голову, во избежание падения волос; пока волосы не отросли, она носила чепчик.

Пятая часть

Глава I. Толстой перед своей свадьбой, так же, как Левин, не верил в учение православной церкви и, вероятно, сознался в этом священнику на исповеди, обязательной перед свадьбой.

Глава II. Так же, как Левин, Толстой опоздал на свое венчание из-за отсутствия чистой рубашки. Об этом рассказывает Т. А. Кузминская в своих воспоминаниях.

Главы IV—VI. Описывая свадьбу Левина, Толстой вспоминал о своей женитьбе. Показательна в этом отношении следующая описка в одном из вариантов романа. После слов: «Левин расслышал молитву «О ныне обручающихся рабе божьем» — в черновике написано слово «Льве», зачеркнутое и замененное словом «Константине».

Главы IX — XII. Некоторые черты художника Михайлова напоминают известного художника И. Н. Крамского. Крамской приезжал в Ясную Поляну в 1872 г., написал два портрета Толстого и много с ним разговаривал. Реализм, которого придерживался Михайлов в изображении Христа в своей картине «Христос перед Пилатом», был в то время новым направлением в живописи, отразившимся, между прочим, в картине Крамского «Христос в пустыне». На эту тему и шел разговор между Михайловым и Голенищевым.

Глава XIV. «Вообще, тот медовый месяц, то есть месяц после свадьбы, от которого, по преданию, ждал Левин столь многого, был не только не медовым, но остался в воспоминании их обоих самым тяжелым и унизительным временем их жизни». То же самое не раз говорил Толстой о первом месяце, прожитым им после своей свадьбы.

Глава XVI. Долли возила на детский бал к Сарматским Гришу и Таню; Таня была одета маркизой. Это напоминает мне, как однажды на святках, в начале 70-х годов, моя мать нарядила меня маркизой, а сестру Таню — маркизом, и как она нас учила в этих костюмах танцовать польку с фигурами.

Глава XVII. Описывая смерть Николая Левина, Толстой вспомнил

последние дни своего брата Дмитрия (умер 22 января 1856 г.), подробно описанные им в «Воспоминаниях». Он вспомнил также смерть старшего брата Николая, умершего в 1860 г. Лев Николаевич не был при смерти Дмитрия, уехав за несколько дней до нее; Николай же умер при нем.

Предсмертные слова Николая Левина, как выше упомянуто, напоминают предсмертные слова Киселева.

Глава XXIV. «Поздравление кончалось». Подразумевается, что это поздравление вновь награжденных сановников происходило в Зимнем дворце. На этом приеме все дамы, даже старухи, должны были быть в декольтированных платьях. Разумеется, такой туалет не мог подходить к наружности и возрасту графини Лидии Ивановны, и ей пришлось прибегать к особым ухищрениям, чтобы не казаться смешной.

Шестая часть

Глава I. В главах I — VIII опять многое напоминает Ясную Поляну. Левину «немного жалко было своего левинского мира и порядка, который был заглушаем этим наплывом «щербацкого элемента», как он говорил себе». Заменив Левина Толстым, а «щербацкий элемент» — «берсовским элементом», мы перенесемся в яснополянскую усадьбу 70-х годов. Как в усадьбе Левина каждое лето жила семья сестры Кити, Долли Облонской, так же в яснополянском флигеле каждое лето жила семья сестры Софьи Андреевны, Татьяны Андреевны Кузминской.

Глава II. Даже мелкие подробности напоминают яснополянскую жизнь того времени, например, вопрос о том, варить ли малиновое варение с водой или без воды. Я помню, как в Ясную Поляну приезжал по делам издания «Азбуки» Ф. Ф. Рис, толстый белокурый немец, владелец типографии в Москве. Увидав, что в Ясной Поляне варят малиновое варение с водой, он посоветовал варить его без воды. Этот способ сперва вызвал недоверие, но затем был испробован и одобрен.

Глава II. Покупка разных материй и других предметов домашнего обихода на «дешевом товаре» часто практиковалась Софьей Андреевной и Татьяной Андреевной. «Дешевый товар», или «дешевка», — это распродажа магазинами по дешевой цене бракованных или залежалых товаров и остатков (большей частью на пасхальной неделе).

Глава II. «Левин никогда не называл княгиню maman, как это делают зятья, и это было неприятно княгине». «Левин, несмотря на то, что он очень любил и уважал княгиню, не мог, не осквернив чувства к своей умершей матери, называть ее так». По той же причине Лев Николаевич называл свою тещу не «maman» или каким-нибудь другим словом, употребляемым при обращении к матери, а просто Любовью Александровной.

Глава VIII. «В строящемся флигеле рядчик испортил лестницу, срубив ее отдельно и не разочтя подъем, так что ступени все вышли покатые... Теперь рядчик хотел, оставив эту же лестницу, прибавить три ступени». Он был уверен, что это исправит лестницу. Он говорил: «—Как, значит, возьмется снизу... пойдеть, пойдеть и придеть». То же случилось в Ясной Поляне, когда Толстой в 1872 г. перестраивал лестницу в пристройке к дому. Выражение: «пойдет, пойдет и придет» он обычно применял к работам, делаемым «на-авось», без плана и предварительного расчета.

Глава IX. Охота Левина с Облонским и Весловским напоминает поездки на охоту Толстого в 70-х годах. Первое болото, на которое заезжал Левин с своими гостями,— это болото по ручью Диготне, в семи верстах от Ясной Поляны; большое Гвоздевское болото, поросшее осокой и ольхой и с мельницей вблизи, — это болото по речке Солове,

около села Карамышева, в двадцати верстах от Ясной Поляны. Левин говорит: «—В Гвоздеве болото дупелиное по сю сторону, а за Гвоздевым идут чудные бекасиные болота, и дупеля бывают». Левин не договаривает, и читателю неясно: по сю сторону чего? Толстой имел в виду болото, разделенное на две части полотном железной дороги. В 1873 или 1874 г. Лев Николаевич ездил на эти болота вместе со своим гостем, скрипачом Ипполитом Михайловичем Нагорновым. Помню, как он остался недоволен тем, что Нагорнов, так же, как Весловский, нечаянно выстрелил, и тем, что Нагорнов, проезжая через деревню, застрелил собаку, гнавшуюся за сеттером Льва Николаевича, Дорой. У Ласки, собаки Левина, также есть свой прототип: это желтый сеттер Толстого, Дора, названная так в честь героини романа Диккенса «Давид Копперфильд».

Главы XIV и XV. В рассказе о том, как Левин ревновал Кити к Весловскому, Толстой беспощадно описал самого себя. Эпизод окончился тем, что Левин сказал Весловскому: «—Я велел вам закладывать лошадей. — То есть как? — начал с удивлением Весловский. — Куда же ехать? — Вам, на железную дорогу, — мрачно сказал Левин...». В своих воспоминаниях Т. А. Кузминская рассказывает о двух случаях выпроваживания гостей из Ясной Поляны. В первый раз, в 1863 г., был изгнан Анатолий Шостак, ухаживавший за Татьяной Андреевной. «Лев Николаевич велел заложить лошадей, а Соня сказала Анатолию, что в виду ее скорой болезни она думает, что ему будет лучше уехать».

Во второй раз, по словам Кузминской, Лев Николаевич попросил уехать своего знакомого Рафаила Писарева. Это было в сентябре 1871 г. Писарев был помещиком Епифанского уезда, очень красивым, высокого роста, мускулистым молодым человеком. Между прочим, он рассказывал, что, путешествуя по Индии, он застрелил тигра, вскочившего на слона, на котором он ехал. По своему характеру он не был похож на Весловского. Т. А. Кузминская пишет: «Соня, сидя у самовара, разливала чай. Писарев сидел около нее. По моему это была его единственная вина. Он помогал Соне передавать чашки с чаем... Он весело шутил, смеялся, нагибаясь, иногда в ее сторону, чтобы что-либо сказать ей. Я наблюдала за Львом Николаевичем. Бледный, с расстроенным лицом, он вставал из-за стола, ходил по комнате, уходил, опять приходил и невольно мне передал свою тревогу. Соня также заметила это и не знала, как ей поступить. Кончилось тем, что на другое утро, по приказанию Льва Николаевича, был подан экипаж, и лакей доложил молодому человеку, что лошади для него готовы». Из рассказов Кузминской следует, что Писарев был изгнан тем же способом, каким был изгнан Анатолий Шостак: обоим сказали, что лошади для них готовы. Я в этом сомневаюсь. Я помню рассказ о ревности моего отца к Писареву, но не слыхал о том, чтобы ему сказали: «Лошади для вас готовы».

Глава XIX. Толстой бывал в нескольких богатых усадьбах, похожих на усадьбу Вронского. Больше других на нее похожи усадьба П. П. Новосильцева в селе Воине, Мценского уезда, и усадьба графа А. П. Бобринского в Богородицке (Тульской губ.). Про усадьбу Новосильцева Лев Николаевич писал в 1865 г. жене: «все для изящества и тщеславия, — парки, беседки, пруды, points de vue [виды на ландшафт] и очень хорошо». У Бобринского он был, вероятно, в 1873 г., когда охотился вместе с Д. Д. Оболенским в Богородицком уезде. Бобринский был одним из самых богатых землевладельцев Тульской губ. Так же, как Вронский, он построил на свой счет больницу (в Богородицке).

Глава XIX. Анна говорит про живущего у Вронского доктора: «Не то что совсем нигилист, но, знаешь, ест ножом...». Есть ножом, т. е. класть пищу в рот ножом, а не вилкой, считалось, да и теперь многими

Л. Н. ТОЛСТОЙ КОСИТ.

Рисунок И. Е. Репина, 1880 г.

Толстовский музей, Москва.

считается, дурной манерой. По мнению Анны, такие дурные манеры должны были быть у «нигилистов».

Глава XXV. Анна получила ящик книг от Готье. У Готье был известный в Москве магазин французских и английских книг.

Главы XXVI—XXX. На каких дворянских собраниях бывал Толстой — не выяснено. О том, что он бывал на них, можно судить по тому, что в сундуке в Ясной Поляне хранились два дворянских мундира, один — его отца, другой — его самого. Дворянские собрания собирались раз в три года. Во время писания романа тульское дворянское собрание происходило в 1873 г. Может быть, Толстой был на этом собрании, а может быть, только слышал рассказы о нем от приезжавших к нему дворян. Кашинское дворянское собрание во многом напоминает Тульское дворянское собрание этого года. До 1873 г. предводителем был Минин, крепостник, про которого можно было сказать то же, что сказал Кознышев про Снеткова, что «он во всем всегда держал сторону дворянства, он прямо противодействовал распространению народного образования и придавал земству, долженствующему иметь такое громадное значение, сословный характер».

В романе описывается, как в Кашине на место Снеткова был выбран Неведовский, дворянин с более современным направлением, сочувствующий земству. Также в Туле в декабре 1873 г. был выбран вместо Минина Петр Федорович Самарин, образованный человек, сторонник реформ.

Надо знать статью закона о выборах предводителей дворянства для того, чтобы понять, как они происходили. По этой статье было обязательным выбрать двух лиц — предводителя и кандидата к нему, но они не выбирались каждый отдельно, а получивший большее число шаров становился предводителем, меньшее — кандидатом. Поэтому, если первый баллотировавшийся был выбран, это еще не значило, что он будет предводителем. Второй выбранный мог получить большее число шаров, и тогда он становился предводителем. Поэтому надо было подстроить выборы так, чтобы менее желательный для большинства — первый или второй из баллотирующихся — был выбран меньшим числом шаров, чем желательный, но не был бы забаллотирован, так как, если бы было выбрано только одно лицо, остальные же были бы забаллотированы, выборы признавались несостоявшимися. На игре по этой статье и велись интриги. Когда Снетков был избран, партия Неведовского старалась провести своего кандидата большим числом шаров, чем Снеткова, что ей и удалось.

Седьмая часть

Глава I. Левин в Москве — это Толстой в Москве. Там он также торопился, также «чем больше ничего не делал, тем меньше у него оставалось времени». Кити «видела, что он здесь не настоящий».

Глава III. В разговоре с Метровым Левин высказал мнение, что «русский рабочий имеет совершенно особенный от других народов взгляд на землю... этот взгляд русского народа вытекает из сознания им своего призвания заселить огромные, незанятые пространства на востоке». Подтверждение мысли о таком призвании русского народа Толстой видел в истории возникновения селений, соседних с его самарским имением. Эти селения возникли сравнительно недавно — за последние сто лет — путем переселений крестьян из центральных губерний. Переселения эти происходили и в 70-х годах — далее на Восток, в Сибирь. Однако, переселялись крестьяне не потому, что считали это своим призванием, а потому, что на родине, особенно при крепостном праве, их жизнь была невыносима; переселение на новые земли было простейшим выходом из

положения. Одно время Толстой обдумывал план литературного произведения, описывающего жизнь переселенцев.

Глава III. Упоминаемый «университетский вопрос» является, вероятно, отражением истории, разыгравшейся в Московском университете в 1867 г., когда между профессорами произошел раскол по вопросу о выборе проф. Лешкова. В результате происшедшей борьбы трое молодых профессоров (Б. Н. Чичерин, Ф. М. Дмитриев и С. А. Рачинский) оставили университет.

Глава IV. Арсений Львов отчасти напоминает поэта Ф. И. Тютчева. «Он всю свою жизнь провел в столицах и заграницей, где он воспитывался и служил дипломатом». Как известно, Тютчев был дипломатом и много лет жил за границей. Сходство заметно и в описании наружности Арсения Львова: «Прекрасное, тонкое и молодое еще лицо его, которому курчавые, блестящие серебряные волосы придавали еще более породистое выражение, просияло улыбкой». В августе 1871 г. Толстой встретил в поезде Ф. И. Тютчева и писал о нем А. Фету: «Четыре станции говорил и слушал этого величественного и простого и такого глубокого, настояще умного старика». В Арсении Львове, мне кажется, можно видеть также черты кн. Евгения Владимировича Львова или его брата, Владимира Владимировича. Левин говорит, что он не видал лучше воспитанных детей, чем дети (два мальчика) Львова. Когда мне было 11—12 лет, в Ясную Поляну приезжал кн. Е. В. Львов со своими двумя сыновьями, Алексеем и Владимиром. Помню, что мой отец ставил их нам в пример, как особенно благовоспитанных мальчиков.

Глава V. «Фантазия «Король Лир в степи» — имеется в виду сюита М. А. Балакирева «Король Лир», написанная в 1860 г. В средней части этой сюиты есть эпизод, изображающий короля Лира с шутом в пустыне во время бури; есть также тема Корделии, нежная и грустная. Толстой устами Левина высказывает свое отрицательное отношение к программной музыке.

Глава VI. Процесс иностранца, о котором идет речь в салоне графини Боль, — это, очевидно, отражение дела железнодорожного предпринимателя и дельца Струсберга, разбиравшегося в Московской судебной палате в 1875 г.

Главы VII и VIII. Клуб, описанный в этих главах, — это московский так называемый «английский клуб», помещавшийся на Тверской, в доме Шаблыкина; в настоящее время там находится Музей Революции. Широкий полукруглый двор, швейцар в перевязи, ковровая лестница, статуя на площадке; комнаты — столовая, большая, где играли в коммерческие игры, читальня, диванная, умная (где велись «умные» разговоры) и инфернальная, где велась азартная игра; отдельный стол с водками и всевозможными закусками, взаимные угощения членов клуба шампанским, подаваемым стаканчиками на подносе; прозвище старых членов клуба шлюпиками (подобно старым грибам или разбитым яйцам) и пр.— все это напоминает московский Английский клуб, этот «храм праздности», как его назвал Степан Аркадьевич [9].

Главы XIII—XVI. Описание родов Кити — это описание родов Софьи Андреевны. Елизавета Петровна — это Мария Ивановна Абрамова, тульская акушерка, бывшая при родах Софьи Андреевны.

Главы XXI и XXII. В лице Ландау Толстой, вероятно, изобразил медиума Юма (Hume), которого видел в Париже в 1857 г. и в Петербурге в 1859 г. Юм был популярной личностью в парижских салонах. В 1859 г. он приезжал в Россию вместе с известным богачом и меценатом гр. Г. И. Кушелевым-Безбородко. В России он, по выражению одного современного журнала, сделал свой лучший фокус — женился на богатой родственнице гр. Кушелева-Безбородко. Превращение Ландау

в графа Беззубова в романе является, повидимому, отражением этого эпизода, на что намекает и характерное для Толстого сходство имен (Безбородко и Беззубов). Юм выступал со своими медиумическими опытами в России также в 1871—1875 гг.

Глава XXIX. Анна читает вывеску: «Тютькин coiffeur [парикмахер]». Одно время на Толстого работал портной Тютькин.

Восьмая часть

Глава I. «На смену вопросов иноверцев, американских друзей, самарского голода, выставки, спиритизма стал славянский вопрос». Вопрос об «иноверцах» относится к униатам западных губерний, насильственное присоединение которых к православной церкви было торжественно отпраздновано в 1875 г. «Американские друзья» — это специальное посольство правительства САСШ, привезшее в 1866 г. поздравление Александру II по случаю его избавления от покушения Каракозова и благодарность за поддержку Штатов во время их междоусобной войны. Торжественный обед, данный московской Городской думой в честь главы посольства и его спутников, послужил сюжетом для комического рассказа И. Ф. Горбунова.

Упоминание о самарском голоде относится к народному бедствию, постигшему Самарскую губернию в 1873 г. вследствие трехлетней засухи. Тогда Толстой поместил в газетах письмо с описанием бедствия, произведшее сильное впечатление и вызвавшее приток пожертвований.

Глава III и следующие. Восстание Боснии и Герцеговины против турецкого владычества, возникшее в 1874 г., и начавшаяся в 1876 г. война между Турцией и Сербией вызвали сочувствие в русском обществе и прессе, чему особенно способствовали славянофильские кружки с И. С. Аксаковым, Ю. Ф. Самариным, В. И. Ламанским и др. во главе. Под влиянием общественного возбуждения началось так называемое «добровольческое движение». Люди из разных слоев общества записывались в добровольцы и отправлялись на театр военных действий. Некоторые шли под влиянием идейных мотивов, другие руководились больше личными интересами, тщеславием, пристрастием к авантюрам.

Толстой не сочувствовал добровольческому движению, что и выразил в эпилоге к своему роману. Помню, что он говорил: «Сербы живут богаче наших крестьян, а с крестьян собирают пожертвования в их пользу». Он, вероятно, знал нескольких добровольцев и слышал рассказы о них. Я помню только, что в Сербию поехал знакомый моему отцу Петр Афанасьевич Шеншин, брат А. А. Фета.

Известно, что редактор «Русского Вестника» М. Н. Катков, будучи сторонником добровольческого движения, отказался поместить без изменений последнюю, восьмую часть «Анны Карениной». Вместо нее и раньше, чем эта часть вышла отдельным изданием, он поместил в своем журнале две критические статейки о ней, из которых читатели узнавали о дальнейшей судьбе действующих лиц романа. Этот поступок Каткова привел к полному разрыву между ним и Толстым. Я помню, как отец возмущался некорректной выходкой Каткова и говорил, что никакого дела с ним иметь не будет. Разрыв с Катковым был подготовлен отрицательным отношением Толстого к общему направлению катковских изданий.

Глава XIV. «Новая пчелиная охота» Левина напоминает увлечение Толстого пчеловодством. Пасека в Ясной Поляне находилась в полутора верстах от усадьбы, среди осин и лип, за речкой Воронкой.

Глава XVII. Гроза, разбитый громом дуб, Кити со своим грудным сыном и няней в роще Колке под проливным дождем, беспокойство о них Левина — все это описание подобного же случая в Ясной Поляне;

надо заменить имена: Кити — Софьей Андреевной, Константина Дмитриевича — Львом Николаевичем, Мити — Сережей, рощи Колка — Чепыжем.

Главы IX—XI. Во время молотьбы Левин смотрит на «лошадь, переступающую по двигающемуся из-под нее наклонному колесу». Из этих слов видно, что двигателем молотилки была устаревшая в настоящее время машина, так называемый топчак. Лошади, топчась по досчатому колесу, приводили его в движение, передававшееся по трансмиссиям молотильному барабану. Топчак был во время оно и в Ясной Поляне.

Сопоставление хода мыслей Левина о смысле жизни в последней части «Анны Карениной» с «Исповедью» Толстого показывает, что Толстой, незадолго перед тем, как писал эту часть, пережил тот переходный период в своем мировоззрении, когда он на мучившие его вопросы искал ответа в учении церкви. Ход мыслей Левина, приведший его к религии, тот же, через который прошел Толстой. Это мысли о том, что жизнь, кончающаяся смертью, бессмысленна, что на вопросы «как жить?» и «зачем жить?» ни естественные, ни гуманитарные науки не дают ответа. Левин «ужаснулся не столько смерти, сколько жизни без малейшего знания о том, откуда, для чего, зачем и что она такое...». «Без знания того, что я такое и зачем я здесь, нельзя жить. А знать этого не могу, следовательно, нельзя жить», говорил себе Левин... И, счастливый семьянин, здоровый человек, Левин был несколько раз так близок к самоубийству, что спрятал шнурок, чтобы не повеситься на нем, и боялся ходить с ружьем, чтобы не застрелиться. Но Левин не застрелился и не повесился и продолжал жить».

Те же мысли, те же искания и ненахождение смысла жизни в научном знании, то же настроение, близкое к самоубийству, выражены в «Исповеди». Так же, как Левина, Толстого искушала мысль о самоубийстве. В «Исповеди» он писал: «Со мной сделалось то, что я здоровый, счастливый человек почувствовал, что я не могу больше жить... И вот тогда я, счастливый человек, прятал от себя шнурок, чтобы не повеситься на перекладине между шкапами в своей комнате, где я каждый день бывал один раздеваясь, и перестал ходить с ружьем на охоту, чтобы не соблазниться слишком легким способом избавления себя от жизни. Я сам не знал, чего я хочу: я боялся жизни, стремился прочь от нее и между тем чего-то надеялся от нее».

Ответ на вопрос о смысле жизни Левину подсказал его разговор с подавальщиком Федором, сказавшим про Фоканыча: «—...правдивый старик. Он для души живет. Бога помнит. — Как бога помнит? Как для души живет? — почти вскрикнул Левин. — Известно как, по правде, по божью... — Да, да, прощай, — проговорил Левин, задыхаясь от волнения, и, повернувшись, взял свою палку и быстро пошел прочь к дому».

В «Исповеди» Толстой говорит, что он «оглянулся на огромные массы отживших и живущих простых, не ученых и не богатых людей и увидел совершенно другое... Разумное знание в лице ученых и мудрых отрицает смысл жизни, а огромные массы людей, все человечество признают этот смысл в *неразумном знании*. И это неразумное знание есть вера, та самая, которую я не мог не откинуть... Спасло меня только то, что я успел вырваться из своей исключительности и увидеть жизнь настоящую простого рабочего народа и понять, что она только есть настоящая жизнь».

В 70-х годах «рабочий народ» по инерции и принуждению считался принадлежащим к православной церкви, и Толстому, так же, как и Левину, казалось, что присоединение к православию будет способствовать его слиянию с жизнью «рабочего народа». После сложных душевных переживаний Левин, так же, как Толстой, пришел к признанию необходимости веры. Но какой веры? Ответ на этот вопрос в «Анне Карениной» не совсем ясен. Из изложения мыслей Левина можно заключить,

что он стал верным сыном православной церкви, но в его рассуждениях уже проглядывает сомнение. Так, в главе XIII Левин спрашивает себя: «Не могу ли я верить во все, что исповедует церковь?».

Для того, чтобы уверовать в церковь, слиться с «рабочим народом», Левин умышленно закрывал глаза на все, с чем его здравый смысл не мог согласиться. Толстой не мог на этом остановиться. Вскоре после издания «Анны Карениной» он говорит в своей «Исповеди», написанной в 1879—1882 гг.: «...Я убедился вполне, что в том знании веры, к которому я присоединился [т. е. в церковном вероучении] не все истинно». А в написанных в начале 80-х годов «Критике догматического богословия», «Исследовании Евангелия» и «В чем моя вера?» он резко порвал с церковью и критиковал ее учение.

Исчерпать вопрос о том, что в «Анне Карениной» взято из действительной жизни, очевидно — задача недостижимая. Но из всего рассказанного нами видно, что материалом для романа послужили многочисленные комбинации фактов, взятых из наблюдений над окружающей жизнью и из личного опыта автора, психологических ситуаций, родившихся в результате пристального изучения характеров и проникновенно угаданных душевных переживаний известных писателю людей. Все это выражено в художественных образах. Поэтому не только люди, читавшие «Анну Каренину» при ее появлении и знакомые с бытом той эпохи, но и современные читатели выносят такое впечатление, как будто перед ними прошла жизнь живых людей. Такова жизненная правда романа.

Комбинирование явлений, взятых из жизни, при условии «не лгать» — особенно трудная задача. Работая над «Войной и миром», Толстой писал Фету в 1864 г.: «Обдумать и передумать все, что может случиться со всеми будущими людьми предстоящего сочинения,— очень большого,— и обдумать миллионы всевозможных сочетаний для того, чтобы выбрать из них одну миллионную, очень трудно. И этим я занят».

Что же хотел выразить в своем романе Толстой, выбирая одну миллионную из всех возможных сочетаний? Он сам ответил на это: «Если бы я хотел словами выразить все то, что имел в виду выразить романом, то я должен был бы написать роман — тот самый, который я написал, сначала».

Эпиграф «Мне отмщение, и аз воздам» дает ключ к пониманию замысла «Анны Карениной»; но глубину ее основной идеи нельзя выразить в немногих словах. Это и не входит в мою задачу.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Эти указания приведены в биографии Толстого П. Бирюкова, в книге Н. Гусева «Толстой в расцвете художественного гения», в XX томе Юбилейного издания сочинений Толстого и особенно подробно в примечаниях В. Ф. Саводника к отдельному изданию «Анны Карениной» 1928 г.

[2] «Толстовский Ежегодник», 1912 г., стр. 59.

[3] «Дневники С. А. Толстой», ч. I, М., 1928, стр. 35.

[4] Кузминская Т. А., «Моя жизнь дома и в Ясной Поляне», ч. III, стр. 170.

[5] Об этом писал, например, М. С. Громека, в статье, впервые изданной в 1883 г. и позднее вышедшей в издании «Посредника», в 1893 г.

[6] Толстой писал о брате Димитрии в воспоминаниях, впервые опубликованных в 13-м издании Полного собрания сочинений Л. Н. Толстого, 1913, т. I, стр. 284—291.

[7] Международный «Толстовский альманах», М., 1909, стр. 244.

[8] «Дневники С. А. Толстой», ч. I, М., 1928, стр. 15.

[9] О московском Английском клубе см. Никифоров Д., Из прошлого Москвы. М., 1900, и Гиляровский В., От английского клуба к Музею революции, М., 1926.

ТОЛСТОЙ И МУЗЫКА

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ А. Б. ГОЛЬДЕНВЕЙЗЕРА

Музыка занимала значительное место в жизни Толстого. Непосредственное воздействие музыки на него было сильнее других искусств.

Льва Николаевича всегда глубоко интересовал вопрос о том, что такое музыка, философское обоснование ее внутренней сущности. В «Крейцеровой сонате» он восклицает: «Вообще, страшная вещь музыка. Что это такое? Я не понимаю. Что такое музыка? Что она делает? И зачем она делает то, что делает?». «Страшную» силу музыки Лев Николаевич неоднократно подчеркивал. Например, о музыканте Кизеветтере он говорил, что в нем был «страшный внутренний огонь».

Сущность музыки действительно является трудно объяснимой. Почему звуки различной высоты и степени силы, отдельные или одновременно звучащие многие, следуя друг за другом во времени и соединяясь в какие-то мерные ритмические построения, способны оказывать такое мощное, заражающее воздействие на человека? Почему в одном случае эти звуковые сочетания являются бессмысленным набором звуков, а в другом — симфонией Бетховена? Загадка эта была и остается пока неразрешенной.

Словесные и изобразительные искусства всегда воспроизводят какую-то натуру (безразлично — взята ли она из действительной жизни или является плодом фантазии художника) — что-то изображают. Архитектура хотя и бессюжетна, но к ней всегда предъявляются требования целесообразности в смысле возможного ее практического применения. Архитектурное произведение — это жилище, храм, концертный зал, памятник и т. д.

Если исключить музыку «программную» и музыку со словами (это уже не чистое музыкальное искусство, а слияние в одном произведении элементов разных искусств), характерным признаком музыки является ее «беспредметность».

«Беспредметность», т. е. отсутствие конкретных объектов изображения, нередко смешивается с отсутствием содержания, и музыку превращают только в игру звуков. Это глубоко неверно: ни одно искусство не передает с такой силой воздействия и с такой непосредственностью, как музыка, идейное и эмоциональное содержание, пережитое композитором и выраженное им в звуках. Я сказал бы, что для музыки неминуемо губительны попытки заменить реализм «натурализмом». «Содержание» музыкального произведения ярче и сильнее всего передается самим музыкальным произведением и не нуждается ни в каких «подстрочниках».

Самое существование музыкального искусства неустойчиво. Всякое музыкальное произведение протекает во времени, а этот его временный строй не может быть вполне точно зафиксирован. Всякая запись музыки является более или менее несовершенным приближением. Вообще, самое существование записанного музыкального произведения только потенциально, — это лист бумаги, испачканный черной типографской краской. Между автором и слушателем неминуемо должно существовать

третье лицо — исполнитель, без которого музыка не звучит, а музыкальное произведение — фикция. Исполнитель вынужден всякий раз заново (и всегда различно) творчески воссоздать замысел автора. Всякое музыкальное исполнение всегда однократно и никогда не бывает вполне адекватным замыслу автора.

Я не хочу сказать, что все высказанное здесь мною точно выражает мысли Льва Николаевича о музыке, но обо всем этом мне много раз случалось с ним беседовать, и все это очень его интересовало.

Из различных попыток философского объяснения музыки Льву Николаевичу казалось наиболее значительным своеобразное воззрение на музыку Шопенгауэра, хотя он и не считал его действительно объясняющим ее сущность.

Лев Николаевич проводил аналогию между музыкой и сном. Во сне часто бывает несоответствие между видимыми событиями и нашими ощущениями; переживаемые нами во сне чувства часто не соответствуют вызвавшим их поводам. Это происходит оттого, что во сне мы как бы впадаем в различные состояния: любви, злобы, радости, умиления и т. п., которые совершенно не зависят от случайных, возникающих в нас образов, но по привычке невольно нами связываются с ними в цепь причин и следствий. Также, по мнению Льва Николаевича, и музыка не порождается внешними образами и не вызывает их в нас (эти образы, во всяком случае, — элемент привходящий, не определяющий существа музыки); музыка же порождается «состояниями» любви, радости, печали, страсти и т. д. и вызывает их в нас.

Лев Николаевич от природы был (как большинство членов семьи Толстых) очень музыкален. Были у него в молодости периоды страстного увлечения музыкой, когда он часами занимался игрой на фортепиано и даже, повидимому, слегка мечтал стать музыкантом. Изучал он одно время и теорию музыки. В одном письме 50-х годов Лев Николаевич пишет:

«В очень несовершенном виде испытал счастье артиста».

Однако, это увлечение не было прочным. Лев Николаевич был слишком художником, чтобы не почувствовать скоро, что музыка не его призвание. Он остался в музыке на всю жизнь дилетантом, но чуток к ней был в высшей степени.

Я не решился бы назвать музыкальный вкус Льва Николаевича непогрешимым. Многое, что с моей точки зрения является музыкой величайшей ценности, оставляло его равнодушным или даже вызывало к себе резко отрицательное отношение (хотя я глубоко убежден, что при более совершенном исполнении и при многократном прослушивании отношение Льва Николаевича во многих случаях могло бы совершенно измениться).

Гораздо совершеннее был музыкальный вкус Льва Николаевича по отношению к тому, что ему нравилось. Нравилось ему почти всегда действительно самое лучшее и никогда плохое. Перечислять любимых композиторов Льва Николаевича и его любимые музыкальные произведения я не буду, так как это уже неоднократно делалось.

Лев Николаевич любил музыку с определенно выраженным ритмом, мелодически ясную, веселую или полную страстного возбуждения. Музыка с сентиментальным оттенком или ноюще-грустная мало трогала его. В сложном изложении он не всегда мог (особенно с первого раза) разобраться и потому судил не всегда справедливо, не отличая действительных нагромождений, неясностей и усложнений для усложнений от моментов хотя и сложных, но насыщенных богатым содержанием и по существу ясных и логичных.

Когда Лев Николаевич слушал музыку, если исполняемое и исполнитель ему нравились, она его очень сильно захватывала. Он иногда не мог даже удержаться и во время исполнения как-то одобрительно крях-

тел, а то даже и вскрикивал: «А-а...». Чаще же всего обливался слезами. Часто, прослушав какую-нибудь вещь своего любимого Шопена, он говорил:

— Вот как надо писать!

Мне не очень часто случалось наблюдать Льва Николаевича во время музыки, так как большей частью я сам играл ему.

Во время игры он обычно садился в старинное, низкое и широкое дедовское кресло, обитое дешевой материей, стоявшее как-раз у хвоста рояля.

Л. Н. ТОЛСТОЙ и А. Б. ГОЛЬДЕНВЕЙЗЕР ЗА ШАХМАТАМИ

Рисунок А. Моравова, 6 ноября 1909 г.

Толстовский музей, Москва

Каких музыкантов Льву Николаевичу случалось слышать? Повидимому, он вообще мало слыхал симфонической оркестровой музыки. Кого из артистов слыхал Лев Николаевич в старину, я мало знаю. Знаю, что он нередко слышал братьев Рубинштейнов (особенно Николая).

Об Антоне Рубинштейне Татьяна Львовна рассказывала мне любопытный случай. Однажды на святках у Олсуфьевых был костюмированный вечер, на котором костюмированными масками изображался «Карнавал» Шумана. Приехавший случайно на вечер Антон Рубинштейн заинтересовался, сел за рояль, и «Карнавал» был инсценирован под его исполнение.

Лев Николаевич однажды при мне вспоминал, что был на первом представлении «Русалки» и сидел в одной ложе с Даргомыжским.

При мне из выдающихся музыкантов у Льва Николаевича играли: пианисты — Танеев, Скрябин (один раз), Рахманинов (один раз), Зилоти, Игумнов, Корещенко и др.; скрипачи — Гржимали, Сибор, Могилевский (последний приезжал также и со своим квартетом при Льве Николаевиче в Крекшино, к Чертковым, в сентябре 1909 г.); виолончелисты — Брандуков, Букиник. Был в Ясной Кусевицкий со своим контрабасом, приезжавший с членами Французской ассоциации старинных инструментов. Приезжала два-три раза Ванда Ландовска со своим клавесином и играла также много и на фортепиано. Бывало и «московское трио» — Шор, Крейн и Эрлих; из певцов: Климентова-Муромцева, Шаляпин (один раз), Оленина д'Альгейм (один раз). Был в Хамовниках также знаменитый «чешский квартет».

Из больших музыкантов был при мне однажды в Хамовниках Римский-Корсаков. Римский-Корсаков очень враждебно относился к взглядам Льва Николаевича на искусство, но высказываться остерегался, так что, помню, особенно интересных разговоров не было, а шел обычный светский разговор за вечерним чаем. Был в Ясной один раз (не при мне) Аренский.

Лев Николаевич очень любил русскую (да и всякую) народную музыку. Любил балалайку, гитару, даже (издали) гармонику. Любил и пение цыган. Терпеть не мог граммофона.

VII. СООБЩЕНИЯ И ОБЗОРЫ

НЕОКОНЧЕННЫЙ РАССКАЗ ТОЛСТОГО

Сообщение Н. Гудзия

Публикуемый ниже отрывок представляет собою начало неоконченного рассказа Толстого из народной жизни. Тематически он стоит в одном ряду с «Идиллией» и «Тихоном и Маланьей». Здесь фигурируют и приказчик Андрей Ильич, выведенный в этих рассказах, и крестьянин Копыл, присутствующий в одном из вариантов «Тихона и Маланьи». Оба персонажа восходят к реальным прототипам, при чем сохранены даже их имена. Как и в «Идиллии», тут идет речь и о барине. Видимо, Аксютка Фоканычева, упоминаемая здесь, должна была соответствовать Маланье (в «Идиллии» и «Тихоне и Маланье»), а Игнатка, проходящий мимо окон ее избы,— работнику Андрею, фигурирующему в обоих названных рассказах. Можно думать, что прототипом для Аксютки была, как и для Маланьи, Аксинья Аниканова (Базыкина), предмет страстного увлечения Толстого до его женитьбы (см. о ней выше, стр. 127). Но, в отличие от Маланьи, Аксютка в публикуемом отрывке не замужняя женщина, а девушка. Очевидно, Толстой решил изобразить здесь Аксинью Аниканову такой, какой она ему представлялась еще до замужества.

Возможно, что именно этот набросок является попыткой осуществить замысел, о котором говорится в записи дневника 7 августа 1860 г.: «Мысль повести. Работник из всех одолел девку или бабу». Очень вероятно также, что именно к печатаемому наброску относится и дневниковая запись от 13 апреля 1861 г.: «Попытка писанья Акс[иньи]».

Рассказ начинается прямо с приезда в деревню барина; это наводит на мысль о том, что барину здесь предполагалось отвести гораздо большую роль, чем в «Идиллии». Возможно, что в дальнейшем развитии сюжета речь пошла бы о романических отношениях барина к Аксютке и о его соперничестве на этой почве с Игнаткой.

О дочери Фоканова говорится и в основном варианте «Тихона и Маланьи»: «Вот Фоканычева девка с дворовыми идет, с Маврой Андреевной разговаривает, оттого что она грамотница в монастырь хочет идти». Но, судя по этой характеристике, сомнительно, чтобы «Фоканычева девка» из рассказа «Тихон и Маланья» и Аксютка из публикуемого наброска восходили к одному и тому же прототипу.

Язык наброска не выдержан. Начатый в стиле народной речи, он продолжается в стиле речи литературной.

Набросок написан рукой Толстого на согнутом пополам полулисте писчей бумаги совершенно такого же качества, как и бумага, на которой написаны «Идиллия» и «Тихон и Маланья» с их вариантами. Датировать рукопись следует так же, как и рукописи этих двух рассказов, т. е. промежутком времени между второй половиной 1860 г. и концом 1862 г. Если верно приурочение дневниковой записи Толстого от 13 апреля 1861 г. к данному наброску, то датировка рукописи окажется еще более точной.

Рукопись хранится в толстовском архиве Всесоюзной библиотеки им. В. И. Ленина.

[НАЧАЛО НЕОКОНЧЕННОГО РАССКАЗА]

Прежде всех в селе узнали у Копыла, что в ночь приехал барин. Слыхали все, что есть барин, что звать его Василий Микитич, что живет он в Москве или в другой вотчине, а заправлял всем Андрей Ильич; полная ему воля от барина была дана. Больше о барине ничего не знали, нешто из дворовых или из грамотных кто, или кормилицыны. Ихняя баба в Москве жила, одного барчука кормила. Только слава была, что барин. Как все господа, ни худа, ни добра от него не видала, прикащик Андрей сам говорил, что в селе Красном он барин, а больше никто. — А узнали у Копыла прежде других, потому что ихний малый Игнатка в ночь на барском дворе караульщиком был. Так он и видел, как уж после петухов к дому два возка подъехали и выбегала Михайловна, посылала его будить Андрей Ильича, что, мол, барин приехал.

Игнатка видел, как по снегу пробежал Андрей Ильич, застегивая сертук. Очень чуднỏ ему показалось, как сам Андрей Ильич, который, бывало, иначе не ходил, как пузо выставив и еле-еле с ноги на ногу переступая, как этот самый человек теперь спотыкнулся, сбежал с крыльца, не попал на дорожку, в сутроб забился и рысью, как боров отдуваясь, пробежал мимо него.

Часов около пяти огни потухли в доме, и Андрей Ильич прошел к себе. Игнатка постучал еще в доску, но караульщик от амбара не отозвался, и Игнатка, поскрипывая лаптями по подмерзшей дорожке и волоча палку по корке снега, пошел на деревню. — На барском дворе огни только потухли, значит, народ полег спать, а на деревне только зажигались. Проходя мимо Фоканычевых избы, Игнатка особенно внимательно вгляделся в тусклое окно, сквозь которое светился красный огонь печки, и остановился. Ему показалось, что кто-то прошел мимо окна и глянул в него. Но что ему было за дело до этой тени на окне? Во всех почти окнах были такие же огни и такие же тени. Однако он, вместо того, чтобы идти серединой улицы по проезженной дороге, пошел по тропинке между двумя стенами снега и прошел мимо самой избы Фоканычевых.

Аксютка, та самая девка, из-за которой Игнатка прошел мимо избы Фоканычевых, и в голове не имела, что Игнатка прошел под ее окном, она еще, раскидавшись, спала в чулане и не слышала, как старуха встала от нее и затопила печь. Ежели бы она и не спала и знала, что Игнатка тут, едва ли бы она подошла к окну и выглянула в него.

ТОЛСТОЙ И ЕВРОПЕЙСКИЕ КОНГРЕССЫ МИРА

Сообщение М. Чистяковой

К началу 90-х годов имя Л. Н. Толстого приобретает мировое значение и славу, не только как имя гениального художника, но и как имя «учителя жизни». Его публицистические выступления по вопросам религии и морали, с острой и парадоксальной критикой современных ему социальных отношений, науки, искусства, получают широкий политический резонанс в Европе и вызывают новое оживление интереса к личности русского писателя.

В 90-е годы произведения Толстого усиленно переводятся на все европейские языки. Толстого приглашают к сотрудничеству в периодической европейской прессе, резко увеличивается количество писем к нему из-за границы, среди которых значительное число составляют письма-запросы, связанные с различными событиями социальной и политической жизни. И Толстой, все более и более отходя от художественного творчества, включается в шумный поток международной жизни, горячо отзываясь на текущие политические события.

Основной проблемой, волновавшей европейское общество конца 90-х годов, напуганное новым призраком войны со всеми ее губительными последствиями, была проблема всеобщего мира. Эта проблема вызывала в Толстом живой интерес, определявшийся всей его прежней художественной и публицистической деятельностью. Первую попытку выступления на международной арене по вопросу всеобщего мира Толстой предпринял в 1897 г., в связи с завещанием Нобеля, шведского инженера, изобретателя динамита, приобревшего огромное состояние постройкой динамитных фабрик в Германии, Англии и Франции. Часть этого состояния Нобель завещал Стокгольмскому университету для учреждения премии за труды, направленные к осуществлению идеи мира и сближения народов. Толстой обратился в шведские газеты с нижеследующим воззванием, предлагая премию мира русским сектантам-духоборам, в то время преследовавшимся царским правительством за отказ от военной службы.

В шведских газетах я прочел известие о том, что по духовному завещанию Нобеля назначается некоторая сумма денег тому, кто наиболее послужил делу мира.

Полагаю, что люди, послужившие делу мира, послужили ему только потому, что они служили богу; и всякая денежная премия может быть только неприятна им, придавая корыстный характер их служению богу. И потому едва ли может быть правильно выполнено. Оно и действительно не может быть правильно выполнено по отношению самих тех людей, которые служили и служат делу мира, но оно, я полагаю, будет совершенно правильно выполнено, если деньги эти будут переданы семьям тех людей, которые служили и служат делу мира и вследствие этого служения находятся в самом тяжелом и бедственном положении. Я говорю про семьи кавказских духоборов, которые в настоящее время в числе более 4 000 душ вот уже третий год несут самые тяжелые испытания, налагаемые на них русским правительством за то, что мужья,

сыновья и отцы их отказываются как от действительной, так и от запасной военной службы.

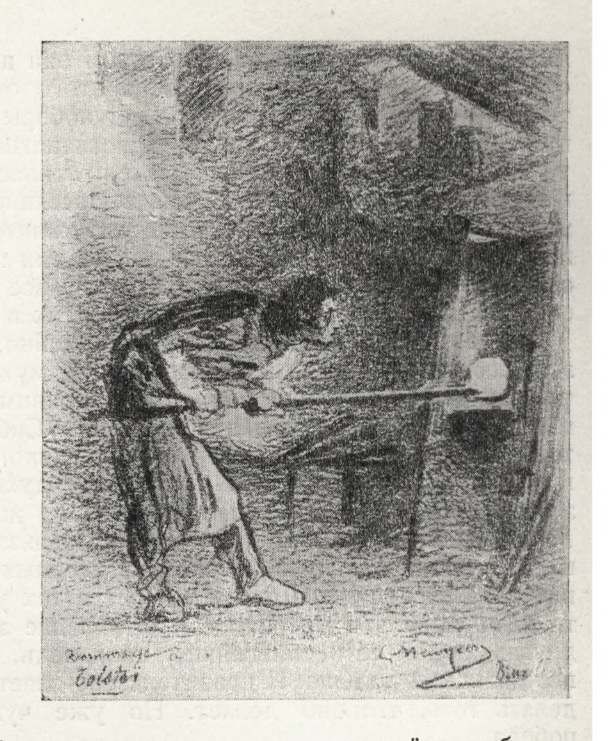
Тридцать два человека из отказавшихся, после пребывания в дисциплинарном батальоне, где двое из них умерли, сосланы в худшие места Сибири, а около 300 человек томятся в тюрьмах Кавказа и России.

Несовместимость военной службы с исповеданием христианства всегда была ясна для всех истинных христиан и много раз высказывалась ими; но всегда церковные софисты, находящиеся на службе властей, так умели заглушать эти голоса, что простые люди не видели этой несовместимости и, продолжая считаться христианами, вступали в военную службу и повиновались начальству, упражнявшему их в убийстве; но противоречие между исповеданием христианства и участием в военном деле с каждым годом и днем становилось все более и более заметным и наконец в наше время, когда, с одной стороны, дружеское общение и единение христианских народов становится все теснее и теснее и, с другой стороны, эти самые народы все более отягчаются ужасающими вооружениями для враждебных друг против друга целей, — дошло до последней степени напряженности. Все говорят о мире, мир проповедуют священники и пасторы в своих церквах, и общества мира в своих собраниях, и писатели в своих газетах и книгах, и представители правительства — в своих речах, тостах и всякого рода демонстрациях. Все говорят и пишут о мире, но никто не верит в него и не может верить, потому что те самые священники и пасторы, которые нынче проповедуют против войны, завтра благословляют знамена и пушки, приветствуют, восхваляя их начальников, войска; члены обществ мира, их ораторы и писатели против войны, как только им приходит черед, спокойно поступают в военное сословие и готовятся к убийству; императоры и короли, которые вчера торжественно уверяли всех людей, что они заботятся только о мире,— на другой же день упражняют свои войска в убийствах и хвастаются друг перед другом своими приготовленными и вооруженными к убийству скопищами, и потому раздающиеся среди этой всеобщей лжи голоса людей, которые действительно хотят мира и не на словах только, а и на деле показывают, что они точно хотят его, не могут не быть услышаны. Люди эти говорят: «Мы христиане и потому не можем согласиться быть убийцами. Вы можете убивать, мучить нас, но мы все-таки не будем убийцами, потому что это противно тому самому христианству, которое вы исповедуете».

Слова эти очень просты и до такой степени не новы, что странно кажется и повторять их, а между тем слова эти, сказанные в наше время и в тех условиях, в которых находятся духоборы, имеют большое значение. Слова эти вновь указывают миру на тот простой, несомненный и единственный способ установления действительного мира, который давно уже указан был Христом, но который так забыт людьми, что они со всех сторон ищут средств для установления мира, не прибегая только к одному, давно известному им способу, который так прост, что для применения его не надо предпринимать ничего нового, а нужно только не делать самому того самого, что мы всегда и для всех считаем дурным и постыдным: не быть покорными рабами людей, приготовляющих людей к убийству. Но кроме того, что способ этот прост, он еще и несомненен. Всякий способ установления мира может быть сомнителен, но только не тот, при котором люди, исповедующие христианство, признают то, в чем никогда никто не сомневался, что христианин не может быть убийцей. А стоит христианам признать то, что они не могут не признавать, и будет вечный ненарушимый мир между христианами. Но мало того, что способ прост и несомненен, он еще и единственный способ установления мира между христианами. Единственный он потому, что до тех пор, пока будут

РИСУНОК КОНСТАНТИНА МЕНЬЕ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ТОЛСТОМУ

Опубликован в журнале «La Plume» (Париж, 1901 г.)



христиане признавать для себя возможным участие в военной службе, до тех пор будут войска во власти правительств; а будут под властью правительства войска, будут и войны. Я знаю, что способ этот употреблялся уже давно: употреблялся он и древними христианами, казненными за это римлянами, и павликианами, и богомилами, и квакерами, и менонитами, и назаренами, но никогда не употреблялся этот способ так часто и, главное, так сознательно, как он употребляется теперь то в Австрии, то в Пруссии, то в Швейцарии, то теперь в Голландии, где даже пасторы проповедуют в церквах отказ от военной службы, то в России, где в продолжение трех лет, несмотря на все свои хитрости, коварства и жестокости, правительство не может сломить решимости небольшого населения людей, живущих христианскою жизнью.

Говорить то, что способ этот недействителен, потому что, несмотря на то, что он давно уже употребляется, а войны все-таки существовали, все равно, что говорить, что весною действие солнца недействительно, потому что не вся земля еще оттаяла и не распустились еще цветы.

Правда, что в Австрии назарены сидят по тюрьмам, отдельные лица, отказавшиеся от военной службы, замучены в дисциплинарных батальонах, и эти самые духоборы-мужчины сидят по тюрьмам, а семьи их вымирают от нужды в ссылке, и, казалось бы, торжество на стороне насилия. Но так же, как и весной, когда еще земля не оттаяла и цветы еще не распустились, уже видно, на чьей стороне победа, так же и здесь.

Духоборы смотрят на свое разорение, на нужду, заключения, ссылки, как на дело служения богу, и с гордостью и радостью несут это служение, не только ничего не скрывая и ничего не боясь, потому что хуже того, что с ними сделано, ничего нельзя, кроме смерти, которой они не боятся, сделать с ними.

Но не таково положение русского правительства. Если мы, обманутые правительством, не видим всего значения того, что делают духоборы, то оно-то ясно видит это; видит не только опасность, но безнадежность своего положения. Оно видит, что как только люди освобо-

дятся от того навождения, в котором они находятся, и поймут, что христианин не может быть воином, а этого они не могут не понять, если только услышат то, что сделали духоборы, так неизбежно надо будет правительству отречься или от христианства, а правительства властвуют во имя христианства, или отказаться от власти. И правительство по отношению к духоборам находится в отчаянном положении. Оставить их нельзя,— все другие сделают то же; уничтожить их, заключить навеки, как это делают с отдельными мешающими им лицами, тоже нельзя,— их слишком много; старики, жены, дети, все не только не отговаривают своих отцов. мужей, но поддерживают их в их решении. Что же делать?

И вот правительство старается тайно, разбойнически уничтожить этих людей и сделать их безвредными; мужчин, под величайшим секретом, запрещая общение с ними посторонним, держит в одиночных тюрьмах и ссылает в отдаленнейшие места Сибири среди якутов; семьи их тоже высылают к татарам, грузинам и никого не пускают к ним и запрещают печатать какие-либо сведения о духоборах, своим же клевретам заказывают печатать разные клеветы на них. Но все средства эти недействительны. Свет во тьме светит. Нельзя сразу стереть с лица земли население в 4 000 душ высоконравственных, внушающих к себе уважение всех, людей; если оно и вымрет в тех условиях, в коих поставлено, то вымирание это медленное и вымирание за исповедание истины среди других людей есть сильнейшая проповедь, и проповедь эта разносится все дальше и дальше. И правительство знает это и все-таки не может не делать того, что оно делает. Но уже чувствуется, на чьей стороне победа.

И вот это-то указание слабости насилия и могущества истины и есть великая в наше время заслуга духоборов в деле установления мира. И потому я полагаю, что никто более духоборов не послужил делу мира. Несчастные же условия, в которых находятся их семьи (подробности о которых можно узнать из статьи, напечатанной в «Humanitas») [1], делают то, что никому с большей справедливостью не могут быть присуждены те деньги, которые Нобель желал передать людям, наиболее других послужившим делу мира, как именно этим семьям духоборов.

Это нужно сделать, и сделать как можно скорей, потому что нужда духоборских семей увеличивается и увеличивается и к зиме дойдет до крайней степени. Если деньги эти будут присуждены духоборам, то они могут быть переданы прямо им в Тифлисе, или тем лицам, которые будут мною указаны.

Л. Толстой

Ясная Поляна. 29 августа 1897 г.

Эта статья, до сих пор в России не публиковавшаяся, была направлена Толстым редактору стокгольмской газеты «Tagblatt» со следующим сопроводительным письмом от 4 октября 1897 г. (публикуется впервые, перевод с французского):

Г. редактор!

Вы меня очень обязали бы, поместив прилагаемую статью в вашей газете. Эта статья была переведена на шведский язык одним очень талантливым молодым шведом *, который был у меня как-раз в то время, когда я писал эту статью. Если слог не очень гладкий, о чем я не в состоянии судить, не зная шведского языка, и если рукопись недостаточно чиста, то виной этому та спешность, с которой статья эта должна была быть написана и отослана. Надеюсь, что вы извините и то и другое и

* Вольдемар Ланглет; это он посоветовал мне обратиться в вашу газету.

напечатаете статью, если только найдете ее достаточно интересной для ваших читателей.

Примите, г. редактор, уверения в моем совершенном уважении.

Лев Толстой

Вы сделаете мне большую услугу, прислав мне номер вашей газеты, если статья в ней появится, вложив его в почтовый конверт, во избежание цензуры.

Статья Толстого в «Tagblatt» напечатана не была. Она появилась позднее в Швейцарии, в издававшейся П. И. Бирюковым газете «Свободная Мысль» («Pensée Libre»)[2].

В следующие годы (1898—1899) идеи всеобщего мира получают особую злободневность и остроту в связи с подготовкой и созывом в Гааге международной конференции.

Гаагская конференция созывалась в грозовой атмосфере лихорадочных германских сухопутных и морских вооружений, ожесточенной колониальной борьбы между Францией и Англией, на фоне испано-американской войны. Однако, ни одно из государств, как больших, так и малых, не посмело уклониться от участия в мирной конференции из боязни выступить в роли открытого нарушителя мира; взаимное недоверие и скептицизм прикрывались пышными фразами, произносившимися в противовес антимилитаристской пропаганде социалистов.

Вскоре после опубликования циркулярной ноты русского правительства от 12 (24) августа 1898 г., выступившего инициатором конференции, редакция газеты «New York World» обратилась к Толстому с телеграммой от 19 августа (1 сентября): «Поздравляем по поводу результатов вашей борьбы за всеобщий мир, достигнутых рескриптом царя. Будьте добры ответить. Ответ тридцать слов оплачен».

Толстой отвечал телеграммой (20—22 августа ст. ст.):

Следствием рескрипта будут слова. Всеобщий мир может быть достигнут только самоуважением и неповиновением государству, требующему податей и военной службы для организованного насилия и убийства.

Редакция «New York World» не удовлетворилась этим ответом и в начале 1899 г. повторила свой запрос. До настоящего времени сохранились четыре редакции ответа Толстого; приводим последнюю, повидимому, окончательную, редакцию:

Мой ответ на ваш вопрос тот, что мир никогда не может быть достигнут конференциями и может быть решен людьми, которые не только болтают, но которые сами идут на войну.

Этот вопрос разрешен 1900 лет тому назад учением Христа так, как оно им понималось, а не так, как оно было искажено церквами.

Все конференции могут быть выражены одним изречением: все люди сыны божии и братья и потому должны любить, а не убивать друг друга. Извините мою резкость, но все эти конференции вызывают во мне сильное чувство отвращения за лицемерие, столь в них явное. [В одной из первоначальных редакций стояло: «Гаагская мирная конференция есть только отвратительное проявление христианского лицемерия».]

9 сентября н. ст. 1898 г. редакция журнала «Les Droits de l'Homme» прислала Толстому для заполнения анкету по поводу «царского рескрипта», оставленную Толстым без ответа.

В конце того же года Г. Меландер (Henning Melander) от имени группы шведской интеллигенции обратился к Толстому с пространным письмом, в котором излагалась история отказов от военной службы по религиозным убеждениям в Швеции и других странах и выражалось пожелание, чтобы предстоящая мирная конференция включила в повестку своих заседаний рассмотрение вопроса об освобождении от военной службы лиц, отказывающихся по религиозным убеждениям, с заменой для них

военной службы общеполезными работами (сооружение железнодорожных путей, осушение болот и пр.). Полагая, что, вследствие положительного разрешения этого вопроса на конференции, подобные отказы от военной службы участятся и, таким образом, современные армии солдат постепенно обратятся в гражданские армии рабочих, авторы заявления утверждали, что «возбуждение этого вопроса не может быть более своевременным, чем теперь, когда правительственные представители великих культурных стран должны собраться, чтобы изыскивать средства для уменьшения бедствий войны». В заключение авторы заявления писали: «Впрочем, никто, многоуважаемый граф, не может понимать этого глубже вас, судя по вашим сочинениям, а потому мы почтительнейше просим вас обратить на это внимание царя или его министров, а также и публики. Выражая вам глубочайшее уважение, имеем честь почтительнейше подписаться». Далее следовали многочисленные подписи, среди которых значились имена четырех членов рейхстага, двух профессоров, журналистов, пасторов, врачей, учителей и пр.

Толстой ответил на это обширным письмом от 9 января 1899 г., в котором писал: «Мысль ваша о том, что всеобщее разоружение может быть достигнуто самым верным и легким путем посредством отказа отдельных лиц от участия в военной службе, совершенно справедлива». Однако, признавая верной основную идею авторов письма, Толстой вскрывал всю иллюзорность тех надежд и упований, с которыми шведская интеллигенция смотрела на предстоящую конференцию европейских держав. «Мне кажется,— писал Толстой,— что предложение на рассмотрение конференции, как вы это предлагаете, вопроса о замене воинской повинности полезным трудом для людей, не согласных убивать своего ближнего, совершенно неуместно. Такое предложение может иметь только одно благое последствие, именно то, что оно явно обличит пустоту, праздность и лицемерие конференций. Конференция не может иначе отнестись, как отрицательно, к таким предложениям и никогда не допустит того, чтобы люди могли безнаказанно отказываться от исполнения воинской повинности, потому что такой отказ подрывает в ее основании власть правительства и даже смысл его существования».

С характерным для его изложения юмором и склонностью к художественной аналогии, Толстой вспоминает, как в Севастополе к генералу Сакену явился офицер, князь Урусов, один из лучших шахматных игроков того времени, и предложил, во избежание бессмысленного кровопролития, вызвать из неприятельского стана лучшего шахматиста и сыграть с ним партию на траншею 5-го бастиона, переходившую из рук в руки и стоившую многих жизней. Несмотря на всю логичность предложения Урусова, замечает Толстой, генерал Сакен не согласился на него; точно так же ни одно правительство, посылающее своих представителей на мирную конференцию, никогда не согласится на замену воинской повинности какими бы то ни было «полезными работами».

Черновик ответа группе шведской интеллигенции в дальнейшем был переработан Толстым в особую статью, известную под названием «Письмо к шведам» и напечатанную в иностранных газетах и в «Листках Свободного Слова», издававшихся в Лондоне В. Г. Чертковым.

Заседания мирной конференции в Гааге начались 18 мая и продолжались до 29 июля 1899 г. В результате двухмесячных прений и лицемерной дипломатической игры был принят ряд конвенций и деклараций, установивших правила ведения войны. Вопрос о сокращении вооружений был единодушно отклонен; вопрос о разоружении конференцию не интересовал вовсе. Надежды европейской интеллигенции на прекраснодушные решения представителей правительств «великих культурных стран» разбились впрах.

В дневнике от 13 марта 1900 г. Толстой записывает: «Теперешнее положение, особенно Гаагская конференция показали, что ждать от высших властей нечего и что распутывание этого ужасного губительного положения если возможно, то только усилием частных отдельных лиц». Не доверяя искренности пацифистских стремлений правительств буржуазных европейских стран, Толстой недооценивал в то же время растущую мощь пролетариата с его организованными методами борьбы за мир. Свои надежды Толстой возлагал на индивидуальные и анархические выступления как снизу, в форме отказов от военной службы, так и сверху, из среды господствующего класса, в форме частных начинаний благотворительного характера. Именно поэтому

он положительно относился к пацифистской деятельности немецкой писательницы гр. Берты фон-Зутнер, автора нашумевшего романа «Die Waffen nieder».

В 90-х годах Зутнер состояла председательницей основанного ею в Австрии Общества друзей мира, почетной председательницей Бернского международного бюро мира и издавала в Дрездене пацифистский журнал, одноименный с ее романом [3]. 8 декабря 1895 г. Зутнер обратилась к Толстому с письмом, в котором «заклинала» его прислать телеграмму на годичное собрание Общества друзей мира к 18 декабря того же года. «Все, что содействует блеску наших собраний, — писала она, — способствует также нашей силе и нашему мужеству и приближает нас к цели». Толстой отвечал ей письмом [4]:

Chère Baronne,

Je vous suis très reconnaissant pour votre bonne lettre et les sentiments que vous avez pour moi. Je ne cesse pas de suivre avec le plus grand intérêt votre oeuvre. Et quoique convaincu que le but que vous tâchez d'atteindre sera atteint par d'autres moyens que ceux que vous protégez: les conférences et les sociétés de paix, j'admire votre persévérance et votre énergie. Dans tous les cas vos travaux et surtout votre grand roman ont produit une grande influence sur l'opinion publique et vous pouvez vous dire qu'en quittant ce monde vous l'avez rendu un peu meilleur qu'il n'a été.

Je crois que c'est la meilleure récompense qu'on peut mériter dans ce monde et je voudrais l'avoir et vous félicite de la posséder.

Recevez chère Baronne l'assurance de mes sentiments les plus distingués

Léon Tolstoy

25 Août 1901.

ЧЕРНОВИК ПИСЬМА Л. Н. ТОЛСТОГО БЕРТЕ ФОН-ЗУТНЕР, ДАТИРОВАННЫЙ 25 АВГУСТА 1901 г.

Толстовский музей, Москва

Madame, я получил ваше письмо слишком поздно, чтобы успеть послать телеграмму, и очень сожалею об этой проволочке, лишившей меня удовольствия исполнить ваше желание и случая засвидетельствовать вам мое глубокое уважение к вашим трудам, а также к деятельности Общества мира.

Примите, madame, выражение моего совершенного уважения.

Л. Толстой

Через два года, в январе 1898 г., Зутнер снова обратилась к Толстому:

Дорогой и уважаемый учитель. У пацифистов, организованных во всех странах, годовой праздник. Как рабочие празднуют 1 мая, так мы празднуем 22 февраля. Во всех городах будут происходить собрания и обмен мнениями. Я была бы счастлива

при этом случае иметь возможность прочитывать на собраниях и сообщить в журнале несколько строк Толстого. Убедительно прошу вас оказать мне эту милость.

С уважением Берта фон-Зутнер

Толстой отвечал письмом (январь — февраль 1898 г.), в котором писал:

«Одно только я хотел бы сообщить друзьям мира, следовательно, нашим друзьям, что единственное средство достигнуть цели, которую мы преследуем, состоит в том, чтобы не принимать никакого участия, даже самого отдаленного, во всем, имеющем какое бы то ни было отношение к войне; и что самое действительное средство продолжать настоящий порядок вещей состоит в компромиссах со своей совестью и в уверенности, что наши речи и наши писания могут произвести какое-либо действие, если наши поступки им не соответствуют. Освобождение людей от военного рабства не может исходить ни от коронованных особ, ни от писателей, а от людей духовной жизни, которые должны привести всю жизнь в соответствие со своей совестью. Но это будет только тогда, когда люди сознают свое человеческое достоинство, что возможно только при верном понимании религиозной жизни. Милитаризм — только симптом болезни. Если болезнь (отсутствие религии или ложная религия) исчезнет, вместе с другим исчезнет и милитаризм».

Зутнер ответила Толстому письмом от 27 февраля:

«Дорогой и почитаемый учитель.

Горячо благодарю вас за ваше драгоценное письмо, которым вы меня почтили. Урок, содержащийся в нем, принесет плоды. Ужасное дело удушения правосудия к вящшей славе божества «Милитаризм», которое происходит сейчас во Франции, еще раз доказывает, насколько вы правы, бичуя этот так называемый «патриотизм», во имя которого совершаются и оправдываются все насилия, вся ложь и все убийства».

Поборница всеобщего мира в своем письме не утерпела, чтобы не задеть ненавистную Францию, намекая, повидимому, на разбиравшееся в то время дело Дрейфуса и усматривая именно во Франции главный очаг всех ужасов милитаризма.

В 1901 г., в письме от 14 августа н. ст., Зутнер выражала радость по случаю выздоровления Толстого после продолжительной болезни, за ходом которой она следила по газетам «с невыразимой тревогой». Толстой отвечал письмом от 15 (28) августа:

Дорогая баронесса. Очень вам благодарен за ваше доброе письмо. Мне было чрезвычайно приятно узнать, что вы сохраняете обо мне хорошее воспоминание.

Рискуя надоесть вам повторением того, что я говорил много раз в своих писаниях и о чем, мне кажется, я вам писал, не могу воздержаться, чтобы не сказать вам еще раз, что, чем дольше я живу и чем больше думаю над вопросом о войне, тем больше я убеждаюсь, что единственное решение вопроса — это отказ граждан быть солдатами. До тех пор, пока каждый человек в возрасте 20 — 21 года будет отказываться от своей религии — не только от христианства, но и от заповедей Моисея: не убий, и пока будет обещать убивать всех тех, кого ему прикажет убить его начальник, даже своих братьев и родителей, как говорит при всяком случае этот болтливый и жестокий идиот, называемый германским императором [5], — до тех пор не прекратится война и будет становиться все более и более жестокой — такой, какой она делается в наше время.

Для того, чтобы не было войны, не надо ни конференций, ни обществ мира, а нужно только одно: восстановление истинной религии и, как следствие этого, восстановление достоинства человека.

Если бы самая малая часть энергии, которая тратится сейчас на статьи и на речи на конференциях и в обществах мира, была употреблена в школах и среди народа, чтобы уничтожить ложную религию и распространить истинную, — войны скоро стали бы невозможными.

Ваша превосходная книга произвела огромное действие в смысле популяризации ужаса войны. Теперь следовало бы показать людям, что они сами производят все зло войны, повинуясь людям больше, чем богу. Позволяю себе посоветовать вам посвятить себя этой работе, которая представляет единственное средство достигнуть той цели, которую вы преследуете.

Принося извинения за смелость, которую я беру на себя, прошу вас, сударыня, принять уверения в моем совершенном почтении и уважении.

Лев Толстой

Через шесть лет Зутнер еще раз обратилась к Толстому. В письме от 10 октября н. ст. 1907 г. она писала:

«Дорогой и великий учитель. Я только-что прочла вашу статью «Не убий». Увы, вот уже шесть тысяч лет, как не могут понять этой простой заповеди. Однако, слова таких людей, как вы, слова убедительные и настойчивые, не могут не проникать в человеческие умы. Помните ли вы меня хоть немного, дорогой учитель? Взгляните на подпись и вспомните мой призыв «Долой оружие», который, к сожалению, не дошел до слуха многих. Я продолжаю и теперь писать книги, статьи и т. п. Изредка меня подкрепляют сочувствие и понимание. Чувствую, что торжество правды приближается. Хочу выпустить один номер «La Paix» (иллюстрированным), в котором будут помещены статьи наших великих современников, тех, кто ведет за собой человечество. Напишите или продиктуйте, пожалуйста, хоть несколько строчек для этого номера. Очень прошу вас об этом. Форма безразлична. Пусть это будет просто ответом на мое письмо. Я часто думаю о вас, особенно за последние годы, которые принесли столько тяжелых бедствий вашей стране; я думаю о том, что должны были вы пережить».

Толстой отвечал письмом от 20 октября (7 октября ст.ст.):

Милостивая государыня. Чем старше я становлюсь, тем более убеждаюсь, что в деле, которому вы служите, час торжества постепенно приближается. Русская революция есть лишь частичное и дурное проявление великой внутренней всеобщей революции, которая происходит в идеях, руководящих христианским миром. Я чувствую приближение этой великой революции, которая должна будет переменить правительства у народов, а также их внешние отношения. Перемена эта, естественно, предполагает упразднение или, правильнее, невозможность не только войны, но и всякого вида насилия. Если у меня будет время и возможность написать что-либо достойное появления в вашем сборнике, то я с удовольствием пошлю это вам.

Примите, милостивая государыня, уверения в моем совершенном уважении.

Л. Т.

Толстой вступает в переписку и с другими подобного же рода поборниками мира из буржуазного общества: с французскими писателями Луи Форе и Каном, авторами книги «Vers la paix»; с голландским пастором Людвигом Велером, привлекавшимся к суду за публичные выступления в Амстердаме на тему о несовместимости христианства с военной службой; с Вандервером, издателем антимилитаристской голландской газеты «Vrede», в которой время от времени печатались статьи и отрывки из писем и дневников Толстого, в немецком переводе его друга Шкарвана, и с многими другими.

С конца 90-х годов пацифизм сделался модным течением в Европе. Министры и дипломаты, пасторы и журналисты, поэты и дамы-филантропки организовывали общества, произносили речи и издавали специальные журналы под звон растущих вооружений и ожесточенной борьбы за колонии.

В 1900 г. в Париже открылся десятый международный мирный конгресс. Комитет конгресса обратился к Толстому с циркулярным письмом от 5 февраля н. ст.:

Организационным комитетом десятого международного мирного конгресса на нас возложена приятная обязанность просить вас принять участие в попечительном комитете конгресса. Как вы, быть может, уже знаете, этот конгресс будет иметь место в Париже, во дворце конгрессов всемирной выставки, с 30 сентября по 5 октября 1900 года. Проведение этой манифестации в пользу мира в конце выставки будет до некоторой степени венчанием и логическим завершением праздника Труда и Мира, на который Париж созывает весь мир. Очень важно, следовательно, чтобы мы сделали его возможно внушительнее по количеству и значительности делегатов всех наций, принимающих участие в выставке. Исходя из этой мысли, организационный комитет решил поставить его под покровительство лиц, оказавших наиболее крупные заслуги идее мира. В надежде, что вы согласитесь оказать нам поддержку вашим именем, мы просим вас, милостивый государь, принять уверение в нашем почтительнейшем уважении.

Письмо было подписано председателем комитета Фредериком Пасси. На оборотной стороне письма сохранился черновик ответа Толстого, написанный на французском языке неизвестной рукой:

«Madame (?), несмотря на мое искреннее желание принять участие в деле, которому вы служите, болезнь, от которой я недавно стал оправляться, не позволяет мне утомлять себя дальним путешествием и участием в заседаниях конгресса. Из своего уединения, где мне хочется закончить предпринятую работу, шлю пожелания, чтобы всемирный конгресс 1900 года двинул вперед идею братства и мира».

Этот ответ был написан, повидимому, по устному распоряжению Толстого, с трудом оправлявшегося в то время от продолжительной болезни и не принимавшего участия в его редакции.

Однако, через несколько лет другой конгресс мира — в Стокгольме — глубоко затронул Толстого и творчески и биографически.

В июле 1909 г. президент восемнадцатого мирного конгресса, назначенного в августе в Стокгольме, прислал Толстому письмо, в котором извещал его об избрании почетным членом конгресса и приглашал приехать на конгресс (автограф письма не сохранился). Неожиданно для окружающих и для самих организаторов конгресса Толстой решил принять приглашение. «Решил ехать в Штокгольм»[6],— записывает он в дневнике от 11 июля. Секретарь Толстого, Н. Н. Гусев, вспоминает: «Я поеду,— сказал мне Л. Н.— Мне хочется там ясно выяснить эту несовместимость христианства с военной службой». Сегодня же Л. Н. продиктовал мне письмо президенту конгресса, в котором говорит, что если только он будет иметь силы, то постарается сам быть на конгрессе; если же нет, то пришлет то, что хотел бы сказать»[7]. Толстой писал 12 (25) июля:

Господин президент,

Вопрос, который подлежит обсуждению конгресса, чрезвычайно важен и интересует меня в течение уже многих лет. Я постараюсь воспользоваться честью, которую мне оказали моим избранием, изложив то, что имею сказать по данному вопросу, перед столь исключительной аудиторией, как та, которая соберется на конгресс. Если силы мне позволят, я сделаю все возможное, чтобы прибыть в Стокгольм к назначенному сроку; если же нет, я пришлю вам то, что хотел бы сказать, в надежде, что члены конгресса пожелают ознакомиться с моим мнением.

Примите, м[илостивый] г[осударь], уверения в моем совершенном уважении.

Немедленно Толстой принялся за составление доклада; 14 июля он набрасывает в дневнике его программу:

«К Штокгольму: начать с того, чтобы прочесть статью, а потом новые письма отказывающихся, потом сказать, что все, что говорилось здесь, очень хорошо, но похоже на то, что мы, имея каждый ключ для отпора дверей той палаты, в которую хотим взойти, просим тех, кто спрятались от нас за непроницаемой дверью, отворить ее, а ключа не прилагаем к делу и учим этому и других. Главное, сказать, что корень всего — солдатство. Если мы берем и учим солдат убийству, то мы отрицаем все, что мы можем сказать в пользу мира. Надо сказать всю правду: разве можно говорить о мире в столицах королей, императоров, главных начальников войск, которых мы

ИЗ ИЛЛЮСТРАЦИЙ К ПРОИЗВЕДЕНИЯМ ТОЛСТОГО

Рисунок Теодора Брюна (немецкое издание пяти народных рассказов Толстого)

уважаем так же, как французы уважают M-r de Paris *. Перестанем лгать — и нас сейчас выгонят оттуда. Мы выражаем величайшее уважение начальникам солдатства, т. е. тех обманутых людей, которые нужны не столько для внешних врагов, сколько для удержания в покорности тех, кого мы насилуем».

20 июля 1909 г. Толстой записал в дневнике:

«Сейчас для Штокгольма перечитывал и письмо к шведам и «Царство божие» [8]. Все как будто сказано. Не знаю, что еще скажу. Кое-что думаю, что можно и должно. Видно будет. Читая же эти свои старые писанья, убедился, что теперешние мои писания хуже, слабее. И, слава богу, не огорчался этим. Напротив: буду воздерживаться от писания». 23 июля: «Диктовал заявление в конгресс мира (плохо очень)». 25 июля: «Потом начал писать для конгресса мира. Лучше, но слабо». 30 июля Толстой отмечает, что «закончил статью на конгресс». Однако, 1 августа он записывает: «Вечером прочел вслух речь конгрессу — нехорошо. Нынче поправил. Лучше». 5 августа: «Вчера,

* Палача.

4-го, поправлял конгресс и, кажется, почти хорошо». В письме к В. Г. Черткову от 2 августа Толстой писал: «Я готовлю свой доклад, которым все недоволен». Согласно дневниковым записям, Толстой начал работу над докладом 14 июля и закончил ее в основном 30 июля, т. е. работал в течение двух недель. Несмотря на спешность работы, сохранилось значительное количество черновых рукописей, сопоставление которых с окончательным текстом доклада обнаруживает, что Толстой старался смягчать резкость первоначальных редакций. Так, например, вычеркнут следующий абзац:

«Человек молодой, здоровый, умный, свободный, ничем к этому не принуждаемый, из всех честных, чистых предстоящих ему деятельностей избирает военную и в знак своей принадлежности к этой профессии одевается в странную, пеструю одежду, навешивает себе через плечо орудие убийства и гордится этими знаками своей профессии (вроде того, как если бы палач в виде украшения носил бы на себе небольшую виселицу в знак своей деятельности и гордился бы этим). Вся жизнь такого человека проходит в приготовлениях к убийству, в обучении убийству, в самых убийствах, и чем больше его участие в этих делах, тем он больше гордится, вроде того как во Франции гордится M-r de Paris своей должностью, и тем выше он поднимается в общественном мнении. Так это теперь. Но сознай люди ту простую истину, которую они все знают, но которая так скрыта от них, что не решаются высказать ее и следовать ей, и тотчас же все изменяется. Только признай люди то, чего нельзя не признать, что убийство всегда убийство и гадкое дело и что поэтому военное дело, все посвященное убийству, не может не быть дурным и позорным и что поэтому лучше всякая самая тяжелая и грязная работа, чем деятельность, которая состоит только в приготовлении, поощрении и распоряжении убийствами».

Как только был закончен доклад, Толстой начал переводить его на французский язык, так как именно на этом языке он предполагал произносить доклад в Стокгольме. «Вчера переводил конгресс»,— записывает он в дневнике 1 августа. 2 августа Д. П. Маковицкий записывает в своем дневнике: «Днем Л. Н. переводил по-французски и дополнял свой доклад «Съезду мира» в Стокгольме. Вечером просил Ивана Васильевича Денисенко помочь ему переводить». 4 августа была получена телеграмма о том, что конгресс откладывается, и перевод доклада остался незаконченным. Сличение его с русским текстом показывает, что только первые абзацы доклада Толстой переводил с известной точностью; вскоре же перевод его обратился в самостоятельную творческую работу на французском языке, текстуально отличную от русского подлинника, некоторые абзацы которой представляют собой возвращение к первоначальной, резкой по форме, редакции. Например:

«L'homme est à la maison et est occupé à ses affaires. On vient chez lui et on lui dit: voilà un fusil, prend le et va tuer l'omme que je te désignerai. Parmi mille hommes il est douteux que puisse se trouver un seul qui sous les plus terribles menaces puisse consentur à commettre ce meurtre. Mais ce même homme est incorporé dans un régiment. On l'habille comme des milliers d'hommes qui sont dans les mêmes conditions, on le fait marcher, courir, sauter au çable, et aprés des mois, un an peut-être, l'homme est préparé à faire tout ce qu'on exigera de lui: il tuera tous ceux qu'on lui ordonnera de tuer. Voilà la superstition, la tromperie, la suggestion que nous devons détruire».

Перевод:

Человек дома и занят своими делами. К нему приходят и говорят вот тебе ружье, иди и убей того человека, на которого я тебе укажу. Сомнительно, чтобы нашелся один из тысячи, который под самыми страшными угрозами согласился совершить подобное убийство. Но тот же человек введен в состав полка. Его одевают, как тысячи людей, находящихся в тех же условиях, его заставляют ходить, бегать, прыгать через веревку, и, спустя несколько месяцев, может быть, год, человек этот готов исполнять все, чего от него потребуют, и убивать всех кого ему прикажут убивать. И вот это-то суеверие, обман и внушение мы должны уничтожить.

Между тем, известие о решении Толстого принять личное участие в работах мирного конгресса в Стокгольме и слухи о новой статье, написанной им с этой целью, распространились с чрезвычайной быстротой и в России и в Европе. Специальный

корреспондент газеты «Русское Слово» С. Спиро был немедленно откомандирован в Ясную Поляну для получения на этот предмет точных сведений. Толстой подтвердил ему свое решение: «Это верно. Я получил от них приглашение приехать и избран ими почетным членом съезда. Доклад я пишу сейчас и еще его не закончил». Далее он сказал: «Если бы мой доклад был закончен, я бы дал его вашей газете, но вряд ли он мог бы быть у вас напечатан по цензурным условиям»[9]. Однако, слухи о содержании доклада Толстого проникли в печать и произвели сенсацию.

В Стокгольме переполошились. Восхваления по адресу великого русского писателя, разговоры о присуждении ему нобелевской премии, подготовка к его торжественной встрече прикрывали собой крайнюю тревогу и страх за то, как бы беспокойный гость своим выступлением не нарушил благопристойного течения конгресса.

Решение Толстого о поездке в Стокгольм, возбудившее волнение в Европе, вызвало, вместе с тем, семейную драму в Ясной Поляне. Д. П. Маковицкий в своем неопубликованном дневнике 9 июля записывает: «После обеда Л. Н. сказал Софье Андреевне, что намеревается поехать в Стокгольм. Софья Андреевна отговаривала его с точки зрения его высокого возраста, трудности перенесения мореплавания. Потом отнеслась двойственно и сама хочет ехать в Швецию. Вечером с Софьей Андреевной истерика: заперлась в комнату, никого не впускает, боялись, что отравилась». Художник И. К. Пархоменко, гостивший в Ясной Поляне с 19 по 21 июля, в своих воспоминаниях пишет: «Софья Андреевна поделилась со мной своей тревогой по поводу намерения Льва Николаевича отправиться в Стокгольм на конгресс мира:

— Не знаю, как его и отговорить. Ведь плыть туда надо от Либавы, так как в Петербурге теперь холера и требуется от всех, кто едет в Швецию через Петербург, чтобы они выдержали на судне девятидневный карантин. Главное, чего я боюсь, так это качки,— он ее не переносит»[10].

И. К. Пархоменко отмечает тяжелую атмосферу, царившую в семье в связи с настроением Софьи Андреевны. Наконец на исходе месяца разразилась буря. «После обеда заговорил о поездке в Швецию,— записал Толстой в дневнике от 26 июля.— Поднялась страшная истерическая раздраженность. Хотела отравиться морфином, я вырвал из рук и бросил под лестницу. Я боролся. Но, когда лег в постель, спокойно обдумал, решил отказаться от поездки. Пошел и сказал ей. Она жалка, истинно жалею ее». Настоящей причиной оппозиции Софьи Андреевны были не столько страхи за здоровье мужа, сколько, повидимому, опасения потерять его лично для себя. Решение Толстого покинуть Ясную Поляну крепло с каждым днем, и незадолго перед тем им совершена была одна из попыток к уходу. Софья Андреевна понимала, что, раз вырвавшись из-под ее опеки, он может, воспользовавшись благоприятным случаем, уже не возвратиться в Ясную Поляну. И потому, добившись от Толстого отказа от поездки, она тотчас же предложила другой вариант, по существу не менее угрожавший его здоровью,— совместную поездку в Стокгольм.

«Пришла С. А.,— пишет Толстой в дневнике от 2 августа,— объявила, что она поедет, но все это, наверное, кончится смертью того или другого и бесчисленные трудности. Так что я никак уже в таких условиях не поеду». «С. А. готовится к Штокгольму и, как только заговорит о нем, приходит в отчаяние. На мое предложение не ехать не обращается никакого внимания. Одно спасение: жить в настоящем и молчание». Проект совместной с женой поездки в Стокгольм Толстой считал, повидимому, нереальным и относился к нему отчасти юмористически. 2 августа, вечером, Д. П. Маковицкий записал: «Софье Андреевне [Толстой] предложил прочесть доклад на заседании съезда. Сказал, что ей не будут грубо отвечать и кому же пристойнее, как не ей, жене? Софья Андреевна [сказала], что для того надо хорошо одеться. Смех со стороны женщин и крик, как проявляется женщина в Софье Андреевне». Однако, «в 11 часов ночи уехала Марья Алексеевна [Маклакова] в Москву, за деньгами и туалетами для Софьи Андреевны на дорогу».

Неизвестно, как разрешилась бы сложная семейная ситуация в Ясной Поляне, если бы 4 августа не было получено известие о том, что конгресс отложен на 1910 г., вследствие забастовки рабочих в Швеции. Некоторые газеты высказывали предположение, что одной из причин отсрочки конгресса явились опасения, вызванные пред-

стоящим докладом Толстого и его появлением на конгрессе. Эти соображения газет разделял сам Толстой. Д. П. Маковицкий записал слова Толстого по этому поводу: «Я думаю, — это нескромно с моей стороны, — что в том, что конгресс отложен, сыграла роль не одна забастовка рабочих в Швеции, но и мое письмо и статья в газеты[11]. «Как нам быть с ним? Прогнать нельзя» — и отложили конгресс» (запись от 6 августа).

Незадолго перед тем концертная дирекция Жюль Закса (Concert-Direction Jules Sachs), устраивавшая в Берлине доклады видных общественных и научных деятелей, в письме от 17 августа н. ст. обратилась к Толстому с предложением приехать из Стокгольма в Берлин и там прочитать свой доклад, написанный для мирного конгресса, гарантируя ему полную свободу слова. Дирекция Жюль Закса предполагала устроить в Берлине десять вечеров с докладом Толстого и предлагала ему на благотворительные цели по 5000 франков за выступление. Толстой продиктовал Д. П. Маковицкому ответ, переведенный последним на немецкий язык:

Так как конгресс отложен и я приготовил доклад, который хотел сделать бы известным, я рад воспользоваться вашим приглашением, хотя приехать не сам, а попросить одного из моих друзей и единомышленников прочесть его в вашем собрании.

Дирекция телеграммой от 31 августа н. ст. ответила согласием. Одновременно с этим она широко оповестила, через органы печати, берлинскую публику о приезде Толстого. В связи с этим редакция газеты «Morgen Post» телеграфно запросила Толстого, соответствуют ли действительности сообщения Жюль Закса. Толстой ответил телеграммой:

Не могу приехать лично в Берлин. Поручаю одному другу прочесть в зале собрания Закс мою речь, приготовленную для конгресса мира в Стокгольме.

Рукопись доклада Толстой отправил своему другу Шкарвану для перевода на немецкий язык. Его же Толстой просил войти в переговоры с немецким религиозным писателем Евгением Шмиттом, которому хотел поручить чтение своего доклада. Шкарван в письме от 2 сентября н. ст., сообщая о различных затруднениях, возникающих в связи с заместительством, просил Толстого приехать лично в Берлин для чтения доклада. «О моем чтении статьи не может быть и речи, — отвечал Толстой в письме от 26 августа ст. ст. — Я слишком слаб, и потом статья слишком ничтожна, и мне неприятно, что Sachs делает такой fuss из этого». В письме к В. Г. Черткову от 31 августа и. ст. он писал: «В Берлине хотят прочесть мой доклад штокгольмский и делают или хотят сделать из этого особенный шум. И мне это неприятно. Я думаю, что доклад этот не стоит того». Е. Шмитт в письме от 6 сентября н. ст. выражал готовность прочесть доклад Толстого и просил его лично подтвердить ему свое желание. Толстой отвечал ему 11 сентября н. ст.:

Дорогой друг,

Я вам очень благодарен за готовность и настоящим прошу вас прочесть в Берлине мой доклад, предназначенный для Стокгольмской мирной конференции. Я не писал вам об этом в предыдущем письме потому, что хотел раньше узнать ваш ответ Шкарвану.

Ваш друг Лев Толстой

Однако, уже в следующем письме, от 24 сентября н. ст., Е. Шмитт извещал Толстого, что начальник берлинской полиции не разрешает чтения доклада без предварительной цензуры в том случае, если он не будет читаться лично Толстым. Полиция затребовала от дирекции рукопись доклада для просмотра на предмет смягчения и удаления неприемлемых с ее точки зрения мест. Дирекция, через Шмитта, запрашивала у Толстого разрешения на посылку в полицию рукописи. Толстой ответил письмом от 5 октября н. ст.:

«Дорогой друг,

К сожалению, я не могу согласиться на предложение Закса. Я желаю, чтобы моя речь была или оглашена целиком, без купюр и изменений, или совсем не опубликовывалась. Передайте это Заксу и извините меня, пожалуйста, что я доставляю вам так много бесполезных хлопот».

Чтение доклада в Берлине не состоялось. Несколько позднее доклад этот, с разрешения Толстого, был прочтен (на французском языке) Н. Н. Ге на антимилитаристском конгрессе в Биенне в Швейцарии, а затем напечатан в журнале «La Voix du Peuple» и в переводе на немецкий язык — в журнале «Der Sozialist», Bern, 1909, № 20. Председатель студенческого союза в Гельсингфорсе, А. Никула, в письме от 4 октября 1909 г. просил у Толстого разрешения на перевод этого доклада на финский язык. «Наш студенческий союз,— писал Никула,— разделяет идеи полного мира и был бы очень благодарен, если бы вы предоставили ему честь перевести и выпустить ваш доклад тотчас после того, как ваш друг Шмитт прочтет его в Берлине». «Чтение доклада в Берлине,— отвечал Толстой,— отменено вследствие препятствия со стороны полиции. Доклад же будет напечатан одновременно на разных языках. Очень рад буду, если он появится и по-фински».

Лично своим докладом Толстой не воспользовался, и, когда в июне 1910 г. Толстой получил новое приглашение на конгресс в Стокгольме, он ответил кратким и учтивым отказом. Доктор словесности Ж. Бергман, секретарь организационного комитета конгресса, писал:

«Г. граф, по распоряжению организационного комитета международного мирного конгресса, созываемого на 1—6 будущего августа, имею высокую честь пригласить вас, г. граф, принять участие в этом конгрессе. Все расходы по вашему путешествию

ЧЕРНОВИК ПИСЬМА Л. Н. ТОЛСТОГО К ДЖОНУ ИСТАМУ ОТ 10 АПРЕЛЯ 1910 г.

Толстовский музей, Москва

мы берем на свой счет и выражаем надежду, что вы пожелаете прибыть и на этот год, точно так же, как имели это намерение в 1909 году». Приглашение это повторил и председатель организационного комитета барон Карл Карлсон Бонд.

В тот же день Толстой ответил обоим лицам кратким письмом одинакового содержания:

М[илостивый] г[осударь],

Состояние моего здоровья не позволит мне предпринять путешествие в Стокгольм и потому с истинным сожалением я не могу воспользоваться вашим любезным приглашением. Все же надеюсь, если мне удастся, представить Стокгольмскому конгрессу доклад по вопросу о мире.

Во всяком случае, прошу вас, м[илостивый] г[осударь], принять уверения в моем искреннем уважении.

Лев Толстой

В связи с этой перепиской Толстой снова обращается к своему прошлогоднему докладу и, не перерабатывая его, пишет особую статью в виде добавления к нему, о которой упоминает в дневнике от 19 июля: «Писал ядовитую статью в конгресс мира». Статья не была закончена Толстым и на конгресс не посылалась.

Начало этой незаконченной статьи заключает в себе не только «ядовитость», но и много личной горечи, явившейся в результате целого ряда неудачных попыток апелляции не только к правительствам, но и к «просвещенному» буржуазному обществу Европы:

«Вы желаете, чтобы я участвовал в вашем собрании. Я как умел выразил мой взгляд на вопрос о мире в том докладе, который я приготовил для прошлогоднего конгресса. Доклад этот послан. Боюсь, однако, что доклад этот не удовлетворит требованиям высокопросвещенных лиц, собравшихся на конгрессе. Не удовлетворит потому, что, сколько я мог заметить, на всех конгрессах мира мои взгляды, и не мои личные, а взгляды всех религиозных людей мира на этот вопрос, считаются под названием неопределенного нового слова антимилитаризма исключительным, случайным проявлением личных желаний и свойств некоторых людей и потому не имеющим серьезного значения».

Заканчивается статья краткой формулировкой основного тезиса Толстого:

«...Нужны нам не союзы, не конгрессы, устраиваемые императорами и королями, главными начальниками войск, не рассуждения на этих конгрессах об устройстве жизни других людей, а только одно: исполнить в жизни тот известный нам и признаваемый нами закон любви к богу и ближнему, который ни в каком случае не совместим с готовностью к убийству и самое убийство ближнего».

Этот тезис, установленный и разработанный Толстым с различной аргументацией во всех его высказываниях по вопросу европейского мира, с особенной яркостью и полнотой выражен в неопубликованном его письме к Джону Истаму, не отправленном адресату и сохранившемся в черновике. История его такова.

В апреле 1910 г. Толстой получил от действительного секретаря «Первого всеобщего конгресса рас» Джона Истама циркулярное обращение:

М[илостивый] г[осударь],

При сем прилагаем номера «Ontline» и «Launch». Мы будем очень рады, если вы сможете присутствовать на митинге в гостинице «Cecil» в Лондоне 18 следующего месяца. Но если это невыполнимо, то мы будем очень благодарны, если вы пришлете нам несколько слов сочувствия для прочтения на собрании. Этот призыв к третейскому суду и миру должен был бы исходить от людей, стоящих за мир во всех странах. Джон Истам.

К письму прилагался печатный проспект «Первого всеобщего конгресса рас», открытие которого предполагалось в июле 1911 г. Обращение Д. Истама, весьма трафаретное по существу, вызвало чувство негодования у Толстого, еще недавно относившегося поощрительно к начинаниям подобного рода. Он написал исключительное по резкости и силе ответное письмо Д. Истаму (от 15 апреля 1910 г.):

Получил ваш призыв прибыть или прислать слова поощрения и купон для ответа. Прочел ваш план и не только не могу удержаться от желания высказать вам вызванные во мне чувства вашим призывом, не только не могу удержаться, но считаю своим долгом перед своей совестью и богом высказать вам их.

Мне 82 года, я каждый день жду смерти, и потому прилично, учтиво лгать мне уже не приходится. Мало того, совесть требует сказать, насколько возможно громко, то, что я думаю о вашей забаве, — иначе не могу назвать вашу деятельность. Деятельность эта отвратительна, возмутительна.

Когда, во времена Наполеона I, военные люди гордились и хвалились теми убийствами, которые они совершали на войнах, они были святы в сравнении с вами и всеми членами подобных вашему обществ. Те люди, во 1-х, верили в то, что война должна быть; во 2-х, сами готовы были ради того, во что они верили, на жертву, раны, смерть. Вы же ни во что не верите и тем менее в тот мир, который вы, будто, проповедуете, и готовитесь только к тем тщеславным забавам, которые, одурманивая людей, должны привлечь их в ваш лагерь.

Мир! Заботы о мире англичан, с их Индией и всеми колониями, или немцев, французов, русских, не говорю уже об покоренных народах, с их классами богатых и бедных рабов, которые удерживаются в своем положении только войсками, с восхваляемым патриотизмом всех этих и властвующих и покоренных народов.

Говорить о мире и проповедывать его в нашем мире все равно, что говорить о трезвости и проповедывать ее в трактире или винной лавке, существующих только этим пьянством.

Пока есть отдельные народы и государства, не может не быть войны. Прекратиться война может только тогда, когда все люди будут, как Сократ, считать себя гражданами не отдельного народа, а всего мира, и будут, как Христос, считать братьями всех людей, и потому — столь же невозможным убивать или готовиться к убийству каких бы то ни было людей и при каких бы то ни было условиях, как невозможно убивать или готовиться к убийству при каких бы то ни было условиях своих детей или родителей.

Прекратиться сможет война только тем, что люди перестанут, как теперь, смеяться над религией, воображая себе какую-то христианскую религию, заключающуюся в вере в искупление и другие глупости, а когда точно поверят в вечный и единственный, всем известный, общий, один закон бога, выраженный не одним Христом, но всеми мудрыми и святыми людьми мира, закон о том, что все люди братья и потому должны любить, а уже никак не убивать друг друга. А признают люди этот закон, и война кончится, кончится потому, что не будет солдат. Все это так просто и ясно. Но именно потому, что это просто и ясно, неискренние люди, дорожащие своим ложным положением, не хотят видеть этого.

$2 \times 2 = 4$. Да, это правда, но ведь не в этом дело. Это ведь арифметика, но есть другие соображения. Человеку нельзя и не должно убивать ближнего! Кто же спорит с этим. Это правда. Но есть другие соображения — дипломатические, политические, так что отказываться от участия в убийстве не всегда целесообразно. Это будет антимилитаризм. А антимилитаризм нехорошо. А нужно совсем другое. И начинаются рассуждения... Стыдно и гадко. Простите меня. Знаю, что не надо было писать в таком раздраженном тоне, но не мог иначе. Простите.

Л. Т.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Толстой имеет в виду статью П. И. Бирюкова «О гонениях на христиан в России в 1895 году», напечатанную впервые с предисловием Толстого в газете «Times» от 23 октября 1895 г. и затем перепечатанную в ряде европейских газет.

[2] Статья была напечатана под заглавием «По поводу завещания Нобеля»,— «Свободная Мысль» («Pensée Libre»), 1899, № 4.

[3] По поводу журнала Зутнер Толстой писал С. А. Толстой 30 октября 1893 г.: «Еще интереснее номер «Die Waffen nieder», который посылаю. Это преинтересный и прекрасно ведомый журнал, который надо выписать и которым надо пользоваться».

[4] Переписка Толстого с Б. Зутнер (в переводе с французского) публикуется впервые.

[5] Резко отрицательная характеристика германского императора Вильгельма II дана Толстым в статьях «Царство божие внутри вас» (гл. VIII) и «Патриотизм и правительство».

[6] Толстой всегда писал и произносил: «Штокгольм».

[7] Гусев Н. Н., Два года с Толстым, изд. «Посредник», М., 1912, стр. 298.

[8] Трактат «Царство божие внутри вас» был написан Толстым в 1893 г. Глава «Христианство и воинская повинность» была исключена из трактата по требованию царской цензуры.

[9] Спиро С. П., Беседы с Л. Н. Толстым, М., 1911, стр. 27—28.

[10] Воспоминания И. К. Пархоменко напечатаны в сборнике «Златоцвет», М., 1911, стр. 76—77.

[11] Толстой имеет в виду цитированную выше статью С. П. Спиро, напечатанную впервые в газете «Русское Слово» и затем вошедшую в сборник его статей, озаглавленный «Беседы с Л. Н. Толстым».

Б. ШОУ В СПОРЕ С ТОЛСТЫМ О ШЕКСПИРЕ[1]

(ПО НЕИЗДАННЫМ ИСТОЧНИКАМ)

Статья С. Брейтбурга

I

Драматургия Толстого создавалась в процессе отталкивания его от театра Шекспира. Вне этого не возникали ни одна из его пьес, ни одно теоретическое его высказывание в данной области. Даже создание такой, казалось бы, сравнительно малозначащей толстовской инсценировки житийного «чтения», как «Петр Хлебник», не обошлось без противопоставления английскому драматургу. Так, 28 января 1884 г. Толстой «читал Шекспира «Кориолана»... несомненную чепуху, которая может нравиться только актерам»; 29-го — «утром прочел «Макбета» с большим вниманием, — балаганную пьесу, писанную умным и памятливым актером, который начитался умных книг». А уже 30-го числа Толстой, как бы в противовес «аристократическим» шекспировским трагедиям, просматривает фольклорные памятники для «затеянной народной пьесы», которую он «обдумывает с большим удовольствием» и которая «все разрастается», т. е. для «Петра Хлебника» [2].

Правда, Толстой обосновал свой отрицательный взгляд на творчество Шекспира позднее — в 1903 г., принявшись за критический очерк «О Шекспире и о драме». К этому времени длинный ряд пьес и сценических замыслов Толстого был уже частью осуществлен, частью оставлен взыскательным художником в архиве: ранние драматические наброски 50 — 60-х годов, «Зараженное семейство» (1864), «Нигилист» (1866), «Петр Хлебник» (1884), «Аггей» (1886), «Первый винокур» (1886), «Власть тьмы» (1886), «Плоды просвещения» (1889), «Живой труп» (1900), «И свет во тьме светит» (1900—1902). Оставалась еще не написанной лишь одна небольшая пьеса — «От ней все качества» (1910).

Однако, в названном критическом очерке был подведен уже итог всем предшествовавшим раздумиям Толстого над шекспировскими текстами, неизменно сопровождавшим его собственную драматургическую практику. Наступление же Толстого на Шекспира началось издавна — еще со времен его споров с Тургеневым в редакции «Современника» в 50-х годах. С тех пор он «в продолжение пятидесяти лет по нескольку раз принимался, проверяя себя, читать Шекспира во всех возможных видах — и по-русски, и по-английски, и по-немецки, и в переводе Шлегеля... читал по нескольку раз и драмы, и комедии, и хроники — и безошибочно испытывал одно и то же: отвращение, скуку и недоумение» [3]. Насколько важное значение придавал сам Толстой своему суждению о Шекспире, видно из первого чернового наброска этой его статьи, где, между прочим, сказано: «Верно или нет это мое мнение, мне бы не хотелось умереть, не высказав его» [4].

Это «давно установившееся мнение о произведениях Шекспира» было «совершенно противоположно тому, которое установилось о нем во всем европейском мире» [5]. И Толстой, естественно, перед писанием своего очерка особенно интересовался выяснением того, не выражались ли кем-нибудь уже до него в специальной историографии — едва ли не сплошь панегирической — также и неодобрительные отзывы

о знаменитом английском драматурге. Друзья Толстого не упускали случая указывать ему на материалы именно такого рода. Так, например, В. В. Стасов прислал ему «Макса Нордау первый том: «Französische Zeitmässigkeiten», где в статье о «Дон-Карлосе» Шиллера речь идет о Шекспире в отрицательном смысле»[6].

Среди немногочисленных «отрицателей» Шекспира не мог остаться незамеченным Толстым и Бернард Шоу, вместе с Артуром Воклэем «создавший новую эпоху в области театральной и оперной критики»[7]. Уже в ту пору им были написаны такие работы на интересующую нас тему: особый раздел в обширном предисловии к «Трем пьесам для пуритан» (начало 90-х годов), симптоматично озаглавленный «Лучше, чем Шекспир?»; целый ряд театральных рецензий на очередные шекспировские постановки, систематически печатавшихся в течение 1895—1898 гг. в «Saturday Rewiew», в которых, как сам Шоу вспоминал впоследствии, он «воспользовался случаем, чтобы поднять оружие против обожествления Шекспира»[8]; а также ряд отдельных высказываний в других работах.

В тексте самого очерка «О Шекспире и о драме» чтение Толстым статей Шоу не нашло непосредственного отражения. Но факт ознакомления Толстого во время писания этой статьи с высказываниями Шоу засвидетельствован в иных источниках. Несколько лет спустя, в связи с вопросом о напечатании очерка о Шекспире, В. Г. Чертков напомнил (из Англии) его автору о «Bernard Shaw, здешнем первом литературном критике, который, помните, высказывался против Шекспира», и о том, как Толстому было даже «в первую минуту досадно» на некоторое сходство соответственных своих предположений с тем, «что он [Шоу] пытался выяснить по поводу Шекспира»[9].

С другой стороны, именно Бернард Шоу явился первым критиком этой толстовской работы по теории драмы, в то время, когда она была еще только в рукописи. Последняя уже в готовом виде долго лежала под спудом. Первоначально она предназначалась в качестве вступительной статьи к русскому изданию работы американца Эрнеста Кросби «Об отношении Шекспира к рабочему народу», которое, однако, не состоялось. И лишь летом 1905 г. Толстой согласился напечатать свой критический очерк в виде предисловия к новому, иностранному изданию названной работы Кросби, по просьбе последнего. Перевод статьи «О Шекспире и о драме» на английский язык Толстой и поручил В. Г. Черткову.

Шоу был посвящен в содержание толстовской статьи еще до ее прочтения. Чертков именно к нему, как к «известному английскому критику... письменно обратился за справками раньше, чем перевел... статью о Шекспире»[10]. Шоу ответил Черткову большим письмом. Около трех месяцев спустя Шоу получил и самый перевод статьи «О Шекспире и о драме». На этот раз он реагировал двумя новыми письмами, еще более примечательными.

По своему объему, глубине содержания, полемическому задору и блеску стиля эти письма Шоу представляют собой подлинный критический этюд, тем более заслуживающий внимания, что сколько-нибудь обстоятельных печатных разборов статьи Толстого о Шекспире при выходе ее в свет (да и позднее) не появлялось,— как это ни странно в отношении автора, каждая строка которого обычно служила поводом к многочисленным и страстным толком в литературной критике.

II

Отрицательное отношение к творчеству Шекспира, на первый взгляд объединившее Толстого и Шоу, требует более глубокого осмысления и диференциации. Оба художника подошли к одному и тому же явлению с весьма противоречивых идейно-художественных позиций, определявшихся противоречивой природой более общих, социально-политических, устремлений Толстого и Шоу. Первый, преодолев классовую ограниченность, перешел «на точку зрения патриархального, наивного крестьянина» (Ленин). Шоу же, в ту раннюю пору своего развития еще не сумевший подняться над замкнутостью своей социальной группы, долго оставался в пределах узко-мелкобуржуазной идеологии. Эта обоюдная противоречивость и открывала перед

Л. Н. ТОЛСТОЙ
Фотография 1908 г.
Толстовский музей, Москва

Толстым и Шоу возможность для целого ряда то чрезвычайно близких соприкосновений, то, наоборот, непримиримых расхождений.

Толстого и Шоу сближало между собой, прежде всего, критическое отношение к капиталистическим устоям жизни. Эксплоатация, ханжеская религия, лицемерный брак, приспособленческая философия, лживая наука, выхолощенное искусство — все это находило резкое осуждение как у Толстого, так и у Шоу. Так, например, Толстой писал: «При капиталистическом устройстве жизни успехи всех прикладных наук: физики, химии, механики и других, неизбежно только увеличивают власть богатых над порабощенными рабочими и усиливают ужасы и злодейства войн» [11]. «Самые хитрые... изобретения техники направлены... на вред народу, как пушки, торпеды» [12]. И может показаться, что той же рукой написаны и следующие строки: «Ничего не изобрел человек для увеличения жизни, но в искусстве сеять смерть превзошел он самое природу; его химия и механика убивают лучше мора, чумы и голода... В искусствах мира человек — ничтожный пачкун... его неуклюжие типографские станки, аляповатые локомотивы и отвратительные велосипеды — это детские игрушки рядом с пушкой Максима и подводной лодкой» [13]. А, между тем, это реплика одного из персонажей Шоу.

Но, с другой стороны, превалирующий в мировоззрении Толстого религиозный элемент не только не нашел в лице Шоу последователя, но, наоборот, привел обоих писателей к резкому разногласию. И, вопреки своеобразному деизму Толстого, упорно проявлявшего, по словам Ленина, «стремление поставить на место попов по казенной должности попов по нравственному убеждению», Шоу уже в то время был атеистом, с присущими последнему «кощунством» и иронией. «Для меня,— писал он Толстому,— божества еще не существует, но существует творческая сила, постоянно стремящаяся создать исполнительный орган богоподобного знания и могущества, словом, достигнуть всемогущества и всеведения; и каждый вновь рождающийся человек, как мужчина, так и женщина, является новой попыткой для достижения этой цели». Шоу утверждал даже, что «бацилла крупа была в свое время попыткой создать более совершенное существо, чем все бывшие до нее, и что единственный способ исправить эту ошибку состоял в том, чтоб создать еще более совершенное существо, в число задач которого входило бы и уничтожение этой бациллы»; вследствие этого «существование зла перестает быть загадкой, и мы приходим к пониманию того, что мы существуем в мире, чтобы помогать богу в его деле, исправляя прежние ошибки и сами стремясь быть подобными богу» [14]. Это богохульное рассуждение столь неприятно поразило Толстого, что он с нескрываемым недовольством возразил Шоу: «Вопросы о боге, о зле и добре слишком важны для того, чтобы говорить о них шутя. И потому откровенно скажу вам, что заключительные слова вашего письма произвели на меня очень тяжелое впечатление: «Suppose the world were only one of God's jokes would you work any the less to make it a good joke instead of a bad one» — «Предположите, что мир есть только одна из божьих шуток. Разве вы, в силу этого, меньше старались бы превратить его из дурной шутки в хорошую?» [15].

На ряду с такими размолвками между Толстым и Шоу, бросается в глаза их идейная близость и в другом важном отношении. Оба они не только не делают революционных выводов из своего обличения капитализма, но, наоборот, единодушно выдвигают взамен этих единственно реальных выводов путь внутреннего «самосовершенствования». Вскрывая корни этого заблуждения Толстого, Ленин писал: «Крестьянство, стремясь к новым формам общежития, относилось очень бессознательно, патриархально, по-юродивому, к тому, каково должно быть это общежитие, какой борьбой надо завоевать себе свободу, какие руководители могут быть у него в этой борьбе» [16]. И «Толстой отражает их [крестьян.— *С. Б.*] настроение так верно, что сам в свое учение вносит их наивность, их отчуждение от политики, их мистицизм, желание уйти от мира, «непротивление злу», бессильные проклятья по адресу капитализма» [17]. Аналогично этому (хотя и на другой, как сказано, основе) отвернулся от революционной активности пролетариата также и Шоу. Тогдашний политический идеал его не выходил за пределы преодоления социального зла путем морального и умственного превосходства «сверхчеловека» над «человеком». Насколько приближался он при этом к толстовской проповеди, свидетельствует и мнение самого Толстого, который писал

Шоу об его «Справочнике революционера»: «Мне особенно понравилось ваше отношение к цивилизации и прогрессу, та совершенно справедливая мысль, что сколько бы то и другое ни продолжалось, оно не может улучшить состояние человечества, если люди не переменятся»[18].

Но опять-таки этому идейному совпадению Толстого и Шоу противостояло соответственное различие между ними. Оно касалось в данном случае вопроса о том, чье же из средств, предлагаемых каждым из писателей для обновления социального мира, более осуществимо. И Толстой настаивал: «Практическое [!] преимущество моего способа освобождения людей от зла перед вашим в том,— писал он Шоу, — что легко себе представить, что очень большие массы народа, даже мало или совсем необразованные, могут принять истинную религию и следовать ей, тогда как для образования сверхчеловека из тех людей, которые теперь существуют, также и для нарождения новых, нужны такие исключительные условия, которые так же мало могут быть достигнуты, как и исправление человечества посредством прогресса и цивилизации»[19].

Перечисленный ряд колебаний в общих взглядах Толстого и Шоу можно было бы умножить новыми примерами. Но и приводимые, думается, показывают истоки соответственных разноречий между ними и в их оценках шекспировского творчества. Рассматриваемый ниже разбор Бернардом Шоу толстовской статьи о Шекспире представляет собой целую цепь таких взаимопритяжений и отталкиваний обоих критиков великого английского драматурга.

III

Шоу был посвящен Чертковым в о б щ е е содержание антишекспировской статьи Толстого уже при упомянутом выше предварительном обращении к нему переводчика. И, поскольку можно судить по первому отклику Шоу, он был поставлен в известность, во всяком случае, относительно двух основных положений толстовского «критического очерка». Это казалось, прежде всего, м и р о в о з з р е н и я Шекспира и, затем характера р е п л и к его героев. И отрицательная оценка Толстым обоих этих вопросов п е р в о н а ч а л ь н о не только не вызвала со стороны Шоу возражений, но, напротив, обрела в нем явного сторонника.

Первая из этих проблем хотя и рассматривалась Толстым лишь в одной из последних глав очерка, однако, играла здесь, разумеется, превалирующую роль. Толстому был ненавистен строй мыслей, стремлений, чувствований шекспировских персонажей. Толстой с сокрушением констатировал, что, согласно их идеологии, «считалась внешняя высота сильных мира действительным преимуществом людей, презиралась толпа, т. е. рабочий класс, отрицались всякие, не только религиозные, но и гуманитарные стремления»[20]. Правда, в одном из тогдашних писем Толстой оговаривался, что «дело не в аристократизме Шекспира, а в извращении, посредством восхвалений нехудожественных произведений, эстетического вкуса»[21]. Однако, после своеобразного разбора «формы» Шекспира, отказав ему в признании художественных достоинств, Толстой задается риторическим вопросом: «Но, может быть, высота м и р о с о з е р ц а н и я Шекспира такова, что, если он и не удовлетворяет требованиям эстетики, он открывает нам такое новое и важное для людей миросозерцание, что в виду важности этого открываемого им миросозерцания становятся незаметны все его недостатки, как художника?». Отрицательный ответ, разумеется, предрешен: «Содержание пьес Шекспира,— читаем в статье,— ...есть самое низменное, пошлое миросозерцание»[22].

Шоу встретил этот толстовский вывод полным сочувствием. Он не преминул подкрепить свою солидарность с Толстым по данному вопросу ссылкой на соответственное свое произведение, в ту пору только-что появившееся: он указал на новое предисловие к своему роману «Иррациональный узел», которое сам излагал так: «В предисловии я определяю литературные произведения первого разряда, как такие, в которых автор вместо того, чтобы принимать общепризнанную мораль и религию в готовом виде, не ставя никаких вопросов об их ценности, пишет, исходя из собственной, оригинальной этической точки зрения, благодаря чему его книга является новым вкладом не только

в литературу, но и в мораль, религию и социологию. Я отношу Шекспира, вместе с Диккенсом, Скоттом, Дюма-отцом и проч., ко второму разряду, ибо хотя они и безмерно занимательны, но они пользуются готовой моралью»[23]. Шоу готов был сделать здесь лишь одно исключение из своего неприятия шекспировского творчества — в пользу «Гамлета», ввиду оригинальности именно философской основы данной трагедии. По его мнению, это «единственная пьеса... в которой Шекспир сделал попытку изобразить героя, не удовлетворенного готовой моралью», благодаря чему «эта пьеса явилась наивысшим выражением его гения»[24].

Неизменно фрондируя против Шекспира, Шоу отныне ощутил в лице Толстого твердую опору. «После критики Толстого,— предсказывал он,— Шекспир, как мыслитель, должен пасть, ибо при проверке его таким гигантски смелым критиком и реалистом, как Толстой, он не выдержит и мгновения подобного испытания»[25].

Второе положение толстовской статьи, на которое с неменьшим сочувствием откликнулся Шоу, относилось к языку Шекспира. В данном отношении чертковский пересказ сводился, нужно думать, к указанию на основное обвинение Толстым Шекспира в искусственности и однообразии реплик его героев, благодаря чему,— подытоживал Толстой,— «языка живых лиц, того языка, который есть в драме главное средство изображения характеров, нет у Шекспира»[26].

Солидарность Шоу с Толстым и в этом пункте опять привела первого к сопоставлению с другим собственным произведением — на сей раз со статьей о комедии «Много шуму из ничего» в постановке м-ра Три (напечатано в «Saturday Rewiew»). Шоу прямо указывал, что «эта статья имеет некоторый толстовский интерес». Шоу утверждал в своей статье, что «английский язык елизаветинской эпохи стал в наше время мертвым языком, и... наиболее поразительным доказательством этого является тот факт, что американские религиозные проповедники, хотя они и пропитаны чисто фетишистским почитанием авторизованной версии библии, оказались вынужденными, чтобы она прозвучала людям, создать новый завет XX века, который есть просто пересказ авторизованной версии на современном английском языке»[27].

Засвидетельствовав свое согласие с этими главными толстовскими тезисами о Шекспире, Шоу, сверх того, сопроводил первое свое письмо заверением, что и помимо него Толстой мог бы насчитать не мало других сторонников. «В заключение,— писал он Черткову,— я хотел бы посоветовать отнюдь не считать, что великая толстовская ересь о Шекспире не имеет иного защитника, кроме меня». И в подтверждение этого Шоу приводит целый список ученых и писателей.

В числе них называются, с одной стороны, исследователь д-р Самуэль Джонсон, выразивший в своих шекспирологических работах «не мало уничтожающей критики»; далее, первый биограф и издатель Шекспира, драматург Николай Роу, принесший «извинение за Шекспира, как писателя с очевидными и признанными промахами». Приводится даже сравнительное высказывание Наполеона о «превосходстве Корнеля над Шекспиром», ввиду того, что именно первый обладал «особым даром улавливать политическую ситуацию и видеть людей в их соотнесенности с государством».

С другой стороны, в качестве строгих ценителей автора «Отелло» Шоу выдвигает ряд великих творцов слова — Байрона, Морриса, Вольтера. Первые два, по его мнению, «видели ясно, что Шекспир был в смысле интеллектуальном страшно переоценен». Вольтер же тем более интересен, что он «начал с экстравагантного восхищения перед Шекспиром и стал все более и более отрицательно относиться к нему по мере того, как начал стареть и становился все менее склонен принимать художественные заслуги за прикрытие для философских изъянов»[28].

Таким образом, Шоу, при всем критическом отношении к Шекспиру, не мог все же не признавать его художественной силы. Это проистекало из неустойчивости и эклектизма его собственного сознания, склонявшего его к резкому разграничению между Шекспиром-мыслителем и Шекспиром-художником. Первого он, в полном соответствии с Толстым, ставил в ничто; но мощь второго, наперекор Толстому, считал почти неотразимой. Шоу полагал даже, что форма Шекспира и особенно его язык затемняют от зрителей, читателей и недальновидных критиков незначительность его содержания. И критику самого Толстого он сперва встретил особенно восторженно именно потому,

КАРИКАТУРА НА Л. Н. ТОЛСТОГО В СВЯЗИ С ЕГО СТАТЬЕЙ О ШЕКСПИРЕ
(газета «Москва»)

что это был «критицизм иностранца, который не может быть зачарован одной только музыкой слов, делающей Шекспира столь неотразимым в Англии» [29].

Но в этом отношении Шоу пришлось весьма скоро жестоко разувериться. Толстой, при всей противоречивости своего мышления, всегда доводящий свои идеи до логического предела, на ряду с развенчанием мировоззрения Шекспира, с неменьшей запальчивостью ополчился и против художественных его качеств. Большинство глав статьи Толстого «О Шекспире и о драме» было направлено именно против структуры и стилистики шекспировских драм. С этим, однако, Шоу привелось столкнуться уже при непосредственном ознакомлении с рукописью Толстого, которую Чертков вскоре прислал ему в своем переводе на английский язык.

IV

Именно в результате чтения толстовского критического очерка Шоу и написал свое второе, пространное письмо Черткову.

Здесь Шоу прямо заявил, что признает правильным только конец статьи «О Шекспире и о драме», т. е., очевидно, последние три (VI—VIII) главы ее, где идет речь о миросозерцании творца «Гамлета» и, якобы, искусственно созданной славе, его. «Я вполне согласен с последней частью статьи»,— резюмировал Шоу свое впечатление и мотивировал это тем, что и сам он в своих работах на эту тему также «не мало боролся, чтобы открыть глаза англичанам на пустоту философии Шекспира, на поверхностность и неоригинальность его нравственных взглядов, на его слабость и путанность, как мыслителя, на его снобизм, на его вульгарные предрассудки, невежество, на всячески незаслуженную им репутацию великого философа» [30].

Однако, то, что нашел Шоу в толстовском критическом очерке сверх осуждения шекспировской идеологии, превзошло даже и его ожидания. Толстой, как узнал Шоу, не только устоял перед гипнозом «формы» Шекспира, но решительно развенчал и ее. Радикализм Толстого в этом отношении настолько поразил Шоу, что он тотчас же

вслед за признанием концовки толстовской статьи поспешил возразить против остальной ее части. «Но никто,— продолжал Шоу,— не стал бы слушать меня, если б я вздумал подкреплять свой протест отрицанием его [Шекспира.— *С. Б.*] шуток, его веселости, его способности создавать характеры более реальные для нас, нежели действительно живущие люди, его мягкость, а главное — его необычайную силу, как музыканта слова».

В связи с таким двойственным подходом Шоу к самому Шекспиру, естественно, оказалась раздробленной и его оценка толстовской статьи. Вот почему по отношению к первому — идейному — ее плану Шоу в самом начале своего ответа пишет, что «основное положение Толстого... в достаточной степени здраво». Но, ввиду опорочения последним и художественной стороны шекспировского творчества, Шоу, в конце концов, обобщает: «...в общем, вся статья очень плоха».

Встретившиеся здесь несуразности были в глазах Шоу столь разительны, что ему не верилось, будто сам Толстой мог допустить их. И он в первой же фразе своего письма осторожно осведомился у Черткова: «Уверены ли вы в точности вашего перевода? Он полон совершенно необъяснимых ошибок». Между тем, последние, по мнению Шоу, если не устранить их из окончательного текста, дадут несомненный повод критике — придирчивой и поверхностной — обойти молчанием полезную суть толстовского разбора и даже дезавуировать его на основании именно этих ляпсусов. «Критики,— читаем в ответе,— вместо того, чтобы критиковать основное положение Толстого, которое в достаточной степени здраво, будут заполнять страницы, дискредитируя книгу и доказывая, что Толстой не понял текста». И Шоу указывает на три промаха Толстого.

Первый из них относится к «Отелло». Стремясь путем сравнения доказать, что драмы Шекспира, якобы, не только не повышали, но, наоборот, снижали художественность используемых ими старинных первоисточников, Толстой сопоставил «Отелло» с соответственной итальянской новеллой из сборника Джиральди Чинтио. Среди других расхождений он подчеркнул, что «кроме того, Отелло у Шекспира негр, а не мавр» [31], повидимому, намекая на существующие комментарии об отсутствии у Шекспира расовых предрассудков. И в другом месте, иронизируя над напыщенной риторикой Отелло, Толстой пытается уверить читателя, что «человек, готовящийся к убийству любимого существа, не может говорить таких фраз и еще менее может после убийства говорить о том, что теперь и солнце и месяц должны затмиться и земля треснуть, и не может, какой бы он ни был негр, обращаться к дьяволам, приглашая их жечь его в горячей сере, и т. п.».

Именно национальный признак неожиданно оказался удвоенным в лежавшем перед Шоу переводе толстовской статьи. Здесь был представлен негром не только главный герой пьесы, но и другой ее персонаж — Яго. Пораженный этим открытием, Шоу, в виде опыта последовавший в этом случае за недобросовестными критиками, допускал «возможность, что в «Отелло» найдется какое-нибудь место, оправдывающее утверждение — совершенно для меня новое и удивительное,— что оба, и Яго и Отелло, изображаются неграми». Однако, ни в печатном тексте толстовской статьи «О Шекспире и о драме», ни в беловом ее автографе, с которого делался перевод, ни, наконец, в известных редакциях самого «Отелло» подобного удвоения нет и следа. В указанной «необъяснимой ошибке», стало быть, повинен был не сам автор, а его переводчик.

Но если приведенный случай явился, повидимому, результатом недоразумения, то два других, относящиеся уже к «Королю Лиру» и проверенные Шоу, по его словам, «безусловно ошибочны».

Одна из этих, на взгляд Шоу, неправильностей заключена в толстовском изложении следующей ситуации из последней сцены трагедии. После приказа победителя — Эдмунда о заключении Лира и Корделии в темницу и умерщвлении их, «приходят,— читаем у Толстого,— герцог Альбанский, Гонерила и Регана. Герцог Альбанский хочет заступиться за Лира, но Эдмунд не позволяет. Вступаются сестры и начинают браниться, ревнуя Эдмунда друг к другу. Тут все так запутывается, что трудно следить за ходом действия. Герцог Альбанский хочет арестовать Эдмунда и говорит Регане, что Эдмунд уже давно сошелся с его женой и что поэтому Регана должна оставить

претензию на Эдмунда, а если хочет выходить замуж, то выходила бы за него, герцога Альбанского»[32]. Последняя фраза и вызвала возражение со стороны Шоу, ибо соответствующая ей реплика в пьесе, играя роль насмешки у Шекспира, в контексте Толстого приобретает противоположный оттенок. Она, замечает Шоу, «вызовет в каждом английском читателе впечатление, что ироническое замечание герцога Альбанского — «Если хочешь выйти замуж, то влюбись в меня» — будто бы означает серьезное предложение».

Еще грубее, по мнению Шоу, последняя из вскрываемых им текстовых ошибок Толстого. Это — перефразирование им другой реплики из того же пятого акта «Короля Лира», но из предыдущей его сцены. Об этом Шоу отзывается весьма несдержанно: эта «фраза... просто глупа — другого для нее названия не может быть». Данная оценка относится к следующим строкам статьи Толстого: «Во второй сцене Эдгар входит с отцом, сажает отца у дерева, а сам уходит. Слышен шум битвы, вбегает Эдгар и говорит, что сражение проиграно. Лир и Корделия в плену. Глостер опять отчаивается. Эдгар, все не открываясь отцу, говорит ему, что не надо отчаиваться, и Глостер тотчас же соглашается с ним»[33]. При такой нивеллирующей (по мнению Шоу) передаче полноценного шекспировского диалога не только стираются его высокие эвфонические свойства, но искажается и самая его сущность. В результате Толстым обессмыслена реплика сына Глостера; вместе с тем, стало необъяснимым доверчивое отношение к ней самого отца. По убеждению Шоу, «Эдгар не говорит своему отцу, что никогда не надо отчаиваться». В доказательство своей правоты Шоу цитирует подлинный шекспировский текст. «В словах, красиво звучащих английскому уху,— читаем в письме Шоу,— он [Эдгар.— *С. Б.*] говорит: «Men must endure their going hence, even as their coming hither ripenessisall». Глостер отвечает: «And that's true too». И на основании этого Шоу заключает: «Тут нет ни глупой банальности, приведенной Толстым, ни нелепого изменения образа мнения, приписываемого им».

V

Вслед за этими отрывочными замечаниями по поводу отдельных неточностей Толстого в его работе о Шекспире, Шоу подвергает ее на дальнейших страницах своего обстоятельного письма довольно подробному принципиальному разбору.

Прежде всего, он оспаривает самый метод толстовской критики в данной статье. Этот метод, на взгляд Шоу, если и правомочен вообще, то отнюдь не применительно к явлениям искусства. «Если Толстой начнет с того,— писал Шоу,— что будет... аргументировать так, словно он исследует достоверность доказанного факта, вместо того, чтобы критиковать ценность вымысла, его читатели потеряют терпение».

Он, в свою очередь, порицает Толстого за то, что тот судит Шекспира с точки зрения абстрактной логики и сугубо строгой последовательности, не оставляя места художественной фантазии, сценической условности, в то время как последняя вовсе не противоречит реалистическому воспроизведению мира. «Из всех живущих,— образно полемизирует Шоу,— не Толстому думать, что достаточно доказательства нелогичности произведения для его осуждения. Жизнь не логична; и не Толстому, пишущему свои произведения, как поэт, осуждать Шекспира за то, что он писал свои не как юрист».

Как известно, основным недостатком творчества Шекспира Толстой считал немотивированность его драматических ситуаций, поступков персонажей, их реплик, как и неестественность его мотивировок. Так, например, по поводу резких возгласов обезумевшего Лира о разврате и женщинах Толстой говорит, что «монолог этот, очевидно, рассчитан на обращение актера к зрителям и, вероятно, производит эффект на сцене, но ничем не вызван в устах Лира». При разборе, далее, характера Яго Толстой, снова обращаясь к сравнительному анализу «Отелло» и его итальянского первоисточника, пишет: «Мотив его злодейства, по Шекспиру, есть, во-первых, обида за то, что Отелло не дал ему места, которого он желал; во-вторых, то, что он подозревает Отелло в связи с его женой; в-третьих, то, что, как он говорит, он чувствует какую-то странную

любовь к Дездемоне. Мотивов много, но все они неясны. В новелле же мотив один, простой и ясный: страстная любовь к Дездемоне, перешедшая в ненависть к ней и к Отелло, после того, как она предпочла ему мавра и решительно оттолкнула его»[34]. Вся статья Толстого пестрит аналогичными сетованиями на «ненатуральность» сцен и событий в драмах Шекспира, на «неуместность речей», «несвойственных положению» его действующих лиц или «совершенно не идущих к делу».

Шоу иронизирует над прямолинейностью Толстого в этом отношении. «Если он,— читаем в письме,— в конце концов, настаивает на этом, то зачем итти таким окольным путем, почему не объявить «Короля Лира» ложью, а актеров и актрис — самозванцами и самозванками, утверждающими, что они — короли, герцоги и принцессы, когда они на самом деле только рядовые члены среднего класса?». Шоу, однако, не заметил, что Толстой действительно доводит свою мысль до этой именно крайности. В связи с «длинным рассуждением короля Лира о том, что лишнее и недостаточное суть понятия условные» (д. II, сц. 4), Толстой пишет: «При этом Лир, т. е. скорее актер, играющий Лира, обращается к нарядной даме в публике и говорит, что и ей не нужны ее наряды: не согревают ее...».

Подобное логизирование в отношении чуть ли не каждой детали «Короля Лира» привело к тому, что одна из совершеннейших трагедий Шекспира оказалась обессмысленной. Между тем, говорит Шоу, «то, что «Король Лир» разделывается в клочья, просто ребячливо», ибо «таким же способом можно свести на-нет всякое литературное произведение риторической классической школы». И необоснованность такого обвинения доказывается хотя бы тем, что оно возводится на Шекспира только Толстым: он «один среди людей возражает против того, что Шекспир изображает жизнь, как не поддающуюся сентиментальной логике и поэтической справедливости». Более того, у Шекспира просто невозможен был иной образ мыслей; чтобы убедиться в этом, достаточно, по мнению Шоу, обратить внимание, например, на следующие слова Глостера: «As flies to wanton boys. so we are to the gods: they kill us for their sport». Со стороны же Толстого это тем более непоследовательно, что сам он «утверждает (и вполне справедливо), что Шекспир был таким человеком. Так почему же,— спрашивает Шоу,— ставить ему в вину, что он изображает жизнь так, как он ее видит, в особенности если он видел это очень точно, хотя бы и передавал то, что видел, очень поверхностно?».

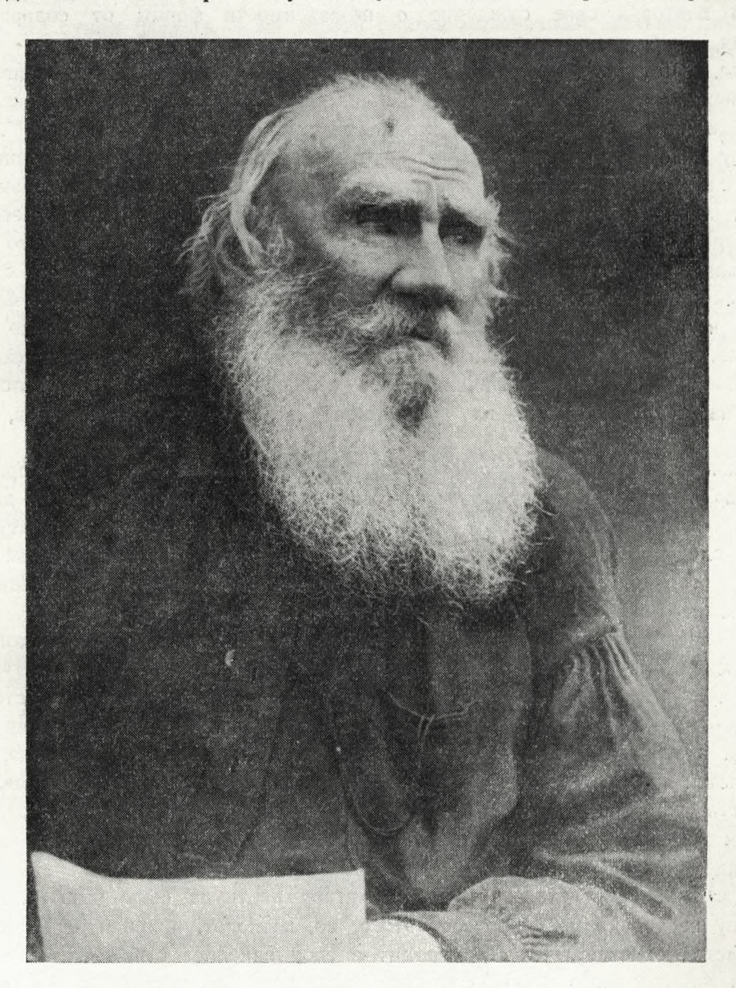
Особенно же неверным представляется Шоу обвинение Шекспира в алогичности по отношению к финальной сцене «Короля Лира», производящей на непредубежденного зрителя потрясающее впечатление. Из множества эпизодов этой сцены он подразумевает, повидимому, появление Лира с трупом Корделии на руках.

Между тем, в соответственном месте статьи Толстого этот момент рассматривается именно с «рационалистской» точки зрения и выглядит обессмысленным: «Входит Лир с мертвой Корделией на руках, несмотря на то, что ему более 80-ти лет и он больной. И начинается опять ужасный бред Лира, от которого становится стыдно, как от неудачных острот. Лир требует, чтобы все выли, и то думает, что Корделия умерла, то — что она жива... Потом рассказывает, что он убил раба, который повесил Корделию, потом говорит, что его глаза плохо видят, и тут же узнает Кента, которого не узнавал все время».

Вопреки этому иссушающему живую картину рассуждению, Шоу, напротив, говорит о своем непосредственном впечатлении от нее: «Я совсем не ослеплен славой Шекспира, но я избегаю читать последнюю сцену в «Короле Лире», потому что она заставляет меня плакать и расстраивает меня». И недоуменно восклицает: «Для чего Толстому доказывать совершенно неподходящим процессом логики, что это один вздор?».

В качестве любопытной параллели отметим, что и Толстой признавался в совершенно аналогичном воздействии на него самого одной сцены из той же

истории Лира. Среди черновиков статьи «О Шекспире и о драме» имеются следующие, не попавшие в печатную редакцию, строки (речь идет о сцене радостной встречи Лира с некогда обездоленной им младшей дочерью). «Чтение это,— писал Толстой,— вызвало во мне совсем особенное чувство: у меня защипало в носу, выступили слезы, и мне стало умилительно-радостно, и я больше ничего не могу сказать, как то, что сцена эта меня трогает, что это прекрасно, что это то, что принято называть художеством, поэзией» [35]. Однако, это относилось отнюдь не к шекспировскому тексту, а лишь к старинной драме, исполь-



Л. Н. ТОЛСТОЙ
Фотография 1907 г.
Толстовский музей, Москва

зованной английским драматургом в качестве источника и (по убеждению Толстого) искаженной им. «Я очень хорошо знаю,— читаем далее в черновом наброске,— что мною получено художественное впечатление от чтения сцены примирения Лира с Корделией в старой драме... И так же хорошо знаю, что при многократном чтении всех драм Шекспира я ни разу не получил этого впечатления» [36].

Наконец, протест против внехудожественных приемов толстовской критики Шоу заключает образным сравнением: Толстой,— говорит он,— «может доказывать, что музыка Шопена есть только бренчание струн в деревянном ящике, но станут ли слушать его доказательства те лица, которые испытали влияние музыки

Шопена?». И этот риторический вопрос служит Шоу поводом для перехода ко второму из основных разделов разбираемой статьи Толстого — к проблеме шекспировского языка.

VI

«Все дело в том, что Шекспир прежде всего музыкант, добивающийся своих эффектов звуком своих слов, а не их смыслом»,— сразу же заявляет Шоу, не только повторяя свое суждение о независимости формы от содержания, но подчеркивая, якобы предопределяющее значение именно первой.

Правда, Шоу неоднократно декларировал, что он «не приверженец «искусства для искусства» и не шевельнет пальцем, чтобы написать художественное произведение, в котором нет ничего, кроме художественных достоинств»[37]. Однако, в ту пору Шоу было свойственно некоторое преувеличенное тяготение именно к словесным средствам выразительности. В соответственных драмах Шоу монолог и диалог резко доминируют над характером и интригой; словесные буффонады, парадоксы, софизмы составляют отличительнейшие свойства его реплики.

Неудивительно, что Шоу и в языке Шекспира обратил внимание не столько на реалистическую его основу, сколько на рудиментарные уже здесь элементы изощренности и изысканности стиля. Ведь «шекспировские слова, даже мертвые и архаичные, как многие из них, все еще могут зажигать кровь и увлекать воображение людей». И Шоу, заканчивая свое сравнение, резюмирует: «Толстой прав, настаивая на бедности идеи — на убожестве либретто, но он не прав, отрицая музыку».

В связи с этим не трудно себе представить недоумение автора приведенных строк, когда в толстовской рукописи «О Шекспире и о драме» он то и дело находил столь противоречащие этому оценки стилистики английского драматурга, как, например, следующая: «Все лица Шекспира говорят... неестественным языком, которым не только не могли говорить изображаемые действующие лица, но никогда нигде не могли говорить никакие живые люди».

Этот своеобразный вывод, не имевший прецедентов в шекспирологии, Толстой пытался обосновать на целом ряде собственных восприятий. Ненатуральность шекспировской реплики заключалась, якобы, в ее «вычурности», «неестественных выражениях» действующих лиц, в их многословии — «невоздержании языка», в увлечении персонажей «больше созвучиями, каламбурами, чем мыслями». В частности, Толстой уличает шекспировских героев в искусственности, проявляющейся в книжности их речей. Так, Эдгар в трогательный момент встречи с ослепленным отцом «говорит совсем ненужные прибаутки» о пяти духах — Обидикуте, Гоббидидэнде, Магу, Модо и Флиббертиджиббете, «которые мог знать Шекспир, прочтя их в книге Гарснета, но которые Эдгару неоткуда было узнать».

И Шоу не только не оспаривает этого, но, наоборот, приводит еще новые примеры: «Толстой отмечает, что Лир вводит в свои наиболее страстные сцены разные упоминания литературного и риторического характера. Так поступают все шекспировские персонажи и особенно Отелло, которого восхваляет Толстой. Отелло в самые бешеные минуты напыщенно и неестественно декламирует о Пропонтике и Геллеспонте». Однако, Шоу отнюдь не согласен с тем, что эта особенность Шекспира дает основания опорочивать его необычайно благозвучную стилистику. Выдвигая на первый план эвфонические свойства шекспировской речи, Шоу продолжает: «Как ни бессмысленны эти слова, самый их звук, их размер, ритм и порыв производят именно тот эффект, которого Шекспир хотел,— совершенно так же, как в моцартовском «Дон-Жуане» тромбоны производят то жуткое впечатление, которое желал вызвать композитор». И он саркастически заключает: «Толстой мог бы с таким же успехом сказать, что привидения с собой тромбонов не носят, как утверждать, что Шекспир не употреблял бы риторических троп, если бы выступал в качестве реальной личности. Но логичны тропы или нет, естественны они или неестественны — они оказывают своеобразное действие на воображение и эмоции».

Но главный, по мнению Толстого, недостаток Шекспира в данной области — это однообразие речей его персонажей, вследствие чего последние лишены индивидуальной окраски.

Шоу придерживался и на этот счет, разумеется, противоположного взгляда и не менее категорически возражал против этого заблуждения Толстого: «Его утверждение, что Шекспир не может выдержать критики, если его судить с точки зрения выявления характеров его персонажей и его умения придать им индивидуальность при помощи их разговорного языка, просто не верно»; напротив того, «Шекспир лишь посредством диалога сумел сделать своих героев такими жизненными, что они для нас более реальны, нежели наши родственники и знакомые». Шоу и здесь утверждает что смысловое однообразие Шекспира также вполне нейтрализуется необычайным богатством звуковых его нюансов. Вот почему он совершенно не согласен и с мнением Толстого о том, будто «Лир бредит точно так, как, притворяясь, бредит Эдгар», и что «так же говорят и Кент и шут». Наоборот, «хотя Кент, подобно Лиру, говорит бессмыслицы, но он произносит их в грубых периодах и эффектных каденциях, которые являются полной противоположностью длинным и слабым, жалостливым, многословным периодам Лира, так же отличным, как и различны характеры этих двух людей». И с присущей ему иронией, вновь прибегая к музыкальной ассоциации, Шоу заканчивает: «Толстому остается сказать, что так как все персонажи в опере Моцарта поют в одной гармонии и в том же артистическом стиле, то и арии Лепорелло так же подходят Дон-Жуану, как и ему самому...».

VII

Отпарировав толстовские нападки на те или иные стороны речи Шекспира и на отдельные реплики его героев, Шоу счел нужным, сверх того, обобщить этот вопрос: «Что совершенно ускользает от Толстого,— заключает он,— это громадный юмор Шекспира. Шекспир всегда играет словами, иногда глупо, иногда неприлично, но всегда с великим наслаждением нагромождает слова и швыряется ими,— нечто вроде оркестра, производящего то бурные, то веселые эффекты даже тогда, когда слова ничего не выражают, кроме напыщенной декламации».

Пытаясь подыскать объяснение этой непостижимой для него нечуткости Толстого к стилистике Шекспира, Шоу, однако, не находит настоящей причины этого явления. Не видя единой идейной основы, питавшей отрицательное отношение Толстого как к содержанию, так (в конечном счете) и к любому компоненту шекспировской драматургии, Шоу останавливается на национальном разноязычии обоих художников. Считая основной силой творчества Шекспира именно его «слово», Шоу полагал, что восприимчивость русского писателя наткнулась на ту «силу, преградой которой является национальность и которая не достигает Толстого так же, как русская поэзия не может достигнуть меня». Таким образом, то, что сначала Шоу считал преимуществом Толстого, делающим его независимым в критике содержания шекспировского творчества, невозможной для большинства соотечественников Шекспира, именно вследствие захватывающей силы его слова, впоследствии признано было, наоборот, недостатком.

С этой новой точки зрения, Шоу особо останавливается на одном из эпизодов последней сцены «Короля Лира», изображающем поединок Эдгара с Эдмундом. Как известно, Толстой, пересказав не без «пристрастия» содержание этого эпизода, относит «вход замаскированного всадника Эдгара» к числу тех «грубых прикрас», «эффектов», которые «не только не усиливают впечатления, но производят обратное действие». Такое впечатление от этой сцены, по мнению Шоу, является лишь неизбежной аберрацией именно чужеземного читателя. «Сцена вызова Эдмунда Эдгаром,— писал Шоу,— есть для иностранца то, что она есть для Толстого: только вульгарная напыщенность и преувеличение. Но для уха англичанина слова: «Draw thy sword that, if my speech offend a noble, heart, thine arm my do thee justice» [38] звучат, как зов трубы, прекрасные по звуку, героические по ритму и совершенно не поддающиеся ассоциации ни с чем вульгарным в произносящем их».

Впрочем, в данном отношении Шоу ограничился едва ли не одним этим опровержением. Он настолько был убежден в естественном отсутствии у Толстого, как ино-

странца, понимания чужой речи, что всякие дальнейшие рассуждения по этому поводу считал тщетной тратой слов. И, отказав Толстому в подлинном знании английского языка, Шоу ставил себя в этом отношении выше Толстого: «Но,— писал он,— нет никакого смысла спорить об этом: я знаток английского языка и авторитетно могу сказать Толстому, что он ошибается и что Шекспир в высшей степени обладает тем же истинным даром создавать характеры, как и Диккенс, Дюма-отец и Скотт».

Вслед за критикой основных пунктов толстовской статьи, Шоу оставалось, наконец, опровергнуть главный вывод автора — о, якобы, незаслуженной славе Шекспира. Толстой приходит к заключению, что единственным поводом к искусственно созданной известности Шекспира послужило чрезмерное превознесение его пьес авторитетным для своего времени Гёте; с тех пор «слава Шекспира, как снежный ком, росла и росла и доросла в наше время до того безумного восхваления, которое, очевидно, не имеет никакого основания, кроме внушения».

Однако, Шоу, не разделяя толстовского развенчания Шекспира, разумеется, не удовлетворился этим объяснением. Он считал немыслимым, «что гипнотическое внушение могло бы поддерживать чью-либо славу в течение трехсот лет, если нет, помимо этого, какой-то сильной заинтересованности в том, чтобы она жила». По его мнению, секрет неувядаемой славы Шекспира состоит исключительно в том необычайном эстетическом наслаждении, которого не может не испытывать непредубежденный зритель или читатель его драм. «По отношению к Шекспиру,— продолжает Шоу,— эта заинтересованность только в одном: в том удовольствии, которое доставляют его стихи... Допуская даже,— заключает Шоу,— что это удовольствие у большинства шекспиристов является аффектацией, лицемерием, страхом показаться невежественным или безвкусным, все же центром для такой аффектации должна служить группа людей, которые читают Шекспира с удовольствием и прочтут заметку в газете с именами «Гамлет», «Яго», «Фальстаф» более жадно, чем новости о своих родственниках».

Окончательный итог критики Бернардом Шоу толстовского манускрипта гласил о том, что «Толстой прибавил к своему подлинному осуждению Шекспира» также и порицание, «пустозвонное, не более ценное, нежели обвинение «Воскресения», вынесенное английскими квакерами».

Посредник между Толстым и Шоу — В. Г. Чертков, для которого авторитет учителя в любой области был непререкаемым,— полагал, что запальчивость второго письма критика толстовской статьи может быть объяснена только личными мотивами, что полемика Шоу была продиктована, так сказать, профессиональной завистью с его стороны. «Мне кажется,— писал Толстому Чертков,— что он почувствовал в сильной степени и серьезно то, что вы почувствовали, читая его первые статьи, слабо и обратили в шутку, а именно, что ему было первую минуту досадно, что вы высказали цельнее и решительнее и, главное, глубже то, что он пытался высказать по поводу Шекспира, и что вы этим, как говорят англичане, have taken all the wind out of his sails» [39].

Во втором письме Шоу сделал специальную приписку, повидимому, в ответ на запрос Черткова о разрешении опубликовать первое его письмо, написанное еще до прочтения статьи «О Шекспире и о драме» и как будто совпадавшее с взглядами Толстого на творчество Шекспира. Но теперь Шоу имел уже полное представление о статье Толстого. «Я не возражаю,— писал он,— против печатания вами моего предыдущего письма, при условии, чтобы вы сделали добавление, обеспечивающее меня от подозрения, что я согласен с Толстым в его ошибках о «Короле Лире» и др.». Оговорка эта, вероятно, показалась Черткову особенно кощунственной, и он так охарактеризовал перед Толстым высказывания Шоу: «Прочитавши вашу статью, он написал мне довольно глупое письмо, а потом, через несколько дней, другое письмецо, из которого видно, что ему совестно за предыдущее» [40].

Упоминаемое здесь «другое письмецо» — третье по счету (и последнее) письмо Шоу к Черткову по данному вопросу; оно отделено от предшествующего промежутком в полмесяца. В нем Шоу, действительно, как бы пытался уточнить процитированную оговорку, но по сути дела — смягчить резкость своей критики

статьи Толстого. «Если вы напечатаете мое то письмо,— писал Шоу,— то не прибавляйте никаких отрицаний степени моего согласия с Толстым больше, нежели заключается в сделанном мною добавлении» [41]. Осторожность эта была вызвана, главным образом, соображениями тактическими. «Частным образом,— продолжал Шоу,— я не боюсь высказываться свободно о том, в чем, по-моему, Толстой ошибается. Но я хочу, чтобы для публики было вполне ясно, что я на стороне Толстого и что я приписываю большое значение и авторитетность всякому его мнению. Он, несомненно, является одним из пророков наших времен (я употребляю это слово в его правильном библейском смысле), и, хотя я могу — будучи своего рода пророком — расходиться с ним в том или другом взгляде, все же необходимо, чтобы было вполне определенное, хотя бы и ценой несколько менее значительных недоразумений [купленное впечатление], что я на стороне пророков против журналистов» [42].

Чертков не задумался отправить в Ясную Поляну тексты и этих двух писем Шоу, «зная,— как писал он Толстому,— что резкость первого вас не расстроит, а, может быть, в каких-либо его замечаниях вы и найдете что-либо для себя производительное» [43]. Толстой в самом деле не придал значения тону письма и замечаниям Шоу. В ответном письме к Черткову он ограничился следующим сообщением: «Получил сейчас ваше письмо Shaw. Шекспира мне не присылайте, а печатайте как он есть. Если есть те blunders, о к[оторых] говорит Shaw, исправьте их сами» [44].

Так, в сущности, без каких-либо особых последствий завершилась эта своеобразная «полемика» двух столь далеких и, вместе с тем, близких между собой писателей о третьем, хотя и по-разному, но равно непонятом ими. Каждая из сторон, за исключением незначительных уступок, осталась при своем первоначальном мнении. Эпизод этот не оставил заметных следов и на последующих взаимоотношениях между Шоу и Толстым. Первый презентовал второму авторские экземпляры своих книг, писал ему; последний неизменно отвечал на письма.

ОТКЛИКИ НА СТАТЬЮ Л. Н. ТОЛСТОГО О ШЕКСПИРЕ ЗА ГРАНИЦЕЙ
Карикатура из немецкого журнала

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Из материалов историографической главы подготовляемого к печати исследования «Драматургия Толстого».

[2] «Письма гр. Толстого к жене» (1862—1910), М., изд. 2-е [С. А. Толстой], 1915, стр. 214—215.

[3] Толстой Л. Н., О Шекспире и о драме (Критический очерк),— Полное собрание сочинений Льва Николаевича Толстого, под ред. и с прим. П. И. Бирюкова, М., изд. И. Д. Сытина, 1913, т. XIX, стр. 143—144.

[4] «Синий альбом», стр. 21 (хранится в рукописном отделении Толстовского музея).

[5] «О Шекспире и о драме»,— названное издание Сочинений Толстого, стр. 143.

[6] «Лев Толстой и В. В. Стасов. Переписка», 1878—1906. Ред. и прим. В. Д. Комаровой и Б. Л. Модзалевского. Труды Пушкинского дома Академии наук СССР, Л., изд. «Прибой», 1929, стр. 314.

[7] Шоу Б., Человек и сверхчеловек. Комедия и философия. Перев. с английского Н. Эфроса и Н. Г — зера. Полное собрание сочинений, М., 1910, т. II, стр. IX.

[8] Письмо Б. Шоу к В. Г. Черткову от 2 августа 1905 г. (письма Шоу хранятся в архиве В. Г. Черткова).

[9] Письмо В. Г. Черткова к Л. Н. Толстому от 21 ноября 1905 г. (письма хранятся в рукописном отделении Толстовского музея).

[10] Письмо В. Г. Черткова к Л. Н. Толстому от 21 октября 1905 г.

[11] Толстой Л. Н., О ложной науке (Ответ крестьянину),— назв. изд. соч., т. XXI, стр. 60.

[12] Толстой Л. Н., Так что же нам делать?,— назв. изд. Соч., т. XVII, стр. 155.

[13] Шоу Б., Человек и сверхчеловек, стр. 153.

[14] «Новый сборник писем Л. Н. Толстого». Собр. П. А. Сергеенко, М., изд. «Окто», 1912, стр. 354 (письмо от 14 февраля 1910 г.).

[15] Там же, стр. 353 (письмо от 15 апреля 1910 г.).

[16] Ленин В. И., Лев Толстой, как зеркало русской революции,— Сочинения, изд. 2-е, т. XII, стр. 333.

[17] Ленин В. И., Л. Н. Толстой и современное рабочее движение,— Сочинения, т. XIV, стр. 406.

[18] «Новый сборник писем Л. Н. Толстого», стр. 284.

[19] Там же, стр. 284—285.

[20] «О Шекспире и о драме», стр. 172.

[21] «Лев Толстой и В. В. Стасов. Переписка», стр. 325.

[22] «О Шекспире и о драме», стр. 177.

[23] Письмо Б. Шоу к В. Г. Черткову от 2 августа 1905 г.

[24] Там же.

[25] Там же.

[26] «О Шекспире и о драме», стр. 162.

[27] Письмо Б. Шоу к В. Г. Черткову от 2 августа 1905 г.

[28] Там же.

[29] Там же.

[30] Письмо Б. Шоу к В. Г. Черткову от 3 ноября 1905 г. Ниже, где не оговорено, всюду цитируется это же письмо Шоу.

[31] «О Шекспире и о драме», стр. 166.

[32] Там же, стр. 157—158.

[33] Там же, стр. 157.

[34] Там же, стр. 156.

[35] Автограф статьи «О Шекспире и о драме» (хранится в Толстовском музее).

[36] Там же.

[37] «Новый сборник писем Л. Н. Толстого», стр. 354.

[38] Перевод английской цитаты: «Ты вынь свой меч и за слова мои готовься мстить» (перев. А. Дружинина).

[39] Письмо В. Г. Черткова к Л. Н. Толстому от 21 ноября 1905 г.; перевод английской фразы: «вырвали из-под его парусов ветер».

[40] Письмо В. Г. Черткова к Л. Н. Толстому от 21 ноября 1905 г.

[41] Письмо Б. Шоу к В. Г. Черткову от 19 ноября 1905 г.

[42] Там же.

[43] Письмо В. Г. Черткова к Л. Н. Толстому от 21 ноября 1905 г.

[44] Письмо Л. Н. Толстого к В. Г. Черткову от (дата получения) 19 декабря 1905 г. (хранится в рукописном отделении Толстовского музея).

МАТЕРИАЛЫ К ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ ПОВЕСТИ „ХАДЖИ МУРАТ“

Сообщение Л. Семенова

I. ВОСПОМИНАНИЯ И. И. и А. А. КОРГАНОВЫХ

Создавая повесть «Хаджи Мурат», Толстой, как известно, с большим усердием разыскивал и изучал разнообразные материалы, освещавшие в историческом и бытовом отношении изображаемую им эпоху. В процессе творческой работы он вел переписку со многими лицами, которые могли поделиться с ним своими впечатлениями о 50-х годах на Кавказе, о Николае I и его дворе или предоставить какие-либо мемуарные и архивные источники.

«Задумав завершить давно начатый труд, он захотел иметь под руками не только весь печатный материал по данному вопросу, но и хранящийся в архивах, свидетельства современников и т. п. С этой целью он обращался к разным лицам, например, к Н. М. Романову, В. А. Потто и др. Между прочим, он обратился и к своим тифлисским друзьям с просьбой подыскать лиц, которые взялись бы навести справки в Тифлисе, в военном архиве кавказского наместника, и порасспросили бы о Хаджи Мурате А. А. Корганову, престарелую вдову того уездного начальника, у которого под надзором проживал (в 1852 г.) знаменитый шамилевский наиб» [1].

Творческой истории «Хаджи Мурата» посвящен ряд специальных статей и монографий; однако, вся работа Толстого-исследователя и Толстого-художника над историей Хаджи Мурата полностью еще не прослежена. Поэтому несомненную ценность представляют публикуемые ниже воспоминания о Хаджи Мурате Ивана Иосифовича и Анны Авессаломовны Кергановых [2]. Значение их тем более велико, что они написаны в ответ на вопросы самого Толстого, интересовавшегося различными подробностями о Хаджи Мурате, его пребывании в Нухе и его трагической смерти.

История этих документов такова.

В декабре 1902 г. Толстой получил от незнакомого ему И. И. Корганова [3] письмо следующего содержания: «Милостивый государь Лев Николаевич. Из газет я узнал, что вы собираетесь одарить свет новым произведением своим «Хаджи Мурат». Если речь идет о том Хаджи Мурате, который в 1851—1852 гг. коварно передался от Шамиля русскому правительству и затем, будучи отдан под надзор покойного моего отца, полковника Иосифа Ивановича Корганова, в г. Нуху, где отец мой в то время был уездным начальником и командующим войсками уезда, бежал с прогулки, но был пойман, живым не дался, а пришлось снять голову и отправить в Тифлис к наместнику свет. кн. Воронцову [фраза не закончена, но не зачеркнута]. Я был в то время десятилетним мальчиком и живо помню все подробности его пребывания у нас в доме и затем день бегства; он верхом сопровождал коляску моей матери, где сидел и я. Если эти обстоятельства могут иметь для вас какое-нибудь значение, я охотно опишу вам подробно все время его пребывания у нас в доме и затем бегство. Моя мать и сейчас жива и хорошо также помнит это время. Благоволите уведомить меня, куда послать рукопись». Болевший в то время Толстой 25 декабря продиктовал своей дочери, М. М. Оболенской, письмо к Корганову. Ввиду исключительного интереса этого письма, в ответ на которое Корганов прислал свои воспоминания, приводим его полностью [4]. Толстой писал:

Милостивый государь Иван Иосифович,

Вы не могли доставить мне большего удовольствия, как то любезное обещание ваше сообщить мне подробности о пребывании Хаджи Мурата в вашем доме. Буду очень, очень благодарен за все, что вы сообщите мне, в особенности желал бы знать подробности о внешности лиц, участвовавших в этом событии, как-то: вашего батюшки, приставленного к Хаджи Мурату пристава и самого Хаджи Мурата и его нукеров.

Простите, что вместо того, чтобы быть просто благодарным вам за вашу любезность, я еще позволяю себе заявлять свои желания, но, когда я пишу историческое, я люблю быть до малейших подробностей верным действительности. На всякий случай выпишу несколько вопросов, на которые, если вы ответите или не ответите, буду одинаково благодарен.

1) Жил ли Хаджи Мурат в отдельном доме или в доме вашего отца. Устройство дома.

2) Отличалась ли чем-нибудь его одежда от одежды обыкновенных горцев.

3) В тот день, когда он бежал, выехал ли он и его нукеры с винтовками за плечами или без них.

Много бы хотелось спросить, но боюсь утруждать вас, сам чувствую себя очень слабым.

С совершенным уважением остаюсь искренно благодарный вам

Лев Толстой

Чем больше сообщите мне подробностей, как бы незначительны они ни казались вам, тем более буду благодарен.

И. И. Корганов ответил Л. Н. Толстому обстоятельным, печатаемым ниже, письмом. Вполне понятно, что его указания, записанные пятьдесят лет спустя, по детским воспоминаниям (в 1852 г. автору было десять лет), не могли быть достаточно подробными и точными, но изложение их отличается правдивостью тона и конкретностью сообщений. Некоторые данные, приведенные И. И. Коргановым, пригодились великому писателю. Оценку этих воспоминаний находим в написанном вскоре, 8 января 1903 г., письме Толстого, адресованном престарелой А. А. Коргановой, от которой писатель также хотел получить интересовавшие его сведения. Толстой писал:

Милостивая государыня
Анна Авессаломовна,

Ваш сын, Иван Иосифович, узнав о том, что я пишу о Хаджи Мурате, был так любезен, что сообщил мне многие подробности о нем и кроме того разрешил мне обратиться к вам с просьбою о более подробных сведениях об этом, жившем у вас в Нухе, наибе Шамиля. Хотя сведения Ивана Иосифовича и очень интересны, но так как он был в то время десятилетним ребенком, то многое могло остаться для него неизвестным или ложно понятым. И потому позволяю себе обратиться к вам, уважаемая Анна Авессаломовна, с просьбою ответить мне на некоторые вопросы и сообщить мне все, что вы помните об этом человеке, о его бегстве и трагическом конце.

Всякая подробность о его жизни во время пребывания у вас, об его наружности и отношениях к вашему семейству и другим лицам, всякое кажущееся ничтожным обстоятельство, которое сохранилось у вас в памяти, будет для меня очень интересно и ценно.

Вопросы же мои следующие:

1) Говорил ли он хоть немного по-русски?

2) Чьи были лошади, на которых он хотел бежать? его собственные или данные ему? и хорошие ли это были лошади и какой масти?

3) Заметно ли он хромал?

4) Дом, в котором жили вы наверху, а он внизу, имел ли при себе сад?

5) Был ли он строг в исполнении магометанских обрядов: пятикратной молитвы и др.

Простите, уважаемая Анна Авессаломовна, что утруждаю вас такими пустяками, и примите мою искреннюю благодарность за все то, что вы сделаете для исполнения моей просьбы.

С совершенным уважением остаюсь готовый к услугам

Лев Толстой

ИЗ ИЛЛЮСТРАЦИЙ К «ХАДЖИ МУРАТУ». СМЕРТЬ ХАДЖИ МУРАТА. ВОАДНИК НАПРАВО — И. И. КОРГАНОВ

Рисунок Е. Е. Лансере, 1912 г.

Частное собрание, Москва

P. S. Еще вопрос 6) Какие были и чем отличались те мюриды, которые были и бежали с Хаджи Муратом? и еще вопрос: когда они бежали, были ли на них ружья? [5].

Одновременно с этим письмом (8 января 1903 г.) Толстой ответил и Корганову-сыну:

Милостивый государь Иван Иосифович,

Очень вам благодарен за письмо ваше и интересные подробности, которые вы мне сообщаете. С вашего разрешения я позволю себе обратиться к вашей матушке с некоторыми вопросами, или, если найду знакомого в Тифлисе, который возьмет на себя это дело, попрошу его лично обратиться к вашей матушке, что менее утрудит ее, чем письменно отвечать на мои вопросы.

Еще раз сердечно благодарю вас за вашу обязательность и остаюсь готовый к услугам

Лев Толстой

Сама А. А. Корганова не ответила Л. Н. Толстому. Поручение же его исполнил живший тогда в Тифлисе педагог и историк Кавказа С. Н. Шульгин, немало содействовавший Толстому в 1903 г. собиранием архивных и других материалов в связи с Хаджи Муратом. В своих воспоминаниях, упоминая о произведенном им «опросе» А. А. Каргановой, он говорит, что «опрос» «не дал больших результатов», так как старушка «многое перезабыла», а «иное помнила неточно»[6]. Тем не менее, он смог записать с ее слов «Воспоминания о Хаджи Мурате», которые, будучи доставлены Толстому, вероятно, в начале февраля 1903 г., были использованы писателем в его работе. Эти печатаемые нами воспоминания дают, в форме безыскусственно-простого рассказа, описание пребывания Хаджи Мурата в Нухе, его бегства, кончины, впечатления, вызванного в Нухе гибелью наиба, а также сообщают краткие ответы на вопросы, предложенные писателем. Вариант первой части воспоминаний Коргановой, менее подробный и стилистически иначе изложенный, был впоследствии напечатан С. Н. Шульгиным[7]. Некоторые подробности, сообщаемые А. А. Коргановой, совпадают со сведениями, данными ее сыном, другие противоречат им.

Воспоминания И. И. и А. А. Коргановых, как свидетельства лиц, знавших Хаджи Мурата, представляют большой интерес для изучения творческой истории последней кавказской повести Толстого. Знакомясь с этим материалом, мы узнаем, какие подробности привлекали внимание писателя, насколько удовлетворяли его присланные сведения, как претворял он эти разрозненные, порою скудные данные в художественные образы.

В комментариях мы отмечаем те характерные черты, которые писатель перенес в свою повесть из присланных ему материалов, несколько изменяя или расширяя их, по праву художника, в соответствии со своим замыслом. На некоторые вопросы он не получил ответа и восполнил эти пробелы, руководясь присущим ему гениальным чутьем и опираясь на свою глубокую осведомленность в вопросах, касавшихся личности Хаджи Мурата и его эпохи.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Шульгин С. Н., Из воспоминаний о гр. Л. Н. Толстом,— «Сборник воспоминаний о Л. Н. Толстом», изд. «Златоцвет», М., 1911, стр. 93.

[2] Подлинники помещаемых здесь воспоминаний Коргановых и заметок Е. Ф. Юнге хранятся в архиве покойного К. С. Шохор-Троцкого, предоставившего их в распоряжение автора настоящей публикации.

[3] Корганов Иван Иосифович (1842 г.—900-е годы), судебный деятель. Цитируемое дальше его первое письмо к Толстому, датированное 20 декабря 1902 г., хранится в архиве Толстого (Всесоюзная библиотека им. В. И. Ленина). Об этом письме Толстой записал 25 декабря 1902 г. в настольном календаре: «Получил письмо от сына Корганова, продиктовал ответ. По поводу Хаджи Мурата». См. Юбилейное издание, т. LIV, стр. 330 и 662—663.

[4] Отрывок из этого письма был приведен в статье: Буланже П. А., Как Л. Н. Толстой работал над «Хаджи Муратом»,— «Русская Мысль», 1913, VI, стр. 84.

[5] Приведенное письмо впервые напечатано (с подлинника) в брошюре: Бебутов Г. В., Л. Н. Толстой и Хаджи Мурат, изд. «Гермес», Эривань, 1928. Письмо было продиктовано Толстым дочери, М. Л. Оболенской, которая сделала вставку-помету: «Отец пишет не своей рукой, потому что лежит больной». Подпись собственноручная. Письмо не датировано. Г. В. Бебутов датировал его неопределенно: «Конец 1902 г.». Мы датируем на основании пометы в копировальной книге, хранящейся в Государственном Толстовском музее.

[6] Вышеуказанные (см. прим. 1-е) воспоминания, стр. 95.

[7] «Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа», вып. 40, Тифлис, 1909, стр. 68—70.

1. ВОСПОМИНАНИЯ И. И. КОРГАНОВА

(ПИСЬМО К Л. Н. ТОЛСТОМУ)

Москва, 29 декабря 1902
Б. Дмитровка, д. Пупышевой, №№ Тулон

Глубокоуважаемый
Лев Николаевич!

На письмо ваше спешу вам сообщить все, что помню об интересующем вас событии бегства Хаджи Мурада из Нухи [1]. Мне было тогда 10 лет, следовательно, кругозор мой был слишком узок. На все ваши вопросы подробнее может отвечать моя мать, которая еще жива и очень бодрая, с отличной памятью. Она живет в Тифлисе, Сололаки, соб. доме. Зовут ее: Анна Авессаломовна Корганова (урожденная княжна Бебутова), ей 82 года. Если вы обратитесь к ней, она будет

ОКРЕСТНОСТИ МОГИЛЫ ХАДЖИ МУРАТА
Рисунок Е. Е. Лансере, 1912 г.
Толстовский музей, Москва

счастлива исполнить ваше желание, хотя и я пишу ей вместе с сим и прошу ответить на те вопросы, на которые я не могу отвечать.

Отец мой, тогда полковник, Иосиф Иванович Корганов [2], армяногрегорианской веры, кончил курс в Главном инженерном училище, произведен в офицеры, саперный батальон, в 1833 г., вместе с Ф. М. Достоевским [3]. Он высокого был роста, полный мужчина, красивый, контужен в ногу, храбрец известный в Кавказской армии; в 1842 г., в чине штабс-капитана, получил Георгия 4-й ст[епени] за наведение моста через р. Чиркей, под выстрелами неприятеля, ночью, что дало возможность отряду генерала Фезе переправиться и взять кр[епость] Чиркей [4], важный пункт Шамиля. Он был (т. е. отец мой) совершенно лысый; смолоду, когда выходил в офицеры, вместе с эполетами должен был заказать парик! Был характера удивительно доброго, вспыльчивый и большой умница. Знал Кавказ, как свой карман, и говорил на всех туземных языках.

Подполковник Ия (как звали его грузины) Борисович Бучкиев [5] был прислан кн. Воронцовым [6], как пристав и прикомандированный при Хаджи Мураде, обязан был охранять и следить за ним. Он был в ссоре и врагом моего отца, о чем, кажется, знал кн. Воронцов, и какая была комбинация

князя Воронцова при назначении Бучкиева, непонятно. Отец мой говорил, что ему хотели свернуть шею; ибо весьма странно было водворять Хаджи Мурада, заведомо коварного ренегата, в г. Нухе, почти на границе Дагестана, и следовательно значительно облегчать ему бегство. Подполковник Бучкиев был тоже храбрец и георгиевский (4-й ст[епени]) кавалер за сражение при Ахульго, где он был ранен в ногу, которою он потом не владел, роста он был небольшого и отличался необыкновенным, кривым и горбатым носом, который был у него клювом. Как он мог ездить верхом с такою ногой, непонятно. Что еще более делает странным выбор его в пристава, будучи обязан сопровождать такого лихого наездника, как Хаджи Мурад. Человек он был необразованный, полуграмотный, недалекий, но хитрец и дипломат по-азиатски.

Хаджи Мурад был большого роста, плотно сложенный, красавец, с обстриженной черной бородой, конечно, крашеной, ходил в белой черкеске, щеголем [7]. Есть чудный его портрет, писанный в Тифлисе итальянцем-художником Коррадини [8] (который уже в летах поступил юнкером в Нижегородский драгунский полк, был безумный храбрец и наездник, в конце 70-х годов майором вышел в отставку, весь израненный и разбитый лошадьми). Этот портрет был литографирован в известном тогда издании «Художественный Листок» Тимма.

Были ли с Хаджи Мурадом нокёры, я точно не помню, но слуги из лезгин с ним были. Относительно винтовок точно не помню, но кажется, кроме кинжала, шашки и пистолета, другого оружия при бегстве при нем не было [9]. Он жил у нас в казенном двухэтажном доме, в нижнем этаже. Ежедневно обедал с нами за общим столом, ел мало, ничего не пил (из вин). Жидкой пищи не ел. Когда подавали ему, как гостю, первому, он ни за что не брал с блюда первым и ждал, когда возьмет моя мать, сидевшая рядом; и он с блюда пилава (который готовился ежедневно) брал заметно из того самого места, с которого брала моя мать. Это мне тогда же бросилось в глаза, и, когда я полюбопытствовал узнать о причине, мне объяснили, что это обычай на Востоке, из боязни быть отравленным. Позже, действительно, я узнал, что такой обычай существует [10]. Послеобеденные прогулки совершались ежедневно [11]. Мать моя с кем-либо из детей ехала в коляске, Хаджи Мурад, подполковник Бучкиев и два казака верхами. В день бегства мы отъехали более версты, у самой опушки леса Хаджи Мурад выхватил пистолет и на месте выстрелом убил одного из казаков; кажется, он стрелял и в Бучкиева, но не попал и поскакал в лес. Бучкиев немедленно послал другого казака доложить отцу моему о бегстве, а сам остался и проводил до дому перепуганную мать мою; когда мы вернулись домой, во дворе была уже тревога, суматоха. Отец распоряжался сбором войска и благодарил (иронически, как потом мне говорил отец) Бучкиева за спасение жены и детей. Но Бучкиев этой иронии не понял. Отец мой выступил с двумя ротами солдат около шести часов вечера; и благодаря тому, что он, как инженер, знал хорошо топографию уезда и все тропинки, а также знал, каким путем Хаджи Мурад должен был ехать в Дагестан [12], перерезал ему дорогу и настиг в лесу, где началась ожесточенная перестрелка,— у Хаджи Мурада было уже около 15-ти всадников, которые, вероятно, его ожидали на дороге.

Рассказывали, что Хаджи Мурад получил 14 пуль в грудную область и все еще не сдавался; после каждой пули он затыкал дыру каким-то удивительным восточным пластырем и как будто не чувствовал раны [13]. Так живьем он не дался; когда наконец его убили, отец приказал снять голову и в спирте ее отправил в Тифлис наместнику, чтобы не было сомнений, что убит именно Хаджи Мурад. Голова эта была выставлена в пожарном депо, и весь город ходил смотреть [14].

ИЗ ИЛЛЮСТРАЦИЙ К «ХАДЖИ МУРАТУ»
Рисунок Отомара Штарке (немецкое издание «Хаджи Мурата»)

Отец мне позже говорил, что если бы ему не удалось поймать Хаджи Мурада, то пришлось бы головой за него отвечать, так как он высмотрел нашу дизлокацию, знал слабые стороны и Шамиль легко мог овладеть Тифлисом. Вот был бы скандал, все бы свалили на отца! Замечательно, как мне говорила потом мать моя, что она, имея дурное предчувствие, не хотела в тот день ехать на прогулку, но Хаджи Мурад ее уговорил. Отец мне потом говорил, что если бы он знал о таком предчувствии моей матери, которому он всегда верил, то, вероятно, принял бы какие-нибудь особенные меры. Замечательно также, что отец мой никакой награды за поимку Хаджи Мурада не получил, кроме любезного письма, и то от начальника штаба, даже не от Воронцова [15]; говорили, что был обширный донос от Бучкиева, который старался оградить себя от ответственности. Вообще, известно, что Воронцов, будучи особенно расположен к грузинам, и более к г р у з и н к а м, не любил армян, а между грузинами и армянами всегда был антагонизм. Грузины не могли переварить того, что армяне умнее и способнее их, и денег больше имеют, при чем армяне, особенно дворяне, не менее их храбры и доблестны на поле брани [16]. Одних военачальников из армян была масса (Бебутов [17], Аргутинский [18], Тергукасов [19], Лазарев [20], Лорис-Меликов [21], Корганов [22], Шелковников [23] и много других). Воронцов слушал наушников и был чистокровным иезуитом. Когда он кого-либо обнимал, значит тому капут, так все и знали. Впрочем, я думаю, все это вам лучше известно.

Вот все, что я могу вам сообщить; буду счастлив, если хоть капельку буду вам полезен. Как получу от матери ответ, тотчас перешлю вам. Но лучше, если вы сами к ней обратитесь. Засим, желая душевно скорого вашего выздоровления [24] на радость всего человечества, остаюсь глубоко вас уважающий почитатель.

Ив. Корганов [25]

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Н у х а — в 50-х годах XIX в. уездный город Шемахинской губернии.

[2] К о р г а н о в Иосиф (Осип) Иванович, в 50-х годах XIX в. уездный начальник в Нухе, впоследствии ген.-майор, умер в 1870 г. О нем см.: «Словарь кавказских дея-

телей», Тифлис, 1890, стр. 44; «Акты Кавказской археографической комиссии», Тифлис, X, указатель личных имен; Зиссерман А., Фельдмаршал кн А. И. Барятинский, М., 1888, I. Упоминание о Корганове встречаем в гл. XXV «Хаджи Мурата» Толстого. В исторических и историко-литературных источниках находим двоякое написание этой фамилии: Корганов и Карганов. Сами Коргановы писали свою фамилию через «о», но Толстой в повести своей написал ее через «а». Быть может в этом сказалась характерная для него манера слегка изменять фамилии.

[3] Достоевский Федор Михайлович (1821—1881) обучался в Инженерном училище в 1838—1843 гг.; в офицеры произведен не в 1833 г., как указывает И. И. Корганов, а в 1841 г.

[4] Черкей — укрепление на реке Сулак, было занято русскими войсками 15 мая 1841 г. Принимавший участие в этой операции ген.-лейт. Фези Карл Карлович (1797—1848) — один из видных участников кавказской войны. За участие в осаде Черкея Корганов был представлен к георгиевскому кресту 4-й степени, причем о нем был дан подробный отзыв с описанием и характеристикой произведенной им военно-инженерной работы см. Гизетти А. Л., Сборник сведений о георгиевских кавалерах и боевых знаках отличий кавказских войск, Тифлис, 1901, стр. 63—64).

[5] Бучкиев Иван Борисович до назначения на должность пристава в Нуху служил в действующей армии на Кавказе. За участие в защите Ахтинского укрепления (1848 г.) получил георгиевский крест 4-й степени.

[6] Воронцов Михаил Семенович, князь (1782—1856), с 1844 г. состоял главнокомандующим кавказских войск и наместником Кавказа. Изображен Толстым в «Хаджи Мурате».

[7] Толстой воспользовался данным описанием наружности Хаджи Мурата, причем, как художник, расширил и детализировал его. Ср. следующие места из его повести: «Впереди всех ехал на белогривом коне, в белой черкеске в чалме на папахе и в отделанном золотом оружии человек внушительного вида. Человек этот был Хаджи Мурат» (гл. V); «Хаджи Мурат был одет в длинную белую черкеску, на коричневом, с тонким серебряным галуном на воротнике бешмете» (гл. X). Толстой отмечает, что у Хаджи Мурата были «быстрые, черные глаза» (гл. I) «небольшие, загорелые руки (гл. X), бритая голова, «черная стриженая бородка и подстриженные усы» (гл. XXIV).

[8] Несколько картин и рисунков В. Коррадини воспроизведено в труде В. А. Потто «История 44-го драгунского Нижегородского полка» (СПБ., 1894—1895, тт. VI и VII), в том числе картины, изображающие Хаджи Мурата во весь рост, с оружием в руках (т. VI, стр. 5) и на коне (т. VI, стр. 93). Литография Тимма портрета Хаджи Мурата имеется в Дагестанском музее.

[9] Толстой в своей повести отмечает, что нукеры Хаджи Мурата, готовясь к бегству, пересматривали свои винтовки, пистолеты, шашки и кинжалы (гл. XXIII).

[10] Упоминание о том, что Хаджи Мурат ежедневно обедал у Коргановых, ошибочно. А. А. Корганова в своих воспоминаниях (см. ниже) указывает, что Хаджи Мурат был в их доме всего два раза. Рассказ об опасении наиба быть отравленным подтверждается словами А. А. Коргановой. Эта характерная подробность использована Толстым, но вставлена им в описание пребывания у Воронцовых:

«За обедом Хаджи Мурат ничего не ел, кроме плова, которого он взял себе на тарелку из того самого места, из которого взяла себе Марья Васильевна.

— Он боится, чтобы мы не отравили его,— сказала Марья Васильевна мужу.— Он взял, где я взяла» (гл. VI).

[11] В «Актах Кавказской археографической комиссии» отмечается, что Хаджи Мурат ежедневно прогуливался по городу с конвоем и своими нукерами (т. X). Этот источник был известен Толстому; в письме к С. Н. Шульгину он писал (21 февраля 1903 г.): «Все, что было напечатано о Х. М., есть у меня. Есть также и 10-й том актов арх. ком., в котором есть кое-что новое о Х. М.».

О прогулках Хаджи Мурата упоминается и в повести: «Хаджи Мурату было разрешено кататься верхом вблизи города и непременно с конвоем казаков» (гл. XXV).

[12] Более подробные и точные сведения о бегстве Хаджи Мурата были известны Толстому из «Актов Кавказской археографической комиссии» (т. X); там же упоминается, что Корганов, при преследовании Хаджи Мурата, приказал обратить особое внимание на пространство от сел. Шин к Беляджику, на границе Елисуйского приставства, т. е. на путь, по которому в 1850 г. Хаджи Мурат вторгнулся в Нухинский уезд и вернулся назад.

[13] Толстой более реально излагает эту подробность: «Хаджи Мурат вырвал вату из бешмета, заткнул себе рану и продолжал стрелять» (гл. XXV).

[14] Кн. Воронцов писал кн. Барятинскому о конце Хаджи Мурата: «Он умер храбрецом. С четырьмя пулями в теле, шатаясь, он с одним из своих людей бросился с шашкой в руке вперед и был изрублен саблями и кинжалами. Пять голов были отправлены в Нуху, а голова Хаджи Мурата будет прислана сюда, где Андриевский хочет ее препарировать и отослать в Академию» (Зиссерман А.,

Фельдмаршал кн. А. И. Барятинский, М., 1888, I, стр. 212). «Голова Хаджи Мурата была отрезана и привезена в Тифлис. Впоследствии ее отправили в Петербург к известному профессору-хирургу Пирогову, который, как известно, и передал ее в один из наших санктпетербургских музеев» (Потто В. А., История 44-го драгунского Нижегородского полка, СПБ., 1894, VI, стр. 98). А. А. Корганова также упоминает об отрубленной голове Хаджи Мурата. Эта подробность внесена в повесть Толстого:

«Хаджи-Ага наступил ногой на спину тела и с двух ударов отсек голову и осторожно, чтобы не запачкать в кровь чувяки, откатил ее ногой. Алая кровь хлынула из артерий шеи и черная из головы и залила траву» (гл. XXV).

« — Вот она,— сказал Каменев, доставая человеческую голову и выставляя ее на свет месяца.— Узнаете?

Это была голова, бритая, с выступами черепа над глазами и черной стриженой бородкой и подстриженными усами, с одним открытым, другим полузакрытым глазом, с окровавленным, разрубленным и недорубленным бритым черепом, с запекшейся черной кровью в носу. Шея была замотана окровавленным полотенцем. Несмотря на все раны головы, в складе посиневших губ было детское, доброе выражение» (гл. XXIV).

Первое печатное сообщение о смерти Хаджи Мурата было опубликовано в следующей заметке:

ИЗВЕСТИЕ С КАВКАЗА

Хаджи Мурат, находившийся в г. Нухе, 22 апреля, выехав из города под предлогом прогулки, внезапно выстрелом из пистолета ранил сопровождавшего его квартального офицера, между тем как товарищ его убил конвойного урядника, и в то же время изменник с четырьмя приближенными ускакал по направлению к горам. Но скорые, решительные распоряжения управляющего Нухинским уездом подполковника Корганова не позволили Хаджи Мурату скрыться. Милиция Нухинская и Карабахская под начальством майора князя Туманова и шт.-кап. князя Аргутинского-Долгорукого, Елисуйская с приставом своим поручиком Хаджи-Ага-Беком и корнетом Ахмет-Ханом открыли беглецов в лесу близ сел. Белядшика и утром 23-го апреля, после отчаянного сопротивления, положили всех на месте.

(Газета «Кавказ», 26 апреля 1852 г., № 25).

[15] В переписке с кн. Барятинским кн. Воронцов с большой похвалой упомянул о Корганове: «Бучкиев, который заместил нашего храброго Лорис-Меликова, не сумел во-время принять предосторожности и позволил Хаджи Мурату прогуливаться с недостаточным конвоем; однако, превосходные меры, принятые Коргановым, все сгладили и, вместо неприятных для нас последствий, катастрофа с Хаджи Муратом оказалась счастливою и полезною для нас и в особенности для меня, так как на моих плечах лежала громадная ответственность» (Зиссерман А., там же, стр. 212).

[16] В этом высказывании Корганова, армянина по национальности, звучит националистическая нота.

[17] Бебутов Василий Осипович, князь (1791—1858), состоял адъютантом Ермолова, впоследствии командовал войсками в Дагестане.

[18] Аргутинский-Долгоруков Моисей Захарович, князь (1797—1855), ген.-ад., участник войн персидской, турецкой, кавказской. Шесть лет управлял Дагестаном. Толстой упоминает о нем в гл. XXII «Хаджи Мурата».

[19] Тергукасов Арвас Артемьевич (1819—1881), ген.-лейт., один из видных участников кавказской войны.

[20] Лазарев Иван Давидович (1820—1879), ген.-ад., один из видных деятелей кавказской войны. Принимал участие во взятии Гуниба.

[21] Лорис-Меликов Михаил Тариэлович (1825—1888), известный государственный и военный деятель, участник кавказской войны. Изображен Толстым в «Хаджи Мурате» (гл. X—XIII).

[22] Корганов, однофамилец автора письма, с 1835 по 1841 г. служил в Нижегородском драгунском полку. Состоял начальником Самурской милиции. Е. А. Головин, командующий отдельным кавказским корпусом, сообщал о нем военному министру, как об одном из выдающихся на Кавказе штаб-офицеров. Корганов скончался вскоре после черкеевской экспедиции.

[23] Шелковников Борис Мартынович (1837—1878), ген.-майор, принимал участие в кавказской и русско-турецкой (1877—1878) войнах; состоял военным губернатором Эрзерумской области.

[24] В декабре 1902 г. Толстой был тяжело болен.

[25] На конверте этого письма И. И. Корганова почтовые штемпели: отправления — «Москва 2.1.1903» и получения — «ст. Козловка-Засека Моск. Курск. ж. д. 3.1.1903». Ответ Толстого на это письмо см. выше во вступительной заметке.

2. ВОСПОМИНАНИЯ А. А. КОРГАНОВОЙ

О ХАДЖИ МУРАТЕ

Муж мой был уездным начальником Нухинского уезда. Его любили и свои и татары. Жили мы в небольшом доме (какие там дома?!), 2-этаж[ном]. В нем была только одна большая комната — гостиная (она же и столовая), остальные были детские, мелкие. В нижнем этаже одну комнату занимал хозяин, а другие отводились у меня для гостей. Сада при доме не было, а так двор был засажен деревьями, обыкновенно чем — тутой.

Мурат жил не с нами, а отдельно, внутри города, а город наш маленький. Квартира его состояла, может быть, из двух-трех маленьких комнат[1], с ним жило трое или четверо его людей[2]. Муж мой распорядился смотреть, не имеет ли Мурат сношений с Дагестаном, например, писем и т. п.

В доме он у нас был всего-то 2 раза. Первый раз — с визитом, второй — приглашен на обед. Как пришел первый раз, выводили к нему детей. Моя маленькая дочь и муж заметили, что у него выглядывает из широкого рукава головка маленького ружья *. Но, конечно, ничего ему об этом не сказали,— неловко было сказать.

Когда пригласили его к обеду, муж принял предосторожности: во дворе поставил городового, а в дверях гостиной (где мы обедали)—пристава.

Для Мурата были заказаны его азиатские блюда (напр[имер], плов), но были и другие (для нас). Муж скоро заметил, что Мурат не дотрогивается до блюда (кажется, ели все из одного блюда), и сам первый начал есть с блюда. Тогда Мурат повернул к себе блюдо той же стороной и отсюда стал есть (верно, боялся отравы)[3]. После обеда вышли на балкон, который обращен был во двор. Мурат попросил мужа показать ему лошадей. Вывели ему. «Какие прекрасные у вас лошади!» — сказал он. Особенно ему понравилась верховая мужа. Мурат попросил покататься. Муж и говорит мне: «Поедем вместе, возьми и детей». Я ехала с детьми в экипаже, а впереди нас мужчины верхами[4]. При Мурате были его люди, три-четыре человека (как и он, вооруженные,— так всегда они ходили).

Вот он просит ехать дальше и дальше. Муж подумал немного, а потом обратился к бывшему с нами Туманову[5] (кажется, был полковым командиром): «Отправляйтесь, пожалуйста, с моей семьей назад». Мы вернулись с ним домой, а муж остался с компанией: боялся, пожалуй, убежит.

Через некоторое время они вернулись благополучно. Было это, вероятно, на 2-й день после его приезда к нам в Нуху[6]. На другой же или 3-й день[7] стал он опять проситься ехать кататься. На этот раз муж отказался его сопровождать, сказал, что у него есть бумаги, занятия. Запретить же ему было неловко: покажешь тем недоверие. Тогда Мурат взял своих лошадей (чьи это были лошади, хорошенько не знаю, но отлично помню, что не наши) и поехал со своими людьми. Впрочем, муж дал ему еще нескольких провожатых, и в том числе урядника, которому очень доверял[8]. Это было, кажется, утром[9]. Едет, едет Мурат и видит, что далеко заехал. Вдруг он поворачивает коня, вынул пистолет и выстрелил в полицейского. Забыла я, убил ли он кого-нибудь из них. Только они догадались, в чем дело, и поскакали назад. А Мурат с своими бежал.

---

* Вероятно, пистолет. — *С. Ш[ульгин]*.

Приезжают к мужу и докладывают: так и так, говорят, убежал... Муж сейчас же сделал распоряжение и дал знать по всем селениям, так как знал, по какой дороге он убежал (на этой же дороге он раньше хотел убить наследника)[10]. Да если бы хотел бежать другой дорогой, то приходилось бы ему итти назад, через Нуху. Весь край поднялся на поимку Мурата: к толпе присоединялись целые селения. Набралось несколько сот.

Видит Мурат, что плохо его дело, и спрятался в лесу, и, когда толпа подошла, он стал стрелять, и его убили. Люди приехали к мужу и объявили, что голову Мурата везут воткнутую на палку. Муж поехал к ним навстречу. А мы плакали со страху. Когда в городе узнали, что Мурат бежал, то все чиновники Нухи (не татары) сошлись у меня на дворе с семействами и прислугой (двор был обнесен оградой из булыжника): боялись дома оставаться, как бы чего татары не сделали. Так всю ночь и просидели, без сна, в ожидании нападения. Потом уж более не боялись: в Нухе и кругом, ведь, все войска. Голову Мурата доставили в Тифлис и показывали народу на Эриванской площади[11].

ОТВЕТЫ НА ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Мурат был росту среднего, с лица, как все татары: ничем от татар не отличался; так и в одежде. Не помню, чтобы хромал[12]. По-русски ни одного слова не говорил[13]. Подходил ли к хозяйке здороваться, благодарить за обед и т. п.? Муж мой этого бы не допустил, не доверяя ему[14].

Был ли он подвижной или спокойный? — Нет, спокойный[15]; он, бедный, был, ведь, растерян — бежал от Шамиля, столько перенес, там была неудачная война у него.

ИЗ ИЛЛЮСТРАЦИЙ К «ХАДЖИ МУРАТУ»
Рисунок Отомара Штарке (немецкое издание «Хаджи Мурата»)

Как он исполнял свои обряды — не помню [16]. Мечеть в Нухе есть [17], но едва ли он туда ходил в эти дни: времени не было, у него на уме — бежать, убивать...

С ружьем ли был Мурат, когда бежал, не помню: да, ведь, они всегда бывали вооруженные [18].

Чьи лошади и какой масти — этого не помню [19].

Как Мурат попал в Нуху?—Сын главнокомандующего * где-то возле Владикавказа ** познакомился с Муратом [21]. «Примите, говорит, меня: я буду вам полезен, убью Шамиля и завоюю его владения» [22]. Тот написал отцу, спрашивая разрешения. «Пусть приедет»,— ответил главнокомандующий. Вот Мурат и приехал в Тифлис сначала. Все здесь очень удивлялись тому, как он верхом на коне переехал Куру в брод (шельма! верно, хотел лучше распознать, откуда напасть). Из Тифлиса его доставили на почтовых к нам в Нуху.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Ср. описание Л. Толстого: «В Нухе Хаджи Мурату был отведен небольшой дом в пять комнат, недалеко от мечети и ханского дворца» (гл. XXII).

2 Хаджи Мурат имел четырех нукеров; это были: Гамзало, Элдар, Хан-Магома и Ханефи («Акты Кавказской археографической комиссии», т. X, стр. 540). В повести Толстого у Хаджи Мурата было пять нукеров: Гамзало, Элдар, Хан-Магома, Ханефи, Курбан.

3 См. прим. 10-е к воспоминаниям И. И. Корганова.

4 О поездке Хаджи Мурата с Бучкиевым и Коргановым упоминается в тех же «Актах» (т. X).

5 В названных «Актах» (т. X) в описании бегства Хаджи Мурата упоминается майор Тифлисского полка кн. Туманов; имя кн. Туманова встречаем и в заметке о смерти Хаджи Мурата, напечатанной в газете «Кавказ» за 1852 г. (см. выше прим. 14-е к воспоминаниям И. И. Корганова).

6 Хаджи Мурат прибыл в Нуху 18 апреля; на обеде у Коргановых он был 21 апреля («Акты», т. X). У Толстого срок пребывания Хаджи Мурата в Нухе более длителен; например, в гл. XXII приезд чиновника Кириллова к наибу датирован 8 апреля.

7 Последняя поездка Хаджи Мурата состоялась 22 апреля («Акты», т. X). У Толстого бегство Хаджи Мурата датировано 25 апреля.

8 В этот день Хаджи Мурата, помимо четырех его нукеров, сопровождал конвой из пяти человек («Акты», т. X).

9 По официальному донесению, Хаджи Мурат в день побега все утро провел дома и выехал из Нухи после обеда («Акты», т. X).

10 Военный историк В. А. Потто, описывая побег Хаджи Мурата, отмечает: «К счастью, его скоро настигли на том самом тракте, на котором он шел в 50-м году к Бабараминской станции, рассчитывая напасть на поезд наследника» (Потто, И. Д. Лазарев, Тифлис, 1900, стр. 135). Наследник — Александр Николаевич, впоследствии император Александр II.

11 См. выше прим. 14-е к воспоминаниям И. И. Корганова.

12 В неизвестных Толстому (новейших) мемуарах сына и внука Хаджи Мурата отмечается, что Хаджи Мурат немного прихрамывал на обе ноги.

Толстой в повести несколько раз упоминает о хромоте Хаджи Мурата, но указывает, что он прихрамывал на одну ногу: «Хаджи Мурат слез с лошади и, слегка прихрамывая, вошел под навес» (гл. I); «Хаджи Мурат шел, быстро ступая по паркету приемной, покачиваясь всем тонким станом от легкой хромоты на одну, более короткую, чем другая, ногу» (гл. X).

13 В повести Толстого указывается: «Он немного понимал по-русски, но не мог говорить, и когда не понимал, улыбался». Писатель отмечает, что иногда наиб употреблял русские выражения:

«Хаджи Мурат всегда слушал эту песню с закрытыми глазами и, когда она кончалась протяжной, замирающей нотой, всегда по-русски говорил:

— Хорош песня, умный песня».

«— Прощай, прощай, — улыбаясь, по-русски сказал Хаджи Мурат. — Кунак булур. Крепко кунак твой. Время айда, пошел...»

«— Ну, прощай, — сказал он опять по-русски...».

---

* Не могла вспомнить Воронцова. — *С. Ш[ульгин]*.

** Ст. Воздвиженская. См. у Потто [20], стр. 178. [Примечание С. Н. Шульгина.]

ИЗ ИЛЛЮСТРАЦИЙ К «ХАДЖИ МУРАТУ»
ХАНША и АСЕЛЬДЕР
Рисунок Е. Е. Лансере
Толстовский музей, Москва

[14] Ср. сцену встречи Хаджи Мурата с княгиней Воронцовой в повести Толстого (гл. X).

[15] Описывая душевное состояние Хаджи Мурата в начале пребывания среди русских, Толстой отмечает выдержанное спокойствие его: «Широко расставленные глаза его спокойно глядели вперед и, казалось, никого не видели» (стр. 146); «С восточным, мусульманским достоинством, не только без выражения удивления, но с видом равнодушия просидев первый акт, Хаджи Мурат встал и, спокойно оглядывая зрителей, вышел обращая на себя внимание всех зрителей» (гл. X).

[16] Толстой часто упоминает в повести о строгом соблюдении Хаджи Муратом религиозных обрядов.

[17] Об этом упоминает и Толстой: «Кроме того, в Нухе, магометанском городе, была мечеть, где он более удобно мог бы исполнять требуемые магометанским законом молитвы». Отведенный Хаджи Мурату дом был «недалеко от мечети» (гл. XXII).

[18] Ср. в повести Толстого: «— А ты, Гамзало, прикажи молодцам осмотреть ружья, пистолеты, приготовить заряды. Завтра поедем далеко,— сказал Хаджи Мурат» (гл. XXIII).

[19] Толстой тщательно отмечает масть лошадей, которыми пользовался наиб. К Воронцову он приехал на «белогривом коне» (гл. V). Далее упоминается его другой конь — «рыже-игреневый красавец конь с маленькой головой, прекрасными глазами» (гл. XVIII). В день побега наиб отправился на «белом кабардинце» (гл. XXV).

[20] Потто В., Хаджи Мурат,— «Военный сборник», т. LXXVI, 1870.

[21] Воронцов Семен Михайлович, князь (ум. в 1882 г.), сын М. С. Воронцова, наместника Кавказа; изображен Толстым в повести (гл. III, V, VI). Встреча молодого Воронцова с Хаджи Муратом состоялась в укреплении Воздвиженское, как это описывает Толстой.

[22] Ср. эту подробность у Толстого: «Полторацкий указал Хаджи Мурату на показавшегося по дороге Воронцова. Хаджи Мурат направился к нему и, подъехав, приложил правую руку к груди и сказал что-то по-татарски и остановился. Чеченец-переводчик перевел:

— Отдаюсь, говорит, на волю русского царя, хочу, говорит, послужить ему. Давно хотел, Шамиль не пускал» (гл. V).

Почти то же говорит наиб наместнику Кавказа: «— Отдаюсь под высокое покровительство великого царя и ваше. Обещаюсь верно, до последней капли крови служить белому царю и надеюсь быть полезным в войне с Шамилем, врагом моим и вашим» (гл. X).

II. ЗАМЕТКИ Е. Ф. ЮНГЕ О НИКОЛАЕ I

В числе рукописных материалов, которыми Толстой пользовался в процессе творческой работы над повестью «Хаджи Мурат», находились и публикуемые ниже заметки Е. Ф. Юнге.

Екатерина Федоровна Юнге (1843—1913), художница и мемуаристка, дочь гр. Федора Петровича Толстого (1783—1873), известного художника, бывшего почти полвека вице-президентом и товарищем президента Академии художеств. Л. Н. Толстому она доводилась троюродной сестрой. Замужем была за профессором-окулистом Э. А. Юнге.

Екатерина Федоровна на протяжении своей долгой жизни, начиная с детских лет, знавала многих замечательных людей. В доме ее отца бывали лучшие представители литературы и искусства, в том числе и близкий друг ее родителей, Т. Г. Шевченко.

Благодаря этому, написанные Е. Ф. Юнге живые и содержательные «Воспоминания» [1], охватывающие середину прошлого века (1843—1863), представляют очень большой интерес. Недаром Л. Н. Толстой, по его выражению, «зачитывался ее воспоминаниями не в положенное время» [2]. Толстой любил беседовать с ней и слушать ее рассказы.

В тех же своих «Воспоминаниях» Е. Ф. Юнге упоминает о начале своего знакомства с Л. Н. Толстым, когда он после Крымской кампании приехал в Петербург и бывал в доме ее отца. Она пишет: «После войны приезжал в Петербург и явился к нам Л. Н. Толстой; он тогда был еще очень молод, но его произведения читались нарасхват; он уже стоял на ряду с лучшими писателями, а наш кружок ставил его выше многих; в его «Детстве» и «Севастопольских рассказах» веяло чем-то совсем новым, но таким, что находило отголосок во многих сердцах» [3].

Впоследствии, почти через тридцать лет, Екатерина Федоровна возобновила знакомство с Толстым, вследствие впечатления, произведенного на нее в 1884 г. «Евангелием» Толстого [4]. Лев Николаевич теперь с большой теплотой стал относиться к ней, и она многократно бывала у него и иногда переписывалась с ним [5]. По свидетельству писателя С. Я. Елпатьевского, Е. Ф. Юнге «удивительно походила лицом на Льва Николаевича», «и не одним только лицом,— в ней много было толстовского» [6].

Вероятно, в приезд Е. Ф. Юнге в Ясную Поляну в начале февраля 1903 г. Толстой рассказал ей о собирании им материалов для работы над повестью «Хаджи Мурат», и в частности для главы о Николае I. Можно думать, что Толстой просил Юнге прислать ему такие материалы. В мае того же года она вновь приехала в Ясную Поляну и прогостила у Толстых неделю.

В этот раз, как записала в своем «Ежедневнике» С. А. Толстая, Екатерина Федоровна привезла Толстому какие-то материалы для повести «Хаджи Мурат» [7]. Повидимому, среди этих материалов были и написанные ею заметки о Николае I. Несомненно, что заметки эти написаны специально для Толстого и по его просьбе. Только два из семи записанных ею эпизодов (IV и VI) отмечены ею в обширных ее «Воспоминаниях» (стр. 119), при чем один в несколько другой редакции, а другой лишь в виде краткого упоминания.

Заметки Е. Ф. Юнге касаются личности Николая I, которой Толстой в то время очень интересовался.

Образ Николая I, эпизодически выведенный им в повести «Отец Сергий» (1890—1898), обрисован в «Хаджи Мурате» чрезвычайно глубоко.

Писатель, создавая пятнадцатую главу этой повести, посвященную характеристике царя, собирал, со свойственной ему тщательностью, всевозможные материалы о нем, обращался с запросами к различным лицам. В письме к А. А. Толстой (от 26 января 1903 г.) он говорил по этому вопросу следующее: «Я пишу не биографию Николая, но несколько сцен из его жизни мне нужны в моей повести «Хаджи Мурат». А так как я люблю писать только то, что я хорошо понимаю, ayant, так сказать, les coudées franches, то мне надо совершенно, насколько могу, овладеть ключом к его характеру. Вот для этого-то я собираю, читаю все, что относится до его жизни и характера» [8].

Толстой предполагал уделить обрисовке Николая I и семнадцатую главу повести но впоследствии отказался от этой мысли, а затем решил, «если будет время», писать о Николае отдельно[9]. Один из вариантов главы «Хаджи Мурата», посвященной Николаю I, опубликован в первом полутоме настоящего издания.

Заметки Е. Ф. Юнге содержат в себе отдельные эпизоды и детали, относящиеся к различным моментам жизни Николая I и характеризующие его, как деспота и самодура.

Внимание писателя, как мы отмечаем далее, привлекли два эпизода, рассказанные Е. Ф. Юнге,—первый и последний. Первый использован им частично, последний — почти полностью. Толстой опустил в повести имя казачьего офицера и внес в этот эпизод высокохудожественные детали, выпукло обрисовывающие личность царя, любившего «поразить людей, повергнутых в ужас, контрастом обращенных к ним ласковых слов» (гл. XV).

Первый и седьмой эпизоды потому привлекли особое внимание писателя, что они соответствовали его желанию проникнуть в интимную, повседневную жизнь царя. «Мне нужно,— писал он в цитированном выше письме А. А. Толстой,— именно подробности обыденной жизни, то, что называется la petite histoire: история его интриг, завязывавшихся на маскараде, его отношение к Нелидовой и отношение к нему его жены».

Для мотива о маскараде А. А. Толстая ничего не сообщила Льву Николаевичу, что он мог бы использовать. «Я никогда не слыщала,— писала она ему,—чтобы маскарады вели за собой какие-нибудь приключения. Государь бывал на них для отдыха и для забавы и на следующее утро, смеясь, подробно рассказывал о них императрице, иногда и при мне»[10].

В заметках Е. Ф. Юнге писатель нашел именно то, что ему было так необходимо для характеристики Николая I. Оба отмеченные нами эпизода касаются именно маскарадных встреч царя.

Так из многочисленных печатных, архивных и мемуарных источников, разновременных, разнородных по содержанию и стилю, великий мастер слова в процессе кропотливой, вдумчивой работы отбирал все, что ему могло пригодиться, и объединял разрозненные, нужные для его творческого замысла мотивы в один правдивый художественный образ.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 «Воспоминания Е. Ф. Юнге, урожд. граф. Толстой. 1843—1863», изд. «Сфинкс», М., 1914. Извлечения из этих «Воспоминаний» были ранее, еще при жизни Юнге, напечатаны в «Вестнике Европы» (1905, №№ 2—5).

2 См. там же, стр. XV.

3 Там же, стр. 68.

4 Установлено по письмам Е. Ф. Юнге к Толстому, хранящимся в его архиве (Всесоюзная библиотека им. В. И. Ленина).

5 См. Юбилейное издание, т. LXIII, стр. 323.

6 Елпатьевский С. Я., Воспоминания за 50 лет, изд. «Прибой», Л., 1929, стр. 288—291. Еще см. посвященную Е. Ф. Юнге статью А. П. Новицкого в «Русских Ведомостях», 1913. № 18, а также статью, напечатанную в виде предисловия к книге ее «Воспоминаний».

7 См Юбилейное издание, т. LIV, стр. 383.

8 Письмо опубликовано в книге: «Переписка Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой», СПБ., 1911, стр. 378.

9 См. дневниковые записи Толстого от 18 июня 1903 г. и 25 февраля 1904 г.

10 Письмо А. А. Толстой от 31 января 1903 г. См. сб. «Толстой. Памятники творчества и жизни», I, изд. «Огни», 1917, стр. 24.

Е. Ф. ЮНГЕ О НИКОЛАЕ I

I

Моя сестра Марья Федоровна Каменская [1] была известная в Петерб[урге] красавица. Когда она, девушкой, гуляла под руку с отцом и им встречался император Николай Павлович, то последний осаживал лошадей и выходил из экипажа, чтобы пройтиться и побеседовать с ними, и тем ужасно сердил моего отца, который, приходя домой, говорил: «Ну, нет, если он опять это сделает, я его побью».

Когда сестра моя была уже замужем, Николай Павлович очень ухаживал за ней в маскарадах. Сестра рассказывала, что за ними там всегда ходил по стопам какой-то субъект; раз Н. П. заметил его и обернулся к нему, и субъект вдруг исчез, как сквозь землю провалился. Один раз, тоже в маскараде, Н. П. говорил ей, что не знает другой такой умной и привлекательной женщины, как она, и вдруг остановился и сказал: «Просите у меня теперь все, что вы хотите, даю вам мое царское слово, что не откажу, что бы это ни было». Она ответила, что не из корыстных видов беседует с ним, что ей ничего не надо [2]. Впоследствии ее горькая жизнь заставила ее не раз прибегать к императору, который один мог помочь ей; не знаю, помня ли свое обещание или просто по расположению к ней, он всегда исполнял ее, иногда очень важные, просьбы, как, например, о позволении вернуться ее бежавшему за границу мужу.

II

Марья Ф[едоровна] Каменская, еще молоденькой девушкой, купила на рынке большую палку для занавесок и горшок для соления огурцов, она везла это на извозчике. Ехал навстречу государь, и она чуть-чуть не задела его по голове палкой. Он весело поклонился ей, а потом, у императрицы, сказал фрейлинам: «Вы вот, mesdames, конфузитесь маленький пакет нести сами, а я сейчас встретил Мари Толстую, которая сама везет какую-то большую палку и самый простой глиняный горшок. Вот женщина, у которой нет ни капли ложного стыда, и это прелестно».

III

В мастерской барона Клодта [3] Николай Павлович часто бывал, любил следить за его работой. Раз Петр Карлович лепил с натуры лошадь; ему надо было сделать копыто приподнятой на воздухе ноги, но никого не было, чтобы помочь ему. Он оглянулся и сердито крикнул государю: «Ну, чего вы сидите — ничего не делаете! Видите, глина сохнет, держите копыто!». Ник[олай] Пав[лович] послушно встал и долго держал копыто лошади, пока художник не кончил работы.

IV

Ник[олай] Павл[ович] смотрел в мастерской отца [4], при полном собрании конференции Академии и своей свиты, заказанную им статую нимфы для петерг[офского] фонтана. Она ему в гипсе понравилась, но у него было обыкновение, вероятно, чтобы показать свое понимание в искусстве, делать художникам замечания, иногда или даже большей частью неверные, а художники, желавшие получить заказ, подобострастно исполняли его поправки или после как-нибудь изворачивались.

— Хорошо,— сказал Н. П. отцу,— только ты мне сделай это колено полукруглее.

— И не подумаю, — отвечал отец.

Государь бросил на него один из тех взглядов, кот[орыми], как говорили тогда, на месте убивал людей, и крикнул: «Это что значит?!».

— А то, — отвечал спокойно отец, — что это было бы неверно по анатомии и я этого делать не буду. Когда вытянута нога, не может быть круглое колено, потому что при этом движении напрягается такой-то мускул...

— Ну, ну,— улыбаясь, перебил его государь,— уж я знаю, что с тобой не сговоришь, тебя не переспоришь. Делай, как знаешь.

ИЗ ИЛЛЮСТРАЦИЙ К «ХАДЖИ МУРАТУ». КРЕПОСТЬ ВОЗДВИЖЕНСКАЯ

Рисунок Е. Е. Лансере, 1912 г.
Толстовский музей, Москва

V

Ник[олай] Павл[ович] часто приходил утром к К. П. Брюллову[5] и, застав его в постели, садился к нему на кровать и говорил: «А ты, верно, опять был пьян вчера...».

VI

РАССКАЗ МОЕГО ОТЦА

«Пошел я посмотреть парад (в Петергофе жил, на даче), пробрался к самой царской палатке, стою, разговариваю с разными знакомыми генералами. Смотрю: государь идет, да прямо на меня, и страшные свои глаза делает. Думаю: за что это он на меня злится, но смотрю ему прямо в глаза. Он на меня глаза вытаращил, а я на него... Подходит близко, опустил глаза и прошел в сторону. Тут я на себя оглянулся, а я в своем сереньком сюртучке и галстуке à la Byron в самую середину всех генералов затесался!».

VII

Казацкий генерал П. С. Николаев рассказывал мне, что он, только-что выпущенный из пажеского корпуса в офицеры, был в маскараде в Большом театре и очень увлекся одной маской. Не находя нигде места, чтоб остаться с ней наедине, он дал на чай капельдинеру, и последний открыл ему боковую, директорскую ложу. Парочка находилась в полном блаженстве, когда вдруг открылась дверь и в ней показался Николай Павлович тоже с маской. Можно себе представить ужас офицерика и его дамы! Император с улыбкой сказал: «Молодой человек, я постарше вас— уступите мне место» [6].

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Каменская Мария Федоровна (1817—1898), старшая сестра Е. Ф. Юнге, дочь Ф. П. Толстого от первого брака, троюродная сестра Л. Н. Толстого, беллетристка и мемуаристка. Была замужем за писателем Павлом Павловичем Каменским (1814—1871).

[2] В этом эпизоде, описанном Е. Ф. Юнге, есть ряд черт, напоминающих описанную Толстым в гл. XV повести историю увлечения императора красавицей-шведкой: и там и здесь развит мотив о встречах Николая I с понравившейся ему красавицей; встреча происходит на маскараде. М. Ф. Каменская, в ответ на предложение царя исполнить любую ее просьбу, отвечает, что «не из корыстных видов беседует с ним, что ей ничего не надо». Юная шведка, добившаяся свидания с государем, говорит, что ей «ничего больше не нужно было». В остальных отношениях эти женские образы глубоко различны.

[3] Клодт фон-Юргенсбург Петр Карлович, барон (1805—1867), известный русский скульптор, профессор Академии художеств. Автор четырех групп на Аничковом мосту в Ленинграде, статуи Николая I верхом на коне (там же), памятника Крылову и многих других работ.

[4] Гр. Федора Петровича Толстого.

[5] Брюллов Карл Павлович (1799—1852), крупный русский художник, особенно известный, как исторический живописец и портретист.

[6] Этот эпизод из действительной жизни вставлен Толстым в гл. XV повести: «Во вчерашнем маскараде она подошла к нему, и он уже не отпустил ее. Он повлек ее в ту специально для этой цели державшуюся в готовности ложу, где он мог наедине остаться с своей дамой. Дойдя молча до двери ложи, Николай оглянулся, отыскивая глазами капельдинера, но его не было. Николай нахмурился и сам толкнул дверь ложи, пропуская вперед себя свою даму.

— Il y a quelqu'un,— сказала маска, останавливаясь. Ложа действительно была занята: на бархатном диванчике, близко друг к другу, сидели уланский офицер и молоденькая, хорошенькая, белокуро-кудрявая женщина в домино, с снятой маской. Увидав выпрямившуюся во весь рост и гневную фигуру Николая, белокурая женщина поспешно закрылась маской, уланский же офицер, остолбенев от ужаса, не вставая с дивана, глядел на Николая остановившимися глазами.

Как ни привык Николай к возбуждаемому им в людях ужасу, этот ужас был ему всегда приятен, и он любил иногда поразить людей, повергнутых в ужас, контрастом обращенных к ним ласковых слов. Так поступил он и теперь.

— Ну, брат, ты помоложе меня,— сказал он окоченевшему от ужаса офицеру,— можешь уступить мне место.

Офицер вскочил и, бледнея и краснея, согнувшись, вышел молча за маской из ложи, и Николай остался один со своей дамой».

Писатель опустил фамилию офицера, упоминание о том, что тот только-что окончил пажеский корпус и что он попал в ложу благодаря капельдинеру. Остальные подробности введены в повесть, при чем автор внес в эту сцену много новых черт (французская фраза шведки, описание ложи, описание наружности спутницы офицера, изображение ужаса, переживаемого ею и офицером, и пр.).

ТОЛСТОЙ И СТУДЕНЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 1899 г.

Сообщение К. Шохор-Троцкого

I

Толстой всегда с интересом относился к брожению в умах студенческой молодежи. Еще осенью 1861 г. он задавал Б. Н. Чичерину (в то время молодому профессору Московского университета) вопрос: «Что студенческие истории?» [1]. Вскоре пятеро студентов [2], участвовавших в этих «историях», были приглашены Толстым для педагогической деятельности в яснополянском районе. А сорок шесть лет спустя, в 1908 г., Толстой однажды сказал: «Мне хочется написать о студентах, с которыми я вместе занимался. Какой это был народ! Чистые, самоотверженные...» [3]. Следовательно, у него остались о них лучшие воспоминания.

С особым вниманием Толстой стал относиться к студенческому движению в 90-х годах, когда он зимами жил в Москве и потому мог быть более осведомлен. Как свидетельствует В. Ф. Лазурский, в 1894 г., в связи со студенческим протестом против восхвалительной лжи Ключевского по адресу умершего Александра III, Толстой сказал, что студенческий протест — «единственное светлое явление во всей этой истории», и отметил, что «одна молодежь осмелилась высказать правду» [4]. Тогда же к Толстому приходила депутация студентов, и он написал, в связи с репрессиями, письмо к Н. Н. Страхову. Текст этого письма до настоящего времени не найден. Известно, однако, что Страхов показал его вел. кн. Константину Константиновичу, на которого оно произвело «сильное впечатление» [5].

Два года спустя, в ноябре 1896 г., когда московское студенчество затеяло демонстративно отслужить панихиду в полугодовой день катастрофы на Ходынке (в день коронации Николая II), Толстой был вполне в курсе событий, так как в них участвовал его близкий родственник, Н. Л. Оболенский [6]. Сообщая в письме к дочери [7] о московских событиях, Толстой отметил событие «общественное — это студенты, служившие по ходынским панихиду и собиравшиеся на сходки, и которых забрали в манеж, а потом в тюрьмы». Дальше он сообщает: «Вчера взяли и Колю Оболенского, который пошел с тем, чтобы его взяли. Нынче утром узнали, что он вместе с 600 челов[ек] студентов в Бутырской тюрьме. Говорят, что еще 500 человек в разных других местах». (Публикуется впервые.)

В 1899 г., по выражению историка студенческого движения В. И. Орлова [8], начался период «бури и натиска». Толстой тогда был, как известно, занят напряженной работой над печатавшимся романом «Воскресение». Но с самого начала этого периода он не переставал живо интересоваться и возмущаться возникнувшей борьбой правительства с массами учащейся молодежи.

8 февраля 1899 г. в Петербургском университете должен был состояться традиционный годичный акт. 4 февраля в «Новом Времени» было напечатано и, кроме того, в стенах университета было вывешено объявление, в котором ректор университета, известный историк русского права В. И. Сергеевич, предупреждал студентов о репрессиях, которым они будут подвергаться за «беспорядки». «Закон, — по сообщению ректора,— предусматривает такого рода беспорядки и за нарушения общественной тишины и спокойствия подвергает виновных: аресту на семь дней или денежному штра-

фу до 25 рублей. Если же в этих нарушениях будет участвовать целая толпа людей, которая не разойдется по требованию полиции, то упорствующие подвергаются: аресту до трех месяцев или штрафу до 300 рублей. Закон предписывает даже употребление силы для прекращения беспорядков. Последствия такого столкновения с полицией могут быть очень печальны. Виновные могут подвергнуться: аресту, лишению льгот, увольнению и исключению из университета и высылке из столицы...». В заключение ректор утверждал, что «студенты должны исполнять законы, охраняя тем честь и достоинство университета» [9].

Объявление ректора вскоре было сорвано и уничтожено студентами, а на сходке 6 февраля студенчество решило протестовать «против присвоения ректором функций полицейской власти», при чем намечено было выйти из зала при появлении ректора на кафедре. В действительности же 8 февраля, на акте, при появлении его на кафедре, студенты просто не дали ему произнести ни слова, встретив его свистом, шумом и криками. «Беспорядок» прекратился, как только Сергеевич сошел с кафедры. По окончании акта студенты, по свидетельству участника демонстрации [10], «стали выходить из университета, решив предварительно, чтобы не вызывать никаких активных действий со стороны полиции, расходиться по домам небольшими кучками, а не всей массой». Однако, сразу же по выходе из университета они наткнулись на преграды. Дворцовый мост был закрыт для прохода, зимний переход через Неву (против университета) оказался испорченным, а против Университетской линии, возле Академии наук, «всю улицу пересекала фаланга конных и пеших городовых». Тогда вся масса студентов направилась к Николаевскому мосту, но близ Румянцевского сквера студенты подверглись внезапной «атаке». Судя по сделанному под свежим впечатлением описанию, произошло это так: «...Когда главная масса студенчества была уже против Румянцевского сквера, в это время нагоняют толпу конный полицейский офицер и городовой также верхом. Толпа остановилась. Раздались возгласы: зачем? что нужно? назад! долой! Полетели комья снега, несколько человек схватили метлы, находившиеся на разъезде конки у сторожей, и замахали ими. Лошади двух всадников испугались криков, повернули и, при громком хохоте окружающих, унеслись опять к Академии наук, где стоял эскадрон. Прошло несколько минут. Толпа уже шла дальше; многие уже по мосткам переходили на ту сторону, другие же подходили к Академии наук на пути к столовой, — как вдруг задние увидели, что эскадрон конных городовых тронулся и начал рысью приближаться. Все опять остановились. Раздались крики, возгласы, как всегда в толпе, и, когда эскадрон приблизился, в него снова полетели снежки, и одним из них, как впоследствии оказалось, была расквашена физиономия предводителя. «Марш-марш! — скомандовал неожиданно офицер: — Не повесят же нас из-за этой сволочи студентов!..». Эскадрон пустился в карьер и врезался в толпу, опрокидывая и топча студентов и частных лиц, наполнявших улицу. В воздухе замелькали нагайки...».

Описанная «атака» повлекла за собой студенческий протест, в свою очередь вызвавший суровые репрессии. «Весть о побоище распространилась с быстротою молнии. Негодование охватило решительно всех [студентов]; все говорили о сходке на следующий день в университете... В 11 часов открылась сходка, но так как на площадке могла поместиться только незначительная часть, то обратились к инспекции с требованием открыть актовый зал. Перепуганная инспекция исполнила это требование. И вот с этого дня в течение трех следующих дней [11] стены этого зала были свидетелями беспримерного события в летописях университета. Сходка, состоящая более чем из двух тысяч человек, с замечательной выдержкой, спокойствием и единодушием, после продолжительных прений, касавшихся, впрочем, только форм протеста, вотировала единогласно (или почти единогласно) поднятием рук закрытие университета до тех пор, пока правительством не будут даны гарантии, что впредь так беззастенчиво и нагло не будут нарушаться элементарнейшие права человеческой личности. Все другие формы протеста, как-то: петиции, коллективный выход из университета, были отвергнуты подавляющим большинством. Было решено всеми силами добиваться закрытия университета, посредством обструкций и соглашений

с профессорами, из коих многие еще в день достопримечательного сражения у Румянцевского сквера выражали свое желание примкнуть к движению активно, в какой бы форме оно ни отлилось». Вскоре к забастовке студентов университета стали присоединяться учащиеся еще четырнадцати петербургских высших учебных заведений[12].

В объединявшей в то время студентов Петербургского университета «Кассе взаимопомощи», игравшей роль и в организации студенческого протеста, тогда участвовали многие лица, имена которых получили впоследствии известность. Среди них были

Л. Н. ТОЛСТОЙ НА ОТКРЫТИИ «НАРОДНОЙ БИБЛИОТЕКИ» В ЯСНОЙ ПОЛЯНЕ

Фотография 1910 г.

Толстовский музей, Москва

Н. И. Иорданский, А. И. Свидерский, Д. С. Постоловский, С. Н. Салтыков (впоследствии член 2-й Государственной думы), Б. В. Савинков (будущий террорист), П. Е. Щеголев и др.[13]. Названная «Касса» после закрытия университета стала выпускать почти ежедневные гектографированные «Бюллетени».

Немедленно же по закрытии университета, не позже 11 февраля 1899 г., «Касса взаимопомощи» делегировала в Москву своего члена, Сергея Николаевича Салтыкова, с целью ознакомить московское студенчество (и общество) с петербургскими событиями и просить московских товарищей поддержать начавшуюся в Петербурге забастов-

ку. В Москве С. Н. Салтыков пробыл несколько дней. Он участвовал в университетских сходках, в результате которых уже 15 февраля началась забастовка и в Московском университете. Будучи знаком с другом Толстого, И. И. Горбуновым-Посадовым, он рассказал ему о студенческих событиях. Л. Н. Толстой, узнав о приезде представителя петербургских студентов, захотел лично услышать от Салтыкова о петербургских новостях. Как С. Н. Салтыков припоминает[14], он был у Толстого в Хамовниках два раза. Вероятно, это было 13 и 14 февраля. Лев Николаевич проявил «самое живое сочувствие движению»; он «был особенно заинтересован той формой, в которую вылилось движение, и студенческая забастовка представлялась ему одной из форм непротивления злу насилием»[15]. После первой беседы с Толстым у него в кабинете, Салтыков был приведен Львом Николаевичем в залу, где были семейные и гости (в том числе какой-то англичанин), и здесь, по просьбе Толстого, он еще рассказывал о студенческих событиях.

По возвращении С. Н. Салтыкова в Петербург, он был арестован и затем выслан из столицы. В связи же с его беседами с Толстым, студенческий агитационный листок поспешил сообщить о сочувствии Льва Николаевича движению, но сообщение это излагало, как верно отмечает П. Е. Щеголев, слова Толстого «в измененной и сгущенной окраске». В «Бюллетене 7-го дня по закрытии университета», от 16 февраля 1899 г., было сообщено: «Л. Н. Толстой, по собственным его словам, присоединяется всей душой к нашему движению. Он шлет нам свое полное одобрение, называет средство, избранное нами, самым целесообразным и обещает в скором времени дать гласный отзыв о нашем движении. По мнению Льва Николаевича, настоящее движение открывает новую эпоху в истории студенческих движений, становящихся на разумную общественную почву»[16].

С. Н. Салтыков перед своим арестом успел направить к Толстому письмо, «литературу» и человека, который мог сообщить «все данные о ходе нашего дела». Салтыков, между прочим, писал: «...Как увидите вы, дела идут у нас очень хорошо: все забастовавшие держатся стойко и твердо... Наш мирный характер забастовки привлекает общее сочувствие. Наши бюллетени идут нарасхват в массе экземпляров, их просят все посторонние лица — профессора, учителя, сенаторы, чиновники и т. п...». Дальше он писал: «Еще раз позволяю себе обратиться к вам, Лев Николаевич, с просьбой—не можете ли вы теперь дать публично свой отзыв о нашем движении. Это было бы для нас теперь очень важно. Если это возможно, то перешлите ваше письмо мне через Бакунина [врача]... Ваше веское слово для нашего движения составляет ¾ всей нашей нравственной опоры. На факт высочайшего учреждения следствия по нашему делу смотреть приходится очень невесело: какие еще могут быть результаты деятельности верховного следователя Ванновского, поручиться нельзя. Между тем приходится опасаться, как бы известная часть молодежи не удовлетворилась этим объявлением и не произошел бы раскол» (письмо от 20 февраля 1899 г.; архив Толстого). После этого письма и, вероятно, беседы с посланцем Салтыкова, Толстой записал 22 февраля в своем дневнике: «Студенческая стачка. Они все меня втягивают. Я советую им держаться пассивно, но писать письма им не имею охоты».

Еще в дни пребывания С. Н. Салтыкова в Москве, посетивший Толстого 14 февраля В. Ф. Лазурский отметил в своем дневнике, что к Толстому «являлись студенты с просьбой написать в их защиту» и принесли ему свои прокламации (см. об этом выше стр. 497).

Во второй половине февраля, после начатых правительством репрессий (арестов, высылок и т. п.), студенческое движение продолжало расширяться. К протесту студентов пятнадцати забастовавших учебных заведений Петербурга, в числе которых была даже Духовная академия, решительно примкнуло и студенчество пяти московских и девяти провинциальных высших учебных заведений[17]. Ввиду этого, в листовке организационного комитета Петербургского университета от 4 марта 1899 г., между прочим, отмечается, что, благодаря «единению» студенчества, «удалось в две-три недели добиться фактического закрытия всех без исключения учебных заведений России с их тридцатитысячным составом учащихся»[18].

Первой подвергшаяся репрессиям, организационная группа, группа членов «Кассы взаимопомощи», в своем «завещании», написанном перед высылкой из столицы, писала: «...Пусть снова высылают, пусть разгромят и задавят, но добровольно мы не сдадимся. Те из нас, кто будут удалены с поля битвы, кроме сознания исполненного долга, найдут нравственную поддержку в неослабевающей силе, энергии и единодушии движения» («Бюллетень 7-го дня по закрытии университета», от 16 февраля 1899 г.)[19]. В другой листовке, выпущенной второй сменой организационного комитета, подчеркнуто, что протест студенчества был «протестом против царящего в России произвола, единственную гарантию против которого мы видели в законе и его неприкосновенности» («От Организационного комитета Петербургского университета», от 4 марта 1899 г.)[20].

Принятые органами власти репрессивные меры и проводимое по «высочайшему повелению» генерал-адъютантом Ванновским «всестороннее расследование» «причин и обстоятельств беспорядков»[21] не содействовали ослаблению студенческого движения, а, наоборот, и в студенчестве и в обществе вызывали преимущественно негодование и возмущение. Между прочим, и Софья Андреевна Толстая в связи с этим писала 22 февраля В. В. Стасову: «Мы здесь все в большом волнении, как и вся Россия, по поводу закрытия всех учебных заведений. Раздражили молодежь без всякой вины с их стороны; как жаль и как неосторожно»[22].

II

В начале марта либерально-настроенные круги, не сочувствовавшие крайнему, по их мнению, радикализму студентов-забастовщиков, пытались сорвать движение: перевести его на легальный, но — как сказано в листовке 4 марта[23] — «скользкий путь» петиций, ходатайств, хлопот. Часть московского студенчества стала с 5 марта посещать занятия, и забастовка на несколько дней была прервана[24]. Тогда, вспоминает П. Е. Щеголев, некоторые начали говорить, что «движение уже принесло практический результат и что продолжение его означало бы просто беспринципные беспорядки». В связи с этим организационный комитет Петербургского университета в середине марта направил к Л. Н. Толстому нового делегата — Павла Елисеевича Щеголева (знакомого с Толстым с 1894 г.) — с тем, чтобы выяснить его, Толстого, взгляды на продолжающееся студенческое движение. Вместе с Щеголевым к Толстому пришел кто-то из членов студенческого исполнительного комитета Московского университета. П. Е. Щеголев вспоминает: «Мы изложили Льву Николаевичу все происшедшее в Петербурге и в Москве, выяснили причины, которые заставили нас агитировать не за прекращение, а за возобновление и продолжение забастовки. Лев Николаевич очень поражался организованности и той связи, которая установилась между учебными заведениями различных городов. Ему нравилось чувство товарищества, которое побуждало к протесту, по крайней мере, до возвращения в университет высланных и арестованных товарищей. И на этот раз Лев Николаевич отнесся сочувственно к движению, о котором подробно рассказали ему я и мой московский товарищ. Понятно, сочувствие было выражено в общей форме и вряд ли было понято и верно освещено в следующем сообщении «Бюллетеня 23 от 19 марта»: «Какое впечатление произвели на всех честных людей наши действия, видно из слов Толстого, переданных нам сегодня одним из посетивших его товарищей... Лев Николаевич говорил, что факт солидарности всех наших учебных заведений настолько замечателен, что мы должны им дорожить, и теперь студенты не имели права прекратить движение, не считаясь с провинциальными товарищами. Необходимо было узнать мнение учебных заведений всей России и только тогда принимать то или другое окончательное решение. Затем он возмущен административными высылками и считает нашей обязанностью протестовать против них всеми силами». Конечно, в этом сообщении,— продолжает П. Е. Щеголев,— надо отделить сообщение о факте сочувствия Льва Николаевича от толкования, которое было продиктовано агитационными целями»[25].

Щеголев рассказывает в тех же воспоминаниях, что беседа с Толстым происходила в его кабинете, наедине. Неожиданный приход Б. Н. Чичерина несколько нарушил течение разговора и был, повидимому, неприятен Льву Николаевичу, который упорно уклонялся от ответов Чичерину на его вопросы. Перебивая маститого и самоуверенного гостя, Толстой обращался к нему: «Нет, ты послушай, что делается в Петербургском университете!». Или же: «А что делается в Московском университете! Это очень интересно! Ты послушай». И просил своих молодых гостей-студентов повторно рассказать все, что уже слышал от них.

Принимаемые правительством репрессивные меры в отношении студенчества и передовой профессуры, без сомнения, только содействовали углублению движения и проникновению в него «политики». И в опубликованном 2 апреля «правительственном сообщении» студенческое движение было уже определено, как «политическое» [26].

В начале же апреля, как мы полагаем, Толстой сделал попытку набросать статью о том «необыкновенном, совершенно новом и до последней степени гадком и возмутительном», что в то время происходило в России. Он, повидимому, имел в виду написать о возмущавших его правительственных мерах в отношении вымиравшего от голода крестьянского населения Самарской и Казанской губерний и в отношении забастовавшего русского студенчества. Сохранившееся в автографе [27] начало задуманной Толстым статьи написано на листе почтовой бумаги (большого формата), на котором сперва было переписано и зачеркнуто несколько строк из «Воскресения», относящихся как-раз к весенней (1899) работе Толстого над романом [28]. Предлагаемая нами датировка подтверждается и содержанием наброска: упоминаемые в нем «зажоры» связаны с апрельским таянием снега, в апреле (и ранее того) Толстой получал сообщения из голодающих местностей [29], и в апреле же появилось то «правительственное сообщение» (см. выше), на которое, вероятно, намекает Толстой. О том, что набросок не относится ко времени после 10 апреля, говорит и приводимая выше запись В. Ф. Лазурского (от 11 апреля).

Набросок статьи, касающейся студенческого движения 1899 г., приводим полностью, восстанавливая в ломаных скобках зачеркнутые места. Печатается впервые.

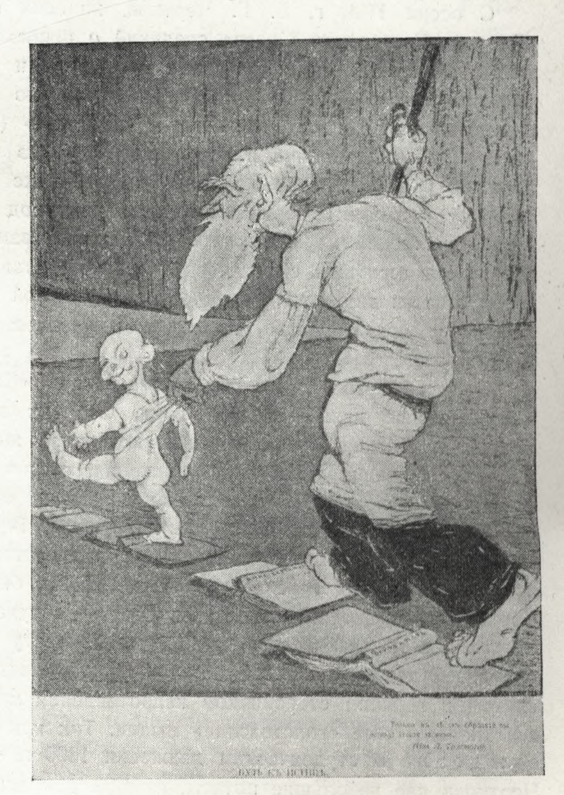
Сейчас у нас в России происходит нечто необыкновенное, <ново[е]> совершенно новое и до последней степени гадкое <жестокое> и возмутительное, и между тем в печати, к[оторая] озабочена тем, чтобы сообщить публике все, что только есть для нее интересного знать, про это нет ни слова, и все русские люди живут так, как будто ничего особенного не случилось: в столицах городовые стоят на улицах, почтитель[но] отдавая честь начальству и жестоко гоняя и ругая извощиков, барыни на рысак[ах] шныряют по магазинам, швыряя дурно добытые их мужьями и любовниками деньги [30], министры и директоры в ожидании жалованья и добавочных заседают в комитетах и комиссиях, царь и его родственники в прекрасных мундирах и на прекрасных лошадях делают смотры войскам и придумывают новые мундиры, <а в деревнях мужики и бабы шлепают промокшими в лаптях ногами по зажорам, отыскивая кто пищу, а кто правду против обидчиков, и ни те, ни другие не находят того, чего ищут.>

Случились же одновременно две вещи очень важные: одна—та, что систематично одуряемый и раззоряемый народ дошел до <полного> одурения и разорения [31], такого, к[оторое] уже нежелательно правительству, перешел тот предел одурения и разорения, к[оторый] нужен правительству, а другая—та, что те самые молодые люди, к[оторые] готовятся правительством для одурения и разорения народа, отказались готовиться к <этому оду[рению]> требуемой от них правительством должности. В этом подготовлении людей <способных> для исполнения требовани[й] правительст[ва] тоже перейден тот предел обезличения, огрубения, обезнравствования этих молодых людей <и этим мо> — их подчинили, вместо прежних <академич[еских]> порядков тех заведений в П[етербурге],

полицейским мерам, а полицейские меры выразились в том, что в столице их избили плетьми [32]. Они обиделись, опомнились, и, так как мера терпения их уж давно была доведена до последней степени, они забастовали, т. е. решили все <не ходить <в> учи> перестать учиться в тех заведениях, в к[оторых] их обучают плетьми. Студенты других высш[их] учебных заведений в Петерб[урге] и в других городах, точно так же уж давно чувствующие несогласие нравственных требований времени с положением студентов, последовали примеру петерб[ургских], и по всей России тысяч 30, если не более [33], молодых людей—одним словом, все готовящееся к деятельности в государстве молодое поколение отказалось продолжать готовиться к этой деятельности, если будут такие порядки, как те, к[оторые] выразились в пет[ербургском] побоищ[е] студентов.

Оба явления очень важные для правительства и против кот[орых] надо было принять особенные меры, и меры эти приняты. Против одурения и разорения крестьян, выразившихся в голодании и вымирании народа, принято признавать это исключительным случаем местного недорода и послать туда в виде хлеба одну тысячную тех имуществ, кот[орые] отняты и постоянно отнимаются от народа; против забастовки студентов во всей России принято: признав эти забастовки политической агитацией [34] <и вследствие этого> употребить против забастовавших студентов самые решительные насильственные меры... [на этом набросок статьи обрывается].

Мы имеем основания считать, что, оставив незаконченным приведенный набросок, Толстой не совсем отказался от мысли написать об этом студенческом движении. Важнейшей помехой осуществлению этого замысла был почти беспрерывный на протяжении всего 1899 г. труд над «Воскресением». Но работа эта все же не мешала Толстому следить за студенческим движением. Он собирает и не один раз пересы-



«ПУТЬ К ИСТИНЕ»

Карикатура Ре-Ми на Л. Н. Толстого

Журнал «Сатирикон», 1908 г., № 21

лает материалы об этом движении за границу — П. И. Бирюкову и В. Г. Черткову, которые, живя в изгнании, занимались издательской работой. По получении от П. И. Бирюкова первого номера его журнала «Свободная Мысль» (Женева, № 1, август 1899 г.), Толстой, оценив заметку «Университетские волнения» тройкой (по пятибальной системе), 1 августа 1899 г. написал ему по поводу нее: «Надо бы больше. Нынче в газетах о том, что в солдаты забирать, а перед этим было об инспекции и [об] общении профессоров[35]. Все как нарочно делают, чтобы раздразнить. И нынче же новая форма присяги. Руки чешутся писать обо многом в форме статей. Да надо кончать Воскресение. Когда не было художественной работы, я по ней скучал, а теперь уж хочется освободиться, много набралось другого»[36]. Тогда же, 1 или 2 августа, Толстой сказал А. Б. Гольденвейзеру: «Может быть, благодаря моему болезненному состоянию, но я нынче минутами просто прихожу в отчаяние от всего, что делается на свете: новая форма присяги, возмутительный циркуляр об отдаче студентов в солдаты, дело Дрейфуса, дела в Сербии, ужасы болезней и смертей на ртутных заводах Ауэрбаха... Не могу вообразить, как человечество может продолжать так жить, видя весь этот ужас!..»[37].

Возмутивший Толстого циркуляр — это опубликованные 31 июля 1899 г. «высочайше утвержденные» «временные правила об отбывании воинской повинности воспитанниками высших учебных заведений, удаляемыми из сих заведений за учинение скопом беспорядков»[38]. Они были выработаны особым совещанием министров. Первый пункт этих правил таков: «Воспитанники высших учебных заведений, за учинение скопом беспорядков в учебных заведениях или вне оных, за возбуждение к таким беспорядкам, за упорное, по уговору, уклонение от учебных занятий и за подстрекательство к таковому уклонению, подлежат... удалению из учебных заведений и зачислению в войска для отбывания воинской повинности, — хотя бы они имели льготу по семейному положению, либо по образованию, или не достигли призывного возраста, или же вынули по жребию нумер, освобождающий от службы в войсках».

С осени 1899 г. В. Г. Чертков, живший в Англии, начал печатание в своих «Листках Свободного Слова» сведений о происходившем в России студенческом движении. При этом он использовал материалы и сведения, не только присланные или направляемые к нему Львом Николаевичем, но и полученные из других источников. В первую очередь он напечатал в «Листках» (1899, № 8) сообщение «Смерть студента Ливена», включив в него выдержку «из частного письма», в которой со слов Толстого рассказывается о Ливене[39]. В заметке «По поводу университетского движения» (от редакции) Чертков приветствует уход из университетов ряда профессоров, передовых людей науки, и утверждает, что «замечательная по своим размерам и солидарности всеобщая студенческая стачка заставила общество сознательнее отнестись к той степени дикой разнузданности, до которой дошло ошалевшее от произвола самодержавное правительство, поощряемое раболепной покорностью этого самого запуганного общества».

В декабре того же года издательство «Свободное слово» выпустило книжку «Студенческое движение 1899 года. Сборник под редакцией А. и В. Чертковых» (Purleigh, Англия, 1900), вышедшую вскоре же вторым изданием. В этой книжке даются сообщения участников движения, статья неизвестного лица «Голос из общества», выдержки из «Бюллетеней», воззвания организационного комитета, различные студенческие листовки и другие материалы. В виде послесловия напечатана статья В. Г. Черткова «По поводу студенческого движения», написанная с такой резкостью, что в 1907 г., при переиздании ее в России, были выпущены некоторые ее места[40]. Чертков выражает в своей статье горячее сочувствие «неслыханному по единодушию, бесстрашию и грандиозным размерам» протесту русского юношества, поразительному «по своей искренности, свежей силе и благородству». Но, будучи религиозным анархистом и горячим сторонником непротивления злу насилием, друг Толстого высказывает характерные «толстовские» мысли. Так как в этих мыслях точно передано суждение о студенческом движении 1899 г. самого Толстого, приведем из статьи Черткова две небольшие цитаты, важные для выяснения отношения Толстого к этому движению. В. Г. Чертков писал: «В этом протесте молодежи замечательно еще и то,

что, несмотря на свое воодушевление и свои размеры, он с самого начала и до конца сохранил ту форму, которая наиболее целесообразна в борьбе со всяким началом насилия и зла, а именно — форму пассивную, чисто отрицательную, состоящую в воздержании от участия в том, что признано слишком унизительным для человеческого достоинства. Этому миролюбивому характеру студенческого протеста и следует, как нам кажется, главным образом приписать необычайно благоприятное и сильное впечатление, им произведенное на общество». В другом месте он пишет: «Смысл состоявшегося движения мы видим в том, на что выше указали, а никак не в борьбе с правительством, которой сама молодежь, быть может, и придает преобладающее значение». Кончает свою статью Чертков словами: «Как бы то ни было, но в дальнейшее развитие этого замечательного и отрадного движения среди русской учащейся молодежи мы твердо верим. Не нам, разумеется, браться за предсказания о том, в какую именно форму оно может вылиться. Несомненно только одно: что событие это обнаружило в молодом поколении нашего общества прекрасные и могучие задатки и что — так или иначе, раньше или позже — задатки эти должны непременно дать соответствующие им по достоинству плоды».

Перед напечатанием статьи Чертков присылал ее Толстому на просмотр. Толстой слегка редактировал ее. Отзыв его о статье в ответном письме к Черткову и мысли, высказанные в этом письме, вполне подтверждают наше предположение, что Чертков не только высказал свою точку зрения, но и точно передал суждения Толстого. 17 декабря 1899 г. Толстой написал (публикуется впервые):

«Письмо ваше получил, дорогой друг Владимир Григорьевич, и вчера — статью о студенческих беспорядках. Статья очень хороша, по крайней мере мне очень понравилась, выразив то самое, что я думал об этом предмете. Я изменил только несколько слов. В некоторых местах, например, в allnear первой странице и др., я бы смягчил выражения. Статья по содержанию своему так сильна, что резкость выражений только ослабляет, подрывая доверие к спокойному беспристрастию автора (мы друг друга поправляем в одном и том же). Я, когда думал об этом же предмете, думал еще то, что успех протеста молодежи надо приписать тому, что он был миролюбивый, только отрицательный (неучастия), тот самый протест, который один может победить насилие».

Последняя мысль Толстого развита в цитированной выше статье Черткова, даже с сохранением некоторых употребленных Толстым слов («миролюбивый», «отрицательный» и др.).

Возможно, что появление в печати статьи Черткова сыграло роль в окончательном отказе Толстого от намерения написать по поводу студенческого движения 1899 г.

III

В 1900 и 1901 гг. Толстой не переставал интересоваться студенческим движением. Попадавшие в его руки материалы он продолжал пересылать В. Г. Черткову в Англию для опубликования. Сообщим вкратце некоторые сведения об его отношении к движению этих лет.

Интересные воспоминания, относящиеся к осени 1900 г. и содержащие неизвестные факты, любезно сообщил нам активный участник студенческого движения этого года, Иван Алексеевич Макринов [41]. Будучи членом исполнительного комитета объединенных московских студенческих организаций (представитель елецкого землячества), И. А. Макринов в августе, в период разгрома комитета охранкой, был арестован и в сентябре выслан из Москвы на родину на два года под гласный надзор полиции. По освобождении из тюрьмы он перед отправкой на родину решил побывать у Толстого, чтобы рассказать ему о студенческих делах.

6 или 7 сентября он приехал в Ясную Поляну вместе с знакомым Толстого, М. В. Булыгиным. Он рассказал Толстому «о своем аресте, сидении в тюрьме, допросах, касаясь в то же время и общего положения студенчества, его настроений, стремлений и всяких попыток к организациям». «Я указал,— вспоминает И. А. Макринов,— что, помимо меня, повидимому, арестовано не мало других лиц. На это Лев Николаевич заметил по адресу охранки: «Какие деятельные люди, даже и на каникулах работают, не покладая рук!». После моего рассказа Лев Николаевич готов был помочь мне. Коснувшись и общего положения студенчества и в особенности роли самого университетского начальства и совета университета, он спросил: «А знает ли университет об этих арестах и что он предпринимает?». Я ответил, что не могу сказать, знает ли университет об этих арестах, но можно утверждать, что студентам он не помогает. Лев Николаевич заметил: «Ведь это ваша «alma mater»!» и решил написать два письма: одно председателю Московского окружного суда Н. В. Давыдову и другое профессору Московского университета Л. М. Лопатину [42]. Первому он написал короткое письмо, прося его обратить внимание на студенческие дела и в чем можно помочь. Садясь писать за свой письменный стол, он сказал: «Вот хороший человек Николай Васильевич, а служит!». Положив письмо в конверт и надписав адрес, он передал его мне незапечатанным. Второе письмо — профессору Лопатину — он писал долго, и написал много, приняв свою обычную позу человека, углубленного в свои мысли, которые он спешит выразить на бумаге. Когда он приступал к этому второму письму, М. В. Булыгин спросил его про Лопатина: «А что, это большой философ?». Лев Николаевич ответил: «Да так — из нынешних: на кафедре он проповедует всякие высокие теории, а прикажет начальство исповедоваться и приобщаться в страстную неделю, он будет и приобщаться и исповедоваться!». Насколько я помню, были исписаны все четыре страницы листа почтовой бумаги. Вложив письмо в конверт, он запечатал его и подал мне. Это письмо несколько позднее, в конце сентября или в начале октября, когда я уже был в ссылке, было передано в Москве моим братом профессору Л. М. Лопатину, который, повидимому, прочитал его на заседании совета университета или ознакомил с ним некоторых профессоров. По крайней мере, о нем знал и К. А. Тимирязев. В этом письме Лев Николаевич и изложил, повидимому, свои взгляды на студенческое движение его времени. После написания этого письма Лев Николаевич спросил: «А кому еще можно бы написать, кто мог бы помочь вам?», разумея вообще студентов. Я ответил, что в смысле всяких ссылок студентов, конечно, имеет больше всего значение градоначальник Москвы Трепов. «Ему мне очень не хотелось бы писать! Разрешите ему не писать!» [43]. Решили ему не писать».

Несмотря на наши попытки разыскать текст врученных И. А. Макринову писем Толстого к Н. В. Давыдову и Л. М. Лопатину, они до настоящего времени не найдены. Особенный интерес, конечно, представляло письмо к Лопатину.

IV

В начале 1901 г., как известно, вновь вспыхнуло широкое студенческое движение, возбужденное применением к студентам на практике вышеизложенных «временных высочайше утвержденных правил 29 июля 1899 г.», на основании которых около двухсот студентов Киевского и Петербургского университетов было сдано в солдаты. Движение вызвало большое возбуждение в обществе, особенно после жестоко разогнанной демонстрации 4 марта в Петербурге, на Казанской площади. Толстой с еще большим, чем прежде, интересом следил за событиями, и в письмах и в статьях касался их. По его словам (дневник от 19 марта 1901 г.) [44], именно «студенческие истории, принявшие общественный характер», заставили его написать обращение «Царю и его помощникам» и «программу», как он иногда называл небольшую статью «Чего желает прежде всего большинство людей русского народа». В письме к В. Г. Черткову от 7 марта 1901 г. Лев Николаевич сообщал: «Самое замечательное в этом движении то, что народ на стороне студентов, или скорее, на стороне выражения

Л. Н. ТОЛСТОЙ
Фотография 1908 г.
Толстовский музей, Москва

неудовольствия. Ко мне ходят рабочие и пишут мне, также и студенты; и я говорю всем одно: для блага людей нужно прежде всего их единение между собой, и потому чем больше общения, взаимного сочувствия, тем лучше. Но надо соединяться не во имя вражды, а во имя взаимной любви; если же это единение кажется опасным и вредным некоторым людям, то тем хуже для них. Мы и их призываем к тому же общению». В. Г. Чертков в это время срочно подготовлял выпуск двух номеров (№№ 19 и 21) «Листков Свободного Слова», которые были озаглавлены «Современные волнения в России» и «Из современной жизни в России» и целиком посвящены событиям, связанным со студенческим движением[45]. Значительная часть опубликованных в них материалов была прислана Толстым, который, при одной из посылок, писал Черткову (конец апреля):

Посылаю вам, любезный друг, доставленные мне сведения о событии 4-го марта. Может быть, вы найдете нужным воспользоваться ими. Если да, то я могу засвидетельствовать добросовестность лиц 1-го, 7-го и 8-го показаний. Впрочем, как эти, так и все остальные говорят сами за себя. Одно могу сказать от себя, что явление это — доведение русских людей: городовых, казаков и солдат до такого зверского состояния, в котором они совершают дела, противные и их характеру и их религиозным верованиям, очень важно и нельзя достаточно серьезно отнестись к нему, стараться исследовать, оглашать и понять его причины *.

В другом письме, дав одобрительный отзыв о присланном ему Чертковым на просмотр предисловии к «Листкам», Толстой пишет:

«Я слово в слово говорил и говорю им то, что вы пишете, но когда дело начато и тысяча их сидит, то для оставшихся товарищей уж является другой вопрос: что им делать? Я советую им одно: стараться собираться и обсудить сообща, что делать. И собираться, соединяться, потому что в единении только может быть дан отпор правительству. Как? — я не знаю; но знаю, что чем больше будет единения, тем действительнее будет воздействие на людей правительства». Дальше он добавляет: «Вы верно уж знаете, что волнения нынешние не только не меньше, но гораздо больше и значительнее прежних волнений, особенно тем, что в них принимает участие общество и люди из народа. Положение очень серьезное, и я стараюсь быть осторожнее, чтобы не сделать ошибки в смысле нравственном при тех требованиях, которые ко мне заявляются» (письмо от 9 марта 1901 г.) **.

Одновременно с наблюдениями и соображениями, которые приведены выше, в дневнике своем Лев Николаевич Толстой сделал следующую, чрезвычайно характерную запись: «Люди, имеющие в виду народ и его благо, совершенно напрасно — и я в том числе — приписывают важность волнениям студентов. Это собственно раздор между угнетателями: между у ж е г о т о в ы м и у г н е т а т е л я м и и т е м и, к о т о р ы е т о л ь к о е щ е х о т я т б ы т ь и м и» (запись 19 марта 1901 г.)[46]. В этой своей мысли Толстой — страстный ненавистник всяческого угнетения — был прав в том смысле, что университеты эпохи царизма усердно пополняли кадры правительственных чиновников, сидевших на народном горбе и являвшихся угнетателями трудящихся.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] См. письмо к Б. Н. Чичерину от 28 октября 1861 г.,— «Письма Толстого и к Толстому», М.— Л., 1928, стр. 24. О «студенческих историях» 1861 г. см. в книге: О р л о в В. И., Студенческое движение Московского университета в XIX столетии, изд. Всесоюзного о-ва политкаторжан, М., 1934, стр. 142—166.

* Полностью публикуется впервые.

** Публикуется впервые.

² М. Ф. Бутович, Н. П. Петерсон, А. П. Соколов, А. К. Томашевский и А. А. Эрленвейн. Двое из них были позднее замешаны в деле Каракозова (Петерсон и Томашевский), а один, Соколов, принадлежал к нелегальному кружку Заичневского и Аргиропуло.

³ Гусев Н. Н., Два года с Л. Н. Толстым. 1907—1908 год, изд. 2-е, М., 1928, стр. 127 (запись 5 апреля 1908 г.).

⁴ Лазурский В. Ф., Из дневника 1894—1900 гг.,— см. в настоящем томе, стр. 485 (запись 26 декабря 1894 г.). О студенческом движении осенью 1894 г. см. в книге В. И. Орлова (прим. 1-е), стр. 265—280 (о протесте на лекции Ключевского — стр. 270—271).

⁵ См. в настоящем томе, стр. 485.

⁶ О студенческом движении в ноябре — декабре 1896 г. см. в книге В. И. Орлова, стр. 289—297. Упоминаемый Николай Леонидович Оболенский — внучатный племянник Толстого, в то время жених его дочери, Марии Львовны. В 1896 г. Оболенский был студентом Московского университета.

⁷ Письмо к Татьяне Львовне Толстой и к М. А. Шмидт от 23 ноября 1896 г.

⁸ См. книгу В. И. Орлова.

⁹ «Студенческое движение 1899 года. Сборник под редакцией А. и В. Чертковых», изд. 2-е, «Свободное слово», Purleigh, Англия, 1900, стр. 9 («Голос из общества»).

¹⁰ Там же, стр. 6—7.

¹¹ «В продолжение трех дней тянулась одна «непрерывная» сходка. Начинаясь в 10 часов, она заканчивалась к 6—7 часам вечера» (см. книгу В. И. Орлова, стр. 330). Председательствовал на сходках С. А. Волкенштейн, сын знакомого Толстого, полтавского врача и общественного деятеля А. А. Волкенштейна.

¹² См. «Список забастовавших учебных заведений»,— сборник Чертковых (прим. 9-е), стр. 28. Еще см. Короленко В. Г., Дневник, т. IV, Гос. изд. Украины, 1928, стр. 137.

¹³ См. книгу В. И. Орлова, стр. 324.

¹⁴ С. Н. Салтыков любезно сообщил нам некоторые сведения, уточняющие момент посещения им Толстого.

¹⁵ См. воспоминания П. Е. Щеголева «Л. Н. Толстой и студенты в 1899 году»,— газета «День», 1912, № 36, от 7 ноября, стр. 3 (или же: Щеголев П. Е., Встречи с Толстым,— «Новый Мир», 1928, кн. IX, стр. 210).

¹⁶ Там же. Подчеркнуто нами.

¹⁷ Московские: университет, Институт инженеров путей сообщения, быв. Петровская академия, Высшее техническое училище и женские педагогические курсы. Провинциальные: Киевский университет и Политехнический институт, Сельскохозяйственный институт в Новой Александрии, Рижский политехникум и университеты — Варшавский, Новороссийский, Томский, Харьковский и Юрьевский.

¹⁸ См. Сборник Чертковых, стр. 37. Из этой же листовки, вероятно, заимствовал цифру «30 000» Л. Н. Толстой (см. ниже его набросок статьи).

¹⁹ Там же, стр. 25—26.

²⁰ Там же, стр. 36. Подчеркнуто в подлиннике.

²¹ См. письмо студента Петербургского университета, напечатанное под заглавием «Комиссия Ванновского» в сборнике Чертковых, стр. 30—35. Текст «высочайшего повеления», сделанного после «всеподданнейшего доклада» Ванновского, см. в книге В. И. Орлова, стр. 337—338.

²² «Лев Толстой и В. В. Стасов. Переписка», под ред. В. Д. Комаровой и Б. Л. Модзалевского, «Прибой», 1929, стр. 226.

²³ См. названную выше листовку организационного комитета в сборнике Чертковых, стр. 37.

²⁴ См. «Краткий обзор студенческого движения 1899 года в Московском университете», составленный исполнительным комитетом объединенных студенческих организаций,— в книге В. И. Орлова, стр. 349.

²⁵ «Новый Мир», 1928, кн. IX, стр. 210—211.

²⁶ «Правительственный Вестник» от 2 апреля 1899 г. Напечатанное «правительственное сообщение» побудило «Соединенный организационный комитет всех высших учебных заведений Петербурга» выпустить на гектографе статью, посвященную разбору этого «сообщения». Отрывки из этой статьи см. в сборнике Чертковых, стр. 44—45.

²⁷ Хранится в отделении рукописей Всесоюзной библиотеки им. В. И. Ленина (архив Л. Н. Толстого, папка XXXI).

²⁸ Это установлено Н. К. Гудзием, изучившим все рукописи Толстого, относящиеся к «Воскресению».

²⁹ См. Юбилейное издание, т. LXXII, Письма 1899—1900 гг., стр. 113—114 (письмо к Е. Н. Депрейс от 6 апреля 1899 г., в ответ на ее письмо из Казанской губернии от 26 марта), а также стр. 79—83 (письмо в редакцию «Русских Ведомостей» от 28 февраля 1899 г. и в комментарии к нему письмо А. С. Пругавина к Толстому от 19 февраля о голодании населения Самарской губернии).

[30] В том же 1899 г. Толстой рассказывал А. Б. Гольденвейзеру: «Я иногда люблю стоять у колоннады Большого театра и смотреть, как дамы приезжают к Мерилизу на дешевые товары... А кучера дожидаются на морозе и разговаривают между собой: моя-то, небось, тысяч на пять нынче купила!». См. Гольденвейзер А. Б., Вблизи Толстого, т. I, М., 1922, стр. 22 (запись 9 августа 1899 г.).

[31] Толстой еще летом предыдущего 1898 г. принимал участие в помощи голодающему крестьянскому населению. В феврале же 1899 г. он получил от литератора А. С. Пругавина пространное письмо с описанием достигшей «до крайних пределов» нужды крестьян большей части Самарской губернии. Он сообщал, что «местная администрация упорно продолжает стоять на том, что голода нет, а есть лишь «недород». Между тем, стали распространяться цынга, тиф и другие болезни. «Как видите, положение очень серьезное. Необходимы огромные средства, чтобы спасти народ от голодания, от болезней, от полного разорения». Толстой напечатал письмо Пругавина в «Русских Ведомостях» вместе со своим письмом от 28 февраля 1899 г. (см. Юбилейное издание, т. LXXII, стр. 79—83). Стекавшиеся к нему пожертвования Толстой пересылал «Самарскому частному кружку помощи голодающим» и земскому деятелю, кн. С. И. Шаховскому.

[32] Имеется в виду избиение студентов 8 февраля 1899 г. Характерно, что Толстой употребляет здесь не слово «нагайки», а слово «плети», встречающееся также и в прощальной листовке (от 16 февраля) первого состава организационной группы петербургской «Кассы взаимопомощи» («человеческое достоинство несовместимо с казацкою плетью»,— см. сборник Чертковых, стр. 25).

[33] Цифра «30 000», вероятно, заимствована Толстым из цитированной выше листовки «От Организационного комитета Петербургского университета» от 4 марта 1899 г.

[34] Намек на «правительственное сообщение», опубликованное 2 апреля 1899 г. в официозе и затем перепечатанное в других газетах (см. прим. 26-е).

[35] Толстой имеет в виду: 1) «временные правила 29 июля 1899 г.»; 2) циркуляр министра народного просвещения от 27 июля 1899 г. о работе представителей университетской инспекции и 3) циркуляр того же министра от 21 июля 1899 г. о мерах к установлению «общения между студентами и профессорами» «на почве учебных потребностей». Точные сведения об этих циркулярах см. в т. LXXII Юбилейного издания, стр. 166—167 (прим. 14-е и 15-е).

[36] См. Юбилейное издание, т. LXXII, стр. 164. Подчеркнуто нами.

[37] Гольденвейзер А. Б., Вблизи Толстого, т. I, М., 1922, стр. 21.

[38] «Временные правила 29 июля 1899 г.» были впервые напечатаны в «Правительственном Вестнике». Цитируем их по сборнику Чертковых, стр. 51.

[39] Ливен Герман Эмильевич, студент университета, арестованный по делу о прокламации «группы нижегородцев», покончил с собой 6 апреля 1899 г. в Бутырской тюрьме в Москве.

[40] См. брошюру: Чертков В., Русские студенты в освободительном движении, изд. А. М. Дубровского, М., 1907, стр. 51—60. Пользовавшийся этой, напечатанной без участия Черткова, брошюрой В. И. Орлов (см. прим. 1-е), повидимому, не знал, что в ней перепечатаны из сборника Чертковых чужие (не Черткова) письма и статьи («Голос из общества» и «Комиссия Ванновского»).

[41] Об участии «радикально настроенного» студента И. А. Макринова в студенческом движении 1900 г. упоминается в книге В. И. Орлова, стр. 365—366 и 373. Рукопись проф. И. А. Макринова «О посещении Льва Николаевича Толстого в сентябре 1900 г. в Ясной Поляне», датированная 22 марта 1936 г., находится в архиве К. С. Шохор-Троцкого.

[42] Лопатин Лев Михайлович (1855—1920), философ, заслуженный профессор Московского университета, редактор журнала «Вопросы Философии и Психологии». Был знаком с Толстым и его семьей с 80-х годов.

[43] Известно только одно обращение Толстого к московскому обер-полицмейстеру Д. Ф. Трепову — в 1901 г. по поводу избиения чинами московской полиции студента А. П. Накашидзе.

[44] См. Юбилейное издание, т. LIV, стр. 90.

[45] Изданы в Англии, Christchurch, 1901.

[46] См. Юбилейное издание, т. LIV, стр. 91. В приведенной записи видоизменена и развернута лаконическая запись, сделанная Толстым в начале марта 1901 г. в записной книжке: «Студенты в солдаты — это разбойники дерутся между собой» (см. там же, стр. 238).

НОВОЕ О СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЯХ Л. Н. ТОЛСТОГО

ПИСЬМО ТОЛСТОГО К С. А. ТОЛСТОЙ

Сообщение П. Попова

В конце 1885 г. Толстой испытал кризис, в связи с теми тяжелыми для него переживаниями, которыми сопровождался разлад, возникший у него в семье. Одним из поводов было отрицательное отношение Толстого к издательской деятельности С. А., открывшей подписку на собрание его сочинений. Толстому претило то, что распространение его писаний сопровождается получением доходов. В неотправленном письме к В. Г. Черткову он писал: «То, что я пишу, об этом не читают, что говорю, не слушают или в раздражении отвечают, как только поймут, к чему идет речь; что делаю, не видят или стараются не видеть... Разорить же все, освободить себя от лжи без раздражения не умею... Когда оглянешься... на ту ложь, в которой живешь, и когда слаб духом, то делается отвращение к себе и недоброжелательство к людям, ставящим меня в это положение... Писал это два дня тому назад. Вчера не выдержал и стал говорить [очевидно, с С. А.], сделалось раздражение, приведшее только к тому, чтобы ничего не слыхать, не видать и все относить к раздражению. Я целый день плачу один сам с собой и не могу удержаться... Крошечное утешение у меня в семье — это девочки. Они любят меня за то, что следует любить, и любят это».

Этими тяжелыми переживаниями и объясняется отъезд Толстого из Москвы в деревню в сопровождении дочери Татьяны. Об этом конфликте С. А. Толстая писала Т. А. Кузминской 20 декабря 1885 г.: «Случилось то, что уже столько раз случалось: Левочка пришел в крайне нервное и мрачное настроение. Сижу раз, пишу, входит; я смотрю — лицо страшное. До тех пор жили прекрасно; ни одного слова неприятного не было сказано, ну ровно, ровно ничего. «Я пришел сказать, что хочу с тобой разводиться, жить так не могу, еду в Париж или в Америку». Далее С. А. Толстая описывает, что хотела уехать к Кузминским. «Стал умолять: останься. Я осталась; но вдруг начались истерические рыдания, ужас просто, подумай, Левочка, и всего трясет и дергает от рыданий».

Публикуемое ниже письмо не вошло в собрание «Писем Толстого к жене», изданных С. А. Толстой, и до настоящих дней оставалось ненапечатанным.

Письмо печатается по автографу, хранящемуся в кабинете Толстого при Всесоюзной библиотеке им. В. И. Ленина. Датируется по содержанию письма: 1) в письме есть фраза: «...ты так хлопотала в Петербурге и горячо защищала запрещенные статьи»,— имеется в виду поездка С. А. Толстой в ноябре 1885 г.; 2) другая ориентирующая фраза Толстого: «...в «Исповеди», написанной в 1879 году, но выражающей чувства и мысли, в которых я жил года два тому назад — следовательно, без малого 10 лет тому назад». Слова «два года тому назад» указывают на 1877 г.; слова «без малого 10 лет тому назад» позволяют отнести письмо к 1885—1886 гг.; 3) в неопубликованном письме М. Л. Толстой к Т. Л. Толстой от 21 декабря 1885 г., писанном из Москвы в имение Олсуфьевых, читаем: «У нас за обедом был сегодня довольно неприятный разговор. Мама̀ все на вегетарианство нападала. Она прочла письмо, которое папа̀ ей оставил, и оно ее, повидимому, расстроило. До сих пор она была довольно весела. Ну да это обойдется». Предполагаем, что М. Л. Толстая имеет в виду настоящее письмо, почему и относим его к 15—18 декабря 1885 г. Уезжая к Олсуфьевым, Толстой оставил письмо в Москве. В начале автографа — помета С. А. Толстой: «Неотданное и непосланное письмо Льва Николаевича к жене».

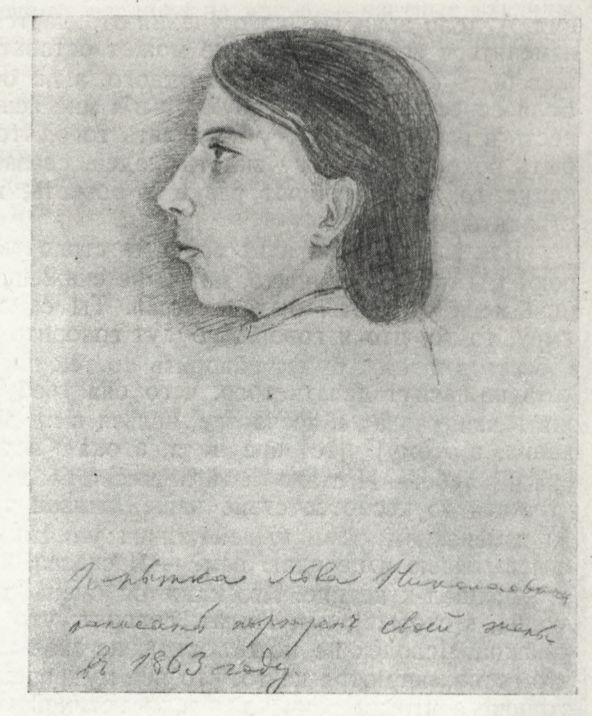
[15—18 декабря 1885 г., Москва]

За последние 7—8 лет все наши разговоры с тобой кончались после многих мучительных терзаний — одним, с моей стороны по крайней мере: я говорил: согласия и любовной жизни между нами быть не может до тех пор, пока — я говорил — ты не придешь к тому, к чему я пришел или по любви ко мне или по чутью, к[оторое] дано всем, или по убеждению <не доверивши(?) мне> и не пойдешь со мной вместе. Я говорил: пока ты не придешь ко мне, а не говорил: пока я не приду к тебе, п[отому] ч[то] это невозможно для меня. Невозможно потому, что то, чем живешь ты, это то самое, из чего я только-что спасся, как от страшного ужаса, едва не приведшего меня к самоубийству.— Я не могу вернуться к тому, в чем я жил, в чем нашел погибель и что признал величайшим злом и несчастием. А ты можешь попытаться притти к тому, чего ты еще не знаешь и что в общих чертах — именно жизнь не для своих удовольствий (не о твоей жизни говорю, а о жизни детей), не для своего самолюбия, а для бога или для других — всегда всеми считалось лучшим и что так и отзывается и в твоей совести. Все наши споры за последние года всегда кончались одним этим. Ведь стоит подумать, отчего это так. И если ты подумаешь искренно и, главное, спокойно, то тебе будет ясно, отчего это так.— Ты издаешь с таким старанием мои сочинения, ты так хлопотала в П-б-ге и горячо защищала запрещенные статьи. Да что ж там написано в этих статьях? В первой из них, в Исповеди, написанной в [18]79 году, но выражающей чувства и мысли, в к[оторых] я жил года два тому назад — следовательно, без малого 10 лет тому назад. Вот что я писал. Писал не для публики, а то, что я выстрадал, то, к чему я пришел не для разговоров и красивых слов, а пришел, как ты знаешь, <если ты не будешь в раздр[ажении]> я приходил ко всему, к чему я приходил искренно и <серьезно> с тем, чтобы делать то, что я говорил. Вот что я писал: 56, 57, 58, 59 стр. Отчеркнуты [1].

Ведь ты знаешь, что все это я не писал для красоты слога, а что это было то, к чему я пришел, спасаясь от отчаяния. (Ради бога, не говори, что это сумасшествие, что тебе нельзя поспевать за всякими фантазиями и т. п. Я прошу тебя не говорить этого, чтобы не развлекаться от предмета. Предмет этот теперь *я,* о тебе я буду говорить после, и я хочу тебе представить себя в том настоящем состоянии, в каком я нахожусь, живу и умру, прилагая все свои силы к тому, что[бы] сказать одну правду перед богом.) Так вот, лет без малого 10 с того же времени, как ссоры <не из-за мелочей, а> между нами все стали кончаться тем, что я говорил, что мы не сойдемся, пока не придем к одному взгляду на жизнь, с того времени моя жизнь пошла (не в одних мыслях, в душе я всегда тянул к тому же) совсем в другую сторону, чем она шла прежде, и шла так и все идет дальше и дальше по тому же направлению и в мыслях, к[оторые] я для себя более и более уясняю и выражаю, как умею ясно и точно, и в делах жизни, к[оторые] все ближе и ближе выражают то, во что я верю. Здесь, чтобы говорить о себе, я должен сказать о твоем отношении к моей изменившейся вере и жизни. Я буду говорить о тебе не для того, чтобы обвинять — я и не обвиняю, я понимаю, мне кажется, <все> твои мотивы и не вижу в них дурного, но я должен сказать то, что было, для того, чтобы было понятно то, что вышло; и потому, душа моя, выслушай, ради всего святого, спокойно, что я буду говорить. Я не обвиняю и не могу, не за что и не хочу, хочу, напротив, твоего соединения со мной и любви и потому не могу желать делать тебе больно, но, чтобы объяснить свое положение, должен сказать о тех несчастных недоразумени[ях], кот[орые] привели нас к тепе-

РИСУНОК Л. Н. ТОЛСТОГО,
ИЗОБРАЖАЮЩИЙ С. А. ТОЛСТУЮ,
1863 г.

Всесоюзная библиотека
им. В. И. Ленина



решнему разъединению в соединении, к этому мучительному для нас обоих состоянию.

Ради бога, воздержись и прочти спокойно, на время отложив мысль о себе. О тебе, о твоих чувствах и твоем положении я буду говорить после, но теперь необходимо тебе, чтобы понять свое отношение ко мне, понять меня, мою жизнь, какая она есть, а не такая, какою бы ты хотела, чтобы она была. То, что я говорю тебе о том, что мое положение в семье составляет мое постоянное несчастье, есть факт несомненный, я его знаю, как знают зубную боль. Может быть, я сам виноват, но факт есть, и если тебе мучительно знать, что я несчастлив (я знаю, что тебе мучительно), то надо не отрицать боль, не говорить, что ты сам виноват, а подумать, как от нее избавиться — от боли, к[оторая] болит во мне и заставляет страдать тебя и всю семью. Боль оттого, что я почти 10 лет тому назад пришел к тому, что единственное спасение мое и всякого человека в жизни в том, чтобы жить не для себя, а для других, и что наша жизнь нашего сословия вся устроена для жизни для себя, вся построена на гордости, жестокости, насилии, зле, и что потому человеку в нашем быту, желающему жить хорошо, жить с спокойною совестью и жить радостно, надо не искать каких-нибудь мудреных далеких подвигов, а надо сейчас же, сию минуту действовать, работать, час за часом и день за днем, на то, чтобы изменять ее и итти от дурного к хорошему; и в этом одном счастье и достоинство людей нашего круга, а между тем ты и вся семья идут не к изменению этой жизни, а с возрастанием семьи, с разрастанием эгоизма ее членов к усилению ее дурных сторон. От этого боль, как ее вылечить? Отказаться мне от своей веры? Ты знаешь, что это нельзя. Если бы я сказал на словах, что отказываюсь, никто, даже ты, мне бы не поверил, как если бы я сказал, что 2×2 не 4. Что же делать? Исповедовать эту веру на словах, в книжках, а на деле делать другое? Опять и ты не можешь посоветовать этого. Забыть? нельзя. — Что же делать? Ведь в том-то и дело, что тот предмет, к[оторым] я занят, к к[оторому], может быть, я призван, есть дело нравственного уче-

ния. А дело нравственного учения отличается от всех других тем, что оно изменяться не может, что не может оставаться словами, что оно не может быть обязательным для одного, а не обязательным для другого. — Если совесть и разум требуют, <и> мне ясно стало то, чего требуют совесть и разум, я не могу не делать того, что требуют совесть и разум, и быть покоен,— не могу видеть людей, связанных со мной любовью, знающих то, чего требуют разум и совесть, и не делающих этого, и не страдать.

Как ни поверни, я не могу не страдать! Живя тою жизнью, к[оторою] мы живем. И никто, ни ты не скажешь, чтобы причина, заставляющая меня страдать, была ложная. Ты сама знаешь, что если я завтра умру, то то, что я говорил, будут говорить другие, будет говорить сама совесть в людях, будет говорить до тех пор, пока люди не сделают, или хоть не начнут делать того, чего она требует.— Так что, чтобы уничтожить наш разлад и несчастие, нельзя вынуть из меня причину моего страдания, п[отому] ч[то] она не я, а она <истина> в совести всех людей, она и в тебе.— И стало-быть остается рассмотреть другое: нельзя ли уничтожить то несоответствие нашей жизни требованиям совести? Нельзя ли изменением форм нашей жизни уничтожить то страдание, к[оторое] я испытываю и передаю вам? — Я сказал, что я спасся от отчаяния тем, что пришел к истине. Это кажется очень гордым утверждением для тех людей, к[оторые], как Пилат, говорят: что истина? но гордости тут нет никакой. Человек не может жить, не зная истины. Но я хочу сказать то, что готов, несмотря на то, что все мудрецы и святые люди мира на моей стороне и что ты сама признаешь истиной то же, что я признаю, я готов допустить, что то, чем я жил и живу, не истина, а только мое увлечение, что я помешался на том, что знаю истину и не могу перестать верить в нее и жить для нее, не могу излечиться от моего сумасшествия. Я готов допустить и это, и в этом случае остается для тебя то же положение. Так как нельзя вырвать из меня того, чем я живу, и вернуть меня к прежнему, то как <прожить со мной наилучшим образом> уничтожить те страдания мои и ваши, происходящие от моего неизлечимого сумасшествия?

Для этого, признавая мой взгляд истиной или сумасшествием (все равно), есть одно только средство: вникнуть в этот взгляд, рассмотреть, понять его. И это то самое, по несчастной случайности, о к[оторой] я говорил, не только никогда не было сделано тобой, а за тобой и детьми, но этого привыкли опасаться. Выработали себе прием забывать, не видать, не понимать, не признавать существования этого взгляда, относиться к этому как к <литературны[м]> интересным мыслям, но не как ключу для понимания человека.

Случилось так, что, когда совершался во мне душевный переворот и внутренняя жизнь моя изменилась, ты не приписала этому значения и важности, не вникая в то, что происходило во мне, по несчастной случайности, поддаваясь общему мнению, что писателю-художнику, как Гоголю [2], надо писать худож[ественные] произведения, а не думать о своей жизни и не исправлять ее, что это есть что-то вроде дури или душевной болезни; поддаваясь этому настроению, ты <даже> сразу стала в враждебное отношение к тому, что было для меня спасением от отчаяния и возвращением к жизни.

Случилось так, что вся моя деятельность на этом новом пути, все, что поддерживало меня на нем, тебе стало представляться вредным, опасным для меня и для детей.— Для того, чтобы не возвращаться к этому после, скажу здесь об отношении моего взгляда на жизнь к семье и детям <чтобы ты не делала в душе>, против того неправильного возражения, что мой взгляд на жизнь мог быть хорош для меня, но

неприложим к детям. Есть разные взгляды на жизнь — частные взгляды: один считает, что для счастья надо <главное> быть ученым, другие — художником, третьи — богатым или знатным и т. п. Это все частные взгляды, но взгляд мой был взгляд религиозный, нравственный, тот, к[оторый] говорит о том, чем должен быть всякий человек для того, чтобы исполнить волю бога, для того, чтобы он и все люди были счастливы. Взгляд религиозный может быть неправилен, и тогда его надо опровергнуть или просто не принимать его; но против религиозного взгляда нельзя говорить, что говорят, и ты иногда, что это хорошо для тебя, но хорошо ли для детей? Мой взгляд состоит в том, что я и моя жизнь не имеют никакого значения и прав, дорог же мне мой взгляд не

Л. Н. ТОЛСТОЙ В КРУГУ СЕМЬИ

Фотография 1887 г.

Толстовский музей, Москва

для меня, а для счастья других людей; а из других людей ближе всех мне дети. И потому то, что я считаю хорошим, я считаю таким не для себя, а для других и, главное, для своих детей. И так случилось, что по несчастному недоразумению ты и не вникла в то, что было для меня величайшим переворотом и изменило <бесповоротно> мою жизнь, но даже — не то что враждебно, но как к болезненному и ненормальному явлению отнеслась к этому, и из хороших побуждений, желая спасти от увлечения меня и других; и с этого времени с особенной энергией потянула как-раз в обратную сторону того, куда меня влекла моя новая жизнь. Все, что мне было дорого и важно, все стало тебе противно: и наша прелестная, тихая, скромная деревенская жизнь, и люди, к[оторые] в ней участвовали, как Вас[илий] Ив[анович] [3], которого я знаю, что ты ценишь, но к[оторого] ты тогда сочла врагом, поддерживавшим во мне и детях ложное, болезненное, неестественное, по-твоему, настроение. И тогда началось то отношение ко мне, как к душевнобольному, к[ото-

рое] я очень хорошо чувствовал. И прежде ты была смела и решительна, но теперь эта решительность еще более усилилась, как усиливается решительность людей, ходящих за больными, когда признано, что он душевнобольной. Душа моя! вспомни эти последние года жизни в деревне, когда, с одной стороны, я работал так, как никогда не работал и не буду работать в жизни — над евангелием (какой бы ни был результат этой работы, я знаю, что я вложил в нее все, что мне дано было от бога духовной силы), а с другой стороны, стал в жизни прилагать то, что мне открылось из учения еванг[елия]: отрекся от собственности, стал давать, что у меня просили, отрекся от честолюбия <и> для себя и для детей, зная (что я и давно, 30 лет тому назад, знал, то, что заглушалось во мне честолюбием), что то, что ты готовила для них в виде утонченного образования , с франц[узским], англ[ийским], гувернер[ами] и гувернант[ками], с музыкой и т. п., были соблазны славолюбия, возвышения себя над людьми, жернова, к[оторые] мы им надевали на шею. Вспомни это время и как ты относилась к моей работе и к моей новой жизни. Все это казалось тебе увлечением односторонним, жалким, а результаты этого увлечения казались тебе даже опасными для детей. Боюсь сказать и не настаиваю на этом, но к этому присоединилось еще твое молодое замужество, усталость от материнских трудов, незнание света, к[оторый] тебе представлялся чем-то пленительным, и ты с большей решительностью и энергией и совершенным закрытием глаз на то, что происходило во мне, на то, во имя чего я стал тем, чем стал, потянула в обратную, противуположную сторону: детей в гимназию, девочку—вывозить, составить знакомства в обществе, устроить приличную обстановку. <И в этой твоей деятельности ты почувствовала себя еще совершенно свободно. Тут ты сделала невольную ошибку.> Ты поверила и своему чувству и общему мнению, что моя новая жизнь есть увлечение, род душевной болезни, и не вникла в смысл ее и начала действовать с решительностью, даже не похожей на тебя, и с тем большей свободой, что все то, что ты делала: и переезд в Москву, и устройство тамошней жизни, и воспитание детей, все это уже было до такой степени чуждо мне [4], что я не мог уже подавать в этом никакого голоса, п[отому] ч[то] все <было противно моей вере> это происходило в области, признаваемой мною за зло[?]. То, что делалось в деревне на основании взаимных уступок, по самой простоте жизни, главное, пот[ому], что оно было старое, 20-летнее, имело все-таки для меня смысл и значение. Новое же <безобразное>, противное всем моим представлениям в жизни, устройство уже не могло иметь для меня никакого значения, как только то, что я пытался наилучшим, наиспокойнейшим образом переносить это. Эта новая моск[овская] жизнь была для меня страданием, к[акого] я не испытывал всю мою жизнь. Но я не только страдал на каждом шагу, каждую минуту от несоответствия своей и своей семьи жизни и моей жизни и виду роскоши, разврата и нищеты, в к[оторой] я чувствовал себя участником, я не только страдал, но я шалел и делался гадок и участвовал прямо сознательно в этом разврате, ел, пил, играл в карты, тщеславился и раскаивался и мерзел самому себе. Одно б[ыло] спасенье — писанье, и в нем я не успокоивался, но забывался.

В деревне было не лучше. То же игнорирование меня, не одной тобой, но и подраставшими детьми, естественно, склонными усвоить потакающий их слабостям, вкусам и тот взгляд на меня, как на доброго, не слишком вредного душевнобольного, с к[оторым] надо только не говорить про его пункт помешательства. Жизнь шла помимо меня. И иногда, ты не права была в этом, ты призывала меня в участии в этой жизни, предъявляла ко мне требования, упрекала меня за то, что я не занимаюсь денежными делами и воспитанием детей, как будто я мог заниматься денежными делами, увеличивать или удерживать состояние для того, чтобы

увеличивать и удерживать то самое зло, от к[оторого] гибли, по моим понятиям, мои дети. И мог заниматься воспитанием, цель кот[орого] гордость — отделение себя от людей, светское образование и дипломы, были то самое, что я знал за пагубу людей. Ты с детьми выраставшими шла дальше и дальше в одну сторону — я в другую. Так шло года, год, два — пять лет. Дети росли <и порча их росла>, мы расходились дальше и дальше, и мое положение становилось ложнее и тяжелее. Я ехал с людьми, заблудившимися по ложной дороге, в надежде своротить их: то ехал молча, то уговаривал остановиться, повернуть, то покоряясь им, то возмущаясь и останавливая. Но чем дальше, тем хуже. Теперь уж установилась инерция — едут, п[отому] ч[то] так по[е]хали, уже привыкли, и мои уговариванья только раздражают. <Мне осталось одно: не потворствовать и тянуть, пока вытяну жилы, в обратную сторону.> Но мне от этого не легче, и иногда, как в эти дни, я прихожу в отчаяние и спрашиваю свою совесть и разум, как мне поступить, и не нахожу ответа. Выборов есть три: 1) употребить свою власть: отдать состояние тем, кому оно принадлежит— рабочим, отдать кому-нибудь, только избавить малых и молодых от соблазна и погибели; но я сделаю насилие, я вызову злобу, раздражение, вызову те же желания, но не удовлетворенные, что еще хуже, 2) уйти из семьи? — но я брошу их совсем одних,— уничтожить мое кажущееся мне недействительным, а может быть, действующее, имеющее подействовать влияние,— оставлю жену и себя одиноким и нарушу заповедь, 3) продолжать жить, как жил, вырабатывая в себе силы бороться со злом любовно и кротко. Это я и делаю, но не достигаю любовности и кротости и вдвойне страдаю и от жизни и от раскаяния. Неужели так надо?

Л. Н. ТОЛСТОЙ ЗА ИГРОЙ В ГОРОДКИ

Фотография 1909 г.

Толстовский музей, Москва

Так в этих мучительных условиях надо дожить до смерти? Она не далека уж. И мне тяжело будет умирать с упреком за всю ту бесполезную тяжесть последних годов жизни, к[оторую] едва ли я подавлю и перед смертью, и тебе провожать меня с сомнением о том, что ты могла бы не причинять мне тех единственных тяжелых страданий, к[оторые] я испытал в жизни.— Боюсь, что эти слова огорчат тебя и огорчение твое перейдет в раздражение.

Представь себе, что мне попадется твой дневник, в кот[ором] ты высказываешь свои задушевные чувства и мысли, все мотивы твоей той или другой деятельности, с каким интересом я прочту все это. Мои же работы все, к[оторые] были не что иное, как моя жизнь, так мало интересовали и интересуют тебя, что так, из любопытства, как литерат[урное] произведение, прочтешь, когда попадется тебе; а дети, те даже и не интересуются читать. Вам кажется, что я сам по себе, а писанье мое само по себе.

Писанье же мое есть весь я. В жизни я не мог выразить своих взглядов вполне, в жизни я делаю уступку необходимости сожития в семье; я живу и отрицаю в душе всю эту жизнь, и эту-то не мою жизнь вы считаете моей жизнью, а мою жизнь, выраженную в писании, вы считаете словами, не имеющими реальности.

Весь разлад наш сделала та роковая ошибка, по к[оторой] ты 8 лет тому назад признала переворот, к[оторый] произошел во мне, <чем-то неестествен[ным]>, переворот, к[оторый] из области мечтания и призраков привел меня к действительной жизни, признала чем-то неестественным, случайным, временным, фантастическим, односторонним, который не надо исследовать, разобрать, а с которым надо бороться всеми силами. И ты боролась 8 лет, и результат этой борьбы тот, что я страдаю больше, чем прежде, <задыхаюсь>, но не только не оставляю принятого взгляда, но все дальше иду по тому же направлению и задыхаюсь в борьбе и своим страданием заставляю страдать вас.

Как же тут быть? Странно отвечать, потому что ответ самый простой: надо сделать то, что надо было сделать с самого начала, что люди делают, встречаясь со всяким препятствием в жизни: <уничтожить это препятствие силою или> понять, откуда происходит это препятствие, и, поняв, уничтожить это препятс[твие] или, признав его неустранимым, покориться ему.

Вы приписываете всему, только не одному: тому, что вы причиной, невольной, нечаянной причиной моих страданий.

Едут люди, и за ними валяется избитое в кровь, страдающее, умирающее существо. Они жалеют и хотят помочь, но не хотят остановиться. Отчего не попробовать остановиться?

Вы ищите причину, ищите лекарство. Дети перестанут объедаться (вегетарианство). Я счастлив, весел (несмотря на отпор, злобные нападки). Дети станут убирать комнату, не поедут в театр, пожалеют мужика, бабу, возьмут серьезную книгу читать — я счастлив, весел, и все мои болезни проходят мгновенно. Но ведь этого нет, упорно нет, нарочно нет.

Между нами идет борьба насмерть — божье или не божье. И, так как в вас есть бог, вы [5]...

Надо вникнуть в то, что движет мною и что я высказываю, как умею, тем более это нужно, что рано или поздно — судя по тому распространению и сочувствию, к[оторое] вызывают мои мысли — придется понять их, не так, как старательно их понимают, навыворот, те, к[оторым] они противны, что я только проповедую то, что надо быть диким и всем пахать, лишиться всех удовольствий,— а так, как я их понимаю и высказываю.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Экземпляр «Исповеди» с отчеркнутыми Толстым местами не сохранился. Надо думать, что Толстой отметил ряд мест по первому печатному изданию «Исповеди», вышедшему за границей в 1884 г. Высказывания, на которые Лев Николаевич хотел обратить внимание С. А. Толстой, определяются следующими цитатами с соответствующих страниц: «Вся жизнь верующих нашего круга была противоречием их вере, а вся жизнь людей верующих и трудящихся была подтверждением того смысла жизни, который давало знание веры... В противоположность того, что я видел в нашем кругу, где вся жизнь проходит в праздности, потехах и недовольстве жизнью, я видел, что вся жизнь этих людей происходила в тяжелом труду и они были довольны жизнью... Со мной случилось то, что жизнь нашего круга — богатых, ученых — не только опротивела мне, но потеряла всякий смысл. Все наши действия, рассуждения, наука, искусство — все это предстало мне в новом значении. Я понял, что все это — одно баловство, что искать смысла в этом нельзя. Жизнь же всего трудящегося народа, всего человечества, творящего жизнь, представлялась мне в ее настоящем значении. Я понял, что это — сама жизнь и этот смысл, придаваемый этой жизни, есть истина, и я принял его».

[2] Толстой писал о Гоголе Н. Н. Страхову 14 октября 1887 г.: «Ведь я опять относительно значения истинного искусства открываю Америку, открытую Гоголем 35 лет тому назад. Значение писателя, вообще, определено там (письмо к Языкову 29) так, что лучше сказать нельзя». О нем же Толстой писал П. И. Бирюкову 18 октября того же года: «Пошлость, обличенная им, закричала: он сумасшедший, и 40 лет литература продолжает итти по тому пути, ложность которого он показал с такой силой, и Гоголь, наш Паскаль,— лежит под спудом. Пошлость царствует, и я всеми силами стараюсь, как новость, сказать то, что чудно сказано Гоголем».

[3] Эпизод с жившим в семье Толстых учителем В. И. Алексеевым, которого здесь напомнил Лев Николаевич, связан с убийством Александра II. В 1881 г., когда это случилось, Толстой решил отправить письмо вступившему на престол Александру III с целью вызвать помилование убийц его отца. Алексеев горячо поддерживал этот план. В своих воспоминаниях (ненапечатанных) Алексеев пишет, что он так ответил Толстому на его вопрос о целесообразности посылки письма на имя царя: « — Какое счастье и радость будет, если, прочитав это письмо, он поступит по учению Христа. И как вы будете раскаиваться, если государь вспомнит эти слова после казни: «Ах, жаль, что никто мне не напомнил раньше этих слов».— Слова эти слышала графиня Софья Андреевна за дверьми из своей комнаты. Вдруг дверь отворяется, выбегает взволнованная графиня и с сердцем, повышенным голосом говорит мне, указывая пальцем на дверь: — Василий Иванович, что вы говорите!.. Если бы здесь был не Лев Николаевич, который не нуждается в ваших советах, а мой сын или дочь, то я тотчас приказала бы вам убираться вон.— Я был поражен таким выступлением графини и сказал: «Слушаю, уйду...». Инцидент загладился тем, что С. А. Толстая за столом при всех извинилась перед Алексеевым за свою резкую выходку.

[4] На пустом месте страницы, сбоку, написано рукой С. А. Толстой: «Противоречие этому можно найти в письмах Льва Николаевича к жене. Он сам устроил весь переезд в Москву и давно к нему готовил семью». С. А. Толстая имеет в виду письма Толстого от сентября — начала октября 1882 г., исполненные забот со стороны Льва Николаевича по устройству дома в Москве.

[5] На этом письмо прерывается. Дальнейший текст набросан на отдельном листке.

К ИСТОРИИ СЕМЕЙНОЙ ТРАГЕДИИ ТОЛСТОГО

(ПО НЕИЗДАННЫМ ИСТОЧНИКАМ)

Сообщение Н. Гусева

I

Когда Толстой 18 апреля 1889 г. читал пианисту и композитору Сергею Ивановичу Танееву набросок своей статьи об искусстве, он, конечно, не предполагал, какую роль через несколько лет будет играть Танеев в его семейной жизни.

Произошло это следующим образом.

23 февраля 1895 г. умер от скарлатины младший сын Толстых, семилетний Ваничка (род. 31 марта 1888 г.). Софья Андреевна очень любила этого своего последнего ребенка. На него направила она весь остаток материнской ласки и заботы. Горе Софьи Андреевны, казалось, не имело пределов. 8 марта 1895 г. она писала своей сестре, Т. А. Кузминской: «Неужели возможно жить с такими страданиями? Все, все от меня отпало... И что ужаснее всего — у меня осталось восемь человек детей, а я чувствую себя одинокой с своим горем и не могу прицепиться к их существованию».

Толстой находил, что смерть сына произвела на его жену благотворное, возвышающее действие.

«Жена,— писал он В. Г. Черткову 8 марта 1895 г.,— переносит тяжело, но очень хорошо. В особенности первые дни я был ослеплен красотою ее души, открывшейся вследствие этого разрыва. Она первые дни не могла переносить никакого кого-нибудь к кому-нибудь выражения нелюбви. Я как-то сказал при ней про лицо, написавшее мне бестактное письмо соболезнования: какой он глупый. Я видел, что это больно резнуло ее по сердцу; так же и в других случаях. Но иногда этот свет начинает слегка заслоняться, и я ужасно боюсь этого»,— оговаривается Толстой далее [1].

То же самое в тот же день писал Толстой и своему другу Н. Н. Страхову: «Софья Андреевна поразила меня. Под влиянием этой скорби в ней обнаружилось удивительное по красоте ядро души ее. Теперь понемногу это начинает застилаться. И я не знаю, радуюсь ли я тому, что она понемногу успокаивается, или жалею, что теряется тот удивительный подъем духа» [2].

В следующем письме к Н. Н. Страхову, от 5 мая 1895 г., Толстой уже вполне определенно пишет про перемену душевного состояния жены: «Все то прекрасное духовное, что открылось тотчас после смерти Вани и от проявления и развития чего я ждал так много, опять закрылось, и осталось одно отчаяние и эгоистическое горе». В этом же письме Толстой сообщал, что на лето его жена боится ехать в Ясную Поляну — «боится воспоминаний». «Я предлагаю,— писал он,— так как уже непременно хотят ехать куда-нибудь, ехать за границу, в Баварию, на озера около Мюнхена» [3].

Когда же все-таки было решено ехать в Ясную, Лев Николаевич стал обдумывать средства, которые могли бы рассеять его жену. Из всех друзей и знакомых Толстого самым приятным и интересным для Софьи Андреевны был литературный критик и философ Николай Николаевич Страхов. Его спокойный, уравновешенный характер хорошо действовал на Софью Андреевну. 25 мая Толстой пишет ему следующее пригласительное письмо:

«В нынешний раз приглашая вас к нам, дорогой друг Николай Николаевич, с особенным чувством обращаюсь к вам. Согласие ваше, приезд к нам и пребывание у нас лето доставит мне большую тихую радость и большое успокоение, отказ же, который я и в мыслях боюсь допустить, очень больно огорчит меня. Как давно уже я знаю вас, а мне кажется, что только теперь понял самое настоящее, задушевное и потому дорогое в вас. Пожалуйста, приезжайте. Это будет доброе дело и для меня и для Сони, и в самом настоящем, а не переносном смысле слова. Если можно вас этим подкупить, то буду стараться заниматься все лето только художественными работами, которые очень привлекают меня. Так, пожалуйста, пожалуйста, до свидания»[4].

Н. Н. Страхов, действительно, приехал, и после его отъезда Софья Андреевна писала Т. А. Кузьминской: «Его тишина, мудрость и тихая, молчаливая ласковость на меня отлично действовали»[5].

Однако, не Н. Н. Страхову было суждено вывести Софью Андреевну из того тяжелого душевного состояния, в котором она тогда находилась.

II

7 июня 1895 г. М. Л. Толстая писала своему другу, единомышленнице своего отца, Леонилле Фоминичне Анненковой:

«Мамà было тяжело приехать в Ясную без Ванички. Она очень плачет, и часто жутко за нее, так она дает ход своему горю и не умеет обуздать себя... Мне очень жалко мамà, тем жальче, чем она неразумнее, но часто возмущаюсь на ее состояние эгоизма. Мне ужасно жалко папà, ему ее состояние, конечно, тяжелее всех. Так хотелось бы окружить его тишиной, миром, разумной обстановкой и любовью. Ему еще много хочется и надо сделать для людей, а теперь вот уже несколько времени, как он совсем не может работать»[6].

Толстой и сам видел растерянное душевное состояние жены, лишившейся привычных для нее материнских забот. 16 мая 1896 г. он записал в своем дневнике: «Трудно ей найти жизнь без детей. Главное, ей мешаю я». Между тем, в то время, как Толстой писал эти строки, сила жизни уже вновь восстанавливалась в Софье Андреевне.

Все лето 1895 г. в Ясной Поляне провел Сергей Иванович Танеев. Повидимому, в это лето Толстой не замечал какого-либо особенного отношения Софьи Андреевны к Танееву; когда Танеев 27 августа уезжал из Ясной Поляны в Москву, Толстой, прощаясь, сказал ему:

«— Мы с вами хорошо прожили лето; надеюсь, что и зиму будем видеться»[7].

Но уже 28 мая 1896 г., когда Танеев опять гостил в Ясной Поляне, Толстой записывает в дневнике: «Дома были... Танеев, который противен мне своей самодовольной нравственной и (смешно сказать) эстетической настоящей, не внешней тупостью и его coq de village'ным[8] положением у нас в доме»[9].

Вспоминая впоследствии (в 1906 г.) в своей неизданной автобиографии «Моя жизнь» свои отношения к С. И. Танееву, Софья Андреевна писала, что значение Танеева в ее жизни состояло в том, что, живя в Ясной Поляне два лета, он благотворно действовал на нее своею музыкой. «Горе, сердечная тоска куда-то уходили, и спокойная радость наполняла мое сердце». «Присутствие его имело на меня благотворное влияние, когда я начинала опять тосковать по Ваничке, плакать и терять энергию жизни. Иногда мне только стоило встретить Сергея Ивановича, послушать его бесстрастный, спокойный голос — и я успокаивалась... Это был гипноз, невольное, неизвестное совершенно ему воздействие на мою больную душу»[10].

Однако, записи С. А. Толстой в ее дневниках того времени, ее письма и воспоминания современников рисуют ее отношения к С. И. Танееву совершенно в ином свете. Кроме забвения горя, эти отношения давали ей нечто новое, никогда ею не испытанное. В сентябре 1896 г. она писала Л. Ф. Анненковой из Москвы:

«Чувствую, что теряю сама душевное равновесие, которое утратила со смертью Ванички. Душа продолжает томиться, искать утешенья, новых ощущений совсем в других областях, чем те, в которых я жила при жизни моего милого мальчика. Куда меня вытолкнет, совсем не знаю». (Письмо хранится в архиве В. Г. Черткова.)

В 1896 г. Софья Андреевна не вела дневника, но в дневнике 1897 г., когда С. И. Танеев уже не бывал в Ясной Поляне, она часто вспоминает свои отношения к нему за прошлый год. Это были «ежедневные веселые встречи» (II, 112) *; это была его музыка, которая ее «приводила в чудесное состояние и дала столько счастья» (II, 118). Это была поездка в Тулу, с катаньем на лодке и обедом на вокзале, «и беззаботное радостное настроение» (II, 118). Это были «поездки на катках» (II, 119), прогулки на станцию Козловка, когда чувствовалось «бодро, весело, счастливо» (II, 122). «То был праздник жизни» (II, 127), «полное, безумное счастье» (II, 126).

К этому году относится следующее воспоминание младшей дочери Толстого, Александры Львовны:

«Самая веселая прогулка в это лето была в Тулу с мамà, Таней и Сергеем Ивановичем. Пятнадцать верст прошли по пыльному шоссе, съели большое количество сладких пирожков в кондитерской Скворцова, пошли в Кремлевский сад, катались на лодке и поездом вернулись домой. Было превесело!

Мамà совсем ожила, она реже вспоминала Ваничку, помолодела и все декламировала стихи:

О, как на склоне наших лет
Нежней мы любим и суеверней...» [11].

Исключительное отношение к С. И. Танееву прочно утвердилось в душе Софьи Андреевны.

Муж, несмотря на его «ежеминутное участливое отношение» к ней, не мог уже дать ей «счастья, настоящего счастья» (II, 117). «Моя душа всегда с теми, кого я любила в жизни и кого уже нет со мной» (II, 118). Когда она пересматривала старые фотографии, ее «сердце повернулось от сожаления о прошедшем» (II, 119). Переплетая ноты, уничтожили обложку с собственноручной надписью С. И. Танеева, — Софья Андреевна «чуть не плакала» от огорчения (II, 120). Она видит его во сне, играет на рояле «Песни без слов» Мендельсона, вспоминая, как их играл С. И. Танеев,—этой пьесой, «как молитвой», она всегда заканчивает свою игру (II, 125). Она переписывает его романс на слова Фета: «Какое счастье — ночь и мы одни» (II, 146). «Мы, женщины, не можем жить без кумиров», — записывает она (II, 117); «у женщин главное любовь» (II, 130).

Любовь — этим словом определяла сама Софья Андреевна свои отношения к С. И. Танееву. Прекратить отношения с ним было бы для нее страданием (II, 112). Уничтожить их для нее так же невозможно, как невозможно «не смотреть, не дышать, не думать» (II, 112).

В июне 1897 г. Танеев пробыл неделю в Ясной Поляне. Это была «теплая, светлая и радостная неделя» (II, 137) для Софьи Андреевны. Танеев несколько раз играл. «Когда он доигрывал полонез, я уже не могла сдерживать свои слезы, и так меня и трясло от внутренних рыданий», — пишет Софья Андреевна (II, 136); «никто в мире так не играет, как он» (II, 135). После его отъезда ей приходилось «бодриться» и быть «лихорадочно деятельной» (II, 137). Она испытывала «болезненное чувство, когда от любви не освещается, а меркнет божий мир, когда это дурно, нельзя, а изменить нет сил» (II, 140).

У Софьи Андреевны и раньше бывали минуты неудовлетворения своими отношениями к мужу. 12 декабря 1890 г. она записывает в дневнике: «Не лучше ли бы было воспоминанья любви — хотя и преступной — теперешней пустоты, белизны совести» (I, 150). «Грешные мысли меня мучают», — записывает она 23 февраля 1891 г. (II, 11). 22 мая 1891 г. приехавший в Ясную Поляну 70-лѣтний Фет своей лирикой, в которой «все любовь и любовь», возбудил в ней «поэтические и несвоевременно молодые, сомнительные мысли и чувства» (II, 42).

Годы 1897, 1898 и 1899 были тем временем, когда чувство Софьи Андреевны

* В дальнейшем даются ссылки на три выпуска «Дневников С. А. Толстой», из которых два первых были выпущены издательством М. и С. Сабашниковых в 1928 — 1929 гг., а третий — издательством «Север» в 1932 г.

к С. И. Танееву доходило до высшего предела. Живя в Москве, она пользуется всяким случаем видеть его. Она стремится теперь заполнить свою жизнь музыкой, связывая ее с Танеевым. Ей, матери тринадцати детей и бабке семерых внуков, как молоденькой девушке, нравилось проделывать весь общепринятый ритуал поэтического влюбления. Так, 4 сентября 1898 г. она записывает: «Вечером... нам с С. И. не пришлось даже поговорить, и мы перекинулись несколькими фразами, нам одним понятными» (III, 78).

Временами у нее появлялась смутная надежда, что отношения ее с С. И. Танеевым приведут к какой-то большой перемене в ее жизни. Так, 15 июля 1898 г. она записывает: «Чувствуется смутно, что не сыграна до конца роль наших отно-

Л. Н. ТОЛСТОЙ и С. А. ТОЛСТАЯ
Фотография 28 августа 1903 г.
Толстовский музей, Москва

шений и что-то в будущем от них будет, что развяжет их так или иначе. Что именно — совсем не знаю» (это место в печатном тексте «Дневников С. А. Толстой» выпущено).

III

В гениальной «Анне Карениной» есть гениальнейшая сцена, где изображается возвращение Анны в Петербург после ее первой встречи с Вронским на железной дороге:

«В Петербурге, только-что остановился поезд и она вышла, первое лицо, обратившее ее внимание, было лицо мужа. «Ах, боже мой! отчего у него стали такие уши?» подумала она, глядя... особенно на поразившие ее теперь хрящи ушей, подпиравшие поля круглой шляпы». И далее: «Но что это уши у него так странно выдаются! Или он обстригся?».

Такие же, внезапно появившиеся, «уши» видела теперь Софья Андреевна у своего мужа. И раньше склонная осуждать и порицать мужа, теперь на страницах своего дневника она, уже не переставая, упрекает его в «ревнивом деспотизме» (III, 18), в «упрямстве» (III, 37), в том, что она «лишена свободы» (III, 38), в «равнодушном отношении» к ее «духовной и внутренней жизни» (III, 33), в том, что он любит «порабощать и поучать» (III, 38—39) и т. д. Она находит у него «злые глаза, выражение лица страдающее и некрасивое» (III, 10). Она утверждает, что «с ним разговаривать никогда нельзя, он страшно раздражается, кричит» (II, 159). И целые страницы дневника С. А. Толстой написаны в таком духе. Напротив, Сергей Иванович наделяется всеми добродетелями: «Его характер спокойный, благородный и добрый» (II, 112); он — человек с «высокими душевными качествами» (III, 30); его отличают «благородство, серьезность и чистота» (II, 182); его музыка «благородного, высокого стиля» (II, 173) и т. д.

Любовь к С. И. Танееву отдалила С. А. Толстую не только от мужа, но и от детей. Дети осуждали мать. 21 июля 1897 г. Софья Андреевна записывает в дневнике: «Маша говорила мне, что Илья очень огорчается, что в Киеве у сестры Тани, и у Философовых, и везде говорят о моей привязанности к Сергею Ивановичу» (II, 142). Через два дня, 23 июля, Илья Львович сам приехал в Ясную Поляну и «упрекал» мать «за Сергея Ивановича»[12].

Дочери, более близкие к отцу, чем сыновья, проще относившиеся к матери, еще более решительно выражали ей свое несочувствие. В «Дневниках С. А. Толстой» читаем: «Таня упрекала за мое мнимое отношение к С. И.» (III, 4); «Маша... думала дурное про меня» (III, 16); «Таня... наговорила мне много злого по поводу посещения С. И.» (III, 34).

24 сентября 1898 г. Софья Андреевна, жившая тогда в Москве, писала Татьяне Львовне, остававшейся в Ясной Поляне: «Последнее лето мы с тобой как будто избегаем друг друга, точно что-то между нами есть враждебное». Татьяна Львовна отвечала ей 26 сентября:

«Милая мамà, сегодня утром, проснувшись, мысленно писала вам письмо, когда мне принесли ваше, которое очень тронуло меня. Я всегда чувствую вашу любовь ко мне, — то, как вы за меня болеете; но я избегала быть откровенной с вами не по тем причинам, о которых вы пишете, а по другим. Меня от вас отдаляло мое осуждение вас; и всякий раз, как мне хотелось искать в вас сочувствия и помощи в мое особенно трудное время нынешнего года, меня отшатывало оттого, что я не находила в вас той матери, которая была прежде, с которой можно было не соглашаться, даже ссориться, но которую не за что было осуждать. Мое постоянное старание последних лет было в том, чтобы избавиться от этого осуждения...»[13].

Всех непосредственнее выражала матери свое несочувствие младшая в семье — 13—14-летняя Саша. Она вспоминает:

«Первое время я любила Танеева, любила его игру на фортепиано, особенно когда он играл не свое, а Бетховена, Моцарта, сюиту Аренского на двух фортепиано с Гольденвейзером. Я любила играть с Сергеем Ивановичем в лаун-теннис, при чем мы одинаково увлекались игрой и смеялись во все горло. Я любила его кроткую, уютную нянюшку Пелагею Васильевну.

Постепенно все изменилось. Чем больше я замечала особенное, преувеличенно-любовное отношение мамà к Танееву, тем больше я его не любила. Когда Сергей Иванович приходил, я демонстративно уходила в свою комнату. Его грузная фигура, бабий смех, покрасневший кончик небольшого, аккуратного носа—все раздражало меня.

Бывало, толстый Емельяныч, подрагивая натянутыми вожжами, подавал к подъезду сани с обшитой мехом полостью, запряженные темносерой красавицей Лирой, и мамà в бархатной шубе и котиковой шапочке отправлялась за покупками.

— Разве кто-нибудь у нас сегодня будет? — спрашивала я, отлично зная, что придет Танеев.

— Да не знаю, — говорила мамà, — может быть, Сергей Иванович зайдет.

ПОСЛЕДНИЙ СЫН ТОЛСТЫХ — ВАНИЧКА

Рисунок Т. Л. Толстой-Сухотиной. 1894 г.

Толстовский музей, Москва

А вечером, конфузливо смеясь и потирая руки, появлялся Танеев. Он сидел весь вечер, иногда играя и с удовольствием поглощая зернистую икру и конфеты от Альберта.

Бывало, возвращались мы из пассажа или от Мюра и Мерилиза; мамà, перегнувшись вперед, постукивала Емельяныча черепаховым лорнетом по широкой ватной спине:

— Заезжай в Мертвый.

И, обращаясь ко мне, говорила:

— Надо нянюшку Сергея Ивановича проведать.

Я молчала, стиснув зубы. Нянюшка Пелагея Васильевна, с ее веснущатым добродушным лицом и раскачивающейся походкой, делалась мне ненавистной. Иногда мы неожиданно заставали дома Сергея Ивановича. Он обычно играл что-нибудь или сидел в своей крошечной столовой и пил чай. Танеев торопливо, неуклюже вскакивал,— он не умел быть гостеприимным. Выручала нянюшка. Она приглашала садиться и угощала чаем.

Я пряталась в темный угол, внутренно сжималась, из меня нельзя было вытянуть ни одного слова.

Теперь я всячески старалась отговориться от квартетных четвергов: то у меня было много уроков, то болела голова. Да и мамà, видя мое настроение, брала меня с собой гораздо реже.

Весной ездили за город с Танеевым.

— Саша, в воскресенье поедем на Воробьевы горы!

— С кем? — насторожившись, спрашивала я.

— Поедут Масловы, Сергей Иванович...

— Не поеду, — говорила я грубо.

— Почему? Непременно поедешь, нечего тебе с уличными мальчишками играть!

Наступало воскресенье. Мамà была ласкова, весела, нарядна. Но чем оживленнее была мамà, тем я делалась мрачнее. Я надувалась и всю дорогу молчала.

Ничто не могло развеселить меня.

О, как на склоне наших лет
Нежней мы любим и суеверней...

Это стихотворение почему-то связалось у меня с Танеевым, я его возненавидела и ужасно обрадовалась, когда узнала, что папà его тоже не любит.

— Отвратительное стихотворение, — говорил он, — воспевает старческую слюнявую любовь»[14].

IV

Л. Ф. Анненкова в 1913 г. так вспоминала об увлечении Софьи Андреевны Танеевым:

«Относительно Танеева Софья Андреевна говорила, что как жена она верна Льву Николаевичу, но в чувствах своих она свободна и что она не может заставить себя любить или не любить, и прямо признавалась, что любит Танеева. Где Танеев в концерте, там и она. Рядилась для него я не знаю как. Некоторое время она думала, что он ее любит, но потом убедилась, что нет. Он относился к ней весьма сдержанно, и видно было, что ему неловко. Лев Николаевич очень страдал, знаете, ну прямо ему за нее, просто как за человека, больно было. Ведь все тогда знали и говорили об этом»[15].

Увлечение жены было очень мучительно Толстому. Он смотрел на брак, как на такую связь, которая навсегда соединяет людей. В период тоски Софьи Андреевны по Ваничке он писал И. Б. Файнерману: «Я более, чем когда-нибудь, теперь, когда она так страдает, чувствую всем существом истину слов, что муж и жена — не отдельные существа, а одно»[16].

В черновом письме жене своего старшего сына, М. К. Толстой, Лев Николаевич писал 22 ноября 1896 г.: «Я не то что верю, а знаю, сознаю и чувствую всем существом своим, что брак — совершившееся соединение мужчины и женщины, от которого могут или могли произойти дети,— есть такой поступок, который навсегда связывает соединившихся людей»[17].

При таком взгляде на брак чувство Софьи Андреевны к С. И. Танееву представлялось Льву Николаевичу уже изменой. Что же касается Софьи Андреевны, то она не верила в идеальную любовь. В самый разгар своего чувства к С. И. Танееву она записывает в дневнике: «Самая возвышенная любовь приводит к тому же — к желанию обладания и близости» (II, 131—132).

В своем дневнике Толстой, не называя Софью Андреевну и Танеева, записал целый ряд своих переживаний по поводу увлечения жены. 19 июля 1896 г. он пишет: «Дома за это время переживал много тяжелого». И далее: «Любовь к врагам. Трудна она, редко удается... как и все вполне прекрасное. Но зато какое счастье, когда достигаешь ее! Есть чудная сладость в этой любви, даже в предвкушении ее. И сладость эта как-раз в обратном отношении привлекательности предмета любви»[18].

26 июля 1896 г.: «Всю ночь не спал. Сердце болит не переставая. Продолжаю страдать и не могу покорить себя богу... Не овладел гордостью и возмущением и не переставая болею сердцем»[19].

30 июля: «Много еще страдал и боролся и не победил ни того, ни другого[20]... Поправило меня только сознание того, что надо жалеть, что она страдает и что моей вины нет конца»[21].

31 июля: «Сердце болит. Измучен... Всем хорошо, а мне тоска, и не могу совладать с собой... Но не хочу. Надо терпеть унижение и быть добрым. Могу... Очень сердце болит. Не жалею себя, а ее»[22].

14 сентября: «Я не освободился, не победил, а только прошло»[23].

10 октября: «С С. хорошо; хотя и слаб, но борюсь любовью».

Ему казалось, что «прошло»; но это была ошибка. 20 декабря он записывает: «Сейчас разговор об искусстве и рассуждения о том, что заниматься искусством можно только для любимого человека. И нежелание сказать это мне. И мне не смешно, не жалко, а больно[24]. Отец, помоги мне. Впрочем, уже лучше. Особенно

успокаивает — задача, экзамен смирения, унижения, совсем неожиданного, исключительного унижения. В кандалах, в остроге можно гордиться унижением, а тут только больно, если не принимать его, как посланное от бога испытание. Да, выучись перенести спокойно, радостно и любить».

21 декабря: «Плохо выучиваюсь. Все страдаю беспомощно, слабо... Думал (и почувствовал): есть люди, лишенные как эстетического, так и этического (главное, этического) чувства, которым нельзя внушить того, что хорошо, — еще менее, когда они делают и любят нехорошее и думают, что это нехорошее — хорошо... Не переставая болит сердце. Нет отдыха ни на чем почти... Гадко, что хочется плакать над собой, над напрасно губимым остатком жизни. А может быть так надо. Даже наверное так надо».

25 декабря: «Мне душевно лучше».

26 декабря: «Все ничего не пишу, но как будто оживаю мыслями. Бес все не отходит от меня» [25].

5 января 1897 г.: «Все нечего записать хорошего о себе. Нет потребности работы, и бес не отходит» [26].

12 января 1897 г. Толстой записывает: «Рано утром. Не сплю от тоски. И не виновата ни желчь, ни эгоизм, ни чувственность, а мучительная жизнь. Вчера сижу за столом: и чувствую, что я и гувернантка, мы оба лишние, и нам обоим одинаково тяжело. Разговоры об игре: Дузе, Гофман, шутки, наряды, сладкая еда идут мимо нас, через нас. И так каждый день и целый день. Не на чем отдохнуть. Таня, бедная, и желала бы когда-то, да слабая, с слабыми духовными требованиями натура. Сережа, Илюша... Бывает в жизни у других хоть что-нибудь серьезное, человеческое — ну, наука, служба, учительство, докторство, малые дети, не говорю уже заработок или служение людям, а тут ничего, кроме игры, всякого рода жранья и старческой flirtation или еще хуже. Отвратительно. Пишу с тем, чтобы знали хоть после моей смерти. Теперь же нельзя говорить. Хуже глухих — кричащие. Она больна, это правда, но болезнь-то такая, которую принимают за здоровье и поддерживают в ней, а не лечат. Что из этого выйдет, чем кончится?.. Не переставая молюсь, и осуждаю себя и молюсь. Помоги, как ты знаешь».

Затем через три дня, 15 января: «Рано утром. Почти всю ночь не спал, проснулся от того, что видел во сне все то же оскорбление. Сердце болит. Думал: все равно от чего-нибудь умирать надо. Не велит бог умирать ради его дела, надо так глупо, слабо умирать от себя, из-за себя. Одно хорошо — это то, что легко вытесняет из жизни. Не только не жаль, но хочется уйти от этой скверной, унизительной жизни. Думал и особенно больно и нехорошо то, что после того, как я всем божеским: служением богу жизнью, раздачей имения, уходом из семьи пожертвовал для того, чтобы не нарушить любовь, — вместо этой любви должен присутствовать при унизительном сумасшествии».

Но тут же Толстой сам и поправляет себя, согласно своему общему взгляду на жизнь: «Это скверные, слабые мысли. Хорошие мысли те, что это самое послано м н е, это я должен нести, это самое н у ж н о мне. Что это не должно, не может нарушать моей жизни служения богу».

Эту страницу своего дневника Толстой вырвал и передал для уничтожения В. Г. Черткову, который снял с нее фотографию, а подлинник уничтожил.

18 января Толстой записывает: «Уныло, гадко. Все отталкивает меня в той жизни, которой живут вокруг меня. То освобождаюсь от тоски и страданья, то опять впадаю» [27].

31 января 1897 г. Толстой вместе с дочерью, Татьяной Львовной, уехал к своим старым хорошим знакомым, Олсуфьевым, в их подмосковное имение Никольское. Уехал он с целью отдохнуть от тяжелой для него суеты московской жизни. Софья Андреевна в то время собиралась в Петербург. Поводом поездки выставлялось желание повидаться с сестрой, жившей там с мужем, сенатором А. М. Кузминским. Но главной целью было побывать на симфоническом концерте, в котором участвовал Танеев.

Из Никольского Толстой 1 февраля пишет жене письмо, в котором высказывает ей свой взгляд и на ее увлечение вообще и на предполагаемую поездку в Петербург. Письмо это Софья Андреевна не опубликовала в изданном ею в 1913 г. (второе издание — 1915 г.) собрании писем к ней Льва Николаевича. Подлинник письма был впоследствии ею передан в Толстовский кабинет Всесоюзной библиотеки им. В. И. Ленина. Ниже публикуем полностью это письмо.

5 февраля Софья Андреевна приехала в Никольское, а 6 февраля Толстой получил известие, что его друзья Чертков и Бирюков, жившие в Петербурге, высылаются за границу. Он поехал проститься с ними; вместе с ним поехала и Софья Андреевна. 14 февраля они вернулись в Никольское, а 16 февраля Толстой записывает в дневнике:

«Нынче уехала С. после огорчившего ее разговора. Женщины не считают для себя обязательными и не могут двинуться вследствие требований разума. У них не натянут этот парус. Они идут на веслах без руля» [28]. И затем, 17 февраля: «Ни за поэтом, ни за живописцем не бегают так, как за актером и, главное, за музыкантом. Музыка производит прямо физическое действие, иногда острое, иногда хроническое» [29].

Затем, 1 марта: «Для твердости и спокойствия есть одно средство: любовь, любовь к врагам. Да, вот мне задалась эта задача с особенной, неожиданной стороны, и как плохо я сумел разрешить ее. Надо постараться» [30].

2 мая Толстой уехал из Москвы в Ясную Поляну. Софья Андреевна продолжала оставаться в Москве. «Отвратительная гадость», как называл Толстой отношения его жены к Танееву, продолжала быть для него мучительной.

«Никогда страдания не доходили до такой силы»,— записал он 16 мая.— «Не могу притти ни к какому решению. Не думать? Нельзя. Решить же ничего не могу». Он не спит три ночи и не может работать. Наконец 18 мая записывает: «Кажется, пришел к решению. Трудно будет исполнить, но не могу и не должен иначе» [31].

В четвертую бессонную ночь (того же 18 мая) он пишет жене письмо, которое кажется ему резким, и он уничтожает его. Пишет другое, но и этим остается недоволен и в пятую бессонную ночь, 19 мая, пишет третье письмо. Второе и третье письма Толстой оставляет жене, которая должна была приехать в Ясную Поляну, а сам уезжает к своему брату, Сергею Николаевичу, в его имение Пирогово,— отдохнуть от пережитых волнений. Верный своему взгляду на брак, он дает жене ряд советов о том, как развязать «наш грех», как он выражается.

Оба эти письма сохранились в Толстовском кабинете Всесоюзной библиотеки им. В. И. Ленина. Они также не были опубликованы Софьей Андреевной в ее издании и воспроизводятся ниже впервые.

V

Ни письма, ни словесные увещания Толстого не производили действия на его жену. 3 июня 1897 г., по приглашению Софьи Андреевны, Танеев приехал в Ясную Поляну. В одном поезде с ним ехали в Ясную Поляну из Москвы вторая дочь Толстого, Мария Львовна, и ее муж, Николай Леонидович Оболенский. «Я вспоминаю,— рассказывает Н. Л. Оболенский,— скорбь и негодование моей жены, которая предвидела все страдания отца, которого она нежно любила. И действительно, сойдя в Туле, мы встретили на дороге Толстого в моральном состоянии, вызывающем сострадание, усталого, изможденного и несчастного. Он дружески поговорил с нами, ничего не сказав о причине своего состояния, и отправился продолжать свою сосредоточенную прогулку» [32].

4 июня у Софьи Андреевны, как записала она в дневнике, был «тяжелый разговор с Львом Николаевичем о Сергее Ивановиче», а после обеда он «пришел меня звать с такой добротой — гулять, и мы отлично прошлись» (II, 112). На другой день он «очень горячо и хорошо толковал свои мысли об искусстве Сергею Ивановичу», и Софью Андреевну это «удивляло после всей его ревнивой злобы» (II, 113). Софья

Андреевна не понимала душевного состояния своего мужа, старавшегося переломить себя и вызвать в себе «любовь к врагам», по его выражению.

Через месяц, 4 июля, Толстой узнал о новом, неожиданном для него приглашении Танеева в Ясную Поляну. Произошел резкий разговор (II, 134). Считая свою семейную жизнь разрушенной, Толстой 8 июля пишет жене письмо о своем уходе из Ясной Поляны, вследствие несогласия барских условий жизни с требованиями его совести. Письмо было написано в таких выражениях, что не могло вызвать и тени нареканий на Софью Андреевну за уход от нее мужа. Но письма этого Толстой не передал и ухода не осуществил. Повторилось то же, что было и в предыдущий приезд Танеева: «Он вдруг затих,— рассказывает Софья Андреевна,— стал добр, ездил вчера и верхом, и на велосипеде и на меня не сердится» (II, 136).

Л. Н. ТОЛСТОЙ И С. А. ТОЛСТАЯ СРЕДИ СВОИХ ДЕТЕЙ
Фотография 90-х годов
Толстовский музей, Москва

Что касается написанного Толстым 8 июля письма о своем решении уйти из Ясной Поляны, то он сохранил это письмо под обивкой одного из кресел, стоявших в его кабинете. На конверте, в который было положено это письмо, Толстой написал: «Вскрыть через пятьдесят лет после моей смерти, если кому-нибудь интересен эпизод моей автобиографии». В мае 1907 г. Софья Андреевна задумала устроить переобивку мебели. Узнав об этом, Толстой вынул письмо из кресла и передал его Н. Л. Оболенскому в конверте, на котором он теперь написал: «Отдать после моей смерти Софье Андреевне». Вскоре после смерти Тостого Оболенский исполнил его поручение.

По словам Н. Л. Оболенского, в конверте оказалось не одно письмо, а два. Прочитав одно из них, Софья Андреевна сказала: «Опять глупости, ревность и упреки» и разорвала письмо на мелкие кусочки [33]. Второе же письмо — от 8 июля 1897 г., в котором содержалось объяснение ухода Толстого несогласием условий жизни с его убеждениями,— она тотчас же отдала в печать, после чего оно перепечатывалось неоднократно [34].

VI

12 июля 1898 г. Софья Андреевна уехала к своим знакомым, Масловым, в их имение Селище, Орловской губернии, где в то время гостил С. И. Танеев. Оттуда она заехала в Киев, к своей сестре Т. А. Кузминской, и с ней вместе 22 июля вернулась в Ясную Поляну. 25 июля в дневнике С. А. Толстой записано: «Я старалась, чтобы не отравить сестре ее пребывание в Ясной. Мы с ней много разговаривали, и она меня осуждала за мое пристрастие к Сергею Ивановичу и к музыке и за то, что огорчаю мужа» (III, 71).

28 июля Софья Андреевна записывает: «Свезла в Ясенки сестру Таню... Ходила одна по лесу, купалась и плакала. К ночи опять начались разговоры о ревности и опять крик, брань, упреки. Нервы не вынесли, какой-то держащий в мозгу равновесие клапан соскочил, и я потеряла самообладание. Со мной сделался страшный нервный припадок, я вся тряслась, рыдала, заговаривалась, пугалась. Не помню хорошенько, что со мной было, но кончилось какой-то окоченелостью» (III, 71).

Разговор Толстого с женой в эту тяжелую ночь был тогда же им записан в форме письма — повидимому, к Т. А. Кузминской. Эту рукопись, названную «Диалог», Софья Андреевна в числе других «ненужных», по ее выражению, бумаг Толстого передала М. Л. Оболенской. В 1907 г., по смерти М. Л. Оболенской, ее муж Н. Л. Оболенский передал эту рукопись В. Г. Черткову. Ниже воспроизводим впервые этот документ, проливающий яркий свет на семейную жизнь Толстого последних лет.

Об этом именно ночном разговоре Толстого с женой писала 7 августа 1898 г. Т. Л. Толстая Т. А. Кузминской: «...Между стариками была еще одна очень бурная сцена после твоего отъезда, и с тех пор все спокойно, но в mamà чувствуется озлобление и нелюбовь к нему, которые, конечно, ему очень чувствительны. Чем это кончится? Как они зиму проведут? Еду сейчас с Колей [Н. Л. Оболенским] смотреть соседнее имение. Если они [Оболенские] поселятся вблизи Ясной, то, может быть, papà у них проведет зиму» [35].

VII

В 1897 г. записи в дневнике Толстого о его переживаниях, вызванных отношениями его жены к Танееву, прекращаются (за исключением трех записей 1899—1902 гг., приводимых ниже).

Глухие, загадочные намеки находим в его письмах к В. Г. Черткову. Так, 12 июля 1897 г. Толстой писал ему, что «устал от борьбы с безнравственной жизнью». Более откровенно он делился своими переживаниями с горячо любившими его дочерьми. Так, 13 февраля 1898 г. он писал Марии Львовне: «У нас внешняя жизнь, как всегда, ужасна по своей пустоте и пошлости» [36]. 5 декабря 1898 г. писал обеим дочерям в ответ на их письма: «Положение ее [Софьи Андреевны] все то же — очень тяжелое и тяжесть которого для меня вы, несмотря на всю вашу любовь ко мне, понять не можете. Самое утешительное и укрепительное для меня то, что говоришь себе, что в этом моя задача. Да уж очень сложна и трудна» [37].

9 декабря Толстой писал им же: «Мама играет на фортепиано, и я хотел сказать: радуюсь — стараюсь радоваться». Эта фраза становится понятной, если вспомнить, что и Толстой и его дочери связывали музыкальные занятия Софьи Андреевны с ее чувством к С. И. Танееву; поэтому ее музыка была тяжела семейным. 22 сентября 1897 г. Софья Андреевна записывает в дневнике: «Ужасно хочется музыки, но только-что я заикнулась, что поиграю, обе дочери враждебно на меня налетели» (II, 176).

24 ноября 1897 г. Софья Андреевна записывает: «Сергей Иванович ни разу у меня не был. Он что-нибудь слышал о ревности Льва Николаевича и вдруг изменил свои дружеские отношения ко мне на крайне холодные и чуждые. Как грустно и как жаль! А иначе объяснить его холодность и непосещение меня я не могу. Уж не написал ли ему что Лев Николаевич?» (III, 2).

Опасения Софьи Андреевны были напрасны: Толстой ни одним словом не обмолвился Танееву о чувствах к нему своей жены и не проявил к нему и тени недоброже-

лательства. Доказательством этого служат дневники Танеева, в которых нет ни одной записи, говорящей о каком-либо неприязненном отношении к нему Толстого, а также письмо Танеева к Софье Андреевне Толстой от 8 декабря 1910 г., в котором он писал:

«Смерть Льва Николаевича, вызвавшая скорбный отклик во всем мире, особенно чувствуется теми, кто, подобно мне, имел счастливую возможность находиться с ним в личном общении и непосредственно испытывать всю обаятельность его светлой личности» [38].

VIII

4 октября 1899 г. Софья Андреевна записывает в дневнике: «Видела часто Сергея Ивановича... Лев Николаевич ревновать перестал. Какие романы, и в наши годы! Смешно» (III, 121).

На самом деле Толстой, конечно, не примирился с тем, что представлялось ему «унизительным сумасшествием». Ключ к пониманию его нового отношения к увлечению жены дает следующая запись в его дневнике от 28 сентября 1899 г.: «С. в Москве. Я выработал себе спокойствие не нарушавшееся: не говорить и знать, что так надо, что в этих-то условиях надо жить» [39].

Но ежегодные летние поездки Софьи Андреевны для встреч с С. И. Танеевым в имение Масловых Селище продолжали быть мучительными для Толстого. В 1899 г. Софья Андреевна, забыв все то, что перестрадал ее муж в прошлом году из-за ее поездки, отправилась 5 августа по прошлогоднему маршруту: к Масловым и затем к сестре в Киев.

На следующий год Софья Андреевна опять выехала 10 августа в Москву и затем в Селище. 15 августа Толстой записывает в дневнике: «С. А. уехала в Москву и в гости. Сознание необходимости любви помогает мне». Вернулась Софья Андреевна 16 августа, а 21 августа Толстой записывает: «Все тот же экзамен и все та же практика. Немного лучше» [40].

В 1901 г. поездка не состоялась — очевидно, вследствие тяжелой болезни Толстого, а в 1902 г., 4 августа, Софья Андреевна опять уезжает в Селище и возвращается 8 августа. Толстой в этот день записал в дневнике: «Очень тяжелый день. Болит печень, и не могу победить дурного расположения» [41].

Между тем, и для Софьи Андреевны последнее свидание не принесло ожидаемого «счастья». Танеев был «погружен в работу музыкального учебника», на ее просьбу поиграть — «отказал, остался упорен, строго непроницаем и даже неприятен» (II, 200).

Танеев, вообще, не разделял тех чувств, какие питала к нему Софья Андреевна. Хорошо его знавший Л. Сабанеев пишет: «В этой тихой обители [в квартире Танеева] я увидал тех, кто в то время чаще всего навещал Сергея Ивановича. Это были: А. Аренский, которого С. И. очень любил и звал «Антошенька», Масловы, его приятельницы, старые девы, помещицы, сестры старика, председателя судебной палаты, графиня С. А. Толстая, М. Муромцева и некоторые музыканты. Масловы и музыканты всех наименований были «своими», и их появление (впрочем, во время уроков редкое и для С. И. нежелательное) не нарушало течения жизни и «стиля» С. И. Но появление Софьи Андреевны или М. Муромцевой выбивало С. И. из тона и колеи,— к «дамам» он питал страх, почтение и презрение одновременно и становился менее простым и естественным» [42].

Бывали случаи, когда Софья Андреевна замечала, что Танеев избегал общения с ней; это было ей очень мучительно. Так было в марте 1898 г., когда они встретились на концерте, где исполнялся «Реквием» Верди. У Танеева был билет в партере, где была и Софья Андреевна, но он ушел наверх, на хоры. Софья Андреевна, однако, старалась объяснить себе его уход тем, что внизу «был весь high life, а он его избегает» (III, 37).

Подобный же случай привел и к прекращению отношений С. А. Толстой к С. И. Танееву. Инициатива разрыва исходила от Танеева.

IX

14, 15 и 16 апреля 1904 г. Софья Андреевна была в Москве на трех концертах под управлением Никиша. На последнем из этих концертов Танеев после антракта опять ушел из партера на хоры. 17 апреля Софья Андреевна уехала в Ясную Поляну, оставив С. И. Танееву письмо. Текст этого письма неизвестен; очевидно, Танеев его уничтожил. 19 апреля он записал в своем дневнике: «Нелепое письмо Толстой по поводу того, что в концерте после антракта я ушел. Писал ответ, но не докончил»[43].

Между тем, Софья Андреевна переживала тяжелое душевное состояние. «На душе камень»,— записала она в своем «Ежедневнике»[44] 18 апреля. 19-го она «встала поздно, плакала, тоска, бессонница»; 20-го записано: «Тупо шью, тоскую».

Не выдержав этого состояния, она 27 апреля вновь поехала в Москву. Через два или три дня по приезде она написала С. И. Танееву письмо, приглашая его к себе.

Но Танеев, повидимому, решил воспользоваться этим случаем для того, чтобы прекратить свои посещения Софьи Андреевны, становившиеся для него тягостными. 30 апреля он послал ей следующий ответ:

Многоуважаемая Софья Андреевна. При разборе своих книг я нашел принадлежащую вам брошюру «Учение 12-ти апостолов», которую с благодарностью возвращаю. Я имел намерение написать до вашего отъезда отсюда ответ на письмо ваше от 19 апреля, явиться к вам и его вам вручить. Но, занятый почти без перерыва разборкой и укладкой своих нот и книг, не мог успеть этого сделать. По всей вероятности, я напишу это письмо по переезде на новую квартиру и пошлю заказным в Тулу, чтобы не пропало. Ранее, чем напишу его, я никаких вам объяснений дать не могу и потому у вас сегодня не буду. Желаю вам хорошо провести лето, всем вашим кланяюсь.

Остаюсь искренно вам преданный С. Танеев

Письмо это тяжело подействовало на Софью Андреевну. По записям в ее «Ежедневнике», 2 мая она чувствовала себя «очень мрачно»; 4-го записано: «Сплю больной душой»; 5-го: «Не могу проснуться, умерла во мне энергия жизни. Никто не спасет меня,— я погибаю». Но уже 6-го числа было «настроение сноснее», а 7 мая записано: «Борюсь с тяжелым настроением с страшной энергией».

11 мая Софья Андреевна опять едет в Москву, где у Масловых видится с Танеевым. Вернувшись 15 мая, 17 мая снова уезжает в Москву и опять у тех же Масловых видится с Танеевым. Но встреча ничего не изменила.

Когда она вернулась в Ясную Поляну, ей, поглощенной своим горем, муж показался «противно игрив, эгоистичен и очень здоров». Потом она «три дня не ела, не пила, лежала в темной комнате без жизни» (запись 25 мая). 26-го записано: «Встала, слаба, что-то сломилось во мне, и тяжело пережила я это последнее время».

Прошло лето, наступила осень, зима; опять начались поездки Софьи Андреевны в Москву. 14 ноября на концерте она сидела рядом с С. И. Танеевым и пригласила его к себе. Но Танеев, очевидно, твердо решил проводить намеченную линию. Он было ответил согласием, но на другой день послал Софье Андреевне следующее письмо:

Многоуважаемая Софья Андреевна, простите меня великодушно, если я сегодня у вас не буду. Причиной этому то обстоятельство, что я до сих пор не ответил на письмо ваше, присланное мне после концерта Никиша, и не дал тех объяснений, которые вы от меня настойчиво требовали. Не высказав своего мнения по поводу возбужденных вами вопросов, я не считаю себя вправе быть вашим гостем. Соображение это не пришло вчера в концерте мне на ум, но, когда я вернулся домой, представилось мне с полной ясностью. В извинение своей медленности скажу, что я, тотчас по получении вашего письма, начал излагать письменно свои объяснения, но, узнав от вас, что вы не желаете, чтобы мое письмо было отправлено на вашу

здешнюю квартиру, ни в Ясную Поляну, тогда же оставил свою работу. В настоящую же минуту решительно не имею возможности опять за нее приняться по недостатку времени. Еще раз прошу вас извинить меня и принять уверение в совершенном почтении готового к услугам вашим С. Танеева.

Повидимому, Софья Андреевна написала на это письмо ответ, остающийся неизвестным (вероятно, Танеев его также уничтожил), на который Танеев, в свою очередь, на следующий же день ответил следующим письмом:

Многоуважаемая Софья Андреевна, если бы речь шла только о том, чтобы объяснить, почему я ушел в антракте с своего места и почему на следующее отделение уступил свое место другому, мне бы легко было на это ответить, указав хотя бы на то, что каждый из находящихся в концерте может беспрепятственно пользоваться правом как уступать свое место, так и выходить в антракте. Но затронутые в вашем письме вопросы захватывают собою целый ряд таких фактов, отношений, недоразумений, что объясниться ни просто, как вы того желаете, ни устно я не чувствую себя способным. Мне именно нужно предпринять работу, взвесить и обдумать каждое выражение и каждое слово. Но в настоящую минуту, по разным соображениям, в том числе и по материальным, я не имею возможности оторвать себя на несколько дней от той работы, которою занят. Поэтому вторично прошу вас извинить меня и принять уверение в совершенном почтении искренно вам преданного С. Танеева.

16 н[оября] 1904 г.

Софья Андреевна отнеслась к этим письмам уже гораздо спокойнее. По поводу первого из них она записала только: «Неприятное письмо». О втором никаких

Л. Н. ТОЛСТОЙ и С. А. ТОЛСТАЯ

Портрет работы И. Е. Репина, 1907 г.

Институт литературы, Ленинград

записей нет. Чувство было уже подкошено предыдущим решительным отказом Сергея Ивановича от посещения.

10 мая 1905 г. Софья Андреевна встретилась с С. И. Танеевым на похоронах их общей знакомой, В. И. Масловой, после чего записала в своем «Ежедневнике»: «С. И. просил извинения за ненаписанное объяснение, я высказала ему с горечью многое».

И тому, кто ранее изображался носителем всех добродетелей, выносится теперь суровый приговор: «Он толстокож и жирен и духовно и телесно».

29 сентября 1905 г., будучи в Москве и получив от Танеева ноты его новой вещи, Софья Андреевна отправила ему письмо, в котором робко приглашала его зайти. Она писала:

Очень благодарю вас, Сергей Иванович, за ноты и за обещание прислать и новое ваше произведение. Я продолжаю интересоваться вашими произведениями и люблю их. Жалею, что вы не пришли вчера к Масловым, мне необходимо бы было сделать вам несколько чисто деловых вопросов по поводу консерваторских дел, в которые меня вовлекли из Петербурга. Если найдете возможным, дайте мне случай получить от вас некоторые необходимые мне разъяснения, где и как хотите.

Преданная вам С. Толстая

Танеев пришел. Пили чай, поправляли письмо к вел. кн. Константину Константиновичу о консерваториях. Произошло наконец и «объяснение о прошлом» — бывшем за полтора года до этого. Танеев объяснил свой уход на концерте от Софьи Андреевны словами: «Мысли мои обращались к вам, а я дорожил Никишем и Чайковским». Объяснение это вряд ли было искренним, но Софья Андреевна удовлетворилась им. «Было хорошо и дружелюбно»,— записывает она.

Вновь Софья Андреевна виделась с Танеевым в Москве лишь 15 января 1906 г.; в этот день она обедала с ним у Керзиных, а 17 января была у него с М. А. Маклаковой. Повидимому, ничего значительного сказано не было. Но в один из следующих приездов в Москву, 21 февраля 1906 г., Софья Андреевна одна отправилась к Танееву и передала ему свои фотографические снимки. «Оба сдержаны и неестественны» — записала она в этот день в своем «Ежедневнике». Чувство ее постепенно возвращается к ней с прежней силой, но теперь она сдерживала его проявления.

7 января 1908 г. Танеев был в Ясной Поляне и много играл. «Мучительно хорошо,— записывает Софья Андреевна в «Ежедневнике».— Что-то безнадежное и прекрасное, как сон. Я плакала... Не надо, не надо».

21 февраля Танеев опять приехал в Ясную Поляну, и на другой день Софья Андреевна записывает в «Ежедневнике»: «День — праздник сердца. Днем ездила кататься по лесам [перечисляются спутники, в том числе и С. И. Танеев]. Вечером музыка, играл Сергей Иванович превосходно то же, что у Масловых. Я опять чуть не расплакалась, но сдержалась. Ох, эта песня без слов...».

Здравствующая ныне Варвара Михайловна Феокритова, бывшая переписчицей у Софьи Андреевны в 1908—1910 гг., рассказывала мне, что во время их частых прогулок по парку они много разговаривали, и любимым предметом разговоров Софьи Андреевны был Сергей Иванович Танеев.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Толстой Л. Н., Полное собрание сочинений, т. LXXXVII, стр. 320.

[2] «Толстой и о Толстом. Новые материалы», вып. II, редакция В. Г. Черткова и Н. Н. Гусева, М., 1926, стр. 59.

[3] Там же, стр. 60.

[4] Письмо не опубликовано; хранится в рукописном отделении Толстовского музея.

[5] Письмо не опубликовано; хранится там же.

[6] Письмо не опубликовано; хранится там же.

[7] Запись в дневнике С. И. Танеева. Отрывки дневника Танеева 1895 г. опубликованы в книге: «С. И. Танеев. Личность, творчество, документы его жизни», Гиз, М., 1925.

[8] Coq de village — деревенский петух.

[9] Это место в дневнике Толстого так же, как и приведенное выше, было выпущено в изданном под редакцией В. Г. Черткова в 1916 г. томе «Дневников Л. Н. Толстого 1895—1899 гг.».

[10] Цитируется С. Л. Толстым в его примечаниях к третьему выпуску «Дневников С. А. Толстой», стр. 247.

[11] Толстая А., Из воспоминаний,— «Современные Записки», 1931, XLV, стр. 36—37.

[12] Во втором издании своей книги «Мои воспоминания», вышедшем за границей уже после смерти Софьи Андреевны, Илья Львович Толстой, с целью реабилитации матери, говорит, что после смерти Ванички Софья Андреевна «стала ездить в Москву на концерты и, как институтка, увлекалась Гофманами, Танеевыми и другими» («Мои воспоминания», изд. «Мир», М., 1933, стр. 232). Илья Львович, конечно, прекрасно знал, что «увлечение» Софьи Андреевны Танеевым было иного рода, чем «увлечение» Гофманом. Наивное лукавство этих строк объясняется, несомненно, тем, что Илья Львович знал содержание дневников своей матери и не предполагал, что дневники эти будут опубликованы.

[13] Письма не опубликованы: хранятся в рукописном отделении Толстовского музея.

[14] Толстая А., Из воспоминаний,— «Современные Записки», 1931, XLV, стр. 50—51.

[15] Неопубликованная запись устных воспоминаний Л. Ф. Анненковой, хранящаяся в архиве В. Г. Черткова.

[16] Письмо не опубликовано; копия — в рукописном отделении Толстовского музея.

[17] Письмо не опубликовано; хранится в рукописном отделении Толстовского музея.

[18] «Дневники Л. Н. Толстого 1895—1899 гг.», под редакцией В. Г. Черткова, М., 1916, стр. 40—41.

[19] Там же, стр. 39.

[20] Там же, стр. 39.

[21] Эта фраза в печатном тексте «Дневников» не помещена.

[22] Там же, стр. 44—45 (кроме последней фразы).

[23] Эта фраза так же, как и следующая, в печатном тексте «Дневников» отсутствует.

[24] Это место в печатном тексте «Дневников» отсутствует; продолжение записи этого числа опубликовано на стр. 68 указанного издания.

[25] Там же, стр. 68.

[26] Там же, стр. 71.

[27] Там же, стр. 73.

[28] Там же, стр. 78 (первая фраза не напечатана).

[29] Там же, стр. 79.

[30] Там же, стр. 84.

[31] Листы дневника мая 1897 г. были затем вырезаны Толстым из тетради и отданы для уничтожения П. А. Буланже, который их, однако, сохранил. Несколько лет назад они были приобретены Литературным музеем у вдовы П. А. Буланже. Напечатаны в «Летописях» Литературного музея, 1938, № 2, стр. 20—21.

[32] Prince N. Obolensky, La vie de Tolstoï («Irénikon», 1931, May — Juni, p. 274—275).

[33] Ibid., p. 276.

[34] См. его в «Письмах гр. Л. Н. Толстого к жене», изд. 2-е, стр. 524—526.

[35] Письмо не опубликовано; хранится в рукописном отделении Толстовского музея.

[36] «Современные Записки», 1926, XXVII, стр. 250.

[37] Это письмо к дочерям так же, как и следующее, от 9 декабря 1898 г., не опубликовано; оба письма хранятся в рукописном отделении Толстовского музея.

[38] Письма Танеева к С. А. Толстой до сих пор не опубликованы; хранятся там же.

[39] «Дневники Л. Н. Толстого 1895—1899 гг.», стр. 172 (первая фраза не напечатана).

[40] Толстой Л. Н., Полное собрание сочинений, т. LIV, стр. 34—35.

[41] Там же, стр. 135.

[42] «С. И. Танеев. Личность, творчество, документы его жизни», Гиз, М., 1925, стр. 101.

[43] Дневники С. И. Танеева хранятся в музее им. П. И. Чайковского в Клину.

[44] «Ежедневники» С. А. Толстая вела с 1893 г. В них она кратко записывала главнейшие факты своей жизни (иногда и жизни мужа). «Ежедневники» не опубликованы; хранятся в музее-усадьбе «Ясная Поляна».

ПИСЬМА Л. Н. ТОСТОГО К С. А. ТОЛСТОЙ

1

1 февр[аля], вечер [1897 г.]

Милый друг Соня, Таня написала тебе о том, как мы доехали и живем,— о внешнем, мне же хочется написать тебе о том, что тебя интересует — о внутреннем, о душевном моем состоянии.

Уезжал я грустный, и ты почувствовала это, и оттого приехала, но тяжелого чувства моего не рассеяла, а скорее усилила. Ты мне говорила, чтоб я был спокоен, потом сказала, что ты не поедешь на репетицию. Я долго не мог понять: какую репетицию? и никогда и не думал об этом. И все это больно. Неприятно, больше чем неприятно мне было узнать, что, несмотря на то, что ты столько времени рассчитывала, приготавливалась, когда ехать в Петербург, кончилось тем, что ты едешь именно тогда, когда не надо бы ехать. Я знаю, что это ты не нарочно делала, но все это делалось бессознательно, как делается всегда с людьми, занятыми одной мыслью. Знаю, что и ничего из того, что ты едешь теперь, не может выйти, но ты невольно играешь этим, сама себя возбуждаешь; возбуждает тебя и мое отношение к этому. И ты играешь этим. Мне же эта игра ужасно мучительна. Ты скажешь, что ты не могла иначе устроить свою поездку. Но если ты подумаешь и сама себя проанализируешь, то увидишь, что это неправда: во 1-х, и нужды особенной нет для поездки, во 2-х, можно было ехать прежде и после — постом.

Но ты сама невольно это делаешь. Ужасно больно и унизительно стыдно, что чуждый совсем и ненужный и ни в каком смысле не интересный человек руководит нашей жизнью, отравляет последние года или год нашей жизни, унизительно и мучительно, что надо справляться, когда, куда он едет, какие репетиции когда играет.

Это ужасно, ужасно отвратительно и постыдно. И происходит это именно в конце нашей жизни — прожитой хорошо, чисто, именно тогда, когда мы все больше и больше сближались, несмотря на все, что могло разделять нас. Это сближение началось давно, еще до ваничкиной смерти, и становилось все теснее и теснее, и особенно последнее время, и вдруг, вместо такого естественного, доброго, радостного завершения 35-летней жизни, эта отвратительная гадость, наложившая на все свою ужасную печать. Я знаю, что тебе тяжело и что ты тоже страдаешь, потому что ты любишь меня и хочешь быть хорошею, но ты до сих пор не можешь, и мне ужасно жаль тебя, потому что я люблю тебя самой хорошей — не плотской и не рассудочной, а душевной любовью.

Прощай и прости, милый друг. Целую тебя. Л. Т. Письмо это уничтожь.

На отдельном листе:

Зачем я пишу? Во 1-х чтобы высказаться, облегчить себя, и во 2-х, и главное, чтобы сказать тебе, напомнить тебе о всем значении тех ничтожных поступков, из которых складывается то, что нас мучает, помочь тебе избавиться от того ужасного загипнотизированного состояния, в котором ты живешь.

Кончиться это может невольно чьей-нибудь смертью, и это во всяком случае как для умирающего, так и для остающегося будет ужасный конец, и кончиться может свободно — изменением внутренним, которое произойдет в одном из нас. Изменение это во мне произойти не может: перестать видеть то, что я вижу в тебе, я не могу, потому что ясно вижу твое состояние; отнестись к этому равнодушно тоже не могу. Для этого — чтоб отнестись равнодушно — я должен сделать крест над всей нашей прошедшей жизнью, вырвать из сердца все те чувства, которые есть

к тебе. А этого я не только не хочу, но не могу. Стало быть, остается одна возможность — та, что ты проснешься от этого страшного сомнамбулизма, в котором ты ходишь, и вернешься к нормальной, естественной жизни. Помоги тебе в этом бог. Я же готов помогать всеми своими силами, и ты меня учи, как?

Заезжать тебе на пути в Петербург, я думаю, лучше не надо. Лучше заезжай оттуда. Виделись мы недавно, а я не могу не испытывать неприятного чувства по отношению этой поездки. А я чувствую себя слабым и боюсь себя. Лучше заезжай оттуда. Ты всегда говоришь мне: «будь спокоен», и это оскорбляет и огорчает меня. Я верю твоей честности вполне, и если я желаю знать про тебя, то не по недоверию, а для того, чтобы убедиться, насколько ты связана или свободна.

На конверте:

Москва, Хамовнический переулок,
графине Софье Андреевне Толстой
свой дом.

2

Ночь 18 мая [1897 г.]

<Сближение твое с Т. мне отвратительно, и я не могу переносить его спокойно. Продолжая жить с тобой при этих условиях, я сокращаю и отравляю свою жизнь. Вот уже год, что я не живу. Ты это знаешь. Я говорил это тебе и с раздражением и с мольбой. Я пробовал последнее время молчание. Я все испробовал, и ничто не помогло: сближение продолжается, и я вижу, что так будет итти до конца. Я не могу больше переносить этого. Очевидно, что ты тоже не можешь прекратить этого — остается одно — расстаться. На что я твердо решился. Надо только обдумать, как лучше это сделать.

Я думаю, что лучше всего мне уехать за границу. Впрочем, обдумаем, как лучше. Одно несомненно, что оставаться в теперешнем положении нельзя.>

3

Ночь 19 мая [1897 г.]

Милая и дорогая Соня. Твое сближение с Т. мне не то что неприятно, но страшно мучительно. Продолжая жить при этих условиях, я отравляю и сокращаю свою жизнь. Вот уже год, что я не могу работать и не живу, но постоянно мучаюсь. Ты это знаешь. Я говорил это тебе и с раздражением, и с мольбами, и в последнее время совсем ничего не говорил. Я испробовал все, и ничего не помогло: сближение продолжается и даже усиливается, и я вижу, что так будет итти до конца. Я не могу больше переносить этого. В первое время после получения твоего последнего письма я было решил уехать. И в продолжение трех дней жил с этой мыслью и пережил это, и решил, что, как ни тяжела мне будет разлука с тобой, все-таки я избавлюсь от этого ужасного положения унизительных подозрений, дерганий и разрываний сердца и буду в состоянии жить и сделать под конец жизни то, что считаю нужным делать. И я решил уехать, но, когда я подумал о тебе, не о том, как мне будет больно лишиться тебя, как это ни больно, а о том, как тебя это огорчит, измучит, как ты будешь страдать, я понял, что не могу этого сделать, не могу уехать от тебя без твоего согласия.

Положение такое: продолжать жить так, как мы теперь живем, я п о ч т и не могу. Я говорю: п о ч т и не могу, потому что всякую минуту чувствую, как теряю самообладание[1], и всякую минуту могу сорваться и сделать что-нибудь нехорошее: без ужаса не могу думать о

продолжении тех почти физических страданий, которые я испытываю и которые не могу не испытывать.

Ты знаешь это, может быть забывала, хотела забывать, но знала, и ты хорошая женщина и любишь меня, и все-таки не хотела — я не хочу еще думать, чтобы не могла — избавить меня, да и себя от этих ненужных, ужасный страданий.

Как же быть? Реши сама. Сама обдумай и реши, как поступить. Выходы из этого положения мне кажутся такие: 1) и самое лучшее, это то, чтобы прекратить всякие отношения, но не понемногу и без соображений о том, как это кому покажется, а так, чтобы освободиться совсем и сразу от этого ужасного кошмара, в продолжение года душившего нас. Ни свиданий, ни писем, ни мальчиков [2], ни портретов [3], ни грибов Ан[не] Ив[ановне] [4], ни Помер[анцева] [5], а полное освобождение, как Маша освободилась от З. [6], Таня—от П. [7].—Это одно и лучшее. Другой выход— это то, чтобы мне уехать за границу, совершенно расставшись с тобой, и жить каждому своей, независимой от другого, жизнью. Это выход самый трудный, но все-таки возможный и все-таки в 1000 раз для меня более легкий, чем продолжение той жизни, которую мы вели этот год.

Третий выход в том, чтобы, тоже прекратив всякие сношения с Т., нам обоим уехать за границу и жить там до тех пор, пока пройдет то, что было причиной всего этого.

Четвертый не выход, а выбор самый страшный, о котором я без ужаса и отчаяния не могу подумать, это тот, чтобы, уверив себя, что это пройдет и что тут нет ничего важного, продолжать жить так же, как этот год: тебе, самой не замечая этого, отыскивать все способы сближения, мне — видеть, наблюдать, догадываться и мучиться — не ревностью, может быть есть и это чувство, но не оно главное. Главное, как я тебе говорил, стыд и за тебя и за себя. То самое чувство, которое я испытывал по отношению к Тане с Т. [7], с С. [8], но только еще в 100 раз болезненнее. Пятый выход — тот, который ты предлагала: мне перестать смотреть на это, как я смотрю, и ждать, чтобы это само прошло, если что и было, как ты говоришь. Этот пятый выход я испробовал и сам убедился, что не могу уничтожить в себе то чувство, которое мучит меня, до тех пор, пока продолжаются поводы к нему.

Я испытал это в продолжение года и старался всеми силами души и не мог и знаю, что не могу, а, напротив, удары все по одному и тому же месту довели боль до высшей степени. Ты пишешь, что тебе больно видеть Гур [9]., несмотря на то, что чувство, которое ты с ней связала, не имело никакого подобия основания и продолжалось несколько дней. Что же должен я чувствовать после 2-летних мучений и имеющих самые очевидные основания, когда ты после всего, что было, устроила в мое отсутствие ежедневные — если они были не ежедневные, то это было не от тебя — свидания?

А ты в том же письме пишешь как бы программу нашей дальнейшей жизни, чтобы не мешать тебе в твоих занятиях или радостях, когда я знаю, в чем они.

Соня, голубушка, ты хорошая, добрая, справедливая женщина. Перенесись в мое положение и пойми, что иначе чувствовать, как я чувствую, т. е. мучительную боль и стыд, нельзя чувствовать, и придумай, голубушка, наилучшее средство избавить не столько меня от этого, сколько себя самое от еще худших мучений, которые непременно в том или другом виде придут, если ты не изменишь свой взгляд на все это дело и не сделаешь усилие. Я пишу тебе это третье письмо. Первое было раздраженное, вторую записочку оставляю. Ты увидишь из нее лучше мое настроение прежнее. Уехал я в Пирогово [10], чтобы дать и тебе и себе свободу лучше обдумать и не впасть в раздражение и ложное примирение.

Обдумай хорошенько перед богом и напиши мне. Во всяком случае, я скоро приеду, и мы постараемся все спокойно обсудить. Только бы не оставалось так, как есть. Хуже этого ада быть не может для меня. Может быть, мне так надо. Но тебе наверное не надо. Правда, есть еще два выхода — это моя или твоя смерть, но оба они ужасны, если это случится прежде, чем успеем развязать наш грех.

Открываю письмо, чтобы прибавить еще вот что. Если ты не изберешь ни первого, ни второго, ни третьего выхода, т. е. не перервешь совершенно всякие сношения, не отпустишь меня за границу с тем, чтоб нам прекратить всякие сношения, или не уедешь со мной за границу на неопределенное время, разумеется с Сашей[11], а изберешь тот неясный и нечестный выход, что надо все оставить по-старому и все пройдет, то я прошу тебя никогда со мной про это не говорить. Я буду молчать, как молчал это последнее время, дожидаясь только смерти, которая одна может избавить нас от этой муки.

Уезжаю я тоже потому, что, не спав почти 5 ночей, я чувствую себя до такой степени нервно слабым, — только попуститься и я разрыдаюсь, и я боюсь, что не вынесу свидания с тобой и всего, что может из него выйти.

Состояние мое я не могу приписать физическому нездоровью, потому что все время чувствовал себя прекрасно и нет ни желудочных, ни желчных страданий.

[1] Зачеркнуто: во всяком случае, если бы продолжать жить так, то я наверное не выдержу года.

[2] «Мальчиками» С. А. Толстая называла учеников С. И. Танеева, которым она покровительствовала.

[3] Софья Андреевна делала фотографические снимки с Танеева — одного и в группах.

[4] Маслова Анна Ивановна, знакомая С. А. Толстой; у нее Софья Андреевна встречалась с С. И. Танеевым.

[5] Померанцев Юрий Николаевич (1878—1933), один из учеников С. И. Танеева, по приглашению С. А. Толстой бывавший у нее в доме, впоследствии дирижер и композитор.

[6] Зандер Николай Августович, учитель музыки у детей Толстых. М. Л. Толстая увлекалась им в 1893 г., но под влиянием отца порвала отношения с ним.

[7] Попов Евгений Иванович (1864—1938), единомышленник Толстого, педагог и переводчик. Т. Л. Толстая увлекалась им в 1894 г., но по совету отца отношения были прерваны.

[8] Сухотин Михаил Сергеевич (1850—1914), с 1899 г. муж Т. Л. Толстой.

[9] Гуревич Любовь Яковлевна (род. в 1866 г.), писательница и переводчица, в то время издательница журнала «Северный Вестник». Софья Андреевна ревновала к ней мужа, о чем писала в своем дневнике.

[10] Пирогово — имение брата Льва Николаевича, Сергея Николаевича, в 35 верстах от Ясной Поляны.

[11] Младшая дочь Толстых — Александра Львовна (род. в 1884 г.).

ДИАЛОГ

Нынче ночью был разговор и сцена, которая подействовала на меня еще гораздо больнее, чем последняя ее поездка. Для характеристики разговора надо сказать, что я в этот день только-что приехал в 12-м часу ночи из поездки за 18 верст для осмотра именья Маше. Я не говорю, что это был труд для меня, это было удовольствие, но все-таки я несколько устал, сделав около 40 верст верхом, и не спал в этот день. А мне 70 лет.

Под влиянием твоих разговоров, усталости и хорошего доброго расположения духа, я лег спать с намерением не говорить ничего о том, что было, и в надежде, что все это, как ты утешала меня, само собой сойдет на-нет. Легли. Помолчали. Она начала говорить.

Она. Ты поедешь в Пирогово и будешь меня бранить Сереже.

Я. Я ни с кем не говорил, ни с Таней дочерью.

О. Но с Таней сестрой говорил?

Я. Да.

О. Что же она говорила?

Я. То же, что тебе: мне тебя защищала, тебе, вероятно, за меня говорила.

О. Да, она ужасно строга была ко мне. Слишком строга. Я не заслуживаю.

Я. Пожалуйста, не будем говорить. Все уляжется, успокоится и, бог даст, уничтожится.

О. Не могу я не говорить. Мне слишком тяжело жить под вечным страхом. Теперь, если он заедет, начнется опять. Он не говорил ничего, но, может быть, заедет.

Известие, что он приедет — как всегда бывало: «может быть», а в действительности наверное,— было мне очень тяжело. Только-что хотел не думать об этом, как опять это тяжелое посещение. Я молчал, но не мог уже заснуть и не выдержал — сказал:

Я. Только-что надеялся успокоиться, как опять ты будто приготавливаешь меня к неприятному ожиданию.

О. Что же мне делать? Это может быть. Он сказал Тане. Я не звала. Может быть, он заедет.

Я. Заедет он или не заедет — не важно, даже твоя поездка не важно; важно, как я два года назад говорил тебе, твое отношение к твоему чувству. Если бы ты признавала свое чувство нехорошим, ты бы не стала даже и вспоминать о том, заедет ли он, и говорить о нем.

О. Ну, как же быть мне теперь?

Я. Покаяться в душе в своем чувстве.

О. Не умею каяться и не понимаю, что это значит!

Я. Это значит обсудить самой с собой, хорошо ли то чувство, которое ты испытываешь к этому человеку, или дурно.

О. Я никакого чувства не испытываю, ни хорошего, ни дурного.

Я. Это неправда.

О. Чувство это так неважно, ничтожно.

Я. Все чувства, а потому и самое ничтожное, всегда или хорошие или дурные в наших глазах, и потому и тебе надо решить, хорошее ли это было чувство или дурное.

О. Нечего решать, это чувство такое неважное, что оно не может быть дурным. Да и нет в нем ничего дурного.

Я. Нет, исключительное чувство старой замужней женщины к постороннему мужчине — дурное чувство.

О. У меня нет чувства к мужчине, есть чувство к человеку.

Я. Да ведь человек этот — мужчина.

О. Для меня не мужчина. Нет никакого чувства исключительного, а есть то, что после моего горя мне было утешение музыка, а к человеку нет никакого особенного чувства.

Я. Зачем говорить неправду?

О. Ну, хорошо. Это было. Я сделала дурно, что заехала, что огорчила тебя. Но теперь это кончено. Я сделаю все, чтобы не огорчать тебя.

Я. Ты не можешь этого сделать, потому что все дело не в том, что ты сделаешь — заедешь, примешь, не примешь,— дело все в твоем отношении к твоему чувству. Ты должна решить сама с собой, хорошее ли это или дурное чувство.

О. Да нет никакого.

Я. Это неправда. И вот это-то и дурно для тебя, что ты хочешь

скрыть это чувство, чтобы удержать его. А до тех пор, пока ты не решишь, хорошее это чувство или дурное, и не признаешь, что оно дурное, ты будешь не в состоянии не делать мне больно. Если ты признаешь, как ты признаешь теперь, что чувство это хорошее, то ты никогда не будешь в силах не желать удовлетворения этого чувства, т. е. видеться, а желая, ты невольно будешь делать то, чтобы видеться. Если

Л. Н. ТОЛСТОЙ и С. А. ТОЛСТАЯ НА СТАНЦИИ КРЕКШИНО

Фотография, сентябрь 1909 г.

Толстовский музей, Москва

же будешь избегать случаев видеться, то тебе будет тоска, тяжело. Стало-быть, все дело в том, чтобы решить, какое это чувство, дурное или хорошее.

О. Ничего дурного я не делала. Дурно я сделала то, что сделала тебе больно, и в этом раскаиваюсь.

Я. Вот это-то и дурно, что ты раскаиваешься в поступках, а не в том чувстве, которое ими руководит.

О. Я знаю, что я никого больше тебя не любила и не люблю. Я бы желала знать, как ты понимаешь мое чувство к тебе? Как же бы я могла любить тебя, если бы любила другого?

Я. Твой разлад от этого-то и происходит, что ты не уяснила себе значения своих чувств. Пьяница или игрок очень любит жену, а не может удержаться от игры и вина и никогда не удержится, пока не решит в своей душе, хорошее ли чувство его любовь к игре и к вину. Только когда это решено, возможно избавление.

О. Все одно и то же.

Я. Да не могу я ничего сказать другого, когда ясно, как день, что все дело только в этом.

О. Ничего дурного я не делала.

Так с разными вариациями разговор приходил все к тому же. Она старалась показать, что чувство это очень неважное и потому не может быть осуждаемо и нет причин бороться с ним. Я все время возвращался к тому, что если в душе чувство признается хорошим, то от него нет избавления, и нет избавления от тех сотен тысяч мелочных поступков, которые вытекают из этого чувства и поддерживают его.

О. Ну, что же будет, если я признаю чувство дурным?

Я. То, что ты будешь бороться с ним, будешь избегать всего того, что поддерживает его. Будешь уничтожать все то, что было связано с ним.

О. Да это все к тому, чтобы лишить меня единственного моего утешения — музыки. Я в ужасном cercle vicieux *. У меня тоска. Тоску эту я разгоняю только игрой на фортепьяно. Если я играю, ты говоришь, что это все в связи с моим чувством; если я не играю, я тоскую, и ты говоришь, что причиной этого мое чувство.

Я. Я одно говорю: надо решить, хорошее это или дурное чувство. Без этого наши мучения не кончатся.

О. Нет никакого чувства, нечего решать.

Я. Пока ты так будешь говорить, нет выхода. Но, впрочем, если у человека нет того нравственного судьи, который указывает ему, что хорошо, что дурно, человек, как слепой, разобрать цвета не может. У тебя нет этого нравственного судьи, и потому не будем говорить,— два часа.

Долгое молчание.

О. Ну, вот я спрашиваю себя совершенно искренно: какое мое чувство и чего бы я желала? Я желала бы больше ничего, как то, чтобы о н раз в месяц приходил, посидел, поиграл, как всякий добрый знакомый.

Я. Ну, ведь вот ты сама этими словами подтверждаешь то, что у тебя исключительное чувство к этому человеку. Ведь нет никакого другого человека, ежемесячное посещение которого составляло бы для тебя радость. Если посещение его раз в месяц приятно, то приятнее еще раз в неделю и каждый день. Ты невольно этим самым говоришь про свое исключительное чувство. И без того, чтобы ты не решила вопрос о том, хорошо ли это или дурно, ничего измениться не может.

О. Ах! Все одно и то же! Мученье. Другие изменяют мужьям, столько их не мучают, как меня. За что? За то, что я полюбила музыку. Можно упрекать за поступки, а не за чувства. Мы в них не властны. А поступков никаких нет.

Я. Как нет? А поездка в Петербург, и туда, и сюда, и вся эта музыка?

О. Да что ж особенного в моей жизни?

* Порочный круг.

Я. Как же не особенное? Ты живешь какой-то исключительной жизнью. Ты сделалась какой-то консерваторской дамой.

Слова эти почему-то ужасно раздражают ее.

О. Ты хочешь измучить меня... Лишить всего... Это такая жестокость!

Она приходит в полуистерическое состояние. Я молчу довольно долго. Потом вспоминаю о боге, молюсь и думаю себе: она не может отречься от своего чувства, не может разумом влиять на чувство. У нее, как у всех женщин, первенствует чувство, и всякое изменение произойдет, может быть, независимо от разума, в чувстве. Может быть, Таня права, что это само собой понемногу пройдет своим особенным, непонятным мне женским путем. Надо сказать ей это, думаю я, и с жалостью к ней и желанием успокоить ее говорю ей это,— то, что я, может быть, ошибаюсь, так, по-своему, ставя вопрос, что она, может быть, придет к тому же своим путем и что я надеюсь на это. Но в это время в ней раздражение дошло до высшей степени.

О. Ты измучил меня, долбишь два часа одной и той же фразой: исключительное, исключительное чувство, хорошее или дурное, хорошее или дурное... Это ужасно! Ты своей жестокостью доведешь бог знает до чего!

Я. Да я молился и желал помочь тебе.

О. Все это ложь, все — фарисейство, обман. Других обманывай, я вижу тебя насквозь.

Я. Что с тобой? Я именно хотел доброе.

О. Нет в тебе доброго. Ты зол, ты зверь! И буду любить добрых и хороших, а не тебя. Ты зверь!

Тут уж начались бессмысленные, чтобы не сказать ужасные, жестокие, речи. И угрозы, и убийство себя, и проклятия всем — и мне, и дочерям. И какие-то угрозы напечатать свои повести, если я напечатаю «Воскресение» с описанием горничной. И потом рыдания, смех, шептание, бессмысленные и, увы, притворные слова: «голова треснет... вот здесь, где ряд... отрежь мне жилу на шее», и «вот он...», и всякий вздор, который может быть страшен. Я держал ее руками. Я, зная, что это всегда помогает, поцеловал ее в лоб. Она долго не могла вздохнуть, потом начала зевать, вздыхать и заснула, и спит еще теперь.

Не знаю, как может разрешиться это безумие, не вижу выхода. Она, очевидно, как жизнью, дорожит этим своим чувством и не хочет признать его дурным. А не признав его дурным, она не избавится от него и не перестанет делать поступки, вызываемые этим чувством,— поступки, видеть которые мучительно и стыдно видеть, не мне — детям.

НЕИЗВЕСТНЫЙ ПОРТРЕТ ТОЛСТОГО

Сообщение Е. Цакни

В Русском музее хранится неизвестный до сих пор портрет Л. Н. Толстого, относящийся ко времени Севастопольской кампании. Приобретенный Русским музеем в 1918 г., этот портрет составлял часть коллекции Е. Е. Рейтерна — сына художника Гергарда (Евграфа) Романовича Рейтерна, на дочери которого был женат В. А. Жуковский.

Портрет сделан известным охотником-любителем и остроумным карикатуристом Л. Н. Вакселем, хорошо известным Петербургу конца 40-х и начала 50-х годов.

Портрет (см. стр. 699) нарисован карандашом на четвертушке обыкновенной сероватой бумаги, без водяных знаков. Три угла листа неровно срезаны. Портрет погрудный, сделан в профиль. Толстой изображен в военном сюртуке и в офицерских погонах, с небольшими баками. Волосы коротко острижены, прическа «ежиком», характерная для Толстого этих годов. Под портретом подпись: «Гр. Л. Н. Толстой. 54-й год».

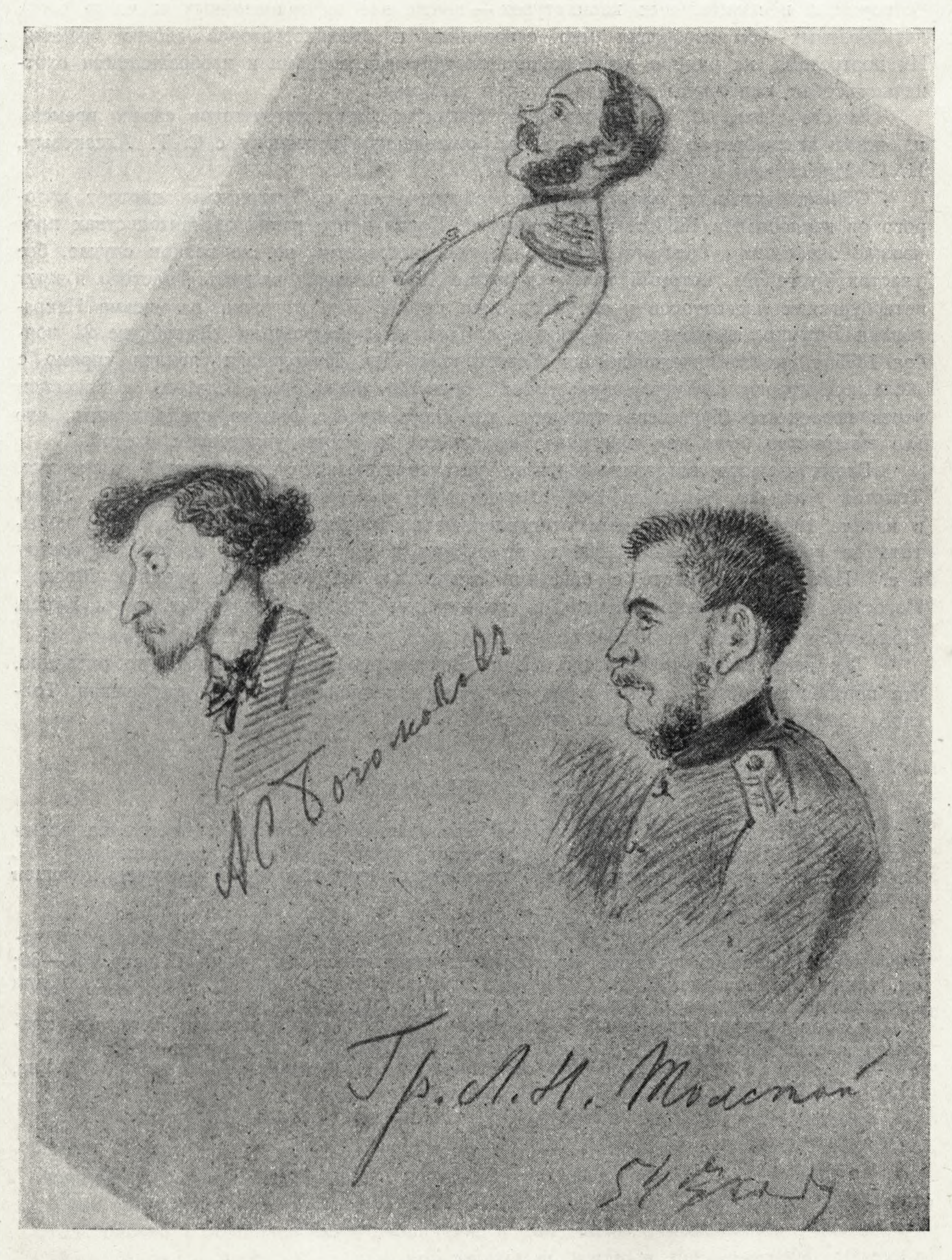
На том же листе, ближе к левому краю,— слегка шаржированный набросок портрета приятеля Л. Н. Вакселя, академика живописи Александра Сафоновича Богомолова-Романовича (1830—1867), талантливого пейзажиста, рано умершего от чахотки. (В том же 1854 г. Ваксель заказал Богомолову известный портрет И. С. Тургенева, принадлежащий теперь Пушкинскому дому в Ленинграде [1]). Внизу наброска подпись: «А. С. Богомолов», сделанная тою же рукой, что и подпись под портретом Толстого. Вверху листа, несколько вкось, профильное изображение неизвестного военного.

Из всех дошедших до нас изображений Толстого в бытность его на военной службе портрет Вакселя принадлежит к числу наиболее ранних. По типу он ближе всего к изображению Толстого на групповом портрете-дагерротипе 1854 г., на котором Лев Николаевич снят вместе с братьями Николаем, Дмитрием и Сергеем. Этот портрет верно передает его «некрасивое, но умное и замечательное лицо», как выразился И. С. Тургенев в письме к Некрасову от 22 октября 1854 г.[2].

Автор портрета, Лев Николаевич Ваксель (1811—1885), происходил из семьи шведского моряка Swen Waxel'я, с 1725 г. перешедшего на русскую службу. Ваксель родился в Ярославле, воспитание получил в юнкерской школе в Варшаве; до 1834 г. оставался на военной службе. Он участвовал в усмирении польского восстания и, получив серьезные ранения при Остроленке, вышел в отставку с чином штабс-капитана гвардии.

В 1862 г. Л. Н. Ваксель с семьей уехал на остров Мадеру, где оставался до 1870 г. По возвращении в Россию, до самой смерти жил в Ковенской губернии, в своем имении Ромаки [3].

Л. Н. Ваксель был не только страстным охотником-любителем, но и теоретиком охоты. Кроме статей в специальных иностранных охотничьих журналах, ему принадлежит известное руководство «Карманная книжка для начинающих охотиться с ружьем и лягавой собакой», вышедшее в 1856 г. и выдержавшее при жизни автора четыре издания. В 1898 г. книга вышла пятым, дополненным и иллюстрированным, изданием.



Л. Н. ТОЛСТОЙ

Рисунок Л. Н. Вакселя, 1854 г.

Русский музей, Ленинград

Вращаясь в аристократических салонах старого Петербурга, Л. Н. Ваксель с большой наблюдательностью подмечал характерные черты его представителей; в остроумных и язвительных карикатурах — почти всегда подписанных и часто даже датированных — он изобразил мир сановников и администраторов своего времени. Их портретами, на ряду с деревенскими охотничьими сценами и изображениями охотничьих собак, заполнены все его папки и альбомы.

Вместе с тем, Л. Н. Ваксель был близок к кругу литераторов своего времени и, живя постоянно в Петербурге, вел оживленную переписку с С. Т. Аксаковым, И. С. Тургеневым и А. А. Фетом.

Общая страсть к охоте особенно сблизила его с Тургеневым, портрет которого он нарисовал в 1855 г. в Петербурге[4]. Когда и при каких обстоятельствах произошло знакомство Толстого с Вакселем, нам неизвестно, но, во всяком случае, без участия Тургенева, который только в конце 1855 г. начал вводить Толстого в круг петербургских литераторов и своих близких друзей. Как известно, из письма Некрасова к Боткину, знакомство Тургенева с Толстым произошло в Петербурге 21 ноября 1855 г., когда приехавший из Севастополя Лев Николаевич явился «прямо с железной дороги к Тургеневу»[5]. Если вопрос о знакомстве Толстого с Вакселем через посредство Тургенева отпадает, то, скорее всего, можно предположить, что это знакомство было так или иначе связано с их общим увлечением охотой.

Время и место создания портрета устанавливаются с достаточной точностью. Толстой уехал на Кавказ в 1851 г. и до 1854 г. в Россию не возвращался. Лишь в начале 1854 г., перед самым отправлением в Дунайскую армию, он решил побывать на родине. 19 января 1854 г. он выехал в Ясную Поляну и, посетив сестру в с. Покровском, вместе с братьями отправился на некоторое время в Москву. Погостив затем у брата Дмитрия, в его курском имении Щербачевка, через Курск, Полтаву и Кишинев он направился в Бухарест, куда прибыл 12 марта.

Так как, насколько известно, Л. Н. Ваксель на Кавказе не был, то очевидно, что портрет мог быть сделан лишь во время непродолжительного пребывания Толстого в Москве, т. е. в феврале-марте 1854 г.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Портрет Тургенева, нарисованный карандашом и соусом, в настоящее время находится в Литературном музее Пушкинского дома. В 1883 г. художником В. А. Бобровым с него был сделан офорт, на котором внизу, в виде ремарки, помещен портрет А. С. Богомолова.

[2] «Русская Мысль», 1902, I, стр. 120.

[3] Сведения о жизни Л. Н. Вакселя см.: Венгеров С. А., Критико-библиографический словарь русских писателей и ученых, т. IV, отд. II, стр. 28—30; см. также предисловие Н. В. Снессарева к книге: Ваксель Л., Руководство для начинающих охотиться с ружьем и лягавой собакой, СПБ., 1898.

[4] Этот портрет, сделанный карандашом, так же, как и портрет Толстого, хранится в запасных фондах Русского музея за № 7367/266, лист папки 42-й.

[5] Некрасов, Письма. 1840—1877, ред. В. Е. Евгеньева-Максимова, Л., Гиз, 1930, стр. 232—233.

К ИСТОРИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОЛСТОГО КАК МИРОВОГО ПОСРЕДНИКА

Сообщение И. Владимирова

Публикуемый ниже документ, обнаруженный среди архивных бумаг Толстого, хранящихся во Всесоюзной библиотеке им. В. И. Ленина, относится ко времени его службы в качестве мирового посредника IV участка Крапивенского уезда. Толстой занял эту должность в мае 1861 г., после возвращения из второй заграничной поездки. «Я не посмел отказаться перед своей совестью,— писал он впоследствии гр. А. А. Толстой,— и в виду того ужасного, грубого и жестокого дворянства, которое обещалось меня съесть, ежели я пойду в посредники»[1].

Для большинства помещиков — защитников «доброй» крепостной старины — Толстой в роли посредника был человеком нежелательным и опасным. Добиваясь устранения его кандидатуры, тульский губернский предводитель дворянства Минин сообщал министру внутренних дел Валуеву, что, ввиду «несочувствия» Толстому «крапивенского дворянства за распоряжения его в собственном хозяйстве», местный уездный предводитель Щелин «опасается, чтобы при вступлении графа в эту должность не встретились какие-либо неприятные столкновения, могущие повредить мирному устройству столь важного дела»[2].

«Распоряжения Толстого в собственном хозяйстве», возбуждавшие недовольство тульских помещиков, заключались в тех нововведениях, которые он пытался осуществить в своем имении, возвратившись из первой поездки за границу: сдача в обработку крестьянам на артельных началах части своих земельных угодий, попытки на остальной площади завести «усовершенствованное» хозяйство с применением машин, посевов клевера, замена крепостного барщинного труда вольнонаемным, отпуск крестьян на оброк и на волю и т. п.

Эти новшества не могли не вызывать в среде помещиков-крепостников крапивенской провинции раздражения, злобы, даже угроз убить Толстого на дуэли, публично оскорбить и т. д.

Но угрозы не действовали. Напротив, по собственному признанию Толстого в цитированном выше письме, они явились одной из причин, заставивших его принять должность посредника. При независимом характере Толстого и его высокомерно-презрительном отношении к провинциальному рядовому дворянству, эти угрозы толкали его на вызывающий образ действий. С другой стороны, неподготовленность самого Толстого к должности, нередкие, как показывают архивные материалы, ошибки в толковании законов и в то же время настойчивость в отстаивании своего мнения, резкость тона — все это еще более возмущало и озлобляло помещиков. Столкновения с крапивенскими дворянами, в том числе с помещиками, заседавшими в Крапивенском мировом съезде, возглавляемом уездным предводителем Щелиным, начались у Толстого с самого начала его девятимесячной посреднической работы. В основе этих столкновений, несомненно, лежали идеологические разногласия. Пристрастие крапивенских судей к интересам помещиков наталкивалось на симпатии Толстого к крестьянам. Любопытно, что жандармский полковник Дурново в рапорте III отделению после обыска в яснополянской усадьбе (1862) отмечал, что Толстой, «будучи мировым посредником... оказывал особое пристрастие в пользу крестьян».

Вновь обнаруженный автограф Толстого чрезвычайно характерен в этом отношении. На первый взгляд, речь идет о чисто формальных процессуальных нарушениях, допущенных съездом. Тяжеловесный язык документа, ссылки на факты и сообщения, неизвестные читателю, в некоторой степени лишают его выразительности; но совсем иначе он звучит в освещении архивных материалов, связанных с делом помещика Осиповича, о котором упоминает здесь же Толстой. Об этом любопытном деле, заключавшемся в требовании помещика переселить крестьян на новые места, можно составить представление по канцелярским производствам Тульского губернского по крестьянским делам присутствия, сохранившимся в Тульском архивном отделении и частично опубликованным [3].

В публикуемом ниже отношении Толстой заявляет губернскому присутствию, что по делу Осиповича в июльском заседании Крапивенского мирового съезда, происходившем 3 июля 1861 г., «состоялось одно постановление или вовсе никакого», а затем, в отсутствие Толстого,— «другое постановление, совершенно различное от первого», «записанное в журнал неизвестно когда». То же обвинение Толстой выдвигал и раньше, в жалобе от 28 июля 1861 г. в губернское присутствие. Таким образом, Толстой обвинял съезд в двурушничестве — в подмене одного постановления другим.

Съезд не остался в долгу. Он выдвинул против Толстого обвинение во лжи. В своем представлении от 5 августа 1861 г., возражая на обвинения Толстого, съезд заявил:

«3 июля в присутствии мирового съезда был лично г. Осипович, и мировой съезд, по рассмотрении плана, представленного г. Осиповичем, и рассуждений, в коих принимал участие и гр. Толстой, постановил по большинству голосов определение, которое гр. Толстому было известно и которое, по несогласию, он, не подписав, уехал. Настоящий поступок мирового посредника IV участка, решившегося сказать, что постановления сего не было,— приостановление им постановления решения мирового съезда и оставление им присутствия мировой съезд признает совершенно неправильным, а потому полагает представить о том губернскому по крестьянским делам присутствию и покорнейше просит воспретить гр. Толстому такие неуместные поступки, вменив ему в обязанность не оставлять мировой съезд» [4].

Такова внешняя картина столкновения Толстого со съездом, получившая отражение в публикуемом документе. Ознакомление с делом Осиповича вскрывает подоплеку этого эпизода и объясняет «неуместные поступки» Толстого.

Существо дела Осиповича заключалось в следующем. 23 мая 1861 г. в деревне Хомяковке мелкопоместного помещика В. Осиповича сгорели семь крестьянских дворов, прилегавших к барской усадьбе, и все «господские службы». Статья 75 местного положения о поземельном устройстве помещичьих крестьян великорусских губерний [5] предоставляла помещику право требовать обязательного для крестьян перенесения их усадеб в другое место, если их усадебные строения находились ближе 50 саженей от помещичьих строений.

После пожара, от которого в известной степени пострадала усадьба самого Осиповича, последний тем более был заинтересован в том, чтобы крестьяне не строились на старых местах. Осипович заявил своему мировому посреднику Толстому требование о переселении крестьян со старых мест «в проулки деревни» [6]. Такое переселение крестьян нарушало строительный устав, представляя опасность в пожарном отношении для всей деревни. При переселении крестьян на новые места закон обязывал помещика оказывать переселяемым вспомоществование, а съезд — «внимательно обсудить, достаточное ли состояние крестьян», приняв «меры к безболезненному их переселению». По ст. 85, «новые усадьбы должны быть устроены помещиком на его собственный счет со всеми постройками, какие находились в старых усадьбах». При этом помещику предоставлялось право взять себе старые крестьянские постройки и выстроить крестьянам новые или оказать переселяемым крестьянам денежную помощь, по соглашению с ними. Кроме того, по ст. 89, помещик должен был освободить переселяемых крестьян на три месяца от работ и других обязательств в свою пользу.

Так гласили статьи писаного закона. Но в действительности дело обстояло совершенно иначе. Местные власти всегда могли найти пути, чтобы обойти закон. По этому поводу Толстой мог бы вспомнить свою севастопольскую песенку о писаных военных диспозициях, разбиваемых жизнью:

Гладко вышло на бумаге,
Да забыли про овраги...

Таких «оврагов» в деле Осиповича оказалось очень много. Пожар 23 мая уничтожил старые крестьянские постройки, стало-быть, воспользоваться старым строитель-

Л. Н. ТОЛСТОЙ
Фотография 1862 г.
Толстовский музей, Москва

ным материалом, при перенесении крестьянских усадеб, Осипович не мог. В то же время он, как помещик мелкопоместный, не имел леса для отпуска крестьянам. Единственная помощь, которую он соглашался оказать крестьянам,— это выдать денежное пособие по 50 рублей на двор; крестьяне же такое пособие считали недостаточным, требуя 500 рублей на двор и 200 корней леса.

Надо заметить, что еще до возникновения вопроса о переселении, вскоре после пожара, посетив деревню Хомяковку, Толстой довел до сведения губернатора и губернского присутствия, что «нашел как мужиков, так и барина в самом бедственном положении», а потому просил: «Не благоугодно ли будет оказать пособие крестьянам г. Осиповича в той мере, в которой это делается для крестьян государст-

венных имуществ, потому что без этого я не вижу возможности для означенных крестьян отбывать казенные и помещичьи повинности» [7]. Но и в этом случае, как оказалось, закон на давал ответа на вопрос, поставленный жизнью. «По неимению в виду источников, из которых оно [вспомоществование] может быть сделано», присутствие ограничилось лишь ни к чему не обязывающей сентенцией, что было бы «вполне уместным обратиться к местному уездному дворянству, пригласив оное к добровольному пожертвованию по подписке» в пользу погорельцев-крестьян. Однако, из архивных материалов не видно, чтобы местное дворянство оказало помощь погорельцам. Напротив, для «ужасного, грубого и жестокого» крапивенского дворянства, в лице мирового съезда, пожар послужил основанием для облегчения положения помещика Осиповича за счет ухудшения положения крестьян. С редким цинизмом съезд продемонстрировал свое откровенно пристрастное отношение к сторонам судебного разбирательства в постановлении от 3 июля, которое так возмутило Толстого. Аргументация крапивенских судей в подкрепление их оригинального решения, к тому же вынесенного и приведенного в исполнение с нарушением элементарных правил судопроизводства, сводилась к следующему: раз помещик Осипович не может воспользоваться старыми крестьянскими дворами, уничтоженными пожаром, а равно и не имеет добавочного лесоматериала, то, стало-быть, он освобождается от всякого вспомоществования крестьянам; крестьяне же должны, как сказано в постановлении от 3 июля, «принять делаемое им, г. Осиповичем, с его стороны необязательное пособие по 50 р[ублей] сер[ебром] на двор с благодарностью, как милость».

«Не предвидя возможности... крестьянам построиться на новых местах», Толстой в своей жалобе от 28 июля писал губернскому присутствию: «Постановление это совершенно несправедливо, во-первых, потому, что по толкованию мирового съезда 85 и 86 ст. помещик обязан перенести только погорелые столбы и вследствие пожара освобождается от обязанности вознаградить крестьян за переселение и, как милость, дает им по 50 р. на двор; по смыслу же закона помещик обязан не только вознаградить крестьян деньгами за переселение, но и дать сверх того три льготных месяца, и мера вознаграждения за теряемые усадьбы, необходимая для всех вообще крестьян, тем более необходима для крестьян, сгоревших и почти все потерявших при пожаре. Во-вторых, потому, что сгоревшие надворные строения, от пепелища которых считает г. Осипович 50 сажен, были построены не помещиком, а перешли в его собственность от крестьян, переведенных в дворовые» [8]. Далее, Толстой указывает, что помещик, поселяя крестьян в «проулках деревни», отводит им, взамен их старых усадеб, землю, которая «и без того принадлежит крестьянам и засеяна их хлебом». Наконец, как мы видели, Толстой указывает на многочисленные нарушения съездом процессуальной стороны дела.

Однако, все доводы Толстого остались тщетными. Губернское присутствие нашло, что «постановление Крапивенского мирового съезда о переселении крестьян г. Осиповича, состоявшееся по большинству голосов, на основании статьи 76 местного положения, должно считать окончательным, почему и подлежит бесспорному исполнению» [9]. Проиграв дело во всех инстанциях, ни в ком не встретив поддержки, Толстой не сложил оружия. Публикуемое ниже отношение его от 8 ноября 1861 г. свидетельствует о продолжении той же борьбы, принципиально более углубленной и расширенной.

Неизвестно, в какой форме дошло до губернского присутствия публикуемое отношение и было ли оно вообще подано. Но, независимо от этого, документ ценен хотя бы для уяснения тех впечатлений, которые выносил Толстой из своей практики общественного и судебного деятеля 60-х годов. После дела Осиповича ему, действительно, оставалось притти только к тому выводу, который он делал в своем заявлении от 8 ноября: «Участие мое на мировом съезде оказывается совершенно бесполезным и только опасным для моей чести». Чрезвычайно характерна для Толстого резкая постановка вопроса. Настойчиво и не без сарказма он дважды спрашивает центральное учреждение губернии по ведомству своей службы: «Имеет ли посредник право никогда не бывать на мировом съезде?». Поставив членов присутствия

Л. Н. ТОЛСТОЙ — МИРОВОЙ ПОСРЕДНИК
Картина В. Курдюмова, 1910 г.
Институт литературы, Ленинград

этим вопросом в затруднение, он заставляет их дать компромиссный, уклончивый и в то же время напыщенно-авторитетный ответ: «Хотя посредник и не обязан постоянно посещать мировой съезд, но официально заявлять этого не имеет права».

Даже в этом коротком обмене реплик, вызванном Толстым, чувствуется будущий великий обличитель «общественной лжи и фальши», разоблачитель «комедии суда и государственного управления».

Текст отношения написан канцелярским почерком на листе бумаги большого формата, с напечатанным бланком в левом углу первой страницы: «М. В. Д. мирового посредника IV участка Крапивенского уезда». Подпись под текстом «гр. Л. Толстой» сделана рукою Льва Николаевича.

В ТУЛЬСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ
ПО КРЕСТЬЯНСКИМ ДЕЛАМ ПРИСУТСТВИЕ

Ноября 8 дня 1861 года

В прошедшем августе месяце 16 числа лично объяснено мною губернскому по крестьянским делам присутствию, что я не считаю возможным участвовать в Крапивенском мировом съезде, и предложен вопрос, имеет ли посредник право никогда не бывать в мировом съезде. Мне было отвечено, что хотя посредник и не обязан постоянно посещать мировой съезд, но официально заявлять этого не имеет права.

Так как мое непосещение мирового съезда не случайно и не временно, а имеет основанием убеждение мое в бесполезности моего участия в мировом съезде, то я вновь то же заявляю и предлагаю тот же вопрос Тульскому губернскому по крестьянским делам присутствию с объяснением причин, по которым я уклоняюсь от сей обязанности. В прошлом июле месяце, в присутствии Крапивенского мирового съезда, о деле

г-на Осиповича состоялось одно постановление или вовсе никакого, так как мнения всех членов не были ясно формулированы, в отсутствие же мое состоялось другое постановление, совершенно различное от первого, или от тех суждений, которые были выражены гг. членами в моем присутствии. Второе постановление записано в журнал неизвестно когда и приведено в исполнение через земскую полицию без моего ведома. Об этом случае было мною тогда же представлено в губернское по крестьянским делам присутствие с требованием назначения следствия об этом деле; но на представление мое получен ответ только о том, что мировой съезд должен уведомлять мировых посредников о приведении в исполнение тех постановлений, которые состоялись в их отсутствие. Так как нет основания предполагать, чтобы во всех будущих совещаниях мирового съезда, в случае несогласия одного из членов, постановления большинства не могли бы состояться тем же путем, так как я до сих пор на Крапивенском мировом съезде один всегда был мнения противоположного мнениям всех других членов и так как представление мое в Тульское губернское по крестьянским делам присутствие осталось без последствий, то и участие мое на мировом съезде оказывается совершенно бесполезным и только опасным для моей чести. Вот причины, по которым я не езжу и не намерен ездить на мировой съезд.

Просьба же моя в губернское по крестьянским делам присутствие состоит в следующем: 1) или на основании моего заявления о намеренном уклонении от обязанностей члена мирового съезда представить высшим властям об увольнении меня от должности, 2) или разрешить мне не участвовать в мировом съезде, 3) или произвести следствие о справедливости представляемых мною причин невозможности участвовать в мировом съезде и о виновных мне или членам мирового съезда *, представить в Сенат для предания суду, 4) или уведомить меня, на каком основании настоящее представление мое будет оставлено без последствий.

Мировой посредник гр. Л. Толстой

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] «Переписка Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой», т. I, СПБ., 1911, письмо от 7 августа 1862 г.

[2] Цитировано по книге: Гусев Н. Н., Толстой в молодости, стр. 394—395.

[3] См. Успенский Д., Архивные материалы для биографии Л. Н. Толстого.— «Русская Мысль», 1903, № 9, стр. 90—96.

[4] Там же, стр. 95.

[5] «Полное собрание законов» 1861 г., № 36662.

[6] Проулки — переулки, проезды между избами, поперечные к деревенской улице.

[7] «Русская Мысль», 1903, № 9, стр. 90.

[8] Там же, стр. 93.

[9] Там же, стр. 94.

* Ошибка переписчика. Вероятно, следует читать: «о виновности моей или членов мирового съезда».

СТИХОТВОРНАЯ ШУТКА ТОЛСТОГО

Сообщение Н. Покровской

На четвертой странице одного из писем А. А. Фета к Толстому, относящегося к концу 70-х годов, обнаружена написанная со многими помарками рукой Толстого следующая стихотворная шутка:

Из двух мне милее столиц
Петербург. В нем из 3-х поколеньев
Наберется родных до ста лиц
И милее всех — глава Александр Исленьев.

Настоящая редакция — четвертая по счету — получилась путем перестановки при помощи черты нескольких слов третьей редакции.

Первая строка во всех четырех редакциях одна и та же.

Вторая строка читается так:

Первая редакция: «Та, в коей есть милых сто лиц».

Вторая редакция: «Петербург. В нем не менее ста лиц».

Третья редакция: «Петербург. В нем родных до ста лиц».

Третья строка читается:

В первой редакции: «Сто наберется из 3-х поколеньев».

Во второй редакции: «Наберется родных из 3-х поколеньев».

В третьей редакции: «Наберется из 3-х поколеньев».

Четвертая строка читается:

В первой редакции: «Из всех милее Але[ксандр]».

Во второй редакции: «И милее всех родоначальник».

(Слово «родоначальник» зачеркнуто и сверху написано: «Ал[ександр]»),

В третьей редакции: «И милее всех — глава Александр Исленьев».

Александр Михайлович Исленьев (1794—1882) — дед С. А. Толстой по матери. В конце 70-х годов А. М. Исленьев жил в Петербурге, у сына своего Владимира Александровича (1818—1895), который, как «незаконнорожденный», носил фамилию Иславин.

Семья В. А. Иславина состояла из жены его, Юлии Михайловны (урожд. Кирьяковой), и детей: Льва, Михаила, Любови и Ольги.

Толстой, ездивший в 1878 г. в Петербург и бывавший у В. А. Иславина, видел представителей трех поколений рода А. М. Исленьева. Вероятно, этим годом и надо датировать его стихотворную шутку.

Р.-М. РИЛЬКЕ У ТОЛСТОГО

Сообщение Э. Зайденшнур

Райнер-Мариа Рильке (Rainer-Maria Rilke, 1875—1926) — крупный немецкий поэт-лирик. Впервые Рильке был в России весной 1899 г. Он приехал вместе с писательницей Лу Андреас-Саломе (Lou Andreas-Salomé) и ее мужем, профессором-востоковедом Ф. Андреас (F.-C. Andreas). Готовясь к этой поездке, Рильке писал 22 апреля 1899 г. из Шмаргендорфа Фриде фон-Бюлов: «Теперь все наше время и мысли заняты приготовлением к России: хлопоты о паспортах, изучение бедекера и последние хлопоты в городе. Несмотря на то, что путешествие уже давно было намечено, все же последние дни коротки, как это полагается. 24 часа мы будем отдыхать в Варшаве, а в Москве и Петербурге используем сбереженные для осмотра силы. Для обоих городов я запасся рядом рекомендаций: в Москве — к современным художникам, в Петербурге — кроме того, к одному издателю и инспектору императорского театра. Возможно, что мы будем и у Льва Толстого»[1].

В апреле Рильке был у Толстого в Москве. Посещение это произвело на него большое впечатление. 7/19 мая 1899 г. Рильке писал из Петербурга доктору Гюго Салюсу (Hugo Salus): «Три недели, как я в России, но мне так приятно и хорошо, будто я здесь уже три года. Москва была первой целью. На пасху первая радость. Толстой, которого я посетил,— первый человек в новой стране, и трогательнейший человек, истинно русский [ewigè Russè]».

По возвращении в Германию Р.-М. Рильке писал Толстому 8 сентября 1899 г. из Мейнингена[2]:

Глубокоуважаемый граф, уже в тот знаменательный вечер в Москве, когда мы трое, госпожа Лу Андреас-Саломе, доктор Ф. Андреас и я, были одарены глубочайшим впечатлением вашей личности, объединившим нас в глубоком чувстве, у нас явилось желание вновь побывать у вас, посредством какой-либо книги, чтобы подольше сохранить ту близость, которая так просто и прекрасно была создана вашей добротой.

Вы интересовались тогда бабидами[3], глубокоуважаемый граф. Поэтому мы посылаем вам тогда только упомянутую брошюру о них; госпожа Лу Андреас-Саломе приложила свою последнюю книгу, а я — маленькую книжку, вылившуюся из моих смутных чувств, привязывающих меня к моей славянской родине, к Праге[4].

Итак, мы еще раз входим к вам, глубокоуважаемый граф, втроем и в то же время поодиночке, а ваша любезная доброта не должна распространяться на наши тихие, терпеливые книги с такой же готовностью, как в тот поздний визит трех иностранцев, соединенных огромным и искренним уважением к вам, в чем мы вас вновь заверяем.

Райнер-Мариа Рильке

Толстому были присланы три книги, о которых упоминает Рильке в своем письме: Andreas F., Babi's in Persien, ihre Geschichte und Lehre. Leipzig, Verlag der Akademischen Buchhandlung (W. Faber), 1896; Andreas-Salomé Lou Menschenkinder. Novellencyklus. Stuttgart, J. S. Cottasche Buchhandlung, Nachfolger, 1899; Rilke Rainer-Maria, Zwei Prager Geschichten. Stuttgart, Verlag von A. Bonz u. Co, 1899 (экземпляр этой книги, хранящийся в яснополянской библиотеке, разрезан до 98-й страницы).

Толстой ответил Рильке 13/25 сентября 1899 г. (перевод с французского):

Милостивый государь,

Я получил посылку с книгами: госпожи Лу Андреас-Саломе, книгой о бабидах и вашей. Я еще не имел времени прочесть всего; прочел только первые три рассказа госпожи Лу Андреас, которые мне очень понравились. Не замедлю прочесть и другие. Благодарю вас за книги и за ваше письмо. Я с удовольствием вспоминаю о приятном и интересном разговоре, который имел с вами и вашими друзьями, когда вы были у меня в Москве.

Примите, милостивый государь, уверение в моем искреннем расположении.

Лев Толстой [5]

С 22 ноября по 6 декабря этого же года Толстой был болен острым припадком печени. Общество было встревожено болезнью Толстого, и в газетах печатались сообщения о состоянии его здоровья. Многие обращались непосредственно в Ясную Поляну с запросами, с пожеланиями скорейшего выздоровления. И Рильке, поздравляя Толстого с Новым годом, писал ему в конце декабря из Шмаргендорфа:

Глубокоуважаемый граф, все это время мы принимали участие в ваших страданиях, и теперь к концу года мы приходим с желанием вам выздоровления. Бог, ваше собственное желание и желания тех, которым вы нужны и которые вас любят, принесут вам полное выздоровление.

С глубочайшим уважением

Райнер-Мариа Рильке

В конверт вложены визитные карточки Рильке, Лу Андреас-Саломе и Ф. Андреас.

Первая поездка по России произвела на Рильке сильное впечатление. 5 февраля 1900 г. он писал художнику Л. О. Пастернаку: «Я должен вам, во-первых, рассказать, что Россия, как я и предсказывал вам, не была для меня случайным событием, что я с августа прошлого года почти исключительно занят изучением русской истории, искусства, культуры и вашего красивого, несравненного языка. Хотя я еще не могу говорить, но читаю почти без труда ваших великих, ваших таких великих поэтов! Я понимаю также большую часть из того, что говорят. И что за радость читать в оригинале стихи Лермонтова или прозу Толстого. Как наслаждаюсь я этим! Ближайший результат этого изучения тот, что я необычайно тоскую по Москве, и если ничего особенного не произойдет, то 1 апреля русского стиля буду у вас, чтобы на этот раз дольше, уже как посвященный и знающий, пожить в вашем обществе».

Действительно, в апреле 1900 г. Рильке вновь приехал в Россию и 19 мая опять с супругами Саломе был у Толстого в Ясной Поляне. Об этом втором (и последнем) посещении Толстого он писал С. Н. Шиль под непосредственным впечатлением — на другой день, 20 мая, из Тулы:

«Дорогая Софья Николаевна, приятный час, проведенный с вами, был последним камешком в пестрой мозаике наших московских дней. На следующий день все было окрашено спешностью отъезда, и Москва, как ни мила она нам, поблекла перед ожиданием многого предстоящего. Мы не представляли себе, как близко было радостное исполнение нашего желания. В поезде мы встретили профессора Пастернака, ехавшего в Одессу. Когда мы рассказали ему о нашей нерешительности — попытаться ли теперь повидать Толстого, он сообщил нам, что в поезде должен быть близкий знакомый семьи Толстых, господин Буланже, который, вероятно, осведомлен о местопребывании Толстого в настоящее время. Господин Буланже, действительно, дал нам любезный совет. Мы решили остаться в Туле, на следующее утро поехать в Лазарево и оттуда на лошадях — в имение Оболенского, Пирогово, где, как думал Буланже, по всей вероятности, еще находится граф [6]. Два дня тому назад Буланже проводил графиню в Ясную Поляну, и очень возможно, что граф в ближайшие дни тоже вернется в

Ясную. Поэтому Буланже дал графине телеграмму с запросом, где граф будет в пятницу. Телеграфный ответ должен был притти в Тулу, в нашу гостиницу. Напрасно мы прождали его, и вчера утром, как было условлено, поехали в Лазарево. Там станционный служащий сообщил нам, что вчера граф проводил Татьяну Львовну на поезд и затем уехал с вещами в Козловку. Теперь все для нас зависело от того, чтобы возможно скорее (с товарным поездом) добраться до места, откуда можно попасть в Ясную.

Мы поехали обратно в Ясенки, наняли там экипаж и мчались с запыхавшимися колокольчиками до края холма, на котором стоят бедные избы Ясной, объединенные в одну деревню, но разбросанные, как стадо, печально стоящие на истощенном пастбище. Лишь группы женщин и детей являются яркими солнечными пятнами на ровной серости, покрывающей землю, крыши и стены, как будто все поросло пышным, веками не тронутым мхом. Затем спускается тянущаяся по пустынным местам улица, и ее серая полоса плавно вливается в зеленую, с колеблющимися верхушками, долину, в которой слева две круглые, покрытые зелеными куполами башенки указывают вход в старый одичавший парк, скрывающий простой дом Ясной Поляны. У этих ворот мы вышли и робко, как богомольцы, поднялись по тихой лесной дороге до все отчетливее и белее выступавшего дома. Слуга понес наши карточки. Через некоторое время мы увидели за дверью, в сумрачной передней, фигуру графа. Старший сын открыл стеклянную дверь, и мы очутились в прихожей, перед графом, стариком, к которому обычно приходят, как сын к отцу, даже и тогда, когда не хотят оставаться под силой его отеческого влияния. Он, казалось, сделался ниже, более сгорбленным, белее, а его светлый, ясный взор, как бы независимо от дряхлого тела, выжидает незнакомцев, намеренно испытывает их и благословляет каким-то невыразимым благословением.

Граф тотчас же узнал госпожу Лу и сердечно приветствовал ее. Он извинился, что занят, и обещал быть с нами после двух часов. Мы остались в большом зале в обществе его сына. С ним мы бродили по большому дикому парку и через два часа вернулись домой. Там, в прихожей, графиня была занята расстановкой книг. Неохотно и негостеприимно обернулась она к нам на один миг и коротко сообщила, что граф нездоров. Счастье, что могли сказать: «Мы его уже видели». Это несколько обезоружило графиню, но все же она не прошла с нами, раскидала в передней книги и сказала кому-то сердитым голосом: «Мы только-что приехали!..». Затем, пока мы ждали в маленькой комнате, вошла еще одна молодая дама, слышны были голоса, сильный плач, успокаивающие слова старого графа, который затем вошел к нам взволнованный, рассеянно задал нам несколько вопросов и снова оставил нас. Можете себе представить, как мы растерялись, почувствовав, что попали в неудачный момент. Но некоторое время спустя граф опять вошел, на этот раз полностью принадлежа нам и внимательно оглядывая нас своими большими глазами. Представьте, Софья Николаевна, он предложил нам прогулку в парке. Вместо еды за общим столом, что мы могли предполагать в лучшем случае и чего боялись, он дал нам возможность провести время с ним одним, среди прекрасной природы той местности, по которой он проносил тяжелые мысли своей великой жизни. Он не принимал участия в общей еде, так как два дня уже опять нездоров, ничего не ест, пьет кофе. Итак, это был тот час, который он легко мог отнять от других, чтобы преподнести нам, как неожиданный подарок. Мы шли медленно по длинной, густо заросшей дороге, вели интересный разговор, которому, как и в прошлый раз, граф придавал теплоту и живость. Он говорил по-русски, и, если ветер не заглушал слов, я понимал каждый слог. Он держал левую руку за поясом шерстяной куртки, а правая покоилась на ручке палки, на которую он слегка опирался. Время от времени он наклонялся и таким движением, как будто ему хотелось сорвать цветок вместе с исходящим из него ароматом, срывал его, вдыхал аромат и потом, во время разговора, небрежно ронял опустошенный цветок. Изобилие буйной весны от этого не нарушалось. Разговор идет о многих вещах. Но слова не скользят по поверхности, они проникают в глубь вещей, в темноту. И глубокое значение каждой вещи не в ее видимой окраске, а в сознании, что она появилась из мрака, из таинственного, откуда пришли мы все. И всякий раз, когда в разговор вры-

ваются ноты чего-то необычного, тогда где-то на светлом фоне рождается перспектива глубокого единомыслия.

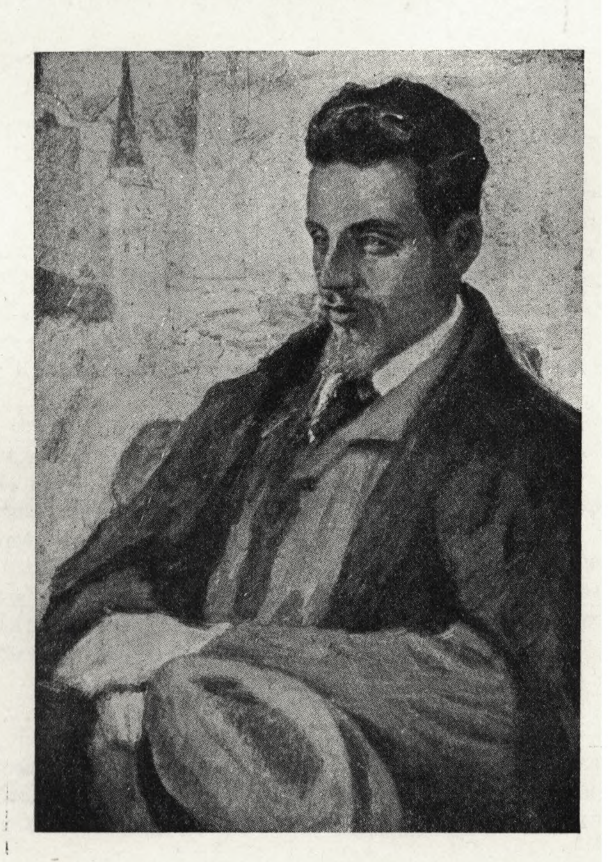
Так прошла прогулка, хорошая прогулка. Иногда в ветре фигура графа вырастала, большая борода развевалась, но серьезное, отмеченное одиночеством лицо оставалось спокойным, как бы не тронутым бурей. Вскоре по возвращении домой мы с чувством детской благодарности простились с Толстым, обогащенные дарами его существа. Мы не могли бы никого другого больше видеть в этот день».

На Толстого ни знакомство, ни вторая встреча не произвели, видимо, большого впечатления. В его дневнике нет никаких упоминаний о Рильке, а об его приезде в Ясную Поляну Толстой лишь мельком упомянул в письме к дочери, Марии Львовне Оболенской, написанном 20 мая, на следующий день после посещения Рильке: он только отметил, что были посетители, даже не назвав их имен.

Рильке же еще долго оставался под впечатлением этих встреч. 13 сентября того же 1900 г., по поводу новых тревожных известий о болезни Толстого, Рильке записывает в своем дневнике (повидимому, черновик письма к Лу Андреас-Саломе): «Ты пишешь мне, что Толстой очень тяжело заболел в Ясной Поляне. Может быть, мы уже простились с ним. Как теперь вижу перед собой каждый миг того дня». Далее следует воспоминание о поездке к Толстому в Ясную Поляну, почти дословно совпадающее с описанием ее в приведенном письме к С. Н. Шиль, дополненное лишь некоторыми подробностями.

Воспоминание доведено до того момента, когда Толстой вышел к ним взволнованный, задал несколько вопросов и опять ушел: «Шаги на лестнице, все двери в движении, и входит граф. Холодно и учтиво он о чем-то спросил тебя, но он не замечал нас, он только взглянул на меня и спросил: «Чем вы занимаетесь?». Я, кажется, ответил: «Я кое-что написал...». На этом запись дневника обрывается.

Приведенные документы исчерпывают вопрос о встречах Рильке с Толстым.



Р.-М. РИЛЬКЕ
Портрет маслом Л. О. Пастернака, 1931 г.
Местонахождение оригинала неизвестно

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Приведенные здесь письма Рильке к Фриде фон-Бюлов, доктору Гюго Салюсу, Л. О. Пастернаку и С. Н. Шиль взяты из книги: Rilke Rainer-Maria, Briefe und Tagebücher aus der Frühzeit 1899 bis 1902. Herausgegeben von Ruth Sieber-Rilke und Carl Sieber. Insel Verlag zu Leipzig, 1933. Перевод с немецкого Э. Зайденшнур. В России публикуются впервые.

[2] Это и следующие письма Рильке к Толстому хранятся в архиве Толстого в рукописном отделении Всесоюзной библиотеки им. В. И. Ленина. Публикуются впервые.

[3] Бабизм — магометанская секта, основанная в Персии в 1844 г. Мирзой-Али-Махамедом, назвавшим себя Бабом.

[4] Рильке — чех по происхождению. Родился и первоначальное образование получил в Праге.

[5] Подлинник письма Толстого находится в архиве Рильке в Германии. Печатается по копии, полученной через Всесоюзное общество культурной связи с заграницей. Опубликовано в т. LXXII академического издания Полного собрания сочинений Толстого, М., 1933, стр. 569.

[6] С 3 по 18 мая Толстой гостил у своей дочери Марии Львовны Оболенской, в имении Пирогово.

ТОЛСТОЙ И КИНО

Обзор С. Лурье

I

В 1908 г. исполнялось восемьдесят лет со дня рождения Льва Николаевича Толстого. В это время кино в России насчитывало только второй год своего существования. Однако, уже в ту младенческую пору оно не могло пройти мимо такого события, как юбилей великого русского писателя.

Киноаппарат только нащупывал свой путь, и неудивительно, что на первых порах он считал своим призванием отражение на экране только сенсационных событий. Показать на экране Толстого в день его юбилея — это и была, выражаясь киноязыком того времени, сенсация, сопряженная, к тому же, с ожиданием огромной материальной выгоды. Предприниматели готовы были на все, лишь бы получить возможность произвести заветные снимки. Еще задолго до юбилея многие добивались этой возможности, но никто не получил разрешения на производство киносъемки. К тому же, Лев Николаевич был в это время болен

Только накануне дня рождения Толстого, 27 августа 1908 г., удалось сделать с него первые снимки.

Характерно, что первым кинооператором, проникшим с аппаратом в Ясную Поляну, был фоторепортер А. О. Дранков, решивший променять обыкновенную фотокамеру на неведомый до сих пор киносъемочный аппарат. В Ясную Поляну Дранков приехал с некоим Васильевым, владельцем кинотеатра в Петербурге, субсидировавшим эту поездку.

Лев Николаевич в кресле выехал на веранду, а оператору было предложено поместить свой аппарат внизу. Ввиду невозможности получить при таком положении хорошие снимки, Васильев обратился к Льву Николаевичу с просьбой разрешить поставить аппарат на самой веранде. Согласие было дано, и аппарат заработал. Процесс съемки, повидимому, заинтересовал Льва Николаевича, так как он все время беседовал с оператором на эту тему. На этот раз Лев Николаевич был снят только в одном положении — в кресле на веранде. Кроме того, оператор заснял несколько сцен, рисующих жизнь в Ясной Поляне.

Позитив этой съемки был готов, к сожалению, уже после юбилея. Лента была выпущена в продажу под названием «День 80-летия графа Л. Н. Толстого в Ясной Поляне». Она имела в длину 144 метра. Лента прошла во многих городах.

Для характеристики отношения прессы к синематографу приводим отзыв об этой ленте, появившейся в «Петербургском Листке»:

«В синематографических театрах появилась лента, изображающая графа Льва Толстого в его обыденной жизни. Подлинность некоторых лент крайне сомнительна, по всем вероятиям, часть фотографирована не с Толстого, а с артиста, загримированного Толстым, при соответствующей обстановке.

II

Прошел год. Процесс производства киносъемки заинтересовал Льва Николаевича; однако, у него не совсем прошло некоторое предубеждение против кино. Вот почему за это время никому из домогавшихся повторить опыт Дранкова не удалось заснять

его. И только в сентябре 1909 г. такое разрешение получил оператор знаменитой тогда французской фирмы бр. Пате.

К этому времени бр. Пате уже имели в России отделение, захватившее в свои руки почти весь русский рынок.

Вот как передает свои впечатления о произведенной тогда киносъемке в Ясной Поляне сопровождавший оператора бр. Пате корреспондент журнала «Сине-Фоно»:

«...Наши карточки с просьбой о позволении переговорить о деле переданы графине через вышедшего слугу,— самого Льва Николаевича мы не решаемся беспокоить. И действительно, как нам сообщила Софья Андреевна, Лев Николаевич был усиленно занят приготовлениями к отъезду на другой день к В. Г. Черткову, приведением в порядок бумаг, начатых работ и пр.

Мы должны отметить то полное сочувствие, с которым отнеслась графиня к нашей просьбе. Ей самой очень желательны снимки, имеющие целью увековечить для близких Льва Николаевича моменты из его жизни. И как во время этой нашей поездки в Ясную Поляну, так и во время последующих Софья Андреевна оказывала нам всяческую помощь в деле производства снимков, и все переговоры с Львом Николаевичем относительно его согласия позировать перед аппаратом велись почти исключительно через нее.

Увы, можем мы только сказать, убеждения графа, великие идеи пророка заветов всеобщей любви и счастья делают несовместимой с ними возможность позирования для синематографа... Это же передал нам и Лев Николаевич во время наших кратких разговоров при встречах с ним на его обычных ежедневных утренних прогулках. Тем не менее, нам было предложено произвести снимки, запечатлеть моменты из повседневной жизни Льва Николаевича.

Первой из предпринятых нами работ были снимки поездки Льва Николаевича на станцию Щекино, откуда он отправился через Москву к В. Г. Черткову.

Надо ли говорить, что мы были во-время на местах. Бегут последние минуты ожидания... Едут... Плавно, почти шагом выкатывает из ворот усадьбы парная коляска с Львом Николаевичем и провожающей его супругой. Вслед за ней тройка с Александрой Львовной и другими сопровождающими...

Но мы торопимся. Едва лишь экипажи миновали аппарат, мы спешим обогнать их на наших лошадях, чтобы иметь возможность снять приезд на станцию.

Здесь, на платформе Щекина, мы работаем не менее удачно. Приезд, вход на станцию, прогулка Льва Николаевича по перрону в ожидании поезда, сцены встречи с приехавшими с этим же поездом родственниками и, наконец, последний момент отправления в путь — все это схвачено аппаратом» [1].

Во время съемки на платформе произошел следующий инцидент. Представитель власти — станционный жандарм,— несмотря на имевшиеся на руках у оператора различные разрешения на производство съемок по всей России, категорически запретил работать на платформе. К счастью, поезд опаздывал, и оператор успел снестись по телеграфу и телефону с жандармским полковником Чуриловым, находившимся в Туле. Полковник дал разрешение с тем, чтобы ему был представлен «для просмотра» снимок. Времени для убеждения полковника в том, что негатив нельзя смотреть до его проявления, не было, и оператор дал такое обещание. И только в Туле, куда кассета с негативом была привезена тем же поездом, в котором уехал Толстой, удалось убедить полковника обойтись без просмотра.

Когда был готов позитив снятой ленты, кстати сказать, выпущенной на рынок под названием: «Л. Н. Толстой». Единственная серия картин, снятая с разрешения писателя, 1-я картина серии: «Отъезд Л. Н. Толстого в Москву», длиной в 130 метров,— она немедленно была отправлена в Ясную Поляну для показа ее Льву Николаевичу. Одновременно с этой лентой были взяты также и другие картины. Приготовления к сеансу были начаты еще с утра. Сеанс был дан (24 сентября) на открытом воздухе. На площадке перед домом был водружен экран, установлены проекционный аппарат, скамьи и стулья для зрителей.

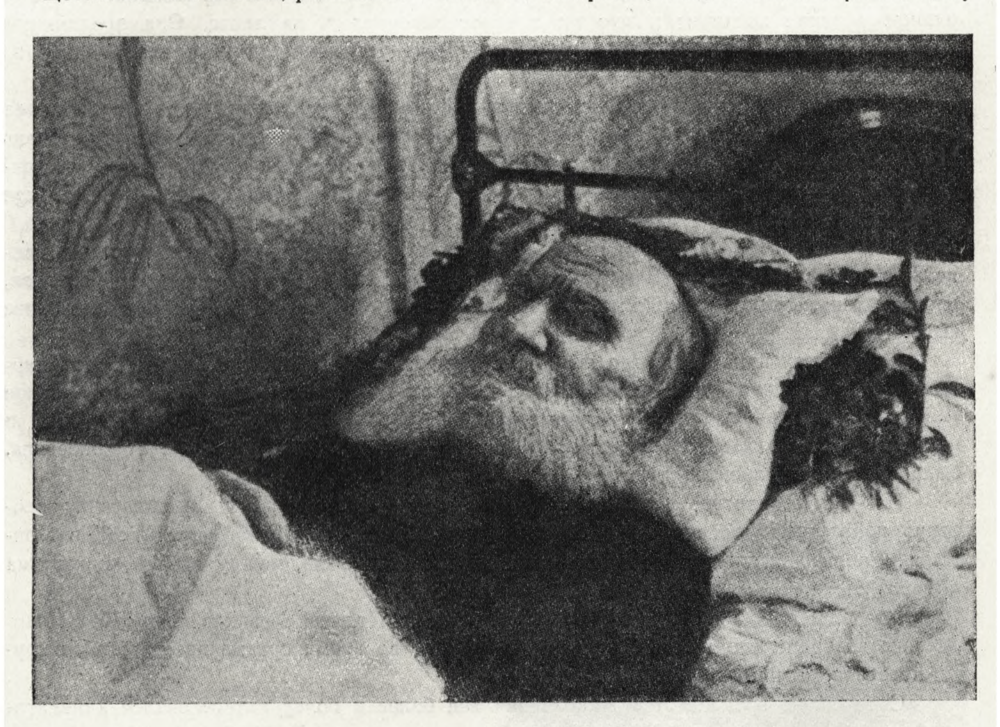
Как только смерклось, сейчас же после обеда, Лев Николаевич, Софья Андреевна, Александра Львовна, прочие обитатели дома и бывшие в доме гости уже собра-

лись на местах. Приехал кое-кто из соседей. Главную массу зрителей составили крестьяне, которых собралось человек до двухсот. Сеанс производился при оксиацетиленовом свете. Корреспондент «Сине-Фоно» пишет:

«Великий писатель остался доволен виденным. Он передал нам, что считает разумным и поучительным зрелищем те видовые и научные картины, которые мы демонстрировали в Ясной Поляне (Военно-Грузинская дорога, город Дели в Индии, на табачных плантациях и пр.).

Снимок, произведенный с Льва Николаевича, был показан дважды, и по окончании сеанса экземпляр снимка был передан Софье Андреевне».

У корреспондента создалось впечатление, что Лев Николаевич до сих пор не является полным сторонником кинематографа, но находит его исключительно полезным с определенной точки зрения. Дело в том, что кинематограф в первые годы своего существования в России, развиваясь с бешеной быстротой, шел, главным образом, по пути



Л. Н. ТОЛСТОЙ НА СМЕРТНОМ ОДРЕ
Кадр из фильма «Похороны Л. Н. Толстого» (1910 г.)

наживы. Чтобы оценить все возможности кино, чтобы увидеть в нем искусство, призванное сыграть огромную общественную и культурную роль, надо было уметь отделить мишуру, скрывавшую самое главное свойство кино. Через некоторое время Толстой рассмотрел это главное и переменил свое мнение о кинематографе, как мы увидим это из дальнейшего.

Через некоторое время картина «Отъезд Л. Н. Толстого в Москву» была выпущена на рынок и пользовалась большим успехом.

Во время пребывания Льва Николаевича в Москве в сентябре 1909 г. А. О. Дранков делает ряд снимков для картины «Л. Н. Толстой в Москве». В начале декабря он просит у Софьи Андреевны разрешения привезти сделанные снимки в Ясную Поляну. В конце декабря получен ответ Софьи Андреевны:

«Я очень хотела бы, чтобы было сделано как можно больше снимков с Льва Николаевича в разные моменты его жизни, и буду всячески этому содействовать». При этом Софья Андреевна просит привезти с собой, кроме ленты, на которой изображен

Лев Николаевич, еще несколько картин с натуры. «Не привозите только комических картин, которых Л. Н. не любит»,— заканчивает она [2].

6 и 7 января 1910 г. происходят киносеансы в Ясной Поляне. Среди яснополянских гостей идут разговоры о кино, о его настоящем и будущем, о его значении для школы, для народа. Лев Николаевич говорит о кинематографе, как об одном из интереснейших и важнейших изобретений, много и подробно расспрашивает о последних усовершенствованиях в области кинематографии, о лентах, о перспективах промышленности.

«Необходимо,— говорит он,— чтобы синематограф запечатлевал русскую действительность в самых разнообразных ее проявлениях. Русская жизнь должна при этом воспроизводиться синематографом так, как она есть, не следует гоняться за выдуманными сюжетами».

Татьяна Львовна указала, что в Тульской губернии до сих пор сохранились старинные русские костюмы и что их следует запечатлеть на ленте. Она предложила Дранкову приехать к ней в имение, где обещала устроить ряд интересных сцен из жизни крестьян.

«Да, да,— вставил Лев Николаевич,— Таня говорит правду, послушайтесь ее совета; это будет очень интересно, потому что сама жизнь нашего крестьянина очень интересна и поучительна». При этом Лев Николаевич раскрыл альбом картин художника Орлова «Русские мужики» и, указывая на картины, сказал: «Вы видите, как много здесь работы для фотографа!».

Затем Лев Николаевич, пишет корреспондент «Сине-Фоно», выразил желание увидеть на полотне синематографа русских литераторов и общественных деятелей и, узнав, что имеется лента с Леонидом Андреевым, сказал: «Пожалуйста, покажите, покажите его!».

На сеансах присутствовало много крестьян с детьми. Сначала была показана картина, изображающая Льва Николаевича в Москве. Картина произвела на него сильное впечатление. «Ах,— сказал Лев Николаевич,— если бы я мог теперь видеть отца и мать так, как я вижу самого себя!». Эта картина, по желанию Льва Николаевича, была продемонстрирована вторично.

Из других картин, продемонстрированных в этот раз, Льву Николаевичу особенно понравились ленты: «Трудовая жизнь в Бомбее» и «Зоологический сад в Лондоне». Среди других картин, привезенных Дранковым, была, между прочим, и картина «Власть тьмы».

Воспользовавшись своим пребыванием в Ясной Поляне, Дранков снял Льва Николаевича во время его прогулки верхом, в санках, во время приема посетителей, в кругу крестьян, семьи.

С течением времени Лев Николаевич все более и более интересовался кинематографом. В начале апреля 1910 г. Л. Н. Толстого посетил Л. Н. Андреев (между прочим, Л. Н. Андреев был первым из русских, современных Толстому, писателей, признавшим кино и предугадавшим колоссальную роль «великого немого», как он назвал это новое изобретение). Во время беседы зашла речь о критиках. Андреев указал на К. Чуковского, как на критика, умеющего касаться тем, до которых не решаются опуститься высокопоставленные критики. В качестве примера, он указал на статью Чуковского о кинематографе — этом новом художественном явлении последних дней, имеющем громадное влияние на людей. Имея в виду именно это влияние, Андреев рассказал о своих впечатлениях от русского и заграничного кинематографа; упомянул о своем совете русскому кинематографисту Дранкову устроить конкурс для писателей в целях создания лучшего репертуара. Эта мысль, видимо, понравилась Льву Николаевичу, и он несколько раз возвращался к этой теме, внимательно и подробно расспрашивая.

«Вы знаете,— встретил утром Андреева Лев Николаевич,— я все время думал о кинематографе. И ночью все просыпался и думал. Я решил написать для кинематографа. Конечно, необходимо, чтобы был чтец, как в Амстердаме, который бы передавал текст. А без текста невозможно» [3]. Как известно, Толстому не удалось осуществить свое намерение.

III

7 ноября 1910 г., в 6 часов 5 минут утра, на станции Астапово скончался Л. Н. Толстой. 10 ноября в московских театрах уже демонстрировались снимки последних дней жизни и похорон Толстого.

Как только прошла весть о болезни Толстого, на станции Астапово появились операторы всех существовавших тогда кинофирм. На ленте удалось запечатлеть все относящееся к последним часам жизни Толстого.

Вот домик И. И. Озолина, вот окно, за которым лежал больной, вагон, в котором жила семья Льва Николаевича. Вот Софья Андреевна, выходящая из вагона и направляющаяся к домику, чтобы узнать о ходе болезни и посмотреть на окно, за которым лежит больной... Свершилось... Народ идет на поклонение телу, а вот и сам Толстой на смертном одре. Дальше — приготовления к выносу тела, вынесли крышку гроба. Ее несут И. И. Озолин (начальник станции Астапово) и др. Показался гроб. Его несут сыновья Льва Николаевича. А вот и вагон с надписью «багаж»... (Тело покойного, кстати сказать, было перевезено именно, как багаж — по накладной.)

Вот промежуточная станция. Там приготовились встретить тело с подобающими почестями, но... поезд прошел, не остановившись.

Поезд подходит к Козловке-Засеке. В ложбине, окруженной березовыми рощами, чернеют толпы народа. Мелькают лица известных писателей и общественных деятелей. Море студенческих фуражек всех образцов. Гроб из вагона выносят крестьяне. Процессия растянулась длинной лентой, то спускающейся в ложбину, то поднимающейся в гору. Впереди процессии — огромный стяг яснополянских крестьян с надписью: «Лев Николаевич Толстой. Память о твоем добре не умрет среди нас, осиротевших крестьян Ясной Поляны». Впереди на простых крестьянских возах везут венки. Вот гроб у дома. Его вносят через заднее крыльцо в дом. Вот кончилось прощанье, и по узким тропам яснополянского сада процессия тянется к Афониной роще, где в лесу приготовлена могила. Толпа опускается на колени. Гроб на руках студентов...

Некоторые из операторов прибыли в Ясную Поляну заранее и сняли все любимые места Толстого. Тут и скамейка под березами, на которой он часто сидел, аллея, по

АННА В ТЕАТРЕ

Кадр из фильма «Анна Каренина» (1914 г.)

которой он любил гулять, купальни, «дерево бедных», пруд, лошадка «Делир», на которой он совершал прогулки, беседка, наконец, ряд деревьев, собственноручно посаженных Львом Николаевичем...

Интересно отметить заснятый оператором Мартыновым (фирма Ханжонкова) эпизод во время похорон: при пении «вечной памяти» все, кроме чинов полиции, опустились на колени; по требованию присутствующих, полицейские вынуждены были также опуститься на колени.

Снимки похорон Толстого пользовались огромным успехом. Только две фирмы (бр. Пате и Ханжонкова) в течение первых трех суток с момента получения в Москве негативов продали около 500 экземпляров позитива. Одновременно администрация пыталась запретить демонстрирование картины похорон. Во многих местах это запрещение было сделано заранее, еще до появления картины.

Приведем некоторые, наиболее характерные выдержки из телеграфных корреспонденций журнала «Сине-Фоно» по этому поводу:

Воронеж. Владельцам местных синематографов заранее было объявлено запрещение демонстрировать ленты с картинами похорон Л. Н. Толстого.

Екатеринбург. Картины похорон С. А. Муромцева и графа Л. Н. Толстого администрацией не разрешаются в синематографах Екатеринбурга [ныне Свердловска].

Николаев. По распоряжению администрации, в синематографах запрещено демонстрировать похороны Л. Н. Толстого.

Тула. Губернатор запретил демонстрировать картины похорон Толстого. Но после упорного ходатайства демонстрация была разрешена.

Из Иваново-Вознесенска, Саратова, Вятки, Вышнего-Волочка, Курска, Минска, Архангельска и других городов получены аналогичные телеграммы.

В некоторых городах запрещение касалось только учащихся. Так, например, в Астрахани картину «Л. Н. Толстой в Астапове» нашли соблазнительной и строжайше запретили ученикам посещение кинотеатра в «толстовские» дни.

Небезынтересно отметить, как принимала публика картину похорон Толстого. «Москва первой могла увидеть на экране величайшую человеческую трагедию,— пишет «Сине-Фоно».— Жутко было итти в синематограф. Можно было бояться, что разнообразнейшая публика, которая заполняет залы театра, не сможет выделить снимки астаповских событий и похорон Л. Н. Толстого от остальной программы и зрительный зал все время будет оставаться местом зрелищ.

Но перед именем покойного учителя смолкли дурные инстинкты людей. Гробовая тишина водворялась в театре, когда аншлаг оповещал о снимке астаповских событий и похорон. Молча снимали шапки. В некоторых театрах, по желанию публики, показывались картины из жизни великого писателя, а также инсценировки его произведения. Стояли в проходах между стульями...» [4].

В первую годовщину смерти Толстого во многих кинотеатрах опять демонстрировались картины из жизни великого писателя, а также инсценировки его произведений.

И на этот раз администрация на местах не отказала себе в удовольствии чинить препятствия для этих демонстраций. Так, администрация города Могилева Подольского разрешила кинематографу «Люкс» демонстрирование похорон Толстого лишь при условии исключения из напечатанных уже афиш слов «светлой памяти». В Симферополе, Керчи, Мелитополе сеансы памяти Толстого были совсем запрещены.

IV

Ко второй годовщине смерти Толстого, в 1912 г., фабрика лент «Тиман и Рейнгардт» выпускает картину «Уход великого старца». Ее темой явился последний период жизни Льва Николаевича. Сценарий картины был написан Тенеромо. Ставил ее Я. А. Протазанов. Роль Толстого исполнял молодой артист В. И. Шатерников, вскоре погибший на войне. Я. А. Протазанов, тогда еще только начинающий режиссер, отнесся к постановке с сознанием огромной важности порученной ему работы.

«Не ищите в этой ленте никаких модных теперь трюков,— пишет «Сине-Фоно»,— ни бьющего на нервы сюжета. Здесь сама простота как в сюжете, так и в действии, но самая простота того, что происходит на экране, уже есть мировая трагедия и вызывает в зрителе тихие, но горячие слезы, заполняет душу чем-то теплым, но вместе с тем кротким, ясным...» [5].

Шатерников с большим искусством передал образ писателя, его походку, манеру держаться и разговаривать. Смотревшие картину сыновья Льва Николаевича не могли отличить Толстого-Шатерникова от самого Толстого. Над гримом артиста работал известный скульптор Кавалеридзе, много лепивший в свое время Толстого. Перед каждой съемкой Кавалеридзе работал над лепкой лица Толстого около трех часов.

Поставленная с такой любовью к памяти Толстого, картина, однако, не увидела света. Как только картина была закончена и показана цензору и семье Льва Николаевича, она немедленно была запрещена по настоянию Софьи Андреевны. Я не могу сейчас припомнить полностью все содержание картины, но в память мне врезалось то

БАЛ У РОСТОВЫХ

Кадр из фильма «Война и мир» (1915 г.)

огромное впечатление, которое она произвела на меня своей реальностью, правдоподобием и превосходно переданной логичностью вытекающих одно из другого обстоятельств, приведших Льва Николаевича к решению об уходе из семьи. Интересно отметить, что большая часть семьи и близких Льву Николаевичу лиц настаивала на снятии с нее запрещения при условии вырезки нескольких кадров, как, например, сцены покушения Толстого на самоубийство.

Несмотря на то, что картину эту, кроме семьи и самых близких друзей Толстого, никто не видел (из посторонних лиц картину видел только автор этих строк), вокруг нее поднялся сильный шум в прессе. Буржуазная пресса того времени, за исключением «Русских Ведомостей», воспользовалась проникшими в публику слухами о картине, чтобы вылить на кинематограф вообще и на эту картину в частности ушаты грязи.

Изложение содержания картины, помещенное в некоторых газетах, явилось плодом досужей фантазии писавших. «День» и «С.-Петербургские Ведомости» сообщили, например, что в ленте приведены совершенно неправдоподобные сцены, а те, которые правдоподобны, в большинстве случаев представлены в диком и лживом освещении.

Графиня Софья Андреевна, В. Г. Чертков и другие лица, близкие к Толстому, будто бы воспроизведены на экране в карикатурных и оскорбительных для них тонах, и т. д.

Конечно, весь этот вздор не выдерживает критики. Картина отличалась правдивостью, которая, главным образом, и послужила мотивом для запрещения ленты. Вот что по этому поводу пишет «Утро России» в № 261 за 1912 г. (цитирую по журналу «Сине-Фоно»):

«Протестовать против того, чтобы интимная жизнь Льва Николаевича сделалась достоянием общества, как-раз менее всех имеет право С. А. Толстая, та самая Толстая, которая собственноручно продала одной газете свои воспоминания об интимнейших подробностях своей жизни с Львом Николаевичем, воспоминания, посвященные 50-летию их свадьбы» [6].

При царивших в то время в административных кругах нравах, при определенном «нажиме», можно было бы добиться снятия запрещения, однако, владельцы картины (негатив ее к этому времени был продан фабрикой одной из прокатных контор за баснословную в то время цену в 40 000 рублей), ввиду нежелания родственников Толстого, решили прекратить хлопоты о снятии запрещения.

Дальнейшая судьба картины мне неизвестна. Позитив ее должен находиться где-нибудь в архивах ГУКФ в Москве или в Ростове-на-Дону. По указанию заведующего архивом Научно-исследовательского института кинематографии, несколько частей ее хранится в этом архиве.

V

Инсценировка произведений Толстого на экране началась в 1909 г. Фирма бр. Пате во Франции выпустила фильм «Воскресение», по роману Л. Н. Толстого, французское издание в исполнении лучших артистов Парижа; длина — 320 метров.

Это была в полном смысле слова «развесистая клюква». Однако, благодаря имени Толстого, картина прошла в большинстве кинотеатров России.

Первой инсценировкой произведений Толстого в России была поставленная Ханжонковым в том же 1909 г. «Власть тьмы». На 365 метрах были уложены семь частей драмы, из которых каждая имела свое название: 1) Мать Никиты склоняет Анисью отравить мужа. 2) Анисья отравляет мужа и отдает деньги Никите. 3) Через год. Никита, женившись на Анисье, сошелся с ее падчерицей Акулиной. 4) Анисья принуждает Никиту умертвить ребенка Акулипы. 5) Анисья силой выдает Акулину замуж. 6) Никиту мучают угрызения совести. 7) Раскаяние и арест Никиты.

Между 1909 и 1911 гг. какими-то безыменными фирмами выпущены «Холстомер» и «Первый винокур». Ленты эти демонстрировались в маленьких провинциальных театрах. В 1911 г. бр. Пате, уже в московском ателье, выпускается «Анна Каренина». 350 метров картины интерпретируют любовь Карениной к Вронскому, ее разрыв с мужем и самоубийство. Главные роли в ленте исполняли артистка театра Корша Сорохтина (Каренина), артист фарса Троянов (Вронский) и артист Малого театра Васильев (Каренин). В том же году неизвестными постановщиками выпущена картина «Крейцерова соната», длиной в 570 метров.

Тогда же, почти одновременно с первой постановкой Толстого в Художественном театре, Р. Д. Перский выпускает «Живой труп». Еще ранее эту инсценировку должны были сделать бр. Пате, которые в своем объявлении о подготовке к выпуску этой ленты писали: «К таким великим вещам, как «Живой труп», подходят осторожно, с благоговением: нельзя сделать из колоссального произведения наскоро вырезанную выкройку. Синематограф лишен «луча от божества» — звучного слова театральной постановки, и поэтому дело создания ленты требует еще большего изучения, большей напряженности, дабы немой образ воплотил идеи «великого писателя земли русской» [7].

Как только Перский узнал о намерении бр. Пате поставить и выпустить «Живой труп», он буквально в течение двух-трех дней состряпал картину и намеревался выпустить ее еще до постановки Художественного театра. Поднятый по этому поводу шум в газетах и посыпавшиеся на синематограф обвинения в покушении на творчество Толстого (к этому времени драма еще не была опубликована), в кощунстве над памятью великого писателя заставили Перского отложить постановку и выпустить ее

после того, как Художественный театр показал пьесу. Картина получилась очень плохая, хотя содержание ее в общих чертах соответствовало содержанию драмы.

В 1912 г. С. Минтус (Рига) инсценировал повесть Толстого «Хозяин и работник» и пьесу «От ней все качества». В 1913 г. Ханжонковым инсценирован «Фальшивый купон».

В 1914 г. Тиман и Рейнгардт («Русская золотая серия») выпускают «Анну Каренину». Режиссер — Гардин, в главной роли — артистка Художественного театра М. И. Германова. 2 800 метров. Картина была сделана в 15 дней. Та же фирма выпускает «Дьявола» (1 200 метров), с артисткой Янушевой в главной роли, под режиссерством Протазанова, и «Крейцерову сонату», под режиссерством Гардина. Последняя картина была первой «психологической» драмой на русском экране.

1915 г. был особенно богат инсценировками произведений Толстого. Одновременно появляются две инсценировки «Войны и мира». Одна из них, под названием «Наташа Ростова», выпущена Ханжонковым, под режиссерством Чардынина, другая, под названием «Война и мир», выпущена Тиманом в двух сериях.

Ханжонков выпускает картину «Катюша Маслова», по роману «Воскресение», с Н. М. Радиным в главной роли. Венгеров и Гардин выпускают картину «Много ли человеку земли нужно», заснятую в башкирской степи. А. О. Дранков выпускает «Казаков». В том же году фирма «Крео» анонсирует:

«Нигде не изданное произведение великого писателя земли русской «Конец «Крейцеровой сонаты». Сюжет записан со слов Льва Николаевича Толстого и представляет собой самостоятельный роман и конец этого популярного произведения».

Конечно, это была только реклама. Лев Николаевич к этому «роману» никакого отношения не имел. По циркулировавшим тогда слухам, автором этого сюжета была Софья Андреевна, но и это было неверно.

Говоря об инсценировках произведений Толстого в 1915 г., нельзя не упомянуть также о несостоявшейся постановке картины «Аггей». Лев Николаевич подарил артисту Орленеву копию своей неизданной пьесы «Аггей», по цензурным условиям переименованной в «Пан Аггей». Толстой имел в виду всестороннюю популяризацию этого сюжета путем театральных постановок в народном театре, идея которого тогда увлекала Орленева. После смерти Толстого Орленев передал этот сюжет Ханжонкову. Постановка была поручена известному тогда режиссеру Бауэру, но не состоялась, вследствие внезапной смерти последнего.

В том же году итальянские газеты сообщают о выпуске фирмой «Цезарь-фильм» ленты «Воскресение», с знаменитой в то время артисткой Франческой Бертини в главной роли. В 1916 г. вышли картины «Хозяин и работник» (под режиссерством С. Я. Веселовского) и «Плоды просвещения» (под режиссерством Маликова).

В 1918 г. Харитонов выпускает две картины — «Живой труп» и «Власть тьмы». В Скобелевском комитете закончена картина «Бог правду видит, да не скоро скажет», постановка Н. П. Ларина, в главных ролях — Н. А. Салтыков и В. И. Карин.

Ермольев выпустил картину «Отец Сергий», в постановке Я. А. Протазанова, с И. И. Мозжухиным в главной роли. Картина имела успех и долго не сходила с экрана.

Последней постановкой из произведений Толстого был «Поликушка», выпущенный фирмой «Русь», с И. М. Москвиным в главной роли, в 1919 г.

Таким образом, до начала советской кинематографии выпущено 27 картин, инсценированных по 18 произведениям Толстого.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Журнал «Сине-Фоно», 1909, № 1, стр. 6.
[2] Здесь и ниже цитирую по журналу «Сине-Фоно», 1910, № 8, стр. 6—7.
[3] «Утро России», № 134, от 29 апреля 1910 г.
[4] «Сине-Фоно», 1910, № 4, стр. 9.
[5] Там же, 1912, № 2, стр. 27.
[6] Там же, 1912, № 6, стр. 22.
[7] Там же, 1910, № 24, стр. 4.

ТОЛСТОЙ
И НИЖЕГОРОДСКАЯ ЧЕРНАЯ СОТНЯ

Сообщение А. Елисеева

В 1908 г. исполнялось 80 лет со дня рождения Л. Н. Толстого. Всей передовой частью русского общества юбилей был отмечен, как большой праздник русской литературы.

Толстовский юбилей задумали отметить и в Нижнем-Новгороде. Городская дума решила открыть школу имени Толстого. Однако, это мероприятие встретило дикий вой наиболее реакционных слоев городского населения — духовенства, мелких торговцев, людей, объединенных под «покровительством св. Георгия» в «истинно-русский», в «истинно-православный» Союз русского народа. Эти люди не могли допустить мысли о том, чтобы дума «осквернила» город открытием школы имени Л. Толстого — «развратника и богохульника» в их глазах.

В Горьковском областном музее М. Горького хранится интересный документ — «заявление-протест нижегородского георгиевского отдела С. Р. Н.», адресованное городскому голове. В этом, публикуемом ниже, заявлении в витиеватом, приподнято-патриотическом тоне совет Союза — священник Орловский, владелец кирпичного завода К. В. Тюрин, братья Сорокины (торговцы-трактирщики) — излагает возмущение «истинно-русских людей» деяниями городской думы.

Этот небольшой документ, полный злобы и ненависти к великому русскому писателю, прекрасно характеризует отношение к нему сторонников самодержавия.

Господин городской голова[1].

Всех верующих в бога, чтущих своего царя и любящих свою родину — Россию нижегородцев до глубины души возмущает постановление городской думы, от 19-го минувшего сентября[2],— ознаменовать восьмидесятилетнюю годовщину рождения Льва Толстого открытием школы его имени. Никто из русских не нанес за последние годы столько зла России, как прославляемый вами граф Лев Толстой, и если положить на чашу весов то относительное добро, которое он принес своими первыми литературными произведениями, с тем нравственно невыносимым злом, которым пропитана каждая строка его позднейших, поистине мерзких и богохульных сочинений, то первое до ничтожества будет легковесно сравнительно с последним. С достойной лучшего назначения энергией за последние годы он поставил своею исключительною задачей изрыгать хулу, осмеивать и оплевывать все то, что дорого русскому сердцу, что в течение нескольких столетий созидали потом и кровью лучшие русские люди, над чем думал крепкую думу тысячелетний русский ум, русский государственный гений,— над его православием, преданностью русским царям-самодержцам и его горячею преданностью и любовью к родине. Все эти святые, дорогие для каждого честного русского гражданина, устои были осмеяны современным выродком — дворянином Толстым, осмеяны с сатанинскою злобою, страшным кощунством и невыразимым цинизмом. Яд толстовской лжи, зло-

воние его клеветы проникли в толщу народную и нанесли нашей матери-родине тот позор, смыть который мы едва ли сможем... И этому прелюбодею мысли, этому развратителю сердец многих тысяч русских людей вы, с гласными, решили создать памятник, решили открыть для детей его имени школу и украсить ее его портретом. Неужели вы и ваши сотрудники по управлению делами города не вспомнили при этом слова христовы, которыми он повелевает нам с особенною бдительностию беречь души «малых сих», — эти страшные слова: «Если кто соблазнит единого от малых сих, то лучше было бы ему повесить на шею мельничный жернов и броситься в морскую пучину». А возвеличивая в глазах детей богохульника Толстого, украшая их школу его портретом, наравне с портретами наших государя и государыни, вы приучаете к почитанию его и располагаете их к скорейшему усвоению его хульных учений, вы «соблазняете» их на самые тяжкие преступления против веры, царя и родины...

Кроме сего: вы, с гласными, постановили создать в честь богохульника Толстого школу; нужные для сего деньги вы добудете не путем добровольной подписки, но возьмете из общественного сундука, который пополняете не столько вы и подобные вам почитатели богохульника Толстого, сколько те граждане Нижнего, которые считают грехом для себя читать его произведения и считать его своим соотечественником. Неужели вы и ваши сослуживцы, гласные, делая свое постановление о чествовании Толстого, не приняли во внимание, что оное будет самым деспотическим насилием над массой городских плательщиков, которые, благодарение богу, еще не развращены ядом учения Толстого, которые хотят остаться верными долгу присяги, верными своей вере, своему царю, своей родине.

Господин городской голова. За последние три года городская дума уже не раз наносила тяжелые испытания русскому и по плоти и по духу населению Нижнего. Вспомните, напр[имер], выход думы к красным флагам врагов нашего царя 18 октября 1905 года[3] — ее медлительность в выражении верноподданнических чувств великому нашему самодержцу за дарованную им 17 октября свободу...

Но последнее ваше, с гласными, постановление о чествовании врага церкви Толстого превышает все прежде бывшее...

Почти одновременно с разрешением вопроса о чествовании Толстого, вы, господин городской голова, возбуждали вопрос о чествовании нашего доблестного предка Козьмы Минина. К чему это лицемерие? Неужели вы, господин городской голова, не догадываетесь о том, что лицемерие возмущает всех чтущих память сего незабвенного гражданина. Неужели вы не знаете той простой и ясной, как день, истины, что кто чтит этого старого безбожника и космополита, тот не должен и не может касаться священной памяти Козьмы Минина, всю жизнь и силу свою посвятившего на служение православию, самодержавию и России, всю жизнь свою боровшегося с врагами родины и «ворами» нашей отчизны.

По поручению общего собрания Георгиевского отдела Союза русского народа — совет Союза.

Председатель: священник Ник. Орловский

Члены: Константин Васильевич Тюрин,

Максим Сорокин, Иван Сорокин

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Городским головой Нижнего-Новгорода в 1908 г. был А. М. Меморский.

[2] В печатных протоколах городской думы за 1908 г. указано, что вопрос об открытии школы имени Л. Н. Толстого обсуждался 19 сентября 1908 г. на XVI очередном заседании думы. В протоколе от 19 сентября 1908 г. под ст. 199 читаем:

«Заявление гласного А. Б. Баулина об ознаменовании юбилеев И. С. Тургенева и Л. Н. Толстого присвоением их имени двум городским начальным училищам.

От гласного городской думы А. В. Баулина поступило в городскую управу заявление на имя городской думы следующего содержания:

«Считая необходимым отметить бывшие юбилейные торжества наших великих писателей Ивана Сергеевича Тургенева и Льва Николаевича Толстого. я полагал бы наименовать два из городских начальных училища именами этих великих людей нашей родины. В этих училищах было бы желательно поместить и портреты их».

Докладывая вышеизложенное городской думе, городская управа имеет честь сообщить, что она, со своей стороны, вполне присоединяется к заявлению г. Баулина и предлагает городской думе присвоить наименования И. С. Тургенева и Л. Н. Толстого двум из новых начальных училищ, которые будут выстроены городом в первую очередь».

Определено: «Принять доклад управы».

[3] Здесь «истинно-русские» люди намекают А. Меморскому о его «преступлении», имевшем место в «дни свободы» 1905 г. 18 октября 1905 г., в связи с манифестом 17 октября 1905 г., в Н.-Новгороде, на Благовещенской площади, состоялся митинг, на котором присутствовали и социал-демократы. На митинге развевались красные флаги. Меморский выступил с речью, в которой рассказал о постановлениях думы, отмечающих «дарованную 17 октября свободу». В речи говорилось о решении открыть Народный дом, Народный университет, об освобождении политических заключенных. Это выступление городского головы и было признано черной сотней «тяжелым испытанием, нанесенным думой русскому и по плоти и по духу населению Нижнего».

Через четыре дня после митинга (22 октября 1905 г.) нижегородская черная сотня устроила «манифестацию». С белыми флагами толпа черносотенцев прошла по улицам города. Она остановилась около дома Меморского на Б.-Печорке и выразила свое негодование криками: «Долой Меморского!», «Зачем стоял под красными флагами 18-го?!» и т. п.

ТОЛСТОЙ И О ТОЛСТОМ

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ЗА 1935—1939 г.г.

ИЗДАНИЯ ТЕКСТОВ ТОЛСТОГО

Обзор П. Попова

Среди изданий Толстого главное место занимает академическое полное собрание сочинений Л. Н. Толстого, впервые публикующее тексты по рукописям. Согласно постановлению Совнаркома от 4 августа 1934 г., тираж академического издания повышен до десяти тысяч экземпляров. В 1939 г. академическое издание подверглось реорганизации. Постановлением Совнаркома от 27 августа 1939 г. был утвержден новый состав государственной редакционной комиссии; в нее вошли: А. А. Фадеев, А. Н. Толстой, И. К. Луппол, С. А. Лозовский и П. И. Чагин. В число членов редакторского комитета введены М. М. Корнев и Н. Л. Мещеряков. Признано необходимым предпосылать каждому тому особые предисловия с изложением ленинской точки зрения на творчество Толстого. Об'ем комментариев постановлением строго ограничен: он должен составлять не больше 25% общего количества листов с текстами Толстого.

Нижеследующий разбор вышедших за последние годы томов академического издания имеет в виду прежде всего текстологическую сторону произведенной редакцией издания работы, а также фактическую доброкачественность комментария и редакционного аппарата. Вопроса о том, с какими идеологическими установками следует раскрывать для советского читателя творчество Толстого как в его художественных произведениях, имеющих неиссякаемое мировое значение, так и в его религиозно-философских писаниях, дефектных и отброшенных историей,— настоящий разбор не затрогивает. Состав и способ разработки академического издания Толстого еще в 1935 г. подверглись анализу на страницах «Литературного Наследства»: в № 19—21 журнала помещен обзор пятнадцати томов, составленный отдельными редакторами издания Толстого.

С 1935 по 1939 гг. Гослитиздат выпустил ряд новых томов: VIII, XVII, XIX, XX, XXV, XXVI, XXXIII, XXXVI, XXXVIII, XLVII, LIV, LV, LVI, LVIII, LIX, LXXXIII, LXXXV, LXXXVI и LXXXVII.

XIX том завершает публикацию основного текста «Анны Карениной»; он содержит пятую, шестую, седьмую и восьмую части романа. Редактор тома Н. К. Гудзий, при установлении канонического текста «Анны Карениной», возложил на себя ответственную и сложную задачу. Он не считает вопроса о дефинитивном тексте романа решенным ссылкой на то, что Толстой принимал личное участие в подготовке текста романа для отдельного издания 1878 г., и тем, что, привлекши к работе пересмотра текста Н. Н. Страхова, Толстой дал ему право сглаживать и исправлять текст также в корректуре, формально авторизируя этим правку Страхова. Н. К. Гудзий правильно отвергает печатный текст 1878 г. в качестве исходного, поскольку, за малыми исключениями, Толстой не держал корректуры этого издания; решать же вопрос формально, т. е. основываться на том, что правка Страхова была Толстым допущена, значит не считаться с Толстым, как с писателем: Толстой не провел сквозь свое творческое сознание исправлений Страхова,— в то время интерес Толстого к роману уже остыл. В связи с таким пониманием своей задачи, редактор должен был положить в основу

выправленный Толстым наборный текст отдельного издания «Анны Карениной», заботливо сохраненный Страховым и ныне находящийся в библиотеке им. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде. Тем самым редактор значительно углубил свою работу.

В дополнение к основному тексту, Н. К. Гудзий дает разночтения между первоначальной журнальной публикацией романа и наборным экземпляром. Для академического издания романа были основания не поскупиться и дать также другой ряд вариантов, а именно: отличия наборного текста от окончательного в издании 1878 г. Это выявило бы правку Страхова и удовлетворило бы тех текстологов, которые захотели бы формально отстаивать издание 1878 г., как первоисточник канонического текста.

Текстологический комментарий к XIX тому (второму тому романа) отчетливо аргументирует позицию редактора. В первом томе она несколько затуманена неудачной формулировкой на стр. 459: «К окончательному тексту первых четырех частей «Анны Карениной», в основу которого лег исправленный Толстым и Страховым текст романа, напечатанный в «Русском Вестнике» 1875—1876 гг...». Следовало просто сказать: в основу которого лег наборный оригинал издания 1878 г.

Есть еще одна сторона редакторской работы, к которой надо подходить очень осторожно. К томам романа присоединяется обзор содержания по главам. Этот подсобный указатель имеет существенное значение, облегчая поиски отдельных мест по роману. Очень важно, чтобы конспект отдельных глав был точным, исчерпывающим и, вместе с тем, в своих формулировках соответствовал бы стилю Толстого. Обзор составлен в общем удачно, только отдельные заглавия не удовлетворяют несоответствием словоупотреблениюТолстого: «Баллотировка вопроса о допущении к выборам дворянина Флерова, находившегося под судом» (тяжелая формулировка в стиле служебных документов); «Невыносимо тяжелое состояние Левина...», «Лихорадочные мысли Анны по дороге к вокзалу» (излишне эмоциональные характеристики).

В указателе имен отсутствуют: Сеченов (заглавие главного труда его «Рефлексы головного мозга» упоминается в первой главе Облонским); Комиссаров, «герой» 1866 г., спасший Александра II (в него влюбилась Лидия Ивановна); Капуя (в связи с толкованием слов: «что-то стыдное, изнеженное, капуйское»); Евгубиум, умбрийский город, где в 1444 г. были найдены надписи, о которых читает Каренин в XIV главе третьей части; Раймонд-Якоб Вурст, немецкий ученый, упоминаемый в философском споре (о нем же идет речь в статье Толстого о народном образовании 1874 г.).

XXI глава пятой части открывается грамматически дефектной фразой: «С той минуты, как Алексей Александрович понял... что от него требовалось только т о г о, чтоб он оставил свою жену в покое...». В журнальном тексте т о г о отсутствует, и вся фраза построена правильно. Есть основание в данной фразе принять журнальный текст.

Однако, эти замечания не могут поколебать значимости выполненной задачи: мы имеем теперь критически проверенный текст романа, несравненно более близкий к оригиналу Толстого, чем текст любого из предшествующих изданий.

XXXIII том заключает текст двух незаконченных редакций «Воскресения», первую законченную редакцию и 155 вариантов шести отдельных редакций романа. В силу разных условий (главным образом, вследствие того, что рукописные фонды Толстого 60-х и 70-х годов сохранились хуже рукописного наследия последних десятилетий жизни Толстого) ни «Война и мир», ни «Анна Каренина» не дают такого обилия рукописей и корректур, как «Воскресение», несмотря на меньший объем самого романа. Известно, что Бартенев просил Толстого не «колупать» так, как Толстой это делал в корректурах «Войны и мира», и, в конце концов, отказался вовсе от держания корректур по этому роману. Корректуры «Воскресения» перерабатывались Толстым еще больше, поэтому изучение рукописей и корректур «Воскресения» и извлечение вариантов из него представляют совершенно исключительные трудности. Описать рукописи «Воскресения» трудно по одному тому, что каждая рукопись не механически следовала за другой, а предшествующая рукопись обычно отдельными частями переливалась в следующую. Рукопись обычно расслаивалась по частям самим автором, ибо из отдельных составных частей одной редакции составлялась следующая редакция, и т. д.

До появления XXXIII тома Н. К. Гудзий опубликовал ряд вариантов «Воскресения» в издании: Лев Толстой, Неизданные тексты, «Academia», 1933, а также в III—IV сборнике «Звенья»; однако, и XXXIII том доставляет много нового материала. Как размещает тексты вариантов редактор «Воскресения»?

Располагая хронологически материал по редакциям, Н. К. Гудзий в пределах каждой редакции печатает отрывки применительно к порядку повествования в окончательной редакции романа. Против такого принципа возразить нечего. Другой вопрос, как прокомментировать такое обилие вариантов при шести редакциях. Комментарий в томе составляет две обширные статьи: «История писания и печатания» и «Описание рукописей и корректур». Дает себя чувствовать отсутствие обзора вариантов в их последовательном порядке. Среди отдельных вариантов не легко ориентироваться, трудно установить хотя бы приблизительную датировку; ее приходится искать в различных частях комментария. Следует признать, что в описании рукописей их порядок, повидимому, вполне ясен для самого редактора, но читателю многое будет непонятным.

Зададимся, например, вопросом: когда написан вариант № 3? Он входит в рукопись № 8, которая описана так: «Начало: «Несмотря на то, что уже была весна». Конец: «от этой формы современного рабства. 1 июля. 1895». Как будто окончание составления рукописи № 8 падает на это число. Но на стр. 94 находим конец предшествующей редакции, завершающейся словами: «усердно работает в деле уяснения и распространения идеи единой подати. Л. Т. 1 июль. 1895». Очевидно, что в один и тот же день Толстой не мог кончить две различные редакции. Следовательно, одна из фраз надписана над зачеркнутым, а дата осталась старая (попутное затруднение, почему в одном случае «июля», в другом — «июль»; вероятно, просто опечатка или недосмотр переписчика, которому Толстой дал перебелить свой набросок). Чтобы уяснить состав текста, напечатанного на стр. 23—94, обращаемся к комментарию, но при описании рукописи № 5 конечные слова манускрипта почему-то не приведены вовсе. Далее, в описании рукописи № 8, читаем: «Первоначально он [материал] входил в состав рукописи № 11, а затем, будучи переписан и исправлен, изъят из нее». В описании же рукописи № 11 читаем: «Начало: «Была весна». Конец: «от этой формы современного рабства. 1 июля. 1895». Тут ряд недоумений: что же, один и тот же лист (или листы) описывается дважды? Или это разные листы? А что значит слово «изъят»? Если первоначально материал рукописи № 8 входил в состав рукописи № 11, как будто выходит, что рукопись № 11 предваряет рукопись № 8, во всяком случае в какой-то своей части, почему же она стоит после? Может явиться сомнение, соблюден ли хронологический принцип. Правда, с другой стороны, в описании рукописи № 11 сказано: «Остальные листы... являются копиями листов, собранных в рукописном материале № 8 и первоначально относившихся к данной рукописи». Но, спрашивается, к какой «данной»? Если к рукописи № 8, то непонятно это «первоначально»,— ведь листы и первоначально и впоследствии принадлежат той рукописи, в состав которой они входят, раз они послужили лишь для снятия копии в другую рукопись. Если же под «данной» разумеется рукопись № 11, то хронологическая последовательность оказывается опрокинутой.

Словом, без рукописей или дополнительных разъяснений и догадок понять состав манускриптов по описанию затруднительно. Не проще ли последовательно разъяснить, как и откуда извлекаются самые варианты и какова их хронология?

Уже после выхода тома выяснилось, что во Всесоюзной библиотеке им. В. И. Ленина сохранилось 475 корректур с правкой Толстого. Редактор, таким образом, не имел возможности учесть этот материал при составлении XXXIII тома. Но некоторых других пропусков можно было избежать; так, например, редактор не включил страницы из «Воскресения» (от декабря 1895 г.), опубликованной М. Гершензоном в «Новых Пропилеях», т. I, 1923.

Основную часть XVII тома составляют два незавершенных исторических романа Толстого: «Декабристы» и роман из времен Петра I. Хотя за последние годы в разных изданиях появлялись отдельные отрывки и «начала» обоих исторических романов, публикация их в настоящем томе дает много нового, включая все предвари-

тельные записи, конспекты и планы. С большим знанием дела М. А. Цявловским написан комментарий к «Декабристам», представляющий самостоятельную исследовательскую работу. Материалы XVII тома показывают, что неосуществившиеся замыслы Толстого захватывали его гораздо глубже, чем это представлялось по ранее известным публикациям. Из дефектов тома отметим две грубые опечатки: на стр. 465 декабрист М. Спиридов превратился в Спиридонова; на стр. 204 напечатано: «видно сало» вместо «видно стало»; также на стр. 423: 1797 г. вместо 1697 г. Есть несогласованность в комментариях: в примечаниях П. Попова к роману из времен Петра I отсутствуют данные об исторических лицах,— сведения о них отнесены в именной указатель. В комментарии М. А. Цявловского биографии даны в самых примечаниях; при этом возникает сомнение, следовало ли давать подробные биографии декабристов (Беляева, Свистунова и др.), хорошо известные по «Алфавиту декабристов».

В состав XXVI тома входят художественные произведения, над которыми Толстой работал в период с 1884 по 1889 гг. Наибольший интерес представляют «Холстомер», «Смерть Ивана Ильича» и «Власть тьмы», печатающиеся с рядом неизвестных вариантов. Надо, впрочем, отметить, что редакторы не сделали надлежащей оговорки о том, что несколько вариантов было опубликовано ранее. Так, целиком опубликован первый набросок «Смерть Ивана Ильича» в издании: Лев Толстой, Неизданные тексты, «Academia», 1933; между тем, даже в предисловии XXVI тома черновая редакция «Смерти Ивана Ильича» выделена, как новинка, а при самом отрывке стоит звездочка, обозначающая, что отрывок печатается впервые. В другом же случае, по поводу наброска «Жил в селе человек праведный», дважды оговаривается, что он опубликован в «Неизданных текстах». Также не оговорено, что несколько вариантов «Холстомера» опубликовано (тем же редактором, Б. М. Эйхенбаумом) в газете «Литературный Ленинград» (20 ноября 1935 г.).

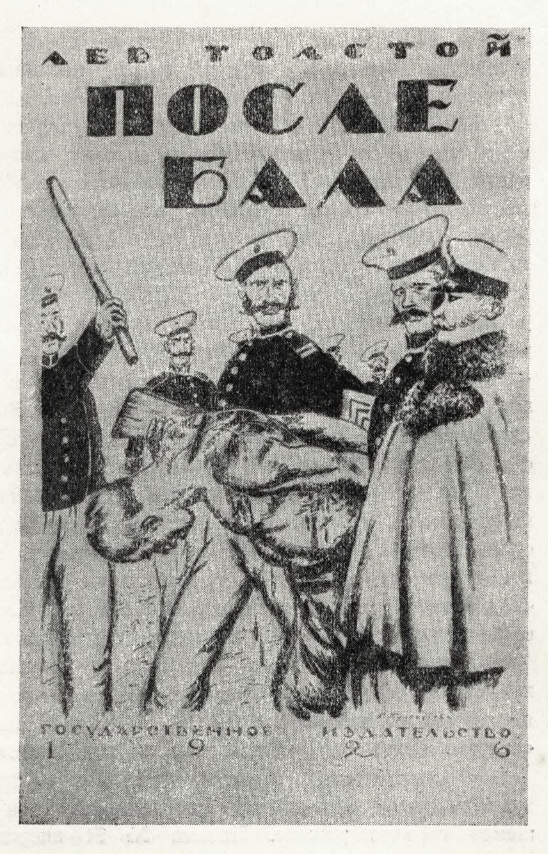
Комментарий не всюду единообразен. Рукописи «О жизни» описаны по особой системе (по редакциям), специальные разделы регистрируют «правку»; наконец, как пишет комментатор (А. Никифоров), «каждая рукопись рассыпана на некоторое количество кусков». В общем, описание рукописей «О жизни» занимает пять печатных листов (по количеству печатных знаков). Так «рассыпать» рукописи не стоило. Ведь если по тому же методу описывать рукописи «Анны Карениной» или «Воскресения», то пришлось бы под одно описание отвести целый том. Между тем; рукописи «Анны Карениной» имеют гораздо большее значение, чем рукописи «О жизни». Не оправдан список переводов «О жизни» на иностранные языки (стр. 783—784); такой материал комментаторами Толстого в других случаях не дается.

Соблюдение стандарта при редактировании очень важно: круг вопросов, освещаемых комментарием, должен быть строго ограничен и единообразен. Л. П. Гроссман останавливается на прототипе Ивана Ильича (Ил. Ил. Мечникове), в комментарии же к «Детству» и «Отрочеству» I тома академического издания прототипы не выявлены, хотя М. А. Цявловский располагает обширным материалом по этому вопросу. Выявление Л. П. Гроссманом прототипа Ивана Ильича не полно. Несомненно, что в описании жизненного уклада и бытовой обстановки Ивана Ильича имеются черты А. М. Кузминского: описание устройства новой квартиры Ивана Ильича взято из переписки Кузминского, переехавшего в Харьков в 1879 г., в это время Т. А. Кузминская жила в Ясной Поляне и читала письма мужа к ней Льву Николаевичу (переписка хранится в Государственном Толстовском музее).

В отношении текстов отметим один пропуск на стр. 516: «и эти стульчики разбросанные и эти прелестные отцовские бронзы», у Толстого — «отцовские майолики, бронзы» («Неизданные тексты», стр. 24). Публикатор отрывка «Жил в селе человек» не разобрал двух слов и воспроизвел текст так: «все поужинали, да [2 неразбор.] ломоть хлеба» (стр. 461); а для сборника «Неизданные тексты» Н. Н. Гусев в 1933 г. разобрал: «все поужинали, даст Петр ломоть хлеба» (стр. 8). Академическое издание должно отличаться большей тщательностью.

LIX том заключает письма Толстого за двенадцать лет — с 1844 по 1855 гг. включительно. Из 111 писем впервые печатаются 55. Больше половины писем писано по-французски. Привлеченные к комментированию архивные данные богато иллюстри-

«ПОСЛЕ БАЛА». ОБЛОЖКА РАБОТЫ
Б. М. КУСТОДИЕВА (1926 г.)



руют содержание писем и дают ценный материал для суждения об условиях, при которых осуществлялись первые творческие опыты Толстого. В том не вошло несколько ранних писем, обнаруженных среди рукописей Толстого во Всесоюзной библиотеке им. В. И. Ленина в 1935 г. Часть их публикуется в настоящем томе, см. стр. 137.

Следует отметить в тексте тома ряд погрешностей. По поводу строк письма Толстого от 6 января 1855 г.: «Николенька мне пишет, что Тургенев познакомился с Машенькой; я в восторге от этого» — М. А. Цявловский комментирует: «Письмо Н. Н. Толстого не сохранилось» (стр. 295). Это не так. Интереснейшее письмо Н. Н. Толстого уцелело (хранится во Всесоюзной библиотеке им. В. И. Ленина); оно в новом свете рисует знакомство Тургенева с М. Н. Толстой; соответствующие строки таковы (перевожу с французского):

«Валерьян [муж М. Н. Толстой] познакомился с Тургеневым; первый шаг был сделан Тургеневым,— он им привез номер «Современника», где помещена повесть [«Отрочество»], от которой он был в восторге. Маша в восхищении от Тургенева; ты понимаешь, как мне хочется его увидеть; как только я с ним познакомлюсь, я сообщу тебе, какое впечатление он на меня произвел. Маша говорит, что это простой человек, он играет с ней в бирюльки, раскладывает с ней гранпасьянс, большой друг с Варенькой [четырехлетняя дочь М. Н. Толстой], но Маша плохо знает свет, и она может очень ошибаться насчет такого умного человека, как Тургенев. Теперь люди стали очень хитры, нужно их осмотреть дважды; очень хотел бы его видеть».

То же письмо дает сведения о сломе яснополянского дома, не учтенные комментатором в примечаниях к письму № 89; также не учтено недатированное письмо В. П. Толстого, в котором идет речь о продаже яснополянского дома Горохову.

Письмо № 88, с редакторской датой 5 июля 1854 г. и указанием, что на это письмо Т. А. Ергольская отвечала в приписке от 26 июля, сопровождается следующей невразумительной аннотацией: «Год определяется почтовым штемпелем: «Тула. 1855. Февраля 8» и «Получено 1855» и пометой на конверте рукой Ергольской: «По-

лучила 18 февраля 1855 г.». Конверт, очевидно, к данному письму никакого отношения не имеет. В текстах писем, писанных по-французски, допущен разнобой в транскрипции. Если исходить из правила, помещенного в редакционных пояснениях, что описки (пропуски и перестановки букв, замены одной буквы другой) не воспроизводятся и не оговариваются в сносках, кроме тех случаев, когда редактор сомневается, является ли данное написание опиской, то это правило находится в полном противоречии со следующей нелепой транскрипцией: fer[s]ait (стр. 25); le nom [n'y]ni fait (стр. 26); à tout ces messieurs (стр. 36); Per[rfi]ffilieffs (стр. 69); m'inquié[ét]tter (стр. 81); jouerai[ais] (стр. 81), аналогичный случай на стр. 80 воспроизведен иначе: voudrai[s]; était[è] (стр. 89) и т. п. Зачем здесь вводятся в квадратных скобках поправки взамен тут же оставляемого неисправленного текста? Если, далее, согласно другому правилу, «неполно написанные буквы (например, крючок вниз вместо конечного «ъ» или конечных букв «ся» или «тся» в глагольных формах) воспроизводятся полностью без каких-либо обозначений и оговорок», то нет основания писать: le[s] gens, la nouvelle est vrai[e], des chévau[x], а просто: les géns, des chevaux. Правда, для французских текстов введено особое правило: «Текст писем на французском языке печатается с сохранением ошибок Толстого в орфографии», но ведь есть ошибки и описки, есть недописанные буквы и слова; наконец, если и сохранять все неправильности, то оговаривать и исправлять их надлежит в сносках, в соответствии с техникой транскрипции русского текста. Невразумительная французская транскрипция отчасти перекинулась и на русский текст. Так, на стр. 230 читаем непонятную фразу: «его, значит[е], мы почти наверное можем ожидать».

Неудачны подчас и переводы, например: «vous ne sauriez croire» — «вы не представляете», вместо «вы не поверите»; «toute la journée les femmes Tartares ne cessent de venir au-dessus et au-dessous de ces moulins pour laver leur linge» — «стирать белье над мельницами и под ними», вместо «выше и ниже мельниц».

«Экономических примечаний 1833 г.» (стр. 38) не может быть, потому что экономические примечания составлялись при генеральном межевании, закончившемся гораздо раньше. Письмо № 71 впервые напечатано не М. А. Цявловским в «Печати и Революции», а С. А. Толстой (частично) в первом томе Полного собрания сочинений, изд. 1911 г.

Звездочки, долженствующие обозначать впервые печатаемые тексты, проставлены небрежно; например, деловые бумаги в конце книги публикуются впервые, но при них никаких звездочек не имеется.

В указателе имен под словом «Балта» мирно уживаются город Балта и чеченец Балта Исаев.

Том LIV содержит дневник Толстого за 1900—1903 гг. Редактором тома К. С. Шохор-Троцким была дана подробная информация на страницах «Литературного Наследства» (№ 19—21, стр. 690—697), поэтому на содержании тома останавливаться не будем. Укажем лишь, что самый текст толстовского дневника здесь чрезмерно раздут. Дело в том, что многие записи Толстого повторяются дважды: сначала он записывал в записной книжке, затем переносил в дневник. Самостоятельное воспроизведение целиком совпадающих записей нецелесообразно. Оно дает обратный результат: состав записей при таком дублировании представляется однообразным и скудным.

Отметим также излишнюю скрупулезность комментария. Часто комментируется то, чего в дневнике нет вовсе. Подчас комментарий дается предположительно. Так, к записи «Грустно вечером» дается комментарий, превышающий половину печатного листа. По поводу этих слов, неизвестно к чему относящихся, редактор строит различные догадки, приводит многочисленные факты и документы, не имеющие непосредственного отношения к тексту публикуемой дневниковой записи. Комментарий должен фактически пояснять тексты — и только. Для того, чтобы высказать хотя бы и правдоподобную догадку о смысле неясной записи, вполне достаточно десяти — пятнадцати строк.

Несомненной перегрузкой комментария отличаются и примечания к LXXXV тому, заключающему письма Толстого к Черткову за 1883—1886 гг. (редактор Л. Я. Гуревич; подробнее об этом томе см. «Литературное Наследство», № 19—21,

стр. 707 и сл.). Соотношение таково: в томе всего 125 писем Толстого к В. Г. Черткову, в другом же, ранее вышедшем, томе писем Толстого за 80-е годы (т. LXIII)—609 писем. Вызывает возражения самый план публикации писем: почему выделены особо письма Толстого к Черткову? С таким же правом можно было выделить письма Толстого к Страхову, к гр. А. А. Толстой и др. Об этом уже говорилось в прессе.

Каковы бы ни были отдельные недостатки издания, в целом оно заслуживает серьезного внимания. До сих пор ни один из русских классиков не подвергался такому тщательному изучению, не имел такого монументального собрания сочинений. Комментарии к отдельным томам издания Толстого иногда страдают излишествами, но они всегда основаны на тщательном изучении всех относящихся к данным дневникам или письмам материалов, как печатных, так и рукописных. Мало того, многое впервые устанавливается редакторами отдельных томов — путем опросов, анкет, извлечений писем из частных собраний и т. п. В этом отношении редакторы двух последних отмеченных томов также заслуживают всяческого одобрения. Главное же в том, что академическое издание, опираясь на ранее не изученный фонд рукописей Толстого, дает выверенный по автографам текст его произведений, при чем впервые печатает значительное количество вариантов и черновиков, представляющих большую литературную ценность, а также дает серию неизданных дневников, никогда не входивших в собрание сочинений Толстого и известных в прежнее время в очень незначительной своей части.

В связи с 25-летием со дня смерти Толстого, в ряде периодических изданий были опубликованы отдельные отрывки и варианты из неизданных толстовских текстов. Материал черпался из подготовленных к печати томов академического издания Толстого. В № 11 «Красной Нови» за 1935 г. мы находим: «Молодец баба» (первый вариант начала «Анны Карениной»), в сопровождении статьи Н. К. Гудзия «Как начал Толстой «Анну Каренину» (Литературная встреча Толстого с Пушкиным)»; «Князь Федор Щетинин» (пять вариантов в сопровождении статьи П. С. Попова «Неизданный роман Толстого из жизни В. Перовского») и «Труждающиеся и обремененные» (четыре варианта со статьей П. С. Попова «Толстой в работе над историческим романом»); до этой публикации один отрывок из этого незавершенного романа был напечатан П. Поповым в «Известиях ЦИК СССР», от 29 июля 1935 г.

В «Литературном Современнике» (1935, № 11) В. С. Спиридонов напечатал тридцать один рассказ из не использованного Толстым материала, предназначавшегося для «Азбуки» и «Новой азбуки». Он же опубликовал тринадцать рассказов из того же источника в журнале «Резец» (1935, № 22). В этом же номере «Резца» находим три варианта рассказа «Корней Васильев», под редакцией В. М. Эйхенбаума. Эйхенбаум напечатал также конспект и варианты «Холстомера» в газете «Литературный Ленинград» (20 ноября 1935 г.).

В альманахе восьмом «Год XVIII» напечатаны двадцать два варианта романа из времен Петра I, в сопровождении статьи П. С. Попова «Толстой в работе над романом времен Петра I», и четыре варианта из романа «Декабристы».

В «Литературной Газете», от 20 ноября 1935 г., находим неопубликованные варианты из «Войны и мира» (ко II и III главам третьей части II тома и XVI главе второй части I тома); первой отрывок появился также во французском переводе в номере от 22 ноября 1935 г. «Journal de Moscou». В номере от 16 июня «Красной Газеты» за 1935 г. появился вариант о Наташе Ростовой. В № 48 (684) «Литературной Газеты» за 1937 г. находим «Бородинское сражение. Неопубликованный отрывок из черновых рукописей «Войны и мира». Отрывок «Николай Ростов и гречанка» был опубликован во французском переводе в газете «Paris-Soir», № 4531, от 21 ноября 1935 г.

Из эпистолярного материала находим две публикации в «Литературной Газете», 1935, № 64: письмо Толстого к Н. С. Лескову от 14 мая 1894 г. и письмо к В. К. Истомину от 12 января 1873 г. Отрывки из дневников и писем Толстого под заглавием «Л. Н. Толстой о литературе и искусстве» опубликованы в № 11 «Литературного Критика» за 1935 г. «Неизданное письмо группы литераторов» (в том числе и Толстого) Григоровичу от 15 мая 1856 г. напечатано в журнале «30 дней», 1935, № 11.

Публикацию отрывков из дневников Толстого за 1904—1906 гг. находим в № 9 журнала «Октябрь» за 1937 г.

Неизданные толстовские тексты и различные материалы по Толстому использованы также в следующих публикациях:

Брейтбург С., Лев Толстой за чтением «Капитала» Маркса (по неизданным материалам),— «Звенья», 1935, № 5.

Гудзий Н., «Хозяин и работник» в первоначальной и окончательной редакциях,— «Труды Орехово-Зуевского педагогического института», 1936, вып. I, стр. 41—53.

Гудзий Н., «Власть тьмы». История создания, печатания и постановки пьесы на сцене,— «Литературный Критик», 1935, № 11.

Гусев Н., Толстой о Пушкине (по неопубликованным материалам),— «Октябрь», 1937, № 1.

Зильберштейн И., Толстой и Масарик,— «Slavische Rundschau», 1935, № 3 (очерк взаимоотношений Толстого и Масарика на основании неопубликованных архивных материалов; на немецком языке).

Михайлов М., Похороны графа Л. Н. Толстого царским правительством за 9 лет до его смерти (по документам, хранящимся в Крымском центрархиве),— «Литература и Искусство Крыма», 1935, № 1.

«Московское студенчество и смерть Л. Н. Толстого» (архивные документы 1910 г.), с предисловием И. Луппола,— «Красный Архив», № 6 (73).

Из заграничных переводов текстов Толстого, вышедших за последние годы, можно отметить:

Leone Tolstoi, Anna Karenina. Nuova traduzione italiana di Ugo Ricci (Mascarillo). Milano. Casa edifrice Bietti [2 тома], 1936.

Comte Léon Tolstoï, Résurrection. Roman. Traduit par T. de Wyzewa. Nouvelle édition, complète en un volume. Paris. Librairie académique, Perrin, 1936.

Tolstoï, Anna Karénine. Traduit par Henri Mongault. 2 édition. Gallimard [2 тома], 1935.

Впрочем, эти издания не включают новых текстов Толстого. Новые материалы, привлеченные редакторами для академического полного собрания сочинений, отразились в следующих французских изданиях: Léon Tolstoï, Etapes d'une vie. Enfance. Edition définitive, complétée de chapitres inédits. Traduite, préfacée et annotée par E. Halpérine-Kaminsky. Paris. Libr. Plon. 1935. Гальперин-Каминский дал большую вводную статью и присоединил «Первые воспоминания», фрагменты из «Воспоминаний» и перевод семи вариантов «Детства», опубликованных в I томе русского академического издания.

Другая новая публикация носит неприятный, рекламный характер. Я имею в виду: Comte Léon Tolstoï, Un cas de conscience. Roman. Traduit du russe par Z. Lvovsky. 1935. Stock. Paris. На особой красной обертке значится: «Прекрасный роман Толстого. Неизданный». Это первая редакция «Воскресения», впервые опубликованная в московском издании: Лев Толстой, Неизданные тексты, «Academia», 1933. Хотя в предисловии к французскому изданию и оговорено, что представляет собою публикуемый текст, все же неумеренная реклама может ввести читателя в заблуждение. Заглавие «Un cas de conscience», придуманное самими издателями, дает возможность предполагать, что это действительно «новый» роман Толстого. Кроме того, в книге указано, что текст публикуемого романа недавно найден в подвалах одного из флигелей Ясной Поляны. Это также рекламная выдумка.

РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ О ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ ТОЛСТОГО

Весьма ценным пособием для толстоведа является выпущенная в 1936 г. издательством «Academia» «Летопись жизни и творчества Л. Н. Толстого», составленная Н. Н. Гусевым. Н. Н. Гусев — исключительный знаток жизни великого писателя — поставил перед собой очень сложную задачу: составить свод основных дат, характеризующих «труды и дни» Толстого. Жизнь Толстого насыщена таким разнообра-

зием фактов, архив его столь грандиозен, литературная деятельность сопровождалась таким количеством критических отзывов, самая эпоха, связанная с жизнью Толстого, захватывает такой значительный период, что с самого начала была ясна невозможность включить в «Летопись» весь имеющийся материал. Если по Тургеневу, Тютчеву и др. задача составителя подобной летописи сводится, в основном, к тому, чтобы не пропустить ни одной даты и правильно документировать их, то по отношению к Толстому задача осложняется необходимостью обоснованной выборки главнейших фактов его жизни. Здесь нужен правильный глазомер в деле сортировки фактов, подлежащих регистрации. Таким правильным глазомером обладал составитель книги. Он сумел соразмерить объем своего труда со степенью значительности фактов при их включении в «Летопись». В книге нет существенных пропусков, нет и гипертрофии мелких данных. Самая формулировка событий и высказываний сжата, точно и строго документирована.

Как бы сух и документален ни был труд, всегда возможны некоторый субъективизм и тенденциозность в подборе фактов. И здесь Н. Н. Гусев оказался на высоте поставленной задачи: он сумел быть достаточно объективным, без чего, по самому своему существу, «Летопись» невозможна. Под 30 июля 1910 г. читаем запись Толстого из дневника «Для одного себя»: «Чертков вовлек меня в борьбу, и борьба эта очень и тяжела и противна мне». Эта запись, обыкновенно замалчиваемая толстовцами, удачно и кратко интерпретируется Гусевым так: «Под борьбой Толстой разумел составление завещания втайне от семьи». Эту формулировку можно противопоставить аннотации одного из редакторов академического издания Толстого, который, интерпретируя данную запись, дает весьма пространный комментарий, явно имеющий целью замаскировать отрицательную роль Черткова в семейных недоразумениях Толстых за тяжелый 1910 г. (т. LVIII, стр. 581—582). В одном пункте, впрочем, составителя можно упрекнуть: если он считает нужным выделить дневниковую запись Толстого 1910 г.: «Я никогда даже не был влюблен», то ей необходимо противопоставить также дневниковую запись Толстого, когда он был женихом: «Я влюблен, как не верил, чтобы можно было любить» (12 сентября 1862 г.).

Количество неточностей в книге Гусева, в общем, незначительно. Укажем на одну ошибку: на стр. 258 под 16 февраля 1879 г. читаем: «Написано одно из начал романа из эпохи XVIII века «1757 год. I. Князь Василий Николаевич»; в «Дополнениях» под 2 апреля 1879 г. дана аннотация: «Сохранилось шесть вариантов этого неоконченного романа, относящихся к 1879 г., один из которых озаглавлен «Терентий Николаев», другой — «Труждающиеся и обремененные»; остальные заглавий не имеют» (стр. 808).

Последнее утверждение не верно. Помеченный Гусевым под 16 февраля отрывок, озаглавленный «1757 год», является одним из вариантов упоминаемого неоконченного романа. Другое замечание касается хронологизации «Анны Карениной». О писании романа сохранилось мало данных. Поэтому все точные даты крайне существенны. Под седьмой черновой рукописью романа стоит дата: 8 апреля 1873 г.; благодаря этой дате мы можем судить, насколько стремительно работал Толстой вначале над «Анной Карениной» (начал он 19 марта). Эта дата в книге Гусева отсутствует.

Укажем на недостатки в обосновании датировок. После каждой даты в скобках указывается ее источник. Ссылки эти, разумеется, должны опираться на первоисточник,— ведь взятое из вторых и третьих рук очевидной убедительностью не обладает. Н. Н. Гусев хорошо знает это, но он почему-то делает исключение для собственной книги — биографии Толстого. Естественно, что эта книга являлась первым пособием автора, но ссылаться на нее неосновательно с указанной точки зрения. Например: «1865. г. Январь 6. Смерть Валериана Петровича Толстого (Гусев Н. Н., Толстой в расцвете художественного гения, стр. 284)». Какое же это основание? Здесь составитель не доработал, не выявив подлинного источника.

Издательство «Советский писатель» выпустило в 1936 г. «Дневники С. А. Толстой. 1910 г.» (редакция и предисловие С. Л. Толстого, примечания С. Л. Толстого и Г. А. Волкова). Этот том завершает все издание дневников Софьи Андреевны. В 1928 г.

вышел первый том, в 1929 г.— второй (оба тома в издании Сабашниковых), в 1932 г.— третий (изд. «Север»). Дневники за 1910 г. составили особый том — четвертый и последний.

Дневники и записки С. А. Толстой представляют интерес не только как вспомогательный материал к биографии Толстого и истории его творчества. Это своеобразный иск жены гения своему мужу, рисующий с особой стороны судьбу спутницы великого писателя. Писания С. А. Толстой можно сравнить с записками и письмами Джен-Уэльш Карлейль, жены известного английского историка Томаса Карлейля. Судьбы С. А. Толстой и Дж. Карлейль во многом совпадают: то же желание обслуживать своего мужа, всячески способствовать его литературным занятиям, та же замкнутая жизнь в деревне ради мужа, обремененность хозяйственными заботами; позднее — сознание, что своей личной жизни не было и что круг приверженцев мужа отодвигает и оттирает спутницу жизни от подобающего ей места при муже. Свои жалобы, нередко очень горькие, Дж. Карлейль поверяла только своему дневнику и изливала в письмах к друзьям. Письма и записки Дж. Карлейль составили три тома издания 1883 г. (ред. Фроуда), два тома новых писем и записок, изданных в 1893 г. (ред. А. Карлейль), и два тома переписки Томаса и Джен Карлейль до их женитьбы (изд. 1909 г.). Таков же характер писаний С. А. Толстой. Опубликованные дневники С. А. Толстой, а также вышедший в издательстве «Academia» в 1936 г. том писем С. А. Толстой (редакция А. И. Толстой и П. С. Попова) к мужу составляют столь же значительный памятник эпистолярного и мемуарного творчества жены великого русского писателя (отзыв о письмах С. А. Толстой см. в рецензии Б. М. Эйхенбаума,— «Литературное Обозрение», 1937, № 3, а также И. Ямпольского,— «Литературный Критик», 1937, № 4).

Дневник С. А. Толстой 1910 г.— особого рода. Как известно, мнительный и неуравновешенный темперамент Толстой, вследствие ряда тяжелых жизненных невзгод, довел ее в 1910 г. до душевного заболевания: перед нами писания истеричной больной. В 1910 г. С. А. Толстая вела довольно подробные ежедневные записи; кроме того, она составляла дневник. Последний очень субъективен и неровен; характер его полемический, тон весьма пристрастный. Редактор напал на удачную мысль — сопоставить записи С. А. Толстой с другими показаниями, прежде всего с дневниками Льва Николаевича, а также других лиц, живших в то время в Ясной Поляне. Сопоставлением разных записей можно, до некоторой степени, выявить преувеличения и субъективные характеристики больной женщины. Однако, редакции можно поставить в упрек, что она недоучла сложность опубликования писаний душевнобольной. Записи в рецензируемой книге расположены подневно,— сначала идут записи из «Ежедневника», потом из дневника С. А. Толстой, затем выписки из двух дневников Льва Николаевича (остальное дано в примечаниях). Подневная разбивка дневников С. А. Толстой вызывает сомнение. Если записи «Ежедневника» велись действительно каждый день и представляют пометы о фактически происшедшем, то дневник является проявлением особого рода творчества душевнобольного человека. Больному истерией свойственно писать фантастические вещи о себе и своей жизни, выставлять себя, как героя сложного романа, выявлять мнимую ложь и неправду в окружающем, возвещать миру откровения о самом себе. В таких писаниях всегда бывает много фальсификаций, даже подтасовок, в том числе и хронологических. Правда, есть свидетельства, что дневник С. А. Толстой писался подчас одновременно с «Ежедневником» (ср. стр. 84, 89, 90), но все же нет никаких доказательств, что дневниковые записи писались действительно подневно, а не конструировались задним числом из переработки того же «Ежедневника» в связи с другими данными, главное домыслами расстроенного воображения. Можно легко обнаружить подобные записи, сделанные задним числом. Приведем примеры. В дневнике под 12 сентября читаем жалобы С. А. Толстой, что при ее отъезде из Кочетов (имения дочери) Лев Николаевич не хотел сказать ей о времени своего возвращения в Ясную Поляну. С. А. пишет: «Но вдруг Лев Николаевич подошел ко мне, обойдя пролетку с другой стороны, и сказал со слезами на глазах: «Ну, поцелуй меня еще раз, я скоро, скоро приеду...». Но обещания своего не сдержал и прожил еще 10 дней в Кочетах». Каким

же образом С. А. Толстая 12 сентября могла знать о том, что Лев Николаевич вернулся в Ясную Поляну 22 сентября? Очевидно, что данная запись к 12-му числу не имеет отношения, а написана значительно позднее.

Другой пример. 25 октября С. А. Толстая пишет: «Да воскреснет бог и расточатся враги его!». Кончаю и надолго запечатаю этот ужасный дневник, историю моих тяжелых страданий! Проклятие Черткову, тому, кто мне их причинил! Прости, господи!». Совершенно очевидно, что 25 октября Софья Андреевна приведенных слов в дневник не заносила; написаны они гораздо позднее, после ухода Толстого, вероятно, даже после его смерти. 25 октября С. А. ничего предвидеть не могла: уход Толстого 28 октября был неожиданный. 25 октября у Софьи Андреевны не было оснований кончать и запечатывать свой дневник. Эта концовка позднейшего происхождения.

Л. Н. ТОЛСТОЙ и С. А. ТОЛСТАЯ
Рисунок И. Е. Репина, 1907 г.
Толстовский музей, Москва

Учитывая особый характер дневника С. А. Толстой, было бы правильнее печатать его отдельно, особым документом, в сопровождении психологического и текстологического анализа, а не дробить его по датам и не соединять с записями других дневников. Цитаты из дневника Льва Николаевича следовало привести в примечаниях, так же, как это сделано в отношении дневниковых записей Булгакова, Гольденвейзера и др.

Ненависть к Черткову и негодование на мужа за его неподчинение воле жены в дневнике С. А. Толстой за 1910 г. предельны. И все же она никогда не доходила до утверждений, которые делала Дж. Карлейль при всей уравновешенности своего характера: «Я вышла замуж из честолюбия, но Карлейль превзошел самые смелые мои ожидания — и я несчастна». С. А. Толстая никогда не называла себя несчастной потому, что она — жена Толстого. Зато в другом С. А. Толстая уступает своей подруге по жизненной судьбе: она на всех перекрестках кричала, что ей тяжело от разногласий и взаимных недоразумений с мужем; не стеснялась она донимать этим и самого Льва Николаевича. Дж. Карлейль своим тактом и самообладанием

сумела достигнуть обратного: о тяжелых переживаниях своей жены Карлейль не знал до самой ее смерти,— она принимала все меры, чтобы у него не было никаких подозрений.

Особый, самостоятельный интерес представляет предисловие к «Дневникам» старшего сына Толстых, С. Л. Толстого, давшего образец беспристрастного, сдержанного и, вместе с тем, искреннего и правдивого изложения обстоятельств яснополянской семейной трагедии 1910 г.

Одновременно с русским изданием дневник С. А. Толстой вышел на английском языке: «The final Struggle, being countess Tolstoy's diary for 1910, With exstracts from Leo Tolstoy's diary». Preface by S. L. Tolstoy, editor of the russian edition. Translated with an introduction by Aylmer Maude. London. George Allen and Unwin.

Тексты «Дневников» и комментария даны в несколько сокращенном виде; сделаны эти сокращения опытной рукой большого знатока Толстого в Англии — Моода; перевод, в общем, очень хорош; лишь в одном месте допущено досадное недоразумение: под 6 июля рассказывается, что Лев Николаевич имел беседу с Чертковым, при чем последний увещевал не полагаться на слова его, Черткова, матери, а расспросить сестру (?), иначе Лев Николаевич рискует остаться в дураках. Когда последние слова были повторены Чертковым, то, якобы, Лев Николаевич рассердился и закричал: «Ты дурак. Все знают, что ты идиот» (р. 132). Все это место — недоразумение. Последние слова были сказаны не Львом Николаевичем, а его сыном, Львом Львовичем, и весь разговор происходил у Черткова с Львом Львовичем. Мать — не Черткова, а Софья Андреевна, сестра — Александра Львовна. Такая же путаница на предшествующей странице: слова Льва Львовича приписаны Льву Николаевичу (р. 131, строка 5-я снизу).

Издание дневника вызвало большой интерес за границей. Отметим отзывы: Thomson Ralph, Books for the times,— «New York Times», номер от 19 января 1937 г.; Cournos John, Lacerations,— «Hew York Sun», номер от 14 января 1937 г.; Deutsch B., Tragedies of the Tolstoy's,— «New York Herald Tribune Books», номер от 24 января 1937 г.; Nazaroff A., The last year of Tolstoy's life,— «New York Times Book Review», номер от 31 января 1937 г.

Дневник С. А. Толстой вышел также на французском языке: Tolstoï S., Journal 1910. Mémoires inédits, Paris, A. Fayard.

Среди вышедших за последнее время мемуаров о Толстом одно из первых мест должно быть отведено разделу «Из моих общений с Л. Н. Толстым» в книге И. Е. Репина «Далекое — близкое» («Искусство», 1937). В первой главе И. Е. Репин рассказывает о своем первом знакомстве с Толстым, во второй — о посещении Ясной Поляны в 1891 г., в третьей — о встрече на голоде в 1892 г., в четвертой — о приезде Толстого в Петербург, в связи с высылкой Черткова. Последняя глава описывает посещение Репиным Ясной Поляны в 1907 г. Избегая мелких фактических подробностей, Репин дает яркую характеристику мощной личности Толстого, его воздействия на окружающих. Он выделяет у Льва Николаевича тонкость в общении с людьми, подчеркивает его сноровку и ловкость в таких делах, как перепряжка лошади или верховая езда. Репин с таким воодушевлением умеет рассказать о своих впечатлениях, а в непосредственных впечатлениях умеет улавливать такие знаменательные стороны личности Толстого, что его воспоминания являются образцом мемуарного рассказа вообще; несколько приподнятый тон не мешает искренности изложения. К сожалению, в воспоминаниях совсем не затронута деятельность Репина в издательстве «Посредник» по части иллюстраций.

В рассказе Репина встречаются некоторые неточности, естественные при писании мемуаров по памяти, без дополнительных пособий. Эти неточности, разумеется, должна была оговорить редакция. Следовало указать, например, что в 1880 г. Толстой еще не жил всей семьей в Москве и Репин в этом году не мог провожать его в Денежный переулок; что работа на голоде происходила не в Тамбовской, а в Рязанской и Тульской губерниях; что Толстой посетил мастерскую Репина не в 1896 г., а 8 февраля 1897 г., что последний раз в Ясной Поляне Репин был не в 1907 г., а в 1909 г.

и т. п. Редактор книги, К. И. Чуковский, к сожалению, не нашел нужным указать в примечаниях на эти неточности мемуариста. В книге есть и ляпсусы, обусловленные простой небрежностью. Так, по указателю выходит, что С. А. Толстая, жена Льва Николаевича, и жена А. К. Толстого (по первому мужу С. А. Миллер) — одно и то же лицо (ср. стр. 493 и 619).

Воронежское областное книгоиздательство выпустило в 1937 г. книжку: Русанов А. Г., Воспоминания о Л. Н. Толстом. Она заключает воспоминания Гавриила Андреевича Русанова (1844—1907), друга и единомышленника Толстого, и его сына, врача Андрея Гавриловича (род. в 1874 г.), ныне профессора Воронежского университета. В «Толстовском Ежегоднике» за 1912 г. был напечатан отрывок из воспоминаний Г. А. Русанова. В разбираемой книге этот очерк дополнен новыми страницами, содержащими ряд интересных сведений о Толстом. Не менее живо написаны воспоминания А. Г. Русанова, очень искренно и непосредственно рассказывающего о Толстом и его жизни. Воспоминания охватывают период с 1885 по 1901 гг.

В «Воспоминаниях» В. В. Вересаева (М., 1936) имеется глава, посвященная Толстому. Рассказывается о встрече с Толстым в августе 1903 г.; сообщается любопытное толкование эпиграфа к «Анне Карениной» с отзывом Толстого о нем.

В Праге в 1935 г. вышел сборник, посвященный известному социал-революционеру, эмигранту Е. Е. Лазареву. В воспоминаниях Лазарева находим ряд глав, посвященных Толстому, с которым Лазарев познакомился в Самарской губернии в 1883 г. Приводим названия глав: 1) На лоне природы, 2) Влияние на Толстого народничества, 3) Причины моего «мужикования», 4) В Бутырской тюрьме, 5) Свидание с Л. Н. Толстым, 6) Смерть Л. Н. Толстого. Наибольший интерес представляют характеристики лиц, оказавших влияние на Толстого в 80-х годах: В. И. Алексеева, А. А. Бибикова и П. Н. Метелицыной, а также записи о наблюдениях Толстого над заключенными (при посещении им Лазарева в Бутырской тюрьме); эти наблюдения отразились в некоторых главах «Воскресения». Сам Лазарев, как известно, является прототипом Набатова.

В № 11 «Нового Мира» за 1935 г. опубликован очерк: Толстая-Попова А. И. [внучка писателя] «В родовом имении Толстых» (по личным воспоминаниям и неопубликованным материалам). В «Литературном Ленинграде», от 20 ноября 1935 г., напечатаны воспоминания Н. Е. Фельтена «Рассказы о Толстом». В «Правде», от 10 февраля 1937 г., помещена статья С. Л. Толстого «Лев Толстой о Пушкине», написанная по воспоминаниям автора.

В «Литературном Критике», 1935, № 11, напечатаны два неизвестных письма А. М. Горького к Чехову о Толстом; там же: «А. П. Чехов о Льве Толстом» (отрывки из писем за 1887—1902 гг., с предисловием А. Б. Дермана).

К юбилейным толстовским дням 1935 г. во Франции вышел специальный труд Франсуа Порше «Психологический портрет Толстого» («Portrait psychologique de Tolstoï», Paris, Flammarion, 447 стр.). Книга Порше, небезызвестного автора критического очерка о Верлене, была сочувственно встречена критикой. Отмечалось широкое знакомство Порше с жизнью и литературной деятельностью Толстого, писали об умении автора до конца оставаться точным и правдивым, не прикрывать фактов фразами, не затемнять лирикой действительности (отзывы: Андре Терива в «Temps», от 5 декабря 1935 г.; Леона Додэ «Душевная болезнь Толстого» и др.).

Книга написана легким языком, очень занимательно и поэтому пришлась по вкусу некоторой части французской публики. Автор книги последовательно рассматривает факты жизни Толстого и располагает материал в биографическом плане. Владея многочисленными источниками по Толстому на французском языке, Порше стремится вникнуть во все детали личной, семейной и общественной жизни Толстого. В центре книги стоит анализ высказываний Толстого в письмах и дневниках в сопоставлении с его жизнью и жизнью окружающих. Интерпретация отличается подчас даже известной тонкостью, но Порше любит делать разоблачения и находить новый смысл в известных ранее фактах. Называя Толстого великим писателем, он стремится показать невыдержанность, противоречивость и двойственность взглядов Толстого и его жизненной практики. По существу, книга имеет предпосылкой большое недобро-

желательство к Толстому; скрытая, а иногда и явная тенденция автора — представить мысли и поступки Толстого в отрицательном освещении. Такое пристрастное отношение вредно отражается на самом замысле книги. Если жизнь Толстого полна непоследовательностей, проявлений честолюбия, самовозвеличения, ходульности, то становится непонятным, чем заслужил Толстой свою мировую славу. Художественное творчество Толстого стоит в книге Порше особняком и, помимо указания внешних фактов, почти не исследуется. На первом плане — неудавшийся моралист и проповедник, гордый отпрыск «русских бояр», окруженный мелкими, честолюбивыми людьми, фантазер, занятый своим совершенствованием, капризный и непоследовательно реагирующий на все запросы окружающей жизни.

Порше весьма поверхностно осведомлен в данных биографии Толстого. То и дело он впадает в разнообразные ошибки. Приведем примеры. Почему дети-сироты, Лев Николаевич, его братья и сестра, переехали в Казань в 1841 г.? После смерти А. И. Остен-Сакен опекуншей детей Толстых становится их другая тетка, П. И. Юшкова. До этого самым близким человеком для сирот Толстых была третья, троюродная, их тетка, Т. А. Ергольская. Порше рассказывает: муж Пелагеи Ильиничны, Юшков, был некогда влюблен в Ергольскую и женился на Пелагее Ильиничне только потому, что Ергольская ему отказала. Пелагея Ильинична от всей души ненавидела Ергольскую, и ей приятно было увезти от Ергольской детей в Казань, чтобы доставить последней неприятность. Откуда Порше взял, что Юшкова перевезла сирот-детей Толстых в Казань именно из-за неприязни к Ергольской, а не по той простой причине, что ее муж был казанским помещиком, а она — постоянной жительницей Казани? Известно, по воспоминаниям Толстого, что Юшков, большой волокита, часто уже стариком, «с тем чувством, с которым говорят влюбленные про прежний предмет любви», вспоминал про Ергольскую: «Toinette, oh, elle était charmante». По поводу доброты Ергольской тот же Толстой пишет: «Она говорила добро про другую тетушку, родную, которая жестоко огорчила ее, отняв нас у нее». Вот и все; остальное — домыслы Порше.

Метод изобличения Толстого таков. В «Исповеди» Толстой писал о круге «Современника», в который он вошел по переезде в Петербург в 1856 г.: «Взгляд на жизнь этих людей, моих сотоварищей по писанию, состоял в том, что жизнь вообще идет развиваясь и что в этом развитии главное участие принимаем мы, люди мысли, а из людей мысли главное влияние имеем мы, художники, поэты. Наше призвание учить людей... Я считался чудесным художником и поэтом, и поэтому мне очень естественно было усвоить эту теорию. Я — художник, поэт — писал и учил сам не зная чему. Мне за это платили деньги, у меня было прекрасное кушанье, помещение, женщины, общество; у меня была слава. Стало быть то, чему я учил, было очень хорошо». Но, поправляет Порше, зачем винить литературные нравы,— разве Толстой в то время существовал на литературный гонорар, разве этим гонораром поддерживался тот широкий образ жизни, который Толстой вел в Петербурге? Женщины? Но «граф, насколько мне известно, потерял невинность не в этом году» (стр. 118). Дело, однако, в том, что Толстой и не утверждает в приведенных строках, что он в то время не пользовался доходами с крестьян, и не считает, что писатели из «Современника» научили его разврату.

Для Порше Толстой 1862 г.— «медведь с рысьими глазами, одетый по английской моде» (стр. 207). Животная наружность Толстого особенно была заметна благодаря бороде. Плохо причесанный, редко пользуясь услугами тульских парикмахеров, он, к тому же, ко времени женитьбы потерял все зубы (стр. 208).

Уход и смерть Толстого — комедия. Толстого нельзя сравнивать ни с королем Лиром, ни с образцом непритязательности — Франциском Ассизским. Толстой, в изображении Порше, уходит из дома «с любопытством актера», увлекающегося самосовершенствованием, не забывающего захватить с собой клистир и просящего дочь доставить ему маленькие ножницы, карандаши и халат (стр. 430).

Органическая неприязнь к Толстому у Порше не обусловливается ли какой-нибудь определенной идеологией? Ее легко обнаружить. Посреди книги Порше обрывает нить последовательного рассказа и в главе IV (второй части) останавливается на

трех событиях, в которых сконденсировалась самая суть душевных переживаний Толстого,— в них, по мнению Порше, полностью отобразилась его личность. Это — 1) казнь Шибунина в 1866 г.; 2) припадок раздражительности в 1867 г., когда Толстой стал кричать на Софью Андреевну; 3) тоска, пережитая Толстым ночью в Арзамасе в 1869 г.

Остановимся на первом эпизоде. Как известно, в 1866 г. Толстой выступил на суде по делу рядового Шибунина, нанесшего оскорбление действием (удар по лицу) ротному командиру. Шибунину грозил расстрел. Толстой произнес защитительную речь, но смягчения участи не добился. Тогда он телеграфировал А. А. Толстой, прося исходатайствовать через военного министра Милютина помилование. Но Милютин не счел возможным доложить царю, потому что Толстой не сообщил названия полка, в котором служил Шибунин. Толстой дал эти дополнительные сведения, но было поздно, и Шибунина расстреляли.

В 1908 г. Толстой перечел сохранившийся текст своей защитительной речи и высказался вновь по поводу всего эпизода. Речь Толстого была очень скромная, лойяльная, построенная в тесных рамках судоговорения. Толстой ссылался на две статьи (109 и 116), определяющие уменьшение наказания ввиду доказанной тупости преступника и невменяемости по умопомешательству. Перечитывая свою речь, Толстой засвидетельствовал:

«Да, стыдно мне теперь читать эту жалкую, глупую защиту. Ведь если только человек понимает то, что собираются делать люди, севшие в своих мундирах с трех сторон стола, воображая себе, что вследствие того, что они так сели и что на них мундиры, и что в разных книгах напечатаны и на разных листах бумаги с печатным заголовком написаны известные слова, что вследствие этого они могут нарушить вечный общий закон, записанный не в книгах, а во всех сердцах человеческих,— то ведь одно, что можно и должно сказать таким людям, это — то, чтобы умолять их вспомнить о том, кто они и что они хотят делать. А никак не доказывать разными хитростями, основанными на тех лживых и глупых словах, называемых законами, что можно и не убивать этого человека».

Порше радикально не согласен с Толстым. По его мнению, Толстой, произнося свою речь в 1866 г., был более гуманен, чем позднее, когда он считал, что дело не в спасении жизни отдельного лица, а в протесте против общего порядка вещей (стр. 252—254).

В этом отзыве — весь Порше, со своей идеологией. Это буржуазно-мещанская точка зрения, считающая, что можно делать доброе дело лишь в пределах существующего строя. Что толку, говорит в другом месте Порше, что Толстой в конце жизни взывал и посылал протесты, ратуя за мир, любовь и пощаду; то, что явилось в результате,— «хуже, чем жестокость прежнего времени: царство общего насилия, организованного и путем беззаконного разрушения получившего права гражданства на ряду с моральными устоями и религиозной верой» (стр. 386).

Комментарии излишни. Если в целях антисоветской агитации для Порше выгодно громить Толстого, то толстоведению нечего считаться с этими упражнениями.

Большой интерес представляет выпущенная в 1936 г. издательством «Советский писатель» книга Н. К. Гудзия «Как работал Толстой» (247 стр., серия «Как работали классики»). Тема эта оставалась неразработанной в толстоведении, несмотря на накопленный отдельными исследователями материал. Был освещен процесс работы над отдельными произведениями (например, «Войной и миром»), но и то, скорее, внешне. Старые же общие работы — вроде книги: Сергеенко П., Как живет и работает гр. Л. Н. Толстой, изд. 2-е, М., 1908,— научного значения не имеют. Тема работы Гудзия значительна не только в историко-литературном отношении, она весьма актуальна для современности: опыт творческой работы таких мастеров, как Толстой, весьма поучителен для современных писателей-прозаиков.

Н. К. Гудзий знаком с огромным количеством рукописей Толстого. Однако, с точки зрения тех больших требований, которые естественно предъявить к теме и автору,

книга несколько разочаровывает, хотя написана она с большим знанием дела. Автор почти не привлек нового материала сверх опубликованного им ранее. Для академического издания Толстого Н. К. Гудзий составил подробный комментарий по ряду произведений Толстого. Основное ядро новой книги Гудзия и составляет перепечатка его комментария к четырем произведениям: «Власть тьмы», «Крейцерова соната», «Дьявол» и «Воскресение». Текст комментария кое-где расширен, главным образом, пересказом содержания некоторых вариантов и редакций, а также цитацией отдельных мест из них. Заново Гудзием написаны «Введение» и «Заключение».

Спора нет, что по отношению к такому плодовитому писателю, как Толстой, нельзя требовать анализа писания каждого отдельного его произведения; на нескольких примерах можно вскрыть общие приемы работы писателя и сделать ряд обобщений. И все же материал привлечен недостаточный и односторонний. Взяты произведения только второго периода творчества Толстого. Ни 50-е, ни 60-е, ни 70-е годы не представлены систематическим анализом ни одного произведения Толстого. Сознавая этот пробел, автор посвящает в «Заключении» несколько страничек «Войне и миру» и «Анне Карениной».

Против методологии книги можно выставить ряд возражений. При комментировании Толстого для академического издания «история писания» того или иного произведения сводится к регистрации всех фактов и документальных данных о внешнем ходе работы Толстого. Процесс художественной работы, как таковой, в целом не характеризуется. Комментарий редактора, как правило, не касается психологии художественного творчества. Ход работы и замыслы фиксируются лишь по документальным данным, между тем они слагаются и живут своей особой жизнью до того и помимо того, как автор отмечает их в дневниках или планах. С другой стороны, ряд мелких данных и точное хронологизирование работы над тем или иным произведением для общей книги о творчестве Толстого не нужны. Для подтверждения своих выводов автор легко мог сослаться на уже однажды напечатанное. Далее, разбор работы над отдельными произведениями не покрывает проблемы общего творческого пути на протяжении всей жизни Толстого. Пережитый в конце 70-х годов перелом сопровождался сдвигом тематики в творчестве Толстого и использованием новых методов собирания материала. Так, отдавшись разработке нового, народного стиля, Толстой делал подробные записи слышанных рассказов, поговорок, слов, отдельных выражений, которые он заботливо собирал, вступая в разговоры, во время своих прогулок, с пешеходами по Тульскому шоссе. Тут обнаруживается новый подход. Эти общие сдвиги остаются вне кругозора автора. С этой точки зрения, при рассмотрении работы Толстого над созданием первой народной драмы «Власть тьмы» нельзя сводить задание, которое себе поставил Толстой, и самый замысел драмы к анализу судебного дела, легшего в основу сюжета. С другой стороны, Толстой особенно интересен тем, что он подводил теоретическую базу под свои писания. В этом отношении трактат «Что такое искусство?» проливает особый свет на художественную практику писателя. Весьма важно охарактеризовать эстетические взгляды Толстого и сопоставить их с тем, как он реализовал их на практике. Наконец, никак нельзя обойтись без систематического анализа работы писателя над главными его романами — «Война и мир» и «Анна Каренина». Работа над «Войной и миром» исключительно поучительна, поскольку Толстой, занятый романом в течение шести лет, за это время сам изменился и прогрессировал,— из бытового романа (в первых частях) «Война и мир» эволюционировала в сторону романа философско-исторического; этот сдвиг в самом жанре очень интересен. Будем надеяться, что при переработке и переиздании книги Н. К. Гудзий расширит рамки своей работы и даст обобщения о творческой работе Толстого, которых мы вправе от него ожидать.

Разбираемая книга является первым опытом. Каков бы он ни был, его можно всячески рекомендовать читателю,— пусть исследовательские рамки Гудзия узки, но предложенный материал исключительно доброкачественен. При этом следует подчеркнуть, что одну задачу всей обширной темы «Как работал Толстой» Н. К. Гудзий безусловно выполнил: он показал на конкретном материале, с какой тщательностью

Толстой обрабатывал свои произведения, как он совершенствовал образы, характеры и самое развитие действия, переходя от редакции к редакции и продолжая править вплоть до последних корректур.

Если наша литературная эпоха богата новыми публикациями текстов Толстого, то научно-исследовательских статей о его творчестве появляется сравнительно мало; в связи с этим следует приветствовать новые, свежие точки зрения в характеристике отдельных произведений Толстого и новое освещение его художественных приемов. Такой свежестью и оригинальностью отличается статья Б. М. Эйхенбаума с неожиданным сопоставлением: «Толстой и Поль де Кок» («Западный сборник» Института литературы, изд. Академии наук, 1937). В статье сделан ряд тонких и интересных сопоставлений (например, сравнение очерка Поль де Кока «Les boulevards» с описанием

Л. Н. ТОЛСТОЙ НА СМЕРТНОМ ОДРЕ
Скульптура С. Д. Меркурова, 1910 г.
Толстовский музей, Москва

Невского проспекта в повести Гоголя). Основная же мысль Б. М. Эйхенбаума заключается в утверждении, что в «Крейцеровой сонате», якобы, налицо «использование целого сюжета» романа Поль де Кока «Le cocu» («Рогоносец»). Это основное утверждение не представляется нам убедительным.

Совпадение сюжетов «Рогоносца» и «Крейцеровой сонаты» сводится к тому, что в «Le cocu» имеется традиционный «треугольник» — муж, жена и любовник, причем последний персонаж, скрипач Дюлак, аналогичен роли Трухачевского в «Крейцеровой сонате»; у Поль де Кока есть сцена: жена играет на фортепиано, муж спешит к ней и находит Дюлака сидящим очень близко к Евгении; это разжигает ревность мужа.

Приводя это сопоставление, Б. М. Эйхенбаум, однако, ни слова не говорит о том, что в истории литературы давно зафиксированы подлинные источники «Крейцеровой сонаты». Так, из биографии Бирюкова известно, что поводом к написанию «Крейцеровой сонаты» в ее окончательном виде послужило исполнение в хамовниче-

ском доме Толстых сонаты Бетховена Лясоттой в присутствии Репина и актера Андреева-Бурлака; Толстой тогда же предложил изобразить эту сонату средствами разного рода искусства и вовлекал в задуманную работу Андреева-Бурлака, как чтеца. Еще ранее этого Андреев-Бурлак сообщил Толстому рассказ одного незнакомца в вагоне о своем горе от измены жены, а до этого, в 1876 г., скрипач И. М. Нагорнов произвел впечатление исполнением «Крейцеровой сонаты» в Ясной Поляне. В своих записках «Моя жизнь» С. А. Толстая пишет: «Этот Ипполит Нагорнов учился в Парижской консерватории, был пошлого смазливого типа, который Лев Николаевич воспроизвел в скрипаче «Крейцеровой сонаты». Надо при этом иметь в виду, что «главный сюжетный поворот» повести, если пользоваться терминами Б. М. Эйхенбаума отмечен характерным заглавием, которое Толстой давал своей повести на ряду с названием «Крейцерова соната»: «Как муж жену убил». В романе Поль де Кока развязка заключается в том, что муж, расставшись с женой, ищет повода к дуэли с Дюлаком, убивает последнего, а Евгения раскаивается и умирает от горя. Следует еще добавить, что первоначально место скрипача у Толстого занимал художник; таковы первая и вторая редакции повести.

Прибегая к литературным параллелям, исследователь не должен закрывать глаза на хорошо известные биографические факты, связанные с историей писания «Крейцеровой сонаты»; Дюлак из романа Поль де Кока никак не может заменить совершенно определенной роли скрипача Нагорнова в создании сюжетной канвы «Крейцеровой сонаты». Нельзя забывать также и об эмоциональном воздействии этого произведения Бетховена на Толстого, которое заставило его сделать бетховенскую сонату основной сюжетной осью своей повести.

«Сборник Толстовского музея», вышедший под общей редакцией В. Д. Бонч-Бруевича (Гослитиздат, М., 1937, 388 стр.), представляет собою продолжение публикаций богатого рукописного фонда музея.

Несмотря на выход академического, почти стотомного, собрания сочинений Толстого, неопубликованных материалов в архиве еще очень много. В конце концов, все оригинальные рукописи — будь то черновики, варианты, письма или мемуары — подлежат публикации; таким образом, основным вопросом при оценке очередных сборников Толстовского музея является вопрос о том, как группировать этот материал и в каком порядке его печатать. В этом отношении рецензируемый сборник производит несколько пестрое впечатление: материал предложен неравноценный, и система публикации не совсем ясна.

В сборнике нет исследовательских статей. Самостоятельные работы отдельных толстоведов ограничиваются или комментариями к публикуемым текстам, или подбором сырого материала. Одной из наиболее интересных является публикация Н. Н. Гусева «Незавершенные художественные замыслы Толстого». Здесь даны в хронологической последовательности все заметки самого Толстого и его близких, в которых охарактеризованы или только упомянуты замыслы Толстого, не получившие завершения или даже вовсе не отразившиеся в каких-либо набросках художественных произведений. Здесь много любопытного материала; впрочем, общей классификации или сопоставления его с завершенными замыслами не дано, и статью можно рассматривать, как предварительную, хотя и очень тщательно сделанную, подборку. К сожалению, ряд записей не раскрыт и не пояснен читателю. Такова запись С. А. Толстой (стр. 105) о замысле Льва Николаевича с эпиграфом: «Один сын не сын, два сына — полсына, а три сына — сын». Наброски к этому замыслу имеются,— это «Корней Захаркин», повесть из крестьянской жизни, писанная в 1877—1878 гг.; в 1879 г. Толстой хотел использовать эту повесть в работе над грандиозным романом «Сто лет», оставшимся незавершенным. В трех местах статьи Н. Н. Гусева идёт речь о сюжете «Самоубийство старика Персиянинова» (стр. 118, 119, 122); никаких сведений о герое этого сюжета не дается.

Небольшая статья Э. Зайденшнур характеризует лабораторию творчества Толстого на примере описания им внешнего облика Катюши Масловой. Статья, при всей ее ценности, фрагментарна и стоит особняком в книге. Так же фрагментарна заметка «К истории «Крейцеровой сонаты», дающая лишь одну фактическую справку,

правда, уточняющую дату: дополнительное документальное подтверждение, что «Крейцерова соната» действительно была начата в 1887 г.

Повидимому, составители сборника пытались придать ему некоторое тематическое единство; при отсутствии редакторского предисловия, об этом, впрочем, приходится только догадываться. Именно: сборник в известной степени стремится осветить вопрос об отношении Толстого к искусству. Сюда относится большая подборка цитат из писаний Толстого, озаглавленная «Толстой о литературе»; эта работа имеет целью не столько публикацию неизвестных высказываний Толстого, сколько систематический их свод. Цитаты расположены в хронологическом порядке; в них заметны пробелы: так, даны высказывания до 1863 г., а затем сразу с 1888 г.,— центральный период, когда Толстой создавал «Войну и мир» и «Анну Каренину», остается неосвещенным. К этой же категории можно отнести публикацию «О науке и искусстве». Публикация эта в методологическом отношении сомнительна, ибо представляет собой компиляцию А. К. Чертковой, правда, в предварительной стадии просмотренную автором, но затем подвергшуюся новой, «сводной» редакции (этим объясняются навязчивые дублирования,— см. стр. 35 и 41, 38 и 44). Целесообразнее и методологически безупречнее было бы дать эти тексты Толстого в оригинальном черновом виде; по существу, они весьма интересны, освещая взгляды Толстого на искусство, как они сложились к 1894 г., т. е. за два года до работы над «Что такое искусство?».

Замечательны опубликованные из записной книжки 1877—1878 гг. заметки и наблюдения Толстого, касающиеся, главным образом, явлений природы; они переходят в своеобразный поэтический «дневник природы»; этот дневник имел для Толстого творческое значение, объединяя наблюдения, подлежащие использованию в художественных произведениях.

Публикация неизданных произведений Толстого включает очень немногие и незначительные его писания. На первом месте почему-то стоит маленькая необработанная сатирическая сказочка, уже опубликованная в XVII томе академического издания сочинений Толстого; она без достаточных оснований названа комментатором «памфлетом». Вообще, не все предлагаемое читателю в сборнике имеет серьезное значение. Такова, например, детская надгробная эпитафия на памятнике Юшковой; доля участия в этом «опусе» Л. Н. Толстого не выяснена, и вряд ли нужно было воспроизводить его с подробными комментариями.

Гораздо богаче представлено эпистолярное наследие Толстого: здесь имеются его письма разных периодов к 34 лицам. Самая обширная переписка — с Бартеневым и Нагорновым, ведшим в 70-х годах издательские дела Толстого (45 писем). Наиболее интересны в этом ценном отделе сборника письма с отзывами о литературных произведениях, подвергшихся критическому анализу Толстого или присланных ему на отзыв. Чрезвычайно любопытны письма Толстого к Страхову; они, между прочим, показывают, как зорко Толстой следил за тем, не снизилось ли его литературное мастерство, когда он отвлекся писаниями религиозно-философского характера. Создав такой шедевр, как повесть «Хозяин и работник», Толстой запрашивал Страхова: «Мне интересно знать, ослабела ли моя способность или нет. И если да, то это меня так же мало огорчит и удивит, как и то, что я не могу бегать так же, как 40 лет тому назад».

Письма даны не в хронологической последовательности; не заметили мы в расположении и тематического порядка, например, письма к англичанам Синклеру и Эллису следовало печатать рядом, поскольку их объединяют и тема (отношение к Шекспиру) и даты (одно от 2-го, другое от 3 декабря 1906 г.). Из 22 писем к Бартеневу 11 были ранее опубликованы, при чем в комментариях не указано, какие именно. Ряд писем публикуется полностью, хотя в них подчас идет речь о семейных и домашних обстоятельствах (письма к Нагорнову), а в других случаях публикуются лишь отдельные куски писем, с пропуском того, что касается «семейных дел» (письма к Л. Л. и Т. Л. Толстым). Многословные и малосодержательные, построенные на восклицательных знаках письма Стасова к Т. Л. и С. А. Толстым вряд ли стоило включать в сборник, где и письма к самому Толстому приводятся лишь в выдержках (в комментариях).

Комментарии, сопровождающие тексты, не унифицированы. У одних комментаторов они очень обширны (Г. Волков), у других крайне сжаты. Одни и те же лица поясняются по нескольку раз, разными комментаторами (так, о Страхове идет речь на стр. 186 и 205; об Истомине — на стр. 215 и 222, при чем в первом случае указывается год рождения 1847, во втором — 1848). Замечается и некоторая небрежность в тексте, необычная в изданиях Толстовского музея: так, произведение Толстого «Царство божие внутри вас» трижды названо «Царство божие внутри нас» (стр. 90, 120).

Непродуманность общего плана сборника и отмеченные мелкие промахи в редакционной обработке материала несколько снижают ценность этой интересной и полезной книги.

Толстому посвящен и один из очередных выпусков «Бюллетеня» Государственного Литературного музея (№ 2; «Л. Н. Толстой». Редакция Н. Н. Гусева. Жургазобъединение, 1937). Он заключает археографическое описание собранных музеем по 31 декабря 1936 г. толстовских материалов. За сравнительно короткий, пятилетний, срок своего существования Литературный музей собрал весьма значительное количество автографов Толстого и иконографического материала. Казалось, что такие архивохранилища, как кабинет Толстого во Всесоюзной библиотеке им. В. И. Ленина и архив Толстовского музея, уже сосредоточили главные фонды манускриптов Толстого. Между тем, из «Бюллетеня» мы узнаем, что в Литературном музее хранятся 89 рукописей произведений Толстого, ряд дневниковых записей и более 150 подлинных писем Толстого. По одному «Воскресению» зарегистрировано 14 номеров. Следует отметить в «Бюллетене» тщательно составленную опись иконографического материала; этот первый опыт проработки иконографии Толстого с точной хронологизацией — весьма ценное пособие для толстоведения. Можно только приветствовать инициативу молодого музея дать широкую информацию о хранящихся в музее фондах. К сожалению, другие архивохранилища, имеющие толстовские материалы, до сих пор не выпустили ни их описи, ни простых каталогов (исключение составляет Всесоюзная библиотека им. В. И. Ленина).

В смысле проработки материала, его классификации и расположения, «Бюллетень» вызывает некоторые возражения. Он, прежде всего, слишком громоздок. Многие данные излишни или могли быть представлены в более сжатой форме (например, указания, у кого приобретен данный манускрипт или фотография, с бесконечно повторяющимися именами). Подотдел, описанный на стр. 54—71, вначале озаглавлен «Копии», зачем же повторять при каждом из 141 номера слова «машинописная копия»,— можно было только оговорить, что на ряду с машинописными копиями имеются пять копий, сделанных от руки, и одна фотокопия. Вряд ли нужны столь подробные сведения, например, о фотографии толстовца С. М. Попова, снятой даже не при жизни Толстого: «Фотоснимок С. М. Беленького. 12 × 9 см. В рост, стоит в костюме странника, с котомкой за плечами, опираясь руками на палку, в профиль (1911—1913 гг.)».

К сожалению, в «Бюллетене» не произведен отсев основного рукописного фонда автографов от копий и фотокопий, а также от вспомогательного материала, куда попало много малоинтересного или второсортного (например, письма А. Чертковой к Перперам, 1912—1923). Весь этот материал, разумеется, следовало отразить в «Бюллетене», но без тех археографических подробностей, которые естественны в отношении основных манускриптов.

С отдельными принципами, положенными в основание толстовского «Бюллетеня», можно не соглашаться, но общее впечатление от него остается положительным: «Бюллетень» составлен с большим знанием дела, в редактировании чувствуется опытная рука специалиста.

Иное впечатление производит описание рукописей Толстого, выпущенное Всесоюзной библиотекой им. В. И. Ленина («Рукописи Толстого», части I и II. Составил Ф. В. Буслаев. Под редакцией И. К. Луппола. Соцэкгиз, 1937). Надо учесть, что рукописное отделение библиотеки располагает самым богатым фондом творческих рукописей художественных произведений Толстого; начало этому фонду положила С. А. Толстая, передавшая в Румянцевский музей в 1915 г. все рукописное наследие

Льва Николаевича, находившееся в ее распоряжении. Работа по изучению и систематизации материалов началась в 1918 г.; в разборе и каталогизации рукописей Толстого приняли участие такие специалисты-толстоведы, как В. И. Срезневский, М. А. Цявловский, А. Е. Грузинский и др. Кроме того, в связи с работой над Юбилейным изданием сочинений Толстого, отдельные редакторы этого издания составляли описание рукописей Толстого при публикации соответствующих его произведений. Таким образом, в кабинете Толстого во Всесоюзной библиотеке им. В. И. Ленина скопился богатый археографический материал.

Выпущенное библиотекой издание не представляет полного описания рукописей, а дает скорее каталог всех манускриптов, хранящихся в библиотеке; такой предварительный каталог по замыслу вполне целесообразен и мог бы принести значительную пользу. Однако, в своем настоящем виде каталог не удовлетворяет элементарным требованиям. Прежде всего, обращает на себя внимание неравномерность распределения материала. В первом выпуске сосредоточены все сведения о творческих рукописях Толстого и многочисленных его дневниках и записных книжках. Описание их дано в очень сжатом и суммарном виде. Достаточно сказать, что все рукописи «Войны и мира» описаны менее чем на восьми страницах, рукописи «Анны Карениной» — на семи страницах, «Воскресения» — всего на трех страницах. По поводу рукописей «Анны Карениной» заметим следующее. В описании манускриптов к этому роману имеется раздел «Черновые автографы-отрывки ранней редакции романа»; к нему естественно было бы отнести самый первый набросок романа с знаменитым началом: «Гости после оперы съезжались», в известной мере опирающимся на текст Пушкина. Между тем, данная рукопись включена в раздел «Конспект и отрывки II половины романа по старому, первоначальному плану». Выходит, что самый ранний набросок «Молодец баба», с его классическим началом, относится ко второй половине романа по его первоначальному замыслу. Каких-либо новых сведений и уточнений по творческим рукописям Толстого, уже описанным в соответствующих томах Юбилейного собрания сочинений, мы не находим. О первых изданиях опубликованных рукописей в каталоге ничего не говорится; не проведено и систематической хронологизации, кроме самых общих и случайных данных.

Составитель гораздо подробнее остановился на описании писем Толстого, отведя им весь второй выпуск разбираемого каталога. Если исключить письма Толстого к жене, которые последняя заботливо сохранила и передала в почти полном составе в рукописное отделение библиотеки, то писем не так уж много (около 400); объясняется это тем, что они разошлись по адресатам и затем попали в другие музеи и архивохранилища. В настоящее время эти эпистолярные материалы, как и все хранящиеся в рукописном отделении Ленинской библиотеки письма, систематически изучены; они составляют тридцать один том Юбилейного издания; часть этих томов уже выпущена, остальные в готовом виде находятся в портфеле Гослитиздата. С этой точки зрения, подробное описание каждого письма не так уж необходимо.

Помимо этого, хронологизация и систематизация писем в каталоге не соответствуют тем требованиям, которые мы вправе предъявить к вновь выпущенному справочнику. Естественно ожидать, что подобный справочник должен опираться на все данные, имеющиеся на сегодняшний день в науке о Толстом. Однако, в предисловии ко второму выпуску составитель заявляет, что он ориентируется при описании писем на издания Бирюкова — на его биографию Толстого и издание писем Толстого к жене 1915 г. Всем известно, насколько дефектны публикация и хронологизация материалов в названных изданиях. Руководствуясь ими, составитель дает явно неудовлетворительные указания. Так, если верить каталогу, в архиве имеется двадцать одно письмо Толстого к В. В. Арсеньевой. Но выходящий соответствующий том писем Толстого (LX) насчитывает их всего девятнадцать. В двух случаях составитель каталога, по собственной инициативе, длинные письма Толстого, носящие характер дневника, расчленил на два. Так, письма №№ 9 и 10 (от 19 ноября 1856 г. и неопределенно датированное ноябрем) составляют одно письмо. Письма №№ 11 и 12 — не два отдельных письма, а одно, писанное в продолжение двух дней. Письмо № 15 нельзя датировать декабрем 1856 г., потому что оно стоит в непосредственной связи

с непосланным письмом от 8 ноября 1856 г. и писано в тот же день. Письмо № 16 — не от 6 декабря 1856 г., а от 1857 г. и должно быть помещено последним в серии писем Толстого к В. В. Арсеньевой. На стр. 35 каталога вызывает удивление описание письма Толстого к Вергани, сохранившегося в копии в архиве Оболенского; помещение этой копии в списке аннулируется наличностью подлинных строк соответствующего письма Толстого — в виде приписки к письму Арсеньевой от 17 ноября 1856 г.; составитель, несомненно, обратил бы внимание на это обстоятельство, если бы он описывал самый манускрипт, а не заглядывал больше в биографию Бирюкова (Бирюковым эта приписка пропущена вовсе).

Еще хуже обстоит дело с описанием центральных во втором выпуске манускриптов Толстого — писем его к жене, при датировке которых составитель решил опираться на старое издание 1915 г., не обращаясь к подлинникам и не считаясь с работой редакторов LXXXIII и LXXXIV томов Юбилейного издания. Широко известны два письма к Софье Андреевне, в которых Толстой делал ей предложение. Они безупречно датированы в «Летописи жизни и творчества Л. Н. Толстого» Н. Н. Гусева, первое — 9-м, второе — 14 сентября 1862 г., что находится в соответствии с дневниковыми записями Толстого. Ф. В. Буслаев помечает оба письма 16 сентября, при чем размещает их в обратном порядке, основываясь на записи С. А. Толстой, сделанной на конверте, приложенном к письмам: «Предложение Левочки 16 сентября 1862 г.». Но ведь С. А. Толстая надписала дату вручения письма, а не написания. Начало следующего письма выписано в каталоге так: «1863, осенью. Мы будем в половине пятого непременно». Но никто не датирует своих писем так: «осенью» или «весной». Год и время писаны не рукою Льва Николаевича: это позднейшая приписка С. А. Толстой.

В предисловии Ф. В. Буслаева указано: «Даты и обозначение мест написания писем, данные самим автором, выставлены без скобок». Из этого можно заключить, что, например, выставленные при письме № 78 без скобок слова «9 июня —1871 — Москва» принадлежат Толстому. На самом деле руке Толстого принадлежит лишь «9 июля» (не июня); год не 1871, а 1872, «Москва» же здесь решительно не при чем, так как сохранился конверт данного письма со штемпелем «Нижний-Новгород». Записка № 119 датирована в каталоге: «Март 1878 г. Петербург». Такая датировка, ориентирующаяся на порядке последовательности писем, принятом в издании 1915 г., основана на недоразумении, на что было обращено внимание в прессе (см. «Литературное Наследство», № 19—21, стр. 707). Записка интересна тем, что в ней идет речь о знакомстве Толстого с дочерью Рылеева, в связи с работой Льва Николаевича над «Декабристами». Знакомство произошло в Туле, перед выездом в Москву и Петербург, а не в Петербурге, где Рылеева не жила. Все это учтено и комментатором «Декабристов», М. А. Цявловским, в его «Истории писания «Декабристов» (см. том XVII Юбилейного издания, стр. 479), и «Летописью жизни и творчества Л. Н. Толстого» (стр. 248), где сказано: «Март 4. В Туле у Евгении Ивановны Пущиной Толстой встречается с дочерью казненного декабриста К. Ф. Рылеева, Анастасией Кондратьевной Пущиной, от которой узнает «много интересного» (письмо к С. А. Толстой 4 марта)». Датировка Ф. В. Буслаева основана на уже изжитой в толстоведении ошибке.

Известное письмо о предполагавшемся уходе от 8 июля 1897 г. почему-то оказалось среди писем 1910 г. (стр. 141). Письмо от 7 ноября 1899 г. (стр. 134, № 12) неверно продатировано по старому изданию — 1900 годом, хотя новая, выправленная, дата была в распоряжении составителя каталога.

Обращает внимание и еще одно обстоятельство. После общего хронологического списка писем к жене следует небольшой отдел с повторным названием «Письма Л. Н. Толстого к С. А. Толстой» в сопровождении пометы: «Без даты». Каково происхождение этого дополнительного списка? Дело в том, что в 1935 г. в рукописном отделении Ленинской библиотеки обнаружился ряд неизвестных документов архива Толстого, пролежавших долгие годы под спудом. Среди этих документов оказалось несколько писем Толстого к жене. Они не были опубликованы С. А. Толстой, не были и в обработке редакторов, проставлявших на обложках писем свои редакторские даты.

Составитель не проделал самостоятельной работы над письмами, у которых нет дат самого Льва Николаевича и соответствующих конвертов, и оставил эти письма вовсе не датированными. Между тем, большую часть их легко датировать: так, письмо № 2 может быть отнесено к 1 августа 1898 г. (писано из Пирогова), письмо № 3 — к 31 октября 1898 г., № 4 — к 26 или 27 октября 1899 г. и т. д. Ряд писем оказался включенным не во вторую, а в первую часть каталога («Произведения»),— таковы письмо Николаю II об отнятии детей у молокан и письмо начальнику екатериноградского дисциплинарного батальона.

На обложке первого выпуска разбираемого издания читаем: «Цель этого справочника — дать возможность каждому ученому, занимающемуся исследованием творчества Л. Н. Толстого, навести справку о том...» и т. д. Редакция каталога не учла, что ученые уже изжили те ошибки, которые повторяет рецензируемое пособие. Следует пожалеть о том, что издательство не привлекло к работе над каталогом специалистов, подобно тому, как это сделал Литературный музей.

Новые толстовские материалы помещены во втором томе «Летописей» Государственного Литературного музея (М., 1938, редакция Н. Н. Гусева). Следует иметь в виду, что вышедшим томом не исчерпываются хранящиеся в музее фонды по Толстому, доселе не опубликованные. Таковы в высшей степени интересные и документальные воспоминания живших в семье Толстых педагогов В. И. Алексеева и И. М. Ивакина, наблюдения которых касаются переломного периода в жизни и творчестве Толстого (конец 70-х и начало 80-х годов). До сих пор не опубликованы дневниковые записи старшего сына Толстого, относящиеся к 1910 г., и другие его материалы.

В первом выпуске, посвященном Толстому, много нового, хотя не все материалы равноценны. Произведения самого Толстого составляют наименьшую часть тома. Среди них выделяются дневниковые записи Толстого за май 1897 г. Об этих записях сам Толстой отметил в своей дневниковой тетради: «Вырезал, сжег что написано было сгоряча». В тетради в этом месте вырезаны два листа. Казалось, что нет никаких сомнений в окончательной утрате этих записей. Между тем, листки недавно обнаружились в архиве П. А. Буланже, которому Толстой передал вырезанные листки, прося сжечь их. Буланже спрятал листки, и они не так давно были приобретены Государственным Литературным музеем. В них мы находим записи очень мучительных для Толстого переживаний, связанных с его отношением к жене и попытками уйти из дома еще в 1897 г. Страниц этих нельзя читать без волнения. Как известно, Толстой воздержался от ухода в 1897 г., хотя и записал под 18 мая: «Кажется, пришел к решению»,— т. е. об уходе и соответствующем письме С. А. Толстой. Кстати, комментируя это письмо, Н. Н. Гусев пишет: «Письмо это не оказало никакого действия на С. А. Толстую». Но оно и не могло оказать действия, потому что, на ряду с известным письмом об уходе от 8 июля 1897 г., сделалось известным жене писателя лишь после его смерти.

Наиболее богат раздел книги, посвященный публикации неизданных писем Толстого. Здесь, на ряду с мелкими записками и незначительными деловыми письмами, есть ряд ценнейших документов. Не все в сборнике ново. Из 197 писем Толстого 35 были опубликованы ранее, при чем это не всегда оговорено (ср. письмо к Флексеру от сентября 1895 г., опубликованное П. А. Сергеенко, т. II, № 427). Очень интересны письма Толстого к Сопоцько, убежденному поклоннику Толстого, впоследствии ставшему его ярым врагом с точки зрения религиозного исповедания. Любопытны письма Толстого к дяде его жены, В. А. Иславину. Письма относятся к тому периоду, когда Толстой был поглощен хозяйственными заботами и со свойственной ему страстностью отдавался делу покупки огромного имения в Самарской губернии. В одном из писем читаем: «Экая жила стал, скажешь ты про меня, и кажется, что ты будешь прав!». Толстой старался перехитрить самарских крестьян, пославших ходоков в Петербург, чтобы купить у прежнего владельца ту землю, на которую претендовал Толстой. Лев Николаевич писал: «Нет, без шуток, дело в том, что поездка мужиков-конкурентов в Петербург смутила меня, и я боюсь упустить покупку и боюсь передать» (т е. переплатить). Письма необыкновенно живо характеризуют то умонастроение, о котором вскоре Толстой писал в «Исповеди»: «Среди моих мыслей о хозяйстве,

которые очень занимали меня в то время, мне вдруг приходил в голову вопрос: «Ну хорошо, у тебя будет 6000 десятин в Самарской губернии, 300 голов лошадей, а потом?...». Поучительно сопоставить с этими письмами мысли Толстого о «силе завладевающей» русского крестьянства, а также его интерес к переселенческому движению и к тяготению крестьянства к земле, отразившийся в отрывках неоконченных романов «Декабристы» и «Сто лет».

Среди мемуаров выделяются воспоминания Е. В. Оболенской («Моя мать и Лев Николаевич»), представляющие собою продолжение публикации ее мемуаров в журнале «Октябрь» за 1928 г. Особенно живо и непосредственно передано впечатление от обстановки последних дней жизни Толстого в Астапове. Содержательна и ценна заметка С. А. Стахович «Как писался «Холстомер», написанная по первоисточникам и по неизвестным данным.

В публикациях третьего отдела редактор напал на интересную мысль извлечь высказывания и суждения современников о Толстом из обширных эпистолярных фондов, хранящихся в рукописном отделении музея. Редактор использовал ряд писем к Бартеневу о «Войне и мире» из архива Бартенева. Можно только пожалеть, что не извлечены данные из других фондов музея. Как-раз о «Войне и мире» имеются любопытнейшие высказывания 77-летнего старика В. И. Лыкошина в письмах к его сестре, А. И. Колечицкой. 21 января 1868 г. Лыкошин писал: «Не знаю, читала ли ты в «Русском Вестнике» роман графа Толстого 1865 и 1866 года под названием «1805 год»; там были напечатаны две первые части. Теперь он напечатан отдельно, четыре части, под названием «Война и мир». Это великолепный памятник прошедшего. Как чудно схвачена обстановка того времени, как удачно выставлены типы high life тогдашнего общества! Это только нам, немногим оставшимся свидетелям и деятелям той эпохи, до самой мелочи осязательно верно, как в зеркале изображено; и как тонко схвачены оттенки петербургского и московского высшего общества; даже фамилии прозрачно выставлены: кн. Анатолий Курагин, княгиня Друбецкая, кн. Андрей Болконский». В письме от 12 февраля 1868 г. Лыкошин пояснил сестре: «Ты спрашиваешь о некоторых личностях, выставленных гр. Толстым. Волконский, сын кн. Григория Семёновича, которому при Павле не велено было выезжать из деревни,— известный тогдашнего времени чудак. Гр. Безухий должен быть Безбородко (очевидно, имеется в виду Александр Андреевич Безбородко, умерший в 1799 г.); я помню густо настланную соломой улицу перед его домом. Курагины, конечно, должны быть кн. Куракины. А Марья Дмитриевна Афросимова, та выставлена en toutes lettres; и как теперь вижу я грозную фигуру, которая так страшила молодежь; одним словом, это все та же обстановка, все те же лица, которых мы встречали у Полуехтовых, Грибоедовых, Татищевых, Акинфовых, Лопухиных, Ушаковых etc., все те же речи о comtesse Apraxine, m-me Korsakow... И как все это в Москве изменилось после 12 года!».

Издательством «Советский писатель» выпущена книга Л. Мышковской «Л. Толстой. Работа и стиль» (М., 1939, 299 стр.). В предисловии автор говорит: «В состав данной книги вошли работы, частью уже напечатанные в разное время, но теперь вновь пересмотренные и доработанные,частью еще не напечатанные». В действительности, книга состоит из четырех отдельных статей, ранее опубликованных в разных изданиях. Только последние восемнадцать страниц книги написаны заново, и автор был бы гораздо ближе к истине, если бы прямо сообщил об этом в своем предисловии. Первая статья, выпущенная отдельной брошюрой в 1931 г., представляет историю создания «Хаджи Мурата». Статья дает достаточно полную картину работы Толстого над повестью. Опираясь, в основном, на старые работы Буланже и Лернера, автор обнаруживает знание рукописей, относящихся к анализируемой повести, и ориентированность в источниках. Вторая статья, посвященная повести «Холстомер» и напечатанная в «Красной Нови» (1935, № 11), менее убедительная и интересная чем первая, также трактует о Толстом в разрезе изучения его творческой работы. Третья, небольшая и популярная, статья о народных рассказах Толстого по выполнению соответствует задачам «Литературной Учебы», в которой она была напечатана (1935, № 9).

Последняя из вошедших в книгу статей Л. Мышковской, опубликованная в журнале «Октябрь» (1938, № 5), наименее удачна. Она представляет попытку вскрыть осо-

бенности творчества последнего периода литературной деятельности Толстого; все произведения этого периода Л. Мышковская сводит к двум определяющим моментам, которые, по ее мнению, являются основными для творчества Толстого после 1880 г.; это — обличение окружающей социальной жизни (элемент сатиры) и «просветление» героя. Схема Л. Мышковской страдает упрощенчеством и не соответствует сложности творчества Толстого. Если толковать оба момента в широком смысле, то и в «Анне Карениной» Толстой сатирически изображает великосветское общество, а если под «просветлением» понимать «осознание жизни, признание ее духовной сущности, как единственно важного и бессмертного на земле», то сюда подойдут и Николенька Иртеньев, и Пьер Безухий, и князь Андрей, и Левин, при чем для этих лиц их суд над собой и собственной жизнью будет элементом решающим. Если же понимать «просветление» так, как это трактуется в «Воскресении», то «воскресения» Нехлюдова перед вступлением в новую жизнь нельзя смешивать ни с самосознанием Ивана Ильича перед смертью, ни с переживаниями героя «Крейцеровой сонаты» после убийства жены, не говоря о таких произведениях, как «Хаджи Мурат», где этого момента нет вовсе.

Неудовлетворительное выполнение последней работы тем более досадно, что Л. Мышковская, по существу, правильно нащупала предпосылки перелома в творчестве Толстого, но не доработала темы, сделав поспешные обобщения и не посчитавшись с многообразием и богатством творчества Толстого второго периода.

Последняя часть книги Л. Мышковской, вдобавок, чрезвычайно неряшливо написана; дурной слог мешает усвоению содержания мысли. Вот первые попавшиеся примеры: «...весь обед с его скульптурной живописью и распространенностью, как у Гомера, написан остро направленно»; «...идет раскрытие бытия стандартного человека»; «...деталей, идущих все время по контрастным параллелям с повторением педалируемого эпитета»; «...вычищенные ботинки, элексиры и духи являются направленными деталями для разоблачения паразитизма богатых»; «Толстому, исходя из прежних своих позиций» и т. п.

В книге Л. Мышковской, вопреки ее заглавию, мы не находим общей картины работы и стиля Толстого. В книге есть две статьи, посвященные работе писателя над двумя произведениями, и есть два очерка о стиле народных рассказов и последних произведений Толстого. Внутренне эти очерки между собой не связаны, и книга является просто сборником статей.

Наш обзор литературы по Толстому показывает, что за последние четыре года изучение творчества Толстого значительно расширилось и углубилось; расширилось, так как продолжение издания Полного собрания сочинений Толстого доставило ряд новых текстов, вариантов и черновиков, позволяющих детально вскрыть лабораторию художественного мастерства великого русского писателя. На ряду с притоком новых материалов, советское толстоведение также значительно углубилось, обогатившись рядом исследований с выводами и обобщениями на подлинно научных основаниях. Эти исследования характеризуют творчество Толстого как в целом (Н. К. Гудзий), так и в отдельных фазисах его творческого пути,— таков образцовый очерк М. А. Цявловского (XVII том Юбилейного издания), который исчерпывает тему «Толстой и декабристы». Наконец, если за рассматриваемый период не появилось новой научной биографии Толстого, то в виде солидной «Летописи жизни и творчества Толстого» созданы все необходимые предпосылки для ее написания.

Отв. редактор *П. И. Лебедев-Полянский* Зав. редакцией *И. С. Зильберштейн*
Зам. отв. редактора *М. Б. Храпченко*

УКАЗАТЕЛЬ ЛИЧНЫХ ИМЕН *

Составил А. А. Сиверс

Римские цифры I и II обозначают первый и второй томы «Литературного Наследства» (№№ 35—36 и 37—38), посвященные Л. Н. Толстому; арабские цифры — страницы.

* Начиная с настоящего тома, каждая книжка «Литературного Наследства» будет снабжаться указателем личных имен. Указатели к ранее вышедшим №№ 1—34 будут впоследствии выпущены отдельным изданием.

В

Д

Е

Ж

З

Н

О

Р

С

Т

У

Ф

Х

Щ

Э

Ю

Я

ОГЛАВЛЕНИЕ II ТОЛСТОВСКОГО ТОМА

ПЕРЕПИСКА Л. Н. ТОЛСТОГО

ПИСЬМА к Л. Н. ТОЛСТОМУ

VI. ТОЛСТОЙ В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ

VII. СООБЩЕНИЯ И ОБЗОРЫ

В ТОМЕ 162 ИЛЛЮСТРАЦИИ

Технический редактор Г. Н. Шевченко. Корректор Е. А. Коростелева. Уполн. Главлита № А—17433. Сдано в набор 23. III. 1939 г. Подписано к печати 28/V—40 г. Тираж 5000 экз. Формат бумаги 72×110 1/16. В книге 48½ печ. листов; в 1 печ. листе 68700 зн.
Зак. 964

Адрес редакции: Москва, 6, Страстной бульвар, 11. Тел. К-3-61-80

Типография газеты «Правда» имени Сталина. Москва ул. «Правды», 24.